

**ВАЛЕРИЯ
НОВОДВОРСКАЯ**



ИЗБРАННОЕ

ТОМ III

**ВАЛЕРИЯ
НОВОДВОРСКАЯ**

**ВАЛЕРИЯ
НОВОДВОРСКАЯ**

ИЗБРАННОЕ

ТОМ III



**ЗАХАРОВ
МОСКВА**

УДК 82-821
ББК 83.3(3)
Н74

*Автор фото на обложке
Константин Боровой*

Новодворская В.И.

Н74 Избранное : в 3 т. / Валерия Новодворская — М. : «Захаров», 2015.

ISBN 978-5-8159-1348-6 (общий)

Т. III : Мой Карфаген обязан быть разрушен ; Храм на Болоте. — 864 с. ; илл.

ISBN 978-5-8159-1351-6

Публицистическое и литературное наследие Валерии Ильиничны Новодворской непросто уместить в трех томах. Она писала всю жизнь — от руки — обо всем: Пушкине, Чехове, российской истории и французской политике, о моде, театре, музыке — невозможно всего перечислить. Она не проходила мимо ни одного мало-мальски значительного события. Написанное ею исчисляется тысячами страниц; это из того, что сохранилось.

Принцип расположения материалов в этом издании — хронологический. Значительная часть текстов, причем не только стихи и письма, ранее не публиковалась.

При отборе материалов для нас было важно сохранить основные сюжетные линии выступлений В.И.Новодворской: антикоммунизм, либерализм в политике и экономике, реформы, борьба за права, Свобода, антифашизм, западничество, критика военщины, независимость бывших республик (Литва, Латвия, Эстония, Грузия) и несвобода оставшихся (Беларусь); Чечня, а в последние годы — Украина; оценка правления Горбачева, Ельцина, Путина. Перемена во взглядах.

Три тома — это не много для всего, что она написала. На каждый год в среднем — 50 страниц. Это, конечно, вертушка айсберга. Но больше, чем ничего.

© Новодворская Н.Ф., наследник, 2015

© Благотворительный фонд Егора Гайдара, правообладатель, 2015

© «Захаров», 2015

КАРФАГЕН
ДОЛЖЕН БЫТЬ
РАЗРУШЕН!



ШО

МОЙ КАРФАГЕН
ОБЯЗАН БЫТЬ РАЗРУШЕН

Об авторе от автора

Автор этих лекций — катакомбный историк. Это значит — не патентованный, без лицензии и диплома истфака.

До 1991 года ни один честный диссидент не мог учиться или защищаться на историческом, ибо история была мертвой зоной КПСС, КГБ и прочих милых организаций. А до 1991-го автор успел перечитать всех русских и половину импортных историков из сундуков Иностранки, этого оазиса чистой науки, куда пускали всех и давали всё, даже Шпенглера, видно, рассчитывая, что владеющих до такой степени иностранными языками в России или не найдется, или они сбегут за кордон, или просто погоду не сделают. Так что на истфак стало идти незачем. Можно было смело идти и читать лекции юным историкам в РГГУ и других местах. Автор и пошел.

К тому же автор, родившийся в 1950 году, успел впутаться в историю в прямом и переносном смысле, создав в Инязе еще в 1969-м подпольную студенческую организацию с далеко идущими задачами: свержение власти КПСС вооруженным путем, народное восстание, построение капитализма, ликвидация Варшавского договора, роспуск СССР... Примерно это же и значилось в листовках, которые автор открыто бросал с балкона Дворца Съездов 5 декабря 1969 года, в День Конституции, на опере «Октябрь». Потом, естественно, было Лефортово, статья 70 об антисоветской пропаганде, казанская спецтюрьма... А потом, после 1972 года, было полно столь же детективных историй: контрабандное поступление на иностранный факультет пединститута, его контрабандное окончание, участие в диссидентском движении, тиражирование самиздата, листовки, листовки, листовки, аресты, аресты, аресты... Горбачевская перестройка 1986-го застала автора в Лефортово, но благодарности за освобождение бедный

Михаил Сергеевич не получил. Далее был создан ДС — «Демократический Союз», и всё повторилось: митинги, листовки, демонстрации, разгоны, избиения, аресты. ГКЧП автора посадить не смогло: автор уже сидел в Лефортово с мая 1991 года за предложение опять-таки свергнуть власть КПСС вооруженным путем — после Вильнюса. С тех пор выпущенный окончательно подчистую отовсюду автор ведет оседлый образ жизни, пишет статьи в крутой либеральный еженедельник «Новое время» и даже допущен там в члены редколлегии, но порох держит сухим на случай возвращения коммунистов к власти. Автора больше не сажают, но два года, с 1995-го по 1996-й, судили за нежелательную, непатриотическую, неприемлемую для коммунистов и национал-«патриотов» трактовку русской истории, то есть почти как генетиков и кибернетиков — за лженауку, причем буржуазную. То есть за данный курс лекций. Так что автор — не только участник истории, но и ее соучастник, а книга сия — чуть ли не триллер. По крайней мере, саспенс и боевик. Не хуже Дэвида Линча с его «Твин Пикс».

Так что рекомендую этот труд массовому читателю.

Вступление

ВЫ РИСУЙТЕ, ВЫ РИСУЙТЕ, ВАМ ЗАЧТЕТСЯ...

История России еще не написана. Она — не картина, но только набросок, эскиз. Потому что картина эта живая, в ней продолжается война, наша вечная гражданская война за право написать историю своей страны, добыть ее, отнять у живописцев иной, враждебной школы, озаглавить, вставить в золотую раму и отнести в музей. И будет она там висеть, как истории других, богатых и благополучных государств, как экспонат для туристов, среди паркетов, золотых литеров, витрин и алмазов, как наконец-то краеугольный камень, основа бытия.

Тогда на картине остановится действие, фигуры застынут, и будет ясно, кто победитель и куда нам плыть. Каждый из нас, прогрессоров, флибустьеров, идеалистов хотел бы порулить Россией. У каждого свои карты, свои лоции, свой компас.

Россия — гигантский корабль, дредноут, броненосец. Я веду ее туда, где из горьких вод Атлантики поднимается окрыленный и мощный символ свободного мира: грозная и прекрасная женщина со светочем и книгой, осеняющая и возглавляющая всех, кто готов стать под знамена свободы и знания, независимости, гордыни и мужества. Россия должна уплыть на Запад: с Магаданом, Якутией, Уральским хребтом, Байкалом. И сколько бы канатов ни пришлось обрубить, сколько балласта ни пришлось сбросить, я не пожалею и не остановлюсь. И не оглянусь назад.

Эти лекции были прочитаны несколько раз в РГГУ у Юрия Афанасьева, одного из лоцманов этого нашего Плавания к берегам Свободы. Эти лекции носились в воздухе времени с XVI века, когда Избранная Рада впервые поняла на государственном уровне, что Россию нужно

спасать, тянуть за уши из болота, потому что Восток — это болото. Наша история — это вечный бой над вечным крахом за право уйти из тоталитарной пустыни в Землю обетованную, на Запад, в атлантизм. В нашей истории дуют жестокие ветры и горят костры, в ней мы, западники, наследники славянской и скандинавской традиций, сражаемся с носителями византийской и ордынской традиций, изгоняя их из сердца, из генов, из памяти, из политической жизни. Нас мало, мы тонкой струйкой пробиваемся из тысячелетних песков, нас четыре века, начиная с процесса Юрия Крижанича, травят, изгоняют, пытаются, казнят, вычеркивают и запрещают. Но мы воскресаем каждое утро, чтобы идти на смерть каждую ночь, но мы тянем страну за собой и вписываем в ее историю единственно достойные строки — своей кровью, и однажды мы не умрем. И тогда Статуя Свободы будет стоять на одном из Соловецких островов: над Беломорканалом, над Кремлем, над ГУЛАГом и Лубянкой, как вечный символ нашей победы. Мы десантники Запада на русской земле, мы пришли сюда с варягами в VIII веке — и мы никому не отдадим наш плацдарм.

Мы уничтожаем советское прошлое, как следы некоего вечного Карфагена, Империи Зла, которая должна уступить место юному, блестящему, благородному Риму — демократии Запада, нашей Атлантиде. Наша глава в истории — не только знание, но и сила. Обнаженный меч. Вызов, брошенный рабству, глупости, тирании, социализму, коммунизму, фашизму. И, как писал в своей книге «Россия в концлагере» Иван Солоневич, возьмите этот курс лекций, читайте и боритесь. И вот вам посох в дорогу, посох и подорожная: стихотворение Николая Смолкина, рядового викинга из нашего карраса.

Катон, я тоже знаю Карфаген,
Что твоего коварней и жесточе,
Я кличу смерть его, я смерть ему пророчу,
Зову небытие и насылаю тлен...
Струится нить, плетут судьбу, кружа,
Любовь и ненависть, как два крыла у птицы,
И мчатся боевые колесницы,
Жизнь воздвигая, чью-то жизнь круша.

Мой Карфаген — в кровавом кумаче,
Мой Карфаген — в налитых кровью звездах,
Мой Карфаген — в их покаяньях поздних
И к страшному труду готовом палаче.
Мой Карфаген — инстинкт овечьих стад,
Мой Карфаген — в овчарнях и овчарках.
Катон, кому-то снова кровью харкать,
Как две и больше тысяч лет назад.
И этому, Катон, лежать в золе —
Хоть это и одна шестая суши,
Катон, я полагаю, на Земле
Мой Карфаген обязан быть разрушен.

Лекция № 1

КАКОГО ТЕЛЕНКА МЫ У БОГА СЪЕЛИ?

Русская история еще не написана, потому что не закончена.

История — это стадион с ленточкой старта, но без ленточки финиша, со множеством беговых дорожек, с судьями-историками, со спортивными комментаторами, которые пристально следят за тем, кто — впереди, кто — отстал. Это тоже историки, публицисты, политологи, советологи и вообще всякая вспомогательная историческая рать.

Со зрителями, которые болеют за свою команду. Но, в отличие от спорта, на этом стадионе никто не заботится о равных стартовых условиях.

Когда вы начинали — это ваше личное дело. Сигнал стартового пистолета — от сотворения мира, дальше — как вам повезет. Когда подтянетесь. Ваше опоздание на геологическую эпоху, на век, на десять веков, на двадцать веков абсолютно никого не волнует. Это не учитывается ни судьями, ни зрителями, ни спортивными комментаторами. Главное — бежать. Главное — бежать впереди. Когда вы начали, это ваши личные трудности.

На этом стадионе у нас неважные дела, многие начали свой забег гораздо раньше нас. Мы еще футболки

не надели, кроссовки не зашнуровали и вообще еще до стадиона не дошли, а Эллада и Рим пробежали чуть ли не всю дистанцию от начала до конца. Кто-то начинал с нами вместе — Чехия, Польша. Кто-то начинал чуть раньше — Франция, Великобритания, Испания. Но наступило время, когда нас просто сняли с соревнований, когда мы перестали бежать (в XIII веке), а когда в XVI веке мы вышли на стадион снова и стали догонять, оказалось, что все, кто начал забег с нами на исторический час или на два раньше нас, как Франция и Великобритания, убежали настолько вперед, что мы видим одну клубящуюся пыль — и ничего впереди.

И вот с тех пор, с XVI века, наша история состоит из того, что мы догоняем. Мы бежим по знаменитой формуле: догонит ли Ахиллес черепаху, — но поскольку они — не черепаха, а мы все-таки не Ахиллес, мы пробегаем какую-то дистанцию, а они за это время убегают очень и очень далеко вперед. И можно сказать, что мы с большим трудом видим след или тень от кроссовок спортсмена, который бежит впереди нас. Это с точки зрения спорта.

С военной точки зрения, история России — это Столетняя война, в которой, как вы помните, для Франции всё началось очень плохо. Был так называемый период, который французские историки называют «*répisode de revers*», то есть период сплошных поражений.

Казалось, вообще всё кончено. Англичане оставили от Франции одни рожки да ножи. Били как только могли. И при Азенкуре и при Креси французская армия ни к черту не годилась, французские короли вообще не тянули, французский народ пребывал в полной депрессии. Вдруг где-то на последней четверти началось странное дело. Франция стала отыгрываться. Она отыгрывалась, отыгрывалась и в конце концов получилось, что она выиграла Столетнюю войну. Так вот, история России — это такая Столетняя война, в которой для нас период поражений длится уже чуть ли не шесть веков. И можно сказать, что только с 1991 года, за очень редкими исключениями, у нас начался период частичных побед, то есть окопная, позиционная война.

Всем всё осточертело, все кормят вшей в окопах. Уже не понятно, с чего это началось. И чем это кончится. На западном фронте — без перемен. На восточном фронте — тоже. Идет Столетняя война.

С точки зрения шахмат, история России — это отложенная партия. Если вы помните замечательный фильм Бергмана «Рыцарь и Смерть», там на какую-то очень важную вещь рыцарь играет в шахматы со Смертью. Если он проиграет, Смерть его заберет; пока он выигрывает какую-то часть партии, пока Смерть получает шах, он еще живет.

И вот, начиная с XVI века, каждое поколение россиян, играя черными (потому что белыми играет Смерть, играет Рок), садится и пытается доиграть эту партию, пытается отыграться. Мы всё время проигрываем. В XVII веке, в XVIII, казалось, что выиграем, потом — ничего не получилось, немножко выигрываем в XIX, там пешки были на нашей стороне, очень много пешек мы съели.

Потом — все равно. Потом все равно был шах, потом чуть мат не получили. И вот мы каждый раз, можно считать, каждый новый день пытаемся доиграть эту партию. Пытаемся выиграть у Рока то, что мы ему проиграли за прошедшие века.

Есть такая современная пародия на знаменитую сказку о Золушке. В этой сказке умная мачеха, которая хотела повредить своей падчерице, не стала держать ее в черном теле, не стала перед нею раскладывать мешок проса и мешок золы, которые она должна была отделить друг от друга. Она сделала всё наоборот.

Она свою дочку, родную дочку, заставила работать, научила домашнему хозяйству, сделала ее спортивной, тренированной, подготовила, словом, к жизни, к жизненным трудностям. А падчерицу она уложила в постель, накрыла шелковым одеялом, кормила ее восемь раз в день, не давала пылинке на нее упасть. В конце концов, когда пришел принц, он обнаружил спортивную, в джинсах, в кедах родную дочку, молодую, стройную, красивую, которая всё умела, у которой всё в руках горело, и эту так называемую Золушку, раскормленную, как домашняя индюшка, которая уже рукой пошевелить не могла, которая лежала в постели, у которой глаза заплыли. Тщетно

было бы спрашивать, на ком женился принц. По-моему, это и так ясно. Потому что ноги у Золушки распухли, и никакая хрустальная туфелька уже на нее не налезала. Спортом надо было заниматься.

То же самое происходит с Россией. Казалось, природа нас одарила щедро. У кого еще есть такое дикое, неумеренное, на троих, на четверых, на пятерых количество природных ресурсов, рек, полезных ископаемых? У кого такие бескрайние равнины? У кого такое количество древесины? У кого такое количество питьевой воды? На самом деле здесь история поступила с нами как мачеха. Она дала нам всего так много, что лишила охоты и способностей добывать что-нибудь своими руками.

Япония, которой история в принципе ничего не дала, кроме нескольких скал в океане, на которых по идее и расти-то ничего не могло, и вообще ни грамма, никаких полезных ископаемых, или Израиль, которому даже пресную воду не отпустили, чуть ли не айсберги приходится ввозить, оказались в положении той самой родной дочери, которую умная мачеха заставила работать. А нам всего дали столько, что это нам впрок не пошло. К сожалению, наши стартовые условия абсолютно никуда не годились.

Смотрите, коммунитарный тип развития, коммунитарное мышление, коммунитарный — то есть общинный — менталитет был задан не только исторически, но и географически. На самых ранних стадиях, когда о славянах вообще еще не имели права говорить (нет никаких славян, есть пока еще только протославяне), коммунитарный тип уже прослеживается.

Еще никто не начал считать эти века. Еще идет XV век до нашей эры, еще там кто-то горшки учится обжигать, а уже всё ясно.

Скажем, рельеф.

Рельеф — это очень важно. Выше нас, севернее, лежит Скандинавия. С совершенно ужасным климатом. С противнейшим рельефом, изрезанным, прихотливым, там фьорды, от одного населенного пункта до другого там не доберешься иначе как на ладье. Ногу поставить некуда. Распахать что-нибудь — ну разве что клумбу

разведешь, да и то цветы не вырастут. Так вот что такое этот самый изрезанный рельеф.

Кстати, изрезанный рельеф Аттики, будущей Эллады, обеспечил одну очень необходимую для индивидуалистического менталитета вещь. Отсутствие крупных поселений, отсутствие самой возможности жить на общинном уровне. Здесь сама география диктует индивидууму, что он будет жить один, а с соседями видаться по большим праздникам. То же и в Скандинавии.

Невозможно сбиться в стаю, невозможно сбиться в кучу. Нет места. И поэтому такие интересные поселения возникают в Аттике.

Здесь Лакедемон (Спарта) на юге, в Пелопоннесе. Севернее — Афины, потом Фивы, потом Коринф. Сами по себе. На одной горе — Афины, на другой горе — Коринф. Где-то кусочек низменности, и там Фивы оказываются. Лакедемон — вообще на очень много стадий южнее. Крошечные полисы. По нашим стандартам крошечные, ибо невозможно создать крупное централизованное государство. От горы до горы очень неудобная местность.

Японии предначертано, что японцы не будут сеять пшеницу, а будут сеять рис (просто нет места для пшеничных полей). Из этого следует, что не будет у них крупных пекарен, что каждый будет варить рис в собственном горшке, что индивидуалистическая психология, которая потом, конечно, перешла в очень интересные формы и, заметьте, осталась в кодексе Бусидо, кодексе самурая, будет существовать приоритетно. И это тоже было предопределено.

У нас рельеф абсолютно неизрезанный. Ничто не мешает встретиться, подружиться и вместе зажить единым человеческим общежитием.

Это очень большое несчастье. Огромное количество низменностей. Но это еще не всё. Другое несчастье, пожалуй, даже большее, это то, что мы не знали преград на пути своей экспансии.

У нас не было на западе, на востоке, на севере, на юге сильных соседей, которые просто давали бы по рукам при первой же попытке экспансии. Ну куда могла расширяться древняя Галлия? Куда ей было расширяться, если

у нее, простите, на севере были белги, а белги — это был не сахар (то есть кельты жили на территории современной Франции, а там дальше у них были белги — тоже кельтская народность), а на востоке, как вы понимаете, германцы. А германцы не отличались очень мягким характером. Кто их обидит, тот дня не проживет. Куда расширишься! Всё. На юге — Альпы, на юго-востоке — тоже, а там и вовсе Рим. А потом — лонгобарды, потом — готы. Пиренейский полуостров. Туда расшириться хотите? Не выйдет. Там иберы, баски. С этими и вовсе договориться невозможно. Ну а на западе, как вы понимаете, море. Ла-Манш. Это сейчас такой узенький пролив, через который можно пустить туннели и паромы, а тогда — непреодолимая дистанция. Огромное расстояние до Альбиона. Ну а там тоже кое-кто живет, там свои кельты, на севере — пикты.

Я уж не говорю про древних шотландцев, про скоттов, у которых был такой характер, что с ними англичане-то управились только к XIX веку. Всё, значит, вот тебе твой надел. Это всё, что тебе отпущено природой. Ты должен его обиходить, ты должен его удобрять. Ты должен тут снимать урожай.

У тебя не будет никогда ничего другого. Тебе больше некуда идти, и ты должен выжать из этого исторического кусочка земли, которая у тебя есть, всё, что ты можешь.

А у нас огромная одна шестая часть суши. И кто там живет? На севере — слабые финно-угорские племена, от одного до другого племени там три дня пути лесом. Еще и не увидишь никого. Дикие племена Сибири, дикие племена Урала. Юг — это особая статья. Когда мы дошли до юга, там особенно противиться было некому.

А пока было кому, этот костер не затухал, а создавал нам другую проблему.

Итак, у нас в этом отношении сплошное неблагополучие. Нам есть куда идти. Как справедливо заметил Ключевский, у нас всегда есть возможность бросить ключи на стол и сказать хозяину: «Я отказываюсь от квартиры. Я ухожу. Пожалуйста, предоплату верните». Была возможность поменять квартиру, а когда Родина — это арендованный дом, тогда, как правило, обиходить ее никому не хочется.

История России, по справедливому замечанию того же Ключевского, — это история экспансии, это история вечной колонизации, вечного расширения, которое фактически не знает границ. И это значит, что земля бросалась в очень скверном состоянии. Никто не пытался развивать интенсивные методы. Никто не пытался что-то придумать.

Зачем? Если вокруг тебя лежат богатейшие черноземы, если можно сегодня здесь подсечным земледелием заняться, завтра — на новом месте. Вокруг земля, есть куда уходить. Вот так и уходили. Между прочим, уходили и в XVII веке, когда была возможность бежать сначала на Волгу, потом — на Дон, то к Разину, то к Емельке Пугачеву. Волю искали не у себя дома. Не было смысла устанавливать какой-то общественный договор с властью. Заставлять власть вести себя цивилизованно.

Проще было бежать от власти, куда глаза глядят, было место. На север в темные леса. В скиты, в Раскол.

Были темные леса, были пустые леса, там тебя не достанет никакая государственная власть. Когда некуда уходить, ты защищаешься от власти, ты сам чертишь границы ее домогательств и ты сам устанавливаешь с ней цивилизованные отношения.

Когда есть куда бежать, проще убежать.

Нам, к сожалению, всегда было куда бежать.

А климат! Только такого климата нам еще и не хватало. Надо сказать, что климат — это еще один камень на нашу общую могилу. Климат резко континентальный. Земледелием можно заниматься летом, осенью, поздней весной. Пять месяцев зима. Зимой делать нечего. Что делает славянин зимой? Зимой он лежит на печи и сочиняет сказки.

Безделье рождает демонов и мифы сознания. Мифы такого рода, что ни у кого в истории человеческих племен, цивилизаций, культур этого нет. Никто не додумался до истории с говорящей шукой, которая по щучьему велению, по чьему-то хотению выполняла какие-то спецзадания, избавляла ее хозяина от необходимости работать самому.

Ведь сказки — это очень глубокие пласты менталитета народа.

В долгие зимние месяцы, когда делать было нечего, рождается определенная структура жизни — авралы. Начинают срочно сеять, срочно пахать. Отсюда потом возникнет наша знаменитая пятилетка в четыре года. Это берет начало в климате. Припадочные пятилетки в четыре года — от авралов. Авралы от того, что нужно было успеть за достаточно короткое лето всё посеять и всё собрать.

Другой возможности заниматься земледелием не было. Сказал же Есенин, что «бедна наша Родина кроткая в древесную цветень и сочъ, и лето такое короткое, как майская теплая ночь». Умеренный климат, более умеренный климат Британии, климат Франции, благодатный климат Италии, Испании заставлял людей крутиться и суесться фактически весь год. Весь год они что-то делали. Мы пять месяцев не делали ничего.

И мы привыкли к тому, что производственный план тяп-ляп, кое-как можно выполнить в последнюю неделю месяца. Можно сказать, что социализм, как определенная трудовая культура, или, вернее, отсутствие таковой, вырастает из нашего климата.

Это извинительно, но, как вы помните, на стадионе под названием История никто не учитывает стартовые условия. Никому это не интересно, всё это можно было преодолеть, но мы это не преодолели, потому что это, к сожалению, была не единственная наша проблема. Пока мы лежали на печи и придумывали сказки про ту печь, которая сама ходит, произошли еще кое-какие события.

История — это и эстафета. Древние цивилизации иногда имеют возможность передать факел. Передать Прометеев огонь, передать огонь разума, передать огонь знания, передать огонь государственности, передать огонь права, огонь какого-то порядка тем, кто придет следом за ними. Здесь у нас такое тотальное невезение, как будто кто-то устроил нам это специально, как будто были лоббисты интересов других стран у престола Всевышнего, а наши интересы лоббировать было абсолютно некому.

Посмотрите, что происходит с Францией. VI век до н.э., V век до н.э. На юге появляются поселения финикийян и греков. Появляется Массалия, современный Марсель.

В VI веке до н.э. это уже достаточно крупный город. Потом в III—II веках до н.э. прибавляется Арль, римское поселение. И эта тоненькая струйка латыни, определенной строительной культуры, истории — древней истории, отягощенной преступлениями, но отягощенной и мыслями, и знанием — идет на север. Она потихонечку цивилизовывает кельтов. То, что Франция принимает в V—VI веках, если считать набело, христианство, а у нас это, как вы понимаете, был X век, — это тоже сказалось.

Вот пять веков, можете их просчитать на этом стадионе. Опоздание на эти пять веков дает нам опоздание на десять стадий. Ну а потом, простите, Цезарь, да святится имя его... Ему должны ставить статуи и в Париже, и в Лондоне. Он успел завоевать Галлию. А когда римляне пришли в Галлию, это были уже не примитивные потомки Ромула и Рэма, это были люди, которые впитали в себя лучший цвет и сок греческой цивилизации.

Они уже очень много знали, и всё это римское управление, благо быть римской провинцией, римское право, римские лингвистические комплексы, язык, письменность достались галлам. Письменность народа, который имел Вергилия, который перевел греческие трагедии, который имел Плавта, который имел свои басни, который издавал законы уже много веков, усваивается кельтами.

То же самое в Испании, правда, там всё сильно потом осложнится мавританским фоном. Но тем не менее они получили римскую прививку.

А про Италию я уж и не говорю. Италии и идти-то никуда не надо было. Они — наследники римлян. Они их потомки, поэтому совершенно не удивительно то, что начатки либерального капитализма появятся в Генуе и Венеции. Они появятся там, у колыбели человеческой цивилизации.

Не говорю и про Элладу, которую сильно испортило на этом стадионе вмешательство турок (они просто развернули эллинов в другую сторону и заставили бежать не туда, куда вообще совершался весь этот забег). Но начало было хорошее.

А что происходит с нами? С нами происходит историческая трагедия. Самая настоящая пессимистическая трагедия.

Если проанализировать наше соприкосновение с древностью, с античными реминисценциями, со всем тем, что дает человечеству античность, получится очень скверный график. А ведь что такое западная цивилизация, что такое индивидуалистический либеральный менталитет? Откуда это взялось? Это перекресток. На этом перекрестке встретились во время оно, во-первых, кельты. Ментальность кельтов — пылкое поэтическое настроение. Они были фантазеры. Как те, что жили в Британии, так и те, что жили в древней Франции. Одни друиды чего стоят. Они были поэтами, они были романтиками, они были гордецами.

Вот посмотрите, чего стоит один такой диалог! Когда Александр Македонский (заметьте, Александр Македонский, IV век до н.э., уже соприкоснулся с кельтами, кельты были очень пронырливые, они дошли до Македонии) спросил у них: «Чего вы страшитесь?» — они сказали: «Мы боимся только падения неба и больше ничего». Александр Македонский умел ценить такую гордыню, он заключил с ними союз и никогда не пытался их завоевать. Гордыня, помноженная на фантазию, — это кельтская традиция.

Вторым к перекрестку подходит Рим и дает ясную, четкую, рациональную традицию Рима! Традиция не культуры, а цивилизации. Традиция государственности. Традиция права. Традиция, которая потом будет выражена Декартом, картезианский подход, если хотите: «Познай самого себя и подвергай всё сомнению». Рацио. Без него невозможно создание современной либеральной цивилизации.

Это рацио приходит с Римом, приходит рано, приходит во II, в I веке до н.э. И приходит надолго, приходит тотально. Приходит до того времени, пока не рождается новый народ, пока не рождается новая культура.

И, наконец, третий, кто подходит к перекрестку западной цивилизации. К перекрестку западной цивилизации третьими подходят скандинавы, подходят варяги. Что эти-то могли дать? Культура у них была в зачаточном состоянии, рационального подхода не было вовсе. Что они могли дать при таком раскладе? Они дают, может быть, самый ценный элемент. Они дают абсолютно индивидуалистический склад. Это будет предопределено

их ландшафтом, их климатом. Чистый индивидуализм, такой свирепый индивидуализм! И страсть к свободе...

Безграничная страсть к свободе, к свободе и к противостоянию, потому что свобода по Хайдеггеру и Ясперсу — это определенное отношение к себе подобным, когда ты всё время отстаиваешь эту свободу. Свобода — настоящая свобода! — возникает тогда, когда кто-то на нее покушается; свободы в той ситуации, когда на нее не покушается никто, фактически не существует.

Свобода рождается в противостоянии. Все экзистенциальные коммуникации между людьми существуют на некоем стыке. На стыке человеческих волей. На стыке человеческих судеб. То есть абсолютная тяга к свободе дана скандинавами. Они успевают завоевать и Францию. Что значит завоевать? Они проникают туда, они дают своих герцогов. Они дают этот инстинкт. Инстинкт рожденных свободными.

Потом те норманны, которые будут завоевывать с Вильгельмом Завоевателем Британию, проникнутся этим. Прививка свободы была сделана. Они принесут это в Англию. Поэтому великая хартия вольностей будет написана в 1215 году. Тринадцатый век! И поэтому парламент с палатой общин возникнет в 1265 году, в конце XIII века.

Ну а что происходит с нами? Нам-то что досталось? Вот смотрите: V век до н.э. У нас очень много лишней пшеницы. Славяне были борисфениты, которых Геродот назвал сколотами, чтобы как-то отличить их от диких ираноязычных скифов. (Крайне неприятный народ. Народ, который не имел ни к кому мягкого человеческого подхода, так свойственного славянам, в то же время и свободу ничью не признавал, кроме своей собственной, и дать ничего не мог, кроме смерти и порабощения.)

Бывают совершенно бесплодные племена, которые ничего не могут принести. Скифы не приносят ничего, и, чтобы отличить их от сколотов (которые занимаются земледелием, у которых символы — золотая чаша, золотой топор, золотой плуг и золотое ярмо, которые якобы упали с неба в руки к Колоксаю, их предку, который потом родил Светозара, мифического героя типа Геракла или вообще божество), Геродот называет их иначе. Наши сколоты выращивают много лишней пшеницы.

Черноземы, богатейшие черноземы Днепра. Можно сказать, что мы становимся житницей Европы в V веке до н.э. По Днепру сплавляются ладьи с пшеницей, сплавляются в Крым, в Ольвию, сплавляются иногда вплоть до Херсонеса, но главные торги идут в Ольвии в Причерноморье.

Туда являются эллины. Ну а поскольку есть-то Элладе что-то надо, а пшеница там не растет (я по ней поехала, там она и сейчас не растет, там посадить ее негде, там в лучшем случае на склоне горы можно поставить овечку, чтобы она попаслась), хлеб у них привозной. Поэтому понятно, почему они покупали пшеницу у славян. Торговля — это означает, что будут строиться города. И что те самые славяне, которые продают пшеницу, получают доступ к древнегреческой письменности, к Эсхилу, к Софоклу, ко всем греческим трагедиям, к греческой истории, к греческой цивилизации и культуре.

И вот потихоньку, тоненькой золотой струйкой всё это начинает сочиться к нам. Славянская знать одевается в греческие туники, начинает носить греческие украшения, покупать оливковое масло и вино. И, самое главное, начинает покупать книги. Начинает говорить по-гречески. На древнегреческом языке! Не на новоязе... Начинает потихоньку читать Ксенофонта, Эсхила, того же Геродота.

Мы не дышим, чтобы пламя этой свечи случайно не погасить. Пятый век до н.э. — надежда, которой не суждено было сбыться. Пик проникновения античных влияний в нашу с вами несчастную, достаточно лесную и дикую среду. До III века до н.э. продолжается это счастье. Два века. Два века — это немного. За два века весь народ древнегреческому языку не обучишь. Своих философов завести не успеешь. Климат у нас на Севере не тот. Это усложняет ситуацию. Эллинские учителя не едут дальше этой самой Ольвии. Приходится возить детей туда, на юг, чтобы они там учились.

В III веке до н.э. это окно в Европу, эта форточка, открытая случайно, захлопывается с треском.

Сарматы. Нашествие сарматов. В III веке на Русь приходят сарматы. Русь тогда еще не называется Русью. Имени не будет очень долго, оно появится где-то в VIII—IX веках.

К славянам приходят сарматы. Что они с собой приносят на хвостах своих коней? Они приносят дикость. Эти копыта растопчут начала греческой цивилизации. Славяне забиваются в леса, где завоеватели их достать не могут. А знаете, жизнь в шалашах — это исключает Эхила, Софокла и греческих философов. И всё это постепенно стирается.

Зачем они пришли, откуда, куда потом уйдут — про то история не ведает. У Льва Гумилева есть теория экспансии кочевников в зависимости от урожая или неурожая трав в степях. Он даже некие закономерности в своей книге «В поисках вымышленного царства» устанавливает. Но мы же не могли отправить туда полеводческую бригаду посадить им травку, чтобы они никуда не ходили. У нас же не было этого опыта. И они приходят. Они приходят очень надолго.

Пять веков, пять темных веков. Пять веков, в которые не происходит ровным счетом ничего. Наступает глубочайшая тьма. Вот был пик, а теперь спад на нашем графике. Следующий подъем — II век нашей эры. Пять веков прошли попусту. А это очень много — пять веков.

II век, века Траяновы, даже автор «Слова о полку Игореве», который скорбит вместе с нами, отметил это. Надежда, еще одна надежда, форточка открывается опять. Римлянам тоже нужна пшеница. А мы можем эту пшеницу продать. А взамен пшеницы мы можем получить законы, латынь, право, золотую прививку римской цивилизации к нашему дереву. Всё вроде бы налаживается. Римляне покупают пшеницу, славянская знать начинает одеваться в тоги, начинает изучать латынь; даже мера — весовая мера квадрантал — настолько прививается у славян, что в виде четверика она доживет до 1924 года.

Это достаточно глубокое проникновение, если до 1924 года сохраняется римская мера веса; значит, римское купечество хорошо походило к славянам, и мы хорошо покорыстовались их обучением. Ну вот, кажется, еще немножко, и мы, как даки (это нынешние румыны), которые очень долго сопротивлялись римлянам неизвестно почему, а в конце концов боролись за право именоваться римской провинцией, выйдем в люди.

Кажется, мы получим право быть римскими провинциями. У нас будет и римское право, еще немножко — и у нас будет свой Форум. У нас будет свой Сенат. Начнут развиваться политические традиции свободы.

IV век. На этот раз расцвет длился два века.

IV век. Сначала приходят готы, потом приходят гунны. Поражение славянского князя Буса. Спротивляться невозможно. Это как лава вулкана. Она разливается.

Когда приходят кочевники, только современная цивилизация может противиться этим нашествиям. Когда идет орда, под копытами коней не выживает ничего.

И опять, опять всё погребено. Под пеплом этого нашествия. И надежда на римскую цивилизацию, на проникновение ее к нам, и надежда на то, что мы заговорим по-латыни, и надежда на римское право, и надежда на то, что мы приобщимся к этому источнику и напьемся из него вволю.

Опять захлопывается форточка. Опять глухо. И теперь уже навсегда...

Форточка захлопывается в IV веке. Дальше что происходит? Дальше славяне, начиная с VI века, знакомятся с Ромейской цивилизацией. Ромейская цивилизация — это уже не римская цивилизация. Это Византия. Что можно было приобрести в Византии?

Того, что нам было нужно: законы, римское право, рацию, идеи политической и гражданской свободы, — там уже не было. Более того, никто из славян не бежит в Константинополь. Наоборот, из Константинополя бегут на славянские земли.

Потому что, во-первых, славяне сыты, по крайней мере.

А народ в Константинополе, который теперь уже доведен до положения черни, вечно голоден. Дикое социальное расслоение. Дикая тирания. пытки, казни. Славяне вообще не знали пыток. Для них это было дико. Они не могли понять, что это такое. Они не знали смертной казни очень долго.

А когда инакомыслящих пекут в бронзовых быках на площади, то инакомыслящие начинают бежать на Русь к славянам. К сожалению, не все добежали. Если бы беглецов было много, может быть, мы получили бы от них письменность на несколько веков раньше.

Может, мы получили бы какие-то угасающие воспоминания о Риме. Но сами беглецы ничего не помнят. Человеческая жизнь коротка, а после того как восточная часть Империи отпала от западной, там никакой свободы уже не было. Ромеи могли нам дать лучшее оружие, могли дать и украшенные богатые одежды, могли научить строить храмы. Это было ничто по сравнению с тем, что мы могли получить от Рима. От Рима мы ничего не получили.

Это было еще не всё. Вы видите, какой камнепад. Как история старается нас похоронить под этими камнями, засыпать так, чтобы уже и руки нельзя было высунуть из этой могилы. И это еще не всё. Есть еще один фактор, может быть, самый неприятный.

Дикое поле. Славянская традиция, как мы видим, это традиция, к сожалению, коммунитарная, потому что традиция закрытого общества всегда коммунитарна. Всегда люди собираются в стаи, живут сообща. Сейчас мы пойдем, почему не было никаких шансов сохранить индивидуалистическую форму существования.

Дикое поле. Очень глубока память об этом кошмаре, об этом ветре, который выдувал плоды человеческого труда. Потому что сегодня ты что-то посеешь — завтра налетят кочевники, они ничего не пощадят. Они увезут тебя в рабство, они вытопчут твои посевы, и даже нет смысла что-то строить, потому что всё разрушат и всё сожгут.

Это сохраняется, считайте, с X века до н.э. и буквально до Орды, пока вообще крышка гроба не захлопнется.

До XIII века, то есть двадцать три века будет действовать фактор Дикого поля.

Есть смутные воспоминания, сказка, миф, которые вообще не вошли ни в какие детские хрестоматии, но тем не менее они очень важны — об огненном змее и о двух кузнецах. Козьме и Демьяне. Эти кузнецы боролись с огненным змеем, который всё время куда-то полз. И вот этот огненный змей был ими обезврежен следующим образом.

Они, во-первых, построили валы от этого змея, через которые он не мог переползти. Во-вторых, в один прекрасный день Козьма и Демьян сковали клещи, сковали меч. И клещами Козьма вытянул у змея язык, а мечом этот язык змею отсекали.

Что означает эта сказка? Что означает эта легенда? Было Дикое поле. Нашествие кочевников. Огненная река. Сплошные пожары. Нашествия. И вот для того, чтобы оградить Русь от этих нашествий, все время нужно было ковать оружие и строить оборонительные укрепления. Но из чего мы могли строить оборонительные укрепления? У нас здесь ничего для этого не было.

Вот вам равнины. Вот неудобство равнин. Гладкая равнина, по которой прекрасно проходят кони кочевников от начала до конца. Нет гор. В горы не очень-то они могли бы подняться. Горы могли бы оградить нас от этой напасти. Но не было никаких гор. Они проникали свободно со всех концов. Значит, единственный способ защиты — это был бой, потому что укрепления строить было даже не из чего. Никакого каррарского мрамора не было. Славяне фактически не знают каменных укреплений. Кремли появляются позже, когда уже всё, по сути дела, кончено. Строить в XI или в X веке укрепления, после того как двадцать веков длился этот набег, по меньшей мере поздно. Надо было спастись раньше, всё уже произошло.

Кто приходит с Дикого поля? Вот VIII век до н.э. Киммерийцы. О них мы знаем меньше всего. Но хороших воспоминаний они о себе не оставили.

Дальше — V век до н.э. Скифы возникают. Скифы набегали время от времени. Поэтому, в отличие от сарматов, они не могли нам помешать общаться с Элладой, но всё, что могли, они, конечно, сделали нам. Разорили, сожгли.

После скифов приходят сарматы, как вы помните, на пять веков. Сарматы — это III век. Потом что начинается? Потом начинаются хазары, те самые, которым пытался отомстить Вещий Олег. Хазары были единственными полезными завоевателями. Они хотя бы защищали караванные пути. Хазары были разумными людьми, у них была достаточно высокая культура. Они были финикийцами наших равнин. Ту роль, которую играла Финикия для Древнего мира, хазары пытались сыграть в наших лесах.

Они верили в единого Бога, в принципе, они были иудеями по своим религиозным убеждениям. Они очень

много торговали. Со славян они взяли мягкую дань оружием. Они никого не угнетали, ничего не уничтожали, ничего не жгли, они защищали караванные пути. Их главный интерес был в торговле. Поэтому с хазарами еще можно было как-то жить.

Но за хазарами начинаются печенеги. Это дикая, безумная и бездумная сила. Это носороги, с которыми договориться невозможно. И если бы это было всё! После печенегов придут половцы, а после половцев, как вы понимаете, будет монголо-татарское нашествие.

Вот что у нас была за жизнь. Об этом прекрасно написал Сергей Марков, один из лучших поэтов, катакомбных историков, потому что он пишет исключительно о русской истории, и, мне кажется, у него это получается совершенно замечательно. Вот как он описывает жизнь древних славян где-то в начале нашей эры.

Пожарища алая дрожь роится в глухом суходоле,
И стрелы, как черная рожь, растут на истоптанном поле.
Развалины в теплой золе. Замолкли и цеп и телега.
Стоит на славянской земле косматый шатер печенега.
Свалив убиенных в овраг, придвинув котлы к пепелищу,
Пирует безжалостный враг, глотая нечистую пищу.
И прахом покрыты труды, заботы и промыслы наши,
Звенят и сверкают меды и льются в поганые чаши.
С зарею сливается чад. Кусты одиноки и голы.
Под каждой пятою трещат сучки и погибшие пчелы.
Идем среди сохлой травы, расправив могучие груди,
И князь, и седые волхвы, лесные и пчельные люди.
Секиры поднимаются вновь. Теплы и красны топорщища.
Шипит печенежская кровь на серой золе пепелища.
Мы ведать мгновенья должны извечной охотничьей дрожи,
Мечи опуская в ножны из бычьей скоробленной кожи.
Мы знаем, что время придет, свершатся труды и заботы,
И снова сверкающий мед наполнит глубокие соты.

Теперь вы понимаете, почему возникла коммунитарная традиция, почему славянская традиция становится коммунитарной? Как-то сопротивляться можно было только сообща. Поэтому славяне (фактически до прихода на Русь скандинавов) живут в городищах. Они вынуждены их укреплять.

Никакого индивидуального земледелия, как там, на севере, у скандинавов, быть не может. Один не выживет никто. Более того, приходится постоянно держать слободу. Представители разных родов, разных городищ складываются, дают своих лучших юношей, и эта маленькая армия живет в слободе, первой встречает нашествие, но каждый помнит, из какого он поселения, и время от времени возвращается на побывку. То есть жизнь в военном стане. Постоянный военный стан. Каждый день нужно смотреть, не дымятся ли курганы, на которых зажигаются огни в случае нашествия, не передают ли весть о набеге. И эта постоянная судорога тоже не дает возможности работать.

И рождается определенная славянская традиция. История предопределила, что славяне (ну это уже природа такая!) будут великодушны, добры. Славянская традиция — может быть, самая человечная из всех традиций Древнего мира. Славяне не знают пыток, не знают казней. Славяне никогда не делают того, что делают северные скандинавские народы. Если на севере в какой-нибудь будущей норвежской семье (хотя тогда и слова такого не было — Норвегия) рождается ребенок, а семья не может его прокормить, отец ребенка уносит его в лес. Славяне никогда этого не делали. В голодное время у скандинавов уносят в лес девочек, потому что мальчики ценятся больше. Мальчики — будущие воины.

У славян этого нет. Славяне никогда этого не будут делать. Славяне — воины. Но это воины добрые. Они защищаются, но пока не нападают ни на кого. Им хватает проблем самозащиты. Да, когда рождается ребенок, отец кладет ему в колыбель свой меч, чтобы показать, что это его сын, чтобы показать, что этот сын будет воином. Но славяне судорожно пытаются между набегами что-то вырастить.

А поскольку, как правило, это получается уже очень плохо, славяне становятся беспечными, и возникает та часть нашей традиции, которая называется «авось».

Андрей Вознесенский это прекрасно выразил в своей поэме о Рязанове, который пытался завоевать для России Калифорнию. И фактически Калифорния у нас была. Но традиция была уже такая прочная, что мы ее выпустили

из рук. Помните, у Марка Захарова в «Юноне и Авось» есть куплеты, которые Вознесенский сложил для того, чтобы выразить суть этой традиции.

«Вместо флейты поднимем флягу, чтобы смелей жилось под российским андреевским флагом и с девизом "Авось"».

Появляется девиз «Авось». От тебя мало что зависит. Мы живем на авось. Слишком много огня с этого Дикого поля, из этого дикого ветра, из этого вулкана извергается, чтобы мы могли с этим бороться.

Славяне перестают думать о завтрашнем дне. От горя и бедствий они лишаются заботы о будущем. Потому что они знают, что будущее не зависит от них. Завтра случится такая напасть... Ключевский это называет жизнью без третьего мешка, то есть жизнью без запасов. Невозможно ничего накопить.

Невозможно приобретать стране богатства, потому что всё это обращается в прах завоевателями. Славянская традиция — это традиция беспечная. Традиция, к сожалению, коммунитарная, традиция, исключая индивидуалистический подход к жизни. Потому что жизнь просто не может уцелеть, если остается одна.

Что дает Дикое поле? Ведь Дикое поле не приходит и не уходит. К сожалению, Дикое поле входит в нашу плоть и кровь, входит в наши гены. Славяне смешиваются с кочевниками. Этого, конечно, не следовало делать. Эта традиция — не то, что нам нужно было приобретать. Римляне никогда не смешивались со своими завоевателями. Не было случая, чтобы во время войны Рима с Карфагеном, которая длилась худо-бедно три века, происходило какое-то смешение. Галлы пришли и ушли. Смешение начинается уже потом, не с IV века до н.э., но когда Рим становится властелином мира, тогдашней Ойкумены. А в I—II веках смешение уже не страшно. Это уже полезно. Новая молодая кровь, новые территории, новые идеи, которые рождаются на новых местах.

Но вначале, когда выковывается традиция, когда рождается национальный характер, смешение с неблагоприятной традицией может стать роковым. А у нас это происходит в слишком ранний период. Мы в колыбели, мы не можем сопротивляться. И традиции Дикого поля разбавляют славянскую традицию.

Что такое традиция Дикого поля? Это традиция абсолютного пренебрежения к жизни и к труду. Это беспечная традиция дикой, ничем не ограниченной воли, когда проще отнять, чем заработать. Это традиция просто исключает какие-либо целенаправленные трудовые усилия. Это традиция вечной степной тоски, вечного горизонта, к которому ты идешь. Это очень поэтичная традиция, она красива. Ее много в нашей поэзии. Без этой традиции у нас не было бы Блока, без этой традиции у нас не было бы Пастернака, вообще у нас не было бы нашей литературы. Эта традиция есть и в Достоевском. Она дает нам наше великое искусство. Но она не дает нам возможности цивилизованно жить. Потому что вы помните: славяне беспечны, их трудовые усилия постоянно превращаются в прах и пепел, и тут еще прибавляется традиция этой дикой воли. Дикое поле, кочевники, которые смешиваются с нами.

После нас хоть трава не расти. После нас хоть потоп. И вот эти традиции, вдвоем, создают очень опасный тип национального характера, когда человек не живет, а грезит о жизни. Потому что реальная жизнь не благоприятствует ему, и он живет в состоянии постоянного наркотического опьянения. Когда искусство становится сублимацией. Когда искусство заменяет жизнь. Это очень заметно в нашем русском искусстве: оно было призвано заменить жизнь. Поэтому оно такое мощное, поэтому оно такое богатое.

Оно должно было заменить реальную действительность, но, к сожалению, вы помните тот стадион и судей. Они судят не по эстетическим показателям. Им абсолютно плевать на то, что я сейчас вам перечисляю. Вольно же было Блоку жаловаться и писать своих «Скифов», и призывать Европу учесть все эти факторы, и угрожать, что «мы повернемся к вам своей азиатской рожей», и просить снисхождения за то, что «мы держали щит меж двух враждебных рас». На стадионе это не учитывается. Не добежал — и всё. История безжалостна.

Итак, славянское общество — это закрытое общество. Оно закрыто, как наши леса. Оно закрыто, как наши городища, потому что ничто доброе снаружи не придет. Снаружи придет смерть. С копьем, с арканом и с факелом.

И когда извне можно ждать только смерть, народ замыкается в самом себе. Народ начинает жить своими внутренними ресурсами. Он захлопывает все форточки, законопачивает все щели. Он чувствует, что живет в осажденном лагере. Если хотите знать, сталинизм берет начало отсюда. С VI века н.э. Через четырнадцать веков это всё будет выстроено на политическом уровне. Считайте, что на генетическом уровне это всё уже выстроено, поэтому это так легко прошло. Поэтому это нигде больше не случилось, а у нас это находит опору в страшных воспоминаниях. Когда никто тебе не поможет, когда ты один с этим вечным вторжением, с этим вечным нашествием, с этим ледяным ветром из степи или, наоборот, с раскаленным — с сирокко.

Общество (это и в прямом, и в переносном смысле слова) закрылось, и ничего уже не приходило извне. Ни чужие языки, ни чужое право, а своего не было. И здесь возникает одна ужасная патология, которая нас будет передавать из рук в руки вплоть до XX века, — сельская община. Вы думаете, колхозы на пустом месте появились, вы думаете, община, которая предшествовала колхозам и которую никак не мог разогнать Столыпин, случайна? Он, бедный, удивлялся, что дал право на выход из общины, создал все условия, а крестьяне берут и не выходят. Вот было разочарование, когда не все вышли из общины. Петр Аркадьевич думал: что же мешает им выйти? Они все жаждут свободы, жаждут своей земли, он дал возможность, а большая часть взяла и осталась.

Точно так же, как сейчас. Пожалуйста, выходите из колхозов, вам дают землю. Сколько фермеров, сколько колхозников? Так вот, это всё начинается где-то в I веке нашей эры. Тогда возникают верви. Верьвь — это круговая порука, поселение типа такого древнего колхоза, где все члены отвечают друг за друга.

Верьвь — она и живет вместе, и работает вместе, и защищается вместе. Верьвь. Не удивительно, что термин такой! Вербка, из которой нельзя выдернуть звено, веревка, которая нас задушит. Эту вервь застанет Ольга (или Хельга).

Она обнаружит, что есть такая удобная штука и что, действительно, можно взять штрафы со всех, раз есть

круговая порука. Скажем, найдут убитого в пределах этой верви, ну и платить будут все коллективно. Вервь заплатит; то есть исключается индивидуальная ответственность. Вервь отвечает за то, что делается в ее пределах, даже за убийство. Смотрите, это уже XII век. К этому моменту таких поселений, такой формы сельской жизни давно уже нет в Западной Европе. В Польше тоже нет. У западных славян ее не будет.

Все когда-то, конечно, жили в городищах и поселениях. Но они жили так где-то в XV веке до н.э. А мы в XII веке н.э. в них жили, и доживаем до XX века в верви. В ней возникает что-то вроде кассы взаимопомощи. Она называется «дикая вира», и тот, кто входит в эту дикую виру, платит взносы, конечно, не деньгами — мехами, пшеницей. Он имеет право на то, что община (вервь) за него выплатит штрафы и вообще за него заступится. Тот, кто в эту дикую виру не входит, тот, кто в кассе взаимопомощи не состоит, на эту взаимопомощь не имеет права. То есть это всё усложняется и идет на абсолютно коммунитарном уровне. Вервь — древний колхоз или древняя община. Разницы абсолютно никакой. И надо признать, что никакие десятитысячники, никакие Давыдовы и Нагульновы это не организовывали.

Было хуже. Добровольная форма организации общества. Это форма, продиктованная условиями жизни. Верви, колхозы, общины образуются у древних славян в силу обстоятельств. А то, что образовано на добровольном уровне, к сожалению, сохраняется очень долго.

В силу всего этого славянская традиция приобретает уже в очень ранние времена, хотя и необходимый, но нестерпимо обскурантский характер. Всё, что служит сохранению жизни и бытия, приемлется, то, что не служит, — отбрасывается как лишнее либо просто запрещается как вредное. Если бы был какой-то Сократ на Руси, он бы до 70 лет не дожил (он и в Афинах не своей смертью умер). Но, как вы понимаете, в славянской верви-поселении он бы не успел дать пищу Платону даже для одного тома диалогов. Потому что он задавал лишние вопросы, вызывал сомнения, колебал умы. Нет. Жизнь тяжелая, суровая, выжить сложно. Коммунитарное устройство предписывается инстинктом самосохранения, поэтому

всё лишнее очень жестко отмечается. Заметьте, что еще не начался тот период, который называется «наша эра», а уже всё предопределено.

Вот как начинается наша история. Она начинается так, что от ее конца, возможно, будет зависеть ее начало. История России, в отличие от историй более благополучных, всё время переписывается. Всё время делаются попытки ее переписать. Эти забеги, которые совершаются с XVI века, призваны дать нам возможность догнать тех, кто убежал вперед. Это, если перевести в литературный аспект, в аспект письменной традиции, если хотите знать, попытки переписать историю. То есть мы гоняем на машине времени вдоль и поперек нашей истории и пытаемся научить нашего дедушку тому, чего он не знал. Внуки пытаются преподать дедушке урок, чтобы он жил не так, как он прожил свою жизнь, чтобы жизнь внуков не была такой исковерканной. И это заметно во всех эпохах и во всех веках, и поскольку русская история еще не дописана (как вы помните, Столетняя война еще не доиграна, а шахматная партия отложена), завтра будет новый день, и мы сядем опять играть с Роком, со Смертью. Тот, кто допишет эту историю, возможно, изменит ее ход. Если нам удастся выиграть, история изменится. Она будет освещена другим светом, она будет написана иначе. От нас зависит не только конец нашей истории, но от нас еще зависит ее начало. Потому что наша история — не таблица децемвиров, написанная на бронзе.

Наша история — это следы на снегу. Очень много следов. Непонятная картина. Картина станет понятной только тогда, когда охотник придет к концу этой тропы, к концу следов. А мы еще не пришли к концу. Вот когда придем, тогда мы узнаем, что эти следы означают. Поэтому Олег Чухонцев, как мне кажется, очень хорошо определил, что такое наша история, в одном своем совершенно замечательном стихотворении. Обратите внимание на Олега Чухонцева, он очень тонко понимает эти вещи.

Я сойду на последней странице,
Где березы обступят кругом,
Где взлетит полуночная птица,
Капли с ветки сбивая крылом.

Я войду в край боярской измены,
В ту страну, где секира и мох...
Вы до мозга костей современны,
Реставраторы темных эпох.
Где ваш дом? У чужого предела
Запрокинется в ров голова.
И лежит безымянное тело,
И в зенит прорастает трава.
Красна девица в черном платочке
Чем помочь? Не отпишешь пером.
Это, как говорится, цветочки,
То-то ягодки будут потом!
И не вихрь долетит до столицы,
А глухой человеческий вздох...
Я сойду на последней странице,
Где беспамятство глуше, чем мох.
О история — Дело и Слово, —
Славословье тебе не к лицу.
Я живу. Это право живого —
Имя дать и творцу и глупцу.

Лекция № 2

НОРДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРЫ В ПОЛОВЕЦКИХ СТЕПЯХ

Как история XIX века, так и современная давно выдирали друг другу бороды из-за основополагающего, краеугольного вопроса: призывали ли варягов на Русь в силу неспособности без них поддерживать на Руси порядок, или эти варяги явились сами, незваными, и завоевали несчастных, ни в чем не повинных славян?

Поскольку Лиги наций тогда не было и ни завоеватели, ни завоеванные обратиться ни в Лигу наций, ни в ООН не могли, то этот спор разрешим не эмпирически, а просто концептуально.

На самом деле историки совершенно напрасно скандалят. Этот вопрос — не главный. Среди наших потерь, проторь и убытков, среди всего, что с нами в эти темные века произошло, вопрос о призвании варягов или о том,

что они явились незванными и неожиданными, абсолютно никакого значения для нас уже не имел. Давно уже варяги (те самые викинги, те самые скандинавы) обосновались в Ладоге. Там у них была военная база. И с этой базы они совершали рейды.

Иногда наезды, иногда набег, а иногда такие тематические экспедиции по обоюдной договоренности. Дело в том, что хазары не оправдали возложенных на них надежд. Они хорошо защищали караванные дороги, но и только. Они не защищали поселения. Например, они и не думали защищать полян от древлян, или наоборот. А если вы помните, все эти золотые плоды с античного дерева, хотя бы семечки от этих плодов, хотя бы кожура, хотя бы череночек — всё это перепадало именно полянам. Потому что только они могли торговать и с Элладой, и с Римом во времена Траяна. У них была та самая пшеница, валюта древнего мира. И всё то немногое, что досталось Руси, — досталось им.

Но мы с вами въезжаем в X век. К сожалению, не на белом коне. Скорее, мы туда въехали на этом самом знаменитом «коне Блед», учитывая то, о чем мы в прошлый раз говорили.

И с последнего столкновения Руси с античным миром (Руси, которая еще не названа Русью — мы этим будем обязаны варягам, как и многими другими вещами) прошло шесть веков. За эти шесть веков поляне давно уже забыли и начатки латыни и, тем более, классический древнегреческий язык. Забыли всё, что они случайно когда-то перехватили. Поэтому от древлян они отличались только тем, что были земледельцами, и, значит, в какой-то степени задирали нос. Древляне были, с их точки зрения, более дикие. Хотя с точки зрения кого угодно в этот момент дикими могли считаться и поляне. Но все-таки поляне считали, что они среди всех племен первые. Если сравнивать их с нашими радимичами, вятичами, кривичами, дреговичами, древлянами, «чудью, мерью и весью», то, пожалуй, так оно и было.

Итак, поскольку хазары не защищали поселения от печенегов, а защищали только свои караванные дороги, нужны были военные специалисты, нужно было кого-то приглашать и кому-то платить жалованье.

И славяне (те, которые поляне) совершали вылазки в ту самую Ладогу, выбирали себе военных специалистов и призывали их для защиты. Ну, как водится, тот, кого призывают для защиты, иногда увлекается процессом и может очень долго не уходить. Это еще во времена Владимира (который Красный Солнышко) будет случаться. Призвал он варягов, дабы справиться с каким-нибудь очередным непутевым братом, и заплатил. Доехали там они до Киева или до Новгорода. Сказали, положим (это всё время бывало и у Ярослава Мудрого, и у Владимира, только со Святославом такие номера не проходили), что «а город-то наш, мы здесь и жить будем. Нам здесь понравилось». И как-то избавиться от них было крайне тяжело. Как от любого хорошо организованного войска более или менее мирным поселянам. К сожалению, славяне по своей военной организации, по военному дару, по чутью, по страсти к войне очень сильно уступали викингам, и когда они встречались не то что в открытом бою, а даже на узких городских улочках, исход был известен заранее. Поэтому от варягов можно было только откупиться.

Благо было чем. Меха на Руси хватало. Меха очень ценились в тогдашнем Древнем мире. Их охотно носили на Западе и на Юге, хотя вроде бы там меха ни к чему. Меха были нашим золотым запасом. Было чем расплачиваться.

А на севере, на исторической территории викингов, происходили очень интересные вещи. Прошлый раз мы говорили о том даре свободы, о порыве свободы, который они принесли кельтам, который они сумели принести на земли будущей Великобритании и будущей Франции. И там, где это всё было схвачено рамкой, медной рамкой римских блистательных законов, схемой четкого гражданского устройства, там начиналась политическая жизнь. Но скандинавы сумели принести миру еще одну важную вещь. И пожалуй, они дали в этом смысле миру больше, чем римляне, и, может быть, даже больше, чем эллины. У скандинавов был природный дар к политическому плюрализму. Самая древняя в Европе (и вообще в тогдашнем мире, я уж про Азию и не говорю) многопартийная система принадлежит именно

скандинавам. Каким образом это произошло, может быть, мы узнаем, когда изучим их пантеон и сравним его со славянским пантеоном.

У славян был очень миленький пантеон. Такой милый, пасторальный, непритязательный. Всё было как у людей. Был и Сварог, который отвечал за небесные дела и даже даровал кузнечные клещи и борону славянским племенам. Был его сын Дажьбог, который отвечал уже непосредственно за земледелие, плодородие, за Солнце. Был Хорс, который совмещал очень много функций, он, можно сказать, был многостаночником, у него в ведении была охота, было опять-таки Солнце. Был специальный бог скота — бог Велес. То, что славяне были скотоводами, мы и без него знаем. Этим никого нельзя было в тогдашнем мире удивить — ни в Европе, ни в Азии. Нас должно больше интересовать другое. Не необходимые боги, весь этот джентльменский набор: небо, земля, война. Эти функции были везде, в любом пантеоне. Нас должно интересовать лишнее, не необходимое, а лишнее. Было ли у славян что-нибудь лишнее, что свидетельствовало бы об интересных вариантах духовного развития, об абстрактном мышлении, о склонности к рефлексии? Потому что, например, бог Смерти есть у египтян и абсолютно не встречается в Междуречье, в Сеннааре. Специальный бог Зла, бог Сет, — это тоже только у египтян. Фактически крайне редко случается, что есть божество, которое отвечает за мировое Зло. Если есть такое божество, то это что означает? Это означает, что есть дуализм. Что забьется какая-то вольтова дуга между этими двумя полюсами с плюсом и минусом, между катодом и анодом, и родится свет свободы и цивилизации. Потому что без противостояния, без дифференциации, без дуализма это просто невозможно.

Поэтому это очень важные вещи. К сожалению, лишнего в славянском пантеоне нет. Он очень скуден. Сначала были Рожаницы — еще задолго до славян и праславян. Две богини. Их изображали то в виде лосих, то в виде двух медведиц. Они отвечали за плодородие, за продолжение рода. Потом появился вместо этих двух Рожаниц Род — мужское божество, которое отвечало за то же самое.

Были такие вспомогательные — не духи даже, а младшие божества, если можно их считать божествами. Скажем, были русалки, очень злокозненные, которые могли и утопить, такие игривые, лукавые и абсолютно не гуманитарного склада. И в то же время были берегини, добрые девы, которые охраняли берега от всего того тревожного и незнакомого, что несла с собой река. Они спасали, наоборот, тонущих, они ладьи вели к твердому берегу, к твердой земле.

Были злые ночные духи, души неправильно умерших, навьи. Совершенно кошмарные создания, которые пили кровь, но это были не упыри, упыри были сами по себе. Навьи — это были души предков, которые не упокоились. Им надо было принести жертвы, чтобы эти навьи перестали тревожить живых. Это было очень мрачно. Мрачный был пантеон.

Но были в нем и очень милые создания — домовые. Домовые, которые подразделялись буквально по месту жительства. Были такие домовые, как баннушко, который, как вы понимаете, жил в бане. Был овинушка, который жил в овине. Очаровательные были такие дедки, типа врубелевского Пана (внешне), даже не языческие, а доисторические, милые, домашние, вроде котят. Такие очаровательные хранители тепла домашнего очага. Это было очень мило. Но мы с вами знаем, что по своим гуманистическим наклонностям славяне превосходили всех тех, с кем мы до сих пор встретились. С этим всё было в порядке.

Не хватает чего-то еще. Скажем, был Перун. Бог элитарный. Бог, которому поклонялись воины. Даже иногда тайно. Он был не для всех, он был только для избранных. Ему поклоняться было престижно. Был Лель. Бог весны, бог песни. Была Лада, которую мы делили иногда с западными славянами. Богиня красоты, богиня весны. Но лишнего абсолютно ничего не было.

Если сравнивать это с эллинским пантеоном, где были такие абстрактные понятия, как Парки, — Клото, Лахесис, Атропос, — которые выпрядали нить человеческой жизни, могли ее ножничками перерезать, то у нас пустошато. Такие Парки свидетельствуют об абстрактном мышлении. Об очень древнем абстрактном мышлении.

О попытке постигнуть мир. Этого у нас не было начисто. Богинь Судьбы или духов, которые мстят за нарушение неких правил, Эвменид. У нас не было Эвменид, не было Эриний, они исчезают совершенно. У римлян, впрочем, тоже их не было, но римляне приобрели вместе с завоеванной Элладой весь эллинский пантеон, и они очень хорошо им попользовались, эти цивилизованные римляне.

У нас этого нет. Наш пантеон — он сугубо утилитарен, он на каждый день. Всё есть для будней, нет совершенно ничего для праздников.

А посмотрите, что у скандинавов. Такая же, в общем-то, скудная жизнь. Тоже очень далеко до Эллады. Да и не получали они ничего оттуда. Ни из Рима, ни из Эллады, поскольку пшеницы у них не было, торговать было нечем. Чем они могли торговать? Они могли только ограбить какое-нибудь поселение, но даже самые внимательные греческие или римские историки не зафиксировали ни одного случая, чтобы к ним пришли скандинавы, викинги и кого-то там ограбили или в полон увели. Поэтому им досталось еще меньше.

Но смотрите, у них есть необходимые боги. Бог Один, скажем, который заменяет нашего Сварога. Есть бог Тор, который вроде бы отвечает за то же, за что отвечал Гефест у эллинов, за воинские искусства, за ремесло — защитник богов. Его так и изображают с Мьельниром, с молотом. Защитник богов и людей. В то же время он отвечает и за молнию, и за гром. Значит, за плодородие, за посевы. Очень много функций. Есть пара, которая есть у всех. Бальдур — молодой прекрасный бог. Бог весны, бог новой жизни. Фрея — богиня любви. То, что у нас Лада, — у них Фрея. Вроде бы всё то же самое. Есть бог огня, с очень плохим характером, такой провокатор — бог Локи. Но есть и кое-что новое, чего нет у нас. Был, например, такой малоизвестный бог, который отвечал за поэзию скальдов. Представьте себе! Это то, что должно было заменить муз и Аполлона.

Заметьте, у славян нет бога искусства, вообще этого нет. Никакого Аполлона нет. На Артемиду, положим, еще могут тянуть Велес и Хорс, потому что они отчасти за охоту отвечали. Но никто не отвечает за искусство.

Конечно, этот несчастный бог — это не то что двенадцать муз и не то, что Аполлон, но все-таки скандинавы не совсем обделены. И вот что самое интересное — у них есть Норны. Норны — это богини Судьбы. Приговор Норн выше воли богов. Боги ничего не могут сделать с этим приговором, они не могут его отменить. Есть то, что довлеет над богами, — неумолимая Судьба. Есть понятие Судьбы. То есть мы знаем — есть абстрактное мышление, есть метафизика, есть порыв в трансцендентное. Это уже присутствует. И потом, боги скандинавов, весь этот пантеон вступает в очень интересные отношения между собой. Здесь целая история. Можно писать романы. Они и были написаны. В какой-то степени саги — это романы. Так же, как несколько томов греческих мифов, где боги ссорятся, женятся, разводятся, всячески задирают смертных, грешат. Точно так же боги скандинавов, которые называются Асы (их даже не принято было называть богами). Их называют Асами, и их обитель выше Земли называлась Асгард. Они тоже вступают между собой в очень интересные отношения. Ищут золото нибелунгов. Вагнеровская эпопея очень хорошо об этом рассказывает. Фрею пытаются отдать в обмен на это самое золото. Фрея имеет золотые яблоки, которые делают богов вечными, а без этих яблок они умрут, как смертные.

Очень интересное представление о том свете. У славян всё было очень просто. Умирает человек, надо упокоить его дух, чтобы он не превратился в навью. А у скандинавов начинаются приключения за гранью смерти. Есть Асгард — обитель богов. Есть срединный мир, где живут люди — Мидгард. Есть, наконец, царство усопших, которым владеет волшебница Хель. Так вот, всё зависит от вашей смерти, от того, как вы умрете. Если на солоне — это страшно. Если вы умрете в своей постели, если вы умрете от болезни, если вы умрете от старости, ничего хорошего вас не ожидает. Дальше вы попадаете в это неинтересное царство Хель и будете там блуждать и скитаться. Не ждите никаких занимательных вещей. А вот если вы погибли, как должно, с мечом в руках!.. Обязательно надо было погибать в бою. Запомните это, потому что часть этого завета перейдет и в наши жилы.

Когда мы смешаемся с варягами, скандинавская традиция включит в себя и это. Если вы умрете как должно, вы попадаете в Асгард. В обитель бога Одина. И вы будете прекрасно проводить время. Каждое утро вы будете выходить на равнину и сражаться с богами и с другими такими же счастливыми. То есть просто будете ловить кайф, а вечером будете пировать в обители Одина, и вам будут подавать мед сами валькирии.

Очень интересная роль у женщины в скандинавском пантеоне. Можно считать, что это какая-то замена легенды об амазонках. Были амазонки или нет, это неизвестно, но была Артемида-воительница и была легенда об амазонках. И вот скандинавский аналог: девы, которые на поле брани подбирают мертвых героев и несут их в обитель Одина. Валькирии. Нет более прекрасной музыки, чем та часть тетралогии Вагнера, оперы «Валькирия», где звучат совершенно божественные звуки, когда они спускаются на поле битвы, хотя, казалось, женщины должны бежать за десять тысяч лье от этого поля. Этого нет! Они туда спускаются, они счастливы, они видят павших героев, и они несут их в Асгард. А потом в Асгарде они будут подавать им мед. Они будут обносить их медом. Более того, всё гораздо сложнее, есть еще некий Ясень Иггдрасиль, который пронзает семью семь Вселенных. Вот это абсолютно лишнее. Это роскошь.

Это роскошь для пантеона убогой северной страны, бедной страны, которая никогда не знала золотого солнца античности, этого непреходящего сияния знания и искусства. Это у них есть. Они, эти викинги, такие на вид неотесанные, тем не менее мыслят и страдают, и об абсолютно лишнем вещах! Дальше — больше. Есть еще вещи, которые практически не встречаются ни в одном пантеоне мира. Этим располагали только скандинавы. И, может быть, это и объясняет то, что у них самая ранняя многопартийная система, и то, что они, в конечном итоге, дали эту прививку свободы к разным европейским деревьям.

Есть у них и представление о конце света. О часе Рагнарок, или Рагнаради, когда злой волк Фенрир вырвется из своих пут и когда наступит последний час битвы. И в этой битве со Злом и Фенриром погибнут

все асы и все герои. И тогда наступит конец света. То есть представление о конце света — самое мрачное. Они жили с этим, со смертью в душе. И это их не подвигало ни к отчаянию, ни к депрессии. Они жили, зная, что впереди будет час победы абсолютного Зла. Тем не менее они держали в руках этот меч, не выпускали его до смертного часа.

Я очень вам советую посмотреть фильм «Викинги». Это старый фильм, не нашего поколения, английский. Может быть, где-то можно купить кассету. Вы увидите там какие-то элементы менталитета викингов. Страсть к смерти с мечом в руках. Там будет эпизод, когда даже враг этого самого викинга даст ему в последний час в руки меч, чтобы он мог попасть в Вальхаллу, или Валгаллу. Эта обитель богов и героев в чертоге Одина, где будут посмертно пировать и сражаться герои, называется Вальхалла. Вальхалла — это высшее отличие для земнородного. Вальхалла — это последний экзамен. Если ты выдержал последний экзамен, ты попадешь в Вальхаллу. Вальхалла — это удавшаяся жизнь. Тот, кто не попал в Вальхаллу, может считать, что он неудачник.

С подобными намерениями, с подобными взглядами на мир, с подобными тенденциями люди, которые всё это выдумали, которые с этим жили, должны были быть абсолютно свободными людьми. Чем можно запугать тех, кто живет с представлением о часе Рагнаради и о последней битве с волком Фенриром? Чем можно запугать тех, кто хочет умереть в бою? Тех, кто не хочет дожить до старости, тех, кто не хочет умереть своей смертью? Чем можно запугать таких людей? И действительно, ни в летописях, ни в хрониках, нигде нет ни единого упоминания о том, что хотя бы один викинг, один скандинав был обращен в рабство. В плен на юг, на невольничьи базары уводили очень многих, продавали очень многих. Продавали славян. В римские времена продавали кельтов. Продавали жителей далекой Британии после похода Цезаря. Скандинавов нельзя было продать. Они умирали с мечом в руках.

Во-первых, никто так высоко не забирался, там нечего было взять. Не было смысла в экспедициях на крайний север, в Скандинавию, на территорию сегодняшней

Швеции, Дании. Это тоже спасало. Но, с другой стороны, никаких рабов на территории древней Скандинавии не было. Они были у всех во время оно. Они были у саксов, они были у франков. Довольно рано это кончилось, но вначале они были. У славян мы упоминаем о неких рабах и челядинцах встречаем вплоть до X—XI веков. И нельзя сказать, что были какие-то восстания. Никаких Спартаков на Руси не было. Все терпели. А вот скандинавов нельзя было обратить в рабство. И это они тоже передали нам. Как эстафету. Когда к нам пришли. Это был очень щедрый дар, не считая многопартийной системы.

Посмотрите: X век. Скандинавия еще не объединена. Норвегия всё время переходит из рук в руки. Иногда в Норвегии два короля. На такую крошечную страну, где фактически одни фьорды, согласитесь, это слишком много. Но при этом есть партии, их иначе не назовешь.

Если в Риме, достаточно позднем Риме (уже в классическом, золотом) было две партии — оптиматы и популяры (как вы догадываетесь, популяры были якобы за обездоленных, конечно, не за рабов и даже не за бедных свободных земледельцев, а просто за тех, кто не был ни всадником, ни сенатором; а оптиматы, можно считать, — партия власти типа НДР, только несколько более аристократическая), то у скандинавов в одной Норвегии такое изобилие, что просто глаза разбегаются. Во-первых, баглеры. Баглеры выступали за хёвдингов. Кто были эти хёвдинги? Собственно, они были начальниками: конунги, предводители дружин, ярлы. Можно сказать, что ярлов было по одному на страну. Много ярлов быть не могло. Это было первое лицо после короля. В общем, начальствующие люди — это хёвдинги. Баглеры выступали за них. Были биркебейнеры, которые выступали за городских жителей, за незнатных людей. Но при этом еще были и слиттунги, при этом были и риббунги. В общем, кого только не было. И это — именно партии. Это не племена. Это не радимичи, не вятичи, не кривичи. Они не по территориальному признаку определялись. Они определялись по своему отношению к некой идее.

Многопартийная система, которая появляется в XI веке! Согласитесь, это что-то да должно означать. Конечно,

они не заседали в парламенте. Все дела решались скандинавами на тинге. Тинг — это был такой весьма оригинальный парламент, типа нашего вече, но допускались туда только воины, только те, кто держал оружие в руках. И все вопросы войны, и мира, и выбора власти решались на тинге. Недаром сегодня норвежский парламент называется стортинг. Эти корни остались в языке, воспоминание об этом осталось.

Во Франции политические партии появятся по-настоящему в XIX веке, даже если первой партией считать третье сословие, хотя оно не было оформлено как партия. Пусть даже в XVIII веке. Но это будет через семь веков.

В Англии это произойдет примерно в то же время, в XVIII веке. В Соединенных Штатах это вообще не могло произойти раньше XIX века. Про нас я и не говорю. Когда у нас появились первые политические партии, вы знаете не хуже меня: после царского манифеста 1905 года.

А здесь XI век — и политические партии! Пользы от них особенной не было. Они раздирали страну в клочья. Биркебейнеры все время убивали баглеров и наоборот. Брат убивал брата по политическим мотивам. Но эта жестокая рознь давала гарантию от тирании. Она давала гарантию некоего ученичества, школы политической жизни, страсти к политической свободе. Потому что не бывает бесформенной свободы. Свобода всегда как-то оформлена, и то, что у нас не было медной или бронзовой рамки с римским законодательством, — это очень нам помешало. Потому что высшие свершения человеческого духа в сфере свободы проявляются только тогда, когда крылья бьются о какие-то стены, о какие-то законы, о какие-то запреты, о какие-то установления.

Если крылья не бьются ни обо что, если можно лететь куда угодно, это неоформленная, бесформенная свобода, и она называется иначе. Она называется — воля. Она чаще приводит к Дикому полю, к пугачевскому бунту, к абсолютному отсутствию политической и государственной жизни и вообще каких бы то ни было следов цивилизации, чем к парламентам, политическим партиям, к конституциям, к Великим хартиям вольности.

Итак, скандинавы были беднее славян. Поэтому они и ходили в насельники, поэтому они и получали жалованье

и от Ярослава, и от Владимира, и от Святослава, но никак не наоборот. Поэтому они пришли на Русь. Потому что было чем поживиться. Несмотря на их видимую бедность, они могли очень много дать, и они дали очень много. На самом деле, это не было завоеванием; это было взаимным обогащением. И таких скандалов, как с Вильгельмом Завоевателем, который еще два поколения бился с саксами, и двести лет выяснялось, кому все-таки достанется будущая Великобритания, не было. То, что написал Княжнин о Вадиме, последнем сыне вольности, который якобы восстал против варягов и был ими казнен, — я уверена на все 100 процентов, что это было написано постфактум, когда возникла идея третьего пути. Она достаточно рано, к сожалению, возникла, эта идея самостийности, идея державности и идея Третьего Рима. Дабы доказать, что мы ни в чем не нуждались и были лучше всех, и была написана Княжниним, законченным славянофилом, а не западником, эта поэма — «Последний сын вольности». На самом деле и в основании Новгорода, который древнее Киева, очень сильно поучаствовали скандинавы.

Именно поэтому Новгород, в отличие от Киева, имел развитую гражданскую и политическую систему. И, по сути дела, повторял устройство Афин и древнего Рима. Это не случайно. Почему не Чернигов? Почему не Любеч? Почему не Ростов Великий? Почему не Киев, который был намного богаче, который стоял на перекрестке всех торговых путей? Почему именно Новгород имеет эту гражданскую структуру, почему ее имеет Псков? Скажите спасибо варягам. Алексей Константинович Толстой, к которому мы будем часто припадать, потому что он прекрасно, в пародийной форме, прошелся по всей нашей истории от начала ее и до конца, описывает эти события абсолютно анекдотически.

Послушайте ребята, что вам расскажет дед:
Земля наша богата, порядка в ней лишь нет.
А эту правду, детки, за тысячу уж лет
Смекнули наши предки: порядка-де, вишь, нет.
Тут встали все под стягом и молвят: «Как нам быть?»
Давай пошлем к варягам, пускай придут княжить.

Ведь немцы тароваты, им ведом мрак и свет.
Земля ж у нас богата, порядка только нет».
Посланцы скорым шагом отправились туда
И говорят варягам: «Придите, господа!
Мы вам отсыплем злата, как киевских конфет,
Земля наша богата, порядка в ней лишь нет».
Варягам стало жутко, но думают: «Что ж тут?
Попытка ведь не шутка — пойдём, коли зовут».
И вот пришли три брата, варяги средних лет,
Глядят — земля богата, порядка ж вовсе нет.

Это были знаменитые Рюрик, Синеус и Трувор, из которых мы доподлинно уверены в существовании только Рюрика. На самом деле это не основание для того, чтобы комплексовать. Варяги пришли не только к нам. Они пришли ко всем. Они пришли и к франкам, они пришли и к саксам. Я не замечаю что-то ни в английской, ни во французской истории споров — до хрипоты, до пены у рта, до поножовщины — по поводу того, замутили они самобытность или не замутили. Пришли они призванные или пришли они не призванные. То есть никто по этому поводу совершенно не беспокоится, потому что потом были созданы единые народы. Потому что кровь варягов, кровь саксов, кровь франков смешивается в одном сосуде и получается некий новый драгоценный состав.

Но не забывайте о том, что история франков и будущих англичан — это благополучная история. Это история со счастливым концом. Помните наш стадион? Они на этом стадионе бегут впереди. Наша история — это история спортивного поражения. Пока, до сего момента. Поэтому, именно поэтому возникают споры на уровне поножовщины. Пришли викинги или они были призваны?

Неудача подвигает людей к тому, чтобы они стали докапываться до квинтэссенции, и отношения в русской истории, как на поле боя, выясняются до сих пор. И вы встретите это при любом эпизоде у любого историка. Потому что любой историк на самом деле знает, какое место на этом стадионе мы занимаем, что бы он ни говорил. Историк — всегда грамотный человек, он знает историю, и даже если он напишет что-нибудь абсолютно

наоборот, даже что-нибудь очень лестное, и скажет, что так и надо, — все равно то, что мы глотаем пыль от ушедших далеко вперед спортсменов, он знает. Поэтому он будет отстаивать истину 1800 года, или истину XI века, или истину XII века так, как будто от этого зависит его жизнь. Потому что судьбы русского народа еще не решены. Потому что мы всё еще не доиграли эту партию. Эта партия доигрывается и на этом поле, на поле прихода варягов.

Они приходят и начинают как-то организовывать славян для самозащиты. Они выбирают себе, естественно, полян, потому что платили им поляне, и поляне делаются доминирующим народом, хотя этнически они ничем не отличались от древлян. Они делаются доминирующим племенем. Всё остальное постепенно собирается под метелочку, но собирается достаточно мягко. И собирается не в жесткие рамки империи, а в такую мягкую подушку, которая существует — или не существует — в зависимости от исторической надобности.

К сожалению, жесткая организация ими не была задана с самого начала. Может быть, еще и потому, что это были славяне, мягкие славяне, не склонные к жестким формам государственного строительства. Тогда они не были склонны. Помните, византийская традиция впереди. Ордынская традиция пока еще впереди, пока еще этого нет. И, значит, жесткая самоорганизация, такая как в Англии и будущей Франции, невозможна. Не забудьте, еще и католического Рима нет. Нет основ для жесткой организации. «Салическая Правда» и «Правда Ярославичей» — это совсем не то, что римское законодательство. Невозможно организовать на этой бескрайней территории, когда постоянно есть куда уходить. Допустим, ты сегодня организуешь нечто, а завтра у тебя откроют дверь и просто уйдут, потому что есть куда уйти, потому что слишком много воли, слишком много земли. И, заметьте, можно всё.

Крайняя несвобода, которая настигает славян впоследствии, — возможно, это размах маятника. Это расплата за ту первичную волю, когда можно было фактически всё, когда не было никаких запретов. Полное отсутствие самоограничения. Это расплата за то время,

когда у славян не было ни казней, ни пыток, ни даже тюрем. Если они довольно рано появляются в Западной Европе, то мы фактически до монголов не знаем ничего, кроме поруба. А что такое поруб? Это такая односторонняя каморка, куда сажают случайно попавшегося не идейного противника, а, скажем, так: территориального врага. Посидит он там немножко, потом князья договорятся, потом его выпустят. Поруб — это даже не тюрьма. Это такой домашний арест в мягкой форме. Нет тюрьмы. Есть какие-то наказания в Правде Ярославичей, но это наказание вергельдом, так же как и в Салической Правде. Одни штрафы. Ежели ты кого-то убил нена роком, или глаз ему выбил — заплати, убыток уплати. Восстанови статус-кво. Никто не будет тебя карать за содеянное ни с моральной точки зрения, ни с исторической. Фактически ты можешь откупиться от всего. Потом уже появляется такое понятие, как церковное покаяние за убийство раба, когда не нужно ничего платить.

Здравая система. Может быть, более здравая, чем наше нынешнее правосудие. Понятие вины абсолютно отсутствует в этом кодексе. Есть понятие возмещения убытка. Нет понятия вины. Римское законодательство все-таки предполагало некую юридическую ответственность. Потом, не забудьте, что есть вервь, есть круговая порука, чего никогда не будет ни в Риме, ни на территории древней Британии, ни на территории древней Франции.

Положим, они пришли, и получился довольно интересный сплав. Что у нас получается в результате, когда прибавляется скандинавская традиция? Благодаря Сергею Маркову мы видели, что такое славянская традиция в чистом ее виде.

Благодаря Александру Блоку мы знаем, что такое сочетание трех традиций: славянской, скандинавской и традиции Дикого поля. Иногда вещи, которые настолько тонки и принадлежат не к сфере реального, а к сфере иррационального, описать невозможно. Это лучше увидеть. И чтобы это увидеть, у нас есть Александр Блок, который описывает чистую ситуацию этих трех традиций, той смеси, которая дает великое искусство. То, что получилось в результате. Он описывает это в своем цикле «Скифы». Хотя не о скифах здесь идет речь.

Стихотворение можно отнести к XIII или к XIV веку.

Мы стоим на пороге византийской традиции. Еще немного, и у нас прибавится традиция, которая потянет нас вниз. Скандинавская традиция поднимала нас ввысь, византийская традиция потянет нас вниз, в бездну.

Давайте зафиксируем тот срез общественного сознания, который у нас вырабатывается на грани внедрения византийской традиции.

Опять с вековой тоскою пригнулись к земле ковыли.

Опять за туманной рекою ты кличешь меня издали...

Умчались, пропали без вести степных кобылиц табуны,

Развязаны дикие страсти под игом ущербной луны.

И я с вековой тоскою, как волк под ущербной луной,

Не знаю, что делать с собою, куда мне лететь за тобой!

Я слушаю рокоты сечи и трубные крики татар,

Я вижу над Русью далече широкий и тихий пожар,

Объятый тоскою могучей, я рыщу на белом коне...

Встречаются черные тучи во мглистой ночной вышине.

Вздываются светлые мысли в растерзанном сердце моем,

И падают светлые мысли, сожженные темным огнем...

«Явись, мое дивное диво! Быть светлым меня научи!»

Вздывается конская грива... За ветром зывают мечи...

Здесь уже всё это есть. Есть беспечность и мечтательность славянина, его твердость, его человечность, скандинавские гордыня и одиночество, тоска Дикого поля.

Викинги имели предельно свободную экономику. Лучше, чем в Англии. В Англии были не одни только йомены, и вообще-то йоменов сильно притесняли. И жили они довольно скверно под властью феодалов. И тогда приходилось уходить в леса. В Шервудский лес пришлось уйти свободным йоменам под предводительством Робин Гуда.

Бондам, скандинавским крестьянам, никуда уходить не нужно было. Свободный, незнатный земледелец мог иметь небольшой надел, мог иметь большой надел, мог иметь дружину. Конунга он выбирал самостоятельно на тинге. Конунгу он подчинялся добровольно и только во время похода, а так на своих землях он был абсолютно независим и никаких феодальных повинностей по отношению к королю, которому он служил добровольно, не нес. Сплошная страна свободных людей.

И вот они к нам приходят и привозят с собой, кроме свободы, в обозе свой словарь. Было у них такое слово: «дроцмен». Пройдя через финно-угорские земли, это слово, которое означает копье и одновременно дружину, теряет первый и последний слоги. Остается «роцмен». И вот от этого «роцмена» и образуется слово «русь». И несколько веков (с IX по XII) слово «русь» будет означать дружину, привилегированный слой викингов, пришедших на Русь, свободных воинов, то есть «русский» в переводе на исторический язык означает «воин». Встречаются где-то под Киевом два понятия: «русь» и «рось». Была там речка Рось и было Поросье. Местное славянское Поросье встречается со скандинавской Русью. Итак, русский — это воин, и русы, в отличие от россов, о которых так часто любит говорить Александр Сергеевич Пушкин, были исключительно воинами, дружинниками тех самых князей-конунгов, которые пришли на Русь. И на самом деле не было Игоря, был Ингвар. Мы его превратили впоследствии в Игоря. Он сам добровольно приспособился к языку той земли, куда они пришли. И Ольга была Хельгой. Свенельда даже преобразовать не смогли. Как был Свенельд, так и остался. Славянские имена в древние времена — Светлана, Преслава, Доброслава — смешиваются со скандинавскими именами. И мы видим их в следующей совершенно невообразимой ситуации.

Казалось бы, прививка свободы есть. Уже всё произошло. Но земля — она древняя. Она древнее любых завоеваний, и те, кто живут на земле, несут в себе тот закон, который дан им судьбой при рождении. Преобразовать земельные отношения Руси, той самой Руси, которую они назвали Русью, варяги не смогли. Создать бондов, как вы понимаете, на земле, продуваемой бешеным ветром набегов кочевников, где нельзя быть уверенным в завтрашнем дне, где община была единственным способом выжить — частокол, община, городище, объединение людей, — они не сумели.

И поэтому у нас получается иное. Очень интересная социальная структура. Социальная структура, которая дает возможность любым вариантам развития. Пока еще все двери раскрыты, пока еще не закрылась ни одна

дверь, пока еще всё нам подвластно. Есть, естественно, сам князь — конунг, который не владеет людьми, который приглашен, по сути дела, в город на княжеский стол и может с этого стола слететь по воле горожан. И тогда они призовут другого князя. Нет еще лествичного права, нет еще княжеских снемов. У нас IX век. Досвятославово время. Всё еще свободно, всё взаимозаменяемо. Этот самый конунг имеет при себе дружину, княжих мужей, которые впоследствии станут боярами, и отроков или детскую часть, детинец, молодых дружинников, которые еще набираются ума-разума, в совете не участвуют.

Скандинавы приносят интересное правило. Правило первобытного парламентаризма. Считалось хорошим тоном, чтобы князь советовался с дружиной. Это еще нигде не было записано. Это не была конституция. Но это была традиция. Традиция, принесенная из Скандинавии. Попробуй там с тингом не посоветуйся. Завтра на этом тинге провозгласят другого ярла, другого короля, если ты потеряешь доверие своих воинов. И не только своих, но и чужих! Постоянно приходилось утрясать что-то, постоянно приходилось идти на компромиссы. То есть конунги в Скандинавии вели очень бурную политическую жизнь. Они много чему научились, и это долго сохраняется на Руси. Советоваться с дружиной, решать все дела в таком парламенте, где князь — первый среди равных, где он выслушивает совет, обязан был каждый властитель.

Отголоски всего этого — боярская Дума, которую абсолютно перестанут слушать при Иване Третьем. Не при Иване Четвертом! При его деде Иване Третьем. Ивану Четвертому не придется ликвидировать свободу, ее ликвидировали при Иоанне Третьем. Ее, в общем-то, даже раньше ликвидировали. Мы увидим, с какого века, с какого года и даже с какого поворота она начнет ликвидироваться.

Но пока она у нас бескрайняя. Значит, с одной стороны, это такое либеральное политическое устройство. Город может чихать на всё это, в городе своя власть. В городе властью являются старцы градские, или лучшие нарочитые люди. Как бы городская аристократия. Это не купечество, это знатные люди, это те самые бывшие воеводы, это бывшие предводители родов, это бывшие

главы этих родов — старцы градские. Они и решают, кого пригласить в князья, они-то и выплачивают им жалованье. Ведь отношения князя с землей были сложные. Князь — это то, что в Риме впоследствии называли диктатором, он избирался на время войны. Ганнибал у ворот — избирают диктатора. Ганнибала нет в Италии — диктатора переизбирают. Задержаться на этом месте удалось только Сулле и Марию. Возможность составить проскрипционные списки была только у них. Но, простите, это уже I—II века до н.э.

До этого ни у кого не было такой возможности. Князь — это, по сути дела, военный предводитель, который должен заниматься еще и сбором налогов. То есть такая ходячая налоговая инспекция. Нынешняя налоговая инспекция еще счастливая. Если бы их так заставили налоги собирать, как князь собирал налоги, они бы и вовсе все уши прожужжали обществу, что они отказываются от работы и ни одного рубля налогов в казну не соберут.

Князь ходил на полюдь. То есть надо было садиться в ладью, сплавляться до какого-то поселения, жить там всю зиму, кормиться, собирать эти налоги мехами и потом везти в Царьград и лично продавать. Военное купечество Руси образовывалось не как третье сословие.

Вначале это были те самые варяги, нарочитые лучшие мужи. Они же и продавали всё в Царьграде (в Константинополе). Они же выручали деньги. На Руси было много золота и серебра, потому что наши меха ценились. Но на полюдь могли произойти и неприятные инциденты. Налогового инспектора могли просто прикончить, как прикончили Игоря, за то, что он хотел взять много налогов. Ему бы сказать, как Лившицу: «Надо делиться», — но он, видно, не знал этих магических слов. Рассказам о том, что он пошел по второму разу, не следует очень доверять. Просто налоги на Руси платили очень неохотно. Надо было их выбивать с мечом в руках. Поскольку договорного права не было, законы все были неписаные, государственное устройство было воздушное, условное, приходилось получать эти налоги с оружием в руках. Бывали неприятные инциденты.

Еще что мы имеем? Мы имеем абсолютно непонятную фигуру: огнищанина. Очень долго выяснял историк

Греков, кто это был такой, и выяснил, что это был крупный землевладелец, помещик, даже рабовладелец (ему могли дать и рабов!), но, к сожалению, он не был независим. Он вынужден был договариваться с князем или со старцами градскими. То есть он держал свою землю или от этих, или от тех. Это не был лендлорд: абсолютно независимый феодал, герцог, барон, который по древнему праву, получив от предков свое имение, сидел в Альбионе и мог решать, дать королям денег на Столетнюю войну или не давать. Знаете, почему Англией была проиграна Столетняя война? Не потому, что английские войска были хуже французских, и даже не из-за Жанны д'Арк, которую англичане до сих пор не переносят и пишут ужасные гадости о ней, хотя, казалось бы, можно уже было с XV века простить и забыть всё это. Но они помнят пять веков, что она сделала. (Денег на войну английским королям не дали именно лендлорды.) Всё уже было. И парламент был, и палата общин была, и Великая хартия вольностей была. Не дали денег, сочли, что это нерентабельно: владение на континенте. А без денег нельзя было вести войну. И взять насильно ничего было нельзя, потому что действовало договорное право, потому что войско английского короля состояло из тех самых отрядов, которые ему предоставляли независимые герцоги и бароны. То есть от них зависел король, но не они зависели от короля. Абсолютная, полная независимость. Да, договорная свобода, полная социальная дифференциация, очень привлекательная структура, которая на этом острове дошла до апогея. Именно поэтому общественное устройство Великобритании давало больший уровень свободы, чем французское.

Во Франции было сложнее. Там были вилланы — абсолютно не свободные крепостные (йомены, не забудьте, крепостными не были). Йоменов теснили, но они были лично свободны.

А у нас что было? Посмотрите, что делалось у нас в этой сфере. Огнищанин — это не лендлорд, он тоже несвободен. Он даже не омажем связан, как французские феодалы с королем, которые были обязаны содействовать при свадьбах, при крестинах, при военных походах. Степень свободы ниже, намного ниже, чем в Англии,

даже ниже, чем в Испании. Хуже того: полностью несвободные крестьяне, которые даже не имели своей земли. Смерды — так называли крестьян в те времена (X—XI вв.) на Руси. Они имели свои орудия, но их сажали на землю, это была не их земля. Они должны были платить определенную ренту или натурой, или деньгами. Эта земля принадлежала или городу, или самому огнищанину (на самом деле она была не его, он держал ее от князя). А у князя как таковой земли не было. Он мог давать имения, но право на имения надо было все время подтверждать с оружием в руках. То есть он мог дать земельное владение, конечно, но он мог и потребовать. Это были бояре его дружины: по первому зову встали и пошли. Не стали решать, ходить или не ходить, уже никаких тингов, а встали и пошли, потому что землю они держат от него.

То есть это страшная ситуация. Что у нас есть еще, кроме смердов? Челядинцы. Челядинцы — это те, кто был членом некой фамилии, как в Древнем Риме, абсолютно лично несвободные. Что-то среднее между рабами и вольноотпущенниками. Даже не клиенты. Клиенты были материально зависимые (была некая традиция поддерживать своего патрона), но они лично были абсолютно свободными. Никакой договор, никакой закон их свободы не лишал. Не забывайте, что Рим — это царство, где действует закон. У нас челядинцы несвободны полностью. А еще что у нас есть? Есть у нас рабы. С ними все ясно. Есть холопы. С ними всё еще более ясно, даже и рассказывать не нужно, сколько и чем нужно было платить и что они делали. И есть потрясающая тяга к личному закрепощению.

Вот откуда крепостное право. Оно стоит на трех китах. Эти три кита называются: «вдач», «рядич» и «закуп». Три варианта личной добровольной зависимости. Чего-то не хватило — ты отдаешь часть своей свободы или на определенный срок, или навечно как бы закабаляешься, или отдаешь сына в кабалу. Вдач — вдаешься во что-то. Рядич — рядишься о чем-то. Закуп (скажем, ролейный закуп, там очень много разновидностей, это нас не должно интересовать) — просто куплен. Но ни грамма личной свободы земледельца, у которого были бы и земля, и орудия, как у бонда, как у йомена, мы не высосем из этого социального устройства.

К сожалению, самым большим несчастьем на Руси считалась абсолютная личная свобода, когда тебя никто не кормит. Быть изгоем — это было величайшее зло. Что такое был изгой? Изгой — это был человек вне социальной иерархии, который ни у кого ничего не успел взять, никому ничего не успел задолжать, который жил сам по себе. Это считалось бедой. Осиротевший князь, который не успел получить наследство (по лествичному праву, если отец умирал раньше своего сына, то дед не мог через голову отца оставить внуку что-то, не мог оставить ему Стол), делался изгоем. Ему где-то там нарезали кусочек земли с селами или не нарезали, но он считал себя несчастнейшим из людей. Поп, не умевший грамоте, был изгой. И человек, не входивший в социальную структуру, который не получил землю, не сел на нее, как смерд, со своими орудиями, в холопы не пошел (не взяли его ни во вдачи, ни в рядичи, ни в закупы), — становился изгоем. Да, конечно, человек, который был сам по себе, мог пропасть на Руси очень легко. Гораздо легче, чем в других местах. Не забывайте: ветер, раскаленный ветер из степи.

В этот момент уже появляются половцы. Очень легко было утащить, продать в вечное рабство. Отделившийся человек даже со своей семьей выжить фактически не мог. На юге это исключалось. Власть Киева кончалась там в двух днях пути от него. Кони проходили это расстояние очень легко.

Но не забывайте о правиле большого спорта, которому подчинена история. Никого не интересуется, почему вы не добежали. Никого не интересуется, что у вас были тесные кроссовки. Никого не интересуется то, что вы не были тренированы. Никто не дает выстрел старта в одно и тоже время. Главное, на финише вовремя оказаться. И никто не учитывает наших трудностей. Наши трудности — это только наши трудности. Поэтому то, что склонность к личной свободе была фактически исключена для мелкого земледельца самими историческими условиями, — это не оправдание. Это камень, еще один камень нам на могилу. Это не оправдание ни перед историей, ни перед самими собой, потому что наши оправдания историю не интересуют, как не интересуют

спортивного комментатора оправдания не добежавшего спортсмена. Кто не успел, тот опоздал.

Социальная дифференциация Руси исключает свободу высших, независимость от власти (как от власти города, так и от власти князя), и свободу низших, то есть свободу земледельцев. Это зерно величайшего конфликта и величайшего несчастья. Это прививка исторической чумы, почти непреодолимой. Вы разрежали это яблоко и вы видите, что в нем поселился червь.

И последнее, что с нами случилось на грани веков в начале истории, — это христианство. То, что мы приняли его не из тех рук и даже не ту его разновидность, — тоже зло.

Исторически, даже географически нам неоткуда было взять христианство, кроме как из Византии. Да, наши князья, которые уже наполовину славяне, а наполовину скандинавы, ходили в Византию. Торговали с Византией, завоевывали Византию. Их сжигали греческим огнем или не сжигали. Они женились на греческих принцессах или не женились, но монахи с письменностью и христианством пришли оттуда. Оставим расхожий анекдот насчет того, что Владимир устроил некий смотр и выбирал себе религию по принципу чисто питейному. Поскольку ислам не разрешал пить спиртные напитки, он выбрал христианство. Конечно, это полный исторический анекдот или полный исторический идиотизм. На самом деле всё было значительно проще.

Одним из условий женитьбы на багрянородной царице, то есть на византийской царице, было принятие христианства. То, что для Ольги — Хельги было ловким политическим ходом, чтобы получить какие-то временные выгоды, для Владимира стало тенденцией. Удачная женитьба, удачный военный союз. Вообще-то славяне давали войска Византии, а не наоборот. Они в нас нуждались. Конечно, можно было поторговаться, но кто нас мог этому научить? Кто нас мог научить основам договорного права? Славяне были наивны. Викинги, которые с нами смешались, не видели в принятии христианства большого зла, тем более что сама Норвегия где-то в XI веке, даже на век позже, чем Русь, принимает христианство. Но они христианство приняли несколько иначе. Они приняли

христианство римское, католическое христианство. Они приняли его с Запада. Они не приняли его с Востока. И когда оно наложилось на их политические основы, на их политические истоки, на склонность к абсолютной свободе, это было уже что-то абсолютно другое.

Мы же принимаем магическое христианство. Квадрат — это аполлоновский человек. Душа аполлоновского человека — структура всех греческих храмов. Парфенона, Эрехтейона, Тезейона. Они выражают адекватность. Они выражают приятие мира таким, какой он есть. Отсутствие даже самого желания бороться с Судьбой. Судьба — это то, что дано свыше. Судьбе нельзя противиться. Чему угодно можно противиться, только не Року. Это приятие солнечного мира Эллады аполлоновским человеком, радостное приятие. Это душа аполлоновского человека...

Лекция № 3

РУСЬ ССЫЛАЮТ НА СОЛОВКИ

Византийская традиция включала в себя не только формулу веры. Она включала в себя формулу государства. И поскольку эта традиция была воспринята из рук деспотии, примитивной, тяжелой, восточной деспотии, от Востока не креста, как мечтал Владимир Соловьев, а Востока именно Ксеркса, то, разумеется, здесь и речи быть не могло о какой бы то ни было дифференциации интересов и позиций.

И речи не было об этой первоначальной дуге интересов с катодом и анодом, благодаря чему в Средневековье сохранялись некоторые свободы для тех, кто был готов и мог ими воспользоваться. То есть, конечно, сначала для сеньоров. Но здесь и для сеньоров ничего не светило. Потому что если нет сильной духовной власти, дерзкой, надменной, независимой, плюющей на земные авторитеты, низлагающей королей и царей; если эта знаменитая духовная власть обречена толкаться в прихожей у светской власти, если она будет так же лизать ей руки, как это делала Московская патриархия и при царях, и при

генсеках, и при президентах, принимая любую власть, лишь бы она давала сначала лошадей, потом — черные лимузины и всегда — деньги и привилегии. То, что мы сейчас наблюдаем, — это классическая форма византийства. Не ждите никаких общественных свобод, потому что всё начинается на этой развилке, где светская власть идет направо, духовная власть идет налево, и потом они начинают взаимно пихаться. И пихаются и толкаются весь исторический процесс. Это во Франции будет авиньонское пленение пап, то есть придется сажать их к себе в Авиньон, потому что уж очень они нос задрали. При Филиппе Четвертом Красивом был такой эпизод. Это германский император будет два дня стоять в грязи на коленях, вымаливая прощение у папы римского.

У нас ничего подобного не будет. Патриарх Константинопольский всегда будет далеко, князья будут под рукой. А потом произойдет самое худшее. Византия достанется туркам, христианские монахи превратятся в голодных изгнанников, в обыкновенных прихлебателей при княжеских столах. Они будут заливать московские и великокняжеские престолы безудержной лестью. Они обещают Москве, что она станет Третьим Римом. Они будут пресмыкаться, они будут позволять абсолютно всё. Они никогда и слова не посмеют молвить, пока не случится такое чудо, что митрополитом станет Филипп Колычев.

Это был единственный, наверное, в нашей истории эпизод противостояния духовной и светской властей. Но героическими подвигами не может жить история, не может жить народ, если это не его подвиги, а подвиги исключительных личностей. Нельзя никого спасти чужими подвигами. Поэтому когда Христос умирал на Голгофе, он, конечно, должен был знать, и он знал, что он спасает отнюдь не людей. Он спасал только свою совесть и свою честь. А люди должны были сделать свои выводы и повторить его путь. Иначе нет никакого спасения, и даже быть его не может. Нельзя спастись чужими муками, чужими терновыми венцами, чужим распятием, чужим героизмом. Спасение приходит к человеку непосредственно. И спасение надо заслужить, надо попотеть за спасение.

Поэтому византийская формула власти предполагает абсолют. Это уже содержало в себе железную формулу

автократии. И власть, и вера. Нет ничего, кроме абсолютного авторитета в законе, и на небе, и на земле, и спорить с ним не дозволено. Плюс к этому прибавлялась магическая ипостась византийского христианства. Когда вначале Слово, когда нет никаких дел. А там, где Слово не звучит на площадях, там, где Слово не звучит на форумах, — это Слово не имеет общественного резонанса, не имеет даже общественного применения. Тогда Слово рано или поздно начинает звучать просто на кухнях, на лужайках, на полянках, на маевках. Тогда это Слово выходит за гражданскую формулу государства, и государство лепится без этого гражданского слова по худшей из всех возможных формул из колючей проволоки. А из нее получают очень квадратные и прямолинейные узоры.

А почему мы, собственно, называем западное христианство фаустианским? Что там такое было, чего не было дано нам? Вроде бы все читали те же четыре Евангелия: от Луки, от Матфея, от Иоанна и от Марка? Ну пусть они больше читали Евангелие от Матфея. Пусть так. Но там было то, чего мы не получили с самого начала. Там была дифференциация светской и духовной властей. Так почему мы называем фаустианским это христианство? Там были очень интересные отношения с небом, с землей и с властью. Когда Гете сформулировал основы фаустианского духа и фаустианской мелодии для грядущих поколений на весь XIX век, на весь XX век, на те века, которые сделали из Запада то, чем он является, — тогда это выразилось в совершенно чеканных формулах фаустианства: противоборство, противостояние. Неверие в авторитет и нежелание ему подчиниться. Вот, скажем, отношения с небом, перед которым в византийской традиции допустимо только одно: хлопнуться на колени и стукаться лбом об пол. А что там? Что, собственно, говорит Фауст, когда собирается выпить яд? Обращали ли вы на это внимание? Это формула отношений человека Запада с божеством.

Но отчего мой взор к себе так властно
Та склянка привлекает, как магнит?
В моей душе становится так ясно,
Как будто лунный свет в лесу разлит.

Бутылъ с заветной жидкостью густою,
Тянусь с благоговеньем за тобою!
В тебе я чту венец исканий наш.
Из сонных трав настоящая гуща,
Смертельной силою, тебе присущей,
Сегодня своего творца уважь!
Взгляну ли на тебя — и легче муки,
И дух ровней; тебя возьму ли в руки —
Волненье начинает убывать,
Всё шире даль, и тянет ветром свежим,
И к новым дням и новым побережьям
Зовет зеркальная морская гладь.
Слетает огненная колесница,
И я готов, расправив шире грудь,
На ней в эфир стрелю устремиться,
К неведомым мирам направить путь.
О, эта высь, о, это просветленье!
Достоин ли ты, червь, так вознестись?
Спиною к солнцу стань без сожаленья,
С земным существованием распростиись.
Набравшись духу, выломаи руками
Врата, которых самый вид страшит!
На деле докажи, что пред богами
Решимость человека устоит!
Что он не дрогнет даже у преддверья
Глухой пещеры, у того жерла,
Где мнительная сила суеверья
Костры всей преисподней разожгла.
Распорядись собой, прими решенье,
Хотя бы и ценой уничтоженья.
Сейчас сказать я речи не успею,
Напиток этот действует скорее,
Хоть медленней струя его течет.
Ты дело рук моих, моя затея,
И вот я пью тебя душою всею
Во славу дня, за солнечный восход.

Это о самоубийстве, которое абсолютно запрещено христианской религией. Вот оно, западное христианство. Оно вне запретов, оно вне канонов. Оно то, что позволяет на равных говорить с Богом и никогда не становится на колени ни перед кем, в том числе и перед Демииургом — создателем Вселенной.

Человек рождается свободным и равным не только в гражданском обществе, но и там, у Всевышнего престола. Человек не должен никому подчиняться. Вот что такое западное христианство. Вот что такое эти готические шпили, устремляющиеся в небеса. Это вызов, который человек бросает Вечности, бросает мировому Абсолюту, бросает даже мировому Добру. Фауст впоследствии, когда эта чаша с ядом выпита не будет, сочтет свой минутный порыв глупостью, слабостью, но слово «грех» не произнесет. Во всем романе в стихах «Фауст», во всей этой истории, во всем эпосе ни разу не будет употреблено слово «грех».

Это христианство, которое является религией свободы, а не религией греха и подчинения. Самый худший грех для фаустианского христианина — это слабость, это трусость, это глупость. И второй раз этот абсолют христианской веры фаустианского человека, эта магическая формула, которая как ключ открывает дверь в неведомую страну абсолютного равенства человека и Божества, в страну, которую мы зовем Запад, будет произнесена устами Жанны д'Арк в пьесе Ануя «Жаворонок»: «От содеянного мною — не отрекись». Фаустианский человек никогда не отрекается от содеянного им.

Он ни разу не кается.

Отношения с землей у них тоже на уровне полнейшего экзистенциализма. Помните, какими словами Фауст сожалеет о том, что поддался слабости и прислушался к колокольному звону и даже почувствовал детское умиление? Это тоже, если хотите, формула будущей гражданской позиции. Это формула развития социальной структуры Запада.

О, если мне в тот миг разлада
Был дорог благовеста гул
И с детства памятной отрадой
Мою решимость пошатнул,
Я презираю ложь без меры
И изворотливость без дна,
С которой в тело, как в пещеру,
У нас душа заключена.
И обольщенье семьянина

Детей, хозяйство и жену,
И наши сны, наполовину
Неисполнимые, клянусь.
Клянусь Маммона, власть наживы,
Растлившей в мире всё кругом,
Клянусь святой любви порывы
И опьянение вином.
Я шлю проклятие надежде,
Переполюющей сердца,
Но более всего и прежде
Клянусь терпение глупца.

Вот он, фаустианский человек, вот оно — фаустианское христианство. Ничего и никогда не терпеть. Терпение — глупость, смирение — глупость. И это есть единственный главный грех человека. И рождаются руны Запада. Последние слова Фауста: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Вот оно, гражданское общество, вот отношения людей друг с другом, с властью, с божеством. Вот поэтому фаустианскому человеку выпала почетная роль, и он дал свое имя фаустианскому христианству. Вот оно — западное христианство. Вот то, чего мы были лишены, то, чего мы не восприняли, то, чем нас обнесли. Это было непоправимо. Потому что человек живет так, как он верует, а человек верует в какую-то формулу жизни. У нас этой формулы, вдохновляющей, приподнимающей человека над житейской грязью, трусостью, слабостью, над компромиссом, не было никогда. Всё это скажется.

Это начнет сказываться очень скоро. Мы это прекрасно почувствуем уже где-то к XIV веку.

Но пока византийское христианство кажется очень соблазнительным и даже сложным и глубоко духовным лесным славянам, которые таких изысков вообще-то не видели. Они начинают опять, чуть ли не после тысячелетнего перерыва, читать книги. Они приобщаются к кое-какой эллинской культуре, правда, запачканной этим византийством, замутненной до неузнаваемости. Там осталось знание, но там уже не было свободного духа. А культура — это не только сумма информации, не ее биты; это дух, который исходит от этой культуры.

Духа не было, но биты информации были. Формула вина без букета и градусов.

А пока Русь творит своих святых.

И посмотрите, кого она делает своими святыми? Самые первые святые на Руси — это Борис и Глеб, которые отказались защищаться, которые погибли потому, что Святополк Окаянный, который поднял на них руку, был их братом. И не желая участвовать в братской розни, не желая защищаться теми же методами, поскольку цель не оправдывает средства (по византийской формуле), они предпочли умереть. Добродетель подчинилась без боя пороку и покорно подставила горло. Хорошо, что еще потом были и Владимир, и Ярослав, которые в сходной ситуации горло не подставили. Иначе тех зачатков государства и цивилизации, которые на Руси произросли, не было бы. Когда настал их час, и Владимир, и Ярослав просто-напросто послали за варягами. С помощью варягов они своих братьев (ситуации были совершенно зеркальные и у того и у другого, просто через некоторое время) выгнали — и очень далеко. И те пошли скитаться, ища помощи при европейских дворах. Тот, кто отказывался принимать правила игры, тот погибал. И всё на Руси как-то притихло. Не было динамики.

Хотя на первый взгляд Русь производила хорошее впечатление. В Киеве было 600 церквей, было много денег, было много рынков. И если сравнивать Русь тех изначальных времен, когда Валентин Иванов мог себе позволить называть ее Русью Великой, с бегунами на соседних дорожках и даже с теми, кто бежал чуточку поодаль, мы не обнаружим пока контраста...

Мы не заметим ни в XI, ни в XII веке, ни тем более в X такого уж большого отставания.

Мы увидим везде примерно то же самое. На Западе дерутся герцоги, бароны, графы. Из-за чего дерутся — понять абсолютно невозможно. Из-за славы, из-за власти, из-за владений. В будущем великом Альбионе, том самом, который станет главным хранителем и оплотом западных свобод и гражданских прав, тоже сплошные потасовки. То два короля, то чуть ли не три. Ничего не поймешь, сплошной хаос, из которого время от времени

доносятся какие-то дикие вопли и вылезают копья и мечи. Сплошной клубок тел и пыль по дорогам.

На Руси дерутся князья, все при деле. Все примерно одинаково одеты и у них, и у нас. Но на Руси люди лучше накормлены. На Руси в этот момент нет голодных. Богатая земля, больше возможностей уклониться от налогов. Не взять в степях и лесах вовремя налоги. На Западе это было лучше поставлено.

Крестьяне у нас не ободранные. Если их кто-то и обдирает, то, скорее, — половцы, кочевники. Вот эта опасность над ними висит чаще, она страшнее для них, чем собственные сеньоры. Собственные сеньоры беспечны и щедры. Им немного надо. Деньги некуда вкладывать. Нет администрации, нет инфраструктуры. Никто об этом не думает.

Римские законы, римский водопровод, римские преторы, римская армия и римские дороги требовали громадных затрат, но они оправдывали существование империи.

А князья Рюриковичи были типичными обломовыми.

Они ничего не могли сделать с этой землей, и они ничего не хотели с ней сделать, потому что им нечего было ей сказать. У них не было той великой государственной истины, ради которой стоило кого-нибудь завоевывать, как это делал Рим, как это делали Афины. Такая же ситуация, как с Советским Союзом, которому тоже нечего было сказать. Просто нечего. А на голой силе, на голой власти не держатся империи.

Но в отличие от Советской империи, империя Рюриков была достаточно мягкой. Один раз тебя завоевали, а потом живи как хочешь. К тебе не пристают. Тебе ничего не навязывают. Довольствуются очень небольшой данью. А больше идти тебе некуда. Поляки тобой не интересуются, чехи — очень далеко, за Червонной Русью. Их вообще никто не видел. Про франков даже и не слышал никто. А про Византию и послушать страшно. Там какие-то турки, враги христианства, враги человечества с ятаганами. Вокруг роились легенды. Вокруг Руси не было реальной действительности. Она была одна в своих лесах. Она ни с кем не сталкивалась. И казалось бы, при таком изобилии свободы, при такой анархии не могло быть деспотизма. Но нет!

Сейчас вы увидите почему. Пока то, что князь находится в очень теплых отношениях со своим придворным монахом из ближайшего храма, никому еще не мешает. Пока не нужно искать защиты. Никто тебе не желает зла, ни этот князь, ни этот монах. Пока всем хорошо, всем тепло в этой коммунальной квартире, но скоро, очень скоро понадобится дифференциация, а ее не будет. Дифференциация — это то, что вынашивается веками. Это некий очень прочный фундамент, это такое плато, на котором стоит либерализм. И когда нам понадобится дифференциация, а она понадобится и в XIV веке, и в XV веке, поздно будет ее создавать. И Филипп Колычев сделать ничего не мог, не было традиции.

Дифференциация должна существовать по меньшей мере три-четыре века до того момента, когда ее можно будет использовать.

И вот у нас есть — вроде бы — империя. Но почему-то каждый новый князь завоевывает все волости обратно. Владимир вынужден был пройти ревизорским походом по всем областям от юга до севера, даже с Новгородом пришлось утрясать отношения. Затем то же самое пришлось делать Ярославу, а до этого всё это делал Святослав.

Святослав — это была потерянная возможность. Святослав обладал даром великого государя. Он обладал огромной силой и огромной тягой к тому, чтобы что-то создать. Он даже не знал, зачем он это делает. Он не был книжником.

Он никогда ничего не читал. Но в нем жила беспокойная душа викинга, конкистадора, варяга. Он не знал, что он делает, но возможно, боги вели его рукой. Он создавал традиции единого государства, и только его власть была непререкаема. Вот когда он всех завоевал, пока он жил, никто не смел и возникнуть, никто не смел отказать в повиновении, никто не смел не дать дани. Если бы Святослав прожил дольше или имел равных ему потомков, возможно, у нас бы получилось что-то вроде Норвегии, возможно, на Руси появился бы король, а значит, понадобилось бы от него защищаться. Свободные ленд-лорды стали бы отстаивать от короля свои вольности, как это произошло в Англии, и возник бы документ, который был бы назван Великой хартией вольностей.

А он не возникает на пустом месте. Нужна единая королевская власть, нужна борьба с ней. Если свободу не вырываешь, то считай, что нет свободы на уровне общественного документа и на уровне публичной политики.

Свободу у нас можно было бы посадить. Но Святослав не знал, что ему надо было сажать и выращивать в горшке свободу.

Святослав был типичным варягом. Вот это его знаменитое «Иду на Вы!» — это идеология скандинавов, это гордыня.

Я намеренно говорю «королевская власть». Нам была нужна только она, и ее мы не получили.

Царская власть очень сильно отличалась от королевской власти. Царская власть абсолютна. Королевская власть почти всегда — договорная власть. Власть от договора с гражданским обществом, и хотя пока нет гражданского общества, но есть договор с лендлордами, есть договор с герцогами, есть договор с баронами. Попробуй не договорись. У тебя начнется такая феодальная усабица, что небо с овчинку покажется. Столетняя война едва не была проиграна Францией только потому, что один из феодалов, герцог Бургундский, был убит по приказу короля. А у нас вместо дифференциации была соборность. Соборность — это отсутствие узаконенных прав людей. Соборность — это допущение, что все люди — братья и любят друг друга, что они все хорошие, что в них нет зла и, если дать возможность реализовываться их инстинктам, они придут к итогу и результату, полезному как для них, так и для государства.

Соборность — это избыточное равенство, это отсутствие жесткой договорной иерархии, это отказ от правовой почвы, это идеализм, переходящий в агрессивную утопию.

Лествичное право было именно соборностью. Русью правили братья. Один брат — в Киеве, второй брат — в Чернигове, третий брат — где-нибудь в Новгороде, четвертый брат — в Ростове или Тмутаракани какой-нибудь. Это расслабляло, потому что место под солнцем было обеспечено. Семейственность. Клан. На Западе всё было иначе. Там феодалы старались преуспеть, потому что они знали, что им никто не поможет, что они должны своими руками завоевать и деньги, и славу, и власть. Они

рано начинали стоять на собственных ногах. А здесь каждому обязаны были дать. Это был такой великокняжеский социализм. Такой первобытный великокняжеский социализм. И что происходило на самом деле? Формула была прекрасна. А в действительности всё получалось как всегда. В действительности дядья и племянники, если племянники были старше, чем эти дядья (дядья еще стрьями назывались, вы встретите этого стрья у Соловьева и долго будете думать, кто это такой, — так вот, это дядя), начинали выяснять отношения. А поскольку никаких договоров не было, судебной власти не было, как вы помните, суд чинил князь, и чинил он его с помощью своих бояр (то есть опять нет дифференциации властей, даже на этом уровне!), то некуда было идти. Надо было браться за меч и выяснять братские отношения в бою, втягивая в этот бой не только свои дружины, но и свои города. И от братских чувств осталось так мало, что когда на Русь являются татары, бывают случаи (вначале сплошь и рядом), когда один город со злорадством отказывается помочь другому городу, помня старые обиды и не желая ничего делать, потому что нет чувства единого государства, нет чувства общности. Хотя и культура общая и язык общий, и всюду братья, даже до тошноты. «Братья и сестры!» — это не к добру!..

Их чувства скоро доходят до самой страшной взаимной ненависти. Потому что нельзя полагаться на чувства, полагаться на эмоции, полагаться можно только на закон и на жесткий договор. Лествичное право, можно сказать, предопределило завоевание Руси монголо-татарами. Лествичное право предопределило бесконечное дробление и слабость областей. Эта братская утопия вместе с византийской формулой христианства сделала наше развитие настолько злокачественным, что по идее спасти страну, которая еще не являлась страной, не считала себя страной и не называлась страной, можно было начиная с XIII века.

Но поскольку на Руси тогда не было интеллигенции, спасти ее было некому, и никто даже не мог понять, что она нуждается в спасении.

Лествичное право привело к образованию княжеских снемов, или съездов. Что это такое? Это попытка князей договориться и установить какие-то отношения.

Они смутно почувствовали, что что-то неладное происходит, что нужен какой-то общественный договор. Но поскольку никаких формул права на Руси не было, а Византии поделиться было нечем, происходит абсурдная вещь. Княжеские снемы, первый из которых происходит в XI веке, дают формулу «Каждый да держит отчину свою».

То есть опять попытка вернуться к здравому смыслу, к традиции. Традиционалистская формула государства, не договорная, а традиционалистская!

Первый княжеский снем, с которого разъехались после братской пирушки довольные и счастливые князья, завершается страшным преступлением. Потому что злокозненный князь Давид Игоревич с сообщниками ловит князя Василька Теробовльского и ослепляет его сразу после снema. Договор «по совести» ровным счетом ничего не значил, и другие князья принудить этого Давида Игоревича к какому-то искуплению не смогли, потому что тщетно пытались собрать какое-то ополчение, и вот: один идет, второй говорит, что его это не касается, третий говорит, что у него более важные дела.

Ярослав тоже всю барaxтался в этой формуле. Сначала он разбирался со своими братцами — всю первую половину своего княжения. Потом у него был маленький период передышки, когда он вводил на Руси элементы культуры Запада, вернее, пытался ввести с помощью династических союзов. Вот в этот момент чуточку открывается форточка, возникает какой-то сквознячок. Но, к сожалению, вместо того, чтобы впустить к себе книжников, проповедников, начала правовой культуры Запада, о которой Ярослав не знает ровным счетом ничего, он просто ссужает деньги норвежскому и французскому королям, и даже его супруга, которая сохранила свою веру и своих священников, абсолютно ни в какие споры с ним не входит: ни в религиозные, ни в политические; и они существуют параллельно.

А на Западе — Генуя, на Западе — Венеция, на Западе возникает ранний капитализм.

Русь и Запад скользят мимо друг друга и не соприкасаются. Не происходит диффузии, не происходит взаимопроникновения. Потому что уже есть настороженность: из

Галилеи, то есть с Запада, может ли быть что доброе? Поскольку единственная заграница, с которой по-настоящему соприкасается Русь, это Дикая Степь с половцами. Естественно, от заграницы Русь ничего доброго не ждет. Есть ужас, есть чувство, что всё чужое — это смертельно. Нет ощущения, что можно что-то взять, чем-то покорыстоваться: каким-то новым знанием, какой-то новой культурой.

И князья со своими братскими чувствами доходят до того, что у 1216 году состоялась знаменитая битва при Липице. Помните, что происходит в другом мире в 1215 году? Значит, в Англии — Великая хартия вольностей, а у нас — битва при Липице. Сражаются князья, опять по поводу своих заморочек, и 9 тысяч человек погибают только за один день. Взаимная ненависть достигла апогея. Чувства единого народа нет. И после такого прецедента, как битва при Липице, его еще очень долго не будет.

Но на Севере есть нечто, что выходит из общего ряда настолько, что заставляет биться сердце (вопреки всему!) неумеренной надеждой. Там есть господин Великий Новгород. Там есть Псков (Плесков).

Они абсолютно независимы, за исключением небольшой дани, скорее, взноса на общие нужды, такого налога на великого князя. И их гражданская структура совершенно совпадает со структурой западных городов, но она выше структуры Запада.

Потому что военная демократия Новгорода и Пскова предполагает полное отсутствие унижения низших перед высшими. Она предполагает равенство. Гражданское равенство. Она предполагает гражданские права. Собственно, это наш Рим, наш республиканский Рим. Рим после царей, но до императоров. Рим Сципионов и Регула, Рим, который победил Карфаген только потому, что он не был деспотией, только потому, что он нес новую истину: гражданскую свободу.

Новгород устроен идеально. Это город-государство, республика, у которой очень оригинальная структура. Всё выбирается и всех выбирают. Епископа выбирают. Совершенно неслыханная вещь для тогдашней Руси, да и для Запада тоже. Епископ избирается, избирается

посадник — исполнительная власть. Есть законодательная власть, как бы плебисцит, Вече, наш Форум, есть всё, что и сейчас имеется на Западе, только без тайного голосования. Есть и некий Совет Господ. По сути дела, это Сеньория: флорентийская, венецианская — какая хотите. Это Сенат. И сенаторами там состоят очень своеобразные новгородские бояре, которые отнюдь не обломовы, не бездельники. Это знать, которая получила свои деньги благодаря торговле, благодаря тогдашней промышленности. Каждый чем-то владеет. Мастерскими, целыми рядами мастерских, где изготавливают иконы, ткани, посуду. Все торгуют. То есть, по сути, от купечества бояре отличаются только тем, что они происходят из более древнего рода. Это те же патриции, но деятельные.

Штольцы хорошего происхождения.

Чем отличались патриции от плебеев к I веку до н.э. в Риме? Ведь Юлий Цезарь происходит не из патрицианского рода. Он происходит из знатного плебейского рода. Какой абсурд! Как может быть плебей знатным? Да, он может быть знатным. Потому что патрицианские роды просто первыми пришли в Альба-Лонгу, а затем в Рим, а плебеи пришли потом. Они были нисколько не хуже, но они пришли на два-три века позже. Потом у них будут те же деньги, те же традиции, та же гордость, та же честь.

И вот наши бояре — это патриции Новгорода. Есть купцы. Они стоят на ступеньку ниже. Они пришли потом. Это новгородские плебеи.

И есть житые люди, или лучшие люди. Это новгородские дворяне. Они беднее бояр, они мелкие предприниматели. Они не крупные и не средние. Они тоже занимаются делом. В Новгороде все зарабатывают себе на хлеб. Каждый или торгует, или что-то производит, или владелец какой-нибудь мануфактуры или мастерской: такой древней протофабрики.

И внизу, наконец, находятся черные люди, которые вовсе не считают себя рабами, не являются холопами, ни перед кем не стоят на коленях. Это новгородские воины, ремесленники. И каждый ремесленник — воин. И все Концы Новгорода обязательно делятся на сотни, а крупнее их — на тысячи. Воинская дисциплина в бою,

а после боя — гражданская структура. Эти Концы после боя заботятся о том, чтобы дети получали образование, чтобы все умели читать и писать. Есть такие земские школы. В Новгороде все грамотные. Есть некие ссудные кассы, из которых ремесленнику, начинающему свое дело, выдается кредит (беспроцентный!) на обзаведение.

Здесь лестничное право преобразуется с помощью договора в вещь очень здравую. Новгород, по сути дела, — это капиталистическая республика. Тот самый Запад, который не только их, но и наш. Это абсолютное доказательство. Те же славяне, но в других социальных условиях, создают структуру, которой нет равной в Европе. Опять-таки все сыты. Иноземцы, приезжая в Новгород (а их там столько, что шагу ступить нельзя, чтобы на посольство не наткнуться), удивляются, что в Новгороде все ходят в сапогах, никто не ходит в лаптях. Все сыты. У всех гордо поднята голова. Никто никому не кланяется. Каждый гражданин имеет право высказать свое мнение на Вече. Потом это всё переходит как бы в Совет Федерации, в Сенат, если можно Совет Федерации назвать Сенатом. Просто даже всего тебя передергивает, когда думаешь, насколько Сенат отличается от Совета Федерации. А там настоящий Сенат, Совет Господ, где заседают такие, как Борецкие, такие, как Губа-Селезневы.

Но народ имеет право на обжалование всего и всегда. А кто такой князь? Князь в Новгороде избирается и приглашается. И получает определенное жалованье. Новгородский князь — это некий военный специалист. Это такой наемный генерал, которого приглашают и который не может ничего поменять ни в гражданской, ни в политической структуре Новгорода, который никого не ограбит и не унижит.

Есть целая система судов. Есть Суд посадника. Есть Суд митрополита, то есть новгородского епископа. Есть даже земский суд, когда судят выборные люди. В Новгороде появляется нечто похожее на суд присяжных! Они не успеют его сформировать, но есть основа, есть росточек в горшке. Если бы Новгород дожил до XVI или до XVII века, на Руси не было бы Ивана Третьего, не было бы Ивана Четвертого, не было бы звездного часа автократии. Этот ошейник циклического развития Руси

(по Янову) на нас бы не замкнулся. И не Петр бы занимался вестернизацией Руси, а всё это спустилось бы вниз с новгородских стен и распространилось совершенно свободно и ненасильственно. Уничтожив Новгород, Иван Третий уничтожил последнее семя свободы, и после этого опускается по-настоящему железный занавес. Тогда он опустился, а не при Сталине, Советам ничего не надо было делать. Надо было просто его кое-где заштопать и задвинуть поплотнее. Он уже существовал тогда, в XV веке. Железный занавес опустится над Русью начиная с Иоанна Третьего. Так что до большевиков еще будут пять веков автократии.

И главное, что было в Новгороде, чего мы не нашли на Руси, что мы с такой тоской искали: то, без чего не может быть свободной страны, — это независимые земледельцы — фермеры. Не наймиты, у которых и орудия были господские, и земля была господская. Не смерды, у которых была государственная земля и личные орудия, а земцы, у которых и земля была своя, и орудия были свои, которые никому ничего не были должны, которые участвовали в новгородском ополчении на равных и сами распоряжались плодами своих трудов.

То есть весь Север был реформаторским, потому что в Пскове было то же самое. Только в Пскове было еще меньше холопов. В Пскове было заметно большее влияние Литвы. Он был еще больше вестернизирован. И в Пскове было тише. Там Вече было организовано в более европейских правилах, там больше было моментов тайного голосования и меньше было крика. Никого там не предавали потоку и разграблению, никого там в Волхов не бросали, тем более что Волхов протекал через Новгород, а не через Псков. То есть спокойная, договорная европейская структура; и вместо вдачей и рядичей, к которым мы привыкли на Руси, там были изорники, что-то типа европейских вилланов. То есть если даже человек очень хотел поступить к кому-то в холопы, его не брали. Не было холопов ни в Новгороде, ни в Пскове.

Псков был младше Новгорода. Новгород был сильнее. Новгород владел серебряными копиями. Всё серебро на Руси было новгородским. Новгород был безмерно богат от торговли, и поэтому Псков вел себя очень скромно,

и роковая ошибка новгородцев была в том, что они все время выясняли отношения с Псковом. Они не пытались дать ему равные права и не пытались хотя бы оставить его в покое. Поэтому, когда им понадобится сильный союзник, вместо того, чтобы их поддержать, замученный постоянными сварами, претензиями, унижениями, попыткой ободрать его, взять лишнее, Псков возьмет да и поддержит врагов Новгорода, вместо того чтобы поддержать саму идею свободы. Никто не знал, чем это обернется. Шелонская битва — это 1470 год. А Псков стали дергать еще в X веке.

Эти земцы — это и есть наши бонды, наши свободные фермеры. Идеальное гражданское устройство, которое доказывает, очень убедительно и неопровержимо, что разговоры о том, что свобода славянским племенам противопоказана и не дана, что они не способны к либеральному гражданскому устройству, что рождены мы рабами, чтобы сказку сделать былью — и ничего не попишешь, — всё это ложь. Вот оно, доказательство. Вот скандинавский дух, помноженный на славянскую традицию — без традиции Дикого поля. Традиция Дикого поля не попадает в Новгород. Византийской традиции там тоже нет. Конечно, с Римом у них отношения были, прямо скажем, иллюзорные. У Пскова было больше реальных отношений с Римом, хотя латынь упрямо никто не принимал. Но тем не менее епископ или митрополит, во-первых, от князя независим, во-вторых, он — член Совета Господ. Он независим и от посадника. Он независим от Сеньории. Он вообще независим от всего, кроме Бога. И эта дифференциация в X веке уже существует. Просто она пока еще не нужна. Ее не было необходимости применять. Потому что структура абсолютно скандинавская: свободный воин — это свободный, или ремесленник, или землепашец, и он сам может за себя постоять с мечом в руках. Он ни перед кем не преклоняет головы. Если бы это сохранилось, пожалуй, финальный свисток прозвучал бы над совсем другими результатами соревнования.

Знаменитые города Ганзейского права — европейские города — ничего подобного не имели. Да, там тоже была Сеньория. Там тоже были купцы, там тоже были дворяне,

но на континенте не было земцев, не было йоменов, то есть не было свободных землепашцев. Это первое. Это было только в Норвегии, в Скандинавии. Во-вторых, приходилось искать покровительства феодалов. От одного феодала защищал другой. Вы помните знаменитую формулу Шварца: «Если ты хочешь избавиться от какого-нибудь дракона, заведи себе своего собственного». И все заводили себе своих собственных драконов. А это исключает формулу гражданской свободы. И потом, города Ганзейского права не были военными демократиями. Никакого Вече. Никакого самоуправления. Ремесленники могли решать только цеховые проблемы. Лишь то, что касалось непосредственно их ремесел. В управлении городом они не принимали никакого участия. Никаких князей и феодалов они не приглашали. Никакого посадника они не избирали, потому что бургомистр абсолютно не имел тех прав, которые имел посадник. И хотя судьи были достаточно независимыми (не забудьте, всё западное прошло через Рим, а Рим дает независимый суд, эту дифференциацию властей), и церковные феодалы были тоже независимыми, но часть населения не имела никаких гражданских прав. Черные люди, а они действительно были черные, то есть простые, в Новгороде были свободны и политически равны знатым, несмотря на то, что они были гораздо беднее новгородских бояр, то есть новгородских сенаторов.

Но, к сожалению, эта структура была очень хрупкой и постоянно колебалась на волнах бушующего народного моря, на волнах охлоса.

Демократия постоянно рискует превратиться в охлократию. Это понимали греческие философы, это понимал и Монтескье, это почти всегда происходило. Не демократия Афин казнила Сократа. Сократа казнила торжествующая охлократия. Социальная рознь и сознание своего якобы социального интереса, а также и неумение признать социальное неравенство незыблемым, вечным и необходимым для существования человеческого общества, поиски какого-то иного варианта, попытки продлить человеческое развитие за рамки капитализма — всё это приводит к тому, что низы начинают ненавидеть верхи и начинают искать способ, как бы от

них отделаться. Возникает зависть, возникает ревность. Никто не довольствуется тем, что он сам заработал, и он начинает считать (этот самый новгородец!), что все бояре — коррупционеры. Что они что-то у него украли и что вообще такое социальное устройство несправедливо. Возникает глухой ропот. Возникают партии, не оформленные партии, не такие, как в Норвегии. Партии какого-то одного боярина. Поскольку бояре любили в те времена политику и использовали недовольство масс для того, чтобы ликвидировать, скажем, голоса своего соперника в Совете Господ, для того, чтобы их решение было принято в Сеньории. И они делают вещь непозволительную. Они начинают натравливать народ на своих коллег по Сенату. Народ делает выводы, и, как всегда, это доходит до полного абсурда.

Начинается самоуничтожение Новгорода. А ведь на Юге не совсем пусто. Когда у нас наступит XV или даже XIV век, на Юге уже будут сидеть московские князья. Талантливые, алчные, сильные, такие протофашисты, которые готовы воспользоваться всем чем угодно, употребить любые дипломатические ухищрения, только бы подобраться к Новгороду. Этот островок свободы их несказанно раздражал, к тому же им нужны были серебряные копи, им нужна была новгородская торговля. Ведь приключилась большая беда. Киев перестает быть торговым городом. После крестовых походов путь на юг открыт. Гроб Господень никто не завоевал, да, по сути дела, он никому и не был нужен. Другое дело — пути на Восток, безопасные пути по Средиземному морю. Богатеет Италия. Богатеют южно-французские города. Вот здесь и начинается тот самый западный капитализм — Генуя, Венеция, Марсель. И народная тропа к Киеву зарастает травой, никаких больше караванов. Киев никому не нужен. Никто из варяг в греки не идет.

Другое дело — Новгород. Города Рейна процветают. Новгород входит в это созвездие городов Ганзейского права. За счет своей гражданской структуры он становится еще сильнее. У него великолепное войско. Но наступает момент, когда это самое войско начинает роптать против своих командиров и теряется чувство опасности. Новгород был слишком долго первым на Руси. Он слишком

привык к мысли, что ему ничто не угрожает. А ухо надо всегда держать востро. Угроза, неважно какая, имперская, коммунистическая, московская, византийская, — есть всегда. И тот, кто забывает о ней, тот всегда проигрывает. Тот, у кого закружилась голова, тот перестает стоять на страже. Тот, кто перестал стоять на страже, оказывается побежден.

Москва очень хорошо всем воспользовалась. Новгород не умел договариваться. Вы это помните. Он с Псковом не сумел договориться, а ведь у Пскова была та же структура, что и в Новгороде.

Новгород не захочет спасти Русь от татар. Он сочтет, что это не его дело, он откупится, у него есть серебро. Татары никогда не дойдут до Новгорода. Есть чем откупиться. Татарам нужны деньги. Они покладистые. Давайте деньги — и дальше не пойдем. Новгород, который так великолепно расправляется с псами-рыцарями, с которыми, может быть, вовсе и не нужно было расправляться, а надо было заключить союз, будет платить отступное Орде. Хотя это и не будет выражаться в унижительных формах. Новгород будет далеко от этих унижений, но новгородские князья (эти демократически выбранные князья!) будут ездить в Орду, будут вносить деньги, будут заниматься народной дипломатией и интригами. Они смирятся с этим положением вещей, и, когда Тверь призовет, Новгород не пойдет воевать. Не пойдет против Москвы, не пойдет против Орды. Новгород даст уничтожить Тверь. Даст уничтожить второй центр собирания Руси. Если бы Твери было суждено объединить Русь, если бы это была не Москва, судьба Руси была бы совершенно иная. Возможно, мы бы вылезли из нашей с вами ситуации. У нас был шанс прорваться. Мы не прорвались. Новгород не помог.

И когда Новгород останется наедине с Москвой и столкновение станет неминуемым (Москва не могла долее его терпеть), тогда начнется самое страшное — социальная рознь. Охлос Новгорода сыграет свою роковую роль. Новгородцы, совершенно обезумев, начнут жаловаться на своих бояр в Москву. Они начнут апеллировать к московским князьям. Уж очень они ненавидели этих самых богатых бояр. И вот из-за этого социального

ложно понятого чувства, из-за неумения смириться с социальным неравенством, из-за неумения его полюбить, потому что социальное неравенство — это двигатель прогресса, всё и произойдет.

Московский князь постепенно, по шагу, вонзит свои коготочки в Новгород. Он начнет играть роль посредника. Он начнет как бы вершить справедливый суд. Выяснять, кто здесь прав, а кто виноват. Начнет мирить новгородцев. Еще немножко, и возникнут голубые каски из московских гарнизонов. Такие посредники, как в карабахском конфликте. Давайте мы вас всех помирим, мы скажем вам, кто прав, кто виноват. Пошли только за посредником и считай, что ты пропал.

В этот момент московский князь сделает потрясающий шаг. Он присвоит звание бояр московских новгородским боярам. Это все равно что орден дать. Как Жаку Шираку дали за заслуги перед нашим Отечеством (первой степени!), вот точно так же дадут звание новгородским боярам. Им будет это очень лестно, все-таки иноземный орден. Мало того, что они у себя бояре, они еще бояре на Москве. А знаете, чем это кончится? Это кончится тем, что их сопротивление будет сочтено государственной изменой, когда начнется война между Новгородом и Москвой.

Иван Третий был великим государственным деятелем. Это был автократор первого класса. Иван Третий уничтожит Новгород его же руками. Иван Третий употребит на милитаризацию Москвы все лишние средства. Он создаст роскошную армию. А новгородцы будут жалеть денег на военные расходы, поскольку социальные программы им покажутся более привлекательными. И когда они останутся наедине с милитаристской Москвой, выяснится, что давно уже московское войско, то есть эти их железные имперские легионы куда лучше, чем новгородское ополчение. Потому что новгородцы давно ни с кем не воевали. Они расслабились, на них никто не нападал. А Москва к тому моменту уже успеет покорить всех. Москва будет воевать целый век. Поэтому с Новгородом она справится достаточно легко.

И когда состоится битва при Шелони в 1471 году, всё будет кончено. Ивану Четвертому нечего было делать

в Новгороде. Всё совершится руками Иоанна Третьего. Он уничтожит свободу. Совершенно необязательно после этого топить население. Надо просто закрыть Вече, увезти в Москву вечевой колокол. Первое, что Москва делала, это отовсюду увозила ненавистные ей вечевые колокола. Заметьте, и из Твери, и из Новгорода. Она просто коллекционировала эти колокола, потому что сама идея, что кто-то может говорить без ее разрешения, была ей ненавистна.

И достаточно было казнить всего-навсего нескольких человек: Дмитрия Борецкого, Василия Губу-Селезнева, Киприана Арзубьева, Еремея Сухошека. Выбранных представителей: от бояр, от сенаторов — Дмитрий Борецкий и Василий Губа-Селезнев; от купцов — Еремей Сухошек; от дворян — Киприан Арзубьев. И достаточно. Достаточно вывезти в Москву в ссылку (Сибирь тогда была не наша, не могли в Сибирь ссылать, приходилось в Москве держать всех ссыльных) лучшие боярские роды, обезглавить Новгород и сделать его таким же обыкновенным городом с холопами и с господами, да еще и под московской эгидой, то есть под московским управлением, как все города на Руси. Когда закрывается эта страница, когда захлопывается эта книга, можно уже сказать, что Русь приговорена. Но приговор еще не прозвучал, то есть судьбы уже отмерены, судьбы уже известны, — но кто может их прочитать?

А тут еще одно несчастье. Переселение на финно-угорские земли. Русь уходит на север. Ей кажется, что она спасается от кочевников. Но на самом деле это добровольное изгнание, такое же, как во времена сарматов, как во времена печенегов, то, что случилось после Траяна, то, что случилось после союза с эллинами, как всегда, когда наступали эпохи упадка и затмения. Русь уходит на север в финно-угорские края. Она теряет этот широкий оком, она теряет огромный Днепр, который течет в какие-то неведомые страны. Она теряет историческую перспективу. Она теряет то минимальное чувство общности с человечеством, с Ойкуменой, которое было у киевских князей. Она теряет широту и беспечность природы. Она теряет богатство, потому что не будет черноземов, не будет такого количества мехов.

И вместо богатых, щедрых и беспечных князей-витязей, сильных князей (даже в Чернигове, даже в каком-нибудь маленьком Ростове Великом!), она получит князей слабых. Они все попадут на север, где за темным лесом ничего не видно. Где реки крошечные, где области в силу географической структуры очень маленькие. Да вы и сами помните, что они еще все раздробились. Раздробились так, что остались одни молекулы. Бедный князь — зависимый князь.

Бедный князь не может быть гордым, он не может себе позволить никакой гордости, он не может себе позволить никакой независимости. Пока ему еще некому отдать свою независимость. Но когда появятся желающие, эта независимость упадет желающему в подол, как спелое яблоко.

Начинается эпоха первого Сталина на Руси — Андрея Боголюбского.

Лекция № 4

СТРАНА РАБОВ, СТРАНА ГОСПОД

Рынок князей возник на тощей суздальской почве.

Но уже не тех широких витязей, потомков викингов, а других, почти забывших про скандинавскую традицию, у которых было мало богатств, была очень маленькая дружина. Рынок князей, которые готовы были прислониться к любому сильному плечу, пойти под любую сильную руку.

А когда есть товар, обязательно появляется купец. И купец появился. Юрий Долгорукий не только основал Москву. Юрий Долгорукий родил очень своеобразного князя Андрея Боголюбского, того, кто основал Владимир. 1111—1174 годы. Как рано. XII век. Тем не менее в XII веке впервые была сделана попытка править на Руси по вполне авторитарной формуле, через голову абсолютизма. Еще абсолютизма никакого не было. Была попытка авторитаризма, попытка с ходу ввергнуть страну, которая еще не была, по сути дела, единой державой, в звездный час автократии.

Юрий Долгорукий был чистым носителем византийской традиции. Ему нравились кесари Византии, давно сошедшие во тьму. Может, он начитался византийских хроник, а может быть, это были природные способности. Но так как правил он, не правил никто. Он был внуком Мономаха. Того самого Владимира Мономаха, который сделал после Ярослава первую робкую попытку вестернизации Руси. Вестернизации авансом, потому что тогда, по сути дела, Русь от Польши и от Литвы не отличалась ничем. Отставания не было заметно ни по сравнению с Чехией, ни по сравнению с Францией. А с Британией сравнивать было невозможно, потому что в Британию никто из русских не ездил. У нас не было общих дел. По сравнению со Скандинавией тоже не было материального и культурного отставания. И по сравнению с Западной Европой, не считая Италии.

Испанию считать не будем. Восточная мавританская культура дала себя знать. Там очень много всего было намешано: традиции древней Иудеи, традиции Востока, больше знания, больше математики, больше изощренности и прихотливости культуры, больше цивилизации. Поэтому Испанию и Британию не считаем, а считаем то, что было на самом континенте. В этот момент мы не отставали. Всё это было глухо, всё это было в потенци. Тем гениальней Владимир Мономах, который понял, что надо догонять, пока мы не отстали. Может быть, он те традиции, о которых мы говорим, вычислил на месте. Может быть, он понял, что такое лествичное право. Он пытался ввести майорат. У него не получилось. Князья просто взбунтовались. Они не приняли этого уклада. Он пытался даже встречаться с католическими священниками. Также не получилось. В этот момент Русь не была склонна к теологическим спорам. Никто не понимал, что такое есть в католицизме, чего нет в православии, почему, собственно, нужно верить по этой формуле, а не по той.

Дело было не в вере. Христос один и для католицизма, и для православия. Дело было не в Христе. Дело было в формуле жизни.

Мономах не успел. А внуком его был Андрей Боголюбский. Он сделал одну ужасную вещь, до которой потом додумается Иосиф Виссарионович.

Он не просто правил авторитарно, он перестал советоваться с боярами. Он разрушил формулу социально-политического властвования, политического консенсуса на Руси. Считалось хорошим тоном советоваться с боярами. И боярам было приятно. И князь получал какую-то квалифицированную экспертизу, потому что бояре у него были с разных концов Руси. Один — тверской, второй — московский, третий там — владимирский, четвертый — киевский. Информация о регионах шла от этих бояр. Бояре не ходили за князем по пятам, они переходили на службу к удачливому князю. Была большая территориальная дифференциация. У отроков и у бояр, если князь был беден, если он был неудачником, если его область хирела, если там не было хороших ремесленников, от которых богатеет земля, если он не мог ничего добыть в походах на Византию, если он дань не мог собрать, то есть если у него налоговая инспекция не работала, если бюджет у него был какой-то кособокий, всегда был выход: уходили к другому князю. Просто писали заявление об уходе, рассчитывались и отъезжали. Они были абсолютно свободны. Они выбирали себе князя. В это время Юрьев день был перманентным. Он существовал и для бояр, и для младшей дружины, для дворянского первичного ополчения — для отроков.

И с ними надо было советоваться. Это был такой первичный Сенат, Протосенат; конечно, с очень большим изъясном, опять без договора, опять на традиции, опять без законов. Но эта традиция могла быть оформлена законодательно. Но не судьба! Андрей Боголюбский перестал советоваться с боярами. Зачем ему было советоваться с людьми, которые были независимы от него материально? Зачем ему было советоваться с теми, кто не кланялся в ноги? Зачем ему было советоваться с теми, кто считал его первым среди равных? Зачем ему было советоваться с теми, кто высоко держал голову? Он перестал советоваться с боярами и окружил себя отроками. А бояр он стал казнить задолго до Иоанна Грозного. Он и сам погиб от руки Кучковича. Для начала он приказал казнить брата собственной жены, а все остальные родственники собрались и в малых масштабах повторили то, что в XVIII веке будет проделано с Павлом. Помните?

Молчит неверный часовой,
опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
рукой предательства наемной.

То есть возник заговор, и Андрей Боголюбский, что было очень нетипично для князей Киевской Руси, погибает от рук собственных бояр. Террор, заговор, гибель князя — и начинает править Всеволод Большое Гнездо.

А с кем же советовался наш Андрей Боголюбский? А ни с кем он не советовался. Он окружил себя отроками, которые глядели ему в рот, которые не смели сказать слова, которым можно было приказать и которые не то что равными себя не считали, но были знатными холопами, по сути дела. Эта была будущая сталинская гвардия. Иосиф Виссарионович тоже не мог вынести ленинских сподвижников, которые, хотя были типичными дьяволами (ни совести там не было, ни сострадания, ни гуманности, ни экономических знаний, за исключением одного Сокольников), тем не менее привыкли к подпольной вольнице, привыкли, что вождь — такой же революционер, беглый каторжник, как и они. Они привыкли быть на равных, они привыкли держать какие-то департаменты и управляться в них достаточно независимо. И вот он очень грамотно убрал всё это, для того чтобы создать полный, железный, безнадежный тоталитаризм, тоталитаризм холопов, растертых в лагерную пыль. Это же пытается сделать Андрей Боголюбский. Формула одна и та же, что в середине XX века, что в середине XII: опираться на слабых, опираться на незнатных, опираться на не равных тебе, опираться на низших, только на низших, которые ничего не смеют, кроме как исполнять приказы. Эта попытка длилась недолго.

За это время Андрей Боголюбский кое-что всё же успел. Он успел штурмом взять Киев и разорить его. До Андрея Боголюбского никто и не подумал бы это делать, никто бы не посмел. Рука бы ни у кого не поднялась.

Киев был любим на Руси. Киев был колыбелью славянской цивилизации. Киевский Стол, даже когда он утратил свое экономическое значение, был чем-то заветным, вроде чаши Святого Грааля. Было престижно

подняться на Киевский Стол. Даже в XV веке Новгород призовет к себе уже абсолютно никому не нужного киевского князя, находящегося под покровительством Литвы. Это много значило — звание киевского князя. Только он располагал Святой Софией, пока Новгород ее себе не выстроил. Там, в Киеве, было много традиций, много воспоминаний, там были мифы и сны. В конце концов, славянская мечта жила в Киеве. Пока Киев никто не смел тронуть, к нему стремились все сердца: и княжеские, и простые, и лествичное право еще сохраняло нам какое-то чувство общности. Ведь в коммунальной квартире, кроме безумного, предельного унижения, кроме духоты, спертости и тесноты, по идее, должны были еще существовать добрососедские отношения. Так вот, с Андрея Боголюбского Русь становится коммунальной квартирой без добрососедских отношений. А когда вы у коммунальной квартиры отнимаете добрососедские отношения, что такое тогда эта коммунальная квартира? Тогда коммунальная квартира становится лагерным бараком. Русь становится лагерным бараком (в смысле ее социальной структуры) с XIII века. Потому что Киев не просто взяли, чтобы кого-то оттуда можно было выгнать и сесть самому. Это еще можно было понять, и это постоянно случалось. То Владимир — Святополк, то Ярослав — Ярополк, то Болислав — Ярослава... Выпихивали из Киева старшего брата и сами садились, чтобы хоть немножко посидеть на Киевском Столе.

Но самое-то упоительное в этой ситуации было то, что Андрею Боголюбскому не нужен был Киев. Он взял Киев и не оставил там камня на камне. Удивительно, как Святая София уцелела. Иконы ободрали, рукописи пожгли. Лавру чуть не разрушили, людей вязали и в рабство продавали, своих же славян. Татар никаких не было нужно. Это середина XII века. Татар еще нет на Руси, вернее, монголо-татар.

Мы скоро узнаем, почему некорректно говорить о татарах, почему татары не имеют никакого отношения к монголо-татарскому нашествию. Вот этот дефис и второе слово, татары, идут от невежества историков. Всё было наоборот.

После того, как он это проделал с Киевом, Андрей Боголюбский ушел обратно на север: в Суздаль и во

Владимир. Киев перестал быть стольным городом. Стольным городом был какое-то время Суздаль, но очень недолго; потом стольным городом становится Владимир. Киев был сожжен, как что-то лишнее, ненужное. В княжеском правлении Андрея Боголюбского нет традиции, нет лестничного права. Братьев он считал холопами, подданными.

Всё человеческое уходит из лестничного права, когда начинается битва при Липице. Это 1216 год. Можете считать, что лестничного права больше нет. Девять тысяч пали в этот день из-за какого-то пустыка. Из-за того, что один брат пожелал отнять владимирское княжение у другого. Ожесточение дошло до предела. Так бывает всегда. Тот, кто основывает свое царство на утопии, тот основывает его на песке. Тот, кто рассчитывает на человеческие отношения, в конце концов оказывается в тупике. Как правило, утопические царства, которые не от мира сего, по жестокости превосходят холодное правление, основанное на законе. Люди должны между собой держать дистанцию. Потому что силы отталкивания настолько велики, что после того, как люди бросаются друг к другу в объятия и некоторое время тесно прижимаются друг к другу, между ними возникают такие силы взаимного отвращения, что они делаются врагами. Это произошло (и можно было предсказать, что это произойдет) в результате не договорного, традиционалистского лестничного права.

Пересол. Пересол, как вы понимаете, — на шею. Это недосол — на стол. Там, где есть холодные, договорные, законные отношения людей между собой, может возникнуть человеческое чувство. Но там, где нет договора, рано или поздно человеческие чувства закончатся дикими сценами, взаимным истреблением. Что на Руси и произошло.

Уже 1216 год. До нашествия оставалось не так уж много времени. До нашествия оставалось четверть века, но главное уже было сделано. Силы отталкивания были такие, что сам Ключевский пишет, что без монгольского нашествия князья разнесли бы Русь на клочки. Единого государства не возникло бы; силы отталкивания были такие, что по всей Вселенной это разносилось, по

всей тогдашней Ойкумене. Один — к Польше, другой — к Литве, на Востоке не к кому было присоединяться. То есть полная аннигиляция цивилизации, полная аннигиляция государства. Дикая взаимная ненависть, которая возникла в результате братских отношений.

Три века братских отношений как государственной формулы — и вот вам результат. А ведь хотели как лучше. Ведь это было так красиво: правители-братья. Вот чем кончаются братские чувства! После этого было ясно заранее, к чему приведет социалистическая утопия о братстве и равенстве, но никто не учит историю, никто не смотрит на стадион. Никто не считает эти следы на дорожках, считать начинают, когда уже поздно. Хотя в XII веке мы уже делали попытку. Считайте, что лестничное право — это была первая попытка установить советскую власть, княжескую советскую власть, когда правил сам народ в лице князя, потому что действительно структура была во многом горизонтальная. Города, градские старцы, очень много самоуправления, дружина князя (двухпалатная), Протосенат, Протопарламент, очень слабая княжеская власть. Много возможностей для самоуправления, для самоорганизации.

В результате не возникло ничего, кроме хаоса и дикой взаимной ненависти.

В этот момент появляется еще одна очень интересная вещь: люди длинной воли. Что же за люди такие? Люди длинной воли — это были нонконформисты. Сначала это монахи, которые будут передвигаться дальше на север и на юг, чтобы основывать монастыри. Отнюдь не из-за благочестия! Просто им было тесно, им было душно. Они уходили на свободу. И поскольку вся формула жизни, единственный связующий состав, цемент, — это было христианство, то, конечно, основывался маленький монастырь. Вокруг монастыря начинали пахать землю, ставить дома.

Потом это будут казаки. Люди длинной воли — это люди, которые не могли вынести государственного насилия, люди, которые искали большей свободы, но они ее искали не у себя на земле. Они не пытались изменить государственную формулу (как в XII веке, так и в XVIII не попытаются). Они будут уходить от государства в сторону. Государство будет развиваться по

формуле колючей проволоки, то есть закручиваться в эту страшную спираль, а люди длинной воли будут уносить в степи и леса свое чувство свободы, свой анархизм, который мог бы разбавить вольностью железное насилие государства.

Они будут уносить свободу на рубежи и будут там основывать разные интересные вещи, вплоть до Запорожской Сечи. Если хотите, Запорожская Сечь была проникнута польской формулой государства: предельной свободой, самоорганизацией снизу доверху. В Запорожской Сечи было очень много шляхетской вольности. Поэтому и Украина впитала в себя такое свободомыслие. Уже к XIII веку Украина как таковая возникает, но не как государство и даже не как некая территория, а как край, в который можно уйти и в котором можно быть свободным.

Потом такие края возникнут в Сибири, на Волге. Разин пойдет на Волгу, Емельян Пугачев будет околачиваться где-то под Оренбургом. Возникнет воля, не ограниченная законами, и эта воля будет сталкиваться с государством и расшибаться всмятку. Или уничтожать государство. Бесплодное столкновение. От этого не будет меняться страна. Она будет только больше костенеть в своей нержавеющей стали. От этого не будет меняться воля. Она не будет приобретать государственных навыков. Воля будет уноситься, как перекасти-поле, как торнадо, как ураган куда-то на рубежи. Эти ураганы, которые станут проходить над Русью, не будут ее оплодотворять свободой. То есть это будет чистый сквозняк. И из этих столкновений, из этих туч и молний никогда не выпадет никакой дождь. Люди длинной воли были внутренними эмигрантами, до того как стать ими вне страны. Они уносили себя, они не пытались ничего основать.

Гражданин — это шелковичный червь, который из себя вырабатывает шелковую ниточку гражданской вольности, гражданской структуры. И он создает вокруг себя определенную среду. Человек длинной воли — совершенно не гражданин, ему проще уйти. Брякнуть на стол ключи и, не попрощавшись, уйти куда-нибудь в ушкуйники, в разбойники, в запорожцы, в бандиты. Лучше всех сказал об этом Эдуард Багрицкий, в котором очень сильна была традиция Дикого поля. Это русский поэт, который

В XII же веке люди длинной воли не знали, кто они такие. Их называли скромно: разбойники. Людьями длинной воли их потом назовет Лев Гумилев. Это его термин. Они уходили на рубежи, ничего на Руси не оставалось; и вот случилось самое страшное: набег. Массированный набег, не просто какая-то там волна: седьмой вал, восьмой или даже девятый, — но цунами. Цунами набега докатилось до Руси. Лев Гумилев довольно спокойно смотрит на эти вещи. Он даже высчитал, что волны кочевников возникают чуть ли не каждые несколько столетий, потому что в степях кончаются корма. Он писал, что это неизбежно. Такова историческая закономерность. Но эта историческая закономерность создает на Руси ордынскую традицию. Эта историческая закономерность ломает Руси позвоночник. Нас прикончила эта историческая закономерность. Очень советую вам прочитать всего Льва Гумилева, потому что это единственный историк, который считал столкновение Руси с Ордой благотворным. Задним числом он предлагал Руси воспользоваться этим столкновением для того, чтобы возвыситься, стать мощной и победить Литву.

Только самое занятное из того, что произошло, — это тот факт, что сам Лев Гумилев попал на 25 лет в лагеря именно потому, что случилось монгольское нашествие. Ему-то от этого точно никакой пользы не было. Чистая ситуация! Он пишет, что у кочевников была сила, было чувство чести, что надо было с ними объединиться. Ну да мы с ними и объединились (идеальный вариант!), это и произошло. Никто на них первым не нападал. Русь не нападала на кочевников. Всегда бывало наоборот. Князья в шатер Батыея поначалу пришли с дарами, для того чтобы установить дипломатические отношения (верительные грамоты вручить), и зачем при этом надо было убивать Федора Рязанского? Об этом надо спросить Льва Гумилева, хотя он на этот вопрос уже не ответит. Нельзя объединиться с мощью, которая превосходит твою мощь, которой ты не нужен и которая хочет только тебя подавить. Здесь не может быть ни партнерства, ни сотрудничества. Надо просто знать историю монголов, чтобы понять, что, собственно, на Русь пришло.

Это были не типичные кочевники. Они не были похожи даже на скифов, на сарматов, на знаменитых печенегов,

на хазар. Это было нечто другое. Те были представителями Дикого поля. Они набегали, хватали что-то и уходили обратно. Им нужна была дорога. Они были этакими конными цыганами, только без медведя и без гаданья. Им нужна была воля — и набег. Они приходили ненадолго, они непременно уходили назад. Они не хотели никого давить, в крайнем случае могли в рабство продать, ограбить.

Ну а монголы имели формулу империи, своей собственной империи. Очень советую вам изучить фундаментальное руководство Исаия Калашникова «Жестокий век». По сравнению с Яном и его трилогией («Чингисхан», «Батый», «К последнему морю»), которую нам скормили в детстве, это действительно научный труд. А Ян — это лубок, это комикс, это веселые картинки. Он ничего не объясняет, а вот Исай Калашников объясняет очень многое. В частности, тот, кто читал Исаия Калашникова, никогда не обвинит татар, что они-де пришли на Русь и нас завоевали. Из «Жесточкого века» становится ясно, что ни те татары, которые жили в Крыму, ни те, которые жили на Волге в Казани, ни сном ни духом никакого отношения к этому нашествию не имели и первыми стали его жертвами. Монголы при захвате степи по очереди уничтожали этносы, которые им противились, а поскольку татары, которые жили в степях (не те, которые жили у нас на Волге и вообще здесь были ни при чем), сопротивлялись особенно ожесточенно, Чингисхан отдал приказ уничтожить их всех, кроме детей, которые головой не достигали до ступицы колеса. То есть двухлетнего ребенка уже полагалось уничтожить. Они оставили, по сути дела, только младенцев. Уничтожили всё племя.

Поэтому татары были одной из самых несчастных жертв монгольской экспансии.

Монголы пришли не только на Русь. Монголы захватили Китай. А эта была очень древняя цивилизация, слабая, полностью лишенная духа свободы, но роскошная и утонченная. Они захватывали всех: и найманов, и татар, и тайчиутов. Все, кто жил в степях, были подавлены до того, как они пришли к нам. Потом был Хорезм, теперешняя Средняя Азия. Тоже раздавили. Зачем они всё это делали, какой был в этом смысл? Они ведь не уходили,

захватывая земли. Они ставили своих наместников. Они заставляли выплачивать постоянную дань, налог, у них тоже была налоговая полиция. Они получали людей для войска. Они создавали систему местной власти. Они ставили своих людей всюду. И единственно, кого они не трогали, это служителей местных богов. Причем они очень грамотно объясняли, почему они не трогают служителей богов. Они говорили, что трусы утешаются общением с богами. Надо оставить трусам возможность плакать и скулить. Поэтому мы не будем трогать их богов. А если мы их тронем, то, чего доброго, они останутся без утешения, возьмут мечи и начнут нас истреблять. Они не понимали, для чего нужны служители богов и боги. И они невысоко ставили тех, кого побеждали.

Они считали, что настоящий воин должен пасть в бою. В этом смысле, если хотите, они исповедовали скандинавские ценности. Но скандинавы никого не обращали в рабство. Им была противна сама идея рабства. Ведь скандинавов в рабство никогда не продавали. На невольничьих рынках Востока продавали многих, но никогда не продавали будущих норвежцев, будущих шведов, будущих датчан. Там такого не было. Они живыми не сдавались в плен.

Монголов, в принципе, тоже не продавали. Чингисхан создал этнос, который стал этносом победителей, рабовладельцев. Потом уже Золотая Орда познает роскошь, потом уже начнет действовать чужими руками, в основном нашими руками, руками Руси. Это потом уже они станут слабыми. Это будет в XIV—XV—XVI веках. Но в XIII веке они были очень сильны. Они были как стрела, выпущенная из лука, но эта стрела летела мимо свободы. Зачем они это делали, понять трудно, потому что им нечего было предложить миру. Цивилизация, которую они успели узнать, была взята взаймы у китайцев, в Хорезме. Сами они ничего не имели, кроме сабель, коней и древней «Яссы» Чингисхана. Эта «Ясса» — свод законов, он очень отличается от «Салической Правды» и от «Правды Ярославичей». Это воинский устав. Идеальный воинский устав. Как должен вести себя воин? Там есть нормативы. Это такой древний кодекс бусидо, только не для самураев, а для монголов. Чтобы понять, зачем они это всё делали, нужно послушать хотя бы одну их песню.

Вспомним, вспомним степи монгольские,
Голубой Керулен, золотой Онон!
Трижды тридцать монгольским войском
Втоптано в пыль непокорных племен.
Мы бросим народам грозу и пламя,
Несущие смерть Чингисхана сыны,
Пески сорока пустынь за нами
Кровью убитых обагрены.
«Рубите, рубите молодых и старых!
Взвился над Вселенной монгольский аркан!»
Повелел, повелел так в искрах пожара
Краснобородый бич неба — батыр Чингисхан.
Вперед, вперед, крепконогие кони,
Вашу тень обгоняет народов страх...
Мы не сдержим, не сдержим буйной погони,
Пока распаленных коней не омоем
В последних Последнего Моря волнах.

Вот она, ордынская традиция, вот она, формула и Российской империи, и Советского Союза. Зачем? Нет ответа на этот вопрос. Зачем? А вот ради удовольствия. Зачем должен взвиться над Вселенной чей-то аркан? А в этом кайф. Зачем нужно мыть сапоги в Индийском океане? Затем же, зачем они хотели омыть распаленных коней в последних Последнего Моря волнах. Захватить всю Вселенную! Желание желудка. Пустого желудка, жаждущего что-то переварить, даже без всякой пользы. Никакой пользы не было ни Российской империи, ни Советскому Союзу, ни монголам. Не было никакой пользы от этих завоеваний. Монголы вели аскетический образ жизни. «Ясса» Чингисхана запрещала роскошь. Они не копили тогда золото. На коне много не увезешь. Иначе это будет не боевой конь. Зачем? А вот затем: втоптать в пыль. Как объясняет это представитель Внутренней партии О'Брайен в «1984» Оруэлла. Зачем нужно было создавать такую форму Океании? Зачем должен сапог наступить на лицо человечества? У сапога нет идеологии. Сапог чувствует удовольствие от того, что наступает на лицо человечества. Самая страшная в мире традиция — это ордынская традиция. Традиция совершенно бесполезного, бесплатного, платонического угнетения, платонического подавления, платонического захвата.

Захват ради захвата. Это страшно, поэтому непонятно. Даже гитлеровцы лучше объясняли свои действия. «У немцев, мол, не хватает жизненного пространства, у нас пшеница не растет, мы хотим спасти судетских немцев-фольксдойчей, мы хотим новые богатые земли раздать своим штурмовикам. Лучше хотим сделать собственному немецкому народу. Пусть другие народы сгинут и пропадут, но свой народ мы обустроим. Мы — избранная раса. Мы лучше всех, и наши порядки мы установим на всех континентах».

Здесь этого нет. Ордынская традиция абсолютно бескорыстна: ни себе, ни людям. Уничтожим всё во имя уничтожения. Захватим всех во имя несвободы. Несвобода становится целью. Этой традиции суждено было с нами столкнуться в самый неблагоприятный для нас момент.

Когда происходит это столкновение, поначалу есть сопротивление. Остатки скандинавской традиции. Они где-то слабо барахтаются. Но, заметьте, к этому моменту из славянской традиции уже возникла великорусская традиция. Готовность пойти под сильную руку, скаредность ума, отсутствие кругозора — всё это великорусская традиция. И эта традиция была благодатной почвой. Сопротивление долго не длилось, хотя сопротивляться можно было и дальше, ситуация абсолютно не была безнадёжной. Это был не 1941 год. Никакие танковые армии на Русь не шли. Она не столкнулась с превосходящей ее цивилизацией. Она столкнулась с очень мощным, но всего-навсего очередным набегом. Были леса, была возможность не подчиниться, была возможность совершать вылазки, то есть ничего фатального не происходило. Объединив силы всех городов, можно было сопротивляться, можно было заставить их остановиться. Они не обязательно встали бы на западных границах Руси. Они могли остановиться на ее восточных границах.

Они ведь остановились, когда дошли до поляков. Они там тоже попробовали пройти, еще как попробовали. По сути дела, проникновение монголов в Польшу было очень массированным, вплоть до бифштекса по-татарски. Опять по-татарски! Несчастливые татары, без вины виноватые... Но тем не менее поляки узнали это блюдо. И оно стало достаточно частым гостем на столе. Сколько

городов они пытались взять? И в конце концов поляки сами нанимали татар. У них были специальные военные подразделения, многие монголы потом принимают католическую веру и становятся шляхтичами. То есть это явление было повсеместным. Они проникают в Польшу, но они проникают как наемники, а не как хозяева. Что произошло? Почему они взяли Русь, почему они не взяли Польшу? Ведь разница в уровне цивилизованности тогда не бросалась в глаза. Польша не была сильнее. Она была точно так же раздроблена, даже больше была раздроблена. Степень самоорганизации была меньше, потому что была культура свободы. Тем не менее Польша не подчинилась. Не подчинилась — и всё. А Русь подчинилась. Никогда не верьте тем, кто говорит, что не было сил противиться. Всегда есть силы противиться.

Есть пример Нуманции. Когда Сципион завоевывал для Рима Испанию, ему встретился один городок. Испания так и не была никогда до конца завоевана, хотя она считалась римской провинцией, но это не была та глухая провинция у моря, где уютно жить. Бродский имел в виду другую провинцию; там же, в Испании, просто так старшего Плиния на скамейке было оставить нельзя. Там все время нужно было защищаться от этих будущих испанцев, которые тогда не назывались испанцами.

Городок Нуманция. Казалось, совершенно невозможно было сопротивляться. Римляне со всех сторон. Шесть месяцев осады, кончилось продовольствие, кончилась вода, римляне завтра войдут в город. Они уже все стены подкопали, разрушили своими великолепными машинами. Всё завтра свершится. И что делают жители в эту последнюю ночь? В эту последнюю ночь они складывают костер, кидают туда все сокровища города до последнего золотого браслета. Всё сгорает. Дальше они закалывают своих жен и детей и убивают друг друга. Остается в живых один мальчик. Его специально оставили в живых, чтобы утром, взойдя на полуразрушенные крепостные стены, он рассказал Сципиону, что в городе произошло. Сципион был культурным человеком, благовоспитанным. Он начинает ломать руки, рвать на себе волосы, ему уже и город этот не нужен. Мальчика умоляет остаться в живых, говорит, что его усыновит, будет воспитывать,

как собственного сына. Мальчик на его глазах бросается с крепостных стен, убивается насмерть. Есть, оказывается, и такой вариант. Этот вариант потом будет применен иудеями в Масаде, во время Иудейской войны, которую вели римляне. Там такая же история, только они пять лет сопротивлялись (там были большие запасы воды). А когда римляне построили вровень с этой скалой стены, чтобы взять город, тогда они все друг друга перебили и римлянам никто не достался. Нет оправдания тем, кто захотел жить в рабстве. Оправдания нет для тех, кто не готов умереть за Отечество.

И тем не менее это произошло. Это произошло, и самое ужасное — это то, что, похоже, некоторые князья даже обрадовались тому, что это произошло. У них появилась возможность подавить других князей с помощью этих новоявленных союзников. Начинается самое постыдное. Начинается охота за ярлыком на Великое Княжение. Начинается всеобщая сервильзация Руси. Князья Руси становятся холопами. С нами два века никто не будет разговаривать как со свободными людьми. С 1238 года по 1480-й мы будем считаться холопами монголов, несвободным народом, да еще народом, который гордится своим рабством. Господин Великий Новгород будет откупаться данью. Знаменитый Александр Невский не попытается пойти на монголов и разбить их. Он будет платить камским серебром дань. И единственной, кто восстанет, будет Тверь. Но еще до того, как это произошло, до того, как это свершилось, были некоторые примеры, которые говорят, что носители скандинавской традиции сопротивлялись, и так сопротивляться мог бы каждый.

Сергей Марков написал нам маленькую поэму «Слово об Евпатии Коловрате». То, что происходило в этот момент на Руси, лучше всего понято Сергеем Марковым. Он будет нашим Вергилием, так же, как Алексей Константинович Толстой.

Такая вот Ариаднина нить... Евпатий Коловрат — это ведь чистая скандинавско-славянская традиция.

После того, как Коловрата (так считается в летописях) победили с помощью волшебства, с помощью какой-то техники некоего хазара, потому что ратным искусством

победить его было невозможно, в ханском шатре происходит следующее:

Шумит у ханского шатра позорный праздник вероломства,
Волшба, прелестная игра, сестра насилья, похвальба
Сошлись у жаркого костра, где пляшут похоть и алчба
К стыду и ужасу потомства.
Там льнет блудница к палачу. Руками, скользкими от жира,
Он делит слитки и парчу купца из дальнего Каира.
И, растолкав бесовский круг,
 пройдя сквозь белый дым огнища,
Хазар вползает, как паук, под своды ханского жилища.
И хан сказал: «Побудь со мной.
 Ты, верно, ждешь моей награды?
Я всё могу. Я бог земной. Но нет в могуществе отрады.
И сердце — как пустой сосуд,
 вся жизнь моя — вино без пены,
А судьбы наши стерегут драконы злобы и измены.
Велик не я, а Коловрат. О страшной зависти проклятье!
Хазар, ты ждал моих наград? Возьми палаческое платье!..

Почему он так убивается? Дело в том, что волшебство — это были те знаменитые снаряды, которые употребляла Византия против наших княжеских ладей, то есть глиняные сосуды или глиняные шары, наполненные горячей смолой, греческий огонь, который сжигал, который разрывался. Такая первобытная артиллерия. Естественно, в Древнем мире считалось престижным побеждать в рукопашном бою. Батый в XIII веке убивается оттого, что победил Коловрата не в честном бою, не в поединке. Пришлось к артиллерии прибегать.

Впоследствии Советский Союз убиваться не будет из-за того, что победил Венгрию и Чехословакию незаконными способами. Честь, что была у тех, кто читал «Яссу» Чингисхана, из ордынской традиции быстренько выветрится.

И в горести Батый умолк, но вновь позвал к себе гордыню,
И встал, и ринулся как волк, чтоб земли обращать в пустыню.
Он мнил: вокруг снега горят и лед плывет кипящей лавой.
В стране родимой Коловрат сиял неугасимой славой.
То сполох был, его лучи неисчислимой чередой,
Как русской доблести мечи, прошли над темною Ордою.

И когда князья уже начали делить ярлыки и получать некий мандат на княжение, только не в ВЧК, а у монгольского царя в шатре, за этот ярлык надо было хорошо заплатить. Такой своеобразный рынок ярлыков: кто больше даст, кто больше унижится, кто ниже согнется, кто понравится ханским женам, — тот и получит ярлык. Поэтому великими князьями на Руси в этот момент становятся самые подлые; идет отрицательный естественный отбор. Самые подлые, самые хитрые, самые корыстные получают ярлыки. Князья — носители скандинавской традиции — не имеют никаких шансов получить их.

Вот именно в этот момент Михаил Черниговский и решает дать урок, показать, как надо себя вести. Он специально является в Орду и делает там следующую вещь. Это 1248 год. (Всё еще только начиналось.) Он заявляет хану, что явился не за ярлыком, а чтобы сказать всё, что он о нем думает.

И он ему говорит (причем на глазах приспешников, на глазах у всей Орды, на глазах у других русских князей, которые уже стоят там униженные), что ему не нужен никакой ярлык, что он плевать хотел на него, и на Орду, и на самого хана, что он держит свое княжение от предков, что он специально сюда приехал, чтобы сказать хану, что он унижаться перед ним не будет и что, если тот явится в его княжество, то получит такой отпор, что добавки просить больше не будет. И он плюет ему под ноги в прямом смысле слова. То есть приехал, чтобы плюнуть, — и плюет. Понятно, чем это кончилось. Это кончилось мучительной казнью. Но это был пример! Если бы все великие князья последовали этому примеру, то никакого ига не было бы. Никто не искал бы эти ярлыки.

В конце концов начинается процесс экономический и совершенно необъяснимый. Русь обогащает Орду. Орда делается могущественной именно благодаря русским мехам, русским деньгам, камскому серебру: ведь каждый старается дать побольше, чтобы купить себе ярлык. Откуда взялись богатства у ордынцев? Ну конечно, Китай. Но на Руси они удвоились! Враг делается всё сильнее. Стоило два века умножать его богатства и его силу, чтобы потом бить его же на Куликовом поле. Это была совершенно дикая, безумная, порочная практика.

В этом не было не то что доблести, в этом даже логики не было. Если бы все те средства, которые были употреблены на подкуп царских жен, пошли бы на сопротивление, не было бы никакого ига. Но Михаил Черниговский был причислен к лику святых, а князья продолжали биться за ярлыки.

Новгород был сам по себе. Новгород сиял на севере, как Полярная звезда. Очень высокомерный, очень свободный город. Он считал, что всегда откупится. Дела Руси его не касались, он и вид делал постороннего. Новгородцы даже не давали себе труд искать великокняжеских ярлыков. Они ни во что не ставили Русь и княжение над ней. Это был Рим, который пренебрегал экспансией. И, как выяснится потом, зря пренебрегал.

В этот момент возникли некие весы. Почти созвездие Весов, и мы входим в его расположение. Кто будет собирать Русь, кто станет великим князем? Кто даст свое имя будущему государству? И чаши весов уравнились между Тверью и Москвой. Возникают два центра тяжести. Тверь была в этот момент гораздо богаче Москвы. Тверь была древнее. Вы не поверите, на что тогда была похожа Тверь. Этот маленький городок где-то там на северо-западе. Маленький, районный, заштатный, который сейчас меньше Нижнего Новгорода раз в десять. Да он сейчас меньше и Новгорода Великого. А тогда это был город, равный торговым городам Италии. Это была наша Генуя. Это был город сплошного капитализма, раннего протокапитализма. Город купцов и ремесленников.

И этот город имел все права (по лествичному праву) на Великий Стол. Князья тверские принадлежали к старшей ветви, то есть сила традиции была на их стороне. К тому же в Твери были очень интересные князья, как на подбор. Идет целая генерация князей, наследников скандинавской традиции, типичных викингов. Храбрых, добрых, благородных. Без инстинкта самосохранения. Абсолютно лишенных инстинкта самосохранения. С великой государственной мыслью победить монголов. Сделать Русь свободной. Всюду ввести законы, такие как в Твери. В Твери ремесленники не облагались налогом первые несколько лет, в Твери защищали купечество, в Твери поощряли предпринимательство.

В Твери создавали Вече. Оно не было там органично. Это был не Новгород все-таки. Но сам князь старался создать городское самоуправление сверху. Представителей от купцов, представителей от горожан он призывал раз в неделю и вместе с дружиной их выслушивал. Он пытался создать палату общин.

Михаил Тверской был исключительной личностью. Он был реформатором, природным реформатором. И, кстати, он чему-то учился. Он прочел много книг, он владел латынью. Это был исключительный случай на Руси. Князь, владеющий латынью! Не новгородский князь, который был близок к центрам «латинства»: к Литве, к Польше. Это XIV век. В XIV веке — князь, владеющий латынью!

Михаил Тверской был военным реформатором. Он провел военную реформу, и никакие рекруты не понадобились больше. Он создал регулярную пехоту. Первым на Руси он создал пехоту, ту самую пехоту лучников, которые помогли англичанам бить французов весь первый этап Столетней войны. Пешцы. Пехота тогда была в полном пренебрежении. Считалась только конница: дворянская, княжеская конница. Дружинники. Что такое были пешцы? Пешцы, смерды какие-то, крестьяне, что они могли? Разве могли они воевать? И вот из этих пешцев он готовит пехоту типа римской или типа македонской, фалангу. Он учит их владеть копьем, он учит их владеть луками, он учит их владеть мечом. Он же римскую историю знал. Он знал, что такое будет пехота для неподготовленного противника. Он создал пехоту.

Михаил Тверской задолго, за век, даже за полтора века до Куликова поля начинает бить монголов. И ни разу в открытом бою монголы против него не могли выстоять. Он их просто бил. И самое обидное — это то, что он их бил с помощью пехоты, с помощью пешцев. Монголы этого вообще вынести не могли.

У него были великолепные сыновья. У него много денег, купцы несут эти деньги на оборону Руси. И Михаил Тверской пытается объединить Русь не для того, чтобы быть первым, а для того, чтобы выгнать монголов. Он начинает делать первые листовки и рассылать их по всей Руси с призывом объединиться против общего врага. Он шлет гонцов в Новгород. Новгород отказывает ему. Не дает

даже закамского серебра. Новгород не понимает, зачем ему это нужно — освободить Русь.

Что же в это время делает Москва, которой было суждено дать свое имя новому государству? Это было большое несчастье для Руси. Самое худшее, что могло с ней в этот момент случиться, — это победа Москвы. И это произошло. В Москве всё было очень плохо. Москва была носителем чистой ордынской традиции. Первый князь московский был приличным человеком, но ничем себя не прославил. Михаил Хоробрит. 1248 год. Ну сидел — и сидел. Москву создает князь Даниил, его сын. Князь Даниил был не просто приличным человеком, он был хорошим князем. Из крошечного городка, который занимал одну треть теперешней территории Кремля, он создал большой город. Как? Так же, в общем-то, как Михаил Тверской. Та же формула. Князь привлекает купечество, привлекает ремесленников. Дает льготы, дает возможность богатеть, дает защиту. Он не создает самоуправление. Этим он, собственно, и отличается от Михаила Тверского. Он не пытается вводить какие-то западные новшества, но он мягко правит. Традиционно правит. Так, как правили русские князья. Он ничего лишнего не берет. И защищает. Он делает Москву вполне приличным богатым городом, но, конечно, с Тверью Москва в этот момент состязаться не может. Даже колокол (необыкновенный колокол!) есть только у Твери. Искусством лить колокола в Москве никогда не владели. Поэтому и Царь-колокол раскололся.

В Новгороде были замечательные колокола, не считая Вечевого. А тверские колокола славились, их покупали, даже из Литвы за этими колоколами приезжали.

Все на стороне Твери, кроме политики.

Слово «политика» тогда на Руси было никому не известно. Понятия, введенные Макиавелли, то есть политическая интрига, искусство разделять и властвовать (*divide et impera*). И Сатана, а не Бог, конечно, послал Москве двух первоклассных политиков, первых политиков на Руси. Первые политики на Руси были законченными негодяями. И тем не менее гениями в политической сфере, нашими Макиавелли. Это сыновья Даниила: Юрий Данилович и Иван Данилович — будущий Иван Калита.

Эти два политика начинают буквально с нуля создавать могущество Москвы. Экономическое могущество есть. Нет политического могущества. Что они делают, эта сладкая парочка? Юрий был поглупее. Он предпочитал употреблять насилие, не старался прятать нити и узелки. Он делал всё слишком явно, напоказ. Иван Калита вообще был гением. У него нигде ничего не торчало. Он старался всё делать так, чтобы никто не знал, что он делает. Он создает политическую школу. Ему вообще-то политологию надо бы преподавать. Но поскольку кроме московских князей вообще никто не знал, что такое политология, они, не имея права на Великий Стол, его получают. Они получают всю Русь. Исключительно из-за искусства политики. Они начинают ссорить князей. Они это делают очень грамотно и целенаправленно. К Можайскому князю посылают и говорят, что вот мы о тебе печемся, ты такой хороший человек, но если бы ты знал, что замышляет против тебя рязанский князь! К рязанскому князю посылают и говорят, что вот мы-то тебе сочувствуем и понимаем, что ты хороший человек, а Можайский князь — такой гад, и мы, как порядочные люди, не можем тебя не предупредить. И вы знаете, все покупаются на это. Телевидения нет, радио нет, газет нет, Минкин ничего не напишет. Что делать? Вот приехал к тебе нарочный, как не поверить? Лестно, сам московский князь о тебе печется. Москва все-таки побогаче была Рязани, побогаче Можайска.

Князья все перессорились; они и до этого были в ссоре, но теперь они просто становятся врагами друг друга. Князья идут друг на друга, и Москва становится неким прибежищем, и даже не прибежищем, а плацдармом голубых касок.

Москва начинает всех мирить. Не бесплатно. И она же в конце концов оказывается самой мудрой и самой правой. У одних берет деньги — и у других берет деньги. За примирение. Ратников тихо дает и тому и другому. И в конце концов она же назначает победителя, она же ослабляет соседей.

С Тверью только ничего не получилось. Михаил Тверской был слишком могущественным, чтобы кто-то к нему пытался подъехать с этим.

И самое ужасное, что делает Москва, — это то, что она покупает Орду. Этот замечательный большой мешок Калиты — откуда он взялся? Об этом не пишет советская история. Об этом написано у Карамзина, об этом написано у Щапова, об этом написано у Соловьева. Большой мешок получается от того, что московские князья становятся законченными коллаборационистами. Полицаями. Москва в течение двух веков, до Куликова поля, играет роль полиция Орды. Таких после Великой Отечественной войны вешали за сотрудничество с врагом. Во Франции очень много коллаборационистов казнили, Лавалля, например; хозяев заводов «Рено» прямо на воротах повесили. Вот этим и занимается Москва. Она берет лицензию на сбор налогов. На сбор дани. И выколачивает она эту дань из собственных соплеменников, из русских, из славян. И когда не платят, она с этим мандатом от Орды просто берет силой, убивает и порабощает своих, для того чтобы получить деньги для Орды. И выколачивает больше денег, чем нужно для Орды. Половину кладет себе в карман. Копится богатство, несправедливое богатство, грязные деньги. Этим грязным денег становится очень много, а деньги не пахнут. Орде нужны деньги. В Орде начинаются распри. В XIV веке возникают какие-то протопартии. Один хан, второй хан. Один наследник, второй наследник. Нужно серебро, золото. Можно всё это получить от Москвы, но не даром. Москва дает деньги и требует абсолютной власти над другими городами. Она требует карт-бланш. Чтобы ей позволили делать всё, что она захочет. А хочет она абсолютной власти. Москва начинает преследовать диссидентов. Можно считать, что Иван Калита и Юрий Данилович учреждают КГБ или гестапо от имени монгольских завоевателей.

В Рязани издают книгу «О разорении Рязани Батыем». Самиздат. Первый самиздат появляется в XIV веке в Рязани. Ее переписывают, книгопечатание тогда хотя и существовало уже, но на Руси оно не применялось. Переписывают много раз. Читают, как-то утешаются. Про этот самиздат узнает московский князь. Немедленно Юрий Данилович и Иван Данилович посылают донос в Орду. Вот, смотрите,

как оскорбляют замечательных ордынцев, что о них пишут! Пишут, что они оккупанты, что они церкви ободрали и жителей в рабство угнали. Естественно, в Орде все в ярости. Спрашивают у московских князей: «А что же нам теперь делать?» И московский князь учит их, что им делать. И во второй раз уже Москва берет Рязань. Берет русскую Рязань, которая почти сопротивляться не может! И рязанский князь будет отвезен в наручниках и кандалах в Орду и будет казнен из-за московских князей. То есть они занимаются конфискацией самиздата, совсем как кагэбэшники. Вот до чего они дошли. Хотя, казалось бы, что Орде до книг, которые они прочитать все равно не могут! Если бы не этот донос, они бы и не узнали, что делается в Рязани и что там пишут. Для монголов письменность была каким-то волшебством. Они поверить не могли, что то, что запишешь, может соответствовать тому, что ты скажешь. Они даже опыты проводили с китайскими мастерами слова. Одного за дверь выгоняли, второму велели записывать, а потом первый читал. Вот так они проверяли, есть ли письменность, или им лапшу на уши вешают. Москва делает свое страшное дело. И вот наступает день прямого столкновения.

Когда терпеть дальше просто невозможно, когда Москва становится ненавистной всем на Руси, когда она становится просто подлой, тогда сыновья Юрия Даниловича уходят в Тверь, уходят к Михаилу Тверскому. Это был единственный случай в истории Руси. Тогда старших почитали. Тогда отца очень уважали. И вот уйти от своего отца к чужому отцу, к врагу своего отца!

Это было после попытки осадить Тверь вместе с монголами. Это делалось по инициативе Ивана Даниловича: первая попытка взять Тверь штурмом. Ничего не удалось. Монголы постояли, пограбили. Пехота у Михаила была хороша. И все пошли обратно. И трое сыновей Юрия Даниловича уходят в Тверь, уходят к Михаилу, становятся его соратниками. Они больше не могут жить в этом подлом городе. А подлый город продолжает делать свое подлое дело и доведет его до конца.

Лекция № 5

ГОСУДАРСТВА ЖЕСТКАЯ ПОРФИРА

Москва прирастала числом, а не уменьем, если, конечно, не считать уменьем интриги, коварство и примитивное разбухание: не вглубь, а вширь.

А теперь переведите всё это в масштаб очень большой страны, помножьте на 150 миллионов — и вы получите необходимое отставание от Западной Европы.

Ивана Калиту принято считать собирателем Руси. На самом деле здесь напрашивается несколько иная терминология. Я бы его назвала подбирателем Руси. Он очень хорошо подобрал Русь, то, что успел, все кусочки — под себя. Я знаю, что в этот момент летописцы работали достаточно регулярно, а не фрагментарно, и они пишут, что там даже не было еще государственной идеи. Скажем, так. «Мы хотим создать третий Рим. Мы правы, Михаил Тверской неправ. Наше дело правое, мы победим. Вот у нас есть великая государственная мысль. Поэтому мы имеем право идти на моральные издержки». Увы, даже не это. Там был какой-то безусловный рефлекс. Не условный, а безусловный: хватать. Хватать и грести под себя. И вот в этом деле московские князья проявили неистощимую изобретательность. И я думаю, что Макиавелли, если бы мог с ними познакомиться (конечно, когда он писал свою книгу о Государе и о государстве, он явно не был знаком с опытом русской державы, тогда вообще в Европе плохо знали об этом), был бы доволен и поставил бы эту парочку (Юрия Даниловича и Ивана Даниловича) в пример.

От Михаила надо было как-то избавляться. Это была фигура слишком большого масштаба, чтобы можно было как-то управиться с ним с помощью интриг, с помощью мелких пакостей, с помощью булавочных уколов. Всё это не проходило. Военное противостояние не давало никаких результатов, потому что он был еще и великим полководцем. Значит, надо было всё так рассчитать, чтобы безоговорочно убрать этого человека. И здесь Юрий Данилович и Иван Данилович в очередной раз показывают себя

великими политиками, то есть великими подонками. Это синонимы. Они придумали вещь, которая подействовала безотказно. Сначала они донесли на Михаила в Орду, что он собирается освободить Русь от монголов. Это было весьма справедливое подозрение; он это действительно собирался сделать, но московские князья сумели этот проект представить в Орде как какую-то имманентную угрозу, как заговор, как козни ЦРУ против страны Советов, и потребовали немедленных действий. Ну а дальше что было делать? Ведь взять Михаила было практически невозможно. Что, если он уйдет в Литву или еще куда пойдет? Лови его потом! Надо было получить Михаила. И тогда они придумывают следующую интригу, абсолютно неотразимую. Михаил был благородным человеком, очень благородным, — и жизнью своей не дорожил. И тогда его стали шантажировать тем, что вся монгольская Орда двинется против Твери.

Могло это случиться в XIV веке или нет, выяснить мы не сможем. Да и тогда это было крайне сложно выяснить, потому что Орда уже чуточку подразложилась. Они там хорошо окопались на Волге, построились, обустроились, привыкли получать серебро оттуда и отсюда. Привыкли уже к этому моменту пользоваться услугами московских князей. Конечно, теоретически они могли еще поднять всё войско, оно еще было боеспособно. Конечно, при самом героическом сопротивлении Тверь была бы сожжена дотла, там просто в живых никого бы не осталось, если бы вся Орда пошла на Тверь. Это не московское войско, это серьезно. Михаилу предложили этот вариант. Всё было классно разыграно, прибежали какие-то благожелательные перебежчики, рассказывали, что Орда вышла на рубежи, что там идут военные приготовления, что там уже план кампании начертан.

И Михаил сделал то, что впоследствии заставило церковь, которая тогда еще не была похожа на нынешнюю, причислить его к лику святых. Он попал не только в галерею великих полководцев и великих государственных деятелей. Он решил пожертвовать собой. А ему предложили два варианта на выбор: или он немедленно является в Орду держать ответ, на суд, или вся Орда идет на Тверь. Для того, чтобы спасти свою область, он является в Орду.

Больше ничего и не было нужно ни Ивану Даниловичу, ни Юрию Даниловичу.

Причем Иван Данилович был гораздо умнее Юрия Даниловича. Поэтому он не попадет в скверную историю. Сделав всё, что нужно, он спокойно сидит в Москве. А Юрий Данилович является на место, там чуть ли не заседает в составе военного трибунала, смотрит на казнь, а потом вызывает даже замечания изумленных монголов: что же вы, русские, за люди, валяется ваш казненный соплеменник, родственник, а вы даже его наготу не прикроете. Даже монголы этого не одобрили. Они не могли понять такое полное отсутствие корпоративного духа, полное отсутствие национального единства. То есть Михаил погибает, но не погибает еще Тверь. Его династия — это династия участников сопротивления.

У Михаила был сын Александр. У Александра был сын Федор. Впоследствии будет еще один Михаил, с которым покончит только Дмитрий Донской. Александр был таким же, как Михаил, но еще в большей степени флибустьером и авантюристом. Ему не хватало основательности и спокойствия, нужных для великого государственного деятеля, но он был из того теста, из которого делают Юлиев Цезарей и Александров Македонских. (Вацлав Гавел был такой же.) Он был типичный диссидент. И то, что начинает делать он, просто представить себе было невозможно: это были совершенно фантастические действия. Он устраивает чуть ли не типографию. А в Литве он бывал регулярно. Был знаком с современными формами книгопечатания. Он начинает просто листовки делать. И его люди по всей Руси распространяют эти листовки, которые содержат призывы к борьбе с монголами, с Ордой, к национальному протесту, то есть он пытается поднять Русь. И это не одна листовка, не десять. И это в полном смысле слова листовки, хотя выглядят они необычно. С цветными заставками, с типичным церковнославянским начертанием букв, но тем не менее это листовки. Уже тысячи, уже десятки тысяч. Создается очень нетипичная ситуация. А тут еще в Твери останавливаются баскаки. Монгольская налоговая полиция. Шевкал, брат самого Сарайского царя (они тогда до Казани не доходили, выше по Волге была Золотая Орда).

И эти ребята, баскаки, мало того, что останавливаются в лучшем доме, начинают насиловать окрестное население. Начинают грабить, пытаются забрать женщин. В общем, Александр решил, что этот момент — самый благоприятный. Он становится во главе восстания. Они убивают всю эту налоговую полицию и посылают соответствующий документик, крайне наглый и остроумный, в Орду. Мол, приходите еще и получите те же налоги и в той же форме. Пишут, что у нас еще осталось, чтобы заплатить в том же духе.

В Орде обомлели. Мало им было Михаила, еще у них и Александр появляется. И они дают поручение своему любимому Ивану Даниловичу, поручают ему разобраться. Вполне на мафиозном уровне. Начинается разборка, причем руками русских по воле монголов. Совершенно постыдная ситуация. Стоит ли удивляться тому, что в этот момент Запад перестает общаться с Русью на равных и начинает ее презирать, и что это презрение в XV веке так быстро пройти не успеет, а тут еще будет установлена автократия и появятся новые мотивы для остракизма, и презрение будет переходить по наследству из поколения в поколение и докатится до XX века?

Ничего удивительного в этом нет. Были основания для презрения. Были основания для железного занавеса. Поскольку этот железный занавес начали устанавливать изнутри, то снаружи возник такой маленький санитарный кордончик, рвом окопанный. То есть уже в этот момент мы не котируемся как цивилизованный народ, как народ, с которым можно вступать в какие бы то ни было договоры, потому что то, что Русь признала над собой монгольского царя, эти их ярлыки на княжение — это холопство, это рабство. Не было тогда Организации Объединенных Наций, не было ни Лиги Наций, ни Совета Европы, но негласно Совет Европы существовал. И негласно Совет Европы свой вердикт вынес. И то, что Блок потом напишет, что мы держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы, — это полный бред. Потому что расценено это было той же самой Европой совершенно иначе. Это было расценено ею как предательство, как измена общеевропейскому делу, как измена общеевропейским стандартам. Это подчинение

монголам не стоило благодарности, потому что как можно благодарить того робкого оленя, который становится добычей хищника, наполняет ему желудок, дает ему новые силы, для того, чтобы он мог кого-нибудь еще задрать. Кто же благодарит падаль за то, что она стала чьей-то добычей?

В этот момент Европа, не собираясь ни на какие конгрессы, ни в Страсбурге, ни в Мюнхене не заседая, не имея никакого Гаагского суда, единогласно решает, что несчастная Русь — это историческая падаль. Нас вычеркивают из списка цивилизованных государств. XIV век настал — и мы из него вычеркнуты. В XIII веке приговор был как бы отложен. Могло быть еще Соппротивление Року. Могли быть разные варианты. В этот момент Европа борется тоже. С этим нашествием боролись и Венгрия, и Польша, но они-то сумели отстоять свою независимость. Они не пошли на сделку с совестью. И поэтому нас осудили. И никакому историческому обжалованию в XIX веке, даже с помощью поэмы «Скифы», этот приговор не подлежал.

Иван Данилович бодро является под Тверь. А Александр делает очень нетипичную вещь, оставляя в Твери сильный гарнизон (Михаил научил их биться с татарами, а уж с Москвой справиться им было несложно) и отправляясь в Псков. Новгород отказался тогда следовать за делом и стягом свободы. А Псков, или, как его тогда называли, Плесков, не отказался. Плесков присоединяется к Твери и становится новым центром сопротивления. Плесков — это почти уже заграница, это почти уже Литва. Александр думает о том, чтобы употребить объединенные силы Запада против монгольской Орды. Если бы это состоялось, он бы вытащил нашу историю из той могилы, куда ее уложили. Это была бы совершенно иная история. Это было бы великое деяние. Не вышло. А замысел был хорош. Употребить силы Запада против монгольской Орды! Но ничего не получилось. Запад в этот момент не понял, зачем нужно жертвовать людьми, большими деньгами. Новгород ни копейки не дал, хотя у него были деньги. Зачем всё это ему было нужно? Точно так же, как Соединенные Штаты на определенном этапе своего развития не поняли, зачем им нужно отставлять Южный Вьетнам от Северного. Это они, наверное,

сейчас понимают, видя, что происходит во Вьетнаме. Слава богу, что еще не бросили Южную Корею. Но уговоры и аргументы Александра выглядят примерно так же, как уговоры и аргументы Владимира Буковского в наши дни. Что это общее дело, что свобода умалется, когда где-то существует тирания, что Западу не выгодно иметь у себя под боком новую Московскую Орду. В это время, кроме Золотой Орды, существует еще одна, самая ужасная: Московская Орда. Потому что Москва становится частью Орды. Она становится вспомогательной столицей Орды, то есть Орда и Москва сливаются воедино.

Возникает ордынская традиция уже не оккупационного характера. Она проникает внутрь, она становится национальной особенностью. Но Запад решил, что игра не стоит свеч. Что ему абсолютно безразлично, что будет с этими варварами, затерянными где-то на востоке. Итак, Александр помощи не получил. Иван Данилович стоит под Псковом и пытается бороться с ним следующим способом. Способ совершенно убогоумный. Митрополиты, те самые носители византийской традиции, привязанные, как клерки из министерства, к московскому князю, полностью ему подчиненные, в этот момент делают всё, что он захочет. И митрополит обещает, что если Плесков не выгонит Александра и не прекратит тиражирование листовок против монголов, на город будет наложен интердикт: нельзя будет никого хоронить, нельзя будет никого венчать, нельзя будет нести утешение больным и умирающим. За что интердикт будет наложен на русский город русским митрополитом? За то, что этот русский город противится иноземному вторжению.

Это совершенно шизофреническая ситуация, но тем не менее это было. Это наша шизофреническая история. И в этот момент Александр даже просит плесковцев: давайте я уйду, чтобы не было никакого несчастья. Тогда для людей всё это значило очень много. Это сейчас, может быть, всем было бы наплевать. Накладывай, не накладывай, но тогда это много значило. Плесковцы его удерживают. Но Александр тем не менее уходит, возвращается в Тверь. И Иван Данилович понимает, что так он не покончит с ним никогда. И он употребляет точно такой же метод, какой употребили они с Юрием

Даниловичем для отлова Михаила. Был только один способ: поднять всю Орду и предложить альтернативу. Или Александр обрекает на гибель лично себя, потому что явиться в Орду — это было самоубийство после всего, что он сделал, или он обрекает на гибель Тверь. И это было безошибочно, потому что Александр был сыном Михаила. И он со своим старшим сыном Федором является в Орду. Они тоже были казнены. И Иван Данилович остается на хозяйстве (на какое-то время) в полном моральном и политическом удовлетворении. Он ведь не ограничился тем эффектом, которого он достиг. Ему мало было ярлыка на Великое Княжение, который он получил. Был ведь период, когда оказалось два ярлыка на Великое Княжение. Один ярлык был у Твери, а второй ярлык — у Москвы. Сейчас один ярлык, один мандат, одна Москва останется. У Твери этот ярлык отнимают вместе с жизнью ее князей. В этот момент город уже не берут штурмом. Город не в состоянии сопротивляться после всего, что произошло. В этот момент из города увозят колокол. В город ставят гарнизоны, московские гарнизоны; даже монгольские гарнизоны уже не были нужны.

Начинается первая в истории кампания гражданского неповиновения.

Когда невозможно военное сопротивление, методы ненасильственного гражданского сопротивления могут оказаться очень эффективными. На пути увозимого колокола люди ложатся в снег прямо под полозья. И московским войскам приходится, ругаясь, растаскивать тверитян, чтобы эти сани могли проехать.

В Москве начинает создаваться коллекция чужих колоколов. Коллекция порабощенных городов, коллекция чужой порабощенной свободы. Но эти колокола, как ни странно, в Москве не издают никакого звука. Новгородский вечевой колокол решительно отказался в Москве звонить. Такое чудо произошло. Его не повредили по дороге, он не треснул, его очень хорошо повесили на почетное место. Хотели послушать. А он молчал. То же самое было с тверским колоколом. Москва получает предварительную небесную кару, первый звонок, первое предупреждение, первую двойку в дневник, в моральный дневник государства. В ней не звонят

колокола, и то, что случилось с Царь-колоколом, это в какой-то степени, конечно, возмездие за Тверь и за Новгород. Потому что так, даром, колокола не раскалываются. Здесь есть какой-то перст Провидения, какая-то вышняя рука.

Итак, Тверь обезглавлена. Младшие дети Михаила не могут еще даже сесть в седло. Младший брат Михаила, великого Михаила Тверского, Константин, женат на московской княжне. Ее в Твери называют «московка» — с презрением, с негодованием. И этот слабый, безвольный человек не похож на тверских князей, он подчиняется воле Москвы, и на какое-то время всё затихает.

Вместе с ордынской традицией мы приобрели ряд имманентных признаков. Мы получаем наследство, получаем шкатулку Пандоры, из которой выходят следующие исторические качества. Русь начинает применять пытки — это наследие Орды. Научилась. Унизительные наказания вроде порки кнутом. Падая ниц перед монгольским каганом, то есть перед монгольским царем, народ утрачивает чувство собственного достоинства. Очень скоро они будут падать ниц перед собственными царями. Они научились — на примере иноземных. Постоянно задабривая жен монгольского хана, разных чиновников в Орде, если можно так назвать, в общем, клевретов, приближенных особ, мы научаемся давать взятки. И, кажется, очень хорошо научились. До сих пор не можем отучиться от этого. Это единственный способ общения с монгольскими авторитетами, это было повсеместно и даже слишком хорошо усвоено. Это всё оттуда. Более того, скандинавское начало оказывается полностью подавленным.

Скандинавская традиция, традиция свободы, традиция упорства, традиция человеческого достоинства уходит вглубь, как Китеж под воду, надолго. Потом уже начинают бить ручьи, появятся капли, появятся струйки. Она никогда не иссякнет, но она будет уходить в песок. Она перестает быть равноправной по отношению к другим традициям. Она становится подпольной традицией. Лучшая национальная традиция становится традицией подполья. Ее загоняют в подвал, потому что обнаружить ее в себе означает немедленную гибель.

Можно еще укрыться куда-то от Золотой Орды, но от московских князей никуда не укроешься.

И любимый нами Алексей Константинович Толстой изображает этот совершенно кошмарный период, этот фильм ужасов — в виде фарса, как будто бы со стороны. А ведь другие, посторонние, и видели это как фарс. Это чужая трагедия, поэтому они не плакали, они смеялись. Вот как они это видели, начиная со смерти Владимира:

Умре Владимир с горя, порядка не создав.
За ним княжить стал вскоре Великий Ярослав.
Оно, пожалуй, с этим порядок бы и был;
Но из любви он к детям всю землю разделил.
Плоха была услуга, а дети, видя то,
Давай тузить друг друга: кто как и чем во что!
Узнали то татары: «Ну, — думают, — не трусь!»
Надели шаровары, приехали на Русь.
«От вашего, мол, спора пошла земля вверх дном.
Постойте ж, мы вам скоро порядок заведем».
Кричат: «Давайте дани!» (Хоть вон святых неси.)
Тут много всякой дряни настало на Руси.
Что день, то брат на брата в Орду несет извет;
Земля, кажись, богата — порядка ж вовсе нет.

И вот представьте себе эту одиночную камеру, в которой оказывается Русь, этот смрадный карцер. На Востоке — страшная угроза. На Востоке — черная туча, и уже непонятно, чей это Восток, свой собственный или иноземный. Посланцами от этого Востока являются не чужие люди на конях, страшные, с необычной речью. Конечно, они тоже являются, но рядом с ними гарцуют собственные князья славянской национальности. На Востоке страшно. Туда хода нет. Дикая угроза. На Юге — то же самое.

А что на Западе? Что в этот момент видно на Западе? Когда железный занавес опускается и создается этот санитарный кордончик, этот ров, чтобы вода стекала, русичи перестают понимать, что там, на Западе. Информации никакой нет. Интернета нет. Путешественники туда и отсюда перестают ездить. Еще Новгород торгует, но Новгород далеко. Тверь обезглавлена. Литва и ляхи становятся чем-то вроде антиподов или людей с песьими головами.

Примерно два или три века никто на Руси не видит посланцев Запада. Никто не знает, что это такое.

Более того, случается такое несчастье, что при посредстве Запада, то есть одного из западных городов, идет на Юге интенсивная работорговля. Кафа. Что такое Кафа? Это нынешняя Феодосия, это одна из колоний Генуи. А Генуя — это один из оазисов раннего либерального капитализма в Европе. Там для них всё началось, а для нас всё кончается в этой Кафе. Именно туда тащат монголы обращенных в рабство славян и именно там их продают на невольничьем рынке. То есть то, что делается при этом с национальным сознанием, просто трудно себе представить. Поэтому лучше почитаем, как это выглядит у Валентина Устинова. Поэт умеренного националистического толка. Интересно, что он, рисуя сознание затравленного россиянина XIV—XV веков, ухитряется показать нам и свое сознание, такое же затравленное до сих пор. Начинается глухая вражда. Может, она начинается с Кафы. Сознание, что весь мир против тебя, что Запад против тебя. Что всем на тебя плевать, что все желают воспользоваться твоей слабостью.

Возникает сознание осажденной крепости. Очень опасное сознание, озлобленное сознание, когда повсюду видишь ловушки и уже не разбираешь ни друзей ни врагов. Когда перестаешь видеть свою вину и видишь только чужую. Этот импринтинг, это чувство обиды он очень ярко, даже гениально выразил в своем стихотворении. Это стихотворение не западника, но оно объясняет, почему большинство населения Руси стало антизападниками.

Этот каменный дом на угоре
Наливается гулом в ночи,
Словно море штормит, словно горе
Кандалами по плитам стучит.
Феодосия. Золота полный.
Виноградный курортный бедлам.
Но лишь только приблизится полночь —
Всхлипы ветра и гул по углам.
— Эй хозяин, с чего бы тоска мне?
— Спи отважно! В тебе не тоска.

Просто камни кричат. Эти камни
Я из стен крепостных натаскал.
Но поднявшись с отважной постели,
Я ступил в этот каменный гул,
И ордынские стрелы запели
Про набег и полонный разгул.
Сотни верст по муравскому шляху
Гнал меня бритолобый ездок,
Не жалел плетюганов для страху,
Но отдал мне баранью папаху,
Чтоб под солнцем товар не издох.
В белой Кафе, где черное лето
Липло мухами злобно к лицу,
Он продал меня за три монеты
На торгу генуэзцу-купцу.
Перед тем как купить, генуэзец
Тыкал пальцами в груди и в пах,
Нос изогнутый, как полумесяц,
Всё вынюхивал порчу в зубах.
Он ворчал на татарина. — Нега
Вас погубит. Сойдете во тьму!
Вы кого привели из набега?
Эта падаль нужна ли кому?
Всё же оптом купил нас без счета.
И в рогатках, в ярмах, как волю,
Мы влеклись в крепостные ворота,
Чтоб в темнице возлечь на полы.
Желтой жаждой дышала округа.
Так нас жгла, что в безумных ночах
Стали пить бы мочу друг от друга,
Да иссохла в нас даже моча.
Через ночь, восхваляя не скучно,
И торгуясь во поте лица,
Продали нас генуэзец поштучно
За динары восточным купцам.
Кто сочтет наши судьбы и муки?
Даже бич христианской земли,
Янычары и мамелюки,
Через кафские торги прошли.
Я тонул на скрипучих галерах,
Я хозяев и страны менял,
Только оспа, чума и холера

Выкупали из рабства меня.
Вот за эти и прочие вины
Я следил из дозорной травы
Как с Мамаем пехоту надвинут
Генуэзцы на земли Москвы.
Вот за то огнепальное слово
Разнабатив народный пожар,
Я рубил на полях Куликовых
Генуэзцев первее татар.
И державой из рабства вздымаясь,
Наблюдал исполчающий взор,
Как бежавшего в Кафу Мамаю
Отравили купцы за разор.
Но и сами пропали. Лишь камни —
Крепостей не за совесть, за страх,
Повествуют о тех, кто веками
Наживался на синих слезах.
Феодосия Кафу не помнит,
Брызги рыб, виноградный бедлам,
Но лишь камни окутает полночь —
Всхлипы чьи-то и гул по углам.

Это отложилось в национальном сознании, и люди перестали понимать, с кем они дерутся. Они дрались со всем миром. Они вменили свое горе в вину всему миру. И что у незападника Валентина Устинова, что у западника Александра Блока одинаковые мотивы звучат и в стихотворении «Кафа», и в «Скифах». Обида. Когда обижаешься не на себя, а обижаешься на весь свет. Через кафские стены прошли многие, но там же не было ни норвежцев, ни шведов, ни датчан. Их нельзя было продать в рабство, они не сдавались живыми. Об этом надо было думать, но об этом не думал никто.

Выстраивается цепочка постепенного исчезновения русских земель, которые становятся московскими землями. Это был последний оплот гражданской и политической свободы — дифференциация земель. В Москве не остается никакой политической дифференциации. Как некогда это хорошо смотрелось: князь, бояре, старцы градские, отроки, обязанность советоваться со старшими в дружине, полная возможность уйти от плохого, бездарного или жестокого князя и для ремесленника, и для купца, и для боярина.

И вот наступает время Дмитрия Донского. До него прибрали к рукам несколько областей. Уже и Можайск прибран. Москва постепенно округлялась и округлялась. Но дело не в этом. Нас должна интересовать эпоха Дмитрия Донского, который сам по себе был неплохой человек, и ему дано было достаточно много лет правления. Он с 11 лет был в седле, то есть участвовал уже в государственных делах. А правил он с 1362 года по 1389-й. Двадцать семь лет. Это очень много для тогдашних князей.

Нам эта эпоха должна запомниться не по «памятной» дате 1380 года. Произошло более важное событие, которое и предопределило судьбы и Москвы, и Руси. Произошло оно за два года до Куликова поля, в 1378 году. В 1378 году в Москве случилось ужасное. Состоялась первая казнь за измену Родине. Впервые вводится этакая 64-я статья. «Измена Родине». И жертвой оказывается Иван Вельяминов. Боярин Иван Вельяминов. Имя его сохранила история. И он был виновен только в том, что ему чем-то не понравился Дмитрий Иванович, чем — мы теперь не узнаем. Он захотел сделать то, что до него делали многие и не несли никакого наказания. Он захотел перейти к другому князю. Его схватили как государственного преступника и казнили за измену Родине. С этого момента измена Москве становится изменой Родине. Бояре, отроки, купцы, ремесленники более не могут никуда переходить. Они лишаются права выбора. Дифференциация областей, которая еще держит российскую свободу, исчезает. Российские княжества — это такие миры, которые соприкасаются только формально, уже как иноземные государства. От лестничного права не осталось ничего. После этой казни не братом, а врагом становится каждый соседний князь. Права выбора в пределах Москвы уже нет. Если тебе повезло, ты родился где-то в другом городе и умер до 1523 года, потому что в 1523 году к Москве присоединяется Чернигов. До этого подберут всех остальных. Всех по очереди. Пермь, Рязань, Ярославль. Знаменитый Псков-Плесков, после того, как возьмут Новгород в XV веке, будет получен без боя.

В 1510 году Псков без боя будет присоединен к Москве. Всех разобьют поодиночке. В свое время обиженный на Новгород Плесков не пришел ему на помощь. А когда

настала его очередь (через 30 лет), он даже сопротивляться уже не мог. Москве уже нельзя было сопротивляться, военные силы были несопоставимы. А то, что сделает Новгород в последние дни своего свободного существования, Псков сделать не посмеет.

Новгород всё понял, когда уже всё было кончено, новгородцы поздно поняли, где им надо искать спасения. Они стали искать спасения на Западе, в Литве. Кстати, это будет очень серьезная статья обвинения — опять же в государственной измене, в сепаратизме. Они призвали к себе киевского князя. Киев был тогда формально под властью Польши. Новгородцы призвали Михаила Олельковича. Он не смог их защитить, он был никчемный полководец, и они хотели обратиться за помощью к Литве. Они не успели. Но они хотели! Они поняли, что Новгород должен быть частью Европы. С этим сознанием они и ушли в ссылку в Москву, те, кто остался в живых после последнего взятия Иваном Третьим Новгорода. Все, кто был хоть как-то уличен в мятеже, все, на кого донесли тогда уже имевшиеся стукачи, пошли в ссылку и на плаху.

Москва ведь что делает? Она заводит во всех городах (к XV веку, к последней четверти XIV века) филиалы КГБ, и появляются стукачи. Москва щедро их оплачивает, а они сообщают о «настроениях». Кто из бояр или, положим, бывших старцев градских, кто из именитого купечества дурно отзывается о Москве, кто еще любит свободу, кто еще не готов от нее отречься. Поэтому когда войска Ивана III входят в Новгород, они всё уже прекрасно знают. Им не нужно проводить массовые репрессии. Они проводят репрессии избирательно. Что Борецких надо убирать — это понятно. После истории с Дмитрием Василий Борецкий также погибает в Москве. Они даже Марфу Борецкую с внуком на месте не оставляют. Увозят в Москву. Это ясно. Но они же знали, кто из купечества настроен против них, они даже знали, кто из ремесленников — явный диссидент и кто способен организовать сопротивление... Именно эти люди будут вывезены в Москву и посажены там по тюрьмам. Теперь уже тюрьмы на Руси есть. Когда-то был только поруб. Теперь уже есть тюрьмы. Всё как у людей на святой

Руси. Часть новгородцев умрет там. Одни будут уморены, другие будут негласно казнены. Третьи навсегда попадут в ссылку, они никогда больше не вернуться в Новгород. То есть Иван Третий всё сделает очень грамотно.

И вот осажденная крепость, карцер, в котором существует Русь, вырабатывает собственную идеологию. Именно в этот момент понадобилось самооправдание.

Именно в этот момент возникает идеология Третьего Рима. Ну а то, что произошло на Куликовом поле, на самом деле означало не только какую-то вежу. Эта битва в военном смысле ничего не означала. Еще при Иване Грозном Орда будет сжигать Москву. Еще отец Ивана Третьего, Василий Темный, будет платить дань в Орду. Только Иван Третий прекратит выплачивать эти деньги. Еще долго после Куликова поля это будет продолжаться... На Куликовом поле нас другое будет интересовать. Безусловное подчинение князей авторитету князя московского. И это совсем не временное явление. То, что Дмитрий Донской собрал всех этих князей на Куликовом поле, и то, что не было никаких разногласий, свидетельствует о том, что уже сформированы механизмы ранней автократии.

...Всё решилось само собой к XVI веку.

Москвичи ничего не просили. Они не говорили: придите и поклонитесь нам, тогда мы вас защитим от монголов. Не было уже никаких условий. Тогда не понимали, что дифференциация земель — это элемент гражданской свободы. Поскольку не было внутренних парламентов, не было внутренних конституций, эта самая дифференциация земель исключала тиранию. Можно, конечно, создать тиранию в одной маленькой области, но все остальные останутся сохранными, и эта маленькая область, в конце концов, будет изгоем, и другие области сумеют с ней управиться. Потому что свободные области сражаются лучше, торгуют лучше, и до поры до времени эта формула действовала. Пока Москва не начала уничтожать дифференциацию земель.

Дмитрий Донской уже никого из князей не приглашал. Им некуда было деться. Они пришли. Вот, кстати, что такое внешняя угроза. Она предопределила автократическую формулу создания Руси. Внешняя угроза уничтожает

демократические институты в зародыше. Внешняя угроза диктует формулу, ту знаменитую формулу этатизма, которая так наглядно и рельефно была создана в Риме. Пучок розог — и из них торчит топорик. Это то, что ликторы носили за консулами. Что означает эта формула? Она означает, что обязательно должно быть единство, ибо этот пучок нельзя переломить, а розгу одну по себе переломить можно. Но что означает розга? Это же двойной символ. Розга — это орудие наказания. Это орудие унижения и подавления свободы. Топорик, который торчит сверху, — это не символ власти, это символ палачества и тирании. То есть этатизм, какими соображениями (даже выживания) он не был бы продиктован, на самом деле всегда означает умаление человеческого достоинства. Он всегда означает тиранию. Он всегда означает несвободу.

Эти две вечных подруги — тирания и этатизм — не ходят одна без другой. Если пучок, то из этого пучка торчит топорик. Это и происходит с Русью. Страшный враг есть: Орда. Действительно, нужно объединение. Но если бы Русь нашла формулу государственных отношений помимо лестничного права до нашествия, до вторжения, это было бы не так опасно, как тот консенсус, который был отыскан под угрозой неминуемого национального исчезновения. Угроза была страшна, поэтому страшна оказалась и тирания. Люди шарахались от этой Кафы, где их ждали торги и галеры. Они шарахались в другую сторону. Маятник совершил полный размах и оказался в другой точке. Точке отрицания внутренней свободы во имя выживания и во имя того, чтобы тебя не продали в рабство чужие. Поэтому люди, испуганные рабством у чужих, становятся рабами своих же. Они не ушли от рабства, они просто поменяли хозяев. У нас есть уже Московская Орда, полностью тождественная Золотой Орде. Можно сказать, что и выбора между хозяевами у нас не было.

Ордынская традиция — это не внешняя традиция. Это, к сожалению, традиция внутренняя, и всё, что несла в себе Орда — желание выйти к Последнему Морю, — появляется вновь и вновь и доживает до XX века. Я не думаю, что Владимир Жириновский очень хорошо знаком с монгольским эпосом, учился он понемногу, чему-нибудь

и как-нибудь. Он изучал другие науки. В его институте не занимались ни Ордой, ни этими монгольскими легендами. Наверняка не читал он и Исаю Калашникова. Откуда возникла тогда вся эта история с Индийским океаном? Откуда выплыло желание сапоги там помыть? Что это за образ? Владимир Жириновский здесь является типичным носителем ордынской традиции. Он сам этого не знает — откуда этот Индийский океан, на котором он наверняка никогда не был. Это то самое Последнее Море. «Пока распаленных коней не омоем в последних Последнего Моря волнах». Зачем? Непонятно. Это не нужно ему лично, на самом деле. В XX веке есть другие способы обладания океанами, кроме «омытия» в них сапог. И он не может этого не знать, потому что чему-то учился. Но всё это у него — подсознательное, исконное, рефлекторное. «Пока распаленных коней не омоем в последних Последнего Моря волнах». Желание захвата. Уничтожения чужой свободы. Подбирания всего под себя. «Вашу тень обгоняет народов страх». Это ордынская традиция, которая становится национальной традицией. И она, к сожалению, становится традицией приоритетной, довлеющей.

Это всё произошло и, может быть, это непоправимо. И вот у нас есть карцер, в котором живем мы все. С зарешеченным окошечком. Где-то там лучики появляются, и непонятно, что это, — то ли свет, то ли инфекция. А может, это зараза?

А на Западе лежит диаметрально противоположная страна. Как будто бы она находится на другой планете. Польша. Польша — это крайность идей либерализма. Нигде больше в Европе — ни на юге, ни на западе, ни на востоке — никто не попытался полностью осуществить формулу приоритета прав личности перед интересами государства. Всегда был какой-то баланс. Немножко интересов государства — и много интересов личности. Личность старается войти в интересы государства. Сама она от этого что-то приобретает. Государство щадит ее и печется о личности. Холит ее и лелеет, понимая, что ему будет лучше, если личности у него будут такие умные, сытые, холеные, откормленные. То есть консенсус между личностью и государством. Формула западной демократии.

А что происходит в Польше? В Польше осуществляется чистая идея абсолютного приоритета личности перед интересами государства. Это, может быть, самый интересный в человеческой истории эксперимент, который привел к полному уничтожению польской государственности на определенном этапе. Но это было красиво. Это было чертовски красиво. За такого рода эксперименты не жалко заплатить даже национальной независимостью. Потому что действительно этого не делал никто. Это сделали одни только поляки. Почему они? Славянская традиция? Да, в чистом виде. Традиция скандинавская? Да, в очень большом количестве. Традиция Дикого поля? Немножко, она к ним проникла не так, как к нам. Маловато там было половцев, печенеги вообще туда не дошли. Они познакомились с традицией Дикого поля, только когда приручили часть монголов, в отличие от нас. Нас монголы приручили. У них было всё наоборот, они приручили часть монголов, и те стали польскими шляхтичами, и стали на них работать. Тогда поляки немножко познакомились с законами Степей. И сочетание, по сути дела, только двух традиций — скандинавской и славянской — родит совершенно необыкновенный сплав. Свобода становится во главу угла. А всего остального не жалко.

Что делается в Польше? В Польше создается парламентская формула, исключаящая, по сути дела, принятие решения, против которого может протестовать хоть какая-то личность. Перманентная демократия снизу доверху. Конечно, на уровне шляхтичей. Вот интересная особенность. В Польше в то время фактически нет купечества. Купцы презираемы. Это не Италия. В ходу и в цене только войны. Торговля предполагает какой-то консенсус, какой-то договор. Свобода, неукротимая свобода поляков разбивает все договоры, и государство настолько не печется о пользе, государства до такой степени нет, что купцы ищут себе какие-то другие места. Другие зоны благоприятствования. Германские города, например. В Польше же они базируются в Кракове. Но не в масштабах государства. Формула польского законодательного собрания — Сейма (причем есть один общий Сейм, и есть еще маленькие сеймики в каждом городе и в каждой области) — была фантастической: решение не

принимается, если на него накладывается личное вето. То есть полный отказ от какой бы то ни было идеи подчинения меньшинства большинству.

Наоборот, здесь большинство меньшинству подчиняется. И не только меньшинству подчиняется, но и «одному отдельному» человеку. Достаточно любому шляхтичу, этому носителю дворянской свободы (а шляхтичей в Польше было видимо-невидимо), неважно, богатый он или бедный, есть ли у него один кафтан или имения и целая область, встать с места и сказать: «Не позволяю», — и закон не принимается. Личность может завалить закон, потому что она не согласна. И никто не вправе перешагнуть через мнение этой личности. Если что-то и принимается, то только полным консенсусом, только единогласно.

Более того, в Польше к XV—XVI векам перестают действовать династии. Династия Пястов кончает свое существование, и королей начинают выбирать. То есть, по сути дела, они переходят к дворянской республике. К коло. Коло — это собрание вроде тинга, как в Норвегии, как в Швеции, как в Дании, когда собираются все воины, все шляхтичи, всё благородное сословие, и оно провозглашает короля. Неважно какого: своего или иноземного. Могли послать за королем и к французам, могли послать куда угодно. Но король выбирается. Ему предлагают корону. Как вы понимаете, повиновение такой исполнительной власти будет очень ущербным и только формальным, а иногда даже формального не будет. Пароксизм, апофеоз свободы кончается тремя разделами Польши.

В принципе, всё могло кончиться уже в XVII веке. 1650 год. На Польшу набрасываются сразу и Русь, и Швеция, и немцы. По сути дела, государство оккупировано снизу доверху, но они как-то выбрались из этого кошмара. А потом начинаются разделы. Три раздела. Весь XVIII век уйдет под разделы. Почему три раздела? Потому что поляки никак не успокаивались. Их поделили между Пруссией, Австрией и Россией, и не помогло! Они всё равно восстают, они все равно сопротивляются. Эта собственность ни к черту не годится. Пользы от нее никакой. Одни несчастья. Поэтому ее еще раз делят, еще кромсают на части. Не помогает. Каждая часть берет в руки шпагу и начинает сопротивляться.

И даже после всех трех разделов, когда кажется, что вообще всё кончено, начинаются восстания.

История польских восстаний — это особая история. Восстание Костюшко конца XVIII века. Костюшко так подействовал на императора Павла (который был большим чудачком, хотел быть рыцарем — и действительно был мальтийским рыцарем), настолько изумил его этим иррациональным, безрассудным сопротивлением, что он даже освободил Костюшко. То есть он был потрясен всем этим. Вопреки государственным интересам его освободил! А восстание 1830 года, а 1863 год! Не было никаких шансов. Силы Польши и России были настолько несопоставимы, что, кажется, и пискнуть было нельзя. Они заставляют Россию держать там постоянные гарнизоны. Польский вопрос становится главным вопросом на весь XIX век. Невозможно переварить этот крошечный кусочек, потому что от него несварение желудка. Они отбиваются, не позволяют, чтобы их на лопатку посадили и в печь отправили. Чего стоит только ответ полковника Савинского, который, кстати, сражался при Бородине (на стороне французов, конечно). 1830 год. Варшава. Восстание. Окружен варшавский гарнизон. Никаких шансов нет. Естественно, предлагают сдаться. А он отвечает, что поскольку русское ядро оторвало ему ногу при Бородине, он больше никуда двинуться не может. Естественно, они все погибли. Но они не сдались.

Это очень вредно подействовало на русское национальное сознание. У нас возникает апологетика оккупации, апологетика захвата. Лучшие люди России начинают выступать и действовать против этой свободы. Потому что это контраст. Нестерпимый контраст. У нас карцер, душный карцер, черный, с замком, — и ни одного дуновения воздуха. Ничего, ни луча света. Такая черная бархатная ночь... Рабы снизу доверху, страна рабов. А там живет свобода. Поле, ничего больше нет. Поле, ветер, ничего не жалко, люди все отдали за эту свободу, государственность отдали. Жизнь не дорожат и восстают все время. И это очень болезненный контраст. Я думаю, что Пушкин всё это понимал. Он был гений понимания. Не думаю, что ему что-то было нужно в государстве и от государства. Пушкин — это же

не Булгарин, Пушкин — это не Макашов, не Бабурин. Пушкин невысоко расценивал государство. Он слишком много о нем знал. Но я думаю, что болезненный укол, приступ желудочных колик на него мог подействовать. Невыносимо было видеть этот костер свободы. Они встали в этот костер. Они облились бензином и себя подожгли. Из поколения в поколение. Три века подряд поляки это делали и ничем не дорожили.

А здесь всё есть — огромная территория, невероятные богатства, государство есть, даже Петербург уже есть, — и нет свободы! Вообще никакой. Есть регламент. А там одна свобода — и больше ничего нет. Но при этом — и цивилизованность, и рафинированность. Польша была частью Запада. Не забудьте, что первая наша масштабная вестернизация, вестернизация Григория Отрепьева, придет оттуда. То есть там был полноценный Запад: и семейные отношения, и положение женщин, и балы, и маскарады, и легкий светский необременительный католицизм. Фаустианский католицизм. Польша становится оплотом фаустианского Запада, фаустианской религии, фаустианского христианства. Христианства, которое тянется к звездам, христианства, которое говорит с Богом на равных.

Поляки пытаются Луну с неба получить. Каждый раз они срываются и вновь тянутся за этой Луной.

И тогда Пушкин пишет эти ужасные стихи — «Клеветникам России». Начинает оправдывать Суворова. То, что Суворов перешел через Альпы и кого-то там разбил, всё это ничто по сравнению с подавлением польского восстания. Бывают вещи, которые уничтожают славу, набрасывают на нее черный плащ. Вот это как раз то самое, о чем Лермонтов напишет: «слава, купленная кровью». Поляки становятся вечным укором и вечным примером. И не только до XX века, они и сейчас служат в какой-то степени точкой приложения темных сил, которые сравнивают и которые до сих пор ненавидят этого Леха Валенсу, эту «Солидарность», эту негласную попытку восстания 1980 года. Подспудно эта борьба идей идет весь XX век. Варшавский договор формально заключен в Варшаве, но на самом деле все время идет его тихий и громкий подрыв. Эта сегодняшняя ненависть, это единое решение поляков вступить в НАТО — следствие

нашей распри. Почему именно поляки? Почему чехи голосуют фифти-фифти, даже еще меньше? Почему у венгров еще и референдума не было? Почему полякам приспичило в НАТО? Ведь они беднее чехов, они беднее даже венгров.

В экономическом плане Чехия могла бы себе позволить гораздо больше, чем Польша (в смысле военных расходов). Почему поляки туда так рвутся? Потому что НАТО — это Запад. Потому что это тот самый магнит, к которому повернута вся их история. Полный консенсус там и у полусоциалистического президента, и у его оппонентов из либерального лагеря, и у социал-демократов Леха Валенсы, потому что на самом деле они же не Мазовецкие, не либералы. Но они поляки, и они идут за этим магнитом. Лучше всех, кто они такие, понял, конечно, Булат Окуджава. У него есть песня, которая очень хорошо объясняет сущность Польши. Вот что такое польский дух, вот чем отличается Польша от России:

Мы связаны, поляки, давно одной судьбою
в прощанье и в прощенье, и в смехе, и в слезах:
когда трубач над Краковом возносится с трубою —
хватаясь я за саблю с надеждою в глазах.
Потертые костюмы сидят на нас прилично,
и плачут наши сестры, как Ярославны, вслед,
когда под крик гармоник уходим мы привычно
Сражаться за свободу в свои семнадцать лет.
Свобода — бить посуду. Не спать всю ночь — свобода?
Свобода — выбрать поезд и презирать коней?..
Нас обделила с детства иронией природа...
Есть вечная свобода. И мы идем за ней.
Кого возьмем с собою? Вот древняя загадка.
Кто станет командиром? Кто — денщиком? Куда
направимся сначала? Чья тихая лошадка
минует все несчастья без драм и без труда?
Прошу у вас прощенья за раннее прощанье,
За долгое молчанье, за поздние слова...
Нам время подарило пустые обещанья.
От них у нас, Агнешка, кружится голова.
Над Краковом убитый трубач трубит бессменно,
любовь его безмерна, сигнал тревоги чист,
Мы — школьники, Агнешка, и скоро перемена,
и чья-то радиола наигрывает твист.

Трубач над Краковом — это древняя легенда. Когда к городу подступали враги и уже фактически подошли, у трубача был выбор: либо не трубить, либо затрубить и быть убитым на месте. Потому что он уже был в пределах досягаемости выстрела. Он затрубил и он погиб, но горожане были подняты этой тревогой, и они спасли город. Вот это и есть формула польской свободы. Обязательно затрубить, даже когда лично тебе это ничего хорошего не сулит, и хвататься за саблю с надеждою в глазах. Три века они хватались за саблю, когда, казалось, это ничего им не сулило, и в конце концов у них получилось. В отличие от нас.

Лекция № 6

ВЕЗДЕ ЦАРИТ ПОСЛЕДНЯЯ БЕДА

Итак, свободе на Руси больше не за что зацепиться. Исчезла территориальная дифференциация — и отныне единственный и последний оплот свободы — человек. Диссидент. Первым нашим диссидентом был Иван Берсень.

При Иоанне III в Москве был «кружок». Он не мог влиять на порядок дел в государстве. Там обсуждалось всё, в том числе и великий князь, и дела престолонаследия, и Софья Палеолог, и новгородский захват. И самым заметным человеком в этом кружке был Иван Берсень. Дьяк. А дьяки вообще были интеллектуалами. На них держался весь государственный порядок. Они знали и дела управления. Они знали финансы. Они были чем-то вроде президентской администрации и правительства одновременно. Они выполняли реальную работу. А бояре в этот момент, в основном, уже сидели и только щеки надували. Великий князь мог что-то знать, мог и не знать. Иван Третий знал все эти дела. Василий Третий не знал. Можно было и не знать, можно было положиться на дьяков. Они всё делали сами. И вот Иван Берсень начал рассуждать о том, что в иноземных странах порядки лучше, чем в Москве. Он произнес это

священное слово: «свобода». Может быть, оно впервые тогда было произнесено на Руси. Он осуждал захват Новгорода, ликвидацию территориальных вольностей. Конечно, в своеобразной форме, возможно, даже на древнеславянском языке, но мнение об Иване Третьем было весьма нелестным. Деспот и тиран.

Мог ли это терпеть Иван Третий? И первый диссидент в истории России был за это казнен. Исключительно за это. За частное мнение, высказанное в частной беседе, на частной кухне, то есть в частной избе, за частной кружкой кваса; не на площади, даже не в боярской Думе. Не было дела. Отныне слово становится делом. Пройдет несколько столетий, и Герцен сформулирует эту замечательную мысль: «Там, где не погибло слово, дело еще не погибло». Первой до этого додумалась власть: за словом должно последовать дело. Хотя оно фактически никогда не следовало. Не давали возможности дойти до дела, уничтожали за слово. Тем не менее власть получила некий навык бороться со словом так же, как с делом, потому что дел не было никаких. Иван Берсень был первым, но не последним.

Когда у нас приходит к власти Иван Четвертый — законно, легитимно, без всяких вопросов, — впервые возникает ситуация, когда, кажется, будущие россияне спохватываются и смотрят на дорожки стадиона. Что-то дорожки опустели. Они остались одни. Все остальные давно убежали вперед. Они долго не глядели на эти дорожки. Было не до того. То Орда, то собственные гражданские войны. И в XVI веке мы обнаружили, что даже Польша убежала далеко вперед и в смысле политическом, и в смысле гражданском, и в смысле технического развития — тоже. Везде идет какая-то интересная, свободная жизнь. А Русь погрязла в варварстве, в дикости.

Русичам становится страшно, и они начинают искать противоядие. На грани двух веков, на грани прихода к власти Ивана Четвертого, в 1530 году рождается первая идея вестернизации России. Василий Третий оставляет трон своему малолетнему сыну, и Иван становится, по сути дела, царем в 4 года. Когда ему будет 8 лет, погибнет его мать — Елена Глинская. Мать у него была из Литвы. Может быть, этому мы обязаны первым периодом

его царствования. Отец завещал ему не только престол, но и Избранную Раду. Что такое была Избранная Рада? Избранная Рада — это были вельможи, бояре, наиболее образованные, просвещенные лорды, которые имели или вотчины на границе с Литвой, или как-то с ней породнились. Они знали, как развиваются дела в иностранных государствах, и могли и хотели ввести какие-то новшества. Они приглашают специалистов. Это тоже было умно с их стороны. Если кто-то способен пригласить специалиста, это значит, что он очень просвещенный человек, потому что только законченный профан считает, что сам знает всё. Они приглашают, можно сказать, своего Гайдара и своего Чубайса. В этой роли выступают Сильвестр и Адашев. Адашев был окольным, он не был боярином, но это очень высокая дворянская степень — окольный. Он был допущен и в почивальню царя, и в Думу. Фактически, можно считать, он был вице-премьер. Не первый. Но все-таки что-то в этом роде. А Сильвестр был монахом, и очень просвещенным монахом. Собственно, монахи тогда и были на Руси просвещенными людьми. Но он не только древние летописи читал, он читал латинские книжки. Он знал, что такое Запад и с чем его едят. И вот вся эта компания — Избранная Рада, украшенная тогдашними Чубайсом и Гайдаром, — начинает придумывать планы реформ.

Земельная реформа. Церковная реформа. Реформа государственного управления. Вот как впоследствии это будет на Руси. Они садятся и пишут подробный трактат о том, как надо менять течение дел. С церковной реформой они, похоже, преуспели. Было проведено очень много церковных соборов. И на этих церковных соборах какую-то имущественную независимость церковь себе обеспечила. Потому что была еще дикая идея нестяжателей Нила Сорского. Идея состояла в том, что монастыри не должны владеть землей, чтобы у них ничего не было, чтобы они только молились. Вы понимаете, к чему бы это привело. Это бы привело к тому, что они получали бы пропитание из рук великого князя и впали бы в полное политическое ничтожество. А так они оставлены были на своей земле благодаря позиции других, более разумных иерархов церкви. У них была

возможность переманивать к себе крестьян. Юрьев день в основном-то и служил для того, чтобы крестьяне могли перебежать на монастырские земли. Они бежали на монастырские земли, потому что там было легче. Меньше барщины. Больше оброка. Более передовые методы ведения сельского хозяйства. То есть там больше доставалось благ тогдашнему крестьянину. Естественно, он бежал на монастырские земли, потому и был отменен Юрьев день (по просьбе бояр, для того чтобы крестьяне не перебежали). Это уже Федор будет его отменять в 1597 году. Не один день, конечно, был. Две недели до Юрьева дня и две недели — после. Время перехода. Но для дворян и для бояр уже нет возможности перехода. Переход — это государственная измена. При Иване Четвертом за бегство в Литву (хотя, казалось бы, не хочешь служить — поезжай на здоровье и служи кому-нибудь еще) ловили, пытали и казнили.

Судьба Ивана Вельяминова повторялась многократно. Это идет еще с XIV века. С 1597 года крестьяне это послабление тоже иметь не будут. Некуда больше бежать, каждый остается. Возникает крепостное право для всех.

Крепостное право началось не с крестьян. Это начинается с дворян. 1378 год — год казни Ивана Вельяминова — это установление крепостного права на Руси, но не для крестьян, а для первого сословия, для бояр, для дворян. Крестьяне получают крепостное право только в конце XVI века, в 1597 году. Первыми будут закрепощены именно дворяне. С церковью это тоже произойдет. Но с ней это произойдет позднее всех. Сначала бояре, потом — крестьяне, потом — церковь.

Иван Четвертый какое-то время пользуется советами Избранной Рады. Самое занятное, что он начнет властвовать как реформатор. Он много читает, у него великолепная библиотека. Он дружит со свободомыслящими людьми. Он был очень близок с Курбским, гораздо ближе, чем Ельцин с Коржаковым. Тем более что Курбский был отнюдь не Коржаков. Он был князем, он был независим имущественно, ни в каком жалованье от царя он не нуждался. У него были свои земли, свое состояние. Он был человеком смелым, с чувством собственного достоинства. Сапоги царю он чистить не стал бы, он никогда не пресмыкался.

Начинаются победоносные походы. Завоевание Казани. Москвичам это страшно нравилось. Вот тогда будет воздвигнут Казанский собор — в честь захвата. Берут Казань. Блестящая победа, звонят колокола. Зачем берут? Непонятно. Реально никакой угрозы не было. Сегодня довольно трудно объяснить с Татарстаном на эту тему. Зачем вы взяли Казань? Остается только отсылать их к Ивану Четвертому. Никакой Орды там не было. Уж скорее надо было Крым брать, чтобы выбить из него Крымскую Орду, но никак не Казань. А этим только потом Потемкин займется, да и когда? При Екатерине II.

Просто Волга была очень плодотворным районом: водная артерия такая, Волга, и очень удобное судоходство. Она вела в Иран, в тогдашнюю Персию. Приятный судоходный путь. Лакомый кусочек. Почему бы не взять? Вот взяли и завоевали. Никаких протестов не было. Не было тогда никаких антимилитаристских поползновений на Руси. Наоборот, все кидали шапки и деньги на военные нужды. Прославляли православное воинство. Молились в Казанском соборе. Несли икону Казанской Божьей Матери. Все были в восторге. Особенно Курбский, который руководил, по сути дела, этим походом, как стратег. Он был очень неплохим стратегом и получил от царя много лестных слов, много наград. Деньги же ему были не нужны, он служил не за деньги, как многие бояре.

В результате у нас церковная реформа худо-бедно пошла. Земельная реформа даже не началась, потому что с какой стороны ее начинать, было неизвестно. Никто не додумался до того, что надо просто освободить крестьян. Тем более что крестьяне в этот момент никакой свободы не требовали. А требовали доброго господина. Это потом, при Екатерине Второй, возникнет такого рода челобитная со стороны украинских крестьян, да и то только на Украине. А если бы их стали освобождать при Иване Васильевиче, они бы сочли это злодеянием. Никто, мол, не хочет о них заботиться, никто не хочет их кормить. Они у нас не привыкли к самостоятельности. Они не были никогда самостоятельными. Жаловались бы, что никто их не защищает ни от хана, ни от неурожая, ни от холодов. В общем, какая при этом земельная реформа могла произойти?

Вот в порядке управления кое-что происходит. Создаются приказы, или министерства. Казанский приказ, приказ Большого дворца. Создаются губные избы для борьбы с разбойниками. Создается что-то подобное местному самоуправлению с целовальниками. Сильвестр и Адашев хотят иметь что-то вроде местных судов. Это те самые мировые судьи, которые будут потом в XIX веке при Александре II, но реформаторы столкнутся с тем, что дико неграмотное население не может никого избрать, никого назначить. Тотальная неграмотность народа мешает проводить реформы. В этот момент уже мало кто умеет, к сожалению, читать и писать. Это не Новгород. Новгород уже давно завоеван и тоже доведен до полного ничтожества. Всё смыло общей волной тоталитаризма. Тем не менее завязываются приятные отношения с Западом, смягчаются отношения с Польшей и Литвой.

И вдруг происходит катаклизм. Умирает молодая жена Ивана IV Анастасия, и царь резко меняется. Может быть, ему просто надоели реформы. Может быть, ему вожжа под хвост попала. Может быть, византийская традиция заговорила в нем. Может быть, просто время пришло.

А поскольку это автократия, даже звездный час автократии, то царствование Ивана IV — это предел и беспредел, апофеоз. Если Иван III был Лениным, который устроил государство так, чтобы никто не мог выступить против, не мог даже быть против, и всё уже вращалось, как смазанные колеса, то Иван Васильевич сделает много лишнего. Точно так же, как Иосиф Виссарионович. Совершенно ведь не обязательно было расстреливать тех, кто кричал: «Да здравствует Сталин!» Это было лишнее. Совершенно не обязательно было казнить тех, кто был царю предан всей душой, не замыслил никакую государственную измену, казнить только по доносу. Начинается, можно сказать, 37 год, и начинается он в 1564 году. Это 37 год минус красные звезды, серпы и молотки, минус идеология, но он фактически повторяет 37-й по своим главным параметрам, вплоть до создания Внутренней партии. Иван IV, хотя он и не читал Оруэлла, поступает, как учил О'Брайен. Создает Внутреннюю партию. Как вы понимаете, все животные равны, а есть те, которые

равнее. Скотский хутор. Вспомните положение свиней в «Скотском хуторе» Оруэлла и положение Внутренней партии в «1984» в Океании. Она одна могла позволить своим членам пить вино, есть настоящий шоколад, они пользовались широкими правами, жили в лучших помещениях.

Иван IV создает опричнину.

Опричнина имеет гораздо большие права, чем земщина, хотя формально соблюдается некий консенсус. Ключевский считает, что это было единственным способом как-то ужиться с боярами. Потому что вовсе без бояр было нельзя, всех же не казнишь. Вместе с тем с боярами он жить не мог, а это был способ существовать отдельно. Но Ключевский — это ведь XIX век. Он не видел настоящего звездного часа автократии. Он не знал, что такое тоталитаризм. Мы-то со своей колокольни это видим лучше.

Конечно, дело было не в боярах. Царю нужна была опора, которая стояла бы над обществом, которая помогла бы уничтожить это общество, топтать его как угодно. Та же потребность ордынской традиции. Сапог, который наступит на лицо человечества. И этим сапогом в XVI веке были опричники. Опричники набирались из боярских детей, это был низший дворянских чин, но иногда туда шли пропащие князья, которым терять было нечего, нигилисты типа князя Вяземского; могли туда пойти и вовсе безродные люди, иногда очень талантливые. Старший Басманов был талантливейшим полководцем. Он мог бы честно карьере сделать, но делал ее в опричнине. Младший Басманов, конечно, таких дарований не имел. А вот Малюта Скуратов, тот самый инквизитор, палач, Дзержинский XVI века, тоже был незаурядным полководцем. Он мог бы и в Риме сделать карьеру, в свободном обществе, при республике, но республики не случилось. И он делает карьеру в опричнине. Что такое опричнина, я вам рассказывать не стану, вы все ее знаете по фильму Эйзенштейна. Ее права были всеобъемлющи. Против опричника не принималось никакое свидетельство. Это все равно, как если бы несчастный советский гражданин, где-нибудь в 1938 году, пошел куда-нибудь жаловаться на НКВД. Нетрудно себе представить его судьбу.

Они могли делать всё, что угодно. На них жаловаться было никому нельзя. И хотя формально в опричнине было не так много земельных владений, всего какие-то 34 волости, вроде бы царский удел, царь быстренько их переделал, и земщина оказалась на положении колонии.

Впервые тогда была применена массовая ссылка. Зимой, пешком, без теплой одежды, тех земцев, которые оказались на опричных землях, переселяли в другие места, чтобы освободить для опричников эти владения. Буквально по этапу. Возникает первый этап. Всё это случилось во время царствования Ивана Грозного. Потом это во время коллективизации будет повторяться. Первое переселение народов, пока еще в малых масштабах, — это переселение из опричнины обратно в земщину (из тех волостей, которые Иоанн себе выделил). Это XVI век, 1564 год. И если об Иване Третьем наш Алексей Константинович Толстой отзывается сдержанно, то он очень ядовито пишет об Иване Васильевиче, благо это всё во времена Александра Освободителя уже было можно.

Иван явился Третий; Он говорит: «Шалишь!
Уж мы теперь не дети» — послал татарам шиш.
И вот земля свободна от всяких зол и бед
И очень хлебородна. А всё ж порядка нет.
Настал Иван Четвертый, он Третьему был внук;
Калач на царстве тертый и многих жен супруг.
Иван Васильич Грозный ему был имярек
За то, что был серьезный, солидный человек.
Приемами не сладок, но разумом не хром;
Такой завел порядок, хоть покати шаром!
Жить можно бы беспечно при таком царе;
Но ах! — ничто не вечно — и царь Иван умре!

На самом деле это была очень страшная эпоха, потому что именно тогда человек на Руси доходит до полного ничтожества. Иван Васильевич в звездный час автократии так втоптал человека в грязь, что он не опомнился до сих пор.

Если Иван Третий создал основы этатизма и тоталитаризма, то аура тоталитаризма, его духовная сущность, конечно, создаются страхом. Иван Четвертый создает страх, вечный страх, что ночью к тебе кто-то постучится.

Сначала — опричники, потом — ВЧК, потом — НКВД, потом — КГБ и дальше прибавляйте сами, кто еще может постучаться. Рождается совершенно новая формула власти. Рождается она в знаменитой переписке Иоанна с Курбским.

Прежних друзей Иоанн не сохранил, когда решил идти по пути автократии. Никакой Избранной Рады не осталось, Сильвестр и Адашев были сосланы; слава богу, что они были сосланы достаточно рано. Иван просто о них забыл. Если бы он о них вспомнил, они были бы казнены самым ужасным способом. А они тихо умирают своей смертью. Он уже и не помнит о них.

А вот идеи диссидентства получают на Москве новое развитие.

Здесь развилка. Здесь рождается западничество, и здесь рождается славянофильство. Здесь рождаются Сопротивление и Эмиграция. Два диссидента XVI века, два блестящих диссидента — митрополит Филипп Колычев и Андрей Курбский — идут совершенно разными путями. Они оба были умными людьми и оба понимали, что рассчитывать не на что. Но они выбирают разные дороги. Когда Курбский видит, что начинается на Руси и что жить на Руси больше нельзя, не будучи холопом, он понимает, что надо или просто бежать, или идти на казнь. На казнь идти не хочется, нет смысла. Он считал, что нет смысла, он не был трусом. Он думал, что, кроме рабов, никто это не увидит и не оценит. Никто не поднимется. Ему не хотелось доставлять удовольствие Иоанну. И тогда он перебегает вместе со всеми своими полками (теми, которые захотели с ним идти: кто не захотел, те были разбиты, потому что он привел их в литовское окружение) в Литву. Конечно, его с большим удовольствием принимают вместе с войсками. Он пишет историю царствования Ивана Четвертого. И начинается эта переписка. Четыре письма Курбского и два письма Иоанна. Совершенно замечательные свидетельства. Там есть формула власти: московской власти, будущей советской власти, формула Московской Орды: «Я, князь и великий царь всея Руси, в своих холопах волен». Вот отныне формула власти. Все на Руси холопы. Все — собственность, все — прислуга великого

князя или царя, но не граждане. Нет граждан, есть холопы. И он в них волен. Нет законов, нет ограничений, нет никакого общественного договора, нет никакой конституции. Вообще ничего нет. Кстати, его переписка с Елизаветой Английской тоже наводит на очень грустные размышления.

Когда Елизавета ему через посредников передает, что ее брак с Иваном Васильевичем должен быть не только ею решен и заключен, но еще нужно, чтобы на это согласились палата общин и палата лордов, чтобы купечество не было против, — Иван чувствует себя оскорбленным в своих лучших чувствах. Он ей пишет: «Я-то думал, что ты полная государыня в своих волостях, а ты, как пошлая девка, советуешься со своими подданными». То есть идея общественного консенсуса и некоего ограничения власти даже его шокирует. Никакого ограничения дальше не будет до самого конца. А когда оно возникнет, уже некому будет воспользоваться этим ограничением, потому что привычка — это душа державы. И если кто-то вырос в рабстве, и отцы его, и деды выросли в рабстве, то пока не известны механизмы, способные насильно освободить раба, который своим рабством доволен и увлечен. Здесь вольную написать мало. Вольная не делает раба свободным человеком, она делает его вольноотпущенником, и он далеко от клетки не уйдет, к сожалению. Мы это всё сполна сейчас переживаем.

Но тогда, в XVI веке, никого и не собирались из клетки выпускать. Тогда, в XVI веке, Курбский бежит в Литву, и, между прочим, поперек его пути становится мой предок Михаил Новодворский. Он был воеводой в Дерпте. По сравнению с Курбским он был незнатным человеком. Он был простым служилым дворянином. Он не был князем. Дворянство котировалось ниже, у него не было такого состояния. Хотя независимость состояния Курбского тоже была проблематична. Ведь это автократия, это не абсолютизм. При желании царь мог отобрать вотчины. Но он просто не успел. Курбский ушел в Литву. Вотчины царю достались, а Курбский не достался.

Михаил Новодворский был очень своеобразным человеком. Он знал, что князь замыслил по тогдашним стандартам (да и, наверное, по современным тоже) государственную

измену. Потому что он же не сам ушел, он увел войско и поставил его в литовское окружение, так, чтобы литовцы могли его разбить. То есть, по нашим нынешним представлениям, он был Власовым. Что-то вроде этого. Проще было донести. Но Новодворский не пошел доносить. Он отправился уговаривать князя, чтобы тот одумался. Князь даже разговаривать с ним не стал. Тогда Михаил Новодворский достал шпагу и вызвал его на дуэль. А поскольку он был более слабым фехтовальщиком, чем Курбский (и он это знал), то Курбский его убил и ушел в Литву. Так он разрешил эту коллизию. Доносить не пошел, но лично воспротивился. Вспомнил ли потом об этом Курбский, неизвестно. Но в Литве ему не было сладко. Он там не прижился. Он не нашел там себе места, хотя это была свободная страна. Ему были пожалованы земли, уж эти-то земли никто не мог отобрать. Он не был там счастлив, потому что он все время думал о том, что происходит на Руси. Уж какое там счастье, если дома Содом и Гоморра. И эта переписка, все четыре письма, доказывает, что счастлив он не был.

Наверное, большее счастье выпало на долю Филиппа Колычева, который никуда не поехал, а в Казанском соборе, среди массового скопления народа, просто оскорбил Иоанна. Обличил его публично. Чуть ли не отлучил его от церкви. Произнес немыслимые тогда слова. Он ведь тоже был просвещенным человеком, таким же, как Курбский. Курбский по своим убеждениям был законченным западником, он знал латынь, он и говорил больше на латыни и по-польски. Он знал французский язык. А Филипп Колычев у себя на Соловках устроил некоторое государство в государстве. Он там создавал библиотеки, парники, книгохранилище. Он дыни стал выращивать на Соловках. Он вдобавок был мичуринцем. Он реформу монастыря провел. Там стали выбирать экономов, выбирать иерархов. Он тоже был республиканцем. Но он выбрал путь сопротивления. Поджечь что-нибудь скорее — и погибнуть. Понятно было, что произойдет. Но он действительно на следующий день попадает в заключение. Так просто казнить митрополита было нельзя. Уже тогда были некоторые ограничения. Народ был безумно набожен, до остервенения. И на глазах у всех казнить

святителя церкви, к тому же бывшего главного иерарха, — это было бы плохо для самого Иоанна. Он на это не пошел. Поэтому Колычева казнят позже, когда Малюта Скуратов отправится брать Новгород по второму разу, хотя там брать уже было нечего. По дороге он заедет и убьет Филиппа Колычева, причем сделает это так, как будто он угорел, то есть его задушат. Такой бюллетень для народа издадут, что он угорел, печку перетопили. Сначала Малюта выяснил, не одумался ли митрополит, нельзя ли вернуть его на Москву, попросил его благословения. Филипп ему отказал. Он сказал, что для доброго дела он готов дать благословение, а для злого — нет. Поскольку царь московский и все его клеветы никогда не ходят по добрым делам, то никакого благословения он не получит, а проклятье — пожалуйста. После этого ответа понятно, что было.

Филипп Колычев по крайней мере погиб быстро. Он не увидел того, что было с Русью. А смотреть на это действительно было прискорбно и очень тяжело. Легче было сразу умереть.

Этот протест не имел абсолютно никакого резонанса. Другие иерархи церкви не стали подписывать письма в защиту митрополита Филиппа. Не возникло никакого движения, как после ареста Даниэля и Синявского. Никто не попытался за него заступиться. Народ московский восстания не устроил. На манифестацию не пошел. Глухо и просто. Удушили — и круги по воде даже расходиться не стали. Как в омут. Отныне все протесты на Руси будут падать в омут, и эти волны будут смыкаться. Волны элитизма. Но глоток свободы, личный глоток свободы он получил. Он, кстати, не хотел быть митрополитом, он много раз отказывался. Он понимал, что за личность Иоанн. Он только с тем условием согласился, чтобы тот оставил за ним право печалования, то есть право заступничества, право помилования, как за комиссией Анатолия Приставкина. Это право было очень быстро у него отобрано.

Конечно, поступок Курбского более спорный, чем поступок Филиппа Колычева, и он вдохновил Олега Чухонцева на совершенно замечательное стихотворение, которое так и называется: «Повествование о Курбском».

Еще Полоцк дымился от крови и смрада,
Еще дым коромыслом стоял в слободе,
Еще царь домогался злодейств и разврата,
А изменник царев, как на Страшном Суде,
Уже смелую трость наострил на тирана:
«Аз воздам», — и пришпорил язвительный слог,
И на угольях, дабы озлить Иоанна,
Как на адском огне, пламя мести зажег.
О, так вспыхнула речь, так обрушилось слово,
Что за словом открылся горящий пролет,
Где одни головешки чернеют багрово,
Да последняя голь на избитье встает.
Вот он, волчий простор! Мечь людей да людишек,
Но безлюдье гнетет, как в нагайских степях.
Тот испанский сапог натянул, аж не дышит,
Этот русский надел, ан и тот на гвоздях.
Всё остро, нет спасенья от пагуб и пыток,
Всё острее тоска, и бесславье, и тьма,
А острее всего этот малый избыток
Оскорбленной души и больного ума.
Но да будет тирану ответное мщенье,
И да будет отступнику равный ответ,
Чем же, как не презреньем, воздать за мученья,
За мучительства, коим названия нет.
Ибо кратно воздается за помыслы наши,
В царстве том я испил чашу слез и стыда,
А тебе, потонувшему в сквернах, из чаши
Пить да пить, да не выпить ее никогда.
О тебе говорю, потонувшему в сквернах,
Слышишь звон по церквам? Он сильней да сильней,
За невинно замученных и убиенных
Быть позором Руси до скончания дней.
Князь глядит, а в лице у него ни кровинки,
И такая зола, что уж легче бы лечь
Головой на неравном его поединке,
Чем живым на бесчестие душу обречь.
Только вздрогнув, взмахнула дурная ворона
Опаленным крылом, и указывал взмах:
Уповать на чужбину, читать Цицерона,
Чтить опальных друзей и развеяться в прах.
А когда отойти, то оттуда услышать,
А когда не услышать, то вспомнить на слух,
Как надсадно кричит над литовскою крышей
Деревянный резной ярославский петух.

То, что в Польше издает Курбский, можно считать первой частью «Архипелага ГУЛАГ». Царствование Иоанна Грозного — это в какой-то степени предвосхищение Архипелага. Только имена другие, количество жертв другое, но методы те же — и стилистика та же.

Зачем Иоанн Грозный брал Новгород, который был ему вполне покорен? Ему донесли, что там измена? Какие действия предпринимает царь? Он что, наряжает следствие, кого-то допрашивает? Нет! Туда являются войска. Он просто берет свой собственный город и начинает расправу. Без различия гибнут бояре, купцы, простые горожане. В течение недели Волхов течет кровью. Фактически половина горожан будет утоплена, замучена, сожжена прямо на берегу Волхова при царе. Тактика выжженной земли. Геноцид. Первый геноцид на Руси — это Иван Васильевич Четвертый.

То же самое произойдет с Тверью. Там не осталось ни одного старинного собора. Вы спрашиваете, почему? А потому, что в XVI веке Тверь была взята собственным царем. Зачем ему это было нужно?

Он хорошо понимал, что такое автократия. Он хорошо понимал, что такое этатизм. Человека не должно было быть. Должно было остаться одно государство. И он добился своего. Когда во время одной из московских казней понадобились зрители, зрителей не нашлось, ни одного человека. Царь страшно возмутился, почему никто не хочет на такие интересные вещи смотреть. И он послал гонцов. Оказалось, что москвиты забились в погреба, в сараи. Они решили, что царь хочет известить всё население Москвы. Вот чего они от него ожидали. И царю пришлось чуть ли не давать им поручную запись, посылать гонцов, обещать, клясться, что он им зла не желает, что он просто хочет, чтобы они посмотрели на то, как он казнит своих изменников, что их на этот раз казнить не будут. Вот какие отношения возникают между человеком и государством в это царствование. И так будет до самого конца, потому что такие вещи не проходят бесследно.

Государство внушает панический страх. И неповиновение этому государству невозможно.

Ведь он как возвращается из слободы? Он мог бы оттуда и не вернуться. Это был рискованный выбор.

Пан или пропал. В свободной стране он бы лишился престола. Вот царь ушел, отрекся. Взяли бы и Земской собор учредили, выбрали бы кого-нибудь еще, того же Курбского. Но они же его принимают — и на каких условиях? Что он волен казнить, кого хочет. Своих изменников. Карт-бланш. Тех, кого он сочтет изменниками. Право на 37 год было дано обществом. Общество разрешило себя душить, казнить и грабить. Самое страшное из того, что произошло, — это то, что общество участвовало в звездном часе автократии. Общество становится собственным палачом. И лучше всех понял то, что произошло, тот же Алексей Константинович Толстой. Редкий, очень редкий человек, который в XIX веке понял то, что человечество сообразило только в конце XX века, после фашизма и коммунизма. Он создает фреску. Фреску национального русского характера, такого, каким он стал при Иоанне Грозном. Как бы государственного характера. Будут исключения, конечно. И Андрей Курбский, и Филипп Колычев. Но будет правило, и это правило станет действовать. Поэма называется «Василий Шибанов».

Князь Курбский от царского гнева бежал,
С ним Васька Шибанов, стремянный.
Дороден был князь, конь измученный пал —
Как быть среди ночи туманной?
Но рабскую верность Шибанов храня,
Свое отдает воеводе коня:
«Скачи, князь, до вражьего стану
Авось я пешой не отстану!»
И князь доскакал. Под литовским шатром
Опальный сидит воевода;
Стоят изумленно литовцы кругом,
Без шапок толпятся у входа.
Всяк русскому витязю честь воздает,
Недаром дивится литовский народ,
И ходят их головы кругом:
«Князь Курбский нам сделался другом!»
Но князя не радуем новая честь,
Исполнен он желчи и злобы;
Готовится Курбский царю перечесть
Души оскорбленной зазнобы:

«Что долго в себе я таю и ношу,
То всё я пространно к царю напишу,
Скажу напрямик, без изгиба,
За все его ласки спасибо!»
И пишет боярин всю ночь напролет,
Перо его местию дышит;
Прочтет, улыбнется, и снова прочтет,
И снова без отдыха пишет,
И злыми словами язвит он царя,
И вот уж, когда залилася заря,
Поспело ему на отраду
Послание, полное яду.
Но кто ж дерзновенные князя слова
Отвезть Иоанну возьмется?
Кому не любя на плечах голова?
Чье сердце в груди не сожмется?
Невольню сомненья на князя нашли...
Тут входит Шибанов, в поту и в пыли:
«Князь, служба моя не нужна ли?
Вишь, наши меня не догнали!»
И в радости князь посылает раба,
Торопит его в нетерпенье:
«Ты телом здоров, и душа не слаба,
А вот и рубли в награжденье!»
Шибанов в ответ господину: «Добро,
Тебе здесь нужнее твое серебро,
А я передам и за муки
Письмо твое в царские руки!»
Звон медный несется, гудит над Москвой;
Царь в смиренной одежде трезвонит;
Зовет ли обратно он вечный покой,
Иль совесть навеки хоронит?
Но тяжко и мерно он в колокол бьет,
И звону внимает московский народ
И молится, полный боязни,
Чтоб день миновался без казни.
В ответ властелину гудят терема,
Звонит с ним и Вяземский лютый,
Звонит всей опрични кромешная тьма,
И Васька Грязной, и Малюта,
И тут же, гордяся своею красой,

С девичьей улыбкой, с змеиной душой,
Любимец звонит Иоаннов,
Отверженный Богом Басманов.
Царь кончил; на жезл опираясь, идет,
И с ним всех окольных собрание.
Вдруг едет гонец, раздвигает народ,
Над шапкою держит посланье.
И срынул с коня он поспешно долой,
К царю Иоанну подходит пешой
И молвит ему, не бледнея:
«От Курбского, князя Андрея».
И очи царя загорелися вдруг:
«Ко мне? От злодея лихого?
Читайте же, дьяки, читайте мне вслух
Посланье от слова до слова!
Поддай сюда грамоту, дерзкий гонец!»
И в ногу Шибанова острый конец
Жезла своего он вонзает,
Налег на костыль — и внимает:
«Царю, прославляему древле от всех,
Но тонушу в сквернах обильных!
Ответствуй, безумный, каких ради грех
Побил еси добрых и сильных?
Ответствуй, не ими ль, средь тяжелой войны,
Без счета твердыни врагов сражены?
Не их ли ты мужеством славен?
И кто им бысть верностью равен?
Безумный! Иль мнишишь бессмертнее нас,
В небытную ересь прельщенный?
Внимай же! Приидет возмездия час,
Писанием нам предреченный,
И аз, иже кровь в непрестанных боях
За тя, аки воду, лях и лях,
С тобой пред судьбою предстану!»
Так Курбский писал Иоанну.
Шибанов молчал. Из пронзенной ноги
Кровь алым струилася током.
И царь на спокойное око слуги
Взирал испытующим оком.
Стоял неподвижно опричников ряд;
Был мрачен владыки загадочный взгляд,

Как будто исполнен печали,
И все в ожиданье молчали.
И молвил так царь: «Да, боярин твой прав,
И нет уж мне жизни отрадной!
Кровь добрых и сильных ногами поправ,
Я пес недостойный и смрадный!
Гонец, ты не раб, но товарищ и друг,
И много, знать, верных у Курбского слуг,
Что продал тебя за бесценок!
Ступай же с Малютой в застенок».
Пытают и мучат гонца палачи,
Друг другу приходят на смену.
«Товарищей Курбского ты уличи,
Открой их собачью измену!»
И царь вопрошает: «Ну что же гонец?
Назвал ли он вора друзей наконец?»
— «Царь, слово его всё едино:
Он славит своего господина!»
День меркнет, приходит ночная пора,
Скрыпят у застенка ворота,
Заплечные входят опять мастера,
Опять началась работа.
«Ну, что же, назвал ли злодеев гонец?»
— «Царь, близок ему уж приходит конец,
Но слово его всё едино,
Он славит своего господина:
"О князь, ты, который предать меня мог
За сладостный миг укоризны,
О князь, я молю, да простит тебе бог
Измену твою пред отчизной!
Услышь меня, боже, в предсмертный мой час,
Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но в сердце любовь и прощенье —
Помилуй мои прегрешенья!
Услышь меня, боже, в предсмертный мой час,
Прости моего господина!
Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но слово мое всё едино:
За грозного, боже, царя я молюсь,
За нашу святую, великую Русь —
И твердо жду смерти желанной!"» —
Так умер Шибанов, стремянный.

Лекция № 7

МОРЕ НЕЯСНОСТИ

Идет XVI век. Век нашей национальной катастрофы. Мы попадаем в наезженную колею и едем. Едем по порочному циклу, по яновскому циклу развития России. Цикл состоит из трех стадий. Иногда стадии коротенькие, иногда — длинненькие, иногда это десятилетия, иногда это дни. Как повезет. Вернее, как не повезет. Потому что попасть в этот цикл, в астральное кольцо — большое невезение, а выбраться из него нам пока еще не удалось. Циклы отсчитываются с царствования Иоанна Грозного, хотя, в принципе, их можно отсчитывать с царствования Иоанна Третьего. Тогда у нас просто удлинится первый цикл, первичный. Называется он «Звездный час автократии». Это апофеоз насилия, апофеоз несвободы. Это классика сначала авторитаризма, потом — тоталитаризма. В принципе, можно считать, что Иоанн Четвертый — это уже не авторитаризм. Авторитаризм — это Иоанн Третий.

Чем отличается авторитаризм от абсолютизма? Абсолютизм станет хрустальной мечтой российских реформаторов. Они будут видеть абсолютизм во сне. И когда Европа отвергнет абсолютизм в конце XVIII века, яростно взбунтуется против абсолютизма и будет брыкаться, лягаться и делать очень много лишних и ненужных вещей, чтобы избежать этого самого абсолютизма, для России абсолютизм будет недостижимым, сказочным сном. Потому что у нас будет не автократия, у нас будет тоталитаризм. Можно считать, что, начиная с Иоанна Четвертого Васильевича, у нас классический тоталитаризм, паровой каток.

Полное отсутствие экономической свободы. Полное отсутствие политической свободы. Можно считать, что это продлится до Александра Освободителя, то есть начиная с XVI века по XIX (три с половиной века). Подольше, чем иго, похуже, чем иго.

Звездный час автократии сменяется Смутным временем. Когда перекутишь часы, пружина имеет сильный откат, она вылетает, скрежещет, всё ломается. Другой полюс. Маятник в силу своего огромного размаха останавливается

на полнейшей анархии, даже не на той, какую имеет в виду Монтескье, когда описывает стадию развития якобы персидского государства, а на самом деле европейского. То есть какие там персидские письма, какие там эллинские тирании на год-другой...

Итак, следующая стадия — Смутное время. То первое, которое считается тоже классикой — с 1598 года по 1613-й. Первое, но не последнее Смутное время. И, в общем-то, даже не первое, если строго говорить, а просто самое длинное. Вплоть до пугачевского варианта в масштабах всего государства.

Если представить себе, что пугачевщина или разинские эксцессы охватили всю страну, как это было во время Гражданской войны, то мы будем иметь классическое Смутное время. Двоевластие. Троевластие. Четверовластие. Дикое насилие. Полное отсутствие права. Полное отсутствие и экономической, и политической свободы. Очень много разных насилий на локальных территориях в сумме не дают одну свободу.

Это то же самое, что произошло с несчастными государствами СНГ. Когда порезали одного дракона на ломтики, оказалось, что ломтики, отрезанные от монстра, от Советского Союза, сохраняют все ведущие качества этого монстра. Никто никуда не ушел. И свобода не воцарилась ни в Средней Азии, ни в Белоруссии, ни даже в несчастной Чечне. Только те, кто не был частью монстра, страны Балтии, обрели свободу. А те, кто ее изначально не имел, путем нарезки на бекон никак свободу обрести не могли.

Это уж кому как повезло. Россия обрела максимальное количество воли, минимальное обрел Туркменистан. Получилось то же, что и было, только порезанное на кусочки.

Это не решение вопроса. Смутное время не дает большего градуса и большей степени политической свободы.

Смутное время всегда кончается самым интересным, самым глухим, самым неясным периодом, в котором могут запутаться историки и политологи, в котором так же трудно ориентироваться, как в тумане. Смутное время не спутаешь ни с чем. Звездный час автократии — тоже. ВЧК спутать не даст.

А вот псевдоабсолютизм, последняя стадия, самая заманчивая, может показаться чем-то иным. Псевдоабсолютизм — это такая ситуация, когда кажется, что всё идет на лад, что устанавливается правовое государство, появляются какие-то экономические гарантии, что вот-вот расцветет политическая свобода. Иногда даже появляются ее элементы (этой самой политической свободы). Кажется, распахивается астральный круг, и мы из этой колеи уже почти вылезаем.

Но это псевдоабсолютизм. Что-то захлопывается. Те самые кафкианские врата Закона, и мы попадаем обратно в это кольцо, в звездный час автократии, потому что псевдоабсолютизм — это иллюзорный выход. На самом деле, в нем нет выхода. И опять поехали — до следующего псевдоабсолютизма.

Вот такой аттракцион в Парке Культуры имени Горького. Янов считает, что лучше всего выходить из астрального кольца где-то на уровне псевдоабсолютизма. А накапливать теоретические предпосылки и практические средства удобнее всего в Смутное время. Но почему-то никогда ничего у нас не получалось.

Итак, мы едем по первому кругу: Иван Третий, Василий Третий, Иван Четвертый — это у нас звездный час автократии. Очень сильно затянуты гайки. Должна быть какая-то разрядка, должна быть гроза. Слишком много в атмосфере накопилось электричества. И вот всё спускается на тормозах. Очень короткое царствование Федора, причем для того, чтобы Федор был утвержден, хотя он был вполне законным наследником престола, пришлось собирать Земской собор. Старшего сына Грозного, царевича Ивана, уже не было... Картина Репина «Царь Иоанн убивает своего сына» достаточно четко рассказывает о том, как прекратилась династия, как царь Иван сам подорвал основы своего же династического правления. Как Самсон, который завалил на себя храм. Но здесь он завалил на себя всё государство. Несмотря на то, что и царевича Димитрия уже не было, пришлось прибегнуть к Собору. У нас остается один Федор. Вроде бы законный наследник. Но власть уже поколебалась. Авторханов. «Загадка смерти Сталина».

Наступает временное замешательство. Умирает тиран. Слухи, шепоты, козни, интриги, надежды. Можно считать, что Смутное время началось.

Первое Смутное время — это период, который наступает после царствования Иоанна Грозного. Янов берет крупные исторические блоки, он мелочами не занимается. Это не Ключевский и не Карамзин, чтобы так вылизывать историю. Он несколько схоластичен, поэтому такие мелочи, как несколько лет или несколько месяцев, он не берет в расчет.

Первое Смутное время — это еще и царствование Федора. Земской собор его утверждает. Можно считать, что Земской собор — это что-то вроде Генеральных Штатов, но именно что-то вроде. Это имитация Генеральных Штатов. Во-первых, на Земских соборах не присутствует население Руси и, впоследствии — население России. Во Франции всё это было очень четко продумано. Я уж не говорю про Британию, про представительство в палате общин, я не говорю о тех краях, где были выборы. Генеральные Штаты — это собрание нотаблей, это представительство от всей страны: из Лиона, из Тулона, из Тулузы приезжали в Париж депутаты. Железно отлаженный механизм. С бюрократией во Франции всё было в порядке. Острый галльский смысл, организация. Римляне научили.

А у нас одно только московское народонаселение собиралось на Земской собор. Это Екатерина впоследствии созывает депутатов из всех краев. Можно считать, что наше первое Учредительное собрание — это тот форум, который соберет Екатерина для принятия своего Уложения, потому что и представители от национальных меньшинств, от народов севера, как бы мы их теперь назвали, от этих самых пушкинских «ныне диких тунгусов и друзей степей калмыков», даже представители от эвенков появляются на этом Собрании. То есть отовсюду были созваны представители, и за этим строго проследили. Но Екатерина — это уже XVIII век. У нас же пока кончается XVI. Приглашают тех, кто под рукой. Москва — это всё государство. Это, кстати, очень характерно для строения Московской Орды: когда всё решается в Москве, а регионы не имеют ни малейшего значения

и не требуют пока никакого значения. В крайнем случае, взбунтуются, отложатся, кому-то передадутся, но легитимным путем требовать своих прав не могут и не умеют. Потому что этот легитимный путь вообще непонятен и не очевиден.

Происходит следующее. Представители разного населения Москвы, из тех, кто у нас есть под рукой: бояре, князья, дворяне, купцы, горожане московские — судят о делах государства. Крестьян, естественно, не будет. Крестьяне к этому времени уже почти все закрепощены. Представительства от крестьян потребует Екатерина. Спасибо ей большое за это. Она первая додумалась до таких свобод, задолго до Александра Освободителя.

В общем, Земской собор — это такая тусовка, вроде заседания ОКДОРа, который у нас заседал в мэрии из наличных демократических организаций (194 набралось в одной Москве!), перед ельцинским указом 1993 года. ОКДОР — это в общем-то Земской собор.

Земской собор должен был прекратить шатание умов. Ну как же, умер Иван Васильевич! Это же конец света. Хорошо, что не было в это время никаких грузовиков, никакого Колонного зала, а то, если бы тело государя было принято публично выставлять, то наверняка задавили бы энное количество граждан, как на похоронах Иосифа Виссарионовича Сталина.

Возникает аналогичная ситуация. Что будет дальше? Конец света. Был государь, такой замечательный. Такой завел порядок, хоть покати шаром. Дальше-то что будет? Как жить будем? Потому что Федор имел в народе плохую репутацию. Добрый-то он добрый, но ведь добрых на Руси не слушались. Слабый царь. Это же страшно — слабый царь. Кто будет на нас ездить? Кто будет нас взнуздывать? Ведь ходили же в Александрову слободу, умоляли, хлопались там лбом оземь, умоляли, чтоб Иоанн обратно пришел. Нет чтобы выбрать себе немедленно республиканское правление. Ушел — и слава богу. Да нет, Иван Васильевич знал свой народ. Он знал, что будут плакать, будут рыдать и будут ломать руки.

Это потом повторится с Борисом Годуновым. О Господи, кто будет нами править? Жить же нельзя, если нет

какого-нибудь сатрапа. Привычка к рабству укоренилась до такой степени, что без рабства наступает ломка, как у наркоманов.

Доза наркотика необходима, без этой дозы наступает гибель организма. Полное политическое истощение — дистрофия, шизофрения, как в «Обитаемом острове» Стругацких. Помните, что было, когда отключили эти башни после взрыва, который устроил Максим? Когда отключаются башни с идеологическим пойлом, 20 % населения вообще вымирает. Потому что это потребность организма, иначе они не выживают. И то же самое происходит у нас.

Итак, Федор утвержден. Федор править не мог. Добрые люди — это как раз та самая византийская традиция. Вторая половина византийской традиции. Из чего же состоит вторая половина византийской традиции? Мы ее мало видели на своем веку. Мы в основном видели того Кесаря, который вместо Бога. Мы видели насилие, пышность, несвободу, но у византийской традиции есть другая сторона медали, более привлекательная, та сторона медали, на которой — Борис и Глеб. Святые, но ни к чему не способные. Не способные защитить ни себя, ни других. Федор был как раз таким. Он вполне годился в святые, но абсолютно не годился в государи. Магическая религия. Магическое христианство. Когда для человека мирское уже не в счет. Главное — душу спасти. Ну а когда царь спасает свою душу, вместо того чтобы спасти свою державу, — это ужасная ситуация. Пока Федор спасал свою душу, государством правил Годунов. И это был не худший вариант, он был отличным регентом. Это был наш Ришелье — и даже поболее Ришелье.

Можно считать, что после Избранной Рады второй период вестернизации наступает с Борисом Годуновым. Борис Годунов прекрасно понимал, чего на Руси недостает. Он отлично видел, что мы на стадионе остались одни. Все давно убежали вперед. Он хотел догнать. Он лихорадочно начинает устанавливать связи с Западной Европой. Просватывает свою дочь. Посылает туда посольство. Даже каких-то специалистов хочет пригласить. Он начинает даже народ задабривать. Начинает срочно его кормить, отдавать ему запасы. Заботится о народе,

социальные программы создает. На уровне типичной классической социал-демократии. Годунов хочет реформировать дела правления. Войско хочет реформировать. Планов — море.

Скверное войско у Руси в этот момент, оно очень сильно отстает от западных, и это будет скоро заметно. В общем-то, это проявилось уже при Иоанне Васильевиче. Военная мощь, которая во времена Дмитрия Донского была неоспорима, да и во времена Ивана Третьего — тоже, очень быстро куда-то пропала. Если уж воевода Семиградский Стефан Баторий, талантливый администратор и талантливый полководец, с крошечной Речью Посполитой, не имеющей фактически никаких материальных ресурсов, ухитрился разбить все российские полки, наголову разбить, до такой степени разбить, что бедный Иван Васильевич должен был писать ему покаянные письма и ссылаться уже не на военную силу (это трогательно, когда тираны ссылаются не на военную силу!), а на некое право и на Бога: ты поступаешь, мол, не по-христиански, посмотри, как ты нас бьешь, тебя Бог за это накажет. Правда, то, что до этого он в Ливонской войне пытался завоевать то, что Руси не принадлежало — Ливонию, — да и ту же самую Польшу, он не учитывает. Но когда ему крепко дали по рукам, он немедленно сослался на Бога и на демократические категории. «Я держу свое государство, а ты держи свое, и это европейское право. А если ты к нам лезешь, то получается полное наше бесправие». Это классическая черта всех автократоров, тиранов и всех национал-патриотов: когда им крепко дают по рукам, они срочно начинают любить демократию. Когда они не у власти, они ее любят. Но как только они власть получают, у них немедленно любовь к демократии куда-то девается.

Разбив Ивана Грозного наголову, Польша делает большое приобретение. Речь Посполитая отстояла не только свое, но чуть Смоленск не захватила. Он переходит из рук в руки. А мне это очень близко, поскольку мои предки имели имения именно в Смоленской губернии, именно в Смоленских областях. Так что мы то были подданными польского короля, то служили русскому царю.

Словом, в XVIII веке у Руси уже нет нормального войска. Нужна военная реформа. Вон когда еще она понадобилась... При Борисе Годунове! Он хотел ее провести. Только одно маленькое несчастье: Борис Годунов, возведенный на трон Земским собором, не чувствует себя исконным государем и очень нервничает, что и дает основание предположить разным драматургам, скажем, Пушкину, что он мог зарезать маленького царевича. Ибо если человек никого не зарезал, если за ним нет никакой крови, то почему он так нервничает? Почему он так не уверен в себе? Зачем Борису Годунову понадобилось портить реформаторское начало своего царствования — второй период реформ, вторую вестернизацию, — зачем ему понадобилось учреждать охранку, нанимать шпииков, которые с утра до вечера вынюхивали, достаточно ли любят царя?

Это была просто мания преследования. Ему казалось, что его не любят. И те меры, которые он предпринял, чтобы его любили, окончательно ликвидировали остатки любви к нему и в народе, и в боярах. Мыслимое ли дело посылать по домам специальную молитву, для того чтобы подданные, после того как они помолятся Богу на ночь или перед трапезой, молились в обязательном порядке за государя — именно по данному тексту? И чтоб всюду ходили шпионы и выясняли, а не говорят ли что-нибудь, не рассказывают ли анекдоты... Преследование за анекдоты ведется начиная с Бориса Годунова. Дальше — больше. Подозрительность, мания преследования. Потом аресты сталинского характера, на всякий случай. А вдруг он изменит, а вдруг он собирается изменить? А вдруг этот боярин обиделся на то, что я его брата казнил, и тоже собирается изменить?.. В конце концов, никто уже не чувствует себя в безопасности, изменять собираются все, потому что жизни с реформатором Борисом Годуновым никому не стало. Конечно, когда человек ищет у себя под кроватью врагов народа, ему не до реформ.

Военная реформа сделана не была. Административная реформа замерзла на полпути. Земельная реформа тоже на этом закончилась. Мы ищем врагов. А поскольку соответствующие традиции уже были, после Ивана Третьего и Ивана Васильевича, то специалисты для этого охранного отделения находятся. Годунов учредил КГБ.

А тут вдруг самозванец возникает. Кто он был такой, это вопрос для историков, а не для тех, кто занимается философией истории страны. Это совершенно неважно. Был ли он Димитрием? Скорее всего, Димитрием он не был по одной простой причине: характер Димитрия в детстве, отмеченный всеми летописцами, был такой, что это не давало оснований предполагать, что он будет реформатором. У него был характер, как у Ивана Васильевича, и представление о своих божественных полномочиях — аналогичное.

Григорий Отрепьев, как удалось разнюхать, был совсем другим человеком. Это была наша жар-птица. Это было бы огромное счастье для Руси. Потому что впервые планы реформ и намерения проводить реформы совпадают с соответствующей личностью, которая реально может и хочет их провести. Личность Иоанна Грозного никак не благоприятствовала планам Избранной Рады. Надолго его хватить не могло. Да и личность Бориса Годунова не подходила тоже. Недаром он был зять Малюты. А вот личность Григория Отрепьева, типичного западника, законченного прогрессиста (хоть сейчас его принимай в «Демократический выбор России»), благоприятствовала проведению реформ, причем самых глубоких. То, что он собирался сделать, могло бы спасти страну, если бы страна могла воспринять эту реформу. Но, к сожалению, отторжение чужеродных механизмов, организмов, органов было уже настолько сильно в те времена, что никакие пластические операции, пересаженные почки, западные сердца, печенки и селезенки прижиться уже не могли.

Григорий Отрепьев получил всестороннее образование, причем получал его сознательно: он знал, что ему нужно, чтобы вестернизировать Россию. Начитавшись разных хороших книг в монастыре, изучив греческий и латынь, он отправляется в Запорожскую Сечь, чтобы ознакомиться с военной демократией запорожских казаков и научиться военному искусству. Надо сказать, что он неплохо усваивает эти уроки. Затем он, совсем как молодой Петр, едет учиться на Запад. Это изначальный путь всех реформаторов. Без Запада уже невозможно было вытащить страну. Нужно было проходить эту начальную школу. Он изучает латынь, кончает что-то вроде тогдашней гимназии,

он изучает историю, изучает право. И только тогда, когда он готов, когда он получил всестороннее образование, он открывается полякам. Это, конечно, была гениальная идея. Как умно и цинично он это всё объясняет у Пушкина! Он был предлогом для ссор и войны. И поляки не упускают этот предлог. Он понимает, что без войны не обойдется. Но это издержки производства. Он на эти издержки идет. Даже если бы поляки получили кусок российской территории, всё остальное огромное пространство было бы спасено. И, безусловно, этот кусок можно было бы потом получить назад. Потому что реформированная, богатая и цивилизованная страна получила бы право на свои законные пределы. Здесь нет никакой национальной измены, которую ему потом вменяют в вину московские горожане и московское купечество, Минин, Пожарский, казаки и черт еще знает кто. Это был холодный политический расчет, и этот расчет оправдался бы.

А наш Алексей Константинович Толстой описывает всё это опять же очень жизнерадостно:

За ним царить стал Федор, отцу живой контраст;
Был разумом не бодор, трезвонить лишь горазд.
Борис же, царский шурин, не в шутку был умен,
Брюнет, лицом недурен, и сел на царский трон.
При нем пошло всё гладко, не стало прежних зол,
Чуть-чуть было порядка в земле он не завел.
К несчастью, самозванец, откуда ни возьмись,
Такой нам задал танец, что умер царь Борис.
И на Бориса место взобравшись, сей нахал
От радости с невестой ногами заболтал.
Вернулись поляки, казаков привели;
Пошел сумбур и драки: поляки и казаки,
Казаки и поляки нас паки бьют и паки;
Мы ж без царя как раки горюем на мели.
Чтоб трон поправить царский и вновь царя избрать,
Тут Минин и Пожарский скорей собрали рать.
И выгнала их сила поляков снова вон.
Земля же Михаила взвела на царский трон.
Случилось это летом, но был ли уговор —
История об этом молчит до этих пор.

Вот так описывает Алексей Константинович Толстой
Смутное время.

Выглядело это всё, конечно, очень парадоксально для постороннего наблюдателя, но поскольку история у нас одна и жизнь — тоже, то для нас это была, конечно, трагедия.

Когда Григорий Отрепьев, сумевший обыграть всех панов, ничего не давший Польше, не сделавший ни одной территориальной уступки, является под Москву, умелой пропагандой и лазутчиками полностью подорвав могущество и уверенность в себе Бориса (а уверенности у него и без того нет было), Борис просто не может сопротивляться. Воеводы Бориса переходят на сторону Григория Отрепьева. Весь народ переходит на его сторону и, конечно, готов кричать, как это принято у Салтыкова-Щедрина в «Истории города Глупова»: «Вот наша матушка, вот наша государыня, теперь нам, ребята, вина будет вволю!» То есть если бы Григорий Отрепьев не был реформатором, если бы ему не нужно было спасти Россию, он мог бы действительно выкатить эту бочку вина и править спокойно до конца своих дней, и основать династию. Если бы он поехал по этой византийской колее. Но он не хотел ехать по этой колее.

Итак, у нас кончился псевдоабсолютизм Бориса Годунова. Первая половина царствования Бориса Годунова (крошечного царствования!) — это псевдоабсолютизм. Сейчас будет выход, ведь царь — реформатор, сейчас начнется абсолютизм. Нет, в это же царствование начинается звездный час автократии. Когда Борис устанавливает диктатуру, даже тиранию, и начинает ссылать и казнить бояр, все уже рот открыть боятся. Бывает, что на одно царствование приходится два цикла. Один и тот же монарх устанавливает и псевдоабсолютизм, и звездный час автократии. Они вообще не разделены. Они слиты в одном царствовании. И идет следующее Смутное время, которое уже без всяких разговоров продлится до 1613 года.

Маленькая надежда на псевдоабсолютизм будет выныривать, как рыбка из воды, показывать головку и тут же прятаться. Маленький псевдоабсолютизм, маленькая надежда возникнет, когда выборный монарх, почти президент, но только боярский, Василий Шуйский, взойдет на трон. Выборный царь, очень ограниченный во власти. Вдруг что-нибудь да получится. Не получилось. И царя низложили, и никакого прогресса не было.

Дальше идет Салтыков и его товарищи. Идея дворянской республики, идея конституционной монархии. Идея, которую некому было предложить. По сути дела, эту идею предлагали и Тушинскому вору, и Василию Шуйскому, и, в общем-то, чуть ли не Ляпунову, который вообще не имел никакой власти и никаких прав на престол. Идея была — предложить ее было некому.

Тут еще раз выныривает рыбка, еще раз показывает головку, наша летучая рыба-случайность. Вариант с царевичем Владиславом. Вариант, что на российский престол взойдет, оставляя Русь вполне православной, но проводя реформы, иноземный государь, и возникнет расширенная Речь Посполитая, включающая в себя не только Польшу и Литву, но еще и Россию.

И все эти варианты абсолютизма на потенциальном уровне захлебываются, пока у нас не наступает ровная скучная линия жизни, которая проходит по царствованию Михаила и Алексея Михайловича.

Но это мы очень сильно забежали вперед по гребням волн. А если вернуться и посмотреть на Григория Отрепьева, последний раз посмотреть на то, что у нас могло бы быть, на то, что не случилось, на это великое Несбывшееся, которого нам не было дано?

Григорий не медлит. Он начинает делать всё сразу и начинает это делать совершенно блестяще. Он привозит с собой иностранную супругу, Марину Мнишек. Чем была Марина хороша? Она была красива. Она была вздорная и пустая и никак не годилась для того, чтобы реформировать Русь. Она была хороша другим. Она была хороша тем, что просто жила иначе. Она выросла в других условиях. Она привыкла к жизни в свободной стране, при конституционной монархии. Она привыкла к балам, к маскарадам, к полному отсутствию Домостроя, к эмансипации, к феминизму. Она привыкла к тому, что устраиваются турниры, выбираются короли, и эти всё она несла в себе. Конечно, это был эффект взорвавшейся атомной бомбы, когда Марина явилась к этому косному византийскому двору; Димитрий даже не требовал, чтобы она приняла православие, и она сохранила своих священников, которые вместе с ней прибыли на Русь, и польских панов из своей свиты.

Польские дворяне дают разумные советы, потому что в Московии они видят дикие вещи. Они, конечно, советуют Марине, советуют и Димитрию. Димитрий уже, в общем-то, не нуждается в советах, он и сам того же хочет. Полностью реорганизуется светская жизнь. Несчастный Димитрий пытается устраивать в Москве балы и маскарады. Можете себе представить, как на это реагирует московское народонаселение.

Петр был не первым царем, которого обозвали Антихристом. Первым был Григорий Отрепьев. Маскарад, снежная крепость. Взятие снежного городка, игрушечные бои, турниры, дуэли. Конец света наступил. Антихрист на Руси. Только Раскола еще не было, а то побежали бы в скиты и стали сжигаться.

Дальше — полный скандал. В мыльню они не ходят, то есть в баню не ходят вместе. Димитрий с Мариной ходят мыться по отдельности, ванну принимают. Она еще ванну с собой приволокла из Варшавы. Разврат. Не ходят вместе в мыльню! В церковь мало Димитрий ходит, заглянет, перекрестится, меньше даже, чем Черномырдин там стоит. У него есть дела, ему не до того, а в храме — тоска зеленая. Скандал полный. Царь должен был все службы отстаивать, ему и править-то было некогда. Реформы некогда было проводить, потому что он все время в храме околачивался.

После Ивана Васильевича, который по ночам молился, казнив очередную тысячу несчастных, ни в чем не повинных подданных, да в рясы всех палачей-опричников поодевал (а Федор вовсе не выходил из церкви), на Москве появляется такой агностик. Как можно было это перенести? Как можно было перенести то, что он сделал с боярами? Ладно там народ. Народ недоволен, народ ропщет, хотя народ опять-таки подкармливают. Опять-таки находят какие-то ресурсы, что-то раздают. Димитрий даже додумался до освобождения крестьянства, задолго до Александра Второго. Просто все попытки объясниться с выборными от крестьян, найти даже каких-то выборных, упираются в полную неспособность крестьян кого-то выбрать. Он дает задание боярам. Бояре не знают, что делать, они ему притаскивают первых попавшихся крестьян. Потому что бояре тоже не понимают, как

это крестьяне должны кого-то выбирать. Конец XVI века, начало XVII. Крестьяне и вовсе не понимают этого. И что получается из разговора? Крестьяне только бьются лбом об пол и говорят, что они для батюшки-царя рады постараться. Никакого диалога не вышло. Он им втолковывает про освобождение, спрашивает, хотят ли они жить независимо, без барина, они же не понимают, о чем он говорит. Просто не понимают. Он говорит о каких-то вариантах земельной реформы, о правилах землепользования. В общем, это даже хуже, чем у Чаянова получилось. Уровень Вавилова — и уровень юродивого Николки.

Вот такой идет разговор. С боярами еще хуже. Крестьяне хотя бы рады плюхаться на пол и биться головой. Ладно. Народ пока еще падает вдоль царского поезда, пока они еще не готовы бунтовать. Все бунты, все смутные времена на Руси обязательно начинаются сверху. До сих пор это так и идет: когда в эту квашню с народным брожением что-то бросают, подсыпают, помешивают, как-то организуют эту массу, то она догадывается, что, похоже, можно браться за колья, за заточки, за топоры. Идти на Смоленскую площадь, поджигать шины. Одни они и до этого додуматься не могут. Для народного бунта нужно, чтобы в нем поучаствовал кто-то сверху, для правильной организации народного бунта нужны разночинцы. Иначе и бунта не получается. Толпа — это абсолютно не осознающая себя масса.

Значит, для того, чтобы устроить восстание, скинуть Григория Отрепьева, изменить ход вещей, полностью всё замутить, нужны бояре. А боярам-то чего надо? Что получается с боярами? Боярам, по идее, очень хорошо. Потому что Григорий — добрый человек, европеец, западник, казнить он никого не собирается, отменяет пытку. Заметьте, задолго до Екатерины. Екатерина отменит пытку на Руси в XVIII веке. Григорий ее отменяет первый. Отменяет казни, опалы отменяет, всех возвращает. Кажется, просто нужно пировать с утра до вечера и благословлять такого монарха.

Он приходит в Боярскую Думу и начинает ее реорганизовывать по принципу палаты лордов. И несчастные бояре тоже не понимают, чего от них хотят. Он начинает им читать нотации. «Вы ничего не понимаете в государственных делах. Вы не можете мне никакой совет подать.

Вы сидите там, брады уставив». Царь начинает задавать им нескромные вопросы, опять-таки насчет управления, землепользования. Сует им латинские книжки. Велит латынь учить. Лучше опала, чем требование срочно пойти и окончить РГГУ или Физтех. Этого бояре совсем уже перенести не могли, тем более что царь ведет себя настолько нетрадиционно, даже почище Петра. Правда, Григорий не пьет. Не пьет и не безобразничает. Всё проходит в светском версальском варианте. Но Петр головы рубил, после чего народ полюбил просвещение. По крайней мере, сделал вид, что любит. И бояре даже не возражали, когда им бороды отрезали. Григорий не режет бороды. Он просто показывает им картинки из книжек и говорит, что они выглядят, как троглодиты. Они не понимают, что это за слово, но чувствуют, что не нравится царю их внешний вид. Для того чтобы подкрепить просвещение, к сожалению, казни нужны. А Григорий — законченный гуманист, он решительно не хочет никаких казней.

Дело кончается заговором. Первым заговором против Григория Отрепьева. Очень мало времени потребовалось на этот заговор. И в числе заговорщиков был сам будущий царь Василий Иванович Шуйский. Заговорщиков на Руси полагается пытать и казнить. Пытать и казнить — других вариантов не придумано. А здесь Григорий учреждает европейское следствие, включая польских дворян, которые с ним приехали. Без всяких пыток, очень вежливо. Вплоть до европейской формулы: а не хотите ли адвокатов иметь? Этих слов он не произносит, но предлагает, что ежели кто может вас защитить, свидетельствовать в вашу пользу, зовите, будем проводить следствие вместе с ними. Это настолько шокирует обвиняемых, что они дыбу уже готовы предпочесть такому способу расследования.

Дальше их надо судить. Суд препоручается будущему Сенату, то есть Боярской Думе, которую Григорий уже и называет Сенатом. Но сенаторы рады стараться, приговаривают к смертной казни. Как еще доказать свою лояльность? И на Лобном месте Григорий всех милует. Всех заговорщиков. Вы думаете, они ему благодарны? Да ни на грош. Они затаили дикую злобу и готовы мстить именно поэтому. Они ничего не поняли, но они

почувствовали, что их раздавили. Они почувствовали себя такими маленькими, жалкими, гаденькими по сравнению с этим человеком, что им стало втрое необходимо доказать, что это не царь, не царский сын, что это какой-то самозванец.

Им это было необходимо, чтобы забыть об этом великодушии, об этом благородстве, об этой образованности, об этой высокой культуре. Они увидели кусочек Запада. Запад пришел на Русь вместе с Димитрием. Щедрый, изысканный, великодушный, благородный, просвещенный. И контраст был настолько нестерпим, что ненависть усилилась. Вместо того, чтобы искренне и честно признать свое поражение и поучиться, после этой очной ставки Русь разбивает зеркала, и железный занавес становится сознательным выбором страны. Не навязанным ей сверху явлением, а выбором. И самое страшное, что это добровольный выбор страны снизу доверху. Бояре и народ сливаются в экстазе национал-патриотизма. Можно считать, что поскольку народ был скорее красным, а бояре — скорее коричневыми, что тогда и возникает первый симбиоз красно-коричневых.

Возникает первое народное восстание против либерализации, приватизации, вестернизации, против западного влияния, против Григория Отрепьева. А поскольку Григорий не прибегает к репрессиям, шансов у него нет. Те, кто вчера еще кричали: «Да здравствует Димитрий, наш отец!» — сегодня кричат, что он вор, Гришка Отрепьев. Иначе нет оправдания бунту, нет ему идейного обоснования. Удержаться фактически невозможно, когда против тебя всё: и войско, и бояре, и народ. Время, впрочем, было, для того чтобы запугать, для того чтобы это остановить. Теперь это время ушло. Григорий-Димитрий пытается сопротивляться. Он сопротивляется до самого конца, но сделать он уже ничего не может. То, что начинается в Москве, можно назвать погромом. Убивают не только Димитрия. Предают его все те, кто вчера в его возвышении видел начало своей карьеры. Даже Мария Нагая, которая ухитрилась узнать в нем своего сына, для того чтобы переехать из заштатного Углича в Москву и стать матерью государя. Сейчас она считает, что такой сын ей больше уже не нужен.

Чувствует, что это царствование кончится очень плохо, и, естественно, от него отрекается. Возникает следующий нравственный вопрос. Считала ли она его своим сыном, и не было ли это с самого начала политическим выбором? Все — политики, вплоть до Марии Нагой. По всей Москве избивают ни за что ни про что поляков. Их довольно много на Москве. Они свободно живут в домах. Никого не оскорбляют, никого не трогают, занимаются своими делами. Начинается погром. Погром против космополитов. Не надо никакого Иосифа Виссарионовича, и никаких приговоров не нужно. В народе возникает трепетное движение: долой космополитов! Космополитов горожане видят только в поляках, других иностранцев мало на Руси в этот момент. Поэтому избивают поляков.

Кое-кто из бояр сообразил, что если Польша двинет свои войска на Москву, то не только Смоленск, но и Москву захватят. Военную реформу опять не успели провести. Димитрию не дали на нее времени. Поэтому бояре спасают Марину и ее ближайшее окружение, посылают их обратно в Варшаву, но до Варшавы они не доехали.

Смутное время пошло по второму кругу: появился Тушинский вор. Это был просто ловкий авантюрист, некий Герострат, этакий Жирик. Он решил, что самое время получить какие-то дивиденды. Что если некто назвался царем и в Кремле посидел, то и он может царем назваться, потому что получится у него нисколько не хуже. Много претензий, совершенно нет образованности, нет никаких реформаторских намерений. Но самое интересное — это то, что некоторые бояре признают Тушинского вора, который уж точно никакой не царский сын и даже не приличный человек из общества, и из его рук получают кто землю, кто вотчины. Полный конец света.

Бояре, понимая, что ситуация пошла вразнос, избирают Василия Шуйского на царство. Василий Шуйский делает подкрестную запись, что он обязуется ни на кого опалу не класть, что он будет править по старине, по закону, что его власть будет ограничена мнением всех бояр в Боярской Думе. То есть, по сути дела, он избирается в президенты. В спикеры Боярской Думы и одновременно — в президенты. Конечно, избирается он в президенты только боярами. Все остальные в выборах не участвуют, а в очередной раз стучаются лбами.

Участие народа в общественных делах отныне и очень надолго будет проявляться в двух формах. Можно сказать, что эти две формы доживут до XIX века в полной сохранности. Или мы участвуем в общественном управлении с топором, или (другая степень участия) лбом стукаемся. Или на коленях и бьемся головой оземь — или с топором. Других вариантов нет. Два варианта правового конституционного поведения. Это и есть то общественное самоуправление, к которому нас все время призывает Александр Исаевич Солженицын?

С Шуйским получилось плохо. Ситуация крутая. Он же — слабый человек, в отличие от своего дяди Ивана Петровича. Он не удерживается. У него нет авторитета. И в конце концов его Ляпунов постригает в монахи.

Здесь является еще одна общественная сила. Являются казаки. Откуда взялись казаки? Казаки почувствовали, что пахнет жареным. Можно пограбить под видом того, что они защищают родной стольный град от иноземцев, можно погулять, можно что-то перехватить. Они немедленно, так же как сегодня, объявляют себя патриотами. Самыми большими патриотами на всей Руси. И вот здесь они уже грабят в силу своего патриотизма. И чем больше кричат о своем патриотизме, тем больше грабят.

С одной стороны у нас казаки, с другой — очумелые бояре, с третьей стороны — Тушинский вор, и есть еще Василий Шуйский. Являются какие-то атаманы, неважно какие, их много в этот момент. Устраивают бунты. По сути дела, в стране пяти- или четверовластие. Махновцев только не хватает.

В это время Польша, видя такое разложение и такую дестабилизацию, искренне пытается помочь. Потому что иметь такую страну под боком ей вовсе не улыбается. Она пытается разумно стабилизировать Русь. Предлагает свой вариант, видя, что здесь все полностью запутались. Король Сигизмунд действует искренне, не потому, что хочет что-то захватить, а потому что иметь такое соседство (даже без атомного оружия) неприятно. Казаки грабят, и грабят они не только Москву, но и Польшу. На них никакой управы нет.

Тушинский вор время от времени тоже себя патриотом объявляет и говорит, что на Варшаву пойдет.

Ляпунов тоже собирается в этом направлении. Зачем такая головная боль? Король Сигизмунд с большой долей иронии предлагает своего сына королевича Владислава. Поскольку, кажется, на Руси все законные государи перевелись. Причем предлагает самые роскошные условия. Никто не будет обращать Русь в католичество, королевич Владислав примет православную веру, Польша никак не будет подчинять себе Русь, Русь сохранит свои законы. Естественно, была бы медленная эволюционная вестернизация. Еще один выход нашелся. Григория Отрепьева нет в живых, но появляется выход в виде королевича Владислава. И здесь один из моих предков, рыцарь Мальтийского ордена Новодворский, польский дворянин (поскольку Смоленск в это время принадлежит Польше, и смоленские области числятся за ней), является на Москву с посольством от Сигизмунда просить престол для королевича Владислава. Часть бояр соглашается, потому что не видит выхода. Все-таки законный государь, все-таки у Польши великолепная армия. Помогут как-то унять казаков, здесь уже и народ начал грабить, взялся за топоры, то есть ситуация полной дестабилизации. А часть бояр не согласна.

Начинается гражданская война между боярами. И вот появляется Салтыков. Более неподходящего момента просто представить себе нельзя. Что поделаешь, если он живет в это время. Небогатый дворянин, незнатный, но образованный человек, который тоже учился в Польше и имеет самые светлые идеи насчет вестернизации Руси. Он предлагает многоступенчатую конституционную реформу. Предлагает конституционную монархию. Настоящую Конституцию. Предлагает военную реформу. Предлагает административную реформу. Предлагает освобождение крестьян. Предлагает общественное самоуправление с боярского до крестьянского уровня. То, что впоследствии сделает Александр Второй, предлагает Салтыков. Запомните эту фамилию.

У него ничего не получилось. Его даже слушать было некому. Слушали его только при польском дворе, они рады бы всё это внедрить, да найдите, пожалуйста, способ. В Москве никто его слушать даже не стал, тем более что он не входил в Боярскую Думу. Значит, по чину

ему проекты сочинять было не положено. Нет на Руси в этот момент абсолютизма, но есть сильнейшая бюрократия, есть иерархия, есть табель о рангах. И если ты не занимаешь никакой должности при дворе, если ты не окольничий, не боярин, то что бы ты ни предлагал (даже если ты знаешь, где золотые прииски), всё равно никто тебя слушать не будет, и никто твои проекты (что «500 дней», что «800») не будет рассматривать. Эта ситуация с Салтыковым очень современна, потому что когда Константин Боровой в 1993 году кому-то в правительстве стал что-то советовать, ему ответили буквально следующее: почему мы должны вас слушать? Вы сначала должность какую-нибудь займите в правительстве, а потом мы вас послушаем.

Ситуация эта кажется вечной. Колея предполагает вечность. Астральный путь развития означает, что будут меняться костюмы, прически, даже термины, но не будет никогда меняться суть. И вот суть не меняется с тех самых пор. Кстати, казнь царевича Алексея тоже не была первой казнью на Руси. Это было нехорошей традицией: изводить всех недругов до конца, под корень. Между прочим, предложения Пестеля сводились ведь не только к убийству государя, но и к уничтожению всей царской семьи. Так что это был проект вполне ленинский, хоть и до Ленина. Но в первый раз это случится в Смутное время. Дело в том, что Марина из авантюризма и из-за большой глупости явится к Тушинскому вору, просто чтобы быть царицей, хотя бы формально. У нее будет ребенок, сын. И когда начнется потихоньку консервативная реставрация, когда Минин и Пожарский начнут убивать поляков и казаков и устанавливать какой-то порядок, для того чтобы больше не было Смуты, этого трехлетнего ребенка по приказанию Боярской Думы казнят. Трехлетнего ребенка повесили, хотя никакой опасности он представлять не мог и никаких прав на престол он, безусловно, не имел. А самозванцу и права не нужны. Самозванец и без всяких прав будет претендовать на престол. Пугачев не был царем Петром Федоровичем, и никаких царских знаков у него не было. Поэтому казнь малыша была бесполезной, дикой жестокостью. Тем не менее они это сделали. Боярская Дума ничем не отличалась

от Совнаркома. Повесить трехлетнего ребенка — на всякий случай! Марину-то отпустили в Польшу. Повесить трехлетнего ребенка, чтобы он когда-нибудь не стал самозванцем (этак лет через двадцать), — до этого могли додуматься только у нас.

Итак, Смута кончилась консервативной реставрацией. И реставрируется никак не псевдоабсолютизм. Реставрировать хотели звездный час автократии. Но звездный час сначала не получался. Потому что не было соответствующего монарха. Ни Михаил, ни Алексей не годились для звездного часа автократии. Здесь нужно иметь определенный характер и вкус к жестокости. Была реставрирована просто автократия.

Для выборов Михаила состоялся Земской собор. И похоже, что Михаил Романов был избран именно потому, что он был серой и ничтожной личностью. Никто не чувствовал себя ущемленным. Никто его не боялся, никто от него ничего не ждал. То есть выбирают посредственность. Бояре не пропустили бы сильного и яркого человека. То ли в опасении новых реформ, то ли опасаясь казней и опал. «Не будет казней и опал, но и не будет реформ», — думают бояре. И неизвестно, что хуже для них в этот момент! Поэтому они избирают посредственность.

Дальше всё идет достаточно гладко до Алексея. У нас было три вестернизации. Вестернизация Избранной Рады, вестернизация Бориса Годунова и вестернизация Григория Отрепьева.

Можно считать, что четвертый этап вестернизации наступает с Алексеем Михайловичем. Есть чувство, что мы безнадежно отстали, есть чувство, что надо догонять, только одни хотят догнать сразу, как Петр. Другие хотят догонять еще лет 500, постепенно, как Алексей. Алексей вводит элементы вестернизации, но вводит их очень и очень медленно. Он действительно проводит военную реформу, заводятся стрельцы. Приглашаются военные специалисты. Уже есть Немецкая слобода. Не та, что при Петре, поменьше. Никаких потешных полков еще нет, но приглашаются иностранные наемники. Они потихоньку обучают русских солдат, шьются мундиры. И главное — правовая судебная реформа. Алексей Михайлович

заслуживает упоминания в истории за свое Уголовное уложение. После «Правды Ярославичей» на Руси вообще никаких законов не было. Английское прецедентное право! Только почему-то получается не так, как в Англии. Не те, видно, прецеденты. Уложение 1649 года. Можно считать, что до реформ Александра Освободителя мы будем пользоваться этим УК. Екатерина его немного переделает, осовременит, но это та основа, которая доживет до XIX века.

Уложение 1649 года; военная реформа; на Русь допускаются иностранные специалисты, так называемые инспецы в области строительства, в области металлургии, в области медицины. Постепенно они начинают практиковать. Народ, когда ему уж совсем невтерпеж, когда он начинает умирать, понимает, что травками здесь не отделаешься, надо за лекарем ехать в Немецкую слободу, потому что там что-то читали и знают, как надо лечить. Потихонечку, аккуратненько народ начинают приучать к западным нравам. Алексей Михайлович учит своих детей уже по-настоящему, у иностранных преподавателей; появляются у бояр первые гувернеры с Запада, появляется иностранное платье. На улицу его еще не надевают: стыдятся, — но носят его дома вечером. Носят уже с удовольствием. Книжки какие-то начинают читать. Появляются диссиденты сразу трех сортов. То есть у нас нечто вроде псевдоабсолютизма на некоторое время выныривает из омута. Совсем будет похоже на псевдоабсолютизм время Петра; оно как бы преддверие псевдоабсолютизма. Раз есть диссиденты, значит, точно не звездный час автократии.

Очень интересные диссиденты возникают на Москве. Князь Хворостинин был диссидент-юморист, что-то вроде Виктора Шендеровича. Телевидения не было, программу «Куклы» некому было показывать. Что придумывает князь Хворостинин? Он большой затейник, очень начитанный человек и, главное, имущественно абсолютно незаинтересованный в получении придворных должностей. Ему не надо вымалывать царскую милостыню, у него всё есть. Ему скучно, и он развлекается следующим образом. Он объявляет себя атеистом. Вы представляете: атеист на святой Руси! Сейчас, когда Анатолий

Чубайс говорит, что он воинствующий атеист, Аркадий Мурашев на него шикает. Говорит, что это скандальное заявление, что оно может партии «Демвыбор России» навредить. Когда Гайдар говорит, что он агностик, это тоже не все одобряют.

А тут Хворостинин заявляет, что он атеист. В XVII веке! Причем доказывает он это оригинальным способом. Он в пост велит ставить снаружи у ворот столы. И сервирует разные скоромные блюда, и всем прохожим предлагается угощение. Некоторые прохожие, оголодавши, едят скоромные блюда, так как это большой соблазн. Своим холопам, которых у него, как у всякого князя, полно, он запрещает в церковь ходить. Снимает у себя во дворце все иконы. Говорит, что не потерпит никакого идолопоклонства. Цитирует латинские стихи, ходит в польском платье, пугает до смерти всех бояр в царском дворце. Алексей Михайлович был добрым человеком. Понятно, что Иван Васильевич сразу бы его на кол посадил. А Алексей Михайлович долго ему читает нравоучения. «Княже, ты душу свою загубишь». А тот начинает ему доказывать, что у человека никакой души нет, один пар. Замечательный диспут. Бояре все в обмороке лежат по лавкам, а он, в конце концов, договорился до того, что его отправили в монастырь на покаяние. Такая форма льготного тюремного заключения — церковное покаяние. В монастыре он быстренько для вида покаялся и был отпущен домой, а там начал снова.

Опять его отправляют на покаяние. В конце концов он, наверное, решил, что плетью обуха не перешибешь, и то ли он утомился, то ли махнул рукой на просвещение бояр, но больше его на покаяние в монастырь не посылали. Или ему это всё надоело. Это наши дворянские диссиденты.

Что же делают разночинцы? Некий дьяк — Котошихин — возненавидел варварскую страну, в которой он живет (на идейном уровне!) и эмигрировал на Запад. Причем не просто бежал, а эмигрировал, попросил политического убежища. Там никак не могли понять, а чего ему надо, потому что не было никакого института политического убежища, хочешь — просто живи. Поскольку он был человек просвещенный, дьяк Посольского приказа

(а там были самые грамотные интеллектуалы), он нашел хорошую работу. Он знал несколько языков. И Котошихин начинает писать книгу о Московской Руси. Что только он написал! Почище маркиза де Кюстина. Даже слишком жестоко написал, слишком сурово. Национал-патриоты его бы с кашей съели. Да был он слишком от них далек, потому они книжки этой не прочитали. Не знали французского языка. Она была написана по-французски. Жаль, что у нас не сохранился ее экземпляр, а только описание у других авторов. Я думаю, ее любопытно было бы почитать. Но кончил он плохо. Он влюбился в замужнюю женщину и убил на дуэли ее мужа. А поскольку он был не мужем, а любовником, то суд приговорил к смертной казни его. И он кончает свою жизнь на плахе. Всё во имя просвещения.

А вот следующий диссидент был реформатор очень высокого полета. Можно считать, что разработка реформ, если отвлечься от тогдашней терминологии, была на гайдаровском уровне. Юрий Крижанич. Хорват Юрий Крижанич, который прижился на Руси. Великий реформатор, по-настоящему великий. Идею обоснование вестернизации России принадлежит ему. Идею обоснование ее пути на Запад дал Крижанич. Он резко осудил практику Ивана Четвертого, практику хождения на «на Германы», Русь же вечно «на Германы» пытается направлять свои полки. Он предвосхитил необходимость создания некоего военного блока с Западом. То есть он и НАТО в какой-то степени предвидел. Он не знал, как это будет называться, но говорил в общих чертах о том, каким будет Европейский Союз, Совет Европы; он говорил о необходимости некоего Европейского форума. Он называл его Синклитом, где будут судить и рядить о разных нарушениях прав человека. Он первым ввел идею прав человека — в XVII веке!

Естественно, он обосновал и земельную реформу, освобождение крестьян, реформы и правовые, и административные. Он пошел даже дальше того, что было в тот момент на Западе. Он предвидел республиканское правление. Он предвидел конституционную выборную монархию. Он предвидел постепенный переход к республиканским формам, региональное самоуправление. То, что

в общих чертах мы имеем сейчас на Западе, предвидел Юрий Крижанич. И он пытался применить это к Руси! Несчастный человек! Его, естественно, сослали в очень далекое и холодное место. Те, кто ссылал, даже не знали, как оно называется. Помнили только, что где-то между Ангарой и Леной, а что там находится, они и сами не знали. Естественно, он там пропадает. И даже неизвестно, от чего. То ли его волки съели, то ли самоеды, то ли он умер от голода и холода, то ли руки на себя наложил. В радищевские-то времена там еще жить было нельзя, а уж во времена Юрия Крижанича — и подавно.

Впрочем, вполне славянофильского администратора и реформатора Посошкова, который принадлежал к числу доносителей и прибыльщиков, еще более жестоко наказали. Он просто погиб под пытками. Его заподозрили в недостаточном патриотизме. Хотя он, кажется, патриот был как патриот. Поэтому и у реформаторов, и у простых смертных при автократии судьба была одна.

И начинается эпоха, которая, пожалуй, могла всё изменить, которая попыталась всё изменить. Которая очень сильно дернула. Грязь летела во все стороны, чихало и чавкало болото, лягушки квакали от возмущения. Петровская эпоха. Очень неоднозначная эпоха. Демократы сейчас говорят, что Петр хотел распахнуть форточку в Европу, а вместо этого открыл дверь в Азию. Поскольку методы были, прямо скажем, очень азиатские, очень деспотические. Цель была европейская.

У нас начинается (по Янову) звездный час автократии. По другим исследователям, у нас начинается псевдоабсолютизм. Но все исследователи сходятся на том, что они шли рука об руку. И что псевдоабсолютизм, в отличие от царствования Бориса Годунова (там была хоть какая-то последовательность), шел одновременно со звездным часом. Идет звездный час автократии, и одновременно идет псевдоабсолютизм. Такое возможно только в русской истории.

А вот как относиться к Петру, это дело вкуса и нравственных принципов. Мне кажется, что лучше всех понял это, как ни странно, Эренбург, когда написал прекрасное стихотворение о петровском царствовании и вообще о реформах на Руси.

Тело нежное стругают стругом,
И летит отхваченная бровь,
Стружки снега, матерная ругань,
Голубиная густая кровь.
За чужую радость эти кубки.
О своей помыслить разве мог,
На плече, как на голландской трубке,
Выжигая черное клеймо?
И на Красной площади готовят
Этот теплый корабельный лес —
Дикий шкипер заболел любовью
К душной полноте ее телес.
С топором такую страсть вспыхнет,
Так прекрасен пурпур серебра,
Что выносят замертво стрельчиху,
Повстречавшую глаза Петра.
Сколько раз в годину новой рубки
Обжигала нас его тоска
И тянулась к трепетной голубке
Жадная, горячая рука.
Бьется в ярусах чужое имя.
Красный бархат ложи, и темно.
Голову любимую он кинет
На обледенелое бревно.

Лекция № 8

ИКАРЫ РОССИЙСКИХ АВИАЛИНИЙ

Петровская эпоха — самая мощная в России. Это, конечно, черный передел. Это уже не соха, не плуг. Петр вспахивал Россию, как трактор. О методах я не говорю. Методы были вполне пиночетовские и франкистские. Когда мы все были моложе и лучше, мы, конечно, осуждали петровскую методику; тогда было далеко до всяких модернизаций, и мы льстили себе надеждой, что мы-то нашу модернизацию, если до нас дойдет очередь, будем проводить самыми похвальными методами, в белых перчатках, желательно в лайковых, в офицерских лосинах, желательно в конногвардейских. Когда же выяснилось,

что модернизацию надо проводить насильно, как щедринские войны за просвещение, и этот перец с горчицей буквально запихивать всем в рот (после 1993 года у нас уже не осталось иллюзий относительно своей методики), тогда мы поняли, что Петр вынужден был проводить модернизацию на совершенно неблагоприятной почве, почве неухоженной, запущенной.

Сопrotивление реформам было настолько диким, что ни о каких белых перчатках и даже о варежках уже речи идти не могло. Любовь к просвещению достигалась буквально с топором в руке. С топором, с ножом, с кусачками и прочими неаппетитными орудиями. Недаром же Петр первым делом утвердил Преображенский приказ для борьбы с теми, кто не хотел модернизироваться. Здесь Петр, конечно, хватил лишнего и слишком много сил и внимания уделил искоренению врагов просвещения и врагов модернизации. Петр был человек простой, неученый, римских философов он не читал вообще. Он был прагматиком. И Просвещение пришло в Россию в несколько неожиданном аспекте. Примерно то, против чего сейчас протестуют клерикалы, присутствовало и тогда. Правда, никакой порнографии не было, до этого никто не додумался, и фильм Скорцезе не могли показать по НТВ за неимением такового. Ни телевизора, ни Скорцезе тогда не было. Одним вопросом меньше. Но беда-то вся в том, что была такая вещь, как просто блуд, тогда это даже сексом не называли. И если до того цари грешили как-то келейно и делали это очень тихо и в опочивальнях, то Петр делал всё напоказ. И придворные — тоже. Вино, блуд, все эти незатейливые приметы западного просвещения. Хотя надо сказать, что в Немецкой Слободе ничего подобного не было. Там никто не упивался вином. Никто открыто не блудил. Там занимались делом, наживая деньги. Раз уж случилось приехать на дикую Русь, то надо же заработать себе там процентов сто-двести.

Но эта умеренность, и хороший вкус, и трезвость, и здравый смысл почему-то не усваивались на Москве. Всё хлестало через край. Технический прогресс, западное платье, западная стрижка, западное питье, и всё пополам с блудом, пополам с откровенным развратом. И всё это было украшено царскосельскими мраморными статуями и отражалось в великолепных петербургских каналах.

К сожалению, мы здесь должны вспомнить Уоррена и его «Всю королевскую рать». Там губернатор Кларк говорит одну знаменитую фразу, которая имеет отношение к любой модернизации в России: «А теперь мы будем делать добро; мы будем делать его из зла, потому что больше его не из чего сделать». Увы, всё это было именно так, хотя, конечно, нравственнее было убить своего сына посохом, как это сделал Иоанн Грозный в сердцах, а затем месяц каяться, не выходить из опочивальни, поседеть, потерять волосы, окончательно выжить из ума, чем хладнокровно, сознательно обречь своего сына на пытки и смерть. Но Петр был большим идеалистом и ради идеала он не пожалел своего родного сына.

Та коллизия, которая возникает в этот момент на Руси, совершенно уникальна. Прогресс идет через не то горло. Россия поперхнулась прогрессом. Модернизация буквально забивается в Русь коленом. Заливается, как расплавленный свинец в горло, и возникает отторжение. И это отторжение имеет форму, как это ни странно, чистейшего нигилизма. Нигилизм на Руси появляется отнюдь не вместе с Базаровым. Базаров — это уже позднейший эпигон. Базаров — это подражатель. Первыми нигилистами на Руси были раскольники. Возникает Раскол. Абсолютно не церковное движение. Дело в том, что народ ничего не знал, был не учен, не просвещен. Протопоп Аввакум знал не намного больше. То, что они могли вычитать, было отнюдь не то, что знали Курбский и Филипп Колычев. В этот момент учиться уже считалось дурным тоном, это не было принято. И, естественно, всё это принимало чисто церковную форму, направленность чисто теологическую, потому что никакого другого приложения сил не было. Не было принято прямо свергать власть. Никто из раскольников это так не формулировал, в отличие от народовольцев, которые декларировали, что они хотят свергнуть антинародный строй, низложить тирана, сатрапа, деспота, учредить республику и общину, словом, «падет произвол, и восстанет народ». Нет, так они еще этого не формулировали, но на самом деле они об этом думали, они это чувствовали, они ощущали себя во власти абсолютного врага. Они обрадовались, когда обыкновенные, робкие попытки Никона упорядочить

церковные книги, просто их грамотно написать, чтобы там не было 600 ошибок на одну страницу, дали им возможность, наконец, сказать «нет». Но, к сожалению, то самое «нет», которое на Западе, как правило, служило в те самые времена, времена Просвещения (во времена катаров это прозвучало впервые), во времена Вольтера и Дидро, чтобы выразить некую идею будущего, либеральную идею, идею будущих рыночников — «Laissez faire, laissez passer» — и прочие приятные вещи, например, будущие Генеральные Штаты, будущее третье сословие, будущий *Convention Nationale*, Конвент, до того, как якобинцы из него сделали яичницу, на Руси означало нечто иное.

У нас это «нет» служило для того, чтобы утвердить как идеал — болото. То самое болото, в которое в тот момент превратились и общественная, и политическая жизнь, и социальное, и экономическое существование. «Нет» доносилось из болота. Это единственный в мировой истории случай. Потому что болото, как правило, всегда со всем соглашается и не выражает протеста. «Болото» — так называлась неголосующая центристская часть в этом самом французском Конвенте. «Болото» — это шарж на гражданское общество.

У нас «болото» заговорило. «Болото» издает свой манифест. «Болото» обретает свою собственную волю, и из болота появляются раскольники, люди очень смелые. Люди, которые собственную жизнь не ставят ни в грош, люди, которые не хотят жить. Которые чувствуют, что мир это — зло. Они не умеют ничего сформулировать, но они чувствуют, что человеческая личность раздавлена, и жаждут выразить свой протест. Но они не знают, чему они выражают свой протест и что, собственно, их давит. На самом деле, их давило то самое болото, из которого они пришли. Но они считали, что их давят все реформаторы подряд, которые появлялись на их пути. Например, Петр, который их за уши вытаскивал из этого болота. Именно ему было сказано «нет».

Здесь уже воскресает миф об Антихристе, раннехристианский миф. Первые христиане полагали, что Нерон и Домициан как раз и были Антихристы. Так что тому мифу минуло двадцать веков, и он был подхвачен газетой «Завтра». Эту идею об Антихристе вы можете найти

в каждой ее передовице. Что черт грызет луну над Кремлем, а Ельцин сидит и подписывает указы о сокращении населения России на миллион в год. Классика. Антихрист. Миф, который, несмотря на то, что появился в XVII—XVIII веках, а сейчас у нас XX, абсолютно не преобразовался. Были даже попытки как-то практически объяснить, почему вместо царя получился Антихрист, какая была здесь технология. Говорили, что немцы царя украли, опоили, посадили в бочку, а вместо него немец правит. Надо же было объяснить, почему вдруг русский царь Антихристом стал. Каков бы ни был механизм этого явления, настоящего царя нет. Идея посадить другого царя еще не возникла, эта идея придет в голову Пугачеву: объявить себя царем. У Разина она тоже как-то промелькнула, но он не задержался на этой идее, отвлекся; грабил слишком много, некогда было.

Вполне эта идея разовьется потом. А сейчас это чистое отрицание всего, что делает государство, всех его усилий; полностью асоциальное поведение, припадочный анархизм. Нигилизм. То, что есть у протопопа Аввакума. У него это великолепно выражено. И, кстати, Шаламов это прекрасно понял, когда писал в своем стихотворении об Аввакуме, что «наш спор — не церковный о сущности книг. Наш спор — не духовный о роли вериг. Наш спор о свободе, о праве дышать, о воле верховной вязать и решать».

То есть речь шла совсем не о том, как креститься. Человек не будет умирать за двоеперстное и троеперстное крещение. За этим стояло нечто большее. Шпенглер очень плохо понял Россию, когда посмеялся над нами в своем знаменитом «Закате Европы», изображая нас законченными идиотами: русские были варварами, они умирали за двоеперстное крещение, а вся разница была в том, что двумя перстами плохо было бесов заклинать, а тремя — было лучше, надежнее. То есть он нас низводит на уровень Фрезера, персонажей его «Золотой ветви», первичной магии. Это был абсолютно не формалистический момент. За что-то надо было уцепиться, нужен был повод, чтобы сказать «нет». И двоеперстное крещение было несколько не хуже, чем что-нибудь другое. Читайте протопопа Аввакума, там всё сказано. Во-первых, эта совершенно современная фраза: «Не были бы вы борцы,

не были бы вам венцы». Венец увенчивает только борца. Бороться — понятно с чем? С произволом. А вся мирская власть — произвол. Кстати сказать, Аввакум отнюдь не был прогрессистом. Он начал свою карьеру с того, что, когда в его деревню забрели какие-то скоморохи с медведями, он побил скоморохов и медведей, сочтя такую невинную забаву верхом мирского оболъщения и сатанинской игрой. Могу себе представить, что он сказал бы про фильм Скорцезе «Последнее искушение Христа». Мне даже думать не хочется. Я боюсь, что протопоп Аввакум стоял бы в Останкино в той компании, увенчанной Львом Рохлиным, и непременно бы требовал, чтобы НТВ закрыли, а фильм запретили. Так бы и было.

Замечательна его последняя фраза: «Не начный блажен, а скончавый». Значит, жизнь человека должна чем-то кончиться. Кончиться она должна героически, желательного подвигом и предельным протестом. Аввакум говорил, что теперь на всех площадях достаточно двоеперстно перекреститься, чтобы попасть в суд, в заточение. То же самое и у Морозовой, и у Урусовой, хотя, по идее, обе женщины были из другого класса, но они были так же неграмотны, как протопоп Аввакум. Кстати, он был совершенно недюжинным поэтом, недюжинным писателем. Это бывает. Бывает, что человек необразованный, малограмотный, не имеющий широкого кругозора, абсолютно не посвященный в тайны бытия, обладает великим художественным даром. Это несчастье, когда такое случается, и для него, и для страны, но так было, и не раз.

Начинается Раскол. Половина государства уходит в глухой отказ. «На твой жестокий мир ответ один — отказ». Цветаева это тоже сформулировала. Формула Раскола:

Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей
Отказываюсь выть...

Это то самое чувство: «На твой безумный мир ответ один — отказ». В «Хованщине» это, может быть, шаржировано, но Ростропович мне рассказывал, что он хотел сделать. Он еще усилил идею, которая была

в либретто. У него в Хованском воплощены самые омерзительные черты консервативного ретрограда. Он его писал с Руцкого. Какой-то симбиоз из дьявола, Руцкого, Хасбулатова. И вот когда все они идут в скиты и сжигаются, Ростроповичу совершенно не жалко, он бы еще огонька подложил, угольями бы обнес, чтобы веселее горели. И его можно понять. Мы все это испытали 4 октября 1993 года.

В государстве возникает глухая конфронтация. Как вы понимаете, это разделились традиции. Это не случайно. Начинается шизофрения, расщепление сознания. Что такое государственная шизофрения? Когда в государстве живут противоречивые традиции (внутри человека, внутри общества, внутри государства), и они восстают одна на другую. На Запад, к модернизации вела скандинавская традиция, очень мощно задействованная в Петре. А византийская традиция, традиции ордынская и отчасти славянская вела назад. А поскольку традиция Дикого поля была и у тех, и у этих, противостояние принимало абсолютно варварские формы. Неистовство. Гнев. Противостояние было на уровне такого неистовства, что одни жгли и пытали, а другие убивали и сжигались в скитах. И никакого мира не могло между ними быть, потому что компромисс при наличии традиции Дикого поля в принципе невозможен. Компромисс возможен на европейских полях. Но на наших полянках, где есть традиция Дикого поля, невозможен никакой компромисс. Эта традиция не дает его найти. А те традиции, которые борются, все сплошь — взаимоисключающие. Это хуже, чем рак, лебедь и щука. Хорошо еще, что Алексей Константинович Толстой сохраняет некое чувство юмора. Этот период он описывает так:

Сев Алексей на царство, тогда роди Петра.
Пришла для государства тут новая пора.
Царь Петр любил порядок почти как царь Иван.
И так же был не сладок, порой бывал и пьян.
Он молвил: «Мне вас жалко, вы сгинете вконец,
Но у меня есть палка, и я вам всем отец!..
Не далее как к святкам я вам порядок дам!»
И тотчас за порядком уехал в Амстердам.
Вернувшись оттуда, он гладко нас обрил

И к святкам, так что чудо, в голландцев нарядил.
Но это, впрочем, в шутку, Петра я не виню:
Больному дать желудку полезно ревеню.
Хотя силен уж очень был, может быть, прием,
А всё ж довольно прочен порядок стал при нем.
Но сон объял могильный Петра во цвете лет.
Глядишь, земля обильна, порядка ж снова нет.

Когда я была моложе и лучше, где-то в году 1974-м, все диссиденты, конечно, страшно ненавидели Петра. Он нам казался чем-то средним между Лениным, Сталиным и Дзержинским. Потом еще Андропов добавился в этот коктейль. А сегодня, если у нас спросить, согласны ли мы отказаться от его наследия, уже зная цену, зная, как всё это было куплено, зная про Преображенский приказ, зная про судьбу царевича Алексея, зная про то, что Петр был никак не гуманней, чем Малюта Скуратов, не гуманней, чем Иван Грозный, просто его неистовство было направлено на другое, готовы ли мы отречься от реформ? Он не пихал нас назад, он не топил Русь, он вытаскивал страну, за волосы вытаскивал. Согласны ли мы отказаться от всего этого, зная цену? Согласны ли мы, чтобы не было Петербурга? Согласны ли мы, чтобы не было гвардейских полков? Согласны ли мы, чтобы не было этого снятого железного занавеса?

Петр его просто сдернул, он силой заставлял ездить на Запад, просто грубой государственной силой. По этапу гнал не на Восток — на Запад. Самое интересное, что впервые в истории России, которая тогда уже называлась Россией, появились этапы на Запад. Дворянских сынков под страхом лишения поместий гнали на Запад учиться. Силой гнали учиться. Гнали из-под палки, а родители над ними плакали. Тогда считали, что в Европе погано. Обратите внимание на эту жуткую фразу уже не у Алексея Константиновича, а у Алексея Николаевича Толстого: «Матушка, куда тебе в Париж? Чай, там погано?» Эти несчастные люди, которые уже в XVIII веке были законченные совки, тем не менее полагали (не видя Запада, не зная его, ничему не учась, сидя в теремах, при Домострое, при лучине, остав уже на полтора столетия), что там, на Западе, погано. Это и есть железный занавес. Его Петр сдергивает полностью, рывком.

Не то что просто ветер подул, но начинается шторм, начинается ураган. Всё крутится. Торнадо. Кого-то уносит, кого-то рвет пополам, кто-то приземляется через тысячу километров от своего жилья. Кто-то остается без ног, кто-то — без головы. Лес рубят, щепки летят. Опять начинают рубить эти леса, строить заводы, корабли, завоевывать невпапад моря. Потом, конечно, все эти завоевания выйдут боком. Потому что петровский флот сгниет через несколько десятилетий, ведь строят его примерно так же, как хрущобы. Он еще меньше, чем хрущобы, проживет. Но импульс! Дан сильнейший импульс. «Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на Запад». Что-то такое Высоцкий почувствовал. «Но мы помним, как солнце отправилось вспять и едва не зашло на Востоке».

Бедный Юрий Крижанич! Если бы он видел, в какой форме его концепция будет осуществляться! Если бы он знал, как Россия пойдет к союзу с германами, я думаю, он бы повесился. Потому что его нежная реформаторская душа просто не пережила бы этого. Не все же могут так, как Егор Тимурович Гайдар. Не все могут вполне хладнокровно искать тысячу автоматов для защиты модернизации — и не побояться этого. Мы, мол, демократам дадим по автомату и будем защищать реформы собственными руками. Петровская школа. А у Крижанича петровской школы не было. Петр дает сильнейшую прививку. Я лично, зная, чего это всё стоило, и абсолютно не принимая методы Петра, тем не менее не готова отказаться от того, что он дал России.

Потому что он очень много дал, и дал навечно. Он, конечно, посадил не тем концом, и это не с того конца выросло. Тем концом посадить было нельзя. Почва не та, народ не тот. Не воспринимали. Никто не воспринимал, ни сверху ни снизу. Бояре плакали, за бороды держались. В платье немецком ходить не хотели. Немецкий язык не хотели изучать. Конечно, получалась пародия, просто карикатура. Как у нас сейчас Государственная Дума — типичная карикатура на парламент. Стыдно смотреть, но без этого еще стыднее. Особенно на нас тогда никто не смотрел, журналисты в XVIII веке по России не бегали. Не было их. Иноземцам платили хорошее жалованье за службу. Они были этим вполне довольны.

Было не так стыдно, как сейчас. Иноземцы у себя жили, мы у себя. Как-то можно было схорониться в уголочке и модернизироваться, не краснея.

И вот родился царевич Алексей. Рвение, пассионарность, равные петровским, но направленные совершенно на другое. Возникает диссидентство. Возникает реакционное диссидентство, так называемый отрицательный героизм. Возникает народничество. Алексей был первым народником.

Что такое народничество, если разложить его на составные части? Народничество — это сильнейший импульс против власти, сильнейший импульс против Запада и сильнейший порыв на помощь к народу. Попытка восхититься народом. Попытка законсервировать плачевное состояние народа. Попытка восхититься стариной. Попытка проникнуться этой стариной. Укрепиться на этой старине. По сути дела, те народники XIX века, которые пойдут в народ, будут иметь, несмотря на образование, полученное в Цюрихе и Париже, тот же идейный багаж, который был у царевича Алексея. Программа у них будет та же. Она просто будет выражена немножко другими словами. Она будет более современной, социалистической. Будет больше сказано про социальную справедливость, про черный передел. Но этот антизападный импульс будет присутствовать, будут и антивластный импульс, и сильнейший пронародный импульс. Это бездумное и безумное восхищение тем, что есть, и тем, что было. Хотя они этого и не видели, разве что в мечтах.

Народничество — это стихия бессознательного. Это чистый фрейдизм, когда протест против Князя мира сего преобразуется в героические, но неосмысленные действия, которые ведут к своей абсолютной противоположности.

Итак, первый народник должен был пасть от руки реформатора, одного из главных реформаторов на Руси. Но трагедия была в том, что этот реформатор оказался его отцом. Здесь оправдываются вполне слова Евангелия, что и сын встанет на отца, и брат на брата, и что враги человеку домашние его. Любая модернизация — это когда не мир приносится на Землю, но меч. Христос знал всё это, и он на это шел. Он понимал, что новая истина, та, которую он несет, достаточно нетривиальна.

Теологическая концепция еще будет иметь продолжение, и этот роман человечеству еще принесет сюрпризы. Но на эти издержки надо идти. На инквизицию, на клерикализм. Без этого будет еще хуже. Собственно, после гибели царевича Алексея Петр запрограммировал новое Смутное время.

И вот у нас, по Янову, возникает непонятно что. Мы уже идем по его астральному кругу. Что такое петровская эпоха? Это псевдоабсолютизм или звездный час автократии? И здесь возникает совершенно потрясающая ситуация. Это одновременно и звездный час автократии, и псевдоабсолютизм. Такое бывает только у нас. Здесь возможен был выход в нормальный абсолютизм, если бы снизу понимали, что с ними делают. Но они абсолютно не понимали. А те, кто понимал, не попали в петровскую команду.

Трагедия Василия Голицына, реформатора Василия Голицына, просветителя школы Крижанича, была в том, что он связался с Софьей. А поскольку он связался с Софьей, он не попал в команду Петра. А попал в ссылку — слишком рано. Петр еще был очень молод. Если бы Василий Голицын остался подле него, это, конечно, было бы прекрасно. Это был не Меншиков, не мальчик на побегушках. Он был интеллектуалом, и Тацита читал, и латынь знал прекрасно, знал греческие и римские книги, прекрасно знал и европейские обычаи, причем не на уровне матросского кубрика, а на уровне адмиральных кают. Это был интеллектуал очень высокого класса. И, конечно, он мог бы Петру помочь. Он мог бы облагородить эту модернизацию. Он мог бы сделать ее более мягкой, более гуманной. В принципе, это было теоретически возможно. Люди были еще податливы, как воск. Они чуть что, хлопались в ноги и ели глазами любое начальство, а царя тем более. Если бы их немножко приласкать, то не исключено, что они и картошку бы съели с большим удовольствием. А так возникло ощущение, что картофель — это дьявольская похоть. Трудно себе это представить, но картошка вызвала целое революционное движение. Мы эту картошку есть не будем, и табак курить не будем, и кофе пить не будем, и бороды брить не будем, и в немецкое платье одеваться не будем.

Когда я вижу несчастного Аслана Масхадова в папахе, с которой он не расстается даже ночью, я все время вспоминаю Петра, который лично брил бояр и переедал их в немецкое платье.

Везде и повсюду одна и та же схема. Борьба с фундаментализмом совершается в одних и тех же формах на всех широтах, на всех континентах.

Словом, Петр все-таки что-то построил и поставил. По крайней мере, Петербург будет очень долго стоять и навсегда останется оазисом Запада, плацдармом, захваченным у врага. Это была зона влияния западников. Таким и останется Петербург. Правда, потом над ним сильно поработают большевики, когда он станет Ленинградом.

Но все-таки это была прививка. В организме началась жуткая реакция. Температура, полиомиелит, черт знает что. Но прежней Русь уже стать не могла, потому что Просвещения она вкусила. На Руси уже никто не будет сидеть в тереме. Будут плясать на ассамблеях, будут надевать парики, будут душиться, будут румяниться, будут привозить с Запада разные шикарные штучки. Потом будут продавать эти штучки на Кузнецком Мосту. Будут пить иноземные вина, будут ездить на воды. Будут тратить свои деньги в Ницце. Русских на французских, швейцарских и прочих курортах будет даже больше, чем местных жителей. Так или иначе, но мы снова войдем в Европу, правда, уже как гости. Но гости дорогие, с хорошими деньгами, которых ждут, которые довольно часто появляются и прекрасно говорят на иноземных наречиях. То есть использовать «западный изыск» Петр нас приучит.

Такой страшной ценой. Царевич Алексей пошел в уплату, и не только он один. Раскольники пошли в уплату. Все, кого повесили под Петербургом за то, что хотели сбежать, тоже пойдут в уплату. Все кости, которые там закопаны, пойдут в уплату. Поэтому возникает вопрос о цене. По сути дела, цена этого нового мира уплачивалась такой монетой и в такой форме, что поистине начинаешь думать, что модернизация имеет в себе черты, схожие и с фашизацией, но это как бы разные направления. Там — у фашистов — цена платится за то, чтобы

вернуться назад и никогда больше не идти вперед. Здесь же цена платится за то, чтобы уйти вперед. Перед вами коридор, и там у вас — две кассы. Одна касса — впереди, вторая касса — сзади. И вы не пройдете ни вперед ни назад, не заплатив за билет. И есть выбор: или вы будете платить там, или вы будете платить здесь. Но какую-то цену платить нужно.

Та цена, которая была уплачена при Петре за то, что сорвали железный занавес, была настолько высока, что я могла бы ее сравнить с некоторыми гитлеровскими эксцессами. Конечно, у Петра не было никаких эсэсовцев. У него были преображенцы. Преображенцы были ребята очень шустрые, очень активные. И дальше так и будет, правда, дальше это смягчится. Картошку есть научатся, табак курить станут, сегодня без сигареты никого не найдешь. Пить научатся тоже. В Европу тоже научатся ездить, пока не упадет новый железный занавес. Книжки по фортификации будут читать, корабли будут плавать. Помните, как у Ахматовой: «Создан Рим, плывут стада флотилий, и победу славословит лесь». Есть цена, и есть как бы бессмертная душа. Я думаю, что Петр загубил свою бессмертную душу. Я думаю, что он об этом не пожалел. Как говорил Христос, что тот, кто хочет душу свою спасти, тот ее погубит, а кто полагает свою душу за меня, тот ее спасет. Цена за модернизацию — это была еще ко всему прочему и бессмертная душа Петра. Нужно было погубить свою душу, и он ее погубил. Это, если хотите, высшая стадия героизма. Можно себе представить, как там, на небесах, ему пришлось за это отвечать. Там не знают слова «модернизация», там отвечают за грех. А грехов у него было очень много, по колено, по грудь, по горло. Непростительных, абсолютно бесчеловечных поступков.

Русь стала Россией, и худо-бедно она прошла эту модернизацию, хотя и через пень-колоду. И вдруг Петр умирает; некому погубить его дело, но некому и продолжить. Здесь начинается чистый анекдот. По очереди на престол садятся Екатерина Первая, которая, конечно, править не может, потом внук, Петр Второй, который тоже править не может и правит совсем недолго. Далее кончаются все ресурсы и возникает классический вопрос, тот самый: «Господи, кто будет нами править?»

И здесь идет следующая модернизация. Вы чувствуете, как сжимаются сроки между очередными модернизациями? Модернизация в буквальном смысле слова находит на модернизацию. Модернизация модернизации наступает на пятки. Времени мало, мы очень отстали. Необходимость модернизации подгоняет все время, она за спиной. Мы чувствуем ее дыхание, и власть это чувствует тоже. Любая чуткая власть видит Европу и видит, что лежит по эту сторону плетня.

На что похожа Россия? 1730 год. Либеральное аристократическое сословие, интеллектуалы (я бы сказала, даже интеллигенты, если бы они были разночинцами, но они разночинцами не были) ищут монарха подальше. Находят Анну Иоанновну, дочь старшего брата Петра Иоанна, который не царствовал, который умер очень рано. Анна Иоанновна ничем знаменита не была. Жила в Германии, выданная замуж. Нужен хоть какой-то монарх. Находят Анну Иоанновну. Но не в ней интерес, а интерес в том, что у Дмитрия Голицына и у тех, кто был с ним рядом, возникает идея конституционного правления. Достаточно рано возникает эта идея, так называемый «заговор верховников». Идея конституционного правления считается заговором. Но здесь мы, слава богу, хоть с Европой сравнялись, потому что в Европе в 1730 году идея конституционного правления (по крайней мере, во Франции) тоже считалась заговором. Здесь у нас всё как у людей.

Идея верховников была в том, что Анна Иоанновна подписывает некие кондиции. И не просто условия не налагать опалы, без суда и без вины не карать и не казнить. Нет, идея была в том, что она будет действительно конституционным монархом, что править будет Сенат. Тот самый Сенат, который был создан Петром. Петр создал Сенат. Боже мой, на что был похож его Сенат! Сенаторы были примерно такие же, как у нас члены Совета Федерации, несколько не лучше, только одеты были несколько изящнее, но по части независимости и эмансипации сознания у них был примерно такой же уровень. Петра они к тому же боялись до смерти и противоречить ему не могли. Так что на суде царевич Алексей справедливо обозвал их холопами и сказал,

что они в рот его отцу заглядывают. Правительствующий Сенат. Правительствующий Сенат — он и должен был править. У нас, по сути дела, намечался переход к римской форме правления. Единственное, чего не хватало, это народных трибунов. Это-то всегда будет, это всегда найдется, и даже слишком скоро найдется, об этом говорить не стоит. Не хватало еще выборов по фратриям. И чтобы было Народное Собрание, вроде апеллы и экклесии, как в Афинах и Лакедемоне. А так вполне римская форма правления. Анна Иоанновна становилась даже не чем-то вроде старинных римских царей, а скорее консулом. Всё было записано, всё было запротоколировано. Верховники хорошо порылись в римском праве. Они посмотрели, какие это дает возможности, какие права имели преторы и консулы, кто что делал. Они рассмотрели и английские варианты. Как это всё свершалось в Англии? Были большие заимствования и английские, и римские.

Это было лучшее, что могла дать тогдашняя политическая жизнь. Эти верховники были очень грамотными людьми. И всё у них было подготовлено. Анна Иоанновна прозябала в Миттаве, в голодном крае. Для дочери русского царя там было скучно и голодно. Явиться в богатую Россию, к блестящему двору, где неистошимые ресурсы... Россия в то время была очень богата. Какое-нибудь захудалое немецкое герцогство смотрело на нее завистливыми глазами. Конечно, Анне безумно хотелось стать государыней. Она готова была всё что угодно подписать. Ей, кроме денег, двора и почестей ничего не нужно было, никакой реальной власти она не ждала.

Но в дело вмешиваются два фактора. Первый фактор — это гвардейские полки, из дворян набранные. Второй фактор — это народ православный. Гвардейские полки не сами пошли на приступ концепции верховников. Они уже в тот момент были достаточно грамотны для того, чтобы поискать поддержки в простом народе. И они знали, как надо разговаривать с этим простым народом. В этом смысле они были законченными анпиловцами. Они кидали в народ те лозунги, которые народ мог воспринять. А лозунг был такой: «Смотрите, что делается, эти супостаты, эти живоглоты бояре (только что не сказали: «новые русские») заели ваш век, они там с жиру

бесятся, они хотят матушку-государыню власти лишить, и тогда они вас всех порешат, и никто не заступится».

В народе уже бытовала дикая идея, что защита их в царе православном. В президенте, в царе, в ком угодно, но главное, чтобы он был один. Один Бог на небе, один монарх на земле. Один кесарь, один народ, одна концепция.

Откуда взялся фашизм? Фашизм Гитлер только сформулировал. Фашизмом проникнуто рядовое примитивное сознание. Он его ложкой зачерпнул из того самого народа, который ходил по Германии (вплоть до антисемитизма, которого там тоже было достаточно).

Народ стал дико возмущаться, поскольку ему уже была внушена мысль, что эти бояре, богатые, знатные, интеллигентные, образованные, которым, действительно, было очень далеко до народа, потому что пропасть между ними была непроходимая, его заедят. Гвардейцы же были парни попроще, прямо из казармы, свои в доску для народа.

Та же идея, что ходила и при Иоанне Грозном: батюшка-царь нас защитит от бояр. Хотя батюшка-царь был хуже любого хорька. Пусть нас защищает царь, никаких бояр нам не нужно. И фашизм, как глубоко народное явление, как раз и борется за то, чтобы было такое аккуратно подстриженное поле, зеленый газончик, где все равны в бесправии, а над ними — один царь с садовыми ножницами, который будет им головки отрезать в нужное время, но зато он будет это делать один. Совершенно потрясающая по глупости концепция, но тем не менее фашизм может быть вечен. До сих пор не нашли способ его искоренить.

И эта социальная концепция овладевает умами народа. Очень жаль, потому что в то время к верховникам примкнула верхушка конногвардейского полка, как бы элитные офицеры. Не такие, как Лебедь и Родионов, а настоящие элитные офицеры. Эти офицеры до Польши доехали, польскую конституцию изучали. Она им показалась очень привлекательной, и все эти вещи они хотели внедрить в России. Уже посмотрели и на норвежские порядки, и на шведскую систему. То есть скандинавская традиция потихоньку вылезала из ила, поднимала голову, протирала глаза, умывалась. Еще немножко — и удалось бы это восстановить.

Если бы верховникам удалось то, что они хотели сделать, возможно, горбачевская перестройка и не понадобилась бы. Может быть, и без екатерининской бы обошлось... Но ничего не вышло. Единство народа с гвардейскими полками привело к тому, что они все завопили: государыню насильно заставили дать эту подпись! Государыня тут же смекнула, что надо делать, тут же от всего отказалась. В результате Дмитрий Голицын попадает в Петропавловскую крепость, и на этом кончается очередная попытка модернизации.

Анна Иоанновна начинает править совершенно самодержавно. Она правит самодержавно и совершенно по-идиотски, потому что никакой концепции власти у нее нет, а есть чувство, что надо делать то, что хочется.

Начинаются дикие репрессии. Можно сказать, следующий звездный час автократии приходит очень быстро. Но тут Анна, слава богу, умирает.

Опять царя нет! Проста напасть какая-то. Но у нее остается племянница Анна Леопольдовна, а у этой Анны Леопольдовны знаменитый младенец, будущий Иван Антонович. Этой супружеской чете (там еще герцог Брауншвейгский есть, муж Анны Леопольдовны) она оставляет государство.

Начинается цепочка военных переворотов. Нулевое ГКЧП. Елизавета приходит вовремя и захватывает власть. Елизавета абсолютно не годится на роль реформатора. Об этом и Алексей Константинович Толстой пишет: «Веселая царица была Елисавет: поет и веселится, порядка только нет», но она, по крайней мере, бережно хранила память об отце, а все его начинания холила и лелеяла. Дело прогресса медленным черепашьям шагом шло в нужную сторону. Уже и канцлер появился. Звучат приятные названия: министр иностранных дел, канцлер. Постепенно мы цивилизуемся. Правда, Елизавета делами не занимается. Но смертную казнь она отменила. Царица была добрым человеком. пытку она забыла отменить, руки не дошли, танцевала очень много.

Воюем мы, кстати, непонятно зачем. Влезает во все европейские войны. Пользы от этого нет никакой, зато расходы очень большие.

Но осталась память о Великой хартии верховников. То, что они пытались дать России, — это была бы Великая хартия вольностей.

Вникните в нашу ситуацию. Следующие концептуальные деяния будут при Екатерине. Елизавета ничего концептуального не сделала. Она просто продолжала. 1730 год. Попытка дать вольность дворянству. Попытки ввести польскую конституцию. Попытки ввести те политические порядки, которые были на Сейме, в наш Сенат. Попытка выборности монарха. Великая хартия вольностей. Когда она в Англии была дана? 1215 год. Вот и вычтите из 1730-го 1215-й, и вы получите необходимость и перестройки, и ускорения. У меня вышла цифра в 515 лет. Это очень большой разрыв. Половина тысячелетия. И Великая хартия так и не была получена, потому что ее вроде бы и хотели дать, да не получилось. Поскольку верховники потеряли и власть, и свободу, а многие — даже жизнь.

Дальше идет Екатерина. А Екатерина — это уже не модернизация, это нечто другое. Нет, конечно, это — модернизация, но в первый раз мы можем назвать эту модернизацию перестройкой. Первая перестройка в истории России — это екатерининская перестройка. Это уже ближе к концу XVIII века. Почему перестройка? Чем отличается перестройка от модернизации? Тем, что перестройка более лицемерна. Она лицемернее модернизации. Если модернизация направлена на себя и на свои проблемы, то перестройка во многом — это обман общественного мнения, это эпатаж. Она адресована кому-то еще, в частности Западу. Нужно повесить кому-то лапшу на уши. Во многом перестройки — это тарелки лапши, которые вешаются на уши, при том, что делаются всё же и полезные вещи.

Перестройка имеет определенные пределы. Модернизация же никакой активности народа не предполагает и не требует. Петр употреблял для службы тех, кто был хорошо подготовлен, кто знал языки, в князя жаловал из простых лапотных мужиков. Он перемешал всю социальную иерархию. Он делал своими сотрудниками простолюдинов. За ум жаловал в князя. Всё правильно. Но он

же их не приглашал к совету. Они не были сподвижниками и соратниками. Они были исполнителями.

Такая вот исполнительная вертикаль. Это было похоже на то, что мы с вами видим иногда на голубом экране, когда сидит несчастный нахохлившийся Чубайс, положив папку на стол, и вид у него такой, что он сейчас пойдет и утопится. А рядом сидит веселый и счастливый Борис Николаевич и говорит, что он реформаторов никогда не отдаст, и спрашивает, как жизнь. Тот и ответить ничего не может, потому что ответишь что-нибудь — еще хуже будет. Сидит он и слова молвить не смеет, хотя есть и интеллект, и знания, и подготовка, но вот не требуется модернизаторам равных, не требуется умников, которые слишком высоко вознесутся. Требуются исполнители. Это классический вариант перестройки: тогда не нужны равные сподвижники. Не нужен народ как таковой, не нужно гражданское общество, хотя очень много говорится о том, что оно нужно. И когда оно появляется, ему чаще всего дают дубинкой по голове, как это было при Горбачеве. Что такое перестройка? Это когда какой-нибудь Оливер Твист подходит, протягивает свою миску и говорит: «А я хочу еще свободы». Возникает скандал и дикий крик. Он получил положенную ему порцию свободы и хочет еще? Половником его по голове, запереть в чулане, высечь, и обязательно сказать ему, что он кончит свою жизнь на каторге. Так было с Вильнюсом в 1991 году, так было с Тбилиси в 1989-м, так было с Баку в 1990-м. Классические горбачевские удары половником по голове. Причем реформатор может быть вполне искренне возмущен. Он искренне этих оливеров твистов не понимает. Он дал одну миску каши, они требуют еще одну. А свободы-то ограниченное количество. Дать всю свободу сразу? Перестройщики абсолютно этого не понимают. Реформаторы и модернизаторы хотят, чтобы сохранились некие пределы.

У Екатерины так всё и получилось. Поэтому ее наш Алексей Константинович Толстой весьма негативно аттестует. Заметьте, что Алексей Константинович — законченный западник. Он фрондер, он вольнодумец. Когда Александр Второй у него спросил о состоянии русской литературы, он не побоялся ответить, что она в трауре

по случаю осуждения Чернышевского, хотя он ненавидел Чернышевского. Не выносил его. Считал его развратителем, экстремистом и Бог знает кем еще.

Алексей Константинович Толстой тем не менее Петра оправдывает, а про Екатерину он пишет следующее:

Какая ж тут причина и где же корень зла,
Сама Екатерина постигнуть не могла.
«Madame, при вас на диво порядок расцветет, —
Писали ей учтиво Вольтер и Дидерот. —
Лишь надобно народу, которому вы мать,
Скорее дать свободу, скорей свободу дать».
«Messieurs, — им возразила она, — vous me comblez», —
И тотчас прикрепила украинцев к земле.

Екатерина собирает, по сути дела, первую Учредилку, наших нотаблей. Делегаты от эскимосов, от всех народов севера, от эвенков, от калмыков приезжают в столицу. Всем кладется на стол Монтескье, «Наказ» императрицы, и делегаты начинают это жизнерадостно читать. Но знаете, что бывает, когда делают оргвыводы из таких наказов? Тогда случается то, что случилось с Оливером Твистом. Конечно, те, кого создали, были вне себя от восторга. Они были в полном упоении, они большего не просили. Они хлопались на колени и были счастливы, что Екатерина их облагодетельствовала.

Кстати, такое отношение было у шестидесятников к Горбачеву. Надо было видеть несчастного Андрея Дмитриевича Сахарова, который аплодирует генсеку, а над Кремлем еще красные звезды торчат, еще правит компартия, еще не все политзаключенные освобождены. Он же аплодирует Горбачеву! Такой пароксизм восторга: давайте защищать Горбачева от Лигачева.

Это очень давняя наша традиция: благодарить на коленях за дарованную свободу, целовать за нее руку, а большего никогда не просить. А если попросишь больше? Что тогда?

Я не хочу, чтобы вы подумали, что я строго сужу Екатерину. Она отменила пытку, то есть ограничила ее применение. Правда, она же окончательно прикрепила крестьян к земле. И она забыла отменить смертную казнь.

В отличие от Елизаветы, она ее, скорее, восстановила. Но с Вольтером тем не менее переписывалась. Академии основывала. Иван Минович, поручик, пытался освободить Ивана Антоновича из крепости. Иван Антонович сидел там с елизаветинских времен. Когда Елизавета захватила престол, положенный ей как дочери Петра, она Анну Леопольдовну выслала. А Ивана Антоновича, младенца, которому был оставлен престол, заключила в крепость. Ни за что ни про что. Железная маска номер два. Минович решил освободить этого императора-младенца, который был давно уже не младенец, а вполне дебил. Его так воспитывали, что он стал дебиллом. Возможно, он считал, что совершает рыцарское деяние. Неважно, какие были мотивы. Важно, что он был бескорыстен. Екатерина узнает об этой попытке, которая кончилась ничем, абсолютно ничем. Несчастливого Ивана Антоновича застрелили, потому что был отдан приказ: если его будут пытаться освободить, застрелить. Конечно, из него никакого императора бы не получилось, никто бы его не признал. Те же гвардейские полки не признали бы. Екатерина еще царствовала. Это был некий ГКЧП. Гвардейские полки уже научились возводить на трон государей. По крайней мере, дееспособных государей.

Екатерина хорошо смотрелась. Она была образована. Она знала европейские дворы, европейские нравы. Это было хорошее зрелище. У нее были прекрасные манеры. Она умела очаровать, очень много работала, очень много читала. Хороший администратор. Вполне приличный монарх для обездоленной и несчастной страны. Не допустили бы никакого Ивана Антоновича на трон бдительные гвардейские полки. Он близко к нему не подошел бы. И народ бы его не принял. Беспokoиться было не о чем. Зачем было Миновича казнить?

Зачем надо было стрельцов казнить, я могу понять. Гражданская война, решалась судьба государства. Петр мог думать, что если он их не развесит по кремлевским стенам, то они сами повесят его. Не исключено, что так бы и было. А зачем было Миновича казнить? Это была абсолютно бесполезная казнь. Тем не менее его казнили.

Дальше — больше. Та самая Екатерина, которая в 1767 году скажет замечательную вещь (которую не

плохо было бы заучить навсегда разным нашим правоохранительным органам типа ФСБ, КГБ и всего, что к ним приписано), что слово не есть политическое преступление, будет карать за слово. 1767 год. Формула политической свободы впервые дана властью. Не представителями интеллектуальной элиты, а властью. Ведь Екатерина сама знала, что слово не есть политическое преступление, что за слово судить нельзя. Что же тогда произошло с Новиковым и Радищевым? Почему же они тогда с властью не сошлись? Какая была необходимость сажать Новикова, всего-то-навсего за масонство? Зачем понадобилось сажать Радищева за книжку? Тот, кто читал эту книжку, знает, что в ней крамолы меньше, чем принято считать. Там крамолы меньше, чем в его стихах. На самом деле Радищев был законченным нонконформистом и республиканцем. Конечно, он не принимал монархическую форму правления, но он не предлагал ее свергать. Он был слишком большим противником плебса и толпы, для того чтобы предложить такую методику. Он хотел конституционной монархии и дальше конституционной монархии и аристократической республики он не заглядывал. Считается, что это была вторичная попытка донести концепцию верховников до слуха власти. Это была еще одна Великая хартия вольностей. Радищев формулирует гораздо более интересную вещь, чем все эти знаменитые «обло, озорно, стозевно, огромно», которые к тому же еще и лаяй.

Эту книжку нужно уметь читать. Там много лишнего. Там есть необходимые вещи, но есть и лишние. Однако есть у автора короткое стихотворение, в котором заключена будущая российская конституция, даже современная конституция, если вообще не сама американская конституция. Всё это заключено в одном стихотворении Радищева. Он гениально это предвосхитил. Не исключено, что Екатерина это стихотворение тоже читала, а книжка пошла под общим соусом. Так же было с нами, с диссидентами. Практически нам никогда не инкриминировались ни фонды милосердия, ни правозащитные письма, ни пресс-конференции с западными коррами, а всегда находился какой-то самиздат. Самиздат был предлогом, за один самиздат не сажали.

И здесь не исключено, что этот самиздат, первый печатный самиздат на Руси, типографским способом изготовленный, «Путешествие из Петербурга в Москву», пошел для ровного счета, а главное было другое. Вот это:

Стопы несу, где мне приятно; тому внемлю, что мне понятно;
Вещаю то, что мыслю я. Любить могу и быть любимым;
Творя добро, могу быть чтимым; закон мой — воля есть моя.

Вы чувствуете, что заключено в этом стихотворении? В нем заключена современная либеральная концепция, идея прав человека, гражданские права личности. Это было для монарха перестройки абсолютно нестерпимо. Радищев попросил добавку, попросил лишнюю миску каши. Да к тому же еще сформулировал в несчастном «Путешествии», что если не будет тебе никакого «крова от угнетения», «тогда вспомни имя свое, отчайся и умри». Опять этот нигилизм, но на этот раз вполне западнический: «На твой безумный мир ответ один — отказ». То есть появляются западники, западники-раскольники. Начинается Раскол с другой, либеральной, стороны. У нас были раскольники с Востока, фундаменталисты, традиционалисты. И при Екатерине таких было много, которые считали, что всё летит в тартарары из-за западных новшеств. В скитах, правда, больше не сжигаются. Появляются новые варианты: молокане, хлысты. И тут возникает западный Раскол. Радищев не был никаким предшественником народовольцев. Эта иерархия, эта цепочка пробуждений выстроена совершенно неправильно: Радищев разбудил декабристов, декабристы разбудили Герцена. «В России никого нельзя будить».

На самом деле, если кого-то и выводить из Радищева, то можно считать, что Радищев был родоначальником кадетов. Он был первый кадет на Руси. Партия конституционалистов-либералов идет от Радищева. Радищев был типичным порождением вольтеровской идеологии, потому что к тому времени на Русь проникает большое количество французов, а скоро их будет еще больше, ведь платили им щедро. Появляются гимназии, учителя, гувернеры, университеты, начинается интенсивное общение с Западом. То, что впоследствии будет проповедовать Вольтер, — это идеология нонконформизма, идеология

скептицизма, идеология вольнодумства. Кстати, вполне умеренного. Интеллектуалы чуждаются крайностей. Крайности вульгарны. Вольтер не предлагал рубить головы королям. Это идея Руссо, а не Вольтера.

Французская революция и большевики — всё это пошло от Руссо, а никак не от энциклопедистов и не от Вольтера. Вольтер предлагал «раздавить гадину». А под гаденой он подразумевал деспотизм и клерикализм. Он имел в виду чистую символику. Вольтер сформулировал для Франции идею свободы совести и свободы передвижения, свободы собраний, слова и всего сопутствующего.

То же самое сделал для России Радищев, не считая, что он поучаствовал в этом знаменитом екатерининском Учредительном Собрании. Не успел он только поучаствовать во втором Собрании, том самом, которое созовет Александр Первый. Всё это кончится трагично.

Чем хороши реформаторы-перестройщики? Они не свирепы. Если они и приговаривают к четвертованию, то потом заменяют этот приговор десятью годами ссылки и еще шубу на дорогу посылают. Они — умеренные. Они соблюдают какие-то приличия. Скажем, как только возник скандал вокруг Вильнюса в 1991 году, а литовцы пошли ложиться под танки, танки сразу остановили, увели, и задавили «всего» 13 человек. В Баку не успели танки увести, там слишком интенсивно под них ложились. Как правило, реформатор перестройки всегда сдает назад. Он поддается коррекции. Это корректируемый вариант деспотизма. Как только возникает сильный протест и сильное гражданское общество, оно может оттеснить деспотизм и вырвать из рук то, что не дают добровольно. Так что когда Радищев попал в ссылку, он ее пережил. А вот разочарования он не вынес, когда увидел еще одну перестройку, на этот раз александровскую, и понял, что Александр Первый тоже ничего не сделает, кроме перестройки, что не будет никакой конституционной монархии (хотя Александр Первый по духу своему был типичный конституционный монарх, он даже не пытался править самодержавно). Он был чем-то сродни римскому Марку Аврелию, императору-философу. Если бы он не наслушался этих глупостей об абсолютизме, об авторитарной концепции, о самодержавии, православии и народности, он бы, конечно, дал конституционную форму правления.

У него был вкус к таким вещам. Больше даже, чем у Александра Второго. Он не был практиком, он мог просто дать, а там посмотреть, что получится.

Но не случилось, он ничего не дал. Тогда Радищев покончил с собой. Это было сделано сознательно, это был вызов.

Это страшно подействовало на Александра: как, его милостями в такой степени пренебрегают? Его перестройку не ценят ни во что? Но рабский народ в этот момент уже помочь не мог. Элита заботилась в основном сама о себе, а потом пошла на Сенатскую площадь. Хотя был очень благоприятный момент. Можно было и конституцию получить от Александра Первого. Не было однозначного давления. Увы, не было достаточно громкого крика: «Даешь конституцию! Дай конституцию!» С утра до вечера надо было это скандировать под царским окошком.

С Радищева у нас начинается противостояние власти и интеллигенции, уже собственно самой интеллигенции, а не дворянства. Противостояние доживет до 1991 года. Можно считать, что Радищев был первым настоящим интеллигентом, первым фрондером, и с ним это противостояние вошло в нашу плоть и кровь.

Кончается екатерининская эпоха, и сразу, быстро, буквально на одном дыхании, идет перестройка Александра Первого. Между екатерининской эпохой и Александром Первым есть еще Павел. А Павел — это просто классический звездный час автократии. Притом непонятно почему. Даже не потому, что Павел был деспот, а просто потому, что он был шалый. У Павла бывали минуты антигосударственного поведения, которое себе не позволяли ни Александр Первый, ни Александр Второй. Кто еще мог Костюшко освободить? Только Павел Первый. Павел Первый был даже не деспотом, Павел Первый был неврастеником. Но поскольку власть в России была самодержавная, а правительствующий Сенат молчал, то возникает трагическая ситуация. Как сменить негодную власть? Нет никакого механизма. Способ один — прикончить. Совершенно неконституционный способ избавления от негодной власти, но конституционного способа нет.

Что делать? Вот поэтому Лунин потом и ответит на допросах: «Я никогда не участвовал ни в заговорах,

свойственных рабам, ни в мятежах, присущих толпе, а свободный образ мысли усвоил от рождения своего». Заговоры — это действительно рабское дело. Заговорщик приходит ночью, во мраке. Он боится прийти при свете дня. Он ничего не может сделать открыто. Он должен застать врасплох. Конечно, это совершенно позорно. Народное восстание гораздо лучше. Но увы! Народ в этот момент уже таков, что никакого народного восстания с ним не получится. Народ в этот момент готов скорее тех, кто батюшке-царю делает какие-то неприятности, растерзать на мелкие кусочки. Вы не забыли заговор верховников? Царь — добрый, министры — злые, бояре — злые, дворяне — злые. Царь — наш единственный заступник.

И народ начинает письма писать. Кто на деревню дедушке, кто царю, кто в администрацию президента. Классика. Что тогда, то и теперь. Поэтому Павла пришлось убить. И гуманисту Александру Первому пришлось закрыть на это глаза. Ничего не поделаешь, другого способа не было. И как сказал один из заговорщиков: «Кончайте скульпить, идите царствовать». Потому что Александр был в курсе всего. Но он был из тех, кто не любит открыто признаваться, что он что-то сделал. Да и как признаться в убийстве отца?

Петр был другой. Петр сознавал, что делает, и он брал на себя эту ответственность. Ему бы в голову не пришло преуменьшить то, что он делает, или отречься от этого. Прятаться ему бы не пришло в голову. А здесь все ловко спрятались. Павла нет, и приходит Александр.

Александр очень любит просвещение, но идти дальше накладно. Работает у него Сперанский, работают у него молодые реформаторы. Пишут разные проекты. И эта перестройка, то есть следующая модернизация, кончается в его царствование, и тогда начинается короткий звездный час автократии. Приходит Аракчеев. Видите, как нас бросает. То Сперанский, то Аракчеев. Реформаторов-модернизаторов из перестроек иногда бросает в деспотизм. Александр всё знает про декабристов, он хороший человек, он не хочет никого карать. Он им письма пишет, Ивану Тургеневу в частности, и предлагает ему добровольно всё это оставить, чтобы не было потом стыдно. Совершенно потрясающее, кстати, явление. Можно их просто было сдать в ВЧК,

были кое-какие структуры. У Анны Иоанновны была Тайная канцелярия, после петровского Преображенского приказа завели, кое-что и у Екатерины водилось. Было кому этим заниматься.

Александр ничего этого не делает. Он сам письмо инсургенту пишет и уговаривает его во имя совести всё это прекратить. Это так потрясло Ивана Тургенева, что он в самом деле прекратил. Но на других-то писем не хватило! Возникает совершенно потрясающая ситуация. По своей идеологии декабристы — это носители скандинавской концепции. Они говорят о гражданской боли. Они предлагают свободу. Больше они ничего не предлагают. Они не предлагают еды. Поэтому они обречены. В этот момент народу уже никакая свобода не нужна, ему нужна еда. Это гарантия, что они не будут поняты, что они пройдут, «как проходит косой дождь», как писал Маяковский. «По родной стране я пройду стороной, как проходит косой дождь». И одновременно по методам у них всего намешано, здесь и византийская концепция, и концепция Дикого поля, и ордынская концепция. Когда мы рассматриваем методы, которыми они пользовались, мы видим эти концепции, эти традиции, которые вкрапливались в чисто скандинавский замысел — дать волю. Но поскольку общество исковеркано, души исковерканы, общественные отношения исковерканы и сами реформаторы тоже исковерканы, именно поэтому они будут использовать для столь возвышенной цели очень уродливые методы. К сожалению, это уже навсегда. Ничего хрустального и чистого не может быть при пяти контрастных концепциях. Никогда этого у нас не было и, я боюсь, и в дальнейшем не будет.

Лекция № 9

МЫ МЕНЯЕМ КОНСТИТУЦИЮ НА СЕВРЮЖИНУ С ХРЕНОМ

К 1825 году интеллектуальная элита уже прочно успела усвоить, что от нее в государстве не зависит ничего. И при всей своей оторванности от народа (как любил говорить Владимир Ильич Ленин, большой специалист

в этом деле: он знал, как отрыв ликвидировать, вернее, как делать вид, что ликвидирован отрыв) не могли же они не понимать, что никакого взаимопонимания с охлосом, с людьми иного, низшего класса, у них быть не может.

Они это знали. Что же это такое было, 1825 год? Если говорить с психологической, а не с политической точки зрения, это был просто взрыв отчаяния, даже судороги отчаяния, которые с тех пор будут повторяться регулярно и повторяются до сего дня. Когда ничего невозможно сделать: ни поправить, ни изменить, ни приблизить, ни отдалить, ни улучшить, ни развязать, ни завязать, — тогда находится одно-единственное средство. Последнее средство у русской интеллигенции, начиная с декабристов и кончая неформалами конца 80-х годов XX века (и с диссидентами 1950—1980-х то же самое было) — это формула экзистенциализма: поджечь что-нибудь скорее и погибнуть. То есть идти на площадь. Поэтому гениальный Галич очень хорошо понял, что там произошло, и создал великое стихотворение, которое доказывает, что Пестель мог бы себя не утруждать и не писать никакую «Русскую Правду», что Никита Муравьев мог бы тоже не мучиться и не писать конституцию, что Муравьев-Апостол мог бы не надрываться и не поднимать солдатские полки. Это было просто не нужно, это было лишнее. Это только помешало и замутило ясный пейзаж. Все эти детали, кроме конституции, только испортили дело. Нужно было просто идти на Сенатскую площадь и вместо полков прихватить с собой лозунги с тем же эффектом и с тем же результатом. Суть события была чистой поэзией:

...Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть!
Здесь мосты, будто кони, по ночам на дыбы!
Здесь всегда по квадрату на рассвете полки —
От Синода к Сенату, как четыре строки!
Здесь, над винною стойкой, над пожаром зари
Наколдовано столько, набормотано столько,
Наколдовано столько, набормотано столько, что пойди — повтори!
Все земные печали — были в этом краю...
Вот и платим молчаньем за причастность свою!
Мальчишки были безусы — прапоры и корнеты,

Мальчишки были безумны, к чему им мои советы?!
И я восклицал: «Тираны!» И я прославлял свободу,
Под пламенные тирады мы пили вино, как воду.
И в то роковое утро (отнюдь не угрозой чести!)
Казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде.
Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой
Всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой?!
О доколе, доколе, и не здесь, а везде
Будут Клодтовы кони — подчиняться узде?!
Но всё так же, не проще, век наш пробует нас —
Можешь выйти на площадь,
 Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
 смеешь выйти на площадь в тот назначенный час?!
Где стоят по квадрату в ожидании полки —
От Синода к Сенату, как четыре строки?!

Эти слова: «Смеешь выйти на площадь в тот назначенный час?» мы выбрали в 1988 году для наших партбилетов, для партбилетов Демократического Союза. И когда ничего невозможно изменить, можно хотя бы заявить, что ты не согласен, и выйти на площадь. В этом, собственно, и было дело 14 декабря.

В принципе, это не было военным мятежом. Историки глубоко заблуждаются, считая, что это было попыткой военного переворота. Попытка военного переворота просто маскировала первую в истории России политическую манифестацию. 1825 год — это была первая политическая демонстрация. Но поскольку устраивали ее офицеры, им было смертельно стыдно, что они до такой степени ничего не могут сделать, что вынуждены идти на манифестацию. Хорошо нам, неформалам, было ходить на митинги, но офицерам, героям 1812 года, идти на политическую манифестацию, потому что они не могли ничего изменить в порядке управления ни снизу ни сверху, было позорно. А что было делать? Сверху — матрас власти. Стучи кулаками, кричи, ничего не слышно, всё вязнет, как в вате. Снизу — матрас народа. Тоже можешь топтать ногами, брыкаться — никакого отклика. И вот между этими двумя ватными матрасами приходилось жить, и сознавать это было смертельно стыдно. Поэтому во многом все эти попытки имитировать военный мятеж были вызваны просто элементарным стыдом.

Неудобно было признаться, что ничего сделать нельзя. Кстати, многие это не сознавали. Сознал это вполне только один человек, идеолог 14 декабря, которого на площади не было: Михайло Лунин. Он всё очень хорошо понимал. Декабьскому делу предшествовал период аристократического неформалитета, аристократических «кухонь». У них вместо кухонь были, конечно, гостиные и каминные, пока не тайные общества, клубы вроде «Зеленой лампы». Все сидели и прожекты писали. Это было модно. Всё это ничем не отличалось от того, что было у нас в шестидесятые годы XX века, просто уровень был другой, одежда другая, манеры другие. Они знали языки, имели дворцы вместо хрущоб, под гитару пели не Окуджаву, не Галича, не Высоцкого. Песни тоже были другие: пели Дениса Давыдова. Это единственное, чем отличалось положение в 60-е годы XX века от ситуации начала XIX века. Идеологически никакого отличия не было.

Бессилие, роковая невозможность что-то изменить и сознание этой невозможности терзали их. Это как раз было хорошо. Хуже было то, что от бессилия в голову полезли лишние мысли. Пока потенциально, пока на лабораторном столе, пока только на умственном полигоне фактически прокрутился весь октябрь 1917 года. Декабристы как интеллектуалы очень высокого класса быстренько прокрутили всю дальнейшую историю за те пять лет, в которые они шли от неформального объединения в гостиной до первой политической манифестации. Прокрутилось фактически всё, вплоть до красного террора.

Планы Пестеля интересны тем, что они были совершенно большевистскими планами. Он планировал не только республику, это как раз было бы и ничего, хотя невозможно сразу перейти к республике, но это неважно. Невозможность эта никого не опошляет, не пачкает. Невозможность — это не урон чести. Уроном чести было другое — идея убийства не только монарха, но и всей царской семьи. Узнаете историю с Екатеринбургом и с тем самым Ипатьевским подвалом? Вся эта история уже проигрывалась в пестелевском кружке, на собрании декабристов. Убить всех, вплоть до грудных младенцев, извести под корень царский род. Они не успели договорить до конца, но, безусловно, следом пришла бы мысль

убить всех, кто не согласен. Не только царя, но и министров, но и своих вчерашних товарищей по полку. К этому они обязательно бы пришли, потому что Пестель был человек, абсолютно лишенный какой бы то ни было совести. Чего стоит одна эта его идея заставить царя дать конституцию с помощью расширения состава заговорщиков, его решимость дать показания на всех, на кого только можно, чтобы увидели, сколько на Руси инакомыслящих, привлекая в качестве подопытных объектов тех, кто никак не был причастен! Это, конечно, был типичный большевизм — по бессовестности, по использованию человека в качестве средства, в качестве подсобного орудия, в качестве подопытного кролика.

Человек — это не колба, не реторта, с людьми так не обращаются. Но люди уже были для Пестеля не самым главным. Главное — это было изменить общественный строй. Я думаю, что они с Владимиром Ильичом поняли бы друг друга очень хорошо. Минус, конечно, военная подготовка. Ленин тоже ведь был вполне дворянского происхождения. Эти два человека были фактически идентичны. Ленин был хороший организатор, хороший публицист, очень ловкий человек. Он знал, как нужно создавать структуры, с помощью которых можно так расшатать любое самое прочное и стабильное государство, чтобы оно просто развалилось, превратилось в пыль. Распыление государства, распыление общества — это его ноу-хау. Он знал эти технологии. Он был в этом плане гораздо талантливее Гитлера и достиг больших результатов.

Пестель ничего этого не знал, он никуда дальше полка не показывался. Ему не приходилось ходить ни в какой народ, ни с какими рабочими он не общался. Он их не знал и знать не хотел. Он был теоретиком. Теоретиком изменения ситуации через истребление лишних. И эта идея уже жила среди нас. Эта идея, которую декабристы обсуждали без всякого отвращения и даже с жаром, привела в такой ужас Михаила Лунина, человека глубоко порядочного и католика, что он просто их бросил. И с 1820 года по 1825 он ни с кем из них не поддерживал никаких контактов; ему просто стало противно. Он появился только тогда, когда всё произошло, когда было уже не противно, а достойно, когда можно было, не пачкая себя, получить чистый результат: заключение в крепость.

Лунин был единственный, кто понимал, что происходит, кто понимал, что они делают и зачем они это делают. Он был хорошим политологом. И он был единственным, кто продолжал что-то делать и в Сибири. Заработал себе и повторный срок, и даже смертную казнь в камере. В конце концов он добился того, что они его убили. Он создал самиздат, письма, которые были написаны там, в камере. Вполне грамотные письма, которые были куда выше по качеству, чем письма Чаадаева, потому что оказались менее идеалистичны и исходили, хотя и из невозможной, но из западной идеи свободы. Михаилу Лунину принадлежит та фраза, на которую мы с вами будем опираться еще столетия: «Я никогда не участвовал в заговорах, присущих лакеям, и никогда не участвовал в мятежах, которые присущи толпе, но свободный образ мыслей усвоил со своего рождения, с того момента, как научился мыслить». Это был чистой воды вольнодумец. По сравнению с ним все остальные декабристы казались просто школьниками. Они были или слишком восторженными, или слишком уж неразборчивыми в средствах. Пестель был, конечно, законченным негодяем, и виселица ничего здесь не изменяет. Муссолини тоже повесили. Это не прибавило ему ни честности, ни порядочности, ни благородства. А вот Муравьев-Апостол — это, конечно, трагическая история. То, что они сделали, привело к тому, что они умалили свою честь без всякой пользы. Надо было просто идти на площадь. Но им нужны были солдаты. Как заманить солдат на площадь? Ведь никакие солдаты не выступили бы против монарха. В то время это было абсолютно исключено. Это не 1917 год. Еще в 1903—1904 годах это было бы немыслимо.

А это 1825 год. Так тем более! Возникает «гениальная» идея: а давайте мы всех их обманем. Давайте сделаем вид, что мы восстали не во имя свободы, а просто хотим обиженному Константину вернуть корону, восстановить справедливость. Вернуть Константину корону, чтобы она Николаю не досталась, потому что Константин — законный монарх. Мы за монархию, но мы за нашу монархию, за перестроечную, за либеральную. И, конечно, нам тогда солдаты поверят и за нами пойдут — за такое святое дело! А мы захватим власть

и потом эту монархию тихо упраздним. Главное — это власть захватить, а всё остальное приложится.

Это совершенно роковое заблуждение, что достаточно захватить власть, а остальное всё приложится. Бедные декабристы всерьез предполагали (те из них, кто вообще что-то предполагал, а не действовал неосознанно, потому что Ипполиту Муравьеву-Апостолу было только 18 лет и он вообще еще ничего не предполагал, а был счастлив от того, что он протестует), что смогут перевернуть страну. Люди постарше, более зрелые, чем Ипполит, искренне не понимали, что свободная жизнь и свободный образ мыслей должны сочетаться. Невозможно заставить раба жить свободно. По приказу никто не будет свободно жить. Та самая вестернизация, о которой они мечтают (не забудьте, что декабристы — это энная попытка вестернизации; все они знали, как устроена жизнь во Франции, в Англии, они все там получили образование), оказалась бы их крахом. Муравьевы-Апостолы учились во Франции еще до всей этой истории с 1812 годом, до войны. Они знали, как живут там. Они искренне хотели перенести это на российскую почву, но они не понимали, что без соответствующего образа мыслей, без соответствующего менталитета у народа новую жизнь создать просто нельзя. Потому что нельзя насадить сверху. Нельзя заставить силой быть свободными; тем более нельзя сделать свободными обманом. Поэтому получился парадокс. Возник лозунг: «Мы идем за Константина и за жену его Конституцию». То есть Муравьев-Апостол так хорошо всё объяснил своим солдатам, что они усвоили, что Конституция — это жена Константина. Они не поняли, что Конституция — это такая штука, которая уже исключает и Константина, и Николая. Они вообще не понимали, что такое Конституция.

Нельзя было до такой степени злоупотреблять доверием людей. Вообще нельзя обманывать подневольных и подчиненных. Они злоупотребили своим служебным положением, и очень сильно злоупотребили. Они прекрасно понимали, что солдаты не могут им не подчиниться. Они должны подчиняться, тем более что такая благая цель. Сам царь Константин и его жена Конституция!

Самый трагический момент восстания — это не то, что стали бить картечью по собравшимся на площади

полкам. Самый трагический момент — это когда тот полк, который шел за Муравьевым-Апостолом, устами одного солдата, самого забубенного, сформулировал вопрос: мы поняли, барин, что у нас будет свобода, только мы не поняли, а кто царем-то у нас будет?

Этот вопрос свидетельствует о том, что никакие высокие цели не оправдывают такой обман, такое злоупотребление доверием людей. Они их потащили силой, они им надели на голову мешок. Они им не сказали честно, что мы хотим бунтовать против властей, что, скорее всего, мы все погибнем. Хотите ли вы погибнуть вместе с нами? Они не предложили альтернативу, они им солгали. И вот это, действительно, — преступление. И если их и повесили, то с высшей точки зрения, вешать стоило только за это, но никак не за то, что они вышли на площадь.

На площадь, конечно, надо было идти, но не надо было туда брать ничего, кроме лозунгов. Потому что смысл был в политической манифестации. Кстати, было предсказуемо, что если они выскажутся вполне, то никакому народу не будут нужны их предложения. То, что они предлагали, было слишком несъедобно. Конституция, свобода, освобождение. То, что случится в 1861 году, в 1825-м не было чаянием общества, за исключением элиты, нескольких грамотных людей, крепостных актеров или выучившихся, продвинутых крестьян.

Свобода без хлеба, голая независимость — это холодная вода. Холодная вода свободы уже тогда казалась очень неприятной на ощупь, и никто туда особенно не стремился. Не было спроса. Северное общество состояло из идейных либералов, которые предложили достаточно крутые либеральные реформы: освобождение крестьян, вестернизацию страны, либерализацию государственного управления, конституцию, республиканское правление, так что, при всей своей к ним неприязни, я вынуждена признать их потомками либералов. Либералы будут предлагать свободу в течение века, а спроса на эту свободу не будет. Одно предложение. Вы понимаете, что происходит в рамках рыночного хозяйства, когда есть очень много предложения и нет абсолютно никакого спроса. Происходит затоваривание. Товар начинает портиться, цена на него падает. За этот век цена на свободу

в России очень сильно упадет, потому что она никому не будет нужна, кроме тех, кто ее станет предлагать.

Когда всё кончается подавлением, надо сказать, что самый последний эпизод выглядит тоже очень плохо. Немногие сумели сохранить достоинство. Михайло Лунин его сохранил, потому что он с самого начала не был виноват ни в каких предосудительных помыслах. Ему не приходилось лгать, не приходилось выкручиваться, не приходилось обманывать, не пришлось и трусить. Но со всех остальных очень быстро соскочил их героизм. Конечно, здесь всего хватило. Как объяснял недавно Андрей Вознесенский, когда они всего-навсего попытались в Лужниках петь и читать стихи, выставлять картины, организовать выставку в Манеже, на них вдруг разгневался Никита Сергеевич Хрущев. И фактически все из их среды готовы были стать на колени и просить прощения: только бы простили! В этот момент они были еще рабами. К сожалению, рабство настолько проникло даже в души элиты, что 1825 год закончился почти всеобщим покаянием. На пальцах одной руки можно перечислить всех тех, кто каяться не стал. Все остальные омывали своими слезами ноги монарха. Конечно, у Николая хватало чувства юмора, и он мог всласть посмеяться над этим.

Как пишет Эдвард Радзинский: сначала был бал, а после бала — казнь. А потом была тишина. Не потому, что запретили говорить. Никто не пытался проанализировать, что означают эти сороковые годы. Знаменитые сороковые годы. Это безвременье, которое длилось до конца 50-х, до конца Крымской войны. Что это всё означает? Если мы отвлечемся от теории прогресса и от идей марксизма, это означает, что сказать было нечего. Не то что Николай запретил говорить, Лунину ведь он не запретил. Тот в своей камере продолжал писать памфлеты и ухитрялся через сестру рассылать их по Руси. Нечего было сказать.

Попытка декабристов высказаться привела к чудовищному нравственному провалу. Общество это осознало. Может быть, общество не отдало себе отчет. Общество почувствовало, что это провал. И не потому, что картечь! И не потому, что Сибирь! И не потому, что виселицы!

И не потому, что кого-то отправили на Кавказ... И не потому, что кого-то из разжалованных засекали шпицрутенами, засекали те же солдаты, кстати. Офицеры пытались их спасти, потому что они знали, что эти разжалованные — такие же офицеры, как они, но солдаты настолько возненавидели тех бар, которые их товарищей, не предупредив, подставили под картечь, что они просто воспользовались случаем и убивали, засекали насмерть тех, кто оказался в этот момент солдатом. (Разжаловать могли за дуэль, разжаловать могли за фривольное поведение, за песенку, как Александра Полежаева.) Это была реакция народа на ложь. Это была правильная реакция.

Люди отвергли ложь, а общество отвергло нравственный провал. Если у тебя есть что сказать, есть что-то за душой, не надо каяться. Если ты прав, не надо отрекаться. Если у тебя есть на чем стоять, стой на своем, а не хлопайся в ноги и не омывай своими сиротскими слезами стопы императора.

После этого страшного провала, когда, казалось, было нечего больше сказать, заглохли либеральные идеи насчет конституции, насчет республики, насчет вестернизации, потому что носители этих идей не сумели их выразить достойно. Даже при полной безнадежности это можно было бы выразить достойно. Здесь общество и замолчало. Можно было только горько смеяться, как Чаадаев, и писать просто в никуда, на деревню дедушке Константину Макаровичу. Потому что кроме элитарных журналов, которые читал самый узкий образованный круг Москвы и Петербурга (дай Бог, чтобы 300 человек это всё прочли, аудитория была даже меньше, чем у Радищева), писать было некому и некуда. Радиостанции «Свобода» тогда не было, иностранные корреспонденты тогда по Петербургу не бродили. Всё было так, как писал Мандельштам: «А над Невой — посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина! И государства жесткая порфира, как власяница грубая, бедна».

Поэтому общество замолкает. Оно замолкает до 60-х годов. Все конституции пока закапываются в снежок, снежок всё замечает, конституции еще пригодятся, но они не скоро пригодятся. Они пригодятся только следующим либералам, потому что ни народникам, ни народовольцам

не нужна будет конституция. Они и слова этого не произнесут. Идея конституции уходит надолго. Идея либеральной буржуазной республики тоже уходит надолго, так же как идея конституционной монархии. Появляются другие идеи, сугубо практические.

То, что сделал Александр Второй, в принципе, было чистым подарком. Может быть, это было второй перестройкой. Потому что Крымская война — это был очень мощный толчок. Россия становится в то время такой косной, такой неповоротливой, такой раззолоченной... Византийская традиция торжествует. Заставить мыслить и страдать Россию может только поражение. Победа губительна для России.

Победа в войне 1812 года — это ужасная вещь. К чему приводит эта победа? 1812 год, 1815 год? Это Венский конгресс. Россия начинает решать международные проблемы, не решив ничего у себя в собственном доме. Она выходит на международную арену и начинает ворочаться, как слон в посудной лавке. Она решает венгерские дела, она вершит французские дела. Вот откуда взялась смелость подавлять польское восстание 1830 года! Это всё капитал 1812 года. Победа в войне 1812 года становится проклятием для следующих поколений, потому что она стала оправданием всего того, что делает власть. Так же, как победа в 1945 году становится проклятием для всего послевоенного поколения. И до сих пор это всё еще проклятие. Я не говорю, что поражение было бы лучше. Я просто говорю, что была заложена некая основа для деспотизма, его моральный фундамент и пьедестал. Прямо по Окуджаве: «А все-таки жаль: иногда за победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед». Это становится оправданием для всего, единственным смыслом жизни, и всё остальное уже не важно: что бы ни происходило, сколько бы миллионов ни расстреляли, сколько бы ни удушили, сколько бы ни утопили — зато это поколение победило в войне... В малой степени это произошло и в 1815 году, потому что не было такого количества газет, не было электронных средств массовой информации. Вообще была эра отнюдь не информатики, а шагистики и барабанов.

Тем не менее люди XIX века на себе ощутили вполне (хотя бы на уровне того века), что означает одержанная

великая победа. Оправдание полному нежеланию что-либо делать, нежеланию догонять Европу, проводить реформы, освобождать крестьян, развивать торговлю, развивать промышленность. Этого оправдания хватило до 1856 года. Считайте: с 1815-го по 1856 год. На 41 год хватило этого заряда. Сорок один год Россия не развивалась, она ничего не делала благодаря этой победе 1812 года. Наконец, к счастью, мы потерпели поражение в Крымской войне. Не дай Бог, если бы мы победили! Не исключено, что крепостное право вообще бы никогда не было отменено. Но, к счастью, нас разбили. Спасибо французам, спасибо англичанам, все-таки они нам хоть в этом смысле помогли. Россию разбивают, и так основательно разбивают, что всем становится понятно, что это колосс на глиняных ногах. Медный колосс на глиняных ногах. У этого колосса слабость и дрожь в коленках, у него поджилки дрожат, потемкинские деревни, государства жесткая порфира, всё вокруг — один камуфляж. И ясно, что надо что-то делать.

Нужна надежная армия, и соответственно с этим надо всё перестраивать, всё государство. Естественно, нужно освобождать крестьян. Екатерина могла от этого дела отмахнуться, Павел тоже мог отмахнуться, Александр мог Сперанского отстранить, сослать и предаться Аракчееву. Не было Крымской войны. А вот после Крымской войны это стало уже невозможно. Крымская война была таким оглушительным поражением, что она заставила покончить с собой Николая. А это был человек достаточно твердый. И чтобы такой человек покончил с собой, не перенес позора, позор должен был быть убийственным. Испить эту чашу до конца было не под силу поколению и власти.

После этого позора начинаются реформы. Знаменитые Александровские реформы. Собственно, если бы было хоть какое-то давление снизу, если бы не сопротивлялся так образованный класс общества, да и чиновники, кроме отдельных просветителей, которые приветствовали и восхищались (а таких было очень мало), реформа была бы проведена глубже. Она была бы проведена до конца. Община была бы разрушена. Но это никому не пришло в голову. Александру-то это пришло в голову,

он достаточно много читал. Но это не нужно было крестьянам. Они об этом не просили и вообще не хотели никакой воли. Это было как снег на голову. Это было стихийное бедствие. Самое интересное, что и помещики, и крестьяне восприняли этот Манифест как стихийное бедствие, как катастрофу. Примерно так же многие совки восприняли ликвидацию Советского Союза. И до сих пор они не перестают рыдать, стонать, ломать руки. Эти вопли слышны отовсюду. «Где наша великая страна?» Иррациональное, непонятное... То же самое произошло с крестьянами и с теми, кто ими владел. Конечно, если бы тогда уже был Столыпин, он бы подсказал, что нельзя оставлять общину, ее надо просто выкорчевывать, потому что община не даст развиваться фермерскому хозяйству. Она не даст расслаиваться деревне, и не появится класс наемных рабочих. Страна не сможет нормально развиваться. Но Столыпина не было. Крестьяне были освобождены, но так, что община не была разрушена, осталась круговая порука. Что же касается земли, то они получили ее по минимуму, получили только свои усадьбы. Были разные варианты освобождения. Были варианты освобождения с землей. Были варианты освобождения без земли, совсем без усадеб.

Аграрный комитет предложил более чем дюжину вариантов освобождения. Но сами крестьяне нуждались прежде всего в земле. Они поначалу абсолютно не понимали, а как же они будут теперь жить. Общины, выгон, барский лес, возможность получить инвестиции (барские инвестиции) в свое хозяйство — всё это пропало. То есть независимость — это тест, как для СССР или для Чечни, так и для крепостного крестьянина. Независимость — это возможность показать, чего ты стоишь. Здесь есть крупный риск. Кто уж во что горазд... А крестьяне от воли отвыкли, никакой инициативы у них не было. Она сковывалась много веков. Отдельные, очень талантливые люди могли выкупиться, могли преуспеть. Были такие случаи, но это не было массовым явлением. А здесь освободилась вся масса. Это был первый акт трагедии.

Трагедией стало освобождение крестьянства, фактически против его воли, без всяких аплодисментов с его стороны, под вопли: зачем нам это нужно?!

Второй акт трагедии наступит при столыпинских реформах. Третий акт трагедии будет, когда после 1991 года появится возможность выходить из колхозов с землей, хотя бы в аренду полученной, хоть пока и без права частной собственности, но худо-бедно... Вышло меньшинство. Большинство осталось в колхозах. То есть когда появится выход, многие уже не пойдут в ту сторону.

При столь массовом недовольстве реформы были всё же поразительны. Как будто на эту сермягу, на этот за-трапез, в которые была одета Россия (с точки зрения ее общественного устройства), надели мантию из золотой парчи. Россия получает университетскую реформу, то есть университетские вольности на совершенно европейском уровне. Россия получает суды присяжных. Это куда лучше, чем шеффенский суд в Германии. Россия получает земскую реформу. Она получает такие возможности для самоуправления, какие имеет Западная Европа.

Но, к сожалению, у нас уже никто не мог с собой управиться. Нужна была трезвая, непьющая страна, страна, которая жаждала бы вольности, как ее жаждали англичане. Но англичане эту вольность имели, они получили ее формально, де-юре и де-факто, в XIII веке. А здесь вольность несколько запоздала. Ее надо было переложить на бумагу и приложить к этой бумаге печать, по меньшей мере в XIV или в XV веке. А сейчас уже было поздно. Сейчас эта вольность была уже не нужна. И всё это существовало параллельно. Суд присяжных и все эти установки, вплоть до выборной системы самоуправления, существовали вместе с диким пьянством, с диким невежеством. Хотя появились хорошие земские школы, хорошие земские больницы, но это сосуществовало с психологическим рабством. Когда человек уже лично свободен, но до этого был рабом из поколения в поколение, он, видя какого-то исправника, начинает ему руку целовать и шапку снимает за километр, хотя никто этого не требует, а если бы и потребовали, можно было бы запросто этого не делать, потому что права требовать этого исправники не имели. Но люди, к сожалению, это делали добровольно и целовали руки не только исправникам, но и всем заезжим городским писателям или местным землевладельцам, которые изучали нравы

и писали пейзажи. И те не знали, куда им деваться и как от этого бежать. К сожалению, всё это им приходилось выносить до того момента, как эти же крестьяне, которые вчера им целовали руки, начинали жечь их усадьбы.

Византийская традиция рано или поздно разражалась традицией Дикого поля, и тогда всё уничтожалось. Здесь была некоторая разрядка. Пароксизм деспотизма — и второй полюс: пароксизм нигилизма. И, к сожалению, конституционного поля между этими полюсами просто не было.

Именно здесь появляются народники. Можно считать, что они заводятся буквально от сырости. В стране робко пробиваются первые европейские ростки. Как писал Пастернак: «Барабанную дробь заглушают сигналы чугунки. Гром позорных телег — громыхание первых платформ. Крепостная Россия выходит с короткой приструнки на пустырь и зовется Россией после реформ». Только сейчас появляются железные дороги, появляются довольно крупные фабрики. Кто-то учится читать и писать. Начинается более или менее цивилизованная городская жизнь. Конечно, дикая пропасть между элитой и народом. Никакого третьего сословия нет. Только-только появляются разночинцы. Никакого среднего класса нет и в помине. Общество сословное. Дикое. И не как в Великобритании, где богатый купец руку лорда не поцелует, и даже бедный купец этого не сделает. Там этого с XIII века нет, чтобы кому-то руки целовать. Тем не менее что-то появляется, и можно подуть на это, это можно полить, это можно удобрять, это можно развивать.

Так нет, здесь появляются народники с самыми лучшими намерениями и начинают срочно мостить ими дорогу в ад. Это просто какой-то синхронный порыв в бездну. Потому что буквально четыре тысячи человек, четыре тысячи представителей образованного класса (почти всё студенчество) идут в народ. Четыре тысячи — это очень много для того времени. Сначала Цюрихский университет, Сорбонна, Оксфорд, а потом — в народ. Четыре тысячи человек.

С чем же они идут в народ? Они не пытаются дотянуть народ до европейского уровня. Они не объясняют народу, сколь он отстал и как важно создавать культурное

фермерское хозяйство, учиться в школах, кончать, может быть, даже и университеты, зубы чистить, руки мыть, не ругаться матом, не пить водку. Они ничего этого народу не объясняют.

Вместо этого они объясняют народу вещи абсолютно дикие. Что он, народ, — «богоносец». Что этот самый народ, дикий, темный, всё знает, всё умеет...

Народники — это законченные социалисты, и они объясняют народу только одно: что он, народ, — хороший, что власть — плохая, и что для того, чтобы всё стало хорошо, надо эту власть свергнуть и всё имущество взять и поделить. И самое ужасное, что люди, которые всё это объясняют, — это идейные люди, это честные люди, это пламенные люди, это идеалисты. Они ничего не получают, кроме неприятностей, за все свои труды. Это идеалисты типа Софьи Бардиной, и они, по пятнадцать часов в день работая на мануфактурах, всё это несчастному народу объясняют. Они вколачивают людям в голову идею, что с властью надо бороться. Они создают среду, в которой появятся будущие комбеды. Идея раскулачивания появляется именно тогда. Большевики заново ничего придумывать не будут. «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови. Господи, благослови». Это всё народничество. Блоку тоже не придется ничего придумывать, он из воздуха времени всё возьмет. Самые дикие и реакционные идеи, идеи чисто большевистские, чисто социалистические, и даже не социал-демократические, потому что у нас было мало цивилизованных (более или менее) меньшевиков, а в основном были эсеры-максималисты (потом, когда они вылупятся из народовольцев), народники народу буквально суют за пазуху, заталкивают за шиворот, льют в него, как воду во время пытки водой.

Сначала народ ничего этого не понимает и сдает пропагандистов жандармам, чувствуя, что делается что-то неладное. Если бы народ продолжал в том же духе, то он, может быть, и спасся бы. Но, к сожалению, он потом входит во вкус. Капля точит скалу. Такие проповеди, читаемые людьми столь бескорыстными, столь пламенными, столь фанатично настроенными, истинными подвижниками, приводят к тому же, к чему привела проповедь

первых христиан. Сначала над христианами все смеялись, считали их неотесанными варварами, думали, что они уничтожат всю культуру и образованность. Это я про тех, кто не верил, что христиане пьют человеческую кровь, про более или менее грамотных и нормальных людей. Смеялись, отвергали, а потом вдруг где-то к IV веку уверовали. Потому что видели, что люди идут в амфитеатры на съедение зверям, и это было очень убедительно.

Личный пример убедителен. А поскольку сакральной истины у государства не было, то некому было объяснить вред народничества, потому что не было никакого противовеса, равного по харизме. Если бы в этот момент нашлись некие либералы, которые объяснили бы всю пагубность социализма и сделали бы это так же страстно и пламенно и стали бы проповедовать, как пророки, идею вестернизации и ухода на Запад; если бы что-то было противопоставлено, можно было бы превозмочь этот недуг. Но, к сожалению, ничего не было. Либералы могли бы перетянуть канат, если только бы они по степени самоотверженности превзошли народников.

Но народники оказались одни. Одни в острогах, одни на мостовых, одни перед крестьянскими избами, одни в лаптях. А те, кто сидел в мягких креслах и издавал малотиражные газеты в Петербурге и в Москве, были крайне неубедительны. Тем более что народ эти газеты не читал. И всё просвещенное сословие типа доктора Чехова, которое честно трудилось, лечило, учило, создавало ссудные кассы, вдовьи дома, старческие дома, приюты, то есть реально поднимало культурно-социальный уровень, оказалось безъязыким. Безголосым. Они не сумели ничего сказать. А в России чрезвычайно важно Слово. Даже важнее дела. И если дело не сопровождается никаким словом, делу не верят, скорее поверят слову. За народниками никакие дела не числились. Все дела были за земством. И вот земству не поверили, а народникам поверили. И пошли. История пошла по роману Сервантеса, как в случае с Дон Кихотом и Санчо Пансой. Сначала Дон Кихот, типичный народник, типичный разночинец, читает некое марксистское руководство (неважно, что там про Амадиса Галльского, главное, что там сказано, что надо спасти человечество).

И пусть не про прибавочную стоимость, а про рыцарские подвиги, но результат один и тот же. На голову надевается медный тазик, и надо немедленно идти сражаться с ветряными мельницами. Причем во имя Дульсинеи Тобосской, которая вполне адекватна здесь светлому будущему всего человечества, потому что на самом деле никакой Дульсинеи Тобосской нет, а есть Альдонса, но всех, кто не поверит, что есть Дульсинея, ожидает рыцарское копье и смертельный поединок. То есть ты сдохнешь, а поверишь в Дульсинею Тобосскую и заявишь, что она самая прекрасная женщина в мире.

То есть абсолютно марксистская схема. Это у интеллигенции. А народ — это Санчо Панса. Ему не нужна никакая Дульсинея Тобосская, он не верит ни в какие рыцарские подвиги. Он не читает фолианты. Ни марксистские, ни про Амадиса Галльского. Для него что было главным? Чего хотел Санчо Панса? Он хотел быть губернатором на острове. Он пошел за Дон Кихотом исключительно из этих побуждений. То есть народу обещали, что будет журавль в небе. И народ немедленно выпустил синицу, которая была у него в руках, и погнался за журавлем, который был в небе. В погоне за этим журавлем и разворачивается наша дальнейшая история.

После того как в народников народ поверил и возникла какая-то ответная искра, власть несколько забеспокоилась. И власть сделала большую глупость. Вместо того, чтобы что-то противопоставить народникам идейно, она прибегла к репрессиям. Она стала просто сажать. Никакого другого ответа у нее не нашлось. В ответ на это рождается очередная вспышка отчаяния. Потому что следующая стадия — это народовольцы. Народники к этому моменту уже порядком устали. Как ни странно, именно в тот момент, когда возникла ответная искра, когда что-то стало завязываться, народники абсолютно разуверились в своих идеалах. Они увидели, что это десятилетия, что, может быть, это века. Они увидели, сколь несовершенен мир. Что там царит неравенство и, может быть, это навечно. К сожалению, они ошиблись. Неравенство было не навечно, неравенство было еще совсем ненадолго. Увы! Они не знали, что счастливый миг так близок, они отчаялись. Они подумали, что

пройдут еще столетия, прежде чем люди усвоят марксистские идеалы и начнут жить в некоей утопии. То есть они слишком близко увидели жизнь, и это не могло не привести их в отчаяние, и для них это был настоящий шок. Они увидели реальную жизнь. Они увидели, сколь эта реальная жизнь далека от идеала. А им хотелось идеального социально-политического устройства, и общественный порядок этого типа нужен был им немедленно. Чтобы люди немедленно стали добродетельны, чтобы они немедленно стали равны, чтобы они немедленно стали счастливы, чтобы немедленно было создано общественное богатство, чтобы социальное неравенство было немедленно устранено.

Поскольку все утопии к тому времени уже были написаны, за исключением снов Веры Павловны (последней по времени утопии), то что им оставалось делать? Вы помните, что у нас делают интеллигенты, когда невозможно достучаться ни до властей, ни до народа? Они идут на площадь «в тот назначенный час», они должны выразить свой протест против реальной действительности. Здесь уже был чистой воды протест против мира, против таблицы элементов Менделеева, против закона всемирного тяготения, против таблицы умножения. Возникает желание поджечь костер, но поджечь собой. Больше гореть в этой ситуации нечему.

Рождается движение «Народная Воля». Оно рождается как чистой воды самоубийство. Оно очень сильно отличается от западного терроризма, от «Красных бригад», от «Красной армии», от Action directe. Оно ничего общего не имеет с этими позднейшими наслоениями, потому что то настоящее первое народовольческое движение несло в себе идею смерти, но не смерти монарха, не смерти министров, а только своей смерти. А монарх и министры — это были вспомогательные средства убить себя. Разумеется, монарху и министрам это понравиться не могло. И это был не лучший способ: столь замысловато кончать с собой. Но они другой возможности не видели. Дело в том, что, как ни старайся, а за нелегальную социалистическую литературу, за все эти брошюры, за кружки не вешали, не казнили. Можно было загреметь даже на каторгу на несколько лет, можно было получить

несколько месяцев или даже несколько лет острога, но никак нельзя было добиться, чтобы тебя за это убили. Не казнили за это на Руси.

Возникает следующий этап, когда становится понятно, что ничего не получается.

Первому это стало понятно Каракозову, кстати. Это была попытка создания явочным порядком «Народной Воли» — еще вне всяких уставов, вне всяческих программ. Покушение 1866 года — это начало «Народной Воли». Через пять лет после Манифеста уже совершается эта безумная попытка. Правда, есть кружки. Да, кружков было сколько угодно. И уже по делу Каракозова и Ишутина, Страндена и Юрасова понятно, до какой степени студенты задыхались в этих кружках, какая это была выморочная действительность, насколько там не было реального дела. Потому что с ними не было народа. Народу пока еще не обещали, что можно грабить. Когда обещают именно это, тут же появляется народ, и одиночество больше не грозит. Будет хорошо, будет большая компания. Гоп со смыком. Будет 1905 год. Потом — 1917 год.

Но такие народники, как Софья Бардина, не предлагали народу грабить. Они были еще слишком хороши для такого рода предложений. Поэтому никто их не понимал. Не понимали сначала и их атеизма и нигилизма. То есть вся эта история с агностиками и с воинствующими атеистами никакого отклика в народе не находила. Не понимали их идеализма. Не понимали, потому что они были просто другие, образованные люди, с белыми руками. Они слишком красиво говорили. Они говорили не о том, они говорили не про еду, а про истину. Они говорили о несъедобном. И точно так же, как были отвергнуты декабристы, должны были быть отвергнуты и народники, и народовольцы, потому что они говорили о несъедобном, о вещах идеальных, о духовной сфере. (Не в смысле духовной оппозиции!) Кстати, народовольцы додумаются на последнем этапе своего существования до того, что им нужны политические свободы — для того, чтобы бороться за социальное равенство.

Это была великая идея, но она пришла к ним слишком поздно, уже нельзя было ничего изменить. Уже нельзя было добыть политических свобод, потому что они

грохнули того самого царя, который собирался дать народу конституцию. Было уже поздно. Уже не с кем было давать эти свободы. А для того, чтобы убрать монархов вообще, должно было пройти еще по меньшей мере соток лет. Должен был настать 1917 год.

Народовольцы успели отчаяться, успели понять, что они никому не нужны и что единственный способ добиться, чтобы тебя повесили, — это убийство кого-нибудь из ненавистных представителей режима. Это полное отчаяние, полная невозможность что-либо изменить. Логика их была порочной, но логика была именно такая. «Поскольку мы не можем изменить преступные общественные отношения, мы будем устранять носителей этих преступных общественных отношений». Это была абсолютно большевистская идея. То, что народовольцы делали на индивидуалистическом уровне, скажем, убивая какого-нибудь губернатора или шефа жандармов, впоследствии большевики будут делать массово в подвалах ВЧК. Скажем, всё офицерское сословие — это кровопийцы, это преступники, это носители преступной концепции, это преступные элементы. Поэтому будем вешать всех офицеров подряд. Все крупные чиновники, все министры — тоже наши враги, потому что они носители чуждых нам государственных идей. Поэтому мы убьем их всех и избавимся от вредной идеологии. И так со всеми категориями, вплоть до гимназисток и гимназистов. На самом деле Желябов, Перовская, Вера Фигнер — люди прекрасные, романтические, возвышенные, благородные, но они положили всему этому начало. Считайте, что красный террор начался несколько раньше: он начался в 1866 году, а не в 1918-м.

День выстрела в Александра Второго, день выстрела Дмитрия Каракозова можно считать днем начала красного террора. Потому что Дмитрий Каракозов понял, что ничего они сделать не могут. Была крестьянская школа. Были такие примерчики: что больше, один или сто миллионов? У нас один царь, а сто миллионов народа ему подчиняются. Ведь это несправедливо? Раз сто миллионов больше, чем один. Вот такая была социалистическая арифметика. Сидели они и книжки читали из публичной библиотеки, собирались Чернышевского

освобождать. Чем еще можно было заняться? Спорили о социализме. Что такое социализм, не знал никто. Идея освобождения Чернышевского возникла в тот день, когда Странден сказал, что только один Чернышевский может нам объяснить, что такое социализм. Правда, Чернышевский и сам этого не знал хорошенько. Но они решили добыть Чернышевского, чтобы он объяснил, что такое социализм. Возникла идея освобождения Чернышевского. И целое поколение, пока Чернышевский будет сидеть, будет заниматься его освобождением.

Конечно, никого они не освободят. Только сами сядут. Просто поразительно, до какой степени ничего, что было бы похоже хоть на что-то созидательное, эти социалистические нигилисты сделать не могли. Им дано было только разрушать. С бомбами у них будет получаться, с выстрелами — тоже, но когда будет возникать хоть какая-то позитивная идея, например, идея спасения человека, хотя бы такого, как Чернышевский (худо-бедно какой-никакой писатель), даже этого они сделать не сумеют. Пять или шесть экспедиций, включая лопатинскую, будут кружиться вокруг этих мест, ходить по тайге, но они будут только попадаться самым глупейшим образом жандармам, и никто из них Чернышевского не освободит. Им не дано будет сделать ничего положительного ни для кого. Считайте, что они были прокляты с самого начала. Им дано было только разрушать, но разрушать они научатся классно.

Большевизм возник неназванным задолго до своего реального обоснования. Он уже где-то был спроектирован. Владимир Ильич придет на готовое. Почва будет готова, менталитет будет готов, сознание народа будет готово. Народовольцы вначале брезговали Нечаевым. Они справедливо считали, что Нечаев — это исчадь ада, потому что идея политического обмана, политического лицемерия была у него развита до крайней степени, до степени крайнего цинизма. Кто хочет в этом убедиться, пусть внимательно читает «Бесов» Достоевского. Там содержится очень грамотное представление Нечаева. Можно достать его реальный манифест. Ведь это проклятое царское правительство не побоялось во всех газетах напечатать нечаевский манифест. И он вызвал такой шок, такую оторопь, что защищать Нечаева никому не захотелось.

И не только не захотелось в России! Ведь и в Швейцарии никому не захотелось защищать Нечаева. И он не получил статуса политического беженца. И его выдали, несмотря на все его вопли, что он политический противник режима. Его выдали как уголовника. И правильно сделали, потому что он и был уголовник. И народовольцы вначале справедливо им брезговали. Они говорили, что они другие, у них высшие идеалы, что они никогда не будут пользоваться такими методами.

Но логика борьбы, безнадежной, бессмысленной борьбы, борьбы в обратном направлении, в направлении, обратном прогрессу, привела их к тому, что в одну прекрасную ночь они вступили в сношения с Нечаевым. Перед концом «Народной Воли» они успели с ним пообщаться, успели договориться, и пути их сошлись. Всё благородство куда-то девалось, и вся брезгливость — тоже. Логика была такая: когда тебя прижмут к стенке, уже не до благородства, уже не выбирают средства. Средства перестают выбирать, когда ситуация становится смертельной. Они попали в смертельную ситуацию. Никогда нельзя попадать в такую ситуацию, когда ты перестаешь выбирать средства, потому что, если ты попал в эту ситуацию, цель уже не важна. Они попали в ситуацию, когда не было уже никакой цели, остались одни средства.

Если вначале такие идеологи, как Желябов, верили, что несколько политических убийств могут вызвать смятение у правящего режима и заставят его дать политические свободы, изменить социальное законодательство, они, конечно, лет через пять-шесть в это верить перестали. Было совершенно очевидно, что ничего этого не произойдет. Они убивали уже от полного отчаяния, в надежде, что рано или поздно их самих убьют. Это была попытка размазать себя по стенке, себя — не режим. Разбиться о власть, разбиться о режим, разбиться о страну, которая жила не по их формуле. И, к сожалению, власть в этом отношении им потакала. Лучшим способом обезоружить и обезвредить «Народную Волю» было бы не приговаривать никого к смертной казни. Может быть, даже и миловать их. В таком случае они были бы полностью уничтожены. Не было бы этого ореола. С ними надо

было обращаться как с людьми неразумными, не сознающими себя. Даже просто отпустить. Идите куда хотите.

Куда пошел бы Каляев, если бы его выпустили из тюрьмы? Он ведь жить уже не хотел. Он отказывался просить о помиловании. Он и бежать-то не хотел. Он понимал, что после того, что он сделал, жить нельзя. Лучшие из народовольцев это до конца понимали. Худшие уже не понимали ничего. Там были разные люди. Были люди высокоразвитые, были люди с очень низкой душевной организацией, люди попроще, типа Троцкого или Малюты Скуратова. Были люди посложнее, типа Бухарина, типа Луначарского. Они понимали, что делают, и они понимали, что после этого жить нельзя. Они не хотели спастись бегством. Они понимали, что после того как они убьют ни за что ни про что другого человека, только за то, что он носитель другой идеологии, они должны умереть сами. Потому что жить после этого уже не надо. Иван Каляев это очень хорошо понимал.

Когда Иван Каляев оказался бы на улице, совсем свободный, и ему сказали бы: «Иди куда хочешь, нам противно на тебя смотреть», — как вы думаете, куда пошел бы Иван Каляев? Он не пошел бы бросать следующую бомбу. И никто бы не пошел. Даже Желябов этого бы не сделал. Без этого процесса, без эшафота, без виселиц, без Семеновского плаца движение народовольцев не легло бы в основу большевизма, не положило бы начало традиции героической ненависти и не дало бы морального оправдания всему тому, что происходило в 1917-м, 1918-м, 1919-м, в 1905 году. Эту традицию надо было ломать нетрадиционными способами. Была у народовольцев традиция Дикого поля, а традиция Дикого поля — это традиция самоотверженности. Эта традиция тех, кому головы не жалко, кому жизни не жалко. Это было с самого начала. Обратите внимание на поэму Евтушенко «Казанский университет».

Он попытался это понять. Я думаю, когда он пытался это понять, он и сам отчасти в это верил. В 1970 году Евгений Евтушенко едва ли был таким антисоветчиком, каким он стал потом. Я думаю, что он достаточно искренне верил, когда писал, он не прикидывался. Когда он пишет

о марксисте Николае Федосееве, который был тоже (по своему мироощущению) в достаточной степени народовец, я думаю, что он пишет правду.

По-над тюрьмой Владимирской запах весны и пороха. Падают в руки льдиночкой вальдшнепа белое перышко. Маленький да удаленький, из-за обмана зрения он, словно ангел, ударился грудью о стену тюремную. Нету сильней агитации, нету сильней нелегальщины, если на тюрьмы кидаются самоубийцами вальдшнепы. Хорканье в небе истощное... Что ж вы задумались, узники, в самоубийцах восторженных сами собою узнаны? Но, улетев от охотника, что ж вы бросаетесь на стену? Сколько вас дробью ухлопано, сколько о стены разгваздано!.. Крылья о стены каменные бьются, не сдавшись на милость. Лучше крылатость в камере, чем на свободе бескрылость.

Когда поколение очень хочет сесть в тюрьму или пойти на виселицу, нельзя давать ему такую возможность. Потому что только этим можно остановить нигилистический самоубийственный пожар. Начинается новый Раскол. Нигилизм, народничество и «Народная Воля» — это третий Раскол. То, что Раскол у нас был типично политическим движением под маской биологических и социальных концепций, повторяется в XIX веке, повторяется в начале XX века. Это Раскол от нежелания терпеть, от нежелания расти, от нежелания взрослеть и стариться, от нежелания ждать и создавать более культурное государство, более образованное общество, от нежелания ждать, пока жизнь что-то привнесет, что-то залечит, когда сразу нужно, чтобы ребенок стал взрослым, чтобы родился и тут же заговорил, причем заговорил гекзаметром, заговорил, как у Гомера, как у Платона, на чистом древнегреческом языке... Это нежелание терпеть медлительность жизни. Это желание предвосхищать события, обгонять века. И вколачивать Утопию, вколачивать ее буквально сапогом, как самовар раздувают. И вот эту Утопию (кстати, очень красивую Утопию), начали вколачивать сапогом. Начали это делать, как это ни парадоксально, лучшие люди страны. А либералы не представляли собой альтернативы. Весь XIX век после 1825 года пройдет под эгидой социалистов, потому что

либералы будут молчать. Они будут делать, но они не будут говорить. У них не будет своего знамени, не будет своего плацдарма, не будет своего девиза, не будет своего герба. Они никого не будут вызывать на дуэль. В России либералы проигрывали весь XIX век и часть XX именно потому, что они пренебрегали рыцарскими турнирами. Они не понимали страну, в которой они живут; они не понимали, что в России всё решается на поле боя. Обязательно должны быть прекрасные дамы, которые бросают перчатку тому, кто победил. Они не понимали, что должны быть герольды с трубами, они не понимали, что обязательно нужны копья, мечи, и броня, и латы, и конь. Они не понимали формулы жизни в России. А эту формулу очень хорошо артикулирует в своей поэме о Тристане и Изольде Ольга Седакова.

Вот всадники как солнце, их кони — из темноты.
Из детской обиды их шлемы и копья, из тайны их щиты.
К Пятидесятнице святой они спешат на праздник свой,
Там гибель розой молодой на грудь упадет с высоты.

Тот, кто не понимает этой формулы, в России никогда ничего не сделает.

Лекция № 10

ЧЕРЕЗ ЧИСТИЛИЩЕ ДЕМОКРАТИИ — В АД ДИКТАТУРЫ

У народовольцев были наследники. Такие же неприятные на вкус, на вид и на ощупь, как и их духовные отцы. И все они были на редкость похожи, несмотря на то, что постоянно конкурировали друг с другом, не разговаривали и всячески, еще до Октябрьского переворота, выясняли отношения. У Грина это всё неплохо отражено. Там очень красиво показана панорама революционных кружков, где эсдеки и эсеры отбивали друг у друга аудиторию. Занимались они исключительно друг другом, забыв об объектах своих поучений. Объекты же находились в состоянии постоянной истерии. К тому времени уже

водились народники, народовольцы, социалисты всех мастей, а тут еще, на наше несчастье, Лопатин перевел «Капитал», и немедленно эта толстая, скучная и очень специальная книжка была воспринята идеалистами как пятое Евангелие.

Усвоена она была совершенно не критически. Примерно так же, как Дон Кихот усвоил свой рыцарский роман. Понятно, что прочитать про разные предания XII века в XVII приятно, но не следуют же из этого такие оргвыводы, что надо надеть на голову медный тазик и немедленно отправиться спасать человечество, воевать с ветряными мельницами, искать всюду сказочных великанов. Примерно такие же выводы были сделаны из «Капитала». Я думаю, что этих оргвыводов никто не предвидел: ни наяда, ни дриада, ни тем более Маркс и Энгельс. Бедные европейские ученые при всей своей экстравагантности все-таки привыкли к нормальному буржуазному бытию, к теплоте зала Лондонской публичной библиотеки, к хорошо приготовленному обеду, к хорошо накрытому столику в кафе, и им не приходило в голову, что их книжка попадет, по сути дела, в средневековую страну, где производство находится в рудиментарном состоянии, где промышленные рабочие являются чем-то средним между разинским и пугачевским контингентами, и что они со своей книгой станут родоначальниками новой Жакерии. Я думаю, что ни Маркс, ни Энгельс не представляли себе последствий, как любые фантазеры и утописты. Ницше никогда не представлял себе, что его очень экстравагантная, красивая, необычная философия может быть использована нацистами. Тем более не представлял себе этого Вагнер. Это ему и в кошмарном сне присниться не могло.

Та Парижская коммуна, которую якобы Маркс и Энгельс приветствовали, во-первых, была где-то далеко, они ее не видели вблизи. Почта тогда работала плохо, телевидения не было. Когда коммунары валили Вандомскую колонну, этого CNN не показывало. Можно считать, что до них дошел слух, почти что сплетня, что где-то в Париже из их учения что-то интересное произвели. Надо сказать, что, к счастью, из этих их учений мало что успели произвести. Все-таки европейское воспитание сказалося. Коммунары не посмели национализировать

банки. Эта наша знаменитая триада: банки, почта, телефон, вокзалы, телеграф — она как-то у них не сложилась. Они были теоретиками.

Они сели за стол в мэрии, написали манифест и стали думать, как бы им учредить республику и Коммуну. А Коммуну они себе представляли отнюдь не как коммунизм, а как парижское и французское самоуправление. Слово «коммуна» во Франции никогда не имело того значения, что в России. «Коммуна» было расхожим словом, на французском сленге коммуной назывался каждый город, каждый город имел городское самоуправление, и это и была «коммуна» с советниками по социальным и по экономическим вопросам. Они набрали заложников; однако тронуть их не тронули, им не пришло в голову, что заложников можно убивать. И я думаю, что они были очень шокированы и удивлены, когда версальцы решили с ними обойтись как с инсургентами. Это был заговор в кафе. Это был больше кинематограф и кафе-шантан, чем разинский и пугачевский бунт. И Флуранс, и Делеклюз были хотя и старыми волками социализма (как они думали), но про социализм они прочитали в книжках у Кабе («Путешествие в Икарию»). Они прочли очень много хороших книжек, сделали из них свои выводы и представляли они себе республику, социальный прогресс и социальное равенство примерно так, как это представляли себе даже не якобинцы, а старое доброе третье сословие образца 1789 года. Скорее даже как аббат Сийес и генерал Лафайет, потому что это были люди просвещенные, из хорошего общества, просто старые романтики. Бланки в этот момент фактически не участвовал в Коммуне.

Их очень жалко. Они, конечно, не заслуживали такого отношения к себе, как большевики.

Там был только один начинающий большевик, якобец Риго, и он все время требовал, чтобы кого-то убили, кого-то повесили, кого-то ограбили, пролили кровь, но его коллеги по Парижской коммуне просто пожимали плечами. К тому же во Франции всегда такие бульварные революции, очень красивые, с игрушечными баррикадами, вполне кинематографические. Они вошли уже в добрую традицию. Мало того: с 1789 до 1795 года у них

вообще была сплошная перманентная революция. Потом 1830-й, потом 1848-й, так что 1871-й у них просто вписался в сценарий. Единственное, что у них было красным, — это красные знамена. И поэтому у Маркса были основания обрадоваться и мало было оснований ужасаться тому, что произошло, потому что это был заговор научных фантастов.

На самом деле, наверное, они даже не заслуживали того, что с ними потом сделали. Надо было посмеяться, надо было в газете написать про них какой-нибудь фельетон, совсем не обязательно было расстреливать и ссылать в Новую Каледонию. Французы очень сильно обожглись на 1792-м, на 1793-м, на 1794-м. Они принимали меры заранее. Это можно понять. Можно понять Гизо. Можно понять Тьера. Они ожидали, что на следующий день после победы коммунаров будет установлена новая гильотина, хотя ни Флуранс, ни Делеклюз не были на это способны.

Нельзя шутить такими вещами. Коммунары поплатились за неуместные шутки. Нельзя шутить охлократическим бунтом, нельзя никого поднимать против незыблемых законов нормального человеческого буржуазного общества. Нельзя отрицать частную собственность — даже на словах. Нельзя ставить под сомнение социальное неравенство в стране, которая очень сильно за это поплатилась. А Франция к этому моменту поплатилась за это достаточно сильно. Якобинский террор и гражданская война — это запомнилось на всю оставшуюся жизнь.

Поэтому не следует думать, что Маркс и Энгельс были хотя бы меньшевиками. Они были слишком хорошо воспитаны для того, чтобы быть меньшевиками. По нашей шкале ценностей Маркс и Энгельс тянули на кадетов. Не на октябристов, конечно; но на кадетов они тянули вполне. Никогда бы они не стали ни эсерами, ни эсдеками. А «Манифест»? Подумаешь, «Манифест»!

Их книжка попала в неблагоприятную среду. Те, кто смотрел в эту книгу, видели в ней фигу, а не то, что в ней было написано. В ней было написано совсем не то. Не говоря уж о том, что это просто шутка, пасквиль, оранжевая альтернатива по-польски. Методика польской «Солидарности». Коммунистический манифест был написан

как розыгрыш. Он был написан исключительно для того, чтобы дать пощечину филистерам. Маркс и Энгельс просто забавлялись. Им очень хотелось оскорбить общественные вкусы, вызвать какую-то резкую реакцию. Это опять-таки была чистая литература. Но эта чистая литература была воспринята у нас на Руси на полном серьезе, как руководство к действию. Вплоть до общности жен. Не говоря уж о том, что следует всё обобществить. То есть большего абсурда представить себе нельзя. Тем не менее родилось сразу два направления, причем впопыхах, следом за «школой» народовольцев.

Не успели народовольцы «сойти» (как сходят маслята, и потом появляются лисички или, скажем, белые грибы, а за белыми грибами, в свою очередь, появляются рыжики и грузди), как возникли эсдеки и эсеры. «Седые» и «серые» на тогдашнем сленге. (Так они назывались в фольклоре.) Они были очень похожи. Чем же они были похожи? Совершенно антилиберальными тенденциями. Индивидуализм как философия открытого общества, как философия общества, не имеющего конечного ответа, последнего ответа на все вопросы, не имеющего жесткой формулы и не имеющего надежды на установление идеального общественного устройства, вообще не имеющего вектора надежды на какое-то царство Божие на земле, ими отрицался. Общественная конструкция у них выглядела следующим образом. Эсеры обожествляли крестьянина и видели в нем идеал. Эсдеки обожествляли рабочего. Ни те ни другие ни в грош не ставили интеллигенцию, то есть сами себя. Они обожествляли коллектив. Коммунитарная психология лежала в основе их очень глубоких заблуждений. Понятно, что они были, во-первых, носителями славянской концепции. Сейчас это нам выйдет боком.

Долгое время славянская традиция нам не мешала. Было достаточно неприятностей с византийской традицией, ордынской традицией, с традицией Дикого поля, но вот с конца XIX века чистая славянская традиция, традиция коммунитарного развития начнет отравлять все плоды и все источники, как некое ДДТ, разбрасываемое сверху, с вертолетов. Коллектив (неважно какой, где он работает, на поле или в цеху, важно, что это некая

общность) отрицает личность. Личность не имеет там никакого значения. Она не приоритет ни для рабочего коллектива, ни для коллектива крестьянской общины. Личность не считалась, не котировалась, интересы ее совершенно не учитывались. Утверждалось, что она вполне счастлива быть винтиком. Вот они, будущие сталинские винтики — задолго до того, как Иосиф Виссарионович сможет эту концепцию озвучить!

Более того, они видели своего врага в Западе. И те и другие. Эсеры не выносили Запад, потому что Запад нес с собой отвратительную им механизацию, технику, будущую технотронную эру, техническое развитие. Им казалось, что это нашу пастораль отравит и исказит, даже изуродует. Опять в основе лежит неприязнь к Западу, неприязнь к цивилизации, неприязнь к высокой технической культуре. Отсюда берет начало узенький ручеек мифа о бездуховности Запада. О том, что если у вас моют тротуары с шампунем, то, значит, вы уже не можете иметь высокое духовное развитие. Высокое духовное развитие присуще только тем, кто сидит с голой задницей на свалке, желательно при этом сопливый, невымытый, оборванный, ковыряя в носу, и моет голову примерно раз в год. При этом он от духовности просто светится. То есть это духовность юродивого. Грязного, с веригами, в женской рубаше, который бегаёт с колом по площади где-то у Василия Блаженного и Лобного места. Очень старая традиция. Узнаете? Та самая традиция коммунистического развития, и славянская традиция, и традиция Дикого поля, и ордынская традиция, отрицающая западную культуру, разрушающая ее.

А что было у эсдеков? Что было у наших дорогих «седых»? Эти ребята тоже ненавидели Запад. Они любили рабочего. На Западе, с их точки зрения, рабочих страшно эксплуатировали и выжимали из них все соки. Они полагали, что именно им предстоит создать общество, где рабочие станут правящим классом и не будут подвергаться никакой эксплуатации. Отсюда идет знаменитый лозунг. Последний его носитель — наш Святослав Федоров: «Фабрики — рабочим, и заводы — тоже». А всё вместе это восходит к нашему старому другу Огюсту Бланки и к анархо-синдикалистам, которые считали, что

в обществе не нужно ни администрации, ни аппарата, ни менеджеров, ни владельцев этой самой частной собственности. Достаточно всё взять и поделить — и всё будет работать; производительность труда будет повышаться, и чудеса высокой производительности труда очень быстро перекроют все буржуазные показатели.

При этом и те и другие, и эсеры, и эсдеки не выносили индивидуальность, отрицали западную цивилизацию и не видели особого смысла в конституционном развитии страны. Они всегда считали парламенты буржуазной говорильней. Личная свобода, вне социального аспекта, не ставилась ими просто ни во что.

Несчастные декабристы, которые мечтали этот самый народ освободить! Несчастные кадеты, которые столько времени посвящали идее конституционного устройства России! Здесь господствовал чистый Брехт:

Вы учите нас жить во славу Бога:
Не воровать, не лгать и не грешить,
Сначала дайте нам пожрать немного,
А уж потом учите честно жить.

Как вы понимаете, до честной жизни просто уже не доходило, а вот насчет того, чтобы пожрать немного, — это был единственный лозунг и большевиков, и эсеров, и эсеров-максималистов. Да, были же еще эсеры-максималисты! А это кто такие? Это родоначальники троцкизма. Если просто эсеры занимались террором как бы функционально, до достижения определенного результата (скажем, разбежится весь правящий класс, вот здесь мы и закончим), то эсеры-максималисты вообще никаких пределов не видели. Перманентный террор. Так же, как перманентная революция. В принципе, это вид философской шизофрении, философской паранойи. Потому что есть философские учения, которые являются разновидностью такого метафизического параноидального развития мыслящей личности. Когда личность начинает полностью не считаться с реальностью, когда реальность идет направо, а личность идет налево, и при этом личность продолжает настаивать на том, чтобы реальность повернулась и пошла в ее сторону, — это, конечно, социальная и политическая паранойя.

И плюс к этому прибавлялось ордынство. Как вы понимаете, византийской традиции еще нет, византийская традиция снова возникнет при Сталине, когда он начнет отстраивать жесткую иерархию. Но уже была ордынская традиция, она все время жила в нас, потому что левые, собственно, были законченными империалистами. Если кто-нибудь считает, что первая плеяда большевиков не была имперски настроена, потому что они отпустили на все четыре стороны Польшу, Финляндию, даже ратовали за свободу для Кавказа, он сильно ошибается. Вспомните, во что вылилась свобода на Кавказе. Как Орджоникидзе бил по морде грузин за намерение отделиться, и как большевики тут же прибрали к рукам Среднюю Азию. Так что они были империалистами, но только они были очень практичными империалистами. Они понимали, что можно разжевать только тот кусок, который имеешь шанс проглотить. Ленин был вообще очень умным человеком, он знал, что он не удержит Финляндию и Польшу, поэтому он поступил, как в русской народной сказке: «Дарю тебе индюка». Есть такая сказочка: барин и мужик об индюке заспорили. Мужик нес индюка под мышкой, а барин ехал в карете (или в бричке, или в двуколке) и потребовал, чтобы мужик отдал ему индюка. Мужик не хотел отдавать, тогда барин просто отобрал этого индюка. Здесь мужик сообразил что-то, бежит он за этой тележкой и кричит: «Дарю тебе индюка, дарю тебе индюка!»

Вот так получилось с империализмом. Они прихватили всех, кого имели шанс удержать реально, кого в этот момент можно было захватить. Поэтому ордынская традиция ни на секунду не прекращалась.

И, конечно, жила традиция Дикого поля. Абсолютно асоциальная традиция. Традиция, полная ветра, песка и пороха — и разгульной удали. Традиция, исключаящая, что кто-то будет спокойно спать в своей постели, а завтра утром пойдет в лавку. Традиция, исключаящая человеческую жизнь, потому что вечный ветер перманентных революций задувает огонь жизни. Жизни не остается. Какая жизнь может быть в этом кочевье, в седле, куда тебя кидают поперек? Они отнеслись к стране, как к полонянке, как к пленнице. Они бросили

ее поперек седла и куда-то повезли. А когда довели, они, собственно, не знали, что с ней делать, потому что они не могли ее кормить, они не знали, как это делается. Они не умели ею управлять. В принципе, первая генерация большевиков могла Россию только изнасиловать. Даже для того, чтобы поработить, надо иметь какие-то механизмы, функциональные придатки. Институт рабства требует все-таки сложной социальной организации. Должны быть надсмотрщики с бичами; одни рабы будут работать в доме, другие — на поле, третьих повьсят, они будут приказчиками, кого-то можно будет сделать вольноотпущенником. То есть рабство требует некой стабильности. Стабильность наступит за гранью 20-х годов. Чистое рабство будет отстраивать Иосиф Виссарионович, когда пройдет звездный час автократии и вместо пика пойдет ровная безнадежная прямая.

Первая генерация, ленинская генерация — это скифы, это дикие насильники: перекинули через седло, оторвали голову, повесили у седла, изнасиловали, убили, залили кровью, подожгли. Больше они ничего не могли сделать. Всякая социальная организация была им чужда. Именно поэтому у первой генерации большевиков не превалируют концлагеря. ГУЛАГ будет отстроен потом. ГУЛАГ требует определенного количества вохры. Большевикам было проще расстрелять. Что они и делали, расстреливая всех тех, кого потом будут отправлять по этапу после долгого следствия. Нужны же палачи! Палачей надо отправлять на службу. Присваивать им очередные звания, вешать погоны, выдавать карточки. Нужны тюрьмы, нужны орудия пыток, для этапов нужны вагоны. У большевиков было проще. Здесь был нужен только маузер и пуля в затылок. Поэтому большевики работали с очень небольшим набором инвентаря. Маузер — и никаких проблем. Утруждать себя судами они не собирались. Они даже не делали вид, что их жертвы чем-то виноваты. Они были восхитительно просты. Просты как грабли. Это потом у Иосифа Виссарионовича возникла дюжина концепций, что одни — немецкие шпионы, другие — английские, третьи — германские. Кто-то подсыпает в удобрения отраву. Кто-то в масло стекло подсовывает. Нет, наши большевики ничего такого не разрабатывали.

Они просто говорили: чуждый класс, буржуазный элемент. Они уничтожали целые сословия. Планомерно. И не делали вид, что эти сословия чем-то перед ними провинились. Это был предварительный этап, звездный час автократии, с полным отсутствием идейного обоснования или какого-то политического оформления. Это, может быть, было повторение якобинского террора, в том смысле, что те ребята тоже не занимались оформлением. Они говорили: «Смерть аристократу, смерть врагу нации». Восхитительная простота! Конечно, Дикого поля в этом было очень много.

Так что эсеры и эсдеки друг друга стоили. И когда позднейшие исследователи с большой важностью запишут в толстых фолиантах, что если бы Учредительное собрание не было разогнано, то страна могла бы спастись — это всё будет полнейшей чушью. В Учредительном собрании большинство принадлежало эсерам. Эсеры ничем не отличались от большевиков. В этот момент надежды уже не было.

Дело идет к 1905 году. Только что попытались убить Александра Третьего — и неудачно. Александр Третий был гораздо менее привлекателен, чем Александр Второй, который почти что дал России конституцию. Конституционная монархия едва не родилась тогда.

Александр Третий уже ничего давать не хотел, кроме железных дорог и хорошего управления. И тут всё срывается в Русско-японскую войну. Русско-японская война была очень похожа на чеченскую войну. Япония ведь не была частью тогдашней Российской Федерации (империи). Она была похожа на чеченскую войну атрибутикой, риторикой и общественным настроением. Дикая ксенофобия! Чего только не говорили о японцах! Что они — желтолицые макаки, например. Знаменитый «Варяг», как правило, сейчас исполняют без одного куплетика, а в этом куплете было сказано, что на каком-то японском корабле «ждут желтолицые черти». Японцы были виноваты в том, что у них был другой разрез глаз, что они принадлежат к другой расе. В принципе, Россию в этот момент захлестывал нацизм. Не хватало только того, чтобы с ним соединился социализм, и была бы проведена первая свертка исторических часов. И первое испытание

на прочность будущей гитлеровской концепции. Это был расизм. Белая раса срочно решила презирать желтую расу, и на этом основании (поскольку мы их шапками закидаем и разобьем) срочно понадобилось завоевывать японцев. С чего это началось — неважно, важно, чем это закончилось.

Этот ура-патриотизм, помноженный на ксенофобию, естественно, сопровождался дикой военной некомпетентностью. Помните, что время от времени России надо терпеть поражения для того, чтобы проводить военную реформу. Со времен Александра Второго прошло уже немало лет, и за эти годы армия успела благополучно отстать. Ее адмиралы, в основном, к тому времени были такими же надутыми и напыщенными идиотами, позвякивающими орденами, как наши с вами генералы. Если пойти сейчас в Министерство обороны, то там можно обнаружить живые классические пособия по истории Русско-японской войны. Такие же надутые чинуши, такие же бездарности, с таким же количеством звезд, с таким же самомнением. Они были совершенно уверены, что они разобьют японцев. Когда японцы стали их бить, поскольку японская армия действительно была в очень хорошем состоянии, и ее поддерживали на определенном уровне, россияне были потрясены и ошарашены. Российская империя обиделась, чуть ли не до самоликвидации в ходе 1905 года. Обиделась она, конечно, не на себя, как водится, а на собственных монархов, которые во всем оказались виноваты. Хотя вина была обоюдная.

Здесь уже на народ нашло разочарование и омрачение. Обратите внимание на то, из-за чего оно нашло. Представьте себе полнейший успех на фронтах Японской войны. Представьте себе, что все японские острова были бы без боя легко взяты, с ходу, с наскока нашим родным российским флотом. Тогда волна ксенофобии, ура-патриотизма, и любви к монарху, и нежности к солдатикам, таким ладненьким, таким аккуратненьким, достигла бы каких-то невероятных степеней. Но когда оказалось, что эту самую армию бьют, любовь к царю немедленно пропала. Справедливое поражение очень болезненно воздействует на российские умы, а вот несправедливая, незаслуженная победа, вместо того чтобы вызвать отчаяние

и ужас, вызывает волну восторга. Как это было после подавления польских восстаний 30-х и 63-х годов XIX века. После того, как самым позорным образом Русско-японская война была проиграна, общество стало биться о стенку. Немедленно оно вспомнило всё: и что министры далеки от народа, и что помещики эксплуататоры, и что фабриканты пьют народную кровь.

В этот момент, однако, в России никто ничью кровь не пил. Самое интересное, что российские предприниматели еще в своей исторической колыбели очень умеренно пользовались своими возможностями.

Они были люди богобоязненные и страшно стыдились своего богатства. Так что когда возникнут партии прогрессистов, а их было несколько, и это были партии предпринимателей, они вместо того, чтобы форсировать либеральное буржуазное развитие, всячески будут стыдиться сами себя и станут чуть ли не социал-демократическими партиями, даже в большей степени, чем меньшевики. Потому что они будут требовать социальной защищенности для рабочих, будут всячески стыдиться своих капиталов. Это они построили воспитательные дома, создали рабочие кассы, столовые, больницы. В это время социальная защищенность русского крестьянина или русского рабочего, вокруг которых ходило земство и просто сдувало с них все пылинки, была выше, чем в Западной Европе. Она была незаслуженно высокой. Она была развращающе высокой. У нас было сколько угодно воспитательных домов. Пожертвований было столько, что хватало и на рабочие кассы, и на больницы. Собственно, даже не было повода для забастовок.

Каждый фабрикант считал своим долгом завести для рабочих какие-то развлечения и социальные гарантии. Это было просто какое-то социалистическое соревнование. Рабочие получали то, что они не зарабатывали. Не забудьте, что они еще и жалованье получали! Если бы не пьянство да время от времени случающийся недород, то, наверное, все россияне купались бы в молоке и ели мед пригоршнями. Конечно, случался недород, конечно, страна находилась в зоне, неблагоприятной для земледелия, но, в отличие от того времени, когда Ленин запретил помогать голодающим Поволжья и счел это контрреволюционной

деятельностью, в России очень быстро помогали голодающим. Тут же организовывалась подписка, тут же шли огромные пожертвования, тут же начинали кормить эту голодающую губернию. В этот момент уже осваиваются земли на востоке страны.

В Сибири иметь двадцать свиней или двадцать коров считалось неприличным. Считалось, что это бедняк, за таких дочерей не отдавали. Сибирь не знала крепостного права. Возникла интересная ситуация. Именно там, на востоке, могло создаться независимое фермерство. Именно там, в основном, заведутся те самые кулаки, которых начнут уничтожать большевики; в Сибири будут только зажиточные крестьяне. А бедняков там, как правило, не было. Там были слишком богатые земли. И те люди, которые шли в Сибирь заново организовывать хозяйство, знали, на что они идут, знали про суровый климат. Там не было бездельников. В России к тому времени мог быть голоден только законченный лодырь, только законченный алкоголик, только человек, который просто не хотел работать. Такие всегда и всюду будут голодны, и это нормально. Потому что тот, кто не работает, есть не должен. Классическая формула либерального общества: «Как потопашь, так и полопашь» справедлива и не отменяема.

Недаром одна из русских народных сказок рассказывает про крестьянина Власа, который предпочел, чтобы его утопили, но сухари мочить отказался. Добрая барыня ехала через деревню и увидела, что какого-то мужика засовывают в мешок. Она остановила свою бричку и спросила у крестьян, что они делают. А те сказали, что хотят Власа утопить, потому что он не работает. Барыня возмутилась. Предложила этого Власа отдать ей, потому что у нее полный амбар сухарей, и она не обеднеет от кусочка хлеба, зато душу христианскую спасет. Мужики растолкали этого Власа и сказали, что ему большое счастье привалило. Влас открыл один глаз и спросил: «А сухари моченые?» Барыня несколько оторопела и осведомилась, неужели же он сам не может сухари размочить, ведь воды у нее хватит. Влас подумал и сказал: «Да нет уж, несите, куда несли. Экая морока — еще мочить эти сухари». Здесь и барыня оставила всю свою благотворительность. Крестьяне завязали Власа в мешок и понесли топить.

И мне кажется, они это сделали совершенно справедливо. Стоило утопить за такие вопросы и за такие ответы. Если бы середняки и кулаки вовремя утопили будущих членов комбедов, то Россия избегла бы многих несчастий.

Тем не менее после того как обиженные на поражение в расовой и колониальной войне представители народа под руководством эсеров и эсдеков устроили маленький бунт в 1905 году, бунт сразу принял неконституционные и неевропейские формы, отнюдь не парижские. Парижские формы предполагали какую-то конституционную цель, права для третьего сословия или ответ на угнетение. Революция 1830 года — это ответ на дикие действия Карла X. Если бы он не нарушил права, гарантированные Хартией Людовика XVIII, революции 1830 года не было бы. Если бы развитие городского класса, развитие бизнеса не стеснялось ничем, то не было бы революции 1848 года. А здесь смысла не было вообще. Это был амок. Это был приступ безумия. Потому что люди, в том числе люди из образованных, тащили бочки и телеги и строили баррикады. Во имя чего, они сами толком объяснить не могли. Они хотели устроить что-нибудь веселое. Они это устроили. Было ужасно весело. Они замарали кровью всю страну. Потому что подавлять всё это государственной иерархии тоже было не очень приятно. Пришлось снимать гвардейские полки. Гвардейские полки, которые стреляют по баррикадам! Это было не их занятие, и это весьма запачкало их дворянскую честь. Пришлось знаменитому Плеве, которого потом убили с помощью бомбы люди Сазонова, потрудиться. Градоначальнику Трепову, которого пыталась застрелить Вера Засулич (хорошо, что не застрелила: если бы она его застрелила, некому было бы подавлять московское восстание), пришлось сделаться мясником. Пришлось прибегать к совсем уж некрасивым методам. Здесь никто не остался с чистыми руками, никто не остался в белых одеждах. Эти баррикады и то, что дело дошло до этого, — именно это потом вынудило Столыпина идти на военные суды, на такие первичные ОСО, когда осуждали без адвокатов. Я не думаю, что Столыпину это доставило большое удовольствие.

Едва ли и Пиночету доставило большое удовольствие делать то, что он сделал в Чили. Не думаю, чтобы Франко было очень приятно так обращаться с испанцами, как ему пришлось с ними обращаться. Но законы революции и контрреволюции — это, к сожалению, сообщающиеся сосуды. Для того чтобы подавить безумный бунт, нужны зачастую не очень изящные и эстетичные средства. В результате потом все ходят в грязных одеждах и с грязными руками и столетиями должны стирать с себя эту кровь. Общество находится в состоянии навсегда непримиримого противоречия. Потому что одни расстреливали других, одни другим рубили головы. Как дальше жить после этого — вообще непонятно. Большое спасибо эсерам и эсдекам! Они сделали что могли. Они навсегда поссорили и образованные классы, потому что половина этих образованных классов пошла на баррикады, а другая половина их с этих баррикад сдирала. Половина гвардейских полков приняла участие в карательных акциях. Половина отказалась принять в них участие. Какая-то часть народа пошла на баррикады, а какая-то часть его же потом была студентов в предчувствии будущих эксцессов 1917 года. Одних сделали охотнорядцами и черносотенцами, а других сделали карбонариями.

Тот процесс, который инициировали те, кто придумал баррикады 1905 года, был роковым. Они не ведали, что они творят, потому что они непоправимо исказили все общественные процессы. Конституционного развития уже не могло быть. Манифест 1905 года — это было все равно, что выливать ведро воды в лесной пожар. Пар, шипение, а огонь продолжает безумствовать. Эту стихию нельзя было уже подавить никаким конституционным манифестом. В России пылало пламя ненависти. Причем такое пламя, что только с ядерным реактором, с тысячью Чернобылей можно было его сравнить. 1905 год предопределил 1917 год. Части общества непоправимо возненавидели друг друга. Социальная и политическая ненависть достигли таких степеней, что развести это общество можно было только, наверное, на разных концах страны. Одних — в Мурманск, других — во Владивосток, потому что вместе они больше жить не могли. Не считая того, что особенным терпением у нас необразованные

классы не отличались. И, кроме этого, нередко были случаи, когда в 70-е годы XIX века какой-нибудь крупный предприниматель или аристократ (или даже помещик), хотя они были люди достаточно консервативные, давал своему домашнему учителю или врачу крупную сумму денег и говорил: «Отдайте кому нужно. Это на динамит, и пусть всё поскорее кончится». То есть степень безответственности элиты не знала себе равных.

Как можно было окончить какую-то общественную рознь или общественное противоречие (или роковое отставание страны) с помощью динамита, они, наверное, и сами не понимали.

Но долго, в течение веков, терпеливо работать, ползти по сантиметру, как улитка по склону Фудзи, — это кажется скучным для нашей широкой славянской природы, поэтому проще было дать деньги на динамит.

Деньги на динамит поступали исправно. Динамит исправно использовался, а потом уже и винтовки покупали.

И вот среди всего этого безумия является Столыпин. Человек современного склада, западник, либерал, но реалист. Он видит страну такой, какой она была. Он видит обезумевшую страну. Он начинает ее постепенную реабилитацию. Чего он хочет для этой страны? Он хочет, чтобы она постепенно, по сантиметру, выползла из этого огнедышащего озера.

Потому что это было какое-то ядро Солнца, где бушевала плазма. Это была плазменная реакция. Эту реакцию надо было остановить. Нужно было личность развести с коллективом. Потому что личность, оставшись одна, взялась бы за ум, стала бы заботиться о своем благосостоянии, о своем образовании, о своей семье. Ей бы понадобились законы и правовые гарантии. Столыпин начал строить наш Запад снизу. Но ему мешали и снизу и сверху. Снизу был вулкан. Сверху были идиоты, которые в Столыпине видели чуть ли не революционера, которым он отнюдь не был.

Он был типичным классическим эволюционером. Если бы они встретились с Егором Гайдаром, они бы прекрасно друг друга поняли. Фактически это те же идеи, только высказанные на несколько разных языках. Все-таки с тех пор прошло восемьдесят лет. Столыпин взял себе за

образец английское общественное развитие. Собственно, он хотел написать нашу Великую хартию вольностей. Но он хотел, чтобы эта Великая хартия была дарована не сверху, а была выношена и рождена снизу. Естественно, глупые надутые министры, звенящие медалями, которые не выносили интеллектуалов, его терпеть не могли и всячески против него интриговали. То есть отношение к Столыпину было очень похоже на отношение к молодым реформаторам, хотя он молод не был. Но он был интеллектуалом, а значит, в глазах номенклатуры двора он был младшим научным сотрудником в розовых штанишках. Хотя у него были вполне солидные чины и вполне солидные ордена, его всячески вытесняли. Он был либералом, он не был черносотенцем, он очень прохладно относился к охотнорядцам. Он вообще к идиотам относился прохладно, а в России в этот момент были только крайне левые и крайне правые. Средний класс или не осознавал себя, или пытался прижаться к этим левым и правым. Он не имел собственных политических выразителей. Кадеты, которые могли бы стать его выразителями, в то время прижимались к левым, а октябристы или уходили в правый галс, или начинали извиняться за то, что у них есть деньги, как будто они эти деньги украли, хотя они их честно зарабатывали.

Словом, ситуация была абсолютно безвыходная, но Столыпин боролся до конца. Реформы не пошли по совершенно трагической причине. Крестьяне, которым дали, наконец, выйти из общины, из общины, в сущности, не вышли. Вышло меньшинство, большинство осталось. То есть Столыпин открыл клетку, а из клетки никто не пошел, из клетки надо было уже вытаскивать силой. Но у Столыпина не хватило на это времени. Его убили слишком рано. Тем более что ему все время угрожала традиционалистско-консервативная реакция, полицейская реакция сверху.

Это была трагическая жизнь. Он не нашел признания у современников. Интеллигенция, которая к этому моменту совершенно обезумела, которая ненавидела всё правое и даже ходила с левой, как потом напишет Маяковский, не только не прислала никаких венков и адресов на его могилу, но даже мнение, изложенное

в леволиберальных газетах (да и просто в либеральных), если его сформулировать на современном языке, звучало примерно так: собаке собачья смерть. Сочувствовать ему считалось неприличным. И даже когда эсеры-максималисты взорвали его дачу, искалечили его дочь, убили сто человек гостей, причем сам Столыпин остался жив, никто этим не возмутился; это всё было в порядке вещей. До какого параноидального безумия всё это дошло, можно судить хотя бы по спору Достоевского с его издателем, где они создают опытную ситуацию, ситуацию некоего теста. «Что, если вы сейчас узнаете, что кто-то собирается взорвать Зимний дворец? Пойдете ли вы доносить, расскажете ли вы кому-нибудь или ничего не сделаете?» И получилось, что даже Достоевский, который к тому моменту уже был монархистом (или по крайней мере себя так называл), который оставил социалистические заблуждения на каторге, в «Мертвом доме», и который пытался быть традиционалистом, не пойдет доносить и никому ничего не скажет. Потому что общественные настроения этого не допускали. Потому что это неприлично, потому что это не принято. Сочувствовать левым было принято настолько повсеместно, что поступать иначе казалось слишком страшно. Слишком велико было давление левых.

Столыпину пришлось не только терпеть плевки и оскорбления от интеллигенции, но переносить ненависть того самого народа, который он освобождал от векового рабства, и презрение правых черносотенцев, и оскорбления и пренебрежение от царя, которому он, может быть, сохранил жизнь на лишнее десятилетие.

Ему еще пришлось взять на свою совесть эти военные трибуналы. Я не думаю, что человеку из общества, воспитанному, религиозному, это было очень легко. Тем не менее ему пришлось проливать кровь, ему пришлось подавить это всё своими руками, и он это сделал. Он зажмурился — и это сделал. Это надо было сделать. Другого выхода не было. Общественное безумие было настолько велико, что его нельзя было погасить водой, его можно было погасить только кровью. Без этих столыпинских трибуналов, без галстуков, о которых пели во всех кафешантанах: «У нашего премьера ужасная манера

на шею людям галстуки цеплять», — без того, чтобы позволить премьеру полностью погубить свое доброе имя, Россия закончила бы свою предоктябрьскую историю не в 1917 году, а на одиннадцать лет раньше. И лишние 11-12 лет жизни стране подарил Столыпин. Правда, они не пошли ей впрок. Первый приступ прошел, вторую волну удалось сбить; кому-то даже показалось, что навсегда, но обмануть историю было нельзя.

Потому что Думы — это не индикаторы. Думы — это анкеты. По этим анкетам, по первым четырем Думам, было ясно, что происходит в стране. Когда в первой Думе оказалось большинство левых экстремистов, и она была очень похожа на то, что мы видим в Охотном ряду, когда в первую Думу попадали делегаты, которые выворачивали унитазы из импортной сантехники, хотя им платили вполне приличное жалованье, и продавали их, уже всё было ясно. Когда одного из депутатов, который был вполне обеспечен правительством, поймали с краденым поросенком на базаре, можно было бы сделать вывод, что имущественный ценз недостаточен. Нужна была система тестирования, которой тогда не знали. Применялся имущественный ценз, а сейчас и он не применяется. Сейчас, пожалуй, поздно его применять, а тогда было в самый раз. Милюков несколько раз не мог попасть в Думу, потому что он не был домовладельцем, он не мог преодолеть ценз. Конечно, эти ячейки сита были рассчитаны не на Милюкова, сделаны не для того, чтобы не допустить в Думу Милюкова. Всё это было придумано, чтобы не допустить в Думу обезумевших левых, этот охлократический элемент. Первую Думу пришлось просто разогнать, потому что она превратилась в штаб заговора.

ГКЧП следовало за ГКЧП, только было кому их подавлять. Пока был жив Столыпин, всё это довольно быстро убиралось. Возникла следующая Дума.

Вторая Дума была еще хуже. Если вы хотите представить себе, что это было, купите себе билет (если они продаются) в нашу замечательную Думу и посмотрите, какие там картиночки висят на стенах, чем там депутаты занимаются. Но тогда страна была в большей степени раскалена. Тогда за стенами Думы была очень горячая среда. Достаточно было бросить спичку — и всё

бы вспыхнуло опять. А Дума не спичку, а просто пачки свечей бросала в эту горячую среду. Пришлось и ее разогнать. Третья Дума была лучше, чем вторая, но не потому, что народ опомнился, не потому, что по выборам не прошли экстремисты. Просто экстремистов поубавилось. Столыпин очень многих успел повесить, остальные разбежались. Он жестко подавил охлократический бунт.

Поэтому третья и четвертая Думы были уже на что-то похожи. Худо-бедно они могли работать. Правда, у них не было ответственного министерства. Что такое ответственное министерство? Ответственное министерство — это для Англии прекрасно, для Соединенных Штатов необходимо, для Франции временами опасно, так же, как и сейчас, потому что там Национальное собрание левое. Министерство, которое отвечает перед социалистами, соответственно работает не на страну, а на социалистическую партию. То же самое было и тогда. Ответственное министерство — это министерство, которое подчиняется не двору, а подчиняется этому самому Конвенту, этому самому будущему Совнаркому. Кадеты всю дорогу боролись за ответственное министерство. Если бы ответственное министерство было дано Думе тогда, охлократический октябрьский бунт произошел бы раньше, потому что всякое экономическое развитие было бы остановлено этими левыми затеями. Ведь экономике они не учились. Ни одного экономиста из левых не было в Государственной Думе. То есть там даже и Задорнова не было. Там были в лучшем случае юристы, но абсолютно не знавшие экономики. Если бы им досталось в руки управление экономикой России, экономика была бы развалена в несколько месяцев.

Так что то, что ответственного министерства не давали, было величайшее благо. Та четыреххвостка, о которой все время мечтали левые, да и интеллигенция мечтала, тоже была большое зло. Что такое четыреххвостка? Это то, что мы с вами имеем сейчас. Это наша хрустальная мечта, которая оборачивается против нас же. Всеобщее, равное, тайное, закрытое голосование. Альфа и омега. Все видели это во сне. Никто не предполагал, что эта четыреххвостка поставит во главе страны левые экстремистские элементы. А предполагать надо было, потому

что это было ясно уже с 1905 года. Что такое система общих выборов (равных, прямых и тайных) во времена катаклизмов? Во времена катаклизмов избирательное право не является примиряющим элементом, оно не является заменой гражданской войны, оно, скорее, становится инициатором гражданской войны, оно спусковой крючок, на который нажимает палец всеобщего голосования, а дальше начинается сама гражданская война. Причем начинается с парламента — и именно в парламенте. Парламент становится взрывным устройством. И это взрывное устройство распространяет свои зажигательные волны по всей стране. И в конце концов вся страна превращается в один сплошной пожар. Вы уже видели это один раз, мы все видели это в 1993 году. Это классика: две первые Думы и Верховный Совет. И это еще раз повторяется сейчас.

Парламент служил детонатором взрывному устройству, но после Столыпина никто уже не знал, что с этим делать. Политические партии были крайне слабыми. Они были безответственными, потому что никто из них не привык отвечать за страну. Худо-бедно за страну отвечала монархия, неповоротливая, косная, традиционалистская, но все-таки менее безответственная, чем эти политические партии. У нас кадеты, наиболее разумный элемент общества, дошли до Выборгского манифеста очень скоро, буквально за полгода. А что такое Выборгский манифест? Не платить налогов, то есть не давать податей, и не давать рекрутов. Это был откровенный вызов государству, и неудивительно, что потом все, кто подписался под Выборгским манифестом, получили кто полгода, кто год в крепости. Милюков был достаточно мирным профессором, который только и мог читать лекции. Но он все время попадал в какие-то переплеты. То его на полгода посадят, то на два года вышлют в Югославию в университете преподавать, то ему временно эмигрировать приходится, то ему на выбор предоставляют: два года сидеть или два года находиться за границей.

И вот, наконец, это Выборгский манифест. Кадеты не понимали, с каким они играют огнем, не понимали, что они капля в этом левом море и что они в нем утонут. Они всячески заигрывали с этим левым морем,

они шли к нему навстречу. Они, в конце концов, в этом левом море искупались — и утонули, как тринадцать негрятят.

Это их вина. Они не смогли создать никакого механизма защиты от этого левого моря. Они защищали страну от монархии. Они не думали, что ее надо защищать от левого экстремизма. То есть они, по сути дела, сами выковали для себя наручники.

Особенно глупо кадеты вели себя после войны, которая была очень некстати, потому что даже выигранная война — это способ раздать всем оружие. Люди получили оружие, люди научились убивать. Цена человеческой жизни крайне упала.

Война не была проиграна. Именно в 1917 году армия была достаточно победоносной, войну Россия не проигрывала. Голода не было. Земство было как никогда сильным. Действовал Земгор, то есть Союз городов и Земельный союз.

Плохо было другое. Плохо было то, что люди в окопах полностью вышли из социальной структуры и отстроили себе новую. Демократы и либералы не владели способами агитации среди масс, у них это не получалось, хотя они и газеты издавали, и клубы имели во всех городах, однако мало кто в эти клубы ходил, а левые прекрасно находили с народом общий язык, они, по сути дела, распропагандировали всю армию. Они действовали на очень примитивные комплексы, на инстинкты безусловно-го характера. Они действовали на желудочно-кишечные рефлексy, и у пролетариата, как у павловской собаки, в нужный момент выделялась слюна, а иногда даже желчь. Они успели доказать народу, что чиновники, дворяне, интеллектуалы, предприниматели — это их враги. Что все, у кого есть деньги, — их враги, что они обобраны, что наверху все — взяточники, все — коррумпированные элементы, что их все время грабят. Не нужно далеко ходить за разъяснениями и за историческими примерами. У нас сейчас точно такая же ситуация. Иметь деньги считается преступным. Писать книги, за которые платят девяносто тысяч долларов каждому автору, тоже считается преступным. Народ якобы обобран, режим якобы антинародный.

Самое занятное, что этот антинародный царский режим не в состоянии был справиться со страной именно в силу того, что он был слишком народным.

Между прочим, Николай Второй был народником, примерно таким же, как те, которые когда-то пошли в народ. Он не был социалистом, но он настолько высоко ставил божественное право народа, что ему не могло прийти в голову к чему-то этот народ принудить даже для его блага. Воля народа, любовь народа, понимание народа, уважение народа, то есть всё это гипертрофированное уважение к народу погубило не только монархию, но и всю страну. Если бы они меньше уважали народ, они, возможно, его бы спасли. Но они любили народ до такой степени, что погубили и народ, и себя. Потакая народу, чаще всего правительство его губит. Так всё и случилось.

К грани 1917 года наша страна представляет собой некий огнедышащий кратер. И, несмотря на успехи на фронте, уже существует параллельная власть. Возникают так называемые Советы. Что это такое? По сути дела, это якобинские клубы — система параллельной власти, которая не учитывает общественные реалии, экономические реалии страны, которая полностью исключает образованные классы из системы управления. Были Советы солдатских депутатов. Были Советы крестьянских депутатов. Были Советы рабочих депутатов. Но простите, не было ни одного Совета депутатов от учителей. Не было ни одного Совета депутатов от врачей. Разумеется, не было ни предпринимательских Советов, ни нотариальных Советов. Ни Советов юристов, ни Советов художников, то есть образованные классы общества и те классы, которые обладали собственностью, просто не учитывались этими Советами. Советы поэтому были чисто якобинскими клубами. И лозунг опять был тот же: смерть аристократу! Как выяснилось, не только аристократу, смерть любому врагу нации. И когда в Петрограде возникает (как всегда, на пустом месте) охлократический бунт, его можно было очень просто подавить. Так же, как легко было вначале, до 21 сентября, подавить бунт наших Совдепов 1993 года. И надо было захлебнуться слабостью, которой захлебнулась власть в Российской империи, надо было быть такими беззубыми, такими

неумелыми, такими не к добру идеалистами, такими наивными детьми, чтобы выпустить эту жар-птицу на свободу, чтобы она сожгла всё.

Они не попытались ничего сделать. Они могли ввести в город войска. Не было оснований для бунта. Белого хлеба было сколько угодно. Черного завести не успели. Потом эти же рабочие шли по набережным и громили кондитерские, где было достаточно тортов. Так что никакого голода не было. Всё это не было голодным бунтом. Это была блажь. Это был пароксизм безумия. Любое правительство обязано было это подавить. Но уже не было Столыпина, который готов был брать всё на свою совесть, готов был губить свою душу и свою репутацию во имя спасения страны. Не было и таких людей, как Трепов и Плеве, которые, не обладая ни совестью, ни интеллектом, тем не менее имели какой-то нюх цепных собак и понимали, что это надо подавлять. Подавлять было некому.

Здесь начинается, может быть, самый интересный период истории России — период дискредитации демократических идей. И период заболевания демократическими идеями, когда демократические идеи становятся СПИДом, полностью уничтожающим иммунитет против воли к смерти. И когда демократия становится причиной конца света.

Лекция № 11

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ — ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА

Предпоследняя модернизация в России имеет совершенно анекдотический характер. Она, пожалуй, была самой неудачной. Попытка скопировать европейские формы, школярская попытка срисовать приоритеты, стереотипы, саму систему координат европейской политической жизни, наложенные на совершенно неподготовленную к этому русскую почву, приобретают даже не щедринский, а прямо-таки уэллсовский характер из «Острова доктора Моро»! В этом романе путешественник

попадает на остров, где проводится странный эксперимент, где из животных путем вивисекции делаются якобы люди, псевдолюди, а затем они принуждаются к каким-то формам человеческой общественной и материальной жизни. Но у них это получается очень плохо. Они точат когти о деревья, втихомолку ловят кроликов, съедают друг друга. В конце концов, они съедают этого ученого и радостно, с энтузиазмом и визгом возвращаются в первобытное состояние.

В принципе, указ монарха в 1905 дал свободу всем формам общественной жизни. И если бы общество (всё общество) было к этому способно, то, наверное, лет за десять—пятнадцать из России могла бы получиться конституционная монархия. Но никакой конституционной монархии, вообще ничего конституционного из России не получилось. Здесь упреки можно делать не только левым (левым в принципе бесполезно делать упреки), но и правым. Левые — вне нормальной логической научной системы координат, левые всегда делают один и тот же вывод: если жизнь не согласуется с моими убеждениями, то тем хуже для жизни. Они жертвуют реальностью и требуют, чтобы им сделали красиво, чтобы им сделали хорошо. Левые алогичны, левые абсолютно лишены здравого смысла. Они даже не фантасты, потому что фантаст — это нечто безобидное. Фантасты садятся и пишут книжку и потом печатают ее в серии мировой фантастики. Это никому не мешает. Но левые пытаются свои фантазмы осуществить в реальной действительности. Из этого может выйти очень много неприятностей — и выходит. Рейтинг Григория Явлинского и поведение Григория Явлинского, и все постулаты и установки «Яблока» — это классика, это приметы классических левых. Правда, левых трусливых, левых осторожных, левых, которые уже обожглись на чужом молоке и поэтому дуют на свою воду. Но тем не менее это левые, которые требуют, чтобы не было бедных, хотя никому в мире еще не удавалось прийти к такому состоянию. Однако они требуют невозможного и спрашивают со всех по этим стандартам. А если не получается, то, значит, вы ничего не умеете. Тогда уйдите, убирайтесь и дайте поручить нам. В принципе, это меньшевизм. По сравнению

с большевиками «Яблоко» — это, быть может, последнее слово науки и техники, но по сравнению с мировыми законами и стандартами — это чистейший абсурд.

И вот в России, как на острове доктора Моро, начинается имитация либеральных процессов. Формируются партии. Крайне правые партии, типа пуришкевической фракции, этих традиционалистских ребят, совершенно исторически невежественны. Они требуют восстановления форм допетровской Руси. Они требуют, чтобы время пошло назад, причем пошло назад не символически, а практически. Чтобы восстановились материальные формы допетровской жизни, чтобы в России, которая к тому времени худо-бедно обзаводится какими-то заводами, фабриками, паровозами, железными дорогами, даже автомобилями, всё вернулось к XVII веку. И чтобы даже стиль питания и жизни установился по образу и подобию тех самых теремов, где все сидели до того, как Петр худо-бедно прорубил эту форточку в Европу. Традиционалистов можно не принимать во внимание, потому что они дикие, косматые, и если бы кто-нибудь ее у них купил, они продавали бы свою шерсть. Но шерсти в России пока достаточно, поэтому они шерсть не продают. Это Марков 2-й, Марков 1-й. То есть вместо того, чтобы оберегать классические правые постулаты, вроде частной собственности, свободной продажи земли, индивидуальной свободы, отсутствия избыточной социальной защищенности, они проповедовали то, что провозглашали наши драгоценные раскольники, только что не сжигались в скитах. Правые первых четырех государственных Дум — это фактически Раскол, только без героизма протопопа Аввакума.

Эти ребята не имели никакой склонности сжигаться в скитах. Но они не хотели, чтобы Россия стала европейской, раскованной, свободной, небрежной, цивилизованной страной. Они хотели, чтобы она окостенела в своем золоте, в своей бронзе, в своем мраморе. Им нужны были жесткая порфира государства, его золотая парча, византийские львы с зубами из слоновой кости и с золотыми гривами, троны с золотыми павлинами, шапка Мономаха. Они всё это воспринимали очень торжественно и очень некритично. То есть крайне правое крыло, к сожалению, состояло из дебилов.

Левое крыло тоже состояло из дебилов, но несколько иного рода — из одержимых фанатиков типа Марата и Робеспьера, причем все равно, к какой партии они принадлежали: к эсеровской или к большевистской. Это было одно и то же. Левые требовали невозможного — и правые требовали того же. И эта конфронтация двух невозможностей не давала ни света, ни тепла, от этого не крутились никакие динамо-машины и не зажигались лампочки: ни Ильича, ни какого-нибудь другого персонажа.

Это было бесплодно. Это был крутой отказ от разумной деятельности. У одних был монастырь, у других — казарма. Они были не от мира сего и тем не менее сей мир они вполне реально ненавидели.

Единственными реалистами могли быть партии прогрессистского толка. Их было достаточно много, это были партии предпринимателей. Но предприниматели чувствовали себя в России не в своей тарелке. Предприниматели не чувствовали живой почвы под ногами. Они зарабатывали деньги, они ворочали миллионами, они строили железные дороги, но они безумно стеснялись и своих денег, и своей образованности, и того, что они были не такие, как другие. Они не пытались поднять до себя Россию. Они все время спускались к ней. По сути дела, класс предпринимателей не создал своих партий, которые могли бы выстоять в надвигающейся буре. А уже летали буревестники, уже «седая равнина моря» выглядела весьма неблагоприятно. Уже собирался шторм, небо уже обложило тучами, но все гагары, как одна, спрятали свои (необязательно жирные) очень даже симпатичные и хорошо тренированные тела в утесах.

Никого не осталось над этой «седой равниной моря», кроме буревестников, бездумных, глупых, типа Максима Горького и Александра Блока, который заклинал духов, вызывал грозу, как некогда Фауст чертил на полу окружности и вопил: «Явись, явись, явись. Пусть это жизни стоит!» — не думая о последствиях. К сожалению, в это время в России было очень много поэзии и очень мало прозы. Поэты или ходили с морковками, как кролики, и щеголяли в желтых цилиндрах по примеру Владимира Маяковского и его футуристов. Как символисты, они

сидели у огня и пытались увидеть на этом огне некие лики грядущего. Так развлекался Александр Блок.

Чувства ответственности за завтрашний день, за страну не было фактически ни у кого, кроме кадетов. Но кадеты все время загребали влево. Их влекло большинство. Они не готовы были остаться одни наедине со страной, которая фактически уже падала в пропасть, и вытаскивать эту страну, и, быть может, загромить в эту пропасть, но, по крайней мере, попытаться сначала вытащить, попытаться настоять на своем, попытаться доказать свою правоту. Они к этому были не готовы. К этому не готовы были и октябристы. Одни бездумно цеплялись за монархию, как будто монархия — это только одна золотая парча и шапка Мономаха, а не определенная форма общественной жизни. Другие столь же бездумно отталкивали эту монархию. Беда наша была в том, что при невероятном количестве философов на один квадратный метр, при том, что у большевиков ушло несколько пароходов, чтобы вывезти этих философов из России, при наличии Бердяева, Леонтьева, Ильина, Соловьева и Бог знает еще кого, в России никто не думал. Никто не думал о конкретике. Никто не пытался приложить к жизни философские теории. В этот момент в России не было стен, не было крыши, не было потолка, не было почвы под ногами. Какая-то вселенская бездна и космический вихрь. Апокалиптическая картина. Что в этот момент происходило в России? Наверное, лучше всех это понял Пастернак, когда он писал стихотворение, посвященное Александру Блоку, которое так и называется «Ветер».

Он ветрен, как ветер. Как ветер,

шумевший в имени в те дни,

Как там еще Филька-фалетер скакал во главе шестерни.

И жил еще дед-якобинец, кристальной души радикал,

От коего ни на мизинец и ветреник-внук не отстал.

Тот ветер, проникший под ребра и в душу, в течение лет

Недоброю славой и доброй помянут в стихах и воспет.

Тот ветер повсюду. Он — дома, в деревьях, в деревне, в дожде,

В поэзии третьего тома, в «Двенадцати», в смерти, везде.

Зловещ горизонт и внезапен, и в кровоподтеках заря.

Как след незаживших царапин и кровь на ногах косаря.

Нет счета небесным порезам, предвестникам бурь и невзгод.
И пахнет водой и железом и ржавчиной воздух болот.
В лесу, на дороге, в овраге, в деревне или на селе
На тучах такие зигзаги сулят непогоду земле.
Когда ж над большою столицей край неба так ржав и багрян,
С державою что-то случится, постигнет страну ураган.
Блок на небе видел разводы. Ему предвещал небосклон
Большую грозу, непогоду, великую бурю, циклон.
Блок ждал этой бури и встряски, ее огневые штрихи
Боязнью и жаждой развязки легли в его жизнь и стихи.

Очень красиво, правда? Хочется броситься, бездна завораживает, ветер поет. Не надо было бросаться. Не надо было слушать. Надо было законопатить все щели. Надо было закрыть все двери. Надо было позвать всех детей домой. Сделать это было некому.

Неплохо это понял и Багрицкий.

Эдуард Багрицкий был отчаянным революционером, и только хроническая астма, которая, по счастью, не выпускала его из четырех стен его маленького домика в Одессе, помешала ему стать каким-нибудь красногвардейцем или чекистом. Он остался поэтом и, пылко всё это обожая, достаточно хорошо понял, что происходило. И заметьте, опять-таки все лезвия, все кинжалы, все струи ветра, все вихри и все цунами скрестились на фигуре Александра Блока, на лучшем выразителе бездны. Он был просто полномочным представителем Бездны в России тех лет. Вот что пишет Багрицкий о том, как всё это выглядело вначале: «От славословий ангельского сброда...»

Заметьте, ангельский сброд — это даже уже не атеизм, это даже уже не ересь, это какие-то вселенские степени демонизма. Это уже язык Демона, того печального Демона, духа изгнания, который витал над грешною землей.

От славословий ангельского сброда,

толпящегося за твоей спиной,

О Петербург семнадцатого года

ты косолапой двинулся стопой.

И что тебе прохладный шелест крылий,

коль выстрелы мигают на углах,

Коль дождь сечет, коль в ночь автомобили

на нетопырьих мечутся крылах.

Блок встречается с цыганкой, она гадает ему по руке.

Но линией мятежной

Рассечена широкая ладонь.

Она сулит убийство и тревогу.

Пожар, и кровь и гибельный конец.

Не потому ль на страшную дорогу

Октябрьской ночью ты идешь, певец?

О широта матросского простора!

Там чайки и рыбацьи паруса,

Там корифеем пушечным «Аврора»

Выводит трехлинейек голоса.

Еще дыханье! Выдох! Вспыхнет! Брызнет!

Ночной огонь над мороком морей...

И если смерть — она прекрасней жизни,

Прославленной, чем тысяча смертей.

Никогда не повторяйте ту пошлость, что русская интеллигенция не ведала, что творила, не знала, на что она шла. Она всё прекрасно знала. Она была очень хорошо образована. Она была эстетически одарена. Она тонко чувствовала. Она прекрасно знала, куда она идет и куда она тащит страну. Она полюбила бездну, она слушала голоса бездны. Она хотела низвергнуться в бездну. Ей было интересно. Она была заражена эстетической заразой в прямом и переносном смысле этого слова. Это была даже не корь, это была чума. Чума любопытства, чума пустозвонства, чума чистого эскапизма, эстетизма, экспрессионизма, символизма. Они сделали Россию строчкой и персонажем своего стихотворения и очень легко пожертвовали завтрашним днем этого персонажа. Они просто утопили Россию, как котенка. Они сделали это сознательно. Они бросились в бездну, прижимая к груди Россию.

Поэты, большевики, философы, начиная с Мартова и кончая юным Бухариным, который тоже очень внимательно читал Блока... Владимир Ильич среди них был главным реалистом, он как-то еще корректировал их поэтические терзания и поэтические подъемы и подгробал их в чисто политическое русло: где вилочкой, где лопатой. Без него они и вовсе бы в овраг ушли. (Например, время богостроительства Луначарского.)

На сцене совершалось захватывающее действие, равного которому не было в мире. А где-то там, за кулисами,

очень грамотный политический деятель выстраивал партию, которая могла уничтожить всю человеческую жизнь. Это было легко, потому что Ленин создал идеальное оружие. Большевики были тонко отточенным ножом, который легко вошел в кусок масла. Россия была куском масла. Мягким куском масла, не готовым сопротивляться никакому внешнему воздействию. Россия несла в себе пять традиций. Ей не на чем было укрепиться, не на чем было устоять, она рассыпалась на части и поддалась, когда в нее вошел этот нож. Этот нож повернули, и все цивилизационные системы были сломаны в один день. Тут же стали создаваться новые системы.

Но сначала был последний акт фарса под названием «Учредительное собрание».

Восемь месяцев Россия жила в республике. Это были восемь месяцев сплошных ошибок со стороны правых и очень успешных действий со стороны левых. Правое масло — и левый нож. Они лежали рядом, и они были абсолютно не равноценны и не сопоставимы.

После того, как всё обрушилось, буквально все начинают делать ошибки. Начиная с Николая, который ничего лучшего не придумал, как отречься от престола и устраниваться. Правые (те самые правые, которые якобы сильно любили допетровскую Русь) склоняли его к отречению. Так было проще. Левые не имели к нему доступа в этот момент, они не могли его ни к чему склонять, потому что вообще не хотели с ним разговаривать. Амок.

То, что происходит в эти восемь месяцев, можно назвать амоком. Это безумие. Самое настоящее безумие. Потому что когда брат царя надевает красный бант и является присягать Временному правительству — это, безусловно, опасное безумие и самоубийство.

Учредительное собрание — это один из самых опасных мифов нашей истории. И это, к сожалению, еще не изжитый миф, потому что всем вечно казалось (и кажется, и еще долго будет казаться), что народ, собирающийся на Земском соборе или в Учредительном собрании, учреждает свободу. Это отнюдь не так. Народ учреждает вовне то, что у него внутри. Если у народа внутри нет свободы, а только одна ярость «благородная» вскипает, как волна, то начинается война народная, гражданская война.

Не будет никакой свободы. Великая хартия вольностей и палата общин могли быть результатом собрания англичан, но не россиян. У нас были очень слабые, запуганные правые, которые стыдились самих себя и были неисправимыми народниками, потому что обожествляли народ и считали своим долгом служить ему, даже когда он был не прав. Они всегда соглашались с ним, потому что не соглашаться было неприлично. Никто не брал на себя смелость назваться антинародной партией, хотя именно в 1917 году нужны были антинародные партии. Тем не менее никто на это не пошел.

Учредительное собрание могло только зафиксировать непоправимо антилиберальное, несвободное, хаотическое, антиинтеллектуальное состояние общества. Оно могло подвести итог общественному безумию. Общественного разума не было. Общественный разум — это понятие, которое зиждется на индивидуальных разумах. В России этого просто быть не могло. У нас то самое вожделенное Учредительное собрание, о котором Зинаида Гиппиус пишет такие замечательные слова, что просто плакать хочется, стало бедой.

«Наших дедов жертва священная, наших отцов мечта вожделенная, наша молитва и воздыхание — Учредительное собрание — что же мы с тобой сделали?»

Ничего не сделали. Собрали и разогнали. А лучше бы не собирали вообще. Потому что это Учредительное собрание зафиксировало абсолютную неготовность общества к жизни на основах свободы. И ничего другого зафиксировать оно не могло. Самое интересное, что в тот момент, когда Учредительное собрание приступило к своему первому заседанию, гражданская война в России уже шла. То, что потом произошло, было закономерным итогом. Никакие правые в Учредительное собрание не попали, потому что партия кадетов была в этот момент уже разогнана. Партия кадетов уже была уничтожена и обречена. Шингарев и Кокошкин уже были убиты.

Это даже не беда русской интеллигенции. Это преступление русской интеллигенции. Керенский был левым демагогом, очень похожим на Григория Явлинского. Таким же подкованным, таким же речистым, таким же способным и честолюбивым — и таким же абсолютно

безответственным. Григорий Явлинский — это, в какой-то степени, последователь, эпигон и новое воплощение знаменитого Керенского в ситуации конца XX века, только пока не всё от него зависит (то есть практически ничего от него еще не зависит). А вот от Керенского зависело многое. Он мог одним движением, совершенно неощутимым, незаметным движением руки повернуть руль и вправо и влево. Он направил страну на рифы. Он тоже сделал это совершенно сознательно. У них была возможность спастись. Они ею не воспользовались. У них был Корнилов. Они могли довериться Корнилову, призвать его в Петроград, дать ему подавить охлократический бунт.

В этот момент никакие разговоры с левыми были невозможны. В этот момент решалось: или — или. Третьего было не дано. Надо было подавлять левый бунт, надо было подавлять эту интеллектуальную пугачевщину, надо было подавлять марксизм-ленинизм, надо было уничтожать левых — или быть уничтоженными. Они выбрали второе, но они-то сами предпочли спастись. Это вообще уже непростительно: то, что Керенский направил страну на рифы, а сам спрыгнул в последнюю шлюпку. Когда делаешь такие вещи, надо хоть уметь умирать. Керенский этого не сумел. Милюков тоже этого не сумел.

После того как они загубили Россию своей бездарностью, своей трусостью, своим пустословием и своей болтовней, они все прекрасно пристроились в эмиграции, написали кучу мемуаров, наговорили там несколько десятков кассет, дожили до глубокой старости и похоронены кто на Сент-Женевьев-де-Буа, кто на других уютных кладбищах.

После того как ты не сумел спасти страну, из нее нельзя бежать. А они и не пытались спасти ее. Они объединились с большевиками, они предпочли их Корнилову. Они выбрали. Этот выбор стоил жизни нескольким поколениям. Этот выбор стоил стране 60 миллионов жертв. Этот выбор, возможно, стоил России столько, что мы эту цену еще не уплатили и, может быть, нет такой платы, которую согласились бы с нас взять. Может быть, ситуация стала непоправимой; скорее всего, она действительно непоправима.

То есть левые были настолько сильнее правых, что правые не смогли с ними сразиться в открытом бою. Учредительное собрание созывается в тот момент, когда власть фактически уже принадлежит большевикам. И совершенно неистребимое, идиотское, детское заблуждение либералов, что большевики будут соблюдать конституционные формы (это идиотское заблуждение и сегодня в ходу: Зюганов, придя к власти, должен будет соблюдать конституцию), реяло над идеей созыва Учредительного собрания. Вы представляете себе Учредительное собрание с пустыми местами кадетов, которые уже объявлены вне закона, уже убиты, уже арестованы? Порядочные люди стали бы проводить заседание в этих обстоятельствах? Конечно не стали бы. Но там не было порядочных людей, там были левые, там пели «Интернационал». Учредительное собрание не представляло Россию. Оно представляло левую Россию. Гражданская война — это всегда чье-то поражение и чья-то победа. Консенсуса в ходе гражданской войны не бывает.

Если вы где-то прочитали, что после гражданской войны в Испании был некий консенсус, то есть пакт Монклоа, немедленно это забудьте, потому что на самом деле победу в гражданской войне там одержали правые. Они одержали ее настолько основательно, что через несколько десятилетий после окончания войны, ликвидировав коммунистов, уничтожив своих противников, они могли позволить себе консенсус с теми, кто принял их условия. Консенсус бывает после победы, а не вместо победы.

Франко был крайне неприятным человеком. Не думаю, что кто-нибудь из либералов мог бы с ним вместе что-то обсуждать и что-то делать, но Франко свою задачу выполнил: он уничтожил левую угрозу в Испании. Она была очень велика. Она была не меньше, чем в России. Это особенности развития Испании. Эта угроза была просто уничтожена, она была выжжена, как выжигают лес. И после того как этой угрозы не осталось, была подготовлена почва для гражданского общества, для гражданского мира, для всех на свете пактов, для совместных монументов. Но в течение тридцати лет до этого левых просто истребляли. Иногда прихватывая и совсем невиновных. И тех, кого можно было даже не трогать. Лорку

прихватили случайно. Величайший поэт Испании погиб в этой гражданской войне, причем не от руки левых, а от руки правых. Такие щепки летели! Мне очень жаль эти щепки — и даже сам лес. Но это цена. Это цена, которую надо было уплатить за избавление от левой угрозы.

В России не захотели платить эту цену. Цену назначили левые — и уплатила ее вся страна. Замечательное, историческое, долгожданное Учредительное собрание успело принять декрет о земле, который фактически от ленинского ничем не отличался; то есть за единственную ночь своей работы Учредительное собрание успело учредить тот Земельный кодекс, который сейчас не соглашается подписать президент Ельцин. Они успели запретить частную собственность на землю. Вот единственный материальный итог деятельности знаменитого Учредительного собрания. Если бы его не разогнали большевики, его надо было бы разогнать кому-то другому. Потому что такого рода Учредительное собрание не только не приносит никому пользы, но приносит даже вред. Это была историческая гримаса, которая очень неудачно спародировала народное представительство. Народное представительство заявило, что земля — Божья, и поэтому она не может быть в частной собственности. И я понимаю тот караул, которому надоело слушать эти глупости, тем более что эдикт Ленина о земле был уже написан, зачем же повторяться? Их всех просто попросили освободить помещение.

Дальше это перманентное Учредительное собрание начинает скитаться. Оно попадает то в Самару, то в Екатеринбург. Оно никому не нужно. Оно болтается у всех под ногами. В стране идет гражданская война. Учредительное собрание же пытается эту страну возглавить. Страна в этот момент не могла иметь единую власть. Учредительное собрание настолько всем надоело, что его то ли утопили, то ли частично перестреляли в Екатеринбурге или Омске (без ведома Колчака). Колчак такого распоряжения не давал. Он был очень недоволен. Он рвал и метал, но тем не менее депутаты казались никчемными людьми и в качестве таковых и были убиты. Они попали между молотом и наковальней. Эта парламентская эпопея закончилась

совершенно бесславно. Учредительное собрание зафиксировало состояние гражданской войны, то есть абсолютно непримиримые противоречия.

Жалкие остатки гражданского общества попытались сопротивляться. Но они были не в состоянии сопротивляться, потому что масло не может сопротивляться ножу. Если бы красным было оказано организованное военное и гражданское сопротивление, никаких большевиков в России бы не было. Тот, кто внимательно читал Владимира Ильича Ульянова, хорошего публициста и откровенного человека, который ничего не скрывал от потомков, тот знает, в какой панике были большевики, в какой они были истерике в первые месяцы после октябрьского переворота. У них не было ничего. У них не было кадров. У них даже бухгалтеров не было, некому было снять деньги со счетов банков и направить их на большевистские нужды. У них не было учителей для школ. У них не было врачей для больниц. У них не было никого, кого можно было бы послать с миссией за границу. То есть полный бойкот и полная обструкция со стороны грамотного сословия, со стороны управленческих кадров полностью уничтожили бы этот большевистский нарыв, эту злокачественную опухоль. Не считая того, что Россия была громадна до такой степени, что захват власти в Петербурге и Москве не мог привести к уничтожению гражданского устройства страны, скажем, где-нибудь в Восточной Сибири.

Но страна сдалась. Она сдалась, как заезженная кляча. Надо было только чуточку натягивать поводья, и она падала на колени и даже не лягалась. Знаменитое сопротивление большевикам кончилось, по сути дела, к 1920 году. Может быть, на Кавказе и в Средней Азии это продлилось до 1922-го. Западная Украина, когда ее захватили красные орды, сопротивлялась всей мощи Союза с 1939-го по 1955-й, ее хватило на шестнадцать лет. России едва хватило на четыре года. Россию взяли фактически без боя.

Откуда большевики набрали командиров для Красной армии? У них тогда не было Академии имени Фрунзе и военных училищ. Их еще предстояло создать.

Они не провоевали бы и одного дня, если бы к ним на службу не пошли такие скоты, как Тухачевский. Если

бы прапорщики Русской армии не почувствовали поживу и возможность сделать карьеру, шагая через ступени, становясь генералами, большевики проиграли бы. Но они, как последние проходимцы, за паек и за звание пошли служить в Красную армию.

Они дали им кадры, они создали им войска. Откуда красные взяли бы министров? Откуда они взяли бы инженеров и дипломатов? Они черпали всё это большой ложкой из России. И они гнали «спецов» не под дулами автоматов. В 1919 году еще невозможно было гнать инженеров и командиров под дулами автоматов. Литвинов был образованным человеком. Фактически все дипломаты были образованными людьми. Не все же были такими, как матрос Войков.

Кадры надо было где-то брать. Своих не было. Эти кадры пошли работать за четвертку махорки и красноармейский паек. Инженеры, правда, пытались оправдаться, что они работают для России, что все равно людям надо жить и что неважно, кому принадлежит технический прогресс. Это не оправдание. Вырабатывать те механизмы, которыми потом удушат всю страну! Они всё сделали собственными руками. Участь знаменитого инженера Пальчинского, который стал одной из первых жертв больших процессов, начавшихся в 1928 году, очень характерна и поучительна. Старый русский инженер был полезен большевикам, но у них хватило терпения только до 1928 года. С бывшими русскими офицерами у них хватило терпения только до начала 20-х. Поэтому когда в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» комбриг спрашивает своего антипода: «Что же вы нам так плохо противились?» — это, в принципе, правильный вопрос. Почему не сопротивлялись? Почему дали изнасиловать страну? Не суметь сопротивляться при таком превосходстве сил, при том, что они были кадровыми офицерами, — это была бледная немочь и неврастения.

Бездарность Белой армии была поразительна. Военные дарования-то у них были. Не было гражданских дарований. Не было умения договориться, выработать единую программу. Даже на грани гибели они не признали независимости Польши и Финляндии. Они все время выступали за единую и неделимую Россию. Они повесились на

своим империализмом, на своей косности. Они не приняли новых веяний. Более того, они и драться-то были не способны. Объясните мне, пожалуйста, каким образом могло получиться, что в Крыму 40 тысяч русских офицеров сдались Фрунзе после его обещания сохранить им жизнь, вернуть свободу и даже зачислить на службу в армию? Как можно было в это поверить и как можно было вообще соглашаться на такое? Если бы каждый русский офицер убил хотя бы по десять большевиков, Гражданская война кончилась бы полной победой этого самого населения, которое, как выяснилось, не было народом. Но население думало только о себе. Мужички, полностью лишённые гражданского чувства, государственного инстинкта и даже инстинкта самосохранения, думали только о том, как бы поделить землю. Они поверили большевикам. И когда большевики заменили продрозверстку продналогом, они пошли к себе домой. Как это у нас Борис Николаевич любит говорить? «Солить капусту на зиму». Вот они и пошли солить капусту на зиму. И когда они засолили всю эту капусту, где-то к 1930 году, очередь дошла до них.

Большевики очень грамотно всех убивали. Они убивали одних руками других, других — руками третьих, третьих — руками четвертых. И все ждали, когда настанет их очередь. Никто ни за кого не заступался. И все думали, что с ними-то ничего не случится. Левые не заступались за правых. Просто правые не заступались за крайне правых. Их били как хотели, и их не могли не разбить. Объясните мне, пожалуйста, почему адмирал Колчак, человек очень одаренный как военачальник, отдал Омск? Как можно было вообще оставлять города? Как можно было отправляться куда-то в Маньчжурию, положившись на чехословаков, неизвестно куда? Конечно, всё кончается пленом, расстрелом, процессом. Сами захотели. Если бы Белая армия не погрузилась на суда и не отплыла в неизвестность, чтобы никогда больше не возвратиться, если бы Белая армия не заперла себя в Крыму, если бы Белая армия сделала всё от нее зависящее, решив или погибнуть до последнего человека, или уничтожить большевизм, большевизм был бы уничтожен. Если бы гражданское население не пошло на службу к большевикам

и просто не давало бы комиссарам жить, по ночам бы их убивало, если бы была нормальная партизанская война, то большевиков бы тоже не осталось. Комиссаров было мало. Много их никогда и не бывает.

Нормальная система террора состоит из минимального количества палачей и из консенсуса жертв, которые соглашаются быть убитыми и замученными и которые помогают своим мучителям.

Концлагерь, как микрокосм, состоит не только из энного количества колючей проволоки, не только из вышек, не только из овчарок и не только из конвоиров. Концлагерь состоит из заключенных, которые соглашаются жить по тем законам, что устанавливают для них палачи. Концлагерь — это консенсус между жертвами и палачами, это их взаимное согласие на сотрудничество. Ни один лагерь ГУЛАГа, ни один немецкий концлагерь времен Второй мировой войны не могли бы существовать, если бы жертвы отказывались идти в газовые камеры или на лесоповал, если бы жертвы не соглашались выстраиваться на плацу или на поверку, если бы жертвы, которых было больше, намного больше, чем палачей, просто отбирали бы у них оружие, убивали бы их, ломали бы колючую проволоку и уходили бы куда-нибудь подальше.

В Сибири большевикам можно было сопротивляться бесконечно долго.

Тем не менее Сибирь не сопротивлялась, потому что каждый хозяин, поверив, что ему дадут много ситца и много гвоздей, в конце концов примирился с большевистской властью. А когда его стали убивать руками его более бедных соседей, которые из зависти доносили на тех, кто имел хотя бы на одну булавку больше, и делили потом их имущество, было уже поздно.

Страна уничтожила сама себя, большевики были только катализатором. Пошла химическая реакция самоуничтожения. Большевики были бактериями, которых бросили в этот раствор. Их бросила сама рука судьбы. Сработал механизм самоуничтожения, сработал в силу отсутствия индивидуальной свободы и гражданского общества. У Брехта есть очень красноречивое стихотворение, которое вполне относится и к нам: «Идут бараны и бьют в барабаны. Шкуру на них дают сами бараны».

Белая армия и ее офицеры не могли разобраться, кто же они такие? Монархисты, прогрессисты, конституционалисты? Савинкову приходилось выяснять отношения с консервативным офицерством, которое его знать не хотело. Консервативное офицерство не признавало социал-демократическую интеллигенцию, которая в этот момент была готова бороться с большевиками. Большевики благодаря гению Ленина были очень тесно объединены, несмотря на все свои идейные разногласия. Это делалось просто. Сначала из партии исключают отзовистов, потом исключают ликвидаторов, потом на X съезде запрещают фракции, потом разбираются с рабочей оппозицией, потом к 1930 году начинают разбираться с правыми, разобравшись до этого с Троцким, Каменевым и Зиновьевым. Запущен другой механизм. Запущен механизм уничтожения каких бы то ни было разногласий. Механизм унификации. Он запускается одновременно и в партии, и в обществе. И надо сказать, что общество было достойно такой партии, а такая партия была достойна такого общества.

Чего стоит одна сцена, описанная Солженицыным, когда на какой-то тусовке, в каком-то зале, аплодируя какому-то оратору, присутствовавшие ухитрились проаплодировать пять часов подряд! Никто не решался прервать первым. Каждый опасался, что его арестуют за то, что он слишком мало аплодировал. Так они дружно хлопали пять часов подряд. Рабство — это внутренний восторг. И когда есть шея, хомут находится всегда. Хомут нашелся.

В Петербурге оказалось достаточно выстрелить холостым зарядом, в Москве было достаточно взять Кремль. Кроме юнкеров и женского полка, никто не посмел сопротивляться. Фактически организованного вооруженного сопротивления почти не было. Все принялись смотреть в окошки, какая нынче власть в городе. Как говорил Станислав Ежи Лец: если народ уверен, что погода от него не зависит, погода в этом городе бывает наихудшая. И погода действительно была наихудшей.

Гражданская война была бездарно проиграна. Это даже хуже, чем проиграть матч компьютеру, как это сделал недавно Гарри Каспаров. Там не было компьютера. Там,

правда, был достаточно компьютерный мозг. Владимир Ульянов был сначала гениальным подрывным элементом, а потом стал гениальным государственным деятелем. Он знал, что надо делать, какие технологии надо применить, чтобы уничтожить всех, кто смеет сопротивляться. Он применил все эти технологии. Однако он сумел их применить только потому, что общество было не готово к сопротивлению. Если бы общество могло сопротивляться, у большевиков не было бы ни одного шанса. Они ничего не смогли бы сделать. Они были в абсолютном меньшинстве. Общество стало приспособливаться к большевикам. И оно в этом преуспело до такой степени, что где-то к 1927—1929 годам общество перестало притворяться. Уже не было такой необходимости.

Общество стало настолько однородным и настолько причесанным под гребеночку, оно настолько уподобилось этим самым коммунистам, что можно сказать, что в начале 30-х годов был создан блок коммунистов и беспартийных. Это не миф. Что такое блок коммунистов и беспартийных? Это общая мусорная куча, помойка, на которой вместе валяются коммунисты и беспартийные. Это однородная масса слизняков. Где сервильные коммунисты, которые дружно поднимают ручки на собрании, вполне соответствуют таким же сервильным беспартийным, голосующим за блок своих палачей и не смеющим спросить, а где, собственно, мои права? В «Демсоюзе» в конце 80-х годов был в ходу такой лозунг: «Человек, тебе нужны права?» Это не праздный вопрос. Это тот вопрос, который очень хочется задать советскому населению каждый раз, когда с ним сталкиваешься. Невозможно насильно всучить права тому, кто не имеет охоты их удерживать и ими воспользоваться. Элементы свободы — это не манна небесная. Если бросать свободу сверху, то она идет только на то, чтобы усилились моменты сходства с островом доктора Моро, чтобы больше животных участвовало в этом соревновании за якобы человеческий образ жизни и сделало вид, что они стоят на задних ногах.

Собственно с 1917 года начинается история российского позора. С 1917 года начинается 80-летняя история поражения. И ни одной победы! Начинается история совка. Возникновение совка, зрелость совка,

развитая зрелость совка, перестройка совка, модернизация совка, демократическая революция совка. Отдельно попадающиеся мутанты, обладающие всеми человеческими качествами, не могут изменить ситуацию, они только подчеркивают ее трагизм. Собственно советский человек — как некая новая генетическая общность — возникает к концу 20-х годов, и тогда уже всё о'кей. Уже можно спокойно выселять 30 миллионов крестьян, никто никому не поможет. Даже себе никто не поможет, не то что другим.

Уже ничего нельзя сделать. Со страной можно сотворить всё что угодно, но сама она ничего не может изменить. Начинается история, которую можно было бы назвать анекдотической, если бы через эти анекдоты не текли такие потоки крови. Начинается советская власть. Начинается то, с чем никогда не может быть согласия, с чем никогда не может быть примирения. Даже если пройдут миллионы лет, и высохнут реки, и погаснет Солнце, и осыплются с неба звезды, все равно с этим никогда нельзя будет согласиться, и это никогда нельзя будет простить ни себе ни другим.

Начинается история Советского Союза, который возникает в 1922 году. В 22-м году во многих клубах и во всех партийках висел лозунг, что Советский Союз — это подарок для пролетариата. И все пошли в этот Союз, как клячи идут на живодерню.

Украина осознавала себя Украиной в таких ничтожных масштабах, что только когда дошло до Западной Украины в 1939-м, коммунисты впервые увидели настоящее сопротивление. Большевикам не пришлось особенно долго никого завоевывать. Они быстро управились и с Кавказом, и со Средней Азией. Триумфальное шествие советской власти — это когда ты идешь, а все перед тобой лежат на брюхе. Тогда действительно очень легко идти. Тогда можно делать 10 километров в минуту. От Москвы до самых до окраин, от Бреста до Владивостока не было гражданского общества. Вот с чем было связано триумфальное шествие советской власти. Не потому, что она кому-то была нужна, а потому, что некому было ей сопротивляться.

Бунин написал «Окаянные дни». Но не только дни были окаянные. Люди тоже были окаянные, причем как

те, кто насилывал, так и те, кого насилывали. Наш любимый Алексей Константинович Толстой напишет в предисловии к «Князю Серебряному», что когда он читал хроники времен царя Ивана Грозного, у него перо выпадало из рук от негодования, и не потому, что Иван Четвертый много свирепствовал, а потому, что возможно было общество, которое терпело то, что делал Иван Четвертый.

Когда читаешь «Архипелаг ГУЛАГ», из рук у тебя всё падает от негодования не на ВЧК, не на большевиков, а на то, что возможно было общество (оно и сейчас никуда не делось), которое терпело это без сопротивления и без негодования. Находился же кто-то (и не один), кто всё это позволял с собой делать.

Лекция № 12

СВОБОДУ НЕ ПОДАРЯТ, СВОБОДУ НУЖНО ВЗЯТЬ

Россия досталась большевикам, как падаль достается стервятникам.

Причем в этой ситуации невозможно сострадание, невозможно сочувствие и невозможно определить, где добро, а где зло. В чем заключается больше добра — в падали или в стервятнике? Это очень сложно определить. Они сосуществуют. Это некий симбиоз. Стервятник питается падалью. Падаль ему полезна. А падали уже все равно. И вот, по-видимому, где-то в 1921 году России стало всё равно. Всякое сопротивление, организованное и неорганизованное, прекратилось. Оно прекратилось даже там, где оно могло бы еще продолжаться: в глухих урочищах Сибири, на заимках.

Большевики были гениальными негодьями, поскольку их очень хорошо подковал их лидер, который действительно был гением. (А еще говорят, что гений и злодейство — две вещи несовместные. Очень даже совместные...) Они употребили очень простую технологию, которую надо запомнить на будущее всем, кто собирается заниматься политикой, потому что политика — это занятие шкурническое, и, в принципе, политикой могут заниматься

только прохвосты. Порядочные люди в России заниматься политикой пока не могут.

Да и в мире, в принципе, порядочные люди политикой не занимаются. Политика — это занятие для непорядочных людей. Она исключает порядочность как установку. Она обязательно включает в себя ложь, корысть, предательство. Без этих трех составляющих не обходится никакая политика. Конечно, мы можем сравнить нашу безнравственную политику с нравственной политикой цивилизованных западных государств, и окажется, что, безусловно, безнравственности там меньше. Но кто скажет, что ее там вообще нет, посмотрев, как цивилизованные страны предали Гонконг, как во имя инвестиций и ресурсов предают китайских политзаключенных? В принципе, скоро могут сдать и Тайвань. То, что происходит в мире вокруг Китая, происходит не только по вине господина Примакова, но и по вине госсекретаря Соединенных Штатов, ведь пока экономической блокады КНР нет ни со стороны западных держав, ни со стороны держав восточных. Когда с Китаем и со всеми коммунистическими государствами будут разорваны дипломатические отношения (и не только с маленькими и слабыми странами типа Кубы и Северной Кореи, но и с большими, сильными, типа КНР), тогда можно будет сказать, что в мире завелась какая-то нравственность в политике. Пока этого нет, считайте политику абсолютно безнравственным занятием.

Большевики употребили следующие роскошные технологии, рекомендуемые всем политикам. Они расправились со всеми поодиночке. Начали они, разумеется, с правых партий. Партий типа октябристов, прогрессистов, кадетов. Пока они расправлялись с правыми партиями, партии более левые, типа правых эсеров, спокойно сидели в Учредительном собрании и пели «Интернационал». Они считали, что до них не дойдет и что можно абстрагироваться от того, что происходит с правыми партиями, что жизнь — это как бы не для всех, а только для некоторых.

Прекрасно! Большевики разобрались с правыми партиями и занялись левыми. Покончили с левыми партиями, вне своей единственной и неповторимой, которая,

кстати, довольно спокойно смотрела (хотя вначале там была некая оппозиция и даже некие фракции), как расправляются с анархистами и с левыми эсерами. С анархистами расправились очень рано. Большевики поняли, что традиция Дикого поля, которая была очень сильно выражена у анархистов, у махновцев, — это опасная традиция. Хотя в первых большевиках тоже жила традиция Дикого поля, у них она умножалась на ордынскую и на византийскую традиции. А у анархистов и махновцев была чистая традиция Дикого поля, плюс еще славянская традиция. Что это означало? Это означало, что они опасны. Потому что традиция Дикого поля — это храбрость и самоотверженность. Она предполагает, что ее носителя будет невозможно согнуть, поработить и поставить на колени. А зачем большевикам были нужны такие граждане их будущей Совдепии, которых нельзя поставить на колени, даже если они исповедуют левые убеждения? Поэтому, хотя многие не могут понять, не было ли ошибкой со стороны большевиков то, что они уничтожили махновцев, и не разумнее ли им было на них опереться, они всё делали правильно. Они уничтожали традицию Дикого поля. Они уничтожали храбрость, самоотверженность, доблесть, мужество. Они всё это уничтожили.

С анархистами они стали разбираться чуточку позже, чем с кадетами. Они понимали, что скандинавская традиция, которую несли кадеты, была никак не опаснее, чем традиция Дикого поля, которая жила в левых эсерах. Их уничтожали вместе. Практически в те же 1918—1919 годы.

Разобравшись со всем этим, большевики приступили к внутренней оппозиции. И здесь опять — та же технология. Казалось бы, эти самые большевики могли бы кое-что предвидеть, глядя, что произошло с другими партиями. Но они ничему не научились. Сначала Бухарин аплодировал, глядя на то, как убирали Зиновьева, Каменева и Троцкого, потом убрали и его, и всё пошло по той безумной спирали, которая лучше всего представлена у Евгении Гинзбург в «Крутом маршруте». Вчерашний подследственный завтра встречает на этапе не только тех, кто от него отрекался и предлагал ему положить на стол партбилет, но и своих следователей! Это был

закономерный итог. Глупость всегда так кончается. Это естественный финал. И, в принципе, подобное поведение лежит вне гуманитарных категорий, оно вне сострадания и сочувствия.

Дальше у нас идут социальные страты. Прежде всего убирали крупных предпринимателей, так называемых деревенских капиталистов, ростовщиков, то есть финансовый капитал. И тех, кого могли назвать латифундистами, то есть тех, кого в России именовали помещиками.

Все другие страты общества не только не протестовали, но жизнерадостно делили наследство. Они были безумно счастливы. Они считали, что сейчас наступит социальная справедливость и начнется социальный мир.

Дальше большевики просто выкидывают циничные лозунги. Владимир Ильич был на редкость откровенным человеком, он ничего не скрывал, он слишком хорошо знал страну, в которой ему приходилось действовать. Он ее презирал. Высшая откровенность ленинских трудов соответствует только одной идее — презрению. Человек, который в меньшей степени презирает свою страну, постерегся бы говорить столь откровенно.

Откровеннейший лозунг звучал так: сейчас мы с крепким средним крестьянством и с деревенской беднотой идем против кулаков. Их никто не защитил. Это уже 30-е годы, это раскулачивание. Естественно, туда попали и те, у кого было две коровы и одна коза. Издержки производства. Но, в принципе, середняки не протестовали, когда большевики добрались до так называемых кулаков (просто до тех, кто был несколько удачливее других в своем хозяйстве). Почему этого не происходило? Почему не было протеста? Вервь, община, мир. Мир остался прежним. Крестьянская община плавно перешла в колхозы без особого сопротивления, за исключением сопротивления тех, кто при Столыпине выделился из общины, тех, кто действительно мог стать фермером, то есть немногих свободных людей.

Вервь и община были страшно завистливы, они давили, они усредняли. Им ненавистно было всё, что поднимается, что богаче, что умнее, что сильнее, что выделяется из ряда вон. Поэтому они даже испытывали чувство облегчения, видя, что нашлась некая сила, которая убирает для них ненавистное социальное неравенство.

Поэтому под жизнерадостные крики одобрения были уничтожены те, кто богаче. А дальше, как вы понимаете, пошел другой лозунг: в союзе с деревенской беднотой идем против середняка. Начинается поголовная колхозизация всей страны.

Но самый интересный период — это НЭП. Чем он был интересен? Он был интересен не тем, что делали большевики. Нас здесь должны интересовать не руки палача, а поведение жертвы. Поведение жертвы было совершенно парадоксальным (было бы, если бы мы не знали, с чем мы имеем дело). Жертва тут же забыла про всё, и жизнерадостно пошла работать на большевиков, и подружилась с большевиками. Эти несчастные недобитые предприниматели, которых не успели уничтожить и загнать за границу, когда большевики разрешили существовать мелкому и среднему предпринимательству, не понимая, что это временно, что секира над их головами всё еще висит, что дамоклов меч не убран, бросились создавать для большевиков экономический потенциал. И как Ленин справедливо замечает, они накормили и одели страну. Крестьяне безумно обрадовались тому, что отменили продразверстку и заменили ее продналогом. То же самое чувство испытывали крепостные крестьяне, когда им заменяли барщину оброком. Практически все крестьяне, которые не вышли из общины добровольно, когда Столыпин это позволил, были крепостными крестьянами. Поэтому переход из одного крепостничества к другому, к колхозному, совершился плавно и органично. Неудивительно, что большевики потом говорили, что они управляют именем народа и что народ и партия едины. Народ и партия действительно были едины. Концлагерь существует за счет покорности жертв. Свободные люди в таком положении восстают. Может быть, их всех убьют, а может быть, они отберут оружие у охраны по всей стране и победят. Возможны разные варианты, но невозможно сотрудничество между жертвами и палачами, невозможен симбиоз. А у нас это было как раз достигнуто.

Всё это страшно понравилось интеллигенции. Как вы думаете, почему? Потому что она со времен Каракозова и Чернышевского была левая. Она была неистребимо

народнической. Ей нравилось, когда ее запрягали. Она выросла в заблуждении, что народ всегда прав, а она всегда не права. И эта позиция вечно неправого, позиция вечной жертвы, которая всегда извиняется, когда ей наступают на ногу, способствовала тому, что интеллигенция в разных литературных и не литературных журналах, в архитектуре, в искусстве, в советской науке и в советской промышленности стала с упоением работать на большевиков. НЭП — это совершенно фантастическая ситуация, когда палачи вначале просто сделать ничего не могли, были на грани гибели и взмолились, обратившись к своим жертвам: «Бога ради, помогите нам создать такие условия, когда будет возможно и выгодно вас давить. Мы сейчас просто не можем. У нас нет гвоздей, нет лаптей, нет еды. У нас полная разруха. Давайте вместе поднимем нашу плаху из руин и затем на такую чистенькую, свежеструганную ляжете, вы положите на нее головы, вы наточите нам топорик, вы скуете себе цепи, а потом мы наедемся, отдохнем, мы будем свежие, бодрые, мы вам тогда головку и оттяпаем».

Это классическая формула НЭПа. И всё обещанное произошло, когда они отъелись, как клоп на теле своей жертвы. Между прочим, ВЧК не переставала работать ни на один день, но это не волновало нэпманов, так называемых мелких предпринимателей; это не волновало крестьян, которые продолжали себе пахать над пропастью во ржи. Это никого не волновало. Не волновало, что арестовывают остатки инакомыслящих, что работает машина репрессий. Уже не за дело арестовывали, уже никаких дел ни у кого не было. Арестовывали уже за слово, неприятности были у Булгакова (хорошо, что до ареста не дошло!), неприятности были у тех, кто не так литературно мыслит.

Философские пароходы ушли в западные воды с согласия тех, кто на этих пароходах уплыл. Ни Бердяеву, ни его коллегам не пришло в голову, что нельзя уезжать из этой страны, что за эту страну нужно драться, что нужно возглавлять какое-то сопротивление, что большевикам надо противиться, а не книжки в эмиграции писать. Нет, так же, как ушла Белая армия, русская философия ушла в небытие, в иное измерение, и она соприкоснется

с Россией снова только через семьдесят лет, когда этих философов начнут у нас читать. Они бросили страну, и это еще раз доказывает, что они считали страну падалью, что они понимали: ее нельзя спасти. За живого сражаются. Оставляют только мертвеца, даже не закопав его. Мертвеца в могиле или без.

Это было коллективное предательство. Все предали друг друга, и все предали самих себя. После того как большевики получили свою первичную группу Б — товары народного потребления, они справедливо подумали, что теперь они могут себе позволить и А. У них было всё готово для того, чтобы окончательно остричь овечек. Часть прирезать на бойне, а часть запрячь в свои железные машины, которые знаменовали эру индустриализации.

Начинается еще один парадоксальный период. Возникли ножницы. Что делают нормальные люди, знающие, что такое экономика, когда у них возникают ножницы между сельским хозяйством и промышленностью? У большевиков были рентабельное сельское хозяйство (потому что оно было частное, хотя и мелкое) и абсолютно нерентабельная промышленность (потому что она была государственная и ничего не могла дать). Нормальные люди садятся, чешут затылки и думают: наверное, мы наворотили здесь, смотрите, как у нас сельское хозяйство работает, как хлеб дают эти самые крестьяне, хотя у них и машин нет, работают, хлеб дают, за их счет страна сыта. Значит, надо и промышленность на частную основу поставить, чтобы она делала не только ситец, но и современные станки, и оружие, и будущие высокие технологии. И зовут хозяина, проводят приватизацию.

Но здесь всё произошло наоборот. Были уничтожены рентабельное сельское хозяйство и рентабельная промышленность группы Б, которая выпускала товары народного потребления, и всё было унифицировано на абсолютно тоталитарном государственном уровне. С этого момента в стране ничего рентабельного не остается. С этого момента в стране ничего не производится, кроме металлолома, станков, турксибов, не нужных никому каналов, потому что никто никогда не плавал по Волго-Донскому каналу и по каналу имени Москвы. Они были просто для показухи.

Начинается так называемая индустриализация, громящая, как копилка. Потемкинские деревни. Потому что нельзя индустриализировать нецивилизованную страну. Нельзя всё это сделать, полностью уничтожив группу Б, что большевики, собственно, и осуществили.

Итак, крестьяне могли сопротивляться, пока жива была еще та интеллигенция, которую они предали. Пока ее уничтожали, они пахали. А эта интеллигенция предала их в свою очередь, когда пошла на службу к большевикам в 1918 году. Эта череда предательств привела к тому, что когда очередь дошла до крестьян (уже в 30-е годы), некому было их защищать, некому было их организовывать, некому было возглавить протест, некому даже было дать ему какую-то идеологическую направленность. Потому что интеллигентов, которые способны были к протесту, уже не было на свободе и даже не было в живых. Так 30 миллионов крестьян идут в трубы канализации, как называет сталинские репрессии Солженицын.

И самое последнее предательство совершают цивилизованные западные страны. В 1933 году, наконец, совершается великое событие. Германия признала Советский Союз еще после Раппальского договора, первой, в 1922 году, потом за ней выстроились в очередь все остальные.

И вот наступает 1933 год. Что такое 1933 год? Уже уничтожены 30 миллионов крестьян. Для страны всё кончилось. Всем всё ясно, кроме тех, кто не хотел ничего знать. И тут США признают Советский Союз. Именно тогда. Почему? Что, в Советском Союзе произошла демократическая революция, распустили концлагеря, началась перестройка, прогнали большевиков? Нет. В Соединенных Штатах поняли, что это надолго, что это мировое зло, что оно укрепилось и что оно будет жить десятилетия. Плетью обуха не перешибешь. Они решили от этого получить свою долю выгоды. Последнее предательство в этом ряду совершают Соединенные Штаты Америки: они признают Советский Союз.

В этот момент Советский Союз представляет собой некую шлюзовую систему лагерных режимов. ГУЛАГ становится естественной формой существования страны. Не исключительной формой, а естественной; просто у всех разные режимы. На воле — общий режим, даже

расконвойка, потом идут режимы усиленный, строгий, особый, но свободы отныне не будет ни у кого. Начиная с 1917-го и кончая 1991-м ни у кого больше не будет свободы. Свобода будет только в пределах некой запретки, то есть локалки. Это место около лагерного барака, где разрешается ходить свободно. Но не по всей зоне, а хотя бы по локалке. Ну а кроме как в зоне, гулять нигде не разрешается.

Советский Союз становится одной сплошной зоной. Потому что человек, который вынужден отправлять своих детей в школы, где изучают марксизм-ленинизм, просить разрешение на выезд за границу в райкоме, предъявлять комсомольскую характеристику, поступая в институт, не свободен, даже если на нем нет полосатой лагерной куртки и полосатых лагерных штанов. Все равно у него на спине нарисован бубновый туз, даже если он сам его не видит. Все были крепостными: писатели, съезды которых назывались съездами советских писателей; композиторы, архитекторы, ученые. Крепостной ученый Сахаров создал основы для водородной бомбы. Крепостные ученые Ландау и Тамм пытались иногда сделать что-то благородное, за кого-то заступиться. В лагерях существует взаимовыручка, в лагерях не все идут в придурки, не все становятся капо, не все соглашаются на должность бригадиров.

Андрею Дмитриевичу Сахарову было что искупать, потому что если бы не было создано атомное оружие, если бы какие-то технологии не были украдены у Соединенных Штатов Америки, если бы советские ученые так хорошо над этим не поработали, большевики были бы обезоружены. Им бы пришлось начать перестройку несколько раньше, потому что у них не было бы ядерной дубинки. Но крепостные ученые не имеют собственного мнения, они даже не имеют инстинкта самосохранения. Они дали этой системе ядерную дубинку.

Ситуация была настолько безнадежна, что говорить о каком-то организованном или хотя бы полуорганизованном сопротивлении мы не в праве.

В нашей истории есть расстрел в Новочеркасске. В нашей истории нет восстания рабочих в Новочеркасске. Это не восстание, когда несчастные, голодные, замученные

рабочие берут красные флаги и идут к горкому партии просить справедливости. Это даже не восстание Спартака. То есть если рабы-гладиаторы в Древнем Риме были способны на восстание, то здесь уже и восстания нет. И расстреливать этих несчастных людей, которые всего-навсего хотели, чтобы с ними поговорил какой-нибудь член правительства, было совершенно не обязательно.

Наверное, 75% диссидентов, которые арестовывались КГБ, и даже не 75, а 90 % в самом лучшем случае мечтали усовершенствовать социализм и создать нечто с человеческим лицом. А некоторые были просто коммунистами из самых правоверных. Они протестовали только против «недостатков» и «пороков» системы. Хотели ее сделать более человеческой, потому что прочитали (я уж не знаю где, может быть, у Томаса Мора, хотя у Мора были свои неприятности на острове Утопия, ведь у Мора существуют и рабство, и сикофанты, да и у Кампанеллы все дружно камнями побивают преступников, разве что у Кабе они об этом могли прочитать), что коммунизм может быть человеческим, добрым, с человеческим лицом. Примеров тому в истории нет, даже в утопиях нет примеров. Откуда они это взяли, я не знаю, спросите у них, когда кого-нибудь встретите.

Таким был знаменитый Рахимович, один из самых твердых диссидентов. Он работал председателем колхоза и твердил на следствии, что готов умереть за дело Ленина, а вот нынешние коммунисты дело Ленина предали. Выдумать, что Ленин был некоей альтернативой Брежневу, могли только люди полностью искалеченные (и нравственно, и политически, и духовно). Пригласите к себе писателя и драматурга Шатрова и задайте ему вопрос, как это он додумался до пьесы «Дальше, дальше, дальше», где у него положительный образ Ленина как бы борется с отрицательным образом Сталина, где он взял этих «Синих коней на красной траве»? Откуда они все взяли, что Ленин был лучше Брежнева?

Кстати, есть еще один миф. Миф о благополучии эпохи застоя. Классическое благополучие! Сажать сотнями и тысячами было просто незачем. Возникает парадоксальная ситуация. Никто не сопротивляется, а разве что робко читают самиздат и пытаются улучшить социализм. В этой

ситуации массовые репрессии не нужны. Прекращение массовых репрессий при тоталитаризме означает, что общество уже мертво, что оно убито, что оно не способно вообще ни на какой протест, что больше убивать никого не надо, что все и так мертвые. По второму разу мертвецов не убивают. Комитет Госбезопасности вынужден искать себе жертвы, часто вынужден их выдумывать, потому что ему не с кем бороться, от Москвы до самых до окраин никто не сопротивляется. Поскольку я диссидент и бывший, и теперешний, я знаю, о чем я говорю. Я знаю, сколько было людей, которые, как Юрий Галансков, могли написать еще в 1968 году: «Вставайте, вставайте, вставайте, о алая кровь бунтарства! Вставайте и доломайте гнилую тюрьму государства». Такими были единицы. И мы были париями в диссидентской среде. Нас не только КГБ, но и сами диссиденты боялись. Боялись, что мы подорвем чистые основы ненасильственного движения за улучшение советской конституции и помешаем борьбе за права человека при режиме, который просто исключал понятие прав человека как таковых.

Если бы у тогдашних диссидентов конфиденциально спросили (провели бы негласный опрос), если бы такие мониторинги были возможны, кто из них выступает сознательно и открыто за свержение существующего государственного строя, за вестернизацию страны, за построение капитализма, за то, чтобы коммунисты были свергнуты путем вооруженного восстания народа (безотносительно к тому, возможно это было или нет; это было совершенно невозможно, я-то знаю, я к этому все время призывала, но результатов никаких не было), вы набрали бы в лучшем случае десяток-другой. Даже знаменитая (единственная, пожалуй) крупная подпольная организация ВСХСОН, членом которой был наш великий, но наивный писатель Леонид Бородин (а им дали очень большие сроки, когда нашли их и разогнали), не была западнической. Они не выступали за вестернизацию страны. Они выступали против коммунистов, но со славянофильской точки зрения. Это был тот же Раскол, к сожалению. То есть сопротивление из традиционалистской позиции, сопротивление из позиции нереальной и несовременной.

Говорят, что коммунисты насильственно загоняли мыслящих людей в компартию. Это было бы еще полбеды, если приходили бы к ученым, к врачам, к писателям, представляли бы автомат к груди и говорили: «Пиши заявление в партию, иначе застрелим». Бывало и хуже. Знала я одного молодого физика, который работал в Институте Высоких Энергий или что-то в этом роде. У них там был один доктор наук, заведующий лабораторией, и он хотел возглавить отдел и быть членкором. Для этого надо было вступить в партию. Разнарядка на этот институт была спущена, но низкая. Можно было принять всего двух человек. Они там чуть ли не жребий кидали, как на новогодний гостинец, как на заказ с икрой, кому эта высокая честь достанется. Нашему будущему членкору не повезло. Нашлись, с точки зрения Ученого совета, более достойные этой высокой чести вступления в КПСС. И что делает наш ученый? Наш ученый начинает писать жалобы в горком партии, в ЦК, в Политбюро. Он заявляет, что с помощью интриг и недостойного поведения конкурентов его оттеснили. На самом же деле только он был достоин этого партбилета. То есть он сам добивается, чтобы ему дали партбилет. Это самое худшее из того, что произошло. Люди соревновались в праве надеть ошейник, и тот, кому не доставалось ошейника, чувствовал себя обделенным на всю жизнь.

Без будки и без ошейника люди не могли жить. Они себя очень плохо чувствовали, у них наступало кислородное голодание. Классический пример — поведение на Западе писателя Максимова, Марии Розановой, Синявского и знаменитого автора «Зияющих высот» Зиновьева. Что это такое? Многие говорят, что у них крыша поехала. Но не могли же все сойти с ума. Уехали на Запад и сошли там с ума? Просто это кислородное голодание — голодание по ошейнику. С них сняли ошейник, и они этого не вынесли и стали описывать все прелести ошейника.

Стоит ли говорить, что поборников либеральной, западной, скандинавской традиции до перестройки в Советском Союзе насчитывалось человек сто от силы. Все остальные понятия не имели (и иметь не хотели) о том, что такое ответственность, что такое свобода, что

такое отсутствие пошла в корыте и что такое отсутствие хлеба. Они просто думали в конце 80-х, что коммунисты съели всю колбасу, и что если прогнать коммунистов, сразу появится колбаса. По щучьему велению, по их хотению. Упадет манна небесная. Они только ротик откроют, а колбаса сама туда повалится. Запад для всех был страной с магазинами. Есть такие страны, где шикарные магазины. Никто не думал тогда, что это страны, где высочайшая производительность труда, высочайшая квалификация работников, независимость, ответственность и свобода граждан, которая предполагает возможный крах, которая предполагает, что если тебе не на что будет сделать операцию, ты просто умрешь. И ты должен с этим смириться, потому что это нормально. Каждый получает только то, на что он имеет право претендовать согласно своему доходу. Но об этом никто не задумывался.

Приходит Горбачев. Страна была не способна ни на какое организованное действие, ее можно было освободить только силой. Просто брать ножницы и резать колючую проволоку. Пинками выгонять из концлагеря, потому что добровольно люди даже за ворота выйти не могли. Происходит чудо. Горбачев тоже решает улучшить социализм, сделать его более эффективным. Потыкавшись в эту систему, он то виноградники вырубает, то бабок с помидорами разгоняет, то вводит сухой закон, то объявляет ускорение и качество. Кстати, об ускорении и качестве есть очень хороший перестроечный анекдот.

Приходит Горбачев в цех и видит, что рабочий очень быстро бежит по цеху с тачкой, так что ветер свистит в ушах. А тачка пустая. И он у рабочего спрашивает: «А что это ты, друг, делаешь?» — «Да вот, бетон вожу». — «А где же у тебя бетон?» — «А я не успеваю нагрузить, потому что у нас сейчас эпоха ускорения», — и дальше побежал. Попытки несчастного Горби поработать с этой системой привели к тому, что система развалилась у него в руках. Она ни к какому переустройству не была способна. Если кому-нибудь казалось, что возможен социализм с человеческим лицом, вот он вполне мог убедиться, что эта штука не работает. Горби остороженько стал

открывать форточку, и надо сказать, что он не ошибся. Что здесь началось!

Это была вторая оттепель после хрущевской. Хрущевская оттепель привела к тому, что интеллигенты стали клясть Сталина, восславили Ленина и Хрущева и при этом стали работать еще пуще на благо социализма. Это не привело ни к какому взрыву, ни к какой революции, ни к какому мятежу, ни к какому переустройству. Хрущев ничем не рисковал. Хотя поступил он круто. Как он расправился со сталинскими памятниками! В один день их всех за ноги стащили (никто не искал консенсуса) и отвезли на свалку. Если бы мы так с ленинскими поступили в 1993 году, тоже никто бы не протестовал. Но здесь уж у Бориса Николаевича не хватило храбрости. Хрущев в этом плане был более крутой мужик. Просто свезли на свалку — и никто противиться не стал, никто не посмел, и из Мавзолея мумию вынесли и похоронили, и никакого возмущения не было, никакой гражданской войны не возникло. Почему-то Никиту Сергеевича, при всей его неграмотности, невежестве и том, что он ничего не понимал ни в экономике, ни в политике, и кузькину мать Западу показывал, и башмаком в ООН стучал, совершенно не волновала идея проведения референдума по поводу вынесения Сталина из Мавзолея.

Не было у Хрущева колебаний в течение семи лет. Сначала Вечный Огонь переносим, потом караул снимаем. При Хрущеве взяли и вытащили тело, похоронили его рядышком, и до сих пор не видно, чтобы какие-то сталинисты поволокли его обратно и с Лениным в койку положили. Классические действия революции сверху должны идти без референдумов. Спрашивать уже не у кого было. Поэтому спрашивать было необязательно. Со страной в этот момент можно было сделать всё что угодно. Оттепель №1 — это ренессанс ленинизма. Классический вариант поведения старых большевиков, это когда колонна заключенных идет мимо памятника Ленину. Все становятся на колени и снимают шапки. Советская классика.

Не было четкого представления о том, что произошло. Оно было как будто выключено. То есть люди были до такой степени рабами, что мыслепреступления не возникало. Это ситуация покруче оруэлловской.

За справкой о реабилитации и за партбилетом после лагерей в конце 50-х годов коммунисты пошли добровольно. Никто не швырнул этот партбилет в лицо тем, кто его пытался выдать обратно. Вот это и есть отсутствие мыслепреступления. Последняя стадия, та стадия, которую даже Оруэлл не описал, когда уже не нужна полиция мысли. Мысли искалечены — так же, как поступки, так же, как жизнь. В лагерях проходили подпольные партийные собрания; зека были, конечно, исключены из партии, и вот вместо того, чтобы проклясть эту партию, они проводили подпольные партсобрания. Это апофеоз рабства, рабства добровольного, холопства, помноженного на безумие.

Как проходила вторая оттепель, я помню очень хорошо, поскольку в ней участвовала. Я могу сказать, что это было ужасное зрелище. Что ничего более страшного я себе представить не могу. Для начала интеллигенция начинает восславлять Горбачева за то, что он немножечко расширил ошейник и начал удлинять цепь. То ли дело — Ельцин порубил все будки, сбросил все ошейники, сдал все цепи в металлолом. Всех выкинули из барака на свежий воздух. Всё, ребята! Как хотите, так и промышляйте.

Нет, у Горбачева всё было иначе. Начались «общественные процессы», которые даже нельзя назвать предательством, потому что это был типичный маразм. Скажем, когда возвращенный из ссылки узник совести академик Сахаров присутствовал на завтраке в Кремле, он, слушая речь Горбачева, стал ему аплодировать. Это потом ему микрофон отключали, когда им были сделаны какие-то шаги к пониманию ситуации. В первый же момент были аплодисменты, и не только со стороны Сахарова. Я не назову сейчас имен диссидентов (пусть о них останется хорошая память), которые в 1988 году говорили мне, что сейчас нельзя выступать против Горбачева, нельзя резко выступать против режима, потому что власть рассердится, обидится и опять начнет сажать. Я не назову маститых диссидентов, которые, увидев первую программу Демократического Союза (там, где речь шла об оппозиции КПСС, о том, что мы антиконституционная партия), говорили: «Разве можно так писать? Это же абсолютно безответственно! Разве можно сейчас выступать против строя?»

Люди настолько укрепились в своем холопстве (даже лучшие из них, те, кто почитали себя инакомыслящими и диссидентами), что готовы были вступить в то самое движение, которое описано у Зиновьева. Оно описано следующим образом: возникло движение за то, чтобы не допускать никаких улучшений, больших, чем захочет власть. Действительно, такое движение было. Сначала разрешили ругать Сталина. Все принялись ругать. «Дети Арбата» появляются в четырех сериях, все читают и зачитываются. Хорошие вещи тоже были напечатаны, но уроки этих хороших вещей не были поняты и усвоены. Не было понято «Мы» Замятина. Был напечатан «1984» Оруэлла, но оргвыводы тоже не были сделаны.

И тут у нас начинается слабая критика застоя, до Ленина же дело не скоро дошло. До Ленина дело дошло в последнюю очередь. До социализма же критики добрались в начале 1993 года.

А работать никто не работает, экономика нерентабельна, деньги кончились. Словом денежки тью-тью, головка бо-бо, есть в стране нечего.

Здесь Горбачев пожалел о сделанном. Он почувствовал, что возникла слишком большая щель. Дело в том, что, кроме нас, были еще и колонии. А в колониях была немножко другая ситуация. В колониях еще не все были рабами. Скажем, Украина, страны Балтии. Возникает ситуация перманентного брожения. Робко, осторожно, но все-таки колонии начинают отползать. Западная Украина — она ведь не нам чета. Там сопротивление шло с 1939 по 1955 год. Вооруженное сопротивление. Люди автоматы брали и стреляли по коммунистам. Это вам не в самиздате памфлеты писать. Это разные вещи. Только свободный человек может взять в руки автомат и стрелять в коммуниста. Раб этого сделать не может. Рабы вообще не в состоянии взять в руки оружие.

Пиво начинает бродить. Горбачев пытается запихнуть обратно пасту, которая выдавилась из тюбика. К этому моменту все несколько осмелели (хотя бы в политическом плане) и пошли на площадь. На площадь ходили только по разрешению. Ситуация была парадоксальная. Бежит огромная антикоммунистическая манифестация по коммунистической Москве, спереди катят две машины,

останавливают движение, и сзади то же самое. На несанкционированные митинги до 1991 года ходил только Демократический Союз. Кроме нас, никто этого не делал. То есть власти ругали только с разрешения властей. Ни к какому неподцензурному и свободному действию даже лихие демороссы были неспособны до самого 1991 года. И вы знаете, возникает парадокс: давят Вильнюс, давят Баку, давят Тбилиси, потому что там были сильные национальные движения, но некого и незачем давить в Москве. Всё было управляемо, и никто не пытался покуситься в массовом порядке на основы. И тут Горбачев запутался, заметался, но он был достаточно умен, чтобы корректировать свое поведение. Как только на Западе начинали очень громко кричать, он тут же останавливался. Остановился в Вильнюсе. Остановился в Баку. Останавливался везде, где они же кого-то давили танками. В Армении в Звартноце тоже остановился. Не упорствовал, потому что крики были очень громкие.

А что касается нашей ситуации, то тех, кто был выпущен из заключения, написав отказ от политической и антисоветской деятельности и от сопротивления режиму, было гораздо больше, чем тех, кто был освобожден даром и ничего не подписал. Нас, ничего не подписавших, было очень мало. Я помню, как в 1986 году перестройка началась в один день. Вчера ее еще не было, а сегодня она уже началась. Она началась с Рейкьявика. Горби надо было что-то предъявить в Рейкьявике, и он распустил женские политзоны и поэтому вынужден был закрыть наше дело по 70-й статье. Я помню, что я ощутила, когда меня буквально вытолкнули из Лефортова. Это был позор, ведь никого не освобождали даром; освобождали только предателей, поэтому к освобождению нельзя было отнестись как к празднику, и я помню, что я написала, когда у меня попросили эту бумажку с отказом от деятельности. Я была в таком ужасе, что написала, что я не только буду продолжать антисоветскую деятельность, но я даже добавила на всякий случай, что считаю возможными теракты против деятелей партии и правительства. Только чтобы не освободили! Но они и с этим документом меня освободили, так что все остальные могли вообще ничего не писать. Но увы!

Многие написали. Это доказывает, что организованное западническое сопротивление режиму некому было возглавить изначально.

Тут Горби заметался до такой степени, что впутался в ГКЧП. Потом он из него достаточно грамотно выпутался. Это был высший политический пилотаж, это было замечательно. Тем не менее случилось невероятное, то есть целый набор чудес. Когда некие реальные события попадают все в одну точку, сходятся, усиливая друг друга, и возникает некое напряжение, некий лазерный луч — это, конечно, чудо. Чудо то, что кто-то вообще побежал к Белому дому. Меня тогда на воле уже не было, меня Горбачев успел посадить в мае 1991-го. Кстати, интересный был расклад. В стране начались политические аресты по 70-й статье, а их не было довольно долго. В 1986 начали выпускать, к 1988 выпустили всех, и до 1991-го арестов по политическим статьям не было. И вот они возобновились. Где протест? Не было в стране массового протеста. Я помню, что «Московский комсомолец» и «Московские новости» написали весьма иронические статьи. То есть им и в голову не пришло вступить за Демократический Союз, который призывал к свержению существующего строя и который за это дело как бы правильно посадили. Было очень мало протестов.

По пальцам можно пересчитать тех, кто протестовал. Ректор РГГУ протестовал. Юрий Николаевич Афанасьев хорошо знает историю и понимал, что происходит со страной. Но таких было абсолютное меньшинство. Перестройка, кстати, началась с афанасьевских чтений в старом здании, с публичных семинаров, когда приглашали тысячи человек, и они набивались в аудиторию, стоя, лежа, свисая с люстр. На чтения приглашали какого-нибудь историка, и он читал абсолютно беззубые вещи. Но тогда они казались ужасно смелыми, а вольнослушатели из аудитории учились задавать вопросы, учились говорить вслух. Это был тренинг. Люди научились хотя бы спрашивать. Но, к сожалению, за умением говорить вслух не пришло умение что бы то ни было делать. Чудо было управляемым. И если бы не обращение Ельцина к народу по ТВ, если бы не эта подпитка, не чувство, что можно с одной властью выступить

против другой власти, что ты не мятежник, не бунтарь, а ты, наоборот, защищаешь законное дело, законного президента, легитимную конституцию, что именно они, гэкачеписты, — мятежники, то никакого сопротивления бы не было. Первое движение, которое было сделано нашими дорогими западными державами — это движение по признанию ГКЧП. Я очень хорошо помню, как в Лефортово прочитала в «Правде» обращение госсекретаря Соединенных Штатов: «Мы надеемся, что ГКЧП будет соблюдать международные соглашения». Еще бы немного, и они примирились бы с этим положением, если бы не протест здесь, в Москве. Массовый протест был бы невозможен без Ельцина. Это был спусковой момент. Иначе люди не пошли бы бунтовать. Они были не готовы геройствовать. И когда 22—23 августа Ельцин делает знак рукой и отпустит их домой, они пойдут домой, потому что действовать они сами не могли. Иначе они многое могли бы сделать. Они могли бы, по крайней мере, вытащить Ленина из Мавзолея, снести все его памятники, которые имеются в Москве, они могли бы потребовать запрета коммунистической деятельности. Я уж не говорю, что они могли бы потребовать построения капитализма, хотя никто не представлял себе тогда, что такое капитализм. Я думаю, что Ельцин этого себе не представлял тоже. И еще одно чудо: наши сильные мира сего увидели некое благо в том, чтобы ликвидировать сильных мира сего от Союза и занять их места. Даже российские кэгебэшники считали, что им сильно повезет, когда они избавятся от союзных кэгебэшников и сядут в их кабинеты.

И вот шкурнические интересы, Ельцин и сопротивление тех немногих, которые, как Константин Боровой, понимали, что они делают, решили вопрос. Кстати, без Константина Борового, скорее всего, ничего бы не вышло, потому что первое, что заставило остановиться Запад на пути признании ГКЧП, — это забастовка бизнеса, забастовка бирж. За два дня он успел этого добиться. Вначале все хотели продолжать работать, но он буквально силой их заставлял присоединяться. Остановил свою биржу, организовал забастовку бизнеса. Бизнес выступил против ГКЧП, наш новорожденный бизнес. Для Запада это было

очень важно. Единственная статуя, которая была ликвидирована, не считая статуи Свердлова, — это Железный Феликс, и здесь тоже поучаствовал Константин Боровой. Если бы он в этот день не дал своих денег, буквально вынутых из кармана, не пригнал бы кран и не снял бы Феликса, он бы до сих пор там стоял. Потому что вокруг них бегали люди из Моссовета, Станкевич и К°, и кричали, что это варварство — снимать исторические памятники; пусть стоят там, где стояли.

Я очень хорошо помню, как меня выпустили из Лефортова и как я, добравшись до Лубянки, увидела там митинг и Ельцина на том месте, где стоял Железный Феликс. Я хорошо запомнила, что он говорил. Он сказал в тот момент, когда вся Москва была на улицах, когда никто не работал, когда можно было сделать всё, что угодно, вплоть до того, чтобы каких-нибудь коммунистов страха и примера ради повесить на фонарях, что надо идти домой. Ельцин говорил, что не надо волноваться, не надо суетиться, что ситуация у нас под контролем, что без него ни одно назначение не пройдет, что надо спокойно расходиться по домам, спокойно идти работать. Когда я попыталась выступить с того же холма, ельцинская охрана мне на ухо шепнула, что они меня очень любят и хорошо знают, но выступать не надо, потому что там, на крыше Лубянки, лежат снайперы, и что будет столкновение между ними и народом. Никаких снайперов там не было. Столкновения бы не было тоже, гэбульники сидели и тряслись, и жгли архивы. В этот день можно было снести Лубянку, как когда-то снесли Бастилию.

Но Бастилию снесли не по делу, а вот Лубянку снесли бы вполне заслуженно. То есть фактически революции не было. Было чудо, нам посчастливилось. Нам очень повезло. И дальше начинается елка с сюрпризами. Дальше в принципе всё то, что мы имеем, — это добротные даяния одного человека, Бориса Николаевича Ельцина. Представьте себе на минуточку, что этого короля Матиуша Первого Реформатора нет. Во-первых, ГКЧП бы победило, и вообще дальше бы ничего не было. Не было бы Гайдара, потому что пустить его во власть, сделать из страны полигон, дать ему провести реформы, хотя бы в течение восьми месяцев, — на то

была барская ельцинская воля. Ни Гайдара, ни Чубайса, ни ликвидации советской власти в 1993 году просто-напросто не было бы, потому что народ был не способен на организованное движение вне власти, не параллельно, а перпендикулярно ей, и те требования, которые выдвигались в это время, были абсолютно алогичны. Народ требовал, безусловно, колбасы и свободы. Они думали, что это сочетается. Никто не требовал ни безработицы, ни частного хозяйства, ни частной собственности на землю, за исключением Юрия Черниченко и его возникшей в то время партии.

Поэтому очень рано возникает реставрационное движение. То есть очень сильно рванула вперед скандинавская традиция. Казалось бы, откуда у Ельцина скандинавская традиция? Он абсолютно не западник по виду, но тем не менее скандинавская традиция в нем где-то жила. По крайней мере, если свобода является чьим-то хобби, значит, здесь присутствует скандинавская традиция. Можно было бы и не давать столько свободы, руку бы не откусили. Собственно, никто не требовал такого количества свободы. Свободу дали сразу всю.

А дальше приходит Егор Тимурович Гайдар, и то, что он сделал, конечно, трудно переоценить. Он дал стране пинка, большого, хорошего, смачного пинка в зад, он выгнал ее из барачков. Колючая проволока висит гирляндами, столбы повалены, хлеба нет, корыто перевернуто. Надо идти в чистое поле и добывать себе хлеб насущный. Это и есть приватизация, а также либерализация цен, возвращение к реальному положению вещей, возвращение из вымышленного, выдуманного мира в мир реальный. Экран разорвали, фильм остановили. Люди стали затравленно озираться. Зажгли свет. Им не понравилась эта жизнь, решительно не понравилась, потому что они 70 лет смотрели сериал. Семьдесят лет они смотрели все эти мильные оперы, которые идут по 3-му каналу. И вдруг они видят окружающую действительность. И оказывается, что в этой окружающей действительности страна загажена, ресурсы наполовину выработаны, хотя их еще достаточно осталось. По крайней мере на поверхности ничего не валяется, надо добывать, денег нет ни гроша, золотого запаса нет, корма не осталось никакого.

Ни промышленности, ни сельского хозяйства, ни дорог, ни науки, ни техники; одна культура висит, как мираж, но миражом сыт не будешь. Ничего нет. Системы образования и то нет, поскольку наши дипломы нигде не признаются, а выпускники университетов не разговаривают ни на каком иностранном языке.

Конечно, людям всё это страшно не понравилось, и возникает движение, которое можно суммарно назвать движением за возврат в кинозал, потому что больше возвращаться было некуда. Возвращаться в кинозал и смотреть сериалы, потому что реальной жизни нет.

И здесь страна показала, во сколько она расценивает свободу, во сколько она расценивает независимость и самостоятельность и сколько у нее гордости и чувства чести. Когда всех выгнали из хлева, раздались вопли: где наше пойло, почему не налили? Где наша зарплата, где наша кормежка, где наши вклады, где наши сбережения? И эти вопросы задают люди, которые 70 лет носили воду в решете и толкли ее в ступе. Сбережения от этого не заводятся. Сбережения были в кинозале. На экране демонстрировались какие-то сбережения, а в реальности ни у кого ничего не было. Потому что всё это ничего не стоило. Не было реальных сбережений, вообще ничего реального не было, был вымысел.

Реальность оказалась некрасивой и, главное, очень голодной. Реальность требовала мозгов, мускульных усилий.

В реальность сначала пошли 29 % населения. Кое-кому не повезло. Они получили по физиономии, не преуспели. И в конце концов мы выяснили процент тех, кому нужна реальность и кому нужна свобода. Это совершенно достоверный процент. Это все те, кто голосует за «Демократический выбор России», за Гайдара. Это сознательный выбор, выбор свободы, и его делают носители скандинавской традиции. Их меньше 5 %, но они тянут страну, а все остальные — паразиты, все остальные просто сидят на их шее. 5 % готовы к свободному независимому существованию. Остальные 95 % или считают, что это место пусто, что в случае чего можно махнуть на Запад, или вообще не готовы к независимой жизни.

То есть скандинавская традиция — это очень мощная традиция. Тот, кто не верит в способность России

к возрождению, пусть оценит то количество лошадиных сил, которое заключено в скандинавской традиции, когда 5 % тащат на аркане 95 % и как-то поддерживают страну на плаву так, чтобы она совсем не захлебнулась, чтобы рот и нос были у нее над водой, и как-то еще успевают деньги зарабатывать, «мерседесы» покупать, налоги платить. 5 %, за счет которых живут 95 %! Меньше, чем 5 % на всю скандинавскую традицию: 4,5 % Гайдара плюс 0,13 % блока Партии экономической свободы на выборах в Госдуму.

Тот, кто не приходит на выборы, вообще не гражданин. Он, видно, считает, что это не его страна. Или он просто имеет какую-то другую, альтернативную среду обитания. В случае необходимости он просто скажет «Чао!» и поедет куда-нибудь в туманный Альбион.

То есть его не интересует, что здесь будет происходить.

А из тех, кто приходит на выборы, 5 % либералов не находится. На этих 5 % и держится мир.

Теперь пора объяснить другой миф. Что это за красно-коричневые? Почему ни у кого этого не было, чтобы коммунисты объединялись с фашистами, а у нас это произошло? Откуда этот дефис? Почему то, что в мировой практике никогда не совмещалось, совмещается в России?

Это не понятно никому, кроме тех, кто читал Янова и знает про эти пять традиций. Если скандинавская традиция пополам со славянской — это те пять процентов, которые тянут страну вперед, то за возврат в кинотеатр, как вы понимаете, выступают консервативные традиции, традиции из тех же наших пяти, очень мощные и страшные, которые всегда выигрывали поединок. Ордынская традиция. Советский Союз был разновидностью Орды, поэтому с таким упоением за это голосовали на референдуме в знаменитом 1990-м году.

Византийская традиция — это традиция, которая не приемлет гражданское достоинство, традиция, которая нуждается в подчинении, в авторитарной власти. Отчасти традиция Дикого поля.

В России идет перманентная гражданская война, которая наиболее полно проявилась в октябре 1993 года. Тогда была чистая ситуация: противостояние на равных.

С одной стороны идут неблагоприятные традиции: Дикое поле, византийская традиция и ордынская традиция. С другой стороны — скандинавско-славянская традиция пополам с традицией Дикого поля. Протестная традиция — это всегда традиция Дикого поля. Она создает ситуацию гражданской войны, когда у одной части народа — оружие, и у другой части — тоже. И тот, кто проиграет, уйдет с исторической арены. Скандинавско-славянская сторона оказалась круче. Потому что невозможно себе представить, чтобы мы, стоявшие у Моссовета, ушли в случае нашего поражения, разбежались, согласились выйти, как вышли депутаты из Белого дома. И согласились бы жить под чужим флагом, который повис бы над Кремлем. Из двух носителей традиции Дикого поля побеждает тот, кто готов идти до конца. Поскольку до конца готовы были идти именно носители скандинавской традиции, выиграли мы, даже вражеский лагерь не отрицает, что Гайдар на западные ценности молится. Он не кормится ими, он поклоняется им.

Чубайс и Гайдар — это люди самоотверженные. Отрицают это только глупцы. Умные люди из их лагеря (а их единственным идеологом является Сергей Кургинян, который прекрасно понимает, о чем здесь идет речь) этого не отрицают. Те, кто готов был умереть за свои убеждения (мы их тогда и закопали), — это люди достойные, хотя и враги. В принципе, можно положить цветы на их могилу, на могилу тех, кто умер, но не сошел с места. Но те, кто разбежался, конечно, никакого уважения не достойны. И пока на той стороне разбегающихся больше. За счет этого продолжается противостояние, продолжается вечный бой. То есть еще ничего не кончено, история России еще не написана, может быть, она будет написана нами, может быть, она будет написана после нас.

Мы оставляем историю России в ситуации недоигранной партии. Потому что те традиции, которые стоят за красно-коричневыми, — это традиции той самой падали, которая досталась большевикам, традиции мертвой страны, традиции страны, которая лежит под авторитаризмом и тоталитаризмом, как под могильной плитой. Традиции выходцев из склепов, традиции вампиров и призраков. Византийская и ордынская традиции. Неважно, на ком — свастика, на ком — серп и молот. Важно, что в них

живут все эти традиции. Поэтому они все взаимозаменяемы. Сегодняшний коммунист завтра будет фашистом. Зюганов начал с коммунизма и пришел к фашизму. У Бабурина, может быть, будет наоборот. Важно, что это есть в нас, но только некоторые сумели это преодолеть, а большинство не сумело.

Противостояние идет не снаружи, противостояние идет внутри. Мы еще не решили для себя мировые вопросы. Страна еще не выбрала для себя путь. Страна находится в состоянии активного противоборства со своей сущностью. Страна борется со своим прошлым. Страна пытается убежать сама от себя. Страна пытается вырвать из себя эти три традиции или хотя бы две: ордынскую и византийскую. Традицию Дикого поля можно оставить, она только придаст нам скорости.

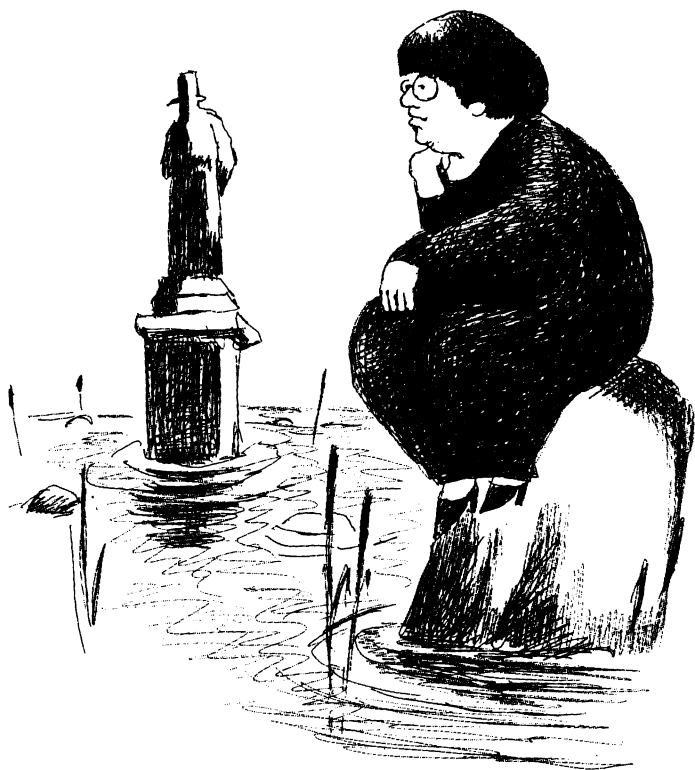
Если у нас останется три традиции — славянская, скандинавская и традиция Дикого поля, — мы очень сильно рванем вперед, и я боюсь, что мы не только капитализм построим, но мы построим и то, что за капитализмом. Мы же никогда не были теми, кто довольствуется градом настоящим, мы всегда взыскивали грады грядущие. Это классическое определение Мережковского, что мы те, кто «града грядущего взыскивает, отказываясь во имя этого от града настоящего».

Итак, у нас на шахматной доске — отложенная партия. Эта партия может быть отложена на десятилетия — или до 2000 года, до президентских выборов. Она может быть отложена и до XXII века. Она может оставаться в недоигранном виде до конца времен. Пока конец света не смешает все фигуры, пока не вмешается падение Тунгусского метеорита или какая-нибудь катастрофа. Ситуация прежняя. Каждое утро, открыв форточку, раздвинув шторы, мы можем наблюдать из окна, как где-то в дымке, на горизонте, доигрывается эта знаменитая партия из бергмановского фильма «Рыцарь и Смерть». Каждое утро российская История садится с Рокком за шахматную доску. Ставит фигуры и начинает играть на жизнь и на смерть, на будущее России. В этой партии интересно участвовать, потому что ставки очень велики. И у каждого, в принципе, есть возможность передвигать фигуры на этой доске. Тот, кто ничего не делает, в этой партии

не участвует. Но тот, кто хотя бы пришел на выборы, обязательно двигает какую-то фигурку на доске. Те, кто голосует за Зюганова или Лужкова, играют на стороне Смерти, потому что Зюганов и Лужков — это как раз средоточие ордынской и византийской традиций. В них нет ни капли традиции Дикого поля, и славянской традиции нет никакой. Это классика подавления — и классика хамства. Это тот самый Хам грядущий, о котором когда-то возвестил Мережковский.

У каждого есть возможность поиграть. Я предлагаю всем, как когда-то Солоневич в конце своей книги «Россия в концлагере» (он написал: «Читайте и боритесь»), читать и играть. Играть эту партию, и играть ее на стороне России.

1997 год



ХРАМ НА БОЛОТЕ

*Автор шаржа
Александра Николаенко*

ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ РУСИ

За свою многотрудную историю русский народ веровал во многих богов. Веровал плохо и нетвердо: Перуна утопили в Волхове, а в 1918 году с христианских храмов сшибали кресты, а священников сажали на кол.

И только один Храм за долгие, темные и смутные века остался у нас неоскверненным, и один Бог всегда нам сопутствует. Это Храм великой русской литературы, а имя Богу — красота, искусство, идеал. То есть всё тот же мандельштамовский девиз: «Россия, Лета, Лорелея».

В нашем Храме — невиданное изобилие алтарей, часовен, икон, и везде есть повод преклонить колени и возжечь свечу: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Чехов, Достоевский, Куприн, венок из поэтов Серебряного века, от Блока до Цветаевой, Бунин, Лесков, Шварц, Булгаков. Кончилась одна эпоха, началась другая, а в Храме возникали новые приделы, новые часовни: Андрей Платонов, предвосхитивший весь модерн и постмодерн, Андрей Вознесенский, Иосиф Бродский, Юрий Трифонов, Федор Абрамов... Русская литература — это главный предмет нашего экспорта, куда более насыщенный, чем нефть и газ. Мы несем человечеству боль, и тоску, и Несбывшееся, и свое вечно разбитое сердце, и холодное дыхание Вечности. Нам не дано жить, не дано преуспеть: нам дано мыслить и страдать. Историки могут написать всякое, могут и соврать: «Как Катюшу Маслову, Россию, разведя красивое вранье, лживые историки растлили — господа Нехлюдовы ее. Но не отвернула лик фортуна, — мы под сенью Пушкина росли. Слава богу, есть литература — лучшая история Руси» (Евтушенко).

Русская литература — Храм. Убежище. Так поступали христиане в старину: разбитые, побежденные, всё потерявшие, они затворялись от врага в храме. И ждали чуда или погибели.

Русская литература — это прекрасная лилия, плавающая в черной трясине, это болотный огонь, увлекающий

неосторожных ценителей в непролазную топь. Поэтому Храм русской литературы — Храм на Болоте, где изумрудные лужайки неслыханной красоты так и тянут то ли преклонить колени, то ли послушать соловьев, то ли задуматься о вечном. Но каждая лужайка таит под собой бездну, из которой нет возврата.

Русской литературой нельзя увлекаться: она затягивает навсегда, как сильнейший наркотик, и видения в этом сне будут интереснее яви. Блажен тот эстет, кому удастся пройти русскую литературу по кочкам между трясиных катастроф и вернуться назад, в нормальную европейскую жизнь.

Наша литература коварна: она прельщает туристов, инвесторов, политиков, невинных детей Запада. Болотные огни скрывают за собой пиршества людоедов и балы Сатаны. Наша красота не спасает мир, а уводит из него в другое измерение, за край Ойкумены.

ИЗБРАННИК СВЕТА

До Пушкина не было ни поэзии, ни беллетристики. Какие-то «lettres» (словесность), конечно, были, но уже никак не «belles». Литературу надо было брать приступом, как вражескую крепость. Древняя, неуклюжая, ископаемая, ржавая, как антикварные латы, и тупая, как древний тяжелый меч, отнюдь не волшебный, а просто забытый. Неуклюжий Княжнин, официозный Державин, техногенный Ломоносов, певший оды стеклу, как для журнала «Техника — молодежи»... Скелет поэзии с ужасными рифмами, без плоти, без красоты, как у Кюхельбекера, у Рылеева, у Тредьяковского...

Мысль Радищева погребена в жутком стиле, колючем, как еж. Никто и никогда не полезет на этот чердак, в эти почтенные подвалы, не продерется сквозь паутину, распугивая сов и крыс. Одни только филологи будут бродить по этому «кладбищу погибших кораблей»; не подлежат реставрации эти обломки прошлого.

Когда пришел Пушкин, как будто затмение кончилось. Солнце бессмертия и радости, невыносимой радости бытия, радости и печали (причем в одном флаконе и одном бокале, рождающем и искры, и хмель, и золотую струю, и игру смыслов) взошло и засияло над русской литературой, и до сих пор не кончился этот «вечный Полярный день». С тех пор у нас все ночи — белые, а если вдруг станет темно, то сразу зажжется Северное сияние.

Пушкин стал нашим первым масоном: строителем литературного Храма. Не античного Храма, не византийского, не готического: Храма на все времена. Пушкин навсегда останется современником и Жуковского, и Александра Освободителя, и Салтыкова-Щедрина, и Анны Ахматовой, и нашим, и наших внуков. Угрюмый Писарев, как все фанатики, просчитался: Пушкин никогда не будет «сброшен с корабля современности», он навсегда останется его капитаном и лоцманом. И если в Евангелии от Иоанна

сказано, что Слово — это Бог, то кто же он такой, Александр Сергеевич, Творец, владыка и Хранитель Слова?

Повеса и мыслитель, сатирик и романтик, праведник и еретик, он оставил нам целый пучок Ариадниных нитей. Все темы, все великие находки, все Граали русской литературы на полтора века вперед — всё это было намечено и посеяно им, и возшло в урочный час. Мы до сих пор разматываем его нити в нашем Лабиринте; и он первый назвал по имени нашего Минотавра и вызвал его на бой. Минотавр поежился и поморщился, но стихи и дар оценил. Этот Минотавр считает Лабиринт своей сферой и вотчиной, а население Лабиринта сортирует и оценивает. Пушкин получил высшие баллы. Минотавр его берег, но уберечь не сумел. Есть у Пушкина стихотворение, где он раскрывает все явки и пароли Минотавра; мы до него еще дойдем. У Пушкина вечно были проблемы с царями, он постоянно выяснял с ними отношения, в прозе и в стихах, устно и письменно. С царями и властителями. Петр I. Карл XII. Мазепа. Наполеон. Екатерина Великая. Царь Небесный. Александр I. Николай I. Робеспьер. Павел I. Аллах. Магомет. Христос. Юлий Цезарь. Марат. Сатана. Неплохая компания. И со всеми поэт разобрался (сальдо было в его пользу). Устоял только Христос. Потому что тоже был поэтом. И дальше они пошли вместе.

На слово «длинношеее» в конце пришлось три «е», —
 Укоротить поэта! — вывод ясен, —
 И нож в него! — но счастлив он висеть на острие,
 Зарезанный за то, что был опасен!*

Высоцкий тоже был поэт и тоже не кончил добром. Из всех великих русских поэтов тюрьма, сума, беда, ранняя смерть, Голгофа миновали только Тютчева.

Конечно, Пушкин держал в руках фиал со скандинавской традицией. Отсюда его вечные насмешки, подначки, ересь, диссидентство, тяга к вольности. Отсюда «Пир во время чумы» — месседж русского западника, почище Чаадаева. Но и славянское начало было сильно в нем, иначе не видать бы нам «Руслана и Людмилы», попов и их работников, стихотворных сказок, «Вещего Олега».

* В.Высоцкий, «О фатальных датах и цифрах». — *Прим. ред.*

Это не заемное, это органика. И традиция Дикого поля, хмельная, беззаконная, разгульная, разбойная бурлила в его жилах. И дело даже не в разбойниках, и не в литвине Будрысе, посылающем сыновей пограбить, и не в живописных «бандюках» из песен южных славян (почему-то названных западными). Без Дикого поля было не создать «Капитанскую дочку», не понять Пугачева и не ужаснуться сродству. Отражением этой традиции в холодном зимнем небе России пролетели бесы:

Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной высоте,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

Но и темное золото византийской традиции не миновало его. Иначе не было бы «Полтавы», не было бы «Бориса Годунова», не было бы тех поощрительно-имперских стихов («Клеветникам России», «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю»), которые вменяли ему в вину и Мережковский, и поляки, и литовцы, и нигилисты, и «современники» типа Белинского или Писарева, и, конечно, будут вменять потомки. Часто традиции хватают друг друга за горло прямо в его произведениях. В «Капитанской дочке» традиция Дикого поля идет с дубьем и вилами на византийскую и принимает от нее казнь; в «Медном всаднике» славянская гуманитарная традиция говорит «Ужо тебе!» в адрес коалиции скандинавско-византийских сил и лишается рассудка. И только ордынская традиция лишь чуть-чуть задевает Пушкина своим черным крылом. Традиция порабощения и диктатуры — она не для поэтов. Когда Маяковский понял, что она его подмяла, он не вынес и застрелился. А Пушкин был распят на кресте четырех традиций, и это в конце концов убило его. А вовсе не «самодержавие» и не «светское общество», как нас учили в школе. Стихи Пушкина прекрасны, но в них нет ни покоя, ни самодовольства, ибо они — поле битвы. Через них проходит нелегкая и неторная дорога Русской Судьбы.

Но Пушкин не был карбонарием и не был приписан ни к какому полку, даже к декабристскому. Советское литературоведение, прямой наследник идеологических критиков

вроде Белинского и Добролюбова (Павка Корчагин им товарищ), лет семьдесят выясняло, почему Пушкин не пошел к декабристам (вот и Мережковский в том числе его упрекал). Подумаешь, бином Ньютона! Не хотел идти, потому и не пошел. Заговорщик должен быть занудой, а Пушкин занудой не был. Его свобода — не бремя, а праздник. Для личного пользования. Он не мог спасти Россию дольше двух часов в день. Конечно, знакомства, честь, сочувствие к идеалам заставили бы его и впрямь выйти на Сенатскую, будь он в Петербурге 14 декабря. Здесь он Николаю I сказал правду. И Николай съел этот прикол и не наложил взыскания. (А представьте, что Симонов говорит даже не Сталину, а Брежневу, что он мог бы вступить в РОА, в армию Власова!) К счастью, его в Петербурге не было (заяц по дороге помешал: спасибо ему, косому! Не заяц, а дед Мазай). Представьте себе Пушкина на Сенатской. Сначала он бы наслаждался пафосом минуты и декламировал стихи. Через два часа ему стало бы холодно и скучно. Потом он бы пошел в ближайший трактир. Царя он бы поставил в очень неловкое положение. Как посадить Пушкина и как не посадить инсургента?

Пушкин примеривал на себя роль Андре Шенье, он мог бы взойти на эшафот:

Не слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач.
Но дружба смертный путь поэта очарует.
Вот плаха. Он взошел. Он славу именует...
Плачь, муза, плачь!..

Умереть в чистом поле — это нормально для дворянина, храбреца, повесы. В конце концов, Пушкин так и умер. Красиво умер. Но эшафот и дуэль — одно, «брань, сабля и свинец» — это тоже сойдет, у Пушкина в «Полтаве», в околотородинских стихотворениях и славянских песнях столько батальных сцен, что читателю так и хочется в гусары или уланы завербоваться. Но вот рудники и крепость — это было не для Пушкина, он бы не снес. Не вижу его даже на облегченной царской каторге, не вижу его в ссылке, не вижу его в каменном мешке. Его удел — красота, роскошь, бальные залы,

шикарные рестораны, каменные кружева Петербурга, стихи, шампанское, театр, красавица Натали. Все-таки Николай I имел в себе нечто человеческое. Ему зачтется. Из ссылки вернул, деньги подкидывал, глаза на подрывные стихи закрывал, даже мундир пожаловал, чтобы Пушкиных пускали на придворные балы.

О Натали советские литературоведы тоже много насплетничали: зачем, мол, Пушкин на этой кокетке женился? Конечно, ему надо было на будущей Верочке Засулич жениться. Но ведь в «Республике ШКИД» поют: «Не женитесь на курсистках, они толсты, как сосиски». Нет, великому поэту нужно самое лучшее, самое прекрасное. Натали была лучше всех, к тому же она оказалась умной и добродетельной. Великий поэт получил великую красоту. Пушкин не был богат, не был очень знатен, у него не было высокого чина. Но Натали, прекрасная шахматистка, оценила гения и его стихи. Она дала согласие некрасивому Пушкину, который вечно искал деньги, чтобы погасить долги. Она не ошиблась: луч бессмертия осветил и ее.

Поэту нужно было и светское общество. И пусть Белинский и Добролюбов хоть застрелятся. В светском обществе порядочно говорят по-французски, носят хорошо сшитые фраки и знают, как обращаться с вилок и ножом. Пушкин мог смеяться и издеваться над «светской чернью», но это была его единственная компания. Не в народ же было ему идти. Он сходил (в «Капитанской дочке»). Сильно не понравилось.

Великий урок «Евгения Онегина»: наивная провинциалочка никому не нужна. А вот когда она познает скорбь, да станет личностью, да покорит высший свет, да будет в малиновом берете с послем испанским говорить, вот тогда Татьяна станет интересной и значительной. И недоступной. И Онегин полюбит ее. Так начнется Via Dolorosa русской классики: любовь не будет разделенной, любовники разминутся во времени, их чувства не совпадут; он умрет или уедет, а она разлюбит или уйдет в монастырь. Или отравится. Апогея это достигнет у Чехова, но и другим счастья не знать, чахнуть, стреляться. Гриневу Маша дорого достанется, а Онегин и Татьяна обречены на вечную разлуку.

Пушкин был из редкого рода вольнодумцев, вольноопределяющихся, неподотчетных, слишком умных для «служения» народу или престолу. Таковым он себя осознает в 18 лет.

Равны мне писари, уланы,
Равны наказ и кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в ассессора.

Ему хотелось «рукой неосторожной в июле распахнуть жилет». Но он опознает Минотавра, опознает в 19 лет. И «власть роковая» — это навечно, таково уж ее свойство в России, несмотря на флаги и гербы. И мечта тоже роковая, о крахе Минотавра: «И на обломках самовластья напишут наши имена!» Самовластье — вот Минотавр! Но что же, теперь всю жизнь так и смотреть в его тупую морду? И Пушкин займется своими делами, а заодно и глянет на народ. И что же он там увидит?

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

За границу не выпускали; допущенный к царю Пушкин был первый в России «невыездной». Эту райскую птицу Николай предпочитал держать в золоченой клетке — птичка могла упорхнуть или что-нибудь не то и не там спеть. Пушкин был абсолютно неуправляем и абсолютно свободен и непредсказуем. Его критики не поняли поэта, они считали его льстецом, приспособленцем, плейбоем. Сегодня — «Стансы» царю, завтра — пасквиль на державу («В России нет закона, есть только столб, а на столбе — корона»). Сегодня он пишет против поляков, грозящих России анафемой, а назавтра издевается: «...Когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра». Державник или изменник? Не то и не другое — поэт.

Таков поэт. Как Аквилон,
Что хочет, то и носит он.

Как часто великая задача власти, ее поприще, ее месседж становится проклятием! Бремя власти. И вот Годунов тщетно пытается купить вестернизацию Руси ценой слезы невинного и убиенного по его приказу царевича Димитрия (узнали, откуда у Достоевского ноги растут в «Братьях Карамазовых?»), а в «Медном всаднике» трагедия и бунт маленького человека Евгения (вот еще одна вечная тема) жестоко попираются и подавляются Строителем с медным сердцем.

И, обращен к нему спиною
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.

Это был Рок. И он почувствовал: «Последний ключ — холодный ключ забвенья, он слаще всех жар сердца утолит».

Он хорошо жил и хорошо умер, а хоронили его жандармы. Они хотели, чтобы было тихо. Но тишины не было и на Страстном бульваре. С 1965 года к нему в 19 часов вечера шли диссиденты. Потому что «в свой жестокий век восславил он свободу и милость к падшим призывал». Новые жандармы диссидентов уволакивали, и Пушкин оставался с жандармами наедине: и 5-го, и 10 декабря. Жандармы хотят, чтобы было тихо, а народная тропа всё не зарастает и не зарастает.

Россия, Лета, Лорелея. Бессмертие. Ночь, фонари, Вечность.

ЗАПОРОЖЕЦ ПИШЕТ РОССИЙСКИМ СУЛТАНАМ

Николай Васильевич Гоголь создал трехслойную литературу, однако она была совсем не мармелад. Иногда может показаться, что мы имеем дело с двумя писателями. Миргородский «письменник», сочный, как арбуз, сладкий, как вишня, и самодовольный, как помидор, — это раз. При этом он незлобив и добродушен, как тыква. Вот вам весь украинский огород, играющий самую заметную роль в малороссийском творчестве Гоголя. В петербургском же своем творчестве он создает город черно-белый, серый, дождливый, а зимой — ледяной, безжалостный, бесчеловечный. Нигде и ни на ком так не виден процесс создания Российской империи, как на этом жизнерадостном парубке, явившемся покорять столицу, благоухающем горилкой и колбасой, но закончившем, однако, жизнь желчным неврастеником, в порыве стыда и отвращения к собственной и мировой лжи сжигающим свое творение, вторую часть «Мертвых душ». Кстати, это еще один парадокс его творчества. Души были мертвые, но литература — живая. Живая, великая, истинная литература о мертвых душах поколения, империи, страны. А вот когда нечистая сила подвигла бедного писателя (поскольку нечистый прикинулся попами, Синодом, клиром, ангелами-хранителями в виде слезливых дам-патронесс) создать ходульную ложь о живой якобы душе высокого начальника, который пожелал «воззреть» и печалиться о грешной душе Павла Ивановича Чичикова, который, однако, сам раскаялся и пал пред стопы Его, такое началось! Вот тогда-то и получилась настоящая мертвечина. Мертвая литература о том, что якобы не всё потеряно, что какие-то души на этом кладбище уцелели. Сообразив, что он создал кадавра, бездыханный труп, писатель предал его кремации. Не все рукописи не сгорают.

Трудно поверить, что этот полубезумный старик был когда-то веселым хлопцем. Вообще Малороссия у Гоголя — это альтернативный мир. В этом мире можно запросто,

заготовив немного лапши для ушей доверчивых слушателей, есть даром вареники «величиной в шляпу», сало, курицу, галушки и прочие лакомства. Украинский мир беспечен, сыт, слегка ленив и слегка пьян. Это не очень похоже на Киевскую Русь, да и на Малороссию времен Гоголя — тоже. Похоже, что это гоголевское Несбывшееся, лирическое время, голубая мечта, попытка создать себе оазис, этакие вангоговские подсолнухи. И еще один парадокс: Ромео и Джульетта Гоголя, его идеал любви и верности, оказывается, вовсе не какие-то дивчины с черными глазами и не хлопцы, добывающие черевички черт знает где, аж у самой царицы. Эта любовь преходяща, она зиждется на страсти, ей не хватает стажа. А вот старосветские помещики, два старичка, которые только и делают, что едят: завтрак, обед, ужин, ужин, завтрак, обед, — оказываются самыми пламенными любовниками, хотя давно уже отказались от супружеских объятий. Но именно глубокий старик, казалось, впавший в детство, умирает от любви.

Петербургская скудость и бедность, так одолевающие Акакия Акакиевича, очень резко контрастируют с малороссийским щедрым изобилием. Багряное море вишен, яхонтовое море слив... И воровство, вполне уже не мало-, а великороссийское, которое всё никак не может подорвать благосостояние наших милых старосветских помещиков, потому что благословенная земля всего рождает так много...

Украинские сказки Гоголя (почти как итальянские у Горького, хотя у Гоголя они талантливы, а у Горького напыщенны и бездарны, но суть, кажется, одна: мечта, оазис, тоска по яркой, возвышающей романтике), в сущности, просты, как грабли. Ведьмы там — явление обыкновенное и даже весьма милое, если, конечно, по ним в церкви не читать Писание, как попытался сделать бедный Хома Брут. На них можно покататься, с ними можно потанцевать на лугу, на них можно заработать (как заработал бы Хома на отпевании панночки, если бы не растерялся и вовремя плюнул ей на хвост, как советуют у Гоголя другие хлопцы из бурсы — большие авторитеты по этим делам). Эка невидаль — ведьмы! Бурсаки утверждают, что в Киеве все бабы на базаре — ведьмы!

У запорожцев тоже всё очень несложно. Они плохо относятся не только к турецкому султану, но и к польским панам и даже к паненкам. Об отношении их к москалям в повести не сказано ничего: москали далеко, а поляки близко, и их можно бить и грабить всласть. Собственно, Тарас Бульба — не просто сепаратист, он еще и бандит, хотя очень колоритный. Старая песня: «Жили двенадцать разбойников, жил Кудеяр атаман...» А насилия над ляхами, в том числе и над младенцами и девицами, бросаемыми в огонь (не миновать бы в наши дни романтичному Тарасу Гаагского трибунала), — это всё дань очень старой и вечно новой моде: битве «за веру» с проклятыми католиками-ляхами, к чему так склонны у Гоголя (и не только) честные и прямые православные казацкие души. Да и евреям солоно приходится, Гоголь называет их так, как их называли казаки Тараса Бульбы, и так же их называли персонажи Бабеля в «Конармии». Тарас еще гуманист, он одного недобитого его хлопцами еврея употребляет культурно, в качестве лазутчика и проводника. Вот оно, лицо дикой и свирепой воли, лицо запорожской демократии: никаких оттенков и полутонов, никаких прав человека на выбор. Перебежал Андрий к полячке, так, значит, как в «Аиде» с Радамесом: «Traitor, тогго» («Изменил, умрет»).

«Прекрасная панна тиха и бледна, распушены косы густые, и падает наземь, как в бурю сосна, пробитое сердце Андрия». Светлов оценил ситуацию.

Интересно, что Гоголь, с потрясающей силой потребовав у «клятого Петербурга» (вот, кстати, и равновесие: поганые ляхи и «клятые» москали, а запорожцы сами по себе, вроде будущего батьки Махно с третейским лозунгом «Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют») милосердия для Акакия Акакиевича, никаких замечаний нравственного характера Тарасу не делает. «Люди длинной воли», запорожцы, пребывают вне христианской системы координат и вообще вне логики, и это и есть непричесанная воля.

Продолжение истории Тараса в новые времена ищите у Эдуарда Багрицкого в его «Думе про Опанаса».

«Не прощайтесь. За туманом сгнуло бывшее. Только птичий крик тачанок, только поле злое. Только запевают

сабли, только мчатся кони, только плещется над миром черный рой вороний». Это детство, нерассуждающее детство. Красота, «крутизна», отсутствие рефлексии. Гоголь повзрослеет, уйдет от малороссийских соблазнов. Хотя сегодня его украинские сказки вполне актуальны, актуальны как никогда. Андрий посмертно победил и увел-таки Малороссию к польским панночкам. И я знаю российских депутатов, которые хоть сегодня подпишутся под тем, что в Киеве все бабы — ведьмы, и не только на базаре, но даже на Майдане, и готовы попробовать старый бурсацкий рецепт: плюнуть ведьме на хвост.

А Гоголь, оказавшись в Петербурге, попадает в созданное Пушкиным мощное силовое поле русской литературы. Он войдет в Храм искусства и уверует, и не будет больше ни просто, ни красиво, а будет навеки заплаканная российская действительность, и придется уже не воспевать, а отпевать. Да, Пушкин был воистину ловцом человеков. Он поймал Гоголя на лету. «Шинель» — это продолжение «Медного всадника», но только еще ближе к земле, только «один из малых сих», чиновник Акакий Акакиевич, совсем уж жалкая и мелкая канцелярская крыса, последний из департамента, и никакой Параши у него нет, никакой любви, никаких идеалов. И так мало нужно бедняге: теплая шинель на вате, с кошкой, которую издали всегда можно принять за куницу. И даже этой малости он не получит. После единственного счастливого дня какой-то усатый бандит (и даже не Медный всадник, а просто мазурик) хищно сорвет с него долгожданную шинель. И только после смерти бедного чиновника он преобразится в грозного мстителя и начнет срывать шинели — со всех подряд, даже и с отказавшего ему в помощи генерала.

Да, у гоголевской шинели было два рукава, и мы вылезли на свет из обоих сразу. Гоголевская Россия — это Россия чиновников. И это еще один слой гоголевского пирога. Тупых мздоимцев, непроходимых воров, жалких лакеев своего босса: генерала, тайного советника, столоначальника. Как это в «Мертвых душах» называется? Орел — для посетителей (без трешки в рукаве) и для подчиненных, куропатка — для начальника. И даже рост и комплекция, тембр голоса и цвет лица меняются при обращении к начальству. Унтер-офицерские вдовы сами

себя секут, а городничие всё берут и берут, и попечители богоугодных заведений берут тоже. И берут так, что даже Хлестакова могут за ревизора принять. А храбрость если и проявляется, то спьяну или сдуру. Куражится храбрый хам Ноздрев, сует нам брудастую суку с усами, сильно напоминая иных думских реакционеров. Вздыхает томно мечтатель Манилов, решительно думающий только о том, что реализовать никак невозможно, сильно напоминая со своим мостом и чаепитиями бывших думских демократов, любителей обещать «социально ориентированную рыночную экономику»; строит свою пирамидку Павел Иванович Чичиков, предшественник «Властелин» и Мавроди; ругается Собакевич, прототип национал-патриота, который якобы любит Россию, но всех россиян находит мошенниками и хриstopродавцами, кроме одного порядочного человека, который, увы, свинья. Но все эти хари из Иеронима Босха, включая Плюшкина, полного деграданта, — это только один рукав и один слой.

Да, русская литература, с Гоголя начиная, будет презирать и ненавидеть чиновника, «крапивное семя», хапугу и мздоимца; будет презирать городничих и губернаторов, которые тоже «берут» и тоже заедают обывателя; обывателей, трусливых и невежественных, тоже не уважит русский писатель. Русская литература будет хлебать тоску, стыд и печаль полными ложками.

Но есть и другой рукав у шинели, последний гоголевский слой, и, жалея бедного Евгения, мы станем жалеть акакиев акакиевичей за их бедность, несчастья, ничтожество и беззащитность. Великий насмешник Гоголь, наш российский Мольер, научил нас жалеть униженных и оскорбленных, бедных людей, без вины виноватых, пьяненького Мармеладова, путану Сонечку, «убивца» Раскольникова. Без Гоголя не было бы у нас ни Чехова, ни Достоевского. Полноводные реки их творчества берут начало от пушкинского водопада и гоголевского родника. В бедном Акакии Акакиевиче мы увидим своего брата. Это христианская традиция, доведенная в гоголевском творчестве до надрыва. У Гоголя была к этому предрасположенность, и это стало его посланием к российским султанам: к городничим, к чиновникам крупного калибра, к сильным мира сего. Ведь что объединяет печальную Русь и веселую Украину? Да Миргород Иванов

Ивановичей и Иванов Никифоровичей, где имеется лужа, удивительная лужа, прекрасная лужа, красоте которой дивятся домики, похожие на копны сена и которая занимает почти всю площадь. Лужа да свинья, из-за которой поссорились два приятеля, — это объединяет, и еще как объединяет, по Гоголю, и Малыя, и Великыя, и Белую Россию. Почитаешь про Миргород с его лужей и свиньей и не скажешь, что Украина — не Россия.

И при этом становится понятно, почему птица-тройка тире Русь так бешено мчится и не дает ответа. Пустое пространство без всяких красот и достопримечательностей, занимающее полмира, движение без смысла и удержу, и ответа не знает никто, а может быть, и нет ответа. Отсюда и неисцелимая тоска, и возможность заехать не в ту степь или вывернуться в первый же кювет. А на козлах — дурак Селифан, а в бричке — наш мошенник Чичиков. Теперь вы понимаете, что другие страны и государства «постораниваются» только из инстинкта самосохранения?

ИВАН ГОНЧАРОВ: ПОЛНЫЙ ОБЛОМ

Иван Александрович, слава богу, родился в купеческой семье. И это сразу направило его по правильной стезе. Тайный внутренний манифест и его, и его героев-прагматиков (у кого нет имени и «питательных» крепостных душ для фуршета, а надо откуда-нибудь добывать: дядюшку и племянника, Адуевых и Андрея Штольца) можно начерно отобразить так: «Все ищут ответа, где главный идеал. Пока ответа нету, копите капитал!» всю жизнь образованнейший Гончаров зарабатывал деньги, служил прогрессу, Отечеству, а заодно даже царю и вере (поскольку последняя пара не противоречила первой в его время). Начав с коммерческого училища и порядочного знания французского и немецкого языков, он кончил отделением словесности Московского университета. Последняя ступень в жизни академической была достигнута в 1860 году: писатель стал членом-корреспондентом Академии наук Санкт-Петербурга.

Начав жизнь в яркую, радостную, феерическую пушкинскую эпоху (родился в 1812 году; их с нашим Демиургом разделяют, следовательно, тринадцать лет), он закончил ее в 1891 году, в трезвую, практическую, уже вполне буржуазную эпоху, мебелированную такими понятиями, как «акция», «счет в банке», «бюджет», «пайшики», «партнеры».

Наевшись досыта народничеством и опившись крови, оцета и желчи с народовольцами, убившая лучшего из своих царей Россия вышла из этих политических игр, копила капитал, богатела, по солженицынской мечте «сберегала народ» и готовилась принять на царство своего последнего царя, скромного и непритязательного мученика. Гончаров жил долго и спокойно, со вкусом.

«Блюда достоинство и честь, не лез, во что не стоит лезть». Но здесь ирония Петера Вейса и кончается. Никто не скажет, что он «держался нужных идеалов» страха и корысти ради. Да, скандалов избегал. Не был, не имел, не привлекался, даже за границей не жил (всё та же

горькая доля разночинца: имений не было!). Его не арестовывали, не судили, не ссылали, не посылали на каторгу. Даже на дуэлях он не дрался, даже деньги в казино не проигрывал. Никакой романтики. Дай Бог каждому литератору так прожить: не привлекаться, не иметь, не скитаться, не голодать, не схватить чахотку, не сойти в безвременную могилу. Всю жизнь, как Штольц, он честно зарабатывал свой хлеб. Правда, не разбогател, а литература не давала ничего, кроме среднего достатка. Но он умудрялся прирабатывать: служил по Министерству финансов (и ничего в нем не украл, за что в наши дни стоило бы медаль дать), переводами кормился, преподавал русскую словесность и латынь будущему поэту Майкову. Кстати, это тот самый поэт Майков, в дом которого ворвется молодой, восторженный, зеленый Достоевский с проектом немедленно наладить печатный станок и выпускать листовки, дабы облегчить народные страдания. Разным вещам учили юного Майкова Иван Гончаров и Федор Достоевский.

В русской литературе, подобной чайке, которую непременно должны застрелить, или кораблю — вечному «Титанику», постоянно тонущему; в литературе, терзаемой бесчисленными бедами, вымышленными и настоящими, и неподдельными мучительными страстями, в литературе-катастрофе, где авторы даже из нормальной упорядоченной жизни ухитряются извлечь неисцелимую печаль и тоску, Иван Александрович Гончаров необычен.

Он рационалист, у него «ясный, охлажденный ум» (опять Пушкин! куда мы без него! Но у Онегина ум был «резкий», ему нравилась хула; а у Гончарова — просто ясный, ему нравится анализ). Он никуда не заносится и никуда не зовет. Он начал писать поздно, поэтому писал рассудочнее, чем у нас принято. Напечатал первый роман в 1847 году (35 лет! Акме! Зенит таланта, вершина) и поэтому сразу попал со своей «Обыкновенной историей» во власти дум. Великого «Обломова» — разоблачения себя и страны (разоблачения мягкого, деликатного, но именно в силу этого вышел «окончательный диагноз») — публике пришлось ждать до 1859 года, двенадцать лет! «Обрыв» выйдет в 1868 году. Три «О». «ООО». «Общество ограниченной ответственности». Это суть писательского

пафоса Гончарова, это его завещание потомкам, современникам и русской литературе, его апология России в глазах Запада: не взваливайте на себя целый мир, вы не Атланты. Не беритесь отвечать за поколение, человечество, земной шар, всеобщее счастье. Отвечайте сами за себя: за свой доход, за свою жену, за своих детей, за свою совесть, за свой дом. А человечество как-нибудь без вас устроится.

Творчество Гончарова — холодный душ, прививка против розовых соплей, голубых слюней, «сердечных излияний» (его термин!), безумных мечтаний, безбрежного идеализма. Умный Гончаров видел нигилистов, видел народников, видел народовольцев и смерть Александра Освободителя. Видел и понял, что за этими розовыми идеалами идут свинцовые времена, что идеализм кончится деспотизмом. За розовым и голубым жеманством шло красное палачество.

Его книги были пророчеством, спасительным для России. Не помогло. Наплевали и пошли дальше. Вообще на всех фронтах у Гончарова нарисовался полный облом. Он хотел предостеречь — и не был услышан. Он хотел «влиять на умы молодежи» (печатался в «Современнике», не где-нибудь!), но молодежь была левая и ему не поверила. Он ясно видел обрыв, к которому бежала Россия, как его безрассудная Вера, чтобы незаконно отдаться нигилизму и левым идеям, как Марку Волохову с ружьем, питающемуся чужими подачками (за счет того общества, которое он хотел разрушить). Иван Гончаров стоял в засаде над этой пропастью во ржи, над этим обрывом, и хотел поймать Россию на лету, как заблудившегося, неосторожного ребенка, — и не поймал.

А свою жизнь он устроил по-человечески. Захотелось увидеть мир, а денег не было. (Он не кропал. Он писал, писал редко, взвешенно, шлифуя слова, как драгоценные камни: неяркий и неброский жемчуг, водившийся когда-то в наших реках.) И вот он нанимается в 1852 году секретарем. Секретарем к адмиралу Е.В.Путятину, в кругосветку, на фрегат «Паллада».

Свет посмотрел, путевые заметки опубликовал, жалованье получил. Но дальше его подработки стали ужасно раздражать левую интеллигенцию (которая в 60-е годы, аккуратно ко времени Великих реформ, начинает вместе

с нигилистами и нигилистками, сначала в рамках каракозовского кружка, вынашивать тупой идеал: «Смерть беспощадная всем супостатам! Всем паразитам трудящихся масс! Мщенье и смерть всем царям-плутократам! Близок победы торжественный час»^{*}). Иван Александрович устраивается на службу в Цензурный комитет и, наконец, замеченный из Зимнего, приглашается (и соглашается!) преподавать русскую литературу наследнику престола. Белинскому и его команде это нравится не больше, чем Григорию Явлинскому и «Яблоку» — достижения Гайдара и Чубайса на ниве реформ в ельцинской администрации. Хотя Гончаров-цензор спасает и пропускает тургеневские «Записки охотника» и «Тысячу душ» А.Ф.Писемского. Но радикальные, экстремистские листки он не щадит. А они начинают заменять левой молодежи все изящные искусства. А тут, с осени 1862 по лето 1863 года, писатель редактирует «официозную» (то есть реформаторскую) газету «Северная почта». Он не стал народным кумиром, ибо был либералом, консерватором, аналитиком, скептиком и независимым от толпы умным человеком. Он не шарахался, как Достоевский, от революции и эшафота к охранительству, мракобесию и монархизму в кубе. За гробом его не несли кандалов и на его могиле не «горит без надписи кинжал».

Он оставил нам (через век и пятнадцать лет!) три задачи, а решения всё еще нет. Современникам он оставил три «проклятых», роковых вопроса, поэтому левые радикалы поспешили проклясть и заклеить его. Иностранным читателям, позавчерашним и сегодняшним, он оставил учебник, по которому можно изучать Россию. Академическое издание. Беспощадная объективность. Норма, а не патология, как у Достоевского. Просто жизнь. Какова же жизнь и какова же норма? «Обыкновенная история» — вот норма жизни. Еще с пушкинских времен: «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел...» Разве это не история старшего и младшего Адуевых? «Кто постепенно жизни холод с годами вытерпеть сумел...» «Кто в двадцать лет был франт и хват, а в тридцать выгодно женат. Кто в пятьдесят освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь

^{*} «Варшавянка» (сл. В.Свенцицкого, пер. на русский Г.Кржижановского). — *Прим. ред.*

добился...» Вы не забыли, что русская литература служит обедню в храме, построенном Пушкиным? И не страшно ли вам? Молодой Саша Адуев был восторжен и глуп, а дядюшка Петр Иванович учил его жизненной премудрости. А потом он вошел во вкус, дослужился, взял в приданое 1000 душ и стал холодным, бездушным чиновником, функционером, хуже дядюшки. Жуткая закономерность: в тридцать лет российский бюрократ превращается в скотину в вицмундире, и всё человеческое в нем умирает. И мрет от горя, тоски и нежити жена дядюшки, поэтическая Лиза. За десять лет добрый и умный муж довел ее до чахотки и до желания умереть.

Гоголь мелкого чиновника пожалел, Чехов будет над ними издеваться, будет их ненавидеть. Салтыков-Щедрин посмеется, правда, без чеховской личной злости и пристрастия. А Гончаров просто констатирует: в России служба приводит чиновника к утрате всего человеческого. И чем больше денег, тем меньше души. Чиновник должен стать зомби, функционером, должен бессмертную душу свою потерять. Это закон. И должен брать, если он беден и без видов, как Иван Матвеевич (у Гончарова в «Обломове»), который «записывает мужиков» и копит трех- и пятирублевки.

Но не это самое худшее.

Гончарову предстояло понять, от чего погибнет Россия. Он не знал как, но знал — от чего. От Российской империи до наших дней этот диагноз: обломовщина. У сильно «задушешного» идеалиста и мечтателя Обломова были земляца, крепостные, имение. Он пролежал на диване и то, и другое, и третье. Мечтать вредно, заноситься вредно, считать себя пупом земли — вредно. За Обломовых работают Штольцы: умные, бодрые, деятельные немцы. У них сначала ничего нет, но они всё наживут, да еще и Обломовым помогут, и женятся на их невестах, и будут счастливы. Россию спасают немцы. И цари у нас, кстати, с Екатерины II — из немцев. И детей Обломовых добрые немцы воспитают. А хватит ли немцев на Россию? Россия пролежит на диване и свои ресурсы, и своих людей, и вся изойдет в пустых мечтах, но в «час X» штольцев не хватит, власть возьмут лакеи Захары, такие же неряхи и распустехи, как их бере, но еще и неграмотные, а руководить ими будут

такие ранние швондеры, как хам Тарантьев. Они уничтожат или изгонят штольцев и поработят обломовых, но толку будет мало: даже порабощенные, под кнутом, обломовы будут плохо работать, а Захары будут плохо ими руководить.

А продолжение — в «Обрыве». Нигилист Марк, который и обедает-то остатками от обеда в Верином имении (по милости Райского), имеет за душой одного Прудона, что, мол, собственность — это кража. Еще у него есть широкополая шляпа и ружье. И со всем этим «инвентарем» он зовет Веру, обещая свободную любовь. Но звать-то некуда. Он сам бездомен. Под обрыв — и в кусты. Вера раскается, ее простят, ее возьмет за себя верный друг, богатый и ученый помещик. А вот Россия раскаяться не захотела, и помещика — друга или брата Райского — не нашлось. И всё закончилось не собственностью, а кражей. Под обрывом, в кустах.

СИЯНИЕ НЕБЫТИЯ

В каждом Храме есть колонны, стены, иконостас, алтарь. Камень, резной, кружевной камень, сладкая, смертная мука Души, пытающейся приблизиться к Творцу. Но в этих каменных симфониях обязательно плачет и ликует какая-то главная тема, какой-то лейтмотив, тот цветок, который распускается лишь раз в году, в полночь, и сулит клад. Это запомнят все: визитная карточка музыкального произведения. Начало в «Рондо-каприччиозо» Сен-Санса, начало, вступление к 40-й симфонии Моцарта, ария князя Игоря из одноименной оперы, «Марш победителей» из «Аиды», песня пленников о свободе из «Набукко», шествие пилигримов из «Тангейзера». Роскошь, украшение, золотая вышивка на и без того богатом наряде. В храме это витражи, прозрачные и нарядные, как леденцы: услада и для смертного, и для Бога. Их так мало в каменных твердых храмах, но без них всё строение было бы просто тюрьмой, склепом. Древние зодчие, создававшие чудо готического храма, так выразили свое понимание Мира и Бытия: тяжкий, мощный, занимающий всё наше внимание и время материальный мир, но в нем — проблески, окна Света, редкие точки встречи с трансцендентным, Космосом, Духом. В витражах скрыта идея выхода в сияющую огнями Вечность, в тот Свет, который так трудно заслужить и которого не заслужил даже булгаковский Мастер.

Русская поэзия — вот витражи Храма русской литературы. И какие же у нас дивные витражи! Те страны, где стоят самые прекрасные готические храмы, страны, выносившие и породившие готику — Испания, Италия, Франция, Британия, — могут нам позавидовать, нам, чей Храм нельзя увидеть, но можно прочесть. Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Гумилев, Мандельштам, Пастернак, Бродский, Цветаева, Ахматова...

Но почему я говорю о готическом, католическом, фаустианском Храме? Ведь все эти поэты или были православными, или агностиками, католиков среди них почти нет! Нет, я не ошиблась: не милая, задушевная, какая-то очень человеческая церковь Покрова-на-Нерли, в Угличе и Суздале с золотыми звездами на синих куполах, а надменный, дерзновенный, бросающий вызов небесам фаустианский Храм. Вечное непокорство и вызов, брошенный вверх, вызов Фауста и готического портала. Здесь мы равны Западу, ибо наши поэты несли в себе три чистые изначальные традиции: скандинавскую, славянскую, Дикого поля. Страсть и пламя диких степных племен, слияние с красотой лугов, лесов и болот, свойственное славянам, и непримиримая свобода викингов, свобода и ристание, свобода, вызывающая на бой. Всё это есть в нашей литературе, в которую страна вложила всю свою страсть и тоску, всю свою гордость, все мечты о Несбывшемся, потому что к XIX веку стало уже ясно, что литература заменит нам жизнь, нормальную реальность, которой мы были лишены. Вся русская культура и ее носители — аристократы, разночинцы, интеллигенты — постриглись в этом Храме, как в монастыре, и преданно служили Истине и Красоте.

Прежде чем следовать дальше по великим рекам нашей Словесности, рассмотрим витражи, этот цветник поэзии. Русская поэзия, как мы увидим, питалась из двух источников. Кастальский ключ, возвешенный Пушкиным, породил два потока: холодный ключ забвения, надмирного взгляда, космического созерцания, и ключ быстрый и мятежный, ключ гордости, свободы и вызова, ключ вечной юности. Поэты вольны были пить из одного или из другого, а то и из обоих ключей сразу. Как видите, мы вернулись к пушкинской карте будущего, заложенной в его стихи. И это он предвидел! Мы приближаемся к вратам Двух Королей, к порогам нашего Осгилиата. Мы плывем мимо них, мимо двух гигантских силуэтов Тютчева и Лермонтова, осеняющих потоки вечности и юности, то сливающиеся, то расходящиеся двумя серебряными рукавами. Целая плеяда поэтов отходит от этих пьедесталов, и оба поэта — словно два мастера из разных цехов.

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ВЕЧНОСТИ

Из Тютчева мог выйти второй Тургенев. Уж слишком похожими были истоки их дней, начало их жизни. Но как длинна была тютчевская жизнь, словно охраняемая и освещаемая зарницами бессмертия! В России поэты долго не жили: они не созданы для этого мира и мир был создан не для них. Федор Иванович Тютчев — наверное, почти единственное исключение. И не только в России, но и в мире. Поэты сгорают быстро, как яркие свечки. А Тютчев жил семьдесят лет. Они с Пастернаком вдвоем нарушили заповедь: «Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт» (Высоцкий). А он был истинным поэтом, он жил долго и со вкусом, и если бедный Пушкин тщетно пытался попасть за бугор, то Федор Иванович жил там целых двадцать два года.

Он был моложе Пушкина только на четыре года, но волны и бури той же эпохи не проехали по нему, он смотрел на них словно сверху, с какой-то другой планеты, где вся наша жизнь — уже пройденный этап, где живут мудрые и всевидящие небожители... Семья у Тютчева была вполне тургеневская. Старинная, богатая, «среднепоместная». Материальная независимость, но не магнаты. Нет фанаберии, нет великосветского лицемерия и пустоты. Ах, как прекрасно было имение Тютчевых Овстуг в Орловской губернии! Какой белый барский дом с колоннами, для нашей сегодняшней убогой действительности — дворец! Какая церквушечка при поместье, какая колокольня, какой парк! И воспитывал будущего поэта поэт, молодой переводчик Семен Раич. Он сделал своего ученика причастным к великой античной культуре, он дал ему глотнуть этой горькой и спасительной вечности. Юный Тютчев понял: всё проходит, всё было, всё еще будет. «Всё должно в природе повториться: и слова, и пули, и любовь, и кровь... Времени не будет примириться»*.

* Б.Окуджава, «Старинная солдатская песня». — *Прим. ред.*

Федор научился бесстрастию и стоицизму. В двенадцать лет он уже Горация переводил. В шестнадцать лет его перевод был напечатан. Из него не вышло Тургенева: в его жизни и стихах России не больше, чем Европы и Рима, а звон римских мечей отдается эхом в ночи столетий. И есть еще что-то неземное, нечеловеческое, то, что поражает в музыке Моцарта: холодный смех небожителей, этот не любопытный, но всевидящий взгляд со стороны. И уж конечно, в 1819 году он поступает в Московский университет на отделение словесности: факультет для тех, кто хорошо обеспечен и в куске хлеба не нуждается. С университетом талантливый юноша управился за два года, после чего пошел служить по дипломатической части.

В 1822 году он едет в Баварию. Казалось бы, он очень хорошо подготовлен и из него выйдет новый Горчаков. Но увы! Великие поэты не бывают хорошими чиновниками. Он слишком много знает, слишком независим, слишком умен. Да и деньги ему не очень нужны, и кланяться и унижаться ему незачем. Пять лет он ходит во «внештатных», только потом получает «звание» «младшего советника». Как назло, ему хочется служить, он верит (искренне и постоянно, а не порывами, как Пушкин) в великую миссию России, в панславизм, в сверхсмысл монархии, делая из неврастеника Александра I что-то вроде короля Артура, а из холодного сатрапа Николая I — почти что Юлия Цезаря. Он верит во всякую чушь перманентно, а ведь у Пушкина она умерялась здоровым смыслом, «острым галльским смыслом». А на долю Тютчева достался один только «сумрачный германский гений». Он вообще германофил, дружит с философом Шеллингом и поэтом Гейне. Он прекрасно переводит Гейне и Шиллера, но все дороги разумного, доброго и вечного в России ведут в пушкинский «Современник», где в 1836 году (Пушкин успел его опубликовать, за год до гибели) появляется подборка его стихов.

Является и слава. Этот знаток античности не знал пушкинских классицизмов насчет Пегаса, Ариста и Парнаса и не писал былин и легенд про Русланов и Черноморов. Он сразу стал писать современно. И не для начала XIX века современно, а и для XXI, пожалуй. Тютчев — это поэтическая пирамида + Сфинкс: древние, как Вечность, они современнее и важнее всего, что есть в Египте, а теории насчет

происхождения пирамид попали в фэнтези и антиутопии, одни «Звездные врата» чего стоят! Мысль Тютчева — как лазерный луч. Пристрастия века, политическая конъюнктура, заблуждения и эмоции — ничего этого у него нет. Пушкин так стал писать за семь лет до смерти, особенно это у него осталось в «Маленьких трагедиях» и «Евгении Онегине». И, конечно, в «Борисе Годунове». Но у Тютчева, мастера коротких, малых форм, всё это подано в страшной концентрации. Трагедия декабристов подается им сухо, жутко, без слез и иллюзий: «О жертвы мысли безрассудной! Вы уповали, может быть, что станет вашей крови скудной, чтоб вечный полюс растопить! Едва дымясь, она сверкнула на вековой громаде льдов, зима железная дохнула — и не осталось и следов».

Вот и в первых строках — прозрение. «Вас развратило Самовластье». Да, заговор, попытка протащить республику под предлогом верности Константину, вовлечение обманом в это дело солдат, ложь и попытка утрясти всё сверху, тайно, ни у кого не спрашивая, — это воспитание, даваемое автократией, его следы. В одном маленьком стихотворении — история гражданского протеста в России, сущность ее власти и оппозиции. Это слова даже не мудреца, а пришельца. Все время вспоминается роман Стругацких «Трудно быть богом».

Однако этот мудрец не был ни постником, ни аскетом. У него были две очаровательные жены, любовница, куча детей. И денег вечно не хватало: скорее, от безалаберности, чем от бедности. Покоренный образом Гретхен, этот умник женился только на немках. В 1826 году он женится на прелестной Элеоноре Петерсон (какая шея! какие кудри! Царевна-лебедь, да и только!). Она умирает в 1838 году. А в 1839-м он уже женится снова на Эрнестине Дернберг, дальней родственнице немецкого баснописца (Эрнестина — загадочная женщина, прямо-таки Линор безумного Эдгара: огромные глаза, прическа, как у Клеопатры, диадема). Поехал жениться в Швейцарию, вылетел со службы, а ведь только в 1837-м он наконец сделал карьеру: был назначен секретарем Русской миссии в Италию, в Турин! Первым секретарем! Но поэты — плохие карьеристы. А он еще и любовницу завел, прелестную (ну типичная Лавальер!) Елену Денисьеву, ровесницу дочери, при живой-то жене! Она умрет от чахотки

в 1864 году, а за ней — двое их детей! Он переживет еще и старшего сына Дмитрия, и младшую дочь Марию. Вот она, цена бессмертия: одиночество. Но Тютчев его сносил, оно питало его гений. Он и в Германии был как рыба в воде, хотя католицизм он терпеть не мог за его рационализм; а революции ему казались пошлыми, как любому идеалисту, приверженцу древности. Французов он считал пустыми людьми. А Россия виделась ему издавна пленительной загадкой, причем не современная, а будущая, достигшая некоей «меты», черт знает где расположенной. Это он создаст универсальную философию истории России в одной строфе: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная статья: в Россию можно только верить». Вот мы и верим, а на дворе уже XXI век. Что еще нам остается! И нашего ума не хватает на понимание столь скользкого и загадочного предмета.

В 1844 году он возвращается в Россию и опять идет служить по линии МИДа. В 1858 году он станет даже председателем Комитета иностранной цензуры и там будет защищать свободу слова. Тютчев был джентльменом и либералом, хотя и не западником. Он был трезв и не питал иллюзий ни насчет Запада, ни насчет нынешней (XIX века) России. Так что и славянофилом его нельзя считать. И державником он тоже не был. Восторженно принял Великие реформы Александра II. Польское восстание 1830 года вызвало у него уважение к полякам, даже восторг, а подавление он почему-то простил во имя будущего якобы славянского союза. Это подход если не инсургента, то и не империалиста. «Ты ж, братскою стрелой пронзенный, судеб свершая приговор, ты пал, орел одноплеменный, на очистительный костер! Верь слову русского народа: твой пепл мы свято сбережем, и наша общая свобода, как феникс, зародится в нем». Так всё и случится, опять Тютчев пророк. И будет лозунг «За вашу и нашу свободу», и дружба диссидентов с «Солидарностью», и песня Окуджавы «Мы связаны, поляки, всегда одной судьбою». Российская империя, а после СССР поперхнутся Польшей, и полет этого орла смутит рабов и подорвет устои. Тютчев шел по жизни, как на пуантах: у него было звание камергера, и он от

этого не страдал. Иногда тусовался в светском обществе, но чаще пренебрегал и даже не писал на него пакскилей. Его читали и любили очень разные люди, абсолютно несовместимые: Пушкин, Толстой, Вяземский, Аксаков, Погодин, Жуковский, Тургенев. Но и Некрасов, и Чернышевский, и даже В.И.Ульянов.

Вечность, которая стоит за стихами Тютчева, лишена политических тяжб. Среди его прозрений есть и космогонические. В XIX веке он просто не мог этого знать. «Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных: всё зримое опять покроют воды, и божий лик отобразится в них!» Этого еще ни один Голливуд не поставил. Он и о любви, и о религии пишет так же рассудочно. Конечно, он не лирик по сути, а философ, беспощадный философ. Первая ласточка экзистенциализма. Сартр и Камю отыщут эти идеи на полке Времен через 110 лет. Запад Тютчева проглядел. Может быть, в связи с трудностями перевода. А мог бы сказать: «Ай да русские! Ай да сукины сыны! И экзистенциализм первыми вычислили!»

Наш Храм — место наших приоритетов, место компенсаций Искусства за несостоявшуюся жизнь. Тютчев — основа философской, леденящей, надмирной струи в русской поэзии. Он здесь и хранитель, и виночерпий. Он и умер так, как хотел: в полном сознании, не утратив ни мощи разума, ни силы духа, не изменив взгляды на жизнь. Со смертью он был накоротке, он знал о ней всё.

Как ведать, может быть, и есть в природе звуки,
Благоухания, цвета и голоса,
Предвестники для нас последнего часа
И усладители последней нашей муки —
И ими-то судеб посланник роковой,
Когда сынов Земли из жизни вызывает,
Как тканью легкою свой образ прикрывает,
Да утаит от них приход ужасный свой!..

ДЕКАБРИСТ 37 ГОДА

Странно выглядит наш Аргонат. Вместо двух древних королей дорогу в сверкающий бескрайний океан русской поэзии указуют и стерегут два поэта, ни в чем друг с другом не схожих. Лысоватый, заурядной наружности, безукоризненно одетый европейский джентльмен со звездным даром холодного всезнающего небожителя — Тютчев. Эллинист, пифагореец, гедонист. А кто же второй? Худенький, изящный мальчик в блестящем мундире с эполетами, сумрачный, кудрявый, прекрасный, с гневным презрением в блистающем взоре, с недоброй улыбкой на красивых губах, осененных красивыми офицерскими усиками. Это он, грозный и беззащитный Мишель Лермонтов, последний декабрист, никому не причинивший зла и сделавший из Сатаны носителя Мысли и Добра, Сомнения и Рефлексии — Демона; сложивший голову не на кинжал злого чеченца, а на пистолет доброго христианина, товарища по оружию — Мартынова; один вышедший на свою Сенатскую площадь размером с Российскую империю; неспособный стрелять в своего Грушницкого и застреленный одним из бесчисленных Грушницких.

Если Пушкин был явным «смогистом» шестидесятых годов будущего века (Сила — Мысль — Образ — Глубина), то Лермонтов привнес в русскую поэзию сказочную, нездешнюю, неправдоподобную красоту природы и женщины (именно он, неженатый, невенчаный); водопад вечных человеческих чувств, после которых не захочешь разума; восхищение чужим, диким народом, бардом которого он становится; дьявольскую гордыню, серьезное, трагическое отношение к жизни, неумение и нежелание выживать и вечное диссидентство. И наконец, этот царский офицер, заслуживший себе орден на Кавказе, где он верой и правдой служил (хоть и невольно) Империи (а не дали орден за строптивость), первым ввел в обиход кампанию гражданского неповиновения, то есть несотрудничества с властью, когда

шпильки и выпады перемешиваются с таким ледяным равнодушием, что оно хуже любых нападков. И всё это вместе с поэзией и прозой (абсолютно перпендикулярной поэзии), университетом, романами, балами, любовью к властной бабушке и выгнанному отцу уместилось в 26 лет, с 1814 до 1841 года. Такая коротенькая жизнь, даже для поэта это рекорд. Побьет этот рекорд через много десятилетий только юный Каннегиссер, ну да ведь он принадлежит совсем другой эпохе, а советская власть не щадила даже детей, не только убийц председателя пертбургской ЧК...

А Лермонтова, по сути дела, уморили на Кавказе, в действующей армии, причем Мартынов вполне может быть приравнен к «дедам».

И началась эта жизнь под несчастной звездой. Родился Мишель у родителей, разгневавших богатую и властную бабушку, Елизавету Алексеевну Арсеньеву, пензенскую помещицу, дочь богатого откупщика, даму просвещенную и знатную, но уж очень любящую командовать.

Родился Миша в Москве, но рос у бабушки в имении Тарханы (еще одна колыбель русской поэзии). Дело в том, что Мари, его мать, совершила мезальянс и без материнского благословения вышла замуж за родовитого, но бедного армейского капитана Юрия Петровича Лермонтова. Ходили геральдические слухи, что он происходил от шотландца Лермонта, в незапамятные петровские времена приехавшего в Россию «искать карьеры и фортуны». Может, и правда: у Мишеля всю его короткую жизнь была шотландская гордость, и шотландская тяга к независимости стоила ему дорого.

Мать так корила и попрекала дочь, что сжила Марию Михайловну со свету (и ведь ходили слухи и сплетни, что дед Миши тоже не вынес бабушкиного нрава и руки на себя наложил). Бедняжка Мари умерла в двадцать два года, Мише и трех не было. И здесь Арсеньева просто выкупает внука: завещает ему всё свое состояние при условии, что до совершеннолетия ребенок останется на ее попечении. Что ж, Юрий Петрович хотел сыну счастья и богатства. Но он взял и «отступное», вексель на 25 тысяч рублей, и уехал в Тульскую губернию, в свою бедную деревеньку Кропотово. Он виноват перед сыном: они более не увидятся, отец

умрет в 1831 году, а богатство Мише не пригодилось, богатая бабушка переживет его на четыре года. Юный Мишель рано узнал, что такое предательство, хотя он и не винил отца. А бабушка души не чаяла во внуке, потакала ему во всем, дала прекрасное образование. Малышом он знал французский и немецкий, а когда поступил в 14 лет, в 1828 году, в Московский университетский благородный пансион, он был так хорошо подготовлен (и английский успел выучить, и Байрона прочел), что его зачислили сразу на 4-е отделение, в старший класс.

А до этого бабушка трижды свозила его на Кавказ, на воды. Мальчик был потрясен величием, дикостью, непричесанностью природы. Горский фольклор пал на благодатную почву его шотландской гордости и культа вольности и свободы. Прибавьте сюда Байрона — и вы получите великий характер и великое неумение жить, этакое сухопутное корсарство, «веселый Роджер» во главе судьбы, бригантину из флибустьерского моря, дальнего, синего, вместо экипажа. Этому мальчику рано надоело «говорить и спорить, и смотреть в усталые глаза». И когда он напишет свой «Парус», это будет и чистый Стивенсон, и байроновский «Корсар», и «Одиссея капитана Блада». И это в 18 лет! (В те годы романтический период у мальчиков кончался раньше, но Лермонтов романтиком умер.) Вот так он, мятежный, будет «искать бури», «как будто в бурях есть покой».

Научится он и сухому горькому экзистенциализму, исключаяющему романтизм (но в загадочной славянской душе всему хватает места): «Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит!» Счастья нет и не надо — вот что знает этот юноша. Мишель катастрофически не умел быть счастливым. А вот дар быть несчастным у него был. Дар быть несчастным талантливо. Мощный гений Пушкина, сила его ума, его ранняя пророческая мудрость не мешали ему «ловить кайф» от женских ножек, балета, трюфелей, не смогли помешать жениться на прекрасной Натали, обзавестись четырьмя детьми, любить свою семью, вечно доставать деньги, влезать в долги, радоваться, если удавалось что-то где-то перехватить, принимать царские синекуры, кутить, танцевать. У гения, понимавшего всё, был хороший запас легкомыслия. Он умел забывать,

он легко шел на контакт с властью, мог сгоряча признаться царю в любви. А вот Лермонтов с молодых ногтей ни к чему легко не мог относиться. Увлечения же женщинами (Сушковой, Ивановой, Лопухиной) порождали лишь стихи, и то не самые лучшие, но не стремление жениться и видеть предмет своей страсти каждый день. Здесь Печорин — авторитет. Волочиться за Мэри, не любя ее, из чисто спортивного интереса; соскучиться с Бэлой за две недели; любить Веру и не желать брака, ибо рутина, повторение — это всегда скука и принуждение, а Печорин (и его создатель) свободой своей поступаться не хочет. Это уже чистый Байрон в «Дон Жуане» и вне его: увлечения, даже страсти, но всю жизнь торчать у одной юбки — скука.

А что до романа с властью, то Пушкин успел до 1825 года вырасти и окрепнуть. А жизнь Лермонтова столбы виселиц осенили слишком рано, ему было 11 лет. Вся родня, знакомства, родня родни оказались в родстве с повешенными и сосланными. И мальчишки в пансионе — тоже. Кстати, из тех, кто был в родстве с теми или на стороне тех, кто судил и вешал, не вышло ни поэтов, ни прозаиков. Разве что жандармы или другие «силовики». А в пансионе мальчишки списывали запрещенные стихи, даже Рылеева. Один сплошной самиздат, литературное общество, и в качестве преподавателя наш старинный знакомый — Семен Раич. Мишелю в 14 или 15 лет уже snились тираны, кинжалы, эшафоты. Да еще этот клинок, по Лермонтову, должен был быть покрыт «ржавчиной презренья». Для юной души это хуже, чем кровь. Из красивого Мишеля вырабатывался не вольнодумец, резвый и шаловливый, а мрачный, желчный диссидент, мятежник с пеленок. Николаю доносили, что в пансионе «неприлично», воспитывают карбонариев. Николай явился проверить и нашел, что образ мыслей и впрямь неприличный: слишком много свободы, никакой субординации, преподаватели мальчиков не «цукают», а любят. И он приказал переделать пансион в обычную гимназию. Самодержцу всея Руси и впрямь делать было нечего: он вмешивался во всё и всюду втыкал свою «вертикаль».

Мишель спасается в Московский университет, на нравственно-политическое отделение. Но черное пламя реакции движется за ним, накрывая поколение смогом,

засыпая его пеплом, как Везувий. От Мишеля не отстают и в университете. Профессора Малова, бездарность и невежда, Лермонтов и его товарищи просто выгонят из аудитории. А профессора Гастев и Победоносцев обнаружат, что юный Лермонтов отвечает им не по их конспектам и вообще знает больше, чем они. Юный нахал это им и подтвердит открытым текстом. Придется перебираться в Петербургский университет. Но здесь откажутся зачесть московские два курса. Мишелю не хочется оставаться студентом еще четыре года. Хочется во взрослую жизнь. Хотя он уже понял главное, что успел выразить в поэме «Испанцы», понял в 16 лет.

Ему суждено будет воевать с авторитетами и нарушать все табу, в том числе и церковные. Пушкин мило пошутил в «Гавриилиаде», и то сколько было неприятностей, а у его Балды из-за попа и поныне продолжаются неприятности в провинциальных театрах. Пушкин был вольнодумец, а Лермонтов — еретик. В «Испанцах» он поносит папу и инквизицию, а в герои избирает еврея Фернандо (помните у Пушкина: отравитель «жид Соломон», «ко мне постучался презренный еврей»? Так вот! Лермонтов здесь догоняет XX век и его толерантность), и Фернандо смелей и благородней любого дона. Его устами Лермонтов выскажет великую истину: «Я здесь один, весь мир против меня; весь мир против меня: как я велик!» Вот он, русский экзистенциализм, прародитель Кьеркегора, Сартра и Камю! И впрямь, Мишель красив, умен, талантлив, очень богат, но ему некуда податься уже в 16 лет, российский барак строгого режима, николаевская казарменная Россия отвергает его. А в «Демоне» он и Бога приложит, значит, и на небеса не стоит рассчитывать.

С государством еще хуже. Идет 1830 год, французы изгоняют Карла X, и Лермонтов доходит почти что до республиканства. «Есть суд земной и для царей. Провозгласил он твой конец: с дрожащей головы твоей ты в бегстве уронил венец»... Герои Лермонтова — это действительно «карбонарии»: сожженный еретик Фернандо, поднявший меч против Рюрика Вадим, Люцифер и его команда, купец Калашников, убивающий «голубого силовика» — опричника, «злые чеченцы», кабардинцы, весь мятежный Кавказ. Это было совершенно роковое решение:

с таким взглядом на мир, с таким нонконформизмом идти в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Конечно, красные доломаны, голубые ментики, золотые эполеты, аксельбанты, усы, «полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам», но казарма — не для Лермонтова, и любого хама или гуляку он воспринимает как «дедушку». За два года Мишель едва руки на себя не наложил.

И вот наконец выпуск. Звание корнета, лейб-гвардии Гусарский полк. Идет 1835 год, Лермонтову 21 год. Кажется, всё наладилось. Деньги у него есть, впереди — блестящая военная карьера, светские развлечения, литературная слава. Но наступает 1837 год, и Лермонтов выходит на свою Сенатскую площадь. Гибнет Пушкин, пишется отчаянное стихотворение «На смерть поэта». Монарха оно не затрагивает, но общее впечатление о жизни «в верхах» — ужасное. «Надменные потомки известны подлостью прославленных отцов», «вы, жадною толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи», да еще под конец «наперсники разврата». У Николая был просто приступ бешенства: он в таком окружении выглядел очень невыигрышно. К «неприличному образу мыслей» прибавилось дело о «непозволительных стихах», хорошо дополняющих «непозволительную прозу», отчет маркиза де Кюстина о николаевской России.

Впрочем, Лермонтов в России любит обычный диссидентский набор природных красот, которые одни только и остаются у изгоя, спорящего с веком: молчание полей, «разливы рек ее, подобные морям», «желтеющую ниву», «свежий лес», «серебристый ландыш», «студеный ключ» да «малиновую сливу». За стихотворение арестовывают поэта! Ну чем не тоталитаризм? Николай шадил Пушкина, мирволил ему, подкидывал халтуру. А Лермонтова сжил со свету. У Мишеля были деньги, он ни в чем не нуждался, смотрел на престол свысока, не шел навстречу хотя бы для виду. Он порвал с ними со всеми и искал только «свободы и покоя».

Бабушка похлопотала, и его отправили в Нижегородский драгунский полк на Кавказ прапорщиком. Вот здесь начались настоящие приключения: Тамань, Кизляр, Шуша. Здесь он найдет целую бригаду ссыльных декабристов

(С.И.Кривцова, В.М.Голицына, В.Н.Лихарева, М.А.Назимова, А.И.Одоевского). Николай очень многих декабристов отправил покорять Кавказ, и одни инсургенты громили других на радость царю, вере и Отечеству. Но бабушка опять хлопочет, и Мишеньку переводят в тихое место, в Гродненский гусарский полк (под Новгородом), а затем снова в лейб-гвардии Гусарский, в Царское Село. 1838 год. Еще три года жизни.

Здесь его примут и обласкают друзья Пушкина, его настоящая семья: Жуковский, Карамзин, Вяземский, Соллогуб. К 1840 году юный Лермонтов скопит 400 стихотворений и 30 поэм. Не минует он и «Современника» и к 1839 году попадет в наши неизменные «Отечественные записки» — пристанище талантов и разбитых сердец российских литераторов, которые бежали от жизни под гостеприимный кров русской словесности.

Лермонтову нужно одно: чтобы государь и его генералы от него отвязались и дали бы уйти в отставку и писать. Но нет! Черт догадал его не только родиться в России с умом и талантом, да еще и в российскую армию попасть. Золотые аксельбанты затянулись петлей на шее. А тут еще этот Барант, опять сын посланника, прямо как у Пушкина, но не голландского посланника, а французского, и не приемный сын, а родной. Предлог был — княгиня Щербатова, которой Лермонтов нравился больше. Но суть одна: хотелось Мишелю, ох как хотелось «смутить веселость их и бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью». Стрелялись и помирились, но под военный суд попал опять несчастный поэт! И здесь он загремит уже основательно, в Тенгинский пехотный полк, и побьет на Кавказе, в действующей армии, все рекорды храбрости. Даже ветераны удивятся, а разгадка так проста: этот мальчик 25 лет от роду жизнью не дорожит. Ему полагаются отпуск и награда, но награды Николай I раздает как-то очень по-советски: за строптивость орденом можно и обойти. Ни ордена, ни отставки, ни даже отсрочки Лермонтов не получит и в апреле 1841 года последний раз вернется на Кавказ.

Как мало он успеет в жизни, и как много — в литературе! Он не успеет из Мишеньки стать Михаилом Юрьевичем, он не успеет жениться и увидеть своего сына, он не успеет

«вовремя созреть и постепенно вытерпеть с годами холод жизни», по пушкинской схеме. Он умрет молодым, ни в чем не раскаиваясь и ни от чего не отрекаясь, не примирившись ни с небом, ни с землей. Он уйдет в 26 лет. «И на челе его высоком не отразится ничего». Нет, он, конечно, не Байрон. Лорд Байрон был свободен, много путешествовал, хотел воевать с турками за Элладу и умер в Миссолонги. Он прославлял ирландские восстания и презирал вслух ирландцев, примирившихся с британской короной, однако никто не гнал его из палаты лордов. Он искал смерти на чужбине, ему и в голову не могло прийти, что Михаил Лермонтов найдет ее на родной земле.

Лермонтов создал вовсе не романтическую, а очень острую и глубокую прозу, «Героя нашего времени». Здесь такой взгляд со стороны, такой беспощадный анализ и русских, и чеченцев, и вояк, и штатских, и барышень, и мамаш, такое раздевание и саморазоблачение! И небогатый ветеран Максим Максимович, и пижон и дешевый позер Грушницкий, которого Лермонтов оторвал от себя, изжил, перерос. Конечно, он был Печориным, за вычетом творчества, скептиком и обличителем на пепелище затхлой и душевной Николаевской эпохи, без лучика, без молекул свежего ветра. Он научился писать алмазной кистью на сапфировой доске горного неба, увенчанного жемчугами снежных вершин.

Никто не заметил, а ведь он, сражаясь за Империю, выбрал не ее. Дикая воля, храбрость, чистота помыслов, свобода от стяжательства — этим чеченцы и кабардинцы покорили его. «Велик, богат аул Джемат, он никому не платит дани. Его стена — ручной булат, его мечеть — на поле брани. Его свободные сыны в огнях войны закалены; дела их громки по Кавказу, в народах дальних и чужих, и сердца русского ни разу не миновала пуля их». Да это же гимн, это скрижали, это памятник горской вольности! И пусть Гарун не бежит с поля брани, а хранит свою честь и бьется до последнего, хотя если все горцы, начитавшись Лермонтова, их летописца и художника, их идеолога (ведь никто лучше, чем он, сформулировать это не смог: он оформил горские страсти в чеканные бессмертные стихи), пошли бы до конца, то не удержать бы России Кавказа.

Но Лермонтов — поэт больше, чем офицер. И кстати, горская интеллигенция всегда им восхищалась, ибо нашла в его стихах уважение, а обмен пулями — это для них естественно, это удел мужчин, на это не обижаются. Хотя в прозе острозубый Мишель отмечает и бедность, и дикость горцев, и воровские повадки их (украсть коня), и неуважение к женщине, которую могут сменить на жеребца арабской крови, и убогий, скудный быт, и невежество. Но есть еще горы, настоящая горская гостиная. «И у ворот ее стоят на страже черные граниты, плащами снежными покрыты; И на груди их вместо лат льды вековечные горят». А еще есть Каспий. «И старик во блеске власти встал, могучий, как гроза, и оделись влагой страсти темно-синие глаза». И есть Терек: «И Терек, прыгая, как львица с косматой гривой на хребте, ревел, — и горный зверь, и птица, кружась в лазурной высоте, глаголу вод его внимали; и золотые облака из южных стран, издалека его на север проводжали; и скалы тесною толпой, таинственной дремоты полны, над ним склонялись головой, следя мелькающие волны». Какая роскошь! Вот вам и мебель, и столовое серебро, и библиотека горских племен. И чеченские пули не тронут того, кто переведет в слова эти дикие красоты.

В Пятигорске злоязычный Лермонтов нарвется на майора Мартынова, своего Грушницкого. Это только в романах Грушницкого можно убить, в жизни пошляки и завистники бессмертны. На этой последней дуэли Лермонтов показал, чем он отличается от Печорина: выстрелить в человека он не смог. А Мартынов убил богача, гордеца и «знайку» с удовольствием. Заработал только три месяца тюрьмы и церковное покаяние. Николай будет краток: «Туда ему и дорога». Туда... В Аргонат, где гигантская тень Лермонтова будет указывать путь всем поэтам, для кого мир станет ристалищем. Поэты — наши настоящие короли, царям уготована скромная Петропавловка. А Лермонтов обрел свободу, о которой столько мечтал. «Мчись же быстрее, летучее время! Душно под новой броней мне стало! Смерть, как приедем, поддержит мне стремя, — слезу и сдерну с лица я забрало».

ЧИТАВШИЕ, ОСТАВЬТЕ УПОВАНИЯ

Мир давно прочел русскую классику и даже защитил по ней ряд диссертаций (в спецодежде и перчатках, приняв все меры предосторожности, чтобы не заразиться избыточной духовностью и не остаться без крова, без штанов и без куса хлеба, тем более что такого оправдания своим бедам, как «мировая закулиса», у мира просто нет). Прочел и забыл. Но кое-что застряло и стало массовым и даже популярным. И никто не может конкурировать здесь с Достоевским. Он такой же редкостный, незаменимый и драгоценный предмет экспорта, как водка, черная икра и якутские алмазы. Достоевского ставят на сцене и снимают в кинематографе всюду, даже в Японии. Хотя нет ничего более противоположного, чем японская лаконичная статика и высокая молчаливая концентрация воли, и русский неконтролируемый треп у Достоевского в сочетании с российской же вечной расхристанностью и неумением даже не решать самостоятельно свои проблемы, но хотя бы не кричать о них на всех перекрестках.

Чем же взял Достоевский западных зрителей, читателей и продюсеров? Ведь если для масс русский бренд менялся с «икра, водка, матрешка» на «водка, Горбачев, перестройка», то этот же бренд для мыслящей западной публики звучал всегда более солидно и стабильно: «Пушкин, Чайковский, Достоевский». Особенно Достоевский. Предмет и поприще для трудов режиссеров и актеров, лакомство для гурманов. Патент на избранность!

Во-первых, Достоевский импонирует западной публике своей романтической историей, соответствующей представлению о том, как должен прожить жизнь писатель с «загадочной славянской душой». Из читаемых авторов только он один и соответствует. Слишком уж безопасной, комфортной, пресной и «филистерской» кажется западным интеллектуалам их собственная жизнь. И вот на майках и сумках появляется Че в берете:

из-за шхуны «Гранма», перманентной революции и смерти в боливийских джунглях. Очень вредный для человечества человек Че Гевара. Но — в берете и с автоматом. И Достоевский (до Эдуарда Лимонова, хорошо эту загадочную потребность раскусившего: сума, тюрьма, динамит в зажигалке, автомат Калашникова) для Запада остается единственным писателем, который не просто слушал оперу, сидел в имении, болел чахоткой и писал романы, но и был носителем опасности и порока. Сами судите: петрашевский кружок, арест, приговор к расстрелу, Семеновский плац, процедура казни, помилование, каторга, солдатчина, Петербург, слава, чтение своих романов в Зимнем дворце, страсть к рулетке. Его роковая женщина Аполлинурия Сулова (будущая Настасья Филипповна). Его первая жена, несчастная и несносная особа типа Катерины Ивановны. Его последняя юная жена — стенографистка, скромная и преданная Анечка. Игрок, ходок, революционер.

А его творчество Запад прельстило именно «наркозами и экстазами», надрывами, бесстыдством персонажей, безднами и «подрывными» мотивами. У его персонажей всё не как у людей. Они непредсказуемы. Человек Достоевского опасен и глубок, как омут. И с черного дна поднимается много тайн, муты, жестокости и страсти. «Развязаны дикие страсти под игом ущербной луны» — вот это и делает Достоевского автором № 1 для Запада.

Но Достоевский хорош в книге и на экране, как дикий, прекрасный зверь — за решеткой клетки. А для России он на Западе создал чисто отрицательный бренд. Так сказать, «Бедлайм интернейшнл». Его братья Карамазовы, «психи» и неврастеники, маньяк-идеалист Раскольников, идейные путаны Настасья Филипповна и Сонечка Мармеладова, юродивый князь Мышкин — это прямо вывеска к фирме «Желтый дом и сыновья». И ясно, что эти русские опасны: то ли даром товар отдадут, то ли вообще зарежут. Не партнеры, словом, а то ли людоеды, то ли зомби, то ли «другие» из параллельного мира.

Для России же Достоевский имел еще более негативное значение. Эталон глубины и опасного приближения к краю в творчестве, в жизни он оказался на двух направлениях общей российской гибели, как на пути

к своему последнему роману, написанному в 1917 году его читателями. Левые экстремисты усвоили из Достоевского его юношескую склонность к социализму, завидуя его каторге и смертному приговору; презрение к богатству и бизнесу, неуважение к обычной человеческой жизни и оправдание насилия и убийства ради высшей цели. «Спасение» проституток из публичных домов — это тоже его влияние. Правые консерваторы взяли из великого писателя изоляционизм, ненависть к полякам, монархизм последних лет, злокачественное православие, национальную спесь, богостроительство для одной отдельно взятой страны, затхлое провинциальное российское мессианство. Всё это пойдет в копилку Империи Зла, сдобренного навязываемым насильственно Добром из старых бесовских, петрашевских и раскольнических идеалов. Что читающему о России — благо, то живущему в России — смерть.

Дантов ад начинается с вешалки. Ему очень идет бронзовая табличка на дверях: «Я увожу к отверженным селяням, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколениям. Был правдою мой зодчий вдохновлен. Я высшей силой, полнотой всезнанья и первую любовью сотворен. Древней меня лишь вечные созданья, и с вечностью пребуду наравне. Входящие, оставьте упованья».

Так вот, Федор Михайлович Достоевский своими недюжинными силами ухитрился создать такой Ад в своем собрании сочинений, разместив его на территории России. И оказалось, что каторга — совсем не девятый круг. Девятый круг — он в гостиных, мансардах и жалких комнатушках, где три брата Карамазовы (без Алеши, но со Смердяковым) хотят смерти своему отцу (и отец, старый Карамазов, так омерзителен, что хочется братьям помочь в этом деликатном деле); где бесы вселяются в русских интеллигентов и бросаются с обрыва «в революцию»; где пророк и предтеча (князь Мышкин) оказывается на поверку квасным патриотом и юродивым; где идеалист и умник убивает топором двух старушек. И медная или бронзовая визитная карточка Дантова ада оказывается более чем уместной на условных, вымазанных дегтем (европейские страны явочным порядком скинулись

на деготь, ведро и кисточку) воротах России. Всё на месте, всё «соответствует». Еще пятьдесят лет, и Россию будут воспринимать как селенье отверженных, а пока все герои Достоевского явно имеют прописку в этих кварталах, кварталах униженных и оскорбленных, без вины виноватых, бедных людей [а если кто из героев Федора Михайловича зарабатывает хорошие деньги, то автор немедленно делает его ничтожеством, палачом, рвачом, мироедом. Как Ганечку Иволгина, Порфирия Петровича, ростовщика (супруга «Кроткой»)]. Вековечный стон поднимается со страниц Достоевского: к потомкам и к Богу; погибшие поколения раскольниковых, ставрогиных, верховенских, кирилловых встают со дна времен и стучатся в ворота нынешнего времени, ибо Достоевский всё предвидел. Да, если это Ад, то писатель, его Зодчий, был вдохновлен Высшими силами и Всезнанием, ибо он заглянул в душу России; и уж, конечно, первую Любовью, потому что превыше всего он ценит крохи доброты, встречающиеся в этом злом мире.

Так кто он, Достоевский? Дьявол или Бог? А не то и не другое. По его же определению: Дьявол с Богом вечно борются, и поле их битвы — сердце человеческое. Достоевский, как новый Вергилий, проводит нас через круги земного ада, в который его персонажи сами превращают свою жизнь, ибо душа их слишком велика, чтобы уложиться в обыкновенное счастливое существование. У Достоевского — вечно мазохизм, самоистязание, вечная поза обиженной то ли вдовы, то ли сироты, неразумный отказ от «филистерства» или обывательского подхода, который обеспечивает человеку стабильность и умение довольствоваться малыми радостями жизни. Нужна нам и некая доля стяжательства, честолюбия и самолюбия; готовность с удовольствием ходить по земле: зарабатывать деньги, воспитывать детей, ездить на курорты, читать книги, покупать новую мебель. Поиски идеала — так понял Достоевский Россию и причину ее гибели. Так оно и есть. Прочитавший Достоевского должен оставить упования. Вокруг него лежит замаскированное зло, и это же зло дремлет в нем самом. Впрочем, из каждого круга ада есть выход. Достоевский бросает нам ключ. Спасение — в доброте. В сострадании. Единственно светлый момент

в «Бесах» — это сцены свидания Марьи Шатовой с ее бывшим мужем, Иваном. Пусть Маша бросила Ивана и отдалась Ставрогину, — но она вернулась, несчастная, брошенная, больная, и Иван любит и жалеет ее. Ребенок не его, а от Ставрогина, — но всякое дитя свято, и Иван готов его признать за своего и любить как своего. И замученный дикой мыслью, чисто схоластической идеей о смерти ради своеволия, Кириллов греется возле этой жалости и любви, начинает помогать, оттаивает. Еще немного — и он бы понял, что не надо умирать, чтобы насолить Богу, а надо жить по-божески, то есть по-человечески, что одно и то же. Эти трое могли спастись из Ада, но Петруша Верховенский догнал их и не пустил.

В «Карамазовых» надо было пожалеть Илюшечку. И штабс-капитана с мочалкой вместо бороды. Пожалеть и помочь.

Герои «Униженных и оскорбленных» тоже спасаются жалостью: к Нелли, которую пожалели и автор, и Николай Семенович, отрекшийся от дочери Наташи. А когда он простил Наташу и принял ее, обесчещенную, несчастную, в свой дом — они спаслись оба. И Нелли спаслась, их полюбив, открывшись Добру, оставив злобу и упрямство, и умерла, примиренная с жизнью. Могла спастись так же и Настасья Филипповна, приняв жалость и любовь князя Мышкина. Но не захотела и погибла.

Однако откуда же это патологическое, болезненное видение мира? Юный Федя Достоевский был наивен и чист, открыт миру и не ведал зла, как Адам и Ева до своего фруктового десерта. Он походил на брата Алешу, младшего Карамазова, которого мудрый старец Зосима послал в мир, на подвиг, ибо сам его воспитал беззащитным и человечным. С народническим пылом Федя примкнул к петрашевскому кружку и внимал умным лидерам, читающим вслух социалистический самиздат. Он ночью поднял с постели друга-поэта и стал призывать его устроить гектограф и печатать листовки (со стихами или с евангельскими текстами, надо думать, ибо ненавидеть тогда наш отрок-инок не умел). В его доарестных произведениях («Бедные люди», «Слабое сердце») много жалости и любви к беднякам и беднягам, но нет еще умения увидеть зло и в самом несчастье, и в сердце

несчастных. В этих дорасстрельных произведениях еще чувствуется гоголевская шинель. А потом вдруг вместо доверчивого отрока мы получаем злоязычного мужа, который всё вокруг «не желает благословить», который печален, гневен и судит род человеческий. Страшная судьба Достоевского, за свой восторженный идеализм приговоренного к «расстрелянию», — вот причина всей этой психопатологии, проявившейся уже в «Униженных и оскорбленных». Крепость, приговор, ожидание казни, Мертвый дом, общество каторжников, жизнь в далеком и зверском уезде — всё это сделало его перо жестоким, резким, апокалиптическим. До самого конца жизни в поведении, речах и установках Федора Михайловича будут мешаться четыре брата Карамазовы, вместившие в себя весь спектр «типажей», типов и типчиков тогдашней России: гуляка и бретер Митя (великий писатель запойно играл); тихий и чистый Алеша (лелеемый на дне души взрослого Достоевского маленький Федя, не ведающий зла); недобрый интеллеktуал Иван, мечтающий о торжестве Добра и Вселенском посрамлении Зла (однако все-таки финансирующий насильственную смерть своего отца); и, наконец, подлый, двуличный Смердяков (который, однако, очень напоминает Петеньку Верховенского, убийцу и шута; а ведь «Бесов» Достоевский вырвал из себя и отбросил читателям, чтобы избавиться от наваждения Семеновского плаца, петрашевского опыта и народовольческого самообмана).

До конца жизни литератор Достоевский будет метаться между ролью бунтаря, «отсидента», нонконформиста и ампула махрового консерватора, монархиста, ура-патриота. Ведь и «Гражданина» Достоевский стал издавать, чтобы подавить в своей душе память о прежних карбонарских занятиях и товарищах. Так что недаром курсистки несли за его гробом кандалы. Он их носил недолго, но под их звон прошла вся его дальнейшая жизнь.

Достоевский смеется, и зло смеется над интеллигенцией. Или шут-провокатор Петенька, или благородный отец — либерал и приживал, позер и трус Степан Трофимович. Люди умные, благородные, сердечные (типа Разумихина или Порфирия Петровича) у Достоевского не в чести. Они ведь не ищут ни бремени, ни подвига,

а живут себе тихо, делая добро по мере сил; работают, честно зарабатывают свой хлеб, воспитывают и любят детей, и на них всегда можно положиться. Но Достоевский требует от людей большего. Столь большего, что оно кажется не только непомерным, но и уродливым. Нужно ли идти на панель, чтобы накормить детей своей больной, несчастной, нервной и полубезумной мачехи и подкидывать денежку на водку опустившемуся вконец и спившемуся отцу? Нужно ли делать жизнь с Сонечки Мармеладовой? Это ведь еще почище, чем делать жизнь с Зои Космодемьянской. Сонечке надо было уйти из дома, наняться в услужение, искать место, попытаться спастись. И не по ее ли стопам собирается пойти образованная Дунечка, ради брата готовая выйти замуж за подонка? И какого черта все персонажи, включая святую Сонечку, святую Дунечку и честного «следака», российского Эркюля Пуаро Порфирия Петровича, так носятся с юным дарованием Родионом Раскольниковым, убившим ради денег не только «миродку» Алену, но и ее святую сестру, бессребреницу Лизавету? Не в таком же ли коллективном помешательстве образованные студентки, студенты и гимназисты (типа Бухарина) поддались в комиссары? Алена Ивановна — кулачиха, буржуйка... Лизавета — член семьи врага народа, подкулачница... Далеко ли ушел идейный Раскольников от столь же идейных Нагульного и Давыдова, героев «Поднятой целины» Шолохова? Да, ему убийство тяжело далось, совесть проснулась (бред и болезнь — это всё совесть, подсознание, которое Родион не захотел выслушать). Да, Иван Карамазов тоже заболел и на суд явился в горячке. Еще бы! Его несчастное орудие, брат Смердяков, убил и надорвался, и проклял брата, чистенького, ученого, и руки на себя наложил. Здесь поневоле черта увидишь. Бесы, черти, юродивые, Великий инквизитор, бездна, «недра», надрывы, Сатана — все эти сущности достаточно легко вписываются в мрачный фон романов Достоевского, населенных людьми, уже успевшими доказать свое своеволие (подобно Раскольникову и Ивану Карамазову) либо, по счастью, застрелившимися или повесившимися до этого (как Ставрогин и Кириллов).

Женщины Достоевского любят негодяев, отдают им всё и гибнут вслед за ними. Так гибнет ради Ставрогина

Лиза; так готова погибнуть Даша; так отдают себя на заклятие Сонечка Мармеладова и Катерина Ивановна, не только пошедшая за Мармеладова, «ломая руки», но и нарожавшая ему детей. А Митина Катя ведь тоже хотела пожертвовать честью, чтобы покрыть папашин долг. И вся эта растоптанность и изломанность, все эти страшные нарушения законов человеческих и божеских воспаляют мир, и город в «Бесах» сгорает. Это поистине адское пламя, и Достоевский верно показал будущее России. Москва сгорит не от копеечной свечи, Москва сгорит из-за неверного обращения со светильником разума. И Москва, и Россия, и Санкт-Петербург. Потому что Ставрогины растлят невинных детей, Иваны Карамазовы и Родионы Раскольниковы возьмут в руки топоры или научат убивать других. И тогда случится то, что было увидено Достоевским сквозь магический кристалл: озверевшие массы, изголодавшись, устав от крови, которой они отравят и воду, и землю, и волю, придут к новым бесам и скажут: «Возьмите нашу свободу. Поработите нас, но накормите».

Достоевский как бренд АО «Россия»

Мы встретились в казино. Вы, конечно, скажете, что не в казино, а на каторге, потому что мы с Достоевским — типичные каторжники, как вся русская интеллигенция, которой, если послушать пролетария Глеба Павловского (приписанного к кремлевской рабочей казарме), только на каторге и место. И вы ошибаетесь, конечно. На одной каторге мы с Федором Михайловичем никак оказаться не могли, потому что в XIX веке в России сажали и вешали социалистов и народников, народовольцев и эсеров (которые опять-таки социалисты + топорик), наследников Родиона Раскольникова. А я — буржуазный элемент, враг народа, либерал, нахожусь в услужении у плутократии, люблю рябчиков, от ананасов не отказываюсь. Так что встретились мы с месье Достоевским в казино, где он явно проигрывал наследство князя Мышкина и кубышку старшего Карамазова, отца Мити, Ивана и Алеши.

Социалист Достоевский ходил на сходки и тусовался с петрашевцами. Дотусовался до Семеновского плаца,

до расстрельного столба, до каторги. Богобоязненный монархист Достоевский, хороший семьянин, спускал деньги в казино. С чего бы вдруг он избрал такой странный источник вдохновения? Вместо ключа Ипокрены?

Никто не пытался анализировать, какую роль в русской литературе сыграли игорные дома, кабаки и бордели (коиими и Гаршин не брезговал). Патриотизм пополам с народностью не позволяли. А я антинародный элемент, я дерзну.

В романе Достоевского «Игрок» играют все, вплоть до бабушек в инвалидных креслах. А в «Подростке» и подростки не брезгают, правда, на чужие деньги. Так что и авторы, и их персонажи посещали казино и действовали там методом бригадного подряда. При советской же власти и авторы, и герои были лишены такой возможности и резались на дачах в преферанс и кинга по маленькой. Не считая, конечно, героя романа Алексея Николаевича Толстого «Ибикус», который, прибыв вместе с другими эмигрантами в Константинополь, организовал сначала запрещенное подпольное казино, а потом хоть и разрешенные, но столь же азартные тараканьи бега.

Первое, что сделали дорвавшиеся до «свободушки» россияне, — это наоткрывали массу казино, кабаков и финансовых пирамид, строительство коих не имело никакого «строительного» смысла.

Казино открылись на каждом углу, и то, что они появились вместе с пирамидами, совсем не случайно. И если любопытные американцы выделяют на игру до 100 баксов и едут поглазеть на чудеса фальшивой Венеции или хорошенького мини-Парижа в Лас-Вегас, а французы солидно проигрывают 100 франков в Монте-Карло, то у нас, как всегда, из развлечения делают сначала — промысел, а потом — трагедию. Жить игрой или сделать состояние игрой — это ни одному Ротшильду в голову не придет (а ведь именно Ротшильду желал подражать наш подросток из «Подростка»).

Всё очень просто, Федор Михайлович и любезный Герман, погубитель графини и Лизы. У вас с вашими героями и вашим, кстати, народом было одно общее заблуждение, одно общее кредо: надежда на русский «авось»,

неистребимая вера в чудо, золотую рыбку, скатерть-самобранку, сапоги-скороходы, гусли-самогуды, Емелину шуку. Недаром же у Гончарова, который был проще и откровеннее Федора Михайловича, труженик, умница, self-made man — немец. Трудяги Штольцы и мечтатели Обломовы красной нитью проходят не только через литературу, но и через жизнь страны. «Мы сидим, а денежки идут» — эта формула обратима в «Мы играем, а денежки идут». Получить состояние не ценой упорного труда, а в порядке чуда: хоп — и готово!

У страны халывщиков должна быть и литература халывщиков. Поэтому и написал когда-то простодушный Михаил Светлов: «Пока Достоевский сидит в казино, Раскольников глушит старух!»

Представьте себе, что именно вы — потенциальный инвестор и что вам сказали, что объект ваших будущих капиталовложений — это страна Достоевского. Вы пожелали изучить подробнее этот торговый бренд и Достоевского прочли. Да еще Чехова прихватили с Гаршиным и Гончаровым, уж заодно. И вы с изумлением узнаете, что в стране, куда вы задумали вложить капитал, половина образованного класса — игроки и моты, развратники и «сладострастники» (карамазовская семейка). При этом заработать они ничего не могут и долгов не платят из принципа. А ведут они себя при этом как помешанные (трудно же считать Митю Карамазова, Свидригайлова и Карамазова-старшего со Смердяковым за нормальных людей).

А другая половина — идеалисты, юридические (ибо избыточный, неуместный идеализм всегда заканчивается юродством), и они или вешаются, или убивают кого-нибудь, потому что право имеют и не хотят быть тварями дрожащими. Долги эта половина не платит по рассеянности и из-за того, что денег нет, потому что юридические тоже деньги зарабатывать не умеют и не хотят (презирают). Ведут они себя уж точно как в сумасшедшем доме (а Иван Карамазов и князь Мышкин и впрямь сходят с ума).

И узнаете вы еще, что самая презируемая профессия в этом АО «Россия» — это финансисты и банкиры: Птицын из «Идиота», ростовщик из «Кроткой», старуха-процентщица. Они «процентные души», и их не грех

презирать, пинать и обкрадывать (хотя живут за их счет с удовольствием). Вы узнаете, что честный и дельный следователь полиции Порфирий Петрович — «поконченный человек», а убийца двух беззащитных женщин Родион Раскольников — герой.

И вы что, вложите хоть грош в экономику этой страны? Нет, пусть наши инвесторы лучше не читают Достоевского. Или им надо сказать: «Господа, у нас Алеши Карамазовы и князья Мышкины никогда не придут к власти, Раскольниковы будут сидеть в остроге, Обломовых не изберут в парламент, а Штольцы могут заработать хорошие деньги».

Русская литература всегда представляла собой нечто вроде этих болотных огней, заманивающих в гибельную трясиину. Русская литература прекрасна, но для жизни не предназначена. Нельзя жить на книжных полках; нельзя, чтобы между гениями и придурками не было никакой прослойки из сытых, упитанных, трудолюбивых буржуа и филистеров, разумных и скучных. Это и есть средний класс — основа, краеугольный камень, фундамент общества. А какие уж у Достоевского филистеры! Он их всех презирает. И в этом он, увы, остается социалистом. Каторга его не исправила, она только добавила к старым социалистическим хворобам гения свежий националистический насморк. Получилась смесь гремучая, в высшей степени неполиткорректная, для Европы предосудительная и с большим трудом гуманизмом писателя искупаемая.

БАРИН ТУРГЕНЕВ ПИСАЛ КРАСИВО

Нигилист Базаров советовал своему другу, прилично-му мальчику из хорошей семьи Аркадию, «не говорить красиво». На самом деле Аркадий не говорил красиво, он говорил пафосно, восторженно, нелепо, неумно, с неуместным пылом неопита. А вот сам Иван Сергеевич Тургенев очень красиво писал. Умно, талантливо, печально, тонко. И красиво, необыкновенно красиво. Прекрасно.

Жил он по нынешним стандартам недолго, да и со Львом Николаевичем Толстым в долгожительстве сравняться бы не мог. Подумаешь, всего 65 лет! С 1818-го по 1883-й... Но в эти годы уместился век, Серебряный век, XIX, на который так грешил Блок, обозвавший его «железным». Век восхитительной, своеобразной, выхоленной и аристократической русской культуры, праздной, глубокой, интеллектуальной, вечной... И век, в который взошли семена русского бунта, возроптавшего против этой русской культуры, бунта глубоко литературного, романтического, свирепого, кинематографического, бессмысленного, беспощадного, превращающего жизнь даже не в пустыню, а в скучную серую казарму. Тургенев видел эту наползающую тень, он даже попытался ее идентифицировать. Но его гармоническое золотое перо, его умная и печальная Муза не были приспособлены для изображения уродства, да и как было объяснить, что ученый и пылкий Рудин, поэтическая Наталья, пламенная Елена, вдохновенный фанатик Инсаров, робкая, ищущая цели и идеала Марианна из «Нови», и нелепый, неуклюжий, но, безусловно, искренний Нежданов дадут вместе со своими учениками и эпигонами такое грязное, пошлое чудовище, как российский большевизм? Ведь Иван Сергеевич Тургенев, принимавший в разумных пределах «новые веяния», барин и аристократ духа, дожил до ужасной смерти царя-освободителя и мог бы попытаться описать народовольцев. Но он не мог впустить в свой зеленый, благоуханный, цивилизованный или патриархальный,

сказочный, но все равно красивый мир «убийцев». Он остановил народников на трепе, на громких словесах. Пролитая ими кровь была для него как проклятие, как вторжение чего-то инородного. Убийца — всегда выродок. Таков спокойный, но непререкаемый приговор русской культуры. Вспомните, почему Бог не дает счастья Онегину. Он пролил кровь Ленского, пролил ни за что. Верочка Фигнер, красивая, смелая идеалистка; нежная и беременная Геся Гельфман; русская Жанна д'Арк Софья Перовская; ученый-изобретатель Кибальчич; признававший учение Христа за его «жертвенность» Желябов, сам донесший на себя и потребовавший виселицы... И результат их самопожертвования, их пострига, их аскезы и «гражданского служения»: мертвый Александр, пытавшийся поднять Россию до Европы, несколько губернаторов, полицмейстеров и других функционеров режима, взорванных или заколотых... А в перспективе — кровавый Армагеддон. Как одно получилось из другого? В рамках разума и русской дворянской культуры (а другой не было) ответа нет.

Иван Сергеевич был баринем и джентльменом (это не всегда совпадает) и по рождению, и по воспитанию, и по статусу (он был богат и независим). Старинный дворянский род, богатая помещица-мать, имение Спасское-Лутовиново. Дорогие частные пансионаты, хорошие частные учителя; потом — Московский университет, всё то же отделение словесности, сменяющееся историко-филологическим факультетом в Санкт-Петербургском университете. Он учится в Германии, ездит по Италии, знакомится с интересными людьми (с Грановским и Бакуниным). Он свободен, он ничей, он не нуждается в заработке. В Министерстве внутренних дел он служил всего-то два года (послужить немного — хороший тон!), с 1843 по 1845 год. Интересно, что свои романы он напишет сравнительно поздно («Рудин» — в 1856 году, то есть в 38 лет), зрелым, пожившим, уже усталым человеком. Умный человек в России рано устает; чаще всего у него опускаются руки.

Всё начинается с 1847 года, с «Записок охотника». Это почти что путевые заметки. Молодой барин, охотник: ягдташ, ружье, дичь, собака, охотничий щегольской костюм. Описывает что видит. Он барин: у него много досуга, достаточно денег и образования, он утонченно воспитан

и любит этот зелено-золотой мир, солнце, листья, роши, щемящий душу простор, безбрежную, как море, равнину: «Две-три усадьбы дворянских, двадцать господних церквей, сто деревенок крестьянских, как на ладони на ней!»* Но он и джентльмен: ему неприятно рабство и искательство, оно оскорбляет его человеческое достоинство. Конечно, тут же являются со своими восторгами (надо сказать — преувеличенными) наши давние знакомцы из «Современника»: Некрасов, Панаев, Белинский (которого добрый Тургенев полечит за границей за свой счет), да еще Писарев с Добролюбовым. Они все время судорожно искали в российских литераторах «своих», «наших», «идуших вместе». Когда находили, прижимали к сердцу, когда не находили, посылали такого литератора к черту. Они бросались на литературу, как стая стервятников, выплевывая непригодное для дела свержения (или хотя бы дискредитации) «кровавого царского режима». Часто ошибались в своих авансах. Ошибались они с Тургеневым процентов эдак на семьдесят. С Гончаровым — вообще на все 95 %. И невдомек было им всем, что как раз «служить народу», или «прогрессу», или воспитывать Стенек Разиных, Емелек Пугачевых и Павликов Морозовых, Корчагиных и Власовых литература не должна. Она служит истине и красоте, вернее, питается ими, как море. Волга впадает в Каспийское море, а Истина и Красота впадают в литературу.

Крамолы нужной интенсивности в Тургеневе, конечно, обнаружить не удалось. Но николаевские власти купно с III отделением были не умнее левых радикалов «околосовременниковского» толка. Тургенев высказался насчет смерти Гоголя (самое занятное, что отклик, запрещенный в Петербурге, был мирно опубликован в Москве), это «верхам» не понравилось. И умный Николай Павлович ничего лучше не придумал, чем приказать посадить его «на съезжую» (что-то вроде КПЗ). Умеренного литератора, дворянина, джентльмена! Это был 1852 год, до разгрома Империи в Крымской войне и самоубийства самодержца оставалось четыре года.

Сидел он недолго. Месяц, не более того. Граф А.К.Толстой (настоящий либерал; позже он заступился даже

* Н.А.Некрасов, «Дедушка». — Прим. ред.

за Чернышевского) похлопотал, и Тургенева выслали в его собственное имение.

В своем КПЗ он написал «Муму», маленький шедевр, который рискует остаться в простых умах далекого от изящных искусств большинства единственным его известным произведением. Вещь страшная и доказывающая, что особого умиления в адрес народа этот «диссидент» не испытывал. Барыня со своей вздорностью, праздностью, истерией и полным юридическим беспределом (сущность крепостничества) вызывает настоящую ненависть. Но и Герасим не сахар. Вот вам народ: и «тверезый», и работающий, но при этом нем, безгласен и склонен подчиняться самым чудовищным приказам. Эта рабская исполнительность хорошо сочетается с господской жестокостью. И доходит у обоих, у госпожи и у слуги, до палачества. На Нюрнбергском процессе осудили бы всех: барыню — за приказ, Герасима — за исполнение преступного приказа. Да и вся дворянства готова была исполнить барскую волю. Так что с такими господами и с таким народом Муму все равно было не жить. Народбогоносец у барина Тургенева предстает совсем не хрестоматийным. Неудивительно, что в 1860 году Тургенев наконец рассорился с левеющим «Современником», с другим барином — Некрасовым, оставшимся до смертного часа оголтелым, слепым фанатиком-идеалистом. Уж Базарова они ему точно не простили. Он крайне непривлекательный персонаж. Занятия естественными науками и ремесло фельдшера или даже доктора совершенно не обязательно сопровождать тривиальными, напыщенными сентенциями, строить из себя черт знает что, учить всех жить с видом пифии на треножнике и отсутствие классического образования, хорошего воспитания и денег выдавать за «новые веяния» и «прогрессивный» склад ума.

В семейной жизни Тургенев знал страсти и терзания, но джентльменом оставался всегда. Прижив дочь от швеи, он признал ее, послал в Париж, обеспечил. А вообще-то ему повезло: он влюбился в 1843 году в певицу Полину Виардо, эту райскую птицу из парка западной культуры. Благодаря ей он много ездил, видел «дальние страны», стал там своим. Запад без ума от него: Тургенев понятен, но загадочная его притягательность чуть-чуть не поддается рациональному западному уму.

В 1878 году на международном литературном конгрессе он становится вице-президентом, а в 1879 году — даже почетным доктором Оксфорда. Эстетика Тургенева — это европейская эстетика. Плюс русская экзотика. Великие реки, изумрудные луга, бескрайние леса, колоритные мужики, настоящие леди и джентльмены — высшее русское дворянство, элита. А любовь к Полине Виардо обогащала европейскую душу великого писателя, но была мучительной. Рациональная, рассудочная француженка, прекрасная и недосыгаемая, как западная цивилизация, и культурный славянин, у которого на шее как камень висела несчастная Россия и который не мог выносить ее ни осенью, ни зимой, ибо безнадежность ее и отсталость нестерпимы в эти времена года; поэтому Иван Сергеевич, как перелетная птица, прилетал на родину весной, а осенью улетал в Европу, в теплые и светлые края. Союз Полины и Тургенева был мучителен и труден, они часто ссорились, совсем как Россия и Европа. И это длилось тридцать лет.

Так что же создал Тургенев, что он сказал в «Рудине», в «Накануне», в «Дыме», в «Нови», в «Дворянском гнезде»? Что такое была для нас и для мира дворянская культура, которой пронизано творчество Тургенева? Она была основана на праздности, на достатке, но не на обломовщине, а на биении мысли, на кипении чувств, на благородных помыслах, на художественном творчестве... Чтобы насладиться природой, любовью, искусством, чтобы задуматься о благе человечества, надо иметь много досуга, много денег и очень высокий интеллектуальный и образовательный уровень. У русской элиты это всё было. Пейзажи Левитана и Куинджи, Шишкина и Нестерова прямо под окном. И не надо бежать на службу, и некуда спешить, и есть материальная независимость, и можно фрондировать, и медленно, со сладкой мукой любить: Асю, Джемму, Клару Милич, Наталью, Елену, Лизу, Полину Виардо... И твой вишневый сад не надо продавать под дачи. Время Тургенева — время непроданных вишневых садов. Увы, эта культура была невысказана без тысяч Герасимов, как красота и свобода Эллады зиждилась на ужасном, гнусном рабстве. В 1861 году Великие реформы положили конец и великой красоте, и великой подлости.

Значение Тургенева велико даже и сейчас. Сколько режиссеров пытались создать атмосферу дворянской культуры, когда ходят в корсете, говорят по-французски, не повышают голос, обращаются друг к другу на вы и переодеваются к обеду! Элои... Умные, с возвышенной душой, в прекрасной одежде, с прекрасными стройными телами... Только Тургенев был из этой среды, только он смог это запечатлеть. Ради Тургенева, пока он жил, русских аристократов признали «своими» на Западе и условно приняли в будущий Евросоюз.

Тургенев создал плеяду девушек, «тургеньевских» девушек. Ася, Джемма, Лиза... Они чисты, как Мадонна, они идеалистки, они ищут подвига и великого чувства. В них нет пошлости и бабства. Они для иконы и для романа. Каждый мужчина мечтает встретить свою Лизу, которая уйдет в монастырь, если житейская грязь коснется ее чувства.

Тургенев предостерег Россию против уродства народничества и народовольства, убив нигилистов одним образом: «...манеры квартального надзирателя». И вовсе он не был похож на жеманного и притворного Кармазинова из «Бесов». Достоевский, разночинец, лекарский сын, каторжанин, ему, дворянину, барину, космополиту, классово отомстил.

Будущие жертвы нигилистов Тургенева читали и перечитывали с благодарностью. А «властители умов» в пенсне, поддевках и с камнем (а после и с бомбой) за пазухой возненавидели его. Красота в очередной раз не спасла мир, но оставила в нем неизгладимый след. Русскую словесность на Западе и сегодня изучают по Тургеневу, переводчику самого лучшего, самого чистого, самого прекрасного в нашей загадочной и неисчерпаемой славянской душе.

РЫБНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ДЕРЖАВЫ

В нашем литературном Храме есть приделы, куда редко заглядывают веселые и ценящие жизненные блага миряне. Сейчас мы впервые заглянем в два смежных придела, где «над сумрачными алтарями горят огненные знаки», но не масонства, как это увидел Гумилев, а подвижничества и социального служения, опасно близких к фанатизму и аскезе. Приделы Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Общность служения свела их в жизни; грозные выводы и страшные обеты, которые сделали и дали у их алтарей современники и потомки, объединили их на одной странице Истории и даже в одном литературном произведении, написанном тем из них, кто все-таки имел какие-то тормоза и в служении своем не забывал взглянуть на другую сторону медали «За заслуги перед Отечеством».

Михаил Евграфович Салтыков, взявший псевдоним «Щедрин» и так с ним и дошедший до наших дней (не правда ли, Салтыков-Щедрин — это и звучно, и красиво, и театрально), был сатириком, скептиком и реалистом. А Николай Алексеевич Некрасов был поэтом, мечтателем, нигилистом и фантазером.

Есть у Михаила Евграфовича такая программная сказка «Карась-идеалист». Действует там щука (власть); действует там тайная (и не тайная) полиция (окуни и голавли). И действуют два друга, два диссидента: ерш и карась-идеалист. Колкий и насмешливый, изверившийся во всем ерш — вылитый Салтыков-Щедрин. А резонер и мечтатель Некрасов, создавший на удивление современникам и на погибель потомкам идеальный образ русского народа, — это точно карась-идеалист. Но, как пишет в пророческой сказке сам Щедрин, из ерша, несмотря на его скепсис, выходит очень хороший бульон для уха. Уха из ершей считалась на Руси деликатесом. Первое блюдо для рыбного дня, так сказать, суп. А на второе — караси в сметане. Тоже лакомство. Заметьте, щука на всех одна, и народ, охотник до рыбных блюд, тоже. Итак, разберемся в этом меню.

УХА ИЗ СКЕПТИКА

Салтыков-Щедрин — уже явно не пушкинское поколение. Младшие братья, сыновья, наследники. 1826 год. Он был моложе Некрасова на пять лет. Семья была старинная, помещичья, богатая, но не аристократическая. Тверская губерния, да еще плюс к тому «Пошехонье». Медвежий угол, грубые нравы. Скорее среда Скотининых, чем Тургеневых. Но умысел Творца (а может, и промысел) привел 12-летнего Мишу, два года проучившегося (а до этого неплохо подготовленного дома, с гувернерами и всем, чем положено: Скотинины XIX века успели усвоить, что науки и искусства полезны, что без учения оставаться нельзя) в Московском дворянском институте, в самое замечательное учебное заведение России. В 1838 году он поступает в Царскосельский лицей. Пушкина только что не стало, и в лицее, его и так не забывшем, обстановка становится просто мемориальной. Молодой Салтыков впитывает эту атмосферу дворянской фронды. В конце концов, если есть постмодернизм, то может же быть и постдекабризм?

Джентльмен, вольнодумец, бунтарь... Это хорошее начало и хороший тон, хотя юный Миша пишет плохие стихи, увлекается плохими статьями Белинского и усердно посещает опасные сборища Петрашевского (первая «кухня» нового времени, где крамольные разговоры, треп вперемишку с тамиздатом, закончились в 1849 году хуже, чем в СССР: каторгой и чуть ли не расстрелом, по крайней мере его имитацией). Мише нравится Герцен. Это еще лучше: и аристократ, и либерал, и отличный журналист и редактор, прогрессор для интеллектуальной элиты общества.

Служит он потом в канцелярии Военного министерства. Скучно, тяжело, но полезно, иначе можно стать полным нигилистом и дойти до уровня Каракозова или Желябова (еще 20, еще 40 лет, и они появятся). Служба в те годы давала образованной молодежи не только средства к существованию. «Презренная проза» канцелярий, которая являла такой контраст с лицейской или университетской премудростью, была чем-то вроде якоря:

она удерживала в реальности, не давала попасть в революционные маргиналы! Так что совет консерватора Фамусова прогрессисту Чацкому в грибоедовском «Горе от ума» был не так уж плох: «Не блажи, пойдя и послужи». Чацкий не послушал, и что? Скомпрометировал Софью, устроил скандал, выставил себя идиотом и уехал за кордон, в политическую эмиграцию! (Причем даже и без «Колокола» в перспективе.)

Щедрин стремился служить. Идеалист бы не вынес службы, но вы же помните, что будущий великий сатирик у нас ерш, а ерш — рыба хоть и не восторженная, но глубоко порядочная. Стране нужны были честные, дельные, просвещенные функционеры, и Щедрин стал одним из лучших. Он ухитрился найти службу советника в губернском правлении даже во время ссылки, куда он угодил в 1848 году. Слава богу, это была всего лишь Вятка. И просидел он в Вятке до конца 1855 года. Шуке было неинтересно знать, что такое добродетель в глазах карасей, ершей и прочей мелюзги. Нет, шука, конечно, знала. Разные шуки бывают, иные даже кончают университеты по факультету права. Но насчет добродетели — это шука выпускает из виду. Ей же надо питаться, а с добродетелью свою ближнюю рыбку не съешь.

Так за что же сослали начинающего ерша? За две невинные повестушки 1847 и 1848 годов — «Противоречия» и «Запутанное дело». Власть обалдела от Французской революции 1848 года и дула на холодное, из погреба, молоко. В полицейском протоколе осталась формулировка: «...за вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу...» Но несмотря на напрасную обиду, писатель не прекращает служения. Слава приходит к нему в 1856–1857 годах вместе с «Губернскими очерками». Его назовут тогда наследником Гоголя. Но Салтыков службу не бросит. Он даже женится на 17-летней дочери вятского вице-губернатора. Он готовит крестьянскую реформу, работая чиновником по особым поручениям в МВД в 1856–1858 годах. Казалось бы, его способности и честность должны быть востребованы при царе-освободителе. Но система, уже тогда коррумпированная и прожженная насквозь, терпела его только до 1868 года. Хотя на службе он преуспел. В 1858–1862 годах служил даже вице-губернатором

в Рязани и в Твери. Окружал себя честной и идейной молодежью, увольнял взяточников и воров. В 1865—1868 годах возглавлял казенные палаты в Пензе, Туле и Рязани. Губернаторы с органчиками в мозгах, с фаршированными головами писали на него жалобы. И в 1868 году его отправляют в отставку в чине действительного статского советника, а это уже положение, и немалое. Только при Александре II диссидент мог дослужиться до такого чина или «работать» вице-губернатором.

С Некрасовым Щедрин всю жизнь ругался, как и положено ершу ругаться с карасем-идеалистом. Но и сотрудничал, ибо для державных шук (как до Александра Освободителя, так и после) один шел на первое, а другой — на второе, и получался целый обед. Этакий рыбный день для державы. Вот в 1862 году Щедрин взваливает на себя «Современник». Туда его зовет Некрасов. Но уже через два года он оттуда бежит на службу, ибо Некрасов тянет налево, невзирая на реформы. Но вот карась-идеалист Некрасов опять зовет оппонента-ерша, уже в «Отечественные записки». Они опять соредакторы. С 1868-го по 1884-й. Эти шестнадцать лет оттачивают его насмешливый и гневный (хотя гнев он тщательно скрывает) талант.

И вот в 1870-м появляется «История одного города». Города Глупова, российской глубинки, Российского государства, где узнаваем Петр I (Бородавкин), Александр I (Грустилов), Смутное время с его польскими паненками и бабьим царством при Елизавете, Екатеринах и Анне; где живут головотяпы, призвавшие на свою шею варягов, и где всю историю «бушевали начальники». Их лексикон был ограничен двумя сентенциями: «Запорю!» и «Не потерплю!». А кончилось всё Аракчеевым (Угрюм-Бурчеевым), мрачным идиотом, поэтом казарм и военных поселений. Но в 1884 году Александр III, положительный человек и хороший, крепкий хозяйственник (но политический реакционер), закрывает «Отечественные записки». («Какая в империи нынче картина? — Тина!», Е.Евтушенко, «Казанский университет».) Салтыков несет свои сатиры в «Вестник Европы», но и у ерша есть сердце, больное, исколотое сердце! Шука не сожрала его, шука просто надругалась. Он умрет в 1889 году, он не сможет жить долее без надежды. Останется «Город

Глупов», останутся «Господа Головлевы» (1880), останутся очень злые сказки (1882—1886).

И останется урок и идея служения: чистое пламя свечи, без нагара, без скандалов и романов, без личной жизни, которую стоило бы обсуждать. Долг «от первого мгновенья до последнего». Смех, долг, горечь и «великий почин»: уметь смеяться над своей историей, смеяться во всю глотку почище Чаадаева, но при этом служить этому государству вице-губернатором. Написать «Господ Головлевых», где гад на гадине и никого не жаль, и напомнить устами самого главного гада, Иудушки, что Христос простил людям свои муки и смерть, и, значит, все должны простить своим обидчикам. И гибнущая Аннинька прощает своему гнусному дяде, и нам тоже хочется простить.

Это очень русские уроки, и заграница, которая нам не поможет, ничего из Салтыкова-Щедрина не извлекла, да ей ничего и не надо было. А студенты, которые боготворили Щедрина, усвоили только одно: они живут в городе Глупове, и здесь нечем дорожить, и надо разнести всё это «темное царство».

Сначала держава сварила из скептика уху; потом его подняли на щит молодые пескари (но не премудрые) со щучьими зубами. А слово «добродетель» пошло по анекдотам.

ЖАРКОЕ ИЗ ИДЕАЛИСТА

Некрасов был из дворян мелкопоместных, так что вряд ли родовое имение на Волге, в селе Грешневе, было больше хутора. С отцом Николаю Алексеевичу совсем не повезло. Типичный бурбон, «армеут», без лоска, без гвардейской аристократической выучки, домашний тиран и Нерон для своих несчастных крепостных (чем беднее барин, тем больше издевается). Мать Николая Алексеевича была образованной женщиной, и, конечно, муж-мужлан ее угнетал. Коля вырос нервным, диковатым мечтателем и готовым правозащитником, в чем даже впоследствии и переусердствовал. Как всякий бурбон, отец хотел пустить сына по военной части. А сын хотел в университет. Учился он попросту, без затей, не то что Щедрин. Всего-навсего Ярославская гимназия. И этого оказалось недостаточно, чтобы в 1838 году поступить в университет в Петербурге, куда тайно от отца, семнадцати лет от роду, он сбежал.

Отец ничем ему не помогал, и Некрасов два года числился вольнослушателем на филфаке. Частенько он, нищенствуя, собирал остатки хлеба с трактирных столов. Он жил не так, как живут аристократы. Он жил хуже любого разночинца. Рожденный поэтом, он по большей части был «пропагатором» (так тогда называли пропагандистов) вольных идей. С 1847-го по 1866-й издавал и редактировал достаточно левый «Современник». К сожалению, поэтический дар в себе он глушил социологией. По собственному рецепту: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Если Волга, то обязательно по ней бредут изможденные бурлаки. Если любовь, то бедная и голодная, на чердаке, и возлюбленная идет на панель, чтобы принести «гробик ребенку и ужин отцу». Народ он идеализирует безбожно, как любой карась-идеалист, для которого всякий шум — это предвестник торжества вольных идей; а ведь шум — это опасность, это ведут бредень, чтобы изловить его ж и изжарить в сметане. «Маленькая рыбка, жареный карась, где твоя улыбка, что была вчерась?»

Вместе с народом Некрасов невольно идеализирует и крепостничество. «Мороз, Красный нос» написан в духе лубка, несмотря на смерть Дарьи в финале. Про «Коробейников» я уж и не говорю. Прямо-таки фольклор для туристов и славянофилов. Боюсь, что Щедрин действительно списал карася-идеалиста со своего соредактора. И Некрасова, и крестьян волновало то же, что и эту рыбку: «Если бы все рыбы согласились и если бы они все работали» (и щуки в том числе). Это и впрямь называется социализмом — и тогда, и теперь. Крестьяне хотят не воли, а земли и Царства Божьего на земле. О воле демократ Некрасов отзывается как-то странно: она, мол, «ударилась одним концом — по барину, другим — по мужику». Вот откуда выросли ноги каракозовского кружка (1866), глупых прокламаций о топоре, которые приписали Чернышевскому, вот где корни народничества и «Народной воли».

Уж не знаю, пошел ли бы стрелять в царя Алеша Карамазов, но Гриша Добросклонов — явно будущий Иван Каляев. «Современник», «Отечественные записки», отцовское наследство — с середины 40-х годов Николай Алексеевич явно не был беден. В 1862 году он даже купил имение Карабиха подле Ярославля, куда ездил охотиться (то есть вполне помещичий досуг) и общаться с «друзьями из народа». Вместо того чтобы оплакивать тогда же арестованного Чернышевского. Его народ, кстати, кроме чужой земли, требует еще «хлебушка по полупуду в день, а утречком по жбанчику холодного кваску, а вечером по чайничку горячего чайку».

Когда Некрасов случайно забывал о гражданском долге, он писал вполне приличные стихи. О любви: «Свободно ты решала выбор свой, и не как раб упал я на колени; но ты идешь по лестнице крутой и дерзко жжешь пройденные ступени!.. Безумный шаг!.. быть может, роковой...» О смерти: «Нет глубже, нет слаще покоя, какой посылает нам лес, недвижно, бестрепетно стоя под холодом зимних небес. Нигде так глубоко и вольно не дышит усталая грудь, и ежели жить нам довольно, то слаще нигде не уснуть!»

Но так случалось не часто. Гражданский долг прева-лировал настолько, что его возлюбленная Панаева так и осталась его гражданской женой. Жизнь диссидентов типа

Некрасова обычно скудна романами и развлечениями. Ведь гласит народная мудрость, столь любезная Николаю Алексеевичу, что поп и судья — самые скучные гости, потому что любят проповеди. Всё творчество Некрасова носит неприятный оттенок проповеди с амвона: «Птицы, покайтесь в своих грехах публично!» Поэтому Запад просто прошел мимо и даже не стал переводить. В последний раз авторы этого типа появлялись там в XVII—XVIII веках: Агриппа д'Обинье, Руссо, Сен-Симон, Томас Мор (правда, Мор и д'Обинье — это XVI век), аббат Прево, Томас Пэйн. А Россия усвоила всё и по крошкам подобра. То, что попроще, то, что легче всего было унести. Это-то, главное, сладкую вольность гражданства, отбросили: «От ликующих, праздно болтающих, обогрязавших руки в крови уведи меня в стан погибающих за великое дело любви...» Зато на век вперед потомки затвердили, что правы те, что в лаптях; что в парадных подъездах живут негодяи; что железные дороги построены не инженерами, не министрами, не предпринимателями, а рабочими. Вот вам идейное обоснование для процессов над инженерами!

Некрасов сгорел быстро, идеалисты долго не живут. Его хотели даже арестовать за долги, но застали на смертном одре. Поэт, заставивший себя стать проповедником, умер в 1877 году. Всего 56 лет ему отмерил Рок. Его, конечно, хотели изжарить в сметане, но в эпоху Великих реформ это было совсем не принято. Зато он предложил выход, сразу взятый на вооружение интеллигенцией: народ всегда прав. Пройдет совсем немного времени, и красные повара попытаются лечить проблемы ершей и карасей, готовя из щук рыбу фиш.

ГУРУ ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

Самый громадный притвор Храма нашей литературы именно ему принадлежит. И если спросить у любого профана с большой дороги: «Ну-ка, навскидку! Назовите русского поэта и русского писателя!» — то в 95 процентах случаев это они и будут: архитектор, зодчий Храма — Александр Сергеевич Пушкин и обитатель самого большого притвора — Лев Николаевич Толстой.

В его притворе тесно от школьных экскурсий, делегаций, режиссеров и иностранных туристов. Слава его настолько непомерна, что даже неприлична. Вот только школьники как-то уж очень часто переминаются с ноги на ногу, откашливаются и искоса поглядывают на дверь. В этот притвор редко попадают самостоятельно. Сюда приводят в обязательном порядке, организовано, под конвоем плохих учеников и еще худших учительниц. Приводят в таком нежном возрасте, когда ходить сюда еще рано. Когда-то один филолог с рогами и хвостом обозвал Льва Толстого «зеркалом русской революции», «глыбой» и «матерым человечищем». И с его нелегкой руки школяров уже 85 лет забрасывают этими глыбами, хороня под ними всякое желание когда-нибудь прийти в Храм самостоятельно. У школьников самые тягостные отношения с самым объемным автором школьной программы, чьими глыбами, плитами и кирпичами для них складывают общежитие добродетели и саркофаг книжной мудрости. И кажется детям, что «матерый человечище» бросается им на горло с Великой Российской стены, выложенной из духовности, самобытности и нестяжательства аккурат на границе с безыдейным и корыстным Западом.

В этом литературном толстовском притворе меньше всего самого Толстого. Там очень много свечей, ладана, кадил, проповедей, пропаганды и очень мало Искусства. Как же так вышло? Кто сделал из писателя, путешественника, жуира, офицера и нонконформиста, эпикурейца, студента и мыслителя благостную и тошнотворную фигуру,

босиком, в посконной рубахе, с дремучей бородой, что-то среднее между Микулой Селяниновичем и дедом Мазаем? Кто превратил диссидента Толстого, отлученного от Церкви, в эту патоку, сладкую помесь из вегетарианства и социализма? Потомки, иностранцы, современники, все понемногу. Молва. Загробная слава. Сплетня.

При жизни Толстого некому было защитить. Попробуем хотя бы сейчас. Он жил немислимо долго для тогдашнего «нормативного» срока жизни русского писателя, с 1828-го по 1910-й, целых 82 года. Он жил при Николае Павловиче, которого ненавидел публично, письменно, едко и изощренно. Он жил при Александре Освободителе, которого не трогал и не корил; он жил при его сыне, Александре III, и умолял его помиловать убийц своего отца. Он успел пожить при Николае II. Он не очень-то разбирал между своими и чужими, он действительно любил людей, иначе сирота (мать умерла, когда ребенку был годик, отец покинул его тоже рано, дожив лишь до 1837 года) был бы очень несчастен, несмотря на богатство, няnek и воспитателей. Судя по толстовским же детским мемуарам, Левушка-Николенька считал свое детство счастливым. Только очень большая любовь к людям, которые были добры к нему, но не были близкими по крови, могла скрасить его сиротство.

В 16 лет юный Толстой поступает в Казанский университет. Сначала это философия и восточные языки, потом — юридический. Однако молодого графа хватает на неполных два года. И здесь обнаруживается его роковое отличие от всех прочих смертных, дар (а может быть, проклятие): патологическое неумение лгать, притворяться, принуждать себя. Выполнять ритуалы: семейные, военные, идеологические, религиозные, государственные, образовательные. У него была хроническая несовместимость с фальшью и рутинной. Всю жизнь он будет бежать от этой рутины, отшатываться от фальши. Но ни один побег не удастся, потому что бежать некуда. Жизнь будет ловить его и возвращать к другой фальши, к новой рутине, потому что писатель, упрямый идеалист, не покоровившийся и на краю могилы, так и не поймет, что рутина, фальшь, ритуал, принуждение себя ко многим светским, гражданским и финансовым обязанностям — это и есть основы

человеческого существования, общества, государства, семьи, религии. А он не хочет! Деньги у него есть, а на правила и молву — плевать. Один экзамен он вообще не стал сдавать. По истории. Взял билет, другой, пожал плечами — и вышел. Так до него не делал никто.

«Скучно повторять за трепачами, скучно говорить наоборот. Пожимает граф Толстой плечами и другой билет себе берет... Припомадят время и припудрят и несут велеречивый вздор. Кто сейчас историк — Пимен мудрый или же придворный куафер?»*

Именно тогда, наверное, он и решил писать настоящую историю России, без прикрас, без пластических операций. Это он частично осуществит в «Воине и мире», в «Севастопольских рассказах», в «Хаджи-Мурате», в рассказе «За что?», в «Декабристах» и в «Кавказском пленнике». Нормальная, катакомбная, правдивая история. И так, промучившись два года, Лев Николаевич выходит из университета. С 1847 года, окрепнув духом в любимой Ясной Поляне и неудачно попытавшись реформировать крепостную экономику, Толстой начинает жить ярко, сильно и бурно в Петербурге и в Москве. То он целыми сутками зубрит науки и сдает кандидатские экзамены, то готовится к чиновнической карьере (и дня бы не выдержал в департаменте), то делает попытку юнкером вступить в конногвардейский полк. Он очень религиозен в эти годы, он предается аскезе — а потом вдруг опять карты, цыгане, кутежи. Его считает бретером собственная семья, долги он сумеет отдать, только когда придут большие гонорары. Его не поняли лощеные современники.

В России от табора, ресторана, рулетки до монастыря — один шаг. И у Бунина ведь то же самое в «Чистом понедельнике». Мыслящая молодежь жила на «разрыв аорты».

«Жизнь они как будто прожигали. Но язык французских королей был для них сорочкой с кружевами, русский — тайным крестиком под ней!»**

Девизом дворянской молодежи была угаданная триада Мандельштама: «Россия, Лета, Лорелея». Мысли о смерти и о Родине превалировали настолько, что женщины, карты, вино и лошади становились якорем, чтобы не унесло.

* Е.Евтушенко, «Казанский университет». — *Прим. авт.*

** Там же.

И вот старший брат берет его в 1851 году на Кавказ. Терек, Тифлис, Кизляр. Три года жизни в казачьей станице, игра в войну, столь необходимая для мужчин. Доброволец Толстой поступает на военную службу, его измученное рефлексией сознание отдыхает среди простых и сильных людей, среди яркой природы, величественных гор, простой, естественной жизни без условностей. Появляются «Казачьи». Автор яростно ищет простоты. Ее дает Кавказ. Шашки, сабли, стада. Голод, любовь, смерть. Как просто!

«Оседлал он вороного, и в горах, в ночном бою, на кинжал чеченца злого сложит голову свою».

Война и свобода — вот что нашел нонконформист Толстой на Кавказе. Но не нашел он правоты и справедливости в действиях современного правительства. А воевать за неправо дело он не мог. На бивуаках он написал не только «Казачьи», «Детство. Отрочество. Юность» были написаны там же. И всё пошло в наш старый добрый «Современник». Слава пришла заочно, печатался он под псевдонимом. В Дунайской армии Лев Николаевич обнаружил, что военная служба — рутина и убожество похуже любых других. В Севастополе есть надежда защищать Отечество (зря впутавшееся в Крымскую войну, но этого Толстой тогда не знал). Он переводится в Севастополь и начинает совершать подвиги, командуя батареями. Его отчаянная храбрость была вознаграждена: медали, орден Св. Анны.

«Севастопольские рассказы» были для той эпохи чем-то вроде «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, то есть откровением. Бешеный успех, даже Александр II прочел. Однако и храбрость Толстого, и храбрость русских солдат не спасли Россию от заслуженного Николаем I позора: поражения в ненужной, лишней, ради одной только сверхдержавной спеси и мировых геополитических амбиций затеянной Крымской войне. Покидая вместе с русской армией Севастополь, Лев Николаевич навсегда излечился от пристрастия к военным авантюрам. Его князь Андрей, истекая кровью на поле битвы под Аустерлицем, видя склонившегося над ним былого кумира Наполеона, пытавшегося в XIX веке возродить идеи, нравы и битвы времен Карла Великого, все эти истории про Ролана,

Оливье, Олифант и Дюрандаль, думает словами Толстого. Война — это тоже ритуал, тоже бессмыслица и рутина, жестокая игра великовозрастных детей. Война — это не слава, не ордена, не шелест знамен. Война — это гора трупов. Александр I заигрался и втравил Россию в целый лабиринт мясорубок то ради Австрии, то ради Пруссии, то ради Англии. Жаль, что развенчивая тщеславного романтика Наполеона, Толстой не развенчал должным образом припадочный и истерический патриотизм столь же нелепой кампании 1812 года, которой бы не было, если бы не тщеславие и политическая бездарность Александра. Толстой не пожалел своих героев, заклал и Петю Ростова, и Андрея Болконского, и весь ура-патриотизм этой части «Войны и мира» кажется неискренним, надуманным и неприятным, хотя и отвечает «исторической правде».

Но ведь Толстой умел подкапываться под «историческую правду». Так или иначе, зрелый, разочарованный, немного циничный муж Л.Н.Толстой уже не купится на военный блеск и треск. Он выходит в отставку в 1856 году. Это — с военной службы. С «Современником» он рассчитался еще раньше. Некрасов сразу же обозвал его «великой надеждой русской литературы». Пошли обеды, чтения, заседания Литфонда, споры, распри, восторги. Несчастный Толстой понял, что невольно ангажировался на службу в другой полк — литературный. Его опять построили и пристроили. Писатели были хороши по одному, а вместе превращались в роту на марше. Опять фальшь, опять рутина. Он терпел только год, а потом сбежал в Ясную Поляну и за границу. Его маршрут 1857 года будет таким: Франция — Италия — Швейцария — Германия. В 1860 году к традиционному набору прибавятся Лондон и Бельгия. Писателей же он крепко приложит в «Исповеди» в 1882 году: «Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел». Слишком свободный человек, он словно бежит, подобно Фаусту, от пункта договора с Мефисто: «Едва я миг отдельный возвеличу, вскричав: "Мгновение, повремени!" — всё кончено, и я твоя добыча, и мне спасенья нет из западни».

За границей он тоже не нашел себя, захлебнулся рутинной упорядоченного быта и бросился в свою норку в Ясной Поляне. В 1859 году писатель увлекся педагогикой,

открыл школу для крестьянских детей и устроил в окрестностях имения еще 20 школ. И пошло, пошло: изучение педагогики за границей, педагогический журнал, собственная система (и сейчас такая есть на Западе, Толстой опередил время на 100 лет) развивающей, игровой педагогики, без уроков, без отметок. Он составляет хрестоматии. Будут даже азбуки, и всё потом пойдет по начальным классам. Он так напугает власть своей активностью, что у него в 1862 году проведут негласный обыск, будут типографию искать. А потом он найдет себе свою юную 18-летнюю Софью Андреевну (самому же 34 года). Дочь врача Берса была рада выйти за знаменитого графа. Она переписывает рукописи, рождает детей, готова и крестьянских детей полюбить. Их счастье длится целых восемнадцать лет, с 1862 по 1880 год.

Толстой нашел себя в творчестве, в нем не было ни фальши, ни рутин. Шесть лет, с 1863-го по 1869-й, он пишет «Войну и мир». В 1873 году он начинает «Анну Каренину», в 1877-м он ее закончит. Оба гигантских романа исполнены ума и проницательности, гуманизма и благородных помыслов, но аналитик и циник в них постепенно превращается в утописта и судию. Особенно в «Анне Карениной». В «Войне и мире» Орест и Пилад, то есть Пьер Безухов и Андрей Болконский, опять-таки ищут что-то большое, чистое и настоящее. Андрей разочаровывается в воинской славе, Пьер — в масонстве и плотской любви к красивой Элен. Андрей тоже не в восторге от семейной жизни с суетной Lize, да и в любви он разочаруется: поэтическая, непосредственная Наташа почти сбежит с примитивным жуиром Анатодем Курагиным. И оба они разочаруются в светской жизни, где уж точно одна фальшь и формалистика. Андрей падет в кампании 1812 года, не успев в ней разочароваться, ибо победа в Отечественной войне нанесла колоссальный вред Отечеству, дав Александру I власть над Европой, что кончилось, естественно, Аракчеевым. Пьеру предстоит еще почувствовать себя счастливым в плену (самое неправдоподобное место романа) и жениться на поэтической Наташе. Но здесь-то и ждет его главное разочарование. Замужняя Наташа лишится всей прелести и превратится из царевны — в лягушку. Станет неряхой и распустехой,

будет ходить нечесаной, кормить ребенка, заниматься хозяйством. Вся поэзия уложится в кастрюльку с манной кашей. А ведь в «фальшивом» светском обществе дамы до этого не опускались, носили корсеты, танцевали, старались нравиться. Но Толстому по душе такая Наташа, вот он ее и навязывает ни в чем не повинному Пьеру. А ведь этакая женская откровенность — без прически, без очарования, без пения, в капоте — не может понравиться ни одному мужчине.

С Анной получилось еще хуже. Анна Каренина решила отбросить условность брака — и попала под паровоз. Потому что так жить нельзя. Любовь как чистый гедонизм немыслима в цивилизованном обществе. Есть долг, обязательства, дети, обеты религии, верность, постоянство, чистота, наконец. Вернуться к первобытной орде с ее полигамностью не удастся, да и не надо. Слава Толстого стала непомерной, оглушительной, а ведь Анна была не права. Она загубила Вронского, омрачила жизнь сына и мужа, погубила свою душу. Однако в 70-е годы века, «прославленного» идеей нигилизма, никто и не думал о последствиях такой «естественности». Молодежь рукоплескала, а люди зрелые боялись прослыть ретроgrадами и рукоплескали тоже. Тем более что в 1880 году с великим писателем случилась страшная вещь. Нет, он еще больше полюбил человечество и всякую живую тварь, он решился следовать за Христом, как тот молодой человек из Евангелия, но не отступая перед нестяжательством, альтруизмом и подвижничеством. И он фактически отдал имение свое ближним и дальним крестьянам, стал пахать землю, ходить босиком, сделался вегетарианцем, опростился вконец. Это было его право. Но он еще и написал ряд статей, где проповедь уже переходила в пропаганду. Ему захотелось спасти человечество. А это дело гиблое. Вот название его статей (1884 и 1893): «В чем моя Вера?» и «Царство Божие внутри вас». Конечно, он учил добру. Непротивление злу насилием — что может быть лучше? Похоже, что и Ганди это у него перенял.

Его семья ничего не поняла и испугалась. Тем более что Лев Николаевич тут же высказался против частной собственности и огромные гонорары от своих книг завещал народу. Надо ли говорить, что после 1917 года

никакой народ и гроша не увидел, всё пропало в бездонной утробе советской власти.

В 1899 году выходит самый жуткий роман Толстого, который он писал десять лет. Это было «Воскресение». Ужасная дидактика и неумеренное восхваление не только народников, которые просто паслись у него в Ясной Поляне, но и народовольцев, которые противились насилием не то что злу, но просто нормальной человеческой жизни. Среди них был и мой прадед Новодворский, уже там, в остроге, женившийся (а был он из богатой дворянской семьи) на крестьянке. Толстой прямо упоминает его. И возрожденный Нехлюдов пристроил свою жертву — Катюшу Маслову — к революционерам! Лучше уж было ей ни за что на каторге отсидеть, чем за террор на виселицу попасть, что ей новые друзья наверняка быстро устроили бы.

Может, Лев Николаевич бы и опомнился. Но бессмертная слава и всемирная известность не дали. Явились делегации, студенты и студентки, поклонники, ученики, истеричные дамочки и чахоточные нигилисты. Толстой стал модой. А в душах студентов он отлично ужился с Марксом. Оба были с бородой и оба проповедовали социализм. У нас же только взберись на скалу и скажи: «Птицы, покайтесь в своих грехах публично!» — и через неделю тебя уже туристам будут показывать.

Иногда Толстой понимал, что происходит что-то не то. Вот явился к нему американский корреспондент и спросил, всё ли он в жизни совершил, как хотел. «Нет, — ответил Лев Николаевич, — теперь я знаю, что меня точно уже не повесят, а ведь это самая достойная смерть для мужчины, если не считать, конечно, сожжения на костре». Граф мечтал о самопожертвовании. А получилось только то, что он стал смешон.

Стремление стать как Христос привело к отлучению от Церкви. Со стороны Церкви это было глупо. 1901 год, не Средневековье, а Толстой был уже кумиром, да и жил праведно. Но и писатель не должен был подрывать устои института, который как-никак держал народ в узде. Ван Гог тоже когда-то надел мешковину, отдал всё людям, а сам стал жить в хижине. Его лишили места проповедника. Евангелисты Бельгии тоже не стали терпеть юродства.

В минуты просветления Толстой писал маленькие шедевры. «Смерть Ивана Ильича» (1886) — тайна приготовления души к смерти. «Хаджи-Мурат» (1904) — самое яркое в истории описание несовместимости России и Кавказа, глупости Кавказской войны и неправоты Шамиля, помноженной на несправедливость российских методов ведения этой войны, что не оставляло чеченцам, таким, как Хаджи-Мурат и его семья, шансов на достойную жизнь. Это очень страшная вещь. Народ, как поле ярких, колючих, грубых чертополохов, которые неуместны ни в букете, ни в вазе, которые трудно вырвать, все руки изранишь, которые надо просто оставить на месте и близко не подходить. Пусть варятся в собственном соку, ведь казаки совсем не беззащитны, они любому набегу дадут отпор. Потому что ничего с чертополохом сделать нельзя. Только уничтожить. А глядишь, и Дина какая-нибудь найдется, добрая душа («Кавказский пленник»), пожалеет бедного Жилина, черешен принесет, бежать поможет. Пусть живут все. Каждый по свою сторону Терека. Это главное в толстовском завещании.

Толстой попал в западню своей проповеди и своей популярности. Назад вернуться было нельзя. Сзади валом валили поклонники. Эх, им бы Высоцкого послушать: «А вы, задние, делай, как я: это значит, не надо за мной. Колея эта только моя, выбирайтесь своей колеей». Толстовство оказалось для Толстого самым жутким, самым непреодолимым видом рутин.

Когда он понял это в 82 года, он бежал. Бежал от себя и своих подражателей. Но куда было бежать? По всей стране висели его босые бородатые портреты, и студенты распевали и в 30-е, и в 40-е, и в 50—90-е, и сегодня поют: «Жил-был великий писатель Лев Николаевич Толстой. Не ел он ни рыбы, ни мяса, ходил по аллеям босой. Жена его Софья Толстая, напротив, любила поест, она не ходила босая, спасая дворянскую честь».

Обэриуты постарались. Бежать было некуда. И всё кончилось на жалком полустанке. Россия рыдала, мир скорбел, Синод и двор с монархом были холодны, как мороженое. И этим они окончательно порвали с интеллигенцией, столкнув ее в февраль 1917 года.

Оглушительная толстовская слава коснулась и Запада. Там же был свой Жан-Жак Руссо, вот так Толстого и классифицировали. Толстовство заслонило писателя Толстого и в России тоже. Возникли коммуны на Кавказе, в конце 20-х их разгонит советская власть. А Сталин пересажает толстовцев. За их добродетели и за то, что не тот портрет у них висел.

А дальше всё пойдет как по маслу: земля — Божья, продавать ее нельзя. «Даже Толстой так учил!» «Зеркало русской революции», «глыба», «матерый человечище»... Толстого даже не попытаются читать. Его будут «проходить». Из него сделают орудие борьбы со старой Россией, где были имения, светское общество, графы, много еды и земли и право выбора. В России не только «никого нельзя будить». В России никого нельзя учить. А то «коготок увяз — всей птичке пропасть».

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Ну вот и кончились дедовские имена, поля, луга, дубравы, Герасимы вместе с Муму, фонтаны и пруды, золотые рыбки, надменный, нездешний вызов мраморных колонн и портиков, нарядная, талантливая праздность. Мы спускаемся с аристократических вершин на грешную разночинскую землю. Такого с нами еще не случалось.

Диссидентский опыт Достоевского слишком рано вырвал его из социума, задолго до того, как он успел приобрести статус. И — кончилась былая скромная жизнь, жизнь сына лекаря, в перспективе студента. Началась совсем другая, яркая, жизнь мученика и триумфатора. А статус раскаявшегося каторжника остался при нем до гроба. Что необыкновенно авантажно сочеталось со статусом литератора, властителя дум, пророка.

С Антоном Павловичем Чеховым мы хлебнем обыкновенной, затоптанной, заплванной, приземленной человеческой жизни. Мы хлебнем и затрещин, и пинков, и плевков, и совершенно неромантической, постыдной бедности. И этот страстный и страстной путь, путь из разночинцев в интеллигенты, Антон Павлович Чехов пройдет до конца — вместе со всей страной, чье нормальное состояние — погибель, и которую от этого вечно должен был кто-нибудь спасать. И вместе с сословием, которое, выйдя из разночинцев и едва успев обеспечить себе кусок хлеба с маслом и образование, заболело душевно и долгим искусом и бдением у постели России обеспечило себе и справедливые проклятия потомков, и благословение Отечества. Да и время позднее на дворе, 1860 год. Маленький Антон — ровесник Великих реформ, они станут расти вместе, и будет уже земство, и не будет крепостных; самые главные несправедливости будут разрешены, и можно будет уйти домой, в частную жизнь и там покопаться. Вот только частная жизнь self-made интеллигенции окажется не очень-то счастливой.

С 1860 по 1904 год — эти 44 года чеховской жизни были самыми мирными, самыми беспечальными, самыми сытыми и комфортными в бурной действительности вечно мятущейся России. Безвременье — это же счастье. Смолкают трубы, стихает топот эпох, уходят в конюшню пожевать овса кони Апокалипсиса, а всадники спешиваются, идут в трактир, пьют и закусывают и ни к кому не пристают до следующей побудки. До 1905 года.

Так на что же Чехов и его поколение потратили эту краткую передышку, этот отпуск, данный Временем? На страдания, конечно, ибо удел интеллигенции и ее предназначение — страдать. Волга впадает в Каспийское море, лошадь кушает овес и сено, и ведь это чеховский учитель словесности из одноименной повести захлебнется пошлостью и обыденностью этих фраз, и ему захочется бежать туда, где, может быть, Волга впадает в Тихий океан, а лошадь кушает котлеты и бараний бок с кашей.

В жизни Антона Павловича было много мысли и боли, но крайне мало событий. Семья была многодетная, небогатая, самая «пошлая» и «мещанская»: отец Чехова, купец жалкой третьей гильдии, держал бакалейную лавку. Он отдал сына в классическую гимназию, но заставлял помогать в лавке; Антоше же это было в тягость, и он страстно возненавидел эту часть рыночной экономики: торговлю. Таганрог — городишко пыльный и заплесневевший, и именно с него списана прокисшая чеховская провинция. Гимназист отсылает свои пока еще юмористические, но уже полные желчи скетчи и фельетоны в столичные юмористические журналы. Еще одна роль интеллигента: согладатай, провокатор, изгой, он должен «бичевать нравы» и идти против течения, то есть против жизни, против ее конформизма и самодовольства.

У юноши Чехова доброе сердце и злой язык. А жить-то надо; наследство, постоянный доход, недвижимое его нигде не ждут. И в 1879 году девятнадцатилетний Антон поступает на медицинский факультет Московского университета. Разночинец не может позволить себе роскошь изучать филологию или философию: ему нужно зарабатывать на хлеб. И вот бедный студент Чехов, мало что получающий из дома, начинает подрабатывать литературой, сбывая свои юморески (а они всё злее и злее)

в иллюстрированные журналы. Так появляются на свет первые робкие ипостаси великого писателя: Антоша Чехонте, Человек без селезенки. С торговлей покончено в жизни, но ее еще надо прикончить в литературе. И Чехов это делает. Его лавочники просто ужасны. Хамы, рвачи, мошенники, неучи. То у них в гречневой крупе котята лежат, то они обвешивают, то обсчитывают, то мыло и хлеб одним ножом режут (а для тех, кто «поблагоднее», конечно, держат особый нож). Чехов отмечал в дневнике, что он всю жизнь по капле выдавливал из себя раба, а рабом он стал в отцовской лавке. «Хамские капиталы» — вот как Интеллигент пригвоздит Торговца. Плохо, очень плохо для развития капитализма в России. А сам Чехов идет работать «по распределению», опять с нуля, уездным врачом.

Чеховские врачи — люди полезные, но тоже несчастные, небогатые и страдающие. Богатеют и устраиваются у Антона Павловича в рассказах одни только пошляки и «интересанты». Еще одна черта интеллигенции по Чехову, увы, чисто левая: приличный интеллигент словно дает обет бедности. И еще чистоты, почти целомудрия. Предан науке, пациентам и жене Осип Дымов из «Попрыгуньи», самый замечательный чеховский врач. Старый врач из «Княгини», ею несправедливо уволенный, тоже ничего не нашл и одинок после смерти жены. Рагин из «Палаты № 6» остается без средств после увольнения, а к женщинам и близко не подходит. Даже Ионыч из одноименного рассказа не женился на Котике, отчаянно и бездарно музицирующей. Нет, Чехов не пошел по пути Ионыча, не завел пару лошадей, не стал скупать доходные дома. Он остался навеки молодым безлошадным скептиком, строгим критиком города С (и далее по алфавиту), которого не прельстить ни бездарными романами матери Котика Веры Иосифовны, ни ужинами, ни ужимками слуги Павы.

Итак, обет бедности, чистоты и непослушания. Ибо зарождающаяся интеллигенция не будет слушаться никого и никогда, даже здравого смысла. Не будет для нее ни авторитетов, ни святынь, ни табу. Антон Павлович станет ее предводителем (виртуальным, конечно, ибо ходить строем она не будет тоже), пророком и прародителем.

В 1886 году Чехов выходит из подполья прямо в не очень революционную, но очень умную и правую газету «Новое время», которую издает носитель протестантской этики (хотя и ближе к старообрядчеству: по суровости и трудолюбию) А.С.Суворин. Из подполья — в сумерки (так его первый большой сборник будет называться, «В сумерках»). Нет больше Антоши Чехонте. Есть Чехов. И его первая (хотя и не слабая) пьеса «Иванов», поставленная на сцене театра Корша. И сразу — откровение: если в человеке просыпается молодость, он стреляется, потому что не может молодой человек стерпеть жизни.

Тридцатилетний писатель нашел себе место в российской Плеяде. Это первое в истории России правозащитное сообщество: литераторы с умом и совестью, которые не хотят никаких революций, которые желают не перевернуть общество, но его врачевать. Григорович, Плещеев, Сахаров Серебряного века — Владимир Галактионович Короленко. Для Чехова решены проблемы заработка, статуса, служения идеалам («служение» — главный предмет обихода интеллигенции). Впрочем, интеллигенту Чехову много и не надо было. Чистота, уют, книги, цветы, кабинет. Ел Чехов очень мало и, судя по его рассказам, чревоугодие считал национальным пороком. Чего стоит только рассказ «Сирена», где он издевается над сладострастным перечислением индеек, уток, селедочек, икорок, грибочков, водочки и прочих съедобных предметов. Один чиновник у Чехова прямо так и умирает, за столом, разинув рот на какую-то вкусность, но не успев попробовать! Вообще Чехов чиновников размазал по стенке, и никакого сострадания к Акакиям Акакиевичам. Их бедность, их шинели его нимало не волнуют. Антон Павлович ненавидит чиновников. Они и хапуги, и холопы, и трусы. Этакое милое, непринужденное «искательство к начальству», как у этого жалкого типа из «Смерти чиновника», что даже умер, убоявшись неодобрения директора департамента, которому он случайно в театре чихнул на лысину, — вот что не терпит Чехов. «Толстые» и «тонкие», сдающие жену в аренду столоначальникам в кунных шапках и при этом жалеющие только о том, что щи остыли, они из рассказа в рассказ пресмыкаются, пресмыкаются, пресмыкаются...

В 1888 году в журнале «Северный вестник» появляется повесть, отмеченная печатью гениальности, — «Степь». Русская жизнь как русская равнина, как странствие, как погоня за прибылью и поиски смысла, а смысла не оказывается, потому что торговля шерстью, ловля рыбы бреднем, работа подводчиков, проблемы двух братьев-евреев с постоянного двора, мир, открывающийся глазам маленького Егорушки, — это и есть смысл. Да, Чехову уже не нужна практика, он профессиональный писатель. И вдруг в 1890 году он бросает всё и едет на Сахалин, как заправский правозащитник, чтоб на месте узнать, соблюдаются ли права каторжников. Интеллигенту до всего есть дело. Отчет попал в книгу «Остров Сахалин», 10-й том вишневого собрания сочинений. Чехов остался недоволен, возмущался, нашел массу жестокостей и несправедливостей, даже телесных наказаний. Правда, Солженицыну сахалинская каторга показалась раем по сравнению с ГУЛАГом, ну да ведь нельзя же равняться на худших, на варваров.

90-е годы — это время Чехова. Кто он, добрый доктор Айболит, гуманист и правозащитник, или злой доктор Менгеле, безжалостно препарирующий человека и выискивающий в нем всё дурное, всё фальшивое, всё жестокое, не оставляющий несорванных покровов и не полинявших иллюзий? А и то и другое. Он хватается то за скальпель, то за сердце, потому что больно. И ничего нельзя изменить — на этом Чехов настаивает. Те, кто у него захлебывается восторгами по поводу другой, лучшей жизни, — как правило, молодые идиоты, и слушать их смешно, и это у них пройдет. Надя из «Невесты», Петя и Аня из «Вишневого сада», неудачница Соня из «Дяди Вани». Ведь и Катя из «Скучной истории» так думала, а жизнь крылышки ей пооборвала. Но хлороформа или другого обезболивающего в саквояжике доктора Чехова нет. Он правдив, а значит, жесток. Прямо по Высоцкому: «Я жгу остатки праздничных одежд, я струны рву, освобождаясь от дурмана, — мне не служить рабом у призрачных надежд, не поклоняться больше идолам обмана!»

Камня на камне не остается от веры в Бога: привычка, ритуал, полная никчемность и неприменимость Закона Его в реальной жизни, а то и хуже: ханжество,

лицемерие. Читайте рассказы «Княгиня», «Архиерей», «Мужики». Что ж, интеллигент в лучшем случае — агностик, если не атеист.

Властители дум и учителя жизни — неудачники, да еще в чахотке, на краю могилы, и учат потому, что не в силах жить и преуспеть. Как Саша в «Невесте». Или несносные, бестактные, жестокие резонеры с элементами фашизма — как фон Корен из «Дуэли». А уж народ — богоносец! Ничего не может быть страшнее и беспощаднее «Мужиков». Пьяные, злобные, ленивые, убогие, без милосердия, без трудолюбия, без жажды знаний. Да и «Моя жизнь» — не легче. Никчемный, слабый интеллигент-народник. Такой же злобный и тупой народ, как в «Мужиках». Неблагодарный и дикий. А это врожденное рабство! Фирс из «Вишневого сада» называет волю несчастьем. А герои «Мужиков» вообще рассуждают, что при господах было лучше. Еще бы! На обед щи и каша, и на ужин щи и каша, и капусты и огурцов сколько угодно. Пьяниц и лентяев, кстати, ссылали в ярославские вотчины. А как некому ссылать стало, так все и спились.

И относительно любви у Чехова нет никаких иллюзий. Есть краткая мечта в рассказах «О любви», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой». Но только если влюбленные не женятся или вместе не живут. А иначе скука, взаимное озлобление, пошлость и глупость. Оленька из «Душечки» ведет себя, как кошка. Киска из «Огней» вешается на шею бывшему знакомому гимназисту и готова бежать от мужа черт знает куда, так что герой спасается от нее, тайно уезжая. А Зинаида Дмитриевна выгоняет холодно-го интеллектуала Орлова из его собственной квартиры, он скрывается от нее у друзей («Рассказ неизвестного человека»). Лаевский же из «Дуэли» тщетно пытается от своей любимой сбежать обратно в Москву и ненавидит ее всеми фибрами своей души. К тому же чеховская любовь не взаимна. Такая вот мучительная цепь: А любит В, а В любит С, а С любит D. В «Чайке» несчастная Маша любит Треплева, а Машу любит ее муж, которого не любит никто. Треплев любит Нину Заречную, а Нина любит Тригорина, который ее бросит и обманет. Любовь у Чехова — или мучение, или бремя.

Чеховские пьесы — это особая статья. С ними в его жизнь входит Муза. Вообще-то чеховской жизни

не видно за его творчеством. Тихий, скромный, вежливый человек с шелковым голосом. А внутри — такой макрокосм. Так будет жить интеллигенция, функция совести и разума: максимум духа и минимум плоти. Как та одинокая Душа из первой пьесы Кости Треплева: она вечно будет одна и вечно будет вести смертный бой с материей, в коей усмотрит Дьявола. Чехов морщился от громкого голоса, а однажды, когда при нем боцман ударил матроса, он так побледнел, что боцман стал просить у него прощения...

Он жил возле письменного стола, он жил один. И вдруг он знакомится с прекрасной актрисой Ольгой Леонардовной Книппер. На почве постановки «Чайки» в МХТе в 1898 году. Ведь двумя годами раньше «Чайка» провалилась в Александринке. Ольга была на пятнадцать лет моложе, была загадочна, талантлива и прекрасна. Типичная Муза. Они обвенчались. Но разве с Музами живут? Антон Павлович не верил никому, он знал людей, и актрис тоже знал. Она ездила к нему в Ялту, радовала, ухаживала, устраивала праздник... а потом уезжала в Москву, в театр. Они дружили, они были соратниками, она играла в его пьесах. Поэтому Чехов избежал и пошлости, и пресыщения, и измены. Семьи не было, но не было и драмы. Драма, вернее, трагедия была в том, что Чехов сгорел, как светильник разума, как свеча в гербе и символе «Эмнести Интернейшл», сгорел в 44 года. Он слишком много знал о людях, и это было нестерпимо. Он знал, что это норма, что лучше не будет. Вишневые сады были бесполезной роскошью, непрактичной красотой, их время истекло, их разбили на дачные участки, это сулило выгоду. Мисюсь была из этого мира, поэтому она тоже пропала незнано куда. Чехов интуитивно чувствовал впереди бездну, поэтому так глупо и наивно звучат у него голоса «о замечательной жизни через сорок лет». Такое мрачное пророчество — «Палата № 6». Чехов безумно боялся людей. А если тех, кто живет не как все, начнут упрячивать в сумасшедший дом? И ведь это случится через 75 лет!

К концу 90-х годов Чехов и Толстой стали самыми читаемыми в России авторами. Но Чехов не создал школы и не учил никого ничему. Он жил по диссидентской формуле: «Мы не врачи, мы — боль». Творчество Чехова оформило и пустило в жизнь целый новый

класс: интеллигенцию. Два потока: никчемных, слабых, ноющих и скулящих — и бесстрашных фрондеров, человечков с молоточками из «Крыжовника», которые второй век стучат в окна и напоминают, что есть Зло, что есть несчастные. Интеллигенты-пилигримы, но только их святые места находятся в великих произведениях искусства и у них внутри. Столько ума и столько боли — в сумме это рождало чахотку, профессиональную болезнь интеллигенции. В чистеньком, скромненьком ялтинском домике Чехов погибал от чахотки, погибал, не жалуясь, тихо, стоически, без шума и репортеров.

Интеллигенция — русское ноу-хау. У нас патент. Поэтому и в России, и на Западе (а там интеллектуалы стремятся стать интеллигенцией) Чехова второе столетие жадно ставят и экранизируют. Ведь Чехов описал элиту Духа и в «Дяде Ване», и в «Вишневом саде», и в «Чайке», и в «Трех сестрах», и в «Доме с мезонином», и в «Скучной истории». Каждому охота приобщиться к жизни элиты хоть на один вечер. Это в жизни интеллигента растопчут или осмеют, на сцене или на бумаге знакомство с ним престижно. Он хранитель Высшего Смысла. Исчезнет интеллигент, исчезнет и Россия.

Бродит призрак тленья
 По уездным городам.
 Заложу именье —
 Душу не продам.
 Укрепись молитвою
 И не соотнеси
 Конец аллеи липовой
 С концом всея Руси.

М.Кудимова

P.S. Если сведущий в чеховской биографии и переписке реалист прочтет это эссе, он, конечно, скажет, что Чехов не был ходячей прописью, а здесь написано сплошное вранье. Не постничал Чехов, не парил в облаках, не скорбел о роде человеческом, а жил. И жил очень неплохо, когда стал знаменит. Обедал в приличных ресторанах (недаром в рассказах у него столько съедобной роскоши, балычка, икры, «поросеночек с хреном» опять-таки). Немного ел, но ел хорошо, вкусно. Роскошь

любил. Дорогие костюмы, изящную мебель, заграничные поездки. И умер-то не в Ялте, а в Южной Германии. И как умер! Не священника позвал и не Библию попросил, а потребовал шампанского, выпил бокал и сказал «Ich sterbe» («Я умираю»). (Да-да, это вполне в духе интеллигента: и эпикурейство, и скептицизм, и вызов. И мужество: другой бы застраховался, получил бы документик в виде отпущения — вдруг ад есть?)

В целомудрие чеховские реалисты тоже не поверят: он ведь даже посещал за границей бордели, сам брату признавался. И женщин у него было много, и Ольга — не единственная его актриса. А Лика? И именице в Ялте было чудненькое, и другие имена он скупал, когда пошли большие гонорары. И деньги знал на что потратить, даже больших гонораров не хватало, оттого и пьесы стал писать подряд, одну за другой, потому что прозу за большую сумму запродавал вперед издателю... Так что Чехов был не аскет, не народник и не Человек в футляре. По этим «разоблачительным» фактам его можно скорее за эпикурейца и гедониста принять. Но никакого противоречия здесь нет. Главное — что выпало в сухой остаток. Да, Чехов пожил, и со вкусом, хорошо пожил, но он всем этим бытом и комфортом не умел увлекаться. В нем не было ни самодовольства, ни тщеславия, ни спокойствия, ни стабильности, свойственных счастливым обывателям. Чехов и обыватели обедали в одном и том же ресторане. А потом обыватель шел и бузил с мамзельками или ловил кайф на диване, прикрывшись газеткой, а Чехов шел домой и писал желчный пасквиль (иногда в форме повести): на ресторан, на обед, на самого себя.

Интеллигент чаще всего не прочь сладко пожить, хотя для этого не будет ни унижаться, ни продаваться, ни красть (в отличие от вечных чеховских оппонентов — чиновников). Но как-то он ухитрится жизнь обставить за этим карточным столом. Получать удовольствие от жизни — это и Чехов, и Интеллигент всегда готовы. Но быть довольным жизнью, довериться ей, не роптать и не страдать — это уж увольте. И Чехов, и его интеллигенты здесь Жизнь поматросили и бросили. Жизнь может жаловаться в арбитражный суд.

УНИВЕРСИТЕТЫ ПОДПОРУЧИКА КУПРИНА

В эпоху модернистов, символистов, акмеистов, футуристов Куприн не стеснялся быть реалистом, но в драгоценную раму его рассказов и повестей заключены не пейзажи и не жанровые сценки, не портреты, а сама жизнь. Кажется, в его страницы можно войти, как вошла в свое зеркало Алиса. Только Кэрролл писал о странном, а Куприн — о повседневном. И это повседневное нравилось ему.

Вот уж кем не был Куприн, так это интеллигентом. Хотя по образу мыслей (неприязнь к власти и уважение к мятежникам и революционерам), по среде обитания (после 1900 г.), по костюму и занятиям (опять-таки после 1900-го) к ним принадлежал. Но — никакой тоски, никакого презрения к жизни, никакого пепла в глазах. Как его «авеша» (то есть воплощение в художественном образе героя), пьяница, но лирик и идеалист офицер Назанский из «Поединка», он цепко и страстно любил всякую жизнь. И пожил много и пестро, и отнюдь не в кабинете за письменным столом. Пожалуй, только Горький хлебнул больше из пенной, хмельной кружки реальности. «Университеты» Куприна отличались от горьковских и гриновских разве что тем, что он не был босяком, не бродяжничал. А так чего только не было! Куприн служил в армии, причем вошел не только в быт своего офицерского сословия (бедных «армеутов» ниже штабс-капитанского чина), но и влез в шкуру солдата — и в «Поединке», и в «Ночной смене», и в «Дознании», и в «Походе», и даже в «Юнкерах». Он профессионально ловил рыбу с солеными греками, браконьерствовал, грузил арбузы, был репортером, рабочим на металлургическом заводе, репетитором, провинциальным актером из «маленьких», охотился, подрабатывал псаломщиком, пытался лечить и учить крестьян, играл в карты. И такова сила его пера, что мы готовы поверить даже в то, что он крал лошадей, был японским шпионом, сутенером, лакеем, художником, растратчиком казенных

денег, евреем из местечка, мелким чиновником и циркачом. А когда он пишет о древнем мире, о царе Соломоне, царице Савской и возлюбленной царя Суламифи, то кажется, что он сидел где-то рядом в винограднике, а с царем Соломоном просто дружил.

Есть у Куприна ряд фантастических рассказов о том, чего не было и не бывает («Жидкое солнце», «Звезда Соломона»), но они тоже предельно реалистичны, и эффект присутствия там таков, что начинаешь верить и в уничтожение Эквадора вулканом, и в древние заветы. Рассказы Куприна хрустят на зубах, как арбуз или яблоко, пахнут конским потом, хорошими духами, клубникой, морем, смолой, хвоей, горячей сдобой и детскими пеленками. Гением Куприна не назовешь, но Мастером он был. И имел двух Маргарит официальных и множество неформальных. Этот реалист был нежным и целомудренным идеалистом, искал человечность и с фонарем, и со свечой, и при дневном свете, был чисто русским типом со своей широтой, добротой и удалью, типом, вымершим и умерщвленным в советском гадюшнике, и, конечно, обольщался революционными идеями, мало что в них понимая, кроме романтики. Как ему, с такой жадной до истины, доброй и простой душой (и без особого книжного образования), было не вляпаться в главное заблуждение XX века — в народническую, инсургентскую Утопию? Александр Иванович Куприн был из мелкопоместных, обедневших дворян, а они умеют радоваться жизни, «выходить в люди» и склонны спасать человечество, как вообще все русские дворяне, начиная с Радищева и очень не бедных декабристов.

Родился писатель 7 сентября 1870 года в городке Наровчат Пензенской губернии. Городок был самый унылый, безводный, знаменитый разве что своими решетками и бочками. Семья была самой прозаической: отец служил мелким уездным письмоводителем. Скупая, пошлая жизнь. Уж конечно, быт мелкой чиновничьей сошки с ее постоянной нуждой и ничтожными радостями («Святая ложь», герой «Звезды Соломона» Цвет, «Исполины») был списан с уклада собственной семьи, но выдумщик Куприн нашел прелесть и в этой жалкой провинции. Одна только мистическая, ритуальная ловля

раков чего стоит! (Из рассказа «На реке».) «Раковецкий», «Рачитель», «Раковский» — так и хочется бежать ловить ночью раков. И жил в тех тихих краях в XVII веке страшный разбойник Булавин, заточенный Богом в подземелье до Страшного суда, а в воробьиную ночь бродящий по лесам с дубиной из цельной сосны... Кажется, сам Куприн поверил в мифический визит в Наровчат императора Александра I. И мы верим вместе с ним: уж очень достоверно.

Мать рано овдовела, осталась без средств и жила так, как пишет Куприн в рассказе «Река жизни»: приживалкой, «салопницей», в унижениях, из милости. И ребенок вдоволь нахлебался этих унижений. Отсюда и «левый уклон». Куприн не озлобился, однако приобрел нежную, глубокую, избыточную почти человечность. Потом мать писателя пристроилась в казенный вдовый дом (в Москве на Кудринской площади), что давало ей кусок хлеба (и даже севрюги) и кров; пожалуй, даже комфорт в определенной дозировке. Сын сначала жил при ней, потом его удалось пристроить в сиротский пансион «на всё готовое». Да, вдовы, сироты, больные и престарелые хорошо прижились «кровавым царским режимом». Заботилось государство, заботилось земство, заботились великие князья и княгини, заботились о рабочих предприниматели, много жертвовали на социалку купцы-меценаты. Как в рассказе «На покое», где просвещенный купец даже основал приют для престарелых актеров (хотя эта профессия считалась, в сущности, греховой). Хотите знать, как жили во вдовьем доме? Вот вам рассказ «Святая ложь». Тихая, чистоплотная старость, питание, обслуживание, уход, утешение религии (своя церковь). А сиротский пансион — это «Храбрые беглецы». И Куприн — это, конечно, пылкий и храбрый фантазер Нельгин, вечно в конфликте со старыми девами — воспитательницами и влюбленный в великодушную попечительницу — княжну. Однако в этом пансионе Александр не стал ни тряпкой, ни бабой и приобрел достаточно знаний, чтобы поступить в кадетский корпус. Бесплатное обучение, питание, обмундирование, крыша над головой. И военная карьера — на 14 лет. Без денег сирота иначе не мог выбиться в люди. Никто не рассчитывал, что маленький Сашенька сделает блестящую карьеру писателя.

По «Кадетам» («На переломе») выходит, что жизнь в корпусе была просто адом. «Деды» (или «старички») издевались над младшими как хотели. К тому же Куприна один раз высекли, и этого унижения и насилия над личностью он, рыцарь и настоящий мужчина, не мог забыть до старости. После корпуса юноша перешел в Александровское юнкерское училище в Москве. О нем он отзывается с восторгом, правда, уже в Париже: повесть выходила по частям, с 1928 по 1932 год. Честь, долг, братство, роскошные балы в Екатерининском институте для барышень-дворянок, куда приглашали юнкеров... Красивый мундир, первая (и вторая) любовь, забота старших о младших («фараонах»). Уже никакой «дедовщины», никакого «цуканья». Каток, масленичные гулянья. Возможность выдвинуться и «далеко пойти» (хотя, конечно, не в гвардию, в гвардии без денег делать было нечего). Однако способный и старательный юноша мог поступить в Академию Генерального штаба — а это была уже карьера — и приблизиться к «высшему свету», даже увидеть царя можно было для бедного провинциала только через этот военный и патриотический искус. Чистые, храбрые мальчишки, боготворившие императора (тогда как раз Александра III). «За веру, царя и Отечество!» — для них это было интимно, искренне и сокровенно. «Жизнь — Родине, честь — никому». Убожество кадетского корпуса, деградация и пьянство провинциального гарнизона — и между двумя каторгами эта роскошь, этот изыск — юнкерское училище, иллюзии, надежды... Сакральный холод присяги, горячее желание умереть за Россию на поле битвы. И реальная смерть этих верных присяге детей, которые одни защищали от большевиков Москву...

Но не был приспособлен Куприн для военной жизни с ее четким регламентом и муштрой, сачковал он в корпусе, и первый рассказ написал именно там, и даже опубликовался. Это была чушь, но занятная. Поэтому вышел он из корпуса не в первых рядах и загремел подпоручиком в 46-й Днепровский пехотный полк, стоявший в самом захолустье Подольской губернии — Проскурове и Волошке (по-нашему — Мухосранск). И здесь стало уже не до «Фиалок». Так называется самый трепетный, прекрасный, целомудренный рассказ о пробуждении юной

души блудного курсанта, выпускника кадетского корпуса, сбежавшего в парк (вместо подготовки к экзаменам) и влюбившегося в деву из высшего света, встреченную в аллее...

Александровское училище Куприн окончил в 1890 году. Праздник кончился, начались суровые «армеутские» будни. Они с достоверностью ночного кошмара представлены в «Поединке» (акме), «Прапорщике армейском», «Дознании», «Ночной смене», «Свадьбе». Да простит мне тень Александра Ивановича, но я думаю, что он, по своему обыкновению, увлекся и кое-что присочинил. Если бы всё это было настолько мрачно и безотраднo, никто из офицеров службой в полку не дорожил бы, все бы разбежались в отставку. А солдаты, будь они все такие, как дебил Хлебников, в 1914 году ни одного сражения бы не выиграли. Если кто помнит «Поединок», то тонкий и интеллигентный подпоручик Ромашов пил водку, имел грязную связь с полковой мессалиной Раисой, бил баклуши, выполнял свои обязанности спустя рукава, не готовился в академию, зато много мечтал и презирал «среду», то есть армию. Но тот же Куприн, издавший в 1905 году «Поединок» (антиармейский памфлет), писал в «Юнкерах» в начале 1930-х из Парижа совсем другое и даже восхищался, какие молодцы-солдаты — бравые, храбрые и ловкие — выходят из деревенских «вахлаков». Мясной порцией и рационом вообще (щи с убоиной) тоже восхищался, да и солдатский обед в «Свадьбе» нареканий не вызывает: и мы бы с вами покушали из ротного котла. Валентин Катаев в своей повести «Белеет парус одинокий» писал, что у солдат оставалась пропасть черного хлеба и каши, и они раздавали всё это нищим через окно казармы (вот Гаврика Черноиваненко осчастливили).

Я думаю, что непоседе и литератору Куприну армия была противопоказана, вот он на ней и выместил всё, что претерпел от муштры и субординации. Для свободного человека казарма — не лучшее место работы. Интерес к военному делу у Куприна не было. В училище не стал отличником, в Академию Генштаба провалился. Чуть с голоду в Петербурге не умер, пока свои суточные получал (рассказ «Блаженный»). Большой писатель по военной части оказался looser'ом, а looser'ам не нравится то ремесло,

в котором они не преуспели. Кстати, две полуповести, еще слишком красивые и мелодраматические, но уже со сверканием незаурядного таланта, он печатает, когда еще тянет армейскую лямку. Это «Впотьмах» («Страсти-мордасти») и «Лунной ночью» (ужастик). По-настоящему сильный рассказ появится только в 1902 году. Это «На покое», об отставных актерах, доживающих свой век в убежище от щедрот купца-театрала. Здесь уже правда, и мастерство, и горечь. А в 1904 году пойдет на нерест большая литература, пойдет косяком и останется в веках: «Белый пудель» (тяжкая судьба уличных артистов); «Мирное житие» (презрение к анонимщикам и доносчикам); «Корь» (гениальная отповедь русским националистам); «Жидовка» (восторженная ода еврейскому народу, с завистью и с восторгом, что во времена черты оседлости и 5 % нормы было смело и незаурядно).

Куприну 34 года. Он состоялся как всеми признанный писатель, у него завелись деньги, семья, он дружит, как равный, с Чеховым, Буниным, Горьким. Но он не в силах сидеть в петербургской квартире и общаться только с «приличным обществом» (кстати, так назывался рассказ 1904 года; ух и задал же этим ломакам и трусам, приспособленцам и лицемерам искренний и простой Куприн!). Он по-прежнему мотается по стране, ловит рыбу с греками в Балаклаве, имеет сети и свой пай на баркасе (1907–1911 гг.).

А когда он вышел из полка в 1894 году, пришлось репортерствовать, чтобы прокормиться. Но это вам не фортификация, это интересно, и из Куприна выходит довольно-таки злоязычный «журналиюга». Занимался он этим преимущественно в Киеве. Отсюда нежная любовь к Малороссии: малороссийской колбасе, горилке, салу и даже «красоте и семейственности малороссийских женщин». Александра Ивановича женщины любили. Еще бы! Красивый, сильный, добрый, благородный, всегда готов помочь. Что-то вроде пастора. Репортер Платонов из «Ямы» (эпос публичного дома) — это же автопортрет. Но не был Куприн ни гулякой, ни бабником, хотя с ним дружили и проститутки, хотел он семьи, тихого, скромного и теплого уюта. И в 1901 году женится он на Машеньке, Давыдовой Марии Карловне, которая моложе

его на 11 лет и отчасти немка: очень аккуратная и организованная. В 1903 году рождается дочь Лидия, но Машенька, методичная Машенька, не могла примириться с тем, что ее муж, признанный литератор, которого одобрил и читал сам граф Толстой, не сидит в кабинете, а продолжает проходить свои «университеты» по всей стране: грузит арбузы, бывает в публичных домах, знается с рыбаками, извозчиками, нищими, матросами. Ее волновало, с кем ее муж проводит дни (и особенно ночи). Волновалась она зря. Куприн не был циником. Его нежное, возвышенное, трепетное отношение к любви было сродни подходу к этому делу средневековых паладинов. Потому он и боролся пером против проституции. Но чтит в проститутке личность и женщину и считал ее способной испытать чистую любовь. Куприн был просто сказочно хорошим человеком. Но Мария его не оценила. Зато оценила Елизавета Морицовна Гейнрих (тоже немка, но Гретхен). Оценила она его в 1907 году, но Мария решила сделать бяку и развод не давала до 1909 года. Гретхен ждала венчания два года, а это высшее доказательство преданности и любви. Она прошла вместе с Куприным до конца его нелегкий путь, она родила ему двух дочерей: Ксению в 1908 году (она доживет до наших дней, то есть до 1960-х, и станет биографом отца) и Зиночку в 1909 году (крошка умрет в 1912-м).

Куприн, кстати, не был народником: народ он знал, умел находить общий язык, понимал его загадочную славянскую душу, любил, боялся и потому не обожествлял. Что до любви, то здесь они с Буниным и Тургеневым составляют прелестное трио идеалистов и мистиков на фоне циников Толстого, Чехова и Достоевского, которые слишком пристально посмотрели на предмет и во всем разуверились. Вклад Куприна — это, конечно, «Суламифь» и «Гранатовый браслет». Ну еще и Грина можно к ним в компанию, но это уже за пределами земной реальности.

Куприн был снисходителен и сострадателен к обычным, живым людям, не ставя их на ходули. Он прощал, отличаясь этим от мизантропов Чехова и Достоевского, которые обывателей остро и тонко ненавидели вместе с обыденностью, ведя против жизни настоящую войну. А Куприн понимал и околоточного надзирателя,

полицейского, коего ненавидели все интеллигенты. Доказательство — в рассказе «Путешественники». Он понимал революционерок («Гусеница», «Морская болезнь»), шулеров («Ученик»), босяков, конокрадов, проститутток, чиновников мелкой руки, аристократов и офицеров, солдат и детей. В сущности, психолог и землепроходец Куприн был нашим российским Артуром Хейли — романистом на темы о профессиях и профессионалах. Сравните. «Отель», «Окончательный диагноз», «Аэропорт», «Деньги». Но далеко Хейли до Куприна. Один быт и человеческие отношения, ремёсла и нравы. Нет идей, нет идеала. Поэтому Куприн — классик из Храма, а Хейли — автор с книжного лотка.

Хотя на Западе Куприн если и котировался, то в 1905–1907 годах, когда интересна была Россия, сначала вляпавшаяся в Русско-японскую войну и проигравшая ее, а потом устроившая «бессмысленный и беспощадный бунт» пополам со всеобщей политической стачкой. Баррикады, индивидуальный террор, боевики, виселицы и расстрелы, а потом вдруг почти парламент и свободы с правами. Куприн вошел в моду, его «Поединок» стал яичком к Христову дню. Писатель попал даже под гласный надзор полиции, и его заставили в 24 часа уехать из Балаклавы, где он мирно ловил кефаль.

Куприн не полез далеко в революцию, не стал воспевать террористов, баррикады и адские машины, как Леонид Андреев или Грин. У него хватило вкуса. Он еще понимал народников и «книжных» социалистов («Морская болезнь»). Он был снисходителен к женщинам («Гусеница»), восхищаясь самоотверженностью и жертвенностью «товарища Тони», справедливо полагая, что все эти Геси Гельфман, Софьи Перовские, Маруси Спиридоновы и сестры Фигнер не ведали, что творили, готовы были отдать жизнь (и отдавали), любили правду и народ, а действовали так безумно, потому что были дуры. А с мужиков другой спрос, мужики соображать должны. Милая дура-идеалистка — это красиво, а мужик-дурак с бомбой — это стихийное бедствие. Пусть простят Куприну феминистки (тоже дуры). Куприн пожалел матросов, сгоревших на «Очакове», но Шмидта не воспевал. Куприн ненавидел ретроградов и подлецов, холуев и тиранов («Исполины», «Царский писарь»),

и это правильно. Его кредо из шестого тома зеленого собрания сочинений — это «всегда быть на стороне меньшинства». Близоруко, но благородно. Куприн жил и умер дворянином, у него была честь.

Современники забыли Куприна, нынче он опять на периферии, как после 1907 года. А зря. Он дал такую затрещину квасному патриотизму, поняв и оправдав японского шпиона («Штабс-капитан Рыбников») и защитив сепаратистов всех сортов, от поляков до чеченцев («Бред»)! Он еще в 1910 году понял всё про народ и предсказал красный террор, ГУЛАГ, ВЧК, уничтожение образованных и имущих классов общества («Попрыгунья-стрекоза»). «Вот стоим мы, малая кучка интеллигентов, лицом к лицу с неисчислимым, самым загадочным, великим и угнетенным народом на свете. Что связывает нас с ним? Ничто. Ни язык, ни вера, ни труд, ни искусство. <...> В страшный день ответа что мы скажем этому ребенку и зверю, мудрецу и животному, этому многомиллионному великану? Ничего. Скажем с тоской: "Я всё пела". И он ответит нам с коварной мужицкой улыбкой: "Так поди же попляши". <...> Только один бог знает судьбы русского народа... Ну что ж, если нужно будет, попляшем!».

Февраль внушил Куприну великие надежды, но он был мудр, ничего не написал, потому что предвидел конец. Конец пришел скоро: Куприна арестовали и потащили в военно-революционный трибунал за какой-то памфлет, где усмотрели теплые чувства к брату царя Михаилу Александровичу. Сидел три дня. Понял всё. Его выпустили: помог «Поединок», помогли Горький и Луначарский. С Горьким он потом все равно порвет. Печататься было негде. Не было уже журналов «Серый волк», «Весь мир», «Новый мир», «Мир Божий», «Современный мир». Не было газет «Утро России», «Речь», «Русь». Не было альманахов «Шиповник» и «Земля». Куприн знал жизнь. Он замаскировался, наговорил кучу ерунды на могиле Володарского и бежал за границу вместе с женой и дочерью Ксенией. В Париже обнаружил вдруг, что французы — рационалисты. Этот пылкий и непрактичный романтик не прижился во Франции. Бедствовал, тосковал, писал не о политике — о прошлом или о французах и коллегах-эмигрантах («Жанета. Принцесса четырех улиц»,

«Гемма»). К нему подъехали посредники, звали в СССР, обещали черт знает что. (Как Бунину. Но Мережковского даже не звали, они с Гиппиус считались неисправимыми врагами.) Страшно хотелось умереть на родине. Пожить там хоть чуточку. Но Куприн всё знал — в отличие от Цветаевой. Вот смотрите, не замеченное советской цензурой 1957 года, вошедшее в шеститомник (уровень «Архипелага»): цикл «Мыс Гурон», глава «Сильные люди». История продольных пильщиков, работяг, умелых русских крестьян, «зашибавших» по три рубля в день. В 1929 году Куприн пишет, что их «давно вывели из быта в расход. Еще бы! Маленькие буржуи! Кулаки!».

Это был блеф, но Куприн умел играть в карты. Он обыграл большевиков, он их «развел». Дочь Ксению оставили в Париже, ею рисковать не стали. Она вернется в 1957 году. А Куприн с женой возвратились, но власть мало что с них поимела. Кормила, дала дачу в Голицыне, запустила пару фильмов «по мотивам», издала еще раз. А Куприн не написал ничего, кроме короткого рассказа «Москва родная». И — ни слова о Сталине, о строе, о политике. Восхищался детскими садами, парками, любовью к Пушкину, молодыми офицерами. Плакал и давал автографы. Они вернулись весной 1937-го, а 25 августа 1938 года Куприн уже умер. Конечно, это не геройский путь Бунина и Мережковских—Гиппиус. Но и не предательство. С него поимели меньше, чем с Пастернака.

Есть у Куприна рассказ «Сны» 1905 года. О том, что он сидит перед камерой пыток или перед дверью в ад, слышит крики, видит огонь. Дверь открывается, и тогда входит покорно очередной. И вот очередь Куприна, но он просыпается. Вернуться — это была азартная, рискованная игра. Но писатель выиграл. Двадцать пятого августа 1938 года он вовремя проснулся.

РЫДАТЬ НА РАЗДОЛИИ НИВ

Он жил долго и несчастливо, но умер он в тот день, когда написано было всё. Выполнен был давний обет: «Пойду из столицы в Расею — рыдать на раздолии нив». Сегодня Бунина бы окрестили «писателем-деревенщиком». Куда до него им всем! Он изобразил на сером холсте неярких российских будней не Россию, парадную, затянутую в рюмочку, пахнущую балами и цыганами, в кружевах и шелках, в вышивках золотых соборных шпильей, но Расею: убогую, несчастную, в лаптях, голодную и тоскливую. Он сам очень хорошо знал, что такое голод и тоска. Он пришел из Серебряного века, но к нему Серебряный век повернулся своей медной стороной. Все мы родом из детства и очень сильно детерминированы сложностями и ухабами своего личного жизненного пути.

Иван Алексеевич Бунин родился в александровское благословенное время, в 1870 году, в едва оттаявшей от рабства стране, с которой слезала крепостная шкура. Но детство его было омрачено грозной тенью грядущей Катастрофы, будущей красной Смуты. Это будущее, на время (с помощью виселиц и тюрем) замороженное настоящим, пришло к нему в образе старшего брата Юлия, отсидевшего год в тюрьме народника-чернопередельца (спасибо еще, что не народовольца). Семья гения была старинной, дворянской, но обедневшей. Родился он то ли в маленьком имении Орловской губернии, то ли на большом хуторе со знакомым нам названием Бутырки. Но вообще-то жила семья и в Воронеже — глубокой, глухой провинции. Было ясно, что певца родовых дворянских усадеб, величавых, прекрасных, плывущих в своем особом измерении гордыми лебедями мимо голода, скотства и невежества, из Бунина не получится. Он таких и не видывал. И деревню он увидел даже ближе, чем лекарь Чехов. Все усадебки мелкопоместных дворян у Бунина, начиная со впавшего к XX веку в нищету Суходола, бедны, запущены, часто крыты соломой, а помещикам

зачастую нечего есть и некуда пойти, потому что стыдно бывать в обществе.

У ребенка был хороший учитель, полуголодный, но знающий. Такие бедные студенты шли «на кондиции» учить детей за харчи и медные деньги. Н.О.Ромашков читал с барчуком и Гомера, и Байрона, и Китса, и Шелли. Ване захотелось переводить, а потом и писать самому. В 1886 году он заболел нервным расстройством, и родители, добрые, простые люди, взяли его из гимназии. Он так и не кончил курс и не пошел в университет. Семье это было не по средствам, а от честолюбия их успела отучить тяжелая жизнь. Ромашков дал Бунину хорошую базу, даже живопись преподавал, а потом, как в поэме Некрасова, появился в доме таинственный брат Юлий с портрета. Юлия все равно выслали в деревню Озерки, и он никуда выехать не мог. Четыре года он учил младшего братишку, прошел с ним весь гимназический курс, преподавал языки, философию, психологию, естественные науки. Но главным для братьев была литература. Для Юлия — хобби, для Вани — призвание.

В 1889 году Бунину приходится «идти в люди». Он должен зарабатывать свой хлеб, и его разночинская бедность и скромное жалованье то корректора, то статистика, то библиотекаря, то мелкого газетного репортера придадут его творчеству неслыханную остроту, но не социального протеста (как через десять лет подумает восторженный Горький, приветствовавший, как родного, любого нигилиста), а боли. Брат Юлий не смог сделать из своего младшенького социалиста. Иван Алексеевич окажется на всю жизнь яростным индивидуалистом, шарахающимся как от «родных коммун», так и от импортных фаланстеров. Он увидит горькую нужду, он опишет ее с потрясающей силой сострадания, но — никаких оргвыводов. Бунин будет зрячим и умным в отличие от глупых и слепых народников-социалистов. Поэтому он никогда не станет отвечать на вопросы «Что делать?», «Кто виноват?» и «С чего начать?». Бунин поймет, один из немногих, что бедность лечат только время, эпоха и сами бедняки, а вопросы «Кто виноват?» и «С чего начать?» вообще в социальной сфере — табу. И так мечтавший о собственном гнезде Бунин все время в поисках заработка мотается по стране: то Орел, то Харьков, то Полтава, то Москва.

Сначала он пишет стихи (в 1891 году выходит первый сборник). Стихи профессиональны, но не для наших храмовых витражей. Так пишут многие в то время; мне удалось найти только два стихотворения, действительно замечательных. Незаурядные прозаики нередко начинают с заурядных стихов. Но этого сборника хватит, чтобы юный Бунин в 1894 году был обласкан Львом Толстым, а через год радушно встречен Чеховым. Великие классики не гнушались способной молодежи, пригревали ее, нередко помогали литературной халтурой, выручали деньгами. В русской литературе это станет традицией, хорошим тоном и стилем: молодое дарование робко протягивает рукопись мэтру, а мэтр наставляет и продвигает своего протеже. Так поступил Константин Симонов, открывший дверь в литературу очень по тем временам (70-е годы прошлого века) смелому и разоблачительному В.Кондратьеву. А сегодня Сергей Лукьяненко, уже маститый фантаст, благословил и довел до читателя Станислава Буркова с его «Волшебной мясорубкой». Так что Бунин попал в теплые дружеские объятия мэтров, и когда в 1895 году выходит знаменитый его рассказ «На край света», радуются все.

Это очень тяжелый рассказ, хотя никаких драм в нем не происходит. Это бунинский личный шлях: рыдание. Будет в первые годы советской власти такой термин — «упаднический». Стихи, настроение, литература. С негативным подтекстом: пролетарии и «примкнувшие» должны были радоваться и веселиться. Улыбка типа «гы-ы». Какая же печаль при советской власти? Тоска считалась «подрывным» чувством, за что и положили в 30-е под сукно вполне лояльного Есенина. Но если брать «упадническое» без негатива, то это как раз бунинское настроение. Когда хочется плакать и от красоты, и от уродства, и от сытых, и от голодных, и от успеха, и от нужды, и зимой, и весной, и летом. А осенью — и подавно. Ничего легкого, ничего безмятежного. И в каждой чаше млека и меда — цикута на дне. Герои знаменитого рассказа всего-навсего переселяются в Сибирь, даже на Дальний Восток, в Уссурийский край, на новые земли. Добровольно, чтоб лучше жить. Там они, кстати, разбогатеют, и 40 коров — это будет бедняцкое хозяйство.

Но настроение и у переселенцев, и у остающихся в большом украинском селе — панихидное, как будто гонят народ на каторгу, по этапу. Умом понимаешь, что этих нытиков, робких, забитых, не похожих уже ни на запорожских «лыцарей», ни на владевших мечом поселян Киевской Руси, надо бы не жалеть, а взять за шкуру и потрясти, чтобы вытряхнуть из них это рабское, фаталистическое отсутствие инициативы и желания спастись (и преуспеть), но мастерство Бунина так велико, что того и гляди заплачешь вместе с ним. Сила бунинского искусства велика: калеки, юродивые, неудачники, пьяницы и опустившиеся мелкопоместные изгои, looser'ы всех мастей и фасонов, которых мы, нормальные западники, не терпим в жизни, неотразимо притягивают нас со страниц синего четырехтомника (Москва, «Правда», 1988 г.). Одного из лучших изданий Бунина, кстати. И полное, и компактное. Ларчик с самоцветами...

В 1899 году Иван Алексеевич знакомится с Горьким, пригласившим его в издательство «Знание». Бунин идет в гору. В 1900 году выходят его великие «Антоновские яблоки», сага осени, охоты, милого старинного усадебного житья, скудеющего и разваливающегося; сага любимой бедной земли, сага о здоровой и «экологически чистой», естественной и лишенной рефлексии крестьянской жизни, без роскоши и комфорта, но сытой и проходящей в праведных трудах. Кто, беря в руки антоновское яблоко, не знает, как оно должно пахнуть? Пахнуть оно должно по Бунину: «медом и осенней свежестью». Бунинская осень стала нашей общей осенью, потому что Бунин — лучший пейзажист русской литературы. Ночью в небе «блещет бриллиантовое семизвездье Стожар», а днем «мелкая листва вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе». А вода! «Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая».

Счастливую мужицкую жизнь Бунин не застал. Уже в 1893 году у него мужики с голоду мрут. Кстати, и Чехов в «Степи» это тоже отметил: русский человек не любит жить, он любит ныть и жаловаться, для него прошлое всегда лучше настоящего. Но это совсем недавнее прошлое выглядит у Бунина так аппетитно, в тех же «Антоновских яблоках»: «Когда, бывало, едешь солнечным

утром по деревне, всё думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздники встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой — так больше и желать невозможно!» У Чехова и такого мужицкого счастья нет: одно уродство, грубость, нищета... С Буниным хотя бы можно помечтать. Есть ключик к этому секрету, к этой тайне подобной несхожести двух новеллистов, писавших об одном предмете, и скоро мы достанем этот ключик со дна пруда...

В 1903 году за сборник «Листопад» Бунин удостоится высшей награды Академии наук — Пушкинской премии. Горький его в свои ряды не завербует, но хвалить продолжит и даже назовет лучшим стилистом современности. И не ошибется! А в 1909 году Академия наук изберет Бунина почетным академиком. Появятся деньги на хорошее платье, на хороший табак, на путешествия (с 1900 года, в 30 лет). Никто лучше Бунина не написал о Святой земле, о Мертвом море, Геннисарете, Иудее, Иерусалиме. Он не был набожным, но его портреты церквей, эскизы служб, христианские фрески Святой земли таковы, что сам Иисус заплакал бы от умиления. Никто так, как Бунин, не доказал, что без христианской веры просто нет русской культуры. Но дома у Бунина не будет. Он не попытается осесть, свить гнездо, купить усадьбу. Словно предчувствует, что строить в России — значит строить на зыбучем песке. И может быть, неизбывная тоска его рассказов-пейзажей, и несчастья его героев, и общее чувство беды — это предвидение, это ужас расставания навечно. Бунин улавливал в лике России черты обреченности, он ежился от нездешнего холода Конца. Поэтому были отели, арендованные квартиры, чужие, легко покидаемые ночлеги. И это было только начало. Впереди его ожидало Великое скитание, самое страшное и самое безвозвратное... А пока денег хватало даже на семейную жизнь.

В 1898 году он женился на гречанке А.Цакни, дочери известного революционера (предупреждал же Пушкин о пагубности любви к младым гречанкам!). Брак продлился полтора года, женился писатель явно сгоряча. В 1907 году случилось настоящее, чистое и большое: Бунин женился на В.Н.Муромцевой, теперь уже до конца своих дней. Были ли у него приключения? Иногда он о таких случаях писал, причем явно о себе и с натуры. Встречи на пароходе, одна, другая, и всё в основном мимолетно, анонимно, необязательно. Романов со знаменитостями ему не приписывают, постоянных пассий — тоже. Не знаю, посещал ли Иван Алексеевич публичный дом. Едва ли: он ненавидел коллективы. А вот встречу с проституткой на бульваре он описывает уже в Париже, а бульвар — Страстной, а проститутка — Поля, 17 лет, — невиннейшее и милейшее создание! И в номер, похоже, заказывал, и тут же влюблялся ненадолго, и описано это так, что невозможно не поверить: с натуры. И всё так чисто, без разврата у него получалось.

Вера Николаевна никаких сцен ему не устраивала, она была смиренной спутницей гения, очень хорошей, покорной женой, alter ego, и, как водится, всем ей довелось побывать: и секретарем, и даже кухаркой в Одессе и в эмиграции, и переписчицей, и записной книжкой. Что ж, таково ремесло настоящей жены, тем более жены великого писателя. Мужа она называла не Жаном, а Яном...

Бунин был, конечно, циник и эгоист, а с 1917 года стал еще отчаяннее и ненависти гневным и желчным, но таковы все творцы. Им можно, они не смогут работать иначе. Но в основе бунинской ненависти всегда лежала доброта. В народ он не верил, как всякий умный человек. Не верил в его умение самому с собой справиться — и в отличие от сусальных идиотов с их вечным радением о «народе-богоносце» оказался прав. Сначала приходят «братишки», в оценке которых Бунин так разошелся с Горьким. А потом некто воздвигает себе пирамиду из трупов и в решительный, роковой час заискивает: «Братья и сестры!» А всё от неуместного братания с кем попало, особенно с плебсом. Но не веря в народ, Бунин его жалел и любил, как «сорок тысяч братьев — большевиков любить не могут». И доказательство тому — рассказ «Вести с родины» 1893 года.

Волков, герой рассказа, дворянин, живет в городе, преподает в агрономическом институте, не нуждается. И вдруг получает письмо из деревни от сестры, оставшейся в имении, что умер от голодного тифа друг его детства Мишка, спавший на матрасе в спальне барчука, ловивший с ним перепелов, бегавший по грибы, по ягоды. Но Волков — дворянин, помещик, а Мишка — крестьянский сын, бедняк. Больно, стыдно, ужасно плохо Волкову. И чувствуется, что сам Бунин пережил такое. «Митя Волков в бессознательном веселье напивался на первых студенческих вечеринках, а Мишка был в это время уже хозяин, мужик, обремененный горем и семьею. В те зимние ночи, когда Митя, среди говора, дыма и хлопанья пивных пробок, до хрипоты спорил или пел, Мишка шел с обозом в город, а в поле бушевала вьюга...» Но Бунин был не только талантлив, но и умен. И он не сделал оргвыводов. Жаль Мишку, и безумно жаль старуху Аксинью из «Веселого двора», которая умрет с голодухи оттого, что ее беспутный сын Егор пил и не кормил мать, а потом и вовсе бросился под поезд. И жалко Таньку из одноименного рассказа, чья семья тоже имеет все шансы умереть голодной смертью, и можно пытаться помочь, но быстро, за одно поколение, эту проблему не решить. *C'est la vie*. Земля в Уссурийском крае, куда так не хотелось идти героям рассказа «На край света», — это, кстати, был и выход, и помощь. А ставить мир с ног на голову, как предлагал Горький, это значит только приумножить зло. Острый, холодный ум Бунина в глупостях выхода не видел. Он писал, и это было важнее Октябрей, Февралей и апрельских тезисов.

В 1915 году выходит его собрание сочинений в шести томах в великолепном издании Маркса (не Карла, а А.Ф.Маркса). Но здесь пробил роковой час, и «началось великое российское таинство, называемое свистопляской».

Иван Алексеевич оказался прозорливее всех, даже Мережковского с Гиппиус. Он не принял и Февраля. Он примерно представлял себе, что получится из Учредительного собрания, что может учредить народ. Он всюду цитировал свою беседу с одним из представителей народа: «Пропала Россия, не можем мы себе волю давать. Взять хоть меня такого-то. Ты не смотри,

что я такой смиренный. Я хорош, добер, когда мне воли не дано. А то я первым разбойником, первым разорителем, первым вором окажусь. Недаром пословица говорится — своя воля хуже неволи». Среди народнической, «народолюбческой» почти поголовно интеллигенции правда о народе, о его политическом потенциале казалась кощунством и ересью. А предвиденный и быстро захлестнувший столицы октябрьский прилив навсегда смыл прежних бунинских друзей, коллег и учеников, проявивших меньшую непримиримость. Терпимостью и всепрощением Иван Алексеевич не страдал.

Бунинский род пошел от знатного польского шляхтича Бунковского, еще в XV веке прибывшего на Москву к великому князю Василию (похоже, отцу Ивана III). Но дело не только в крови: логика, ум, здравый смысл, сила духа.

На юге России Бунин становится идеологом Белого движения, его тотемом. Он читает в Одессе блестящую лекцию «Великий дурман». Горький витийствует в «Новой жизни», призывая большевиков к нравственному поведению. Бунин беспощадно с ним порвал — до конца своей жизни, а прожил он дольше пролетарского писателя, которого свели в могилу сначала барская большевистская любовь, а после — и барский сталинский гнев.

Читать дневники Бунина жутковато. Он не стесняется в оценках, а возразить ему нечего, когда он пинает наших священных коров. По поводу блоковских «Двенадцати» он не рассыпается в проклятиях и вопросах, а энергически заявляет: «Ну кто же не знает, что Блок глуп». Может, и знали, да не смели сказать. Общаясь с Максом Волошиным, он обнаруживает, что у него от мистицизма полная каша в голове: «чем хуже, тем лучше», какие-то Духи, которые должны уничтожить Россию, а потом ее воссоздать, сегодня — большевизм, завтра — Белая идея и монархизм. И Брюсов туда же: романтика, черт ее дери! Хочется делать историю и низвергать троны. Бунин даже не держит на них зла, не предлагает не подавать руки. В отличие от Горького они дети, их глупость невинна, они не ведают, что творят. Узнаем мы кое-что новенькое и об ученике Бунина Валентине Катаеве: он, оказывается, приезжал в Одессу к мэтру

и говорил, что за 100 тысяч готов убить человека, потому что хочет хорошо есть и хорошо одеваться. Кстати, в 70-е мы впервые что-то узнали о Бунине из катаевской «Травы забвения» в «Новом мире». Тогда литераторы корили Катаева за его неуважение к Учителю. Но вины на Бунине и Катаев не нашел. Ну, циник, ну, эгоист, ну ел плотоядно голубцы. И всё. Есть даже у Катаева один рассказик 20-х годов про академика, ненавидевшего большевиков, но отказавшегося уехать из России. Там выведен Бунин: надменный гений, антисоветчик, фрондер.

В написанных по памяти в эмиграции «Окаянных днях» Бунин увидел большевиков и занятый ими город как никто: «...на всяких "правительственных" учреждениях, на чрезвычайках, на театрах и клубах... прозрачно горят, как какие-то медузы, стеклянные розовые звезды... Город чувствует себя завоеванным, и завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует с лотков, плюет семечками, "кроет матом". По Дерibasовской... движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за "павшего борца"...

Вообще, как только город становится "красным", тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы...

На этих лицах прежде всего нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-холуйским вызовом всему и всем.

И вот уже третий год идет нечто чудовишное. Третий год только низость, только грязь, только зверство».

Бунин даже понял, почему белые проиграют. У него самого при белых у кухарки за печкой год жил и ел его хлеб любовник-большевик. Бунин знал — и не выдал. Не смог. «Мы не можем быть, как они, и, значит, слабее красных». Люди умнее, но слабее зверей, у людей есть души и тормоза. Если бы Пиночет был добр, в Чили осуществилось бы клонирование Кубы. Если бы добр был Франко, Испания прошла бы через сталинизм и не выбралась.

Бунину было смертельно тяжело уезжать, но он обязан был писать, бороться, «свидетельствовать», а не просто умереть. И еще он понимал, что не просто убьют его

и Веру Николаевну, но смерть будет сопровождаться чудовищным унижением и утратой человеческого достоинства. Его дар надо было увезти от большевиков, спасти для России.

«Но если хотите добра вы, ей захотите помочь, моральное ваше право: бегите скорее прочь... Не о тоске по дому, тут о другом речь: никак нельзя по-другому ее от них уберечь»*. Он отплыл на «Патрасе», одним из последних, в 1920 году. Вот как это было: «...я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России — конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине!»

Стиснув зубы, он прибыл в Париж. На этот раз он даже не видел его, его взоры были прикованы к России, какой он видел ее еще до Скверны. Вот вам и ключик со дна пруда: Чехов видел Россию глазами аналитика, социолога, он о ней не мечтал, он ее не пережил, он ушел раньше, он видел ее холодно и трезво, он не знал, что это лучшее, последнее, что будет гораздо хуже. А Бунин знал и видел прошлое глазами Утраты. Как в его стихотворении: «...я покорился. Я, невольник, живу лишь сонным ядом грез». Отчаянные пейзажи, нескончаемая панихида, поминки по погибшей стране. Нестеров, Ге, Левитан, Крамской, Врубель, Саврасов — все в одной новелле. И во гробе его новелл Россия предстает такой прекрасной, какой она и при жизни не была. При этом никакого примиренчества с большевиками ради березок. Жизнь на отшибе, «на отрубях»: эмигранты линяли и левели на глазах, да еще туда и сюда шастали эмиссары Совдепии: Маяковский, Эренбург, «красный граф» А.Н.Толстой. В Париже 20-х, 30-х, 40-х его, кажется, интересовало только одно место: русская столовая близ Пасси, где его герой, белый генерал, нашел свою любовь на последние месяцы жизни: прекрасную благородную дворянку, ради куска хлеба работавшую официанткой.

Его мечта, Россия, отнюдь не благодатна: спивается учитель Николай Нилыч Турбин, мрут мужики, стреляется из-за любви Митя в дивной повести «Митина любовь».

* А.Зиновьев, «Зияющие высоты». — *Прим. ред.*

Впрочем, все романы в новеллах Бунина плохо кончатся, его любовь — тоже рыдание, без сытого счастья обыденности. Застрелят Олю Мещерскую, оказавшуюся развратной, из «Легкого дыхания»; застрелят и переводчицу и литератора «Генриха» из одноименной новеллы; умрет родами прекрасная Натали, о которой герой мечтал десять лет; отравится Галя Ганская; уйдет в монастырь героиня «Чистого понедельника», повергнув в отчаяние своего возлюбленного; Муза Граф уйдет к другому; Лиза из «Ворона» отдастся богатому старику, изменив герою; убьет свою любовницу по ее просьбе корнет Елагин. Но прекрасна и человечна и эта сладкая мука.

В 1933 году Бунин получит заслуженную Нобелевку. Страдальческая красота покойной России завоюет европейские рациональные сердца. Россию предсмертную, конца XIX и начала XX века, Запад прочтет по его сновидениям. Вот для этого он и уехал. Он создал сокровища в нетленном Храме русской литературы, который нельзя разрушить, с которого не сшибешь ни крест, ни колокола. И это сокровище недоступно ни вору, ни червю.

А Нобелевки хватило на четыре года, и дальше Бунины опять стали бедны, уже до конца. Как в 1920—1933 годах. Им было не привыкать. Во время войны Бунин будет себя вести совершенно правильно: чума на оба ваши дома. Немцев, то есть нацистов, конечно (но другие во Францию не вторгались), будет игнорировать. Флажки, отмечающие путь советской армии, будет по карте передвигать. Но когда падет Берлин, сталинские соколы от него поздравлений не получают. Его будут звать и обещать золотые горы, но он не сломается до конца и в 1953 году найдет себе пристанище там же, где его нашли его братья по перу и читатели: на Сент-Женевьев-де-Буа.

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное» (Евангелие от Матфея).

ГОРЬКИЙ ПЛОД КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

Здесь лежат те литераторы, которые сделали свой вклад в сокровищницу нашей словесности, но недостойны войти в Храм; ни сами они, ни гробы их, ни произведения их, ибо они преступили главный закон русской литературы — закон правдивости, священных идеалов и гуманности. В произведениях своих и в жизни своей. И умерли они, не покаявшись, ибо, предав человечность и истину публично, столь же публично следует и каяться, а не продолжать получать дивиденды за грехи. Но если они создали прекрасное, они составляют часть пейзажа нашего Храма, а надгробиями им служат их произведения — то, что удалось, потому что этим авторам удалось не всё.

В этом садике поют соловьи, пахнут цветы и шелестит трава. И тот, кто сам не без греха (и к тому же не умеет писать так, как они), глядишь, положит букетик на могилу.

Первый из ряда этих «проклятых поэтов» (хотя Бодлер имел в виду изгоев и бунтарей, а не конформистов и приспособленцев) — Максим Горький. О нем в «Казанском университете» Евтушенко написал: «и пекаря чудного одного так пончиками с сахаром придавишь, что после Горьким сделаешь его».

Конечно, Горький с Грином были самыми бедными и самыми бродячими из русских писателей, успевших пожить до роковой черты 25 октября 1917 года.

Куприн все-таки больше путешествовал и странствовал, чем бродяжил; скорее, изучал нравы и собирал материал, чем искал кусок хлеба. И все-таки был в нем дворянский стержень, чувствовалась порода, и хотя искус в кадетском корпусе был тяжел, а офицерство его не увлекало, но хорошие дни в юнкерском училище были подспорьем и сладостным воспоминанием, к тому же мать его любила, и он ее любил, а бедность офицера — это не совсем то, что бедность нищего бродяги. В детстве

и юности он жил на всем готовом, и мать иногда что-то подбрасывала по мелочам. Туго ему пришлось, когда он ушел из полка, но этот голодный период продолжался недолго, и все-таки он был уже сложившимся человеком к тому времени, даже печатался еще в погонах.

У Горького и Грина была куда более страшная жизнь, и началось это рано. Но Грин все-таки учился в реальном училище, потом окончил городское. Его любила мать, хоть она и рано умерла. Его любил и очень долго — понемногу, по мере сил — поддерживал отец: было куда вернуться и забиться, был какой-то угол. И его муки, его нужда начались все-таки с 16 лет. К тому же у него был сказочный, лучезарный талант. Поэтому он смог вырваться из тенет эсеров. А когда он оказался в Феодосии и Старом Крыме почти без средств, он уже был Мастером, и чудо искусства поддерживало его. У маленького же Алексея Пешкова всё было куда беспросветнее, а талант его был очень скромным, и, даже будучи допущенным в Храм, он мог бы предложить только несколько мраморных плит или капитель колонны.

Родился Алеша (Максимом он станет в память об отце, Максиме Савватеевиче Пешкове, управляющем астраханской конторой маленького пароходства) в Нижнем Новгороде 28 марта 1868 года. Главой семьи был властный, ехидный и жестокий дед, Василий Каширин, зажиточный купец, старшина городского красильного цеха. Его почти всегда выбирали в городскую думу, и был он страшный обскурант и реакционер. Он, может, и любил внука, учил его читать, в том числе и по-церковнославянски, но и сёк его до полусмерти за сущие пустяки, и именно он скажет сироте, 11-летнему Алексею: «Ты, Лексей, не медаль, на шее у меня тебе не место. Иди-ка ты “в люди”». Правда, к тому времени он уже разорится и почти сойдет с ума.

Летом 1871 года отец Алексея умрет от холеры, заразившись от сына, которого все-таки выходил. Отец любил мальчика, но умер так рано, что Алеша его не помнил. С тех пор мать, Варвара Каширина, возненавидела сына и отдала его деду с бабкой. А сама вышла за офицера, который ее бил, к тому же ногами. Она умрет от скоротечной чахотки в 1879 году. Пожалуй, кроме бабушки

(своего рода Арины Родионовны, тоже сказительницы), у мальчика не было ни одной родной души. Но бабушка была очень бедна, и с 11 лет ребенок должен был зарабатывать себе на пропитание. В училище его отдали семи лет, но он проучился недолго: заболел оспой. Всё, что он знал, было добыто самообразованием.

«В людях» Алеше не везло. Отдали в учение к сапожнику — и обварили руки кипятком из самовара (так в пьесе «На дне» Василиса потом обварит Наташу). Пошел в учение к чертежнику — и хозяйка побила лучиной: пришлось доставать занозы из вспухшей спины на операционном столе. В иконописной мастерской он растирал краски и яичные желтки. Здесь тоже били и не давали выпастся (рассказ «Встряска», пронзительно-печальный и человечный, 1897—1899, его «болдинские» годы, когда были написаны немногие удачные рассказы Горького). Да и рассказ «Сирота» о горе малыша, лишившегося бабушки, единственного родного человека, того же периода. Только Алеше было хуже: его бабушка не могла оставить денег на воспитание внука священнику. Лучше всего было ему, когда он плавал на пароходе поваренком. Повар пригрел его, пожалел и, хоть был сам малограмотен, давал мальчику книги и хорошо кормил. Пароход и назывался «Добрый». И такая жизнь длилась пять лет. Алеша читает всё подряд и мечтает о Казанском университете.

В 1884 году, в 16 лет, он пытается поступить в университет. Но латынь! Но греческий! Но деньги, чтобы себя содержать! Однако на подростка положили свой черный глаз эсдеки. Начинаются странствия по гимназическим и студенческим подпольным кружкам, где ему всучили «Капитал», Лаврова, Чернышевского, но ничем не помогли в жизни. И опять пошла черная работа: садовник, пекарь (вот она, ненависть к кренделям из «Двадцати шести и одной», вот они, хлебы из «Коновалова»), дворник, театральный хорист. От отчаяния и тяжелой нужды в 1887 году 19-летний Алексей пытается застрелиться, но остается в живых. Революционеры любили прибираться к рукам униженных, оскорбленных и голодных. Они крепко забирают Алексея в свои длинные руки. А он уже и на рыбных промыслах, и на соляных побывал. Бродяга

поневоле, да еще «неблагонадежный». Образованный, грамотный «босьяк». Полиция этого не любила. В 1888 году Алексей связался с народовольцами и какой-то революционный бред проповедовал на селе. Осенью 1889 года он находит работу у адвоката А.И.Ланина, тот учит юношу, приобщает его к культуре. И опять эти революционные черты связываются с младенцем! В октябре его арестовывают по делу революционера Сомова и заключают на месяц в тюрьму. Но в 1890 году он сделает ценное знакомство: сойдется коротко с В.Г.Короленко. Короленко любил народ, ценил «самородков» (self-made men) и стал помогать юноше, который ему показал поэму «Песнь старого дуба» (ужас что такое).

Однако Алексей опять ушел бродяжничать; добредает до Тифлиса, находит там ссыльных, по их протекции печатает в тифлисской газете «Кавказ» свой первый слабенький рассказ «Макар Чудра». Это сентябрь 1892 года, ему исполнилось 24 года. Вот здесь-то появляется псевдоним Максим Горький. Алексей опять служит письмоводителем у адвоката Ланина и с помощью Короленко печатает свои рассказы. Короленко правит их, но улучшить не может. В 1893–1895 годах немало рассказов выйdet в приволжской прессе: «Челкаш», «Мечь», один хуже другого. Но хуже всех, конечно, ходульная и напыщенная «Песня о Соколе» и кошмарная «Старуха Изергиль». Ужас нескольких поколений школяров, пошлости и благоглупости типа: «Рожденный ползать летать не может!», «Безумству храбрых поем мы песню!», «В жизни всегда есть место подвигу!», «О, счастье битвы!» В этих дешевых агитках очень много идеологии и очень мало искусства.

Идеология Горькому вредила: начиная проповедовать, он становился нестерпимо бездарен. Впрочем, идеология вредит всем художникам и делает их то ли парторгами, то ли бесноватыми. Но восторженная интеллигенция конца XIX века была от таких штук без ума. Они искали неприятностей на свою задницу и нашли их в таком изобилии, в каком и не искали. Попытка соскочить с земли, оказывается, ведет-то не в небо, а в ад. Соколы и Горький, с детства травмированный жизненной борьбой, которую он принял за классовую, обманули бедных

ужей и увлекли туда, где нет дороги ни ужам, ни ежам, ни пингвинам, ни гагарам, ни чайкам, ни... человеку.

В 1895 году Горький находит верный кусок хлеба с маслом: становится фельетонистом «Самарской газеты». Здесь он встречает скромную, образованную девушку Катю — Екатерину Павловну Волжину, которая служит корректором в редакции. Через год они поженятся. Катя боготворит молодого писателя и всячески ободряет его. Сиделка, няня, наперсница, переписчица, записная книжка, экономка — вот ее роль. В 1897 году Горький с женой перебираются в Нижний, в газету «Нижегородский листок». Но здесь у Горького, надорвавшегося и наголодавшегося с детства, обостряется чахотка, тоже классовая болезнь. Горькие едут в Крым, потом под Полтаву. В этом же году Горький становится отцом: у Кати родился сын Максим. В 1898 году выходит первый сборник рассказов и очерков Горького сразу в двух томах. А через год (публика всё проглотила) уже появляется его переиздание в трех томах. Наконец-то у Горького есть деньги, есть хорошенькая квартирка, он может прилично одеться. Но Горький — ранний знаток пиара и саморекламы, он не может надеть обычный костюм. Сапоги, заправленные в них брюки (то ли охотник, то ли путешественник), косоворотка (иногда шелковая) и главное — шляпа, черная широкополая шляпа — вот его стиль. Горький делается законодателем моды: все вольнодумцы надевают такие шляпы, все революционные демократы, а в России таких полно; надеть шляпу ведь куда легче, чем идти на баррикады. (Эх, если бы российская интеллигенция ограничилась шляпами и красными бантами, как сегодня студенты Запада ограничиваются марихуаной, а также ликом Че в берете на майках и сумках!) Если бы у Горького был агент по рекламе, писатель содрал бы со шляпников кругленькую сумму!

И именно в эти годы, с 1897-го по 1900-й, благодаря чахотке, сыну, путешествиям не пешком Горький забывает об идеологии, о революционном долге, о борьбе и начинает очень прилично писать, без оргвыводов и выданных из груди сердец. Лучший его рассказ — это, конечно, «Бывшие люди». Но здесь появляется целое ожерелье: «Коновалов», «Болесь», «Озорник», «Супруги Орловы»,

«Скуки ради», «В степи», «Проходимец», «Хороший Ванькин день», «Встряска», «Дружки», «Каин и Артем», «На базаре», «Голодные», «Сирота», «В сочельник». По сравнению с изысканно-кружевными, утонченно-психологическими повестями и новеллами Чехова (и тем паче Бунина, ведь у них обоих есть контрапункт и «юген» — почти японское искусство недосказанного) рассказы Горького ярки, тяжелы, они бесшабашно-отчаянные, не вышиты, а выбиты на скале, как рисунки неолита, и ведут за собой новых «героев»: воров, бродяг, арестантов, проституток, мошенников и авантюристов, «золоторотцев», запойных алкоголиков. И он знает их не со стороны: Горький слишком близко к ним подошел. И его рассказы вполне в русле человечности, тоски и тихой печали русской классики. Оказывается, там, «на дне», тоже люди, их надо пожалеть, они страдают.

Здесь, в эти три-четыре года, Горький не марксист, а христианин. Поэтому рассказы этих трех лет и «Карамора» (рассказ 1924 г.), «Несвоевременные мысли» и первый том «Клима Самгина» послужат ему надгробием в нашем ландшафтном палисаднике. Он нежно заступает за евреев («Каин и Артем»), он жалеет, как близких и родных, голодающих после недорода, он оплакивает всех: беспризорных, сирот, неудачников, воров, босяков, маленьких учеников у мастера. Хотя сам же признает, что многие несчастны по своей вине и угодили на дно по слабости и безволию; никто же не заставлял спиваться ни пекаря Коновалова, ни сапожника Орлова, ни ротмистра Кувалду и его друга учителя из «Бывших людей». Горький не призывает к мести, к революции, к террору: он сострадает. О своих рассказах лучше всего сказал он сам в «Коновалове»: «Каждый рассказ являлся перед нами кружевом, в котором преобладали черные нити — это была правда, и встречались нити ярких цветов — ложь. Такое кружево падало на мозг и сердце и больно давило и то и другое, сжимая его своим жестким, мучительно разнообразным рисунком».

И вот в 31 год Горький становится и читаемым, и почитаемым писателем. К нему благосклонны и Чехов, и Репин, и сам Лев Толстой, и Шалапин, и Бунин, и Куприн, и даже мистик Леонид Андреев. Но он их плохо

отблагодарил. «Болдинский» период закончился, Горький вспомнил про классовую борьбу и в этом же 1899 году пишет плохой, примитивный и дидактический роман «Фома Гордеев». Романы вообще ему не даются, он новеллист, не тянет он на романы. Чехов и Куприн, Бунин и Гаршин знали это про себя и романов не писали. А Горький упорно «катал» романы. Он не понимал ничего в своем собственном литературном творчестве — сказывалось отсутствие подготовки.

Кстати, пути Горького и Грина заочно сошлись в тот день, когда будущий гений и сегодняшний бродяга прочел Горького и одобрил и тематику, и образ жизни героев Алексея Максимовича, гостя у старого учителя. И тот заплакал о нем.

Слава Горького росла и была неадекватна его таланту. По-моему, писатели, интеллигенты, режиссеры и иностранные критики были под «эффектом Раскольников», который в ноги поклонился Сонечке Мармеладовой не потому, что одобрял проституцию, а потому, что в ее образе «всему человеческому страданию поклонился». Так и здесь: Горький был из народа, обожаемого, страждущего народа, он знал народ и принес о нем весть, на нем лежал отблеск грядущего огня адской Смуты, ошибочно принимаемый за свет путеводной звезды или скаутского костра. Из него сотворили кумира и охотно читали дальше любую белиберду, лишь бы ее запрещала цензура и лишь бы она была направлена против самодержавия. Чаяния публики и игры интеллигенции с огнем окончательно испортили писателя. А тут он еще знакомится в 1900 году с шалой аристократкой, актрисой МХТ Марией Федоровной Андреевой, которая вбила себе в свою красивую пустую головку марксизм (как впоследствии Инесса Арманд). Она влюбляется в Горького и тоже портит его своими восторгами. И вот он возвращается к «деятельности», бросая свое писательское дело. В 1910 году, в марте, он участвует в «несанкционированном митинге» у Казанского собора. Митинг и борьба за гражданские права — это нужно, это хорошо. Митинг был студенческий. Но увы! И там не обошлось без социального протеста и лозунга «Долой самодержавие!». Горького арестовали в Нижнем Новгороде

в апреле и обвинили еще и в приобретении мимеографа для печатания воззваний к сормовским рабочим. Однако великодушные жандармы через месяц отпускают его под домашний арест, а потом выселяют в Арзамас.

Арест, хоть и недолгий, очень повредил творчеству Горького. Он пишет уже не просто бездарный, а вредный памфлет «Песня о Буревестнике». Всё, что нужно воспаленному общественному сознанию (а тормоза отказали и у писателя, и у его поклонников). Всё здесь есть: и тучи, и робкие гагары, и испуганные чайки, и жирный пингвин (то ли мещане, то ли филистеры, то ли верноподданные). Один Буревестник вопит: «Пусть сильнее грянет буря!» Через много лет великий писатель Фазиль Искандер в «Кроliках и удавах», диссидентско-либеральном манифесте, скажет, что буревестники всегда кончают тем, что становятся горевестниками. Но общество в восторге, а цензура всегда дура: из-за горьковской чуши закрывают журнал «Жизнь», после чего памфлет расходится во всех губерниях в листовках и списках. Ведь даже из безобидного «Коновалова» цензура выкинула те места, где Алексей Пешков читает пекарю роман о Стеньке Разине.

А дальше — пошло-поехало. В 1902 году в МХТ были поставлены две очень слабые пьесы: «На дне» и «Мещане». Цензура и жандармы «сделали» Горькому «биографию». Это ново, это оригинально. Читать и смотреть Горького становится престижно. Читатели и зрители чувствуют себя инсургентами, причем задарма, без риска, а это очень приятно. Поэтому пьесы идут с триумфом, а Горького в 1902 году избирают почетным академиком по разряду изящной (!) словесности. И тут Николай II делает такую же потрясающую глупость, как в случае с анафемствованием Толстого (без монарха Синод бы на это не пошел) и с запретом лекций о Льве Николаевиче в гимназиях и университетах. Результаты выборов аннулированы! Тут же от своих званий отказываются и Короленко, и Чехов, а слава Горького взлетает до небес; «Мещан» ставят в Вене и Берлине, а в 1903 году выходит шеститомник Горького и выдерживает пять изданий. Теперь уже Горький входит в моду и в Европе. Он — визитная карточка бурлящей страны и грядущей Смуты.

Хорошо только одно: Горький не озлобился, он так и будет до 1928 года искать «революцию с человеческим лицом», пока не попадет в 1929 году к ней в зубы, на чем поиски прекратятся. Скромная, верная жена, подруга его бедных и безвестных дней, уже не годится для мировой славы Буревестника, модного писателя, кумира ошалевшей толпы. Он бесчеловечно бросает Катю, и в 1904 году Андреева становится его гражданской женой.

Накануне 9 января Горький с группой интеллигентов посещает С.Ю.Витте, чтобы предупредить кровопролитие. Но ведь не Витте же отдал приказ стрелять, а какой-то дурак-силовик. После расстрела демонстрации Горький пускается во все тяжкие: связывается с социал-демократами, пишет прокламацию, обвиняя царя в убийстве, и призывает всех граждан срочно бороться с самодержавием. А режим продолжает «делать ему биографию»: полтора месяца Петропавловской крепости Горький заработал. Но он уже табу: манифестации протеста идут не только в России, но и в Европе. Приходится выпускать. В крепости Горький пишет очередную муру — «Детей Солнца».

Выйдя в октябре 1905 года, он заводит в Питере газету «Новая жизнь» (идейный вдохновитель и настоящий руководитель — сам господин Ульянов-Ленин; Горький докатился-таки до формального с ним знакомства, а Ленину ли было не знать, как полезны модные литераторы). Конечно, Горький не мог не поучаствовать в декабрьском мятеже: ходил вокруг баррикад и собирал деньги на оружие. В декабре 1906 года он выступил с совершенно безумной (в духе соколов и буревестников) речью на митинге в Гельсингфорсе и затем сразу уехал из России, предчувствуя, что еще несколько дней, и он опять угодит в крепость, а мировая общественность на этот раз будет бессильна: в России наступили жесткие времена, и буревестников сажали в надежные клетки. И вот здесь выяснилось самое неприятное: слава и деньги, бабы и комфорт избаловали пролетарского писателя, он больше не хотел умирать за «правое» (то есть левое) дело, но предпочитал посылать на смерть других, избрав для себя роль «зажигателя» на политических дискотеках. Конечно, где уж здесь было что путное написать.

Алексей Максимович едет в Америку, митингует с требованием поддержать русскую революцию (акулы Уолл-стрит, слава богу, не дали ничего, у них своего Саввы Морозова не было). Заодно Горький нахамил спасавшим его из тюрьмы французам за то, что они дали заем царскому правительству (памфлет «Прекрасная Франция»). Он пишет бездарную, ходульную агитку «Мать» (хлеб для юмористов на век вперед). Этот кошмар он допишет в 1907 году, а в 1906-м состряпает две слабенькие пьесы — «Варвары» и «Враги». В мае 1907 года Горького занесет аж на Лондонский съезд РСДРП (делегат с совещательным голосом). Еще одна порция неумеренных похвал и подначек. В 1908 году он начинает переписку с Лениным и переписывается с ним аж до 1913 года. Горький стоит на своем: революция с человеческим лицом, а Ленин старается его не очень отпугивать.

И живет Буревестник на Капри. И для чахотки полезно, и красиво, и тепло. Деньги пока есть. Правда, переписываясь с дьяволом, трудно получать вдохновение от Бога, хотя бы даже от Аполлона и муз. За эти семь лет Горький ничего стоящего не напишет. Заклеймит капитализм в «Вассе Железновой» (а на Капри, уж конечно, полный социализм — для богатеньких пролетарских писателей). Кстати, о судьбе горьковской «Прекрасной Дамы». Из марксисток редко выходят милые женщины, всё больше комиссарши. И поэтому пассию Горького, несмотря на ее услуги и бешеную энергию, мало ценили (талант-то был невелик) Станиславский и Немирович-Данченко и заменили ее Ольгой Книппер-Чеховой. Она была легкомысленна, но хоть не революционерка. Андреева из МХТ уйдет. Скорее всего на ее совести — смерть Саввы Морозова от руки Красина, а сыграла она роль наводчицы. Ведь когда Морозов разобрался в большевиках и отказался давать деньги, она добилась страховки на свое имя. Убить для большевиков было — раз плюнуть, и, получив крупную сумму, роковая красавица отдала всё им. Но вот ей минет 51 год, и Горький ее хладнокровно бросит, заменив юной Марией Игнатьевной Будберг. И останется она у разбитого корыта, ненужная уже и советской власти.

А в 1913 году, после политической амнистии, Горький возвращается в Россию, поселяется в Финляндии, пишет роман «Детство», в 1915 году — «В людях». Не очень интересно, заурядно, но хоть правдиво. Заодно издается журнал «Летопись» — антивоенный, в духе пролетарского интернационализма. Кстати, Горький одно время искал Бога (не там, где он был) в плохой компании Луначарского и Богданова (искавшего, правда, не Бога, а смысл жизни). И Ленин ему всё прощал.

Но вот и роковая черта 1917-го, проведенная через многие судьбы. И здесь Горький опомнился и в «Новой жизни», которой дадут жить только восемь месяцев при «новой власти», до середины июня 1918 года, стал писать против большевиков. Потом, в том же 1918 году, из статей будет сделана книга «Несвоевременные мысли». Он возражает большевикам как «свой», но очень резко. И если бы не Ленин, сгинул бы он в ВЧК. Вот что он пишет в марте, обращаясь к морякам, этим нашим «вязальщикам гильотины»: «За каждую нашу голову мы возьмем по сотне голов буржуазии. Самооценка русского человека повышается! Но для меня — как, вероятно, и для всех, еще не окончательно обезумевших людей, — грозное заявление моряков является не криком справедливости, а диким ревом разнузданных и трусливых зверей». А вот что он говорит в одной из последних (и понятно, почему последних) статей: «Всё то, что я говорил о дикой грубости, о жестокости большевиков, восходящей до садизма, о некультурности их, о незнании ими психологии русского народа, о том, что они производят над народом отвратительный опыт и уничтожают рабочий класс, — всё это и многое другое, сказанное мною о большевизме остается в полной силе».

Более того, Горький яростно заступает за гонимых поэтов и писателей (в его Доме искусств комнату имели и Грин, и Гумилев). Он не даст умереть с голоду ни Грину, ни Блоку, он будет добывать лекарства и пайки, давать работу в своем издательстве «Всемирная литература». Его брошенная жена с ведома мужа станет активной деятельницей Политического Красного Креста. Он будет спасать кого сможет (из интеллигентов) из лап ВЧК. Он спас бы и Гумилева, если бы тот согласился отречься, солгать.

Пусть это всё зачтется ему Там, где взвешивают все наши грехи и добрые дела. В 1921 году Ленин выпихнет его из страны якобы лечиться, а на самом деле — чтобы спасти от ареста и расстрела. Еще тод-другой — и больной, отстраненный от дел Ленин уже ничем не смог бы помочь. Он ведь и Мартову организует отъезд. Горький и Мартов — старые друзья. Хоть их он пожалел.

В 1921—1922 годах Горький в Германии пишет статьи против большевиков («Русская жестокость», например, или «Интеллигенция и революция»). В 1923 году он пишет «Мои университеты». Правдиво, но серо. А в 1925 году он переезжает в Сорренто и начинает писать своего «Клима Самгина». Бог возвращает ему дар за смелость и добрые дела. Первый том вообще талантлив, а сцена гибели маленького Бориса в проруби — это очень сильно, на мировом уровне. Есть хорошие места и в других томах. Всё губят занудство и длинноты. Вот если бы объединить все тома в один!

А потом — катастрофа. Кончаются деньги, нет славы, никому он за границей не нужен. А из СССР идут такие авансы! Ему 60 лет, и в 1928 году он совершает поездку в СССР. Какие восторги, какие ласки! Какая еда! И тон статей меняется, он уже защищает от нападок Страну Советов. 20 июня 1929 года он совершает преступление против совести: едет на Соловки с «ин-спекцией». Конечно, ему ничего не покажут, но 14-летний мальчик из детского барака расскажет ему всё про ужасы, казни и пытки СЛОНа. Горький выйдет, залитый слезами, и... оставит в книге отзывов хвалебную запись, и мальчика с собой не заберет (а его расстреляют после отплытия горьковского парохода). Вернется в Европу — и промолчит.

А в 1931 году он переезжает в СССР, и мышеловка с бесплатным сыром захлопывается за ним. Будет имение под Москвой, городской особняк, свежая клубника зимой, не будет только свободы — ни для него, ни для Максима. Домашний арест и челядь из чекистов.

И он покорно поедет в августе 1933 года на Беломорканал в компании 120 трусливых совписов и составит в 1934 году дикую, лживую книгу, восславившую рабский труд, и 36 трусов поставят под названием свои имена

(84 человека окажутся поумнее и уклонятся). А среди 36-ти будут и М.Зощенко, и В.Катаев, и А.Н.Толстой.

В 1934 году Горький — свадебный председатель I Всесоюзного съезда совписов. И всё — большевики и Сталин выжали его досуха. В мае 1934-го НКВД уберет Максима (наверное, сказал что-то лишнее или хотел бежать). А 18 июня 1936 года Максим Горький умер в Горках. Его тоже отравили, он не должен был дожить до Больших Процессов 1937–1938 годов.

Он призывал бурю, и эта буря лишила его сына, чести, доброго имени и таланта (с 1928 года он ничего не написал). А потом добила его. Что ж! Гагары, пингвины, чайки, ужи и другие здравомыслящие жители земли, моря и ближних небес предупреждали его о последствиях.

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

Им не довелось вращаться в обществе, у них всё вышло по Блоку: «На Земле не узнаешь награды». Грин, Куприн, Хлебников — любимые пасынки матери России, которая рано вытолкала их из теплого уюта в холодную жизнь, дала пройти тягостные, но поучительные «университеты» и сделала их большими писателями, а Александра Грина — даже великим. Нищенская жизнь не превратила в нищенское его творчество. Ни один король не имел такого роскошного королевства, как этот бродяга и босяк. Создатель и король Гринландии, владелец богатых южных городов Гель-Гью, Лисса, Зурбагана, Сан-Риоля, Покета, хозяин волшебного замка из «Золотой цепи», шхуны «Секрет» и корабля «Бегущая по волнам», он купался в богатстве и наслаждался весельем и умом своих героев. Он, как никто в нашем Храме, да и во всем огромном Граде мировой литературы, укладывался, как в автобиографию, как в заглавие, в пророческие стихи великого поэта XV века Франсуа Вийона: «Не вижу я, кто бродит под окном, но звезды в небе ясно различаю. Я ночью бодр, а сплю я только днем. Я по земле с опаскою ступаю, не вехам, а туману доверяю. Глухой меня услышит и поймет. Я знаю, что полыни горше мед... Израя я уйду, в аду побуду. Отчаянье мне веру придает. Я всеми принят, изгнан отовсюду».

Родился же Александр Степанович Гриневский, наполовину поляк, будущий Грин, в страшной дыре — городе Слободской Вятской губернии. Отец его, бывший романтик и инсургент, поляк Стефан Гриневский, сосланный навечно за то, что шестнадцатилетним юношей участвовал в национальном восстании 1863 года, к моменту рождения сына, к 1880 году, уже был затюканной и жалкой «канцелярской крысой». В Слободском служил конторщиком на пивоваренном заводе, потом в Вятке стал работать бухгалтером в земской больнице. Он еле перебивался, жил в нужде и без всякой мечты или надежды думал

только о хлебе насущном, о плате за квартиру, о долгах. С горя пил, и чем дальше, тем больше. В 1893 году его жена, мать Грина, умерла от чахотки и непосильной домашней работы. У Александра остались две сестры и брат. Отец взял мачеху, вдову псаломщика. У нее тоже был сынишка, и еще один ребенок появился после второго брака. Шесть детей и грошовое жалованье! Это называлось «многосемейность». Выполнение демографической программы бедными людьми уже тогда было чревато горькой нищетой. Но отец как-никак был дворянин, старался вывести детей «в люди». Сашу определили в реальное училище (что-то вроде физматшколы наших дней; гимназии были для гуманитариев), сестры учились в прогимназии. Немалый чин, хорошая квартира, уважение общества, достаток — вот чего хотел для сына шестидесятник-отец. «Труд на благо общества и помощь старику отцу». Но без фокусов, без фантазий, без Сибири и каторги. Годы сделали из инсургента Гриневского смиренного обывателя. Укатали сивку крутые горки.

И вот надо же было случиться тому, что инсургент против Российской империи породил инсургента против обыденной жизни. Очень способный ко всяческой словесности, Саша был по остальным предметам хроническим троечником и двоечником. Задачи решал счетовод-отец, но по другим предметам прикрыть было некому.

С книгами Александру повезло: от погибшего на войне дяди, подполковника Гриневского, осталось три сундука книг. Восьмилетний вундеркинд перечитал всю русскую классику, но она не сулила избавления от отчаяния и тоски; та же убогая реальная жизнь смотрела на него со страниц Чехова и Достоевского. Зато он нашел желанный оазис в книгах Густава Эмара, Майн Рида, Генри Райдера Хаггарда, Жюль Верна, Киплинга и Фенимора Купера. Дикие чащи, сказочные пейзажи, опасности, неприступные горы, огромные цветы, незнакомые плоды, стрелы, туземцы, прекрасные дикарки (или испанки, или контрабандистки), приключения и клады, а главное — битва между злодеями и сильными и смелыми путешественниками. В этом мире все капитаны были пятнадцатилетними, как Санди из «Золотой цепи». И там звучал любимый гриновский пароль: «крик-песня-шепот: "Тайна-очарование"!» А в девять лет отец купил Саше

за рубль дешевенькое шомпольное ружье. И мальчик стал пропадать в лесу, стреляя и в дятлов, и в галок, и в куликов, и в дроздов. Всю его добычу ему дома жарили, и он съедал и дроздов, и галок. Читал Саша запоем (кстати, первое прочтенное им слово было «море»), удил рыбу, охотился, собирал коллекции птичьих яиц и бабочек. Ему хотелось жить в бревенчатом доме в лесу: шкуры зверей на кровати, ружья и рыболовные снасти на стенах, полки книг, в кладовой — медвежьи окорока, мешки с кофе, маисом и пеммиканом. Еще, конечно, по возможности медведи, индейцы, золото и тропа через Белое Безмолвие. Зимы в Вятке были совсем клондайкские, джек-лондоновские, хотя сам Джек Лондон еще не был великим писателем, а скитался голодным подростком по всему американскому северу.

Мачехе, кстати, пасынок не нравился. Он был слишком умный, слишком странный — и явный looser, не добытчик, который не мог ничего принести в семью. Мальчика шпыняли и наказывали постоянно: ставили в угол, лишали обеда, били. В училище тоже ставили в угол и оставляли без обеда. А тут еще Саша написал сатиру на учителей на сюжет из «Жизни насекомых». Его исключили, и бедняжка даже собрался бежать в Америку, но дальше ближайшего леса не ушел. Дома был страшный скандал — с побоями, руганью. И ведь ребенка не простили, хотя он и ревел, и просил прощения у своих преподавателей. Самый невинный нонконформизм (тем паче у сына бедняка) карался косной Вяткой изгнанием.

Пришлось доучиваться в тогдашнем ПТУ: четырехклассном городском училище. Но и оттуда Александр едва не вылетел: не снес унижения, кинул в учителя жареным рябчиком, принесенным на завтрак. Александр признается, что мог бы, учась, подрабатывать переплетным делом и добывать по 15–20 рублей в месяц, но уж очень плохи были его переплеты. Мальчик не выносил рутины, работы только ради куска хлеба, будничного прозябания. Он хотел поехать учиться в Одессу, в мореходные классы. Диплома училища было как раз достаточно. В 16 лет беспомощный романтик покидает дом, получив на дорогу (с вычетом денег на билет) 25 рублей, чайник, харчи, чай с сахаром и подушку с одеялом, немного белья и парусиновый костюм. У отца

нет больше средств. А ведь они еще не знают, что для мореходных классов нужен стаж плавания учеником или матросом, что матросом в 16 лет вряд ли возьмут, а ученики плавают бесплатно, даже платя за свои харчи 8—10 рублей в месяц.

Александр был, конечно, в восторге от плавания до Казани и путешествия поездом до Одессы, ведь он так мало видел в своей Вятке. Он покупает (впервые в жизни свободно, сам) всякую немудреную снедь на пристанях, (в первый раз в жизни) накупил себе апельсинов и стрелял в тире. Скоро Саша остался без гроша. Да, его поразила Одесса: ананасы, кокосовые орехи, слоновая кость и морские раковины в магазинах, сверкание моря, корабли. Знакомится он с учениками и матросами. И здесь полное несовпадение: эти «морские волки» все оказываются мещанами и прозаиками и думают о жалованье, о пайке и дешевизне арбузов. Грину же грезилась пираты, морские дали, дикие земли и бегающие по волнам девушки. Моряки считали его слабаком, психом и бездельником. Впрочем, все считали его бездельником, пока не открылся его великий литературный дар — единственное дело его жизни, обещавшее грандиозный успех. Как всегда, успех разминулся с художником. То же было и у Ван Гога, и у Модильяни, и у Пиросмани. Сейчас есть всё: собрания сочинений, экранизации, хвалебные рецензии, музеи. При жизни же не было ничего. «Он жизнь любил не скупю, как видно по всему, но не хватило супа на всей земле ему». Эти слова Окуджавы о Пиросмани и к Грину можно приложить, и ко всем художникам мира, умершим голодными, от Лорки до Шаламова.

Мальчик научился плавать и едва не утонул. Не умереть с голоду помогли случайный попутчик, бухгалтер Хохлов, и его помощник Кондратьев. Один поселил Грина в хлебном месте: в бордингаузе — береговой команде для отставших от рейса матросов. Кормили мальчика неплохо и даже башмаки выдали. А Кондратьев потом, когда Хохлов Александра выгонит, пристроит его на таможне. Грину удастся даже сделать два рейса «плавания»: вокруг Крыма и Кавказского побережья на «Платоне» и в Херсон на «дубке» с черепицей. «Дубок»

гордо назывался «Святой Николай». Отец сжалился, прислал 10 рублей телеграфом: заплатить за «Платон». Но на второй «заход» (вернее, «заплыв») денег уже не хватило, отец прислал только три рубля. Работа на «Платоне» была тяжелая и прозаическая — никаких далей и морских приключений. Перевозили портвейн, овец, муку. А на «Святом Николае» с его черепицей было и того хуже, пришлось еще и поваром работать. А хозяева денег не заплатили, вычли всё жалованье за разбитую черепицу. И наконец, верх удачи: рейс в Александрию на хорошем пароходе. Но ни львов, ни Сахары Грин не увидел. Провалился в грязный арык, посидел на грязной улице. И еще в него плюнул грязный верблюд. А на обратном пути его вообще с работы сняли, и он провел всё это время ничего не делая, в качестве пассажира (правда, кормили исправно). Он такое выкинул! Капитан пленился мастерской греблей английских моряков и решил научить тому же своих матросов. Наш Грин счел это занятие бессмысленным, высмеивал капитана и даже бросил весла. Великое дело кровь! Польская бунтарская кровь... Однако ночлежки и «обжорки» — вот где можно было встретить будущего великого писателя.

Подходящее место для Горького, исследователя социального дна, и совсем неподходящее — для создателя русского «фэнтези», мечтателя и поэта. Жизнь не просто была неласкова с ним — она наехала на него, как студебеккер. Пришлось и побираться у матросов на судах, стоящих в гавани, и просить у прохожих, и ночевать в порту. Для тяжелой физической работы у худенького юноши не было сил. А морское дело он так и не изучил: ни карту, ни компас, ни секстант, ни машинное отделение, ни даже морские узлы. Его герой, юнга Грей, оказался куда проворнее и стал «из щенка — капитаном». Беда Грина была в том, что он не мог уплыть иначе, чем его Ассоль. Ему нужна была шхуна с алыми парусами. А она не пришла. И не нашелся Орт Галеран, чтобы помочь в жизни бедному талантливому юноше, не было мецената Футроза, чтобы взять его за крылышки и пустить гулять по глобусу. Хуже, чем в «Дороге в никуда». Гриновская дорога оказалась без всяких «пикников на обочине».

Совсем оголодав и отчаявшись, юноша решил вернуться домой. Все-таки отец у него был неплохой. Упитанного тельца не заколол, но накормил, дал приют. И так будет много раз. Грин будет возвращаться, отогреваться в семье и уходить. А отец будет давать на дорогу то пятерку, то трешку, платить за комнату, подыскивать какие-то халтуры в своей больнице.

Еще год Грин проведет в Баку. И сам потом напишет об этом годе: «мрак и ужас», «отчаянно тяжелый год». Удалось было поработать у рыбаков на промыслах, но свалила малярия. На нефтепромыслах юноша не выдюжил. Рваный, больной, голодный, он просил подаяния, красил мельницу, помогал кузнецу. И опять — в Вятку, к отцу. А там — отчаянные попытки прокормиться. И у присяжного поверенного иски переписывал, и роли в театре.

И вот очередной проект. Пешком на прииски, на Урал. Но это была совсем не Аляска. Ни риска, ни романтики, ни волков, ни состояния, вырытого из ямы. Всё заорганизовано, всё от конторы. Крутишь ворот — сдаешь золотишко. Оно не твое, а от казны. На Клондайке Грин был бы на своем месте, хотя физически бы не потянул. А вот на этом прииске совхозного типа ему было неинтересно. В бараках (опять-таки коммуналка!) валялись лодыри, шел картеж. И Грин тоже работал на хлеб, чай и табак. Набирал у всех сытинских книг и читал запоем, потом ушел на лесосплав, кое-что заработал, но не золотые горы. Было скучно и тяжело для мыслящего человека. А ведь грезились ему индейцы и медведи. Медведь, правда, был. Такой сговорчивый Миша. Вроде бригадира. Напарник, алкаш Илья, Грину объяснял, что медведи бросаются на тех, кто без дела, а кто дерево пилит, тех не трогают. Так это и получилось: Грин усердно пилил, и Миша ушел. Но потом начинается серия настоящих приключений.

В 1902 году Грин идет вольноопределяющимся в армию. Этот нонконформист, поэт, бунтарь! Его хватило на четыре месяца, и армию он возненавидел на всю жизнь. Ранец, артикулы, ружья, фельдфебели, дисциплина, униженное положение «нижнего чина» — как раз для потомка инсургента! Шляхетская гордость взыграла в нем, «униженном и оскорбленном». Он на какое-то время действительно делается врагом государства.

Его солдаты: Гарт, Батль, Соткин — бегут из казарм, часто ценой жизни, чтоб умереть на зеленой траве. Конечно, неудачника Гринецкого застукали и посадили под арест на три месяца на хлеб и воду. Но вокруг Оровайского пехотного батальона ходили пропагаторы-эсеры, ища, кого бы сагитировать. Грина и агитировать не надо было, он знал ценность свободы. Он пал в объятия эсера-вольноопределяющегося А.И.Студенцова, получил фальшивый документ и был переправлен в Киев, потом в Одессу, а после и в Севастополь. Сначала эсеры ему понравились: подпольщики, анархисты по виду, смелые, идеалисты. И здесь Грин, отныне Алексей Длинновязый, хватал кучу явок, адресов и стал проявлять способность к пропаганде.

В Севастополе, судя по всему, было весело. Умное царское правительство сослало массу революционеров на эту базу ВМФ. Если верить Грину, революционеры ходили по городу бригадами, а эсдеки и эсеры («седые» и «серые») еще и отбивали друг у друга солдатско-матросскую массу. Организация эсеров состояла наполовину из идеалистов, наполовину из фанатиков. Прокламацию написать было некому. А Грин писал как бог. Тут он и знакомится с пылкой эсеркой Екатериной Бибергаль. Похоже, Катенька собиралась умереть с Грином на одном эшафоте, как Перовская с Желябовым. Но Грину до такого маразма дойти было не суждено. Он произносит речи на встречах, он способен сделать эсером даже пристава. С его помощью эсеры теснят эсдеков, а эсдеки хоть и негодуют, но тоже Грина заслушивают. Дело кончится арестом в ноябре 1903 года. Тюрьму Грин возненавидел пламенно. Отныне для него государство — это крепость и казарма.

Через месяц, 17 декабря 1903 года, Грин пытается бежать из тюрьмы — и неудачно. Просидел он год, но этот год был невыносим. Грин становится диссидентом до 1917 года включительно. В рассказе «Она» (1908) он напишет: «Людам, посадившим его в тюрьму, не было дела до его страданий; они служили отечеству». Этот злостный подход «индивидуала» ничего хорошего не сулил не только жандармам, но и всяческим народникам и социалистам. Дикая идея спасти народ от самого себя и всё взять и разделить Грину (поляк, шляхтич,

индивидуалист, талант) была абсолютно чужда. Народ он видел вблизи и хорошо к нему относился. Но класть на это дело жизнь — о нет! Грин не был «общественным животным», он был одиноким человеком. Военный суд (ведь он беглый солдат) в Севастополе приговорил его к ссылке. А севастопольские «сатрапы» пытались найти повод объявить в Севастополе военное положение хотя бы на три дня, чтобы Грина повесить. Он явно был отмечен Роком. Ведь когда началась забастовка и всех политзаключенных освободили, его одного не хотели выпускать! Революционный вал заносит Грина в Петербург. Там он опять садится в тюрьму (но ни в чем жестоком и кровавом он никогда не участвовал: листовки, выступления, связь, то есть игра в революцию, — этим дело и ограничилось). И на четыре года наш агитатор загремел в Туринск Тобольской губернии. Кстати, он знакомится с еще одной революционно настроенной особой — Верой Павловной (и точно, она была персонаж Чернышевского) Абрамовой. С 1907 года они будут жить вместе, в 1910-м поженятся, а в 1913-м разойдутся. Она его, конечно, за муки полюбила, а он ее — за сострадание к ним, но когда Грин начал писать, ему решительно расхотелось мучиться.

А из ссылки он опять убежал, едва прибыл его «этап». Жаворонок — певец свободы — в неволе не живет. Бежит он в Вятку, к верному отцу. Тот достает документ с покойника, и Грин жил по нему. Самый первый рассказ, «Заслуга рядового Пантелеева» (такой слабый, что даже в собрании сочинений печатается в приложении), был типичной эсеровской «заказухой». Дикие преувеличения и неуклюжая попытка защитить мужиков, ограбивших «своего» помещика, стихийных шариковых-экспроприаторов.

Однако зашуганная власть испугалась, типографию опечатали, тираж конфисковали и сожгли (оказав Грину немалую услугу: такую макулатуру нельзя было показать читателю). В 1910 году Грина «вычислят»: и за этот рассказ, и за побег из ссылки его снова отправят в ссылку, но уже в Архангельскую губернию. И вернется он в Петербург в 1912 году. Кончится ссылка, кончится революционный этап, станет тошно от унылых и правильных, как таблица умножения, товарищей. Кончится брак

с Верочкой (она была его моложе всего на два года). Верочка, как все барышни ее типа, не хотела стать «самкой» и просто подавать мужу борщ. Нужно было вместе то ли идти на каторгу, то ли хотя бы жить на явочной квартире...

А печататься Грин начинает с 1907 года. Очень помог Куприн: ввел в круг литераторов, познакомил с редакторами журналов, составил протекцию. Впрочем, время было горячее, темы пока эсеровские, а «сочувствующая» интеллигенция боготворила ссыльных писателей. Но Грин уже не нуждался в снисхождении. Он начал, по сути дела, писать в 1907-м. О, что он может уже в этом самом 1907 году! Был первый рассказ еще до этого, первый напечатанный в приличном журнале, вернее, газете — «Биржевых ведомостях». Он назывался «В Италию» (уже по нему понятно, что автор талантлив, а цензуры в стране нет, даже после мятежа 1905 года). Но вот наступает 1907-й. И рассказ «Карантин». «Сад ослепительно сверкал, осыпанный весь, с корней до верхушек, прозрачным благоуханным снегом. Зеленое озеро нежной, молодой травы стояло внизу, пронизанное горячим блеском, пламеневшим в голубой вышине. Свет этот, подобно дождевому ливню, катился сверху, заливая прозрачный, яблочный снег, падая на его кудрявые очертания, как золотистый шелк на тело красавицы. Розоватые, белые лепестки, не выдерживая горячий, золотой тяжести, медленно отделяясь от чашечек, плыли вниз, грациозно кружась в хрустальной зыби воздуха. Они падали и реяли, как мотыльки, бесшумно пестря белыми точками нежную, тихую траву... Яблони и черемухи стояли как замороженные, задремав под гнетом белого, девственного цвета... Маленький сад кипел, как горный ключ, дробящийся червонным золотом в уступах гранита...» Он начинает сразу с акме, с вершины мысли, силы, красоты. Грин не просто эстет, он очень едкий, умный, наблюдательный мыслитель.

Эсеров он разделал под орех. Эсерок пожалел: Варя и Люба из «Маленького комитета» и «Маленького заговора» чисты и самоотверженны, но девушки, у которых на стенах висят портреты террористов (Каляевы, Савинковы, Желябовы и Перовские для Грина в 1907 году уже не герои, а террористы), ему чужды. И умирать не за что и жалко,

а революционное начальство в комитетах — бюрократы, честолюбцы и ломаки.

В 1916 году открылась история с подложным паспортом. Пришлось скрываться в Финляндии. Но он успел показать отцу рассказы, договоры с издательствами, журналы. Старик умер счастливым: сын вышел в люди, в писатели. И вот Февраль, можно вернуться. Но эти чертовы большевики загребли писателя (а ему уже 37 лет) в Красную армию (связистом). Он заболел сыпняком, умирающим его привезли в Питер. Здесь вмешался Горький, которому это зачтется. Оценил, спас, накормил и обогрел. Горький дал паек и комнату в этом хосписе для талантов, в Доме искусств.

Революция Грину не понравилась, судя по «Крысолову» и «Фанданго». Не революция, а казни египетские: голод, холод, крысы, как тайная всемогущая мафия, погоня за куском и глотком. То же мещанство. Но Грин уже шагнул за раму картины из «Фанданго» в свет, солнце, море, южный город Гель-Гью. Он оставил позади землю Зимы и Революции, голод и снег. Он пошел осваивать Гринландию. Дезираду с манцениловыми лесами. Арвентур с синими горами, дымящимися, как жертвенники, на вершинах. И ушел он туда не один, а с Ниночкой, Ниной Николаевной Мироновой (1894—1970). Чистое, юное, кроткое, любящее создание. Это всё пленительные женские образы Грина: девочкообразные девушки, способные поверить в чудо и пойти за ним. Тави Тум (Ниночка придумала имя) из «Блистающего мира», Молли из «Золотой цепи», Ассоль, Дэзи из «Бегущей по волнам», Гелли Сод из «Ста верст по реке» — каждый мужчина хочет найти такую милую, доверчивую преданность. Но мало кто находит. А Грину повезло. Ведь Горького заставили уехать, и в 1924 году пришлось оставить Дом искусств. Поэтов больше не кормили, а то, что писал Грин, не было нужно власти. Зачем диктатуре свобода и красота?

В 1923 году эта пара детей едет к морю на юг, в 1924-м они оседают в Феодосии. Заболев раком легких и желудка, Грин уезжает в Старый Крым. Там Ниночка за гроши купит домик в три окна. Она не даст Грину умереть с голода, будет хранить память о нем и в лагерном бараке. Ее ведь посадят в 1945 году на десять лет за «работу

на немцев» (редактировала газету во время оккупации и помогала партизанам). Но против рака будет бессильна и она. Грин умрет 8 июля 1932 года.

Его герой из рассказа «Путь» Эли Стар, юноша из богатой семьи, вдруг увидел дорогу, золотую дорогу поверх реальности, по которой к синим горам шло неизвестное племя в золоте и перьях, с женщинами неземной красоты. И Эли Стар пропал. Его нашли в Южной Америке — в лохмотьях, в грязной таверне. Он умер от лихорадки, но на лице его было выражение счастья. Перед смертью он нашел свой Путь. Так вот, на губах умершего в муках Грина сияла улыбка. В нашей реальности его могила на кладбище в Старом Крыму. Но никто не знает, где его похоронили Там: в Лиссе, Зурбагане или Гель-Гью.

КРАСИВЫЕ ОСЕНЕБРИ

В нашем Храме русской литературы есть темные, загадочные уголки. Там что-то мерцает: то ли жемчуга, то ли алмазы, то ли слезы грешников (или праведников). Что-то серебрится, что-то вспыхивает. То ли адские огни, то ли отсвет Рая. Что-то гроыхает, звенит, звякает в напеве органа. То ли гремят адские сковородки, то ли играют на арфах ангелы. Страшные уголки, пограничные. Праведники — люди рискованные, они скорее могут напороться на Вечное Проклятие. Христианство — трудная религия для умников, она рассчитана на душевную цельность и невинность. В Евангелии есть пугающие места насчет того, что не уподобившиеся детям не войдут в Царствие Небесное. Кому из нас по плечу голубиная простота? Уж скорее интеллектуал запасется змеиной мудростью. А как вам понравится максима, что если вы душу свою хотите спасти, то ее погубите, а если полагаете ее за Христа, то тогда только душу спасете? Вот вам ребус, вот вам кроссворд. Собираются два христианина и спорят до хрипоты по вопросам приложения христианства к личной и общественной жизни. И думают на этот счет абсолютно противоположное. А рассудят их только на Страшном суде — никаких районных, городских, верховных и страсбургских судов на их пути не будет. Поэтому те, кто глубоко копает, кто лезет в нетривиальное, кто дерзает расшифровывать Священное Писание, вопрошать небеса и писать о революционерах, террористах, инсургентах, самоубийцах, о смутах и баррикадах, имеют все шансы в Рай не попасть. И в нашем Храме их место в загадочном, мерцающем, бисерном темном углу, проблемном и пограничном.

Там упокоился Леонид Андреев, по книгам — мученик и триумфатор, но по жизни — эстет, пижон, циник, обыватель и инсургент в одно и то же время. Так бывает: нарываешься всю жизнь на «грубость» с ее стороны, а умираешь в своей постели. Леонид Андреев (далее — Лео: уж очень он четкий

и слишком категоричный и резкий для мягкой, плывущей, амбивалентной русской словесности) был интеллектуалом и идеалистом с огромным талантом, он искал Добро и любил Добро, он это Добро (с кулаками и даже с бомбами) проповедовал. Но мало кто сделал столько Зла и предопределил Армагеддон 1917 года так, как он (в силу своего таланта). Поэтому именно к нему относится загадочная песенка Андрея Вознесенского: «Стоял Январь, не то Февраль, какой-то чертовый Зимарь. Я помню только голосок, над красным ротиком парок (о, сколько жен и дев соблазнил Лео! — *Авт.*) и песенку: "Летят вдаль красивые Осенебри. Но если наземь упадут, их человолки загрызут"». Самого Лео не загрызли. Но в России опасно кидать наземь такие мысли и такое оперение: тогда человолки загрызут кого-то другого или уж сразу всю страну.

Апостол

Наш Лео родился в Орле в семье средней руки землемера-таксатора Николая Ивановича Андреева в 1871 году, в роковом для России августе (21-го числа). Мать его была полька (а это значит, что мистическое неистовство Лео унаследовал от нее), Анастасия Николаевна Пацковская, дочь разорившегося польского пана. Вот вам и причина такого бунтарства, такой любви к вольности. («Мы связаны, поляки, давно одной судьбою, в прощанье и прощенье, и в смехе, и в слезах: когда трубач над Краковом возносится с трубою — хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах». Окуджава.) Жили средне, как жил тогда средний класс. На гимназию и университет Лео хватило, но ребенок погулял по орловским улочкам, населенным голодными ремесленниками (наверное, лодырями, потому что даже у насквозь красного Горького хороший ремесленник мог выбиться в люди, если не пил, как сапожник (Орлов)). Здесь он встретил много злых и грубых городских (типа Баргамота) и еще больше пьющих, непутевых и опустившихся бродяг (типа Гараськи). Всё! Этого хватило. С 1882-го по 1891-й мальчик учился в орловской классической гимназии. Все,

почти все гимназисты и студенты этих лет были заражены левыми идеями. Это был хороший тон. И Лео «проникся». Инсургенты, карбонарии, буревестники, народовольцы — вот обиход тогдашнего мальчика «из хорошей семьи». Читает юноша Шопенгауэра (весь на парадоксах) и Гартмана. Живет «не по учебникам». Иногда дело доходит до опасных безумств: в 17 лет Лео решил воспитывать силу воли и лег на рельсы перед паровозом. Чуть не задавили. И этот авантюрист и поэт идет на юридический факультет Петербургского университета!

Но отец умирает в 1889 году, оставив сына гимназистом и без средств. Начинается беготня по грошовым урокам, а в Петербурге — мебелирашки, студенческие попойки (юноша много, слишком много пьет), притоны, дешевые проститутки, жаркие споры, полуголодная жизнь и пение *Gaudeamus*'а.

Это не улучшило характера и настроения Лео. Он зол, он пессимист, он циник. Люди не нравятся ему. Он запишет в дневнике: «С радостью бы, кажется, уничтожил эту гнусную жизнь, что дает такие жалкие радости и такие могущественные скорби». И это — на всю жизнь. Здесь он похож на Грина. Оба они ненавидели простых смертных и любили «флибустьеров и авантюристов», героев и революционеров. Оба ударились в революцию, оба были очень талантливы, оба прославились и стали классиками, оба не попали на виселицу или под Красное Колесо. Только юность Грин провел бродяжничая, а Андреев — учась в Петербурге. Только Грин был разноцветной, яркой морской райской птичкой, а Лео — мрачным ночным петербургским вороном, каркающим свое «*Never more!*». В Петербурге Лео начал писать слабые рассказы, но редакции возвращали их со смехом. И я понимаю редакторов: чего только не носил он им! Первый опубликованный под псевдонимом рассказ о жизни бедного студента «В холоде и в золоте» — сплошная мура. Считать ли началом творчества этот 1892 год?

Из университета его отчислили за неуплату, он перебирается в Московский университет. Здесь ему полегчало: помогли товарищи и студенческий комитет. Петербург был противен ему: слишком много полиции. А полицию наш бунтарь ненавидел. Да и кто из интеллигентов любит жандармов и городовых?

Юноша был умен и красив, но всё же в любви несчастлив (бедность проклятая). В 1894 году Леонид пытается покончить с собой. Стреляет в сердце. Он выжил, но нашёл порок этого самого сердца, от которого он так рано и умрет. Пришлось отдать долг церкви: отбыть церковное покаяние. Лео не был атеистом, а безбожник шансов устроить жизнь в России XIX века не имел. А тут ещё родственники одолели: и мать, и сестры, и братья переехали в Москву. Что ж, юноше было присуще чувство долга (в «чудика» он только играл). Он кормит всех, даёт уроки, даже пишет портреты. В 1897 году он исправно сдает экзамены в университете (вот и не изгой!) и идет в адвокатуру, и она даёт ему хлеб до 1902-го.

Подрабатывает судебным репортером в газетах «Курьер» и «Московский вестник» и даже под псевдонимом зарабатывает славу. Он не просто юрист, он писатель милостью Божьей. Потом, в 1905-м, он напишет по этим «мотивам» свой великий рассказ «Христиане» — о том, как истинная вера приютилась в душе падшей женщины, проститутки, современной Марии Магдалины, и насколько от этой грешницы были далеки в христианской морали и судьбы, и жандармы, и почти все присяжные.

В 1898-м Леонид публикует в «Курьере» «пасхальный» рассказ «Баргамот и Гараська». Рассказ талантливый и теплый. У Горького, певца бедности, этого не встретишь. Рассказ о светлом дне Христовой Пасхи, о том, как Христос объединяет и исправляет силой своей любви и беспутного бродягу, и злого городского, вместе встречающих Чудо за пасхальной трапезой. И здесь 27-летнего автора, конечно, заметил Горький, как замечал все таланты, писавшие о горе и нужде вечно несчастного и вечно голодного (по своему выбору) народа. Горький пригласил Лео в «свойское» книгоиздательское товарищество «Знание». Рассказов, которые могли понравиться Горькому, потом было много, но это были рассказы человека умного, талантливого, верующего и понимающего, что ничего нельзя изменить. Этим он сильно отличался от писателей левого толка, «народников-передвижников», и от самого Горького, который писал, будто жернова ворочал. А Лео писал легко, волшебным, как импрессионисты Моне, Дега, Сислей и Ренуар.

Волшебник

В 1900 году Леонид встречается с Горьким. Тот и впрямь был очень добр к нему. Этаким «усатый нянь» для молодых дарований. Он не завидовал чужим талантам, хотя мог бы: свой талант был очень невелик, а Лео обещал стать великим писателем. Он помогал бескорыстно и радовался чужим успехам. И это ему наверняка зачел Господь. Ему, атеисту, марксисту и в конце 20-х конформисту и прислужнику новой жандармерии и худшей диктатуры, чем та, с которой он так «успешно» боролся до 1917 года.

Горький приводит Андреева на заседание клуба писателей-реалистов «Среда». Там дневали и ночевали великие: Рахманинов и Шаляпин. Слава пришла быстро, после появления в журнале «Жизнь» рассказа «Жили-были» (1901). А речь-то в рассказе идет о смерти, о больнице, о великой тайне перехода в иной мир. Страшно — и блестяще. (А до этого был «Памятник»: общение графомана, памятника Пушкину и проститутки; 1899). И тогда же выходят два прелестных рассказа о несчастных детишках: «Петька на даче» и «Ангелочек». Вот здесь его заметил уже сам Блок и изрек, что автор кончит тем, что станет описывать безумие мира. (Как в воду смотрел!) Леонид был реалистом, но мистическим реалистом. Считали же его современники создателем «экспрессионизма». Что это такое, никто не знает до сих пор. Огромный талант пылал, как пламя, то согревая, то обжигая, то испепеляя жизнь. Он был добрым волшебником, но не мог сотворить чудо и сделать доброй ко всем реальность. И не лгал, не лил патоку. Без сантиментов. Добрый волшебник в мире, где почти нет Добра. Так он видел этот мир. Как в рассказе «Молчание» (1900), где отец вопрошает дочь-самоубийцу и слышит, что ее ответ — молчание; он был добр к ней, но не смог сохранить ей жизнь...

В 1901 году выйдет и «Гостинец» — опять трагедия ребенка и просветление взрослого, и опять очень христианский фон.

В 1903-м писателя заметит сам Лев Толстой и дальше уже будет читать всё. Можно считать, что жизнь состоялась.

Есть и деньги (не очень много, но на уровень middle-класса хватает). Есть и карьера: в 1902 году Лео станет редактором «Курьера». И Горький (опять этот благодетель, который прощает Андрееву его веру и его талант!) помогает издать первый том собрания сочинений. Есть и счастье: в том же году Андреев женится на А.М.Велигорской — внучатой племяннице Тараса Шевченко (рыбак рыбака...). В 1906-м у них родится в будущем знаменитый сын Даниил, мистик, который напишет трактат «Роза мира». Однако гения отца он не унаследует.

Но начинаются и неприятности: восторженные студенты орут на сходках и маевках черт знает что по адресу Андреева, хотя еще ничего подрывного он не написал. И нате: дураки Баргамоты из полиции берут у писателя подписку о невыезде.

Кони понесли

Пиросмани как-то пытался объяснить одному крестьянину, что такое искусство.

— Понимаешь, — говорил он, — вот едешь ты в повозке. И вдруг кони понесли!

— Так это же несчастный случай, — возражал крестьянин.

— Искусство — всегда несчастный случай!

Это верно применительно к тому, что русских писателей в 1905-м просто обуяли бесы.

Грина кони тогда понесли на «Третий этаж» и в «Карантин», и вообще он года два воспевал террористов и заговорщиков, пока не сел в тюрьму и не попал в ссылку. Леонида Андреева тоже понесло, правда, он был не босяком, а мэтром, поэтому занесло его на Капри, как и его друга Горького. Очень мило было со стороны Лео толкать других в террор, проводя время на курортах. Кони понесли — и куда делась совесть! И христианство куда-то пропало. Вот хроника восстания нашего «ангела». Сначала в 1904 году он пишет чисто мистический, в духе Эдгара По, безумный рассказ «Красный смех». Это он про Русско-японскую войну, хотя догадаться трудно. Эту нелепую и вредную войну он осудил (и хорошо сделал). Но дальше пошли чистые глюки.

(В 1903-м он успел воспеть каторгу в Новой Каледонии, коммунаров и «Марсельезу» — гимн инсургентов. Это рассказ «Марсельеза». Рассказ так талантлив, что просто хочется попасть на каторгу и умереть от голодовки, чтобы над тобой пели «Марсельезу» — жуткий гимн ненависти и насилия. Сколько же гимназистов и студентов погибло из-за Лео в 1905-м!) У него уже был сын Вадим (Даниил — второй). Но это его не остановило. В 1905 году он воспекает (в статьях поначалу) «революцию» и укрывает у себя дома нелегалов из РСДРП. Десятого февраля он попадает в Таганскую тюрьму за то, что на его квартире прошел «сходняк» ЦК большевиков. Сидел он целых 15 дней, поэтому ему тюрьма очень понравилась. Выкупил нашего Лео Савва Морозов, добрая душа: он внес залог.

Андреев пишет повесть «Губернатор». Повесть гениальна и очень вредна. В ней не только мастерски оправдывается террор против представителей власти, приказывающих стрелять в бунтовщиков, бросающих камни в окна присутственных мест (ох, не было слезоточивого газа), но и очень убедительно доказывается необходимость и легитимность такого террора (ведь от залпов гибнут и женщины, и дети). Цензура накинулась на повесть, даже журнал «Правда» был запрещен и номер конфискован. Еще бы! Время было трудное: только что Иван Каляев убил великого князя, московского губернатора Сергея Александровича. Но ничего не вышло: повесть ушла в самиздат. Однако черносотенцы своими угрозами так напугали певца террора и мести, что он сбежал из страны накануне декабрьского мятежа. Сначала Лео подался в Финляндию. И тут впутался в еще одну скверную историю: произнес пламенную речь против самодержавия на митинге и затесался на съезд финской красной гвардии. А тут, как назло, Свеаборгское восстание 17—20 июля! Вклад Лео в это мероприятие очевиден. Восстание подавят, зачинщиков расстреляют, а Лео будет две недели укрываться в норвежских фьордах, а затем через Стокгольм сбежит в Германию.

И здесь его подстерегает настоящее горе. Рожая Даниила, умирает его обожаемая жена, которую он называл «сосенкой на граните». Жизнь Даниила началась с трагедии, да и дальше было не лучше. Он попадет

в ГУЛАГ, а мистика здесь — плохое утешение. Скорее всего, от горя и бедствий ему стало казаться, что он видит разные миры. Это помогло ему выжить, но не сделало более убедительными его фантазии.

Леонид обезумел от горя, даже на похороны не смог прийти. Казалось, жизнь его кончена. Но дар спас, как это бывает с творцами. Он едет на Капри к Горькому и создает несколько шедевров. Хотя они тянут скорее на ад, чем на рай. А новорожденного сына он отдает родственникам Александры Михайловны — матери и сестре (бабушке и тете).

Эссе «Из рассказа, который никогда не будет окончен» появляется в 1907 году. Семья идет на баррикады, сначала муж, потом жена, дети остаются неизвестно на кого. Да пусть погибнут! (Такое допускает мать.) Черт знает что, но написано так, что невольно одобряешь. «Кто соблазнит одного из малых сих...» И еще в Писании сказано, что горе человеку, через которого в мир приходит соблазн.

«Иван Иванович» — это 1907 году. Опять баррикады, и инсургенты оказываются гуманнее и благороднее представителя закона. Было ли такое? Оставим это на совести автора. «Баррикадное сознание» не покидает Лео. А в 1909-м приходит главное: «Рассказ о семи повешенных». Это даже не ода, а музыка сфер в честь террористов-смертников, по сути дела шахидов. Как мы любили в юности Мусю, и Вернера, и Таню, и Сережу! «А чем же он всё же опасен? Наверное, тем, что прекрасен, и тем, что, наверно, пристрастен в любви к отчизне своей». Это про Лео и его повешенных. Кажется, автор посидел в камере смертников и всходил на эшафот. Великий писатель может и уголь превратить в алмазы. Привет Лео от эсеров-максималистов, да и от красная и вояки Троцкого, от «романтика» Камо, от мистика Луначарского и от всех бесов, которых его шедевры помогли выпустить из бездны.

В 1907 году он даже переписшет Евангелие в своем «Иуде Искарите». Страшная вещь. Оказывается, Иуда-то был самым верным учеником и выполнял замысел Учителя, а остальные апостолы — ничтожества и трусы. Я не верю в то, что Иисус мог заниматься такими грязными

провокациями, но повесть написана так, что невольно восклицаешь: вот она, красота Зла! Уж не Антихрист ли Леонид Андреев?

Автор играет с огнем. С адскими топками. Играет гениально. Иисус, конечно, простит. За Слово Там, после жизни, не будет кары. Достаточно того, что за инакомыслие карают на земле.

«Рассказ о семи повешенных» издают 28 (!) раз. Автор не просто знаменит, он — кумир молодежи и «прогрессистов», интеллигенции и курсисток. И недолго он оплакивал жену, через два года утешился. Пытался жениться на красавице актрисе Алисе Коонен, но она отказала. Тогда он нанимает в секретари хорошенькую Анну Денисович, которая только что развелась с мужем. В мае 1908-го они поженятся в Ялте. Своего маленького сына Аня тоже спихнула родственникам (дурной пример заразителен). Оба начинают с чистого листа — и в новом доме. Горьковские революционеры и горлопаны надоели Лео, он хочет жить счастливо и с комфортом. Что ж! Ужасный «Николай Кровавый» не злопамятен, великого писателя не сажают, в кандалы не заковывают. «Рассказ о семи повешенных» спокойно переиздают. Никто не мстит Леониду Андрееву, ему всё забыли и простили. Он спокойно жертвует деньги «на узников Шлиссельбурга». Строит себе дом-башню, дом-крепость в Финляндии, на Черной речке, в деревне Ваммельсу. Виллу назовут «Аванс» (в пику издателям, вечно запаздывающим с гонорарами). Денег ушло на этот замок много, а рядом — своя пристань и штук пять моторных лодок, ботишков, катеров. Лео гоняет на них по Финскому заливу, счастливый, загорелый, с гривой черных волос, с высоким челом, загадочный красавец. Только вот пишет хуже прежнего. Аня родила ему троих детей: Савву (любимчик!), Веру и Валентина (в честь художника Серова).

Лео до 1910 года успел накропать восемь пьес, в основном мистических, но средних по сравнению с рассказами. Они идут на всех сценах, даже во МХТ. Вадим, старший, тоже живет с отцом. Идиллия! Не слишком это располагает к творчеству. Лео уходит всё дальше и дальше в мистический туман. Но он в моде, и публика глотает всё.

Изгнание

Но тут война, и Лео вдруг ее приветствует (прокляв Русско-японскую)! Где логика? Оказывается, всё дело в Германии. Лео почему-то считает Германию оплотом «всеевропейской реакции» и жаждет ее разгрома. Будь он французом или англичанином, его еще можно было бы понять. Но слышать от гражданина Российской империи такое — это было занятно. С Горьким пришлось расстаться: он и его окружение были «пораженцами». Лео даже пишет очень плохую ура-шовинистическую пьесу «Король, закон и свобода». Писатели пописывают, читатели почитывают, а плебс громит немецкие магазины и бьет немцев на улицах. Но в армию наш белобилетник не пошел (Гумилев хоть честно повоевал), кормить вшей в окопах и гнить в могиле он предоставил другим, менее талантливым людям, помоложе.

А тут Февраль! Февраль Лео одобрил, но предвидел, как Бунин, чем он кончится, и предостерегал против РСДРП, членов которой в 1905 году укрывал. Октябрь вызвал у него страшный гнев. Оно бы и хорошо, но великий писатель не узнал своих героев, баррикадников и шахидов, в «комиссарах в пыльных шлемах», в Павле Корчагине и других «романтиках с большой дороги». А ведь он был их крестным отцом. Финляндия получает независимость, и семья Андреевых сразу оказывается в эмиграции. Леонид пишет яростный памфлет «SOS» и зовет на помощь против большевиков Европу. И Европа помогла. Хотя бы Финляндии. Местных красных Маннергейм разгромил, но вот с Советами он мог бы так легко и не справиться: красных финнов, готовых ударить ножом в спину, было предостаточно, а до создания оборонительных рубежей и сильной армии, которая встретила Сталина в 1939 году, оставалось еще более 20 лет. Германия ввела по просьбе Маннергейма на финскую территорию свои войска и обеспечила независимость и безопасность страны, в том числе и жизнь великого писателя, которого после «SOS» чекисты не помиловали бы. Но Лео оказался неблагодарным: он не мог слышать немецкую речь и видеть немецкие мундиры. Дулся и капризничал. Однако написал (и не успел закончить) парадоксальный,

злой, но достаточно бесцветный роман «Дневник Сатаны» (смысл в том, что люди сатану переплюнули).

В ночь на 12 сентября 1919 года классик Леонид Андреев скоропостижно скончался от сердечного приступа. Его сначала похоронили в Мариоках, а в 1957-м «снизошли» и позволили похоронить в Ленинграде (первая оттепель!). В 1971 году выйдет последний оттепельный двухтомник.

Дом финны разберут, черепицей они, хозяйственные и рачительные, к классике и мистике равнодушные (с фермеров что взять!), покроют школу. Великий писатель уйдет в Храм русской литературы. Легкомысленный и тщеславный Лео уйдет в никуда. За его ранние рассказы Иисус, надеюсь, пустил его в Рай. Но помолимся о нем на всякий случай. Бог — демократ, он должен был оценить такого оппонента.

СОТВОРЕНИЕ АНТИМИРА

Помните, что говорит о бабочке министр-администратор (Андрей Миронов) в фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо»? «Вон бабочка летит — кретинка. Головка маленькая, глупая».

Все, кто на этот огонь слетелся, крылышки пообожгли или даже вовсе сгорели... если не сделали себе бизнес на чужих кострах. Но вакансии для благополучных подлецов тоже были ограничены. Достались немногим. А восторженные дети богемы (или Выдры, если уж мы собираемся говорить о Хлебникове) решили, что старый скучный мир с Богом, церковью, царем, деньгами, мебелью, приличиями, работой и семьей кончился вместе с монархией. Поэтому всерьез принялись строить дома на сваях, ставить на театральную сцену грузовики, рисовать черные квадраты, купать красных коней, раздувать мировой пожар, показывать козу Богу и ангелам, выдумывать новый язык (от этого была прямая польза: ВЧК и ГПУ долго ничего не могли понять) и отрицать стыд.

Злоязычный и меткий Алексей Николаевич Толстой одним касанием пера расправился с миром, который пытались построить Багрицкий, Татлин, Малевич, Мейерхольд, Давид Бурлюк, Маяковский и Хлебников, с миром «будетлян», «творян» (в пику дворянам), то есть футуристов. Сам-то он явно из этой генерации, самый талантливый из них всех, но классик, продавался вполне сознательно и не без шика и редкую вакансию «писателя в законе» получил.

В «Хождении по мукам» есть блестящая пародия на футуризм. (Если бы Хлебников мог это прочитать!) Помните «Станцию по борьбе с бытом» и манифест, где юношей и девушек призывают идти нагими и счастливыми под дикое солнце зверя?

Есть у А.Н.Толстого некая пародия на Блока — поэт Бессонов. Так вот, приходит этот Бессонов в ресторан, а там ему назначила свидание футуристка Елизавета

Киевна, девушка красивая, но глупая. Садится она к Бессонову и говорит, что ей скучно, что она ждет неких труб и зарева. (Ох, дождались и того и другого с избытком глупые российские декаденты!) А когда Бессонов спрашивает, кто она такая, Елизавета Киевна отвечает: «Я — химера!» — «Дура, вот дура!» — подумал тут Бессонов. Но девушка она была рослая, сочная, и Бессонов повез ее в гостиницу и потащил в постель. Вот вам и всё о футуризме, и не надо киснуть над литературоведением.

Впрочем, футуристы были ребята веселые и невредные, и жизнь у них была сплошной капустник. А в начале 20-х большевикам было не до них, тем паче что они всячески пинали «старый мир». Только одного футуристы не заметили: что строят Антимир. Без Бога — и без человечности. Не для Человека.

«Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы», — писал Хлебников в Феврале. А через год свобода нагой и ушла, ушла к стенке в подвалах ВЧК со столькими юными девушками, виновными в «чуждом происхождении». Перед расстрелом заставляли раздеться донага, а вот жертв красного террора хоронили уже без цветов...

И никакой футуризм не заменял таланта. От всего направления останутся «Черный квадрат», проекты Татлина, спектакли Мейерхольда, примерно одна треть наследия Маяковского и несколько страниц из Хлебникова.

Хлебникову в нашем Храме литературы принадлежат химеры на кровле. Такие, как на соборе Парижской Богоматери: нелепые, уродливые, загадочные. То ли заклятия, то ли проклятия. Пленники христианства, знак его победы, его поверженные враги.

В 30-е годы, когда Антимир был построен (в том числе и руками наивных футуристов), когда выстрел Маяковского прозвучал колоколом покаяния и капитуляции перед уничтоженным старым добрым миром, отчаявшиеся футуристы пошли в обэриуты. Хармс ушел в абсурд, потому что в Антимире нельзя было дышать. Но он ушел далеко. Сначала — тюрьма, потом по приговору суда — сумасшедший дом и голодная смерть.

Велимир Хлебников один в начале 20-х нащупал эту дорогу и описал грядущую карательную психиатрию.

Пусть химера на кровле Храма будет у Хлебникова с Хармсом одна на двоих. Ведь зов обэриутов «Маленькая рыбка, жареный карась...» Хлебников услышал на десять лет раньше срока. Его стихи безумны и туманны, как ночной кошмар. Ужас Антимира проламывает стены, его дыхание почти лишает поэта рассудка.

Из футуристов, повторяю, мало кто кончил добром. Погиб в застенках великий Мейерхольд, застрелился Маяковский, и участь Хлебникова оказалась жуткой, а жизнь — недолгой. С портрета чистенького, прилично одетого юноши на нас смотрят совершенно безумные глаза. А начиналось всё так безоблачно, так тривиально...

Жизнь

В ноябре 1885 года в Астраханской губернии (теперь это в Калмыкии) у попечителя улуса ученого-орнитолога Владимира Алексеевича Хлебникова родился сын Виктор. Улус и попечительство — это был мягкий протекторат Российской империи, попытка приобщить к христианству и гражданской культуре аборигенов разного толка, от самоедов до мусульман. Окраины, кроме Польши и Кавказа, не очень-то прижимали, держали на длинном поводке.

С матерью было еще интереснее: Екатерина Николаевна, историк, — кузина народовольца Александра Михайлова (кличка Дворник), правой руки Желябова. Получив пожизненное заключение, он умрет в Шлиссельбурге.

Родился Хлебников в калмыцкой степи, среди кротких, ушедших в себя кочевников-буддистов. А прадед Хлебниковых был прагматик, купец первой гильдии.

Служба отца требовала частых переездов. В 1895 году Хлебниковых занесло в Симбирскую губернию. Здесь Виктора определяют в гимназию. Всё как у людей. Потом он учится в Казани и даже кончает курс. В Казанский университет он определяется на математическое отделение физмата (и это будет иметь печальные последствия). За студенческую демонстрацию арестован, месяц тюрьмы (все «марши несогласных» жандармы аккуратню

разгоняли, куя кадры футуристов и нигилистов, строителей Антимира). Из университета он выходит, а потом переводится на естественное отделение. Юноше 19 лет, он пишет слабенькую пьесу «Елена Гордячкина» и шлет ее Максиму Горькому, но даже Горький от этой макулатуры уклоняется. В 1904—1907 годах Виктор занят делом: орнитологические исследования, экспедиции в Дагестан и на Северный Урал, научные статьи. Вполне солидные занятия. Даже новый вид кукушки удалось открыть и стать членом общества естествоиспытателей при Казанском университете.

Но здесь случилась Русско-японская война, которая страшно подействовала на чуткого Виктора. Он начинает сам учить японский язык, чтобы постичь тайну японской души, и ищет (вот она, математика!) «основной закон времени», чтобы найти оправдание смерти. Не он первый, не он последний. Но Хлебников делает это слишком серьезно и «без отрыва от производства».

Он начинает писать стихи пачками (и все слабые), посылает их Вячеславу Иванову; пока он пытается стать символистом. Даже переводится в Санкт-Петербург (в 1908 г.), опять-таки на естественное отделение. Но ему нужны только символисты, а в Петербурге — их ставка. Он сближается с А.Ремизовым и С.Городецким и впадает в языческое славянофильство. Это время пьесы «Снежимочка» и пантеона выдуманных божеств (уже и язык мифический, не только герои). С его страниц глядят на нас некие милые мутанты: снезини, смехини, добрые молодцы Березомир, Древолюд, etc. В эпоху декаданса это могло еще сойти за театр и поэзию. Ведь и Ремизов издает «Лимонарь» и «Посолонь», а Городецкий — «Ярь» и «Перун». Но всё это холодно и школярски старательно. Модно, но не на век, даже не на десять лет.

В 1909 году поэт отвлекается от своих исканий («вместо камня было время, а вместо камышей шумели времыши» — sic!). Он едет в Киев к родственникам Рябчевским и там влюбляется в Марию Рябчевскую, посвящая ей абсолютно невнятные стихи. А в Питере заработала «Академия стиха» на «Башне» Вячеслава Иванова (1909). Таврическая улица, дом 25, верхний этаж, квартира Иванова и в ней круглая угловая комната, где собираются

вечные заговорщики — поэты. В эту «Башню» карабкается и Хлебников.

С университетом сплошные страсти: то факультет восточных языков по классу санскрита, то историко-филологический факультет славяно-русского отделения. Но учиться поэт перестал.

Знакомится он и с Гумилевым, его готовы печатать в «Аполлоне».

1909 год. Две занятные, даже страшные вещи. Драма о безумии и карательной психиатрии: «Госпожа Ленин». Жуткое разложение сознания: отдельно говорит слух, отдельно — зрение, отдельно — память, отдельно — воля. Больная дама у себя дома, ее посещает доктор, она отказывается с ним говорить. За это ее упрятывают в темноту, на бетонный пол, надевают смирительную рубашку. А она всё отказывается говорить и даже идти в другую «палату» по приказу врача. Тогда ее тащат силой, и она умирает. Как он мог так провидеть участь Хармса и целой плеяды диссидентов 60—80-х годов? Пожалуй, это в духе Стриндберга (прыжок через 70—80 лет), и сейчас на Западе это могло бы иметь успех и даже приз. А вот знаменитый «Журавль» того же периода — это тезисы. Может получиться хороший фильм ужасов. Вещи, рельсы, трубы вступают в союз с мертвецами-зомби и ополчаются на людей. Люди молятся гигантскому железному журавлю и приносят ему в жертву детей, как Дракону. Но это надо написать. Поставить. Спеть. А Хлебников не написал и не поставил: наметил пунктиром, белым стихом. К тому же кончается юмором: журавлю надоело «лопать людишек», он взял и ушел. Не страшно и не интересно.

Для эстетов Серебряного века Хлебников — новатор, авангардист, футурист. Для литературоведов — хлеб насущный. Для читателей XXI века — графоман. К тому же Хлебникову было мало символизма. Поссорившись с «Башней», он связался с братьями Бурлюками (Давидом, Владимиром и Николаем) и к ним даже переехал жить. Эти оригиналы основывают группу «будетлян» и выпускают сборник «Садок судей» тиражом 300 экземпляров (ну чистый самиздат) в апреле 1910 года. Главное, без «ятя» и твердого знака на конце слов (и здесь футуризм). Все

литераторы сочли сборник объявлением войны. В. Брюсов громил авторов: «Сборник переполнен мальчишескими выходками дурного вкуса». Что святая правда.

Антижизнь

Хлебников становится Велимиром; из университета его исключают за неуплату; родители с сыном поссорились, они его не понимают. А тут еще в 1911 году Хлебников становится чуть ли не пифагорейцем и ищет в цифрах магию и ответ на все вопросы. В 1912 году в группу приходит один настоящий поэт — Маяковский. У него-то, кроме морковки и желтой кофты, есть настоящий талант. И завертелось. В брошюре «Учитель и ученик» Хлебников неплохо применяет свою «магию чисел»: «Не стоит ли ждать в 1917 году падения государства?» Здесь Велимир даже точнее А. Амальрика с его «Просуществует ли СССР до 1984 года?». Жаль, что это пророчество было воспринято как эпатаж. Это ведь даже не анализ (Хлебников не очень знал, что происходит в политике и в среде революционеров), это откровение.

А тут пошли футуристические штучки-дрючки: выставки художников-авангардистов (группы «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», диспуты, чтения в арт-кафе «Бродячая собака»). Возникают кубофутуризм и эгофутуризм (Игорь Северянин).

Выходит сборник «Пощечина общественному вкусу». Вся наша компания поэтических пиратов (Бурлюк, Крученых, Маяковский и Хлебников) призывают сбросить Пушкина, Достоевского и Толстого с парохода современности (вот Писарев бы порадовался) и обвиняют Блока, Куприна, Бунина и Горького, что «им нужна лишь дача на реке». Критика встретила сборник обструкцией: «Вымученный бред претенциозно бездарных людей». (Никто же еще не читал толком Маяковского, да и он начал хорошо писать к 1913 году.) А так, увы, правда. И заметьте: Великие (Мандельштам, Пастернак, Гумилев) никогда не пытались отнять у Пушкина место на корабле; покушение на истребление классики — удел посредственностей.

Давид Бурлюк продолжал мелко хулиганить: в очередном цикле лекций «Пушкин и Хлебников» он назвал Пушкина «мозолью русской литературы» (и эта выходка стала его единственным вкладом в эту самую литературу). Всего этого не вынес Осип Мандельштам: он вызвал Хлебникова на дуэль после ссоры в «Бродячей собаке». Дуэли, ясное дело, не было. Сам Хлебников разразился манифестом, где сформулировал понятие «заумного языка», предлагая будетлянам-речетворцам пользоваться разрубленными словами и полусловами. Да, не владеющие словом часто прибегают к полуслову, но от этого никому не тепло и не холодно.

Чем меньше было в стихах Хлебникова таланта и ума, тем «заумней» они становились. А тут еще борьба за национальный футуризм! (Особо извращенная форма национализма.) Россию посетил ас итальянского футуризма Маринетти, а Хлебников и Лившиц раздавали листовки о приоритете русского футуризма, возмущаясь «некими туземцами из итальянского поселка на Неве», которые «склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы» (остатки панславизма).

Первый авторский сборник Велимира имел шикарное название «Ряв!» (конец 1913 г.). А в общем, всем надоело бузить. У кого был талант, тот ушел писать (тот же Маяковский). И он же в 1915 году заявил, что футуризм мертв.

Война немного рассеяла поэтический дурман. Хлебников завязал роман с московской актрисой Надеждой Николаевой, а после уехал к родителям в Астрахань и стал искать закономерности чисел, чтобы предотвратить мировые войны.

В 1915 году поэт кротко возвращается к нормальным поэтам. Бывает в Куоккале, тусуется с Ильей Репиным и Юрием Анненковым. Но он продолжает чудить: объявляет число «317» важнейшим в судьбах народов и людей, забредает к Брикам, избирается футуристами в «короли времени». В феврале 1916 года поэт переходит к практическим действиям: основывает утопическое «Общество председателей Земного шара» (конечно, из 317 членов). Многих сопредседателей кооптировали, не спрося их согласия, да и покойникам не было отказа. Покойный

поэт Божидар, Вячеслав Иванов, Давид Бурлюк, Асеев, Маяковский, Рабиндранат Тагор — вот кому предлагалось править «Государством Времени». Но война вспомнила о поэте, и 8 апреля 1916 года его мобилизовали. Солдат из будетлянина вышел никакой. Еще до фронта он стал взывать к знакомому психиатру Н.И.Кульбину. Тот диагностировал у Хлебникова «состояние психики, которое никоим образом не признается врачами нормальным». Врачи никогда не признавали здоровыми поэтов, особенно футуристов. Но здесь — полный консенсус. Начались комиссии. Хлебников жил то в больнице, то в казарме, то у родителей в Астрахани и Царицыне. Ему дают отпуск на пять месяцев, а это уже весна 1917 года. В армию он не вернется. По-моему, по нему отцы-командиры и военкомы не особенно плакали.

Февраль — это был пир духа для футуристов. Поэты бродят по кафе, и Хлебников с ними (скрываясь, однако, от комендатуры, ведь отпуск кончился). За два дня до Октября Хлебников пишет письмо в Мариинский дворец от имени «председателей Земного шара». Председатели постановили: «считать Временное правительство временно не существующим».

А потом всё летит в тартарары, вполне в духе футуризма. Безумие времени как будто почерпнуло язык и стиль из работ Хлебникова. Поэта носит по России за приютом, едой и теплом. Но всего этого куда меньше, чем стихов и экспериментов. Поэту удалось на пять месяцев найти корм в газете «Красный воин», хотя его стихи для армии сильно напоминают Марюткины вирши из «Сорок первого» Лавренева, а ведь Хлебников не от сохи, он учился в университете!

В 1919 году поэт добровольно идет в психиатрическую лечебницу Харькова, чтобы спастись от деникинского призыва.

Маяковский пытается помочь ему прокормиться и что-то издать.

В 1920 году Хлебников знакомится с Есениным, Есенин тоже подбрасывает кое-что и издает в Москве его бред на тему Гражданской войны: «Ночь в окопе». Хлебников немного «шакалит» у комиссаров: то против Врангеля

напишет, то про молот и про серп. Одно утешение, что, кроме названия, ничего не понять.

Дальше уже чистый вестерн: Хлебников оказывается в Баку, на съезде народов Востока. Этот цирк отвечает его душевному складу. Потом поиски пропитания заносят его в Персию. Та еще авантюра! Советская республика в Северном Иране; Советы, формирующие Персидскую Красную армию в Баку; и Хлебников, ангажированный в виде лектора... В Энзели он знакомится с дервишами, а местное население принимает его за «русского дервиша». Пророчества, безумие, нищета, служение неведомому Богу... Поэт всегда немножко дервиш, но здесь был полный профессионализм.

В Тегеране Хлебников бросает армию и нанимается в гувернеры к местному хану. Вот уж плова он вволю поел!

Армия повернула назад очень скоро, и Хлебников — вместе с ней. Его заносит в Пятигорск, там он работает ночным сторожем.

В 1921 году железное дыхание Антимира становится осязаемым. У Хлебникова появляются две вполне нормальные поэмы о Гражданской войне вроде «Двенадцати» Блока: шквал и ужас, конец мира, хоть и с левым уклоном — «Ночь перед Советами» и «Ночной обыск». Впрочем, смерть Блока и расстрел Гумилева приводят его в норму, он даже пишет некрологи. И неожиданно едет в Москву. Катаев вспоминает, что он приехал оборванный, лохматый, полубезумный и ходил по тусовкам с наволочкой, полной стихов. Маяковский пытался помочь, подкормить, поселить, но Хлебников понял, что они построили, раньше Маяковского на девять лет.

У поэта началась лихорадка. Голод, отчаяние, безумие как проявление отчаяния.

Поклонник его таланта (и сноб) Петр Митурич хотел дать убежище и пригласил в местечко Боровенко Новгородской губернии. Там у поэта развился паралич, отнялись ноги, началась гангрена. Будетлянин умер 28 июня 1922 года.

В 1960 году советская власть угостила провидца Новодевичьим кладбищем. Мертвый, он стал добычей архитекторов Антимира. Стал пером в крыле его Железного Журавля.

В 1977 году астроном Н.С.Черных назвал малую планету 3112 «Велимир».

Он призывал отказаться от пространства и жить во Времени, считал себя воплощением Эхнатона, фараона Египта, Лобачевским, Омаром Хайямом. Он верил в переселение душ. Но это не помогло. Он был раздавлен пониманием, что вокруг растет, как лес, нечеловеческий мир. Антимир. А он остался Человеком и поэтому погиб.

А воплотился его больной и провидческий дух не в Омаре Хайяме, а в Данииле Хармсе и обэриутах, которые пытались найти убежище в абсурде, когда Антимир сдали под ключ.

Хармс умер за решеткой, в тюремной больнице, но они с Хлебниковым, умершим вроде бы на воле, но знавшим, что воли больше нет, были оба узниками Черного и Красного Времени, которое отменило Пространство. Оказалось, что там нельзя жить даже детям Выдры.

Химеры на нашем Храме не улыбаются. Их оскал — от боли.

Маленькая рыбка,
Жареный карась,
Где ж твоя улыбка,
Что была вчерась?

ЗОЛОТАЯ ПОРОДА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Портик Лескова, немножко слишком правильного в своем классицизме; мрамор Гарина-Михайловского; неумелая, но сильная дидактика Помяловского; цыганский мистицизм Лажечникова; скульптурные группы Брюсова, которым, однако, не хватает жизни и души, — мы здесь не сможем перебрать всё и остановиться перед всеми. Это наш музей, наш спецхран, наша сокровищница, но читателю где-то придется побродить и одному. Я не смогу ему сопутствовать, ибо, отдавая должное всему, люблю (и могу оживить) далеко не всё. Наши сокровища неисчислимы, бессмертны, неиссякаемы, но до сих пор мы едва успевали наклониться над крупными алмазами, лалами, перлами в этой пещере Аладдина, которая зовется российской словесностью. Абсолютно новый минерал или новый архитектурный стиль, драгоценные камни, крупные, как фрукты, и гигантские золотые самородки — вот чем мы занимались до сих пор. Но наша словесность — Эльдorado, прииск, и хочется показать не только самородки, но и золотоносную породу; вы должны увидеть, как авторы-старатели усердно моют золото — золото конца Серебряного века и золото начала Железного века.

Самый типичный поэт конца Времен и самый необычный поэт начала Эпохи, про которую сказано: «Времени больше не будет». Антиподы — даже не враги. Константин Бальмонт и Велимир Хлебников. Вы, уже приученные к алмазам величиной с отель «Ритц», вероятно, ощутите разочарование. Нам ли смотреть под ноги и мыть золотишко, когда наш Храм сияет такими солнцами драгоценных камней! А вы не пренебрегайте. Без породы не было бы и самородков.

Константин Бальмонт родился в июне 1867 года в дедовской деревеньке Владимирской губернии. Дворянин, из екатерининских лейб-гвардейцев. Поначалу фамилия была Баламут (уж точно к его стихам, омуту, чертям, тайнам),

потом разрешили переделать. Отец — председатель земской управы в Шуе. Мать — потомственная интеллигентка, урожденная Лебедева. Вы только посмотрите на это гордое и отрешенное лицо! Портрет Валентина Серова, 1905 год. Усики, дворянская бородка, просторный лоб, туманный взор, взбитый кок, сюртук и белоснежные воротнички. Не от мира сего. Поэт. А вот и доказательства: писать начал в девять лет (хоть и ерунду), а из шуйской гимназии его исключили за принадлежность к нелегальному кружку.

Поэт всегда немножко декабрист. (И Кюхля, и Рылеев были поэтами, хотя писали ужасно, стыдно цитировать.) Да еще присчитайте ему по материнской линии происхождение от татарского князя («Белый лебедь Золотой Орды»). Неплохо, да? Отец охотился и служил, мать пела, музицировала и давала журфиксы.

В шуйской гимназии поэт учился в 1876—1884 годах. А когда его выгнали за модную крамолу, родители построили во владимирскую гимназию. Ее удалось окончить в 1886 году. Зачем-то поэта понесло на юридический факультет Московского университета, но и оттуда его выгонят за студенческие волнения, под негласный надзор полиции. В 1888 году он опять в университете, но бросает сам. Студенческие волнения — вот главные его познания в правовых вопросах. И в Демидовском юридическом лицее ему не повезло, уже хотелось только писать стихи.

Боже, 1867 год! До 1917-го еще целых пятьдесят лет — вся жизнь. Пятьдесят лет ресторанов, балов, вернисажей, приличного платья, котильонов, красоток, шикарных комнат с горничными. И всегда есть деньги, и еда, и свобода, и даже роскошь, и красавицы, которые так любят поэтов...

Конечно, женился он рано. В сентябре 1888 года Бальмонт знакомится со своей *Primavera* — боттичеллиевской красавицей Ларисой Михайловной Гарелиной (она старше его на три года). Тут уж не до учебы. В 1889 году Костя женится, ему нет и 22 лет; и никто ничего не мог сделать, мальчик был готов порвать с семьей. Молодые едут на Кавказ, но Костя — не Печорин (слишком переживает из-за женщин), а Лариса — не Бэла и даже не Мери.

Денег мало, на поэзию невесте и жене плевать, на революцию — тоже. Лариса страшно ревнива, к тому же пьет. И здесь мы понимаем: дошло до декаданса. Пьющая девица — точно декаданс. Особенно если *Primavera*. И Бальмонт был типичным декадентом: изломы, надломы, наркозы, экстазы, несчастья на страницах. Нет, они отклеивались и тянулись за жизнью. Первый ребенок этой богемной четы умер, второй стал невротиком. Лариса в конце концов сбежала от своего декадента к журналисту и историку литературы Н.А.Энгельгардту и мирно дожила с ним жизнь, а Анна Энгельгардт, их дочь, стала второй женой великого Гумилева.

Ларисе-то было хорошо. А вот Бальмонт 13 марта 1890 года выбросился из окна. Сломал всё, что можно было, кроме позвоночника, лежал год, а хромота осталась на всю жизнь. Многие сочли его безумным, но ведь и Гаршин бросался в лестничный пролет! Декадент должен пройти через попытку самоубийства. Стихи не улучшатся, но чувства станут острее.

Здесь уж Брюсов объяснит, каким надо быть поэту-декаденту: «Ты должен быть гордым, как знамя, ты должен быть острым, как меч. Как Данту, подземное пламя должно тебе щеки обжечь». Великие — они вне категорий, а мейнстрим обязан страдать. Кормили юношу переводы, он отменно знал языки и даже в Оксфорде читал литературу. Не миновал и наш декадент Короленко, этого всеобщего хранителя и покровителя. Первый яркий сборник Бальмонта — «Горящие здания» (1900 г.). Но его литературная слава продлится десятилетие, с 1895 по 1905-й, пока не подрастут гении: Гумилев, Пастернак, Блок, Мандельштам, Ахматова и Цветаева. Впрочем, эта молодежь не была нахальной. Все общались без чинов, а Бальмонт сходил за мэтра.

Глупое правительство поддерживало его репутацию: то за скверный стишок «Маленький султан» на два года лишат права проживания в столицах и университетских центрах, то поверят ему на слово, что он участник вооруженного восстания на Пресне (в конце концов выяснилось, что участие выразилось в стихах).

В начале века Бальмонт странствует: Италия, Испания, Англия, Франция, даже в Мексику в 1904 году его занесло. Но к 1905-му он успел... Бальмонт кидается на шею

Максиму Горькому (хотя говорить им не о чем, о «пролетариях» наш декадент слышать не хочет и об их матерях — тоже) и пишет свои непонятные стихи в «Новую жизнь» и «Красное знамя», журнал Амфитеатрова. Впрочем, курсистки и революционные дамы не взыскательны: они обожают Бальмонта тем больше, чем меньше понимают. Он хоть пишет на их языке, без гагар и ужей.

Но все-таки царское правительство было снисходительно к детям богемы. Вот смотрите: Бальмонт нелегально покидает Россию и живет в прекрасном далеке, в своей любимой Европе, до 1913 года, неплохо зарабатывая лекциями, переводами и стихами. И вот в 1906 году он пишет идиотское стихотворение (чистый декаданс) «Наш царь».

Наш царь — Мукден, наш царь — Цусима,
Наш царь — кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму — темно.

Наш царь — убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь-висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.

Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждет.
Кто начал царствовать — Ходынкой,
Тот кончит — встав на эшафот.

Ловко написано. Типун декадентам на язык. И ведь ничем наш поэт не поплатился. Не убили, не отравили, не украли и не доставили в Шлиссельбург. Колибри можно всё. В том числе вертеть хвостиком. Если кто забыл, что такое свобода, то вот вам 1906 год. Все буре-вестники на курортах, у теплых морей. И никто столько не ездил, как Константин Бальмонт. Даже «бродяга морей» Гумилев мог рядом с ним показаться домоседом. Кроме Мексики, Бальмонт посетил Калифорнию, облазил всю Европу, добрался не только до Египта, но и до Балеарских островов, до Канар. Он был не только в Африке, но и на Цейлоне, в Индии, Новой Гвинее, а в 1916 году и в Японии. Но он в отличие от Гумилева отнюдь не «конквистадор в панцире железном», он, скорее, турист. Слабый, изнеженный, под зонтиком или

в экипаже. Гумилев писал о битвах с дикими племенами, прекрасной, сияющей, украшенной флердоранжем смерти среди экзотических скал, морей, лесов и рек. Бальмонт же — созерцатель. Гумилев хотел быть участником, Бальмонт — свидетелем.

И все-таки гении не бывают ни символистами, ни акмеистами, ни сюрреалистами. Гений — это маг вне категорий. Из него так и хлещет сила. Блок мог сколько угодно считать себя символистом, а Гумилев — акмеистом. И все эти «измы», выдуманные ими, мэтрами, настоящими мастерами, давали маленьким поэтам удержаться на плаву, под знаменем, принадлежать к цеху и быть корабликами, идушими в некоем караване за мощным ледоколом. Все-таки море. И ветер. И лед... И чайки... Принадлежность к клубу поэзии важна для скромных дарований. Собственно, Бальмонт был действительно классиком символизма. (Здесь классик — нечто среднее, умеренное.) И символист, и декадент, и революционер... Он даже выходил в открытое море, в океан. Есть у него пять-шесть «океанских» стихотворений. По-моему, формула символизма была создана, когда сам символизм уже перестал существовать, когда СМОГИСТЫ ранних 60-х XX века читали свои стихи у памятника Маяковскому. Сила. Мысль. Образ. Глубина. СМОГ. Но сила — она от Бога. Силы Бальмонту решительно не хватало. Однако его причудливые, нездешние строки, странные, болезненные, никогда не несли печати заурядности или банальности. Он был честным пионером символического Клондайка. Он открыл Клондайк и стал мыть золото. А потом пришли другие. Великие. И стали поднимать самородки, чья тяжесть, чей блеск были не по плечу Константину Бальмонту.

Его многие не любили. Зинаида Гиппиус терпеть не могла. Называла «очковой змеей», считала дилетантом и святотатцем. Для Марины Цветаевой он был «типичным поэтом», но они не дружили. Бунин не мог ему простить до конца «революционных шалостей». Зато Брюсов его очень любил.

От его поэзии можно было оторопеть. Только он в истории искусства выступал то от имени скорпиона, то от имени Люцифера. Кстати, это лучшие его стихи. Всем известно, что скорпион может ужалить сам себя,

чтобы избежать плена. Не дамся, так сказать, в руки живым. Но кто стал бы брать скорпиона — символ уродства, зла, непокорства — под защиту? А Бальмонт взял. «Я окружен огнем кольцеобразным, он близится, я к смерти присужден, — за то, что я родился безобразным, за то, что я зловещий скорпион. <...> Но вот, хоть всё ужасней для меня дыхання неотступного огня, одним порывом полон я, безбольным, я гибну. Пусть. Я вызов шлю судьбе, я смерть свою нашел в самом себе, я гибну скорпионом — гордым, вольным». Его занимала тема смерти и страдания, ее необходимости для искусства, потому что красота приходит через боль.

«Мы меняемся всегда. Нынче "нет", а завтра "да". Нынче я, а завтра ты. Всё во имя красоты. <...> Мир страданьем освящен. Жги меня — и будь сожжен. Нынче я, а завтра ты, всё во имя красоты». Это из «Костров». Десятитомник Бальмонта выходит в Москве с 1907-го по 1914-й. Этот поэт умел мыслить, умел фантазировать, умел слагать.

В 1913 году добрые Романовы по случаю династического 300-летнего юбилея объявили политическую амнистию, и Бальмонт вернулся в Россию. Теперь он прочно забыт, его читают только профессиональные литературоведы, а зря. Чего стоит только один его трактат о Люцифере, о Великом змее, давшем бесконечность Миру, который был создан Богом для определенных границ. Оказывается, восстание Люцифера было самопожертвованием во имя Человека; Люцифер освободил людей от власти Бога и законов природы (теперь вы понимаете, почему многие от Бальмонта просто шаркались?). Ну хотя бы несколько строк: «Но, наконец, всем в Мире стало ясно, что замкнут Мир, что он известен весь, что как желать не быть собой напрасно, так наше Там всегда и всюду Здесь, и Небо над самим собой не властно. <...> Всё было серно-иссиня-желто. Я развернул мерцающие звенья, и, Мир порвав, сам вспыхнул, — но за то, горя и задыхаясь от мученья, я умертвил ужасное Ничто. <...> Вновь манит Мир безвестной глубиной, нет больше стен, нет сказки жалко-скудной, и я не Змей, уродливо-больной, я — Люцифер небесно-изумрудный, в Безбрежности, освобожденной мной». Это не принял Запад, это забыла Россия. Бальмонт до

сей поры котируется как переводчик. Переводчик-соавтор, привнесший в чужие стихи свои мысли и интерпретации. Особенно ему удались Эдгар По (родная мистическая душа!), Оскар Уайльд (тоже «кошунник» и «дерзец»), Теннисон, Мюссе, Генрих Гейне, Шелли. Его перевод «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели — лучший до сих пор. Его перевод — соавторство, а не посредничество. Вот посмотрите на Э.По: «Половины такого блаженства узнать серафимы в раю не могли, оттого и случилось (как ведомо всем в королевстве приморской земли): ветер ночью повеял холодный из туч — и убил мою Аннабель-Ли».

Он был первым ницшеанцем в России, и в христианской, богобоязненной стране это было влекущим и пряным дополнением к его стихам. Он много переводил из Ибсена. И у него была своя Сольвейг. Разругавшись с первой женой, поэт влюбился в прекрасную Екатерину Алексеевну Андрееву, красавицу из богатой купеческой семьи: высокую, тонкую, с чудесными черными глазами. К тому же она окончила Высшие женские курсы. Развод с первой женой был делом решенным, но вы представляете, как любил ницшеанца Бальмонта, назвавшего Христа «философом для бедных», Святейший синод!

Родители Сольвейг были благочестивы, поэт — и нечестив, и женат. Им запретили видеться. Но Катенька была под стать Бальмонту: свободная, без комплексов, увлекалась теософией, так что еще до развода переехала к поэту. В 1896 году завершился бракоразводный процесс, и решение было самым иезуитским: жене дозволялось вступить во второй брак, а мужу — запрещалось навсегда. Обвенчались наши мятежники по подложным документам, а родители жены были рады и тому, что Бальмонт вообще решил венчаться. Они боялись «преступного сожительства». В приданом отказали, но деньги Кате давали (ее карманные расходы как раз превышали годовые доходы Бальмонта). Но поэт был влюбчив и «черноглазой лани» охотно изменял. Однако Катя была умна и смотрела сквозь пальцы на романы мужа. Он даже пленил жену Брюсова, своего друга, Иоанну Матвеевну. Потом была Е.К.Цветковская. Но это что! Он ведь влюбился в поэтессу Мирру Лохвицкую, писавшую эротические стихи в духе «Песни песней».

Эту связь он афишировал. Кстати, Мирра была родной сестрой Тэффи. Тесен мир!

А потом он стал еще теснее для Бальмонта, Тэффи, Бунина, Гиппиус, Мережковского и всей их компании поэтов Серебряного века, которым удалось выжить в Европе. Русская литературная диаспора — это был самый тесный кружок и самый последний из всех. Почти кухня. И в конце пути — Сент-Женевьев-де-Буа. Но это все-таки не Колыма, не вечная мерзлота, в которую положили Мандельштама с биркой на голой тощей ноге... И это не петля в Елабуге, и не очередь с передачами, в которой больше десяти лет стояла Ахматова...

Когда наступит Февраль, Бальмонт будет в восторге, как многие поэты. Когда придет Октябрь, ему станет категорически противно. Нет, он даже пытался работать у Горького в его шарашке «Всемирная литература», но молчать он не умел. И опять был пущен в ход поэтический кинжал. Он заявил публично, что поэты — не планеты, чтобы вращаться вокруг революционных солнц. Поэты — кометы, они идут мимо планет и солнц, и никто не составляет им маршрута. Еще несколько лет, и он заплатил бы за это жизнью. Но 1920 год — это еще полный бедлам, нет еды и топлива, и большевикам не до поэтов. Юрис Балтрушайтис похлопотал, и Бальмонту позволили уехать в июне 1920-го в Эстонию. Потом он перебрался в Германию, а оттуда — в нашу российскую Мекку — во Францию.

Он проживет долго, до 1942 года, будет читать в 30-е лекции в Польше, Болгарии, Литве. Он будет беден, но на уровне Парижа, а не карточной России. Он будет тосковать, но молча, без жалоб, без банальностей о безрезках и снегах. Ему и в голову не придет возвращаться. Он будет писать и переводить. Умрет он под Парижем, во время оккупации, в маленьком приюте для русских литераторов. Все-таки 77 лет. Декаденты — люди живучие, потому что их не могут убить штампы «о служении народу», «раньше думай о Родине, а потом — о себе», о пользе обществу. Плевать декадентам на эти штампы. И даже карту СССР Бальмонт себе не купил, чтобы флажками отмечать успехи Красной армии. Он просто написал правду, правду о поэтах и кометах:

Есть люди, присужденные к скитаньям,
Где б ни был я, — я всем чужой, всегда.
Я предан переменчивым мечтаньям,
Подвижным, как текучая вода.

Передо мной мелькают города,
Деревни, села, с их глухим страданьем.
Но никогда, о, сердце, никогда
С своим я не встречался ожиданьем.

Разлука! След другого корабля!
Порыв волны — к другой волне, несхожей.
Да, я бродяга, топчущий поля.

Уставши повторять одно и то же,
Я падаю на землю. Плачу. Боже!
Никто меня не любит, как земля!

Счастливая, долгая, благополучная жизнь. Может
быть, Бальмонт первым понял, что Земля людей и Земля
поэтов крутятся в разных галактиках.

ТРАГИЧЕСКИЙ ТЕНОР ЭПОХИ

Черные розы плавали в бокалах «золотого, как небо, Аи», черный огонь сжигал светлые мысли, вздымавшиеся в растерзанных сердцах, и роковая тоска клонила к земле ковыли, по которым бесшумно скакали табуны степных кобылиц. Сладкое томление конца, желание броситься в бездну, загробный поцелуй, которым поэт почтил и отпел свой мир, свой Серебряный век, последний век, отпущенный России, с послевкусием, фантомом последних 17 лет нового века — вот что вошло в наш Храм Искусства вместе с Блоком. В Храме зазвучал хорал, Реквием печальных и прекрасных ангелов, оплакивающих страну и всех в ней живущих. До самой развязки в жизни поэта всё было на редкость тихо и гладко, а тихие воды глубоки, и именно тишиной и зеркальностью воды отмечены омуты, где со дна поднимаются страшные нездешние силы, о которых лучше не знать.

Блок был русской Алисой, в недобрый час побывавшей в Зазеркалье, но не смешном и парадоксальном Зазеркалье Льюиса Кэрролла, английском сказочном Зазеркалье Кроликов и Чеширских котов, а в жутком Зазеркалье обреченной России. Всё, что он успел ощутить и понять, он излил на бумагу, предвещая и приближая роковой час.

Родился он в ледяном и сказочном Петербурге в ноябре 1880 года. Свободомыслящие, деятельные, состоятельные (настолько, чтобы никогда не думать о деньгах) интеллигенты, российские аристократы духа, были его предками, его семьей, его питательной средой. Мать, разделявшая мистические чаяния сына, Александра Андреевна Бекетова, была переводчицей, а ее отец, Андрей Николаевич Бекетов, дед Блока, — ректором Петербургского университета, веселым фрондером, энциклопедистом, большим ненавистником власти, но без хамства, свысока. Он и воспитал во внуке это элитарное презрение интеллектуала к чиновникам, жандармам,

престолам. Пылкая Сашенька опрометчиво вышла замуж за юриста Александра Львовича Блока, профессора права Варшавского университета. Он был образован, умен, но ревнив и скуп, и еще до рождения младенца Саши Сашенька-мать вернулась к отцу. Но драм и страданий не было, малыш рос в сказочном саду, в имении Шахматово. Дед — «якобинец, кристальной души радикал», по словам Пастернака, заменил Блоку отца. Правда, Александра Андреевна еще раз выйдет замуж, в 1889 году. Сашу отдадут во Введенскую гимназию, которую он в 1898 году без проблем и окончит.

В 1897 году, в 17 лет, на немецком курорте Бад-Наухайм поэт встретит свою первую любовь — Ксению Михайловну Садовскую. А как Саша был красив! Кудри, огромные глаза, трагический взор, аристократический вид, прекрасные костюмы... Разве такому откажешь! Роман с Садовской продлится несколько лет, он посвятит Ксении стихи (которые начнет писать еще в раннем возрасте). В «Ante Lucem» есть эти ранние стихотворения. Окончив гимназию, Блок поступает в Петербургский университет, на юридический факультет, но в 1901 году переведется на славяно-русское отделение историко-филологического факультета, что ему подходит гораздо больше. Блок жил жизнью духа и не опускался до певичек и кутежей. Много занимался, увлекался театром, играл в драматическом кружке. В 17 лет блоковские стихи уже можно считать новаторскими. Символистов в России было много, но вот Блок — один. Тогда же Блок знакомится со своей Незнакомкой — Любовью Дмитриевной Менделеевой, дочерью великого ученого. Она станет его звездой, той самой, из пьесы. Она спустится к нему с небес и сделается героиней блоковского театра и блоковских стихов: царевной, Коломбиной, Мэри, «Держашей Море и Сушу неподвижно тонкой рукой», Незабываемой.

В 1901 году Блок вчитается в Платона и ахнет: да, конечно, кроме реального мира, есть верхний, высший мир идей! Нежелание возиться с реальным миром обретает обоснование, идейную основу. Весной 1903 года Александр Блок, поэт и небожитель, печатает свои первые стихи в петербургском журнале «Новый путь» и московском — «Северные цветы». Он объявляет себя символистом

(хотя он просто гений) и устанавливает поэтические связи с собратьями-символистами из Москвы — Валерием Брюсовым и Андреем Белым, и Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус.

Кипучая символистская жизнь не помешала Блоку в августе того же года жениться на прекрасной Менделеевой. Не обошлось, конечно, без слез, молений, души, повергнутой к стопам Прекрасной Дамы. Это любят все женщины, даже Незнакомки. Но в дальнейшем они жили если не счастливо, то по крайней мере поэтично и спокойно, без вульгарных сцен и измен, не менее вульгарных. Прекрасные Дамы и Звезды, падающие с небес, едва ли годятся в жены. Эти чудные изваяния должны оставаться на своем пьедестале. А Блок был слишком поэтом, чтоб ревновать и унижать свой идеал кухней и детской. Детей у этой красивой пары так и не будет (так же, как и у Мережковского с Гиппиус). В жизни Блока и Менделеевой в последний раз, перед концом, на прощание, воскресла великая русская дворянская культура, помноженная на творческие искания и муки не разночинской, а элитарной интеллигенции. Белые стройные колонны усадеб, благоухающие клумбы, горничные в кружевных передничках, лужайки и липы старинного дедовского парка, помнящего начало XIX века... Всегда есть деньги, и садовник, и можно путешествовать, и писать не ради куска хлеба, и чистая, незамутненная злобой и корыстью душа проникает в Зазеркалье и надзвездный мир. «Если дух твой горит беспокойно, отгоняй вождения прочь. Лишь единая мудрость достойна перейти в неизбежную ночь». И зря злословили современники: не был Андрей Белый любовником Любви Менделеевой. Он тоже искал вдохновения, тоже поклонялся кумиру.

Брак Блока был выстроен по схеме из его стихов: он — рыцарь, он идет за «огненной весной», он несет «из сечи — на острие копья — весну». А она хранит свой «лед и холод», замкнувшись в «хрустальном терему».

Не все любили Блока так, как любила его восторженная Марина Цветаева: «Было так ясно на лице его: Царство мое не от мира сего». Алексей Толстой вывел его в своем «Хождении по мукам» в роли Бессонова, кумира юных дев и госгиных, жалко окончившего свою жизнь на войне, чуть ли не съеденного волками, а до этого

возившего влюбленных дур в загородные гостиницы на одну ночь. Просто в те последние годы Блок был мэтром, кумиром, признанным великим поэтом, и Толстого грызла элементарная зависть.

В 1904 году выходит первая книга гения — «Стихи о Прекрасной Даме».

Но в 1905 году наш мистик и пророк ловится на дешевую приманку противостояния миру и на какой-то очередной демонстрации хватается красный флаг и несет его. Блок вдруг замечает народ и даже посвящает ему пару стихотворений, а эсеры-шахиды подкупают его своей жертвенностью и обреченностью. Быть против жизни, против власти, против эпохи — поэтично, и такой поэт-мистик, конечно, не может устоять. «Туда, туда, смиренней, ниже. — Оттуда зримей мир иной... Ты видел ли детей в Париже, иль нищих на мосту зимой?» Он чувствует, что веку сломают шею: «На непроглядный ужас жизни открой скорей, открой глаза, пока великая гроза всё не смела в твоей отчизне». «А делать-то что?» — спросите вы. И получите дерзкий, великолепный, опасный и бесполезный ответ поэта, который по определению не отвечает за свои слова и призывы: «Всю жизнь жестоко ненавидя и презирая этот свет, пускай грядущего не видя, — дням настоящим молви: нет!» А в 1906 году Блок заканчивает университет и перестает соприкасаться с курсистками и студенческими революционными землячествами. Это не его среда, он типичный «белоподкладочник», барин, аристократ. Его книги выходят каждый год. 1907-й: «Нечаянная радость» и «Снежная маска»; 1908-й: «Земля в снегу», «Город» и «Лирические драмы»; 1909-й: «Итальянские стихи» и драма «Песня судьбы». Судьба-то точно была индейка. Блок провидит путь всей русской интеллигенции, покорно идущей на грядущую бойню, под нож: «Путь твой грядущий — скитанье, шумный поет океан. Радость, о, Радость-Страданье — боль неизведанных ран!» В Париже и в Ницце, в Чехии и в Болгарии, в Стамбуле и в Крыму читатели Блока вспомнят эти стихи.

А в 1908 году — протуберанец из этого безнадежного завтра: «народ», то есть чернь, разгромит блоковскую родовую усадьбу (в 1917 году и библиотеку дедовскую сожгут). Покорный Року поэт скажет: «Так надо». Это целая

философия. Через сорок лет Павел Коган повторит: «Я говорю: "Да здравствует история!" И головою падаю под трактор...» А начало этой философии самоуничтожения, смирения перед судьбой, преклонение перед не стоящим того народом ищите у Блока: «И пусть над нашим смертным ложем взвывается с криком воронье, — те, кто достойней, Боже, Боже, да узрят царствие твое!» Никогда не надо торопиться уступать свое место под солнцем, это место надо отвоевывать и защищать. Блок пытался принять на себя грехи века, российских крепостников, Третьего отделения, опричников, Иоанна Грозного. Хуже того: он проповедовал, что за эти чужие грехи должно погибнуть целое поколение.

А в 1909 году поэт путешествует по Италии и Германии. Ни один итальянский или просто европейский поэт не напишет так об итальянской готике. О Сиене: «Когда страшишься смерти скорой, когда твои неярки дни, — к плитам Сиенского собора свой натруженный взор сложи». О Равенне: «А виноградные пустыни, дома и люди — всё гроба. Лишь медь торжественной латыни поет на плитах, как труба». Блока хватило не только на витражи нашего Храма, он расцвел и итальянское Возрождение.

С 1910-го по 1912-й Блок пишет эпос-поэму «Возмездие». Два века предстают пред нами, и особенно страшен XX век: «И отвращение от жизни, и к ней безумная любовь, и страсть и ненависть к отчизне... И черная, земная кровь сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи...»

К счастью, Блок не досмотрел этот киносеанс до конца: его певчего сердца не хватило до 30-х, до 40-х. Он не мог бы писать запекшейся кровью, как русская поэтесса, сиречь русская баба Ахматова: женской выносливости у него, на его счастье, не было. Он предсказывал: «В новой снеговой купели крещен вторым крещеньем я». «Я так устал от ласк подруги на застывающей земле. И драгоценный камень вьюги сверкает льдиной на челе»; и опять ужас и тоска покорно ожидаемого конца: «Но посмотри, как сердце радо! Заграждена снегами твердь. Весны не будет, и не надо: крещеньем третьим будет — Смерть».

Но есть еще немного лет, и в 1911–1912 годах выйдет его трехтомник, а в 1911 году Блок поедет путешествовать

по Старому Свету: Франция, Бельгия, Голландия, Германия. В 1913-м, последнем году старого мира, он успеет съездить во Францию, на Бискайское побережье, которое навеет ему драму «Роза и Крест».

Романов не было, но, восхитившись дарованием и красотой актрисы Н.Н.Волковой и певицы Л.А.Дельмас, Блок посвящает им свои сборники стихов: Волковой — «Снежную маску», цыганистой Дельмас — «Кармен» и «Арфы и скрипки».

Великого поэта поняли только равные, такие же великие поэты. Анна Ахматова запечатлела его в последние ночи Серебряного века: «И в памяти черной пошарив, найдешь до самого локтя перчатки, и ночь Петербурга. И в сумраке лож тот запах и душный и сладкий. И ветер с залива, а там, между строк, минуя и ахи, и охи, тебе улыбнется презрительно Блок — трагический тенор эпохи».

А потом начнется война, и Серебряный век потеряет свой блеск, свою звонкость, свою роскошь, свою беспечность, свою счастливую праздность, потому что работа в охотку, работа интеллектуалов, работа не ради куска хлеба — не бремя, а творчество. А так работала вся элитарная интеллигенция, так «работали» все поэты.

В 1916 году ангела и полубога, кумира интеллигенции Блока забривают в армию (эту райскую птицу!), и он больше года служит в инженерно-строительной дружине (ничего в этом не понимая). Он вернется в мае 1917-го, уже понадобится хлеб, и Блок «загремит» редактором стенографических отчетов в Чрезвычайную следственную комиссию, расследующую деятельность царских министров (ни в чем не повинных). Будет ходить на допросы в Петропавловку, и это доведет его до невроза. Он еще пытается написать документальную книгу о последних днях императорской власти, но Блок — не Маяковский, он насилует себя, надсаживается, выходит ерунда. Новый мир оказывается хуже старого: более пошлым, мещанским, более зверским.

В осьмушках черного хлеба, в селедочных хвостах, в махорке и гоготе солдатни, в холоде нетопленных квартир, в насилии и терроре не было ни гармонии, ни романтики. Блок перестает писать стихи с 1916 года. Потом скажут, что он умер с голоду. Ложь: для большевиков

он был слишком ценным «заложником-сторонником». Горький подкидывал и маслица, и дровишек, и мучицы. Но музыки он подкинуть не мог, и сам ведь вскоре, написав «Несвоевременные мысли», уберется из своей «революционной России». Блок перестал слышать музыку: залпы «Авроры» и оскал Гражданской войны и чрезвычайка оборвали аккорд.

В 1918 году он хочет преодолеть тошноту, понять «народ», и пишет статью «Интеллигенция и Революция», где неумело и неудачно пытается оправдать новую власть. Интеллигенция + Революция = ГУЛАГ. И больше ничего. А врать Блок не умел. В 1918 году он «наступит на горло своей песне» и напишет «Двенадцать» — дикий коктейль из бандитского шансона, отрывков из большевистских декретов и профанации христианства. Но, опять-таки, он не умеет лгать, и Христос в «белом венчике из роз» у него идет впереди двенадцати бандюганов-красногвардейцев, как конвоируемый идет на расстрел. От Блока отрекутся самые близкие друзья, Гиппиус и Мережковский. Блок умрет так, как умирают только поэты: от горя, от отчаяния, умрет раньше, чем расстреляют Гумилева. Его сердце разорвется 7 августа 1921 года. Соловьи не поют в клетках, а Россия становится клеткой.

Вторым великим собратом, понявшим Блока, будет Пастернак.

Блок на небе видел разводы.
Ему предвещал небосклон
Большую грозу, непогоду,
Великую бурю, циклон.

Блок ждал этой бури и встряски,
Ее огневые штрихи
Боязнию и жаждой развязки
Легли в его жизнь и стихи.

БОЯРЫНЯ ЦВЕТАЕВА

Простые розвальни из жердинок, даже не телега, а черт знает что, тянутся по навозному снегу. Бежит сбоку невымытый лысый юродивый, который не прошел бы ни один дресс-код, пригорюнились бабы. Стражи не видно, а может, конвоя этого и вовсе нет. На дровнях сидит худая, очень злая на вид женщина в черном, почти монашеском убранстве. В ее горящем взоре — исступление, в ее жесте — фанатизм. Она показывает толпе (а заодно царю и патриарху и всей честной Руси) два перста. Она раскольница, она за двоеперстное крещение, она пойдет за это на смерть. Ее не сожгут в срубе, как ее учителя Аввакума, ее вместе с боярыней Урусовой уморят голодом в тюрьме. Перед смертью она будет просить у вертхая-стрельца калачика. Он не даст, только согласится выстирать сорочку. Стоила ли человеческая жизнь меньше пустого двоеперстного кукиша? У раскольников своя смета, они всегда — поперек. А поэты — всегда немножечко раскольники. Особенно русские поэты. Марина Цветаева любила Пушкина, боготворила Блока; восхищалась Цветаева и Маяковским, и Ахматовой. Чувствовала их внутренний раскол, чуяла «своих». Они же все кололись сначала с властью, потом с реальностью, с окружением, со своими вчерашними взглядами.

Поэт всегда пристрастен, несправедлив, горяч и неразумен. Он преувеличивает, его заносит. И поэта, и русского. У Бодлера есть серия стихов «Проклятые поэты». У Мережковского в одном эссе доказано, что мы, русские, тоже такие: и поэты, и проклятые, и раскольники. Русский поэт, русский бунтарь, русский раскольник Марина Цветаева должна была всё это вынести на своих хрупких плечиках вместе с нелегкой женской долей, а была она к таковой доле абсолютно не готова, особенно в голодную и холодную осень трех первых лет нашей Смуты.

Кажется, что это была сплошная осень, разбавляемая лишь холодной голодной зимой. Какой-то мартобрь;

какие-то февралистые октябри или декабрье январь. Такое это время: без дровинки, без сахара, без мяса, с мерзлыми картофелинками и морковным чаем со свеклой вприкуску. А конина считалась пищей богов. По воспоминаниям Ариадны Цветаевой, Грина (у него мемуары в виде новелл, например, «Фанданго», «Крысолов»), по стихам Маяковского, рассказам Замятина и Платонова, по пастернаковскому «Живаго», по блоковским «Двенадцати», по новеллам А.Н.Толстого, по бунинским мемуарам, 1917-й с ноября, 1918-й, 1919-й, 1920-й, большая часть 1921-го — это какая-то сплошная блокада, мрак, холод, голод, исчезновение близких, ненависть, сожжение на идеологических кострах всей прежней розовошкой, сытой, легкомысленной, нарядной человеческой жизни. Поэты не любят пошлости, но когда исчезают пошлость, гламур, обыватели, исчезает и жизнь.

Бедная маленькая Марина! Она ведь так и не выросла, она осталась ребенком, храбрым, пылким, гениальным, наивным ребенком. И вся эта лавина двигалась навстречу ей, ее иллюзиям, ее солипсизму. Она родилась в октябре 1892 года, и человеческой жизни оставалось двадцать пять лет. Маринина семья была не просто элитой, а интеллектуальной сверхэлитой. Ее знала вся Россия. Иван Владимирович, профессор-искусствовед, основал Музей изобразительных искусств на Волхонке, куда нас всех в детстве водили, как к первому причастию. Встречал нас прекрасный Давид, и мы робко приникали к плитам Греческого дворика. Маринина мать, Мария Александровна Мейн, была музыкантшей, пианисткой, ученицей Рубинштейна. Но отец женился на ней вторым браком, уже в зрелом возрасте, и тайно продолжая любить покойную жену. Чуткие Марина и Ася это скоро поняли. Ася родилась в 1894 году и стала верным Марининым пажом и оруженосцем. Кажется, это положение при гениальной сестре не тяготило ее. А были еще дети от первого брака, Лера и Андрей. Лера жила в верхнем этаже, и в день ее именин Мария Александровна посылала Асю наверх с подарком — золотой монетой.

Марина рано начинает читать серьезные книги и писать романтические стихи. В 17 лет у нее уже что-то получается, слышен отдаленный гром грядущей поэтической грозы.

«О золотые времена, где взор смелей и сердце чище! О золотые имена: Гек Финн, Том Сойер, Принц и Нищий!» Но Мария Александровна в 1902 году заболевает чахоткой. Марине десять лет, но, поскольку семья уезжает за границу, маленькие Цветаевы меняют пансион за пансионом, гимназию за гимназией: Италия, Швейцария, Германия. В 1905 году они едут в Крым, в Ялту. А там все бредят Шмидтом, революционным лейтенантом, там негодуют и проклинают адмирала Чухнина, громившего «Очаков». И кто тогда избежал обаяния этого образа? Куприн, Пастернак — все подпали под чары этой безумной, вредной и иррациональной романтики. Тогда и впредь. Вплоть до Шуры Балаганова и других сыновей героя. Но Ялта не помогла, и Цветаевы возвращаются в любимое Марино место на земле, в Тарусу, где они отдыхали летом. «Тихая и голубая плещет Ока». Дни в Тарусе Марина потом сравнит с «разноцветными бусами». Это ее Земля обетованная. Она выберет ее для последнего приюта. Но этому сбыться было не суждено. Однако просьбу Марины местные ее почитатели выполнили: на большом камне высекли слова: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». Время не пожалело Марину. Надеюсь, оно хотя бы сохранит эту плиту.

В 1906 году мать Аси и Марины умрет в любимой Тарусе. Марина была в таком шоке, что не могла жить в осиротевшем доме, в Трехпрудном переулке. («В переулок сходи Трехпрудный, в эту душу моей души».) Она принимает странное решение и поступает в интернат при московской гимназии. Марина — с детства максималистка, она сменила три гимназии из-за своей ранимости и конфликтности. Она рубит сплеча. Вот, скажем, история с переводом. Она перевела «Орленка» Ростана. Перевод был очень хорош, по словам Аси. Но когда Марина узнала, что «Орленок» уже переведен, она уничтожила свою версию. А сколько есть переводов Шекспира! А «Фауст»? Ни Лозинский, ни Пастернак своих версий не рвали. И Ростан, и Орленок — юный сын Наполеона, умерший в Австрии, — очень подходили Марине. «Если здесь аресты, я участник» — как это по-дворянски и как это по-цветаевски!

«Боярыня Марина» — это обязывает. У Марины была польская бабушка, от портрета которой за версту отдавало

шляхтой, ее гордыней, ее стоицизмом. Недаром же Цветаева отождествляла себя с Мариной Мнишек! С Мариной, авантюристкой Мариной, которая посмела претендовать на царский престол. Цветаевой не надо было претензий, великие поэты — цари и даже превыше царей. Она скоро найдет себе царевича, и он погубит ее жизнь, как Дмитрий-Григорий погубил жизнь дочери польского пана.

В 1908 году Цветаева окончила гимназию. Летом 1909-го она едет в Париж, где слушает лекции по старофранцузской литературе в Сорбонне. Прекрасный и бесполезный для жизни предмет! И это тоже в Маринином характере. Лишнее важнее необходимого. Марине не пришло в голову идти в университет. Она — гуманитарий и хочет быть поэтом. Все-таки печатается с 16 лет.

В 1910 году Марина издает за свой счет сборник стихов «Вечерний альбом» тиражом в 500 экземпляров. Но до этого, если верить Асе, попытается покончить с собой. В 1909 году. Прямо цитата из ее же стихов, молитва, мольба: «Ты дал мне детство — лучше сказки и дай мне смерть — в семнадцать лет!» И это тоже цветаевское, максималистское, поэтическое: умереть юной, чистой, бескомпромиссной, умереть, пока не убили душу, пока жизнь не стянула вниз за ноги с Парнаса. Стихи благосклонно замечены «взрослыми» поэтами. Добрый Максимилиан Волошин зовет ее в свою Элладу, в обитель Муз, в Коктебель. Он давно играет там роль Аполлона и дает Музам, юношам и юницам, мастер-класс. И там возникает этот самый царевич: Сергей Яковлевич Эфрон. Он сирота, сын революционеров, совсем мальчик, на год моложе Марины. И он очень левый: цареубийцы, Брут, Кассий, лейтенант Шмидт, Учредилка. При этом он кадет Офицерской академии. Марина приезжает в Крым в 1911 году, тут же они знакомятся, в январе 1912 года — уже свадьба. Ранние скоропалительные браки обычно распадаются, но этот, к сожалению, не распался. Великая жена выдумала своего вполне заурядного мужа, имени которого никто бы и не узнал, если бы он не был мужем Марины Цветаевой и не составил несчастье ее жизни.

Марина была очарованная душа, она дописывала, додумывала людей. Она привязывалась к ним со страстью и восторгом, и нередко ее отталкивали или не понимали.

Чего стоит одна только Сонечка, хорошенькая девица, ничем, впрочем, не замечательная, которая получила от Марины повесть, кучу восторгов, море любви ни за что ни про что и даже не сумела это оценить, в конце концов сбежав от Марининых восторгов! Марина была максималисткой во всем и перед любимыми поэтами буквально становилась на колени, как перед Блоком («Опущусь на колени в снег и во имя твое святое поцелую вечерний снег»). «Вседержитель моей души» — это очень большой перебор. Хотя, пожалуй, лучше, чем тому же несчастному Блоку не подавать руки. Я, кажется, понимаю, почему Рильке не ответил на страстные Маринины письма. Испугался. Принял за ошалевшую поклонницу. Не разглядел гения. Ведь только у Марины, у Лорки да еще у Моцарта была эта редкая смесь детскости и гениальности. Но Лорку хотя бы убили быстро, и он до последних минут не верил, что его могут расстрелять. Угрюмым фалангистам, которые везли его на казнь, он рассказывал, как в лагере создаст театр и какие спектакли будет ставить. А когда понял, повел себя как испуганное дитя: плакал, его руки не могли оторвать от борта грузовика. Как фалангисты смогли, как у них поднялась рука, я не знаю... Веселый и доверчивый Моцарт тоже вполне бездумно выпил свой яд. Блаженство неведения... Хуже всех было Марине. Боярыне Морозовой, боярыне Цветаевой, бедной донне Анне Ахматовой, бедному апостолу Осипу Мандельштаму... Нам здесь, в России, всегда было хуже всех.

В том же 1912 году выходит Маринин сборник «Волшебный фонарь». И сразу же — еще один, «Из двух книг». Рождается Ариадна, Аля, дитя-эльф с огромными глазами, которую нашли в стихах, как в капусте. В пять лет она декламировала стихи Блока, причем в стиле фэнтези.

Иногда Марине сладко жить на свете, и она сочиняет оду Тверской, «колыбели полудетских сердец», где они гуляли с Асей и смотрели, как, «возвышаясь над площадью серой, розовеет Страстной монастырь». Тогда ей казалось, что «всё пройдем мы с любовью и верой». Иногда же (уже в 1913-м, в 21 год) она видела свою могилу и говорила из нее с прохожими. «Не думай, что здесь — могила,

что я появлюсь, грозя... Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя!.. Сорви себе стебель дикий и ягоду ему вслед: кладбищенской земляники крупнее и слаще нет».

Еще ни один прохожий не отыскал в Елабуге могилу Марины Цветаевой, и еще никто не видел плиты из этого стихотворения: «Прочти — слепоты куриной и маков набрав букет — что звали меня Мариной и сколько мне было лет». Здесь уже осадок горечи, предощущение ужаса. А повод появится скоро... Марина посвящает стихи Сереже, своему царевичу. Марина читает стихи в Феодосии, на фоне любимых волн. («— Доверься морю! — Не обманет. Плыви, корабль-корабель! Я нянюшка — всех лучше — нянек, всем колыбелям колыбель... Не будет вольным володеньям твоим ни краю, ни конца... Испей, сыночек двухнедельный, испей морского питьеца. Испей, испей его, испробуй! Утробу тощую согрей. Иди, иди ко мне в учебу — к пенящейся груди моей!») Изменчивое, ласковое, смертельное море, вольное, неоседланное, неукротимое — это Маринина стихия. Морское имя, морские повадки сирены и русалки.

Но в августе 1913 года умирает Маринин отец, и это ужасно. У ребенка не осталось родителей. Опоры больше не будет никогда. Марина со страстью обустроивает свой домик в Москве, они с Сергеем въедут туда в 1914 году. И Марина покинет его только вместе со страной, в 1922 году. Собачья площадка, Борисоглебский переулок, № 6, второй этаж, кв. № 3. Он стоит и поныне. В квартире было семь комнат, витражи, печи с цветными изразцами, красивая лепнина стен. Три года счастья и безмятежности еще оставались у Марины. Она едет в Питер — и в 1915 году, и в 1916-м. Но не может встретиться со своими кумирами — Ахматовой и Блоком.

В 1915 году, в том же Коктебеле, этой вечной кухне (начало XX века, 60-е, 70-е) русской интеллигенции и русской богемы, Марина знакомится с Мандельштамом. Два сиротства, две будущих трагедии встретились. В 1915—1916 годах Марина много пишет: «Стихи о Москве» (и Москве она польстила!), «Стихи к Блоку», «Стенька Разин».

В апреле 1917 года рождается Ирина, вторая дочка Марины. Осенью Марина с Сергеем опять едут в любимый

Крым, а Катастрофа уже за спиной. Двадцать пятое ноября Марина возвращается за детьми, чтобы забрать из кошмара, увезти к морю, пересидеть Смуту. Но обратно в Крым дороги нет. Пути отрезаны ножом Октября.

Марина ничего не понимала в политике (так же, как героически и сознательно погибший Гумилев). Но инстинктом гения и человека Света она хорошо поняла большевиков, детей Тьмы. К тому же Сергей Эфрон в январе 1918 года отбывает в армию Корнилова (единственный достойный поступок в его жизни). И здесь Марина становится не то что Ярославной, а Анкой-пулеметчицей, валькирией, летающей над полем боя. Вот зимой 1918 года она знакомится с Маяковским: он красный, она белая, но два поэта врагами не стали. В стране Поэзии нет гражданских войн и идеологических распрей. Тогда же Марина знакомится с Бальмонтом. Здесь и убеждения общие. Возникает долголетняя дружба. Понимает ли Марина, что происходит? Да. Завеса разорвалась, Дева Озера, Фея Моргана с Авалона резко попадает в реальность. Голод, холод, но прежде всего — подлость. Вот апрель 1918 года. «Андрей Шенья взшел на эшафот, А я живу — и это страшный грех. Есть времена — железные — для всех. И не певец, кто в порохе — поет. И не отец, кто с сына у ворот дрожа срывает воинский доспех. Есть времена, где солнце — смертный грех. Не человек — кто в наши дни живет». Марина довольно много сделала, чтобы не жить, и не ее вина, что большевики стихи не читали — в отличие от фалангистов, которые Лорку убили за «Романс об испанской жандармерии», единственное политическо-поэтическое произведение в его жизни.

Цветаева создает великое произведение, на все времена, на век вперед, лучшую историю Гражданской войны: «Лебединый стан» (1917–1921). Здесь нет житейской правды грязи и прозы, как у Булгакова (а он ведь правду написал в «Беге», «Днях Турбиных», «Белой гвардии»; было бы это ложью, не проиграло бы Белое движение). Но в Маринином черно-белом мире белые — без пятен, без червоточины. Рыцари света. Боги и Асы. Лебеди. А побежденным нужен миф; живя под красными, неконформисты страстно любили белых. Эти стихи запретят. Когда

до стихов дойдут руки, их прочтут в самиздате, их будут переписывать от руки. Они выйдут из подполья только в перестройку. «Белая гвардия, путь твой высок: черному дулу — грудь и висок... Не лебедей это в небе стая: белогвардейская рать святая... Старого мира — последний сон: Молодость — Доблесть — Вандея — Дон».

Для создания мифов нужны гениальные дети, не видящие изнанки и теней. Здесь Цветаева была в самый раз. «Кто уцелел — умрет, кто мертв — воспрянет. И вот потомки, вспомнив старину: — Где были вы? — Вопрос как громом грянет, ответ как громом грянет: — На Дону! — Что делали? — Да принимали муки, потом устали и легли на сон. И в словаре задумчивые внуки за словом “долг” напишут слово “Дон”».

И ведь у Марины был свой персональный лебедь, свой декабрист. Она любила Сергея вдвойне, он был не просто муж, а герой, рыцарь, ангел. «Где лебеди? — А лебеди ушли. — А вороны? — А вороны остались. — Куда ушли? — Куда и журавли. — Зачем ушли? — Чтоб крылья не достались».

Журавли возвращаются каждый раз, а вот лебеди из теплых краев не вернулись. (Маринин лебедь вернулся, но для этого ему пришлось стать вороном.) Почему Марина уцелела? Почему с нее за такие стихи не сняли светловолосую голову? Ее спасло не только литературное невежество первых чекистов, ее спасло одиночество. Она не тусовалась ни с кем, не пила чай с недовольными и не вела контрреволюционные разговоры. А для заговора нужна компания, даже для вымышленного заговора надо потусоваться в среде диссидентов. Марину спас ее «джентльменский» набор предпочтений. Она ведь всегда говорила, что любит природу, музыку, стихи и одиночество. Одиночество ее и спасло. До такой степени большевики ее не вычислили, что даже пустили поработать в Наркомнац на полгода (1918 г.). И ушла она оттуда сама, зарекаясь «служить» где бы то ни было.

Со стихами дело обстояло хорошо, они лились потоком, но надо было еще и выживать в холодной и голодной Москве. А Марина оказалась совершенно к этому не приспособлена: прокормиться самой, прокормить детей. Она читает свои стихи в красноармейских чайных и клубах,

она выступает перед красными офицерами. На «бис» они всегда требуют прочесть «Песню красного офицера». На самом деле это замечательное стихотворение было посвящено белому офицеру, но оно замечательно амбивалентно и его можно было зачитывать в любой компании. «А зорю заслышу — Отец ты мой родный! Хоть райские — штурмом — врата! Как будто нарочно для сумки походной — раскинутых плеч широта... И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром скрежещет — корми — не корми! — Как будто сама я была офицером в Октябрьские смертные дни». За выступления давали паек. Но как Марину ни корми, она все равно смотрела в лес. Пайка не хватало, и какой-то идиот советует Марине отдать девочек в Кунцевский приют. Мол, там детей кормят, они спасутся. Марине, видно, казалось, что приют времен военного коммунизма — это что-то вроде ее гимназических и иностранных пансионатов. Там не крадут, прививают детям хорошие манеры... Аля успела заболеть, Марина забрала ее и выходила. Пока она спасала Алю, трехлетняя Ирина умирает в этом проклятом приюте от голода и тоски. (Марина не приехала, не проверила, не провела. В 1920 году, в феврале, человеческая жизнь легко обрывалась, особенно детская жизнь. А поэты имеют дело с гранитной, мраморной вечностью...)

Зато в том же 1920 году Марина пишет поэму «Царь-Девушка». Такой она сама хотела быть: на коне, победоносной. «Царь-Буря...» Для которой замужество — падение, предательство, гибель. Марина угадала свою судьбу... И в мае 1920 года Марина наконец видит своего кумира — Блока — во время чтения стихов. Поговорить не посмела. И уже не удастся поговорить: 14 июля 1921 года Марина получает «благую весть». Первое за четыре с половиной года разлуки письмо Сергея Эфрона «из глубины заграничных руд». Марина — декабристка, она не будет хуже Волконской и Трубецкой. Она едет следом за Сергеем. Одиннадцатого мая 1922 года один друг везет ее на Виндавский вокзал. Никто их с Алей не держит, не провожает. Большевики не раскусили Марину до конца. Ее выпустили.

В Берлине они не задержались. Они с Сергеем и Алей едут в Прагу. Сережа учится в университете и получает стипендию, а Марине чешское правительство дает

помощь, «литературное» пособие для писателей-эмигрантов. Чехословакия была добра к нашим изгнанникам. Марина назовет ее «родиной всех, кто без страны». Денежки еще капают от журнала «Воля России». На скромную жизнь хватает. Марина много работает, она пишет великую пьесу «Ариадна» (1924), гениальную поэму «Крысолов» (1925), где воспевает смерть так вкусно, что тут же хочется бежать топиться. «Одно ледяное! Одно голубое!» Цветаевская флейта звучит громче флейты Крысолова. «Поминай, друзья и родичи! Подступает к подбородочку...»

А в «Ариадне» и в «Сивилле», потом в «Федре» Марина находит то, что роднит ее с эллинами: отсутствие сожалений о несбывшемся, ослепительное солнце, наготу вещей, невысказанную красоту, мир без теней, детскую цельность, детскую жестокость, детское доверие. Эллада — детство человечества, а Марина — профессиональный ребенок. И здесь мы узнаем всё про ее поэзию и про Цветаеву-поэта, а Маринина поэзия была эталонной в смысле бесшабашности, драйва, силы и полного отсутствия рации.

В «Ариадне» Вакх говорит: «О, ни до у меня, ни дальше! Ни сетей на меня, ни уз! Ненасытен — и глаза алчу: только жаждою утолюсь». Тот, кто дерзает стать Творцом или хотя бы его со-трудником, должен выбирать: «между страстью, калечащей, и бессмертной мечтой, между частью и вечностью выбирай, — выбор твой!» Понятно, что выбрала Марина. Она не взвешивала и не мерила. «Что же мне делать, ребром и промыслом певчей! — как провод! загар! Сибирь! По наважденьям своим — как по мосту! С их невесомостью в мире гирь. Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, где наичернейший — сер! Где вдохновенье хранят, как в термосе! С этой безмерностью в мире мер?!» Здесь у Марины такая же история, как у Пиросмани:

— Искусство — всегда несчастный случай!

Вот и у Марины было так же.

В 1925 году у них с Сергеем родился долгожданный сын Георгий, или Мур, Мурлыга. Его Марина обожала, как всех поэтов, вместе взятых. Но стипендия Сергея кончилась, и Цветаевы перебрались в Париж. Что ж,

путь торный. В эту Мекку эмигрантов русские художники попадали все, рано или поздно. Марина проживет в Париже 14 лет. Она съездит в Лондон (1926), в Брюссель (1936), увидит Бретань, Савойю, Нормандию, Средиземное море. Денег у Цветаевых мало, живут на гроши. Но так живут все — и Бунины, и Мережковские, и Куприн. Но это все-таки человеческая жизнь, это свобода, творчество, красота Европы. Уехать — естественное решение («чтоб крылья не достались»). К тому же Цветаеву жалеют литературные и околотитулярные дамы (муж — не добытчик, двое детей). Они собирают ей в эмигрантских кругах пособие. А Марина, гений и дитя, бесцеремонна, может напомнить об этом «пособии» (по сути дела, милостыне). Зато почти каждый год, ну раз в два года, она может возить детей на море, в скромные отели и пансионаты.

В феврале 1926 года Марина читает свои стихи в парижском клубе. Триумф! В 1927 году она пишет свою гениальную «Федру». Рок, родовое, наследственное горе, месть богов. «Храбрецу недолго жить. Сам — намеченная дичь. Не к высокопарным умыслам, — божество влечется — к юности». Но Марина — раскольница, она всегда за меньшинство. Поэтому она и не смыслит ничего в политике. Еще в России у нее было: «Царь и Бог! Жестокой казнию не казните Стеньку Разина!» (Меньшинство, бандиты всегда меньшинство.) А потом просила Россию сохранить «царскосельского ягненка — Алексия» (когда в меньшинстве оказались Романовы). Так ведь или одно, или другое. Не добились с помощью Корнилова Стенок Разиных, и этим был предопределен расстрел царевича Алексея, всей семьи царя, и еще 40 миллионов несчастных погибли в застенках и ГУЛАГе. Марина этого не понимала, нарочно в 1928 году вела вечер приехавшего посланца Советской России Маяковского, «ломового архангела». Да, она одна его поняла, раскусила, оценила. Но она бросила политический вызов всей эмиграции, встала на сторону Совдепии. Маяковский был не только поэтом, а представителем советского истеблишмента. Почти вся русская эмиграция порвала с Цветаевой, а в 1931 году Сергей Эфрон начинает тосковать и метаться: в Париже он никому не нужен, и он так и не поймет, что

никому никогда не был нужен. Кроме Марины, выдумавшей его. Этот «белый лебедь» записывается в вóроны, то есть в просоветскую организацию «Союз возвращения на родину».

На родину возвращаются по-разному. Некоторые приползают на коленях и лижут руки. И все равно их бьют. Он не только просит советского гражданства, этот Сергей Эфрон. Он еще и становится советским разведчиком, идет на союз с дьяволом, с НКВД. Он решает вернуться в СССР «хоть тушкой, хоть чучелком». Но дьявола не обманешь, он сам отец Лжи. От Сергея требуют не клясть, а расписки кровью. Чужой кровью. Здесь Марине и надо было с ним порвать. Но великий поэт в этом смысле оказался простой русской бабой: муж всегда прав, не прекословь, подчиняйся. Вначале идея возврата в СССР ужасает Марину, но потом в ее стихах появляются новые, чужие нотки. Тянется роковая цепочка: тоска по родине, принятие политического режима родины — восхваление родины — ненависть к Европе и США — отъезд — попадание под советское ярмо — унижение — капитуляция. И часто еще и гибель. Началось с этого: «До Эйфелевой — рукою подать! Подавай и лезь. Но каждый из нас — такое зрел, зрит, говорю, и днесь, что скушным и некрасивым нам кажется <ваш> Париж. “Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь?”» Дети и поэты редко отличают пламя домашнего очага от пожара. И вот в 1935 году Марина на антифашистском писательском съезде встретится с Борисом Пастернаком. Они не поймут друг друга. Переписка получалась у них лучше. Маринина восторженность претила многим.

Родители идут на сближение с СССР, и это пагубно отразится на детях. Ариадна становится заядлой коммунисткой, в 1935 году уходит на какое-то время из дома. Ей только 23 года, но она хочет в СССР, делать революцию. И 15 марта 1937 года она, бросив семью, считая мать обывательницей, едет в Москву. Время самое подходящее, ничего не скажешь. Осенью 1937 года Сергей Эфрон оказывается замешан в скверном деле, в деле просто подлом: в убийстве бывшего советского агента Игнатия Рейсса, эдакого аналога Литвиненко, «выбравшего свободу». Надо бежать от французской полиции, а куда бежать

агенту НКВД? Только в Москву. Осенью 1937 года едет в СССР и Сергей Эфрон. Марина в шоке, она не знала ничего. Ее допрашивают в полиции, но она еще держится — ради Мура. А в стихах уже совсем ужасные вещи: «Сегодня — смеюсь! Сегодня — да здоровствует Советский Союз! За вас каждым мускулом держусь — и горжусь: челюскинцы — русские!» Это еще 1934 год.

Дальше — хуже. Появляются строчки: «Назад в СССР». Слабые и демагогические стихи. Посвящение Муру, что он не будет ни золотым, ни медным королем в Штатах (кто бы его туда звал; бедная Марина в своем стихийном антиамериканизме всерьез полагает, что в США золото и медь валяются под ногами, а профессия «миллионер» — самая распространенная). И «спортсменным» он тоже не должен был стать, как будто в занятиях спортом есть что-то предосудительное. Словом, Мур не должен был стать «отбросом страны своей». Роковой рейс из Гавра всё ближе. А тут еще Мюнхен, Гитлер, Чехословакия — такая родная, так преданная. В «Стихах к Чехии» Марина хорошо приложила нацистскую Германию и солидаризовалась с Чехословакией: «Полкарты прикарманила, астральная душа! Встарь — сказками туманила, днесь — танками пошла. Пред чешскою крестьянкою — не опускаешь вежд, прокатываясь танками по ржи ее надежд?» В Европе растет фашизм, в Европе — Муссолини и Гитлер. Европейская наивная интеллигенция с надеждой смотрит в сторону Москвы, которая не предавала Чехословакию в Мюнхене. А про пакт Молотова—Риббентропа узнают не скоро.

Марина разделяет общие заблуждения. Двенадцатого июня 1939 года Марина Цветаева с Муром отплывают «домой». А Ася Цветаева уже арестована (от Марины это скрыли). Клетка распаивается, принимает колибри и захлопывается навсегда. Восемнадцатого июня Марина приехала в Москву. Двадцать седьмого августа взяли Ариадну (она провела в лагерях и ссылках около 17 лет). А в ноябре этого же года арестовали Сергея. Гордая царь-девица превращается в испуганную маленькую девочку, которая верит, что взрослые дяди и тети обязательно разберутся и помогут. Марина носит передачи мужу и дочери. Дважды бедная женщина пишет Берии письма с просьбой «разобраться» и помочь.

Самый добрый людоед на свете, конечно, на такую глупость даже не ответил. Марина встречается в июне 1941 года с Ахматовой, но та ей, похоже, ничего не объяснила. Марина не напишет свой «Реквием», она не проклянет публично Сталина, СССР, коммунизм, как можно было ожидать. Сразу кончаются все позы, весь раскол, весь нонконформизм. Она будет их просить и умолять до конца! Ради сына, дочери, мужа, сестры. В ГУЛАГ загремит вся семья. Античная трагедия стала явью, и ерундой оказались все проблемы Федры и Ариадны. Но Марина Цветаева не смогла бросить вызов местным советским богам, хотя бы так, как это сделали Ахматова и Мандельштам. И эта страшная дистанция между величием стихов и тщетой человека — главная драма ее жизни, куда ужаснее петли.

Марина пишет жалкое письмо в ЦК, просит жилье, работу, рассказывает о своем бедственном положении. В ответ для Гослитиздата в 1940 году готовится сборник Марининых стихов. Но после выхода рецензии Корнелия Зелинского его зарубают. Это 1940 год, а в апреле 1941-го Цветаеву даже приняли в профком литераторов при Гослитиздате. Она занимается переводами, это вроде дозволено. Их с Муром кормят в столовой, кидают какие-то крохи. Но начинается война, и не остается даже крох. Вообще Марина без помощи Пастернака и Асеевых даже передачи на троих собрать бы не смогла. Марина не успеет узнать, что Сергей Эфрон был расстрелян в 1941 году, и слава богу. Она бы сошла с ума, если бы узнала про мужа, про Алю и про гибель Мура в 1944 году где-то в Витебской области. Его успели призвать. Марина привезла его Сталину на пушечное мясо. Впрочем, Муру едва ли хотелось жить: отец сгинул в ГУЛАГе, мать повесилась. Нет милосердия, смысла и катарсиса в последнем акте этой драмы. Август 1941 года. Марина с сыном едут на пароходе в эвакуацию. Едут в Елабугу. Там холодно, голодно, каждый кусок не лишний. Литераторы бесчеловечно отнесли к Марине (эмигрантка, жила на свободе в сытости, приехала во всем парижском и зарится на наши жалкие ресурсы). Асеевы не такие, они знают Марине цену. Нет ни денег, ни работы, ни еды. Марина едет в Чистополь и оставляет там в Литфонде

заявление насчет места судомойки в столовой (откроют ее только осенью). Безумие как последняя стадия отчаяния. Через три дня после этого Марина Цветаева повесилась в сенях своего жалкого домика. Можно себе представить реакцию Мура на всё это, когда он в 16 лет читал безумную записку матери, что она ничего больше не понимает, что ее смерть поможет выжить ему. Сделать сына чистым и незапятнанным перед советской властью? Это означало банкротство. Банкрот стреляется в надежде, что кредиторы пожалеют его семью. Пожалуй, это самый главный урок жизни и творчества Марины Цветаевой: не верить, не бояться, не просить. (Все равно ведь убьют, так лучше без глумления, как Гумилева.) И не возвращаться в СССР. Не отречься. Привязанность к семье не отменяет факта вращения Земли вокруг Солнца. Марининых сил не хватило даже на то, чтобы или восстать, или вырастить Мура и поддерживать своих репрессированных близких. Через два года она бросила свой крест. Дети и гении не умеют терпеть. Всё — или ничего. Школу Марина создать не могла. В страны Алисиных и Марининых чудес нет входа взрослым.

Тупой бронепоезд советской эпохи переехал Маринину жизнь и жизни всех членов ее семьи. Всё по ее стихам о рельсах.

Растекись напрасною зарею
Красное, напрасное пятно!
...Молодые женщины порою
Льстятся на такое полотно.

ИДУТ ПО ЗЕМЛЕ ПИЛИГРИМЫ

Обычно пилигримы странствуют целыми трудовыми коллективами. Ведь то, чем они занимаются, — не спорт и не туризм. Хорошо паломникам: дошли до святыни, приложились — и баста. А вот пилигримы ищут, часто всю жизнь. Святой Грааль, Истину, Третий Завет, Земное небо и Небесную землю. Хор пилигримов поет не только в рабочее время, он поет всегда, и ночью и днем. Пилигримы суровы и часто неприятны в обращении, ибо ни в ком не заискивают и никому не лгут. Пилигримы из «Тангейзера» — это пугающая мощь, роковая сила, смертельно-сладкая, томительная мелодия их шествия и хора. Пилигримы Бродского еще неудобнее для жизни и быта: «Уродливы они и горбаты, голодны и полуодеты, глаза их полны закатом, сердца их полны рассветом...»

А бывает, что пилигримов только двое, двое на целый век. Сквозь огонь и лед XX века они шли только вдвоем, но зато шли целых 52 года рука об руку, не расставаясь ни на один день, ни на одну ночь. Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Николаевна Гиппиус, два эльфа, случайно оказавшиеся в мире людей. Они были непохожи на других и созданы друг для друга. И не перст ли Провидения, что они друг друга нашли? Да, конечно, они оба ели и пили, ходили в театры, держали салон, тусовались на художественно-философских журфиксах, а Зинаида Николаевна еще и умела одеться к лицу и следила за платьем Мережковского (он вообще от этих бытовых проблем абстрагировался). Но при этом они существовали в виртуальном пространстве высоких материй. Они задолго до срока создали свой Интернет, Паутину Разума, причем без всяких проводов, компов и модемов. Загадка этой четы, в жизни которой до 1917 года никаких приключений не было, именно в том, что они были продвинутыми user'ами этого космического Бытия, не слишком схожего с земной жизнью. При этом они проводили в Сети больше времени, чем снаружи. У них не было

детей, и никому не приходило в голову этому удивиться. Могут ли размножаться ангелы? Кстати, их абсолютная, пугающая, отталкивающая робких друзей свобода идет оттуда же, из личного Рунета. Они не умели бояться, на них не действовали внешние раздражители: боль, страх, угроза, смерть. Их анализ был беспощаден: ни мифов, ни увлечений, ни комплексов. Двое зрячих в стране слепых и глухих... конечно, они остались одни. В жизни, в истории, в литературе, в потомстве. Их имена при советской власти было запрещено цитировать, они были в склепе 70 лет: стихи, проза, эссе, мемуары. Упомянуть их было опасно: это означало отлучение от литературоведения, истории, журналистики. Они дожили до наших дней, как Тутанхамон и Нефертити: ужасная и пленительная загадка в золотом сиянии драгоценных гробов. Поступим, как Лара Крофт, расхитительница гробниц: нарушим покой пирамиды молчания и разбудим спящих.

Мерлин XX века

Вы не думайте, Мерлин не безумный кудлатый старик, каким его изобразили плохие кинематографисты. Мерлин — молодой и строгий маг, вдохновенный экстрасенс с великой силой, соавтор Круглого стола, воспитатель благородного Артура, творец британской мечты о Святом Граале, хозяин мистического Авалона, опередивший свой VI век на 1400 лет. Аватара. Такой же, как Будда и (по Мережковскому) Христос. Нашим Мерлином был Дмитрий Мережковский. Говорят, что Мерлин был незаконным сыном мелкого кельтского короля (пол-Нормандии) и дочери короля Уэльса. У Мережковского тоже с происхождением всё было в порядке: чуждый класс, дворянин. Родился он в 1866 году в холодном и великолепном Петербурге в семье чиновника Дворцового ведомства, тайного советника, кстати. Учился в классической гимназии. В семье было 10 детей, отец писателя, Сергей Иванович, считал гривенники, потому что жалованья не хватало. Он очень любил жену, но скандалами и попреками насчет лишних трат (а бедняжке было просто не извернуться на то, что приносил муж) довел ее до ранней могилы. Не было у Димы в детстве ни имени,

ни речки, ни раков, ни Жучки, ни травки, ни своей лошадки. Поэтому он и ушел в свой личный Интернет...

В 15 лет папа повел его к Достоевскому: показывать стихи сына. А Достоевскому не понравилось, он сказал, что слабо, что надо страдать, чтобы прилично писать. Стихи Дмитрия Сергеевича в анналы не войдут, они для него были чем-то вроде гамм. И страдать на каторгу по рецепту героев Достоевского: Сонечки Мармеладовой и юродивого Николки — он тоже не пойдет. Его страдания будут лежать в другой сфере и будут, как у того, кого он страстно искал, тоже «не от мира сего». Коротенькая, гладенькая биография русского интеллигента, известного каждому грамотному читателю журналов деятеля культуры.

В 1884 году он поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета. И предается науке: и Спенсер, и Вл. Соловьев, и Ницше — его интересует всё. В 1888 году Мережковский мирно путешествует по Кавказу (уже ни злых чеченов, ни удалых кабардинцев, Кавказ «замирен»). Ему 23 года, и в Боржоми он находит ее, свое alter ego, «второе я», Зиночку. Юный философ не умеет разговаривать с барышнями, он опять-таки говорит с красавицей неполных 17 лет о философии и смысле бытия. И это как раз то, что надо, ключ к ее сердцу! Через год они поженятся. Это союз равных, это союз духовный до того, что на свадьбе не было ни цветов, ни венчального наряда, а после венчания они разошлись в разные стороны, муж — в гостиницу, жена — домой. Встретились назавтра за чаем у Зиночки, и старая гувернантка не поверила, что «Зиночка замуж вышла». И свадебное путешествие было не из обычных: по заснеженной Военно-Грузинской дороге. Семейная жизнь начнется в Петербурге. Мать Дмитрия Сергеевича купит им квартиру на тихой улице, в доме Мурузи, 18.

Этот брак был заключен на небесах. Мережковский с Гиппиус были одной командой. И ссорились не из-за мнимых измен, денег, светских знакомых, а по чи-сто философским поводам. Вот, скажем, идея романа о Леонардо да Винчи показалась Зиночке фальшивой. Она спорила и плакала, как не стала бы никогда спорить из-за тряпок и ревности. Правда, раздавались потом одинокие голоса, приписывавшие Зинаиде Николаевне роман с Дмитрием Философовым, но их опровергли на

месте, задолго до смерти этой безупречной четы. Когда небо и «под ногами», и «над головой», как у Леонардо, не до адюльтеров.

Мережковский не был туманным мистиком, он и в горних высях сознания ходил со скальпелем анализа и пугал и шокировал всех: демократов, церковников, официоз. Хорошо, что он ни в каком учреждении не числился, иначе не миновать бы ему увольнения с треском. Вот он пишет в журналы «Северный вестник» и «Русское обозрение». Кончается век, кончились «Отечественные записки». Вот ездит с Зиной по Европе, переводит греков, Эдгара По, Гете. С 1906 по 1914 год они много времени жили в Париже, даже купили там квартиру (интуиция!). На это денег хватало, а лошади, кареты, особняки, бриллианты были им не нужны.

Вот с разрешения самого Победоносцева (а идея была Зинаидина) в начале века на их квартире устраиваются религиозно-философские собрания, этак с 1901-го по 1903-й. Даже иерархи церкви присутствуют. А философия его не теория, а художественный вернисаж. Шпага мысли в ножнах образов и алмазы концепции на эфесе. Сокровище нации: «Христос и Антихрист», трилогия. «Смерть богов. Юлиан Отступник», 1896 год. В 1901 году выходит «Леонардо да Винчи. Воскресшие боги». И в 1905 году «алмазный мой венец» по Пушкину, вершина, акме (термин символистов, но ведь Мережковский — патриарх символизма). Этот венец — «Петр и Алексей. Антихрист». Это о чем? Первый роман-трактат повествует о том, как император Юлиан в Риме, цезарь-философ, попытался запретить христианство и вернуться к язычеству. Но не вышло: люди не хотели языческих радостей, хотели христианских мук и исканий. Не хотели красоты, хотели жертвы. Силой страдания победило христианство. В «Леонардо да Винчи» описаны Возрождение, Инквизиция, Рим. И опять еретики жаждут муки и пламени и загоняют себя на костер силой религиозного неистовства. Оно и у палачей, и у жертв. Консенсус. Боги жаждут. Но страшнее всего «Петр и Алексей». Белая смерть у пятидесятников, красная смерть в огне у раскольников, религиозный экстаз России, ищущей бремени. И Петр, цивилизатор и злодей, во имя спасения мира — России — приносит в жертву агнца, сына своего, Алексея. Он отдал

его на пытки и на смерть, и сын не корил отца, а любил. Здесь Бог — палач, диктатор, а Иисус — его беглый раб, блудный сын, вернувшийся добровольно на плаху и в оковы. Вот вам Третий Завет — истина как рана. Слишком много правды. Церковники не любили философа, боялись, цензурировали. И их можно понять. Что вышло из всех домашних религиозных тусовок? В одном эссе Мережковский пытался доказать, что Иисус не сын Божий, что он сын другого Отца, что он Денница, то есть Люцифер. Круто. Слишком круто не только для 1911 года, но и для 2011-го. Мережковский не имел последователей. Для людей Христос оставался Христом, а Люцифер — Сатаной. Слишком смело он полез в таинство веры, слишком далеко зашел. Не все покровы должно совлекать, люди не вынесут. В религии Мережковского нет утешения, это христианство для апостолов. Для равных. Не для паствы. Для жрецов. А государственная Церковь требовала послушания, исполнения обрядов и чтобы прихожане «не возникали». Мережковский так напугал Синод, что его даже не отлучили от церкви, чтобы не распространять его «ересь». Толстого хотели «осадить» — и отлучили. А о Мережковском хотели забыть, Антихриста испугались бы меньше. Его теорий испугались даже интеллектуалы. Надеюсь, что Христос принял его хорошо, ведь философ был книжником, а не фарисеем. Итак, с Церковью он поссорился. Мысленно они его сожгли. «...Но он посмел вопросы задавать, а это ересь, ведь Бог на них ответить не сумел».

А тут выходят исторические романы. «Павел I» — в 1908 году. Преданья старины глубокой? Ах нет! Судебный иск! Опять много правды, слишком много. «Александр I» выходит в 1913 году, а «14 декабря» — в 1918-м, но вокруг уже не декабрь, а октябрь, и не до философии. Этот правый консерватор ненавидит самодержавие как несвободу, как догму, как тупую силу традиции. Самодержавие обиделось. Ведь Мережковский даже Пушкина корил за амуры, политические амуры с царем, за публичную преданность, за «Стансы», за «Полтаву». Значит, самодержавие и православие — мимо. А народность? Еще хуже. Мережковский обидел народников. Все вокруг были левые, носились с народом-богоносцем, а Дмитрий Сергеевич, посмотрев на 1905 год, еще в 1906-м всё понял

про нашу революцию и нашего «богоносца». И написал «Хама грядущего».

Блок, Брюсов, Багрицкий, Леонид Андреев — все они ждали революцию, молились на нее. А Мережковский изрек: «Хам грядущий» — и был прав. С революцией тоже полный разрыв.

И с ура-патриотами тоже — облом. 1914 год, слезы-сопли, тосты, адреса. За победу русского оружия! А Мережковский и Гиппиус всё поняли про эту войну и разнесли ее в пух и прах.

Незаметно и неожиданно для себя Дмитрий Сергеевич становится классиком. В 1911–1913 годах книжное товарищество Вольфа издает 17-томное собрание сочинений Мережковского, а в 1914 году уже Сытин выпускает 24 тома. Проза Мережковского популярна в Европе, его переводят на многие языки. Он поймал загадочную славянскую душу за крылышки и поместил ее под переплет, и европейская душа тоже сгодилась для гербария. Нас, русских, Мережковский навсегда определил как «града настоящего не имеющих, но града грядущего взыскующих». Это и манифест, и диагноз. Для нас Мережковский — урок и упрек, для Запада — сказка и туристический проспект. И еще наука. Позитивный Запад чтит науку, а Мережковский — истинный ученый.

И тут вдруг эту чету небожителей накрывает Хаос! Пришел хам грядущий. Годзилла. 1917 год. Как эти двое смогли уцелеть? Активные враги советской власти, умные, беспощадные, точные. У камина Зинаиды собирались те, кто не писал «Хорошо!», не бежал за комсомолом, «здрав штаны», не видел впереди двенадцати погромщиков Иисуса Христа и не подал руки Блоку после этой большевистской апологетики. Мережковские голодали, мерзли, не попали даже на философский пароход. Наверное, были слишком опасны. Их не хотели выпускать. Что только их спасло? Говорили, что этих диссидентов прикрывал Луначарский. Но они не хотели оставаться. Они не дорожили жизнью, но не желали жить под игмом, под ярмом.

Мережковский сделал вид, что хочет читать лекции в красноармейских частях. Власти страшно обрадовались, думали, что сломали наконец эту «горькую парочку». А они решили бежать. Это был страшный риск, шел 20-й год, за побег из нашего Чевенгура могли шлепнуть.

Они переходят фронт и оказываются в Минске, а он, к счастью, под Польшей. Но Польша подписывает перемирие с Россией, и Мережковские бегут дальше, в Париж, где у них есть квартира. Бегут с одним баульчиком, где рваное белье, рукописи и записные книжки. И вот здесь-то опасения большевиков оправдались сполна. Мережковские оказались очень умелыми и активными антисоветчиками, заменили собой и «Свободу», и «Немецкую волну». Они не ныли, не ностальгировали, они активно работали против СССР. Даже создали философское общество «Зеленая лампа» (1927) под председательством Георгия Иванова. У многих эмигрантов, таких как Куприн, как Марина Цветаева, были примиренческие настроения, они надеялись, что их примут на Родине и простят. И здесь несгибаемые Мережковские оказались белыми воронами. В 1931 году Нобелевский комитет решал, кому дать премию — Бунину или Мережковскому? Дали Бунину, и это не улучшило их отношений. В Бунине было больше красоты и российских реалий, он же портретист, но в трудах Мережковского таились великие откровения русской истории и огромная сила мысли.

С началом войны Германии и СССР Мережковские остаются в пустыне. Их обвиняли в том, что они поддерживали Гитлера, хотя в чем это реально заключалось, никто из современников не говорит. В национал-социализм Мережковский не верил, нацистского бреда не разделял, антисемитизм считал психозом, а Гитлера — маньяком. С гитлеровцами и вишистами он не сотрудничал. Но и глупостей не делал: не предлагал Сталину свои услуги, как Деникин, не передвигал красные флажки на карте, отмечая победы Сталина, как Бунин. Из свидетельств современников складывается только одно: клином Гитлера Мережковский надеялся выбить клин Сталина, а о Гитлере, как он рассчитывал, позаботятся западные демократии, освободив заодно и Россию. Расчет не оправдался, но на что было еще рассчитывать? Считать, что Сталин — свой, а немцы — чужие, умный человек просто не мог. Но эмиграция, вся почти просоветская, отомстила Мережковскому страшно. Его не печатали, издательства разрывали договоры, старики оказались на грани голодной смерти, к тому же с ними не здоровались. Это издательства, неподконтрольные

гитлеровцам, а с гитлеровскими Мережковский иметь дело не захотел. Нужда ускорила его конец. Он умер 9 сентября 1941 года. И в храм на улице Дарю на отпевание пришли только несколько человек.

Таков удел пилигримов. Идти «мимо ристалищ и капищ, мимо роскошных кладбищ, мимо храмов и баров, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима». Пройти мимо, не остановиться, не стать добычей толпы, страстей, заблуждений. Вечный собеседник и оппонент философа сказал на эту тему: «Итак, не бойтесь мира, ибо я победил мир».

Дева Озера

Она была современницей Мерлина и языческим божеством кельтских легенд. Чистая дева, хранительница волшебного меча, вручаемого праведнику для защиты Чистоты и Истины. Зиночка, Зинаида Николаевна Гиппиус, блоковская Незнакомка, Линор безумного Эдгара, как раз такой девой и была. Она вручила меч Мережковскому и шла с ним рядом до конца, вдохновительница всех его проектов и застрельщица всех его идей.

Начало ее жизни безоблачно. Родилась она в 1869 году. Семья была немецкой, но обрусевшей. А уж пылкая Зиночка точно была русской; рациональности в ее поступках не замечено. Семья сначала жила в глухой провинции, в городе Белев Тульской губернии. Отец ее был известным юристом, семья жила в достатке. Девочек было четыре: Зинаида, Анна, Наталья и Татьяна. Готовили девочек дома, гувернантки и домашние учителя. И языки, и фортепьяно. Готовили к хорошему замужеству. Отец умирает от чахотки и оставляет семью почти без средств. К тому же девочки унаследовали склонность к чахотке, особенно Зина. Семья едет лечиться в Ялту, потом к родственникам в Тифлис, потом — на дачу в Боржоми. Здесь нашу Ассоль найдет ее капитан Грей. Зиночку окружала масса поклонников, пустых светских хлыщей или положительных и скучных интересантов. Мережковский ее поразил тем, что не танцевал, не катался на лошади, а говорил только о книгах и о философии. А Зиночка была красавица: рыжевато-золотые

волосы, зеленые глаза, коса до полу, идеальная фигурка, русалочий смех. Она согласилась на брак через три дня. Через год на шхуне «Корвет» капитан Грей уведет, увезет ее: в петербургские салоны, в литературную жизнь, в Рунет Разума, в эмиграцию, в Свободу. И всю жизнь над ее головкой шелестели эти алые паруса.

Она писала сильные, острые, звенящие стихи. А какие критические статьи выходили под псевдонимами «Антон Крайний», «Лев Пушкин», «Антон Кириша»! Ее боялся весь писательский бомонд. У нее был дьявольски острый, неженский ум. Но она не казалась феминисткой, как Жорж Санд. Она была сама по себе, чистая и недоступная, она опьяняла. Она могла иметь сотни любовников — и не имела ни одного. Она ходила в белом и любила восточные ароматы. Они с Дмитрием Сергеевичем смогли осуществить сложнейший завет Христа: были мудры, как змии, и просты, как голуби. Двое гениальных детей, игравших в опасную игру на коленях у обреченной России.

Когда наступит роковой час 1917 года, Прекрасная Дама Петербурга сумеет стать статуей Свободы. О, что она напишет о большевиках! После разгона Учредительного собрания оплачет его тоже она: «Наших дедов мечта невозможная, наших героев жертва острожная, наша молитва устами несмелыми, наша надежда и воздыхание, — Учредительное собрание, — что же мы с ним сделали?» И она будет вести «антисоветскую агитацию» на глазах у ВЧК. Она подтолкнет Мережковского к бегству. Из гордости, из непокорства. «Чтоб так не жить! Чтоб так не жить!» — напишет тоже она. А за границей она станет для СССР настоящей Эвменидой, богиней мщения. Эта страшная ненависть к ней, Шарлотте Корде всех наших доморощенных Маратов, да к тому же избежавшей гильотины (а сестры ее пройдут через лагеря и ссылки, и Зиночка еще ухитрится передавать с оказиями им посылки), и определит глухой запрет на ее самые безобидные стихи, на ее имя. Вплоть до самой перестройки. Желать поражения СССР! Хуже криминала быть не могло. Разрыв с просоветской эмиграцией свалился на нее, на ее хрупкие плечи. Это ей придется экономить на молоке и на продуктах первой необходимости, перелицовывать свои старые платья и костюмы мужа. Она не могла без

него жить. Написала мемуары — о нем же — и умерла в сентябре 1945 года. СССР победил вполне, и к Зиночке эмиграция была великодушнее, чем к Дмитрию Сергеевичу: ее пришли проводить на Сент-Женевьев-де-Буа многие, все, кто еще жил и помнил. Даже непримиримый Бунин пришел.

Зинаида Николаевна оставила потомству несколько фраз, которые ложатся в бунинские «Окаянные дни». Они — как укол рапирой. «У России не было истории, и то, что сейчас происходит, — не история. Это забудется, как неизвестные зверства неоткрытых племен на необитаемом острове». «Деревню взяли в колья, рабочих в железо. Жить здесь больше нельзя: душа умирает».

Они сделали свой выбор, эти двое. И надеюсь, что победители через столько лет не выкопают их останки на Сент-Женевьев-де-Буа, не возьмут в плен посмертно, не притащат в загвагоне в Россию и не дадут бессрочное заключение на том кладбище, которое выберут сами, как это уже сделали с кое-какими эмигрантами. Они должны остаться в свободном Париже на свободном уютном кладбище, где их скорбные души не оскорбятobelisksи с красными звездами, где покоятся добрые христиане.

И еще Зиночка оставила нам описание поразившего ее электричества, и от него она пришла к мысли о дуализме бытия, о том, что сила отрицания так же нужна, как некий позитив. В конце концов она поняла мужа: Христос и Денница — это Атланты, которые держат небо, и никто не должен уходить, иначе небо рухнет.

Две нити вместе свиты, концы
обнажены. То "да" и "нет" не слиты,
не слиты — сплетены. Их темное
сплетенье и тесно, и мертво, но
ждет их воскресенье, и ждут они
его. Концов концы коснутся —
другие "да" и "нет", и "да" и "нет"
проснутся, сплетенные сольются,
и смерть их будет — Свет.

ЭЛИНЫ, БОГИ БЕССОННЫЕ

В нашем Храме есть высокие готические часовни, цветные витражи, прохладные мраморные колонны, стрельчатый шпиль: для Блока, для Мандельштама, для Гумилева, для Грина и для Леонида Андреева. Есть химеры и сказочное кружево пламенеющей готики, есть величественные резные гробницы на радость Пушкину и Тютчеву.

Но Храм многомерен, лежит в разных временах и измерениях, и строили его самые разные архитекторы. Конечно же, в нем есть и синие суздальские луковичы со звездами, и просто луковичы золотые, и черные, и скромные беленые стены Покрова-на-Нерли, и бело-грудые маленькие церквушки, отражающиеся в задумчивой узкой реке. Но и в православной, и в католической половинах безраздельно царит Христос: и как Высший Судия, и как Высшая Этика, и как Высшая Эстетика. Все-таки это Храм.

Однако Христос гостеприимен и терпим. Одна из часовен Храма оборудована дорическими колоннами, белоснежными прямыми портиками, в ней есть солнечное и прямолинейное совершенство Парфенона, лишённое рефлексии, тоски, отчаяния, вызова, холодной мудрости или теплой печали, притаившихся в углах нашего Храма в таком невиданном изобилии. Над этим притвором сияет синее небо, никогда не затуманивающееся перламутровыми русскими облаками, никогда не смягчающееся жемчужным русским дождем. Это однозначное золотое солнце, это однозначное небо и эта детская белизна портиков — всё это для того, чтобы у Максимилиана Волошина, драгоценного алмаза в шкатулке русской поэзии, были в общем Храме свой алтарь и свой уголок.

Нет ничего более несхожего, чем мучительно-пристрастная, одержимая и Дьяволом и Богом русская литература и бесстрашное и бесстрастное, жестокое и детское совершенство всё принимающей, не умеющей роптать

поэзии (и драматургии) Эллады. Аполлоновская душа эллина проще, целостнее, смелее и покорнее жизни нашей фаустианской души, где на страстные и мрачные вызовы и искания Запада наложились уже чисто российские рыдания и абсурды: наша родная Достоевщина, привитая к германским дубам и скандинавской омеле. Совместить в себе Элладу, Париж и поле битвы русской истории — это было дано только одному поэту, Максимилиану Волошину, — самой загадочной, нездешней фигуре из перенаселенного российского Пантеона, набитого до отказа дарованиями. Ибо всем обделил Бог Россию, но талантами он ее наделил с лихвой, и если бы счастье измерялось в единице таланта на квадратный метр, то мы были бы счастливейшим народом на земле.

Завязь

Как же такое могло случиться? Хотя в России случается всё.

Максимилиан Волошин родился в мае 1877 года в Киеве, в семье юриста, коллежского советника. И родился он в Духов день! Хотя свою биографию он пишет, как писали эллины (у которых не было биографий), по «люстрам», по семилетиям. Отец у поэта был оригинал: развелся с матерью, Еленой Оттобальдовной Глазер, из обрусевших немцев, и умер в 1881 году. Ребенок остался чуть ли не один, хотя с матерью и дружил. Но воспитывали его книги и родственники. То в Таганроге, то в Севастополе. Знойное дыхание Киммерии преследовало его, на горизонте дрожало марево, вокруг были миражи. Отец его происходил из казаков, причем тех самых, запорожских бунтарей. Но он был положительный тип, рациональный и трезвый. А мать, хоть и немка, была поэтическим и безалаберным созданием. Стихов не писала, но ими жила. Воспитывать не умела, но духом искусства из своей библиотеки заразила на всю жизнь. Культ матери, Мадонны, Богородицы — это христианский культ. Эллада не знала его, она, скорее, чтит искусницу гетеру, жрицу, неистовую вакханку — менаду. Елена Кириенко-Волошина не интересовалась мужчинами.

Возможно, ждала древнего бога. Была жрицей и гетерой — по уровню развития. Макс в три года увидел и угадал в Петропавловском соборе Севастополя дорические колонны, а деревья города запомнились ему, как срисованные с Пиранезе. В четыре года дитя увидело Москву глазами Сурикова (город боярыни Морозовой, иносчески добродетельный, верующий истово, немного сумасшедший). Было понятно, что Макс станет художником: он видел мир через картины.

Читать в четыре года он не умел, но любил декламировать, залезая на стул. Ясное дело: он должен был стать поэтом, и модным поэтом, не затворником (чувство эстрады). В пять лет читать он научился. И знаете, что прочел? В этом нежном возрасте? Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Гоголя и Достоевского. К семи годам усвоил также и Байрона с Эдгаром По. И это всё до 1884 года! В Максе угадывался вундеркинд, как Марина Цветаева и ее старшая дочь Ариадна Эфрон.

Учиться он начал в московской Поливановской гимназии. С домашним учителем, студентом Н.В.Туркиным, Макс занимался охотно, ибо занимались они языками, литературой, историей и искусством. Но в гимназии пришлось и физику Краевича учить, и химию, и математику. Это было отвратительно, и Макс молил Бога о юге и о поэтическом даре. Его переводят в 1-ю Казенную гимназию, он доучивается до V класса — и всё равно тошно. Но его мать, жрица и менада, тоже томится в Москве. И в 1893 году она перевозит Макса в Крым. Жили они в забытом Богом овечье-морском Коктебеле. Овцы. Море. Горы. Пастухи.

Эллада. Боги, наблюдающие за будущим своим представителем из скудной растительности и драгоценных и редких источников. Макс 16 лет, и он ходит каждое утро пешком по эллинским горам Восточного Крыма в Феодосийскую гимназию. Семь километров. Воздух, скалы, кизил, козы, Вергилий. Поэзия. Пишет он пока только стихи (живопись будет позже), правда, скверные. В 1897 году, с грехом пополам закончив гимназию, юный поэт поступает на юридический факультет в Москве. Ему 20 лет, и право ему не нужно. Право поэтов не записано в кодексах. И вот отзыв об образовательной казенщине:

«Ни гимназии, ни университету я не обязан ни единым знанием, ни единой мыслью. Десять драгоценнейших лет, начисто вычеркнутых из жизни». Но, слава богу, его исключили из университета за «студенческие волнения» (рядом постоял). Выслали в Феодосию (и шуку бросили в реку).

Дальше Макс то сам путешествует, то его высылают в путешествие (административный туризм). Так он добрался до Ташкента в 1900-м. А до этого успел побывать в Париже и Берлине, в Венеции и Риме, в любимой Элладе, проехал по всей Италии. Ходил пешком или автостопом (телеги!), ночевал в ночлежных домах. Странствовал по пустыне с караванами, по Иудее и Галилее. Ради порядка (так было принято) послушал лекции в Сорбонне, брал уроки живописи у художницы Е.С.Кругликовой на Монмартре. (Слегка влюбился.) Он никогда не будет сходить с ума от любви, он будет брать из нее поэтический заряд. (В Элладе от любви не кончали с собой, это европейские штучки: «Страдания молодого Вертера» и молодого Гумилева.) Зачитывался Ницше (циником и хулиганом, хотя и гением) и добронравным Владимиром Соловьевым (ангел, эрудит, умница, хотя и не гений). И брал уроки у Запада, у соборов, у писателей. Сам признался, что «художественной форме учился у Франции (недаром он лучший переводчик Верхарна!), чувству красок — у Парижа, логике — у готических соборов, скептицизму — у Анатоля Франса, прозе — у Флобера, стиху — у Готье». Испания, Балеары, Корсика, Сардиния, Андорра. Но вот губка напиталась культурой, пора ее выжимать.

Цветы и ароматы

Я же говорю, что охранка была припадочной организацией. Не трогала большевиков и ссылала поэтов. А ведь редко кто выказывал такое равнодушие к общественной проблематике, как Макс Волошин. Даже у Блока и то больше намеков на революцию и народ. Максимилиан — жрец, а жрецы не лезут в толпу, они загадочны и холодны.



У развалин Акрополя
Из личного архива В.И.Новодворской



В Швейцарии, 2005 год



© Константин Боровой

На пути в Америку



© Константин Боровой

Выступления в различных городах США (Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне и др.), организованные «Радио Дэвидсон» в 2009 году



В XIV в. Йорк брал шотландец
Уильям Уоллес, в XV в. — «Новое время»
влице автора



© Константин Боровой

С Юрием Любимовым



С Андреем Вознесенским
Из личного архива В.И.Новодворской



© Алексей Юленков

Валерия Новодворская, Владимир Лукин, Михаил Горбачев
на дне рождения «Эхо Москвы», 2008 год



© Константин Боровой

С Михаилом Саакашвили, 2010 год



© Евгений Криштафович

У мемориальной доски Джохару Дудаеву на здании, где он когда-то работал. Тарту, Эстония, 2010 год



© Photo by Toomas Volmer /
Office of the President

Валерия Новодворская и Константин Боровой на встрече с президентом Эстонии Томасом Ильвесом. Крайний слева — политик, правозащитник Евгений Криштафович, справа — директор фонда «Открытая Эстония» Малл Хеллам. Таллин, 2010 год



© Яков Кротов



© Павел Аргентов

С отцом Яковом Кротовым на Пасху 4 апреля 2010 года



В 1903 году Волошин возвращается в Москву. Он уже хорошо пишет: его стихи томительны и прекрасны, они тянутся, как шлейф из черного шелка, от них пахнет вербеной, алоэ, миррой и другими тяжелыми и сладостными восточными благовониями. С 1900 года его стихи хочется читать; а в 1903-м они завораживают, как колдовской напиток. «Я шел сквозь ночь. И бледной смерти пламя лизнуло мне лицо и скрылось без следа... Лишь вечность зыблется ритмичными волнами. И с грустью, как во сне, я помню иногда угасший метеор в пустынях мироздания, седой кристалл в сверкающей пыли, где Ангел, проклятый проклятием всезнанья, живет меж складками морщинистой земли» (1904).

Он начинает активно публиковаться, сходится с символистами: с Вячеславом Ивановым, с обитателями «Башни», с Брюсовым, с Блоком. С Гумилевым они были слишком похожи: яркие, сверкающие колибри среди серенького русского пейзажа; вот только Волошин — жрец, а Гумилев — конкистадор; Волошин — созерцатель, а Гумилев — воин; в Волошине сильна чужая России аполлоновская традиция, а в Гумилеве — скандинавская; он идейный наследник Святослава, князя Игоря и Михаила Тверского. А если досмотреть сравнение до XVI века, то Волошин — летописец Пимен, а Гумилев — Андрей Курбский плюс митрополит Филипп Колычев в одном флаконе. Волошин потому и оказался у барьера, потому и случилась дуэль между ним и Гумилевым, что они были как протон и электрон: заряжены по-разному, хотя почти равны по силе (Гумилев, конечно, сильнее за счет благородства, энергетики и поисков Врага, от которого надо защищать Свободу).

Бывший административно высланный Волошин в это время, когда левыми были почти все (кроме таких твердых разума, как Бунин, Мережковский, Гиппиус и Гумилев с Ахматовой), вообще наплевал на общественный процесс и жил-поживал то в Париже, то в Москве. По его собственным словам, «первая революция прошла мимо меня».

В 1906 году он, Мастер, нашел свою Маргариту (Маргариту Васильевну Сабашникову). Маргарита была купеческая дочь, художница, жила с размахом, богатые родители избаловали ее. Она, конечно, была «эмансипе»,

увлекалась теософией. Из нее получилась отличная Муза и скверная жена. Поселилась она в «Башне» у Вячеслава Иванова и его жены, заигрывала с обоими, после смерти жены едва ли не посваталась к Иванову (при живом муже). Это было слишком даже для Волошина. Какое-то время они еще прожили вместе. Остались от этого брака стихи, легенды, мифы и диковинная статуя царицы Тайах якобы из гробницы фараона. Однако выяснилось, что таковой царицы ни в одной династии не было, а шутник Волошин, обожавший мистификации, зашифровал в обратном порядке древнее слово «хаят» — «жизнь». Эта статуя из Карнакских развалин была посвящена им Маргарите. Видела я эту языческую богиню. Пугающий артефакт. Надеюсь, Марго была все-таки покрасивее.

В 1907-м Волошины бегут в Коктебель, к древнему вулкану Карадаг, к горе Серюк-кая, к Святой, к мысу Хамелеон, в бухты Лягушачью, Львиную, Сердоликовую, Золотых Ворот. Всё это он сам и назвал (кроме Карадага), и облазил, и воспел.

В Москве в 1910 году выходит первый сборник его стихов. А он пишет (и пером, и кистью) в Коктебеле. Вы поняли почему? «Эллины, боги бессонные, встаньте в морозной пыли! Солнцем своим опьяненные, солнце разлейте вдаль! Эллины, эллины сонные, солнце разлейте вдаль! Стала душа пораженная комом холодной земли!» Блок понял, как видите.

Волошин начал писать дивные акварели, пейзажи Крыма. Киммерия ему обязана стольким, что обязана всем. Еще Макс пишет статьи о культуре. Ему так мало нужно, что денег хватает. Вино, кукуруза и баранина у татар стоят дешево. Марго эта экзотика тоже захватывает.

А в 1913 году Волошин идет против течения. Один хулиган пытается порезать картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына». И Макс закатывает такую лекцию о творчестве Репина, что куда уж до него хулигану! По-моему, он был прав, я тоже терпеть не могу Репина. Но он кумир толпы, и Волошина начинают травить в газетах; редакции закрываются для его статей, а книжные магазины не берут его книг. А ему все равно. Он бывает в Париже и в Базеле, а в Москву и Петербург наведывается только по делам. Ему мало неприятностей, и в 1914-м

он пишет наглое письмо военному министру России с отказом от военной службы и участия в «кровавой войне». Здесь они совпали с Маяковским. Хотя Волошина никто и не собирался призывать: он астматик.

Максимилиану 37 лет. Это — веха. «Задержимся на цифре 37. Коварен бог — он здесь предел поставил: или—или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, а нынешние как-то проскочили». И те, давние, тоже проскаквали. Приближается Полночь, Смута, Конец времен. Шансов лечь было очень много. Блок оказался слишком слаб, чтобы выжить, Гумилев — слишком силен. Он не дожил до 37 лет... Высоцкий просчитал верно, плюс-минус. Сам был такой. Но Волошин принимал судьбу, как принимали ее в Элладе — бестрепетно, сразу, без волнения и борьбы. А его талант созрел. Настало время жатвы.

Золотые, спелые плоды

Это ему оставил дуэльный противник Гумилев: «Чувствую, что скоро осень будет, Солнечные кончатся труды, И от древа духа снимут люди Золотые, спелые плоды!»

В феврале 1917-го поэт оказывается в Москве. Февраль его не вдохновляет: он чувствует стыдливую интеллигентскую ложь левых либералов о «бескровной революции». Он-то понимает, что крови будет много. В 1917-м он окончательно возвращается в Крым. В Коктебеле, почти на набережной, его мать Елена Волошина к 1913 году достроила причудливый, хотя и скромный дом. Здесь он написал множество акварелей, сложившихся в «Коктебельскую сюиту».

В 1919 году он откажется ехать вместе с А.Н.Толстым за границу. Скажет только: «Когда мать больна, дети ее остаются с нею». А мать была больна, и неизлечимо. Лучшее, что было написано о Смуте и о русской истории, вышедшей из рабства и смут, — это великое постоктябрьское «Дикое поле» Волошина: полупоэма, полубаллада, полупророчество. Все лекции Ключевского отражаются в этой капле крови, в этом такте набата, в этом напеве труб. «Голубые просторы, туманы, ковыли,

да полынь, да бурьяны... Ширь земли, да небесная лепь! Разлилось, развернулось на воле припонтийское Дикое поле, темная киммерийская степь. Вся могильниками покрыта — без имен, без конца, без числа... Вся копытом да копьями взрыта, костью сеяна, кровью полита, да народной тугой поросла». И вот 1920 году, и опять: «Русь! встречай роковые годы: разверзаются снова пучины неизжитых тобою страстей, и старинное пламя усобиц лижет ризы твоих Богородиц на оградах Печорских церквей. Всё, что было, повторится ныне... И опять затуманится ширь, и останутся двое в пустыне — в небе — Бог, на земле — богатырь. Эх, не выпить до дна нашей воли, не связать нас в единую цепь. Широко наше Дикое поле, глубока наша скифская степь».

Но за это тогда еще не расстреливали, а в заговоры Волошин не лез. Он, странник и бессребреник, не испугался голода и лишений. Он ожидал от революции и войны еще больших жестокостей. «Принципы коммунистической экономики как нельзя лучше отвечали моему отвращению к заработной плате и к купле-продаже». Поэт считал своим долгом бороться с террором — как с красным, так и с белым. В самые мрачные дни, когда Феодосию брали то одни, то другие, в его коктебельском доме укрывались сразу двое: раненые белогвардеец (офицер) и красный комиссар. Вот оно, упорствование в гуманизме, неприятие Гражданской войны, столь органичной для Гумилева, Мандельштама и Каннегисера: «А я стою один меж них в ревушем пламени и дыме. И всеми силами моими молюсь за тех и за других». Есть в этом для европейца момент всеядности, но Волошин был эллином по духу. Это его и спасло. Белые были культурными людьми, а красные ничего не поняли в том, что творил этот чудак. Они и Гумилева бы не поняли, да заговор Таганцева, пусть и в теории, очень хорошо всё объяснил ВЧК.

Волошин, в отличие от Бунина, не чурался культмассовой работы: в 1920—1922 годах он занимается охраной художественных и культурных ценностей, читает лекции о Возрождении в народном университете, выступает с художественными лекциями в Симферополе и Севастополе, участвует в организации Феодосийских

художественных мастерских и даже преподает искусство на Высших командных курсах. Это приветствовалось, большевики боялись бойкота и за лекции кормили поэтов и художников (правда, негусто).

В 1923 году Волошин создает из своего дома Дом Поэта, Дом Творчества: бесплатный приют для писателей, художников, ученых. Наркомпрос горячо одобрил (коммуны были еще в моде), а политические власти Крыма стали по-тихому травить. Но пока словесно. Нельзя было понять вообще, что в Доме Творчества творится.

Волошин очень гордился тем, что и белые, и красные, беря Одессу, начинали свои воззвания с его стихов «Брестский мир» (ну да, эффект Цветаевой: то ли гимн красного офицера, то ли присяга белого). Лучшее доказательство, что Волошина мудрено было понять. Однако сборники стихов не пропускала ни красная, ни белая цензура: не могли понять, за кого поэт. А он был ни за кого. За историю. Против террора. За Русь. За стихи. За Элладу.

К этому времени они с Марго уже расстались, и он нашел себе Марусю, Марию Степановну Заболоцкую. Сошлись они в 1923 году, а в 1927-м поженились. Маруся была девушка умная, преданная и жертвенная. В 12 лет, гимназисткой, она пыталась покончить с собой, чтобы облегчить жизнь больной чахоткой и полунищей матери. За Волошиным она бы пошла на край света. А край света был здесь, в Коктебеле. В 1925-м быт Волошина окончательно принял театральную форму. Он, писавший для всех лучших российских и европейских журналов, вдруг возненавидел заработную плату и стал раздавать свои стихи даром, в списках. Картины — тоже, кроме оставшихся в Доме коллекций и тех редких покупок, которые делали Третьяковка и провинциальные музеи. Ходил Макс в белой тунике и в венке из роз. С посохом водил экскурсии по горам и всё об этих Карадагских скалах рассказывал. Спектакли, шарады, карнавалы.

В 1925 году к нему приехали отдыхать Александр Грин и Михаил Булгаков. Играли, пели, музицировали. Дом был заповедником поэтов. Кажется, власти решили, что Волошин сошел с ума, потому и не трогали. Крым, Киммерия, Коктебель, глушь. Что они все ели, непонятно.

Впрочем, в море ловились бычки, креветки, кефаль и камбала, а вокруг тянулись виноградники и кукурузные поля. В 1928 году какие-то чабаны подали в суд на поэта: якобы их овец покусали его собаки. Это было вранье, но суд поддержал чабанов. Картечь ложилась ближе, ближе... А Волошин пытался построить трирему с алыми парусами. Он мог уехать в 1919-м в настоящую Элладу, но он предпочел эту, придуманную им самим. Свою Элладу.

Власти не успели. В 1929 году у Волошина был инсульт, а 11 августа 1932-го он умер свободным, вдыхая горечь полыни и соль морской волны. Он заранее выбрал себе могилу на красивой горе над Мертвой бухтой, у мыса Хамелеон. Ему не кладут на плиту цветы, в Элладе было мало цветов. Кладут красивые камни с пляжа: халцедоны, агаты, сердолики, «куриные боги» с дыркой.

Марго дожила в эмиграции до 1973 года. Маруся, Мария Степановна, — до 1976-го, до 89 лет. Я видела ее в начале 60-х: седую, величественную, строгую. Хранительницу алтаря, жрицу памяти поэта. Она была как бы директрисой дома отдыха Литфонда, его парка, его домиков. Его покровительницей и частью музейной экспозиции.

Максимилиан Волошин всегда рад туристам и новым камням у себя на горе. Он лежит под ослепительным небом на фоне сияющего моря. Он счастлив, он успел уйти от всех. Завидный удел для поэта Серебряного века, пережившего Смуту. Он всегда знал, как хочет уйти, он написал себе реквием еще в 1924 году:

Выйди на кровлю. Склонись на четыре
Стороны света, простерши ладонь...
Солнце... Вода... Облака... Огонь... —
Всё, что есть прекрасного в мире...

Факел косматый в шафранном тумане...
Влажной парчою расплесканный луч...
К небу из пены простертые длани...
Облачных грамот закатный сургуч...

Гаснут во времени, тонут в пространстве
Мысли, события, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений земли.

ЗАРЕЗАННЫЙ ЗА ТО, ЧТО БЫЛ ОПАСЕН

Мы приступаем к витражам нашего Храма, Храма русской литературы, к нашей главной национальной идее, к нашему самому удачному национальному проекту, частице нашего Священного Огня, который посвященные жрецы (как писатели, так и читатели) поддерживают у алтаря третий век. Из всех поэтов, чье Слово, чья жизнь и чья мука пошли на наши витражи, самый нездешний, экзотический, сказочный, нарядный, как бабочки тропических стран, и неустрашимый, как персонажи мифов и легенд, — это, конечно, Николай Гумилев. Он родился поэтом, жил, как поэт, любил, как поэт, и умер, как поэт. Царство его было точно не от мира сего. В его витраже можно увидеть разливы Нила, Сфинкса, золотые пески Сахары, драконов, исландских конунгов, белоснежных единорогов, африканских людоедов, сомалийскую луну, синие листья венерианских деревьев, нежный профиль жирафа и добродушные морды львов. И море, изумруды и сапфиры моря, его холодный сияющий нефрит, его тайны и сокровенные бездны. Его капитанов. И неудивительно: с одного бока семья Николая Гумилева была морской. И даже с другой стороны морские ветры и штормы вплетались в мирное течение провинциальной обывательской жизни почтенных личных дворян, вышедших в отставку в немалом чине.

Отец поэта, Степан Яковлевич Гумилев (1836—1910), очень огорчил своих родителей из духовного звания. В 18 лет он бросает семинарию и поступает на медицинский факультет Московского университета. Окончил в 1861 году, и хоть и не плавал, но был назначен в Кронштадт на должность военного врача. Паруса были рядом, в гавани, а море плескалось под окном. Здесь же доктор и женился — на Анне Ивановне Львовой. (От первого брака у него родилась дочь Александра, ни в чем и никем не замеченная.) От второго должен был родиться великий поэт. Анна принесла мужу в приданое

роскошное происхождение. В предках ее числился князь Милюк. Дядя поэта Гумилева тоже не подвел: он был контр-адмирал, служил во флоте 35 лет. Супруги Гумилевы не нуждались, но жили скромно, без шика. Их дочь умерла рано, сын Дмитрий (1884–1922) станет офицером, а после — земским чиновником. Его тоже унесет огненное крыло Октябрьской смуты: в 38 лет умирают не от хорошей жизни. Голод, страх, гибель брата, аресты и чистки — эта новая жизнь была немилосердна к бывшим офицерам и бывшим дворянам (Анне Ивановне было трудно дотянуть до 1941 года, и только вера не дала ей наложить на себя руки).

И вот 3 апреля 1886 года в Кронштадте, в доме Григорьевой по Екатерининской улице родился наконец сын Николай. И крестным отцом его стал дядя Лев Иванович, тот самый контр-адмирал. Вы поняли, откуда это: «И тогда в этот путь без возврата на просторы бескрайних морей мы поставили в устье Евфрата паруса четырех кораблей»? В день его рождения был шторм, и первое, что услышал ребенок, — это крик чаек и грохот разбивающихся о камни пристани валов.

Николенька был очень хилым, жалким, полуживым ребеночком на тонких ножках. Его все жалели и любили. Родные боялись, что он «не жилец». Ничто не выдавало в нем будущего «конкистадора в панцире железном».

К этому времени Гумилевы присмотрели себе дом в Царском Селе. Скромный дом рядом с роскошью и величием монархов и их дворца. Тогда в Царском Селе жили в основном отставные военные и обедневшие аристократы. На них можно было положиться, они искренне любили царей и престол. А бедное дитя, наш Николенька, всё хворал, до десяти лет не мог выносить даже шума. От него ребенок впадал чуть ли не в кому и засыпал. Буквы «л» и «р» он совсем не выговаривал, да и вообще говорил с трудом. Затрудненность речи у него останется на всю жизнь. Только ее будут принимать за аристократическую надменность («Не достаивает... еле цедит слова...»). Ребенок мало говорил, но много читал и много думал. Потом уже станет ясно, что он выстраивал свой мир гораздо лучше настоящего. Стихи стал писать с шести лет. Еще слабые, но мистические, нездешние.

В 1890 году умные родители покупают усадьбу — Поповку. Детям нужна травка, нужны деревья, особенно младшему. Два дома, флигель, пруд, парк. Вселенная юного поэта. Ему хватило. Его страсть к природе превосходила тургеневскую и есенинскую, вместе взятые. «Я за то и люблю затеи грозowych весенних забав, что людская кровь не святее изумрудного сока трав». В 1898 году Гумилев поступает в подготовительный класс Царскосельской гимназии (12 лет — поздновато, но здоровье не позволяло раньше). Однако «наш задохлик» опять заболевает бронхитом, и ему нанимают учителя. Учитель, Багратий Иванович Газалов, молодой пылкий грузин, готовит питомца в элитную гимназию Гуревича, потому что семья переезжает в Петербург.

Николай учится во втором классе, усердно, но без фанатизма. Зато увлекается зоологией и географией. Квартира наполняется разными тварями: морскими свинками, белыми мышами, птицами, белками. Это ненадолго. А вот география — это навсегда, до гроба. По атласу он прослеживает маршруты знаменитых путешественников. Теперь он знает, кем хочет стать. Но маршруты его путешествий никто никогда не сможет проследить, ибо страна Фантазия не нанесена на карты. Мы не сможем увидеть его Египет. «Но ведь знает и коршун бессонный: вся страна — это только река, окаймленная рамкой зеленой и второй, золотой, из песка». Или его Африку. «Про деянья свои и фантазии, про звериную душу послушай, ты, на дереве древнем Евразии исполинской висящая грушей». Потому что гению дано особое зрение, а не какие-то жалкие земные глаза. И там, где мы видим кучу песка, жару, жажду и гибель среди пустыни Сахары, Гумилев увидел сказочное великолепие. «Солнце клонит лицо с голубой вышины, и лицо это девственно юно, и, как струи пролитого солнца, ровны золотые песчаные дюны... Живописец небесный вечерней порой у подножия скал и растений на песке, как на гладкой доске золотой, расстилает лиловые тени».

Нестерпимая, мучительная, оглушающая красота — вот чем будут отличаться стихи Гумилева. И ведь не случайно он полжизни станет возить с собой первую детскую книжку: сказки Андерсена. Сказка прекрасная и благородная, сказка для добрых христиан, написанная

Гансом Христианом Андерсеном, из сказочной страны Христиании (Дании), — это станет его стилем и его методом. И метод этот будет зваться «акмеизм». От «акме» — по эллинам, это вершина жизни. Ее достигают в 35 лет. Николай Гумилев придумает акмеизм, станет главой поэтического цеха и, по строгим законам жанра, достигнет акме и умрет в 35 лет. Похоже, в Чека тоже учили греческую историю... Акмеизм — это жизнь без будней, праздник, порыв, взлет. И чтобы ни посадки, ни похмелья, ни депрессии, ни мытья посуды, ни старости. Бог дал Николаю Гумилеву волшебный поэтический дар, а Чека позаботилась о том, чтобы он не успел спуститься со своей вершины... Но это еще далеко. Еще 23 года, вся жизнь. Странно, но в 12 лет Гумилев с упоением играет в солдатики, придумывает новые стратегии, увлекает этим других гимназистов. В общем-то, он очень штатский человек. А вот тайное общество — это в его вкусе. Мальчики собираются при свечах, в подвалах, на чердаках, ищут клады и организуют «заговоры». Зачитывается он Майн Ридом, Жюлем Верном, Фенимором Купером, Гюставом Эмаром. Почти все мальчишки романтики, но Гумилев так и не повзрослеет. Останется мальчишкой на всю жизнь.

У поэта были замечательные родители. Не вмешивались в жизнь мальчика, а ласково помогали. Записали к букинисту, в Поповке для игр давали мальчишкам по лошади, на свои деньги издали первую книгу стихов... Болезненный Николенька отличался абсолютным бесстрашием и всегда был предводителем. Его любили, уважали и побаивались: добрый мальчик был страшно вспыльчив.

В 1900 году у Дмитрия обнаружился туберкулез, и семья переезжает в Тифлис. Жизнь в Тифлисе дешева, да еще отец устроился работать в Северное страховое общество. Новая их квартира даже роскошна: каменный дом со швейцарами, электричество, цветы. А 1-я тифлисская гимназия не хуже столичных. Вот здесь Николай совсем перестает хворать и будет готов к карьере путешественника. А рачительные родители подкопят деньжат и купят под Рязанью имение Березки — маленькое, всего в 60 десятин. Для здорового летнего отдыха: в Тифлисе очень жарко.

В пятом классе гимназии Гумилев учится средне, а по греческому дошло до переэкзаменовки. Зато тетрадка стихов всё толще и толще. Романтики и поэты — люди недисциплинированные и скуки не любят. В 1901 году стихотворение Гумилева увидело свет в «Тифлисском листке», местной газете. Пятнадцатилетний юноша выступает в роли то ли Эмерсона, то ли Торо. Стихотворение называется «Я в лес бежал из городов». Юноша очень некрасив, но изыскан. Его необычная внешность и английские манеры (а застенчивость он скрывает под надменностью) начинают увлекать девушек. Гумилев будет вести себя, как заправский Дон Жуан: напишет стихотворение и скажет трем-четырем девушкам: «это посвящено тебе». Каждой скажет. В Тифлисе будет волочиться сразу и за Воробьевой, и за Мартене. (Потом уже волочиться не будет: главе цеха акмеистов дамы станут вешаться на шею.) В Тифлисе юноша ходит в мягкой войлочной шляпе и с ружьем. Да еще поэт! Что еще девушке надо?

В начале 1900-х годов Гумилев в первый и последний раз увлечется политикой. Всею виной революционная тифлисская молодежь. У национальной окраины были свои причины недолюбливать власти метрополии. А наш Николай привык быть первым. Прочел он «Капитал», пару брошюр и стал в Березках агитировать рабочих поселка и мельников. Агитировать он умел за что угодно. Сагитировал. Губернские власти испугались и попросили гимназиста уехать из Березок. А гимназисту надоело, он начисто забыл про Маркса и революцию и до 1917 года не вспоминал. Он до такой степени не разбирался в политике, что в 1904 году едва не уехал на японский фронт. Вспомнил игру в солдатиков. Война для него была частью поэзии. Насилу родные и друзья отговорили, объяснив ему всю бессмысленность этой бойни. И еще в 1907 году он писал Брюсову, что получил номер газеты «Раннее утро» со своим стихотворением, но не мог понять направления газеты...

В 1903 году семья возвращается в Царское Село. И Гумилев поступает в седьмой класс Николаевской гимназии, к поэту и драматургу И.Ф.Анненскому, который там директорствовал. И вот в том же 1903 году он знакомится с Анной Горенко, будущей великой Ахматовой.

Они встречаются на катке, на балах, в театрах. Оба странные, оба поэты, оба не от мира сего. Холодная, недоступная Анна и застенчивый романтик Гумилев. Теперь стихи посвящаются ей одной. Два декадента наконец встретились. С 1905 года (никакой Пресни, никаких баррикад они оба не заметили) Гумилев стал бывать в доме Анны и даже подружился с ее братом Андреем. Андрей первый понял, какой талант таится в стихах декадента и сноба Николая. И тут же, в октябре 1905 года, другой подарок: на деньги родителей издается первая книга поэта, «Путь конквистадора». И Брюсов, будущий «попутчик» большевиков, пишет рецензию на книгу будущего их противника в журнале «Весы». А ведь Брюсов — признанный модернист, мэтр. Он слегка поругал, но и похвалил. Гумилева «заметили». «Романтические цветы» будут изданы в Париже в 1908 году. Этот сборник будет куда лучше. А в 1912-м выходит книга «Чужое небо», и ругать уже не за что. Хочется пасть ниц. И читать, читать, читать... Здесь их пути с Брюсовым начнут расходиться...

Гумилев-гимназист сближается с Анненским, директором гимназии. Оба поэты, оба драматурги. А Анна Горенко в Евпатории, и стихи опять посвящаются ей. А тем временем близятся выпускные экзамены в гимназии. Он их сдает (по греческому, физике, математике, латыни — «трешки») и в 1906 году получает аттестат. Ему уже 20 лет. Юноша надолго уезжает в Париж, и мать аккуратно шлет ему по 100 рублей в месяц. В Париже жить на эти деньги трудно, но аромат европейской культуры так притягателен! Однако в стихах Гумилева есть только готический Париж, Париж масонов, тайн, Средневековья. Современность для Гумилева слишком умеренная, слишком неяркая. Другое дело — готические храмы. «Ты помнишь ли, как перед нами встал храм, чернеющий во мраке, над сумрачными алтарями горели огненные знаки. Торжественный, гранитнокрылый, он охранял наш город сонный. В нем пели молотки и пилы, в ночи работали масоны». Он делает Анне предложение за предложением, а она отвечает отказами. Два поэта очень не схожи: яркий, сказочный Гумилев и бесплотная, прозрачная Анна, печальное порождение белых петербургских ночей. Их дарования борются, их темпераменты

различны, и оба авторитарны. Варить кашу младенцам и следить за хозяйством, уступать и создавать уют в этой семье будет некому. Как потом увидит Гумилев Анну Ахматову? «Там, на высях сознания — безумье и снег, но коней я ударил свистящим бичом, я на выси сознания направил их бег и увидел там деву с печальным лицом. В тихом голосе слышались звоны струны, в странном взоре сливался с ответом вопрос, и я отдал кольцо этой деве луны за неверный оттенок разбросанных кос». А кольцо-то было с рубином, магическое кольцо, дар «друга Люцифера», и пять коней тоже были от него! И в результате романа — жизненный крах. «И, смеясь надо мной, презирая меня, Люцифер распахнул мне ворота во тьму. Люцифер подарил мне шестого коня, — и Отчаянье было названье ему».

Но в 1907 году райская птица, оторванный от мира поэт, вдруг возвращается в Россию: проходить воинскую повинность. Никто его не звал и не принуждал. Тем паче что Военная комиссия признает его неспособным к военной службе из-за астигматизма. Этот нездешний романтик привязан к реальности обостренным чувством чести и гражданского долга. И это залог его будущей гибели. Армия от него отказалась. Гумилев едет в Севастополь, к Горенкам: получать очередной отказ от Анны. Андрей советует жить в Париже и там учиться. И поэт плывет из Одессы в Марсель. Первое путешествие морем едва не стало последним: послав Анне свою фотографию со строфой из Бодлера, поэт едет в Нормандию, в Трувиль, топиться. Топиться надо в море, в Сене топятся только пошляки. Но пошляками оказались и полицейские: они арестовали поэта за бродяжничество. Так что пришлось возвращаться в Париж. А денег не хватало, и Гумилев питался по несколько дней каштанами. Он решительно не умел добывать деньги. И опять он едет к Анне, и снова — отказ.

На этот раз он пытается отравиться. Его находят без сознания в Булонском лесу, во рву старинных укреплений. А домой ехать не хочется. Декаденты еще не признаны, над Гумилевым издеваются, называя его «заморской штучкой». Правда, за глаза. Гумилева боятся, такой и на дуэль может вызвать. Ведь именно он через несколько

лет позовет поэта Максимилиана Волошина к барьеру. Стреляться им не дадут друзья, но вызов был серьезный.

В конце концов Анна Ахматова сдается, по-моему, просто пожалев большого поэта. В 1910 году они поженились. Ничего хорошего, конечно, из брака не выйдет. Родился Лев Гумилев, большой ученый, создатель странной теории евразийства. Гены двух больших поэтов не принесли ему счастья. Изломанная жизнь, адский срок заключения, тяжелые отношения с матерью, которую он почему-то винил в своей жуткой судьбе, положение сына казненного контрреволюционера. В 1918 году поэты разведутся (по-моему, к большому облегчению обоих). У Анны будет много романов с людьми попроще, которыми можно будет покомандовать всласть. А Николай Степанович женится на хорошенькой, но недалекой Анне Николаевне Энгельгардт, и в 1920 году у них родится дочь Елена. Судьбы ее и ее матери потеряются в хаосе революций, террора и ссылок. А сам Николай Гумилев выполнит всю свою программу. Выйдут сборники «Костер», «Колчан» (уже под занавес, в 1918 году), а в 1921-м появятся два последних прижизненных сборника: «Шатер» и «Огненный столп». Он сам станет мэтром, и от поклонниц не будет отбоя. Даже от таких, как юная поэтесса Ирина Одоевцева...

В 1914 году он даже плюнет на свою непригодность (чувство чести сработает) и отправится на фронт. Станет хорошим кавалерийским офицером и заработает два Георгия. «Память, ты слабее год от году, тот ли это или кто другой променял веселую свободу на священный долгожданный бой. Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь, но святой Георгий тронул дважды пулею не тронутую грудь». А за одно посвященное войне стихотворение, написанное в 1914 году, его распнут все пацифисты мира. «Как могли мы прежде жить в покое и не ждать ни радостей, ни бед, не мечтать об огнезарном бое, о рокочущей трубе побед. Как могли мы... Но еще не поздно. Солнце духа наклонилось к нам. Солнце духа благостно и грозно разлилось по нашим небесам». Ну что ты будешь делать с этими «флибустьерами и авантюристами!» Поэт Гумилев видел и окопы, и смрад, и смерть. Видел и не обратил внимания.

Войну он воспринимал как тренинг духа, как дело чести и славы, как красоту риска и самопожертвования. Эту же войну описывали Ремарк, Хэм, Маяковский, Алексей Николаевич Толстой, Аполлинер, Багрицкий, Гайдар-дед, Лавренев. И никто не усмотрел в ней ни красоты, ни долга, ни необходимости, ни чести. Всех от нее стошнило, кроме нашего мечтателя.

Он успел попутешествовать всласть, увидеть свою Африку, свою Европу. А вот февраль 1917 года не вызвал у него никаких чувств. Не было чувства крушения мира. И Гумилев спокойно готовится вести союзников в абиссинский поход. Его к ним откомандировали как специалиста по Африке. А в 1918 году он вдруг кружным путем, через Мурманск, возвращается в Петербург. Зачем? Почему он не попытался пробраться на юг? Белая армия сулила хоть какие-то шансы: победить, пасть в бою, нанеся противнику урон, уцелеть после разгрома, уплыв вместе с Врангелем из Крыма, и еще долго писать стихи... Здесь сработала интуиция великого поэта. Он понял, что гибнет его мир, его Россия, что всё кончено и ничто не поможет. Спасти Россию он не мог. Он не захотел ее пережить. Чувство чести и долга толкало его на верную смерть. Вернувшись, он первым делом объявил себя монархистом. Вслух. Каждому встречному. Никогда он монархистом не был. Но после смерти царя счел это своим долгом («Слава павшему величию!» — Дюма он тоже в детстве любил). Но он умер не так, как Леонид Каннегиссер, хотя они оба были поэтами. Из великих поэтов выходят плохие мстители. Он решил убивать ненавистных ему большевиков Словом. Он решил их игнорировать и жить, как прежде, до них. Он хотел показать, как надо себя вести: не замечать этой власти. Он даже не искал смерти. Смерть должна была найти его. Он оказался совсем безоружным, если не считать стихов. И где-то он напоминал своего любимого жирафа с озера Чад: такой же высокий, длинношей, неприспособленный и обреченный. Красивый и нежизнеспособный.

Горький все-таки помогал поэтам и писателям, чтоб выжили, чтоб не подыхали с голоду, чтобы не замерзли. Давал комнату в Доме искусств, паек, дровишки, работу. Это зачтется ему (без него бы точно погиб

Грин и раньше на пару лет умер Блок). Гумилеву, Блоку и Лозинскому он дал работу в издательстве «Всемирная литература». Получил Гумилев и жилье в этом литературном общежитии, в Доме искусств, читал кучу лекций, возродил цех поэтов. Ходасевич, Блок, Иванов... Он всех удивлял. Вот нетопленное собрание, какой-то литературный вечер. Зима, мороз. Все пришли в валенках и полушубках, а Гумилев — во фраке и с синей от холода дамой в черном платье с вырезом. И разговаривал по-французски. А еще ходил он к Таганцеву, сенатору и интеллектуалу. Собирались там профессора, художники, аристократы посмелее. Пили чай вприкуску и ругали большевиков. Писали прокламации (не расклеили ни одной), говорили о восстании (большинство даже стрелять не умели), собирались где-то купить оружие и выдали Гумилеву деньги на пишущую машинку. Тот еще заговор. Но для 1921 года — криминал и контрреволюция. Так называемый «заговор Таганцева». Большевики убирали «чуждый элемент». Гумилева арестовали 3 апреля 1921 года, ночью, в Доме искусств. С Гороховой, где помещалась Чека, тогда не выходили. «Не меня ли в Чека разменяли» — такую песенку сочинили в те годы. Тем паче что чекистов Гумилев своей храбростью и своей гордыней просто потряс. А стихов они не читали. Горький бегал, искал заступников. Все литераторы бегали. Только что умер Блок. Они не хотели терять Гумилева. Уговорили заступиться Академию наук, Пролеткульт. Горький прорвался к Ленину, прибежал счастливый: отпустят, только пусть обещает не выступать против советской власти. («Плюнь да поцелуй у злодея ручку».) А получилось еще хуже. Гумилев отказался обещать, чекисты дико обозлились, и Ленин лично распорядился: «Этого — убрать». «На слово "длинношеее" в конце пришлось три "е". Укоротить поэта! — вывод ясен. И нож в него — но счастлив он висеть на острие, зарезанный за то, что был опасен». Высоцкий это написал и о нем.

И Маяковский помянул тоже: «Что ж, бери меня хваткою мёрзкой! Бритвой ветра перья обрей. Пусть исчезну, чужой и заморский, под неистовство всех декабррей». У Гумилева шансов не было, ведь в расстрельном «таганцевском» списке оказалась 61 фамилия. Мог ли уцелеть

бывший офицер, если чекисты расстреляли жену Таганцева и еще пятнадцать женщин — за то, что разливали чай? Мы не знаем его могилы. Вроде бы на станции Бернгардовка, но места этого уже не найдешь. (Так же где-то зароят и Мандельштама.) Мы не знаем где, но знаем как. Долго чекисты будут со страхом и невольным уважением рассказывать о его расстреле. Он умер как хотел: несломленным, победителем, доказавшим, что поэзия выше реальности. Он не пережил свою Россию, их обоих зарыли в братской могиле, и никто не знает, куда и ему, и Ей нести цветы. Его уже не было, но выходили по инерции сборники. В театре давали «Гондлу», и только когда в 1922 году зрители закричали: «Автора, автора!» — большевики опомнились и запретили пьесу. К концу 20-х запретили вообще всё. Еще в начале 80-х Гумилева отбирали на обысках.

Даже эпитафию себе Гумилев успел написать. Она в стихотворении «Орел». Этот орел залетел так высоко, к звездам, что «умер, задохнувшись от блаженства».

Он умер, да! Но он не мог упасть,
Войдя в круги планетного движенья.
Бездонная внизу зияла пасть,
Но были слабы силы притяженья...

Не раз в бездонность рушились миры,
Не раз труба архангела трубила,
Но не была добычей для игры
Его великолепная могила.

ПОВЕРЖЕННЫЙ АНГЕЛ

Все помнят «Поверженного демона» Врубеля. Разбросанные перья, изломанные крылья, остекленевшие от боли и отчаяния глаза. Демону приличествует падение, он проиграл, миром и Вселенной правит Бог. А видели ли вы поверженного ангела, разбросанные белые перья, как будто горлицу или голубку унесла сова? Переломанные крылья на земле и совсем не ангельское отчаяние в глазах? Мыслимое ли дело? Ангел должен порхать, как бабочка, ангел светел, радостен и неуязвим... Где угодно это так, но только не в русской истории и не в русской литературе. Таким ангелом была Анна Андреевна Ахматова. Печальным, заплаканным ангелом, изгнанником нормальной человеческой жизни, которая оказалась ей где-то к 1927 году лучше и дороже рая... Над той грешной землей, где пришлось жить Анне Ахматовой, не очень легко было летать. Сразу же сбивали: из трехлинейки, маузера, зенитки, просто из рогатки. Чужая, враждебная земля и чужое небо, в котором было уже не удержаться из-за залпов с земли и нового для добрых ангелов знания о людях, о человечестве. Что лучше: сразу умереть и получить свое законное место в раю — или выжить, став из ангела демоном-хранителем? Анна сделала один раз роковой выбор. Их было трое: три Грации, три Парки, три Хариты. Зинаида Гиппиус, Анна Ахматова, Марина Цветаева. Человеческая жизнь суждена была одной только Зинаиде. Немного и бурно пожила Марина, а когда человеческая жизнь кончилась, приняла смерть от собственной руки. Но самое страшное ожидало Анну: она жила долго — и жила жизнью непригодной не только для ангела, но и для человека. А начиналось всё так хорошо.

Анна Горенко с веселой и такой прозаической фамилией родилась в 1889 году в семье морского офицера, инженера и капитана 2-го ранга, на станции Большой Фонтан под веселым городом Одессой. Но через год семья переезжает в Царское Село. А это уже место не слишком веселое, задумчивое и внушающее нетривиальные мысли.

«По аллеям проводят лошадок, длинны волны распущенных грив. О, пленительный город загадок, я печальна, тебя полюбив. Странно вспомнить: душа тосковала, задыхалась в предсмертном бреду. А теперь я игрушечной стала, как мой розовый друг какаду. Грудь предчувствием боли не сжата, если хочешь, в глаза погляди. Не люблю только час пред закатом, ветер с моря и слово “уйди”». Это Анна Андреевна напишет в 1911 году. Судьбе было угодно, чтобы сначала сошлись их с Гумилевым детские тропинки, еще до того, как сойдутся судьбы. Но причудливый, за гранью фола, сверкающий гений Гумилева прошел мимо неяркого, строгого, скрытного места. Зато колдовской талант Анны Ахматовой его сразу «вычислил». Чары, полутона, жемчуга, хрустали северного лета... И Анечка — нимфа, русалка, ангел этого рая. Да, она была девушкой в полном смысле слова: чистой, невинной, лукавой, ускользящей, неуловимой, изменяющей и изменчивой, как вода. Всякая девушка — немного русалка. Гумилев так до конца и не смог определиться: на ангеле он женат или на ведьме? Поэты летают по ночам... Не исключено, что на помеле или на щетке, как Маргарита.

Анечка училась в Мариинской гимназии, и у нее тоже было легкое дыхание, как у бунинской Оленьки Мещерской. Два года, с 1908-го по 1910-й, она посещала юридическое отделение Киевских высших женских курсов — непонятно зачем. Право ее нисколько не увлекало, на курсистку-землеволку, стриженую и в очках, с марксистской литературой в сумке, она совсем не походила. «Не женитесь на курсистках, они толсты, как сосиски», — советовал авторитетный малый из «Республики ШКИД». А на Анечке многие хотели жениться, и Гумилев много лет добивался ее руки, даже топиться к Ла-Маншу ездил. Хорошо еще, что его жандармы приняли за бродягу и выслали обратно в Париж. Через семь лет ухаживаний Николай Степанович добьется своего. Они поженятся в 1910 году в деревенской церкви за Днепром. Медовый месяц они проводят в Париже (правда, половина его достанется Модильяни), а потом Анна возвращается в любимое Царское Село. До 1916 года. Здесь она еще поучится у Раева, на Высших историко-литературных курсах.

В поисках поэзии, поэтов и места под поэтическим солнцем Анечка добирается до «Башни» Вячеслава

Иванова. 1910 год. «Башня» работает, как некий худсовет. Слово мэтра — как билет в VIP-ложу поэтов. От девиц тогда на «Башне» отбоя не было, и Вяч. Иванов бедную Анечку разбрал за «густой романтизм». Только одно стихотворение и одобрил. Но Анечка не пала духом. Она берет себе псевдоним от прабабки по матери, и вместо резвухи и дилетантки Горенко рождается Анна Андреевна Ахматова. Тяжелое, трагическое, царственное имя, еще из Золотой Орды. Имя княжеское, но счастья оно Анне не принесло.

Она начинает печататься в 1911 году (в 1907-м одно стихотворение опубликовал в своем парижском журнале «Сириус» влюбленный Гумилев). Печатается в приюте снобов и эстетов, в журнале «Аполлон». А тут подоспел «Цех поэтов». Анна становится его секретарем и деятельным участником. Сквозь русалочий смех пробивается нешуточная мощь огромного таланта. 1912 год приносит ей сына Леву и сборник «Вечер». Не много времени достанется Леве, всё возьмут стихи. Из больших поэтов выходят плохие матери. А сборник отличный, тронутый закатом мира, эпохи, жизни, со встающей огромной луной. Это действительно вечер: в воздухе разливается печаль, и кажется, что завтра солнце не взойдет. У юной женщины в 23 года, не бедной, не несчастной, красивой, счастливой матери и жены, многообещающей поэтессы — столько отчаяния, тоски, такое предчувствие беды — откуда всё это? Как могла она знать, что случится через десять, двадцать, тридцать лет? Через пять лет, в Октябре? Знала. Кожей, кровью, интуицией. Поэт — птица вещая. «Подумаешь, тоже работа — беспечное это житье: подслушать у музыки что-то и выдать потом за свое». Везде, везде она видит знаки, и ее ножки наступают на ножи, спрятанные на английских газонах, на царскосельских аллеях, в лесной траве.

«И звенит, звенит мой голос ломкий, звонкий голос не узнавших счастья: “Ах, пусты дорожные котомки, а на завтра голод и ненастье!”» (1911) И не участь ли Гумилева, Н.Н.Пунина и других своих любимых увидела она в «Сероглазом короле»? «Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король... Дочку мою я сейчас разбуду, в серые глазки ее погляжу. А за окном шелестят тополя: “Нет на земле твоего короля”». Это 1910 год — и тогда же вдруг прозрение, на поэтической

вечеринке, у эстрады, за бокалом шампанского, прямой выход в 20—50-е годы.

«Люби меня, припоминай и плачь! Все плачущие не равны ль пред Богом? Мне снится, что меня ведет палач по голубым предутренним дорогам».

А в 1914 году выйдет следующий сборник «Четки», и начнется война. Дело житейское, в истории России было много войн, и эта была не самая страшная. Но Анна восприняла ее как преддверие Страшного суда, как начало конца света. Ликовал Николай Гумилев, радовался как ребенок: испытанию сил, риску, славе, доблести, воинскому долгу. Мужские радости.

А его жена увидела войну женским взором и через женскую судьбу. «На продымленных перронах да с грудными на руках наши матери и вдовы в русских вязаных платках»*. Что в 1941-м, что в 1914-м, что в 1812-м, что в 1994-м... «Уходят эшелоны, а ты глядишь им вслед, рязанская мадонна, солдатка в двадцать лет»**... Анне — 25 лет, и она тоже царскосельская мадонна, и на руках у нее двухлетний Лева, и муж, Николай Гумилев, уехал на войну. «Стало солнце немилостью Божьей, дождик с Пасхи полей не кропил. Приходил одноногий прохожий и один на дворе говорил: “Сроки страшные близятся. Скоро станет тесно от свежих могил. Ждите глада, и труса, и мора, и затмения небесных светил”».

Анна воспринимает войну как злодейство, направленное лично против России. Она опять прозревает истину: России придется хуже всех. «Низко, низко небо пустое, и голос молящего тих: “Ранят тело твое пресвятое, мечут жребий о ризах твоих”». Но здесь, почти отождествляя себя с Богородицей (а ведь всё так и будет, Леву придется отдать новому Кесарю в 1938 году), Анна Ахматова берет на себя все скорби мира и России и предлагает Судьбе жертву. Это нешуточный вызов, Судьба не любит дерзости, она примет жертву, но обманет Анну.

Кому была предложена жертва Авраама, который чуть не заклал Исаака, но Бог не попустил? Кого вопрошала Анна Ахматова, и кто принял ее восторженную жертву, не дав ничего взамен? Я склонна думать, что это был скорее Дьявол, отец лжи. Смотрите, что предложила

* А. Поперечный, «Рязанские мадонны». — *Прим. ред.*

** Там же.

Анна, какую сделку она готова была заключить: «Дай мне горькие годы недуга, задыханья, бессонницу, жар, отыми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар — так молюсь за Твоей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей». А ведь это 1915 год, самое страшное еще не наступило. Стихотворение называется «Молитва». Но можно ли так молиться? Предлагая за благо страны мужа, ребенка, друга? Что за гекатомба? И не это ли декларировали большевики, приучая народ отдавать своих близких на заклятие во имя грядущего коммунизма? Что-то наш ангел здесь запел не с того голоса. Можно предложить свою жизнь, но не жизнь своего ребенка. Такой римско-советский стоицизм претит человеческой природе. Сразу вспоминается фрау Геббельс, которая лично отравила своих шестерых детей, чтобы они не достались врагам и не пережили Третий рейх.

Гордыня и решимость принести в жертву государству самое сокровенное, живое сыграли с Анной злую шутку. Судьба подслушала, отняла ребенка, всех друзей, а тучу над Россией сгустила до уровня катастроф. А пока к Ахматовой приходит слава. Мэтры Блок и Брюсов признали ее. Ей посвящают стихи, с нее рисуют портреты, она становится кумиром салонов. В 1916 году они с Гумилевым без скандалов и истерик разводятся. Брак не получился, но Лева хотел иметь отца, и еще год, и как бы обоим пригодился этот брак, как опора, как якорь в океане страстей и огня, который плескался за гранью 1917 года! И когда всё полетит к черту, Анна совершит еще одну ошибку, роковую, последнюю. В 1917 году она с той же гордыней и самомнением откажется уехать. Мне очень не нравится жанр ее «отказного» стихотворения. До него выйдет в сентябре сборник «Белая стая». А это уже после черты: Октября. «Мне голос был. Он звал утешно, он говорил: “Иди сюда, оставь свой край, глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид”. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». Вот она, развилка. Анна себя переоценила.

Возвращаясь, Гумилев твердо знал, что он погибнет и никого не спасет. У него была скромная и достижимая

задача: достойно умереть, показав большевикам, что такое честь, мужество и непреклонность. Эту задачу он решил блестяще, и смерть его была быстрой, а в те годы — это большая удача. Анна же попала в западню. Она стала заложницей и сделала заложником Леву. Помощи ждать было неоткуда. «Пыль взметается тучею снежною, скачут братья на замковый двор, и над шеей безвинной и нежною не подымется скользкий топор». Это 1922 год, Гумилева уже нет, и никакие братья не прискачут. И скорой смерти не будет. «Лучше бы на площади зеленой на помост некрашенный прилечь и под крики радости и стоны красной кровью до конца истечь». Нет, придется жить долго, голодать, страдать, отдать сына на муки в НКВД, выживать, писать в стол, становиться понемногу советским поэтом. Начинается жестокая череда августов, ее рокового времени. В августе 1915-го умрет ее отец. В августе начнется Первая мировая. В августе 1921-го на станции Бернгардовка расстреляют Гумилева. В августе 1946-го ее растопчет Жданов в постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград». В августе 1938-го в первый раз возьмут Леву. В августе 1953-го умрет от голода в лагере ее второй муж, Николай Николаевич Пунин.

Той лютой порой, что неверной
В тени разведенных мостов
Моталась она по Шпалерной,
Ходила она у «Крестов».

Ей в тягость... Да нет, ей не в тягость!
Привычно, как росчерк пера.
Вот если бы только не август,
Не чертова эта пора.

Когда-то, когда-то, когда-то
Такой же был август, когда
Над черной водою Кронштадта
Стрельнула, как птица, беда...

И разве не в августе снова
В еще не отмеренный год
Осудят мычанием слово
И совесть отправят в расход.

Но это потом, а покуда
В которую ночь — над Невой,
Уже не надеясь на чудо,
А только бы знать, что живой!

И в сумерки вписана четко
Такая, как после, в строфу
Седая девчоночья челка
Прилипшая к мокрому лбу...
А.Галич

Сгоряча власть пропустит еще два ее сборника: «Подорожник» и «Anno Domini MCMXXI», оба — 1921 года.

С 1924 года Ахматову печатать перестают вообще. А ведь дар Судьба ей оставила, он растет, делается грозным, исполненным дыхания Вечности. Но в стол, только в стол... В 1926 году в типографии уничтожат гранки ее собрания сочинений. Ее не будут печатать 16 лет, до 1940 года, когда выйдет небольшой дайджест «Из шести книг». Придется жить переводами, бедствовать, унижаться ради Левы, сгибать шею перед советскими редакторами. В 1938 году Леву, по-моему, специально возьмут в заложники, чтобы Ахматова хорошо себя вела. И рождается «Реквием», великая сага о сталинском терроре. Лидия Корнеевна Чуковская будет заучивать стихи наизусть. Записывать нельзя было: за «Реквием» даже всемирно известную Ахматову уничтожили бы.

«Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе, шла, в темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла. На губах твоих холод иконки. Смертный пот на челе... не забыть! Буду я, как стрелецкие женки, под кремлевскими башнями выть». Это всё о Леве, взятом в 26 лет, в 38-м году. Или даже так. Тайное письмо Сталину: «Я приснюсь тебе черной овцою на нетвердых, сухих ногах, подойду, заблею, завою: "Сладко ль ужинал, падишах? Ты вселенную держишь, как бусу, светлой волей Аллаха храним... Так пришелся ль сынок мой по вкусу и тебе, и деткам твоим?"»

Никто не скажет лучше Ахматовой об итоге сталинских десятилетий: «Все ушли, и никто не вернулся. Только, верный обету любви, мой последний, лишь ты оглянулся, чтоб увидеть всё небо в крови. Дом был проклят, и проклято дело, тщетно песня звенела нежней, и глаза я поднять не посмела перед страшной судьбою

моей. Осквернили пречистое слово, растоптали священный глагол, чтоб с сиделками тридцать седьмого мыла я окровавленный пол. Разлучили с единственным сыном, в казематах пытали друзей, окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки своей. Наградили меня немотою, на весь мир окаянно кляня, обкормили меня клеветою, опоили отравой меня. И, до самого края доведши, почему-то оставили там. Любо мне, городской сумасшедшей, по предсмертным бродить площадям».

«Реквием» в 70-е, даже в поздние 60-е, после смерти Ахматовой, ушел в самиздат. Его напечатают только в 1987 году, через пятьдесят лет. Этой книги Ахматова уже не увидит. Она осталась и испила всё до дна: и оцет, и желчь, и помои, и цикуту, — чтобы написать «Реквием». Стоила ли игра свеч? Для нас — да, для нее — нет. Леву выпустят в 44-м году и снова посадят в 48-м, уже до 1956-го.

Ради Левы придется молчать, глотать оскорбления, стать советским писателем, писать, что положено, о войне. И Лева уйдет на войну и год повоюет, отчаянно пытаюсь стать таким, как все. В 1946 году новый удар: постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Там Ахматову стали печатать. О, что Жданов пишет! «До убожества ограничен диапазон ее поэзии, — поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной». «Такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой». А она так старалась приспособиться — ради Левы! Слава богу, не пришлось умереть с голода в блокадном Ленинграде. Вывезли в эвакуацию. Анна голодала и мерзла, но все-таки ей бросали какие-то крохи, чтоб не умерла: она же осталась, она стала советской писательницей! К вернувшейся по глупости эмигрантке Цветаевой были безжалостны. Ей не кидали ничего. Единственным выходом оказалась петля. А Ахматова станет писать военные стихи, немного невпопад и как-то слишком звонко и натужно. Однако великому поэту — да не справиться с агиткой! Эти стихи будут хвалить солдаты и критики, их прочтут по радио. Но вот опять, после ждановского «наезда», ее перестают печатать. Еще на 15 лет, до оттепели, до 1961 года. (Потом выйдут два сборника: «Стихотворения» в 1961 году и «Бег времени» в 1965-м.) Это означало голод, нужду, страх: ведь Леву опять посадят, когда пойдет вторая волна Большого террора,

в 1948 году. А он не был космополитом, он был евразийцем, он и создал эту теорию. И сидеть ему было до конца, до XX съезда, до 1956 года. (Кому-то свезло: освободили в 53-м, 54-м.)

И Лева не ладил с матерью, он винил ее в том, что с ним случилось. Собственно говоря, он был прав: Ахматова должна была увезти его, себя, поэзию еще в 1917 году. Игра не стоила свеч: отдать всю жизнь за «Реквием»! Стоит ли наше эстетическое наслаждение двух загубленных жизней? А ведь через что ей придется пройти! Ее станут таскать на встречи с западными филологами и журналистами. Эти идиоты будут спрашивать у несчастной матери, приехавшей в окружении агентов НКВД, как она относится к постановлению о журналах «Звезда» и «Ленинград». Она будет говорить, что полностью с ними согласна. Придет домой и напишет (потом Лидия Чуковская заучит и порвет): «Вы меня, как убитого зверя, на кровавый подымете крюк. Чтob хихикая и не веря иноземцы бродили вокруг. И писали в почтенных газетах, что мой дар несравненный угас, что была я поэтом в поэтах, но мой пробил тринадцатый час». Поверженный ангел будет лгать во спасение. Став заправским политологом, она продиктует Чуковской: «Сталин — самый великий палач, какого знала история. Чингисхан, Гитлер — мальчишки перед ним».

В писательском поселке Комарово под Питером ее лишат талонов в столовую. Дай Бог счастья и райского блаженства семье Ардовых, которые взяли к себе старую поэтессу и заботились о ней в ее последние годы.

Последние десять лет она не носила передачи. Ее памятник плачет в снег и в дождь там, где она хотела его видеть: на месте той самой тюремной очереди, где она много раз тщетно пыталась передать Левае еды.

Она еще успеет похвалить Бродского и отдать лиру поэту и диссиденту Наталье Горбаневской. Саваном ей станет оксфордская мантия доктора, присужденная за год до смерти, в 1965 году. Ее крестный путь до комаровской могилы был очень долог, она шла 77 лет. Итог ее страшной жизни Ахматова начертала своей рукой, алмазным грифелем на Черном Квадрате XX столетия, который поглотил Серебряный век. «И это станет для людей как времена Веспасиана. А было это — только рана и муки облачко над ней».

ГОНИМЫЙ ЛИСТОПАДОМ

Бурелом и чернозем. «Ах, ручки мои серебряные, золотые мои россыпи». (Это уж Высоцкий, умевший притвориться чистым, без примесей, полянином и древлянином.) А Есенину и притворяться не надо было. Русь, озаряемая заревом скифских костров и зарницами половецких привалов. Славянская нежность, печенежская злость, скифский азарт, хмельная тоска Дикого поля и стихия разрушения, присущая кочевникам.

Бедна наша родина кроткая

Но лесная избушка Есенина стояла над золотыми приисками Божьего дара. Талант пер из него, как медведь из берлоги: дикий, косматый, непричесанный. И не было чувства юмора, книжной образованности и самосознания (то есть рефлексии), которые одни только и могли дать поэту в руки вожжи, научить обуздывать и дозировать свой дар. Белокурый красавец, сказочный Лель, равно востребованный и двором (Романовы были ужасными славянофилами), и интеллигентами Серебряного века (еще бы, сам народ-богоносец к ним явился), и советской властью (парень от сохи, крестьянин, подходящее социальное происхождение, и пишет только о народе, и революции рад), был обречен на муки (амортизируемые водкой) и раннюю скверную смерть. Есенин был незащищен, в отличие от двужильных Пастернака и Ахматовой, чей могучий интеллект, чьи знания давали им опору всей человеческой истории и всего широкого мира. Сергей Есенин знал и воспевал только одно: Русь (которая не очень-то менялась со времен Ольги, Игоря и Олега до 1917 года). И именно она была обречена исчезнуть, быть «разрушенной до основания, а затем». На планете остались вечные города: Париж, Прага, Краков, Будапешт, Кельн, Берлин, Рим, Петербург. Они пережили Робеспьера, Марата, коммуны,

коммунистов, гитлеровцев и Гитлера. Они нетронуты и нетленны. А славянской, одетой в «березовый ситец» и обутой в лапти Руси не суждено было уцелеть. У нее мало что было — была только скоротечная печальная тающая прелесть. Есенин один это понял и записал.

«Бедна наша родина кроткая в древесную цветень и сочь, и лето такое короткое, как майская теплая ночь». Чахоточная природа, в самом расцвете которой таится ген умирания.

Любители конспирологии, сделавшие Маяковского (незнамо почему) жертвой Лубянки, оказали аналогичную услугу и Есенину. Конечно, это они, чекисты, повесили поэта в гостинице «Англетер», записав кровью его последнее стихотворение (а может, они его сами и сочинили?). Увы! На антисоветчика поэт не тянул, шел на сотрудничество, писал о комиссарах, коммунарах и Ленине скверные стихи, просил ссуды и авансы, получал деньги, иностранный паспорт и академические пайки. Но он был поэт и, значит, провидец.

В одном из пьяных наваждений ему явилась Советская Русь: Русь лесоповалов, зон, колхозов и раскулачивания; Русь, по рельсам которой везут в телячьих вагонах его любимых честных и простых пахарей и богомолков; Русь, где кротких батюшек сажают на кол, а Снегурочек насилуют лагерные вертухаи; Русь, где у крестьян отобраны коровки, телята и всё остальное, до последнего куренка, не говоря уж о лошадаках.

Есенин был не просто первым поэтом-деревенщиком нового времени, он был еще и первым экологом на Руси. Он увидел брошенную, заросшую сурепкой землю, отравленные озера и реки, рыб-мутантов, жуткие порождения Чернобыля и сибирско-уральских металлургических и химических катастроф. И не было слов в его языке, чтобы написать об этом, предупредить. Это Замятин и Платонов написали антиутопии. А кроткий и простой Есенин полез в петлю.

Пастушок Сережа

А начиналось всё, как пастораль. Родился Сергей в селе Константиново Рязанской губернии, в чисто крестьянской семье, без обмана, в 1895 году, 3 октября, в холодной,

сверкающей красоте русской осени. Отец его, Александр Никитич, дожил до 1931 года, а мать, Татьяна Федоровна, — до 1955-го. Оба пережили знаменитого сына. Отец сделал хорошую для крестьянина карьеру: служил в Москве приказчиком в мясной лавке. Малыш несколько лет жил у деда с бабкой. Сестра Ольга родилась в 1898-м, но прожила только три года. В 1905 году родилась сестра Екатерина, а в 1911-м — Александра. Катя и Шура были настоящими русскими красавицами, обожали брата, а он до самой смерти опекал их и родителей, слал деньги, выбивал пайки, в 1918-м выхлопотал документ, охранявший крестьянское хозяйство в селе Константиново от налогов и реквизиций. Семья была богобоязненная, Сергея крестили, и он верил истово и буквально. Исповедовал веру дедов и отцов, веру Киевской Руси, веру Нестерова и Сурикова. Как отрок Варфоломей. Свирель, овечки, Богородица.

Но как же рано Сергей начал читать! В пять лет, в 1900 году. Ерунду читал, но читал все-таки. А в 1903—1904 годах он пытается уже сочинять свои частушки (в восемь-девять лет!). В ночном, кстати, у пастушеских костров. В 1904-м Сергей поступает в земское четырехгодичное училище у себя в селе (он закончит его в 1909-м с похвальным листом; правда, в третьем классе два года просидит, но это уж за проказы: мальчишка был хулиганом с детства). А дальше была двухклассная церковноприходская учительская школа в селе Спас-Клепики, которую он закончит в 1912 году со специальностью учителя школы грамоты. Грамоте его и впрямь обучили, недаром он потом в Москве у Сытина корректором работал.

В 1910 году пятнадцатилетний Сережа начинает писать уже всерьез. Первое настоящее стихотворение, почка будущего цветка: «Там, где капустные грядки красной водой поливает восход, кленочек маленький матке зеленое вымя сосет». Уже и стиль, и образ, и сила.

В 1912 году Сережа едет делать фортуна в Москву. Сначала работает в конторе того купца, у которого служит отец. Но там нужна была приниженность, «чего изволите-с?», надо было вставать, когда входит хозяин. А поэты этого не терпят. И Сергей переходит в издательство «Культура». А в 1913-м он уже корректор в типографии Товарищества И.Д.Сытина. Но учиться всё же

хочется, и Сергей становится вольнослушателем первого курса историко-философского отделения Московского городского народного университета имени А.Л.Шанявского. Но систематических занятий не получится. Как всякий талантливый, но ущемленный сословно разночинец, Есенин запоем читает Чернышевского, Белинского, Некрасова и прочие источники и составные части революционной идеологии. А эсдеки, «седые», легки на помине. В марте 1913-го Сергей подписывает «письмо пяти групп сознательных рабочих» члену Госдумы от социал-демократов Малиновскому и еще подписи под ним собирает. У него полиция даже обыск устраивает, а потом московская охранка, пленившись участием поэта в организации нелегального собрания рабочих-сытинцев, «сочувствующих РСДРП(б)», заводит «персональное дело» на 19-летнего Есенина. За ним ходит «наружка», филеры пишут донесения (делать жандармам было нечего). Но уже написана красивая, гламурная «Береза» («И стоит береза в сонной тишине. И горят снежинки в золотом огне».) И вот в 1914-м, в январе, московский детский журнал «Мирок» (под псевдонимом Аристон) это стихотворение печатает. И здесь же является пылкая дева А.Р.Изряднова, которой ужасно понравился этот красивый самородок, и Сергей вступает с ней в гражданский брак. Десять лет, самое время влюбляться. Лелю это и по штату положено.

А в 1914 году пойдут и серьезные стихи. Вот «Русь молящаяся»: «По дороге идут богомолки, под ногами полынь да комли. Раздвигая щипульные колки, на канавах звенят костыли... Лижут сумерки золото солнца, в дальних рощах аукает звон... По тени от ветлы-веретенца богомолки идут на канон». Что ж, крестьянин и христианин — синонимы, и поэт Сергей Есенин это блестяще доказал. Забыв, кстати, благополучно про Белинского с Некрасовым. Вот она, вера, вот она, земля, вот оно, главное в крестьянском мире, в зеленом Евангелии рощ и лугов: «Заглушила засуха засевки, сохнет рожь, и не всходят овсы. На молебен с хоругвями девки потащились в комлях полосы. Собрались прихожане у чаши, лихоманную грусть затая. Загузынил дьячишко ледащий: “Спаси, Господи, люди твоя”. Открывались небесные двери, дьякон бавкнул из кряжистых сил: “Еще молимся,

братья, о вере, чтобы Бог нам поля оросил”... На коне — черной тучице в санках — билось пламя-шлея... синь и дрожь. И кричали парнишки в еланках: “Дождик, дождик, полей нашу рожь!”. Это 1915 год, Сергею двадцать лет, но Дар Господень — понятие врожденное, его устами говорят века, от древлян и полян до села Константиново.

Пошли драгоценные строки, пошло золото в слитках. Поэма «Марфа Посадница», зарезанная цензурой за хулу на московских царей, погубивших Новгород (выйдет в 1917-м), баллада об атамане Усе (наш Робин Гуд), поэма «Русь». «Понакаркали черные вороны грозным бедам широкий простор. Крутит вихорь леса во все стороны, машет саваном пена с озер. Грянул гром, чашка неба расколота, тучи рваные кутают лес. На подвесках из легкого золота закачались лампадки небес». Это война. Это идут солдаты. «По селу до высокой околицы провожал их огулом народ... Вот где, Русь, твои добрые молодцы, вся опора в годину невзгод... Затомилась деревня невесточкой — как-то милые в дальнем краю? Отчего не уведомят весточкой, — не погибли ли в жарком бою?» И вот Сергей член Суриковского литературно-музыкального кружка. И его печатает даже газета «Новь». А еще он становится отцом. В декабре 1914 года дева Изряднова родила ему сына Юрия, за что он Анне Романовне был очень благодарен. Юру расстреляют в 1937-м, он доживет только до 23 лет.

Иван-царевич в столице

А в Петрограде Есенин, застенчивостью не страдавший, прямо с вокзала едет на квартиру к Блоку и читает ему свои стихи. Блок потрясен, дает рекомендательные письма в журналы, дарит свой сборник. Петербург носит юное дарование на руках, Есенин в моде и в фаворе. Вот он читает стихи в салоне Мережковского и Гиппиус. Они к нему благосклонны, а этой паре было трудно угодить. Начинаются чтения в кабаре, философских кафе и модных кабачках. Сергей приоделся: на нем атласная рубашка, вышитая серебром, и сафьяновые сапожки. Девы, жены и вдовицы сыплются в его лукошко, как

спелые ягоды. Сергей никому не отказывает, он немного кокетничает своей «народностью». Светские львицы, графини и княгини, отбивают друг у друга нового кумира. Он знакомится с Сологубом, Леонидом Каннегисером, Ремизовым. Выходит его сборник «Радуница» (1916). Его представляют лицам, близким ко двору: певице Н.В.Плевицкой, полковнику Д.Н.Ломану. Вот он покорила Анну Ахматову и Николая Гумилева. Он бывает у них в Царском Селе, они дарят ему свои стихи. В этом же 1915 году он знакомится с Мариной Цветаевой и гостит у Репина в его имении Пенаты.

Начинается «придворная» жизнь: Сергей читает стихи в доме великой княгини Елизаветы Федоровны; близкий к царице и ее окружению полковник Ломан рекомендует поэта в санитары полевого Царскосельского военно-санитарного поезда (так надо, это хороший тон, царица и царевны работают сиделками в госпитале, а за ними и вся знать). Горький, конечно, не преминул оценить и воспеть «народного» поэта. А у поэта появились деньги, и к тому же в стране масса фондов, которые содержат меценаты и двор. Есенин не стесняется оттуда черпать. Плюс гонорары. Он ездит с поездом к линии фронта, читает в салонах и госпиталях стихи, и даже в присутствии императрицы и великих княжон. Фаворит и любимец публики мог себе позволить и маленькое хулиганство: один раз он прогулял — не явился на дежурство в поезде. И ничего, схлопотал только двадцать суток ареста. Все равно императрица ему пожаловала золотые часы на цепочке со своим вензелем и государственным орлом. А так он паинька: принимает военную присягу, получает направление в школу прапорщиков. Об РСДРП(б) и помина нет, даром что его прежние приятели выступают против войны (по идиотским мотивам, но антивоенная их позиция — единственный здравый шаг за всю историю партии).

Но человеческая, кроткая, молящая, смиренно-гуманистическая интонация еще им не утрачена. Как Антей, черпает он и этику, и эстетику в родном Константинове. Деревня была человечна, но и прагматична. Даром не пропадало ничего. Из любимого мальчиком умершего кота сделали шапку, и ее носил дедушка. Верная собака принесла семерых ненужных щенят — и их утопили.

«И глухо, как от подачи, когда бросят ей камень в смех, покатались глаза собачьи золотыми звездами в снег». А корова, крестьянская кормилица, вообще превращается в говядину. За теленка дорого дают — и бедного сосунка пускают под нож. «Не дали матери сына, первая радость не впрок. И на колу под осиной шкуру трепал ветерок». Да и сама корова своей смертью не умрет. «Скоро на гречневом сее, с той же сыновней судьбой, свяжут ей петлю на шее и поведут на убой. Жалобно, грустно и тоще в землю вопьются рога... Снится ей белая роща и травяные луга». Интеллигент в первом поколении Сергей Есенин не может с этим примириться. Он уже умеет чувствовать, как положено интеллигенту, но мыслить еще не научился. Что и доказал февральско-октябрьский шок. Наступает Февраль, и Серезину белокурую голову кружит революция. Амок. Ураган. Исступление. Бедняга просто не понимает, что случилось. Он в восторге. Но ведь мало кто понимал, и в восторге были почти все, включая великого князя Михаила.

Серфингист смуты

Март, весна, свобода. Его друг Каннегисер, которого расстреляют через год за убийство палача Урицкого из питерской ВЧК, пишет тогда: «Тогда у блаженного входа, в предсмертном и радостном сне, я вспомню — Россия. Свобода. Керенский на белом коне». Есенин в упоении, выступает на митингах, сходится с левыми эсерами, знакомится с прелестной Зиночкой Райх, машинисткой газеты «Дело народа». Его всюду ждут, ему аплодируют. Они с Зиночкой венчаются, и в июне 1918 году у них рождается дочь Татьяна. Октября поэт не заметил, резвится по-прежнему. Но он не голодает, Горький кормит его даже охотнее, чем других (брат по социальному происхождению). Правда, писать он начинает какую-то самонадеянную чепуху. Белую армию называет «белым стадом горилл». Производит себя в пророки. («Так говорит по Библии пророк Есенин Сергей».) Эйфория!

У него оживают строители Петербурга: «Мы придем, придем! Мы возьмем свой труд! Мы сгребем дворян — да по

плеши им, на фонарных столбах перевешаем!» Но массы жаждут именно этого, и Сергей получает академические пайки и гонорары. Думает ли он об императрице, подарившей ему часы и расстрелянной вместе с милыми девочками, слушавшими его стихи? Нет! Он всё забыл. Уже и до Каннегисера дошло, уже и тот отдал жизнь, а наш Сергей упивается славой и заводит себе кроме Зиночки переводчицу Надежду Вольпин. Зиночка дарит ему сына Константина (1920 г.), а Надежда — Александра (1924 г.). Саша Есенин-Вольпин станет большим математиком и одним из первых диссидентов.

В 1919 году Есенин объявляет себя имажинистом, создает целое движение (никто так и не понял, что это такое, и Есенин — меньше всех). Выбивает себе командировки в Баку и в Тифлис, даже просится в Латвию и Эстонию за казенный счет. А из поездок ничего не привозит, кроме пустых агиток в честь Ленина и комиссаров. «Там, в России, дворянский бич был наш строгий отец Ильич. А на Востоке здесь их было 26». Двадцать шесть бакинских комиссаров. В 1921-м они с Зинаидой разводятся. Жить с Сергеем трудно. Этот ангел — махровый эгоист. К тому же пропадает в кабаках. В том же году он пишет свой шедевр: поэму «Пугачев» о стихии русского бунта, о душах, сгорающих в пламени мятежа, о скифах, просыпающихся в сознании славянина, о Руси, которая, как птица Феникс, сгорает на собственном костре. И тут в Россию приезжает дива — Айседора Дункан. Сергей, как каждый Иван-царевич, любит ловить таких жар-птиц. А Айседора Дункан относилась к нему вполне хладнокровно. Брак с Сергеем в 1922 году для нее — часть экскурсии. Экзотика. Всё включено. И такой белокурый трофей интересно продемонстрировать миру. А Зиночка брошена, брошена навсегда. И лучше бы ей остаться вдовой Есенина. Но она останется вдовой Мейерхольда, и в качестве таковой НКВД ее зарежет, чтобы не болтала.

Сергей хлопочет об иностранном паспорте, ему, конечно, дают. Хищная Айседора тащит Леля и в Париж, и в Берлин, и в Венецию. Деньги есть: за «Пугачева» заплатили 9 миллионов, в Берлине издатели дают еще 20 тысяч марок. Дункан тащит Есенина в США. Там она танцует, а он экспонат, ему нечего делать ни в Нью-Йорке,

ни в Париже. («Мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи». Высоцкий.) Поэт ничего не понимает ни в Западе, ни на Западе, он цепенеет, пишет глупости (типа «Железного Миргорода»). Задирает официоз в «Стране негодяев», так и не напечатанной. До поэта с опозданием доходит, куда несется «птица-тройка». Куда ее несет. Он впадает в запой еще в Париже, вернувшись, рвет с Айседорой Дункан, пьет, скандалит, пытается кричать, предсказать, остановить, но слов нет, есть чутье, а это не расскажешь. Он не вылезает из милиции и товарищеских судов, и чем больше он пьет, тем больше трезвеет. В последний год, в 1925-м, его женит на себе внучка Толстого, Софья, чтобы «спасти». Но спасения нет. Он успеет написать гениальную «Анну Снегину» — о времени и о себе. В стране листопад надежд, иллюзий, веры. Он поймет всё на пять лет раньше Маяковского — до процессов, до Сталина, до чисток. Последний листок Февраля, он повиснет в «Англетере» в конце декабря. «Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?» («Пугачев»).

СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ

На что ловят поэтов

Бездны бывают разные, не обязательно подводные и космические. На земле хватает бездн, и одна из самых бездонных и ужасных — сердце человеческое. И Всемирный потоп не обязательно связан с падением астероида или глобальным потеплением. Каждый водолаз знает: ниже определенной отметки подводник слышит зов бездны. Это значит, что наверх уже не подняться, что чудовищное давление сплющит тебя в блин. А философы XX века предостерегают (экзистенциалисты, пережившие коммунизм и фашизм): если человек склоняется над бездной и слишком пристально всматривается в нее, то бездна может ответно поглядеть в человека, и тогда — берегись.

Владимир Маяковский всю жизнь изображал из себя то ли боевика, то ли полевого командира, то ли конкистадора (революционерами и в 1905-м, и в феврале 1917-го были почти все интеллигенты, а художники — на 99 процентов), да и октябрь 1917-го от людей искусства, от этих несчастных нонконформистов, упрямецев, у которых вечно всё не как у людей (а по бардам из КСП: «Странные люди заполнили весь этот город, мысли у них поперек и дела поперек, из разговоров они признают только споры, и никуда не уходит оттуда дорог»), взял свою дань в виде 60–70 процентов. Мобилизовал, заморозил, обманул и завел в трясины, где такие прекрасные болотные огни). В темноте пламенный поэт принял обыкновенную жабу за Василису Прекрасную.

Но Маяковский уникален. Он единственный из всех скатившихся в поэтическом угаре на самое дно сумел одним великолепным жестом вернуться на поверхность. Поэтому он вопреки пяти по крайней мере томам «своих партийных книжек» обрел последний приют в Храме. Не в качестве колонны и не в качестве витража. Роспись.

Изображение Страшного суда. Как у Микеланджело в Сикстинской капелле. Корыстолюбцев и пошляков, гаеров и мелкие душонки ловят на роскошь: на жратву, на брюлики, на дворцы, на бархаты и шелка, на славу, наконец, на место классика, на лесть в газетах и стул в президиумах. Настоящих поэтов ловят вовсе не на это.

Рыболовы от власти должны знать рыб и прикормку, должны не перепутать премудрых пескарей, охранных голавлей, сановных щук с карасями-идеалистами и сатириками-ершами. Настоящих поэтов ловят на жертвенность, на идеалы, на страдания, на разруху, на мечту, на нужду и голод, даже на смерть.

Так поймали Маяковского. «С каким наслаждением жандармской кастой я был бы исхлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт».

У Володи был избыток героизма. Вот на это его и поймали. И если Пастернак был только поэтом, то не забудьте, что Маяковский набивался в боевики.

«Я с детства был испорченный ребенок»

«Великий пролетарский поэт» был по рождению совсем не пролетарием, и эта малая толика благородства, свойственная дворянству, его и спасла. Отец его, Владимир Константинович (слава богу, умер в 1906 году, и его не коснулись ни «кировский поток», ни дворянские «зачистки» 20-х), был бедный дворянин и служил лесничим в Эриванской губернии. Да и мать, Александра Алексеевна, пережившая сына на 24 года (но опять-таки, слава богу, не попавшая в лагеря, как жена Багрицкого), была из рода кубанских казаков (это вам не мужики, не «беднейшее крестьянство»). И родился Володя в Грузии, в селе Багдати близ Кутаиси, в 1893 году.

Дворянское благородство, храбрость и верность казачества и Грузия как пейзаж за спиной — щедрая, смелая, веселая, вся в винограде, в шашлыках и хорошем вине. Витязи в тигровых шкурах стояли у колыбели поэта, сверкал алмазами Казбек, слышались звуки зурны, насмешливо улыбался Демон и постукивали башмачки Тамары. Конечно, из ребенка получился бунтарь: Ромео и Дон Жуан в одном флаконе, плюс немножко Гамлет, но без занудства.

В 1902 году поэт поступает в кутаисскую гимназию. Сестры Люда и Оля обожают брата.

Но в 1906 году умирает отец, и семья покидает поэтическую Грузию, чтобы переселиться в прозаическую Москву. Но Володя и здесь найдет себе поэзию...

Володе 13 лет, и это уже сложившийся человек. Тинейджер. Он поступает в 5-ю гимназию, где учится в одном классе с братом Пастернака, Шурой.

Но проучился он только до 1908 года. А дальше — столкновение с бездной. В 1908 году, в 15 лет (креста на большевиках точно не было), он вступает в РСДРП. До Октября набрал три ареста. Но восприятие митингов чисто детское: «В черном — анархисты, в красном — эсеры, в синем — эсдеки, в остальных цветах — федералисты».

В 1905 году сестра привезла ему из Москвы антивоенные стихи, первую нелегальщину. Это было ужасно для такой натуры: стихи и революция слились.

А аресты — это была сплошная потеха. Мальчик просто напрашивался в тюрьму. А злые жандармы его отвергали, отдавая родителям под «ответственный присмотр». В первый раз Володю задержала полицейская засада на чужой квартире, где работала нелегальная типография Московского комитета РСДРП. У него отобрали целые пачки этих скучнейших и примитивнейших изданий: «Рабочее знамя» (84 экземпляра!), «Солдатская газета» (6 шт.) и 76 тошнотворных прокламаций «Новое наступление капитала». Это конец марта 1908 года.

Восторженный мальчик уже давно вместо Ната Пинкертона читал под партой «Анти-Дюринга», а на уроках хватал двойки с единицами. Впрочем, подрасться парень тоже любил. Даже голову камнем ему расшибли.

Беда была с арифметикой. Так же, как и у Грина: читал отлично, а вот счет не шел. Но каково объяснение! Мол, в задачках все делят яблоки и сливы, а я дома их ел, сколько хотел: на Кавказе фруктов много. Поэтому и не понимал счета.

А 18 января 1909 года Володя снова задержан полицией в ходе обыска. Не нашли ничего, и вдруг — прямо на сундуке лежит револьвер! Но друг семьи С.А.Махмудбеков (вот оно, кавказское рыцарство!) заявил, что револьвер принадлежит ему, а у Маяковских он его забыл (и нечего

оружие швырять куда ни попадя). Поэтому мальчика освободили уже 27 февраля.

Со вторым арестом было серьезнее. Один махровый боевик (Исидор Моргадзе), участник демонстраций в Кутаиси и покушения на генерала Алиханова (усмирителя Грузии), а в декабрьской Смуте сражавшийся в составе кавказской дружины (грузин можно понять, они боролись за независимость и разваливали империю, чтобы отломить свой кусочек рая), решил с товарищем (И.М.Сцепуро) подготовить массовый побег из Таганской тюрьмы. Для этого они поселились у Маяковских (нам каждый гость дарован Богом) и даже посвятили хозяев в детали...

Дело не выгорело, но в 1909 году эта сладкая парочка боевиков организовала массовый побег из Новинской женской каторжной тюрьмы, и опять помогли рыцарственные Маяковские. Как леги не помочь? Джентльмен помочь обязан.

Первого июля — побег, а 2 июля Володю опять арестовали.

Восемнадцатого августа 16-летний юноша попадает в Бутырки, сидит там одиннадцать месяцев, пишет плохие стихи и ждет высылки на три года в Туруханск под гласный надзор.

Мама едет в Петербург хлопотать (без ведома сына), и Володю отпускают до суда как несовершеннолетнего. Это вам не сталинские времена, чтобы расстреливать 12-летних.

Мальчик не просто сочувствовал, он лез на рожон.

А в 1911 году выяснилось, что Володя неплохо рисует. И он пошел в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. И вот программное знакомство с Давидом Бурлюком, который писать не умел, но умел организовывать всякую муру вроде секции кубофутуристов.

Маяковский с восторгом туда идет, «реакция» пошла ему на пользу: на демонстрации памяти Баумана мальчику попало большим барабаном по голове, и он испугался, думал, сам треснул.

РСДРП — это судьба бедного и талантливого юноши, ведь после смерти отца в Москве денег у семьи нет, приходится давать обеды и сдавать комнаты. А столуются и живут бедные студенты, социалисты. Вроде большевика Васи Канделаки.

Но постепенно боевиков загонят в подполье или эмиграцию, и Маяковский переключится на футуризм. И оранжевая кофта будет, и морковь. Но талант тоже есть, и это спасет.

Небожитель

«Ночь» — это феерия и фантазмагория. Первое приличное стихотворение. 1912 год.

«Багровый и белый отброшен и скомкан, в зеленый бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты».

1912–1917 годы — самое счастливое время в жизни Маяковского. Он временно забывает о проклятой политике, которой суждено его загубить, он король, он поэт. Он проводит время в гостиных и артистических кабачках, а не на сходках или в тюрьме.

Он не гений, но он талант. Авангард, как и было сказано. Но человеческая нотка, странная тревога (чутье все-таки, «всеведенье пророка»: жизнь в отдельно взятой России кончалась), эсхатологические мотивы, блестящие красоты, брошенные в причудливый слог, и безусловно гуманистические мотивы антивоенных стихов давали эффект значительнее авангарда. Это была поэзия. Третьего разряда, но поэзия. Твердая бронза. «Последнего мира прощальная просьба: спой, Мэри, спой».

В 1913 году появляется поэма «Владимир Маяковский». Пьесу (сплошной сюр, но симпатичный сюр) поставили, и сам поэт себя сыграл. Публика сходила с ума: одни восторгались, другие топали и свистели. Сухие и черные кошки (предвестницы номеров Куклачева) мяукали. Но в этом сюре было несколько откровений: Старик с кошками, например, произносит монолог. «Оставь. Зачем мудрецам погремушек потеха? Я — тысячелетний старик. И вижу — в тебе на кресте из смеха распят замученный крик. Легло на город громадное горе и сотни махоньких горь. А свечи и лампы в галдящем споре покрыли шепоты зорь... А с неба на вой человечесьей орды глядит обезумевший бог. И руки в отрепьях его бороды, изъеденных пылью дорог. Он — бог, а кричит о жестокой расплате,

а в ваших душонках покошенный вздошек. Бросьте его! Идите и гладьте — гладьте сухих и черных кошек!» Интересно, рассматривал ли Анатолий Чубайс в РАО «ЕЭС» такую возможность электрификации страны и реформирования отрасли? «Мир зашевелится в радостном гриме, цветы испавлинятся в каждом окошке, по рельсам потащат людей, а за ними все кошки, кошки, черные кошки! Мы солнца приколем любимым на платье, из звезд накуем серебрящихся брошек... Бросьте квартиры! Идите и гладьте — гладьте сухих и черных кошек!»

Два года, 1914-й и 1915-й, поэт пишет знаменитое «Облако в штанах».

А стихотворение из антивоенного цикла «Мама и убитый немцами вечер» годилось бы и для наших дней: и в Сербии, и в России, и в 1994-м, и в 1995-м, и в 2000-м. И в афганскую войну пришлось бы кстати, и в чеченскую. «По черным улицам белые матери судорожно простерлись, как по гробу газет. Вплакались в орущих о побитом неприятеле: “Ах, закройте, закройте глаза газет!”»

Вообще Маяковского опять кидает приливом. Сначала он хотел в добровольцы, даже просил у жандармов свидетельство о благонадежности, но жандармы не дали. В 1915-м его мобилизуют, но он уже в антивоенном состоянии. Пришлось пристроиться в Петроградскую автомобильную школу. Помог вездесущий Горький, вечная нянька молодых дарований. В это же время Маяковского начинают печатать в «Новом Сатириконе» (не без страха, что этот неформал всех развратит). Но Аверченко был достаточно терпим. Впрочем, вечный эпатаж Маяковского был маской интеллигента, и многие это поняли.

В.В. работает как одержимый, как будто знает, что «завтра не наступит никогда». Все футуристы пришли в восторг от Февраля и Октября. Им показалось, что это круто. Но большевикам сначала было не до поэтов. Поэты были предоставлены самим себе. И в 1918 году Маяковский еще успеет написать поэму «Человек» с потрясающим финалом. Поэму он сыграет, как всё в эти его золотые пять лет: на флейте собственного позвоночника (и «Флейта-позвоночник» — это та же пятилетка!). Вот этот финал, и на нем закончится период чистоты,

невинности, красоты, свободы и артистизма в жизни бедного поэта-неформала, налетевшего на бездну и погибшего в этом ДТП. «Погибнет всё. Сойдет на нет. И тот, кто жизнью движет, последний луч над тьмой планет из солнц последних выжжет. И только боль моя острее — стою, огнем обвит, на несгорающем костре немислимой любви». Это уже космос.

Нисхождение в Мальстрём

А потом поэт решил служить народу. Извечное дворянское чувство вины. «Мужиком никто не притворялся. Но, целуя тонкий луч клинка, лучшие из русского дворянства шли на эшафот за мужика» (Евтушенко).

В 1915 году Владимир встретится с четой Бриков — Лилей и Осипом, и это будет роковая встреча. Маяковский кинет свое творчество под ноги толпе: охлосу, комбедам, красноармейцам, рабочим, матросне. «Товарищи! Дайте настоящее искусство, такое, чтоб выволочь республику из грязи». Но искусство у него позади... Утилитарного искусства не бывает, оно — не утюг, не вешалка.

В 1923 году из остатков футуристов он организует группу ЛЕФ («Левый фронт искусств»). Искусство сгорает окончательно в этой политической топке. В толстом журнале ЛЕФ он, однако, печатает Пастернака. Этого «чуждого» явно гения он берег и защищал. Но среди агиток и почти прокламаций, из-за которых он мог показаться элементарным сукиным сыном, вдруг начинал бить фонтан человечности и таланта.

«Про это». Это когда больше нет сил писать про «то». И тогда появляется ода «России» про собственную гибель. Здесь родная революция — «снеговая уродина», а «агитатор» и «главарь» — «заморский страус». Здесь — плевков себе же в лицо за «служение обществу»: «Мама, а мама? Несет ли он яйца? — Не знаю, душечка, должен бы несть».

И пророчество на одиннадцать лет вперед: «Что ж, бери меня хваткой мерзкой! Бритвой ветра перья обрей. Пусть исчезну, чужой и заморский, под неистовства всех декабррей».

А случится это в апреле. 14 апреля 1930 года.

Двенадцать лет надругательства над собой — больше выдержать было нельзя. Маяковский не умеет лгать. И агитки в пользу красных на редкость бездарны.

Сначала, в 1919—1920 годах, ему давали конину и щепотку соли. У многих и этого не было. Потом пошли лоты покрупнее. Ему разрешили мотаться по всему миру: и в США, и в Париж. Разрешили жить в «Европейской», разрешили носить американские костюмы и желтые американские башмаки. У него были деньги кутить в ресторанах, даже иностранных. Но его нельзя было купить. Даже за видимость свободы.

На квартире у Бриков Лубянка создала для него салон: собирались интересные люди, острили, издевались над советской властью. Осип и Лиля «пасли» поэта по поручению ВЧК. Он был даже не «попутчиком», как Пастернак, а своим в доску. Леваком. «И в подошвах его башмаков так неистово виделись гвозди, что — казалось — на дюйм выступают из толстых подошв. Он точил их — но тщетно! — наждачными верстами Ниццы, он сбивал их булыжной Москвою — но зря! И, не выдержав пытки, заплакал в районе Мясницкой, прислонясь к фонарю, на котором горела заря»*. В Америку он ездил не зря. Оттуда он привез стансы о Колумбе. «И в розовый этот песок на заре вглазелись. Не смеют надеяться: с кольцом экватора в медной ноздре вставал материк индейцев».

А о голоде и разрухе начала 20-х осталось это, человеческое и исполненное любви: «Землю, где воздух, как сладкий морс, бросишь и мчишь, колеса, — но землю, с которой вместе мерз, вовек разлюбить нельзя. Можно забыть, где и когда пузы растил и зобы, но землю, с которой вдвоем голодал, нельзя никогда забыть».

Но большинство стихов стыдно читать. Собственно, Маяковский со своим ЛЕФом (откуда он уйдет в 1928 году) был похож на троцкиста. Выступал за перманентную революцию, против обывателей и канареек. Явно не понимая, что канарейка важнее Маркса и даже важнее коммунизма. Это ведь вполне троцкизм: «Скорее головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит!»

Его «Баню» и «Клопа» ставил Мейерхольд. Сошлись два авангардиста, два левака.

* В. Катаев, «Маяковский». — *Прим. ред.*

К 1930 году Маяковский понял всё. Обожаемый народ (крестьяне) миллионами шел на этап, «уничтожался как класс». Сам он перестал быть поэтом, хотя остался стилистом.

Восхождение

Талант он загубил ни за что. Фигура Сталина (ни одной строчки о нем!) внушала ему отвращение и ужас. По общественной позиции он стал подонком.

Поэты умеют прозревать. Но не все платят по своим счетам. Он мог остаться на Западе и кинуть большевикам в лицо правду. Но погибли бы сестры, мама, Брики (как он думал), Вероника Полонская. Оставить правдивую записку — никто бы не передал никуда, только на Лубянку. Да и бежать после всего, что он натворил, — это было бы подло. Нет, искупление здесь было одно. Надо было доплыть до берега. Берегом была смерть. «Честная и непостыдная» кончина. И он бросает в лицо режиму — себя, свою смерть. Какой вызов! Какой проигрыш для Сталина! Ведь он уйдет свободным, только в записке солжет насчет «любовной лодки».

Он отшвырнул жизнь, где так ошибся. «Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят — так что ж?! По родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Мы поняли, Володя. Выстрел — это мы поняли. И дали место в Храме. Вечная жизнь ценой смерти — это так по-нашему.

Кстати, современники поняли тоже. Понял великий Пастернак. Понял и позавидовал. Его эпитафия говорит о подвиге. «Ты спал, постлав постель на сплетне, спал и, оттрепетав, был тих, красивый, двадцатидвухлетний. Как предсказал твой тетраптих. Ты спал, прижав к подушке щеку, спал со всех ног, со всех лодыг врезаясь вновь и вновь с наскоку в разряд преданий молодых. Ты в них врезался тем заметней, что их одним прыжком достиг. Твой выстрел был подобен Этне в предгорье трусов и трусих».

РОМАНТИК С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Эдуард Багрицкий рисковал не попасть в Храм, а оказаться в нашем «сади́ке отверженных» в пределах церковной ограды. Он слишком уж влип (если не сказать, вмазался) в Революцию (то есть в мясорубку, в Бойню, в Смуту) и в Гражданскую войну.

Но с поэта какой же спрос? С поэта взятки гладки. Это еще воспитанный и старорежимный Блок доказал (во-первых, своими «Двенадцатью», а во-вторых, стихотворением «Поэты»). Эти блоковские слова действительны на весь поэтический российский эскадрон «поэтов и гусар летучих», на всех безумцев и пророков, мудрецов и детей, не умеющих ценить жизнь и не понимающих, что такое смерть: ни своя, ни чужая. «Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей, а вот у поэта — всемирный запой, и мало ему конституций!»* А великолепные, чеканные, пропитанные морем и солнцем Одессы, пахнувшие рыбой, горилкой, вином, раками, осенними листьями и осенними плодами стихи Багрицкого обеспечили ему место рядом с поэтами Серебряного века на цветных сказочных витражах нашего Храма. Настоящее искусство неподсудно, а поэты обходятся без этики, одной эстетикой. Багрицкий писал стихи. То, что делал Лавренев в прозе, он сделал в стихах, и еще лучше. Он пишет о войне — и хочется бежать, стрелять, рубить кого-нибудь шашкой. Он переводит стихи о разбойниках — и хочется идти с кистенем на большую дорогу.

Платон предлагал изгнать поэтов из своего государства. Теперь вы поняли почему. Страшная сила поэзии разрушительна и непреодолима. Безбашенные поэты могут запросто снести крышу с любого общества, с любой страны.

Доля русской поэзии в катастрофе 1917 года очень велика. А жертвы этой поэзии всё равно поставят томики

* А.Блок, «Поэты». — *Прим. ред.*

Разрушителей на свою книжную полку. А то и станут декламировать их стихи в камерах смертников и на нарах концлагерей. Красота не только спасет мир. Она же его и погубит.

Блудный сын

Эдуард Георгиевич Дзюбин (он же Багрицкий по псевдониму) родился 3 ноября 1895 года в веселой, разгульной Одессе, городе поэтов, сатириков, писателей и рыбаков. Родился он в торговой еврейской семье, небогатой, но с сильным купеческим уклоном и очень религиозной. Менее подходящей среды для космополита и вольнодумца Эдика нельзя было и представить. Родители Мандельштама были все-таки намного образованнее и отдали сына в престижное Тенишевское училище (почти наследник Царскосельского лицея). А здесь всё было куда прозаичнее. Родители мечтали сделать из сына коммивояжера, приказчика или страхового агента. Определили его в ремесленное училище — он оттуда сбежал к морю. Перевели в реальное (можно сказать, колледж с физматуклоном) — он опять сбежал к морю. Закончил землемерные курсы — и опять-таки больше времени проводил у моря. Он никогда не работал по специальности, да и вообще с 1915 года начал писать стихи и печататься в альманахах Одессы.

«Одесская банда» — это были они, три мушкетера: Юрий Олеша, Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий. И жуткий — то ли д'Артаньян, то ли Воланд (говорят, Булгаков писал сатану с него) — Владимир Нарбут, демонический поэт, писавший очень плохие стихи, но бритый наголо, с отрубленной в боях кистью руки и колченогий, герой войны, приговоренный белыми к смертной казни, жуткий декламатор, мистификатор, мистик (а акмеистом он стал в пику времени под началом Гумилева; Гумилев писал гениальные стихи без всяких «измов», а в акмеисты к нему записывались интересные и агрессивные чудачки, и были они всем хороши, да стихи писать не умели). Но зря наш Эдди пытался стать то ли командиром, то

ли карбонарием, то ли революционером, то ли контрабандистом. С девяти лет его одолевала тяжелая астма, и приходилось сидеть в четырех стенах и дышать астматолом. Даже плавать ему было нельзя. С родителями он не сошелся, а еврейскую общину просто возненавидел. Он ушел из дома, и если в 1918—1923 годах и вспоминал о матери, то только в контексте наследства: беличью ротонду, серебряные ложки и подсвечники и медный тазик она заперла в сундук, а ключ повесила себе на шею. Эдуард надеялся «после смерти старухи» всё это продать и чего-нибудь поесть, потому что есть было нечего, и голодные мушкетеры, неизменно снимавшие головные уборы перед домом Пушкина, шли на всякие авантюры, чтобы достать хоть немного еды.

Из дома Багрицкий ушел по идейным соображениям. «Над колыбелью ржавые евреи косых бород скрестили лезвия». О детстве, о милых иудейских религиозных обрядах, таких древних, таких мудрых, таких красочных, у этого бунтаря остались наихудшие воспоминания, и о Библии тоже. Итак, детство: «Его опресноками иссушали. Его свечой пытались обмануть. К нему в упор придвинули скрижали — врата, которые не распахнуть... Родители? Но, в сумраке старея, горбаты, узловаты и дики, в меня кидают ржавые евреи обросшие щетиной кулаки».

Это Багрицкий, атеист и изгой, напишет в 1930 году, в стихотворении «Происхождение». И все-таки он ощущает себя евреем, но только Моисеем, уводящим свой народ из Египта и напоследок угощающим всех неревolucionеров казнями египетскими. Его народ — не евреи, а новые люди, поэты революции, бродяги, флибустьеры и авантюристы. Всё разрушить до основания, разметать по ветру и идти вброд через Черное море (то есть Красное, море Крови) искать Землю Обетованную. «Меня учили: крыша — это крыша. Груб табурет. Убит подошвой пол, ты должен видеть, понимать и слышать, на мир облокотиться, как на стол. А древоточца часовая точность уже долбит подпорок бытие. ...Ну как, скажи, поверит в эту прочность еврейское неверие мое?»

Да, это точно. Мандельштам тоже не поверил. Но его-то обмануть было нельзя, и он понял, что такое

советская действительность, в конце 20-х (да и в 1918-м, когда выхватывал из рук у Блюмкина расстрельный список). Он был слишком умен, чтобы обольщаться романтикой. А для поэтов-безумцев типа Багрицкого любая тихая гавань (вроде Российской империи) — Египет, и даже безобидный Николай II мог показаться фараоном. Но Бог видит правду, и после того, как пророки-самозванцы уничтожили свой Египет и пошли искать без его мандата, без скрижателей, но по своему хотению Землю Обетованную, он утопил всех переселенцев в крови и продлил их казнь до седьмого колена, и через девяносто лет лет мы еще несем на себе клеймо этого проклятия, которое навлекли на нас наши «проклятые поэты» типа Маяковского и Багрицкого.

Родителям Маяковского не повезло: блудный сын вернулся и даже умял упитанного тельца. А Эдуард не пришел домой, да и тельцы в Гражданскую решительно перевелись.

Бездельник Эдуард

Это его так обозвал закадычный дружок Валентин Катаев. В 1918 году наш чахлый, но пламенный поэт «ушел на фронт». То есть записался в Красную армию, и его определили в политотдел: писать агитационные стихи. Там его, конечно, кормили. Но все его поэмы в стихах о тачанках, пулеметах, кавалерийских атаках и ампула военспеца — чистый поэтический вымысел, одна мечта (к счастью, неосуществленная). На руках поэта не было крови, одни чернила. А вот после войны он трудоустраивается в знаменитое ЮгРОСТА (Южное бюро Украинского отделения Российского телеграфного агентства). Явившись в редакцию, он изрекает: «Короста — болезнь накожная, а югроста — настенная». Это, кстати, точно, но редакция выпала в осадок. Дальше он лично пишет красками на агитационном плакате: «Буржуазия ласкала пролетария всегда, миловала, целовала, на деревьях ве-ша-ла». Тоже, кстати, точно подмечено, но через неделю от такой работы начальство зарыдало и, выдав поэту зарплату за месяц вперед, вытолкало его взащей.

Как пишет лучший (и самый злоязычный) биограф и летописец тех времен Катаев, за месяц поэт перепробовал уйму профессий, но отовсюду его выгнали, потому что он ни на какую работу не годился. «Он умел лишь писать великолепные стихи, но они как раз никому не были нужны», — опять-таки язвит Катаев. Какие же способы выживания придумал поэт? Он обольстил подавальщицу в коммунальной столовой, чтобы получить лишнюю порцию каши. Он проник в контрреволюционное подполье и две недели тянул деньги с пылкого и неумного капитана, обещая взорвать миноносец большевиков. Это могло быть и легендами, но поэт выжил, так что что-то такое было. Ведь в одесской газете «Моряк» ему платили табаком, соленой хамсой и ячневой крупой. Но самый ловкий «финт ушами» поэт выкинул, когда женился на Лидочке Суок.

Три сестры

Три приятеля женились на трех сестрах. В семье австрийского эмигранта Густава Суок (узнаете имя любимой героини Юрия Олеши?) подрастали три барышни. Их «кадрили» три мушкетера (кроме Валентина Катаева) плюс Нарбут — д'Артаньян/Воланд. Старшую, степенную, серьезную и деловую Лиду, выбрал Эдуард, и хорошо сделал. Средняя, нежная Ольга, стала в конце концов женой Олеши, и он писал с нее девочку-гимнастку, сестру наследника Тутти — Суок. А младшая, Сима, была бойкой красавицей со склонностью к авантюрам. Три голодных мушкетера сдали ее в аренду, вплоть до женитьбы, бухгалтеру Маку, у которого было много продовольственных талонов и который кормил всю компанию несколько недель, а потом закатил неслыханный свадебный пир. Симочка с удовольствием ушла к богатому бухгалтеру, хотя ее любил Ю.Олеша. Но грозный Катаев в турецкой феске (выданной по ордеру) увел ее от Мака. Уходя, Сима не забыла прихватить сверток продуктов и сверток подаренных бухгалтером вещей... Но от Катаева ее увел жуткий Нарбут, угрожая самоубийством.

А Лидочка спасла Эдуарда. Из своей юбки сшила ему штаны, из своего пальто — куртку, променяла все вещи на

продукты (он заставил ее бросить службу, а служба была выгодной и около еды), покупала ему любимых птиц на рынке (Багрицкий был помешан на птицах и рыбах, его и прозвали Птицеловом). Она родила ему сына Всеволода, которого чуть не украли на чердаке, жилище Багрицких, где он лежал в ящике вместо колыбели. Решили, что дитя брошено, и унесли. (Потом вернули с шикарным детским приданым, которое загнали на рынке.) В 1925 году верный Катаев выписал Багрицкого в Москву, где он сразу стал знаменит. Устроившись в страшной развалюхе в Кунцеве, Багрицкий купил шикарное пальто и телеграфировал жене: «Собирай барахло хапай Севку катись в Москву». Еле приняли: Багрицкий уверял, что в Одессе иначе не поймут.

Возмездие

В Москве поэт быстро пошел в гору. Вступил в группу «Перевал», потом в РАПП, уже в 1930 году. Воспитывал своего Севку: в 12 лет мальчик уже умел стрелять, ходить босиком на лыжах, переплывал Москву-реку. Хотел сделать из него «бойца Революции». В 1930 году ему даже дали квартиру из двух приличных комнат в писательском доме. Поэзия была Багрицкому анестезией. Он так и не успел понять, что происходит вокруг. А писал он незаурядные вещи с 1915 года. Вот его «Осень» тех лет. «И Осень пьяная бредет из темных чащ, натянут черный лук холодными руками, и в Лето целится и пляшет над лугами, на смуглое плечо накинув желтый плащ. И поздняя заря на алтарях лесов сжигает темный нард и брызжет алой кровью, и к дерну летнему, к сырому изголовью летит холодный шум спадающих плодов».

Вечный инсургент, Багрицкий любил и чужие революции. Он подарил итальянцам в 1923 году «Памятник Гарибальди». «От Сицилии до Милана Гарибальди прошел — и встал телом бронзового истукана на обтесанный пьедестал... А кругом горизонт огромен... И, куда долетает взгляд, острой грудой каменоломен Альпы яростные лежат... Над Миланом на пьедестале страшный всадник и страшный конь; пальцы грозно узду зажали,

и у пристальных глаз ладонь; с окровавленного гранита в путь! На север! В снега и мрак! Крепче конское бей копыто, отчеканивая шаг...»

Любимые герои Багрицкого, его нравственные ориентиры — это Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак. Ему так хотелось спеть песню жаворонка и в ответ услышать песню петуха! Он так и не понял до самой смерти, что работает на испанскую инквизицию, то есть на ВЧК, что его Дзержинский и есть герцог Альба... Впрочем, попытка воспеть Ленина была неудачной: вождь оказался несовместим с истинной поэзией мятежника и протестанта. Самые страшные слова он сказал в «ТВС», солидаризуясь с уже мертвым Дзержинским, в 1929 году: «А век поджидает на мостовой, сосредоточен, как часовой. Иди — и не бойся с ним рядом встать. Твое одиночество веку под стать. Оглянешься — а вокруг враги; руки протянешь — и нет друзей; но если он скажет: “Солги”, — солги. Но если он скажет: “Убей”, — убей». Лгать поэт не научился и, слава богу, никого не убил. Даже на охоте из-за астмы промахивался. Но Смерть ходила за поэтом по пятам с детства. Она была его заветной суженой, нареченной. Он любил ее. Он хотел умереть в бою и не от астмы, «на соломе».

В нем играла и пенилась скандинавская традиция. «Возникай содружество ворона с бойцом, — укрепляйся, мужество, сталью и свинцом. Чтоб земля суровая кровью истекла, чтобы юность новая из костей взошла». Ради этого, отвергая крестильный крестик, должна была умереть пионерка Валя. Багрицкий не только с иудаизмом воевал, но и с христианством. Пионеры должны умирать. Это красиво. Это круто. «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед». Победа или смерть, Родина или смерть — так вопрос для Багрицкого не стоял. Конечно смерть! «Так бей же по жилам, кидайся в края, бездомная молодость, ярость моя! Чтоб звездами сыпалась кровь человечья, чтоб выстрелом рваться вселенной навстречу, чтоб волн запевал оголтелый народ, чтоб злобная песня коверкала рот». Он хотел быть и контрабандистом, и пограничником. Он воспел Махно, Котовского, комиссара Когана, беглого продотрядовца Опанаса. Шла волна. «Украина! Мать

родная! Молодое жито! Шли мы раньше в запорожцы, а теперь — в бандиты!»

Он хотел быть шотландским сепаратистом, английским разбойником, американским пионером. Он не видел мир, не успел, не смог. Но он его познал и блестяще запечатлел. Однако Бездна не прощает неосторожных «ау!». И Бездна услышала его. Сам поэт ушел вовремя, счастливым, небитым (критиковать за вольности, за партизанщину и прочее его «Думу про Опанаса» стали только в 1949 году). Астма обострилась, одолела пневмония, и Багрицкий ушел в феврале 1934 года. Его хоронили красиво, как он хотел: кавалерийский эскадрон, сабли наголо. Лавина обрушилась на его близких. В 1937 году забрали Владимира Нарбута (из лагерей он не вернулся). Лидия, вдова Багрицкого, пошла в НКВД заступиться за зятя. Она вышла оттуда через 17 лет, в 1956 году. А Всеволод, начинающий поэт, *enfant terrible*, хулиган и оригинал, ушел на фронт в 1941 году военным корреспондентом. Его убили уже в 1942-м, он не прожил и 20 лет. Мать сначала не могла его проводить, потом похоронить. Как тесен мир! Невестой Всеволода была Люся Боннер.

У нее тоже всех арестовали. После смерти Всеволода Люся пошла на фронт. Она станет женой Андрея Дмитриевича Сахарова и яростным антисоветизмом испугит безоглядную веру Всеволода и Эдуарда. В могилу Багрицкого на Новодевичьем попросились потом Олеша и Шкловский. Как будто искали защиты. А его юный друг Николай Дементьев, с которым вместе он хотел умереть в атаке с сумкой, полной стихов Тихонова, Сельвинского и Пастернака, покончил с собой в 1935 году. Он отказался быть осведомителем НКВД, и молодого поэта затравили.

Шторм смыл всё, кроме стихов. Их выкинуло на берег, отшлифованных морем, играющих алмазными гранями. И мы собираем их на берегу, эти жемчужины поэзии. Вызревшие в раковине Катастрофы.

УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА

На фоне Мандельштама другие российские поэты, тоже не очень-то приспособленные к выживанию в суровой советской действительности (те, кто на горе себе дожил и вошел под ее смертную сень), кажутся законченными прагматиками. Сверкающий нездешний колибри, отчаянный утренний жаворонок, бросающий вызов Ночи, безобидный пересмешник, улавливающий звуки и ритмы эпохи. Но не только, не только... Вещий черный ворон, только без мощного клюва, пророк Беды и Смерти; легендарный Див, тоже пророк; Сирин и Алконост; птица Феникс, бросающаяся в костер, чтоб никогда не восстать из пепла. Великий и скорбный дар Пророка, безумного библейского Пророка с развевающимися седыми волосами, беседующего в Пустыне с Богом и Ангелами его (не исключая Люцифера). Вот чем может обернуться Божья птичка, если ей дан великий дар.

Мандельштам — лакомство для интеллектуалов, он не для всех. В нем великая загадка, потому что он все их разгадал. Код да Винчи — это не сложнее шифра, драгоценного шифра мандельштамовской поэзии. Когда Высший судья дает всевиденье и всеведенье Пророка слабому и беззащитному комочку, птичке с яркими перышками, то это страшное, непосильное Бремя и жестокое Избранничество. Да минует нас чаша сия... А птичка не может не петь, это органика, инстинкт. А вещая птица не может не накаркать: эпохе, друзьям, врагам, себе.

Двадцатые и тридцатые, весь этот ужас европейского фашизма, накрывшего Германию и Италию, кошмар гибнущей России и пыточного СССР, нам, нашим предкам и нашим потомкам было суждено узнать и познать по гениальным и безумным строчкам Мандельштама. Он назовет имена, он даст эпохе определение, он как минимум двадцать лет будет библиографом нашей исторической Библии. Прибавьте к откровениям библейских пророков книгу пророка Осипа Мандельштама. У Цветаевой — песня, у Ахматовой — сага «Реквием», у Пастернака

и Гумилева — почти ничего, у Блока — фильм ужасов «Двенадцать», а у Мандельштама — книга Иова и Экклезиаст, но на языке поэтических откровений. Как сказал Тютчев: «Бред пророческий духов».

Осип Эмильевич родился 3 января 1891 года в звонкой готической Варшаве, под кружевной сенью соборов и церквей, в старинной родовитой еврейской семье, давшей миру и известных раввинов, и физиков, и врачей, и талмудистов, переводчиков Библии, и ученых. Отец, Эмиль Вениаминович, был пламенным иудеем, склонным к мессианству, отвергающим ассимиляцию. Этот чудак неплохо зарабатывал кожевенным и перчаточным делом, ремесленничал и торговал. Самостоятельно выучил русский и немецкий, пытался научить сына ивриту и Торе, но сынок отнесся к отцовскому фанатизму беспечно, забросив Библию на древнееврейском под шкаф. Отец имел трех сыновей, но по еврейским законам особенно пекся о старшем, Осипе. Он нанял ему ревностного учителя-талмудиста, но гениальный малыш понял, что космос, хаос, основы Бытия из аналитически страстного иудаизма — всё это священное безумие мертвой древней религии и давно ушедшего мира не сулят ему ни гармонии, ни ясности, ни душевного здоровья. Ребенок от учителя бегал! Однако на него пахло воздухом древних гробниц и внемлющих Богу пустынь. Через тридцать лет он вспомнит это знание. А пока он пойдет по стопам матери, Флоры Осиповны, избравшей ассимиляцию и ставшей русской интеллигенткой. Она была музыкантшей, как мать Пастернака, и родственницей историка литературы С.А. Венгерова. Фантазер-отец знал свое кожевенное дело, торговал бойко, богатства не накопил, но средства были. В 1892 году семья переезжает в Павловск (что-то вроде Рублевки), а в 1897 году — в Петербург. Ребенку нанимают бонн, гувернеров, гувернанток (долгого общения с Эмилем Вениаминовичем не выдерживает никто). Его водят гулять в Летний сад. У малыша есть детская, бархатные костюмчики, кружевные воротнички, прекрасная библиотека.

Вы обратили внимание на этот ритм? Лучшие цветы русской поэзии распускаются почти синхронно на обреченных огню и мечу роскошных клумбах русской культуры.

1880 год — Блок. Через шесть лет — Гумилев. Время ускоряется, его остается мало, цветы должны распуститься до страшной жатвы. 1889 год — Ахматова. 1890 год — Пастернак. 1891 год — Мандельштам, 1892 год — Цветаева. Великолепная шестерка, витражи Серебряного века. Почти в той же последовательности они и уйдут: в 1921 году — Блок и почти сразу — Гумилев, в 1938 году — Мандельштам, в 1941-м — Цветаева. Судьба уберезет до 60-х, сэкономит только двоих: Ахматову, которую спасет долг материнства, и Пастернака, которого сохранит сталинский каприз: назначить одного классиком и оставить в живых, если будет сговорчив. Конечно, здесь подействует мировая слава. И поможет личный оптимизм. А непосредственной, чуткой, впитавшей весь ужас и всю боль эпохи певчей птичке было не жить.

Мандельштам слишком сложен и слишком зол, он ранит, как осколки стекла, читать его больно и небезопасно. Он тянет за собой в бездну и рушит понятный и привычный мир, затрагивая тематически и Европу, ее коды, ее странства. А рациональная Европа не любит хаоса и боли, и Пастернак с Ахматовой (красота и тихая грусть) были ей понятнее, чем акупунктурный стиль безумца и изгоя. Мандельштама она отвергла до наших времен, он даже плохо переведен.

А советская интеллигенция была в ужасе от его участи и в раздражении от его высокомерной смелости и неуживчивости. Так Мандельштама обошла мирская слава, *gloria mundi*. Он стал кумиром диссидентов и антисоветчиков вместе со своим другом, абсолютно на него не похожим Гумилевым. Их поставили в пару: арест, тюрьма, застенки, казнь. Но если Гумилев — это чистая скандинавская традиция, то Мандельштам, который у меня всегда ассоциировался со смертельным и сладостным ароматом гиацинтов, — это, безусловно, судьба русского интеллигента, это эманация лучшей русской культуры, отягченной гениальностью. Немного еврейства: мысль, аналитика, жизнь человека Книги, обличение мирового Зла. Немного христианства: поиски Бога и смысла, терзание о Добре и Зле, гнев против тиранов, сострадание к жертвам. И еще западничество, нежная любовь к Европе. Вызов, подвиг, мука. Падение и смерть. И постоянное ощущение «зубной боли в сердце», терзания,

неумение и нежелание радоваться жизни. Магический кристалл из собственных слез. Мандельштам — предводитель и вдохновитель всех русских интеллигентов. Мы всё так же видим Власть, Россию, Смуту, сталинщину, фашизм, государство. Но только гений Мандельштама мог придать всему этому поистине космическую энергию и метафоричность. Поэт узников совести, изгоев, «врагов народа», поэт диссидентов был под стать Петербургу — вызывающе европейскому городу в сказочной полуазиатской, былинной России. Мандельштам был хрупким, нервным, бледным, несчастным и горестным от ума аристократом духа. Петербург — это тщетная мечта России о Европе. Это стон бедного Евгения, заглушенный тяжело-звонким скаканием Медного всадника. Юному Мандельштаму нужен был именно Петербург, и он в него попал.

Из Мандельштама мать сделала блистательного космополита с библейской безуминкой и русской сумасшедшинкой. Прекрасное знание английского, французского, немецкого, Тенишевское училище, где он обучался с 1900 по 1907 год. Училище считалось коммерческим, но коммерсантов из него не вышло. Поэт Мандельштам, писатель Набоков и известный филолог Жирмунский. Училище было очень европейским, либеральным, прогрессивным. Его посещал граф Витте, детишки ходили в гольфиках, коротких штанишках и немецких курточках. Англосаксонский подход был во всем. Лаборатории, физиология, последнее слово науки. Талантливый отрок без проблем получает диплом в мае 1907 года... и преподносит родителям сюрприз.

1905 год, восстание, горящий «Очаков», мятежный «Потемкин», виселицы и баррикады живо тронули поэтическое воображение будущего гения. Он стал левым, как и почти все его сверстники, как почти все художники и поэты, от Куприна до Грина и Андреева. Но наш малютка бесполезными восторгами или стансами не ограничился. Он был совершенно безрассудным и отчаянным с молодых ногтей и ничего не взвешивал и не мерил. Грин походил в эсерах, поагитировал, посидел в тюрьме. Другие и до этого, слава богу, не дошли. Андреев и Куприн написали рассказы, Блок написал стихи. А юный Осип направился

в Финляндию и стал проситься в боевую организацию эсеров! К счастью, эсеры все-таки не «Аль-Каиду» завели и детей не привлекали. Мандельштаму отказывают по малолетству. Родители в шоке, они срочно отправляют сына учиться за границу. В 1907–1908 годах Мандельштам слушает лекции на Faculté de lettres в Париже, в Сорбонне. А в 1909–1910 годах он занимается германской филологией в Гейдельберге. Заодно путешествует по Италии и Швейцарии. Его душу осеняет фаустианская готика, он жадно впитывает отголоски античности в Риме.

Он не просто европеец в России, он миссионер от Европы, он ее привратник. Его палитра полна, остается писать полотна. Вот оно, здесь: 1910 год — первые пять стихотворений в журнале «Аполлон», песочнице всех российских поэтических дарований. К 1913 году Мандельштам уже наберет достаточно материала для первой книги стихов «Камень». А 1911 год станет вехой и водоразделом. Излечившийся от эсеровских бредней Осип поступит на историко-филологический факультет Петербургского университета, он алчет и жаждет знаний и не может насытиться. Он станет завсегдаем «Башни» Вячеслава Иванова и примкнет к акмеистам, еще в Париже подружившись с Гумилевым, который сразу понял, какая прекрасная и пугающая сила таится в юноше. Тут же и с Ахматовой Николай Степанович его познакомит. А символист Брюсов будет благостно на них взирать. Мандельштам — единственный русский поэт, не знавший ученичества и юношеских стихов (у Блока их много, у Цветаевой — тоже, у Ахматовой — меньше, у Гумилева — мало. Но у Мандельштама их нет совсем!). Птицы учатся летать, но не учатся петь. Это дано им от природы.

В 20 лет Мандельштам не только пишет как бог, но он еще и меняет судьбу и избирает веру. Четырнадцатого мая 1911 года в Выборге, в методистской церкви, он принимает христианство. Мало верить, надо записаться добровольцем. Почему не католичество, а протестантизм он изберет? В нем нет смирения. В нем вызов Лютера и огонь гугенотов. Он всё объяснит в стихотворении «Лютеранин» в 1913 году: «И думал я: витий-ствовать не надо. Мы не пророки, даже не предтечи, не любим рая, не боимся ада и в полдень матовый горим, как свечи».

Протестантизм — религия мыслящих людей двадцатого и последующих веков. Он, кстати, лучше всего ложится на философскую аскезу тайнописи мандельштамовского стиха. Ни пышности, ни восторга, ни иллюзий, ни молитвы.

Биение мысли и оглушительные образы. Не красота, нет! Для красоты мандельштамовские стихи слишком дисгармоничны и глубоки. Красота так не ранит. У Мандельштама вместо красоты — откровение.

1908 год. Ему 17 лет. «Сусальным золотом горят в лесах рождественские елки; в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. О, вещая моя печаль, о, тихая моя свобода и неживого небосвода всегда смеющийся хрусталь!»

А вот 1910 год. Поэту 19 лет. «Спокойно дышат моря груди, но, как безумный, светел день, и пены бледная сирень в черно-лазореваем сосуде. Да обретут мои уста первоначальную немоту, как кристаллическую ноту, что от рождения чиста! Останься пеной, Афродита, и, слово, в музыку вернись, и, сердце, сердца устыдись, с первоосновой жизни слито!»

Ему 20 лет. 1911 год. «Быть может, я тебе не нужен, ночь; из пучины мировой, как раковина без жемчужин, я выброшен на берег твой. Ты равнодушно волны пенишь и несговорчиво поешь; но ты полюбишь, ты оценишь ненужной раковины ложь. Ты на песок с ней рядом ляжешь, оденешь ризою своей, ты неразрывно с нею свяжешь огромный колокол зыбей...»

А вот 1913 год, последний год старого мира. Поэту 22 года. Одной строфой он определяет суть Петербурга, Российской империи, авторитаризма и абсолютизма, одной строфой добивает государство, которое всегда претило поэтам. «А над Невой — посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина! И государства жесткая порфира, как власяница грубая, бедна». Все государства, как бабочки, нанизаны на булавку этого стиха!

И вот приходит 1914 год. Грозный мировой океан вздымает свои людские волны, и разбивается привычный порядок вещей, и из войны, как из ящика Пандоры, выходят итальянский фашизм, немецкий нацизм, Великая Смута и тоталитаризм России... Европейская война запечатлена

Мандельштамом-баталистом, этим Вересаевым поэзии, в двух убийственно гениальных стихах: «Природа — тот же Рим! И, кажется, опять нам незачем богов напрасно беспокоить — есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать, рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!» И в том же 1914-м: «Завоевателей исконная земля <...> — Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних, — впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта!»

А маленькая вещая птичка, способная так петь, еще и пишет критические статьи. Мандельштам — мыслитель и аналитик, поэт-энциклопедист. Просто вместо скучных фолиантов он пишет пронзительные стихи, по тому в каждом стихотворении. Вот в 1915 году он вдохновенно солидаризуется с Чаадаевым. Но он же (о, певчая логика!) в декабре 1914 года отправляется в прифронтовую Варшаву, где хочет вступить в войска санитаром. Его не возьмут, уж очень гениальный поэт худ и хил, а санитар должен «пахать». Космополитизм и причастность в одном флаконе...

Началась война, и три акмеиста, три веселых друга, расстаются. Гумилев идет на фронт, Ахматова становится солдаткой, а вещий Мандельштам уже в 1916 году пророчит гибель Петербургу и стране, чуя недоброе. «В Петрополе прозрачном мы умрем, где властвует над нами Прозерпина. Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, и каждый час нам смертная година».

И вот оно рядом, уже у горла: великие испытания, грубая, смертельная жизнь. До сих пор Мандельштам мало жил: больше пел, мыслил, пропадал в божественных кабачках. Он даже не подбирал свои шедевры, которые так щедро разбрасывал. Птица не издает книги своих песен. Она даже о славе не заботится. И — неслыханное дело! — горсть драгоценностей — второй сборник Мандельштама «Tristia» будет издан в 1922-м и переиздан в 1923-м вообще без участия автора, добрыми дружескими руками.

1917 год. Почему космополит Мандельштам не бежит? Он же из карасса Чаадаева. Но выясняется, что он еще и декабрист к тому же. Гражданский кодекс мятежного патриотизма написан его рукой. «Еще волнуются живые голоса о сладкой вольности гражданства! Но жертвы

не хотят слепые небеса, вернее труд и постоянство. Всё перепуталось, и некому сказать, что, постепенно холодея, всё перепуталось, и сладко повторять: Россия, Лета, Лорелея».

А стихи становятся всё ужаснее, древний хаос книги Бытия сочтется из щелей разоренного европейского дома, где у России была скромная квартирка с отдельным выходом. «Прозрачная весна над черною Невой сломалась, воск бессмертья тает... О, если ты звезда, — Петрополь, город твой, твой брат, Петрополь, умирает!»

Но мало этого. Беззащитная пташка вмешивается в исторический процесс. У кого-то в доме в 1918-м эсер Блюмкин (по квоте работал в ВЧК) начинает хвастаться расстрельным списком. Мандельштам с отчаянной храбростью хватает этот список и бежит с ним к Бухарину. Какое благородство и какая опрометчивость! А тут восстание левых эсеров, Блюмкин — враг народа, и Мандельштама не покарали, и даже «списочный состав» удалось спасти! Но еды нет, нет пристанища, и поэт едет на юг: авось там сытнее и не так жутко. Он ведь еще в «Башне» познакомился с Волошиным. Киев, Харьков, Коктебель...

В Коктебеле он не уживется с Волошиным (два поэта в одной берлоге). В Феодосии его примут за большевистского шпиона (еврей!) и заберут во врангелевскую контрразведку. Волошин его вытащит. Едет он в Батуми — а здесь его арестовывают меньшевики. Спасет поэт Табидзе. На юге тоже голодно, бедный поэт обольщает жен и девиц, клянчит булочку и молоко у сердобольных старушек. Жены и девицы тоже делятся с поэтом своим обедом. Единственное и бесценное привезенное им с юга — это большеглазая, коротко остриженная художница Надя Хазина. Надежда Яковлевна Мандельштам. Они сойдутся в Киеве в 1919 году и так и доживут вместе до конца, эти дети богемы. Сначала Наденька будет носить мужской костюм и курить папиросы и стричься чуть ли не под бокс. А потом она станет настоящей Женой («уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина... обнимет на самом краю...»). Она будет нянькой, матерью, кормилицей, она не даст умереть с голоду нашей райской птичке, она будет прощать романы (как в 1925 году с Ольгой Вексель). Наивный гений будет повторять:

«Наденька всё понимает». Он всегда будет возвращаться к ней. Надежда Яковлевна пойдет за своим декабристом в Чердынь и Воронеж, она его оплатит и сохранит его архивы и стихи, она, скиталица, выброшенная из жизни, вдова «врага народа», доживет до 1980 года и издаст в 1973-м неполный, но все-таки сборник мандельштамовских стихов и отдаст в тамиздат всё остальное. Она же сама войдет в наш самиздат со своими мемуарами, где вполне проявился ее дар ненависти, ненависти ко всем врагам мужа: к Лозинскому, не давшему приют, ко всем, кто отказывал в сочувствии и в деньгах. Она заложит их всех: неверных друзей, трусливых тусовщиков, советскую власть, Сталина, социализм. К Пастернаку у нее претензий не будет.

Их добрым гением был Бухарин, да зачтется это ему. Он в 20—30-е (до 1934 г.) пристроит Мандельштама корректором в «МК», что даст возможность скудно, но жить. Горький, вечный хлопотун о талантах, даст койку в Доме искусств. Потом в Москве ему даже квартиру устроят, так что Пастернак позавидует. Будут давать переводы, а когда разразится скандал с обвинениями в плагиате, Бухарин организует ему путевку в санаторий на Кавказе и «творческую поездку» в Армению. Но всё тщетно. Бедный Осип становится на пути у Медного всадника. Певческий дар не дает молчать. Он не улетел в теплые края, колибри — не перелетная птица, она не знает, что такое зима.

В конце 20-х и начале 30-х, в свою первую и последнюю зиму, Мандельштам успеет сказать всё. Он напишет в начале 30-х то, что мы цитируем и поныне: «В Европе холодно, в Италии темно, власть отвратительна, как руки брэдоброя». И власть в Кремле поймет, что это и про нее.

Он напишет «Волка»: «Мне на плечи кидается век-волкодав, но не волк я по крови своей: запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей...» Он напишет это: «Нам с музыкой-голубою не страшно умереть, там хоть вороньей шубою на вешалке висеть». Ему дадут завидную квартиру, а он напишет пасквиль: «Наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей, присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей. Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю и грозное баюшки-баю колхозному баю пою».

И этого ему покажется мало. Он стащит с кремлевских небес на землю самого Антихриста и растопчет его на века цыплячьей лапкой. «Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны, а где хватит на полразговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны, тараканьи смеются усища, и сияют его голенища. А вокруг его сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову, кует за указом указ: кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что ни казнь у него — то малина, и широкая грудь осетина». Да еще и читает это всем подряд. После такого не живут. Да еще стихи разошлись в списках, их стали заучивать наизусть. Это было самоубийство, и Мандельштам говорил Ахматовой, что к смерти готов. Но он не знал, что его убьют не сразу. Он не рассчитал своих сил. Гумилева убрали быстро. Но Мандельштама ожидала изощренная месть. Его сломали, как хрупкую елочную игрушку.

В мае 1934 года его арестовали (как раз в этой проклятой квартире у них гостила Ахматова). Мандельштама не пытали, но он наслушался и насмотрелся. Он почти теряет рассудок, он называет многих из тех, кому читал эти стихи. Самых ценных — Леву Гумилева, Ахматову, Пастернака — он не назвал. Назвал Эмму Герштейн (она потом возмущалась, а он ответил: «Не Пастернака же мне было называть!»). Слава богу, по этому делу не взяли больше никого. Бухарин и здесь заступился (Сталин ему этого не простил). Безумного и больного, сразу состарившегося поэта отправляют на три года в ссылку в Чердынь, а потом даже разрешают выбрать Воронеж (минус 12 крупных городов, Воронеж таковым не считался). Кремлевский кот знает, что птичка не улетит, он наслаждается агонией несчастного гения. А тот посвящает ему стихи и даже требует от Пастернака, чтобы он срочно полюбил Сталина. Иногда прорываются гениальные строчки, но читать весь этот бред и ужас тяжело, тем паче что чувствуется рука мастера. Даже во лжи, в унижениях, в бреду.

В 1937 году кончается срок ссылки. Нет ни денег, ни заработков, ни жилья. Мандельштамы почти побираются,

но многие трусят и ничего не дают. В Москву не пускают, они живут то в Савелове, возле Кимр, то в Калининe, 'наезжая на несколько часов в Москву за «сбором средств», то есть милостыней. Когда поэт приходит в себя, он забывает маскироваться и пишет великие стихи (но уже не антисталинские).

И вдруг — радость! Литфонд дает беднякам путевку в санаторий в Саматихе. Комната! Еда! Баня! Это кремлевский кот вспомнил про смятый комочек перьев. В Саматихе его берут, и 2 мая 1938 года он исчезает навсегда. Приговор ОСО, транзитный лагерь под Владивостоком, последнее письмо, что нет смысла посылать вещи и продукты (отберут воры). Это была страшная смерть, смерть «доходяги», «фитиля», «Ивана Ивановича» (воры ненавидели интеллигентов). Его казнили руками блатарей. Большой грех — убить пересмешника, но еще больший — отправить его живым в дальние лагеря на растерзание уголовникам.

В 1916 году поэт это предсказал:

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи. <...>

Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело —
И рыжую солому подожгли.

Этот витраж Храма окрашен кровью. Снимите обувь свою.

УШЕДШИЙ ИЗ НАРОДА

Андрей Платонов, так же как Максим Горький и Сергей Есенин, имел очень привлекательное для марксистов пролетарское происхождение. Сам рабочий, из рабочей семьи, он поначалу, просто по классовой инерции, двинулся за рабочим классом в коммунизм под руководством коммунистов, профсоюзов, Советов, совнаркомов, Ильича и прочих захребетников, короедов и спиногрызов, заедавших пролетарский век. Несмотря на модное в 1920—1930-е годы происхождение, он прожил страшную, скудную, голодную жизнь. Граф А.Н.Толстой со своим чуждым происхождением пристроился куда лучше и, по сравнению с представителем правящего класса Платоновым, просто роскошествовал. И хотя Андрей Платонов ухватил за краешек Серебряный век (целых восемнадцать лет до театрального разъезда, до 1917 года, до 25 октября, когда грубо залязгало железо и заглушило нежный звон серебра), никакого Серебряного века ему не перепало. Он не ходил с веселыми друзьями по Одессе, у него вообще сначала не было друзей. Он не успел войти в богему, он так ею и не стал. Горький и Есенин еще перехватили земных благ. Горький — от шальных поклонников, светских львов и львиц до Октября, а после от Советов, но уже не даром и под домашним арестом. Однако на Капри было тепло и приятно даже за счет ГПУ, а в особняке кормили клубникой в январе и икрой круглый год, а энкавэдэшники наливали шампанское. Заработок Есенина был добыт куда честнее, но и ему накапало от Муз: сначала привечали светские дамы вплоть до царицы, а потом поэт и кутил, и поездил по «заграницам», и был любим Айседорой Дункан.

Андрею же Платонову не досталось ничего ни от Серебряного века, ни от новых советских времен. Жизнь его страшно обделила, обсчитала, как последняя мошенница.

Их четверо, великих русских литераторов-мучеников. Им алтари и свечи в главном приделе, им белые лилии,

гиацинты, асфодели, им торжественный орган, распятия из слоновой кости и серебряная парча. В Храме Русской Литературы чтят мучеников и святых. Осип Мандельштам, Николай Гумилев, Марина Цветаева и Андрей Платонов — безбожник, испивший чашу горечи до дна и сказавший: «Да будет воля Твоя, а не моя». Выйдя в литературу из народа, со дна, он сумел самоучкой стать интеллигентом и филологом, получить образование, всё понять и осмыслить и употребить свой великий дар для того, чтобы уйти из народа в вольнодумцы и диссиденты и не иметь в годы советской власти вплоть до 1987-го иного пристанища для своих шедевров «Чевенгура» и «Котлована», нежели самиздат. Он всё видел изнутри, глазами безъязыкого, слепого, парализованного невежеством и зараженного фанатизмом народа, и рассказал об увиденном страшнее всех, ибо природным интеллигентам не долезть было до этих бездн. Сотворим же ему вечную память в нашем Храме и отслужим литургию. Прах к праху, век к веку, гений к гению, бессмертие к бессмертию...

Та заводская проходная

Андрей Климентов (Платонов — это только псевдоним, по имени отца, Климентова Платона Фирсовича) родился 28 августа 1899 года в Воронеже, в Ямской слободе. Отец его, рабочая косточка (крепкий старик прожил 82 года и умер в 1952-м, на год пережив сына), был машинистом паровоза и слесарем в воронежских железнодорожных мастерских. Мать, Лобочихина Мария Васильевна, дочь часовщика (она умерла в 1929-м), вела хозяйство, занималась домом и так увлеклась, что родила мужу одиннадцать детей. Андрей как раз был старшим.

На содержание этой горластой босоногой команды вечно не хватало отцовского жалованья — здесь бы и летчик не управился, не то что машинист. Нужда, многосемейность, невежество — вот что встретило в детстве великого писателя. И мрачный город Воронеж, где будет изнывать в ссылке Мандельштам. Они пересекутся в этом городе, их пути-перепутья, но писатель и поэт разминутся на улицах Воронежа, чтобы встретиться после в лабиринтах жестокой судьбы и в энциклопедиях. Платоша Платонов,

сын писателя, гипотетически мог встретиться в лагере или на этапе с умирающим великим поэтом.

Воронеж — не Одесса, не Крым, и маленькому Андрюше с самого раннего детства было холодно, скучно и тяжело. В 1906 году малыш поступает в церковно-приходскую школу. А с 1909-го по 1913-й учится в городской четырехклассной школе — так называемом народном училище. Удел детей бедноты. В четырнадцать лет его «университеты» заканчиваются, надо зарабатывать на хлеб, ведь дома столько голодных ртов. Год Андрей работает поденщиком: водит локомобиль в имении богатого полковника; служит курьером в конторе; с 1915 года работает литейщиком на заводе и приобретает высокую квалификацию. Но в мастерских помельче хорошему мастеру клиенты платят больше, так же, как в автосервисе в 1970-е можно было «срубить бабло» побольше жалованья на АЗЛК. И Андрей работает в мелких мастерских, у кустарей: литье, токарное дело и даже изготовление мельничных жерновов.

До шестнадцати лет он не прочел ни одной книги: негде взять, нет времени, некому помочь с выбором. И вот революция, и ветер перемен, и можно из ничего попытаться стать всем. Андрей встретил Октябрь с нежностью. Сказали ему: «Дети рабочих, смело за нами!» Он поверил и пошел. Двое их было, народных, русских насквозь, доверчивых и, как сказал ядовитый О.Генри, «свежих, как редис» и «простых, как грабли». Сергей Есенин и Андрей Платонов поверили во все ленинские басни искренне, до донышка души. Андрей мечтал учиться, и вот теперь он смог освоить инженерную специальность (все-таки мальчик после ремеслухи, в университет пойти ему не пришло в голову, да и кусок хлеба всегда нужен, революция даром не кормила). В 1918 году Платонов поступает на электротехническое отделение Воронежского политехнического института. Он основательно изучил это дело, а заодно и ирригацию с мелиорацией. Но его, конечно, понесло на бронепоезд. Все-таки двадцать лет. Революционный комитет Юго-Восточных железных дорог использует его по специальности: сын машиниста и сам знал эту профессию досконально. Стрелять ему, слава богу, не пришлось. А отец его, Платон Фирсович,

сделал карьеру: дважды получил звание Героя труда, в 1920-м и 1922-м, а в 1928-м даже вступил в партию. Стахановцам давали хороший паек, семья стала жить «не хуже других» (у «других» ведь тоже ничего не стало, всё отняли).

В 1919 году Андрей робко пришел в редакцию железнодорожного журнала «Железный путь». Пока еще как журналист и эссеист. Дар разрывал ему горло, просился наружу, но он еще не знал слов. Усердного пролетария посылали собирать материал для газеты, а в июле 1919-го и вовсе мобилизовали в Красную армию. Возил он военные грузы в качестве помощника машиниста, потом попросился в ЧОН (часть особого назначения), в железнодорожный отряд, рядовым стрелком. Пару раз побывал в бою, но судьба его хранила и от смерти, и от убийства. И вот в 1920 году он решительно берет себе псевдоним «Платонов». Он знает, что будет писать. Стиль уже есть, нет великой идеи. Он еще «верующий Макар», не «усомнившийся».

Весной 1920 года он сгоряча вступает в партию. Для парня из рабочих это типично. Но дальше идет уже эксклюзив: в 1921 году, в декабре, он из партии выходит. Этого тогда (да и потом, вплоть до 1991 года) не делал никто из умных людей, желающих преуспеть. И ему было ясно, что выгодно состоять в партии победителей и завоевателей. Но Платонов был фанатично честен и не умел приспособливаться. Однако закончить годичную губернскую партийную школу он успел. Но это было всё не то и не про то. Общась с бывшими «буржуазными» журналистами, он понял, чего ему недостает. Набрал классики, истории, философии — и русской, и зарубежной — и стал читать. Сам себе устроил и истфак, и филфак, и философский. Культура хлынула водопадом, благо никто не мешал: ни собратьев по перу, ни кабаков, ни пьянок.

В 1922 году он удачно женится на Марии Александровне из рода Шереметевых, образованной, дворянке, успевшей обеднеть еще до Октября. Она поняла, что этот самородок, чистый, неуклюжий, косноязычный, — будущий гений. Машенька была очень домовита и любила печь пироги, когда были деньги. Гости Платоновых всегда имели свой пирог, иначе Маша их и в дом не пускала, пока он не испечется. Она довела

Платонова до момента, когда он понял всё про свою народную власть и обрел от горя и отчаяния то самое Слово, про которое в Евангелии от Иоанна сказано, что оно — Бог.

В 1922 году Машенька родила ему сына Платона, красавца и умницу, над которым писатель дрожал, как Скупой рыцарь. И тогда же в Краснодаре выходит его книга стихов — «Голубая глубина», отмеченная Брюсовым. До 1926 года Платонов творит чудеса по «ремонту земли» (аграрии потом содрали у него этот термин): работает в губернии как инженер-мелиоратор, занимается электрификацией, руководит строительством трех электростанций. Умелый и деятельный инженер давал власти рекомендации (уровня Евросоюза) по созданию фермерского хозяйства и улучшению почвы. Его никто не стал слушать.

Весной 1924 года он опять подает заявление в партию (НЭП все-таки, кажется, что будет социализм и с человеческим лицом, и со сливочным маслом), но видит, что это ненадолго, и не вступает.

В 1926 году после талантливых, но лояльных «Города Градова», «Антисексуса», «Эфирного тракта» он пишет короткий смертельный шедевр — «Епифановские шлюзы». Это приговор и петровским реформам без человеческого лица, и сталинской назревающей пятилетке, и любому насилию государства с его глобальными проектами над маленькой человеческой жизнью. Он предвидел, он прозрел. Жуткая участь честного заезжего инженера-немца предвосхитила и судьбу Промпартии, и участь инженера Пальчинского, и гибель инженеров-«предельщиков», и аресты честных агрономов, инженеров, железнодорожников, которые не могли ускорить эволюцию, изменить законы физики и за это становились «вредителями». Еще два года оставалось до расправы с Пальчинским, три года — до политической смерти Бухарина, Томского, Сокольников, а он уже всё знал. О, если бы обреченные интеллигенты усвоили содержание «Шлюзов» и попытались спастись и спасти от Сталина страну! Но пророк, как всегда, не был услышан, и всё пошло своим чередом.

В 1926 году Платонов с Машей и маленьким Платоном едет покорять Москву. Все раннесоветские литераторы

туда съезжались. Но не было в Андрее Платонове столичного лоска, светскости, богемного веселья. Пил он мало, а если и пил, то тяжело, мрачно, в одиночестве и тогда требовал, чтобы Маша снимала с него сапоги. Маша, кроткая и любящая, снимала... Литература не давала денег, эстеты не могли так сразу воспринять мощный, корявый, первобытный, мучительно продирающийся сквозь земли, леса, времена и понятия платоновский язык. Читая Платонова, словно присутствуешь при пытке, читать его не в радость, это тяжкий, непосильный, не дающий надежды и света труд. Труд сотворения языка, равносильного и адекватного крушению одного и созданию другого мира. Семья страшно голодала, Платонов носил к Китайской стене продавать свои узкоспециальные книги по ирригации и электричеству. И вынужден был уехать в Тамбов, заведовать землеустройством — до 1927 года. В 1926 году он пишет маленький шедевр — «Корову», за который сегодня на него молились бы и экологи, и вегетарианцы. Повесть о корове, теленка которой сдали на мясо, а она жить не смогла и покончила самоубийством свою коровью жизнь, бросившись под паровоз.

Via Dolorosa

Платоновы возвращаются в Москву, и семью кормит Мария Александровна. Она работает редактором, возится с сыном, бегаёт по лавкам, и тяжелую сумку ей подносит сосед — Эдуард Багрицкий, а не муж. Муж ходит в ее редакцию и просит уволить жену, чтобы на нее «мужики не засматривались». Наверное, все гении в быту — жуткие эгоисты и палачи своих жен. А Машенька, понимая, что муж — гений, терпела всё молча. Платоновых подкармливал ее брат, Петр (а сам ходил в байковых штанах). Без помощи этого инженера-конструктора и писателя, и его семья погибли бы. Булгаков называл Платонова Мастером (уж он-то знал ему цену!), и поговаривали даже, что с Маши он писал Маргариту, а Мастера — с Платонова. Но из писателей Платонов сошелся близко

только с Шолоховым, который плясал гопак у него на кухне: свой человек, из народа, не интеллигент.

Хорошо отнесся к Платонову Литвин-Молотов, директор издательства «Молодая гвардия». Он был бессменным платоновским редактором, он довел «Чевенгур» до верстки. Сталин оплатит этой доброй душе — Литвин-Молотов погибнет в ГУЛАГе в 1945 году. В 1929 году был готов «Чевенгур», к 1931 году написан «Котлован». Они не увидели печати, но Сталин, видимо, прочел и выбрал для самородка особенную муку, каких не сыщешь и в аду. А Платонов писал и вождю, и Горькому, просил помочь, разобраться, дать печататься. Горький ответил: «Не сердитесь. Не горюйте. Всё минется, одна правда останется». Критики пишут о Платонове: «Клевета», а он с 1931 по 1935 год работает инженером в наркомате тяжелой промышленности, делает изобретения, получает патенты. Словом, зарабатывает на хлеб. Он пытается обещать «перековаться», но литераторы (и НКВД) ему не верят. Даже его покаянные письма не публикуют газеты: хотел покаяться, а стал ерничать, издеваться и острить. Врать он не научится до конца.

В 1931 году выходит повесть «Впрок», Сталин и Фадеев приходят в исступление. Печатать его перестали. Ответ Сталина пришел в 1937 году: арестовали его сына Платона, пятнадцатилетнего школьника. Сталин выбрал заложника, и Шолохову удалось вызволить несчастного мальчишку только в 1940 году, с уже хроническим, неизлечимым туберкулезом. Платон умрет в 1943-м, перед смертью женится и оставит родителям сына Сашку. Сталин обеспечил себе «хорошее» поведение Платонова хотя бы до этого самого 1943 года. Впрочем, ничего нужного «им» Платонов все равно не смог написать. Но безропотно поехал на фронт корреспондентом, мерз, болел, был ранен, подхватил туберкулез. За написанное в 1946 году «Возвращение» — снова остракизм, снова отлучение от печати, уже до конца. Но прежде чем уйти из печати и из жизни, он ушел из народа, мрачно и решительно. И остался один. У них с Машей появилась дочь, Машенька, но больному Платонову нельзя будет приласкать ни ее, ни внука Сашку. Мария Александровна

сделает в комнату умирающего мужа высокий порог, чтобы Сашка с Машкой не заразились.

Via Dolorosa Платонова оборвется в 1951 году; в минуты улучшения он будет обрабатывать для печати сказки, а иногда даже мести двор Литинститута, предвосхищая целую плеяду поэтов, ученых и писателей 1970-х годов: дворников и истопников, грузчиков и лифтеров. За месяц до смерти за ним придут трое из МГБ — забирать. Увидят живой скелет на постели, пожмут плечами и уйдут. Хоть в чем-то повезло — он умер на руках у Маши. А она осталась мучиться и бедствовать до 1983 года, ей никто больше не помогал — ни Шолохов, ни богатые, вышедшие все-таки в люди братья и сестра Андрея Платоновича. И его публикаций она не увидит — до выхода в печать «Чевенгура» и «Котлована» останется еще четыре года. Святое катакомбное семейство воссоединится на кладбище.

Две составных части социализма

Тремя человеческими жизнями оплачены «Чевенгур», «Котлован», «Елифановские шлюзы», «Корова» и многое другое, но эти перлы точно переживут века. Платонов описал реальный, практический социализм. Сначала «Чевенгур», город уверовавших в коммуну безграмотных идиотов, которые решили не сеять и не пахать, а питаться корнеплодами, ибо коммунизм сам должен их кормить. Здесь воздыхатель погибшей Розы Люксембург Копенкин на лошади Пролетарская Сила, и идеалист Дванов, и чекист Пиюся. И вот они все принимают решение: «Советская власть предоставляет буржуазии все бесконечное небо, оборудованное звездами и светилами, на предмет организации там вечного блаженства; что же касается земли, фундаментальных построек и домашнего инвентаря, то таковые остаются внизу — в обмен на небо — всецело в руках пролетариата и трудового крестьянства. В конце приказа указывался срок второго пришествия, которое в организованном безболезненном порядке уведет буржуазию в загробную жизнь». Это, конечно,

означало расстрел. А второй источник — это совсем уже мрачный и адский «Котлован», который неистово роют пролетарии, сначала спровадив буржуев по течению реки на плоту в море, причем отбирает кандидатов на плот Медведь-молотобоец, который чует классового врага... Не отсюда ли идет поговорка, что у нас прокурор — медведь? Беспросветное, черное отчаяние Платонова — это мир атеиста, и без Воланда, и без Иешуа Га-Ноцри. Платонов никогда не был за границей, так и прожил свои горькие 52 года за глухим забором СССР. «Чевенгур» и «Котлован» — это среда обитания абсолютного большинства замученного и обманутого народа: без выхода, без будущей жизни, без надежд и упований. На дне «Котлована».

ЗОЛОТАЯ РЫБКА НА ПОСЫЛКАХ

Пусть ад ему будет «Метрополем»

Начало российской фантастики; сокровенные саги о любви; грозная, яростная Петровская эпоха; две Смуты (1917–1922 годов и та, первая, со Лжедмитрием, XVII века), которые мы узнавали и запомнили по его рассказам, потому что лучше никто не написал; картины из жизни эмигрантов в Париже — жуткие, истинные, исступленные (тоже лучшее, что есть на эту тему). Призер и отличник по линии Муз. Золотая рыбка.

Задумывались ли вы когда-нибудь об этой коллизии? Как бы это всё выглядело: неумная, жадная, злобная старуха, помыкающая чудесной, красивой, мудрой золотой рыбкой. В сказке этого не произошло, жадная баба осталась у разбитого корыта. А в жизни сверкающий, талантливый и впрямь золотой Алексей Николаевич Толстой пошел на посылки к хамам-большевикам. Он продавался без колебаний и комплексов, без рефлексии и печали, весело и с энтузиазмом, как шлюха на Плешке или трассе.

На его могиле нет ангелов, но есть полные соблазна фигуры обнаженных языческих богинь (писатель любил без счета жен и дев). У него роскошный мавзолей, прекрасная ограда, редкие благоуханные цветы.

И эта шикарная могила, на которой нет креста, тем не менее составляет единый ансамбль с Храмом. Талант, игра ума, красота. Дар. Можно вынести тело писателя из Храма, но нельзя убрать такого автора, как Алексей Николаевич Толстой, из литературы. Хоть запрещай — будут читать в самиздате. Здесь самое время вспомнить, как лагерник из «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицына говорит: «Искусство — это не что, а как». А другой отвечает, что, мол, плевать мне на ваше искусство, «если оно во мне добрых чувств не пробудит». Но дело-то в том, что добрые три четверти творчества А.Н.Толстого и чувства добрые пробуждают! Один рассказ

из времен голода, разрухи и военного коммунизма так и называется: «Милосердия!»

Алексей Толстой продешевил. Продать такую душу за сытный паек, деликатесы, имения и особняки, за машины и наличку — это плохой бизнес. Одна надежда, что черти в аду тоже охотники до хорошей литературы и наш Алексей Николаевич там «тискает романы», как интеллигенты с 58-й статьей вора в сталинских лагерях, куда он не попал при жизни. Так пусть избежит самого худшего и после смерти. «Романистам» воры наливали супчику, давали хлебушка, выделяли хорошее место на нарах, не позволяли их обижать. А черти не только не посадят в кастрюлю, но, глядишь, даже сводят в какой-нибудь адский ресторан, а то и в бордель. И пусть они там с Горьким (который писал плохо, но защищал писателей и спас многих от голодной смерти и от ЧК) выпьют за российскую словесность.

Граф, и отстаньте

Приключения Алеши Толстого (Толстого ли?) начались еще в материнской утробе. Его отец, граф Александр Николаевич Толстой (у сына даже отчество не по нему!), был просто графом, богатым помещиком Самарской губернии (1849—1900). Зато мать была эмансипе с революционным уклоном: Анна Леонтьевна Толстая, урожденная Тургенева — двоюродная внучка декабриста Николая Тургенева («Хромой Тургенев обнажал царевбийственный кинжал», А.С.Пушкин).

Анна была образованной графоманкой типа госпожи Чарской. У нас сейчас такая «дамская» литература лежит на развалах в ярких бумажных томиках. И она выкинула такое коленце: на втором месяце беременности сбежала от мужа и троих детей и открыто переехала в дом председателя земской управы Алексея Аполлоновича Бострома, красавца, либерала и шестидесятника, бедного, как Иов на гноище. Алеша и родился на его убогом хуторе Сосновка, где беглой графине приходилось доить корову и топить печь кизяком (муж-шестидесятник был близок к народничеству). Анна была совсем не Каренина, под поезд

не стремилась, под поезд чуть не бросился брошенный граф. Он умолял вернуться, прощал всё (ну прямо как Каренин другого Толстого), издал даже на свои средства жуткую стряпню неверной жены — роман «Неугомонное сердце», который высмеяли «Отечественные записки», и больше романов графини Толстой никто не издавал. А ей и горя было мало, она писала в стол до конца дней своих.

В конце концов бедный граф стрелял в Бострома, промахнулся и был с трудом оправдан присяжными. Алеша так никогда и не увидел графа, своего настоящего отца. Считал себя сыном отчима, подписывал письма «Леля Бостром» и даже не был внесен в дворянские книги. Анна подавала прошение за прошением в Сенат, но ни связей, ни денег не было, а Сенат не любил ни скандалов, ни адюльтера.

Зимой 1900 года безутешный граф умер, и Анна с Алешей, которому исполнилось 17 лет, поехали на похороны. Родственники и трое старших детей графини облили бедного Алешу (и изменницу, конечно) презрением.

А потом вдруг сюрприз: по завещанию графа Алексей был признан сыном и получил 30 тысяч рублей. Но только после смерти матери Алексей нашел ее письмо к Бострому, где она жалела о том, что младший сын не от любовника, а от мужа, и даже сомневалась, сумеет ли его полюбить. И всё вышло наоборот: Алешу она любила безумно, а к Бострому быстро охладела.

Воспитание Алеше отчим и мать дали не графское: отправили в реальное училище, а не в гимназию (что-то вроде техникума; слава богу, что тогда не было ПТУ). Ходил он в холщовой рубахе и ловил рыбу с крестьянскими детьми. Анна Леонтьевна хотела сделать сына литератором: заставляла писать многостраничные письма, писала сама бездарные пьесы (вроде «Войны буров с англичанами») и сама репетировала с молодежью. А между тем Алеша заканчивает в 1901 году реальное училище и едет в Петербург поступать на отделение механики Технологического института.

И здесь началось! Участие в материнских спектаклях закончилось романом: юноша влюбился в Юленьку Рожанскую, игравшую в Сосновке в водевилях, хотя была она барышней строгих правил, тихой и «с исканиями»

отнюдь не на любовном фронте. Эту Нину Заречную наш Треплев и полюбил. В 18 лет он настаивает: «Хочу жениться!» (Хорошо хоть учиться согласен!)

Юля поступила в Медицинский институт. Молодые супруги уже в 1903 году обзавелись сыном Юрой. А деньги где взять? Только из материнской тумбочки. А Алеша в этом вопросе — граф, у него широкая натура. Тридцать тысяч наследства лежат в банке, и мать не дает их трогать (сыночек растратил бы всё за месяц). Что ж, графу положено жить не по средствам. Анна Леонтьевна шлет 40 рублей на коляску для внука — а Алеша заказывает себе костюмчик у Альфреда (тогдашний *haute couture*). Родители Юли жертвуют две тысячи рублей на квартиру и мебель, а зять бежит на телеграф и просит еще 50 рублей на студенческую пирушку («трюфли, роскошь юных лет», «вдовы Клико или Моэта благословенное вино», «горячий жир котлет», «сыр лимбургский живой» и «ананас золотой» — меню от Александра Сергеевича, но тот всё же имел хоть какие-то средства и не Сосновку, а Михайловское).

В 1907 году надо было защищать диплом. Но чертежи Толстому осточертели. Они пойдут потом в общий котел «Аэлиты» и «Гиперболоида».

Не вышло инженера из графа Толстого, зато потом родятся от его пера инженер Гарин с лазером и инженер Лось с ракетой, новым топливом и полетом на Марс. Лазер писатель предвидел и точно угадал за много лет, а полет на Марс за несколько дней и холодное топливо от силы распада материи человечеству еще предстоит изобрести.

Институт он бросает; Юля, конечно, против, но он бросит и Юлю.

Нельзя становиться между будущим Творцом и творчеством. Алеша был богемный парень, он жаждал вступить в святилище и посвятить себя попойкам, кутежам, обществу муз и богу Аполлону. В нем что-то кипело, сверкало, варилось. Никто не знал, какой это будет талант. Юля не угадала свою счастливую карту, она видела одно: муж — шалопай и бездельник (как все аристократы), он плохой отец, он бегаёт за дамами и даже за девками (жизнь кокоток и проституток он познал не хуже Куприна и описал потом очень аппетитно; но он

еще и парижских путан описал, и не хуже Мопассана, только почти шестьдесят лет спустя!). Юля берет Юру в охапку и уезжает к родителям в Казань. Алексей едет за женой (он не любит, когда его бросают, он сам любит бросать), но тут черт ему в Казани подsunул блондинку, жену адвоката. Граф обнаглел и стал ее у мужа отбивать, а адвокат чуть не отстегал его хлыстом. Этот милый случай он, как анекдот, излагает тестю и теще, и на этом кончается его семейная жизнь. Юра умрет в детском возрасте, Юля останется в прошлом, никому не интересная. Река Времени унесет все воспоминания о первом браке. Алексей не очень расстроился и уехал в Дрезден.

В начале было Слово

Из Дрездена Алексей привез Соню Дымшиц — художницу-модернистку, оригиналку, поэтическую натуру. Юля даже дала развод: пусть эти дети богемы соединятся, а ей все равно бывший муж ни к чему.

Софья Исааковна Дымшиц была иудейкой, Рахилью, дочерью Лавана, Суламифью из «Песни песней», Руфью. Все героини Библии жили в этой пленительной женщине. Но муж не собирался ее отпускать. Она приняла православие, чтобы выйти за Толстого. Они жили в гражданском браке, в 1911 году у них родилась дочь Марианна. И не только она: граф начинает писать интересно.

С 1908 года он уже сочинял и издавал стихи, но слабые и подражательные: немножко от Надсона, немножко от Некрасова (хотя не графская это стилистика). Он подружился с Волошиным, но великий поэт ничего не смог дать будущему великому (без кавычек) прозаику.

И тут явился вечный Горький, узревший сразу и насмешку над барством, и протест против крепостничества.

Горький благословил, а критики облизнулись. Они первые почували золотые вкрапления в декадентский серый мейнстрим и стали ждать целую жилу, Клондайк. И не ошиблись. Да благословит Бог издательство «Шиповник». Вот передо мной желтый восьмитомник писателя. Его начали издавать в 1957–1958 годах. Я прожила с ним жизнь, целых пятьдесят лет. Два первых тома

можно отбросить: это гаммы, эскизы. Учебка. За исключением этих самых вкраплений золотого песка.

В 1909 году написаны «Соревнователь» и «Яшмовая тетрадь». Великолепная ирония. Самоирония. Барин-декадент, да еще псевдонародник. Резвая дева, готовая на всё, старой закалки барин Кобелев, его дошлый и модный племянник. Два рассказа пародируют Тургенева и Лескова. Тонко и умно.

1910 год. Рассказ «Актриса». Чеховские и купринские нотки, но все-таки это свое. Толстовское. И уже человечность, сострадание к бедной провинциальной актрисе.

1911 год. «Однажды ночью». Жуткая и красивая легенда о мщении. Юная крестьянка Марина, прошедшая через «право первой ночи» до 1861 года, убивает поочередно осквернивших ее дядюшку и племянника.

Формально граф родился в 1883 году. Но в 1909 году, в 26 лет, рождается писатель. Это — начало настоящей жизни. Для писателя в начале было Слово...

Даешь семилетку!

За следующие семь лет начинающий писатель становится Мастером. Но он успевает и в других сферах. Чтобы так писать о любви, как напишет он, надо было возлюбить много и многих. Софи Дымшиц он представляет как «графиню Толстую». Марианну отдают бабкам и теткам (она доживет до зрелого возраста, может быть, именно поэтому), а Алексей и Софи творят. Очень эксцентричная пара не сходит со страниц желтой прессы.

Алексей организует с друзьями кафе «Бродячая собака», где Бальмонту на голову выльют бутылку вина. Потом Толстой выступит в роли секунданта в скандальной дуэли Гумилева и Волошина. Слава богу, что они друг друга не убили. Гумилеву была суждена славная, героическая смерть от рук палачей, а Волошину досталась славная могила в Коктебеле, куда каждый интеллигент 50—80-х годов считал своим долгом положить камешек с пляжа.

А однажды в доме у Сологуба Соня и Алексей отрезали без спроса в кабинете хозяина хвосты от обезьяньих шкур, чтобы устроить «танец бесов». А шкуры оказались чужими, их оставил у поэта какой-то важный ученый,

и цены им не было. Ученый взгрел Федора Сологуба, а Сологуб устроил Алексею обструкцию: отказался печататься с ним в одних журналах. А в Петербурге Сологуб был бог, и печататься стало негде. Пришлось бежать от бойкота в Москву: там были свои боги. Соне стало скучно, и она уехала в Париж заниматься живописью. А когда вернулась, у графа был роман с 17-летней балериной Марго Кандауровой. Так они с Софьей и не поженились. Балерины хватило на лето: осенью у писателя завязался еще один роман с замужней дамой, 26-летней Натальей Крандиевской-Волькенштейн.

И тут начинается война. Пахнуло катастрофой, и всё стало серьезно: уже навсегда. Наташа определяется сестрой милосердия в лазарет. Так поступали все дамы из общества, даже царица и царские дочери, великие княжны. Алексей едет на фронт корреспондентом «Русских ведомостей». Он понюхал пороху и многое понял. Но приехал в отпуск и... сделал предложение Марго Кандауровой, ничего не сказав Наташе. Вечерами Алексей встречал Марго в Большом, а потом ехал к Крандиевским, уже ночью. Наташа с младшей сестрой Дюной ждали его. Дюна рисовала, Наташа музицировала и прекрасно пела. Вот вам и сестры Катя (Наташа) и Даша (Дюна) из будущего «Хождения по мукам». Последние дни старого мира, исполненные очарования, изящества, беспечности, искусства и счастья. «Последнего пира мучительна просьба — спой, Мэри, спой»*.

Наташа пела как ангел. Однажды Толстой даже притащил в этот дружеский дом Марго. Наташин муж, адвокат Волькенштейн (Катин муж из романа тоже был адвокатом!), был оскорблен, а ему бы радоваться. Ведь Марго разорвала помолвку, а Толстой перешел к последней атаке на Наталью. Никто в Москве не понял, на ком граф женится. Один генерал, крестный отец Марго, заехал к писателю поздравить свою крестницу. А встретил в гостинной Наталью. Он слепу решил, что его крестница так выросла и ее глаза из черных сделались голубыми...

Но Алексей Николаевич не ошибся: семья с Наташей получилась. Она была кротка, она умела любить, она бросила ради мужа писать свои неплохие стихи, чтобы не задеть и не затмить.

* Н.Болтянская, «Пир во время чумы». — *Прим. ред.*

В 1915 году появляется рассказ «В гавани»: всплеск тоски, разочарование в декадансе, смерть старого поэта, явление Иисуса. «Дай же ты всем понемногу... И не забудь про меня»*. А в 1916 году выходит умный и нежный рассказ о шпионке, русской Мата Хари: «Прекрасная дама». «Алмаз» уже «горит издалека», золотая жила близко.

В 1917 году у Толстых родился сын Никита, герой двух повестей, потом Дмитрий. Никита доживет до 1994 года, а Наталья — до 1963-го. Они увидят желтое собрание сочинений... Никита женится потом на дочери переводчика Лозинского Наталье. У них будет семеро детей, в том числе и наша современница Татьяна Толстая, автор талантливой и страшной антиутопии «Кысь» (видны дедушкины гены). Мир тесен, особенно мир искусства. Чужие здесь не ходят.

В семье Толстых будут жить приемный сын Федя, сын Крандиевской от первого брака, и та самая Марианна, дочь графа от Софьи Дымшиц. И вот — Октябрьский удар грома. Нет больше начинающих, подающих надежды. Надежд уже нет, и является Мастер во всей своей холодной зрелости, силе и славе. Для него катастрофа — путь к познанию. Он вполне разделяет взгляд Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые! Его призвали всеблагие как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, он в их совет допущен был — и заживо, как небожитель, из чаши их бессмертье пил».

Он был застигнут ночью России, как Цицерон — ночью Рима. Он писал эти последние дни Помпеи; это зрелище, эти полотна дошли до нас. Художник в нем был сильнее политика: он стоял на пути потоков лавы с мольбертом. Это не равнодушие, это — искусство. И началось: «Эх, ручьи мои серебряные, золотые мои россыпи».

«Рассказ проезжего человека» — 1917 год. Смута, война, большевики, судьба офицера, верящего в Россию.

«Наваждение» (1918) — повесть о гетмане Мазепе, Кочубее и грешной Матрене, а заодно о послушнике Рыбаньке. Это уже настоящее. Царственная проза.

Рассказ «Милосердия!» — тоже 1918 год. Это почти о себе. Об интеллигентной семье, выброшенной Смутой из жизни, о голоде, о конине, о том, как сын-эсер в 16 лет едва не убил Василия Петровича, либерала-отца.

* Б.Окуджава, «Молитва». — *Прим. ред.*

Но не будет ни милосердия, ни еды. В разгар зимы прислуга приходит и говорит, что есть нечего, что нечего готовить. А граф, увлекшийся зрелищем пылающего Везувия, еще не понял, он посылает кухарку за сосисками в «Елисейский». А «Елисейский» заколочен досками.

Он успел написать еще (может быть, самое главное и великое) «День Петра». Не приглашенный для власти (хотя и сверкающий из-под чехлов) роман «Петр I», а короткий и страшный рассказ о палачестве Петра, о цене вопроса. Ясное дело, речь шла и о цене «светлого будущего», обещанного большевиками. Кровь, муки, пытки, казармы, фанатизм безумного вождя. Застенок. «Но всё же случилось не то, чего хотел Петр; Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде — рабою. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось, что рабской и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены». А.Н.Толстой вывел формулу, верную от Ивана Грозного до XXI века (правда, уже без Вислы).

Но голод и разруха не понравились бы даже Цицерону, тем паче не радовали ни Алексея Николаевича, ни Наташу, ни детей. Умный и острый аналитик, граф с ходу понял всё про большевиков, еще по «Рассказу проезжего человека». Когда еще вера в Россию оправдывается, а погибать надо было сейчас, в 1918 году. И граф с семьей бегут в Одессу, в сытый город, на последний берег старой доброй России.

Этим же путем потом, в 1924 году, поедет герой повести «Похождения Невзорова, или Ибикус». Русский Исход на чужую, необетованную землю там схвачен с такой силой, что перебивает дальнейшие (уже после возвращения) вялые и бездарные комплименты графа в адрес большевиков.

«Революция» — это конец света, а потом загробная жизнь в аду. Это просто резюме желтого собрания сочинений.

И как это Сталин не понял, что за имена и роскошь граф всучил ему туфту, а настоящее творчество

всё шло против течения красной реки? Вот они, мощные аккорды Исхода, наш Реквием по выгнанной самой из себя России: «Ибикус» этот самый (и заодно агония эмигрантов, заграничный ад со всеми удобствами); «Необыкновенное приключение Никиты Рощина» (1921).

Ужас Смуты в великолепном рассказе «Простая душа» (1919). Ужас чужбины для не умеющих примириться с утратой России — в «Рукописи, найденной под кроватью» (1923) и в рассказе «На острове Халки» (1922).

Красные подходят к Одессе, и Толстой вместе с кучкой московских и петербургских знакомых грузится на пароход «Корковадо». Прямой заплыв до Парижа без пересадки в Анатолии, в турецком клоповом кошмаре на этом самом острове Халки в Мраморном море. Повезло. Об этом потом напишут многие, даже Булгаков, никуда не уехавший («Бег»). Но А.Н.Толстой напишет лучше всех.

В Париже сразу — везение. Какой-то плут скупает усадьбы за наличные, надеясь нажить за бесценок (ведь большевиков скоро прогонят!). И умный граф за 18 тысяч франков продает несуществующее имение в Каширском уезде. Хоть и граф, а умеет выживать. И что же он купил? Три костюма, шесть пар обуви, два пальто, смокинг и набор шляп. Деньги все разошлись, и голод защелкал зубами на пороге. Наташа взялась было за фугетту, но одумалась и стала шить шляпки и платья.

А Алексей очень много и великолепно пишет, и на эти небольшие деньги можно очень скромно жить (как все эмигранты). Но послевоенный Париж несытно кормил искусство. Как-то мимоходом в «Убийстве Антуана Риво» (1923) Алексей гениально отобразил трагедию бедных безработных солдат (французских!), вернувшихся с войны, да заодно на одной странице лучше всех историков разъяснил, почему Германия проиграла. Учебники по Первой мировой после этого рассказа можно не читать. Но скромно жить и «ходить в рваных башмаках», как сказала Наташа, он (граф!) никак не мог.

В это время он пишет свой потрясающий рассказ — «Повесть Смутного времени» — о Смуте, о Лжедмитрии, о Годунове, о первом Романове. Та Смута закончилась покоем, а вдруг и эта кончится так же? Алексея вдохновляет объявленный НЭП. Это уже какая-то жизнь. И он

решает продаться дорого и не всерьез. Тридцатые годы даже он не предвидел.

Семья перебирается в Берлин и там (уже в 1921 году!) входит в сменовеховскую группу «Накануне» (наводненную чекистами), куда записались интеллигенты, отказавшиеся от борьбы с советской властью и готовые ее признать. Но он успел еще написать абсолютно правдивую первую часть «Хождения по мукам», «Сестры» (1922). Гонимые злым ветром катастрофы интеллигенты выглядели именно так. Он писал с натуры: адская фигура Распутина, футуристический карнавал, светская жизнь и искания интеллигенции, чистота девушек и женщин Серебряного века, «мене, телкел, фарес», начертанные на стенах Зимнего, жуткая война, анархисты, Блок, чувство гибели.

Он и «Аэлиту» — образец для целых поколений фантастов — начал в эмиграции. Почувствовал, что чужбина — это Марс. Очарование и тайна чужой цивилизации и высшей культуры атлантов. Легенда об истории Атлантиды, яростная и завораживающая. Сумасшедший голодный Петербург, где нет хлеба, но собираются запускать ракету на другую планету. Да, это Россия. «Града настоящего не имеющая, но град грядущий взыскующая», по Мережковскому. А восстание марсиан во имя присоединения к Советской республике — искусственная чушь, приписанная в 1923 году. Для властей. Хотя такие «гусики» (то есть солдатики и матросики), как Гусев, помешавшиеся на мировой революции, тогда водились. Только вот марсиане ничего не поняли, просто подчинились чужой сильной воле пришельца с живой, полной сил планеты. Это же видно. Но увы!

Граф продается широко и публично. Пишет открытое письмо советскому правительству: «Совість меня зовет ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, но вбить и вколотить в истрепанный бурями русский корабль». 25 апреля 1922 года эти строки напечатали в «Известиях» с самыми милыми комментариями. Большевики клюнули на голый крючок без наживки. Еще бы! Граф Толстой, да еще талантливый, да еще известный писатель. Но что они от него получили? Пошлые политические заявления. И всё. Накануне отъезда он объявил: «Еду сораспинаться с русским народом!» Да гвоздики были резиновые.

Перед «стартом» он продал Тэффи (и еще двадцати друзьям) за 10 франков фарфоровый чайник, получив деньги со всех вперед (все-таки 200 франков!). Такие строгие и чистые антисоветчики, как Мережковские, с ним порвали. А Бунин простил — за талант. После «Петра I», в 1945 году, прислал из Парижа записку: «Алешка, хоть ты и сволочь, мать твою... но талантливый писатель. Продолжай в том же духе». С Бунина — прощение, со Сталина — Сталинскую премию. Он был абсолютный циник. Талантливый и бессовестный. Он поедет, конечно, в круиз по Беломорканалу и засветится в той паршивой горьковской книжонке о поездке.

Цена вопроса

Он пойдет по трупам и по костям. Он разучится жалеть. Он никого не подставит, ни на кого не донесет, не станет требовать ничьей головы. Но и не заступится. Ни за Мандельштама, ни за Мейерхольда. Он будет притворяться шутком для Сталина: то напьется, то анекдотик расскажет. Он будет угождать сановному Горькому. На даче у мэтра мальчишки ловили бреднем рыбу, бредень зацепился за корягу. Толстой в шикарном синем костюме полез отцеплять (на прощание в Париже на десять лет вперед костюмов накупил). Костюм полинял, и еще неделю у Горьких развлекались, ежедневно топя баню, чтобы отмыть «посиневшего Алешку», который подкрашивался дома чернилами... Стыдно. Но ему не было стыдно. Он был очень холодным художником, он не любил свои модели. Его не волновал вопрос, что станет со страной, с народом. Он знал, что утонет, если не оттолкнет утопающих. И он выжил. Начал с нуля: ЛЕФовцы его не терпели, знакомые чурались: граф, эмигрант, а вдруг за него посадят? Маяковский с ЛЕФом травил его еще и за классицизм. Он в ответ едет корреспондентом «Правды» на Волховстрой, присылает восторженные репортажи. Он свой, свой в доску!

И МХАТ ставит его пьесу, а потом в очередь становятся и другие театры. Квартирка у него пока тесная и скромная, еда убогая: щи и мясо из шей под хреном. Но зато собираются полезные люди. И выходят новые,

потрясающей силы вещи: «Гадюка» (1928), «Гиперболоид инженера Гарина» (1928), вторая часть «Хождения по мукам», то есть «Восемнадцатый год» (1928).

Начал прибыльный проект: роман «Петр I», коий и писал 16 лет. Так и не дописал, но «Новый мир» с 1929 года аккуратно публиковал уже написанные главы. Он великолепно подал жестокую и яркую историю и даже не особо любовался Петром: оставил на нем и кровь, и палачество. Роман очень сильный, хотя и слабее рассказа «День Петра». Сталин обалдел от счастья и осыпал милостями придворного «кремлевского» графа.

Все-таки Сталин был недалеким человеком, наверное, мнил себя Петром. Еще бы! Ломка старого мира, «железный конь идет на смену крестьянской лошадке» (Ильф и Петров), «оставил Россию с атомной бомбой, а принял ее с сохой» (говорят, Черчилль). Хотя какой он Петр? Сталин построил не Петербург, а ГУЛАГ, и вместо окна в Европу возник железный занавес, а окно-то прорубили во времена Иоанна Грозного. Конечно, граф Сталина терпеть не мог. Иначе не было бы «Золотого ключика», Эзоповой сказки, где куклы бегут от страшного и противного Карабаса-Барабаса под предводительством хулигана и диссидента Буратино. Только куклам было куда бежать: была дверка в новую жизнь в стене каморки папы Карло. А перед А.Н.Толстым была просто стенка, и к ней он становиться не хотел. Он мог не уцелеть, игра была рискованная, очень многих правоверных сталинистов пустили на шашлык. Но они были бараны, а он был циник. Он всех переиграл. В 1939 году появляется «Хмурое утро». Самая неудачная часть трилогии. Врать в своем творчестве у графа не выходило. Он врал в политических заявлениях. В «Гиперболоиде» у него живые и авантюристка Зоя Монроз, и фашист и авантюрист Гарин (в 1928 году Толстой сформулировал ДНК фашизма: раса господ, селекция, евгеника, фанатизм этой идеологии, ее крах. Ведь серой массе нужны иллюзии, нельзя прямо сказать, что люди не равны. Коммунизм выжил, потому что сладко лгал. Фашизм погорел не только на жестокости, но и на открытом цинизме). Апаши, немецкие ученые, капиталисты — все живые. Только главный герой Шельга, идеал коммуниста, — манекен.

В «Хождении по мукам» красные все на ходулях, все неправдоподобны: и Анисья, и Иван Гора. А «Хлеб», якобы продолжение «Утра», написанный в 1937 году, вообще «окно РОСТА», слабая агитка: «Не отдал он красный Царицын врагам пролетарской страны». И как это Сталин купился на такую дешевую и бездарную лесть? А вот мужик Алексей, ординарец Рощина, наш несостоявшийся средний класс, в трилогии очень живой. Этих мужиков большевики или в банды толкнули и уничтожили, или раскулачили и прикончили в ГУЛАГе. И всем понятно, что Иван Телегин и Вадим Рошин в Красную армию не пошли бы, автор погнал их туда силой, вопреки характерам.

Однако правда и здесь брезжит: столичные жители после победы «Революции» получают по 100 граммов черного хлеба, а героиня Гражданской войны Анисья — еще и пару вобл или ржавую селедку. Зато граф лгал в другом. Вот что он говорил о великом Льве Толстом: «...когда он пишет об отвлеченных вещах, он не видит, а думает. И если бы он думал так, как думает товарищ Сталин, то, наверное, он не затруднялся бы во фразах». А вот цитата из 1937 года: «Мы поднимаемся всё выше и выше к вершине человеческого счастья».

А вот и 1938 год. «Кто старое помянет — тому глаз вон. Глаз вон вредителям, тайным врагам, срывающим нашу работу, — это уже сделано, глаз у них вон». А это уже одобрение репрессий, пляска на костях.

И еще беспардонная ложь из 1938 года: «Наш советский строй — единственная надежда в глухом мире отчаяния, в котором живут миллионы людей, не желающих в рабских цепях идти за окровавленной колесницей зверского капитала».

И что же он за это получил? За свою бессмертную душу? Сталин выполнил все условия договора. Этот дьявол — в отличие от Мефисто — не обманул. Граф получил дворец князя Щербатова, дачи в Барвихе и Царском Селе, личный счет в банке, который был только у Туполева (до ареста) и Горького (до его отравления чекистами). Он получил красного дерева мебель петровских времен и мебель карельской березы. В дверях стоял лакей с позументами и жезлом: «Его сиятельства дома нет, они на

заседании горкома партии». Он получил депутатство в ВС, стал академиком, возглавил Союз писателей, хватанул орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени. Его детей не взяли на фронт, он только кинул в 1943 году 100 тысяч рублей на танк «Грозный».

Он даже получил новенькую, с иголки, молоденькую жену. Наташа, не вынося вечных попок с первыми встречными и застолий дома до утра, а также романов со всеми юбками СССР, уехала с детьми в свою квартиру в Ленинграде. Оставила мужу любовную записку и, по просьбе Алексея, секретаршу «на недельку». Наташа оставила ему Милу Баршеву — молодую девушку, подругу детей. Через две недели Баршева перебралась из кабинета в спальню... Наташа смирилась, худого слова не сказала: «Таков свирепый закон любви. Если ты стар — ты не прав, и ты побежден». Она снова стала писать стихи... о любимом Алеше. И это было худшее из его предательств. В 1935 году 52-летний Толстой женился на 29-летней Людмиле. Они прожили вместе десять лет. Из Милы вышла советская гранд-дама. Это вспоминает писатель и лагерник аристократ Олег Волков. Однажды он ел за их столом, но понял, что просить помощи и заступничества нельзя.

Толстому разрешали ездить в Западную Европу, он пытался сманить Бунина, хвастался богатством и скупленными на толкучке портретами «предков».

Но Тот, кто не подает руки талантливым подлецам, не дал ему легкой смерти и долгой жизни. В 1944 году у него нашли рак легкого, и он умер в 1945 году, 23 февраля, ничего из богатств не унеся с собой.

Я бы простила — за талант. Но я не знаю, как просить об этом у Того, кто ценил совесть выше литературных данных. Кому много дано, с того много и спросится. А у меня нет аргументов, кроме желтого собрания сочинений. Боюсь, что молитвы здесь не помогут. Остается надеяться на блатных чертей из адского барака.

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ

Морская болезнь

В степи под Херсоном были не только высокие травы и какой-нибудь там курган; в июле 1891 года в Херсоне родился Боря Сергеев, будущий Борис Андреевич Лавренев. Родился он в семье учителя-словесника, совсем как Валентин Катаев. Но семья была интересная, нетипичная, с военными корнями. По материнской линии за Борей стоят казаки Есауловы, служившие под началом Потемкина и Суворова, штурмовавшие Очаков. Бабка мальчика была очень богата: три тысячи десятин земли плюс сельцо Мелово. Вышла она за лихого поручика Цехановича, севастопольского героя, который проиграл всё ее имение, оставил ей дочь Машеньку и скрылся черт знает куда. Машенька стала учительницей и воспитывала Борю народником и интеллигентом.

Отец, образованный и идейный деятель земства, работал замдиректора сиротского приюта, а сиротки были шустрые и бедовые и часто Борю колотили, так что пришлось не быть хлюпиком и учиться защищаться. Крестный мальчика, Михаил Евгеньевич Беккер, был неизменным городским головой и книжником. Боря читал книги запоем, мечтал о путешествиях, в девять лет знал назубок всю географию планеты. А море полюбил на всю жизнь в пять лет, когда увидел его с высоты Байдарских ворот. Из театра же Боря прямо-таки не выходил. Но народник-отец обучал своего вундеркинда еще и ремеслам. Мальчик недурно знал токарное и слесарное дело, был неплохим столяром, переплетчиком, электромонтером. Боря был просто человеком Возрождения: много знал, многое умел, а в 14 лет накропал длинейшую трагедию «Люцифер» (конечно, с полной поддержкой сатаны). Отец сказал, что это жуть болотная, но посоветовал сохранить на память, до старости. Учился Боря в 1-й Херсонской мужской гимназии, учился посредственно

(чтение и театр отвлекали, зубрить было скучно, а математика, сухая и черствая, казалась каторгой).

Интеллигентные родители были близки к обмороку, когда их чадо (вместо карьеры инженера или присяжного поверенного) избрало Морской корпус. Чтобы убедить маму и папу, Боря решительно воткнул себе в горло вилку и угрожал дальнейшими самоубийственными мерами. Пришлось везти отрока в Петербург, в Морской корпус. Но здесь подвело зрение: даже верхнюю строчку таблицы, слово «ПХЕШ», Боря не смог прочитать. Вот когда он попал в гимназию, к «шпакам», в сухопутное ненавистное место.

Бегущий по волнам

Но Боря не смирился. Когда он кончал четвертый класс, ему вклеили двойку по алгебре в четверти. Отец, Андрей Филиппович, обозвал сына лодырем и паразитом, собирающимся сесть ему на шею. Мальчик ночью взломал бабкину шкатулку, вынул 25 рублей и уехал в Одессу. Там друг отца плавал на пароходе «Афон» рейсами Одесса — Александрия. Наш Боря подделал записку отца: якобы он просит приятеля прокатить сына туда-обратно. Но в Александрии отрок сбежал, деньги проел и стал таскать у торговков бананы и лепешки, ночевать в порту, голодать — никто не брал его на корабль, идущий в Гонолулу, да и рейсов туда не было. Но тут его подобрал машинист французского судна «Женераль Жилляр», которое плавало по маршруту Брест — Марсель — Александрия. Этот мсье Мишель взял Борю юнгой и штурманским учеником. Три месяца Боря был счастлив, но мсье Мишель оказался анархистом, бланкистом, бомбистом, карбонарием и бог знает кем еще. Он внушил нашему романтику мысль, что нет ничего прекрасней революции, что это круто, это буря — и дальше по тексту «Буревестника» насчет глупых пингвинов и тихих гагар. Конечно, Боре захотелось быть Буревестником. Мсье Мишель не объяснил, что бывает после бури и после революции. Кстати, Боря был очень красив: жгучий брюнет с огромными черными глазами.

И англичанка-циркачка мисс Пери совратила нашего чистого отрока, позвав его к себе в каюту и научив «всему-всему». Боря с благодарностью всю жизнь вспоминал эту красавицу. Но плавание кончилось арестом. Отец разыскал беглеца через тогдашний неформальный Интерпол. И вот в Бриндизи на борт поднялись два красивых карабинера с русским консулом, сцапали нашего мореплавателя и с консульским курьером довели до Киева, где сдали на руки отцу. И отец не бранил сына, а сказал: «Из тебя выйдет толк». И был прав.

Тоска зеленая

Пришлось снова куковать в гимназии, где вместе с Борей хватал двойки Николай Бурлюк, брат знаменитого Давида. А тут еще на их тусовки в Черной Долине приходил юный Владимир Маяковский, похожий, по словам Лавренева, на «голодного грача» в рваной черной карбонарской шляпе и черном плаще с застежками из золотых львиных голов.

В 1909 году Борис рассчитался с гимназией и реализовал мечту отца: поступил в Московский университет на юридический факультет. Тут же он объявил себя анархистом, но студенты ему не поверили. Борис тогда увлекался Дорианом Греем и Люсьеном Левэном, подражая этим героям Оскара Уайльда и Стендаля. Хризантема в петлице, визитка, ежедневное бритье. А анархисты были нечесаные и невытые. Борис Лавренев был барином, интеллектуалом, эрудитом, джентльменом. Таким он и останется везде: и на фронте, и на тусовках у футуристов, и в бронепоезде, на службе у большевиков. Так что с анархистами он не ужился. Да, он хотел стать капитаном. И должен был стать гумилевским капитаном, тем, кто «бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так, что сыплется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет»*. Но он выберет иное... А пока Борис, автор весьма средних стихов, принимает участие в создании теории — эгофутуризма (и входит в группу «Мезонин поэзии»). Футуризм плюс индивидуализм,

* Н.Гумилев, «Капитаны». — *Прим. ред.*

а вот со стихами не ладится. Хотя в 1912 году он (впервые под псевдонимом «Борис Лавренев») печатает в альманахе московских символистов «Жатва» поэтическую легенду о красных маках.

В 1915-м он закончил университет и нырнул с головой в волну патриотизма.

Так за царя, за родину, за веру

Мог ли романтик, денди и идеалист Лавренев упустить реальную возможность стать героем? Поэты любят войну (правда, со стороны, ведь кормить вшей в окопах — дело глубоко прозаическое). Борис прошел торной дорогой многих пылких юношей: восторг — храбрость — подвиги — награды — разочарование — рутинная — тоска — нигилизм. Многие горячие головы лишились в окопах и царя, и веры, и уважения к родине как к порядку вещей. Служил Борис достойно («кровь, господа, кровь»), не уронив славы предков; заслужил два «Георгия»; стал поручиком, был отравлен ипритом, уже умирал (его еле довели до тыла). И вот там, в своей Таврии, в Крыму, он, почти отдавший жизнь, выздоровел и полюбил прекрасную и свободную «женщину моря», Марину, которой он посвятит рассказ, один из лучших. Странницу свободной любви, прирожденную эмансипе, страшно гордую и независимую ни от барахла, ни от женщин, ни от мужчин, ни от молвы. Простая рыбачка прочла всю городскую библиотеку от А до Я! Были косые взгляды, и Лавренева даже «разбирали» на каких-то «парткомах» (общество офицеров, губернатор и т.д.). А он, дерзкий гордец, плевать на всё хотел, одел Марину, как королеву, и таскал ее в театр.

Она смеялась, а на рассвете уходила от него в своем ситцевом платьишке. Он снова ушел на войну и хотел вернуться к ней. Но Марина умерла от тифа... А Лавренев написал первый рассказ (еще слабый), «Гала-Петер», и сдал в альманах Земсоюза «Огонь». Цензоры были идиоты: набор рассыпали, рукопись унесли, начальству доложили. Лавренев стал чуть ли не штрафником. А рассказ не антивоенный даже, а просто не патетический, война заземлена до предела: проза, проза, бессмыслица

и поручики, жующие шоколад (хорошо армию снабжали: в офицерских лавочках можно было шоколад купить, и денщики им угощались, и даже домой, в деревню, посылали). Пока еще можно было вслух разочаровываться. Бориса просто послали в скверное место (что-то вроде штрафбата). Но к нему неотвратимо приближалось то, что сразу сделало его писателем, хотя и лишило душевного спокойствия на всю оставшуюся жизнь. Две дивных ножки Русалочка выменяла на свой голос и онемела навеки. Зато отпал хвост. У Лавренева, напротив, хвост вырос. Но прорезался дивный дар. За него пришлось заплатить совестью. Ничто на свете не дается легко.

На той единственной, гражданской

Февраль провыл своими бурями мимо поручика, но катастрофу Октября трудно было не заметить. Как ни любил Лавренев революцию, его оторопь взяла от ее зверской жестокости, хаоса, бессмыслицы. Все-таки он был барин и эстет. В смятении он едет советоваться с отцом. Отец дал ему плохой совет. Все-таки народник. А ведь Борис собрался эмигрировать. Хотя бы на время. Отец его резко остановил. Мол, народ всегда прав, и даже если путь его ведет в бездну, не становись у него на дороге, а иди с ним, не пропадешь. И некому было сказать Лавреневу, что не надо делать из народа культ.

Психология народников была блестяще сформулирована поэтом Павлом Коганом через тридцать лет: «Я говорю: “Да здравствует история!” — и головою падаю под трактор».

Идеология покорной «коровы, которую доит деревенский вор». (О незабвенные Ильф и Петров! За ними не заржавело.) Но если бы он уехал, в Храме русской литературы освободилось бы место. Он мог стать писателем только на «той единственной, гражданской», ибо его оплодотворил Поединок. Смертельная схватка. Революция как Всемирный потоп и Идеальный шторм, которому ничто не может противостоять. Бездна. Пучина. И не вст ли равно, на чьей стороне? Сначала и ему было вст равно. Он искал народ-поводыря. Но писатель был слеп, и отец-народник был слеп, и народ-поводырь был

слеп, и судьба была индейка, а жизнь — копейка. Когда же они все прозрели, было уже поздно жить, было время только умирать, а умирать не всем хочется. Сознательно искал смерти Николай Гумилев. Лавренев предпочитал помучиться.

Наш бронепоезд

В Феврале преданный революции военный профессионал был в чести и востребован. Был большим начальником в Москве (в штабе войск, а потом служил в адъютантах у коменданта Москвы). В Октябре грамотный поручик-артиллерист тоже на дороге не валялся. Он получает бронепоезд и не стоит на запасном пути. Огонь, кровь, идеальный шторм, романтика. О коммуне Лавренев не мечтает, он индивидуалист, он презирает коллективы и коммуналки, что очень заметно по его произведениям. Он вообще не думает о последствиях. «Безумству храбрых поем мы песню!»* Грудь в крестах, а голова-то в кустах. Воевал в Туркестане, Крыму, на Украине. Воевал качественно, иначе не умел. Опять был ранен, чуть ногу не потерял. Перешел во фронтовые корреспонденты и в 1923 году демобилизовался. У нас в руках осталась горсть рассказов, и последний из них датируется 1928 годом.

Дальше были еще тридцать лет, но ничего стоящего Лавренев больше не напишет. Но эта горсть самоцветов у нас есть, и в этих рассказах он сказал нелестную правду и о большевиках, и о своей любимой Гражданской войне. Правда, в двух рассказах он ее прямо-таки воспекает как лучшее достижение человечества. Это «Марина». «Она поет об океанском просторе и единственной в мире правде — правде соленого ветра. Слушаю и знаю, что скоро пойду искать свежего шквала. Вам тишина и мир — мне свист урагана, стада испуганных звезд над морской бездной и торжественный хорал беспокойных валов» (1923).

И это еще «Полынь-трава», где в бою убивают друг друга одинаково симпатичные и храбрые красный курсант Роман и белый юнкер Всеволод, причем Роман любит Аню,

* М.Горький, «Песня о соколе». — *Прим. ред.*

большевичку, старшую сестру Всеволода, а Всеволод любит Настеньку, гуляющую сестру Романа. «Кровь их смешалась на степной, древней полынной земле, и земля приняла любовно красные живоносные токи. И нет большей любви, как та, что всходит над нашей землей, из почвы, впитавшей кровь, порожденную ненавистью. Полегли мужья, женихи по степным разлогам, ища себе чести, делу своему славы» (1925). И еще в нашей горсти самоцветов «Звездный цвет», «Ветер», «Сорок первый», «Рассказ о простой вещи» (все — 1924), «Седьмой спутник» (1927), «Таласса» (1927), «Мир в стеклышке» (1928), «Срочный фрахт» и «Отрок Григорий» (1925).

Во-первых, всё это безумно красиво; чувствуется, что Лавренев и картины писал. Вот моря из «Марины». «Люблю плоское, угрюмое Балтийское побережье и мутно-зеленую волну, непрестанно шлифующую серебряный песок пляжей... Люблю голубой хрусталь Черного моря... Аквамариновую бледность Мраморного, когда вода бесшумно расступается перед узорным носом кайка, роняя бриллиантовые брызги, а в прозрачной глубине по чуть зеленоватому меловому дну свиваются солнечные жилки. Люблю тяжелую, густо-лиловую влагу Средиземья. И несказанно люблю густую ляпис-лазурь океана... И даже жадную слепую харю акулы».

Из этой горсти рассказов (это могло пройти только до 1930 года, и к тому же Лавренева зачислили в «попутчики»: не свой, но жить позволяли) мы узнаем, что белые были достойными врагами и храбрыми людьми (похоже, Лавренев завидовал их обреченному стоицизму). У него чекист Орлов и капитан Туманович пожимают друг другу руки в темноте камеры, откуда Орлова поведут на расстрел, а Туманович спасает Орлова от пыток и предлагает ампулу с ядом. Мы узнаем, как казнили заложников («Седьмой спутник»).

И если в «Рассказе о простой вещи» Туманович логичнее и понятнее Орлова, то в «Звездном цвете» красный кавалерист Дмитрий почтительно останавливается перед тайной в глазах у убитого им «басмача»: «И в их черных зеркальцах, подернутых уже мутью, была та же спокойная тайна всезнания». Своя правда и у них, басмачей: Коран, ислам, шарият.

В конце 20-х годов до Лавренева дойдет, что романтика кончилась, и начались серые будни казарменного социализма. Он дважды пытается выйти из партии, но его не пускают. И тогда он пишет письмо «наверх»: мол, не могу я оставаться в организации, откуда ушли на тот свет все герои Гражданской войны, а остались и «налезли» все конъюнктурщики и хапуги. Вот здесь-то его и исключили. В конце 20-х исключение не влекло за собой арест. А врать Лавренев не умел.

Писал какую-то чушь об Арктике, пробовался в антиутопии, сочинил в 1928 году пошлую пьесу «Разлом» об «Авроре» и стал «классиком». Жил как все: в 1941 году добровольцем ушел на фронт, был военкором. Писал пресные пьесы о героизме моряков. А цену себе знал: в 1944-м писал Калинину, требовал для себя, жены и двух сыновей трехкомнатную «квартирку» в 50 метров. Получил в Доме на набережной. Потом жена продаст ее, чтобы после смерти мужа издать тиражом в 5 тысяч экземпляров его восьмитомник. С женой ему повезло. Елизавета Михайловна была актрисой, с ней они прожили с 1928 года до конца, до смерти писателя в январе 1959-го.

Она доживет до 1998 года, успеет создать в Херсоне квартиру-музей, будет хранить и увековечивать память Бориса Андреевича. А он еще огребет две сталинские премии, в 1946-м и 1950-м. За это в 1949-м придется написать слабую агитку «Голос Америки»: антизападный пасквиль о холодной войне. Лавренев заступится за репрессированных друзей, особо подличать не будет, но свой «срочный фрахт» выполнит, как наемный капитан Джиббинс, сжегший в топке застрывшего в трубе мальчика Митьку. Его талисман — почерневшая от горя память о правде Гражданской войны впечатана в серебро и золото его ранних рассказов. Но не все мореплаватели способны плыть против течения.

ВОЙНА БАРАБАНЩИКА

В зеленом тихом садике у Храма русской литературы под серой шершавой плитой беспокойным сном спит Аркадий Гайдар. Спать он не умел, вечно бодрствовал и призывал к этому других.

Не так он мечтал быть похороненным. Но в Храм ему входа нет: ведь в своей первой, дописательской жизни он держал в руках оружие и был красным командиром Гражданской войны. Нерасторжимость словесности и совести — тяжелая дверь в наш Храм, и не всем дано ее открыть. Но этот самый Голиков-Гайдар, с политической точки зрения фанатичный коммунист, обладал великим писательским даром, и место в саду, где-то рядом с Алексеем Толстым, ему будет. Конечно, он хотел бы на могилу обелиск с красной звездой, и чтобы ходили тимуровцы и эту звезду подправляли красной краской. Но нечистым символам демонической эпохи не место в нашем чистом садике при Храме. И тимуровцы не придут — нет больше тимуровцев и не может быть, и Красная армия больше не сакральна, потому что туда загоняют силой.

Буржуины не выделили бы Гайдару и такой могилы. Но литераторы великодушнее, и они всегда неформалы. Русская литература распахнет одинокому всаднику свои объятия. На могиле мы напишем загадочные буквы: «Р.В.С». И пусть придет загадочная Рита Нейберг из «Жизни ни во что» и положит на могилу черный локон, рубиновое кольцо и свой наган. И пусть встанет рядом загадочная румынка Марица Маргулис, мать Альки, и уронит на плиту свои черные косы.

Виджилянт Аркадий Гайдар всю жизнь ждал войны, начал с войны и кончил войною; он готовил к войне себя и других, детей и взрослых, он жил в вечной войне и погиб на войне. Но он был человеком верующим, глубоко религиозным, хотя веровал в истины, противоположные христианским. Конечно, плывущие пароходы и летящие

самолеты приветы Гайдару передавать не станут, да и Артек уже чужая территория и никто не позволит копать в тамошних горах писательские российские могилы. Да и пионеров не хватит на громкий привет. Однако каждому воздается по вере его (кроме большого красного флага, этого мы не можем даже ради Аркадия Голикова). Ему бы подошел рай наших скандинавских предков, Валгалла, где герои вечно бьются на мечах и пьют из черепов своих врагов. Из Марицы Маргулис и Риты Нейберг получились бы неплохие валькирии, уносящие души воинов в обитель богов и наливающие им чаши.

Да дарует Один Гайдару доброго коня, острую саблю, бомбу, маузер, пулемет и всё, что может составить его счастье на том свете. И таких же, как он, неугомонных врагов-виджилянтов. И пусть Всевышний опустит завесу милосердия над их загробным блаженством.

Видение отрока Аркадия

У маленького Аркадия были своеобразные родители: очень революционные и очень бестолковые в делах воспитания. Отец, Петр Исидорович Голиков, преподавал в начальной школе при сахарном заводе города Льгова. Мать, Наталья Аркадьевна, урожденная Салькова, была дальней родственницей Лермонтова. Прапрадед Михаила Юрьевича Лермонтова был родным братом прапрапрадеда поручика Аркадия Салькова, деда Аркадия Гайдара. Деду Голиков не понравился, благословения на брак он не дал. 22 января 1904 года родился маленький Аркаша, названный в честь деда, потом появились его сестры, Наташа и Ольга. Но дед не простил все равно и даже внуков не видел. Однако кровь Лермонтовых пошла малышу впрок: он, мятежный, вечно искал бури. Ну а там и 1905 год. Петр и Наталья прячут нелегальщину, помогают РСДРП, вечно в конспирациях.

В 1908 году, скрываясь от ареста, супруги Голиковы уезжают в Арзамас. Дальше идет чистая «Школа», а Аркадий — это и есть Борис. В Арзамас Голиковы попали через поселок Вариха и Нижний Новгород. Здесь родилась Катя. Наталья Аркадьевна окончила частные

акушерские курсы, сдала экзамен в Казанском университете. Место в больнице ей предложили в Арзамасе, Петр Исидорович тоже перевелся туда. И пошло своим чередом всё, предвоенное и военное: реальное училище, побег на фронт к отцу, книги, товарищи, эсдеки, поймавшие мальчишку в ласковые сети. Аркадий очень много читал, больше своих одноклассников. Гоголь, Марк Твен, Пушкин, Толстой, Достоевский, Шекспир. А отец уже на фронте. Аркадия интересуют мировые вопросы, но он отравлен большевистской пропагандой, а поскольку мальчик чистый поэт и идеалист (такой статный, сильный, красивый и широкоплечий идеалист), он не довольствуется комитетами училища и даже вступлением в «сочувствующие» при РСДРП. Отроку Варфоломею открылось одно, а отроку Аркадию — другое. Но одно у них было общим: детская, слепая, нерассуждающая вера. А отец сделал карьеру: комиссар полка, командир полка, комиссар штаба дивизии. И, конечно, 14-летний Гайдар бежит из дома на фронт, в Красную армию. Воевать за «светлое царство социализма». Представляет он его себе так же плохо, как отрок Варфоломей — Небесное.

Огонь, иди за мной

И Багрицкий, и Светлов, и Лавренев, и Маяковский достаточно подробно описали это аутодафе, когда отрок сам лезет напролом в огонь за светлыми идеалами и обжигает себе крылышки, а иногда и сжигает в себе человека, как Бабель. Чем встретила Гражданская война юного Аркадия Голикова в 1918 году? Он был пылок и незащищен, он действовал по Светлову: «Нам в детях ходить надоело, и я обращаюсь к стране: «Выдай оружие смелым, и в первую очередь — мне».

Аркадий быстро стал помощником командира отряда красных партизан. Убивал, но, слава богу, в бою. Учился на командных курсах в Москве и в Киеве, затем в Московской высшей стрелковой школе. Воевал на Кавказском фронте, на Дону, подле Сочи, на Кубани. И — черт его туда занес — служил под началом Тухачевского, подавлял восстание отчаявшихся мужиков,

названное «антоновщиной». А ведь это был самый зверский эпизод Гражданской войны: газы против мирного населения, концлагеря и голодная смерть для жен и детей повстанцев, если эти самые повстанцы не сдавались.

1921 год. Аркадий Голиков — командир полка по борьбе с бандитизмом. Это значит — подавление выступлений отчаявшегося народа. С профессионалами, офицерами Белой армии, мальчишке Аркадию вообще пришлось иметь мало дела. Таких, как он, наивных и ослепленных энтузиастов, детей, вчерашних школяров, бросали против мирных пахарей, ставших партизанами с горя, потому что большевики не давали жить. Но это еще цветочки. Потом была Хакасия. Хакасия, Енисейская губерния и ЧОН. Страшные Части Особого Назначения, красные зондеркоманды.

1922 год. Попытки убрать И.Н.Соловьева — очередного «императора всея тайги». О нем, кстати, мужики отзывались уважительно, как о Робине Гуде. Отбирал, мол, у красных зерно, конфискованное комиссарами, оставлял на пропитание отряду, но в основном раздавал мужикам. Примерно в таком же положении оказался герой повести Павла Нилина «Жестокость» Венька Малышев. Тоже повязал какого-то повстанческого командира, а когда увидел, как советская власть расправляется с крестьянином Лазарем Баукиным, которого он, Венька, сагитировал за коммунизм, застрелился.

И с псевдонимом получается нехорошо. Это и не «всадник, скачущий впереди», и не аббревиатура «Аркадий Голиков из Арзамаса». Это хакасское «хайдар» — «куда?». Куда это скачет страшный командир Голиков?

Кончилось всё это большим скандалом: юного командира, теряющего рассудок от крови, ужаса, жестокости, на полгода исключают из партии и увольняют из армии. Взрослые дяди, которые должны были костями лечь, но не пускать мальчишку в армию, теперь всю вину возлагают на него. И слишком уж часто по рассказам и повестям Гайдара разбросаны отголоски, эхо его личной Гражданской войны, правда, уже бескровное, но с той же установкой литературного прицела на «классового врага». Почему в нежнейшем «Бумбараше» в тюрьме сидят жена белого генерала Тургачева и его сын, 15-летний Степка?

А Иртыш, отчаянная голова, еще жалеет, что их кормят мясом... Почему в «Дальних странах» тот, кто не хочет вступать в колхоз, обязательно «кулак», сволочь и убийца?

По-моему, юный Аркадий не ведал, что творил. Его сунули в мясорубку, дали оружие, дали власть над людьми, дали право убивать. Ребенок может быть патологически жесток, ибо не понимает, что такое боль и смерть. Мальчику сломали жизнь, отравили память, сделали калеккой, повредили психику. Его научили убивать, ему сказали, что те, кого должно убить, — препятствие для народного счастья. А ведь мальчик был хороший, честный, добрый. И странно видеть, как в его произведениях эта доброта, эта чистота борются с отчаянным фанатизмом и полной идеологической зашоренностью. И над всем этим реет на мощных крыльях большой талант. Божий дар. Дар Того, кого Аркадий Гайдар всячески высмеивал и в «Школе», и в «Бумбараше», и в пьесе «Прохожий». Но делает это он беззлобно и остроумно — Ему бы понравилось.

Для исправления и переписывания первой, неудачной жизни Аркадию Гайдару, расставшемуся с залитой кровью фамилией Голиков, была дана вторая попытка. Вторая жизнь — во искупление первой. Она удалась. В 1923 году с вещевым и даже мыльным довольтствием Аркадий Гайдар, 19-летний красный командир, получивший шестимесячный отпуск по ранению, ушел в эту другую жизнь через ворота старинного военного госпиталя в Лефортове. Первым делом пошел в игрушечный магазин, купил саблю, трубу, барабан, подарил ребятишкам. Купил целую армию солдатиков, устроил сражение. Подарил солдатиков детишкам. Скупил лоток мороженого, шоколадного и сливочного. Подарил детишкам. И поехал в журнал «Ковш», что в Питере на Невском проспекте, повез свою первую рукопись.

Светлое царство социализма

В «Ковше» сотрудничали Зошенко, Алексей Толстой, Лавренев, Пастернак, Мандельштам. Константину Федину молодой писатель сдает свои гаммы — «В дни

поражений и побед». Потом появляется тон, приходят краски. «Жизнь ни во что», или «Лбовщина». Это уже роман с сантиментами, но не бездарный. Советский Майн Рид. Романтический разбойник Лбов — то ли Ковпак, то ли Робин Гуд, то ли Стенька Разин. Еврейская княжна, агент жандармов, которую он застрелит. Роковая красавица Рита, которая рвется в разбойники. Благородный офицер Астраханкин, который стреляется из-за любви Риты к разбойнику. Напечатано это чтиво в газете «Звезда» в Перми. Там Гайдар поработал журналистом, получил за свой роковой роман хорошие деньги и поехал с друзьями в Баку, странствовать.

Когда закончились деньги, журналисты стали грузить арбузы и заработали на харч и обратную дорогу. Такие розыгрыши Гайдар любил. Когда для рыбалки не нашлось червей, он повесил на воротах объявление: «Скупка червей от населения». Паустовский вспоминает, что через два часа дом ломился от червей.

Но не всё было так весело: в 1924 году от чахотки умирает мать, Наталья Аркадьевна, крупный советский работник. Завещание, оставленное ею сыну, было в духе римского «иль на щите, иль со щитом», то есть «жизни своей не щадить за власть Советов». В Перми Гайдар женился на злой и фанатичной «комсомольской богине» Рувелии Лазаревне Соломянской. В 1926 году в Архангельске у них родился сын, Тимур. Но страшное прошлое, как Фредди Крюгер, приходило по ночам и шелкало лезвиями. Гайдар пил, нажил белую горячку, дошел до психиатрической клиники, резался бритвенным лезвием. Это не спасало. И он стал с 1925 года создавать альтернативную реальность, «светлое царство социализма».

Вот они, стены его фантастического, доброго, никогда не существовавшего иначе как на бумаге дома: «Р.В.С.» — 1926 год, «Школа» — 1930-й, «Военная тайна» — 1935-й, «Голубая чашка» — 1936-й, «Судьба барабанщика» — 1939-й. И пошло-пошло: «Тимур и его команда», «Чук и Гек», «На графских развалинах». Кровавая грязь Гражданской войны, мясорубка армии превращаются у него в светлую сагу о рыцарях Святого Грааля, о современных мушкетерах, защитниках вдов и сирот.

И никаких казней и жестокостей. Это комиссару из «Р.В.С.» угрожает смерть, это хорошего, доброго Чубука из «Школы» расстреливают белые, а он не убивает даже вредного бывшего помещика. Гайдар исправляет свое прошлое, вносит коррективы. Его Борис из «Школы» убивает врага, угрожавшего ему, и все равно жалко. Есть война, есть угроза, но трупов его Красная армия не оставляет.

И нет Сталина. Нигде, в те-то годы! Даже в виде портрета нет. Его он не пустил в новую Вселенную, где чисто и светло. В его мире есть роскошный Артек, отцы возвращаются из лагерей («Судьба барабанщика»), нет террора, нет ГУЛАГа, нет культа личности. И самая главная угроза — серые мыши, разбившие голубую чашку. И тревога, тень фашизма, наползающая на солнце. «Кругом пожар! В снегу следы! Идут солдатские ряды. И волокут из дальних мест кривой фашистский флаг и крест». Благородный антифашизм, иллюзорный советский рай, а красного террора и сталинизма в этой реальности нет. Звенит вечная тревога, трубит горнист, стучит палочками барабанщик. И в жизни есть место подвигу, и не одному. «Но как ни сладок мир подлунный — лежит тревога на челе... Не обещайте деве юной любви вечной на земле!»* А «комсомольская богиня» в 1931 году от Гайдара уйдет и заберет Тимура. Выскочит за другого, оставит Гайдара без копейки и без жилья. Он будет ночевать под мостом, бомжевать, а она станет получать за него гонорары. И он еще честно попытается ее спасти, будет писать Ежову, когда она сядет в лагерь вместе с мужем.

И только в 1938 году он женится на доброй и ласковой Даше Чернышовой, удочерит ее дочку, Женю (Женя и Тимур станут его героями из книги в книгу), а она будет окружать его заботой, пирогами и борщами. И, конечно, с первого же дня Гайдар устремится на фронт. В армию не возьмут, так хоть военным корреспондентом. 26 октября 1941 года он найдет свою смерть под Каневом. Я думаю, что он умер счастливым: он готовил детей к этой войне, и она пришла. Мирной жизни у Гайдара нет, она полустанок, а бронепоезд уже подан. На поганую (по Гайдару, прекрасную) Финскую войну уезжают и отец Жени, командир Александров, и отец Саши, капитан Максимов.

* Б.Окуджава, «Песня кавалергарда». — *Прим. ред.*

Вселенная Гайдара рухнула вместе с ним. Но остались его герои — бледные, гордые, готовые отдать жизнь. Мы не выкинем Гайдара не ради его иллюзорного царства, а ради вечной гражданской тревоги в переулочках его Города Солнца, ради высокого алармизма и воинской чести в садах и парках его мечты.

Возьми барабан и не бойся,
Целуй маркитантку звучней!
Вот смысл глубочайший искусства.
Вот смысл философии всей!
Сильнее стучи и тревогой
Ты спящих от сна пробуди.
Вот смысл глубочайший искусства,
А сам маршируй впереди!

Гейне, «Барабанщик»
(пер. А.Н.Плещеева)

ГВАРДЕЕЦ КОРОЛЯ

В четкой классификации, которую наизусть знают любители Дюма, это полный нонсенс. Если ты хочешь хорошо и бесппроблемно жить и готов биться за неправду, то иди в гвардейцы кардинала. А если ты неформал, готов помогать врагам престола и отечества вроде герцога Бэкингема и защищать слабую королеву или обреченного Карла I, если ты выступаешь против реальной власти в лице кардинала Ришелье и на тебя валятся все шишки, то ты тогда типичный королевский мушкетер.

Михаилу Булгакову выпал странный жребий: он хотел выжить и хотел жить хорошо, он пытался формально служить советской власти, он занимался только литературой и театром и не лез на рожон. Он, как его Независимый театр во главе с Иваном Васильевичем и Аристархом Платоновичем из «Театрального романа», «против властей не бунтовал». Но гвардейца кардинала из него не вышло. Он не лгал в своем творчестве, ибо гении не умеют лгать; он, белый (то есть русский) офицер, не пресмыкался, не подличал, не таскался на красные митинги и парады и не подписывал палаческие «открытые» письма и резолюции на тему «расстрелять, как бешеных псов». Да, он умер в своей постели, да, Сталин делал иногда вид, что ему покровительствует, страховал от ареста, «приватизировал» как ценную и престижную вещь. Но по творчеству получалось, что он все-таки мушкетер короля. Суммарно вышел странный симбиоз: гвардеец короля. Несчастный, честный, неуместный, неприкаянный, раздвоенный. Он, как его кот Бегемот, пытался уехать на трамвае без билета, но его догнали и ссадили. В 1940 году. Ему было 49...

Поэты в России редко живут долго, а если и живут, то мотаются, как Анна Ахматова и Борис Пастернак, из одного адского круга в другой, от первого до девятого, туда и обратно. А вот прозаик созревает медленно. Это многолетнее растение, и 49 лет даже для российского прозаика — маловато. Но черная птица Времени (того самого

«товарища Времени») из песни злобно каркала, и какое железное сердце надо было иметь, чтобы оно «не сорвалось на полдороге», и сколько нужно было милосердия и любви, чтобы «своим дыханьем обогреть землю» в ледяном холоде Гражданской войны и террора! Это не получилось, зато с третьим пунктом у гения проблем не оказалось. «Ты только прикажи, и я запомню, товарищ Память, товарищ Память». Он запомнил, впечатал в бумагу своих трагедий, и они стали чем-то вроде «Анналов» Тацита, они заменили собой лживую советскую историю: 1918-й, 1919-й, 1920-й, 20-е, 30-е до убийства Кирова... Мир увидел всё это: и Киев, и Москву, Большую Садовую, Пречистенку, МХАТ, Петлюру, гетмана, богемную тусовку, Торгсин, Андреевский спуск — сквозь магический кристалл Михаила Булгакова. Более того, он дал нам заглянуть за грань дозволенного, в ад и рай, увидеть муки и смерть Спасителя, Иудею и Иерусалим I века н.э. Мы увидели его глазами дьявола и Бога, и едва ли Леонид Андреев, Достоевский и Сенкевич смогут заслонить их мучительно-яркие и жутко-величественные образы. Иешуа Га-Ноцри и Воланд стали каноническими для российской интеллигенции и для западных интеллектуалов.

Для интеллигенции сила булгаковского гения актуальнее логики, богословия, теологии и церковных традиций. А с детства Миша отличался скорее юмором, чем трагической страстью. Родился Михаил Афанасьевич Булгаков в Киеве, городе прекрасном, исполненном исторической памяти и нежности к славянскому прошлому. К тому же в Киеве совершенно отсутствовала казенщина империи, престола, милитаризма. Святая София в звездах, пещеры святителей, прекрасный холм и гигантский золотой крест в длани святого Владимира осеняли детство писателя. Родился он 15 мая 1891 года в семье, принадлежавшей к духовному сословию. То есть обстановка молитв (впрочем, без фанатизма) и библейских преданий была ему обеспечена. Большинство россиян не чтит своих пастырей, рассказывая байки о попах и называя духовное сословие «жеребьячим» из-за длинных волос священников, которые вызвали странную ассоциацию с конскими гривами. Плевелы «научного атеизма» пали на подготовленную почву... Отец писателя, Афанасий Иванович, преподавал в Киевской духовной академии.

А мать Булгакова, Варвара Михайловна, была дочерью Анфисы Ивановны Турбиной. Здесь начиналась семья Турбиных, которую мы увидели на сцене.

Старинные семьи священнослужителей и купцов, но не чеховских и не некрасовских персонажей, дали нам булгаковское чудо. Дед со стороны отца — настоятель Сергиевской кладбищенской церкви в Орле. Дед со стороны матери — протоиерей Казанского собора в городе Карачеве. И ведь без клерикализма, без аскезы, без узости и ограниченности. Много смеха, шуток, розыгрышей, книжной культуры, хороших манер, зеленая лампа и пианино... Всё то, что считалось у русской интеллигенции хорошим тоном и что ушло за край времени в 20-е годы, когда носители этого тона пошли по этапу...

Миша был назван в честь архистратига Михаила, хранителя Киева. У него было шестеро горластых братьев и сестер, все — моложе писателя. Да и жили они там же, где поселятся Турбины из пьесы: Андреевский спуск, 13, строение 1, квартира 2. Но в 1906 году Афанасий Иванович Булгаков смертельно заболел нефросклерозом. Коллеги и Священный синод позаботились о семье профессора. Булгакова срочно делают ординарным профессором и доктором богословия. После его смерти вдова и сироты получают пенсию — 3000 рублей в год. Это даже превышает жалованье отца. Действительно, по-божески.

А впереди только десять лет человеческой жизни и человеческих отношений. Варвара Михайловна очень уважает образование и чтит знания. В 1901 году Мишу отдают в Первую мужскую Александровскую гимназию (опять «Дни Турбиных!»). Это отличная гимназия, не хуже столичных. Ее основал сам император Александр I для подготовки юношей в университеты. Там преподают университетские профессора: философ Челпанов, латинист Поспишиль, доктор наук из Вены Яворский. В 1909 году Михаил окончил гимназию, получил аттестат, но «отлично» у него только по географии и Закону Божьему. Он веселый, контактный юноша, увлечен театром и футболом, выдумщик, мистификатор, вечно пишет сатиры на всех. Девочек он не чурается и имеет успех. В 1908 году Михаил знакомится с барышней из хорошего общества (отец — председатель Саратовской казенной палаты), Татьяной Лаппа. Все зовут ее Тасей.

В 1913 году они обвенчаются. Слушательница Высших женских курсов Татьяна и второкурсник университета Михаил. Они проживут вместе 11 лет, до 1924 года. Тася была вполне эмансипе, но безумно любила Мишу и, как декабристка, всюду шла за ним: Первая мировая, Гражданская, госпитали в Киеве, на Юго-Западе, на Смоленщине, на Кавказе. Она вытащит его из наркомании, поднимет со смертного одра. Он бросит ее в 1924-м. «Вот что ты, милый, сделал мне! Мой милый, что тебе — я сделала?»*

Михаил Булгаков был гуманистом и, как всякий гений, эгоистом. Часто эгоизм побеждал. Миша стал врачом потому, что это был верный кусок хлеба, и потому, что кругом были врачи: «дядьки», три брата Покровских, и друг дома, педиатр Воскресенский. В 1909 году Булгаков поступает на медицинский факультет Императорского университета св. Владимира в Киеве, но в 1914-м начинается война, и он честно пройдет практику врача в разных госпиталях, не успев получить диплом. Он получит его, когда дела на фронте пойдут получше, в 1916 году. Но вот он демобилизован, стал дипломированным лекарем и попал под «распределение» (из-за военной практики). Его загонят в такую дыру! Самый глухой уголок Смоленской губернии, село Никольское. Вот вам и «Записки юного врача», веселые, юмористические, а ведь веселого в этом медвежьем углу было мало.

В 1917 году, в сентябре, ему удастся перевестись в Вязьму. Он будет работать и инфекционистом, и венерологом. Но здесь он, как и доктор Поляков, герой его рассказа «Морфий», станет наркоманом, а ведь тогда от морфинизма не лечили. Рассказ очень ярок и страшен. Его надо бы раздавать в местах распространения наркотиков. Булгаков излечился чудом. Помогли верная Тася и врач Воскресенский, его отчим. Но история с морфием испортила карьеру начинающему земскому врачу. 22 февраля 1918 года его отпускают из Вязьмы. Супруги возвращаются в Киев, и Михаил начинает частную практику как венеролог. А в городе уже Содом и Гоморра: красные, белые, зеленые, Петлюра...

* М.Цветаева. — *Прим. авт.*

«Белые, зеленые, золотопогонные, а голова у всех одна, как и у меня...»* Всё это мы увидим в «Белой гвардии» и в «Днях Турбиных». И уже больше никогда не сможем думать о Петлюре как о патриоте. Для нас он навсегда останется бандитом, черносотенцем, мороком по имени Пэтурра, мимолетом посетившим Киев, из-за которого остался калекой Николка Турбин. И был убит полковник Алексей. Украинцы обижаются, я знаю. Но Булгаков не мог ошибиться, и если он увидел в Петлюре бандита, значит, его позднейшее возвеличивание — просто миф и мечта о национальном герое.

Достаточно аполитичный Булгаков загремел-таки под фанфары в Гражданскую войну. Врачи были нужны, и деникинская Добровольческая армия его мобилизовала. Спорить не приходилось, да и стыдно было спорить мужчине, человеку из хорошего общества, врачу. Как и в 1914 году, Булгаков спорить не стал. Он врачевал раненых, он был нонкомбатант, но даже такая служба потом сильно портила ему жизнь. Кстати, белые тоже сделали эту глупость следом за красными с промежутком не более чем в шесть месяцев: отправились «вразумлять» чеченцев, восставших в Чечен-ауле и Шали-ауле. Но чеченцы, не признавшие комиссаров, наплевали и на Деникина с его покойной империей (как, впрочем, плевали всегда на любую земную и небесную власть). Михаил Булгаков вопреки своей воле оказался участником «контртеррористической операции». Слава богу, что злая пуля осетина (или чечена) его во мраке не догнала. В качестве белого офицера Михаил Афанасьевич в первый и последний раз в жизни (потом не будет ни денег, ни игорных домов) проигрался... на бильярде. Тасину золотую браслетку проиграл.

Кончается Гражданская война, кончается и медицинская карьера. В Грозном и Владикавказе в 1920 году Булгаков начинает печатать первые очерки и фельетоны: слабые, но не банальные. Свою службу у белых он наивно пытается скрыть (даже великие писатели хотят жить и что-то покушать; в этом плане Булгаков был одним из первых советских писателей, только вот фигура его в кармане не умещалась и молчал он в тряпочку так, что слышно было всем). Кстати, «под красными» Булгаков оказывается в бреду и без сознания. В 1920 году

* Ю.Ким. — *Прим. авт.*

его свалил возвратный тиф. Свалил он его в феврале, будущий гений едва не умер. Его выходила верная Тася. Встал он в апреле и увидел, что сослуживцы по госпиталю и по газете ушли вместе с белыми, а во Владикавказе установилась советская власть. Но дошлый писатель Слезкин, успевший перекраситься, устроил приятеля в подотдел искусств отдела народообраза Терского ревкома (!). Есть было нечего, пришлось пойти.

Булгаков организовывал концерты, диспуты, спектакли, произносил вступительное слово. Стал сочинять «революционные» пьесы (типичная заказуха), потом сам же назвал их «хламом». «Сыновья муллы», «Парижские коммунары», «Самооборона». А тут открывается Горский народный художественный институт, и Булгакова зовут туда деканом театрального факультета. Но на Кавказе закручивают гайки, и Слезкин с Булгаковым вычищены из всех структур как «чуждые белые элементы». Агитка «Дети муллы» дает средства на отъезд, вернее побег, из Тифлиса в Батум, а там планировалась почему-то разлука (хотя разойдутся они только в 1924 г.).

В мае 1924 года он отправляет Тасю в Москву через Одессу и Киев, а сам пытается отплыть в Константинополь, а оттуда во Францию. Но французский флот уже не плавал у побережья, чтоб погрузить Белую армию. Надо было стать нелегалом. Это Бунину выделили каюту, а Мишу Булгакова еще никто в России не знал. А нелегал из него вышел плохой, хуже Мережковских. Ни сушей, ни морем, ни тушкой, ни чучелком наш Булгаков за границу не попал. Нет сомнения, что, если бы жизнь не обрекла его на моральные страдания и на точное знание, что такое СССР, мы бы никогда не получили ни «Мастера и Маргариту», ни «Театральный роман», ни «Собачье сердце», ни «Роковые яйца».

Бунин и Ахматова, Мережковский и Гиппиус, даже юная Цветаева были сложившимися авторами к 1920 году. А 29-летний Миша еще не состоялся, ничего сочинить не успел. Остался бы венерологом. Да и жребий ему выпал не самый тяжкий: жил интересно, ходил в рестораны, менял жен и «наложниц», по этапам не пошел. А страдать писателю положено. Иначе надо идти не в литературу, а в кафешантан. И наш Михаил Афанасьевич едет в Москву, к Тасе, аккуратно в начале НЭПа. А рынок еще

не заработал, комиссарские когти еще не разжались, свирепствует безработица, и еду надо добывать с боя. Михаил нашел сначала ЛИТО (литотдел Главполитпросвета), но он закрылся. Тут привалила частная газетенка «Торгово-промышленный вестник», но вышло только шесть номеров. В феврале Булгаков определяется в газету «Рабочий» (около тридцати очерков и репортажей!) и в издательский отдел научно-технического комитета Военно-воздушной академии. Вопрос о сотрудничестве с советской печатью не стоял. Лишь бы печатали. Так жили все оставшиеся в СССР. В Москве писатель снова встретил своих «дядек», врачей Покровских (один из них — будущий персонаж, профессор Преображенский). Жилье супруги Булгаковы в конце концов найдут в квартире № 50 в доме № 10 по Большой Садовой. Та самая «нехорошая квартирка», где теперь музей, где нагая Гелла принимала гостей мессира Воланда, где жил Миша Берлиоз, который не композитор. Булгаковы ютятся в одной комнате. Они очень бедны, Михаил Афанасьевич бегает голодный по Москве и ищет халтуры. Вот в феврале 1922 года умирает в Киеве его мать. Михаилу не на что поехать на похороны, хотя мать он очень любил.

Но жизнь налаживается: в апреле Булгакова берут литературным обработчиком в газету «Гудок» (помните «Театральный роман» и «Вестник пароходства», где работал Максудов и который он так ненавидел?). Делает он и конференс в небольшом театрике. Но большевики уже налаживают свое «иновещание». В Берлине на советские деньги выходит эмигрантская «сменовеховская» газета «Накануне». Булгаков пристраивается в «Литературном приложении». Газету делали под «либерализм», заманивая литераторов-эмигрантов обратно на Родину. Заправлял «Приложением» «красный граф» А.Н.Толстой. Булгаков печатает там 25 лучших, «непроходных» в России очерков и рассказов. В «Гудке» он работает с В.Катаевым, Ю.Олешей, И.Ильфом и Е.Петровым. В Берлине сидит А.Н.Толстой и требует у московской редакции: «Шлите побольше Булгакова». Катаев и Олеша тихо делают пакости начинающему писателю, а про «Накануне» (бедный Тургенев!) сам Булгаков пишет в дневнике: «Компания исключительной сволочи группируется вокруг "Накануне"». Могу себя поздравить, что я в их среде.

О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени... Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой».

Аполлон и музы посещают молодого писателя. Из-под его пера льется поток настоящей, большой литературы. 1923 год — «Дьяволиада». 1924 год — «Роковые яйца». Непонятно, как они прошли. Потом цензура спохватится: мало того, что глупые совслужащие и ударники перепутали куриные яйца с яйцами гадов (энтузиазм не заменяет интеллект и знания), так ведь лозунг «Даешь!» много бед натворил в науке и технике. И совсем уже соблазнительная картина: гигантские змеи и крокодилы жрут советских руководителей и даже сотрудников ГПУ. «Яйца» будут изымать на обысках по 1986 год, правда, без срока. 1925 год — «Собачье сердце». А это уже не прошло, это чистая контрреволюция. К печати не разрешена. Легла в ящик на несколько десятилетий. «Белую гвардию» он пишет в 1923—1924 годах. Первые две части идут в журнале «Россия», а потом журнал закрывается. Но спасибо прототипу Рудольфи и за это. (И кильки, похоже, стояли рядом.) В конце 20-х годов в Париже выходит полный текст. В Москве он выйдет «несколько» позже, в 1966 году. Остатки оттепели помогут. Последние капельки.

А тут случается и большой грех: из-за границы возвращается светская дама, Любовь Евгеньевна Белозерская. В апреле 1924 года Булгаков разводится с Тасей, просто грубо бросает ее. Тася была серенькой мышкой, а Люба — красавицей, артисткой, нарядной и надушенной. Она была вхожа в литературные круги. А Тасе приходится перебираться в полуподвал, идти на курсы машинисток, потом кройки и шитья, даже таскать на стройках кирпичи. И «Белую гвардию» он посвятит вертушке Белозерской, а не верной Тасе. Он понимал, что поступает дурно, просил прощения, хотел увидиться перед смертью, помогал материально, говорил, что за Тасю его покарает Бог. Но он уже попал в богемную среду, а там такие отношения и разводы были в порядке вещей. С Любой Булгаков переселяется на Пречистенку, потом на Большую Пироговскую, 35а, в трехкомнатную квартиру, снятую у застройщика-архитектора.

Там Мастер жил с 1927 по 1934 год. Тот самый подвал: книги, печка и еще кое-что — старинная мебель, фарфор для Любы. И всё как в «Театральном романе»: прослышав про «Белую гвардию», режиссер МХАТа Борис Вершилов заказывает по нему, по этому дивному роману, пьесу. И создаются «Дни Турбиных» (у Максудова — «Черный снег») — жутковатая пьеса про сквозняк, ветер, ураган революции, про гибель прелестного, честного, милого старого мира, про неизвестность впереди.

Во второй половине 20-х написаны и прошли и «Зойкина квартира», и «Багровый остров». Хорошо, что Булгаков был сатириком: сражения автора с цензурой он подает с юмором. Герой «Багрового острова» ужасается, отстаивает свое детище, но с правками соглашается: он тоже не герой, важно, чтоб пьеса пошла. И всё было так, как он нам показал: Независимый театр, или МХАТ, серебряный венки, основоположники и молодежь, Иван Васильевич и Аристарх Платонович, золотой конь на сцене, Поликсена Торопецкая в красном джемпере за машинкой и Августа Межерачи с бриллиантовым крестиком.

Однако в литературной среде всё изменилось. Начинающих Бунина, Лермонтова, Достоевского, Чехова и Льва Толстого пестовали и лелеяли, радовались каждому их успеху. Мэтры подавали руку, помогали идти, организовывали публикации. Советская власть внесла новшества: писатель писателю стал волк. Подсиживали, клеветали, доносили. «Рапповцы», футуристы, «комсомольские поэты» и прочая бездарная рвань от литературы просто бесились, видя успех Булгакова. Пошли термины: «булгаковщина», «подбулгачник». Только что не «пилатчина». Булгакова перестали печатать. Политбюро и правительство разбирали «его вопрос». ГПУ тоже приложило руку: обыски и даже допросы. Но в окно подвала ночью не постучали: Сталин стоял за дирижерским пультом. Он хотел, чтоб Булгаков попросил пощады, заступничества и тем самым признал его не гонителем, а меценатом. Они, сатрапы, это любят. И Булгаков начинает объяснять ГПУ, что он не любит деревню, что она более кулацкая, чем принято думать; что он не знает рабочий быт, что может он писать только об интеллигенции, «слабом, но важном слое в советской стране». И наступил «год катастрофы»: 1929-й. Сняли с репертуара «Дни Турбиных»,

«Багровый остров», «Зойкину квартиру», запрещены репетиции «Бега» и «Кабалы святош» всё в том же МХАТе.

И Булгаков делает то, чего от него хотят: 28 марта 1930 года шлет Сталину, Политбюро и правительству отчаянное и дерзкое письмо, в котором, однако, звучит просьба: или отпустить за границу, или дать работу режиссера-ассистента. «Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в Отечестве, великодушно отпустить на свободу». Очень честно и искренне сказано про гуманность. Негласное требование Сталина выполнено. И будет еще письмо Сталину, 30 мая 1931 года: «На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашенный ли волк, стриженный ли волк, он все равно не похож на пуделя. Со мною и поступили, как с волком». И еще он это произнесет: «Мне советский театр нужен как воздух».

Потом Булгакову будет очень стыдно за разговор со Сталиным 18 апреля. Но на вопрос «Что, мы вам очень надоели?» он ответит: «Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины? И мне кажется, что не может». Это он потом сочтет одной из главных пяти ошибок в жизни. И еще Тасю посчитайте. И сразу Сталин дает «зеленую улицу»: и на старые пьесы, и на новые, и на работу во МХАТе по инсценировке «Мертвых душ». В начале 30-х написан «Театральный роман». Он сравнительно безобиден, но его же никуда нельзя было понести. И тут еще одно, но уже из будущего «Мастера».

В 1930 году он знакомится с Еленой Сергеевной Нюренберг, женой Шиловского. Она стала приятельницей Белозерской и часто бывала у Булгаковых. Михаил Афанасьевич влюбился без памяти. Его Люба к тому времени ударились в светскую жизнь советского образца: поступила в автошколу и увлеклась лошадьми. Дом был вечно заполнен шоферами и жокеями. Работать было нельзя. Булгаков робко пожаловался. Люба беспечно бросила: «Ничего, ты же не Достоевский!» Писатель этого не смог простить. Расставание было легким, хотя и Любе Михаил Афанасьевич подбрасывал потом деньги. Но с Еленой Сергеевной разыгрались шекспировские — не советские — страсти. Шиловский-то был

командармом, силовиком! А здесь уводят жену! Да, Елена полюбила Михаила за муки, а он ее — за сострадание к ним. Да, она любила его за творчество, печатала, прятала, правила, называла Мастером. Да, она была прекрасна, интеллигентна и умна. Но Шиловский, объясняясь с Булгаковым, выхватил пистолет. Писатель проявил слабость, советовал не стрелять в безоружного и предложил дуэль. Потом засчитал себе это за третью ошибку. За малодушие. Но Шиловский оказался все-таки не Щорсом и не Троцким, а русским офицером, человеком чести. Любя Елену, он отпустил ее, но Булгакова не простил. Однако жене и сыну помогал неукоснительно. Пока ломались копья из-за Елены (18 месяцев Елена Сергеевна и Булгаков не виделись), у него был кратковременный роман с еще одной претенденткой на роль Марго, с молодой дамой Маргаритой Петровной Смирновой (1899—1990). До смертного часа она доказывала, что Маргарита — это она, благо ее муж занимал пост комиссара-инспектора железных дорог РСФСР. И на готическую башенку в доме указывала. А Шиловский все-таки вспомнил, что он дворянин. Он мог легко убрать Булгакова, оклеветав его политически. Он был номенклатура, а Булгаков — почти диссидент. Но это было бы подло. И он уступил еще и потому, что Булгаков был беззащитен и считался антисоветчиком.

И свершилось: в 1929-м Булгаков начал, а в 1930-м мощно пошел его шедевр, «та самая главная песенка», евангелие советской интеллигенции — «Мастер и Маргарита». Мениппея, сатира, трагедия, сага, фэнтези, эпос, сияние Небытия и последний приговор Бытию. Дивная тайна, Космос, нестерпимая красота. «Вся соль из глаз, вся кровь из ран» (Марина Цветаева). Оправдание и искупление не пяти, а пятидесяти ошибок в случае необходимости. Ненависть, разносящая эпоху и державу. А тут новая проблема. Булгаков пишет пьесу о войне, о будущей войне. Чистая фантастика. «Адам и Ева». Тупые силовики говорят: «Нельзя!» Ведь в ходе действия гибнет Ленинград. И пьесу запрещают. «Кабалу святош» репетируют во МХАТе и БДТ. Но бездарный и писучий баловень совков и комиссаров Всеволод Вишневский топит своими статьями «Кабалу» в Питере. Булгаков для него не только враг, но еще и конкурент. Во МХАТе репетиции идут пять лет! Наконец показали

Ивану Васильевичу (Станиславскому). Но старик струсил. Потребовал переместить акценты: не власть и творец, а творец и толпа (безопаснее). Немирович-Данченко (Аристарх Платонович) оказался смелее, и в феврале 1936 года состоялась премьера. Но тут партийный чиновник Керженцев представил в Политбюро записку, где всё разъяснил: Людовик XIV — Сталин, Мольер — сам Булгаков. Так оно и было. И Луи, и Иосиф играли с гениями, как коты с мышками, играли, гладили лапкой, а потом и душили (морально). Ведь «Кабала» — это отчаянный крик «SOS!». Нам, Вечности, читателю, Богу.

И вот разгромная статья в «Правде»: «Внешний блеск и фальшивое содержание». Только семь раз пьеса прошла. Опять сняли. В травле принял участие и близкий друг Булгакова М.М.Яншин, блестящий актер, исполнивший роль Лариосика, а потом сыгравший в «Кабале» Бутона. Булгаков порвал с ним навсегда. «Мхатовцы» уговаривали покаяться и исправить пьесу. Но Булгаков стал героем и отказался: «Запятой не переставлю». Он ушел из МХАТа. Если бы не юмор, не прирожденный склад ума сатирика, он попал бы в Кашенко, как его Мастер. Ум провидца и смех человека со стороны — вот что не дало ему сойти с ума (слишком много ума было, и он не оказался слабаком) или броситься вниз головой с цепного моста. Всегда в приличном старомодном костюме, отутюженных брюках, с моноклем, при твердом воротничке и галстукe, с подчеркиванием «с» (извольте-с) и целованием ручки у дам, он навсегда остался чужим в советской тусовке. Хотя и тусовался, и обедал у «Грибоедова» (куриные котлеты «де-воляй», порционные судачки, суп-прентаньер), и дачу в Перелыгине (Перedelкине), видно, хотел. Он натравил свою нечистую силу на НКВД и сделал Воланда сотрудником Иешуа Га-Ноцри. И небо, и преисподняя сошлись в отмщении за поруганную интеллигенцию. Но всё, что могли сделать Воланд и Иешуа, — это убить Мастера и Маргариту и дать им покой и убежище на том свете. На этом свете властвовал Черный властелин, и ни Воланд, ни Иешуа ничего сделать с ним не могли.

В 1934 году появляется на свет достаточно горькая пародия «Иван Васильевич». А так инсценировки, инсценировки. Гоголь, «Пушкин», «Дон Кихот». Булгаков получает

жалованье, но опубликоваться ему не дадут. Роман о Мольере положат под сукно, Пырьев откажется от экранизации «Мертвых душ» по его сценарию. Писатель скажет одному гэнэушнику-сексоту: «Если опера у меня выйдет хорошая — ее запретят негласно, если выйдет плохая — ее запретят открыто. Мне говорят о моих ошибках, и никто не говорит о главной из них: еще с 1929—1930 года мне надо было бросить писать вообще». (Кажется, это и есть четвертая ошибка.) Кстати, снять «Кабалу» советовал Юрий Олеша. Гимнаст Тибул и оружейник Просперо этого бы не одобрили, не говоря уж о докторе Гаспаре Арнери. И изгою Булгакову было наплевать на троцкистский процесс. Он так и сказал: «Я же не полноправный гражданин, чтобы иметь свое суждение. Я поднадзорный, у которого нет только конвойных. Если бы мне кто-нибудь прямо сказал: "Булгаков, не пиши больше ничего, а займись чем-нибудь другим, ну, вспомни свою профессию доктора и лечи, и мы тебя оставим в покое", я был бы благодарен. А может быть, я дурак, и мне это уже сказали, и я только не понял».

Наступает 60-летие Сталина, и «мхатовцы» просят Булгакова написать пьесу о Сталине, «датскую» пьесу. Булгаков опасается, что не сумеет угодить (не делая акцента на том, что писать о тиране апологетику подло). Это пятая ошибка. Последняя. Сталину пьеса не понравилась. Вернее, он был польщен, но ставить не разрешил. Странно, что Булгаков не понял: в «Батуме» изображен юный Сталин-диссидент, подрывающий устои империи. Но всё прошло, Сталин возглавил империю и не хотел, чтобы диссидента хвалили, даже если это он сам. Стыдно, очень стыдно. И всё как у Мольера: удар, болезнь, смерть. Из-за немилости.

Булгакова настиг наследственный нефросклероз. Резко ухудшилось зрение. Впрочем, театр готов был дать обещанную квартиру (но не успел, квартиру даст Иешуа Га-Ноцри). Деньги по договору выплатили честно. Самое ужасное, что Сталин всё понял и замурлыкал в усы: Булгаков хочет навести мосты, понравиться, угодить. Это и сохранило гению жизнь: он не шел против Сталина, он делал вид, что с ним можно иметь доверительные отношения. Его герои не идут против красных, а если

идут, то торгуют потом чертями, играют на тараканьих бегах или едут назад, в Россию, как Чарнота, Хлудов или Голубков из «Бега». Вот только «Мастер»... Но Сталин про это так и не узнал. Что ж, Булгаков сам понимал, что на свет он не тянет, что он заслужил только покой. Цена компромисса. Гумилев попал в свет... Сталин заплатил за «Батум»: больного Булгакова посетит генерал от литературы Фадеев, его пошлют в санаторий для правителей в Барвихе. Полгода он еще поживет. За месяц до смерти он совсем ослепнет. Верная Марго (Елена) будет печатать под его диктовку. Главное — сохранить «Мастера и Маргариту». Чтобы роман дождался печати. Рукопись не сгорела. Она дожила... «Мхатовцы» в феврале последнего года опять просят Сталина помочь. Снова приходит Фадеев и заводит речь о лечении в Италии. Но Булгаков уже не встанет.

Он умрет 10 марта 1940 года. За гробом опять-таки пойдут литераторы. Булгаков и это предвидел. «Не пропадать же куриным котлетам де-воляй?» И выпьют водочки, и закусят. «Но ведь мы-то живы!» Сначала Фадеев берегся и на похороны не пошел, но Сталин дал отмашку, и он написал шикарный некролог. Место выделили от щедрот Политбюро на Новодевичьем. Надеюсь, в небытии Булгакова устроили не хуже, чем Мастера. И Елена с ним, и гусиные перья, и ручей, и мостик, и старинный дом. А роман доживет до публикации в «Москве» на грани 1966 и 1967 годов, с глупо выдранными цензурой строчками. Но самиздат выпустит сразу же полный вариант, и слабые и честные руки интеллигентов сохраняют всё это до перестройки. А в 70-е смелый Юрий Любимов поставит на Таганке полный вариант, и перед портретом Булгакова на сцене зажгут вечный огонь.

Писатель и его любимая уйдут по лунному лучу, а мы останемся, как Иванушка Бездомный, чтобы помнить, верить и ждать полнолуния.

Булгаков писал о крушении интеллигенции. Он ушел под воду на мостике ее тонущего корабля.

АРЛЕКИНО, АРЛЕКИНО

«Хорошилище грядет по гульбищу из ристалища на позорище в мокроступах». Эта загадочная фраза, взятая из баталий лингвистов и высмеивающая «славянский уклон», то есть попытку убрать все заимствования из русского языка и обратиться к национальной семантике, означает всего-навсего, что «франт идет по бульвару из цирка в театр в калошах».

Но если сминусовать калоши — огромную редкость, желанную, но недоступную бедным литераторам в 20-е годы, — то мы как раз получим творческий путь Юрия Олеши в жизни и в литературе. Да, именно в домостроевском варианте, без иностранных заимствований. Он был «хорошилище»: любил хорошие костюмы, вкусную еду, красивых женщин, роскошь былых эпох. Увы, обо всем этом в 20-е годы можно было только читать в книгах (или увидеть во сне). Вообразить. И все они беззаботно порхали по гульбищу, и славно гуляли мимо страшных артефактов Революции: три одессита, три остряка, три веселых друга, экипаж «машины боевой»: группы поэтов «Коллектив». Тоже поэтов, конечно.

Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша. Плюс д'Артаньян — Илья Ильф. Валентин Катаев сражался против красных с оружием в руках, даже на бронепоезде (ох, были и у белых свои бронепоезды «на запасном пути», и сейчас еще некоторые стоят, хотя и заржавели), сочинял заговоры.

Илья Ильф высмеивал, как мог, советскую реальность, где даже диссиденты типа Кая Старохамского отправились по высоким идейным соображениям... в сумасшедший дом. Багрицкий писал против НЭПа (когда немного отъелся) и не видел разницы между контрабандистами и ментами. И вообще воспевал разбойников. Олеша пошел гораздо дальше. Он препарировал советскую «новую жизнь» со вкусом некрофила и с тщательностью патологоанатома. И вскрытие показало, что больной скорее мертв, чем жив.

Олеша многое сказал, но мало кто его понял: в нашем цирке он Мистер Х. «Да, я шут, я циркач, так что же?» Вроде бы и «Зависть», и «Три толстяка», и «Список благодеев» — это юмор и сатира. Для младшего школьного возраста. А слезы Олеша увидела советская цензура. Никак Юрий Карлович не мог бы сказать: «А слез моих не видно никому». Цензура всё увидела и всё оценила. И хоть все они пытались так или иначе сражаться на «ристалище», все равно четверо оказались на «позорище» и стали заговаривать власти зубы, но «Софья Власьевна» — не какая-нибудь пишбарышня, а дама суровая, старая гарнизонная шкура, и очки ей втереть не удалось даже самыми подхалимскими пассажирами. Олешу не печатали с 1936-го по 1956-й. Катаев смог печатать свои «мовизмы», начиная с «Травы забвения», только в предперестроечные годы, а главное — «Уже написан Вертер» — только в перестройку. В контрреволюционной же деятельности при жизни он так и не признался, мы всё узнали о ней уже в 90-е. Илья Ильф умер вовремя, им просто не успели заняться. Наш же Юрий Олеша обладал даром аналитика, скептика, циника и имел, как Евгений Онегин, «резкий, охлажденный ум». При этом он родился художником, по-этом. Гремучая смесь, внутренний пластит, интеллектуальное шахидство. И этого довольно было для несчастной жизни и несчастной любви.

Хождение из поляков в одесситы

Юрий Карлович Олеша родился в марте 1899 году в Елизаветграде (сейчас и до сих пор — Кировоград) в семье не просто каких-нибудь акцизных чиновников, но потомков польских шляхтичей. Родным языком для семьи был польский, а мать писателя слыла глубоко верующей католичкой. Интересно, что Олеша-отец был из рода Олеша-Береженских, известного в Полесье с 1492 года, младшей ветви рода Щепы, происходящего, между прочим, из боровичского удела Московской Руси. Род был православный. У таких родов были проблемы с католичеством, от которого они шарахались как черт от ладана, и с полонизацией (вернее, вестернизацией), которая воспринималась

как бедствие. А здесь — наоборот. Род полонизировался и окатоличился. Зачем родители Юрочки переехали в 1902 году в Россию, в Одессу? По службе, скорее всего. Верили в вечность Российской империи? В несчастье, как сказал Сартр, «всегда веришь потом».

Прожили Олеси в России двадцать лет. Жизнь акцизных чиновников текла гладко и комфортно. Юрий поступил в гимназию. Учился хорошо, листовки не клеил, стихи писал не о броненосце «Потемкин». Стихи были сказочные, в стиле фэнтези. Стихотворение «Кларимонда» (очень слабое) было даже напечатано в 1915 году в газете «Южный вестник». В 1917-м Юрий поступил в Одесский университет. Два года изучал право. А потом право кончилось естественным путем, вместе с правовым государством. Наступил голод, вполне штатский и штатный голод при военном коммунизме. Еды не было ни для кого, только для комиссаров и их любимчиков. В 1921 году отощавший Олеша, уже блестящий журналист (при его-то уме! при его-то цинизме!), едет из Одессы в Харьков (за едой). А в 1922 году его родители получают шанс уехать наконец обратно в Польшу. Они не заставили себя долго просить. А вот Юрий с ними не поехал. Это было роковое решение. Из него мог выйти некий Набоков, ледяной интеллеktуал: задатки были. Сатирики не обязаны оставаться на театре военных действий. Можно использовать магический кристалл в качестве бинокля. Или даже телескопа. Но он захотел посмотреть вблизи.

Четыре остряка

В голодной и холодной Одессе Олеша, скитаясь по улицам и клубам и облизываясь на недоступные продукты, познал первую любовь. Симочка Суок была им любима, и он до самой смерти ее не забыл. Но она, взбалмошная красотка с манерами и повадками куртизанки, конечно, в жены не годилась. И зря четыре остряка — Ильф, Катаев, Олеша и Багрицкий — сдали ее в аренду богатому талонами бухгалтеру. Она вошла во вкус. И зря Катаев в красной феске со свирепым видом пытался ее вызволить из очередной чужой постели. Ольга была надежней. Суок

и есть Суок. Недаром фамилия любимой стала именем в романе «Три толстяка». Суок, акробатка и революционерка, «кукла» наследника Тутти, соединила в себе всех сестер Суок. Она была актрисой, обольстительной и хорошенькой, как Симочка. Она была храброй и верной, как Ольга, как все остальные сестры Суок. Она была «Вся жизнь». Вот что значило это имя. В центр блестящего круга прекрасной и неправдоподобной сказки, как на площадь Звезды, Юрий Олеша поставил в виде девочки Суок, актрисы и героини, свою мечту о жене, идеальной подруге, кумире и товарище.

А пока в начале 20-х четыре остряка перебираются в Москву. Кто раньше, кто позже. В 1922 году столичным жителем становится и Юрий Олеша. Он пишет фельетоны и подписывает их псевдонимом «Зубило». А потом он обретает тихую гавань в газете железнодорожников «Гудок», так вкусно описанной Ильфом и Петровым в «Двенадцати стульях». Там, на этих гостеприимных газетных рельсах, они сойдутся все, кроме поэта, безнадежно гениального поэта Эдуарда Багрицкого, которого даже в Одессе выгнали из ЮгРОСТА и, конечно, не взяли в «Гудок», ибо газетчик и поэт — две вещи несовместные. А всех остальных «Гудок» кормил: и Ильфа, и Петрова, и Олешу, и Катаева, и даже Михаила Булгакова.

Театральная революция

К 1924 году умный Олеша разобрался, наконец, в «текущем моменте» и полностью разочаровался в жизни, в ее новых хозяевах при маузере и кожанке и, конечно, в «социальном творчестве масс». Отчаяние схватило его за горло, и он просто места себе не мог найти в Стране Советов. И зажмурясь он создает свою, правильную, красивую, бескровную революцию. В отличие от розовых, оранжевых, тюльпановых, бархатных, поющих и прочих современных революций ее можно назвать театральной революцией. Революция актеров, акробатов, кулис; нарядная, праздничная, в розовом шелке и золотых блестках; революция, увенчанная гигантским тортом и разноцветными воздушными шарами, где фигурируют

чудаковатые ученые, учителя танцев, циркачи, мыши, домоправительницы, кондитеры и где единственный представитель рабочего класса — оружейник Просперо. Это я про «Трех толстяков», веселую, ироничную, милую сказку, рассказ для лакомок (сцены в кондитерской) и эстетов. Так должно было быть, но так не было. Три толстых буржуа, вечно сидящих на диете и пытающихся похудеть, вызывают скорее иронию, чем ненависть. Никаких казней, никакой крови, никакого ВЧК. Плахи толстяки отменили по просьбе доктора Гаспара Арнери; революцию сделали на паях танцовщица и акробатка Суок, тот же доктор, гимнаст Тибул и оружейник Просперо (плюс пара-тройка «наших» гвардейцев). Тиграм бросили куклу, толстяков всего-навсего посадили в клетку, революцию отметили представлением для детей, наследник Тутти с большой охотой пошел представлять в цирк.

Роман напечатали только в 1928 году. Читатели алчно накинулись на эту деидеологизированную феерию как на самое дорогое лакомство. Причем и взрослые и дети. Зато «партийная» критика сделала гримасу: «Призыва к борьбе, труду, героического примера дети Страны Советов здесь не найдут». Это было еще не анти-, но уже совершенно несоветское произведение. Причем алмазы и жемчуга метафор сыпались из него как из рога изобилия. «Женщина уронила толстую кошку. Кошка шлепнулась, как сырое тесто». «Большие розы, как лебеди, медленно плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев». А вот дворцовая кондитерская, куда влетел продавец воздушных шаров: «Влетая в кондитерскую, продавец почувствовал в одно и то же время ужас и восторг. Так, вероятно, ужасается и восторгается оса, летящая на торт, выставленный на окне беззаботной хозяйкой. Он летел одну минуту, он ничего не успел разглядеть как следует. Сперва ему показалось, что он попал в какой-то удивительный птичник, где возились с пением и свистом, шипя и треща, разноцветные драгоценные птицы южных стран. А в следующее мгновение он подумал, что это не птичник, а фруктовая лавка, полная тропических плодов, раздавленных, сочащихся, залитых собственным соком». А торт! Торт, в который сел продавец шаров! «Он сидел в царстве шоколада, апельсинов, гранатов, крема, цукатов,

сахарной пудры и варенья, и сидел на троне, как повелитель пахучего разноцветного царства. Троном был торт». И куда драматичней революции выглядит война экономики доктора Гаспара Арнери тетушки Ганимед с мышью. «Мышь любит мармелад, потому что в нем много кислот», — сказал доктор. «Мышь любит мои кислоты... Посмотрим, любит ли она мою мышеловку», — сказала тетушка Ганимед. Мышь поймалась и сбежала из-за гимнаста Тибула, перекрашенного в черный цвет. Увидев негра, «тетушка Ганимед зажмурила глаза и села на пол. Вернее, не на пол, а на кошку. Кошка от ужаса запела...» «А мышь, пробравшись из мастерской доктора Гаспара в комод тетушки Ганимед, ела миндальные коржики, с нежностью вспоминая о мармеладе».

Советская власть не простила Юрию Олеше того, что похождения мыши занимают в «Трех толстяках» больше места, чем революция.

Нетипичный для эпохи роман сразу перевели на семнадцать языков, в 1930 году МХАТ заказал Олеше инсценировку, и пьеса пошла, и до сих пор идет во многих театрах мира. А брежневские дохлые цензоры, выдохшиеся за сорок-пятьдесят лет, как лимонад (вместе с Советами), даже позволили поставить милейший фильм «Три толстяка», чем сильно укрепили позиции социализма, потому что гимнаста Тибула сыграл Алексей Баталов. И кто же в здравом уме и твердой памяти пойдет против Баталова? Роман и фильм по «Трем толстякам» Олеси были последним бастионом социалистического строя в СССР, но в 30-е годы Юрию Карловичу большевики эти достижения не зачли. А он ведь несоветскими толстяками не ограничился, он на святое замахнулся.

Не позволим!

В 1927 году Юрий Олеша всучил либеральной «Красной нови» (что-то вроде «Нового мира» от Твардовского, но 20—30-х годов, перед Большим террором) роман «Зависть». И хорошо, что Олеша писал сложно, запутанно, метафорично. А то сидеть бы ему в ГПУ. Вот где сказалась польская, шляхетская сущность Юрия Карловича. Ведь только у польских панов, депутатов Сейма, было право

индивидуального вето, а больше нигде и никогда. Ради этой личной свободы Польша пожертвовала территорией и государственностью. Сначала ее расчленили, потом завоевали. Любой шляхтич мог встать в зале заседаний Сейма и сказать: «Не позволяй!» — И закон не проходил. «Зависть» и была таким «не позволяй». От социализма 20-х годов Олеша не оставил камня на камне. Предмет ненависти автора — главный антигерой Андрей Бабичев, дворянский отпрыск, каторжанин, революционер, ныне глава треста пищевой промышленности. Жуир, трудоголик, обыватель, оптимист, идейный коммунист. Делает общепит, колбасу, сосиски, радеет об общественном питании народа. Самодоволен. В общем, та еще рожа. Реализация снов Веры Павловны: квартиры общие, фаланстеры, один зонтик на пятерых, а личные кастрюли, личные борщи, личные кухни, вся ргивасу идут в отвал, на помойку — как чуждая идеология, как мешанство. Противостоят Бабичеву его брат Иван — ученый и диссидент, который целых десять дней провел в ГПУ, и интеллигентный алкаш, лодырь и внутренний эмигрант Николай Кавалеров.

Так что же сказал Иван Бабичев в ГПУ? То, что мог бы сказать сам Олеша: «упадочники» должны осознать свою обреченность, он хочет бороться с системой с помощью «заговора чувств». Чувства «жалости, нежности, гордости, любви, ревности подлежат уничтожению». Олеша только не знал еще, что уничтожат их вместе с их носителями. Узнает после 1937-го, когда пойдут под топор друзья: Всеволод Мейерхольд, Владимир Нарбут, Исаак Бабель. Вот Иван Бабичев — Олеша взывает к массам, обвиняя брата-колбасника, коммуниста (тоже Бабичева, но Андрея): «Что хочет он вытолкнуть из сердца вашего? Родной дом — дом, милый дом! Жены, он плюет в суп ваш. Гоните его к черту! Вот подушка. Скажите ему: мы хотим жить и спать каждый на своей подушке. Не трогай наших подушек! Пули застревают в подушке. Подушкой задушим мы тебя...» Это уже было серьезно, но сложно для ГПУ. Олеша выжил, но он ведь еще и пьесу «Список благодеев» написал в 1930 году! Про актрису, составившую в записной книжке, в дневнике, список благодеев и преступлений советской власти

и за это уничтоженную. Благodeяния были не лучше преступлений. Пьесу в 1931-м начал репетировать МХАТ, но ее вскоре запретили. И всё. Опала и забвение. С 1936-го по 1956-й Олешу не печатали. А он не знал, что писать. Врать не мог, а правда была уже смертельна. Он выжил ценой чудовищных унижений в газетных статьях и устных высказываниях. Он всё принимал и одобрял, но получалось крайне неискренне, потому что он доказывал самому себе, что Сталин прав, и сам себе не верил, а Сталин не верил ему.

Олеша пил, и пил тяжело, за чужой счет, потому что денег не было. Он называл себя князем «Националя» и просил выдать ему наличными деньги за его похороны, похороны советского классика. Он был несчастен, нищ, зол и брошен всеми, кроме жены. Его считали подлецом и приспособленцем те, кто печатался и зарабатывал деньги и тоже лгал и приспосабливался, но искуснее.

В войну Олеша на фронт не лез, потому что понял слишком многое и не хотел умирать за родной лагерьный барак. Тихо сидел в Ашхабаде. Тихо умер в Москве в мае 1960 года. Посмертно его ославили как труса и подлеца. И уже 49 лет он слывет гаером, шутом, юмористом со своей трагической «Завистью», с полуподпольным «Списком благодеяний» и нежными и удивительными «Тремя толстяками». «Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех, Арлекино, Арлекино, есть одна награда — смех».

А ведь в Храме русской литературы ему принадлежит цветной сияющий витраж. В его несчастной судьбе виноваты серые мыши, которые не только съели у него и у всей страны мармелад, но и поймали и писателя, и его читателей в мышеловку.

ПАРУС! СЛОМАЛИ ПАРУС!

Валентин Катаев лежит недалеко от стен нашего Храма в славном тенистом уголке. В своей жемчужине, в лучшей повести «Белеет парус одинокий», он сам описал могилу, которую ему хотелось бы иметь.

Мы ему ее предоставили за бесспорный талант детского писателя и за достижения лучшего (первого и последнего «мовиста») создателя классных исторических эссе для взрослых уже в безопасные 60—80-е годы. К тому же циник, жуир и бонвиван Валя Катаев вкусно жил, сладко ел и спал, служил большевикам, ездил на ту роковую экскурсию на Беломорканал с гидом Горьким и потом засветился в той жуткой книге отзывов, в красивеньком рекламном проспекте о канале с человеческими черепами на дне. Но доносчиком и катом он не был. Поэтому Храм сверкает золотыми куполами и крестами совсем недалеко. Чугунная ограда, печальный темный кипарис, опустивший крылья мраморный ангел, лабрадоровый склеп. Ползают кладбищенские улитки, лаврики-павлики, стирая позолоту с мраморной надгробной доски. Золотыми буквами на ней написано: «Здесь лежит Валентин Катаев, он же Петя Бачей, брат Павлика (Евгения Петрова), друг Гаврика Черноиваненко. Да будет мир его праху».

За его загробную жизнь я не беспокоюсь. У чертей тоже есть дети, чертенята. Вряд ли черти откажут себе в удовольствии почитать чертенятам вслух «Белеет парус одинокий» и «сказочки» Катаева. А за это выделяют теплое местечко, обильный рацион: копченую скумбрию, так любимую Петей Бачеем, а заодно и шоколадку с передвижной картинкой, бублик (горячий, с ледяным сливочным маслом), клубничное варенье, коробочку монпансье «Жорж Борман», шкалик из тонкого голубого стекла и жареные бычки. Одесситы должны пользоваться у веселых чертей режимом наибольшего благоприятствования. Надеюсь,

в аду есть свой Большой фонтан, своя Молдаванка, своя Пересыпь, свои Ришельевская и Маразлиевская. Певец и биограф Одессы Валентин Катаев заслуживает, чтобы у ног его плескалось голубое море, у стены ждал подержанный велосипед, а в авоське лежали превосходные сухие тараньки.

Шаланды, полные кефали

Валентин Катаев сам написал свою биографию, правда, с большими дырами, как будто ее мыши ели. Ведь писал он уже при советской власти, а при ней о некоторых этапах жизненного пути лучше было умолчать, зашифровывая их под биографии и приключения знакомых, знакомых знакомых и незнакомых незнакомых. А врать он умел как бог. Вообще-то хороший писатель должен уметь врать. Враль не всегда беллетрист, но беллетрист — всегда враль. Поэтому жизненный путь писателя вымощен его произведениями, и мы пойдем по ним, как по тропинке. Отметим только одно, необычное. Катаев был слишком материалист, циник и поклонник всего земного, чтобы влюбляться. Он, как средневековые теологи, отрицал для женщин право на бессмертную душу, а заодно сомневался в наличии таковой у мужчин. Дома будет сидеть скромная жена, как бы стиральная машина, кухарка и нянька в одном лице, а мимолетные романы никому не запомнились, потому что имели чисто плотскую направленность, без всякого идеализма. Он слишком любил себя, эпикуреец, гедонист и эгоист. Детями побочными тоже не интересовался и не проверял, сколько их, как и чем живут и где пребывают. У Катаева много юмора, но он и в жизни очень много «юморил», а любовь и семья — дело серьезное. Женитьбу он считал чисто экономическим проектом.

А как долго он жил, продаваясь весело и со вкусом, не волнуясь за других! С января 1897-го до апреля 1986-го. 89 лет, почти застал перестройку. Еще немного, и стала бы доступной его любимая «заграница». Но не срослось.

Родился Валюша в семье учителя епархиального училища. А дед был генерал. Учился в гимназии, знал, что такое настоящий интеллигент, и изобразил таковым своего отца: толстовец, честный идеалист, книжник, противник антисемитизма. Якобы прочел лекцию о Толстом после его смерти и был уволен, ушел в отставку. Это мечты, на самом деле у папы все было о'кей. Родители были в шоколаде. Отец очень неодобрительно относился к политике, левым, революционерам. И Валя в отличие от книжного Пети не дружил с рабочими и бедняками, не ходил на маевки, а еще в 12 лет был за Веру, Царя и Отечество, да и по взглядам совпадал с «Союзом русского народа». Это потом он задним числом напишет жуткий пассаж о погромах и о том, что взять из разгромленной еврейской лавочки пряник или раздавленную коробку папирос — значит запятнать себя на всю жизнь.

А в 13 лет Валя публикует в «Одесском вестнике», газете местного СРН, такие вот дикие стихи: «И племя Иуды не дремлет, шатает основы твои, народному стону не внемлет и чтит лишь законы свои. Так что ж! Неужели же силы, чтоб снять этот тягостный гнет, чтоб сгнули все юдофилы, Россия в себе не найдет?» И родители из дома не выгнали. А должны были бы.

И к 1905 году Валя отнесся без всякого восторга, и с боевиками он не знакомился, и патроны им не носил. Играл в «ушки» (пуговицы), хватал двойки. Покупал леденечных петухов на палочке, отдыхал с отцом и братом в «экономии» на лимане (что-то вроде дачного маленького пансионата), зубрил латынь и греческий. И фотографировал памятью и зрением богатый, мокрый, соленый одесский Привоз, его рыбный ряд и мадам Стороженко, этот бессмертный тип орсократии, погромщицы, хабалки, базарной бабы, богачихи и хамки. Я вам не скажу за всю Одессу, но остались яркие цветные фото: как ловить бычков на перемет, как нырять за морскими коньками, какие дивные учебные принадлежности были в 1905-м у гимназистов, и какие это восхитительные создания — гимназистки с локонами и с салатовыми бантами в косах. Катаев — это фламандский натюрморт, полотна Снайдерса, Мурильо, наших передвижников из наименее жалостных. Волшебный

реализм, яркие, аппетитные жанровые зарисовки (чего стоит только одно его описание виноградников и тонких различий между чаусом и дамскими пальчиками, мускатом и шашлой!), жизнь, просто жизнь, без всякой идеологии, интересная, манящая, вкусная жизнь — в этом Катаев, и это останется с ним до смерти.

Отец, Василий Петрович, этот самый классический интеллигент, повез сыновей за границу. И мы получаем яркие, как всегда, наивно-детские впечатления от шоколадно-молочной Швейцарии, Греции с Пиреем и Акрополем (и чудной бараниной под греческим соусом), жаркой Италии, где надо всё время есть восточные сладости и пить прохладительные напитки, а мороженое — ледяная стружка, политая пронзительно-зеленым сиропом. Про письмо Ленину от одесских рабочих и рыбаков, про матроса с «Потемкина» Родиона Жукова и конспиративную квартиру у дяди Гаврика Терентия на Ближних Мельницах — это враки, вполне детективные, романтические и лишённые политического элемента, потому что маленький Петя Бачей (Валя Катаев) в политике ничего не понимал, да и взрослый Валентин Петрович тоже не хотел понимать. Просто плыл по течению, а текла река жизни по советскому руслу. Ну вот он и поплыл.

Отметим только одно: маленький Петя-Валя страшно завидовал богатым. Не ненавидел, нет. Завидовал до чертиков тем, кто ездит в первом классе на пароходике «Очаков» или на большом корабле от Одессы до Неаполя и Афин. Тем, кто получает за обедом сладкое, даже (о!) мороженое, а не просто сыр и фрукты, как семья скромного учителя Бачея во втором классе. Тем, кто ест паюсную икру, ветчину фрикандо, ездит на извозчике, имеет велосипед и ружье монтекристо. По нынешним временам Бачей жили хорошо: горничная и кухарка Дуня, пять комнат, гимназия, путешествия — и всё на жалование одного отца! Но в начале века у некоторых счастливцев были свои лошади, особняки, лакеи и этот самый первый класс. Вот вам и объяснение романа Вали с большевиками: он хотел ехать первым классом, и не на Соловки. А потом началась война, и кончилось детство.

На германской войне только пушки в цене

От ура-патриотизма, черносотенства и антисемитизма к 1915 году Валя Катаев излечился вполне, преодолев комплексы и штампы официоза и своей среды — ведь в «Парусе», «Хуторке в степи», в «Отце» он дал даже своей семье другие, демократические, леволиберальные убеждения задним числом. Но патриотизм остался при нем. Не закончив гимназию, он идет добровольцем на фронт. Идет вольноопределяющимся, два года гниет в солдатских окопах, потом получает чин прапорщика. Воюет храбро, имеет три награды. Особенно ценились «Георгий» и «Анна», Георгиевский крест и Анненский темляк, то есть красная розетка на эфесе сабли. Он тяжело ранен и отравлен газами, но воюет самозабвенно, пока фронт не разваливается окончательно. Пишет стихи и считает себя учеником Бунина, перед которым благоговеет. Но вот в Москве и Питере побеждают красные, морок надвигается на Россию. Что будет делать Катаев? Мы привыкли судить о нем исходя из его «советскости», начиная с разгрома Белой армии и окончания Гражданской войны. А если смотреть из 1918 года? И здесь мы оказываемся в триллере с двойным дном.

Агент 001, или Бондиана Валентина Катаева

Официальная биография, сочиненная самим Катаевым (проверить в начале 20-х, да еще в Москве, одесские его приключения было некому и некогда), выглядит так: приняв всеми потрохами советскую власть, молодой офицер Катаев идет служить в Красную армию, командует бронепоездом, а если в 1920 году его арестовывает ЧК Одессы (и брата Женю, будущего Петрова, прихватывает заодно), то это по классовому признаку, безвинно, за дворянство и офицерство, и через полгода подвалов, допросов и ожидания расстрела его освобождают по приказу московского ревизора — чекиста, слышавшего его пламенные речи про советскую власть на литературных собраниях в 1919 году. Но нашелся Эркуль Пуаро, литературовед и катаеволюб, который сопоставил все материалы, взял недоступные ЧК до перестройки дневники Бунина и его

жены, стихи самого Катаева, нигде не публиковавшиеся, которые мы узнали из мемуаров его сына Павла, и получилось всё наоборот (а поведение Катаева в 30—40-е годы подтверждает эту версию).

Валентин Петрович не только не служил в Красной армии, но пошел сначала служить гетману, а когда гетман сбежал в Германию — добровольно в Белую армию, командовал бронепоездом «Новороссия», дослужился до штабс-капитана. Когда юг временно заняли красные, был в деникинском подполье, ездил с миссиями в Полтаву и Харьков, а речи на собраниях были только прикрытием и личиной. Когда белые вернулись, снова ринулся служить. И Бунины это знали, иначе и на порог к себе не пустили бы «краснюка». Но вот эвакуация, белые отплывают из Одессы, и Бунины в том числе. А Катаев в жару и бреду в госпитале, у него тиф. Едва встав на ноги, он организует заговор белых офицеров, «заговор на маяке», инспирированный ЧК. Но Катаев попадает в ловушку, собирает офицеров, оставшихся в городе. Они все ждут врангелевского десанта, они должны подать маяком сигнал и захватить часть порта. Да, это точно тянет на расстрел, но красные не знают о его службе у белых, а московский чекист помнит только речи. Катаевым, Вале и Жене, удается вывернуться.

Во многих рассказах и стихах, как в бутылках, брошенных в воду океана с посланием потомкам, Катаев рассеял указания на свою тайную биографию, чтобы мы помянули его добром. А в своем шедевре «Уже написан Вертер», опубликованном в 1980 году, незадолго до смерти, Катаев вообще дал увидеть умеющим читать между строк всю свою беспредельную ненависть к ЧК, большевизму, советской власти. В «Вертере» и рассказе «Отец» как раз тюрьма, расстрелы, «заговор на маяке» и уж чисто чекистской фантазии заговор «англо-польский» и изображены. Тихая, испепеляющая ненависть вполголоса. И вот осталось шуточное стихотворение:

Три типа тюрьму покидали:
Эсер, офицер, биржевик,
В глазах у них слезы сверкали
И где-то стучал грузовик*.

* Под рев мотора расстреливали. — *Прим. авт.*

Один выходил на свободу,
Удачно минуя гараж*:
Он продал казенную соду
И чей-то чужой экипаж.

Другой про себя улыбался,
Когда его в лагерь вели:
Он сбытом купюр занимался
От шумного света вдали.

А третий был штабс-капитаном,
Он молча поехал в гараж
И там был наказан наганом
За Врангеля и шпионаж.
Кто хочет быть штабс-капитаном,
Тот может поехать в гараж!

Но от греха подальше Катаевы перебираются в Харьков уже в 1921 году, а в 1922-м — в Москву. И там концов не нашли. России больше нет, армии — тоже. Конечно, надо было умереть или любой ценой перебраться на Запад. Но здесь сломался парус, вступила в действие гедоническая сторона катаевского характера, и он, затаив ненависть, идет писать на большевиков, никогда, однако, не призывая к казням, не донося, не причиняя зла людям. Надежда Яковлевна Мандельштам скажет: «Одни, продаваясь, роняли слезу, как Олеша, другие облизывались, как Катаев». Да, Беломорканал он воспел, Ленина воспевал, Сталина — косвенно, нечасто, но тоже кое-какие хвалы есть (однако не на уровне А.Н.Толстого). Пастернака на собрании в 1958 году осудил. Письма про казнь троцкистско-зиновьевского блока подписывал покорно. За то и не вошел в наш Храм русской литературы.

Но было кое-что еще, и потому он лежит вплотную к стенам этого Храма. Он как-то бросил Евтушенко, чтобы тот не делал вид белочки, отдающей советской власти по любви, а посоветовал быть проституткой, как он сам. Вслух, кстати. Смело? Смело. Хотя уже в 1970 году.

А писал он поначалу веселые рассказы о НЭПе и военном коммунизме. Издательские. Но в конце ставил пару

* Расстреливали в гараже. — *Прим. авт.*

«правильных» слов, и тупые совписы и цензоры не понимали, что принимают. В это время, в разгар НЭПа, он женился. Но никто не знал потом имя его первой жены. Ни детей, ни следов, ни мемуаров. Вторично он женится поздно, в 1934 году, на Эстер Давыдовне. В 1936 году рождается Женечка, потом Павлик.

Для этих любимых деток Валентин Петрович сочинит сказочки, которыми попользуются всласть все детки СССР. Сказочки очень хорошие, светлые, человечные. Надо отдать Катаеву должное: кроме как в годы войны (аккурат с 1941-го по 1944-й), ни о каких врагах, вредителях, диверсантах, шпионах, в отличие от Аркадия Гайдара, у него и помина нет. Да и война, кстати, вся протекает на фронте и на советской территории. Никаких подвигов в немецком тылу, или за границей СССР, или на Финской войне (опять-таки выгодное отличие от Гайдара). В сказочках разборчивая невеста-рыбка остается с носом и просит милостыню, а Женечка учится трудиться, собирая землянику лично, а не с волшебной дудочкой, а потом с помощью цветика-семицветика учится познавать, что ценно в этом мире. Смешно, мило, чисто. И даже некое пророчество присутствует. Женечка попадает на Северный полюс, и из-за льдины на нее выходят семь медведей. Первый — нервный, второй — рябой, третий — в берете, четвертый — потерянный, пятый — помятый, шестой — злой, седьмой — самый большой. Узнаете мизансцену?

Он пишет много, а тупые критики не понимают, о чем это он. В повести 1926 года «Растратчики» (в СССР и погулять-то негде, а растратчики еще и не умеют гулять), в рассказах «Ножи» и «Вещи», в комедии «Квадратура круга» (где комсомольцы безуспешно борются с «бытом», однако голод — не тетка) он якобы, с подачи советской печати, борется с мещанством. А на самом деле — издевается над убогими советскими людьми и убогой советской действительностью. Потом появляется шедевр, посвященный жене Эстер: «Белеет парус одинокий» (1936).

Самая фальшивая его вещь и единственная сплошь бездарная — это «Время, вперед!» (1932). Автор себя изнасиловал. Ну не мог он писать о героях пятилеток. В войну он едет на фронт военным корреспондентом (с германцами ему сражаться уже доводилось) от «Правды»

и пишет «Сына полка» (вместо Сталина там Суворов, а вещь хоть и простенькая, но человечная и без пафоса, к тому же много юмора и гениально схвачен военный быт). Это 1945 год. Дали Сталинскую премию! Такая же тихая непритязательность в «Жене» и в пьесе «Синий платочек». Даже вроде бы агитка «Я, сын трудового народа» (1937) обошлась без Сталина и украшена дивным описанием украинского сала, украинской свадьбы и смешных немцев, собирающих по селу пропитание. А сцена присяги — для дураков. Дураки дали ему два ордена Ленина, деньги, квартиру, комфорт. А он смеялся над дураками. Единственное упоминание о Сталине — в романе «За власть Советов». «За Родину, за Сталина, за власть Советов!» — выкрикивает подпольщик Дружинин, когда немцы ведут его и его товарищей через город. И всё. Сталин на этом кончается. В романе мало пафоса, но много одесского юмора, одесского рынка, кулеша, одесского порта, а с прогоревшим в комиссионном магазине подпольщиком Жоркой Ковальчуком (приятель Пети и Гаврика) тоже один смех. И катакомбы описаны классно. И кончается роман, как и положено в Одессе, копченой скумбрией. (Если хотите сами сготовить баклажанную икру, тоже читайте эту патриотическую вещь.)

«Хуторок в степи» написан поздно, в 1956 году, но он тоже прелестен, и если вы хотите выращивать черешню, загляните в него. Из всех продолжений «Паруса» самое ходульное и лживое — «Зимний ветер» (1960). Там Петя идет в революцию под руководством Гаврика. Но и здесь сильные сцены гибели Марины из «Хуторка» и Павлика (Жени Петрова, погибшего на фронте в 1942 году), с юмором поданная военная, армейская жизнь, зимнее море, шаланды и Одесса, опять Одесса...

А теперь слушайте сюда, как сказал бы Гаврик. Вот они, свидетельства защиты. В 30-е годы Катаев защищает вернувшегося из чердынской ссылки Мандельштама, пытается снять поражение в правах, дать жилье и работу. После его второго ареста и гибели помогает деньгами Надежде Яковлевне. В 1937–1940 годах отчаянно, рискуя жизнью, заступает за арестованных, так что Фадеев, председатель Союза писателей, даже говорит ему, что надо бы и о себе подумать, на него сплошные доносы идут.

В 1946 году он приезжает к ошельмованному парии Зошенко с двумя проститутками, двумя шариками и предлагает семь тысяч и ужин в ресторане. В 1962 году он говорит Чуковскому, что возмущен «Одним днем Ивана Денисовича»: там нет протеста, а жертвы Сталина обязаны были возмущаться «хотя бы под одеялом». В «Святом колодце» он рассказывает, *urbi et orbi*, что «гимнюк» Михалков — стукач, «дятел». А потом начинается мовизм. Советская действительность исчезает вообще. Начало 20-х годов и встречи поэтов: Маяковского, Есенина, Багрицкого, Хлебникова («Алмазный мой венец», 1978). Заграница («Кубик», 1969). Сладкая досоветская, дооктябрьская действительность («Трава забвения», «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», 1967), ужасы красного террора («Уже написан Вертер», 1980).

Я вешаю сверкающий алмазный венец на ограду катаевской могилы и беру горсть колева — поминального одесского блюда, состоящего из вареного риса, «засыпанного сахарной пудрой и выложенного лиловыми мармеладками». Шелестит трава забвения. Он не доплыл. Одинокий белый парус «в тумане моря голубом» был грубо атакован социальными ураганами.

«Но парус! Сломали парус! Каюсь, каюсь, каюсь...»

КУДА МАКАР ГОНЯЛ ЗОЛОТЫХ ТЕЛЯТ

Пока тебя не посадили насильно в телячий вагон, как многих, слишком многих Макаров, добровольно туда двигаться не следует. Так же, впрочем, как и на север, где и телят, и их пастыря гостеприимно поджидали Соловки.

Но вот куда Макар с удовольствием гонял телят, и не простых, а золотых, так это на юг. В Одессу. Этот солнечный, морской, почти космополитический, не русский, не советский, а точно вольный город из саги Ильфа и Петрова (тот, что у них в «Золотом теленке» именуется Черноморском) был веселым, шальным оазисом в унылой пустыне советской действительности. Одесса, наш личный Париж с элементами милого и анархического большого хутора близ Диканьки и намеками на гриновские Зурбаган, Лисс и Гель-Гью, бросила в серые советские будни плеяду разноцветных талантов (в основном сатириков, потому что даже в советское время в Одессе не разучились смеяться), словно пригоршню конфетти: Валентина Катаева, Юрия Олешу, Илью Ильфа и Евгения Петрова, Эдуарда Багрицкого. Эти теплые ребята, не дураки выпить и закусить, не относились к советской власти серьезно. Не получалось: в Одессе ходули и мрачный пафос не проходили. Советская власть первых пятилеток пыталась отменить жизнь, а одесситы жить умели и любили. На котурны становился один Багрицкий, что простительно: все-таки поэт, они иначе не могут.

Для одесситов в Храме русской литературы есть уютный уголок, подальше от алтаря, потому что атеисты из Одессы поиздевались и над Богом, и над его слугами. Остается уповать только на то, что Бог — не зануда и что у него с чувством юмора всё в порядке. В одесском уголке Храма явно висят карикатуры на отца Федора и на ксендзов, ходивших по душе Адама Козлевича.

Оттуда слышится смех, разбегаются востриковские кролики и раздаются возгласы: «Птицы, покайтесь в своих грехах публично!» и «Чы слышишь глос ойца небесного?»

Шикарный технократ

Наш тандем, наша сладкая парочка Ильф и Петров встретились окончательно и соавторились в 1927 году. А до того у этих литературных сиамских близнецов была отдельная жизнь. И мало, очень мало удалось им перехватить воздуха и обстановки Серебряного века. Русская литература на нашем крутом маршруте похрустывает последними крупинками серебра, и скоро, очень скоро в Храм придут те, кто даже родился в Черном квадрате. После 1917-го. А Илья Ильф, который собрал себе псевдоним, короткое и хлесткое «погоняло», на самом деле был Илья Арнольдович, и даже сложнее того: Иехиел-Лейб Файнзильберг. Он родился в октябре 1897 года в Одессе в семье банковского клерка Арье Беньяминовича Файнзильберга и его жены, Миндль Ароновны. В семье было четыре сына. Одному, казалось бы, повезло: он стал французским фотографом и художником и звался Сандро Фазини. Но Париж не был безопасным убежищем для еврея, начиная с 1940 года. И это аркадское благополучие обернулось для старшего брата нашего Ильфа большой бедой: в июле 1942-го петэновский режим депортировал его с женой в Освенцим, и они погибли там. Не помог даже талант, не помогло чувство юмора. Холокост собирал свою страшную дань и с одесситов. Их третий брат, тоже классный фотограф, назвался Мафом, или Мифа. Он умер не так страшно, но тоже слишком рано: в 1942-м, одновременно с парижанином, в Ташкенте, в эвакуации. Слава богу, не от голода. Только младший брат, Беньямин, один из всех не увлекавшийся фотографией, стал инженером-топографом и умер, дожив до старости, в 1988 году.

Трем Ильфам, оставшимся в СССР, вообще-то повезло: никто не сел, никого не расстреляли, никто не погиб в лагерях. Одесса хранила их издалека — как талисман, как добрый гений. А наш Ильф страшно интересовался

техникой и тоже не расставался с фотоаппаратом, в чем весьма преуспел. В 1913 году он окончил техническую школу. Работал в чертежном бюро, на телефонной станции, на военном заводе. После 1917-го сначала был бухгалтером (бухгалтер Берлага, вице-король Индии, — это маленькая месть осточертевшему финансовому сословию). А потом нашел себя. Злоязычный одессит стал журналюгой. Оказалось, что Ильф — типичная гиена пера. В Одессе он даже редактирует несколько мини-юмористических журнальчиков. В 1923 году Илья Ильф отправился завоевывать Москву и осел в газете «Гудок».

В той самой газете, где толпились изобретатели вечно-го движения, куда пришла с заметкой о Бендере в руке безутешная мадам Грицацуева, где в столовой можно было съесть кремовое пирожное, похожее на клумбочку, и куда бездарные поэты таскали саги о приключениях вездесущего Гаврилы, который служил то хлебопеком, то порубал бамбук. В «Гудке» веселый одессит прижился и налег на фельетоны. Своего же будущего героя, турецкоподданного, Ильф встретил еще в Одессе. Звали героя Митя Ширмахер, и болтался он в том же клубе поэтов, где состояли все наши добрые знакомые, от Катаева до Багрицкого. Клуб они называли «Коллектив поэтов». Понятие было в моде. Номо был animal collectivus.

В любви Ильфу тоже везло. Он влюбился в ангела с золотыми косами и классическим профилем, в ангела-искусствоведа. Они встретились в 1922 году и уже не расставались до конца. Ангела звали Марусей Тарасенко. Она родила сатирику дочерей — Анну и Александру. Но для полного счастья и успеха, для литературного бессмертия Ильфу чего-то не хватало. И это «что-то» звалось Евгений Петров.

Валька его обокрал

О детстве Евгения Петрова мы знаем почти всё благодаря романам его старшего брата, Валентина Катаева. Евгений Петров родился в семье Катаева, учителя истории, в 1903 году. Он был на шесть лет моложе Ильфа. Евгений — это и есть Павлик из «Паруса одинокого», «Хуторка в степи» и «Электрической машины».

Благонравный Павлик с круглыми карими глазами, копивший деньги на велосипед в жестянке из-под какао «Эйнем». Это он вечно ябедничал отцу и тете на старшего брата.

Это Женя-Павлик надкусил как-то в Сочельник все пряники на елке; это он выиграл в лото у паровой прислуги по дороге в Италию несколько пиастров и объелся рахат-лукумом. И это его обокрал однажды старший брат Петька, то есть Валька, когда проигрался в «ушки». Братец просто-напросто выпотрошил его копилку, где было 42 копейки медью и серебром. Валентин Катаев увидит своего Павлика-Женьку в гробу и опишет этот ужас в повести «Ветер».

Евгений Петров (Катаев) в 1920 году закончил чудом не закрытую классическую гимназию и стал корреспондентом Украинского телеграфного агентства. Интересно, что Ильф тоже телеграфа не миновал, только подвизался он в Российском телеграфном агентстве, знаменитом РОСТе. Там он делал подписи к карикатурам, туда брали его фотоснимки. А Женя обрабатывал украинскую телеграфную ниву, а потом три года прослужил в уголовном розыске. Работа была опасная, интересная и очень хорошо оплачиваемая. Женя был тихий, но упорный и не трусливый инспектор. А жуликов в Одессе было навалом. Это мы знаем от другого одессита, Льва Славина, автора «Интервенции». «Губернский розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнена ворами, и что настал критический момент, и заедает вредный элемент». В 1923-м Женя тоже приезжает в Москву, и в нем тоже прорезается талант «шакала ротационных машин». Он начинает в журнале «Красный перец», а в 1926 году переходит в газету «Гудок». Шакал и гиена обретают друг друга, примериваются, и в 1927-м начинается их соавторство и работа над бессмертными «Двенадцатью стульями».

Цветики-советики

Те, кто разобрал на цитаты, как конструктор «Лего», «Двенадцать стульев» и «Золотого тельца» (а ведь эти две книжки стали Библией советского студента-интеллекта, а в 60—80-е — советского тинейджера из хорошей семьи),

никогда не отдавали себе отчета в причинах своего трепетного отношения к этой классике. В 1928 году выходят «Стулья», в 1931-м — «Теленок». В том же, кстати, ключе сделаны издевательские скетчи «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска». Тот же 1928 год. Те же советские трудящиеся. Такие же, как в диалогии. Есть об кого зубы поточить. Как уже заметил Остап Бендер, ему попадались исключительно глупые души. А Ильфу и Петрову — исключительно глупые трудящиеся. Что в Черноморске, что в Колоколамске, что в Москве, что в Старгороде. А может, умных и не было?

Ильф и Петров, коварные журналюги, протащили в массовую печать самиздат и сделали из пафосной, лживой, ходульной пятилетки (плюс из «великой» индустриализации), из всех этих строек — Турксибов, Днепрогэсов — посмешище. На века вперед. И так ловко втерли очки ГПУ, что не сели в тюрьму и не встали к стенке. Хотя стерли советскую действительность в порошок. Зубной. Схема такая. Есть песня, дурацкая агитка: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это». Приходят остроумные дети 60-х, пионеры из Мальчишей-Плохишей, которым эта казенщина давно надоела, и пишут пародию: «Смело мы в бой пойдем за суп с картошкой и повара убьем столовой ложкой». Дураков нет искать военную тайну или воевать с буржуинами. Ритм сохранен, размер сохранен, есть и бой, и смелость. А по сути — пародия. Вот такой бой за суп с картошкой и такой «наезд» на повара предлагают нам Ильф и Петров.

Аркадий Беленков, отсидент сталинских времен, литературовед и эмигрант, обозвал Ильфа с Петровым прихлебателями и соратниками советской власти за то, что они осмеяли русскую интеллигенцию в лице Васи-суалия Лоханкина. По-моему, Беленков неправ. «Стулья» и «Телок» — не «Архипелаг», о жизни лагерей там ничего, естественно, нет. А на воле достойных людей не было. Они и антисоветчиков-болтунов, из тех, что никогда ничего не делают, осмеяли. «Союз меча и орала» — это отражение деятельности тех, кто пошел работать на советскую власть (а пошло большинство), или сдался большевикам и сложил оружие, или уплыл в Константинополь

играть на тараканьих бегах. Словом, «заграница нам поможет», а убеждения у нас — «Всегда!». А «гиганты мысли» и «отцы русской демократии» почему-то девяносто лет подряд смотрят, как Киса с Бендером, в чужой карман или на чужой шашлык. Полная тайна вкладов. А пока надо поделить места губернаторов или вытянуть пост городского головы. О бессмертные Ильф и Петров! Вам это сегодняшнюю оппозицию, которая уже несколько лет подряд виртуально делит президентские места, не напоминает? И чем Старгород отличается от Кирова или Сочи для охотников за званиями в 20-е годы XX века или в 2009-м?

Старгород, Черноморск и Москва дают нам целую плеяду зануд, жуликов, looseg'ов и дураков. Это и есть замечательный советский народ в разрезе. Жалкие ударники, тупые и восторженные. Жалкие жулики. Жалкое дворянство, работающее в загсе и мечтающее о стуле с собственными бриллиантами. Жалкие батюшки, мечтающие о свечных заводиках. Жалкие подпольщики. Жалкие лавочники. Жалкие обыватели. Диссиденты вроде Кая Юлия Старохамского, прикидывающиеся психами. Смешные демарши несогласных из ассортимента клиники профессора Титанушкина: «И ты, Брут, продался ответственным работникам!» Глупость не может быть героической. Глупость бывает только смешной.

Легко, без особой даже злобы, с помощью Вергилия-Бендера, проводят нас два бесстрашных сатирика по Стране Советов. И никакого героизма. Оказывается, живут в СССР «цветики-советики», и чем больше они о себе мнят, тем они смешнее. Вот вам индустриализация и первая пятилетка: «Мой первый слог сидит в чалме, он на Востоке быть обязан, второй же слог известен мне, он с цифрой как будто связан». И самое блестящее: «Четвертый слог поможет Бог узнать, что это есть предлог». Конечно, бежать, бежать к чертовой бабушке, в Рио-де-Жанейро. Идея хорошая, но как бежать из СССР с золотым блюдом в штанах, в бобровой шубе, без паспорта и визы? И здесь уже смешным делается сам Остап Бендер, alter ego авторов. Они грустно посмеиваются сами над собой. Из СССР не убежишь. После, добравшись до Америки, Ильф и Петров тоже не уйдут: в СССР ведь останутся

заложниками их семьи. Всё схвачено и все схвачены. И все смешны, в том числе и оба сатирика. А глупая советская власть ничего не поняла, и дела авторов идут в гору. После «Двенадцати стульев» боссы от литературы вообразили, что соавторы «бичуют» «бывших» и мещан и воспевают советскую действительность (где питаются фальшивым зайцем или вегетарианскими сосисками). С 1932 году соавторам доверяют писать фельетоны для главной газеты страны, «Правды». У Ильфа появляется отдельная квартира в писательском доме в Лаврушинском переулке! И не эту ли квартиру залило, когда этажом выше Маргарита на пару с Булгаковым топили в ванне всем известный костюм?

И вот в 1935 году компаньоны Ильф и Петров совершают путешествие в США. Им стоило большого труда выбить эту поездку, вспоминает младшая дочка Ильфа, Александра. Кстати, она потом издавала дневники двух своих отцов: и Ильфа, и Петрова, потому что дети у них тоже были на двоих. Ильфовские дети. Женя Петров не обзавелся семьей.

Поездка в США двух сатириков — это еще одна диверсия. Правда, на последней странице похода упомянут товарищ Сталин, но как-то сухо, невпопад и без всякого пиетета (а книга вышла в 1937-м!). Правда, оба соавтора в конце книги «Одноэтажная Америка» (слава богу, не «Город Желтого Дьявола») всячески заверяют, что им не хочется жить в США, но как-то неубедительно. Правда, несколько раз в романе устами американцев (не своими!) они хвалят СССР за братство, взаимопомощь и уверенность в завтрашнем дне (не за сытость, комфорт и свободу), но становится ясно, что это по неведению. А читатели из «Одноэтажной Америки» могли узнать неслыханные вещи. 1. Американцы — трудяги, они стоят на своих ногах и не жалуются на других, но винят в неудачах только себя. 2. Американцы гостеприимны больше русских, они общительны и помогают друг другу и даже иностранцам. 3. В Америке потрясающие машины, и американцы (простые американцы!) могут их купить. Америка ездит на машинах. 4. Американцы живут в отличных домах. 5. У американцев полно сказочной электротехники. 6. В Америке свободы от пуза: можно

хвалить СССР, и о тебе разве что в газете плохо напишут (но не расстреляют!). 7. Америка на век опередила СССР в техническом отношении.

И опять-таки пронесло. Напечатали. А 13 апреля 1937 года Илья Ильф умер от туберкулеза. Евгения Гинзбург узнала об этом в тюрьме. И позавидовала, что он успел это сделать так вовремя. Он так и ушел с сардонической улыбкой, в элегантной кепке и в клетчатых штанах. И стало понятно, что на этом Мефистофеле с трубкой держалось соавторство. Один Женя Петров ничего не смог путного написать. Хлопотал об издании дневников друга, его «записных книжек». Да и время к шуткам не располагало. Над страной громыхал и скрежетал Большой террор. В 1940 году Женя Петров решил подстраховаться и вступил в компартию. Васисуалий Лоханкин и сыновья лейтенанта Шмидта одобрили бы его. Начинается война, и Женя становится военным корреспондентом. В 1942-м он летит из осажденного Севастополя. Он не долетел. Самолет сбили. В конце концов, ему тоже повезло. Быстрая легкая смерть. Не как у Бабеля и Мейерхольда. Сатирики ушли и стали недосыгаемы. А смех остался, смех над страной во всю глотку, на всю страну. Они посмеялись последними.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ

У Толкиена третья книга его великой трилогии «Властелин колец» называется «Возвращение короля». В мир, где только что царило Саураново зло, где только что закончилась Великая война между Мордором-Востоком и Гондором, столицей Запада, возвращается полузабытая королевская власть дунаданов, любимцев валаров (Богов и Стихий), некогда владевших Нуменором.

Арагорн, вернувшийся наследник древних королей Запада, силен и добр, и люди и эльфы надеются, что он сумеет вернуть в мир атмосферу чести, достоинства и Добра — вернуть из древних легендарных эпох.

Уже много месяцев подряд мы рассказываем здесь о поэтах и писателях, едва глотнувших дивного напитка Серебряного века и тут же захлебнувшихся на остаток жизни нечистотами века Железного (и советской власти). В наш Храм пришел полумрак, ибо писателям, чтобы выжить, надо было лгать, выкручиваться, приспособливаться, и это гасило чистый свет Солнца русской литературы. А иные авторы и вовсе не попали в Храм, обретя вечный покой на зеленых лужайках за его стенами, хотя и в ограде.

Тем удивительнее феномен Евгения Шварца, скорее эльфа, чем человека, но, увы, лишенного бессмертия. Он вернулся в неласковый мир советской эпохи как король, наследник древнего прекрасного Царства, населенного феями, рыцарями, принцессами, говорящими котами и умными свинопасами, где Добро рискует жизнью, иногда идет на смерть, но, теряя оптимизм и невинность, в конце концов побеждает. Как и положено в сказках. Кто в замке король? Волшебник, добрый, усталый и гневный волшебник. Митрандир. Гэндальф Белый. Белый Евгений Львович Шварц, который, в отличие от валара Гэндальфа, не мог вернуться в Валинор. Но он вернулся, как король, жил, как король, писал, как король, победил свое жалкое Время и умер, как король. Он шел сквозь

Эпоху без страха и сомнения, он дрался с ней — один «за всех — из всех — противу всех» (по рекомендации Марины Цветаевой), и Время сдалось, и не тронуло его, и легло покорным щенком у его ног. Ну, начнем, как и полагается, с заклинания, любимого заклинания Евгения Шварца: «Снип, снап, снурре, пуре, базелюрре!»

Король против Снежной королевы

Принято считать, что Шварц написал «Снежную королеву» в 1939 году. Но он столкнулся с ней гораздо раньше, в 1918-м, и ушел от нее непобежденным. А началось всё в Казани, в октябре 1896 года. Серебряному веку оставалось еще доживать 21 год. Женя успел родиться в семье медиков, людей культурных, прогрессивных взглядов, республиканцев, но без партийной принадлежности и радикальной одержимости. Отец Жени, Лев Борисович, учился на медицинском факультете Казанского университета, мать, Мария Федоровна Шелкова, окончила акушерские курсы. Отец выучился на хирурга. Врач, акушерка — вполне народническая семья. Но они предпочли служить народу не на ниве грошовой социалистической пропаганды.

После гимназии родители настояли на том, чтобы их сын, бредящий театром, типичный гуманитарий (уже в пять лет он твердо заявил матери, что будет «романистом»), поехал учиться на юридический факультет Московского университета. Женя был воспитанным мальчиком и поехал. Прочувшись два года, он завалил римское право. Послал родителям телеграмму: «Римское право погибает, но не сдаётся» — и послал к черту юриспруденцию. Дальше в его биографии есть загадочный пробел в целых пять лет. Что подельывал Шварц с 1914 по 1919 год? В остросоветский период чисток, анкет и политудочек (и тем более в мрачные, свинцовые сталинские времена) об этом периоде знали очень немногие — родные, самые близкие друзья. А они не трепали языком. Это были смертельно-расстрельные годы, и с такой биографией не было шансов уцелеть. А губить доброго и веселого сказочника, такого щедрого, такого воспитанного,

не хотелось никому из его окружения. Конечно, если бы он полез к вождям, как Бабель, или в политику, как Мейерхольд, до этих пяти лет быстро докопались бы. Но сказка, сцена, детская литература — это было надежное убежище, здесь пролетарская бдительность давала слабину, и чекистский маниякал делал сбавку. А потом, к 60-м годам поближе, давать такие сведения о классике детской литературы тоже было нельзя. Здесь бы уже несдобровать цензорам и надсмотрщикам за литературой. Союзу писателей, например. «Куда смотрели, почему не доложили?!» — спросили бы у них. Хотя то, что было надежно скрыто в 20-е, 30-е, 40-е, в начале 50-х, не могло выплыть наружу и потом. Да и многие друзья поумирали, иные — не своей смертью.

Валентин Катаев сам придумал себе «красную» биографию, скрыв «белую», пустив последнюю по рассказам и повестям. Евгений Шварц лгать решительно не научился. Но его о таких неслыханных вещах и не спрашивали, а от партии и ответственной работы он держался подальше. Но в позу на площади он вставать не умел. Его вызов тиранам надо искать в его пьесах. Листовки и лозунги он писать не мог. Памфлеты — тоже. Сатирикам пафос противопоказан. А пять потерянных лет выглядят в биографии безобидного сказочника просто фантастически.

Его призвали в армию в 1917 году (до этого он играл в разных антрепризах, колесил по провинции, имел успех как актер, пробовал свои режиссерские находки и возился с «театральными» детьми, помогая им готовить роли). Но солдатствовать ему не пришлось, студенты до Октября только офицерствовали. Женю послали в юнкерское училище, он окончил его, стал прапорщиком. Но так было со многими: по инерции, по течению, по классовому признаку, куда несло представителей среднего класса (а интеллигенция в него входила целиком). Для резких шагов влево (как у Бухарина и Лавренева) нужен был сознательный выбор. Сознательный выбор сделал (21 года от роду) и Женя Шварц. Он идет в Белую армию, он участвует в Ледовом походе Корнилова. При взятии Екатеринодара он получил тяжелое ранение. Отсюда его вечный мучительный тремор рук, скачущий почерк. А ведь это принимали за болезнь. Этот сказочник, этот волшебник тогда впервые

схватился со Снежной королевой и остался жив. Чистые русские мальчишки из Белой гвардии, из Ледового похода были Каями, которым в глаза не попали осколки прошлого и вульгарного Зеркала, их зрение осталось чистым и незамутненным. Как писала Цветаева: «Старого мира — последний сон: Молодость — Доблесть — Вандея — Дон». Мальчишки Каи прошли этот путь вместо девочки Герды. Прошел этот путь и главный противник Снежной королевы (равнодушия и бездушной Власти) в СССР, офицер-корниловец Евгений Шварц, верный присяге и в 1917-м, и в 1937-м, и в блокаду в 1941-м (опять ведь поединок со Снежной королевой! В голодном и замерзающем городе). А потом начался театр. Весь мир лицедействует.

Кочующий лицедей

Демобилизованный после ранения вчистую, Шварц поступил в университет Ростова-на-Дону, чтобы отжаться любимой словесности, но учиться не пришлось. Театр забрал его в свои шелковые, бархатные, душистые объятия. Еще бы! Отец, Лев Шварц, вечно что-то играл в любительских спектаклях, по дому ходил в римской тоге. Оба сына, Женя и его брат Антон, вступили в маленькую театральную труппу в Ростове-на-Дону. Здесь Женю настигла первая любовь. Он влюбился по уши в хорошенькую, изящную, талантливую актрису. Ее звали Гаяна Халаджиева. Она вполне отвечала вкусам юного романтика («Шаганэ ты моя, Шаганэ»). Тайна, загадка Востока, жгучая брюнетка, актриса и в жизни, и на сцене. Мальчик не знал, что это не любовь, а влюбленность. Откуда ему это было знать? Он ухаживал за кокеткой, а она не верила ему. Он клялся, что выполнит любое ее желание. А Гаяна привыкла к лживым клятвам поклонников и спросила: «А в Дон вы прыгнете?» Заметьте: ночь, ноябрь, даже конец ноября. Вода — ледяная. И Шварц прыгает в Дон в чем есть: в шляпе, в теплом пальто и калошах. Гаяна завопила диким голосом, сбегались люди, Женю спасли. И она не устояла — стала его женой и родила ему очаровательную дочь. И эта

дочь была ему очень дорога, и потом от нее у Шварца, обожавшего детей, был внук.

Но веселые времена ростовской «театральной мастерской» закончились для Евгения, хотя критика сулила ему славу Качалова. Он сатирик и подрабатывает фельетонистом в веселой газете «Всесоюзная кочегарка». Там он встретит Николая Олейникова, друга и соавтора, тоже книгочех, но с математическим уклоном. Чтобы обеспечить Шварцу спокойную жизнь, он выдумывает ему шикарную биографию-розыгрыш. Мол, этот самый Шварц работал в продотряде. Это Шварц-то! Он не то что отобрать не мог, он всё раздавал, что имел, а когда у самого денег не было, так шел занять, потому что не хотел отказывать тем, кто у него просил, и вечно сидел без копейки, потому что было у него сто друзей, и с ними он не мог скопить даже сто рублей. Но люди поверили в комиссара Шварца, и наш белогвардеец и «контрик» сошел за своего.

И вот труппа из Ростова в Петербурге, и в январе 1922 года они дают «Гондлу» расстрелянного Гумилева. (Женя Шварц потом отомстит за казненного поэта, ведь Ланцелот из «Дракона» во многом списан с него.) В «Гондле» Антон сыграл Гондлу, а Женя — Лагге. Хотя надо было наоборот. Король Женя Шварц, в отличие от окуджавского короля Леньки Королева, не очень-то умел драться, но дух его был высок, и он мог бы повторить слова Гондлы: «Там, в стране, только духам известной, заждались короля своего, мой венец не земной, а небесный, Лаик, терны — алмазы его».

Труппа распадается, и Шварц идет работать к тем, кто ценит волшебников — к детским писателям (Корнею Чуковскому и Самуилу Маршаку), которые обращаются к детям (кто еще способен понять, кто не забит, не запуган, кто сохранил доброту и чистое сердце?). Это хорошие люди, и они продержались до конца темных времен, не труся, не солгав, не донося. Евгений Львович работает литсекретарем у Чуковского (а это просто гнездо свободомыслия, одна Лидия Корнеевна, дочь, чего стоит). Он находит себя в детских прелестных журналах с крупинкой хармсовских парадоксов, антиподах «Пионерской зорьки» и «Мурзилки» — в «Чиже» и в «Еже». Подвизается

и в провинциальном журнале «Забой». Его компания — это Михаил Зошенко, Даниил Хармс, обэриуты, которые произдевались-таки над советской действительностью в силу полного демонстративного отсутствия идеологии. «Несчастливая кошка порезала лапу», и вылечить ее можно было только с помощью воздушных шариков. Походив к серьезным и истовым «Серапионовым братьям», Шварц бросил их ради неформалов обэриутов. Мало кто из них уцелел, и судьба безобидного Хармса оказалась страшной. А вот Шварц вышел невредимым из огня, как и положено волшебнику.

Но прекрасный, интеллигентный Евгений Львович попал в скверную историю с друзьями. Каверин познакомил Шварца со своим братом, Александром, и его женой, Екатериной Ивановной. И это была судьба. Женя Шварц и Екатерина Ивановна были созданы друг для друга. Пришлось Кате бросить мужа, а несчастный Шварц со слезами и стыдом оставил Гаяну и любимую дочь. И они дожили вместе до старости, были рядом тридцать лет, до конца.

Убить Дракона

В 1925 году Маршак, которого обрел на свое счастье Евгений Львович, получил от него рукопись в стихах — «Рассказ старой балалайки». И его стихи напечатали сначала в журнале «Воробей», а потом и отдельной книгой. Мир тесен! Шварц поработал даже в журнале «Ленинград», том самом, который будут громить и закрывать после доклада тов. Жданова вместе со «Звездой» за то, что они посмели напечатать Зошенко и Ахматову. А потом он знакомится с Николаем Павловичем Акимовым — это сложившийся нонконформист, книжник, юморист. И кончается время тайн, главный клад и шарм Шварца выходит наружу, как алмаз из кимберлитовой трубки. Это сказка, и это пьеса. Однажды Акимов, главреж Ленинградского театра комедии, даже запер Шварца в своем кабинете на пару дней, чтобы он не отвлекался и дописал феерию. Спасибо Акимову, он помог нам получить это полезное ископаемое — сказочника и драматурга Шварца.

Сначала шли пьесы-эскизы, оставшиеся во времени, как на дне, нужные только литературоведам, ибо нет в них «нетленки»: первая пьеса «Ундервуд» в 1929 году, потом «Остров 5-К» в 1932-м, потом «Клад» в 1933-м. И вот первая пьеса, где этот мальчик Кай выложил из ледяных обломков холодного времени слово «вечность» и стал сам себе господином и хозяином всего света. Это «Голый король», вроде бы обработка Андерсена. Три новеллы: «Принцесса на горошине», «Принцесса и свинопас» и «Голый король». Но это вам не благостная Христиания. Новый текст, гневный и значительный, антифашистский и антисоветский, рождается под пером Шварца. 1934 год. «Кировское дело», высылают и сажают каждого четвертого интеллигента Петербурга. «Голый король» прошел как чистый антифашизм, но ведь эта пьеса о том, что власть — голая, что обличить ее могут только невинность и чистота (дитя, поэт, идеалист), что власть падёт, когда народ поймет, что она голая. Всевластье, его кольцо — Кольцо Самовластья — вот против чего восстал открыто Шварц. Не поняли, слава богу. А будущие бестселлеры идут косяком: «Красная Шапочка» (1936), «Снежная королева» (1939), и везде обличаются власть и предательство.

О, он не прятался. Он раз двести повторял на людях, что пишет всё, кроме доносов — в самые страшные времена. Он подкармливал семью арестованного друга, Заболоцкого. Он не подписывал ничего против «врагов народа». Он никогда не говорил о Сталине. Растущее косо дерево он публично называл холопом. Тихий, рафинированный, изысканный интеллигент, настоящий петербуржец. И вот появляется «Тень» (1940), пьеса настолько откровенная, что ее снимают сразу после премьеры в акимовском Театре комедии. Страшная, убийственная политическая сатира: Тень, порождение ночи, у власти, а люди ей в ужасе подчиняются и льстят. И надо только сказать: «Тень, знай свое место». Ученый побеждает Тень, но после того, как ему отрубают голову. Пьесу в панике сняли, но Шварца не тронули. Никто не поверил, что это он нарочно. Думали, случайно так вышло, опять списали на антифашизм.

Начинается война, и Шварц записывается в ополчение, отказывается от эвакуации, а когда в войска его не

берут (всё этот тремор рук и глубоко штатский вид), он с Екатериной Ивановной каждую ночь тушит на крыше за-жигалки. Они ходят всегда вдвоем на эти дежурства — чтобы если уж бомба, то вместе умереть. И бомбы их обошли.

И чуть ли не силой его, погибающего от голода, вместе с женой эвакуируют на самолете Вера Кетлинская и верный Акимов. Киров, потом Сталинабад. Вроде бы советский писатель, блокадник, герой осады в 1943 году пишет свой шедевр «Дракон». Где только фамилии Сталина нет, а всё остальное есть: слуги Дракона, люди, которые будут сажать и ссылать и после смерти Дракона (Сталина), всё советское время, до самого его конца. Люди, о которых сам Дракон скажет: «Меня утешает, что я оставляю тебе прожженные души, дырявые души, мертвые души...» Верные фюреру немцы, верные Сталину «совки». Имеющие Дракона внутри — как нравственный закон. Вместо Закона. История Власти, Всевластья и того, что они делают с человеком. Воскресший Ланцелот карает преемников Дракона, его приговор суров. Шварц-Ланцелот не любил драконов не потому, что ему нравилась девушка Эльза. А потому, что тираническая власть — всегда Дракон, и разум и совесть с этим не могут смириться.

Акимов поставил «Дракона» в 1944 году. Его сняли сразу после первого спектакля. А Шварца не тронули. Он был заговорен. Его пьесы не шли, газеты его ругали, сборники не печатались. А он дожил до 1958 года, до 15 января, и успел увидеть свои пьесы идущими и переведенными. Он не дождался только спектакля Акимова по «Дракону», его поставят в 1962 году; «Тени», фильма с Олегом Далем (1971), и «Каина XVIII», к которому он написал сценарий (1963). Евгений Шварц умер от инфаркта, последние годы он страдал от сердечной недостаточности. Но это всё же легкая смерть. Его мужество помогло ему выжить и пережить двух Драконов его эпохи. И победить по рецепту своего Ученого из «Тени»: «Мне страшно было умирать, но я пошел на смерть. Ведь, чтобы победить, надо идти и на смерть. И вот — я победил. Прощайте, господа!»

ПО ТУ СТОРОНУ ДОНА

Для любого казака свет клином сошелся на Дону, и нет ему жизни без Дона. Дон для России — не просто река, а линия баррикад Великой Смуты. Все битвы ее состоялись, были выиграны или проиграны на Дону. До сих пор мы размещали в Храме или около него тех, кто сражался за Белое Дело, кто был с корниловской или калединской стороны баррикад. Дон был полем брани, и спор шел о том, кому доведется испить из него «шеломом». Зеленая могучая река была последним арбитром давнего русского спора, последним рубежом обороны Руси. Марина Цветаева не была казачкой, но чутьем великого поэта она уловила высший смысл этой великой реки. Когда-то она лежала между русичами и половцами. В 1918 году она пролегла между казаками и мужиками, между белыми и красными, между жизнью и смертью. Всё, как у Марины: «Кто уцелел — умрет, кто мертв — воспрянет. И вот потомки, вспомнив старину: — Где были вы? — Вопрос как громом грянет, ответ как громом грянет: — На Дону! — Что делали? — Да принимали муки, потом устали и легли на сон. И в словаре задумчивые внуки за словом: долг напишут слово: Дон».

А что было там, по ту сторону Дона? Нам предстоит это узнать вместе с Шолоховым — благодаря его дару, его Григорию Мелехову, нашему Вергилию в смрадном царстве Гражданской войны. Поэтому и покоится Михаил Шолохов в пределах ограды Храма. За «Тихий Дон» — несокрушимый Мавзолей погибшего, поработленного, отрекшегося от казацких вольностей казачества. На могильной плите писателя — пучок сухих пахучих степных трав, на надгробье вырезана белая донская чайка. И еще на могильной плите лежит переломленная казацкая шашка. Ее переломили в знак гражданского позора над головой писателя после «Поднятой целины». Так решил загробный казацкий сход. Сход тех, кто пал за Дон. По эту сторону Дона.

Казак или мужик?

Шолохова принято считать казаком, он и жил-то в станице Вёшенской — даже тогда, когда все классики давно переселились в Москву. Но с казацким происхождением у Мишеньки было не всё ладно; может быть, этим и объясняется печальный конец его казацкой карьеры. Отец писателя, доживший до 1925 года, никак на казака не тянул. Он был выходцем из Рязанской губернии, сеял хлеб на арендованной казачьей земле, да еще был приказчиком и управлял паровой мельницей. Наполовину мужик, наполовину мастеровой. Мать (умерла в 1942-м, погибла под бомбами) и вовсе дочь крепостного крестьянина, пришедшего на Дон с Черниговщины.

Родился Миша честь-честью в хуторе Кружилине станицы Вёшенской области войска Донского. Но это ничего не меняет. Родился Миша в 1905 году и поначалу считался сыном первого мужа матери, казачьего атамана Кузнецова. Имел с рождения казацкие привилегии и пай земли. Но мать оставила мужа и сошлась с А.М.Шолоховым, мещанином (он еще и «шибаем» потрудился — скупал скот). А мать поработала горничной, чего с дочерьми казаков-хозяев сроду не бывало. Но в 1912 году Кузнецов умер, родители Шолохова обвенчались, и отец наконец усыновил своего незаконнорожденного сына.

Лучше бы он этого не делал. «Мужиков» казаки презирали за нищету, несвободу, приниженность, отсутствие военной выправки. «Мещан» терпели, но и только. Маленький Миша сразу теряет социальный статус. А что это такое, юные казачата ему объяснили на улице тумачами. Так что Шолохов не только любил Дон и казачий уклад. Он ненавидел, он завидовал настоящим казакам, которые смотрели на него сверху вниз. Но семья не бедствовала, у Миши был домашний учитель. А в 1914-м он захворал: проблемы с глазами. У родителей были средства лечить сына в Москве. Он даже успел поучиться там, в подготовительном классе гимназии. Потом его забрали доучиваться поближе к родным местам, в город Богучар Воронежской губернии. Потом гимназия открылась и в Вёшенской. Но Мише удалось окончить только четыре класса, пятый — коридор... Его застала за партой

Смута. Застала в 13 лет. Больше он никогда и ничему не учился, и это очень заметно по его произведениям. Александр Грин учился не намного больше, но он был книжник и фантазер, читал запоем. А Шолохов знал свою степь, свой Дон, своих казаков. Всё остальное его не интересовало. Вернее, было ему недоступно. Горький, такой же недоучка, сам преодолел свою культурную недостаточность, хотя лучше писать от этого не стал. Шолохов же писать умел, но дефицит культуры и знаний остался при нем до конца. Он не стал интеллигентом, в отличие от Алексея Максимовича. Правда, вначале он еще понимал, что надо учиться (зато потом забыл и начал учить других). В 15 лет, в 1920 году, Шолохов уже работает учителем по ликбезу.

Здесь его знаний хватало, а на хуторах было полно неграмотных. Служил он клерком в ревкоме, был счетоводом, канцеляристом и даже пописывал в местные газетки. Среди хуторян парень с четырьмя классами гимназии был большой редкостью. В царстве слепых и одноглазый — король. У милейших казаков был только один недостаток: все они были обскурантами, реакционерами, и ученье им не казалось необходимостью. Кони — другое дело. Рубка и хозяйство тоже были в цене.

Но дальше было хуже. Юный Шолохов два года работал по подразверстке. То есть мстил. Грабил казаков, отбирал хлеб, живность, одежду. Вместе с комиссарами. Для казака — немислимое дело. Попал в плен к Махно и чудом остался жив. (Продотрядчиков и комиссаров резали дочиста и белые казаки, и махновцы, и нельзя сказать, что они были так уж неправы.) И представьте себе, даже в тогдашние зверские, жестокие времена он перегнул палку.

Приключения станичника в столице

Его судил ревтрибунал за «превышение власти» (то есть за палачество, которое могло вызвать восстание против советской власти). Правда, после XX съезда биографы попытались сделать жизнеописание классика более приличным: мол, судили его за «попустительство», мало налога брал. Спросить, однако, не у кого. Последние

двадцать лет жизни писателя (уже в безопасности, в холе, при чинах и орденах) не дают оснований предполагать «попустительство». Катаев тоже сделал себе фальшивую биографию «красного командира», но он после смерти Сталина хоть перестал агитировать за советскую власть и лезть в идеологию.

В 1922 году приговоренный к расстрелу, но помилованный за «несовершеннолетие» Шолохов поехал в Москву поступать на рабфак. Но его не приняли: не было стажа, комсомольской путевки, да и комсомольского билета не было. А царил НЭП, даром уже не кормили (только комсомольцев и коммунистов). Пришлось зарабатывать на жизнь черным трудом: работал грузчиком и каменщиком. Попытался прибиться к «богеме» — литературной группе «Молодая гвардия» — и поучиться у Асеева, Шкловского, Брика. Дело не пошло: Михаил был «свеж, как редис, и прост, как грабли». Он просто «не догонял» столичных авангардистов ни по тону, ни по стилю, ни по культуре. Он печатает идейные, но плохие фельетоны в газете «Юношеская правда». 14 декабря 1924-го в газете «Московский ленинец» появляется рассказ «Родинка» о брато- и отцеубийственной Гражданской войне. Правдиво, но слабо. Куда больше Шолохову везет в личной жизни: в том же 1924-м он женится на настоящей казачке, дочери бывшего атамана Марии Петровне Громославской. С ней он мирно проживет всю жизнь и даже станет возить ее на охоту (жена научится неплохо стрелять). Осядут они в Вёшенской уже навсегда. Дети пойдут как грибы, почтительные и послушные, все по законам войска Донского: дочь Светлана, оставившая ценные мемуары о жизни отца (1926), сын Александр (1930), сын Михаил (1932) и, наконец, дочь Мария (1938). А тут пошли и «Донские рассказы», черновики к «Тихому Дону», с 1924 года пошли. Уже лучше, но не Бог весть что.

Четвертые сутки пылает станица

И тут в 1925 году начинаются чудеса. Молодой человек садится писать. И в 1927-м являет миру первый том «Тихого Дона». Уже всё кончено — «нет ни страны, ни тех, кто жили в ней»: ни войска Донского, ни казаков,

гордых и зажиточных, опоры режима, красоты армии и гвардии; ничего нет, кроме сазанов в Доне и сусликов в степи. И тут, как мираж, является и покоряет мир и Россию этот самый «Тихий Дон», это прошедшее, выкопанное Шолоховым из могилы. Ослепительный дар! Сколько потом будет их, «антистратфордианцев», которые станут полоскать Шолохова, как Шекспира: не он писал, где уж ему, плагиат-с! Успокоились они частично только в наши дни: компьютерный анализ, куча экспертиз, включая графологическую. А я всегда и без экспертиз знала, что «Тихий Дон» — Шолохова. Блестки таланта посверкивают даже в отвратной «Поднятой целине», даже в «Донских рассказах». И дед Щукарь подозрительно срисован с деда Гришаки, деда Коршуновых из «Дона»: прямо-таки клон. И нешуточный талант чувствуется в «Судьбе человека»: вещь простая, но сильная. У «антистратфордианцев» — вечный синдром Сальери: зачем великий дар достался какому-то Моцарту, гуляке праздному, а не ему, Сальери, добродетельному труженику? Но талант и добродетель — разные вещи. Не заслуживший таланта Шолохов был им наделен волей Провидения, в отличие от своих праведных критиков.

Первые две книги «Тихого Дона» Шолохов сдает в «Октябрь», знакомый нам журнал, который тогда редактировал уроженец Верхнего Дона Серафимович. Роман выходит в 1928 году, и Серафимович пишет на него в «Правде» хвалебную рецензию. Что тут началось в советском курятнике, как раскудахтались все курочки! А Шолохов пишет третий том: о рассказывании, о восстании против Советов доведенных до отчаяния казаков. Конец света! Публикацию остановили, шеф ОГПУ Ягода готовит Шолохову камеру. «Молодогвардейцы» Александр Безыменский и Михаил Светлов помочь не могли: они были мелковаты для официоза, не котировались. А вот буревестник Горький мог заступиться, да струсил. Фадеев и вовсе спрятался в нору. Спас Шолохова самый главный его и Дона враг — Сталин. Приятно было играть с такой крупной мышью. К тому же талант! Можно использовать. Значит, надо беречь и приручать.

И вот в 1932-м выходит третий том. Выходит правда, и выходит ложь: первый том «Поднятой целины» (тоже

в 1932-м). Тошнотворный одобрямс, клевета на казачество (казаки отравляют скот; всё по лекалу следователей ОГПУ; один казак даже голодом и жаждой уморил родную мать, чтобы не донесла о его контрреволюционной деятельности: прямо-таки эпизод с будущих процессов троцкистских и бухаринских «блоков»).

А негодяи и фанатики Давыдов и Нагульнов — народные герои, навязшие в зубах у трех-четырех поколений школяров. Вещь натужная, со скрипом; видно, что писалась из-под палки.

В 1940 году выйдет четвертый том «Дона». До этого автор успеет записаться в ВКП(б). В 1932-м. Хладнокровная конъюнктура. Человеком он оставался только в своем великом романе. Человеком по имени Григорий Мелехов. Ведь это авторское сверх-Я. Сам по себе простой казак без всякого образования не мог так метаться, так страдать. Это сам писатель прощается с волей и с Доном. А вне романа всё — камуфляж, маскировка.

Четвертый том, значит, выйдет в 1940-м. Григорий Мелехов так и не станет красным, несмотря на подленькие уговоры Алексея Толстого: нехорошо, стыдно, надо Гришку из контриков перевести в «честные советские граждане» (то есть в такие же прохвосты, как сам «красный граф»). Но Шолохов, предавший себя, свою честь и достоинство, мывший Советам ноги и пивший эту воду, свой роман и своего Гришку не предал. Роман остался правдив, а Гришка остался чист. Мы узнали и Дон, и степь, и казаков. Особенно степь: «Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом!» И такая она бывает: «Забились гордые звездные шляхи, не попранные ни копытом, ни ногой; пшеничная россыпь звезд гибла на сухом, черноземно-черном небе, не всходя и не радуя ростками; ...а по степи — сушь, сгибающая трава, и по ней белый немолчный перепелиный бой да металлический звон кузнечиков...» А вот и Дон: «...ледяная сизо-зелень Дона». И прямо-таки ван-гоговское изображение горя Григория, потерявшего свою Аксинью: «...он увидел над собой

черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца».

Григорий, кстати, ищет весь роман брод в огне: он уходит и от белых, и от красных после очередной подлости или жестокости. Он не выносит насилия (даже над «иноземной» Франей), он ненавидит палачество (убийство безоружных). Поэтому Гришкин антипод в романе — работник карательного отряда Митька Коршунов, брат жены Григория, Натальи, застреливший баб и детишек из семьи Мишки Кошевого, тоже хорошего гада, застрелившего беззащитного деда Гришаку, дедушку Митьки и Натальи. А жена брата Гришки, Дарья, казнит кума Ивана Алексеевича — за то, что он, мерзавец, казнил этого самого брата Петра. Родственнички, чтоб их... Кажется, с помощью Гришки несчастный Шолохов, пасынок Дона, пытался прожить другую, настоящую, честную жизнь. А вне романа жизнь не удалась. Дона не было как понятия. Дона, откуда «выдачи нет». Повальные аресты в 1937-м, раскулачивание, расказачивание... Река текла, а Дона уже не стало.

А в комнатах наших сидят комиссары

Со Сталиным Шолохов играл в кошки-мышки до смерти тирана, балансируя на лезвии бритвы. И выиграл, так ни разу его не воспев, даже имени не упомянув в «литературе». При этом ухитрился обыграть вождя в пух и прах (так казалось до XX съезда). Отбил некоторых арестованных земляков. Не сел сам. В Голодомор выбил «передачку» из транспорта с пшеницей. Был им всем, бывшим казакам, кум, заступник и благодетель. При этом и себя не обидел. Получил всё по «наркомовской» норме: большую квартиру в Москве, шикарный дом в Вёшенской, личный самолет, стадо скота. В 1941 году дали Сталинскую премию за «Тихий Дон» (пожертвовал в Фонд обороны). За паскудную «Поднятую целину» оторвал Ленинскую премию в 1960-м (построил школу в Вёшенской). А в 1965 году, с согласия Хрущева, получил и Нобелевскую премию (не как несчастный Пастернак, заплативший за Нобелевку жизнью). Эти деньги достались

ему, и на них Шолохов свозил всю семью за кордон, и они объездили всю Европу.

Но для Европы Шолохов был закрыт, как «черный ящик». Он получил еще две звезды «Героя соцтруда», кучу орденов, личный астероид № 2448, членство в ЦК с 1961 года. Но, кроме «Судьбы человека» в 1956-м, больше ничего путного не написал. В годы войны, как положено, был военным корреспондентом, но высот Симонова и даже Эренбурга не достиг.

После смерти Сталина диктатор стал выигрывать в их вечной игре — ход за ходом, фигуру за фигурой. Маска Шолохова приросла к его лицу. Он допритворялся. Зачем было в 1959 году публиковать второй том «Поднятой целины»? Террор кончился. А он опубликовал. Он травил Пастернака, в 1965-м потребовал казни Даниэля и Синявского, за что был проклят Лидией Чуковской и осужден на бесплодие (а он и так после «Судьбы человека» не мог писать, Бог опередил писательницу). Он выступал против Солженицына и заклинал Брежнева бороться с сионизмом уже в 1978 году на радость КГБ. Умер он от рака в 1984-м, но душа его умерла давно. Вместе с Доном.

ИСКУССТВО БЫТЬ ЗАЛОЖНИКОМ

Что сказал о поэтах самый эталонный поэт из них всех — небожитель, архангел, творец, избранник, гений, райская птица? Борис Пастернак, умевший находить наслаждение даже в мученичестве, даже в смерти. Все гедонисты, эпикурейцы и киники умерли бы от зависти, если бы узрели (и прочитали) эти слова Бориса Леонидовича.

Это позднее стихотворение, «Ночь». 1956 год. Прожито почти всё, до старости. Пастернаку остается четыре года. Он достиг предела мудрости, но состариться не успел.

Мудрость его, пастернаковской, осени, спелой, прекрасной, сочной, теплой, но с ночным холодком вечности: «Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с Фавора, и осень, ясная как знаменье, к себе приковывает взоры». Или: «Лес разбрасывает, как насмешник, этот шум на обрывистый склон, где сгоревший на солнце орешник словно жаром костра опален». Вот тогда он и написал в «Ночи»: «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник у времени в плену».

Принято считать, что заложники только страдают. А уж заложники советской власти — и подавно. Пастернаку, родившемуся в 1890 году и умершему в 1960-м, поневоле пришлось стать советским поэтом, хотя к его дивным, божественным стихам советскость абсолютно не пристала. Никакой Иисус Христос не ведет у него на экскурсию по чужим квартирам и этажам вооруженных «маузерами» и ножичками двенадцать погромщиков. Но жить с волками пришлось. Ему почти удалось не выть по-волчьи, только в 30-е годы чуточку подвыл, а дальше Борис Леонидович просто и молча делал вид, что он из их стаи. Соловей должен был примазаться к волкам (хотя Пастернак, бывало, с ними скандалил). До поры до времени это устраивало волков. (Они долго держали напоказ «попутчиков».) А когда перестало устраивать, они соловья загрызли. В самую оттепель загрызли, в 1959 году,

за добытую для СССР Нобелевскую премию, за что «они» должны были Пастернаку ноги целовать. От бабушки и от дедушки он ушел, и от волка, и от лисы; от Сталина, от Берии, от РАППа, ЛЕФа, Пролеткульта. А уйти не удалось от Колобка. От Хрущева, от Сулова, от Ставского, от Павленко. От жалких эпигонов диктатора. Черные Властелины Сталин и Николай I могли заигрывать с Пушкиным, Булгаковым, Пастернаком. Торжествующая же серость просто наступала ногой и на Пастернака, и на Бродского. Две наших Нобелевки уплыли на сторону: от одной пришлось отказаться, а другую вручили уже американскому поэту, которого СССР сослал и выгнал.

Но Бродского хоть не прикончили. А Пастернак не должен был умереть так рано. Его добьют 14 марта 1959 года: допросами в Генпрокуратуре, угрозой высылки, облавной травлей (а ведь загонщикам смерть в конце 50-х уже не грозила, могли бы и помолчать). Рак легкого наступает зачастую от нервного стресса...

Так как же ему, «свидетелю тьмы и позора» 20-х, 30-х, 40-х, удалось сохранять вкус к жизни и радость бытия, гармонию и хорошее настроение? Из «большой шестерки» великих русских поэтов радоваться умел только он, радоваться после 1917 года, когда другие коллеги по вершине Парнаса лишь страдали и мучились. Ахматова, Цветаева, Блок, Мандельштам — вообще открытая рана, творчество как боль.

А как же жить с волками и остаться поэтом? Гумилев, например, заставил себя убить, а Пастернак хотел и умел жить. Его секрет страшно прост, но до сих пор не разгадан. Мандельштам, столько писавший (и познавший эту проблему до конца) об Элладе и Риме, был постоянно несчастен и горек, как подобает русскому интеллигенту, а столько писавший о Христе и христианстве Пастернак был поздним воплощением дохристианской Эллады. Эллины умирали с улыбкой, жили с улыбкой, их солнечный аполлоновский мир не знал ни рефлексии, ни нытья. Пастернак был прекрасен и однозначен, как белый сверкающий Парфенон на вершине Акрополя. Это уловил и Блок. Сам он был в стихах достаточно печален, но для Пастернака, вернее для понимания его необъяснимой жизнерадостности, у него есть тако-о-о-е стихотворение.

Если к кому-то оно и относится, то именно к Борису Леонидовичу, называвшему жизнь своей сестрой, а смерть взявшему едва ли не в супруги: «...смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа».

Как это подходит к блоковскому «О, весна без конца и без краю — без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!.. Принимаю пустынные веши! И колодцы земных городов! Осветленный простор поднебесий и томления рабьих трудов!» Да, Пастернак подписался бы под блоковским финалом, в который не вышел автор, но вышел он сам: «И смотрю, и вражду измеряю, ненавидя, кляня и любя: за мученья, за гибель — я знаю — все равно: принимаю тебя!»

Гении бывают разные, есть и злые, и угрюмые, и мрачные. Пастернак был улыбчивым, радостным, веселым и светлым гением. К творчеству своему он относился религиозно, как к миссии, и это тоже было от Эллады: дар Аполлона, талант, требовал воплощения и прилежания, ведь надо же было выполнить волю богов. Божественный ретранслятор, вместилище Бога — это определение поэта, данное Платоном, — тоже Эллада.

Самое необыкновенное мироощущение и самое необыкновенное происхождение. Род Пастернаков шел от средневекового испанского теолога Исаака Абарбанеля, знаменитого на всю страну. Умер он в 1508 году. Ему наследовал сын, врач Иуда, и мастерство его было таково, что когда из Испании изгоняли евреев, его умоляли остаться. Но он в обиде на Реконкисту уехал в Италию и там прославился как химик, целитель и фармацевт Леон Эбрео (Леон-еврей), хотя он и принял крещение.

А отец поэта, Исаак Иосифович, был сыном набожного владельца гостиницы из Одессы. Как он стал Леонидом? В детстве у ребенка был круп, он задыхался от кашля. Отец бросил на пол фарфоровый горшок, мальчик испугался и кашлять перестал. Выжившего сына надо было переименовать, чтобы отвадить болезнь. Старинный еврейский обычай... Леонид Осипович был очень талантливым иллюстратором. Толстой увидел его работы и другого художника для своих произведений иметь уже не захотел. Лев Николаевич очень любил своего иллюстратора

и познакомил его с Рильке. Великие имена, великие гости склонялись над колыбелью маленького Бориса.

Мать ребенка была тоже уникальна. Розалия Исидоровна Кауфман, любимый в Одессе вундеркинд. Музыкантша, пианистка, лучшая в России исполнительница. Музы дежурили у колыбели, и уж конечно, два одессита должны были породить очень жизнерадостное дитя. Отец — академик живописи, мать — профессор музыки. В 1894 году Леониду Осиповичу предлагают профессию в Училище живописи, ваяния и зодчества (попечитель — великий князь Сергей Александрович, муж великой княгини Елизаветы, христианской подвижницы, сестры императрицы. Он соглашается, но предупреждает: креститься не пойдет — это условие принято не будет.

Родители Пастернака были люди Ветхого Завета, настаивавшие на своем еврействе; Борис же свое еврейство всегда отрицал, оно ему было неинтересно. Русская няня водила его в церковь, священник благословил мальчика и окропил его святой водой. Пастернак воспринял это как крещение. Потом он вырос и перестал ходить в храм (у него будет свой: Храм русской литературы). Он не практиковал, но верил. Он был вольнодумцем, но ревностным христианином: самые глубокие и проникновенные стихи о христианстве принадлежат ему, поколение 50-х (и уж конечно, последующих десятилетий) выросло на них и не мыслит себе без этих стихов ни звуков органа, ни колокольного звона, ни крестного хода.

Пастернак мечтал воспитать народ, он, как почти любой интеллигент начала XX века, перед ним преклонялся. Но понять его смогла только интеллигенция. Пастернак прозрачен, но не прост, как, впрочем, все российские поэты. Демократизм не сделал доступнее ни Блока, ни Цветаеву, ни Пастернака.

Семья поэта была доброй, нервной, многодетной (шестеро детей) и восторженной еврейской семьей. И немного мистической: когда дети болели, Розалия Исидоровна поклялась двенадцать лет не концертировать, если они выздоровеют, и слово сдержала. Как все интеллигентские дети, Боря читал и писал чуть ли не с пеленок, в том числе и стихи. Но он не любил «экзерсисы», он ценил потом только качественную свою работу.

А в 1910 году христианин Пастернак впервые столкнется со своим еврейством, его ткнут в него, как кутенка. Националистическая, фундаменталистская империя стригла всех под одну гребенку, и гениев в том числе. Мальчика не приняли в 5-ю московскую гимназию: надо было соблюдать процентную норму, на Пастернака не хватило квоты. Порешили на том, что блестяще сдавший экзамены отрок будет год готовиться дома, а потом пойдет сразу во второй класс, потому что освободится одно место из квоты. Так всё и произошло.

В старших классах начинается его переписка с петербургской кузиной, Ольгой Фрейденберг, лучшей его собеседницей за всю жизнь, понимавшей и его, и его творчество, девушкой очень некрасивой, строгой, но умной и образованной. Борис увлечется музыкой, композицией и добьется восторженного отзыва самого Скрябина, несмотря на отсутствие абсолютного слуха. Но он не захочет продолжать. Зачем становиться вторым Скрябиным, когда нужно стать единственным Пастернаком?

В 1906 году он закончит гимназию и поступит на юридический факультет Московского университета, но не выдержит пыли и казенщины кодексов и перейдет на родной историко-филологический. Где еще учиться поэту? Окончит он университет в 1913 году. К войне.

В апреле 1912 года на скудные родительские деньги (даже двум профессорам нелегко прокормить, одеть и выучить шестерых детей) Пастернак съездит на семестр в Марбург подучиться у неокантианцев. И здесь успех, и здесь можно остаться и сделаться профессиональным философом. Но он сам впоследствии переведет из «Фауста»: «Суха, мой друг, теория везде, но древо жизни пышно зеленеет».

Так что, посмотрев на те же скудные (для Серебряного века) деньги Швейцарию и Италию, Пастернак уедет в Москву. Муза ведет поэта его дорогой. Первые пять стихотворений он напечатает в альманахе «Лирика» в 1913 году. А в 1914-м уже появляется сборник «Близнец в тучах». Слава пришла сразу, без покровителей, без испытательного срока, потому что с такой ноты, с такого мастерства не начинал никто. Водопад, хрустальный, алмазный, низвергался с немыслимой высоты. Критики, читатели, завистливые мелкие литераторы, достойные

собратья по цеху — все утонули, все пускали пузыри. И для врагов, и для друзей было ясно: пришел гений.

«Где, как обугленные груши, с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно очей» — это 1912 год.

Ему 22 года, и он уже достиг зрелости. «Но время шло, и старилось, и гложло, и, поволокой рамы серебра, заря из сада обдавала стекла кровавыми слезами сентября». Это 1913 год. Он закончил университет. «Молодой специалист» — и мудрый гений, не имеющий возраста.

Великий поэт едва не попал на германский фронт. Его Антипова, Патулю, Пашу (из «Доктора Живаго») потом не сумеют отговорить. Он попадет в окопы и оттуда не вернется, превратится в большевика Стрельникова. А охваченного романтическим порывом поэта остановят друзья. Окопы не для соловьев.

Стихи печатаются, но денег приносят мало. Пастернак подрабатывает домашним учителем, готовит к университету богатых тинейджеров, как в будущем его Лара. Тогда такие заработки ценились, были любимым занятием «студенческой молодежи», а «богатенькие буратино» вызывали положительную реакцию у всех, кроме эсдеков и эсеров, да и те хорошо воспринимали их в качестве спонсоров. Конечно, у молодого Пастернака были левые настроения; конечно, он был в восторге от народовольцев, народников, трагического и харизматического лейтенанта Шмидта, пресненских баррикад, динамитчиков и динамитчиц, восставшего народа и Февраля. Он на всё это смотрел сквозь свой «магический кристалл» возвышенного идеализма.

Цари — это такая рутина... Порядок, казаки, полицейские, мещане... тьфу! Революционеры куда интереснее для поэтов, барышень и гимназистов (как раз бывший гимназист Бухарин будет покровительствовать великому поэту). Мы всё теперь понимаем, но очень трудно чем-то перекрыть пастернаковские слова о народовольческом подполье: «Но положенным слогом писались и нынче доклады, и в неведеньи бед за Невою пролетка гремит. А сентябрьская ночь задыхается тайною клада, и Степану Халтуруину спать не дает динамит».

С гениями трудно спорить, даже когда они не правы. Как многие интеллигенты и как почти все поэты

(и Маяковский, и Багрицкий, и даже иногда Мандельштам и Волошин, как Блок и Сельвинский, как кое-где и кое-когда Есенин, как Брюсов, как Эренбург в своих стихах, как даже Хлебников), Пастернак мечтал о революции как о празднике, конце обыденности, неслыханном освобождении от пошлости и быта, о чистоте и новизне, прямо по Бодлеру (кстати, в переводе Цветаевой): «Неведомого вглубь — чтоб новое обрести».

Вот как видел это Борис Леонидович: «В нашу прозу с ее безобразьем с октября забредает зима. Небеса опускаются наземь, словно занавеса бахромы. Еще спутан и свеж первопуток, еще чуток и жуток, как весть, в неземной новизне этих суток, революция, вся ты, как есть. Жанна д'Арк из сибирских колодезниц, каторжанка в вожжах, ты из тех, что бросались в житейский колодец, не успев соразмерить разбег». После смерти Блока, расстрела Гумилева и начала массовых расправ с интеллигенцией («заговор» Таганцева) он просто бросил об этом писать.

В дальнейшем все попытки Пастернака «откликнуться на современность» выглядят как жалкая стряпня с элементами бреда, настолько он это не умел. Судите сами.

1917 год. Февраль, Октябрь, Учредилки, «Авроры». А у него выходит сборник «Поверх барьеров». Определение поэзии: «Это — сладкий заглухший горох, это — слезы вселенной в лопатках, это — с пультов и с флейт — Фигаго низвергается градом на грядку».

1921 год. Расстрелян Гумилев, и уехала целая плеяда интеллигентов из гостиницы Таганцева. Начинается НЭП. А у Пастернака свое. Путь поэта. Детство. «Так открываются, паря поверх плетней, где быть домам бы, внезапные, как вздох, моря. Так будут начинаться ямбы».

Историки и литературоведы ломают себе голову над вопросом: почему выжил Пастернак, почему не погиб ни в 20-е, ни в 30-е, ни в 40-е? Всё, по-моему, предельно просто. В 20-е он не лез на рожон, ничего о современности не писал, писал же великолепные стихи. В 30-е и 40-е Сталин его сохранял сознательно: «попутчик», то есть человек из дореволюционного прошлого, но не вредный, поперек дороги не стоит, а слава велика, и уже мировая. Сохранить как украшение, как ценный предмет. А природа

и при советской власти природа. Это можно. Конечно, лучше бы о чугунах и колхозниках, но гении почему-то об этом не пишут. Не было случая. Для Запада — отмазка. Мол, что вы о нас врете: вон Пастернак жив и не репрессирован. Бухарин даже в пример его ставил на Первом съезде писателей и заявил, что он «выше Маяковского, пишущего дешевые агитки». Поэмы про 1905 год и лейтенанта Шмидта очень даже устраивали официоз, им нужна была героизация «предшественников». А Пастернак так думал. Он не лгал.

В 1921 году он женится на Евгении Лурье, умнице, отличнице, начинающем скульпторе. Они проживут вместе десять лет, Женя родит Борису Леонидовичу сына Женю, но общее мнение современников было против нее. Друзья полагали, что она не смогла стать хорошей женой. Она считала себя талантом, не преклонялась перед гениальным мужем, заставляла великого поэта ставить самовар и помогать по хозяйству. Эти тяготы сопровождались вполне материальными неурядицами: вечная погоня за куском хлеба или мяса, переводы, переводы, переводы... Пастернак отомстил жене Жене просто и изысканно.

Все известные лирические и «любовные» стихи посвящены не ей. И в «Докторе Живаго», где в образе Лары и Тонечки Громеко мирно присутствуют Зинаида Николаевна Нейгауз и прелестная Ольга Ивинская, ей тоже не нашлось места. Не надо заставлять гениев ставить самовар! Им надо подавать чай прямо в кабинет.

Так как же мирилась власть с таким попутчиком, который ничего попутного не написал? Неужели обошлось без «проработок»? Самое смешное — это то, что Пастернака постоянно учили писать и быть «в ногу» с жизнью, постоянно снимали с него «стружку» на разных съездах и худ-, лит- и прочих советах. Он вежливо отвечал, но совсем о другом и на другую тему. Собственно, он их посылал очень далеко, но в такой туманной форме, что они не догадывались, что их послали. Все эти мелкие и бездарные литчины были уже тому рады, что он приходил и говорил что-то непонятное, но учтивое. Им нравился примирительный тон, а слов они не понимали. Странно, но с Маяковским у Пастернака была

взаимная приязнь. Владимир Владимирович никогда его не топил. Они уважали друг в друге больших художников. Вокруг были лилипуты, а великий Мандельштам так и не стал советским поэтом.

Но кормили Пастернаков все-таки его шикарные переводы. А вот в 1931 году он встречается прекрасную Зинаиду, жену большого музыканта Генриха Нейгауза. Нейгауз — друг Пастернака, и у него с Зинаидой двое детей, Адик и Стасик. Оба влюбляются друг в друга до безумия, Зинаида признается Генриху, Генрих сначала не может играть, потом не отдает детей, а дальше спрашивает у жены, чего она, собственно, хочет. Пастернак спрашивает о том же. Они уже близки, получается какой-то треугольник, как у Бриков с Маяковским (у гроба которого Борис Леонидович рыдал полдня). Мужчины галантно оставляют решение за дамой, а она колеблется, решиться не может. (Заметьте, что Нейгауз считал Пастернака гением и любил не меньше жены.) Этот гордый узел разрубил Пастернак. Он за пять минут (счастливого совпадение) до прихода Зинаиды выпил с горя флакон йода и сжег горло. Зинаида была когда-то медсестрой, она промывала и прополаскивала поэта и все-таки спасла. Когда Нейгауз узнал, он наорал на жену, сказал, что у нее нет ни сердца, ни совести, дал развод и велел идти к Пастернаку и выходить за него замуж.

Зинаида стала поэту настоящей женой. Когда Тоня солит огурцы, меняет вещи на еду, баюкает Шурочку, а Лара моет полы, стирает белье, варит суп, выхаживает Юрия Живаго, занимается с Катенькой, — знайте, это Зинаида Николаевна, умелая, умная, организованная, стойкая и домовитая. Кстати, все признают, что она была вполне советская женщина, бодро принимавшая советскую власть — в отличие от Надежды Яковлевны Мандельштам, махровой диссидентки. Даже слишком советская. Когда в 1958–1959 годах перед ней встанет роковой вопрос, она решит его вполне по-советски. И это советское решение определит, как несложная песня кукушки, сколько еще Пастернаку жить. (Жить ему останется меньше двух лет.)

Вот, скажем, поездка на Урал. Поэтов даром не кормили, их запрягали в казенную телегу. Поезжайте, пишите

очерки на местах, зовите в бой, воспевайте. Пастернака с Зинаидой посылают в Свердловск. Какие-то заводы, какие-то колхозы. Бред. Ничего он им не напишет ни про турбины, ни про трактора. Но запомнят они с Зиночкой разное: она — горячие пирожные в доме отдыха чекистов, где их поселили, а он — раскулаченных и сосланных, просивших под окнами и на перроне корку хлеба. Больше в такие «командировки» Пастернак не ездил. Кроме Грузии. Бедная, но щедрая и хлебосольная Грузия, веселая и гордая, пришлась ему по душе. Все поэты: и Паоло Яшвили, и Тициан Табидзе — становятся его друзьями. Он переводит их стихи, даже омерзительные вирши о Сталине. Он пишет о Кавказе так, как со времен Лермонтова никто о нем не писал. Только гордое непокорство горцев ему непонятно. Он даже к Сталину стал лучше относиться за то, что он грузин.

А в мире и в стране темнело. В 1934 году взяли Мандельштама, который куда лучше разобрался в «текущем моменте» в своем антисталинском стихотворении. Когда Пастернаку автор его прочел, он сказал, что ничего не слышал, что это самоубийство, а не стихотворение, что он в этом участвовать не хочет. Доносить, ясное дело, не пошел, но возмущался неполиткорректным «и широкая грудь осетина». Не оценил он этой алмазной стрелы, направленной в сердце тирана. Не понимал политических резкостей и полемики.

Когда Сталин 13 июня ему позвонил, он очень осторожно защищал беднягу Мандельштама, так что Сталин даже попенял ему на малодушие и черствость. А это был испуг. Он у него чередовался с отчаянной храбростью. За гражданского мужа Ахматовой Пунина и Льва Гумилева он попросил в самые темные дни 30-х, поручился за них, и их освободили до следующего ареста. После сталинского звонка он год не писал: винил себя, каялся. В 1935 году его силой («Вы мобилизованы») загоняют в Париж на Антифашистский писательский конгресс. А правду о положении писателей в СССР сказать нельзя: дома семья, заложники. У Пастернака началась жуткая бессонница, депрессия, он то ли притворялся сумасшедшим, то ли действительно сходил с ума. Опять год не мог писать. Потом арестуют Бабея, Мейерхольда.

Из них выбьют показания на поэта. Но они возьмут их назад, когда пытки кончатся.

В 1956 году он напишет об этом времени: «Душа моя, печальница о всех в кругу моем, ты стала усыпальницей замученных живьем... Ты в наше время шкурное за совесть и за страх стоишь могильной урною, покоящей их прах».

Поэт то устраивал истерику в 1936 году по поводу подписи под гнусной бумагой «Стереть с лица земли», где требовали казни для Каменева и Зиновьева, то молча присоединялся к аналогичному документу по поводу «группы-17» уже в 1937-м... А когда дошло до одобрения казни Якира и Тухачевского, то отказался наотрез и сказал Зиночке, беременной его сыном Леней, что предпочитает умереть, что пусть ребенок погибнет тоже, «что ребенок человека, способного такое подписать, его не волнует». И добился, послав Сталину письмо, чтоб его не заставляли подписывать такое, и больше инцидентов не было, и Сталин это проглотил.

А в 1947 году он встречает ее: тайну, чудо, красоту, легкость эльфа, абсолютно несоветский характер. Ольга Ивинская и ее дети, которых он любил как своих: Дима и Ира Емельяновы. Он только что написал великий христианский цикл, и она — его награда. Зиночка и Ольга долго выясняли отношения и перетягивали канат, но Пастернак, любя Ольгу, в силу чистой порядочности не мог оставить Зину и так и ходил между Большой и Малой дачами в Переделкине, разделенными мостиком. Ольгу возьмут в заложницы и посадят в 1949 году: попытаются получить показания на любимого человека. Лара сгинула в одном из женских лагерей — так вот, это про Ольгу. Она ничего не скажет, ничего не подпишет и получит пять лет. Верная из верных, когда встанет вопрос об отъезде из СССР после истории с Нобелевской премией, она готова будет ехать с детьми. И надо было ехать, получить свои миллионные гонорары, премию, бродить по Европе, читать лекции, и пусть бы вся писательская свора, поднимавшая руку за исключение из Союза писателей и топтавшая его ногами, сдохла бы от зависти. Но Зина сказала, что не поедет, что останется с Леней в СССР (хотя Женя хотел ехать),

и великий поэт лег под три сосны на переделкинском кладбище, убитый тупостью, подлостью и злобой. Как его лирический герой.

«Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться, пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величья я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану, и, как сплавляют по реке плоты, ко Мне на суд, как баржи каравана, столетья поплывут из темноты». Голгофа — понятие не географическое. На русской земле много Голгоф.

ДЖЕНТЛЬМЕН НЕУДАЧИ

Его никто не считал неудачником. Более того — ему завидовали. Его быстрый успех, его победительный полет даже у великого Бунина вызывали шутливую досаду: нельзя же так сразу, без долгого ученичества, врваться в Храм литературы, в пристанище избранных.

Он не сгорел в огне крематориев великой и страшной Второй мировой войны, как его брат, Сергей, оставшийся во Франции в 1940 году. Он не утонул в холодной воде Анабазиса, бесконечной русской ретирады до Берлина, Парижа, Праги с остатками изверившейся, опустившейся Белой армии. А сколько талантов утонуло, кануло в Лету, спилось, доигралось до полного ничтожества на тараканьих бегах! Он выплыл, он выжил, прославился, женился, имел сына и твердое финансовое благополучие. Словом, яичница с ветчиной и еще бриоши с клубничным вареньем. Родился Набоков в рубашке голландского полотна, да еще и с кружевами (валансьенскими). На фоне биографий Пастернака, Мандельштама, Блока, Цветаевой ему страшно повезло. Стал еще и американским писателем, печатался, издавался, прожил долгую жизнь (78 лет). При этом всё себе позволял, ругал Сталина, Совдепию, Гитлера, брежневский застой. Плевать на всё хотел то со статуи Свободы, то с альпийских вершин. Но он носил на своем высоком челе ахматовское «золотое клеймо неудачи», гордился им и не хотел его терять — как знак драгоценной миссии. Изгойство, отверженность, неразделенная любовь к России, избрание на изгнание, когда нельзя вернуться (вернуться значит сдать, разоружиться перед советской властью, встать на колени), когда надо вечно и молча страдать. Вот что этот холодный с виду эстет напишет о России в 1939 году: «Отвяжись — я тебя умоляю! Вечер страшен, гул жизни затих. Я беспомощен. Я умираю от слепых наплываний твоих. Тот, кто вольно отчизну покинул, волен быть на вершинах о ней, но теперь я спустился в долину, и теперь приближаться

не смей. Навсегда я готов затаиться и без имени жить. Я готов, чтоб с тобой и во снах не сходиться, отказаться от всяческих снов».

Он жил, как джентльмен, писал, как джентльмен, мыслил и чувствовал, как джентльмен, и страдал, как джентльмен. И вызов пошлому, строевому, фанатизированному, тотальному, потному, плац-парадному своему времени он бросал с открытым забралом, бесстрашно и благородно, как джентльмен. XX веку не повезло. Всё разумное, доброе, вечное было поставлено на кон и проиграно, и под флагами двух тоталитаризмов маршировали восторженные рабы. Джентльмен этой глобальной, планетарной неудачи знал, что не надо выбирать из двух зол. Он противопоставлял себя двум цветам времени, черному и красному. Его цветом остался белый — цвет невинности и чистоты. И голубой цвет, цвет неба, лета и безмятежности.

Набоков был рожден для того, чтобы в эпоху подлого, грязного всеобщего свинства поднять над Европой и Северной Америкой знамя индивидуализма. Рукой не в железной, а в лайковой перчатке. И не на копье, а на трости с набалдашником из слоновой кости.

Бабочка крылышками бяк-бяк-бяк

Юный Набоков действительно родился в голландской рубашке да еще с золотой ложкой во рту. И было это 22 апреля 1899 года, в роскошном доме на Большой Морской, 47, в очень богатой семье аристократов. Со времен Тургенева русские писатели не имели такого лазоревого, безоблачного, сказочного детства, когда можно позволить себе всё: и пони, и иностранную гувернантку, и старый парк в родовом имении, и велосипед, и слуг. Писатель Набоков будет еще и ученым-энтомологом, внесет значительный вклад в лепидоптерологию, то есть изучение чешуекрылых, а попросту бабочек: нарядных, прозрачных, праздничных, легких. Порхающий призрак счастья. И Володя с детства гонялся за ними. Потом в Америке они дадут ему верный кусок хлеба с бифштексом, пока не подспеют большие литературные деньги за «Лолиту».

Тоже ведь бабочка была эта нимфетка. И герой Набокова ее словил в сачок. Бабочки — это же ипостась вечно женского, сладкого, неуловимого. Они заменяли Набокову любовниц. А серьезных романов у него было всего три. Плюс любимые гувернантки.

Отец Набокова был хорошего рода и с хорошим состоянием. Родня считала его левым, чуть ли не красным, за борьбу с растленным царским режимом (за лучшее либеральное будущее). Владимир Дмитриевич Набоков был матерым либералом, одним из лидеров кадетской партии. Его понял бы дед Володи, Дмитрий Николаевич Набоков, министр юстиции, соавтор судебной реформы 1864 года. А юрист Владимир Дмитриевич даже отсидел 90 дней в тюрьме за подпись под Выборгским манифестом после роспуска I Госдумы. «Не давать правительству ни податей, ни рекрутов» — пока не созовут новую Думу. Ни фига себе! Вот как ценили образованные люди парламентаризм. И Николай II покрутился-покрутился, а Думу созвал.

Мать, голубоглазая Елена Рукавишникова, была из богатого купеческого рода (из золотопромышленников). Тонкая эстетка, она была предана красоте и даже цвета в музыке и слове ощущала. И сыну это передала, и стал он синестетиком, и даже такую школу основал впоследствии. Впрочем, на нем вся школа и кончилась, потому что писать из всех школяров умел он один.

В семье — страшно сказать — говорили на трех языках: русском, английском, французском. Трехязычие. Володя по-английски стал писать раньше, чем по-русски. Потом у него это останется, он будет говорить, что голова у него думает по-английски, сердце чувствует по-русски, а слух воспринимает легче всего французский язык. То, что описывал Мандельштам, триада декабриста: «Россия, Лета, Лорелея». Рационализм, либерализм, честь и благородство английского милорда, вскормленного Великой хартией вольностей. Неутомимая тоска, вековая печаль, отчаяние от серых русских изб, серого неба, серого прошлого, серого будущего, горе горькое несостоявшегося спасителя России, ибо эта девица предпочитает драконов. И красота, эстетика, мощь и величие Слова. Три источника русской литературы.

Через год у Владимира родится брат Сергей. Потом прибавятся брат Кирилл, сестры Ольга и Елена. В 1901 году Елена-мать отвозит детей погостить к своему брату Василию в По, во Францию. Василий просто влюбился в маленького Володю и, умирая в 1916 году, завещал ему всё свое огромное состояние (миллион в твердой валюте). Но тут пришли большевики, состояние не было получено вовремя, и, пока Набоковы добирались до Парижа, денежки уплыли то ли к другим родственникам, то ли душеприказчики оказались жуликами. Набоков так никогда и не получил ни рубля. Возможно, деньги хранились в российских банках. Тогда всё понятно: война, инфляция, переворот 1917 года. Тоже дефолт своего рода.

В 1905 году к Володе приглашают мадемуазель, швейцарскую гувернантку из Лозанны, которая останется с ним до 1912 года и в которую влюбится малыш. Изящество, нездешность, шарм — он это почувствует и в шесть лет.

В 1911 году юный Набоков поступает в Тенишевское училище, Царскосельский лицей начала XX века. В 1914 году он напишет первые стихи, а в 1916-м на родительские средства опубликует первый поэтический сборник.

А как прекрасно было имение Выра под Питером, куда семья уезжала на лето из особняка на Морской! В 1915 году юный Набоков познал первую любовь — к Валечке Шульгиной с соседней дачи. Потом эта Валечка появится (через десять лет) в романе «Машенька» и в «Других берегах» под ником Тамара. И никаких социалистических кружков, никакого марксизма; Набоков всегда, с детства, ненавидел идеологию, толпу, массы и не считал, что он что-то должен народу (в отличие от отца). Потом он скажет, что никогда не собирался посвятить свою жизнь борьбе за то, чтобы большинство стало полусытым и полуобразованным. Единственный раз он столкнулся с политикой в 1905 году, когда в Выре решено было учить детей читать и писать по-русски и к ним стал ходить деревенский учитель Василий Мартынович. Он рассказывал аристократическим крошкам о необходимости убивать царей с помощью динамита. Потом он попал в скверную историю (и с такими взглядами мудро не попасть); отец писателя, кадет, его вызволил.

Потом большевики расстреляли учителя за эсерство вместе с другими левыми эсерами. Так что свергать царей для интеллигенции — вредное занятие. Останешься наедине с народными массами, и полиция не поможет (нет ее, полиции, одна ВЧК).

А Владимир гонялся за бабочками и за Валею. Но помните: «бабочка крылышками бяк-бяк-бяк, а за ней воробышек прыг-прыг-прыг». Воробышки припрыгали в 1917 году. Умный отец Набокова не стал ждать финала. В полуфинале, не дожидаясь Октября, сам помогая Милюкову и готовясь к выборам в Учредилку, осенью 1917 года он отправил семью в Крым (с деньгами и драгоценностями). Когда кадетов объявили вне закона, Владимир Дмитриевич чудом избежал ареста и присоединился к семье. Он стал министром юстиции Временного правительства Крыма, а юный поэт Владимир близко сошелся с Андреем Белым и Максимилианом Волошиным. Он писал стихи и ловил бабочек, пока воробышки весной 1919 года не припрыгали и в Крым, на последний берег России Набокова-Сирина. Выбрав себе в качестве ника (псевдонима) сказочную птицу, писатель всю оставшуюся жизнь оплакивал в прозе и стихах магическую сказку, фэнтези первых двадцати лет.

Пятнадцатого апреля маленький греческий пароход увез Набоковых под грохот артобстрела в суровый реализм вечного изгнания.

Изгнанник рая

Из Стамбула Набоковы уехали тут же. Деньги и драгоценности не вернули им спокойствия и счастья, но избавили от голода и нужды. Владимира и его брата, Сергея, отправили в Кембридж завершать образование. Очень дорогое удовольствие, недоступное не только эмигрантам. Владимир учится, публикует статьи о бабочках и переводит на русский язык «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Это 1921 год, и тогда же первый рассказ Набокова, «Нежить», появляется в газете «Руль», которую его отец издает в Берлине. Эта мистика отнюдь не посредственна, в ней сверкают блески таланта. Вот здесь-то

Владимир и назовется Сириным, чтобы читатели не путали его с отцом, публиковавшим в газете свои статьи. Но Набоков — не книжный червяк. В июне 1921 года он познакомился со Светланой Зиверт, которая стала его возлюбленной. Она была красива как кукла, но холодна, суха и корыстна. Она не годилась в жены будущему гению, но числилась невестой. Ей посвящали стихи, Володя бегал на свидания на рассвете, ломал чужую бюргерскую сирень.

А Владимир Набоков-переводчик не дремлет. Он переводит Ромена Роллана, «Кола Брюньон» («Николка Персик» — как вам название?), переводит стихи Гёте, Верлена, Теннисона, Байрона, Бодлера, Китса, Рембо. Это был подарок неверной ему России: взять и бросить к ее ногам эти самоцветы поэзии, содрав с них скорлупу иностранных языков.

Но тут начинаются несчастья. 1922 год, черный год Набокова. 28 марта в Берлине на публичной лекции Павла Николаевича Милюкова какой-то черносотенец — тоже эмигрант — убил отца писателя, Владимира Дмитриевича, который заслонил собой Милюкова (террорист целился в него). И тут же еще одна катастрофа: Светлана Зиверт разорвала помолвку с Набоковым по настоянию родителей. Владимир закончил обучение в Кембридже, переехал в Берлин, зарабатывал переводами, давал уроки английского языка. Зиверты хотели более богатого зятя, чертовы филистеры. А тут еще мать поэта (и писателя теперь!), Елена Ивановна, уехала с семьей в Прагу, где правительство предложило ей пенсию в память о муже, Дмитрие Владимировиче Набокове.

Но, к счастью, 8 мая писатель знакомится с нежной, верной и поэтичной Верой Слоним. «Чистейшей прелести чистейший образец», Верочка в 1925 году становится его женой, сиделкой, Музой, секретарем, alter ego. В 1934 году она родит писателю сына и наследника — Дмитрия. Набоков пишет маленькие мистические драмы и в 1924 году печатает свою первую пьесу, «Трагедия господина Морна». А тут выходит и первый роман, «Машенька». Это уже зрелость, это заоблачные высоты духа и альпийские цветущие луга гениальности: зеленые, свежие, росистые. «Машенька» (1926). «Король,

дама, валет» (1927—1928). «Защита Лужина» (1929—1930). «Соглядатай» (1930). «Камера обскура» (1932). «Отчаяние» (1936). Это всё — большая литература, русская классика, полновесная, как тяжелые серебряные рубли и золотые пятирублевники сгинувшей Российской империи, несбыточного сна либерала Набокова. Вера вдохновляет его. Джентльмен Набоков зарабатывает на жизнь в Берлине не только переводами и уроками языков, не только романами. Он дает уроки тенниса и бокса, его семья живет скромно, но безбедно.

«Король, дама, валет» — это роман любовный. Не лучший, но наиболее коммерчески успешный за весь европейский искус Набокова. Немцы его перевели. Все жаждут «клубнички». Владимир и Вера даже съездили в Восточные Пиренеи поохотиться на бабочек. Вот там Набоков и начинает гениальный роман о гениальном и безумном шахматисте «Защита Лужина». Роман напечатали в ведущем эмигрантском издании «Современные записки», где печатались Бунин и Куприн. Нобелевский лауреат Бунин, литературный лидер эмиграции (да и в России равного ему не осталось), эстета и «антинародника» Набокова не любил, однако написал: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе меня». Это 1930 год. Набокову 31 год, и он уже мэтр, признанный великими русскими писателями. Острый аналитический ум Набокова, словно лазер, разрушает все ловушки, в которые попались его современники, далеко не самые глупые в Европе. Кто уверовал в Гитлера, кто — в Сталина. Выбирали наименьшее зло (из двух возможных гадов). Сталин словил Бертольда Брехта, и Бернарда Шоу, и Романа Роллана. Гитлер словил Гамсуна и Гауптмана. Почти на каждую бабочку нашелся свой воробышек. А на Набокова не нашлось. Он от дедушки ушел навсегда (от советской власти и от Сталина). Но он и от бабушки ушел (от Гитлера). Его он считал усатым придурком, ничтожеством, даже своего маленького Дмитрия он научил смеяться над его портретами в Берлине. Вера была еврейкой, и в 1937-м, за год до Хрустальной ночи, Набоковы переезжают в Париж.

Но сначала выйдут два шедевра антисоветизма, которые тусовались в самиздате до горбачевской оттепели, то есть перестройки: «Подвиг» и «Истребление тиранов». В «Подвиге» (1932) главный герой, тоскующий изгнанник, видит книжку с картинкой: дикий, страшный лес, куда входит мальчик, чтобы не вернуться. Гибельная страсть к родине владеет героем, он не может преодолеть себя и возвращается в Россию, как в заколдованный лес, где живут людоеды. И исчезает навеки в подвалах Лубянки или в дальних лагерях. «Истребление тиранов» — это 1936 год. Вот что пишет о Сталине этот яростный эстет: «Росту его власти, славы соответствовал в моем воображении рост меры наказания, которую я желал бы к нему применить. Так, сначала бы я удовольствовался его поражением на выборах, охлаждением к нему толпы, затем мне уже нужно было его заключение в тюрьму, еще позже — изгнание на далекий плоский остров с единственной пальмой, подобной черной звезде сноски, вечно низводящей в ад одиночества, позора, бессилия; теперь, наконец, только его смерть могла бы меня утолить».

Историк Лион Фейхтвангер и сам спасенный ценой жизни Набокова-старшего Милюков рады были обманываться и со Сталиным заигрывали; джентльмен неудачи Набоков писал: «наша богатая осадками, плачущая и кровоточащая страна»; «моя родина, ныне им поработенная»; «тираны, тигроиды, полоумные мучители человека». А в 1938 году появится жемчужина самиздата: «Приглашение на казнь». Убийственная ирония Набокова против тюрем, в которых сидят по собственному желанию, против казней, в которых сотрудничают узник и палач, против круговой поруки тоталитаризма. «Кротость узника есть украшение темницы». Каково? А гитлеровская ночь нагоняет набоковскую семью. Но этот Колобок — великий писатель Сирий — знал, как уйти от всех в этот мир вечной, нетронутой, хрустальной свободы, которого никогда не коснется жилистая рука тирании, который зовется США.

В мае 1940 года Набоковы отчаливают за океан на пароходе «Шамплен» (в следующем рейсе потопленном немецкой подлодкой). Брат Сергей остался и погиб в концлагере. А великий Набоков не пропал и в Штатах.

Он преподает русскую литературу в Уэлслейском колледже, а потом в Корнелльском университете, его кормят и бабочки (по научной части). Оставшись русским писателем, он ухитряется стать и англоязычным американским. Пишет философскую фантастику («Пнин», 1957; «Ада», 1969), но большие деньги ему дает эротическая «Лолита».

Осень патриарха

Это 1955 год, и Европа, а потом и чопорные благочестивые США пасутся на этой «клубничке». Вот и слава, вот и деньги. В 1960 году граждане США Вера и Владимир Набоковы уезжают в Швейцарию, в Монтрё — до конца жизни. И еще семнадцать лет бездомный космополит Набоков кидается на СССР, предлагая делать портреты вождей не больше почтовой марки, воспевая самиздат, печатая возвания в защиту диссидентов (в частности Владимира Буковского). Бабочка гоняется за воробышками, чего не видывал свет. При этом классик кидает публике благоухающие букеты своих прелестных новелл и мемуаров. Куда там ветряным мельницам перед этим одетым с иголки Дон Кихотом! Они стушевались. Итак, не бойтесь мира, ибо он победил мир. Великий Набоков оставил нам свои руны, но просил не писать его биографий. Он умер в Лозанне в 1977 году, и прах его огражден навеки от возвращения по месту прописки — в Россию. Его просьба к ней четко сформулирована: «...дорогими слепыми глазами не смотри на меня, пожалуйста, не ищи в этой угольной яме, не нащупывай жизни моей! Ибо годы прошли и столетья, и за горе, за муку, за стыд, — поздно, поздно! — никто не ответит, и душа никому не простит».

УНЕСЕННЫЙ ВЕТРОМ

Последний европеец

Еще долго, не меньше десяти лет после 1917 года, отблеск ярких огней праздничной вселенной, оставшейся за западными границами, карнавальным шум Венеции и Парижа были видны и слышны в мрачной России, где погасли камины, свечи, лампочки и очаги. У Джека Лондона в Северной глуши царило Белое Безмолвие. Здесь, под созвездиями Зимы, под Полярной звездой, под заснеженным боком Большой Медведицы, было другое Безмолвие — Красное, наползавшее с 1928-го и затмившее небо окончательно к 1934 году.

Илья Эренбург был одним из последних гастролеров, вывозивших в холодную и голодную Москву звенящий и сверкающий праздник Парижа. Безумно талантливый юноша, угрюмый муж с солнечными всплесками несоветского, дооктябрьского дара, желчный старик, мудрец и пророк, сумевший определить и назвать оттепель и донесший до ее весеннего берега вопль и стон Большого террора — это всё он, бывший парижский Пьеро для советских буден.

На нем лежал отпечаток беспокойного гения еврейского народа. В 1922 году он предсказал Холокост. И тогда же нарисовал основные черты сталинизма как добровольного целования наручников. У него не было ни рожек, ни хвоста, его не убили за сапоги бандиты в холодном и голодном СССР 20-х годов, но это, конечно, был он: Учитель, великий провокатор, только не Хулио Хуренито и не из Мексики. Он мог бы считаться вторым Шолом-Алейхемом, но ему был внятень весь широкий мир, а не только Касриловка (и в Вене, и в Нью-Йорке — всё она); он познал не только евреев, и не только их месседж он транслировал, но и месседж русских, немцев, французов, американцев, испанцев, европейцев... И он был

не так добродушен, как Шолом-Алейхем, он был желчен и злопамятен, он умел ненавидеть. Он скажет в 1922 году в ответ на будущие гетто и газовые камеры: «Запомни только — сын Давидов, — филистимлян я не прощу, скорей свои цимбалы выдам, но не разящую пращу». Так Илья Эренбург за 26 лет предсказал создание государства Израиль и его непреклонные победы, победы мстителей, которые добровольно в газовые камеры не пойдут. Наконец, этот мощный прозаик был мощным поэтом, хотя у него не так много стихов. Сквозь современность в нем проглядывали и Книга Иова, и Книга Экклезиаста, и Книга Бытия, и Песня Песней, и библейские псалмы. Он был последним европейцем Советской России: небрежным, раскованным, блестящим, ироничным. За ним опускается занавес, прямо за его спиной. На много лет. На десятилетия. До 1991 года. Железный занавес. И нам уже не быть завсегдатаями кафе «Ротонда» на бульваре Монпарнас.

Илюшечка, вечный Илюшечка

Родился Илюша, Илья Григорьевич Эренбург, в приличной семье купца второй гильдии, в Киеве, в январе 1891 года. Впрочем, вторая гильдия — это было так, наследственное. К моменту рождения Илюшечки отец уже был инженером. Семья была, конечно, абсолютно светская, так что свои немалые познания о хасидах, Иерусалиме, молитвах и иудейских праздниках мальчик почерпнул не дома. Илюша был пылким, хотя и культурным ребенком. Нежным и отчаянным. Мальчишки с улицы и потом, в гимназии, не смели его дразнить и бить. Он кидался один на пятерых, и это пугало. Он был очень похож на Илюшечку, сына отставного штабс-капитана из «Братьев Карамазовых». Сильный дух в слабом теле. Агрессивный и застенчивый идеалист. Но он не умер от чахотки.

Когда ему исполнилось пять лет, семья перебралась в Москву. Отец получил должность директора Хамовнического пивоваренного завода. Илья учился в 1-й московской гимназии. Конечно, он со своим характером

тут же впутался в революционные дела. В 1905 году этому крошке было 14 лет, а он уже стал членом революционного кружка, который вели начинающие эсдеки Коля Бухарин и будущий отец твердого червонца Гриша Сокольников. Из той же гимназии, но из старших классов. Так что из гимназии его выперли. Из шестого класса. Но мальчику было мало, мальчик пустился во все тяжкие. В 1908-м его арестовали (в 17 лет!), но выпустили до суда под надзор полиции. Ему грозили и ссылкой, и каторгой. При его манере выражаться парадоксами можно было и на каторгу загреметь. Однако полиция не жаждала детской крови. С ней всегда можно было договориться полюбовно. Мальчику разрешили выехать за границу якобы для лечения, под денежный залог, выплаченный отцом.

С глаз долой — из сердца вон. В 18 лет, с 1909 года, Илья оказывается за границей. И вот Париж, и наш поэт — в чашечке этого гигантского цветка, как Дюймовочка. А в Париже живут Ленин, Каменев, Зиновьев, Троцкий. Молодому революционеру следовало бы поступить под их начало. Хотя бы к Луначарскому. Он и пытается поработать с Троцким в Вене. Но вся эта публика юноше очень не понравилась. «Талмудисты», начетчики, фанатики. Тоска зеленая. Тем паче мечтают о казарме. Илья бросил их всех (юноша был очень умен) и засел за стихи. Тут он встретил свою Прекрасную Даму. Она была парижанка, хрупкая, изящная, как колибри. И она была русская, знала литературу, умела восхищаться стихами и поэтами. Ее звали Екатерина Шмидт. Они жили в гражданском браке, это было модно. У них родилась дочь Ирина. Илья дал ей свое имя. Ирина Эренбург, впоследствии писательница и переводчица, вся в отца. Ранний ребенок, она родилась в 1911 году, папе было 20 лет. Ирина доживет до 1997-го и увидит все папины собрания сочинений, посмертную славу и шестидесятников-почитателей, считавших его своим патроном.

Но статус girlfriend Екатерине Шмидт быстро надоеет, и она выйдет замуж за друга мужа — писателя Т.И.Сорокина. А Илюша пишет стихи то в «Клозери де лиля», в этом знаменитом «Сиреневом кафе», то в «Ротонде». Мир переживал последние годы беспечного и безоблачного счастья. А с какими людьми сошелся Илюша!

С Модильяни, с Пикассо, с Аполлинером! «Русские обормоты» в парижских кафе котировались. Илюша всегда мог даже выпить за счет щедрого Пикассо. Жили эти дети гармонии бедно, но весело. Эту обстановочку, шарм, дух времени братья Познеры сохранили в своем ресторане «Жеральдин» на Остоженке. Тот, кто хочет выпить и закусить по-парижски, но недорого и в стиле ретро, чокаясь с Эренбургом, Хэмом и Пикассо, может это сделать даже сейчас.

В 1910 году Эренбург издает сборник стихов за свой счет. Но потом ему уже платят, и он издает по сборнику в год. Его читает российская богема, блестящие постмодернисты последних дней российских Помпей: Мандельштам, Волошин, Брюсов, Гумилев, Ходасевич. Вот его компания, его аудитория.

Но залязгало ржавое железо Первой мировой войны, и всё изменилось. Поблекли краски, потускнел Париж. Пылкий Илюша попытался вступить во французскую армию, но был признан негодным по состоянию здоровья. Армии не нужны были хилые российские интеллигенты.

Тогда Илья становится военным корреспондентом «Утра России» и «Биржевых ведомостей». Но в его статьях слишком мало красот, ура-патриотизма и милитаризма и слишком много «чернухи». Эренбурга беспощадно кромсает цензура; ему надоела война, ура-патриотичный Париж, где надо ненавидеть «бошей». На всю жизнь Илья становится противником войны, пошлости, позы и фразы. Он едет спасаться домой аккуратно в 1917 году. Сначала он застаёт хаос безумного Февраля (это он опишет потом в «Хулио Хуренито»: митинг воров, митинг министров настоящих, прошедших и будущих и митинг проституток. Первый митинг требовал отменить замки, третий — увеличить тарифы). Потом настанет якобинский Октябрь, по-идиотски серьезный, невыносимо пафосный, мрачный и голодный. В Эренбурге не было ни капли романтизма, и он принял в штыки (то есть в злоязычные перья) и Февраль, и Октябрь. Мудрый ироничный еврей, частичка цивилизации, видевшей Всемирный потоп, на дух не переносил революций. Это в юности он писал с сарказмом о «сдобных и белых булочках»,

предпочитая им неистовство революционного ветра (юношеская трагедия «Ветер»: «Я отдал всё, я нищ и светел. Бери, бери меня, ветер!»). Сейчас ему очень хотелось съесть такую булочку, но где было ее взять? Илюша пошел в атаку: писал в эсеровских газетах издевательские стихи и статьи почище Аверченко. Но Аверченко писал в белом Крыму, а Эренбург — в красном Петрограде и малиновой Москве! Конечно, за ним пришли. Еле-еле он успел спастись от ареста и расстрела. В 27 лет Эренбург был очень храбр. И от этой не рассуждающей храбрости его не излечит даже Большой террор. Сбежал Илюша в Киев, который брали все кому не лень, по очереди, в алфавитном порядке: белые, красные, петлюровцы. И они были настолько заняты друг другом, что не замечали, к счастью, желчного поэта.

В Киеве Эренбург нашел себе жену, надежного друга, товарища на всю жизнь — художницу Любовь Козинцеву, сестру будущего режиссера Козинцева. Был ли он влюблен? Эренбург не очень любил реальных женщин, он искал идеала — прекрасных финикиянок, французенок, певчих птичек с Монмартра. По-настоящему он был влюблен в Мадо, идеальную героиню Парижа и Сопротивления, свой персонаж из романа «Буря». Но с женой они жили хорошо, по-человечески, хотя и без детей. Люба никогда не жаловалась и очень ценила великого писателя, которого подарила ей судьба. Все они терпели, ценили и делили и невзгоды, и нужду, и страх.

Любить великого человека — все равно что в горящую избу войти. Были женщины в русских селеньях: кормили, лечили, ободряли, были и сиделками, и переписчицами. Жены Волошина, Эренбурга; жена и любовница Пастернака, Зинаида и Ольга; жена Грина. Было и страшнее: Надежда Яковлевна Мандельштам делила и ссылку, и голод, а Ольга Ивинская пошла за Пастернака в тюрьму. Жену Грина посадили уже после его смерти. Любовь Козинцева была из таких, ей нипочем было остановить на скаку не коня — Историю. В 1919 году Эренбурги едут в Коктебель к Волошину, подальше от ВЧК и Гражданской войны. Но Илья непоседлив, и в 1920-м

его несет в Москву (через еще независимую Грузию). И вот они в Москве, и, конечно, Эренбург первым делом загремел в ВЧК. Он не боролся, он не противостоял, он не отрицал наличие советской власти — оно было очевидно. Но он издевался и не верил — и это бросалось в глаза. Однако на выручку подоспел старый знакомый, научный руководитель гимназического кружка юных большевиков Николай Бухарин, человек веселый и добрый. Он был в чести, он был на коне. Он выручил Эренбурга и даже трудоустроил его к Мейерхольду, в детскую секцию театрального отдела Наркомпроса.

Однако в Москве было холодно, голодно и неудобно. И у Эренбурга рождается гениальный план: сохранить советский паспорт, а жить в Париже; писать о парижских делах в СССР, а о российских — для европейцев левого толка, но так, чтобы печатали и в СССР и платили деньги. Работать, жить и зарабатывать деньги в Париже, а получать их в СССР и тратить опять-таки во Франции. Великий комбинатор Остап Бендер одобрил бы этот план. И ведь удалось поначалу! Эренбурги едут в Париж, но там уже поселилась злая и голодная эмиграция, считавшая советский паспорт Ильи Каиновой печатью. На него донесли как на советского агента. И из любимого Парижа супругов выставили в Бельгию.

В отеле «Курзал» приморского городка Ла-Панн был всего за 28 дней написан в 1922 году великий роман «Хулио Хуренито». Роман об Учителе, немного Дьяволе, немного провокаторе, и о таскавшихся за ним учениках: немце, французе, негре, американце и еврее. Роман о великом слове «нет», главном слове человеческой истории, пароле вечно бунтующего еврейского народа. Роман не предлагал свергать советскую власть. Хуже — он над ней издевался. Правда, издевался Эренбург надо всем. Над войной, над «буржуазной действительностью». В 31 год он одним прыжком достиг зенита, акме, зрелости дара. Лучше «Хуренито» он уже ничего не напишет. С 1922 года начинаются также его самые лучшие, алмазные стихи, режущие по сердцу и разуму. Потом он научится врать в статьях и очерках, даже в романах и эссе. Но в стихах не будет врать никогда. Даже чтобы выжить.

Свой среди чужих, чужой среди своих

А с «Хуренито» был чистый цирк. Сначала его издал господин Вишняк в своем «Геликоне» тиражом в 3 тысячи экземпляров. Тираж разошелся в Берлине, а в Россию попали две или три штуки. На них записывались в очередь, брали на ночь. Эренбург сразу стал знаменит. Бухарин был в восторге. Правда, он-то всё понял. И где-то сказал, что роман, конечно, замечательный, но товарищу Эренбургу не сильно нравится коммунизм. И он не шибко хочет его победы. Каменев прочел с удовольствием. Ленину понравилось: во-первых, его изображали Великим Инквизитором, и Хулио Хуренито его поцеловал; во-вторых, уж очень лихо и негативно была подана «империалистическая бойня». Времена были еще вегетарианские: главное — мочить «буржуазную действительность», а антикоммунистическую фронду прощали. Не прощали серьезного стремления бороться, хотя бы только на словах, что погубило Гумилева. А Эренбург, мудрый еврей, знал, что плетью обуха не перешибешь, и решил выжить при любой власти (но только подальше от нее, в холодке, в «Ротонде»). Словом, в 1923 году Эренбург получил тираж «Хуренито» на родине, с предисловием Бухарина, в 15 тысяч экземпляров. Это было много по тем временам. И прибыльно. Скормив большевикам свою антисоветчину, Эренбург бросился писать дальше и до 1927 года накропал 7 романов, 4 сборника рассказов, 4 сборника эссе и 5 сборников стихов. Хотя очень талантливых вещей было немного: «Трест Д.Е.» (1923), «Тринадцать трубок» (1923) и, пожалуй, роман «Бурная жизнь Лазика Ройтшванца». Но это уже 1928-й «Люди, годы, жизнь» (1961—1965) и роман «Буря» (1947). Всё остальное — на дне времени, и читают это только студенты-филологи и литературоведы.

«Трест Д.Е.» — это антиутопия, одна из первых. Жутковатый роман о гибели Европы. Кончается роман так. Сплошные леса, руины, сквозь которые растут кустарники. И — «Перед порталом бывшей биржи сидел большой медведь и, глядя вдаль лазоревыми бездумными глазами, тщательно облизывал свои мозолистые, трудовые лапы». И это ведь предвидел Эренбург!

Правда, так, скорее, кончит не Европа, а Евразия. Были бы медведи, а остальное всё приложится.

Вначале писателю везло. До 1924 года они с женой жили в Берлине, но когда к власти во Франции пришел «левый блок», Эренбург получил разрешение жить в своей любимой стране и обосновался в Париже. Но роман о еврее Лазике Ройтшванце, который не может выжить нигде, тем паче в СССР, где столько вранья и показухи, где доносы и идеология (причем глупая), который ухитрится умереть на Святой земле, уже не прошел в печать. У Бухарина была тяжба со Сталиным, и он отрекся от этих двух евреев — и от Ильи, и от Лазика. Роман пойдет в печать только в 1989-м, после смерти автора, пролежав «в столе» более 60 лет. В мире и в СССР темнело, волны фашизма и сталинизма захлестывали и богему.

Листопад

С 1932 года свинцовый ветер сталинщины подхватывает писателя и несет его на скалы соцреализма. Больше нет свободы в парижских кафе, надо определяться с идеологией и халтурить. Свободы нет и в Париже, потому что по пятам идут агенты ГПУ, чтобы Эренбург, упаси Бог, не стал «перебежчиком». В 1932 году писателю приходится стать парижским корреспондентом «Известий», ехать в Кузнецк и на «стройки пятилетки». Пришлось навалить плохой роман «День второй», а в 1934-м — «Не переводя дыхания». Критика в восторге: «попутчик» исправился, идет в нужном направлении. Эренбург молча скрипит зубами: речь идет уже о жизни, его и Любы. А деться некуда — в Германию приходит фашизм. Еврею там небезопасно. Эренбург организывает антифашистские конгрессы литераторов в Европе — все-таки это дает возможность не жить дома, рядом с Лубянской. Начинается война в Испании, и Эренбург преображается: вот оно, настоящее, можно писать и не лгать. «Покрылся кровью булочника фартук, огонь пропал, и вскинулось огнем всё, что зовут Испанией на картах, что мы стыдливо воздухом зовем».

А страшный Крысолов с дудочкой — Сталин — задумывается, кого оставить, а кого увести: Кольцова

или Эренбурга? Расчетливый тиран не держал лишних. Он выбрал одного писателя, одного поэта (Булгакова и Пастернака) и многое им позволял. А Мандельштам оказался лишним и погиб. К тому же его антисталинские стихи Сталин прочел, в отличие от «Реквиема» Ахматовой. Сталинское неведение спасло ей жизнь. Теперь Сталину нужен был эссеист, журналист, публицист, свой в доску для Европы. Визитная карточка Москвы. Кольцов был глупее и фанатичнее, у него были все шансы. Но Эренбург, строптивый Эренбург, был талантливее. Писатель, поэт, друг Пикассо и Аполлинера. И выбор пал на него, под нож пошел Кольцов. Эренбург рисковал жизнью: ничего не подписывал против «врагов народа» во время Большого террора. Его заставили сидеть на процессе «правотроцкистского блока» и смотреть на осуждение его покровителя Николая Бухарина. Он сидел, но писать о процессе отказался. Он, собственно, шел на смерть, как и Пастернак. Но Сталин стерпел это от обоих. Они были нужны живыми советской пропаганде.

Сын Давидов

К счастью, Эренбурга не было в СССР (бывал наездами) до 1940 года. Но его Францию захватили немцы, и пришлось вернуться. Эренбург становится германофобом: немцы преследуют евреев и насилуют Францию. Писатель создает реквием по убитым соплеменникам, и никто так не написал про Холокост. «За то, что зной полуденный Эсфири, как горечь померанца, как мечту, мы сохранили и в холодном мире, где птицы застывают на лету, за то, что с нами говорит тревога, за то, что с нами водится луна, за то, что есть петлистая дорога и что слеза не в меру солона, что наших девушек отличен волос, не те глаза и выговор не тот, нас больше нет. Остался только холод. Трава кусается, и камень жжет» (1944). Не обошлось без печальных советских парадоксов. Эренбург был настоящим антифашистом, не ситуативным. В 1940 году он пишет роман «Падение Парижа» — о захвате его любимого города, о «фрицах», то есть «бошах»,

о предателях Петене и Лавале. Но действовал пакт Молотова—Риббентропа! И роман не печатали. Напечатали в 1941 году. И даже дали Сталинскую премию в 1942-м. Идет война, и для улова союзников — США и Великобритании — нужен приличный антифашист. Для фронта, для солдат нужен талантливый трибун. Вот для этого Эренбургу и сохранили жизнь. За годы войны Илья Григорьевич пишет полторы тысячи статей. Он популярен и на Западе, и в окопах: его статьи даже не пускают на самокрутки. Он напишет статью «Убей немца!». Здесь его остановят «товарищи» из ЦК: это уже чересчур, не всякий немец фашист, что скажут на Западе? В 1947 году Эренбург пишет «Бурю» — о Соппротивлении во Франции и в СССР. Французы ближе Эренбургу, он их знает больше, и они у него куда живее и подлиннее: Анна, Мадо. А осенний Париж «засыпан золотом и пеплом». Уровень Левитана.

И он дарит своей рабской стране песенку франк-тирера, макизара Мики. Песенку-упрек, песенку-урок. И себе, и СССР. «Свободу не подарят, свободу нужно взять. Свисти скорей, товарищ, нам время воевать. Уйдем мы слишком рано, до утренней зари. На то мы партизаны и первые в цепи. Нас горю не состарить, любви не отозвать. Свисти скорей, товарищ, нам время воевать. Мы жить с тобой бы рады, но наш удел таков, что умереть нам надо до первых петухов. Другие встретят солнце и будут петь и пить. И может быть, не вспомнят, как нам хотелось жить». Ох, это не только про войну. Но в 1948-м и за это дадут Сталинскую премию.

И еще раз этот сын Давидов поставит жизнь на кон. В 1942 году Эренбург становится членом ЕАК — Еврейского антифашистского комитета. И начинает собирать документы для «Черной книги» — свидетельства о Холокосте. Но в 1948 году из-за конфликта с Израилем «Черную книгу» запретили, а набор рассыпали. Похоже, именно Эренбург сохранил рукопись, и она дошла до Израиля, где и вышла в 1980-м. Да, Эренбургу «повезло». Гитлер его ненавидел лично, звал «домашним евреем Сталина». Распорядился поймать и повесить, но не пришлось. Сталин его сделал агитатором своего режима. Большой грех: Эренбург подтвердил, что это немцы убили польских офицеров в Катыни, хотя ничего об этом не знал. Стал

он и депутатом Верховного Совета, и вице-президентом Всемирного совета мира. И всё в 1950 году. Ленинскую премию взял «за борьбу за мир». Но он один из немногих (когда боролись с «космополитами» и раскручивали дело «врачей-убийц») не подписал письмо для оправдания депортации своего народа вместе с другими «именитыми евреями» (ручными). Вместо этого он через Шепилова (который попутал Клима Ворошилова) написал письмо Сталину (3 февраля 1953-го), где отговаривал его от антисемитских действий. И Сталин отложил депортацию, а там вскоре отдал дьяволу душу. Эренбург один остался на свободе после разгрома ЕАК. Сталин стерпел его последнюю фрнду и не санкционировал арест.

Но вот кончаются большие морозы, и наша синичка — Эренбург — первая почувствовала что-то. Еще до XX съезда этот пророк в 1954 году пишет повесть «Оттепель». Вот вам и предсказание, и название. Повесть громили, но время арестов прошло. Назвать эпоху — это была большая честь.

Его громят и дальше. Даже за «Французские тетради». Но Сталина нет, вожди душат друг друга, и уже можно жить. А славы и денег Эренбург не ищет, и теперь он больше ничего не боится. Деньги есть, а славы больше и не бывает. В 1962-м писатель яростно защищает от Хрущева художников типа Эрнста Неизвестного, выставивших в Манеже свой постмодернизм. Хрущев приказал Эренбурга не печатать годик-другой. В 1966 году неугомонный старик с сердцем юноши защищает Даниэля и Синявского (подписывает письмо). Он еще успел всё вспомнить и всем воздать (и Сталину тоже) в мемуарах «Люди, годы, жизнь». Последний том, седьмой, он не закончил. Этот том выйдет в следующую, более теплую оттепель, в 1987-м. Цензоры и редакторы рвали мемуары на части. Приходилось драться за каждую строчку.

Тридцать первого августа 1967 года Илья Эренбург ушел из жизни на Новодевичье кладбище, искупив свою слабость, взяв свою свободу, выиграв свою войну. До первых петухов горбачевской перестройки. И знаете, чего хотел перед смертью маститый советский прозаик, куда глядел этот волк, которого так сладко кормили? Конечно, в лес — в Париж, на Запад. Он это приготовил еще в 1947-м. Эпитафию себе на могилу.

"Во Францию два гренадера..."
Я их, если встречу, верну.
Зачем только черт меня дернул
Влюбиться в чужую страну?
Уж нет гренадеров в помине,
И песни другие в ходу,
И я не француз на чужбине, —
От этой земли не уйду.
Мне всё здесь знакомо до дрожи,
Я к каждой тропинке привык,
И всех языков мне дороже
С младенчества внятный язык.
Но вдруг замолкают все споры,
И я — это только в бреду, —
Как два усача гренадера,
На запад далекий бреду.
И всё, что знавал я когда-то,
Встает, будто было вчера,
И красное солнце заката
Не хочет уйти до утра.

Французские филологи считают, что лучшие стихи о Франции написал «русский обормот» Илья Эренбург.

ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Мы и сами не заметили, как углубились в глухой, угрюмый придел нашего Храма. Исчезли витражи, позолота, блеск.

На захватанных, плохо оштукатуренных стенах — выбоины, подозрительно смахивающие на дырки от пуль. Кажется, здесь кого-то расстреливали. Грубые, неотшлифованные плиты пола, плохо отмытые... После чего? На маленьких оконцах — решетки. Иисус на иконах — явно в лагерном бушлате, с номером на груди, и терновый венец сплетен из такой знакомой нам колючей проволоки... А Мария, «член семьи изменника родины» (ЧСИР), смотрит особенно безнадежно на свое дитя, как будто ожидая, что сейчас его вырвут у нее из рук, чтобы увезти в детприемник или в спецдетдом, как Юльку, дочь Маши из повести Василия Гроссмана «Всё течет», а ее саму отправят на этап до Колымы.

По этому приделу бродят великие, скорбные тени Александра Солженицына, Андрея Платонова, Варлама Шаламова. Здесь же и наш следующий жрец Искусства, хранитель Кастаньского ключа — Василий Гроссман. Мир выцвел, никакого спектра, ни один охотник не желает знать, где сидят фазаны. Три краски: черная, серая, белая (редко-редко промелькнет белая ворона да белеет смертельно сибирский, соловецкий, колымский снег).

Все критики говорят, что Гроссман творил в стиле Льва Толстого. Но прозрачный, назидательный, резонерский реализм Толстого раздражает и в «Войне и мире», и в «Воскресении», потому что пишет он о яркой, благополучной, цветной жизни, из которой никак не вытекает его постная, идеологическая, социалистическая (а значит, предтоталитарная) мораль.

А Гроссман приложил эту классическую толстовскую ясность к фильму ужасов семидесяти последних лет XX столетия. И ничего, что могло бы смягчить удар, — ни оруэлловской мифической Океании, ни платоновских

фантастических котлованов и чевенгуров, ни лафонтеновского дизайна оруэлловской же «Фермы животных»: куры, свиньи, осел, конь, овцы... Нет булгаковского чувства юмора, нет томительно-прекрасной пастернаковской природы из «Доктора Живаго». Читателю не подстилают соломки, и он разбивается вдребезги между молотом — огромным, первобытным, мощным талантом Гроссмана — и наковальней — жуткой советско-гитлеровской реальностью Второй мировой войны и того, что было «до», и того, что настало «после». В этом нашем уголке Храма обитают не просто писатели и поэты, а новомученики российские, и Христос в лагерном бушлате давно причислил их к лику своих святых.

Не бедные евреи

Можно сказать, что Василий Семенович Гроссман происходил из аристократической еврейской семьи. Это не шолом-алейхемская беднота, эти евреи учились и жилали в Европе, отдыхали в Венеции, Ницце и Швейцарии, жили в особняках, носили бриллианты, говорили по-французски и по-английски, а не только на идиш.

Родители Гроссмана познакомились в Италии. Его бедовый отец, Соломон Иосифович (Семен Осипович), увел мать (Екатерину Савельевну Витис) от мужа. Старший Гроссман учился в Бернском университете, стал инженером-химиком, а происходил он из богатого бессарабского купеческого рода. Екатерина Савельевна была отпрыском такого же богатого одесского семейства, училась во Франции, преподавала французский язык. Словом, жили они как «белые люди», да простят мне афроамериканцы этот советский фольклор. Жили они в Бердичеве, исповедовали гуманизм и атеизм пополам со скептицизмом, и 12 декабря 1905 года у них родился сын Иосиф. Иося быстро превратился в Васю, так няне было проще. И рос он в родителей — космополитом. Двенадцать лет счастливой жизни: елки, игрушки, сласти, кружевные воротнички, гувернантка, бархатные костюмчики. Полицмейстер приходил поздравлять с Пасхой и Рождеством, получал «синенькую» (пять рублей) и бутылку коньяка и благодарил

барина и барыню. Мальчик никогда не слышал слово «жид». Погромов в Бердичеве вовсе не было, слишком велико было еврейское население (полгорода), погромщиков самих бы разгромили к черту.

А потом «сон золотой» кончился: сначала родители разошлись, но это еще не беда. Вася с матерью жили у богатого дяди, доктора Шеренциса, построившего в Бердичеве мельницу и водокачку. Но пришел 1917-й, богатые стали бедными, а бедные не разбогатели. Гимназия превратилась в школу, которую Вася закончил в 1922 году. И по семейной традиции поехал учиться на химика в Москву, в МГУ на химический факультет. В 1929 году он его закончил и вернулся в Донбасс, где проходил практику. Работал на шахте инженером-химиком, преподавал химию в донецких вузах. Был писанный красавец: высокий, голубоглазый, чернокудрый, с усами, да еще и европеец: мама возила его во Францию, два года он учился в швейцарском лицее. И, конечно, с такими данными он подцепил в Киеве красивую Аню, Анну Петровну Мацук, свою первую жену, которая родила ему дочь Катю (названную в честь матери). Но в шахте Василий Семенович подхватил туберкулез. Надо было уезжать. И в 1933-м он едет в Москву (туда стремились из провинции не только сестры, но и братья), а с женой они в том же году разводятся. Свободен и невидим!

Первый звонок

В это время Гроссман еще наивный марксист-меньшевик в бухаринском стиле. Верит в Ленина и социализм. Во-первых, молодой и зеленый, а во-вторых, наследственность: Семен Осипович, папа, согрешил с марксизмом — на свои деньги организовывал по стране марксистские кружки (на свою, естественно, голову). Его кочевая жизнь (еще ведь и по шахтам ездил, новаторские методы внедрял) и развела его с женой. Но любил он ее до самой смерти, и переписывались они, как нежные любовники. Так что Василий сначала шел налево вместе с веком (уже потом пошел направо, против течения).

В 1934 году он покорила Горького (да зачтется и это старому экстремисту) производственной повестью «Глюкауф»

из жизни инженеров и шахтеров и рассказом «В городе Бердичеве» о Гражданской войне. Это еще, конечно, пустая порода, но крупницы золота там поблескивают. Горький, опытный старатель, велел ему промывать золотишко.

Три года подряд, с 1935-го по 1937-й, он издает рассказы: о бедных евреях, о беременных комиссаршах (почти весь будущий фильм «Комиссар»). Да еще в 1937—1940 годах выходит эпос историко-революционный — «Степан Кольчугин», о революционных (даже слишком) демократах 1905—1917 годов, когда еще можно было веровать в добродетель и «светлое царство социализма», как писал самый старший Гайдар. Ну что ж, это был успех: три сборника, эпос, поездки к Горькому на дачу, а в 1937 году его приняли в Союз писателей. Булгаков Гроссману завидовал, говорил: неужели можно напечатать что-то порядочное? И даже сталинская борона (хотя Сталин его и не любил и регулярно из премиальных списков вычеркивал) Гроссмана не зацепила. Ведь ему помогало литобъединение «Перевал»: Иван Катаев, Борис Губер, Николай Зарудин. В 1937 году «перевальцев» уничтожили почти всех, даже фотокарточек не осталось. А его пронесло.

А ведь незадолго до этого наш красавец и баловень судьбы (как тогда казалось многим) влюбился в жену своего друга Бориса Губера и увел ее из семьи, от мужа и двух мальчиков, Федю и Мишу. А тут аресты, Апокалипсис, Ольгу берут вслед за Борисом как ЧСИР. И здесь Василий Семенович идет на грозу. Забирает к себе Федю и Мишу, едет в НКВД, начинает доказывать, что Ольга уже год как его жена, а вовсе не Бориса. Он отбивал ее год, и случилось чудо: Ольгу ему отдали — тощую, грязную и голодную. Он ее отмыл, откормил и женился на ней. Ольга стала его второй женой. Ольга Михайловна Губер. Федя и Миша стали его детьми. Он сходил за женой в ад, как Орфей, и вернулся живым. Отчаянная смелость и благородство Серебряного века.

А снаряды ложились все ближе: в 1934 году арестовали и выслали его кузину Надю Алмаз, в квартире которой он жил. В 1937 году расстреляли не только «перевальцев»: был расстрелян дядя, доктор Шеренцис. Гроссман не унижался, не подписывал подлые письма, не лизал

сталинские сапоги. Его явно хранило Провидение. Он не должен был погибнуть раньше, чем выполнит свою миссию. У него не было дублера, его симфонию не мог бы сыграть даже солженицынский оркестр.

Гроссман-антифашист

На остатках советского энтузиазма и на врожденном благородстве (не бросать в беде) нестройной, глубоко штатский, забракованный всеми комиссиями Гроссман пробивается в военные корреспонденты газеты «Красная звезда». И оказывается блестящим военным журналистом. Его репортажи бойцы учили наизусть, их вывешивали в Ставке: когда ожидалось наступление или какая-нибудь замысловатая операция, Ставка заказывала в «Красной звезде» Гроссмана. Он писал не по «материалам», он лез в самое пекло, его репортажи пахли порохом, кровью и смертью. Он был словно заговорен: под ноги ему бросили гранату, и она не разорвалась; он один спасся из утопленного снарядами в Волге транспорта; за всю войну он ни разу не был ранен. Его статьи заставляли союзников плакать хорошими слезами и испытывать теплые чувства к Красной армии. Он был личным врагом фашизма, его кровником, он объявил Третьему рейху вендетту. На то была особая причина: 15 сентября 1941 года в Бердичеве в гетто вместе с другими евреями была расстреляна Екатерина Савельевна Витис, его кроткая, образованная, тяжело больная костным туберкулезом мать. Так она и пошла к могильному братскому рву на костылях. Атеист и вольнодумец Гроссман вспомнил о том, что он еврей. Об этом ему напомнили уготованные его народу газовые камеры и печи крематориев. Это был его личный счет. Он становится самым пламенным членом ЕАК — Еврейского антифашистского комитета. Он привлекает массу западных денег и западных сердец. Потом, в 1948 году, это спасет его от ареста и расстрела, когда комитет начнут разгонять, когда убьют Михоэлса.

За участие в Сталинградской битве он получил орден Красной Звезды. На мемориале Мамаева кургана выбиты слова из его очерка «Направление главного удара».

Мемориал не учебник, оттуда слова не выкинешь и надпись не сотрешь. Василий Гроссман стал неприкосновенным и мог просить у Сталина всё что угодно. Но не просил ничего: он ненавидел его. Гроссман даже не обращал внимания на то, что его репортажи часто печатает иностранная пресса и не смеет публиковать советская. Он должен был сокрушить фашизм. Он первым заговорил о Холокосте в книге «Треблинский ад». В 1946 году они с Эренбургом составили «Черную книгу» о горькой участи евреев. Но в антисемитском СССР она долго не выходила, ее опубликовали только в Израиле в 1980 году.

Но вот окончилась война, обет исполнен, фашизм осужден, разбит, вне закона, очерки вошли в книгу «В годы войны», можно почтить на лаврах. Но Василий Семенович дает следующий обет: сокрушить сталинизм. Пока крушил, разобрался в ленинизме и стал крушить советский строй как таковой. В 1946 году он начинает писать первую часть дилогии «За правое дело». Вполголоса, выжимая из себя правдоверность. Но это — бомба без часового механизма. «Семнадцать мгновений весны» без Штирлица. Живой Гитлер, живой Муссолини, живые Кейтель и Йодль. Сталина практически нет, этот злодей всегда казался Гроссману серым, как деревенский валенок. Но это же не семидесятые, а пятидесятые годы, какой там Штирлиц, Сталин еще жив. И начинается ад: вопли критиков, Твардовский резко отказывается печатать роман, роман крошат в капусту, переделывают, трижды меняют название. Но Гроссман не боится ничего: он входил в Майданек, Треблинку и Собибор вместе с войсками, он видел Шоа — Холокост.

Твардовский потом к роману потеплел, а сначала спрашивал у Гроссмана, советский ли он человек. Гроссман пытался признать ошибки, писал Сталину, но унижаться он не умел, получилась угроза: напишу вторую часть, тогда вы увидите, где раки зимуют. Словом, он ждал ареста в том самом марте, когда случилось то, что он так победно провозгласил в самиздатовской, посмертной, «пилотной» ко второй части дилогии «Жизнь и судьба» повести «Всё течет»: «И вдруг пятого марта умер Сталин. Эта смерть вторглась в гигантскую систему механизированного энтузиазма, назначенных по указанию

райкома народного гнева и народной любви. Сталин умер беспланово, без указаний директивных органов. Сталин умер без личного указания самого товарища Сталина. Ликование охватило многомиллионное население лагерей. Колонны заключенных в глубоком мраке шли на работу. Рев океана заглушал лай служебных собак. И вдруг словно свет полярного сияния замерцал по рядам: Сталин умер! Десятки тысяч законвоированных шепотом передавали друг другу: "Подох... подох...", и этот шепот тысяч и тысяч загудел, как ветер. Черная ночь стояла над полярной землей. Но лед на Ледовитом океане был взломан, и океан ревел». Роман вышел, а Гроссман засел за вторую часть.

Индейка и копейка

Вторая часть называлась «Жизнь и судьба». Из нашей плачевной истории XX века нам известно, что судьба — индейка, а жизнь — копейка. Судьба — нечто недоступное, чуждое, праздничное, американское блюдо ко Дню благодарения. Советский работяга не мог не только попробовать индейку, он не мог и увидеть ее — разве что на картинке в дореволюционной книжице «Птичий двор бабушки Татьяны». Индейка падала сверху и била клювом в затылок советских гадких утят. Им не давали времени стать лебедями. А Гроссман успел. Он содрал с себя советский пух, эту мерзкую шкуру, даже семь шкур. Он пел лебединую песню, перекидывался в орла, он ястребом и соколом долбил своих жалких современников. Хищный лебедь-оборотень, птица Феникс, добровольно сгорающая на собственном костре.

А что жизнь — копейка и для Третьего рейха, и для IV Интернационала, знали все, кто ходил под свастикой или под серпом и молотом с красной звездой. Закончив свой потрясающий труд, Гроссман в 1961 году стал штурмовать замерзающие перед ним от ужаса оттепельные редакции. Твардовский прямо спросил: «Ты хочешь, чтобы я положил партбилет?» «Да, хочу», — честно ответил писатель. А ведь он мог жить припеваючи, получать ветеранский паек. Ему дали квартиру в писательском доме

у метро «Аэропорт», чтобы удобнее было следить за его контактами. Из горячих рук НКВД и МГБ он перешел по эстафете в теплые руки КГБ — его недреманное око не выпускало писателя из виду. А у него был один из первых в Москве телевизоров, коллеги ходили посмотреть. И он увел от очередного мужа очередную жену. У Ольги кончились силы, она хотела отдохнуть и пожить для себя, а не носить передачи мужу-декабристу. Она заклинала его сжечь рукопись и даже пыталась отнести ее в КГБ (чистый Оруэлл: «Спасибо, что меня взяли, когда меня еще можно было спасти»). Они с сыном ели Василия Семеновича поедом, и если он не развелся, то из чистого благородства: хотел, чтобы его вдова получала литфондовскую пенсию. Он увел жену у Заболоцкого, Екатерину Васильевну Короткову. Вот она была как раз декабристкой. Они не расписывались, но она скрасила его последние годы, и ей он оставил на хранение рукопись повести «Всё течет».

Дальше начинается чистый триллер. Трусливый Кожевников отдал роман в КГБ. КГБ захлопал крыльями и закудаhtал: такое яичко ему Гроссман помог снести! Ордена, погоны, премии. Гроссмана не арестовали, арестовали роман.

Но коварный Гроссман всех перехитрил. Он заранее припрятал у друзей несколько экземпляров. Сделал вид, что отдал всё, что было, даже забрал у машинисток пару штук. А КГБ устраивал обыски, перекапывал огороды. И это был 1961 оттепельный год! Они поверили, что захватили всё.

Гроссман написал Хрущеву наглое письмо, требовал рукопись назад. Ходил к Сулову, навел тень на плетень. Сулов сказал, что роман опубликуют через 250 лет. Но куда было этим сусликам, шакалам и хорькам до матерого серого волка, вышедшего за флажки! Русские писатели научились писать «в стол», а режиссеры — ставить фильмы «на полку». Платонов считал Гроссмана ангелом. Но наши ангелы не без рогов, они бодаются. Даже с дубом, как теленок Солженицына.

Судьба «Жизни и судьбы» и повести «Всё течет» привела писателя к раку почки. Почку вырезали, метастазы пошли в легкие. Он умирал долго и мучительно, Оля

и Катя ходили к нему по очереди, через день. В бреду ему чудились допросы, и он спрашивал, не предал ли кого. 15 сентября 1964 года он ушел, научившись писать слово «Бог» с заглавной буквы.

А триллер продолжился. Андрей Дмитриевич Сахаров в собственной ванной переснял «Жизнь и судьбу» и «Всё течет» на фотопленку. Владимир Войнович бог знает в каком месте переправил ее на Запад. В 1974 году переправил, и в 1980-м ее напечатали в Лозанне, а в 1983-м — в Париже. В Россию Гроссман вернулся в 1988 году. Вернулся судьей. Книги из нашего скорбного придела — это и был российский Нюрнберг.

Без политических деклараций Гроссман доказал, что фашизм и коммунизм тождественны. Концлагеря шли на концлагеря, застенки воевал против застенка. Гестаповец Лисс называл старого большевика Мостовского своим учителем, советское подполье в немецком концлагере жило по сучьим законам СССР: харизматического лидера пленных майора Ершова суки-подпольщики отправили в Бухенвальд, на верную смерть, потому что он был беспартийный, из раскулаченных. Комиссар Крымов только на Лубянке вспомнил, что помог в 1938-м посадить друга, немецкого коммуниста. С помощью Гроссмана мы совершаем экскурсию в газовую камеру и умираем вместе с хирургом Софьей Осиповной и маленьким Давидом. А потом умираем с тысячами детей, медленно умираем от голода в голодомор на Украине. Это было куда дольше. Гроссман готов простить тех, кто предавал в застенке, но не собирается списывать грехи с тех, кто вместо зернистой икры «боялся получить кетовую». «Подлый, икорный страх». Его вердикт: дети подземелья, весь XX век, и немцы, и русские. Морлоки, уже не люди. Он понял, что свобода не только в Слове, но и в деле: шить сапоги, печь булки, растить свой урожай. Это теперь называется «рыночная экономика». Он понял, что «буржуи», «кулаки», лавочники, середняки были правы. Это тогда только Солженицын понимал. Заговор. Заговор русской литературы против русской чумы.

Нобелевскую премию не дают посмертно, иначе русские писатели и поэты разорили бы Нобелевский комитет.

ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ ДЛЯ ПРИВРАТНИКА ТВАРДОВСКОГО

Храм русской литературы набит битком, и далеко не каждому писателю или поэту достается место на скамье, кусок витража, придел, доля в алтаре, своя икона. Это для Мастеров, мэтров, для звезд. Но кроме звезд в небе крутятся и планеты.

Мы их не видим, это лакомство для астрономов. Наши астрономы — филологи, критики, литературоведы, просто гуманитарии — наблюдают в своих библиотеках-телескопах планету Лескова, планету Степняка-Кравчинского, планету Писемского, планету Гарина-Михайловского, Бондарева, планеты Вячеслава Кондратьева, Константина Симонова, Аркадия Аверченко, Валерия Брюсова. Но мы построили Храм. Храм авторов, на которых молились и будут молиться поколения. Звезды в темном небе над Россией — наше единственное утешение и наше искушение. «А на венчике из звезд православный русский крест». Так сказал Ершов, скрытая от большинства планета. Ну пусть не православный, но все равно он русский.

Христианство было придумано для России. Его непрактичность, его мессианство, его поиски правды на Земле, его рефлексия, его незадачливость и недобычливость, его неумение жить (до появления протестантизма с его этикой и эстетикой) — это как раз наше, русское, когда даже Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович не нажили себе палат каменных, а гонорары вещего Бояна никак не могли бы сравниться с заработками какого-нибудь Филиппа Киркорова или Иосифа Кобзона. Русская литература с ее резкостями, трепетной человечностью, бессребреничеством, отчаянием и вечным иступленным покаянием — она вся оттуда, из катакомб Рима, где чистые и смиренные слушатели св. Петра спасали свои души, осуждая греховный мир

и выходя из катакомб только для того, чтобы обличить «князя мира сего» и затем умереть на арене в когтях льва.

По нашему звездному атласу не видать бы Твардовскому этого Храма. И ничего личного, сияние звезд и отраженный свет планет — это объективно, без споров. Кто помнит из Лескова что-нибудь кроме «Левши», «Тупейного художника» и «Леди Макбет Мценского уезда»? («Гимназистов» и «Студентов» читали пятьдесят лет назад, да и то гуманитарии.) Кто станет сегодня корпеть над невзгодами ученых из «Иду на грозу» Даниила Гранина?

Но при каждом Храме должен быть привратник. Ключи от Храма в своем ведении — это почетно. Ведь это должность св. Петра при Храме Господнем. С 1950-го по 1954-й и с 1958-го по 1970-й, шестнадцать лет, Александр Трифонович Твардовский держал ключи от «Нового мира», преддверия нашего Храма. Он впускал туда Литературу вопреки цензуре, поперек государства, отодвигая локтем вездесущую Софью Власьевну. Если бы не эти ключи в его руках, одну сверхновую звезду мы бы точно не имели: Александра Солженицына. Для Нобелевской премии, для тамиздата, для пути мученика и триумфатора нужна была стартовая площадка. «Новый мир» дал эту площадку и вывел на орбиту Александра Исаевича. Твардовский дрался за него до конца: в него летели дохлые кошки от властей предержавших, от реакционеров, от охотников за «стабильностью»; в него швыряли камни прогрессисты, околордиссиденты, честные пуритане антисоветизма. Он сносил всё, держал на своих плечах журнал и упрямо делал свое дело. Он собрал целую корзину Сталинских премий плюс одну Ленинскую и Государственную, считался номенклатурой, замаливал делами, смелыми и добрыми, совершенный в юности тяжкий грех, был отчаянно несчастлив, сдирав с себя до смертного часа советскую шкуру, пытался залить внутренний пожар водкой: ничего страшного, о его журнале, в «Казанском университете», Евгений Евтушенко сказал: «Честный пьяница все-таки стоит сотни трезвенников-подлецов». Пусть он хранит ключи, он носил их с честью.

Есть фермеры в русских селеньях

Начнем с деда, патриарха рода. Гордей Твардовский был богом войны — артиллеристом, то есть бомбардиром. Служил в Польше, внимательно изучал нравы. Нравы западной губернии ему понравились. Он старался выучить детей, старался внести в деревенский незамысловатый быт долю западного шика. Его сын, Трифон Гордеевич, старался быть достойным прозвища Пан Твардовский, перешедшим к нему от отца. От безземельного бедняка до почтенного кузнеца, хорошего мастера — этот путь он прошел, надсаживаясь на работе, копя деньги по грошику. Наконец-то хватило на взнос в банк, и Пан Твардовский, отец нашего привратника, купил себе 10 десятин скверной земли — с болотцами, березками, ельником. Это была его земля, святая земля, собственная. Так Твардовские стали хуторянами, а землю эту Трифон Гордеевич называл именем.

Были на Руси и при крепостном праве свободные крестьяне, хуторяне, фермеры. Их называли однодворцами. По сути дела, это были будущие «кулаки» — трудолюбивые, рачительные, с проблесками образования, успешные. Трифон Твардовский ходил в шляпе, как никто в деревне, и запрещал ребятам ходить в лаптях. Он очень хотел выбиться в люди. Но жили трудно, и вместо лаптей дети бегали босиком до глубокой осени.

Двадцать первого июня 1910 года там, на хуторе (в имении) Загорье в Смоленской губернии, родился Александр Твардовский. Мать его, Мария Митрофановна, действительно происходила из однодворцев. Каждый грош давался Трифону Гордеевичу потом и слезами, он был self-made man. Насадил яблоневый сад, дождался урожая. Завел корову, лошадь, кур. Работал, как папа Карло, и в кузнице, и в поле, на своей земле. Семья была грамотная и даже начитанная. Детям читали Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Ершова, Никитина и даже А.К.Толстого! Александр стал сочинять стихи (плохие) еще до того, как научился писать. Первым делом малолетний эколог написал про мальчишек — преступных разорителей птичьих

гнезд. Учился Александр в сельской школе, помогал отцу. Трифон Гордеевич верил, что дети умножат его достояние честным трудом, что внуки будут жить богато, в достатке, поступят в университет. Это была наша будущая Европа, это было крестьянство умное, дельное, грамотное, честное, со страшной тягой к знаниям и к цивилизации.

Октябрь поначалу не заметили: ведь на чужую землю Твардовские не зарились, холили свои 10 десятин, и ремесло было в руках.

В 14 лет Александр понес свои вирши Михаилу Исаковскому в газету «Рабочий путь», стал писать туда и заметки. Сельский собкор! Это было модно! И сельский поэт от сохи. Исаковский одобрил и стал помогать. Это тоже было в моде: рабфаки, сельсоветы, селькоры. «Сын пастуха, я знаю край родимый» (дворянин Куприн). Правда, в рассказе «Груня», не от своего имени.

Еще один Павлик

Трифон Гордеевич радовался, что сынок выходит в люди: учится в Учительском институте, живет в Смоленске. Правда, жизнь была полуголодная. Тогда и за хорошие стихи не платили, а у него были плохие. Ремесла он не знал, из деревни решительно ушел. Выучиться значило выжить. Он ведь после Учительского института учился еще и в Московском ИФЛИ — Институте филологии, литературы и истории, а это уже самое лучшее образование для филолога по тем временам.

В 1931 году Твардовский пишет «Путь к социализму»: жуть зеленая про новую деревню, сон Александра Трифоновича, полная поддержка коллективизации, Сталин на белом коне в авангарде. Но тогда многие писали чушь. Кроме Ахматовой и Пастернака с Мандельштамом, осколков Серебряного века.

Семья Твардовских не была религиозна. Новые веяния, новые времена в Шпессарте. А город, большевистский город, быстро выветрил из памяти и сердца юного поэта последние нравственные устои. И когда в 1931 году работающая честная фермерская семья Твардовских была

раскулачена и сослана, их пожалели соседи, которым они щедро помогали, соседи-бедняки (принесли на дорогу хлеба и сала), а не родной сын Александр. Он дал знать отцу и братьям, чтобы они не пытались с ним связаться. И это было не по идейным, как у Павлика Морозова, а чисто по шкурническим соображениям. Твардовский не хотел ставить под удар свою литературную карьеру. Отец не поверил, в такое поверить было нельзя. Через два месяца отец бежал из ссылки и наведаясь к сыну. И Александр донес на него в милицию! Павлику было хотя бы десять лет... А Александру — 21 год. Страна усиленно воспитывала и воспроизводила не помнящих родства, не отвечающих ни за отца, ни за себя Павликов. Всю жизнь Александр Трифонович искупал этот грех. Искупил ли? Это решать им втроем: Трифону Гордеевичу, Александру Трифоновичу и мировому судье по имени Иисус Христос. Нас в присяжные никто не приглашал.

Твардовский идет в ногу

Александр Трифонович живет, как все. Можно сказать, что признаки понимания, просветления и раскаяния появятся через десять лет, в 1941-м. А пока он пишет следующую муру, «Страну Муравию», где только маниакальная тогдашняя критика могла усмотреть крамолу и кулацкие мотивы. Разве что кулацким был пейзаж. Пейзаж на Руси не был охвачен коллективизацией, он остался единоличным и даже хуже того — дворянским, потому что трудно было чем-то заменить Бунина и Тургенева.

С 1934-го по 1936-й Твардовский пишет свою «Муравию» про Сталина на белом коне и прелести коллективного хозяйства. За эту дешевку Сталин в 1941-м выдаст ему Сталинскую премию, и критики прикусят языки. Твардовского той поры читать стыдно, очень стыдно. Я думаю, что он сам себя не перечитывал. В 1938 году он, как абсолютное большинство совписов и совпоэтов, вступает в ВКП(б).

А тут пошли большие события. Твардовский комиссарствует в Западной Белоруссии и до конца жизни не

догадывается, что он поучаствовал в разделе Польши по пакту Молотова—Риббентропа. Дальше в том же качестве он едет на Финскую войну. Ох, не так должен был попасть в Западную Европу пан Твардовский! А об истинной сущности Финской войны до конца своего личного маршрута не догадался не только Твардовский, но и романтик Аркадий Гайдар. Такое было время. А если кто и догадался, то молчал (многие онемели навеки по вчерашний день включительно). «Времена не выбирают, в них живут и умирают»*. А умирать не хотел никто.

Война как мать родна

В 1941—1942 годах Твардовский работает в Воронеже в редакции газеты Юго-Западного фронта «Красная звезда». И вот здесь-то он пишет своего «Василия Теркина», пишет до 1945 года — хватает на всю войну. Простенько, доходчиво, сердечно. Василий Теркин — это Швейк 40-х годов XX века, советский Швейк, только без сатиры, без едкости, без высмеивания милитаристского пафоса. Все-таки Швейка создал свободный европеец Ярослав Гашек, а Австро-Венгрия всё же не СССР. А бессмысленность Первой мировой войны хотя бы после нее разрешено было зафиксировать на бумаге. Но попытка проделать то же с Великой Отечественной или даже просто со Второй мировой была предпринята разве что Владимиром Войновичем (которого за его солдата Чонкина изгнали из страны) или Василем Быковым (писал он много после сталинской эпохи, а самая смелая вещь, «Стужа», вышла уже в перестройку). Антисоветчик Войнович был совершенно свободен от комплексов «защиты социалистического отечества»; майора Пугачева в обработке Варлама Шаламова этих комплексов лишили СМЕРШ и НКВД. Да так, что даже Твардовский не мог Шаламова протащить в «Новый мир». В наши же дни на этой ниве успешно трудится кинематограф (это пошло с Чарли Чаплина, с его «Великого диктатора»). Английские комедии о Питкине или французские о Бабетте, да и мы

* А.Кушнер. — *Прим. ред.*

не ударили лицом в грязь: какой-то вольный стрелок снял «Гитлер, капут!» — блестящую пародию и на Третий рейх, и на СССР, и на американцев.

Но Василий Теркин появился в черно-белые времена, так что там всё было по прописям: «Страшный бой идет, кровавый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле». Теркин был чем-то вроде комиксов, солдатской стенгазеты. Он был не дурак поест и выпить, покурить махорку, поспать «минут шестьсот», он не рвался умирать, хотя и не трусил, он мечтал не об орденах, а о доме и буханке черняшки. Он был свой, простецкий, земля. Его узнавали. Этот комикс был невероятно популярен у солдат, он был культовый, он стал охранной грамотой для Твардовского. Война помогала выживать русской литературе (и даже белорусской и украинской). Что было бы с Гроссманом, Эренбургом, Василем Быковым, если бы они не заработали себе на фронте индульгенцию и охранную грамоту? Все пошли бы в ГУЛАГ сомкнутыми рядами. Война убила Павла Когана, Михаила Кульчицкого и многих других менее известных авторов, но она же давала шансы выжить творческой интеллигенции страны.

Твардовский получает еще одну Сталинскую премию за «Теркина» в 1946 году. Впрочем, «Сталинки» идут косяками. «Дом у дороги» — об ужасном начале войны — написан в 1946-м. В 1947-м — очередная Сталинская премия. Кстати, что такое Сталин, Твардовский понял вполне. В «Теркине» он не упомянут ни разу, как будто его и не было. А идеологии в поэме нет никакой. Бои есть, смерть есть, солдатская доля есть, полуголодный, но неунывающий солдатик есть. А идеологии — нет! Понял Твардовский, что нет смысла воевать за «светлое царство социализма», за раскулачку, за Сталина на белом коне.

Но еще до войны Твардовский успел жениться на милейшей женщине, типичной декабристке, Марии Илларионовне, хранительнице рукописей и очага. У них родились две дочери, Валентина и Ольга. Если бы не общественные бедствия, Твардовский был бы очень счастлив в семье. Увы! 1931 год и преданный отец стучали в его сердце... Но вот рухнуло «идолище поганое», рухнуло в 1953 году, однако страх не ушел. И на смерть тирана поэт пишет опять какую-то ерунду.

Приходит Хрущев вместе с оттепелью, и начинается искупление. Получив в свои руки «Новый мир» на целых четыре года, Твардовский делает подарочек советскому народу: пишет и печатает сатиру «Теркин на том свете». Оказывается, на том свете есть каптотсвет и соцтотсвет. Две системы! Фонтаны, ангелы, нектар, амброзия — это всё у «них». А на советском том свете есть особый отдел, ГУЛАГ, бюрократия, мрачный, бездушный советский строй. И ни глотка воды, ни покоя, ни отдыха, ни ангелов, ни арф, одни чиновники мрачного вида и особисты. Хорошо еще, что Теркин оказался жив и сбежал обратно, наверх. Поэму осудили за «демократические тенденции». Требовали закрытия «Нового мира» по формуле Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». И вот четыре года без журнала, но каменное упорство овладевает Твардовским, и он больше не обращает внимания на брань, она ведь на воротах не виснет.

Искупление

Хрущев, получив бразды, милостиво вернул Твардовскому журнал в 1958 году. Твардовский пишет поэму «За далью — даль» и в 1961 году получает за нее Ленинскую премию (всё пожертвовал на дом культуры у себя в родных краях). И вот в главе «Так это было» рождаются звенящие вечностью слова, слова для Храма, слова нестерпимой ненависти к Сталину и великого торжества от его кончины. «Так это было: четверть века призывом к бою и труду звучало имя человека со словом Родина в ряду. Оно не знало высшей меры, уже вступая в те права, что у людей глубокой веры имеет имя божества. И было попросту привычно, что он сквозь трубочный дымок всё в мире видел самолично и всем заведовал, как бог». И вот последние, послевоенные годы:

Салют! И снова пятилетка.
И всё тесней лучам в венце.
Уже и сам себя нередко
Он в третьем называл лице.

Уже и в келье той кремлевской,
И в новом блеске древних зал
Он сам от плоти стариковской
Себя отдельно созерцал...

Спешил. И всё, казалось, мало.
Уже сомкнулся с Волгой Дон.
Канала только не хватало,
Чтоб с Марса был бы виден он!..

И вот то, что надо бы читать на инаугурациях:

И, видя жизни этой вечер,
Помыслить даже кто бы смог,
Что и в Кремле никто не вечен
И что всему выходит срок...

Но не ударила Царь-пушка,
Не взвыи Царь-колокол в ночи,
Как в час урочный та Старушка
Подобрала свои ключи —

Ко всем дверям, замкам, запорам,
Не зацепив лихих звонков,
И по кремлевским коридорам
Прошла к нему без пропусков.

Вступила в комнату без стука,
Едва заметный знак дала —
И удалилась прочь наука,
Старушке этой сдав дела...

Вот она, плата за звездный билет в Храм.

А «Новый мир» реял над страной, как знамя будущего, на страх реакционерам, сталинистам и Сусловым всех мастей.

Твардовский побыл кандидатом в члены ЦК с 1961 по 1966 год — и выбыл из них. Его душили тихо, в перчатках. Когда ушел Хрущев, судьба журнала была решена. Набор «Круга первого» Солженицына рассыпали, Шаламова не пустили на порог. А Твардовский спасал

Жореса Медведева из психбольницы, от карательной психиатрии, спасал вместе с Тендряковым, всем весом члена (ну кандидата в члены) ЦК КПСС и за это не получил звание «Героя соцтруда». Он правильно понял дело Даниэля и Синявского и загнал за Можай своего милого сподвижника Андрея Дементьева за участие в их травле. Он казнил себя каждый день за эту двойную жизнь, КПСС давно была ему ненавистна, но надо было сохранить журнал. Он страшно пил, его находили в снегу около дачи, он не снимал со стены портрет Сталина — в порядке умерщвления плоти и духа. И вот у него уволили всех замов и назначили ими врагов. Он успел пустить в номер 1970 года «Казанский университет» Евтушенко. Напутствие Софье Власьевне. За что они любили Россию? Он, Твардовский, и он, Евтушенко? «За вечный пугачевский дух в народе, за доблестный гражданский русский стих, за твоего Ульянова Володю, за будущих Ульяновых твоих». Да это и про него тоже, про Твардовского: «Застучали мне мысли под темечком, получилось — я зря им клеймен, и хлещу я березовым веничком по наследию мрачных времен».

Журнал отобрали в 1970-м, а умер Александр Трифонович в 1971-м. Инсульт, молниеносный рак легкого. Он хотел уйти. Одноворец, однолюб, одножурнальник. Ключи вам в руки, Александр Трифонович. И — рекомендацию в рай с подписью от треугольника политзэков.

ПОСЛЕДНИЙ ВСАДНИК АПОКАЛИПСИСА

Мы привыкли к всадникам с картины Дюрера: страшным, не от мира сего, мистическим; ужасна смертельная поступь коня Бледного с соответствующим всадником; убийствен галоп Вороного коня, коня войны и смуты. Никто из нас никогда не видел этих вестников конца времен и, конечно, не увидит: Бога и его свиту видевший — умрет. Бог щадит слабого человека и является ему то в горящем кусте, то вообще закадровым голосом «от автора» (благо, Бог первый и главный автор и есть, а мы только соавторы и наши имена в деле творения — петитом, в сносках: всем спасибо).

Когда Иоанну на Патмосе было дано откровение, он, увидев ужасный свет и Ангела Господня, просто зажмурился и простерся ниц. Всадники Апокалипсиса для нас — это что-то вроде дикой охоты короля Стаха: черные кони, черные всадники, глухие капюшоны, горящие глаза гепардов, факелы...

Никто не ждал, что последний всадник Апокалипсиса явится к нам пешком, с арестантской сумой, в лагерной робе, с номерами, с простецкой внешностью крестьянина-середняка, подстриженный в скобку, под горшок, с реденькой тщедушной бородкой. Никто не ждал, что в руках у него будут не меч и не весы, а торба книг: правда, истина, приговор одной шестой части суши и еще порядочным кускам этой самой суши в виде Китая, Вьетнама, Северной Кореи, Лаоса, будущей Кампучии, одной трети Африки, Кубе и будущим «боливарианским демократиям» и вообще всем, кто попался на коммунистическую удочку и сплясал под социалистическую дудочку безбожных Крысоловов. Последний всадник Апокалипсиса прошел весь крестный путь Иисуса и его Пророков, только без этого баловства, без воскресения из мертвых. Сначала, как водится, его закидали дохлыми кошками. По Лермонтову: «Провозглашать я стал любви и правды чистые ученья: в меня все ближние мои

бросали бешено камня». И дальние зачастую бросали тоже. Потом — недолгая слава, апофеоз, марш победителей. Все якобы приняли христианство. Все якобы строят капитализм. И финал: язычники возвращаются к своим капищам, к своему социализму, к своим кумирам, а если не возвращаются, то притворяются. Церковь и инквизиция сами по себе, а вечно гонимый Христос — сам по себе. То есть высокочтимый Солженицын, изданный, награжденный и включенный в школьную программу, — и Сталин почти с тем же статусом, но, в отличие от Александра Исаевича, претендующий на «имя России» и даже призер этого списка. Полный успех мух как составной части котлет.

Вы уже догадались, что последнего всадника Апокалипсиса, нашего вчерашнего современника, звали Александр Исаевич Солженицын.

Превращение отрока Варфоломея

Солженицын был хорошего рода и абсолютно непролетарского происхождения. Отец, Исаакий Семенович, был работающим и верующим крестьянином с Северного Кавказа. Такой трудовой середняк. Мать, Таисия Захаровна Щербак, была явно из «кулаков», то есть дочерью хозяина богатейшей на Кубани «экономии», хозяйства вроде хутора. Причем начинал он чабаном, а богатства добился собственным умом и трудом. Потом разные «горлохваты» из агитпропа будут писать, что с таким происхождением можно было стать только антисоветчиком. Правильный классовый подход, жаль только, что он не сработал у Саввы Морозова, у кучи восторженных интеллигентов и даже землевладельцев, жертвовавших на динамит, на эсеров, на большевиков и прочие прелести; да и у братьев Ульяновых, интеллектуалов и дворян, и у сестрицы их Аннушки тоже могло бы хватить ума не рубить сук, на котором сидела эта семья и множество других семей в России. Мне тоже, кстати, жалко наших имений в Смоленской губернии (дедушкино дворянское достояние), мукомолен на Волге (с бабушкиной купеческой стороны) и доходных домов пополам с ювелирным магазином в Питере. Своя ноша карман не тянет.

Но родители Солженицына были не просто земледельцами, они учились, получили хорошее образование и познакомились в Москве. В 1914 году патриот Исаакий Солженицын пошел добровольцем на фронт и служил офицером.

Он вернулся живым с войны, но погиб в июне 1918 года на охоте. Маленький Саня был посмертным ребенком, он родился 11 декабря 1918 года. Голод, конфискация и ликвидация стояли у его колыбели. У семьи всё отобрали и выкинули Таисию с младенцем на улицу. В 1924 году мать увезла малыша в Ростов-на-Дону, зарабатывая ему на черствый хлеб чем только можно. В 1926 году Саня пошел в советскую школу (других-то не было), в 1936 году ее закончил. Пришел он в школу отроком Варфоломеем, чистым, светлым, с крестиком на шее. И тут его стали травить и ломать, делая из него Павлика Морозова. Такие «отроки Павлики» в обязательном порядке заменяли сосланных и замученных Варфоломеев. А юный Саня еще и не хотел вступать в пионеры и ходил в церковь.

В конце концов бедного ребенка сломали и сделали (как им показалось) таким, как все. Этой слабости он себе не простил до конца жизни. Это первое бесчестье только усилит будущую ненависть. В конце концов он стал-таки марксистом и в 1936 году вступил в комсомол. Это был единственный путь к образованию, к карьере, к выживанию. Волки за право жить вменяли в обязанность выть семилетним несмышленишам. Учился Саня хорошо, писал эссе, стихи, в десятом классе задумал роман о «революции», которую его заставили полюбить.

В 1936 году Саня поступил в Ростовский университет. Инстинктивно догадываясь, что кормиться в СССР филологией — это очень черная и очень грязная работа, он выбрал себе физико-математический факультет. И правильно сделал: математика спасла его на войне, позволила выжить в заключении, давала много лет верный кусок хлеба, хотя и без масла. В университете Саня учился отлично, был сталинским стипендиатом, много изучал историю и марксизм-ленинизм. (Пригодится для «Ленина в Цюрихе» и «Красного колеса».) В 1941-м он получает свой красный диплом и рекомендацию от университета на должность ассистента вуза или аспиранта.

А параллельно в 1939 году будущий великий писатель поступил на заочное отделение ИФЛИ — Института философии, литературы и истории в Сокольниках, где сейчас немецкий и французский факультеты Иняза (там училась в 1968—1969 годах и я). ИФЛИ был оазисом среди советской казенщины: немного фронды, немного дооктябрьских знаний. Павел Коган тоже учился там. Саня был завзятым энциклопедистом, и театр был ему не чужд: в 1938 году он пытался сдать экзамены в театральную школу Юрия Завадского, но «срезался».

В апреле 1940 года завидный жених, перспективный студент сочетается очень неудачным браком со студенткой Ростовского университета Натальей Решетовской, своей ровесницей, после четырехлетнего романа. И тут началась война.

Продолжение мира

Принято считать, что война — это продолжение политики, то есть мира, другими средствами. Но здесь всё было наоборот, и война продолжила сталинский, советский «мир»: злобный, голодный, оголтелый и фанатичный. Ничего для Солженицына не изменилось: война всегда была вокруг, просто появился немецкий враг вместо врага народа из соседней квартиры, и это было даже как-то симпатичнее и фотогеничнее. Появился выбор: кроме лагерей открылась дорога на Запад, в окопы. Народ наконец-то обрел какую-то ценность, хотя бы в качестве пушечного мяса. Под пулями и снарядами можно было хватануть глоток свободы: Сталин и особы были все-таки дальше, чем фронт и вражеские войска. Но Солженицын вообще, как почти вся молодежь, рвался на фронт. Однако конный обоз и звание рядового его не устроили, и он пробился в артиллерийское училище. Здесь-то и пригодилась математика. Артиллерия давала шансы на жизнь — в отличие от пехоты. И все-таки «боги войны», аристократия. Училище в 1942 году Солженицын закончил лейтенантом. А дальше его дороги легли путями 2-го Белорусского фронта, от Орла до Восточной Пруссии. Воевал умно и храбро, орудия не терял, один

из всех офицеров дивизиона вышел без потерь из окружения, довоевался до звания капитана, полученного уже в июне 1944-го. Были и большие награды, которые дают редко: ордена Красной Звезды и Отечественной войны. Он был скромным героем войны, мог стать и почтенным советским ветераном, но Бог и Судьба хотели сделать его единственным из всех.

Солженицын на фронте учился писать, вел дневники, посылал заметки литераторам в Москву и был одобрен самим Лавреневым. Но чаша сия не была пронесена мимо его уст, и, как это всегда бывает, свершилась не воля боевого капитана, а Божья.

Его университеты

Военная свобода оказалась обманчива: молодые военные забыли об НКВД. Разобравшись кое в чем, Солженицын трансформировался в «твердого ленинца», и они с товарищем с другого фронта, Николаем Виткевичем, переписывались через военную цензуру, кость на чем свет стоит Пахана, то есть Сталина, писали резолюции про «крепостное сталинское право» и открытым текстом собирались создавать после войны подпольную организацию «для восстановления ленинских норм».

Под самую Победу, в феврале 1945 года, оба фронтовика загремели под арест. Командир дивизиона пожал Солженицыну руку при чекистах, а мог бы и заранее предупредить, чтобы капитан ушел к союзникам. Через несколько лет Солженицын так бы и поступил, но в 1945 году он был к этому не готов. Поэтому звонкий боевой капитан, как кролик, поехал в сторону Лубянки и дал себя посадить, за что сам же себя бичевал в «Архипелаге». Всё было как у всех: статья 58, пункты 10 и 11, и восемь лет по ОСО (особое совещание). Математика привела его в шарашку. Тюрьма, но сытая, и работа чистая, под крышей.

А красивая шатенка, жена Наташа, оказалась как многие: в 1948 году предала мужа и заочно развелась с Солженицыным. Сам же он поссорился с начальством шарашки и загремел в Степлаг, особый лагерь

в Экибастузе, на севере Казахстана. Оставалось три года, и он отбыл их на общих работах, «доходил», терял силы, в 1952 году заболел раком, а оперировали его в лагерьной больничке. 13 февраля 1953 года Александр Исаевич был освобожден, получил в ссылке (в том же Казахстане, только в Южном) работу в школе, но в декабре метастазы снова свалили его, и он был направлен в Ташкент на лучевую терапию. Он выжил чудом: опять-таки Бог хранил его. Как все дожившие, тощий, больной, озлобленный, он был освобожден из «вечной ссылки» в 1956 году, а в 1957-м даже реабилитирован.

Он возвращается в жалкую деревню Мильцево Владимирской области преподавать математику (именно в этой деревне стоял Матренин двор — и в реальности, и в рассказе). Наталья, неверная его жена, вернулась к нему в 1956 году, и доверчивый Солженицын ее простил, чтобы она предала его потом вторично.

И вот наконец ему удалось устроиться аж в самой Рязани преподавателем астрономии. Этими этапами и путями-перепутьями ходили многие, но Бог избрал только его одного.

Его война

Шестикрылые серафимы иногда приходят инкогнито и незаметно. Был советский капитан, марксист, а потом не очень смелый арестант, который и под арест пошел безропотно, и бежать из лагеря не пытался, и в шарашке корпел, выживая, и внутрилагерную тюрьму строил. И вдруг и зеницы у него отверзлись, и горний ангелов полет он внял. И он услышал это: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моею, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей!» (Пушкин). В лагере Солженицын понял всё и про Ленина, и про советскую власть, и про свою миссию: сокрушить коммунизм. И он стал героем, подвижником, пророком, и он пошел «на вы»: в пещь огненную. Он стал еще в лагере собирать улики, свидетельства, факты и имена. Он заучивал их, он их шифровал. Он шел на смерть: если бы эти материалы обнаружили, его бы уничтожили.

Он вынес всё это, он выслушал тысячи очевидцев, он узнал всё про этот таинственный Архипелаг ГУЛАГ: «Те, кто едут Архипелагом управлять — попадают туда через училища МВД. Те, кто едут Архипелаг охранять — призываются через военкоматы. А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, те должны пройти непременно и единственно — через арест.

Архипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил дру- гую, включающую страну, он врезался в ее города, навис над ее улицами — и всё ж иные совсем не догадывались, очень многие слышали что-то смутно, только побывав- шие знали всё. Но будто лишившись речи на остро- вах Архипелага, они хранили молчание. Неожиданным поворотом нашей истории кое-что, ничтожно малое, об Архипелаге этом выступило на свет. Но те же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь прими- рительно выставляют ладони: "Не надо!.. Не надо воро- шить прошлое! Кто старое помянет — тому глаз вон!" Однако доканчивает пословица: "А кто забудет — тому два!" Идут десятилетия — и безвозвратно слизывают руб- цы и раны прошлого. Иные острова за это время дрогну- ли, растеклись, полярное море забвения переплескивает над ними. И когда-нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его, и кости его обитателей, вмерзшие в линзу льда, — представлятся неправдоподобным трито- ном» (Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ»).

Из лагеря он вынес в голове заученные пьесы: «Пленники», «Пир победителей»; в ссылке написал пьесу «Республика труда» и роман «В круге первом». Себя он вывел там под именем Глеба Нержина; будущего дисси- дента Льва Копелева, отчаянного коммуниста («По всем кузням исходил, а не кован воротился») — под именем Льва Рубина. Но главный герой «Круга» — это дипло- мат Иннокентий Истомин, идущий, как утлый кораб- лик, на таран страшного броненосца Лубянки, «измен- ник Родины», предупреждающий лохов-американцев (и тщетно отдающий за это жизнь) о том, что советские шпионы (не нашим нынешним чета) выкрали у них секрет атомного оружия.

Но первым залпом станет «Один день Ивана Дени- совича», «Щ-854», история безгласного, неграмотного

зэка — работяги, честного, совестливого мужика, севшего «за окружение». Твардовский пробил публикацию повести, написанной в 1959 году, и «Новый мир» опубликовал этот шедевр в № 11 за 1962 год. Я прочла его в 1967-м, в семнадцать лет, и для меня обрушился мир. Это была звезда Полюнь, и страшная сила этой горечи отравила и море, и сушу, и источники вод; это была комета, возвестившая гибель СССР и крах коммунизма. «Засыпал Шухов вполне удовлетворенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножевкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый. Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов три дня лишних набавлялось...»

Это был первый залп по «Идолищу поганому», а всё остальное пошло прямо в самиздат или тамиздат, в УМСА-Press. Впрочем, из тамиздата Солженицын возвращался как бумеранг. «Один день» был выдвинут на Ленинскую премию за 1964 год, но сила взрыва была слишком велика: наверху началась паника. Премию не дали, и в 1965 году принятый Твардовским в «Новый мир» роман «В круге первом» был уничтожен, рассыпан в наборе. Зато ЦК КПСС издает «Круг» и «Республику труда» вместе с «Пиром победителей», «ДСП» для номенклатуры, для служебного использования. Рукописи изымаются на обысках, но, как водится, не горят.

«Раковый корпус» и «Август четырнадцатого» уплывают «в люди», в самиздат.

В 1967 году закончен титанический труд над «Архипелагом». Его библейская, несовременная мощь («И в Евангелии от Иоанна сказано, что Слово это — Бог». Гумилев) сокрушила западное сознание, и, хотя пал коммунизм от голода и собственной нелепости, одного сильного союзника, Рональда Рейгана (и США), Александр Исаевич раздобыл. А дальше пошли сплошные «звездные войны»: Солженицын бодался с КПСС

как теленок с дубом; писал гневные письма съезду писателей и «вождям СССР»; метал громы и молнии; получал в 1970-м Нобелевскую премию; реабилитировал в пьесах и «Архипелаге» Власова и РОА, ООН и чеченский народ; учил восставать в сценарии «Знают истину танки». Ему дали кров Мстислав Ростропович и Галина Вишневская, его судьбу решало Политбюро. В феврале 1974 года бедные «вожди» арестовали гения и выслали его в ФРГ, к другу гонимых Генриху Бёллю. Только на это их и хватило.

Но уехал он не один. Неверная Наталья, когда муж стал штурмовать Госстрой, опять спасовала. В 1968 году писатель нашел себе другую Наталью, настоящую декабристку, друга и соратника. В 1973 году они поженились, чтобы не расставаться никогда. Наталья Светлова родила писателю трех прекрасных сыновей: Ермолая (1970 год), Игната (1972 год) и Степана (1973 год). Они жили в Цюрихе, потом в Вермонте, в США. Солженицын создал Русский фонд помощи политзаключенным, пустив туда все гонорары за «Архипелаг» и саму Нобелевку; за его книги в ксеро- и фотокопиях давали по семь лет лагерей; он вернулся в этих копиях, уложенных в коробки из-под утюга или торта; он писал неинтересное, но полезное «Красное колесо».

Но пророки призваны обличать, а что делать, не знают даже они. Он призывал нас вернуться в 1913 год, а незнакомый и непонятный ему западный путь отвергал, за что Запад его тотчас же и разлюбил. Это был Пророк только для своего отечества. И то на краткое время, с конца восьмидесятых до середины девяностых.

А дальше я склонна верить, что миссия была окончена, Солженицына оставил Бог, и мы потеряли его не в 2008-м, а в 1989-м, когда выяснилось, что ему больше нечего сказать. Нелепое странствие через всю Россию от Владика и занудство «200 лет вместе» — это была агония. Не будем об этом. Солженицын вечно будет реять над нами. «Ты должен быть гордым, как знамя; ты должен быть острым, как меч; как Данту, подземное пламя должно тебе щеки обжечь» (Брюсов).

КРЕСТ ДЕРЕВЯННЫЙ И ЧУГУННЫЙ

Варлам Шаламов был одним из безымянных персонажей Солженицына; но он вышел из серых колонн, обрел имя, голос, миссию, а миссия его была отлична от миссии великого Александра Исаевича.

Да и такого громадного таланта и истинно библейской одержимости ему не дал Бог. Однако в Храме русской литературы они оказались рядом, в одной мрачной часовне, где по черному крепу разбросаны алые цветы. «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Цвета бездны и крови, отчаяния и мятежа. «В мой кубок с вином льются слезы, но сладок и чист их поток; так с алыми — черные розы вплелись в мой застольный венок. Мой кубок за здоровье немногих, немногих, но верных друзей, друзей неуклончиво строгих в соблазнах изменчивых дней; за здоровье и ближних далеких, далеких, но сердцу родных, и в память друзей одиноких, почивших в могилах немых» (П.Вяземский, «Друзьям»). И Солженицын, и Шаламов равно почитали себя вечными должниками и посланцами этих немых могил и мертвецов с бирками на ноге. Много таких Шаламов провожал в колымскую землю.

Сенека когда-то сказал: будь не проповедником истины, а ее свидетелем. Так вот, миссия Солженицына была сродни миссии Иисуса Христа — провозвестника, проповедника и учителя Истины. А миссия Шаламова — это миссия свидетеля, предтечи: миссия Иоанна Крестителя.

Но Солженицын родился не от Духа Святого и Марии Девы, он пришел из тех же лагерей, и оба писателя жили и творили одновременно, и если Солженицыну дано было вещать для стран, континентов, президентов, парламентов и королей, и кроме креста он удостоился торжественного въезда в Иерусалим, то есть в Вашингтон, и этот новый Рим — Америка — уверовал в его «Архипелаг», как в Нагорную проповедь, то у Варлама Шаламова не было ничего. Ему достался только крест. Сначала

деревянный, на Голгофе, потом чугунный, на кладбище. Ни лавров, ни денег, ни мировой славы, ни триумфа. Солженицын стал одним из мировых кумиров, а Шаламов так и остался зэком. «Облака плывут в Абакан, не спеша плывут облака. Им тепло небось, облакам, а я продрог насквозь, на века!.. До сих пор в глазах — снега наст! До сих пор в ушах — шмона гам!.. Эй, подайте мне ананас и коньячку еще двести грамм!» (Галич). Но на ананасы ему не хватало, не всегда хватало и на коньячок. К тому же, в отличие от Иоанна Крестителя, свидетель Шаламов поссорился с Пророком и от переписки перешел к обвинениям. В суетности, в самозванстве, в пиаре, в мировой славе, в зазнайстве, в нескромности. Словом, в том, что он Пророк. Шаламов любил повторять, что кроме десяти заповедей есть еще и одиннадцатая: никого ничему не учить. Но миссия Пророка — учить.

Впрочем, Солженицын не обиделся на своего свидетеля. Он готов был и материально помочь, много раз предлагал. И не только Шаламову. Шаламов не взял ничего. Судьба оказалась милостива к Солженицыну и немилостива к нему. Не все способны такое простить. Ведь и Домбровский считал Шаламова первым среди «лагерных» писателей, вторым он назвал себя, а Солженицына — только третьим. Человечество и Нобелевский комитет решили иначе. Но Шаламов видел то, чего, к счастью для него, не увидел Солженицын. Шаламова загнали на другую планету, на Колыму. Там он увидел, как люди перестают быть людьми. Массово, бригадами, бараками, лагерями. Голод, золотые прииски, непосильный труд и непосильный холод — всё это не позволяет сохранить в себе человека. Солженицын был в Круге первом, ну во втором, в третьем. Шаламов был на Колыме: в девятом Круге Ада. Это было слишком страшно и слишком безнадежно. Ни один колымский рассказ не прошел в печать до перестройки, и единственный урок, который можно из шаламовских рассказов извлечь, это терцина Данте: «Входящие, оставьте упования». Словом, не надо попадать на Колыму. Это конец не только жизни. Сначала приходит конец человеческой сущности и человеческой личности. Душа умрет раньше тела.

Солженицын писал, что у вольняшки нет души, что душа есть только у зэка. Но это в первом Круге.

Шаламов доказал, что и у эка нет души, ее отнимают. У него СССР населен мертвыми душами, причем по обе стороны колючей проволоки.

Перманентный революционер

Варлам Шаламов родился в старинном русском городе Вологде в июне 1907 года, в патриархальной и степенной семье священника Тихона Николаевича Шаламова. Мать его, попадьа Надежда Александровна, была смиренной и набожной матушкой-домохозяйкой. В отличие от Солженицына, родившегося во время Смуты, в 1918 году, маленькому Варламу было отпущено десять счастливых лет нормальной человеческой жизни. В 1914 году он даже успел поступить в гимназию, но кончать пришлось уже школу второй ступени с клеймом «поповский сын». Семья сразу стала голодной и гонимой, храм закрыли, комсомольцы ходили по улицам Вологды с песнями: «Мы на небо залезем, разгоним всех богов». Семью кормили прихожанки, сердобольные старушки. Но скоро кормить стало нечем и им... Служил Тихон Николаевич тайно, ночью, у себя в домишке, но когда его уплотнили, это стало слишком опасным. Однако маленький Варлам не проникся сочувствием к гонимой религии и рос совершенным безбожником, хотя и увальнем. Качеств лидера и силача в нем не было, и он страшно завидовал старшему брату Сергею, любимцу всей семьи, красавцу, предводителю вологодских мальчишек. «Это брат Сережки Шаламова», — говорили обидчикам Варлама, и обидчики стусевывались. За эту зависть Шаламов потом корил себя: Сережа погиб в 22 года.

В 1924 году юный Варлам уезжает в Москву. А что писать в анкетах? Сын попа? Он идет на кожевенный завод дубильщиком, был тогда в подмосковном Кунцево такой завод. Рабочий — и никаких придинок, никаких вопросов. Завод дает ему направление на учебу в Московский текстильный институт уже в 1926 году. Два года рабочего стажа — и Варлам на первом курсе. А тут объявляют свободный набор на факультет советского права в МГУ. У рабочих — приоритет. И Шаламов, конечно, выбирает МГУ. Но юноша — пламенный революционер, «твердый

ленинец», у него в голове марксизм, ленинизм, троцкизм. Его идеал — народовольцы. Очень хочется служить народу, очень хочется отдать жизнь. Случай представился очень скоро. Под народовольцев подходили троцкисты. Троцкий, выгнанный и гонимый, казался чем-то вроде Гарибальди или будущего Че Гевары. Словом, карбонарий. И кандидат на роль тирана, супостата, узурпатора тоже вышел на финишную прямую. Сталин Иосиф Виссарионович. Шаламов, совсем еще молодой и зеленый, но уже достаточно образованный, пошел в троцкисты не из любви к Льву Давыдовичу, а из ненависти к Сталину-узурпатору, на фоне которого покойный Ленин (он упокоился, когда Варламу было всего 16 лет) в воспоминаниях и юных, и матерых большевиков сходил за демократа, в чем Владимир Ильич был ни сном ни духом не виноват. Ведь Варлам Шаламов, троцкисты и прочие еретики, а также просто безвинные коммунисты и беспартийные большевики не успели посидеть на Соловках вместе с дворянами и «лишенцами», и им казалось, что тиранья началась с их личных неприятностей в тридцатые годы.

Но такой выбор все-таки свидетельствовал о некотором боевом духе и не до конца растоптанном гражданском достоинстве. Далеко не каждый шел в подпольщики или революционеры в 1927 году, после десяти лет красного террора. Так что 1:0 в пользу юного Варлама, который в 20 лет пошел на демонстрацию оппозиции к десятилетию Октября. Лозунги были крутые: «Долой Сталина!» и «Выполним завещание Ленина!» (то есть отстраним Сталина от власти). В 20 лет такие лозунги пьянят, как шампанское. Но шампанское было поздно пить — почки и у страны, и у компартии уже отвалились. Увы, в 19 лет не считаются с неизбежным. Если есть драйв. А он у задиры Шаламова был. Он и в журнал «Новый ЛЕФ» ходил, в кружок для начинающих. А дальше — подполье. Хоть один (впервые после Гумилева) литератор стал не жертвенным агнцем, а попытался бороться.

Девятнадцатого февраля 1929 года 22-летнего карбонария арестовывают прямо в подпольной типографии при печатании листовок под названием «Завещание Ленина». Мол, Ленин начал бороться со Сталиным, а мы продолжим. В 1927 году за это давали три года лагерей. Из

Бутырок подпольщика отправили в Вишерский лагерь (Северный Урал). Там он строил Березниковский химкомбинат под руководством чекиста Берзина, отметившегося и в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына. Будущий начальник колымского Дальстроя! Они еще увидятся на Колыме. Но нет худа без добра: в лагере он встречает Галю Гудзь, то есть Галину Игнатьевну, верную, добрую, покорную. Но этот первый срок будущего писателя был детским. Строили химкомбинат. Почти что «химия». И даже в правах восстановили.

В 1932 году Шаламову позволили вернуться в Москву. В МГУ он не мог пойти, но стал зарабатывать деньги в профсоюзных журналах «За ударничество» и «За овладение техникой». Родители Варлама, нищие, затравленные, немощные (отец ослеп), очень быстро умирают, к счастью, дома. Дожить при советской власти, при Сталине до 65 лет и умереть в своей постели — это редкое везение. Отец ушел в 1933 году, мать пережила его на полтора года. В декабре 1934-го Шаламов остается сиротой. Ему всего 27 лет, но один срок он уже отбыл. Слава богу, в июне 1934 года они с черноглазой Галиной Игнатьевной Гудзь поженились. В 1935 году у них родилась дочь Лена. А ведь познакомил их Вишерский лагерь. Приехала навестить арестованного мужа — и встретила Шаламова. Голубоглазого, властного, образованного, пламенного революционера. Влюбилась по уши. Дождалась мужа. Расстались по-хорошему.

Во глубине колымских руд

После первого срока весь троцкизм с бедного Шаламова соскочил. Срок был детский, и Урал — не Колыма, и 1927 год — еще не самое свирепое время. Кормили, не били. Никто не умер рядом с юным Варламом. Но это была только сталинская «закусочка». «Обед» был впереди. Живет Шаламов тихо, работает в журнале «За промышленные кадры». Те еще журнальчики издавались в двадцатые—тридцатые годы. По сравнению с ними наши «Работница» и «Крестьянка» просто «Вог» и «Пари матч». И вот в 1936 году Шаламов запускает в престижный журнал «Октябрь» первую новеллу — «Три смерти

доктора Аугустино» (слабенькая, но лиха беда начало). Шесть лет жизни на свободе — это был целый капитал. О Сталине он продолжал думать плохо, но про себя. Жена, дочь, работа. Но крест и крестные муки были необходимым этапом для рождения из пылкого мальчишки большого писателя. Великая русская литература вымощена сломанными жизнями несчастных российских литераторов: спившихся, свихнувшихся, посаженных, замученных, застреленных, умерших в нищете, сгоревших от чахотки, отравленных, как Горький.

Тринадцатого января 1937 года государство, так и не простившее юному романтику лозунга «Долой Сталина!», обратит на него свои свиные очи. Арест за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Опять Бутырки. Теперь уже ОСО, особое совещание, осуждает его на пятнадцать лет с использованием на тяжелых работах. И вот теперь он попадет в Магадан. «Колыма, Колыма, странная планета, двенадцать месяцев зима, а остальное — лето!» Он не вернется. Через много-много лет вернется затравленный волк, не потерявший доброты (что уже чудо), но потерявший всякое доверие к миру; профи, матерый зэк, оставшийся человеком в Аду, но научившийся тому, что человек знать и уметь не должен. Райская птица Осип Манделштам не мог выжить там. Великий поэт погиб очень быстро. Шаламов выжил, но так и не освободился. Снятые с ватника номера остались у него в душе, тогда как Солженицын сумел оправиться (мало сидел и не на Колыме) и парил, как гордый Буревестник, над седой от былых бурь равниной застоя.

Шаламова страшно покалечило, переломало. Мясорубка-с... И Бог ему не помог, он не верил в Бога, как Александр Исаевич. Он попал в ужасные золотые забои, он видел трупы в снегу, он «доходил», он страшно голодал; Голгофа не кончалась, смерть не пришла, а в мае 1943-го такие же голодные доходяги донесли на него: он хвалил великого Бунина, «антисоветчика» для закованного в сталинские оковы СССР. Вот вам и «антисоветские высказывания».

Двадцать второго июня 1943 года зэка снова судят в поселке Ягодное. АСА. Антисоветская агитация. Десять лет. В том мире, в котором он оказался, свободными были только облака. «Облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму, и не нужен им адвокат, им амнистия — ни к чему» (Галич). Осенью 1945 года он пытался бежать.

Бежать было некуда. С Колымы не убегали. А на штрафных приисках умирали быстро. Особенно несчастные Иваны Ивановичи, интеллигенты. Будущего писателя спасает врач А.М.Пантюхов. Он отправляет полумертвого Шаламова на курсы фельдшеров в лагерную больницу возле Магадана. Это было спасение, это было посвящение в сан «придурка», это была еда, это было тепло, работа под крышей, жизнь вдалеке от зверств, произвола воров, нечеловеческого холода, непосильного труда, злобных надзирателей. Доктор спас для России Шаламова, чтобы она ужаснулась «Колымским рассказам».

В 1951 году, в октябре, срок кончается. Но надо зарабатывать деньги на дорогу, и он работает вольным фельдшером в ледяных якутских поселках. Два долгих года. Летом 1950 года Шаламов стал писать стихи. И вот теперь, через посредников, он сумел переслать их Пастернаку, покровителю и другу всех эзков-литераторов и их детей. Кудрявый нянь. Великий поэт с великим сердцем. Ася Цветаева, сама Марина, Мандельштам, его жена, Шаламов — он помогал всем. И деньгами тоже! Он угадал талант Шаламова. Они переписывались.

В 1953 году, уже в ноябре, Варлам Тихонович возвращается в Москву. Его ждет самое страшное — предательство. Сначала Галина писала ему по двести писем в год, слала посылки. Потом ее саму сослали в Чарджоу, в том же 1937 году (жена «врага народа»). Уехать удалось только в 1946-м. Дочь Елена писала в анкетах, что отец умер, училась в институте, вступила в комсомол. Шаламов не имел права жить в Москве, жена даже не дала ему переночевать — боялась. Он уехал в Тверь (тогда Калинин). Опять переписка, опять страх жены. А он писал «Колымские рассказы», выполнял свое высшее предназначение. Галя хотела пожить «для себя». Он ответил стихами: «Твоей — и то не хватит силы, чтобы забыть, в конце концов, глухие братские могилы моих нетленных мертвецов». В 1954 году он разведется с Галиной. Она не стала ни Натали, ни Трубецкой, ни Волконской, ни даже няней Ариной Родионовной. Шаламов всё делал сплеча, без компромиссов и полутонов.

И вот 1956 год, реабилитация, Москва. Сгоряча он сошелся с О.С.Неклюдовой. Они поженились. Ничего хорошего не вышло, через десять лет развелись.

«Знамя» публикует его стихи в 1957 году, журнал «Москва» дает работу. Потом работу даст «Новый мир». В 1961 году выходит первая книга стихов «Огниво», в 1964-м — вторая, «Шелест листьев». И всё. Кран закрылся. Твардовский не смог протолкнуть хоть один из «Колымских рассказов». Это было слишком страшно.

В 1958 году Шаламов тяжело заболел. Болезнь Менъера. Он еле выжил. Бог послал ему ангела-утешителя после развода с Неклюдовой — Ирину Сиротинскую, сотрудницу Госархива литературы и искусства. У нее были трое детей и муж, но она любила Шаламова, как дочь. В конце концов она осталась его последним другом, последней утешительницей. Ведь его любимую кошку Муху убили злые люди в 1965 году. Отняли последнее. Он жену меньше любил, чем эту кошку.

Свои рассказы он считал «пощечиной сталинизму». «Короткой, звонкой пощечиной». Но их опубликуют уже после его смерти. На родине, в России. На Западе тоже получится не по-человечески. Осудив за отказ от Нобелевской премии своего благодетеля Пастернака (ввел в литературные круги, обеспечил издание стихов), он сам попадает в такую же ситуацию, даже хуже. «Посев» начинает публикацию «Колымских рассказов» в 1972 году. Сломленный Колымой Шаламов напишет постыдное письмо (не лучше пастернаковских молитв) в «Литературную газету», протестуя против этих публикаций. Зэк всегда неправ, нельзя идти на конфликт с вертухаями, «кумом», «хозяином» зоны. Шаг в сторону «Посева» считается побегом. Конвой с Лубянки открывает огонь без предупреждения.

В СССР ломали всех. Несломленным ушел только Гумилев. Один со всего Парнаса. В 1972 году Шаламова примут в Союз писателей, но не напечатают ни одного рассказа.

В 1977 году представят к ордену «Знак почета», но не дадут даже медали. В 1978 году в Лондоне выйдет целая книга «Колымских рассказов». Но он не увидит ни книги, ни денег. Не спросили разрешения и не заплатили.

Шаламов почти теряет слух и зрение, болезнь Менъера делает его парализиком. Друзья устраивают его в писательский пансионат для престарелых и инвалидов. С 1979 по 1981 год он доживает там. Верная Ирина навещает его,

пытается привести семью. Но Галина после инсульта, она не может помочь, а дочь Елена просто отрекается от отца. В 1980 году ПЕН-клуб присуждает ему премию, но и этих денег он не увидит. Он не жалуется, в полубреду он снова становится эком. В интернате тепло, хорошо кормят. Он съедает всё сразу, чтобы не отняли. А потом инсульт, и равнодушная комиссия приговаривает его к пансионату для психохроников. Это случилось 14 января 1982 года. Но, к счастью, его простудили по дороге, и 17 января он умер от крупозного воспаления легких. Хоть в этом судьба была к нему милосердна.

Завещание лейтенанта Шаламова

Из рассказов Варлама Шаламова мы узнали то, что лучше не знать: про то, что последнее чувство, остающееся в человеке, — злоба; про людоедство; про то, что человек выносливее лошади. Но главное — это его завет никогда не лезть в начальство, чтобы, умирая, товарищи проклинали не тебя, ибо бригадир — невольный палач бригады. И если поискать в «Колымских рассказах» завещание, то это, конечно, «Последний бой майора Пугачева». Бежать, захватив оружие, сражаться до последнего патрона, сложить на воле, отстреливаясь, но не за колючей проволокой. Варлам Шаламов пошел бы к майору Пугачеву лейтенантом, но они в этой жизни не встретились.

А в стихах есть завещание покруче. Речь вроде бы о рыбе, идущей на нерест. Отложить икру и умереть. Биология. Но это не о рыбе, а о русской интеллигенции: исполнить свой долг, сказать свое слово, спасти страну, без ропота и жалоб, не оглядываясь назад и не забегая вперед. Веками. Тысячелетиями. Как кета.

И мимо трупов в русло
Плывут живых ряды.
На нерест судеб русских,
На зов судьбы-беды.

ФЛИБУСТЬЕРЫ И АВАНТЮРИСТЫ

Больше семидесяти лет назад, 22 июня 1941 года, потерянное поколение восемнадцати- и двадцатилетних вплоть до тридцати, поколение, у которого не было ничего: ни джинсов, ни гитар, ни свободы, ни дискотек, ни путешествий, ни приличной выпивки, ни приличной еды, ни комфорта, ни даже будущего, получило свой шанс на достойную жизнь.

Только надо было заплатить за входной билет. Платили жизнью. Русская рулетка. Выжили немногие. Юрий Левитанский выжил, а Павел Коган — нет. Жить с этой родиной было страшно. Умирать за родину было красиво, интересно, престижно. Недаром так хотел умереть Аркадий Гайдар. Он ведь даже от эвакуации на самолете отказался.

Единственной свободной территорией в СССР был фронт. Только там можно было не быть «дрожащей тварью». Лучше всех это понял Михаил Светлов, еще один военный поэт. «Я жду приказания штаба, когда в перекрестном огне оружие выдадут храбрым, и в первую очередь — мне!» Ни Павел Коган, ни Юрий Левитанский не воевали ни за Сталина, ни за власть Советов. Они, похоже, и родину имели не такую, как весь советский народ. СССР они старались не замечать. Но надо было воевать, чтобы состояться как личность, ибо романтика существует только для настоящих мужчин. И поэзия — тоже. Сколько ты стоишь, определяется только в бою. А с кем и за что — это не важно.

У американского фантаста Хайнлайна есть роман «Звездный десант». Есть и два фильма, экранизации. В далеком будущем на Земле свое право на гражданство, на занятия политикой, на преподавание истории зарабатывают в битве за Галактику, на военной службе, сражаясь с негуманоидами — жуками, жуткими монстрами. Человеческая полноценность проверяется войной.

Правда, жуки вселились в иных людей и уже водятся и на Земле, но все равно — герои Федерации становятся героями в бою. А фашисты чем не жуки?

Павел Коган не успел узнать, что жуки сидели и за Кремлевской стеной. Юрий Левитанский успел и перед смертью еще раз бросил им вызов. Но оба стали героями, фашистов на обоих хватило. Мужчина должен найти своего жука. И Павел Коган, и Юрий Левитанский нашли себе место в нашем Храме там, где висит изображение Архангела Михаила, поборающего Дракона. Михаил Архистратиг, Георгий Победоносец — святые-воители. Именно они олицетворяют военных поэтов.

Как там у Михаила Светлова: «Прощайте, родные, прощайте, друзья, — "Гренада, Гренада, Гренада моя!"». Похоже, что и Светлов жил не в СССР и бился не за него. Найди своего жука и свою Гренаду — и ты состоишься как человек.

И Юрий Левитанский, и Павел Коган учились в ИФЛИ. Оба бегали на семинары к Илье Сельвинскому в Литературный институт имени Горького. И там они встречали совсем юного Михаила Кульчицкого, поэта, который не вернулся. Но он успел сказать то, что надо обрести поэту, гражданину... и флибустьеру, то, что стоит высечь в бронзе под иконой Георгия Победоносца: «На бойцах и пуговицы вроде чешуи тяжелых орденов. Не до ордена. Была бы Родина с ежедневными Бородино». Опять не СССР — Россия. Поэты не жили в СССР, они пробивались в Россию, которой было не видно и не слышно, которую опустили на дно, как град Китеж, которую надо было искать, как Шамбалу. Перманентное Бородино — это круто. Вот она, скандинавская традиция в чистом виде, вот они, потомки викингов и варягов. Чертоги Одина, где герои днем сражаются, а вечером пируют и пьют вино из черепа врага.

Вы не забыли, что «русский» в переводе со скандинавских древних наречий означает «человек копья», «воин»? Вечная гусарская баллада русских поэтов, от Лермонтова и Гумилева до Левитанского и Когана: «Нет в мире выше доли: любить, мечтать и петь, и на родном приволье, сражаясь, умереть!»

ЧЕЛОВЕК ФЛИНТА

Павел Давидович Коган не дожил до своей биографии, но предвосхитил и сэра Толкиена с его Валинором, и шестидесятые с их бардами и КСП. Он родился в 1918 году в Киеве. В 1922 году семья переехала в Москву, в коттеджный поселок от Комиссариата финансов у Белорусского вокзала. Кроме бухгалтеров и счетоводов там было полно извозчиков и цыган. А в соседний дом въехал Жора Лепский, начинающий композитор, который еще тогда умел подбирать мелодии по слуху. Мальчики подружились, и именно Жора в 1937 году напишет музыку к когановской «Бригантине».

В 1936 году Павел поступает в ИФЛИ, который котируется выше МГУ. В этом здании около Сокольнических прудов учились будущие гении, поэты, небожители, а потом поселился мой Иняз, французский и немецкий факультеты. Мы, студенты шестидесятых, ходили там, как по музею, тем более что сохранились экспонаты в виде преподавателей. А в Литинституте Павел учился параллельно.

К Сельвинскому на семинар ходили кроме трех мушкетеров Михаила Кульчицкого, Юрия Левитанского и Павла Когана еще Сергей Наровчатов и Давид Самойлов.

Павел Коган знал, что живет в страшном, жестоком мире, мире чисток, политических процессов, ГУЛАГа. Это был чужой ему мир. Он знал, что надо уйти. К реке, в лес, подальше от Красной площади. Жечь костры, петь, вести жизнь траппера, путешественника, Иного. Он еще школьником исходил Центральную Россию, даже в Армении побывал с геологической экспедицией. Он был как рыба, вытщенная из воды. «И пойду, чтоб вдыхать этот воздух, чтоб метаться и тосковать. Я, наверно, родился поздно или рано. Мне — не понять». У этого юноши не было иллюзий и надежд: «Но людям Родины единой, едва ли им дано понять, какая иногда рутина вела нас жить и умирать». И заметьте, что этот поэт, этот лейтенант, то есть поручик, любит родину такой же

странной любовью, как поручик Лермонтов (только тот все-таки дожил до двадцати семи лет, а Павел Коган — только до двадцати четырех). «И где еще найдешь такие березы, как в моем краю! Я б сдох, как пес, от ностальгии в любом кокосовом краю». Опять-таки березы, а не серп и молот, красное знамя и индустриализация. Павел Коган был гражданином страны Гринландия с ее Лиссом, Зурбаганом и Гель-Гью, с ее капитаном Дюком, с ее шхунами «Марианна» и «Бегущая по волнам». Он просил у Грина политического убежища, и Грин его предоставил.

Павел знал, что должен рано уйти, что ему надо умереть, пока есть возможность «самому выбирать свою смерть». Конечно, он был диссидентом, но тогда нельзя было уйти даже на кухню, брали и оттуда, не было права уклониться от обязательных присяг.

Но сначала он должен был сказать, зашифровать свой приговор веку, кинуть в бутылку стиха, пустить в реку поэзии. Чтобы не поняли «Они». Чтобы поняли «Мы». Он это сделал в двух стихотворениях, но не понял никто. Мы откупориваем бутылку впервые. А ведь в стихотворении номер один Павел, который с детства не любил овал и с детства угол рисовал (но только не пятый, советский угол, а в нем-то и приходилось жить), зашифровал всю советскую эпоху; снял скальп и прибил над дверью, как тотем. Вплоть до Августа 1991-го, когда эпоха сдохла без покаяния. «Мы кончены. Мы отступили. Пересчитаем раны и трофеи. Мы пили водку, пили "ерофеич", но настоящего вина не пили. Авантюристы, мы искали подвиг, мечтатели, мы бредили боями, а век велел — на выгребные ямы! А век командовал: "В шеренги по два!"». И опять, как когда-то у Блока, роковое решение уйти, стусеваться, уступить «прогрессу». Да уж, прогресс! «Железный конь идет на смену крестьянской лошадке». Привет от Ильфа и Петрова. Лучше бы России остаться при лошадках, а таким, как Павел, уплыть на лодке, на шлюпке, на бригантине, не уступать свое право на жизнь, выжить, как Набоков, как Бунин, как Мережковский с Гиппиус. Литература экстерриториальна. Но он решил иначе. «Я понимаю всё. И я не спору. Высокий век идет высоким трактом. Я говорю: "Да здравствует история!" — И головою падаю под трактор».

Война давала шанс уйти красиво. На фронт Павла не брали из-за хлипкого здоровья (это вам не XXI век, когда в мирное время гребут слепых, глухих и безногих). Он нашел способ: поступил на курсы военных переводчиков. Лейтенант Коган дослужился до помощника начштаба по разведке целого полка! 23 сентября 1942 года на сопке Сахарная Голова под Новороссийском он возглавил поиск разведчиков. Только вот странно: выжившие в том бою видели, как он шел под пули в полный рост. По Гумилеву: «...И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!» Его «Бригантина» осталась для всех бардов, каэспэшников, бородачей в свитере, которые уходили из городов в горы и леса, сплавлялись по рекам, играли на гитаре и жгли костры. Жили и пели вне государства. Отсюда все: и Кукин, и Городницкий. «Пьем за яростных, за непохожих, за презревших грошевой уют. Вьется по ветру “Веселый Роджер“, люди Флинта песенку поют».

С подачи Павла я лет до пятнадцати хотела стать пиратом... Ясное дело, что пираты Когана не грабили и не убивали, а просто, по Толкиену, «становились на прямой путь», уходили с земного круга и, как Фродо и Бильбо, попадали вместе с эльфами и валарами в Валинор, в чистые воды блаженных, к островам Эрессэа.

Павел Коган стал Гэндальфом для нескольких поколений, от сороковых до восьмидесятых. Это и сейчас никому не заказано! Скажите только пароль: «И в беде, и в радости, и в горе, только чуточку прищурь глаза — в флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса». Его спели раньше, чем издали. Стихи Павла Когана пошли в печать только в оттепель, в 1960 году.

ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ

Юрию Давидовичу Левитанскому была суждена куда более долгая и счастливая жизнь. Он был поэтом другого рода, Фаустом, аналитиком; мир, даже советский, не мог его достать. Он о нем и не писал. Он просто ходил сквозь стены, парады, вопли, знамена, идеологию. Частная, почти западная жизнь. Он делал вылазки, когда надо было плюнуть в очередную ветряную мельницу. Но не в поэзии, нет! В житейской прозе. В свою поэтическую метафизику он внешний мир не пускал. Он был похож на Хема: свитер, трубка, насмешки, вино, независимость. Но на этом сходство и кончается. Хем лез в политику, да еще и в левую, пытался сражаться против Франко (пил на республиканской стороне, курил на ней трубку, имел там друзей и писал «за нее»), водился с Фиделем. А Левитанский не лез. По Евтушенко: «Скучно повторять за трепачами, скучно говорить наоборот». Он твердо знал одно: поэт не должен клеиться к власти. Он, что в России нечасто случается, был очень европейским поэтом: умным, тонким, печальным, глубоким, без пафоса. Германия, Балтия постоянно присутствуют в его стихах. Где-то его можно назвать русским Рильке. Он был мудрым и усталым с молодых ногтей. В бригадины не верил, но боцманом служил, фигурально выражаясь. Он спокойно и со вкусом жил до 74 лет. Как Сократ. И вопросов у него было больше, чем ответов. Меньше всего он походил на поэта-фронтовика. Он был очень нестроевым, Юрий Давидович Левитанский.

До свидания, мальчики, мальчики

Юрий Левитанский родился 22 января 1922 года на Украине, в городе Козелец. Потом семья переехала в Киев, а после отец-инженер получил работу на шахте в Донецке (тогда Сталино, представляете?). Учился в украинской

школе, пытался печататься в донбасских газетах, но только не про «даешь угля!». Он был на четыре года моложе Павла Когана. В 1939 году отличник Юрий Левитанский едет в Москву и поступает в тот же ИФЛИ. Он успел перейти на третий курс, у него «бронь». Но вместе с другими ифлийцами он встает в очередь и берет приступом военкомат. Поколение поручиков и лейтенантов. Был пулеметчиком, участвовал в обороне Москвы (хорошо, что хоть с пулеметом, а не с голыми руками, как ополченцы). А дальше было всё: Северо-Западный, Степной и 2-й Украинский фронты, битва на Курской дуге, взятие Харькова, форсирование Днестра, Днестра, Прута. Дошел до Чехословакии, стал лейтенантом и корреспондентом фронтовой газеты («Жил ты или помер, главное, чтоб в номер, материал успел ты передать... А на остальное — наплевать!..»). Успел поехать в Монголии с японской Квантунской армией и форсировал хребет Большого Хингана. Получил кучу наград: ордена Красной Звезды и Отечественной войны, множество медалей. Никогда ничего не вспоминал, никому не рассказывал и мне говорил, что его поколение — люди «поконченные», непригодные для поставгустовской жизни, отравленные советскостью и сталинщиной, как фосгеном.

Он стряхнул с себя войну, как плащ-палатку. А воином он был по природе. От войны у него осталась одна баллада: «Ну что с того, что я там был? Я был давно. Я всё забыл. Не помню дней, не помню дат. Ни тех форсированных рек. — Я неопознанный солдат. Я рядовой. Я имярек. Я меткой пули недолет. Я лед кровавый в январе. Я прочно впаян в этот лед — я в нем, как мушка в янтаре». Впрочем, и он, и погибший Павел Коган, и Михаил Светлов, и Булат Окуджава, и Давид Самойлов, и Михаил Кульчицкий навсегда остались мальчишками, и мертвые, и живые. И Юрий Давидович написал им Реквием: «Мундиры, ментики, нашивки, эполеты. А век так короток — Господь не приведи. Мальчишки, умницы, российские поэты, провидцы в двадцать и пророки к тридцати... Как первый гром над поредевшими лесами, как элегическая майская гроза, звенят над нашими с тобою голосами почти мальчишеские эти голоса. Ах, танец бальный, отголосок погребальный, посмертной маски полудетские черты. Гусар, поручик, дерзкий юноша опальный, с мятежным

демоном сходящийся на ты»... Поручика Лермонтова и декабристов Левитанский зачислил в свой полк. Генералы 1812-го и лейтенанты 1941-го...

Следует жить

После демобилизации Юрий осел в Иркутске. Там вышел первый сборник его стихов. 1948 год, «Солдатская дорожка». Потом их выйдет еще двадцать три, вплоть до последнего, «Черно-белое кино» (2005). В Иркутске Левитанский начал работать в Театре музкомедии, и не случайно: он был очень музыкален, он писал стихи о музыке, он ложился на музыку, и его стихи часто пели Никитины. Лучшее, что есть в фильме «Москва слезам не верит», это его баллады, его *credo*: «Что же из этого следует? — Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. — Вы полагаете, всё это будет носиться? — Я полагаю, что всё это следует шить. — Следует шить, ибо, сколько вьюге ни кружить, недолговечны ее кабала и опала. — Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить!»

Руку Юрий, гусар и поэт, предлагал трижды.

Он жил с большим вкусом, при этом не продаваясь. Дальше оказывается, что он с 1943 года попал со стихами в такие журналы, как «Знамя», «Сибирские огни» и «Огонек». В первый раз он нарвался, когда его стали прорабатывать как «космополита» под занавес сталинской эпохи. Слишком умным он казался советским редакторам. Но здесь его выручил Г.М.Марков (первое и, по-моему, последнее доброе дело этого функционера от литературы).

В 1955 году Юрий честно поступает на Высшие литературные курсы при Союзе писателей, а в 1957-м его принимают и в сам СП. В конце пятидесятых Левитанский перебрался в Москву, а известность ему принес сборник «Земное небо» (1963). Но в Политехнический вместе с Окуджавой и с гитарой он не пошел. Они дружили: Булат Шалвович, Фазиль Искандер, Юрий Левитанский, Белла Ахмадулина (Евтушенко и Вознесенский были резко моложе, казались младшими братишками). Бедный Окуджава даже мечтал, что у его друзей будут «кабинеты», и они помогут ему «блатом». «Пойду к Юре в кабинет,

загляну к Фазилю...» (шутка). Но нет, не было у лейтенантов и их санинструктора Беллы, которую приняли во фронтовое братство, никаких кабинетов, званий, чинов, госдач. Булат Шалвович и Белла (а следом за ними и «братики» Евтушенко и Вознесенский) пошли надеяться и восторгаться с гитарами наперевес (оттепельный инструмент!), а Искандер и Левитанский не пошли ни в Политехнический, ни в Лужники.

Юрий Левитанский умел и любил жить, но жил зэковской и военной, окопной мудростью: не верил, не боялся, не просил. Он ни на что не надеялся, щенячи восторги шестидесятников ему были чужды. Тем паче что грядет 1965 год. Дело Даниэля и Синявского — это жестокий мороз, и многие после оттепели сломали себе на этом деле наивные оттепельные цыплячи шейки и снова забились в свою скорлупу. Вознесенский и Евтушенко не заметили, что весна кончилась, по молодости лет. А Юрий Давидович никак не изменился, он не верил и раньше. Первым подписал письмо в защиту Синявского и Даниэля. Ветряная мельница среагировала на плевков: до 1969 года его сборники не выходили. А он предложил руку прекрасной даме — Марине. Дал ей счастье, а потом ушел к Валентине. Оставил квартиру, деньги, ушел с одним чемоданчиком. Ушел как джентльмен. Валентина родила ему трех девочек-погодков: Аню, Катерину, Олю. Он в них души не чаял, вечно гонялся за заработками, то есть за переводами. Хем охотился, а Юрий Левитанский даже рыбу не ловил. Хем ездил удить рыбу в Испанию, охотился в Африке, имел дом на Кубе, а Левитанский всегда сидел без копейки, хотя вид имел самый богемный. Жил по формуле Брехта: не отказывался ни от новой книги, ни от старого вина.

И тут Бог, в которого он не верил, послал ему молодость, красоту и любовь. Кстати, в семидесятые и восьмидесятые Левитанский продолжал подписывать письма в защиту диссидентов. Ветряные мельницы давно уже махнули на него крылом: ведь он обходился без пайков, госдач, Литфонда, званий и больших денег. Отнять у него было нечего. За границу он тоже не стремился, и ему нельзя было отказать в том, чего он не просил.

Ирочка Машковская, девятнадцатилетняя студентка из Уфы, встретила его в Юрмале. Она оценила его

и полюбила, его, шестидесятитрехлетнего, с седыми усами, с седым ежиком, взрослого, умного, печального, талантливого ребенка. Ее бабушка и дедушка были высокопоставленными коммунистами-антисемитами, номенклатурой. Ее мать жила в Юрмале. Она бросила всё, декабристка Ирочка, и пошла за ним. Они были вместе десять лет (познакомились в 1985-м). Он с кровью и болью ушел из семьи, но воспитывал девочек до конца, оставил им пятикомнатную квартиру, тащил им каждую крошку, как воробей. Время было голодное и холодное. Они с Ирочкой снимали жилье, бедствовали, потом построили, то есть купили, однушку. Но жили весело, только вот сердце стало сдавать. А тут пришла демократия, стало хорошо, Юрий Давидович даже пытался баллотироваться в Думу, поддерживал Ельцина, вступил в ПЕН-центр, куда сошлись все писатели-демократы. Удалось даже сделать операцию на сердце в Брюсселе. Деньги внесли Иосиф Бродский, Владимир Максимов и Эрнст Неизвестный. Это был 1993 год, и можно было еще пожить. Предел и жизни, и надежде положила чеченская война.

Время жить и время умирать

Почему типичный янки в фильме «Последний самурай» вдруг прельстился поэзией древней японской культуры? Почему Юрий Левитанский решил стать «последним чеченцем», он, москвич, богема, сроду не бывавший в горах, не веривший ни в Иисуса, ни в Аллаха? Потому что поэт. Благородство — тоже поэзия.

«Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку — каждый выбирает для себя... Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы. Шпагу для дуэли, меч для битвы каждый выбирает по себе». И уж Левитанский выбрал... В 1995 году ему присудили Государственную премию России. Кремль, торжество. Он и брат не хотел, но его убедили, что Кремль — трибуна. (Премия ушла на покрытие долгов.) И вот что он сказал прямо в Кремле: «Наверное, я должен был бы выразить благодарность также и власти, но с нею, с властью, дело обстоит сложнее, ибо далеко не все

слова ее, дела и поступки сегодня я разделяю. Особенно всё то, что связано с войной в Чечне, — мысль о том, что опять людей убивают как бы с моего молчаливого согласия, — эта мысль для меня воистину невыносима». Узнаете устав нашего Храма? Слышите его основателя, Пушкина? «Если бы я, Государь, был в Петербурге, я бы присоединился к мятежникам». Государь стерпел. И Ельцин стерпел, молодец. Он знал цену героизму. Подошел чокаться шампанским. Интеллигенции можно всё. Поэт имеет право. Литература — смысл России. Как сказал сам Юрий Давидович: «И летчик летел в облаках. И слово летело бессонное. И пламя гудело высокое в бескрайних российских снегах».

Он ушел из Кремля на своих ногах, но не ушел из мэрии. Двадцать пятого декабря 1996 года в мэрии собрался круглый стол интеллигенции. И околопрезидентские подлизы и холуи через голову президента стали уговаривать Левитанского не вредить демократии путем отрицания полезности чеченской войны. Вот этого он уже не вынес. Произнес первую (и последнюю) в своей жизни пламенную речь и умер прямо там. От инфаркта. Советские мельницы вернулись и нанесли свой удар. Ирочка оплакивает его до сих пор.

О российская Муза, наш гордый Парнас,
тьнь решеток тюремных издревле на вас
и на каждой нелживой строке.
А трамвайные вишенки русских стихов,
как бубенчики в поле под свист ямщиков,
посреди бесконечных российских снегов
всё звенят и звенят вдалеке.

ДАВИД И ГОЛИАФЫ

У Галича был обманчивый псевдоним. Ласкающий, круглый, как морская галька, обточенная волной. А на самом деле этот уютный, упитанный бонвиван с такой добродушной физиономией был зол, умен, полон горечи, желчи и ненависти. Это был не медвежонок Винни-Пух, а настоящий волк — серый, лесной, дикий. Таким волком хотел быть Высоцкий, но слишком широка была его палитра, слишком артистичен он был для одной-единственной роли — роли антисоветчика. А Галич увидел советскую действительность через прицел автомата и талантливо расстреливал ее в упор. Почти компьютерная игра. Потому что от его залпов никто не умер, действительность вышла на сцену и раскланялась в финале. Как Дездемона. Души ее не души, а к публике она за аплодисментами все равно выйдет. И души ее по новой, бедный Отелло. Так вышло и с игрой Галича. Советская действительность — она как Дездемона. Вечная категория на весь театральный сезон. Но, выбирая себе псевдоним, поэт случайно угодил в нужную точку — крайнюю западную. Червонная Русь, запад Украины, Галичина. «Где когда-то свободный Голота, с вихрем спора, гулял на коне». Царство ОУН, УПА, Степана Бандеры. Западенцы, враги москалей и Сталина. Чужие. В этом смысле у Галича оказался подходящий псевдоним. Прямо по анекдоту: «Пусть цветочки завянут, главное, чтобы пулеметик не заржавел».

Маяковский придумал человека-парохода. Галич был человеком-пулеметом. Добрым, ласковым пулеметом. Улыбчивым волком. Ведь от его игры никто не погиб, только он один.

В нашем Храме у Галича есть своя ниша. Он там стоит, гневный, вечно юный и одинокий, нагой и с гитарой вместо пращи. Давид. Галич был глубоким еврейским юношей, человеком Книги, то есть Библии, поэтом и царем. Одинокий пастырь своих стихов. Он мечтал пасти души, как овец. Но овцы — всего лишь овцы.

Дрожащий шашлык. А Голиафов было великое множество. Советская власть, КГБ, армия, МВД, КПСС, Политбюро, Союз советских писателей, Союз кинематографистов. Цензура haute couture — от Главлита, а не от Коко Шанель!

Секрет Галича — в его библейских масштабах. Давид, не победивший Голиафов, тем не менее встал против них. Дивные песни. На жалкую советскую действительность он обрушил библейский Всемирный потоп. Он жег ее небесным огнем, как Содом и Гоморру. Он являлся слушателям в огненном кусте. Он орал на фараонов, как Моисей, чтобы они отпустили народ, отнюдь не только еврейский народ, но и русский, и чехословацкий, и вообще все народы. Голиафы даже не убили его. Каждый остался при своем. Давид — при игре на гитаре, Голиафы — при своих баллистических ракетах и ядерных боеголовках. Он не научился прощать. Библия не Евангелие. «...Спи, но в кулаке зажди оружие — ветхую Давидову пращу!» ...Люди мне простят от равнодушия, я им — равнодушным — не прощу!»

Мальчик с дудочкой тростниковой

Родители Галича, то есть Александра Аркадьевича Гинзбурга, любили друг друга без памяти. И всё это происходило в Екатеринославе, нынешнем Днепропетровске (и за что только Екатерину II, «российскую Минерву», лишили честно заработанного города?). Арон Самойлович Гинзбург, скромный экономист, был сыном врача-педиатра Самуила. Жили достойно, но небогато, потому что Самуил бедных лечил бесплатно, а бедных в городе было много. И вот этот самый Арон влюбляется в Фанни Борисовну Векслер, музыкантшу, интеллигентку, преподавательницу консерватории, но из очень богатой семьи фабрикантов. Мезальянс! Фабрикантские родители не дали молодым ни гроша, и жили они на свои интеллигентские заработки, без лошадей, автомобилей и поездок на заграничные курорты. Но тут грянул Октябрь, и все фабрики и фабриканты накрылись медным тазом. И оказалось, что лечить и учить музыке и прибыльно, и безопасно. Дети комиссаров тоже болели и хотели играть на рояле.

Семья не голодала, не лезла в политику. Просто жила. У них родились два мальчика. Младший, Валера, стал кинооператором, снимал известные фильмы: «Солдат Иван Бровкин», «Живет такой парень», «Когда деревья были большими». А старший, наш Саша, родился 19 октября 1918 года. В 1920 году семья перебралась на море, в Севастополь. А в 1923 году они уехали в Москву, в Кривоколенный переулок, в дом поэта Дмитрия Веневитинова, где Пушкин читал «Годунова». Это знали даже еще не умеющие читать малыши. Это обязывало.

Фанни была любящей, но очень строгой матерью. С пяти лет Сашеньку учили играть на рояле и писать стихи. В восемь лет его отправили в литературный кружок, который вел Эдуард Багрицкий. А вокруг переулка были пустые котлы, где ночевали беспризорные, очень интересные беспризорные. Саша и Валера познакомились с блатным сленгом. Мальчики с упоением распевали шлягер беспризорников «Когда Сталин женится, черный хлеб отменится». Сталин, как известно, не женился, и черный хлеб в деревнях оставался изысканным лакомством, а в войну и сразу после — и в городах.

Саша был добрым, умным, хорошо воспитанным мальчиком, учился на «отлично». Его любили все: он прекрасно играл на рояле, танцевал, пел революционные песни, декламировал стихи. В 14 лет он уже опубликовал стихотворение «Мир в рупоре» в «Пионерской правде». В 1934 году Гинзбурги уехали на Малую Бронную. Но из искусства Саша не уехал. В девятом классе молодой талантливый нахал без аттестата зрелости отправился поступать в Литературный институт. Это была чистая авантюра, но его приняли! Однако неумный тинейджер этим не удовольствовался и тут же подал документы в оперно-драматическую студию Станиславского, и учился даже у самого Станиславского (тот преподавал последний год). Институт он вскоре бросил — совмещать было трудно. А студию бросил через три года, потому что узнал: народный артист Леонид Леонидов, настаивая на его приеме, сказал: «Этого надо принять! Актера из него не выйдет, но что-то выйдет обязательно!»

Саша перебирается в новаторскую студию, которой руководят Алексей Арбузов и Валентин Плучек. Это уже осень 1939 года. В 1940 году студия показала

нашумевший спектакль «Город на заре». Одним из авторов был Саша. Это стало началом его драматургии, его дебютом. Но несколько спектаклей — и началась война. Большинство студийцев ушли на фронт, а Александра комиссовали из-за врожденного порока сердца. Потом Саша напишет о своем детстве: «От беды моей пустяковой (хоть не прошен и не в чести), мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти!» Он вспомнил о детстве, когда его выгоняли отовсюду и травили. Вспомнил и, любя Бога и веруя в него, как в коллегу и однокашника (Фанни крестила сына еще в младенчестве и надела ему золотой крестик, который он носил всю жизнь), решил действовать по Иисусу.

И так он действительно и жил, предпочитая Царствию Земному Царствие Небесное. «В жизни прежней и в жизни новой навсегда, до конца пути, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти!»

Кочующий лицедей

Александр записался в геологоразведочную партию и добрался с ней до Грозного. А там устроился в театр — Театр народной героики и революционной сатиры, совсем новый и новаторский. В нем начинают играть юный Сергей Бондарчук и молодой Махмуд Эсамбаев. Но тут Александр узнал, что в городе Чирчик под Ташкентом режиссер Валентин Плучек собирает арбузовских студентов, и устремился туда. Этот передвижной театр колесил по фронтам. Был риск, но актеры всегда были сыты, их любили бойцы. Было весело, были хорошие товарищи, был драйв. К тому же пришла любовь. Александр влюбился в красавицу москвичку, актрису Валентину Архангельскую, «комсомольскую богиню», комсорга театра. Саша был ее заместителем.

Поженились они уже в Москве, в 1942 году. А до этого хотели пожениться в Ташкенте. Сели в автобус, поставили в ноги чемоданчик с документами и стали целоваться. Когда опомнились, чемоданчика не оказалось: украли воры. Брак пришлось отложить. Молодожены вернулись в Москву, а в мае 1943-го у них родилась чудесная девочка Александр (Алена).

Через год Валентину позвали в Иркутский драмтеатр на роль примадонны. Она уехала делать карьеру. Александр должен был приехать позже, ему обещали место завлита. Но тут вмешалась Фанни, бабушка. Она не хотела расставаться с сыном и внучкой и заявила, что «нечего моего ребенка по Сибириям таскать». Невестке было объявлено: никакого Иркутска, Kinder и Kuche, пусть работает матерью и женой. Александр уже успел охладеть, он ведь был ужасный бабник и ни одной юбки не пропускал. Валентина решила остаться эмансипе до конца, и они разошлись.

В 1945 году Александр нашел новую любовь, на этот раз и впрямь сокровище. Гениям не нужны эмансипе, им нужны декабристки. И тогда им, гениям, будет хоть какое-то счастье. Звали это счастье Ангелина Шекрот (Прохорова). Она была дочерью бригадного комиссара, училась во ВГИКе, крутила роман с красивым режиссером. А потом выскочила замуж за ординарца собственного отца. Но война сделала ее вдовой. Ангелина, Аня, Нюшка (так звал ее Галич). Она была изысканная, худая, утонченная. Ее называли «Фанера Миловская». Их первая брачная ночь прошла в доме их друга Юрия Нагибина. И спали они в ванной, на сдвинутых гладильных досках. Нюша стала для мужа всем: женой, любовницей, нянькой, секретарем, редактором. К романам Галича относилась иронически. Да, этот самый вариант: «Уложит она, и разбудит, и даст на дорогу вина». «Обнимет на самом краю» — это у них было впереди.

Женившись, Александр решил разжиться хоть каким-то дипломом. И придумал где: в Высшей дипломатической школе! Но тут нашла коса на камень. Секретарша даже документы у него не взяла, нагло заявив, что лиц «его национальности» есть указание не принимать.

Ярмарка тщеславия

Но жизнь хороша была и без диплома: Галич идет в гору. Он оказался модным драматургом, даже конъюнктурщиком. Сначала спектакль «Вас вызывает Таймыр» (1948 год, фильм снят в 1970-м), потом «Под счастливой

звездой» (1954), а потом и «Походный марш» (1957). Песня из спектакля «До свиданья, мама, не горюй» стала всесоюзным шлягером. В 1954-м фильм «Верные друзья», снятый по его сценарию, занял седьмое место в прокате. В 1955 году Галича приняли в Союз советских писателей, а в 1958-м — в Союз кинематографистов. Были деньги. Конечно, вся эта мура в театре и кино была ширпотребом. И даже хуже: «Государственный преступник» — это фильм о КГБ, лживый и приторный (1964). Галичу даже обломилась какая-то награда от «органов». «Дайте жалобную книгу» (1964) — это хиханьки-хаханьки. Выделяются только задушевная военная мелодрама «На семи ветрах» (1962) и гениальная, до сих пор непревзойденная экранизация Александра Грина «Бегущая по волнам» (1967). Вот здесь можно было остановиться. Деньги, тряпки, кутежи в дорогих ресторанах (Галич пил не как Высоцкий, но хорошие напитки потреблял с радостью), романы, дача от Литфонда в проекции, курорты. Его даже начали пускать погулять за границу. Жить как все. Лучше, богаче других. Как Галич сам потом напишет:

Но зато ты узнаешь, как сладок грех.
 Этой горькой порой седин.
 И что счастье не в том, что один за всех,
 А в том, что все — как один!

И ты поймешь, что нет над тобой суда,
 Нет проклятия прошлых лет,
 Когда вместе со всеми ты скажешь — да!
 И вместе со всеми — нет!

И ты будешь волков на земле плодить,
 И учить их вилять хвостом!
 А то, что придется потом платить,
 Так ведь это ж, пойми, — потом!

...И что душа? — Прошлогодний снег!
 А глядишь — пронесет и так!
 В наш атомный век, в наш каменный век,
 На совесть цена пятак!

Это сказал ему черт, инструктор из адского обкома.
 Но Галич не послушал мудрых партийных советов.

Восстание в московском гетто

Бывает, что восстают и агнцы. И кидаются на волков. У волков от этого может инфаркт приключиться. В советских литературных кругах ходила легенда о пижоне и жуире Галиче, который развлекался себе, фрондировал и фраппировал, не думая, чем это для него кончится. Думал, мол, и рыбку съесть, и в фаэтоне прокатиться. Советским кроликам так было понятнее. Они примеряли ситуацию на себя. А Галич сознательно пошел на грозу. «На воле — снег, на кухне — чад, вся комната в дыму, а в дверь стучат, а в дверь стучат, на этот раз — к нему! О чем он думает теперь, теперь, потом, всегда, когда стучит ногою в дверь чугунная беда? (А в дверь стучат!) В двадцатый век! (Стучат!) Как в темный лес. Ушел однажды человек и навсегда исчез!..»

Всё, всё, всё он понимал. К нему в дверь стучали сталинизм и застой, НКВД и КГБ. Он считал, что любая дверь в России, выламываемая их сапогами, открывается к нему. Это была миссия. И клятва. Восстания в гетто Варшавы тоже никто не ожидал. Евреи всюду покорно шли в газовые камеры. И если бы не Мордехай Ангелевич...

Галич поднял личное поэтическое восстание в московском гетто, гетто для мыслящей интеллигенции. Молчать было нельзя:

И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгнули смолоду...
А молчальники вышли в начальники.
Потому что молчание — золото.

...Вот как просто попасть — в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

А ведь была еще и пьеса, единственная его шекспировская по уровню пьеса «Матросская Тишина». В 1958 году ее репетировали молоденькие студийцы МХАТа, будущий «Современник»: Олег Ефремов, Олег Табаков,

Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев. Они хотели этой горькой пьесой о трагедии еврейского народа, как на советской, так и на оккупированной территории, открыть свой театр. Но пьеса не прошла, с треском не прошла. Ее Табаков поставил уже в 1988 году.

Петь и писать свои баллады Галич начал в шестидесятые, с 1959-го по 1962-й это казалось еще безобидным вроде Аркадия Райкина. А потом это был уже не бард, не каэспэшник, а вещий Боян. Здесь не могло быть Политехнического, как у Окуджавы, или хотя бы НИИ, как у Высоцкого. Здесь шла чистая «запрещенная реальность», как в романах Головачева. Самиздат. Ему даже для актеров в театре у Плучека, в «бытовке» Театра сатиры, не позволили выступить: Плучеку дали нагоняй из министерства.

Галич сознательно жег мосты — за собой и под собой. Концерты были на частных квартирах. Нюша умоляла не давать записывать, а он давал, и не с пьянки, а сознательно, и песни текли подземной рекой по полузадушенной стране. Вот у него умирает бывший палач из НКВД, начальник лагеря, который мечтает: «Ах ты, море, море, море Черное, не подследственное жаль, не заключенное! На Инту б тебя свел за дело я, ты б из Черного стало Белое!» И вот ему приснилось, что «ребятушки-вохровцы загоняют стихию в барак». А дальше — «И лежал он с блаженной улыбкою, даже скулы улыбка свела... Но, наверно, последней уликою та улыбка для смерти была. И не встал он ни утром, ни к вечеру, коридорный сходил за врачом, коридорная Божию свечечку над счастливым зажгла палачом...».

Один только раз удалось выступить публично, в 1968 году в Новосибирске, в огромном зале Дворца физиков, на фестивале «Бард-68». Зал аплодировал Галичу стоя, ему присудили приз — серебряную копию пера Пушкина. В 1969 году его песни вышли в посевовском сборнике.

А для КГБ не было ничего хуже издания НТС. А тут еще дочка Дмитрия Полянского, члена Политбюро, вышла замуж, и молодежь стала слушать Галича в записях. Полянский — это была шишка. По Галичу: «А что у папы у ее топтун под окнами, а что у папы у ее дача в Павшине, а что у папы холуи с секретаршами, а что у папы у ее пайки цековские и по праздникам кино с Целиковскою!» И Полянский случайно вышел к дочкиным гостям и услышал эти песни. И «мясокрутка»

завертелась очень быстро. Под Новый, 1971-й, год Галича исключали, как Пастернака, из Союза писателей. Против проголосовали Арбузов, Катаев, Барто и Рекемчук. Но председатель грозно заявил, что требуется единогла-сное решение, и четверка сдалась. В феврале 1972-го его так же дружно исключили из Союза кинематографистов и Литфонда. Печатать и ставить перестали, жить было не на что. На квартирных концертах брали по трешке за вход. А Галич подливал масла в огонь: вошел в сахаровский Комитет прав человека в СССР, подписывал письма протеста. Большое сердце не выдержало: в апреле 1972 года случился третий инфаркт. Поэтому его и не сажали, а выпихивали из страны: в 1972-м погиб в мордовских лагерях от язвы желудка поэт Юрий Галансков. Эффект был ужасающий, Запад стоял на ушах. Галич погиб бы сразу, это было невыгодно. А он ведь даже в котельной заработать не мог и ходил уже почти под конвоем.

И он понял в конце концов, что на свободе сделает больше, что не надо цепляться за родную решетку, как тот же Пастернак. О чем было жалеть?

Мы с каждым мгновеньем бессильней,
Хоть наша вина не вина,
Над блочно-панельной Россией,
Как лагерный номер — луна.
Обкомы, горкомы, райкомы,
В подтеках снегов и дождей.
В их окнах, как бельма трахомы
(Давно никому не знакомы),
Безликие лики вождей.
В их залах прокуренных — волки
Пинают людей, как собак.
А после те самые волки
Усядутся в черные "Волги",
Закурят вирджинский табак.
И дач государственных охра
Укроет посадских светил
И будет мордастая ВОХРа
Следить, чтоб никто не следил
И в баньке, протопленной жарко,
Запляшет косматая чудь...
Ужель тебе этого жалко?
Ни капли не жалко, ничуть!

Он уезжал нагло, с вызовом. Отказался снять золотой крестильный крест, якобы «не подлежащий вывозу». Гитару держал, как факел, на вытянутой руке. Сначала была Норвегия, потом Мюнхен, в конце — Париж. На «Свободе» Галич вел свою программу, писал пьесу, мюзикл, прекрасные песни. Жил наконец по-человечески. Три года, с 1974-го по 1977-й. Даже крутил романы. Отчаявшиеся советские мужья приходили жаловаться руководству «Свободы», как в партком.

Пятнадцатого декабря 1977 года (59 лет, куда меньше, чем Пастернаку) его убило током от «Грюндига», долгожданной дорогой игрушки. Никто не хотел верить, Галичу больше подошел бы эшафот. Но Войнович и Максимов, да и Нюша тоже видели обожженное током тело сразу после трагедии. А дочь Алена не верит до сих пор. Тем более что через девять лет в дыму пожара задохнулась Нюша.

Чего только не плели в интеллигентской тусовке! КГБ, конечно. Даже ЦРУ обвиняли! Убили, чтобы Галич не вернулся. Запарилось бы ЦРУ с советскими эмигрантами и собственными леваками... Что ж, лучше умереть в Париже, чем в лагере. А посмертную судьбу, свою и нашу, Галич предсказал сам. И так, 2077 год.

Под утро, когда устанут
Влюбленность, и грусть, и зависть,
И гости опохмелятся
И выпьют воды со льдом,
Скажет хозяйка: — Хотите
Послушать старую запись? —
И мой глуховатый голос
Войдет в незнакомый дом.

...И гость какой-нибудь скажет:
— От шуточек этих зябко,
И автор напрасно думает,
Что сам ему черт не брат!
— Ну, что вы, Иван Петрович, —
Ответит ему хозяйка, —
Бояться автору нечего,
Он умер лет сто назад...

НЕ СТРЕЛЯТЬ!

Бунт оловянного солдатика

Вячеслав Кондратьев был взят, оприходован и употреблен родным советским государством, как оловянный солдатик Андерсена. Так планировалось: все из одной оловянной ложки, все одинаковые, все не спрашивают, «за кого им кричать “ура!”». Ясное дело: за Родину, за Сталина. Но с этим оловянным солдатиком случилось непредвиденное, и не по прихоти злого тролля, как в сказке, а в силу редкого таланта, который проснулся у него, втопанного советским государством в ржевскую пыль и грязь, брошенного в топку войны, на жесткое Овсянниковское поле, искалеченного, полуголодного, забытого, очень поздно, в пятьдесят с лишним лет. (Но это и раньше случалось. Так же поздно нашел себя исправный клерк великий Гоген или проповедник и фантазер Ван Гог.) Его открыл, ободрил и выпустил в литературу Константин Симонов, сам посмевающий в «Живых и мертвых» только приоткрыть краешек правды. Просто задать вопрос: почему? Почему такая странная война, такие тяжкие дороги Смоленщины, почему такая пропасть, такая бездна между несчастными фронтовиками и звонким, бездушным, жестоким военным начальством? Ответить он не просто не посмел. Не знал ответа. Ответ убил бы его, как убил Вячеслава Кондратьева и Юлию Друнину.

Обворожительный диссидент Виктор Некрасов, Вика, парижанин и фрондер, в своих «Окопах Сталинграда» не написал никакой ужасной крамолы, а просто объективно показал силу немецкой армии и печальное положение на фронтах, поражения, отступления, страх и горечь бойцов, сразу сообразивших под «мессерами», какова была цена сталинскому шапкозакидательству и довоенному хвостовству. Воевать пришлось не по песням и не по маршам. Какие же они были все лживые и фальшивые, кроме

«Синенького платочка» и «С берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист...». Ведь Окуджава и Высоцкий пели уже потом, над полумертвой страной, ставшей братской могилой для белых русских офицеров, убитых и расстрелянных в Гражданскую, для красных командиров, расстрелянных в 1937-м, и для солдат 1941 года, которых кидали в огонь, как дрова, не жалея, не экономя и не считая. Не мог Вика Некрасов в 1946 году высказать то, что понял потом. И сам бы погиб, и повесть бы не напечатали.

Василий Гроссман, Василь Быков и Георгий Владимов пошли много дальше. Они поняли всё, и это их не убило: их поддерживала великая сила ненависти не только к вражеским окопам, но и к своей окопной, злобной, опутанной колючкой стране. Но Вячеслав Кондратьев был первым на этом скорбном пути познания, на этой *Via Dolorosa*. Он и его бесхитростные герои. Крылечко к нашему Храму. Но когда Вячеслав Кондратьев пал под тяжестью своего креста, не нашлось никакого Симона Коринфянина, чтобы поднять его и помочь дотащить смертельную правду хотя бы до Голгофы. Кондратьев оказался один. Вот вам разгадка его последнего загадочного выстрела — в себя.

Его проза была горше «прозы лейтенантов», то есть быковской, баклановской, астафьевской, бондаревской. Это была проза сержантская и даже проза рядовых, безгласных и невыслушанных. Проза чернорабочих войны, которые мечтали не о славе, не о медалях, а о буханке черняшки, о котелке пшенки-жидни да о том, чтобы обогреться и обсушиться. Война была для них не только риском, но и каторгой. Бессрочными каторжными работами, которые кончались только со смертью или с тяжелым ранением. За легкое могли и «самострелом» обозвать. Как Сашку, любимого кондратьевского героя. Эти тихие, серые солдатики, санитарки, медсестры из санбата, пехотные лейтенанты — все они заговорили с нами, часто уже из гроба, и такое сказали, что ни побеждать, ни воевать, ни жить не захочется. Тихо, на ухо, шепотом. Они, бесхитростные, не знали, но Кондратьев узнал ответ уже после того, как всё вспомнил и пустил в журналы и на экран. Ему всё стало ясно 23 сентября 1993 года, когда

страна готовилась к очередной Гражданской войне, уже одной ногой вступая в нее. Первым выстрелом этой войны стал выстрел Кондратьева, выстрел в себя из утаенного военного пистолета. Этот оловянный солдатик ожил настолько, что проклял свою оловянную армию и свое деревянное прошлое. То, что он успел сказать, делает войну странной войной и вполне бессмысленной бойней.

Поколение обреченных

Страна оставила Вячеслава Леонидовича Кондратьева без биографии, без жены и без детей. Ему не довелось и сажать деревья — все годные на топливо сгорели во фронтовых кострах. Зато он написал книги, и какие книги! Человеческое предназначение было выполнено. Для того чтобы стать классиком и войти в Храм русской литературы, не надо собраний сочинений с золотыми буквами. Часто хватает томика стихов, одной повести, нескольких рассказов. Хватит и тоненьких кондратьевских произведений, сборника 1989 года в бумажной обложке на 478 страниц и журнальных публикаций конца 70—80-х годов. Это, безусловно, «знак бессмертия». С таким приданым «весь не умрешь».

Всё творчество Кондратьева вполне влезает в строфу основателя Храма, нашего Великого Мастера — Пушкина. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал».

Критики сломали себе голову, соображая, почему простой деревенский паренек Сашка так возвышенно себя ведет. Откуда у него, неграмотного, такое благородство, такое рыцарство? А это не тот Сашка, этот Сашка звался Александр Сергеевич и был поэт, интеллектуал. Природный дворянин. И их соединил создатель этой пушкинской модели, этого его нового воплощения в лесу под Ржевом, еще один юноша из интеллигентной семьи, книгочей и талант: Славка. Вячеслав Кондратьев. Мы прочтем его жизнь и его путь, мы узнаем его мысли по его повестям и рассказам. А реальность была куцая и скупая.

Родился Вячеслав в Полтаве, в 1920 голодном году. Он голодал в детстве, голодал в армии, голодал на войне. Неудивительно, что в его творчестве такое место занимает еда. Ведь это он, а не лейтенант Володька, несколько лет не ел мяса, кроме зажаренной на штыке губы от убитой снарядом лошади. Это он удивлялся белизне сала и дивился, как чуду, пирожным. Отец Славы был инженером-путейцем, мать работала в библиотеке. В 1922 году они все переселились в Москву. Слава хорошо учился, поступил в Архитектурный институт. Но с первого курса загремел в армию. Слава богу, хоть на Дальний Восток, в железнодорожные войска. А могли бы и в Польшу загнать, и в страны Балтии, и в Бессарабию: осуществлять и воплощать в грязную, кровавую реальность пакт Молотова—Риббентропа. Тогда стреляться бы пришлось, пожалуй, раньше 1993 года... Но Вячеславу не сиделось. Он был все-таки дитя века. И его жертва. Он стал проситься в действующую армию, как только началась война. А ведь могло бы и пронести. Но без драгоценного опыта страданий, подлостей, абсурда не было бы ни «Сашки», ни «На станции Свободный», ни «Дороги в Бородухино», ни «Асиного капитана». Читатели всегда эгоисты, они идут по трупам писателей. Дай бог, чтобы ужасный опыт Вячеслава Кондратьева пошел кому-нибудь впрок...

Вячеслав писал рапорты полгода, наконец загремел в армию, на фронт. Ведь тыл — это еще пол-армии. А тут его кинули под Ржев. Это было как раз семьдесят лет назад. Едва отбилась Москва, вермахт вышел к Днепру, пал Харьков, и началась безнадега под Ржевом, где на поле Овсянниковском, на Селижаровском тракте, без смысла, без плана, без стратегии и тактики клали людей, роту за ротой, батальон за батальоном, полк за полком. Без толку. Потом все равно отступили. То ли котел, то ли просто скороварка. Там же служила Елена, псевдоним Ржевская, ее мемуары посуше кондратьевской прозы, но тоже ужасны. Только она была военспецом, переводчицей разведотдела. Кондратьев был ранен сначала легко, его наградили медалью «За отвагу». По Высоцкому: «И если не поймашь в грудь свинец, медаль на грудь поймашь “За отвагу”». Ранение было не

в грудь: в руку. После отпуска по ранению попал в железнодорожные войска. Там был ранен повторно и тяжело. Полгода провалялся в госпитале и выписался инвалидом. В Архитектурный после такого ранения (рука была покалечена) он вернуться не мог, пошел в Московский заочный полиграфический институт, который и окончил в 1958 году. Дальше работал художником-оформителем.

В середине 70-х та правда, которую он хотел забыть, стала выходить из него, как осколок, застрявший с военных времен. Его ободрил Солженицын, которому он открыл свой замысел. Его творчество вызвали к жизни Юрий Бондарев, Василь Быков, Виктор Астафьев. Они писали не про его войну. Про Ржев мог написать только он. И оказалось, что у него есть дар, соединение «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». «Эоловою арфой прорыдало начало строф, родившихся вчерне. Я в трепете, томленье миновало, я слезы лью, и тает лед во мне. Насущное отходит вдаль, а давность, приблизившись, приобретает явность».

Вот так, на стыке, на полустанке между Пушкиным и Гете, выписался «Сашка».

Повесть, которую Симонов проташил в 1979 году в журнал «Дружба народов», где печатали грузин, эстонцев, литовцев, латышей, белорусов и украинцев, где не было такой строгой цензуры, где мирволили и смотрели сквозь пальцы, списывая многое на национальную культуру. Конечно, до определенной черты. Но Кондратьева проташили. Я даже не знаю, почему Симонов это сделал. Он сам бы хотел так написать, да не умел и не посмел. Его бедная проза не стоила двух-трех кондратьевских страниц. Но он писал в стихах о том же: об отступлении, о поражении, о беде. Об изнанке. Только у него это вышло в поэзии. Его «Дороги Смоленщины» стоят дорог Ржевщины. А Вячеслав Кондратьев пытался писать о ржевском ужасе стихи. Они у него не получились. Впрочем, они не получились и у Твардовского, написавшего «Я убит подо Ржевом». Они сложились: проза Кондратьева и лучшее стихотворение Симонова. И получилась горькая ретирада, анабасис. С чем вошел бы Симонов в наш Храм? Только с дорогами Смоленщины. Выложили же этот текст на крылечке имени Вячеслава Кондратьева, как либретто к его тяжелой и мрачной тетралогии.

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали укладкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем».

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса...

И дальше пошло уже в прозе, в мирах Кондратьева. Его миры так же своеобразны и устойчивы, как «Гринландия» Александра Грина или Средиземье Толкиена. Только это серые, черные, мокрые, голодные и ужасные миры.

Вот приходит 1980 год. Журнал «Знамя» печатает «День Победы в Черново», «Борькины пути-дороги» и «Отпуск по ранению». В сборник 1989 года вошли рассказы «На станции Свободный» и «Поездка в Демяхи» и четыре повести: «Дорога в Бородухино», «Селижаровский тракт», «Сашка» и «Встречи на Сретенке». Несчастный кондратьевский Шир, где добрые и простодушные хоббиты стали рабами и добычей красного Саурана и его орков — начальства большого и маленького.

А где же наше мужество, солдат?

Сам Кондратьев, безусловно, хоббитом не был, разве что Фродо после Ородруина и миссии с кольцом. Вот что пишет он в своих мемуарах после 1953 года, вернее, рассказывает (записал кто-то другой): «Первый бой потряс меня своей неподготовленностью и полным пренебрежением жизнью солдат. Мы пошли наступать без единого артиллерийского выстрела, лишь в середине боя нам на подмогу вышли два танка. Наступление захлебнулось, и полбатальона мы оставили на поле. И тут я понял, что война ведется и, видимо, будет вестись с той же жестокостью по отношению к своим, с какой велась и коллективизация, и борьба с “врагами народа”; что Сталин, не жалея людей в мирное время, не будет тем более жалеть их на войне».

И вот она, участь крепостного солдата войны: нет еды, даже раненых продпункты не отоваривают; нет курева, нет бани; пленный немец в лагере получает хлеба и масла больше рядового, и солдатик, собирая пропагандистские листовки, завидует фрицам. Идут от санбата к госпиталю солдатики пешком, мокрые, голодные, ночуют в избах Христа ради, просят картошечку у голодных баб, а то и сгнившие клубни с поля копают, лепешки пекут...

Сашка кондратьевский был, похоже, свободен раз в жизни, когда отказался пленного немца расстреливать, а расстрелять комбат, у которого убили любимую медсестру Катю, велел его за то, что не отвечал он на вопросы, остался верен присяге, хоть и не фашист был, а просто студент. Сашка понимал, что идет на смерть, что пристрелит комбат и его, и немца, но палачом стать не мог (вот оно, пушкинское: «И милость к падшим призывал»). Но комбату стало стыдно, а Сашка опять попал в крепостные: даже в госпитале над ним был комиссар госпиталя, и не смей пожаловаться на голод. Одна свобода «на передке», наедине со смертью. И очень противно было то, что сдирали с убитых шинели и сапоги, порой до белья раздевали тех, кто лежал поближе к своим окопам. А возле немецких окопов убитые — одетые и обутые, у немцев всё было, им мародерствовать не приходилось. И старались наши Сашки и Володьки забежать вперед — пусть лучше у чужих окопов убьют, тогда не разденут (не полезешь же под пулю за шинелью).

Отпуск по ранению у Сашки — и то хоронится он от патрулей, а то в Москву не пустят, раз он не москвич. Искалеченный Володька (лейтенант как-никак) получил жалкую пенсию, жить на нее и на стипендию никак нельзя, мать его голодает и чахнет (зато тетке идет роскошный паек как «старому большевику»; хорошо, что это не чья-нибудь тетка, а Володькина, и делится с ним за чтение ей вслух). Володька спекулирует талонами на хлеб, чтобы выжить. И зря он читает мораль прежней подруге Майке, которая жила хорошо, сыто, что она «пропустила войну». По самому же Кондратьеву получается, что война эта — мерзость и подлость. Кровь и грязь. Убивают Катеньку из «Не самого тяжкого дня». Лучше бы она и впрямь родила дитя и в деревню вернулась. А Юлька, которую любит Володька, попадает «на передок» и гибнет, потому что отказалась стать любовницей майора, вот он ей и отомстил.

В рассказе «Асин капитан» бедная девочка Ася, вечерашняя школьница, переходит из землянки одного убитого офицера, которого любила, в землянку к другому, которого не любит. А иначе не проживешь. Так что на вопрос

«А где же наши женщины, дружок?» Кондратьев отвечает правдиво и грубо. Он тоже любил какую-то Юльку — она погибла, он остался один, без жены и детей.

Но самое жуткое — это рассказ «На станции Свободный» и повесть «Дорога в Бородухино». Андрею через девять дней воевать, а он видит эшелон с заключенными, и стоят они на коленях, «чтоб не разбежались» при погрузке. Что делать Андрею, за что воевать? Ведь у него сидит отец... Не мог же Кондратьев написать тогда, что воевать было не за что...

А в «Дороге в Бородухино» — продолжение. Николай Егорович, старый доктор, сидит, а Вере Глебовне, его жене, надо благословить Андрея на войну. Надо ли? Эта сцена натужна и неубедительна.

Кондратьев насилу выбил командировку в Париж (к Виктору Некрасову). Но Вика ничем ему не помог, он нашел себя, он пережил Сталинград и СССР. А Вячеслав Кондратьев понял наконец, что у него украли жизнь и не дали ничего взамен. Стоя на развалинах лживого мира, он в последний раз зарядил пистолет.

«Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, а потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все выгоды, которые мы можем потерять из-за нее. И даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить за нее» (Достоевский).

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Один маленький придел нашего Храма оформлен под часовенку. Скромную беленую белоснежную часовенку с милой черной головкой. В духе Покрова на Нерли, суздальских и новгородских храмов. XII век. Ни украшений, ни позолоты. Смирение, молитвенно сложенные руки, склоненная русая голова. Истовая, не показная вера, усердие в тяжком труде, более чем скромное воздаяние за труды, совесть. Тихие овечки на скудной северной траве... Это писатели-деревенщики, это их негромкий и неяркий мир. От праведника Федора Абрамова до горечи полудиссидента Владимира Тендрякова, от юродивого и блаженного Василия Шукшина до яростного Виктора Астафьева.

Писатели-деревенщики — это вовсе не сельская пастораль. И они лаптем щи не хлебали, все были честными народниками, стихийными земскими подвижниками (о земстве, уничтоженном 1917 годом, многие и не слышали, нащупали это интуитивно), интеллигентами в первом поколении. Тянули лямку служения народу-богоносцу (впрочем, эта счастливая уверенность перепала только Абрамову и Шукшину). Эта фракция деревенщиков возникла после войны, когда оказалось, что праздник Победы не для всех улиц и что многие вместо награды получили казни египетские. Собственно, деревенщики возникли в контексте сталинского обращения «к малым сим», до 1941 года — объекта насилия, грабежа и угнетения. А тут вдруг как приспичило: «Братья и сестры!» Старший Брат в венках и медалях сидел в Кремле. А вот как жили эти братья и сестры во время войны и после оной? «Мирное население», «тыл, единый с фронтом», безропотные русские люди, для этих самых Старших Братьев выигравшие войну? Земляки Федора Абрамова из-под суровых архангельских широт... Сколько лет мы, городские, сидели на их покорных шеях, сколько лет мы ели свой (пусть не слишком жирный) кусок, не замечая, что этот кусок вырвали из крестьянского рта?

Этот вопрос кричит благим матом с каждой страницы Федора Абрамова, у которого самый популярный в 1960—1970-е годы роман так и называется: «Братья и сестры». Всё его творчество можно условно обозначить как «семейный портрет в интерьере». В интерьере русской избы, северной избенки без всяких удобств, с русской печью и дощатыми полами. Творчество Федора Абрамова пахнет парным молоком, навозом, пустыми щами и таким желанным и дорогим ржаным хлебом (о белом в деревне 1940—1950-х никто и не мечтал). И писал он о бесхитростных и немудреных людях, о которых другой, более известный деревенщик сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное».

Видения отрока Федора

Федор Александрович Абрамов родился там же, где его герои Пряслины: они — в Пекашино, он — в деревне Веркола Архангельской губернии 29 февраля 1920 года. Родился он в зоне риска — в многолетней семье староверов, которых в России не жаловали за чистоту, силу духа, индивидуализм, протестантскую этику в труде, глубокую религиозность и враждебное отношение к казармам, коллективам и идеологиям что советского, что монархического образца. При Петре они сжигались в скитах, только бы не поклониться «князю мира сего», после осваивали Сибирь (подальше от государственного сглаза), а при Советах по путевке Старшего Брата шли в ГУЛАГ. Разве что в таких медвежьих углах, как берега реки Пинеги, можно было уцелеть (но не всегда).

В большой бедняцкой семье Федя был младшим. Отец, Александр Степанович, из-за плохой обуви простудился насмерть в холодной болотной воде. Ведь и заготовка леса, и сенокос, и выпас скота — всё это делалось на болотах при хлюпающей в дырявых сапогах воде, а часто и босиком. Отец умер в 1921 году, и мать, Степанида Павловна, осталась одна в нетопленной избе с пятью детьми. Старшему минуло пятнадцать, он взял на себя отцовское бремя и тащил его, надрываясь, и спас младших от голодной смерти, и именно в честь его — Михаилом — назовет Федор Абрамов своего любимого героя, Михаила Пряслина.

А смерть ходила рядом с маленьким Федей — деревенская неприбранная Смерть. Тощая, босая, нечесаная, с ржавой косой, с которой, видно, как изнуренные бабы, тоже ходила на сенокос.

На поминках отца сердобольные бабы желали вдове, чтобы «Бог малого прибрал», то есть его, Федю. Всё легче было бы семье. Но протестантская этика староверов вывезла. Свершилось чудо. Маленький, всегда голодный Федя выжил (Федюшкой он назовет потом одного из младших Пряслиных), а к тому времени, когда ему исполнилось десять лет, семья стала середнячком: две лошади, две коровы, бык и полтора десятка овец. Сам Федя научился косить в шесть лет: филонить нельзя было, филонов ждала голодная смерть. А старшая сестра, Мария, учиться пошла только в двенадцать лет, да и то до школы утром пряла, а в школу носила таз с бельем, чтобы выполоскать на переменке. И старшие дети, Миша с Колей, отучились три года, с грехом пополам стали читать и писать, а потом пошли в лес на заработки, чтобы кормить семью. (То же и в «Пряслиных» — этом эпосе нищеты, труда и бездоля: мудрый «сектант» Евсей Мешков неграмотен). Василий, средний брат, отучился семь лет и подался в город, где легче прожить и на семью заработать.

Семья решила учить самого способного, маленького Федю. Он и учиться начал в семь лет, и уже в третьем классе получил премию как отличник — материю на брюки и ситец на рубашку. Всё это тогда считалось роскошью. Ну а дальше? В 1932 году Федя заканчивает начальную школу. А семилетка — одна на всю округу, и туда его не берут. В школу записывают детей бедняков, комиссаров и красных партизан, а Федя — из середняков. Слава богу, что он не попал под раскулачивание. Твардовские были не богаче, но их раскулачили. Две лошади, две коровы, бык... Да, Абрамовым крупно повезло. А тут и в школе спохватились и отличника Федю приняли. Посчитали число детей в «детской коммуне». Ударник — это котировалось. Нянюшки Арины Родионовны у Феди не было, но была тетушка, Иринья Павловна Заварзина — добрая, ласковая и очень начитанная в житийной литературе. Она обшивала за сущие гроши и учила народ добру и правде.

Семилетку Федя заканчивал в Кушкопале, в среднюю школу, в старшие классы, он ходил в Карпогорах. Архангельские леса не были застроены гимназиями и колледжами... Брат Василий дал Феде место в своей семье, кормил и одевал братишку. Старшие Абрамовы выучили способного Федю, довели до университета и даже Марии дали потом высшее образование. Жизнь была скудная, учился Федя на медные деньги, и не было у него ни игрушек, ни досуга, ни лакомств. Учился как зверь, всё схватывая на лету. В девятом и десятом классах он даже получает пушкинскую стипендию, а ее давали только лучшему ученику школы. И здесь, в Карпогорах, он подцепил второго праведника, гуру, настоящего Учителя — Алексея Федоровича Калининца: и физика, и ботаника, и химика, и зоолога, и даже преподавателя немецкого. Немецкий он учил сам, чтобы дать детям этих дремучих лесов хоть какое-то представление о «загранице». Калининцев даже дарвинизм преподавал! Хотя Феде и его будущим Пряслиным это не пошло впрок — выживать за счет других они так и не научились.

Архангельский мужик — 2

В 1938 году Федя закончил с отличием школу и осенью был принят без экзаменов на филфак Ленинградского университета. И пошла студенческая жизнь, о которой писал Юрий Бондарев: «Студенты получили стипендию и скромно делили один салат на четверых». Больше ничего они в ресторане купить не могли, не было денег. Одна пара штанов, разгрузка вагонов, чтобы подкормиться.

А в 1939 году — «эсэмэска» от Старшего Брата: арест и гибель обожаемого учителя Алексея Федоровича Калининца. Вот вам и платоновская Академия в советских условиях. *Vivat Academia, vivant professores!* Не было для Феде Абрамова «Гаудеамуса». И для его ровесников — тоже.

А тут война. В 1941 году Федор Абрамов, подвижник и народник, честно идет в ополчение, а потом и на фронт, аккуратно сдал экзамены за третий курс, «чтобы хвостов не было». Рядовой Абрамов выбыл из строя уже в ноябре 1941-го: от его взвода осталось в живых

несколько человек, да и то раненых. Ему пулями перебило ноги, и его чудом не похоронили заживо: боец похоронной команды нечаянно споткнулся и пролил на лицо Федору воду из котелка. «Мертвец» застонал...

В голодном блокадном Ленинграде студент оказался в госпитале, устроенном на его же факультете в ЛГУ. В нетопленной аудитории раненые лежали в полушубках, шапках, рукавицах, укрытые сверху двумя матрасами. А потом его эвакуируют по Дороге жизни, по ладожскому льду, на Большую землю. А лед уже слабый, и машина впереди, с блокадными ребятишками, уходит под этот самый лед, на дно. И сзади шла машина с ранеными, и она тоже провалилась без следа. Абрамовский грузовик доехал, и Федор Александрович всю жизнь считал эту потрясающую удачу знаком важности своей миссии: давать голос и слово своим немым и забитым землякам, на худом горбу которых выезжала вся страна.

После лечения рядовой Абрамов был годен только к нестроевой. Получив отпуск по ранению, в апреле 1942 года он отправляется в свою любимую карпогорскую школу и три месяца там преподает. Этот второй фронт изнуренных баб и надрывавшихся подростков, этот голодный край, у которого уполномоченные забирают последнее «для фронта, для победы», произвел на него самое гнетущее впечатление.

И вот он вернулся в армию: сначала в запасной полк, потом в Архангельское военно-пулеметное училище. Как грамотный человек, студент, он получает младшие офицерские должности. А тут и сюрприз: филологи нужны в контрразведке. Его переводят в СМЕРШ и в 1943 году назначают следователем, а в 1944-м — даже старшим следователем. Такую жизнь бедный праведник мог терпеть только пять месяцев. Представляю, чего он там в СМЕРШе навидался. (А чего навидался — мы никогда не узнаем, всё засекретили до четвертой мировой.) Не от хорошей жизни он, всегда готовый выполнить свой долг и отдать последнюю рубашку (с них всех на Пинеге так долго стаскивали насильно последнюю рубашку, что они привыкли и стали снимать ее с себя в автоматическом режиме), теперь, в ноябре 1944-го, подает рапорт о продолжении обучения хотя бы заочно — в Архангельском

педагогическом. Но только в августе 1945-го ректор ЛГУ просит демобилизовать Абрамова и отправить в Ленинград для продолжения учебы. Возражать открыто, требовать, рассказать хотя бы в 1970-е о том, что делалось в СМЕРШе, Федор Абрамов не смог. Здесь мало было быть праведником, здесь светила карьера мученика. А он заканчивает с отличием ЛГУ в 1948 году и поступает в аспирантуру. И здесь его ждут и первый роман, и верная жена.

В аспирантуре он знакомится с Людмилой Крутиковой, которая специализировалась на Бунине. Они поженились в 1951-м, два нищих интеллигента. Семейная жизнь началась в маленькой комнатке коммуналки, меблированной столом, двумя стульями и пружинным матрасом. Всё это выдали им в университете. Вместо буфета приспособили коробку из-под печенья. В такой обстановке Мастер и Маргарита отравились бы сами, добровольно.

В 1951-м же Федор Абрамов защитил кандидатскую. На защиту он пришел в старых рваных ботинках. Сердобольные сотрудники преподнесли ему новые ботинки в подарок.

А дальше начинается путь по издательскому, книжному и журнальному бездорожью: проваливаясь по пояс в снег, по сантиметру в день, каждой новой публикацией сквозь пургу, ураган хулы и литературно-политической брани.

Миссионер

Сталина уже нет, но холодные российские пространства еще не оттаяли, до оттепели два года. В 1954 году 34-летний Федор Абрамов печатает в «Новом мире» статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе». Это еще пока только статья с цитатами из Сталина и Маленкова, нет оргвыводов, но есть уже наезд на лживых «совписов», лауреатов Сталинской премии, у которых в колхозе одна пастораль и праздник урожая. Уже открывается краешек страшной правды о жизни «братьев и сестер». Твардовского вскоре после публикации сняли. Студенты зачитывали журнал до дыр, а критики выли под окнами, как волки в зимнюю ночь. Абрамова пошли

нести по кочкам на партактивах и партсобраниях: в университете, Союзе писателей, обкоме. Все уговаривали его покаяться. И он покаялся и «разоружился перед партией». В основном ради брата Михаила, которому он слал деньги, и ради романа «Братья и сестры», который он тайно писал. Но это в первый и последний раз. Он сказал жене: «Какое позорище! Проклятый роман! Это для тебя я пожертвовал честью!» Он больше не будет уступать, он отучится от пекашинского, пинежского терпения и смирения. В 1958 году «Нева» печатает этот роман, «Братья и сестры». Твардовский не попадет в наш Храм, хотя много способствовал его строительству. Ведь у нас Храм русской литературы, а не журналистики. Но он в единственной стоящей, «деревенской», главе поэмы «За далью — даль» хорошо объяснил смысл и тему абрамовской прозы: «И я за дальней звонкой далью, наедине с самим собой, я всюду видел тетку Дарью на нашей родине с тобой; с ее терпеньем безнадежным, с ее избою без сеней, и трудоднем пустопорожним, и трудоночью — не полней; с ее дурным озимым клином на этих сотках под окном, и на печи ее овином и среди избы гумном; и ступой — мельницей домашней — никак из древности седой; со всей бедой — войной вчерашней и тяжелой нынешней бедой».

Потом еще был скандал с повестью «Вокруг да около». Повесть назвали порочной, а редактора напечатавшей ее «Невы» сняли. Зарубежная критика была в восторге, а на родине писателя собирали голоса «против» у абрамовских односельчан для районки «Пинежская правда», для статьи «К чему зовешь нас, земляк?» на извечную тему: я Абрамова не читал, но осуждаю. И это ведь 1963 год, оттепель. Вывод был хорош: «очерк, глумящийся над действительностью». В 1968-м всё тот же Твардовский печатает «Две зимы и три лета». Могла бы быть Госпремия, но тут Абрамов пишет «Пелагею», а «Новый мир» печатает ее. И премия «улыбнулась». Это 1969 год.

И тут Абрамов пишет письмо в защиту Солженицына. «Совписы» и партия в писателе окончательно разочаровались. А ему уже было наплевать: в 1972-м «Наш современник» печатает «Альку», а в 1973-м «Новый мир» — «Пути-перепутья».

Мир узнал Федора Абрамова через театр — через «Деревянных коней» на Таганке в 1974 году, через «Братьев и сестер» Льва Додина в 1977-м. В 1978-м «Новый мир» печатает «Дом»: те же Пряслины в новые времена, но вот отвыкли они от смирения и покорности и перестали работать за «палочки» в колхозе, и ревут голодные колхозные коровы, потому что доярки кормят своих. Абрамов осуждает эти новые тенденции, а читатель вздыхает с облегчением: ничего страшнее пекашинской покорности не было в мире.

Федор Абрамов успел попутешествовать. Французы ему понравились, от американцев он сбежал — прагматики, работают за деньги. Немцы ему претили — все-таки фронтовик. Но в конце концов они поладили.

И наш праведник, наш тихоня успел завести любовницу, какую-то даму полусвета. Причем растерзал сердце верной Людмилы, сообщив ей, что он останется с той женой, у которой больше терпения. Людмила претерпела всё, даже любовницу и предательство. Федор Абрамов устыдился и остался с ней, и умер 14 мая 1983 года на ее руках.

Похоронили его на хуторе близ Верколы, а похороны посетила пара журавлей. По местным преданиям — знак избранничества и праведности.

А скорбные тени Анфисы, умершей от туберкулеза и недоедания Вали Нетесовой, погибшего от черствости земляков Тимофея Лобанова и всего маленького и беззащитного мира Пряслиных будут тревожить нас неммым укором всю жизнь. Имена их, незначительных и незаметных, один ты, Господи, веси.

ГЕРИЛЬЕРО С ВОЛОГОДЧИНЫ

Почему-то считается, что герильеро бывают исключительно с Кордильеров. И непременно в берете с красной звездой. Глупая Европа носит сумки и майки с изображением герильеро Че Гевары, который отдал жизнь за то, чтобы люди отучились жить по-людски. А нам чужие береты без надобности, нам впору организовать производство маек с изображением кудрявого Владимира Тендрякова в соломенной шляпе. Белый герильеро, городской и деревенский. Всю жизнь партизанил за то, чтобы вернуть людям человеческую жизнь: свою лошадь; свою корову — «обильномолочную»; своих овец — «в теле»; своего подсвинка, который «хрюкает, потому как сыт, стервец: за ночь нагулял золотник жиру»; свою капусту, которая «топоршит матово-негибкие хрящевые листья — за ночь чуток ...подросли»; свое нехитрое бытие крестьянина-единоличника с великим крестьянским хайтеком: «Латай портки вовремя — сносу не будет». Всё это вкусно, соблазнительно, аппетитно опишет Тендряков в «Кончине».

Нет, не махновец: те наяривали коллективно, на тачанках, путались с большевиками и анархистами. И не подкулачник. Для махновца — слишком правый и одиночка, для подкулачника — слишком на виду, в первых рядах. И не кулак — не воевали кулаки до 1984 года в масштабах всей страны, и в городе в том числе. Кулак — он с бородой и с обрезом и без теории: одна практика. Антоновское восстание, например. А Тендряков — одиночка. Self-made man. Элегантный ученый, интеллектуал. Герильеро, словом. Очень злой герильеро. Единственный деревенщик, который был как дома и в науке, и в теологии, и в городе, и в школе, и на войне. Это все темы Тендрякова широко раскинулись.

Воинствующий гуманист. С авторучкой наперевес. Не все мужики были в лаптях, не все были покорны судьбе, не все с энтузиазмом работали на советской баршине

и платили советский оброк. Не всех удалось загнать в бараки колхозов, на нары коллективной каторги. Крестьяне редко брались за вилы и за топоры, но если уж брались... Тендрякова надо изображать с вилами, как черта из преисподней. Чувствовала ли советская власть его вилы? Он всю жизнь колот ее в толстую задницу. Похоже, что-то чувствовала, потому что проблемы с цензурой у Тендрякова возникали на каждом шагу и даже на пустом месте. Вроде бы нет ничего, а Главлиту всё мерещится, мерещится... Это он вилы чувствует, но сформулировать не может. Формально Тендряков был членом КПСС. Но по сути принадлежал к совсем другой партии. Тендряков был по взглядам типичнейший правый эсер. Едва ли он сам это знал. А уж товарищи по цеху и по КПСС и по-давно не знали, а то бы пошел он по шоссе Энтузиастов, сиречь по Владимирке.

Сытое комиссарское детство

Мало кто знает, что Тендряков — это псевдоним. Задолго до интернета российские писатели на ники перешли. А был сначала Володя Тенков, сын «ответственного работника». Родился он в декабре 1923 года, в деревне Макаровская Вологодской области. Отец его был сначала судьей, а потом прокурором. Маленький Володя в рассказе «Хлеб для собаки» с горечью отмечает, что он всегда был сыт, а в пролетарской стране стыдно быть сытым. Но увы! Ответственный отец получал ответственный паек. Мать Володьки даже пекла белые пироги с капустой, луком и яйцами. А на завтрак ему давали два ломтя черного хлеба, склеенных клюквенным повидлом. Представляете себе времечко, когда этот харч считался роскошью?

В пристанционном скверике умирали высланные с Украины кулаки. Их по утрам собирал в телегу и увозил конюх Абрам. Мальчишке говорили, что они враги. Он все равно упорно продолжал подкармливать, кого мог, из своих обедов. Эта травма, эта ранняя рана, этот шрам остались у него на всю жизнь. Мать посылала его

за хлебным квасом в столовку. Квас давали не каждому, кто хочет, а только по особому списку. Тенковы в список входили... Володя делал что мог: не брал в школу завтраки, потому что их не было у других, таскал от своего обеда хлеб и кашу опухшим умирающим кулакам. Но не мог заглушить чувство вины, собственно, и делающее человека интеллигентом.

Смерть его подождет

Почему-то Володя, сельский интеллигент, никогда не ходивший в театр, мечтал стать режиссером. И вот он подает документы во ВГИК. А тут война. Идти добровольцем — это был хороший тон. Но как-то всё у Тендрякова без восторга, не на германовском или даже не на абрамовском уровне. У него вопросы к войне, судя по «Донне Анне», появились задолго до Хрущева. И к войне, и к Сталину. Только сформулировать это до 1960-х годов он не умел.

Вообще к войне Тендряков отнесся трезво. Да и умели восторгаться этот прокурорский сын?

Его холодный разум и железная логика были как-то не по летам. Воевал он связистом, и судьба его все время хранила. Ой, как хранила! Попал он под Сталинград, где трудно было разобрать, свои или чужие окопы и позиции. Целый день девятнадцатилетний парень мотался с тяжелой катушкой, чудом вышел к своим. Попади он к немцам — лагерь, попади к соседним особистам — расстрел (в силу прелестного сталинского приказа «Ни шагу назад», а ведь бедный Тендряков намотал в тот день несколько десятков километров). В конце концов под Харьковом он нарвался на очень серьезное ранение. И, как Федор Абрамов, едва не был похоронен в братской могиле. 1943 год. У раненого Тендрякова белый билет. И здесь с ним прощаются медсанбаты, и долгие десятилетия он считается даже «здоровяком» (Нагибин). Но ранение было роковым. Отложенная смерть. Она догонит его неожиданно, в 1984 году.

Дом, который построил Тендряков

В 1943 году Володя Тенков идет в школу, простую деревенскую школу. В деревнях остались одни бабы и детишки, многие учителя-мужчины тоже воюют. Учителей, ясное дело, не хватает. Но у Володи нет педагогического образования, и его берут только учителем начальной военной подготовки. А через год его забирают (в этой самой Кировской области, куда его занесло) в Подосиновский райком ВЛКСМ. Фронтовик, с ранением, язык хорошо подвешен, грамотный, комсомолец. Райкомы-то тоже опустели. И никому невдомек, что этот парень уже ни во что не верит. Герильеро. Подпольщик с вилами. Произнося обязательные слова, он тайно пишет роман «Экзамен на зрелость». Чтобы опубликовать его, он возьмет себе фамилию Тендряков, похожую на раскат весеннего грома.

В 1945 году Владимир с романом за пазухой едет в Москву и в 1946-м наконец-то поступает во ВГИК, но быстро разочаровывается и переходит в Литинститут имени Горького. Учится он в семинаре у Константина Паустовского, эстета и стилиста. Другой эстет и стилист, попавшийся ему на пути, Юрий Нагибин, будет откровенно его не любить, обвинять в фанатизме, невоспитанности, ограниченности, в мессианстве и даже в трусости — его, герильеро! — что, конечно, чушь. Просто в творчестве своем Тендряков был антиэстет. Но Паустовский видел, что эта проза «способна служить тараном для пробивания глинобитных стен». И он помог ему дойти до финала. Тем паче что Тендряков писуч до невозможности, он потрясал весь институт тем, что писал день и ночь, учился, вырабатывал свой неповторимый стиль. За месяц мог настрочить три-четыре печатных листа.

Он начал печататься раньше других, с рассказа «Дела моего взвода» в «Альманахе молодых писателей» в 1947 году.

В 1948 году он идет в тыл врага — вступает в КПСС. Не ради карьеры, которой у него, правого эсера, никогда не будет. Ради того, чтобы печататься, сказать правду, завершить миссию, перечеркнуть колхозное, военное, школьное, педагогическое, юношеское вранье. Редкий

случай для верующих, как правило, шестидесятников: использовать партбилет, как Штирлиц — свой мундир. И даже не для разведки — для диверсий!

А война не кончалась. В декабре 1947 года чекисты пришли в общежитие арестовывать его сокурсника Эмку Манделя, будущего Наума Коржавина, за стихи. Эмка стал прощаться со студентами. Тендряков отвернулся. Дальше уже спорят Коржавин и Сарнов. И оба ошибаются. Коржавин говорит: Тендряков истово верил в советскую власть и считал меня врагом, вот и отвернулся. Сарнов настаивает на осторожности: мол, хотел Володька вступить в КПСС, вот и побоялся проститься. И никому из них в голову не пришло, что отвернулся он в бешенстве и отчаянии, чтобы не вцепиться в горло чекистам... Отвернулся, потому что не мог помочь, было стыдно на такое смотреть.

В 1951 году Тендряков оканчивает Литинститут. И начинает писать; он профи, он не ищет другой профессии. В 1954 году он даже прорывается в «Новый мир» и печатает там повесть «Не ко двору». Признанный деревенщик Валентин Овечкин сказал: «Это не шаг, а прямо бросок вперед». Это пока еще не искусство, но уже единоборство. И тут его привечает Твардовский, который поочередно и порознь дружил и с ним, и с Федором Абрамовым. «Новый мир» печатает первый роман Тендрякова «Тугой узел» (1956), а также повесть «Тройка, семерка, туз» (1961). Это всё еще не искусство, но Твардовский ведь эстетство не любил, и вот то, что Тендряков — таран, он сразу почувствовал. И в 1961 же году начались неприятности. В «Правде» Юрий Лукин пишет: «Тендряков несправедливо обвинил советского человека». Считается, что по-настоящему, во всей своей красе, Тендряков появляется в повести «Чудотворная» (1958). Тендряков, богоискатель и интеллектуал, не сделал этот первый свой шаг к вершинам теологии однозначно атеистическим. За душу малолетнего Родьки шла серьезная борьба. Тендрякова пугало другое: государство и пионерская организация так же насильствовали Родьку, как неграмотная бабка с матерью. А Бог и священник отец Дмитрий были вне игры. Школа не разрешала ходить без галстука под страхом исключения, мать и бабка без креста не пускали

за стол. А Бог был далеко... Вот фильм получился мажорно-атеистический, это факт.

В «Свидании с Нефертити» Тендряков (а это 1964 год) прямо формулирует задачу художника и интеллигента (и христианина, кстати, заодно): надо всю жизнь отвечать на вопрос Понтия Пилата «Что есть истина?». Римские кесари, партийные руководители и попы поплоше, полуграмотные, одинаково свирепо отнеслись к такой установке.

Начинается великая война Тендрякова с цензурой. Альберт Беляев, покровитель Тендрякова в отделе ЦК КПСС, заведовавшем беллетристикой, не раз спасал его вещи от тупого, но чувствовавшего вилочку у задницы начальника Главлита Павла Романова. Он спас повесть «Находка», снятую из выходящего номера «Нового мира». «Находка» — повесть о несчастном мертвом младенце, брошенном в тайге несчастной девочкой-мамой. А угрюмый егерь, нашедший трупик и поклявшийся убить эту мамашу, когда находит — жалеет и прощает. «Истина белая», то есть состоит из всех цветов радуги, а колесо судьбы вращается, и все истины, все цвета входят в один цвет — белый — вот первый вывод Тендрякова. А у Романова одна — красная — истина: «Чтобы во славу партии, советской власти и советского человека было написано».

Тот же Беляев отмечает, что в частных беседах с ним Тендряков говорил столь резко и прямолинейно, что бедный партайгеноссе просил его нигде такое больше не говорить, кроме как ему. А Тендряков отмахивался: «А, надоело бояться». На съездах писателей (с 4-го по 7-й, с 1967 по 1981 год) Тендрякова избирали в состав правления Союза совписов. Он туда и не ходил. Но воспользовался оказией и поставил на голосование письмо Солженицына съезду об отмене предварительной цензуры. Президиум съезда наложил в штаны, и с Солженицыным беседовали на секретариате, келейно. И цензура, и Александр Исаевич остались при своем.

Когда Твардовского вытеснили из «Нового мира» — на скорую смерть от рака, — Тендряков вместе с Нагибиным, Вознесенским и Евтушенко (всего набралось 14 человек) выступили с письмом в его защиту. И здесь

начинаются скитания по журналам. Новый главред «Нового мира» Валерий Косолапов взял «Ночь после выпуска», отвергнутую Викуловым из «Нашего современника», который пробил, однако, в печать «Три мешка сорной пшеницы». Но и с «Молодой гвардией», и с «Нашим современником» Тендряков разошелся. Да, деревенщик, да, почвенник, но почвой для деревни и для России он считал Запад! Твардовский (втайне левый эсер) корил его тем, что он слишком правый. Косолапов печатать перестал; словом, Тендряков обрел пристанище в «Дружбе народов», где печатались республики-колонии, даже прибалты и грузины, и многое списывалось на «местную экзотику» (и Василь Быков, и Фазиль Искандер). Свой шедевр, «Кончину», он создал и даже просунул в печать в 1968 году. А «Донна Анна», «Хлеб для собаки», «Пара гнедых» и «Параня» тоже ждали перестройки, как вещи Гроссмана и Владимира Зазубрина, ждали двадцать лет, хотя он пытался пустить всё это в полынью первой оттепели.

Как прошла «Кончина» — непонятно. Проглядели, не поняли. Это абсолютный шедевр, угрюмый и мрачный шедевр матерого, безжалостного герильеро. Он успел увидеть свой четырехтомник, но до пятитомника не дождался.

Он даже совершил разбойное нападение на одну из Бастилий режима. Когда биолога Жореса Медведева за плохое, антисоветское, поведение захватили в калужскую психиатрическую больницу (май 1970-го, начало карательной психиатрии), Тендряков заехал за Твардовским, буквально кинул его в свою машину и погнал ее в Калугу. Сейчас бояться журналистов — тогда боялись писателей. Фронтвики, партийные, знаменитые, маститые, члены чего-то! Они подняли страшный крик, небу стало жарко, напугали врачей, милицию, КГБ, ЦК, Политбюро. Методика психушек еще только создавалась — и власть сдалась. Отбили Жореса.

Вообще Тендрякову с писателями было неинтересно. Огромная библиотека, куча научной литературы, интеллект как основа творчества... Он дружил с учеными — Сергеем Капицей, Тимофеевым-Ресовским, Роем и Жоресом Медведевыми. Женщины его не интересовали, хотя ханжой он не был: когда в Дрездене ставили его «Ночь после выпуска» с голой десятиклассницей, прикрывающей срам

аттестатом зрелости, на афише, он был доволен и на уровне бедер девы дописал стишок: «Превращаюсь в деву я, вот она в раздетости, срам невинный схороня в аттестате зрелости».

Женился на журналистке, интеллектуалке Наталье Григорьевне Асмоловой, вошел в сказочно, европейски образованную семью, где тесть его, интеллигента, называл «наш мужичок». И всё, и завязал. Жена Наташа, дочь Мария. Некогда было гулять: подъем в восемь утра, десять километров пробежки по лесу, душ — и на дачу, на второй этаж. Работать до самого вечера. Вечером гулять с Машей.

Третьего августа 1984 года после пробежки Тендряков встал под холодный душ — и упал. Инсульт. Четыре года оставалось до выхода в печать тайных его новелл. Шестьдесят один год жизни. Еще меньше, чем у Федора Абрамова. Почему-то шестидесятники дольше шестидесяти с копейками не жили.

Мужское наследство

Старый герильеро оставил нам в наследство свои боеприпасы. «Ночь после выпуска» (1974) — об опасности голой правды в отношениях между людьми. «Затмение» (1977) — повесть о тех, кого до 1991 года (и сегодня опять) называли сектантами. О Майке, к ним ушедшей. И мысль: а может быть, они правы, они нашли смысл, а где еще смыслы в СССР? «Расплата» (1979). О тщете всех народовольцев и террористов мира: нельзя никого убивать, совсем плохих людей нет на свете. И о немцах под Сталинградом в горящем немецком госпитале: и немцы тоже люди, а не просто враги, и их жалко. «Кончина» — и вовсе эпос, история отношений советской власти и интеллигенции. Матвей Студенкин, бездарь, фанатик, большевик из неучей и дураков, создает коммуну, раскулачивая не только крестьян богатых, но и зажиточных, середняков, по принципу «Не шибко богат, лошадь да корова. Но язык больно длинный, пускает по селу вражеские разговоры». Иван Слегов, окончивший гимназию, умница, эрудит, агроном и зоотехник, — его

антипод. Он пытался противиться, но новый председатель колхоза, типичный номенклатурный делег и хитрец Пийко Лыков, употребил его для «колхозного дела». Он не убил Ивана, не сдал в НКВД. Он перебил ему позвоночник, свез в больницу, а потом посадил Слегова, инвалида на костылях, к себе в контору бухгалтером, счетоводом, менеджером, правой рукой. Калеке Ивану некуда было деться, и он служил Лыкову с 1920-х по 1960-е. Вот так сломали хребет русской интеллигенции и заставили ее работать. Ноу-хау большевиков. Пальчинский, Королев, Эренбург, Ландау.

«Пара гнедых» и «Хлеб для собаки» ждали публикации двадцать лет, до 1988 года. В первом рассказе показан механизм конфискации, то есть грабежа зажиточных работяг в пользу нищих лодырей и пьяниц. Во втором рассказе кулаки, высланные с Украины, умирают от голода в пристанционном сквере. И здесь приведен разговор партийного секретаря с умирающим «шкилетником»: «...Хотел ты идти в колхоз? Только честно!» — «Не хотел». — «Почему?» — «Всяк за свою свободушку стоит». Вот вам и повод для ликвидации миллионов крестьян.

Рассказ «Параня» тоже ждал двадцать лет. Жуть механизма репрессий в глухой деревне: юродивая Параня своими бредовыми выкриками пересадила полсела, и спасся от политической статьи и расстрела только Зорька Косой, ее убивший и севший за «уголовку». В этом селе, как и по всей стране, Сталину молились, как Христу, и считали юродивых девок его невестами.

«Донна Анна» также из рассказов двадцатилетней выдержки — о страшном положении на фронте, о лейтенанте Ярике Галчевском, которого сначала принуждают вести роту в безнадежную атаку на верную смерть, а потом расстреливают за это. Перед залпом он успевает выкрикнуть: «Убейте того, кто ставил "Если завтра война"!» Я не враг! Мне врали, а я верил!» Герильеро Тендряков учил не верить, не бояться и не просить.

ИСТОПИ ТЫ МНЕ БАНЬКУ ПО-ЧЕРНОМУ

Василий Макарович Шукшин был последним из деревенщиков. На нем кончились не только они: истовые, настоящие, исстрадавшиеся, не поддельные, но и сама деревня. Он силой своего таланта и природного крестьянского чутья, всем страданием и томлением с таким трудом обретенной интеллигентности угадывал этот неизбежный конец, до которого было еще лет двадцать верных, особенно на его родном Алтае.

Казалось, всё было хорошо в эти шестидесятые. Хрущев выдал паспорта, больше не стреляли, не арестовывали, не раскулачивали. Крестьянин впервые после «лихих тридцатых» наелся досыта. С каким сладострастием и удовольствием описывает Шукшин достаток деда из рассказа «Космос, нервная система и шмат сала»! Сало еще прошлогоднее, окорок добрый пуда на полтора, бочки, бочонки, кадки, кадушки, боровы, утки, куры, корова... Сыты, обуты, одеты... Даже городские модные сапожки один муж привез из города своей жене, да не налезли они на крепкую сельскую ногу, дочери достались... Всё хорошо, но банька истоплена не по-белому, а по-черному. Нет очищения, катарсиса, нет сил и решимости орать на весь белый свет, нет и полного понимания, что произошло и происходит на этом белом свете. Но всё идет не так и не туда, и Василий Макарович мается, пьет и понимает, что его льянной голубоглазый мир, который он любит и тщетно пытается идеализировать (слишком велик талант, слишком правдив и искренен сам Шукшин), обречен, но не понимает почему.

Василий Шукшин родился в 1929 году и вырос при советской власти, придавленный к родной земле ее мягкой тяжелой лапой, вбитый, как всё его поколение, по грудь в землю. Он мечтал ходить в сапогах, как Сталин, он вступил в КПСС в 1955 году, еще до XX съезда, чтобы учиться во ВГИКе, в Москве. Баня часто фигурирует в его рассказах и даже в фильме «Калина красная», но

этот белый пар Шукшину не достался, он говорил много лишнего, но не столько, сколько надо было. Он не угорел, и пар горячий не развязал ему язык. Его баньку, как у всех советских людей, топили волоком, по-черному, и дым клубился и ел глаза, и душно было в этой баньке и в этой стране. Кажется, Шукшин так и не понял, что его мир обречен из-за колхозов, из-за отсутствия частной собственности на землю, из-за гибели миллионов «единоличников» и «кулаков».

И его истинным героем должен был стать именно дед, который работал от темна до темна и именно на себя, а не сторожем или на колхозной пасеке. Вот она, протестантская этика: «Робить надо, вот и благодать настанет». А квартирант деда, Юрка, обвиняет его в «кулацком уклоне». И Шукшин явно на стороне Юрки, которому льстит, что испуганный дед говорит, что «раньше» он, Юрка, был бы комиссаром. Старик боится не ЧК, а вполне конкретного уменьшения приусадебных участков, у него под огородом четыре лишних сотки. Русскому крестьянину что на Алтае, что под Курском по-прежнему считали его, пусть выданную сельсоветом, землю на метры, а колхозную считай хоть на мили — она не была нужна никому. Этот прижимистый дед-скопидом, умевший солить сало, умевший правильно кормить свинью (недельку покормить как следует, недельку промариновать, тогда оно и будет слоями: слой сала, слой мяса), жалевший денег опохмелиться, — вот и всё, что осталось от строгого к себе и другим, богобоязненного, чистого телом и душой, хотя и слишком робкого и темного русского крестьянства. Некрасовского крестьянства, еще до Гриши Добросклонова.

Такими были родители Васи Шукшина. «В ней ясно и крепко сознание, что всё их спасенье в труде, и труд ей несет воздаянье: семейство не бьется в нужде. Всегда у них теплая хата, хлеб выпечен, вкусен квасок, здоровы и сыты ребята, на праздник есть лишний кусок». Такой была мать писателя, Мария Сергеевна, в девичестве Попова, уроженка села Сростки Бийского района Алтайского края. Таким был и работяга-отец, Макар Леонтьевич Шукшин, родившийся в 1912 году и уже в 1929-м породивший вместе с Марией Сергеевной сына Васю, а через два года — дочь Наталью.

Мать и дочь жили просто и бесхитростно, не в думах, а в трудах, и потому жили долго. Мария Сергеевна дожила до января 1979 года, а Наташа — даже до июля 2005-го, вполне вкусив и гордости, и журналистско-туристической суеты по поводу славы любимого брата.

Но вот наступает 1933 год, и эта пыточная коллективизация докатывается до Алтая. Василию четыре года, потому что родился он 25 июля 1929-го. А вот его молодой отец, Макар Леонтьевич, был арестован и расстрелян. В 21 год. Якобы за «повстанческую деятельность». А вдруг правда? Вдруг он был одним из немногих, кто сопротивлялся, вдруг он «хотел дать нам волю» и стал прототипом того Стеньки Разина, о котором его сын всю жизнь пытался снять фильм? Но, скорее всего, он был смиренным и покорным пахарем (и механизатором, кстати), работал на молотилках и даже не знал, кого ему проклинать. Так ушли в ГУЛАГ и не вернулись миллионы русских мужиков, ушли без слова упрека, молча.

Оставшись с двумя ребятами на руках, Мария Сергеевна хотела убить себя и малышей, но одумалась и стала бороться за жизнь детей, и тут ее взял замуж хороший человек, Павел Куксин, односельчанин. Марии Сергеевне и самой-то минуло только 22 года, было от чего на всю жизнь испугаться.

Сын врага народа

Хороший человек Павел Куксин погиб на фронте в 1942 году, а малолетний Вася до получения паспорта был записан Поповым, на материнскую девичью фамилию. Он смог доучиться только до седьмого класса, потом пришлось зарабатывать на хлеб. Васе было не до детства, не до игры. Он рос гордым и замкнутым, всегда серьезным, и требовал, чтобы его называли Василием. Замкнутый Василий не принимал насмешек: сразу убегал в горы, а то в протоки реки Катунь, на острова, и прятался там по нескольку дней.

После семилетки он пошел в Бийский автомобильный техникум. Это дело считалось тогда хлебным. Но долго он этой технократической эпопеи не выдержал, мальчик

был явно лирик, а не физик. Потеряв два с половиной года, в 1945-м он пошел работать в колхоз в своем же селе Сростки. Потом он работал слесарем на турбинном заводе в Калуге и на тракторном заводе во Владимире. Он строил и электростанцию под Москвой, и какой-то мост на станции Голицыно. Это были не те университеты. Просто каторга ради куска хлеба.

В 1949 году Шукшина «забрили» в армию, куда он вовсе не стремился. К счастью, он попал на флот, где тогда было сытно (похоже, он впервые наелся досыта — за всё свое босоногое деревенское детство и отрочество) и не так тяжело с муштрой. Вот только не получилось из Василия Шукшина радиста согласно «диплому» из учебки. Попал он на Черноморский флот, в Севастополь. И это было хорошо тоже: тепло — ни тихоокеанских ветров, ни северных льдов. Но его скрутила язва желудка, которая будет потом мучить его всю жизнь, такую к нему неласковую. И его комиссовали вчистую. Кстати, едва до госпиталя довели. Были шторм, волна, качка. А он лежал в шлюпке, скорчившись от боли, и кричал товарищам, сидевшим на веслах: «Ребята, ребята, доведите!» Он плакал от боли и стыда, но криков сдерживать не мог.

В 1953 году Шукшин, упорствуя, возвращается в родные Сростки и сдает экстерном экзамен на аттестат зрелости. Он много читал, искал Бога и истину, что не помешало ему трудоустроиться инструктором райкома партии (при беспартийности, заметьте). Потом он преподавал словесность в деревенской школе (для пятых—седьмых классов). Его сделали директором. Видно, и в райкоме, и в сельских школах с грамотеями было очень плохо после страшной сталинской жатвы, когда под серп пошла прежняя, еще народническая, интеллигенция. И тут Василий, парень с положением (искания его в Сростках тогда никому не были нужны), встречает красавицу Марию Шумскую из крепких крестьян и даже с приданым: отец ее работал в торговле. Она всем женихам предпочла Шукшина, считала его ангелом. Они поженились в 1955 году. Маша до конца своих дней работала в Сростках учительницей немецкого языка, хранила письма писателя. Они не разводились, хотя «разводное письмо» Шукшин бедняжке послал. Но он просто потерял паспорт, а вот она осталась ему верна до самой смерти.

Однако это не помогло Шукшину, нашему Летучему Голландцу, обрести покой и пристать к берегу; душа его не узнала покоя... С Машей вышло не по-человечески, потом он сам это признавал. Он делился с ней в недолгие месяцы их брака, говорил, что хочет быть похожим на великих людей — на Джека Лондона, Ленина и Сталина (!). Даже сапоги носил, как он... У Шукшина, так же как и у его персонажей, в голове была порядочная каша — советская действительность не оставила бедным крестьянам ни руля, ни ветрил, ни точки опоры. Хорошо, если оставляла жизнь. Но упорный самородок, в котором, как жемчужина в раковине, вызревал талант, что-то писал в толстую амбарную книгу и решил ехать в Москву и стать писателем. Безропотная мать продала корову и снарядила сына в дорогу. Вид у него был тот еще: сапоги, гимнастерка, тельняшка. А с Машей он увидится еще только один раз, мельком, в 1964 году.

Перед ним лежала Москва, и ее надо было завоевывать.

Миль пардон, мадам

Это хотели бы сказать все деревенщики и деревенские жители надменным горожанам в ответ на «деревню» и «лимит». И Шукшин, с его неприбранным, мучительным, непосильным и непонятым для него талантом, сказал это вполне. Собственно, сказал это Бронька из одноименного рассказа — «Миль пардон, мадам», но Шукшин под этим подписался. Он пришел сдавать экзамены, бедный, но партийный (страх оказаться сыном «врага народа» застрял в горле, как кость). Собственно, в КПСС он вступил на первом курсе. Однако советскую власть ругал последними словами, не умея держать камень за пазухой. И педагоги ВГИКа боялись, что их посадят вместе с ним. Ведь в Литинститут его не взяли (не было публикаций), и он рванул сразу во ВГИК и в Историко-архивный со своим амбарным гроссбухом новелл («раскасов»). Один раз ночевал на скамейке, его разбудил Иван Пырьев, привел к себе ночевать, поил чаем.

Во ВГИКе он начал с того, что наорал на экзаменатора Ромма (только сдавая документы, он узнал, что

есть режиссерский факультет, а раньше думал, что актеры сами договариваются, как снимать). Ромм упрекнул его в том, что он некультурный человек, Толстого не читал. А Шукшин стал кричать, что директор добывает дровишки, школу ремонтирует, ему читать некогда. Хотя он много читал, но именно «Война и мир» ничего не могли ему дать. Ромм, провидец, угадал талант и взял его к себе. Опекал, учил пристраивать рассказы из грессбуха. А потом Шукшин стал вполне интеллигентом (страдать он умел, оставалось читать и учиться), его талант обрел свое оперение, свой стиль. В 1956 году в герасимовском «Тихом Доне» он сыграет матроса в эпизоде, а в 1958-м — уже у Марлена Хуциева — главную роль в фильме «Два Федора». Напьетса до положения риз перед премьерой, Хуциев будет вызволять его из обезьянника, обещая ментам лучшие места в зале... А ВГИК он окончит в 1960-м, получит представление о технике съемок.

Талант же он носил с собой. В 1963 году выйдет его первая книга — «Сельские жители». В издательстве «Молодая гвардия». В том же году «Новый мир» публикует «Классного водителя» и «Гриньку Малюгина». Кажется, карьера состоялась? Ведь уже в 1964 году он сам снимает свой первый фильм — «Живет такой парень», и критика к нему благосклонна. Но ему нужна не карьера, ему нужно «мысль разрешить».

Снимается он постоянно, но из этих фильмов останется разве «Комиссар», остальное — советский мейнстрим («Ваш сын и брат», «Простая история», «Мы, двое мужчин»), если не хуже: «Освобождение», например. Шукшин понимал, что играет в ерунде. Он замыслил снять «Степана Разина», замыслил и стал читать литературу уже в 1965 году. И тогда же решил сделать сатирический фильм «Точка зрения». Но к «Разину» отнеслись кисло, а по поводу сатиры сам Юткевич сказал, что накануне 50-летия советской власти смех и сатира неуместны. Это вызвало такой прилив отчаяния, что коллеги боялись самоубийства Шукшина. У него не было толстой шкуры, а вранье и лицемерие вызывали одно желание: пойти в кабак. Ох, не судите его, чистоплюи: он не веселия жаждал, а скорби искал, как Мармеладов.

Кстати, мир Шукшина — это мир Достоевского с поправкой на советскую действительность.

Были и женщины. Приписывают ему роман с Беллой Ахмадулиной. Правда или нет, мы не узнаем, теперь спросить не у кого; но они общались, и это общение с утонченной аристократкой и умной поэтессой, конечно, было полезно Шукшину. В 1963-м его дорогу пересекла и в 1965-м родила ему дочку Катю образованная и добрая Виктория Софронова. Но тут роман на всю жизнь, но тут внезапная страсть к красавице Лидии Федосеевой, с которой они вместе ехали на съемки фильма «Какое оно, море?» в Судак. Бедный писатель никак не мог выбрать, метался, страдал; Виктория его гнала, а Лидия, как положено русской бабе, терпела всё. Она подбирала Шукшина у дома, несла на себе в лифт, чуть не родила досрочно. И вот появляется Машенька — 1967 год. Оленька — 1969 год. Дочки и терпеливая Лидия спасли Шукшина, он совершенно бросил пить. Он всё прочел (Ромм, слышишь ли ты?) и стал вровень (а по таланту — куда выше) со столичной элитой. Порукой тому его последняя сказка, горькая сказка об Иване-дураке, справке, Змее Горыныче и Бабе Яге — «До третьих петухов». Он снял страшный фильм о смертном искуплении за грехи («Калина красная», 1974 год). Он успел написать «Любавиных» — свой эпос про «раскулачку». Он снимал, белея от боли, с язвенными приступами, снимал буквально ценой жизни. Он не снял «Степана Разина», но написал роман.

Он и умер на съемках, на теплоходе, 2 октября 1974 года. Страх провожал его в могилу. Георгий Бурков шепотом рассказывал о запахе корицы «инфарктного газа», который якобы пустили ему в каюту. Таксисты Москвы хотели почтить его гудками, проезжая мимо Дома кино, где проходило прощание. Из Союза кинематографистов стукнули, и КГБ предотвратил. Наверное, впервые Шукшин стал свободным в гробу, украшенном красной калиной.

А деревня чужая, а деревня большая

Василий Шукшин мощно вытолкнул в мир своих растерянных земляков, бестолковых, бесхитростных, неуклюжих, искалеченных советской историей, жертв города, который сорвал их с насиженных вековых гнезд и отправил кого-то в ГУЛАГ, а кого — строить мировой коммунизм на отдельно взятом Алтае. У него даже есть два князя Мышкина, вернее, три: Семка Рысь из рассказа «Мастер», готовый бесплатно реставрировать ненужный атеистической державе красивый храм. Вася Князев из рассказа «Чудик», отдавший как находку свои же 50 рублей и расписавший розочками коляску городского племянника; Андрей Ерин из «Микроскопа», купивший на свои кровные 120 рублей микроскоп вместо детских шубок.

Но есть и зловещие примеры: демагог и садист Глеб Капустин из рассказа «Срезал»; чуть не совершивший убийство Спирька, первобытный красавец из «Сураза», красавец и бандюга, непутево застреливший не мужа любимой учительницы, а себя. Да и положительный Егор из «Калины красной» что-то не о том спрашивает отца «заочницы» Любы. Пусть шутка, но нехорошая: про то, не служил ли он у Колчака и не воровал ли колоски на колхозных полях. А Колька Паратов (тоже самоубийца) из рассказа «Жена мужа в Париж провожала» стал пить и рассорился с женой Валею из-за того, что она частная портниха и зарабатывает триста чистыми (в них было спасение, в этих цеховиках, будущих кооператорах). Да, полная переделка. «Там по будням всё дождь, дождь, дождь, и по праздникам дождь, дождь, дождь, а деревня чужая, а деревня большая». Может, потому и хотел Василий Макарович снять фильм о Стеньке, о свободном и гордом Стеньке, который попер против власти, ничего не боялся и смело принял муки в застенке и на эшафоте? «Я пришел дать вам волю». Шукшин всю жизнь мечтал о таком, который дал бы волю ему и его односельчанам. Никто не пришел. До сих пор.

ПЕСНИ МОСКОВСКОГО МУРАВЬЯ

Юрий Трифонов был горожанином, и вся слезная горечь «народных мстителей» Федора Абрамова и Владимира Тендрякова была ему недоступна. Он принадлежал — словно, по рождению — не к жертвам, невинным жертвам «революционных бурь», и даже не к «попутчикам», а к революционной номенклатуре, которая сначала делала эту чертову революцию, а потом скакала на ней, восхищаясь и кое-что оспаривая по мелочам, но все-таки больше восхищаясь: когда на коне, когда под конем, но всё же галопом, не слезая с этой буденновской конницы. «По нехоженным тропам протопали лошади, лошади, неизвестно к какому концу унося седоков*». Концы такого рода были описаны самим Трифоновым в «Доме на набережной», в «Возвращении Игоря» и в рассказе «Прозрачный летний полдень». Но не поднимается рука считать жертвами этих всадников Апокалипсиса, ибо жертвы по определению пешеходы.

Интеллигенция, равнодушная зачастую к Федору Абрамову и Владимиру Тендрякову, задиристым и занозистым «деревенщикам», почитала и нежно любила Юрия Трифонова, ибо они всегда были одной крови и одной плоти: смиренные московские муравьи, жившие по законам и правилам муравейника, и правила эти предполагали наличие как неоспоримо авторитетных маток, так и муравьедов. Булат Окуджава, с которым Юрий Трифонов был достаточно близок, очень хорошо понимал бедных муравьев, создающих кумиры, потом разоряющие муравейники и топчущие муравьишек. «Мне нужно на кого-нибудь молиться. Подумайте, простому муравью вдруг захотелось в ноженьки валиться, поверить в очарованность свою!» Сотворить себе богиню — это мило и трогательно. Но, как правило, муравьи творят себе Бога, причем из любого попавшегося под руку фонарного столба. Ленин, Сталин — всё годится. В муравейнике, в котором вырос Юрий Трифонов, были именно

* В.Высоцкий, «Песня о новом времени». — *Прим. ред.*

такие кумиры. Могучий талант Юрия Трифонова всю жизнь бунтовал и оспаривал этот муравьиный жребий. Он был тончайшим критическим реалистом, беспощадным и к себе, и к смиренной советской интеллигенции, и к поколению, «поколению обреченных» (Галич). Это было стыдно, но это была правда, одинаковая и для троечников-обывателей — «оглоедов» (терминология из «Дома на набережной»), и для отличников-идеалистов — «осьминогов». До Трифонова такую оглушительную пощечину интеллигенции и себе закатывал только Чехов. Они с Трифоновым окучивали одно поле; правда, Чехов не верил еще и в народников и не писал им од, в отличие от Трифонова с его «Нетерпением». Наш московский муравей, впрочем, как и Антон Павлович, не пытался выйти за пределы муравейника. Чехов не искал «лучей света» в «темном царстве». Чехов знал, что сумерки — навсегда, а Трифонов понимал, что никогда не выйдет за пределы муравейника, в котором он родился в августе 1925 года, прожил свои 56 лет и умер в нем же — в 1981 году, в марте.

Он видел, как падали гордые головы. Юрий Валентинович Трифонов был внуком и сыном революционеров: меньшевиков, большевиков, фанатичных, упертых, советских до мозга костей. Впрочем, мы с ними давно уже знакомы: Юрий Валентинович от нас ничего не скрыл. Игорь, или Горик из «Исчезновения» — это он и есть, и все его родственники, жильцы Дома на набережной, советский истеблишмент, не бравший взятку (но взявший у страны, у себя, у своих детей человеческую, обычную, восхитительную, не легендарную и не катастрофическую жизнь), населяют этот роман и даже выплескиваются в «Дом на набережной». Итак, фамильные портреты, портреты эпохи, среди которых умному, трезвому идеологическому атеисту Юре было так страшно жить. Бабушка по матери, Татьяна Александровна, урожденная Словатинская, жившая долго и горячо, с 1879 года аж до 1957-го, была профессиональной революционеркой, хорошей знакомой Сталина: она отправляла ему посылки в ссылку. А Сталин ей писал: «Милая, милая, как мне вас отблагодарить?» Бабушка участвовала в Гражданской войне (были ведь и комиссарши в пыльных

шляпках), потом строила коммунизм, социализм, тоталитаризм, и всё с одинаковым энтузиазмом, ни разу не усомнившись в деле Ленина—Сталина, колеблясь вместе с линией партии. Дед, Абрам Павлович Лурье, разнообразия ради меньшевик-подпольщик, а двоюродный брат — советский политический деятель Арон Сольц, по «Исчезновению» — главный партийный арбитр.

Родители тоже не подкачали. Валентин Андреевич Трифонов, отец писателя, был революционером до 1917-го (родился он в 1888 году и успел «поучаствовать»), а после достиг «степеней известных» и стал председателем Военной коллегии Верховного суда СССР. Причем у нас нет данных, что он отказывался ходить в этой упряжке по отношению к тем, кого успели осудить и расстрелять еще до 1937 года, а ведь процессы шли косяком: Промпартия, дело Рютина, троцкисты, зиновьевцы, миллионы крестьян, а до этого еще и красный террор. Эти всадники были стоворчивыми ребятами, и Главному Жокею не надо было даже напрягаться. Мама Юры была, слава богу, из другого карасса: всего-навсего инженер-экономист, Евгения Абрамовна Лурье. Она дожила до 1975 года, увидела Юрины вещи в журналах и книгах и даже успела сама стать детской писательницей (Евгения Таюрина), впрочем, малоизвестной.

Брат отца писателя был командармом. Евгений Андреевич тоже выведен в «Исчезновении». Он был конфликтен и неуживчив, все время боролся с «негодьями и мерзавцами», обывателями и рвачами, поэтому его то и дело смещали, лепили партийные выговоры и «про-рабатывали». Брат Валя, «верховный судья», все время защищал своего старшего братца, а когда не получалось, они шли к Сольцу, и Сольц выручал. Впрочем, бунтовал Женя в рамках допустимого, иначе бы не дожил и до 1937-го. У Жени был сын. Жора (Георгий), впоследствии писатель-невозвращенец Михаил Демин, очень нетипичное явление для этой кавалерийской семьи. Он и есть тот самый Мишка из «Исчезновения», закадычный друг, с которым они с Юрой вечно дрались и шлодничали. Была у Юры еще и сестра Таня, Тинга, та самая Женька из «Исчезновения», плакса и ябеда, вечно съедавшая первой все лучшие сласти.

Когда Юре было шесть лет, семья переехала в Дом на набережной. Счастливая номенклатурная жизнь: горячая вода, центральное отопление, консьерж от НКВД, лифт с бархатной скамеечкой, спецпайки и спецраспределители. У Юры было счастливое детство: велосипед, теннис, Серебряный бор, спецдача, купания, шумные именины с собственным мороженым, шоколадные вафли в форме раковин. Хорошая школа, хорошие товарищи из того же Дома. А здесь мы пойдем прямо по канве «Дома на набережной»: вундеркинд-сочинитель (Антон), бедный и завистливый плебей из барака (Глебов), сынок крупного начальника (Шулепа), тургеневская девочка, «осьминожица» (Соня); парк, розыгрыши, мечты о будущем, гербарий. Но от Дома на набережной слишком близко до Лобного места.

Юре было двенадцать лет, когда его мир, искусственное гнездышко в горящем лесу, загорелся тоже и рухнул. В 1937 году арестовали и отца, и дядю — и судью, и командарма. Пришел их черед оказаться под конем. Дом пустел, становился гулким. Мать писателя арестовали как ЧСИР — члена семьи изменника родины. Дядю Женю расстреляли в 1937-м, бедная Евгения Абрамовна пошла в КарЛАГ... Юра и Танечка тоже могли загреметь в спецдетдом, но их, к счастью, оставили с бабушкой. Их только выкинули из шикарных апартаментов опасного номенклатурного жилья в маленькую комнату на окраине Москвы. Другая школа, другая жизнь. Они скитались и бедствовали, денег не было, Юра остро ощущал свое тайное изгойство, и этим ни с кем нельзя было поделиться.

Мать взяли в 1938-м, из Дома выселили в 1939-м, до войны оставалось два года, а школу он закончил уже в войну, в Ташкенте. Слава богу, не попал на фронт и не сгинул, как Мур (Георгий, несчастный сын несчастной Марины Цветаевой). Но «сына врага народа» не брал ни один вуз, ему пришлось работать (ради рабочей карточки и хорошей зарплаты) на авиационном заводе — диспетчером и слесарем. Потом удалось устроиться редактором заводской многотиражки. Рабочий стаж (палочка-выручалочка для троечников и отличников-нелегалов) был набран, и Юрий Трифонов поступил в Литературный институт имени М.Горького, который и окончил в 1949-м.

Первые новеллы, еще слабые, он посылал в лагерь матери. Она одобряла... В 1950-м выходит роман «Студенты», в 1951-м за него выписали Сталинскую премию третьей степени. Роман убогий, но по тем временам свеженький, непосредственный, психологичный, хотя есть неприятный, в духе «директивных документов», сквозной диалог правоверного профессора и профессора-«космополита».

В 1952 году Юрию Трифонову повезло попасть в командировку в Каракумы. Этого хватило надолго. Экзотика, Туркмения, нравы. Он вырабатывал стиль, набивал руку, люди сами сбегались в рассказы. Ничто земное не было ему чуждо, но он укрывался в пустынной экзотике, как в скорлупе.

Бремя страстей человеческих. Укрываться было легко и в спортивную тематику. У Трифонова получались классные рассказы о спортсменах. А в 1955-м был реабилитирован отец. До XX съезда, в первых рядах, именно в силу своей правоверности. «Утоление жажды» — всё вокруг каналов и оросительных проблем Туркмении — выходит в 1963 году. «Растет урюк под грохот дней, дрожит зарей кишлак, а меж арыков и аллей идет гулять ишак» — привет нам всем от Ильфа и Петрова и создателя этой стихотворной матрицы Остапа Бендера. Писатель сам знал цену этой макулатуре, «Студентам» и «Утолению жажды». Это был пароль, чтобы дали спокойно жить на советской территории. И он жил. Женился в 1949-м на красавице, оперной диве и колоратурном сопрано Неле Нюренберг, дочери известного художника Амшея Нюренберга. В 1951-м у них родилась дочь Ольга, сейчас она живет в Дюссельдорфе.

Но всадники Апокалипсиса и Революции (впрочем, это одно) являлись Трифонову по ночам, и в 1965-м он пишет свой акт реабилитации отца — документальную повесть «Отблеск костра». Да, к покаянию в стиле Тенгиза Абуладзе, к выбрасыванию на свалку трупы отца, он был явно не готов. Повесть — апологетика кровавых событий на Дону и, значит, рассказывания. Здесь нет середины и полутонов. Если был прав Трифонов-старший, если был прав его брат-командарм, значит, неправы братья Мелеховы, расстрелянные Петро и Гришкин тесть. Жалкая оттепель кончалась, а ведь в повести есть и 1937 год, и она еле успела пролезть в цензурную щель. Но вещь вышла слабой.

Всё бремя человеческих и революционных страстей Трифонова уместилось в роман «Нетерпение». Это уже большая литература, и не какой-то отблеск, а просто вулкан, лава, извержение. 1973 год, тишайший застой, мороз, безвременье на все времена. Могло ли у Юрия Трифонова хватить сил на исторический ревизионизм, на понимание того, что народовольцы были неправы, что они были убийцы, что именно с них начались и красный террор, и 1937 год, и Юрино горькое отрочество? Могло хватить сил, хватило бы и ума. Но он не захотел это отдать. Мир был подл, прозаичен, все бились за лишние метры, лишние рубли, все ходили по стеночке, и московский муравей Юрий Трифонов вместе с ними. И ему казалось, что лихие народовольцы, которые отказывались от всех земных благ и клали жизнь на алтарь отечества, — герои и образец для подражания. А то, что народовольческие буреветники высидели сталинских соколов — это оставалось за кадром.

И ведь получилось! Неверно, недостоверно, вредно. Но более чем талантливо.

Заклятие революционеров всех времен, от якобинцев до большевиков. Заклятие и проклятие. «Лихорадка, сжатая в декретах, как в нагих посылках теорем». Умом понимаешь, что правы Александр II и Лорис-Меликов. Но наше интеллигентское нутро не может признать правоту жандармов и палачей, которые были на службе у достойного царя и достойного министра. Мы до сих пор в плену чар Желябова, Перовской, Кибальчича, Клеточникова и Дворника. Словом, одни достойные люди ошибочно убили другого достойного человека, а он отправлял на эшафот их, и все вместе они убили страну и наше будущее. Неистовство Трифонова и его героев — как та цитата про теоремы и декреты из Павла Антокольского. И Борис Пастернак не остался равнодушен к этой магии. Его поэма — просто эпитафия к «Нетерпению». «Но положенным слогом писались и нынче доклады, и в неведеньи бед за Невою пролетка гремит. А сентябрьская ночь задыхается тайною клада, и Степану Халтуруину спать не дает динамит». Ну что здесь может сказать честный буржуазный либерал? «...буржуй заплакал и пошел на сеновал, где роллс-ройс его стоял».

Летописец тонущих подводников. Но надо было жить, и Трифонов жил, даже неплохо. Без роскоши, да к ней «сын врага народа» и привыкнуть не успел. По крайней мере жен он менял, хоть и не видел в них богинь. А туфельки были старенькие, пальтишки — легкие и руки — натруженные: ведь писатель мало зарабатывал, не выбивал путевки, публикации, гонорары. Был аскетом и бесребреником. Второй раз он женился в 1968 году, на коллеге, редакторе серии «Пламенные революционеры» Алле Павловне Пастуховой. Она приучила его хозяйничать: покупать хлеб, носить в прачечную грязное белье, бегать за кефиром. Бедный писатель даже на свидания ходил с грязным бельем. А на свидания он ходил к третьей жене, к Ольге Романовне Мирошниченко. Их любовь началась в 1975 году, в 1979-м Ольга родила сына Валу (названного в честь деда), и они поженились. Оба, страдая и мучаясь, разрушили свои семьи, но все-таки соединились. Ольга сняла с писателя все заботы — он больше за кефиром не ходил. Деньги он раздавал, даже последние. Зашла как-то родственница, она хотела ехать на виноградники в Испанию, зарабатывать на джинсы и еще кое-что сыну и мужу. Трифонов и отдал ей первую заработанную за перевод в Германии валюту.

А Трифонов начинает писать об униженных и оскорбленных XX века: о служивой советской интеллигенции, чья маленькая жизнь была навеки переяхана «черным вороном». Он писал и о себе, но ему дано было выплеснуть свою тоску, свое унижение на страницы книг: бесспорный шедевр «Обмен», «Предварительные итоги» (1970), «Долгое прощание» (1971) и «Другая жизнь» (1975). В 1976-м выходит великий «Дом на набережной» (да благословит Бог Сергея Баруздина, редактора «Дружбы народов»). Разоблачительное «Исчезновение» выйдет уже под новую оттепель, посмертно, в 1987 году. Покатались в сборники и четыре жемчужины, четыре гениальных рассказа 1960-х годов: «В грибную осень», «Был летний полдень», «Вера и Зойка» и «Голубиная гибель».

Юрий Трифонов заступался за «Новый мир» и за Твардовского, который всегда его печатал. Не помогло. Генрих Белль предложил его кандидатуру Нобелевскому комитету (о, этот наш добрый гений Белль!), и Трифонова

выдвинули на Нобелевку в 1980 году, но не успели. Ничего не успели. Писатель умер в 1981 году. Рак почки.

Шедевры Трифонова очень страшны, страшно ничтожество героев, весь этот мизер! Высеченный коллегами Ганчук, который сам сек за инакомыслие, и спившийся кладбищенский сторож Шулепа, и безумная Соня. Герои «Обмена», готовые заложить душу за лишнюю комнату. (Хотя они далеко не так преступны, как честные фанатики «Нетерпения».) Герой «Голубиной гибели», чьего соседа, тихого библиотекаря, увозят ночью, а жену, дочку Маришку и бабушку выселяют на окраину города. И такова эта жизнь, что управдом Брыкин, застрашав героя — тихого пенсионера, вынуждает его убить лично любимых голубей. И Верка, и Зойка из одноименного рассказа, правнучки Акакия Акакиевича, даже о шинели не смеют мечтать. И у Нади и ее мужа Володи из «Грибной осени» нет уже сил ходить в театры и на концерты: работа, дети, однокомнатная квартира (они с двумя мальчишками в комнате, мать — на кухне, больше нигде спать). А Ольга Робертовна из Риги в «Летнем полдне», отсидев срок вместо мужа-революционера (муж умер, сын застрелился), всё вынесла, как ломовая лошадь, и не возропала. Недаром «Обмен» в Театре на Таганке шел под Высоцкого: «Спасите наши души! Мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам! Услышьте нас на суше — наш SOS всё глуше, глуше. И ужас режет души напополам».

Суши не было. Юрий Трифонов передал в эфир последние позывные лодки с советской интеллигенцией. Лодка утонула.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Леонид Бородин был предназначен судьбой стать не просто гражданином в дополнение к поэту, но солдатом. Юный провинциал, собеседник Байкала, вначале был истовым (хотя, скорее, неистовым) комсомольцем, «комсой», и не замечал зон у себя под ногами. Но решительный мальчик довольно скоро дошел до идеи свержения строя, и комсомола, и компартии, и научного атеизма, и советской власти, причем вооруженным путем, по-солдатски. Немало слов талантливо и резко он написал от имени своей «третьей правды» против «первой», коммунистической, но солдаты же слегка презирают слова. То ли дело пули! В стране оказалось на редкость много решительных, готовых умереть мальчиков, которые сами придумывали себе бремена и подпольные организации и стремились к алтарям, на которые могли бы с честью положить жизнь.

Но из нас из всех не могло получиться даже одного полка. Потому что Леонид не был нашим однополчанином. У него была своя Дикая Дивизия. Он мог дружить с Георгием Владимовым, с Беллой Ахмадулиной, хорошо отзываться о Владимире Буковском, но только будущее для освобожденной России он планировал иное. Наша путеводная звезда, Полярная в северных широтах, по которой мы держали курс, наш Запад, наши США, наш Альбион, на которые мы все равнялись, был ему не мил. Он так же не сбивался с курса, но держал на Южный Крест. Мы были западники, он был славянофил. Мы были в диссидентском большинстве под патронажем Андрея Дмитриевича, он вместе с Владимиром Осиповым и Дмитрием Дудко тяготел к Солженицыну с его чудными (не в смысле чуда, но в смысле чудачества) высказываниями о Западе, о журналистах и о свободе прессы. Интересно, что Русский фонд Солженицына, созданный на базе гонораров за «Архипелаги», был неизменно в руках западного сегмента Демдвижения. Вот и Алика

Гинзбурга в последний раз посадили и едва не прикончили именно за Фонд, и даже раздавались из кустов антисемитские голоса, что, мол, непонятно, почему Русский фонд помогает узникам-евреям. Фонд помогал всем, но не все становились в очередь: забившимся подальше от света и воздуха «почвенникам» казались предосудительными все деньги, шедшие с Запада, даже если и от своих. Илья Глазунов помогал потихоньку «своим»: тому же Бородину, отцу Дмитрию Дудко, но создать Фонд помощи политзаключенным — это для него было круто. Слишком круто. И даже на жительство в сторожку к Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской Леонид не попал. Слишком много и слишком далеко пришлось сидеть по лагерям, тюрьмам и ссылкам, а когда удалось подобраться поближе к Подмоскovie — ни Солженицына, ни его меценатов уже не было в стране. Мела метла, мела метла во все пределы...

Сильный, тонкий и яркий писатель, сродни Бунину, Чехову и Леониду Андрееву, солдат Сопrotивления, честный враг коммунизма и советской власти, Леонид Бородин не получил ни награды, ни отрады, ни теплого угла, ни вкусного куска еще и потому, что отталкивался от западного берега. А другой стороны, другого берега у нашей реки не было. И всё, что перепало большому писателю со странными, нездешними убеждениями, это были дары Запада: все премии, ему врученные, начинаются с ельцинских времен; публиковали его сначала в тамиздате, в «Гранях», в «Континенте», и гонорары пришли оттуда. И когда он получил журнал «Москва» и стал его главредом, он не мог никого из «великих» в нем печатать, потому что он был (если не считать Распутина и Астафьева, которые сами нашли себе журналы) единственным крупным писателем этого национал-патриотического направления. А его товарищи по направлению или сдали его КГБ, или ковырялись до конца жизни в своей клейкой серой утопической паутине, то ли от казаков, то ли от вурдалаков, то ли от станичников, то ли от опричников («Царица Смуты»). Национал-патриоты не выносили диссидентов, выносивших сор из избы. Слишком смел и дерзок был Бородин, слишком колебал устои, слишком ненавидел и отрицал.

В кумовья они к нему не пошли, в подельники и сокамерники — тоже. Для этих «своих» он остался чужим. «Свои» ему были мы, но с нами он чувствовал себя чужим даже в Мордовии или 36-й пермской зоне.

Трагедия изгоя, идейного сиротства.

Есть мальчики в русских селеньях

Леонид Иванович Бородин родился в Иркутске 14 апреля 1938 года. Отец его был литовец, из ссыльных еще с 1863 года, после подавления польского восстания. Шеметас Феликс Казимирович, учитель. И отец его, и дед учительствовали в Восточной Сибири. Феликс Казимирович давно сам колол дрова и даже умел возвести сруб, но чувствовалась в нем шляхетская гордость, несломленное достоинство, честь офицера, которые он и передал своему сыну. Его арестовали в 1939 году и дали «десять лет без права переписки». Это так назывался расстрел. Учительница Валентина Иосифовна, мать писателя, вышла за Ивана Захаровича Бородина, учителя и директора маленькой сельской школы. Туда они и переехали, от греха подальше. Отчим был честный русский человек, прямой, надежный, настоящий отец для Лени. Ссыльных литовцев (и с 1863-го, и с 1940-го) в Сибири было полно. Они не забывали язык, говорили между собой по-литовски. Малыш жадно вслушивался: он искал отца, он выдумывал его. Но так и не нашел. Родители были бессребреники, жили на зарплату, трудно, от полочки до полочки. Живности и огорода у них не было, школа поглощала всё их время. Леонид проводил свои дни за книгами: Джек Лондон, Горький, Ромен Роллан, Есенин, Блок, Некрасов, Герцен и Чернышевский. Воспитывали Леонида строго и тщательно, но странно. Сталин хорошо запугал бедных учителей и даже их родных (старых бабушек). Бабушка не смела рассказать внуку о Боге и о сути советской власти. Мальчик держал на ночном столике карточку Сталина, думал, что наследовать ему будет его сын и находил такой монархический вариант нормальным. Бабушка соглашалась тоже.

У Леонида, если принять его за Герцена, был свой Огарев — Володя Ивойлов. Мальчики всё думали, как

бы народу послужить, а вместо жалких Воробьевых гор у них был утес над Байкалом. Они клялись отдать жизнь за Отечество, а тут Отечеству потребовались «менты»: шел пафосный, пиаровский, с шумом, блеском и треском набор в школу МВД. Друзья хотели в Университет, но если Отечество требует? Пошли в школу МВД: школа была в Елабуге. Шел 1955 год, и никто не мог рассказать Лене и Володе, что означает надпись «Марина Цветаева» на сером могильном камне. Ребята жили в земле лагерей, где зэка всё строили, грузили и даже водили (если в «расконвойку») поезда, но они не знали, где живут. Вырастили их, как в колбе. А ведь отчим и мать Лени были честнейшими идеалистами!

Через год бригадир, у которого Леня работал в забое, кинул в колонну зэков пачку папирос. А Леня-то считал их бандитами! Бригадир всё понял. «Комсомолец, что ли?» — спросил он (в смысле, что дурак). Когда в ларьке один работяга попросил буханку черняшки и банку «комсомольцев» (килек в томате), Леонид стал прозревать. А тут удар! «Оказался наш отец не отцом, а сукою» (Галич). Хрущев! XX съезд! Культ личности! Конец жизни, вере, идеалам! И кого было бросать за борт, в набежавшую волну? «Ревет ураган, поет океан, кружится снег, мчится мгновенный век, снится блаженный брег...» (Блок) Потом Леонид Иванович радовался, что Отечество его не призвало на службу в МГБ, они с Володей пошли бы и туда! Курсант Бородин пытался спорить, защищать «усатого». Но крыть было нечем. Юноши ушли из школы МВД. Хорошая форма, хорошее питание, хорошая карьера, хорошая зарплата... Но служить без веры они не могли. Надо было искать новую веру и по-новому спасать Отечество.

«Мира восторг беспредельный сердцу певучему дан, в путь, роковой и бесцельный, шумный зовет океан. Сдайся судьбе невозможной, сбудется, что суждено! Сердцу закон непреложный: Радость — Страданье одно!» (Блок) Недаром Леонид вырос у сапфирового Байкала, самого чистого и глубокого озера в мире!

Отречемся от старого мира

Володя и Леонид ничего не умели делать наполовину. Они пошли учиться и искать новую истину. Леонид в 1956 году поступил в Иркутский университет, на истфак. Учился один семестр, его исключили из университета и ВЛКСМ за попытку «улучшить комсомол и партию» (студенческая студия «Свободное Слово»). Боязнь повредить близким и самоотверженность Леонида дошли до того, что он сам предложил отчиму и матери отказаться от него. Вместо этого отчим, правильный мужик, явился с теплой одеждой и едой, поговорил, поручился. Мальчика не собирались сажать. Его думали напугать. Сделали отеческое внушение и посоветовали «идти в рабочий коллектив». Он и пошел. Трудился в путевой бригаде на Кругобайкальской дороге, бурильщиком на Братской ГЭС, проходчиком рудника в Норильске. Лечение оказалось хуже болезни. Россия, как он, лесной и озерный отрок, уже тогда ее называл, проросла лагерьями, как плесенью, до дна. И казалось, что «вольняшек» гораздо меньше, чем эков. Мальчик Леня уходил всё дальше от советской бетонки. «Я выбираю свободу, и я с ней нынче "на ты", я выбираю свободу Норильска и Воркуты, где вновь огородной тяпкой над всходами пляшет кнут, где пулею или тряпкой однажды рот мне заткнут» (Галич). В 1958 году он поступает на историко-философский факультет Пединститута в Улан-Удэ. Через два года переходит на заочный и работает учителем, о чем и мечтал всё детство, это уже генетика и органика. Тут он женится на скромной девушке Вере, чистой и тоже тяготеющей к идеалу. У них рождается Леночка. Но вот и диплом в кармане, вот скромное и достойное место директора школы в Бурятии на станции Гусиное Озеро.

В 1965 году они с женой перебираются в Ленинградскую область. Нашлось место директора сельской школы в деревне Серебрянка Лужского района. «Мохнатый шмель — на душистый хмель, мотылек — на выюнок полевой, а цыган идет, куда воля ведет, за своей цыганской звездой» (Киплинг).

Кончено время игры

«Кончено время игры. Дважды цветам не цвести. Тень от гигантской горы пала на нашем пути. Область унынья и слез — скалы с обеих сторон, и оголенный утес, где распростерся дракон... Что же, вернуться нам вспять, вспять повернуть корабли, чтобы опять испытать древнюю скудость Земли? Нет, ни за что, ни за что, значит, настала пора. Лучше слепое Ничто, чем золотое Вчера!» (Гумилев).

В 1965 году Бородин разводится с женой. Чтобы спасти ее и дочь. Обрекая себя смерти, мог ли он жертвовать еще и семьей? Можно сказать, что он «посхимился». А откуда смерть, позвольте? С другой стороны, по тому же поводу. Пока москвичи и петербуржцы соперничали Бродскому, негодовали у стен Горсуда во время процесса Даниэля и Синявского и выходили на первые демонстрации, востоковед Игорь Огурцов и его близкие друзья и коллеги Михаил Садо, Евгений Вагин и Борис Аверичкин создавали крошечную, но бедовую и пышную организацию ВСХСОН: «Всероссийский Социал-христианский Союз Освобождения Народа». Потом все, и москвичи, и петербуржцы, и национал-христиане, западники и славянофилы, встретились в лагерях. Уже в заключении Леонид убедился в том, что в стране полно крошечных подпольных организаций с целью свержения коммунизма (3—5 человек). У Огурцова был максимум: 26 членов да 30 кандидатов. Организация была трогательная, детская, для хороших мальчиков-мечтателей. Тройки, явки, красивый ритуал приема, цветные повязки, свечи, смутные чаяния захвата власти и интернирования Политбюро (однако личное оружие Бородина заставили сдать на подпольный склад). Очень глупый и очень красивый гимн (дракон, коего надо «повергнуть», древний Храм, священный меч и тысячи свеч), который даже удалось один раз спеть на пересылке, и клятва. А программа была невозможная и ненужная, не от мира сего: государство Справедливости и Добра, теократия почти что, христианизация политики, экономики и культуры.

Горсточки свободных тонули в темном океане рабов, согласных на всё. Горсточка Огурцова мечтала построить

нечто (не коммунизм и не капитализм) с Верховным Собором во главе. Частная собственность на землю исключалась, по эсерам и Льву Толстому. Аренда. Народ признавался собственником недр и ресурсов, православие стояло во главе угла, но разрешались и другие конфессии. Это было похоже на Российскую империю без царя и с выборами. Стоило ли класть жизнь за этот детский лепет? Заговорщики считали, что стоит. Они читали, готовились, распространяли литературу. Здесь, в своей «тройке», Бородин обрел своего Огарева: Володю Ивойлова. Они ждали смерти. Понимали, что ничего не выйдет. Но «ниспослать злодеям проклятья» — это укладывалось и в программу, и в Устав.

Всех мятежных карбонариев (а ведь похожи установки ВСХСОН на установки «Молодой Италии» и Мадзини) повязали в 1967 году. Безобидность заговорщиков никого не растрогала. Леонид Бородин получил 6 лет и 5 лет ссылки. Сидел в Мордовии, делал мебель, познакомился с Андреем Синявским и подружился с Юлием Даниэлем.

В 1970 году его отослали во Владимирскую тюрьму как «неисправимого». А сам Огурцов получил 15+5, Садо — 13 лет, Вагин и Аверичкин — по 8 лет. Самое ужасное — это то, что они не реабилитированы по сей день. Советского строя нет, но юстиция продолжает его защищать. Адмирал Колчак, воевавший несколько западнее, не реабилитирован тоже.

Да будет твоя добродетель — готовность взойти на костер

Каникулы зэка, особенно политзэка, очень коротки. Ведь ни один зэка, осужденный по 70 статье, за антисоветскую агитацию и пропаганду, не оставался вне присмотра и пригляда совиного ока КГБ. Досажать, дожать, догнуть и доупечь старались они. Заставить уехать, создать невыносимые условия, ходить по пятам и дать новый срок — с этого пути их бронепоезд не сворачивал. Бородин выходит, голодный, холодный, бездомный. Он промучился девять лет. Работа была черная, тяжелая, жильё ужасное.

Сначала ссылают в Белгородскую область, к родителям-пенсионерам. В 1976 году рядом становится жена Лариса. Ее быстро выгоняют с хорошей работы (она редактор в НИИ информации). Семья переезжает в г.Петушки под Владимир, работа опять черная, а тут еще рождается маленькая Ольга.

В конце 70-х наступает облегчение. Москва, «престижная» дворницкая работа. Он попытался потусоваться в диссидентской среде, сошелся с Владимовым, Войновичем. Но его убивали отъезды на ПМЖ. Его тоже вытаскивали, а он не уезжал. «Борцы (как сказал один славянофил) все в одном месте, а борьба — в другом». Уезжали пачками. Здесь-то Бородин был прав в своем нежелании отдать врагу свою пядь земли.

Он пишет в «Вече» у Владимира Осипова, потом, в 1974 году, когда «Вече» придушат, будет издавать национал-православный журнал «Московский сборник». Придушили на третьем выпуске.

В 1978 году западник Гинзбург, Алик, хранитель Фонда, уходит надолго в тюрьму. И славянофил Бородин, его оппонент, не дает на него показания. Стихи он пишет давно, стихи грамотные, но слабые. И вдруг в 1978 году начинается сильная проза! «Встреча» — о том, как дерутся друг с другом в первых боях 1941 года бывший ээка и тот, кого он считает начальником своего лагеря, садистом и тираном. «Посещение» — рассказ о даре полета, доставшемся атеисту. «Третья правда» (1979) — это таежная повесть о тех днях, когда ломалась жизнь, и лезла, как сорняк из земли, советская власть. О законах, которые исполняются только под угрозой нагана и одному нагану и нужны. И самый страшный для КГБ рассказ — «Вариант» (1978). Кружок друзей во главе с неким Андреем, родом из глухой Сибири (сам Бородин), распространяет листовки, борется со сталинистами. Но Андрей хочет большего. Он предлагает карать палачей лично. Смертью. С ним остаются Коля и Костя. Они находят сталинского палача, Андрей его убивает, но, добывая оружие, троица случайно убивает милиционера. За ними приходят. Андрею удастся уйти, он бежит к деду в Сибирь. Его находят и там, он отстреливается и последнюю пулю пускает себе в сердце, успевая прокричать,

что теперь их, чекистов, привыкших давить людей, как мышей, будут взрывать, бросать под поезда. Убивать на улицах! Очень страшный вариант для КГБ. Поэтому с Бородина взяли такую высокую плату. Он успел издать на Западе «Год чуда и печали» (1981) и «Расставание» — горькую диссидентскую правду. И вот расплата — 1982 год, новый арест, Лефортово, ст. 70 часть 2: 10 лет + 5 ссылки. И только за творчество, за беллетристику. На этот раз была Пермская зона № 36. Питание лучше, отношение — тоже, нормы меньше. Но люди умирали, они не могли вынести второй срок. В 1982 году Бородин рассчитывал найти там свою смерть. Но получилось странно: оттепель, перестройка. Конечно же, Бородин отказался писать прошение о помиловании. В 1987 году его на самолете отправляют в Москву, в Лефортово, и через три месяца выпускают по горбачевскому указу, теперь уже навсегда.

В 1988 году он напишет для «Юности» «Женщину в море»: всё о том же. Россия, Лета, Лорелея. О разных родинах, о своей правде у преступников и мздоимцев, о растерянности перед этой правдой матерого политзэка.

В начале 2000-х он напишет о безумстве храбрых — о странной, прекрасной, мужественной Марине Мнишек — «Царица Смуты».

Внешне всё будет как надо: наконец-то достаток, точку комфорта, кусок хлеба на старости лет, публикации, поездки по стране, премии. Престижная наконец-то работа. С 1992 года Бородин становится главным редактором журнала «Москва». Но было ему отчаянно плохо. Исчез путь, исчезла цель.

Рыцарь Прощального образа

И здесь стало понятно, кто такой был Бородин. Он был несчастным рыцарем с медным тазиком на голове, храбрым и неуместным более. Кончились гэкачеписты, НКВДисты, гэбисты, злые волшебники и великаны. Кончилась советская власть. Нам хватило синицы в руках, а ему нужны были птицы Феникс в небесах; на

крайний случай, журавли. Он остался со своей Русью. А где она была, чистая, настоящая, прописанная в городе Китеже? Ее прикончили еще в XV веке, задолго до Бородина. Русь Руцкого, Зюганова и сталинистов его не устраивала. Вот он и бросался на ветряные мельницы у доброго Ельцина, искал и не находил великанов, пытался освободить свиней и видел в них принцесс.

Он отмучился в ноябре 2011 года. Свой среди чужих, чужой среди своих. Мы были рыцарями Печального образа: Запад-то был реален, но Россия в него не лезла, как толстая нога сестер Золушки в ее хрустальный башмачок. А он был еще несчастнее нас, этот напарник Дон Кихота: ведь Дульсинеи Тобосской не было, она была простая деревенская девка, он выдумал ее. Прощайте, Дон Кихот Байкальский, рыцарь Прощального образа. Оказалось, возвращаться некуда. Рельсы разобрали и спереди, и сзади. Бронепоезд застрял навсегда.

ЗАЕЗЖИЙ МУЗЫКАНТ ЦЕЛУЕТСЯ С ГИТАРОЙ

У самого Булата Окуджавы этот самый заезжий музыкант целовался с трубой, но труба не для этого ломкого и негромкого голоса, не для этого окрыленного отчаянья, не для этой тихой, сияющей печали.

Минорная негромкая гитара, одинокая, очень личная, фрондирующая, гитара Федерико Гарсиа Лорки, Галича, Высоцкого и Окуджавы. Гитара послевоенная, гитара людей, перенасытившихся колоннами, оглохшими от маршей. Гитара нонконформистов. «Дымок от папиросы, и за спиной канал, чтоб наши злые слезы никто не увидал».

Впрочем, злым Окуджава не был. Другой ракурс: он был заезжий музыкант, наполовину грузин, наполовину армянин, принесший на Арбат дух незлобивый, нездешний дух солнечного Тбилиси. Взгляд сверху, взгляд из более древней истории, взгляд народа эльфов. Эльфийская невинность, эльфийское высокомерие, эльфийское просветительство. Сократическая мудрость Грузии, питаемая не цикуттой, но дивным вином. Врожденный дар любви, прощения, вечности. Полное отсутствие русского пафоса, русской остервенелости; неумение ненавидеть — умение не принимать. Умение ходить сквозь стены, сквозь неприятных людей, сквозь эпохи. Умение смотреть на свою жизнь из космоса, со стороны. При этом символическая готовность схватиться за кинжал, за шпагу, за пистолет со свернутым курком, за автомат, за гитару. Окуджава был классическим интеллигентом, если бы не был грузином.

Грузины — люди твердые, под шелком переливается сталь. Грузинский мужчина всегда немножко абрек — благородный разбойник по идейным соображениям. Впрочем, Окуджава никогда не брал чужого, он скорее отдал бы свое. Грузины, испанцы, цыгане — все они рыцари гитары, все они адепты свободы. Именно ее

Окуджава хотел украсть. «Спрячь за решетку ты вольную волю — выкраду вместе с решеткой». Это он и сделал.

Увел свободу из конюшни — и ни одна половица не закрипела.

Тайна черного цвета

Грузин Окуджава родился в Москве в будущий День Победы, 9 мая 1924 года. Как занесло в Москву это не-здешнее растение? Его идейные родители приехали из Тифлиса на партучебу в Коммунистическую академию. Его отец, Шалва Степанович Окуджава, на сто процентов грузин, был в Грузии известным парработником. Его прелестная кареглазая мать с чудными каштановыми волосами, армянка Ашхен Степановна Налбандян, тоже была «комсомольской богиней», ходила в строгих темных платьях с безупречно белым воротничком, гладко зачесывалась, делала скромный пучок. И родился Булат в Москве, и первым жильем младенца стала квартира на Арбате: дом 43, коммуналка на четвертом этаже. Вскоре после рождения малыша Шалву Степановича отправили на Кавказ работать комиссаром грузинской дивизии. Красавица Ашхен осталась в Москве, работала в парт-аппарате. Булата отправили учиться в Тифлис, пусть в русский класс (о боги, чтоб не учить грузинский язык! Такого в Тбилиси больше нет и, надо полагать, не будет), но на родину. Все-таки партиец Шалва оставался грузином, и московская школа для сына его не прельщала. В переименованном Тбилиси Шалва Степанович вырос до секретаря Тбилисского горкома, но не сработался с Берией и опять попросился в Россию. За это время мать поэта успела поработать с Кировым, который к ней очень хорошо относился. И это обеспечило ему хорошее отношение поэта Окуджавы.

Шалва Степанович искал работу через Орджоникидзе, и тот отправил его в Нижний Тагил, жуткую дыру на Урале, парторгом на строительство вагоностроительного завода. Потом он опять-таки дорос до первого секретаря Нижнетагильского горкома партии. Теперь он мог написать к себе семью.

Булат начал учиться в школе № 32. Он влюбился в девочку Олю (Лельку) и рыцарски носил за ней портфель. Когда его перевели в другую школу, он часто приходил посмотреть на Лелю и поносить ее портфель. Всё — молча. Олечка, уже восьмидесятилетняя, вспоминает, что Булат в то голодное предвоенное время был одет лучше всех в школе, ходил в шегольских курточках. В «Искусстве кройки и житья» он сам вспоминает, что его силой заставляли пить сливки и есть миндальные пирожные. «Пыльные шлемы» приносили неплохой паек. Необъяснимое пристрастие Окуджавы к «комиссарам» в этих самых шлемах объяснялось как раз семейственностью: это были его отец и мать, искренние обманутые обманщики, потребители сливок и пирожных среди полуголодных масс, сидевших на картошке с черным хлебом.

Конец всему этому аркадскому благополучию пришел с ужасающей и жестокой неизбежностью. Монета, неразменная комиссарская монета, обернулась решкой уже навсегда. Орлов перестреляли прямо на гнездах. В 1937-м родителей Булата арестовали. Отец был расстрелян уже 4 августа. Мать «пошаднили» по общей формуле ЧСИР — «члена семьи изменника Родины», то есть отправили в Карагандинский лагерь. «Ой Караганда, ты, Караганда! Ты мать и мачеха, для кого когда, а для меня была так всегда нежна, что я самой себе стала не нужна!» Это Галич, у нежного и мудрого Окуджавы таких слов не было. Отбывшая прекрасная Ашхен срок от звонка до звонка, освободилась только в 1955 году. Булата не отправили в спецдетдом, а могли бы, как могли бы расстрелять Ашхен. Бабушка с Булатом вернулись в Москву, но с тех пор у мальчика завелась «тайна черного цвета», как он сам пишет в рассказе «Девушка моей мечты». «Искусство кройки и житья» и «Девушка моей мечты» — вот и всё, что Булат Окуджава целомудренно и аскетично написал о своей жизни, о сталинских морозных буднях («Искусство кройки и житья») и о «первой капели оттепели» («Девушка моей мечты» — а девушкой оказалась мать поэта).

В 1940-м Булат переехал к родственникам в Тбилиси. Закончил школу, работал на заводе токарем. Маленькую

Грузию вывозили почти всю, пачками, колоннами, эшелонами: партийцев, аристократов, интеллигентов, богему. Это показал не Окуджава, а Тенгиз Абуладзе, которому не были чужды ненависть и гнев. Это описал Галич. Этим жила Грузия, и этого никто не забыл. Солнечный Тбилиси в рассказах Окуджавы отбрасывает тень: тайну черного цвета. «Когда дымки плывут из-за реки и день дурной синоптики пророчат, я вижу, как горят черновики! Я слышу, как гремят грузовики! И сапоги охранников грохочут — и топчут каблуками тишину, и женщины не спят, и плачут дети, грохочут сапоги на всю страну! А ты приемлешь горе, как вино, как будто только ты за все в ответе!» Эту Грузию Булат Окуджава привез в Москву, на Арбат, и она черным шелковым шлейфом, как танго, вошла в его мелодии, в его стихи, в его исторические романы о России, в его Политехнический, на его Лужники, как вечный укор, как знак превосходства и избранничества. Она действительно такая, она всегда была такая, но до нас это дошло только вместе с ароматом неожиданных и незнакомых доселе большинству сепаратистских роз. «Прекрасная и гордая страна! Ты отвечаешь шуткой на злословье. Но криком вдруг срывается зурна, и в каждой капле кислого вина есть неизменно сладкий привкус крови!»*

Жизнь среди айсбергов

В апреле 1942 года семнадцатилетний Булат пошел на фронт добровольцем. Он хотел стать мужчиной, и это было очень грузинское решение. Как многие несмышлениши, он надеялся помочь матери. И, как никто из его поколения, он знал русскую историю, знал по лицам, по дням. Это была его история (Россию грузин Окуджава просто удочерил, как бедную сиротку). Он хотел всё это защищать, и он воевал хорошо, достойно. Обучился на минометчика, воевал на Северо-Кавказском фронте. Был ранен под Моздоком, потом стал радистом тяжелой артиллерии.

* А.Галич, «Песня о Тбилиси». — *Прим. ред.*

И вот закончилась война, которую фронтовик Окуджава решительно до конца жизни не называл великой — не мог понять, как война может быть великой, называл только Отечественной. Надо было жить дальше.

Представьте себе, наступили победные дни.

Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной, Ефрейтор, морально нестойкий, женился на пленной, но пряников целый мешок захватили они.

Играйте, оркестры, звучите, и песни, и смех.

Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.

Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться, и пряников, кстати, всегда не хватает на всех.

Кстати, первую свою песню он напишет в 1946 году, и это будет не эскиз, а полотно мастера — в 22 года! «Неистов и упрям, гори, огонь, гори. На смену декаблям приходят январь...» Вот вам и история России в прошлом, настоящем, будущем, история оттепелей и перестроек. Молодой гений только потом понял, что вырвалось у него. В оттепель он допишет это: «Но начинается вновь суета. Время по-своему судит. И в суете тебя сняли с креста, и воскресенья не будет...» Это о чем? О новогодней елке? О России? О перестройке России?

Значит, даже всё понимая, всё предчувствуя, надо было жить. Жить среди айсбергов сталинской зимы, жить с черной тайной, с тайной черного цвета. Окуджава жил, как птичка: пережить зиму, не замерзнуть, поклевать что-нибудь, дожить до весны — и запеть.

Поступил учиться Булат в родной Тбилисский университет. Было голодно, ели чуреки, лобио, имеретинский сыр — немножко, но было тепло, в кино показывали «Девушку моей мечты» с Марикой Рёкк, трофейный фильм. Были друзья, была молодость. Он писал письма матери, врал, что всё замечательно. Она так же лгала ему, что живет очень хорошо. Когда она в 1955 году вернется, она будет хоть и в затрапезе, но молодой и красивой, а Булат ждал сморщенную старушку. Но эта красивая женщина будет застывшей, мертвой от пережитого. Потом отойдет...

А до этого Булату еще предстояло с 1950 года поработать учителем сельской школы в забытом Богом селе Шамордино под Калугой. Ходил он в несокрушимых валенках и негнущемся пудовом пальто, мечтал о коже — прототипе дубленки — и часто был зван на ужин к коллеге — учительнице, чей муж-бригадир хорошо зарабатывал, и Булата кормили рассыпчатой картошечкой, огурчиками со смородиновым листом, розовым салом, крутыми яичками и даже холодцом. Это очень страшный рассказ о страшной жизни, «Искусство кройки и житья». Сельское семейство благоговеет перед Окуджавой из-за его усов и грузинского происхождения, не зная, что Сталин и Булат — злейшие враги, хотя бы из-за родителей. Бригадир и Булат едут в Калугу за дубленкой, там выходит недоразумение с милицией, и бригадир легко и хладнокровно отрекается от молодого учителя. А учитель трясется в КПЗ: вдруг узнают, кто он, и он исчезнет вслед за родителями, за компанию? Наутро он лебезит перед дежурным офицером, но оказывается, его подозревали всего лишь в пьянке. Учителя отпускают. В село они с бригадиром возвращаются врозь, без дубленки...

А в 1954 году писатель Владимир Кобликов и поэт Николай Панченко (которых мы бы и не вспомнили, не столкнись они с Булатом Окуджавой) выступали перед читателями в райцентре Высокиничи, где уже преподавал молодой Булат (повышение!). Он подошел к ним, застенчиво почитал стихи, был одобрен и поддержан. Перебрался в Калугу, стал сотрудничать с газетой «Молодой ленинец» и в 1956 году выпустил первый сборник стихов, «Лирика». А тут и 1955 год пришел, мама вернулась, прошла реабилитация — и ее, и отца. Можно было не бояться.

В 1955 году Окуджава вступает в КПСС. Все-таки в 31 год он был еще желторотым. Помочь партии «преодолеть последствия культа личности», память об отце, «назло врагам-сталинистам», честное желание проявить «общественную активность» (чувство долга у Окуджавы было на высоте; долг, честь, а здравый смысл — по остаточному принципу). А где было проявлять эту активность? КПСС — единственная площадка. Диссидентство требовало полного самопожертвования и исключало всякую

возможность легальной литературной деятельности. На все эти пошлости о долге и оттепельных шансах юного Окуджаву и словили. Вот он и вступил, забыв об этом на следующий день. Ведь миновали холода, и птичке пора было запеть.

Надежды маленький оркестрик

А тут пошли и большие дела. В 1959 году Булат Окуджава вторично ступил на Арбат. Теперь уже навсегда. И он мог по-хозяйски сказать: «Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моя религия, мостовые твои подо мной лежат». Он начинает петь под гитару. Великий поэт, а вдобавок и бард, он становится ангелом-хранителем интеллигенции. Он трижды москвич, и уже кажется, что без него Москвы шестидесятых не было бы вообще. Без его ночного троллейбуса, без его московского муравья («Мне нужно на кого-нибудь молиться. Подумайте, простому муравью...»). Без его Арбата, без его Тверской («Окуните ваши кисти в голубое по традиции забытой городской, нарисуйте и прилежно, и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской...»), без его Пушкина, на фоне которого снимается семейство. Бродский пошутил: «Хорошо лобзать моншера. Без Булата и торшера». Да черта с два! Без торшера туда-сюда, а вот без Булата ни шестидесятые, ни семидесятые, ни восьмидесятые не могли обойтись. В нашем Храме русской литературы маленькие смуглые вихрастые ангелы поют хоралы под гитару на его стихи.

Сначала Окуджава подрабатывает редактором в издательстве «Молодая гвардия», потом заведует отделом поэзии в «Литгазете». А в 1961 году он ушел со службы — гонораров за концерты, пластинки, фильмы стало хватать.

Окуджава нашел свой плацдарм в истории. Тупая и неграмотная цензура так и не распутала дорогие валлансьенские кружева его романов. Ну что знали цензоры о декабристах? То, что они разбудили Герцена? Романы пропускали почти не глядя. А окуджавские декабристы разбудили диссидентов. И что понимала цензура в Вийоне? Легкость, мудрость, символизм Окуджавы запутали вконец. В КГБ он не считался антисоветчиком.

Но изящество и тонкость несогласия еще не есть лояльность. Окуджаву распевали в КСП. Клуб самодеятельной песни был отдушиной, каэспэшники были государством в государстве. Хоть в лесу или на реке они были свободны. Трое в лодке, не считая Окуджавы.

Уже в 1962 году Окуджаву принимают в Союз писателей. И тогда же выходит фильм «Цепная реакция», который интересен только окуджавским «Ночным троллейбусом». Общий баланс песен Окуджавы в кинематографе — 80 фильмов, из них 32 — вместе с композитором Исааком Шварцем. Без песен Окуджавы «Белорусский вокзал», «Аты-баты, шли солдаты», «Нас венчали не в церкви», «Звезда пленительного счастья», «Белое солнце пустыни» утратили бы половину своей прелести (а «Белорусский вокзал» и «Аты-баты, шли солдаты» — на восемьдесят процентов).

А тут еще пошли косяком диски. С 1968 года в Париже, потом в Польше, а с середины семидесятых — в Москве. Одновременно и романы выходят. «Бедный Авросимов» («Глоток свободы») — 1969 год, «Похождения Шилова, или Старинный водевиль» — 1971 год, «Путешествие дилетантов» — 1978 год. И наконец, «Свидание с Бонапартом» — 1983-й. Может быть, именно благодаря Окуджаве наш Храм не только православный Храм. Во-первых, Окуджавка был если не атеистом, то стопроцентным еретиком. «Чванливы черти, дьявол зол, бездарен бог — ему неможется, о, были б помыслы чисты, а остальное всё приложится». Во-вторых, его романы — это готика, причудливая резьба, каменное кружево, он Гауди поэзии, его певчая тоска — это фаустианское стремление к Небу, жажда Несбывшегося.

Из «большой тройки» наших вещей Боянов Высоцкий, конечно, дал Страсть, Галич — Ненависть, а Окуджавка — Печаль, сумеречную Печаль, Печаль, бегущую по волнам.

«В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали, в черно-белом своем преклоню перед нею главу, и заслушаюсь я, и умру от любви и печали... А иначе зачем на Земле этой вечной живу?» Он, Булат Окуджавка, пришел дать нам волю — и боль. Кстати, он, фронтовик с медалью «За оборону Кавказа», не в песнях, а в прозе

очень нестандартно для автора таких теплых военных текстов высказывался о войне. В «Новой газете» он говорил, что немцы сами помогли СССР себя победить: не распустили колхозы, уничтожали евреев, расстреливали заложников, в Германию увозили как рабсилу... Если бы не это, они могли бы победить, считал Окуджава. «Абсолютно две одинаковые системы схлестнулись. Они поступали точно так же, как поступали бы и мы. Просто наша страна оказалась мощнее, темнее и терпеливее». И о войне в Чечне в 1995 году он высказывался очень резко. Представитель маленького кавказского народа не мог предать другой маленький кавказский народ на фоне громадной злющей империи. Этот фронтовик вообще терпеть не мог войну. Победы Суворова, Ганнибала и Наполеона он высмеивал в «Свидании с Бонапартом».

Его Дали

У Булата Окуджавы были три Дали, и каждая могла ему спеть. Первая его жена, прелестная певунья Галина Васильевна Смольянинова, в 1954 году родила ему сына Игоря. Она была подругой «дней его суровых». Даже разлюбив, уже имея сына Булата (Антон), Окуджава не разводился с ней до того момента, пока она не получила квартиру в писательском кооперативе и не въехала в нее. Они развелись в 1964-м (Булату был уже годик). Но всё кончилось очень плохо: Галина умерла от сердечной недостаточности, Игорь пошел по дурной дорожке, хотя отец заботился о нем и денег давал вволю. Игорь пил, баловался наркотиками, едва не сел в тюрьму, потерял ногу и умер в 43 года, раньше отца. Это не было виной Окуджавы, хотя он и казнился, как честный интеллигент.

Вторая жена, красавица Ольга Владимировна Арцимович, оставалась с ним до конца, и с младшим сыном Булатом всё было в порядке: он стал музыкантом и композитором. Правда, в 1981 году Окуджава увлекся красивой и музыкальной Натальей Горленко, но после временного разрыва в 1985-м мудрая Ольга вернулась к мужу: гениям надо прощать.

На ясный огонь

Перестройка и Август мобилизовали рыцаря Демократии если не под ружье, то под триколор. Он делал всё, что приказывали честь и долг: подписывал демократические письма, требовал, негодовал, голосовал за «Демвыбор России», возил в конце восьмидесятых через границу технику от западных доброхотов нашим неформалам, основывал ПЕН-центр, в 1990-м вышел из КПСС, был в совете «Мемориала», учреждал «Московские новости» и «Общую газету», поддержал Ельцина в 1993-м.

Он умер до заморозков, в 1997 году, от воспаления легких, в пригороде Парижа. Это был День независимости, 12 июня.

Этот «витязь в тигровой шкуре» создал мощный проект: взяться за руки, пока очередной безумный султан сулит нам очередную дорогу к очередному острогу. Все-таки он был профессиональным декабристом. «Но, как ни сладок мир подлунный, лежит тревога на челе... Не обещайте деве юной любви вечной на земле!»

АРМИЯ ТЕНЕЙ

Так назывался очень давний, снятый в 60-е годы фильм о французском Сопротивлении той ранней поры (начало сороковых годов XX века), когда еще было непонятно, кто победит и чем всё это кончится. Французы, в отличие от американцев, умеют снимать такие безнадежно-горькие ленты. Но в 1944 году выяснилось, что дело идет на лад, что Германия проигрывает войну, а в 1945-м все жертвы и муки были обналичены и увенчаны великолепной победой, талантами и блеском президента де Голля, почетной ролью Франции как полноправного члена коалиции держав-победительниц, планом Маршалла и целым звездопадом орденов Почетного легиона, которыми благодарная республика наградила своих павших и живых героев. Так что тени подпольщиков оказались достаточно мощным оружием.

Настоящей армией теней, теней неприкаянных, прозрачных, легких, как листья, гонимые осенним мокрым ветром, были советские диссиденты, не дождавшиеся ни лета, ни весны. Они страдали, бедствовали, умирали, их гнали по свету, как Агасфера или Каина, но их победа была быстротечной и иллюзорной: тому порукой Ленин в Мавзолее, Путин в Кремле, звезды над Кремлем, советский гимн в динамиках, Ходорковский на зоне и российская армия в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье; не считая, конечно, целехонькой Лубянки, которая с 1991 года еще и отстроилась во втором гранитном кубе, украсив первый свой притон барельефом Андропова, ликвидировавшего Хельсинкскую группу и остановившего выпуск «Хроники». Для диссидентских офицеров первого ранга, таких как Владимов, всё это было равносильно окопам бесконечной Столетней войны (даже 500-летней), которую российско-советско-постсоветские власти, злобствуя и занудствуя, ведут со времен Ивана III против свободной мысли и свободного слова.

Жизнь Георгия Владимова, типичного кавалергарда, ходившего в «конные» атаки на бастионы и твердыни советского вранья, была полна самых безумных приключений, но они не стали для него болеутоляющим наркотиком. Владимов был безнадежно умен и трезв. «Резкий, охлажденный ум». Не Ленский, но Онегин. Он был слишком умен даже для озлобленности, которая могла бы скрасить ему жизнь. С молодых ногтей до старости Георгий Владимов был неисправимым рационалистом и индивидуалистом, но вел себя как заправский идеалист и поборник общественного блага. Поэтому его творчество — это колющие и режущие предметы. В «Верном Руслане» и «Генерале и его армии» отчаяние и сознание крушения судьбы накладываются на чувство личного поражения. Владимов и Солженицын — одни из немногих российских писателей и советских диссидентов, которые честно продемонстрировали клеймо времени не только на поколении, но и на себе. Тавро советской эпохи носит каждый из нас, но абсолютное большинство, даже из диссидентов, умело скрывает его: кто под локонами, кто под антисоветской риторикой. Владимов признал не только поражение страны, но и свое личное поражение, не прикрываясь ни общим жребием, ни историческими обстоятельствами.

Многие напрашивались к нему в друзья, даже из самых знаменитых, но, будучи благодарным многим диссидентам и нонконформистам, он всегда оставался один. Он был движим чувством чести и сознанием своей чужеродности. Он был чужим для суворовцев, с которыми учился; среди студентов ЛГУ; среди совписов; в «Новом мире»; в Мюнхене среди энтээсовцев; среди благополучных граждан свободного Запада с другой историей и другим менталитетом. Он не вписался никуда, только в Храм русской литературы, где ему принадлежит тонкий готический шпиль — шпиль одинокого поиска и одинокого вызова, брошенного Богу.

Ну что ж, трубач, тебе трубить

Георгий Николаевич Волосевич родился 19 февраля 1931 года в Харькове (Владимов — это литературный благозвучный псевдоним). Родители его были бедными и честными педагогами. Отца, конечно, загребли в «несокрушимую и легендарную» в первые дни войны, послали что-то строить и копать. Он пропал без вести. Потом выяснилось, что отец Жоры попал в плен и умер от голода и болезней в немецком шталаге. И это был только первый лагерь в суровой жизни Владимова. Матери надо было кормить семью, и она устроилась преподавать в Ленинградское суворовское училище войск МВД, которое было под покровительством самого Берии, подбиравшего себе «волчат», как Гитлер подбирал «вервольфов». Это было уже после снятия блокады, и как же матери было не использовать возможность пристроить сына! Георгий надел суворовский мундир. Хорошее питание, обмундирование, хорошее образование, выгодная служба... Всё это в войну очень ценилось голодным и холодным населением. Но вышло очень плохо. Не умел приспособливаться к советской действительности юный Жора, даже в пятнадцать лет.

1946 год отмечен мрачной печатью гонений на Зошенко и Ахматову, постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград». Георгий с другом-суворовцем достали Зошенко, прочитали и возмутились: какая подлость! Как не стыдно травить такого замечательного писателя! К счастью, про плавание Зошенко на агитпароходе по Беломоро-Балтийскому каналу с костями политэзков на дне чистые мальчишки не знали. Они поступили, как юнкера, последние защитники Кремля и Москвы: пришли на квартиру гонимого Зошенко и отдали ему честь по-военному. О, этот вечный Атос в английском парламенте, приветствующий обреченного Карла I возгласом: «Слава падшему величию!» Трудями Дюма Владимов зачитывался. Мальчишки были в парадной форме, а фуражки они сняли. Зошенко был в шоке, такого он не ожидал. Вот здесь-то он и пожалел о своей пароходной экскурсии.

А дальше было совсем худо. Соседка Зошенко тут же донесла. Закрутилось дело, и речь шла не об исключении —

о лагере. Такой бунт в училище, где готовили офицеров-чекистов! Мальчиками занимался сам Абакумов, не побрезговал. К счастью, преподаватели не были заинтересованы в аресте: их головы тоже полетели бы. Георгия шантажировали судьбой матери. Это был серьезный аргумент. Но раскаяния и отречения от него не добились. Пришли к компромиссу: дело спускают на тормозах, а тинейджеры уходят из училища и признают, что они были у Зошенко до постановления.

Георгий поступил в Ленинградский университет на юридический факультет, хоть и заочно. Но мать он спас ненадолго. К ним приставили стукача, заводившего провокационные разговоры, за матерью и сыном установили слежку. Бедная женщина ляпнула что-то про антисемитизм Маленкова. В 1952 году, на излете сталинской эры, ее взяли. 58-10 (антисоветская агитация и пропаганда). К счастью, ГУЛАГу оставалось не так много времени. В 1953 году Владимов, сын «врага народа», окончил университет. Работал следователем, помощником прокурора, секретарем суда. Но это ему претило. Он пишет свою первую театральную рецензию, ее берет Погодин, тогдашний главред «Театра». И тут же многообещающего критика приглашают к себе «Литературка» и «Новый мир».

В 1956 году Георгий едет в Москву и устраивается в крамольный «Новый мир». Он стал редактором слабого произведения Дудинцева «Не хлебом единым» (это не крамольные «Белые одежды»!). В правой тумбе его рабочего стола лежал роман Пастернака «Доктор Живаго». Но Владимову сказали сразу, с порога: это не для печати. Бесперспективно. Да, конечно, Нобелевка была достигимей, чем публикация в СССР.

На далеком Севере бродит рыба Кит

Но тут Владимов вырывает топор литературы, и теперь уже о нем пишут критики, и сходятся все на том, что читать интересно, что талант у автора есть, но писатель — не советский человек, и герои его — не советские люди. Первый рассказик слабоват: «Все мы достойны большего»; берет его «Смена». Зато уже в 1961 году начинаются приключения

с повестью «Большая руда». Планировался «производственный» очерк о Курской Магнитке. Четыре месяца Владимов изучал материал, в том числе и трупы постоянно гибнущих рабочих (советская охрана труда!). Возник рассказ «Пришлый». Но Твардовский посоветовал уйти от актуальной и «жареной» проблематики и «воспарить». И получилась «Большая руда». Рассказ про индивидуалиста шофера Виктора Пронякина, который в конце концов срывается с машиной в пропасть. Но не ради общества! «Нет, я себе все жилы вытяну и на кулак намотаю, а выбьюсь!» Выдвинуться хочет человек! Да еще и «женульке» изменяет... А в пропасть он угодил из-за гнета «коллектива», ценой гибели отстояв свое достоинство и свои права. Не наши то были люди — Виктор Пронякин и Георгий Владимов!

Но дела с талантами у соцреалистов обстояли так худо, что «Три минуты молчания» за четыре года выдержали 27 изданий на 18 языках. Сразу и в Союз писателей приняли, и фильм поставили, даже с Урбанским, Глузским и шлягером Таривердиева. «Ты не печалься, ты не прощайся — всё впереди у нас с тобой». Жуткая стряпня, конечно, но тогда смотрели, другое было еще хуже, а «индпошивом», авторским кино, в начале 60-х и не пахло. Западными лентами бедных совков тоже не баловали, только в абонементах по внеконкурсным показам кинофестивалей.

В 1962 году было продолжение: Георгий Николаевич ушел на лов сельди в Северную Атлантику: Мурманск, Норвежское море... Командировка от «Литгазеты». Никто на судне не знал, что он писатель. Владимов выдавал себя за бывшего таксиста, собирающего на «Волгу». Вместе со всеми он в рыбацкой робе тралил рыбку... Отсюда «Три минуты молчания». Здесь главным героем стал Сенька Шалай, парень неуправляемый, хулиган, но честный малый, и опять сам по себе. Здесь уже и элементы антисоветизма появляются. Большой партбосс Граков толкает рыбаков на промысел на неисправном судне, ибо «стране нужна рыба», а правдоискатель «дед» (механик Бабилов) вдруг возражает, что стране нужны и рыбаки. В 1969 году роман выходит в «Новом мире». А в 1963 году читаемый и охраняемый Твардовским автор «производственных», пока безопасных романов делает, как в 1946-м, еще один шаг в сторону, шаг длиной в побег.

Командировка в ГУЛАГ

В 1963 году Владимов прочитал жуткий очерк о том, как на месте концлагеря, «истребительно-трудового», в конце 50-х построили пионерский лагерь. И когда ребята с вожатыми шли по лесной тропе к лагерю, из кустов выскочили одичавшие караульные собаки и впервые после перерыва с облегчением пристроились конвоировать по бокам колонны... Вот о такой собаке Владимов пишет своего «Верного Руслана». Первый вариант Твардовскому не понравился: «Вы из пса делаете полицейское дерьмо, а у пса — своя трагедия». Переделанный вариант стал леденяще-гениальным, равным, пожалуй, «Одному дню Ивана Денисовича». Но побег — это побег. Советская действительность открыла огонь. Она же предупреждала в 1946-м. Оттепель кончилась, напечатать повесть было нельзя. Владимов отдал ее в самиздат. Ее приписали Солженицыну. Солженицын чужой славы не хотел, он верным людям автора назвал.

Владимов перестал прятаться и полез на проволоку под током: в 1975 году он дал согласие «Граням» (ФРГ), и они напечатали «Верного Руслана». Это была самая страшная крамола: НТС (Народно-Трудовой Союз). Их издание, их издательство — «Посев». За посевовские издания, за листовки НТС (очень слабые и социал-демократические) сажали сразу. Все-таки это была организация, хотя она тихо сидела в Мюнхене с 30-х годов, а фашисты энтээсовцев сажали тоже, но в свои лагеря. Уже после «Трех минут молчания» начались неприятности, а тут — тотальный остракизм: печатать перестали, книги изъяли из библиотек, фильм больше не показывали. А Владимов еще и обратился к IV съезду совписов с требованием свободы творчества и предложил пообсудить письмо Солженицына о цензуре! Его не арестовали из-за неслышанной наглости. Каждый волк будет в трансе, если его покусает бешеный заяц, и, пожалуй, временно отступит, если зайчик будет на него бросаться. А тут Владимова пригласили на Франкфуртскую книжную ярмарку, и известный шведский издатель тоже стал зазывать его в гости, на контракт и договор. Чиновники из Союза совписов даже не известили писателя об этом: ясное дело, «невыездной».

Владимов это так не оставил: в 1977 году он отправил в Союз писателей свой членский билет № 1471 с письмом о выходе из него. Чиновники перепугались, что не успели исключить, — и исключили! Задним числом!

А ведь он был женат, после первого «проходного» брака он нашел себе умную и красивую жену, Наталью Евгеньевну Кузнецову, в которую они с Сергеем Довлатовым были влюблены еще в детстве. Ее тоже выгнали, уволили из АПН. Жить стало не на что. А Владимов продолжал руководить советской (московской) секцией «Международной амнистии» (1977—1983 годы), организацией, запрещенной в СССР! Владимовым угрожали, поджигали почтовый ящик и дверь. И наконец волк опомнился. Андроповщина. Статья 190¹ (клевета на советский общественный государственный строй). Следователь Губинский сказал, что есть выбор: Запад или Восток (лагерь). Владимову было 52 года, плюс два инфаркта. За него активно заступался (вечный наш заступник!) Генрих Бёлль. Плюс Зигфрид Ленц, плюс журналисты и Лев Копелев, уже живший в Германии. И главное, почему он должен был идти к Русланам, умирать за колючую проволоку? Он предвидел перестройку, как и Гайдар, предвидел Горби: еда в стране кончалась, СССР летел в трубу, но не нефтяную. Он знал, что на это пепелище можно будет вернуться. Словом, Владимов улетел читать лекции в Кельн. Указ о лишении гражданства был уже заготовлен. Его загребли прямо у трапа энтээсовцы, и он два года, с 1984-го по 1986-й, редактировал «Грани». Но работать дольше не смог, они разругались. Слишком внутренне советским оказался НТС со своей теорией солидаризма рабочих и хозяев, слишком много там социализма оказалось для индивидуалиста Владимова.

Они с Наташей осели в Нидерхаузене. Георгий Николаевич писал. Рассказ «Не обращайтесь внимания, маэстро». Романы «Мой дом — моя крепость», «Долог путь до Типперэри», «Генерал и его армия». За эту последнюю, сильнейшую вещь он получит «Букер» в 1995 году, и это останется вместе с «Верным Русланом», когда уйдет в забвение всё остальное.

В 1990 году советское гражданство вернули, но ехать было некуда: не было жилья, его кооператив давно продали другому очереднику. Только в 2000 году Владимову

предоставили дом в Переделкине в аренду (по линии международного Литфонда). Писатель заканчивал жизнь бедно и достойно, ездил то в Переделкино, то в Германию, он даже работал в ельцинской Комиссии по помилованию.

Всё окончилось 22 октября 2003 года, чуть ли не по дороге, в машине. Но все-таки он обрел последний приют на кладбище в Переделкине, этот старший офицер от диссидентства. Безobelisks и наград. «Букер», «Триумф», сахаровская премия за «Гражданское мужество таланта». Орденов Армии теней не давали, к «Героям России» не представляли.

Свой ошейник и чужая война

«Руслан» — это очень серьезная идея фрустрации. Вот мысли верного пса и его таких же верных хозяев: «Бедный шарик наш, перепоясанный, изрубцованный рубежами, границами, заборами, запретами, летел, крутясь, в леденеющие дали, на острия этих звезд, и не было такой пяди на его поверхности, где бы кто-нибудь кого-нибудь не стерел. Где бы одни узники с помощью других узников не охраняли бережно третьих узников — и самих себя — от излишнего, смертельно опасного глотка голубой свободы. Покорный этому закону, второму после всемирного тяготения, караулил своего подконвойного Руслан — бессменный часовой на своем добровольном посту».

Владимов предвидел перестройку, предвидел ее неизбежный финал. Следы от ошейника останутся навеки, как у Потертого, злоба у бывших вертухаев и их потомков останется навеки, и даже у самых лучших и безвредных останется это же, безусловный рефлекс: готовность взять руки назад по первому требованию.

А «Генерал и его армия» — это еще хуже. Главный герой там — генерал Власов, посмевавшийся подняться против Сталина и надеть чужой мундир. Власов и его люди. А своих мундиров у русских не было, сталинские мундиры были самые чужие из всех. «Поистине Бог эту страну оставил, вся надежда на дьявола». А вот вам и Сталин:

«...обидно маленький, рыжеватый, с грубым, рябоватым лицом. Стоявшее перед ним, рябоватое, затравленное, лепечущее, это и был — Сталин. Унизив, изнасиловав чужую страну, он теперь убежал туда, к своему горийскому детству, к мальчишеским играм, к своей семинарии, и выглядело это, как обильный верблюжий плевок во все лица, обращенные к нему в трепетном ожидании». Гейнц Гудериан и Власов — хорошие командиры, а Хрущев, Терещенко, Жуков — мерзавцы, дерьмо. И плененный Гудерианом под Киевом честный генерал Миша предпочитает остаться в плену, хотя Гудериан и отпускает его: понимает, что Сталин за плен поставит его к стенке. Командует армией Кобрисова чекист Светлооков, ищущий, кого бы еще расстрелять, а воевать надо со своими, с власовцами, и тащить их на виселицы, и, наконец, понимает Фотий Иванович Кобрисов, красный кавалерист, что именно он был врагом своей страны, а не Гудериан (который тоже понял, что здравый смысл Россию никогда не завоеует, что она будет держаться за свое лихо). Вот диалог Кобрисова с его ординарцем Шестериковым:

— А всё же мужичок принял колхозы?

— Как же не принять, Фотий Иванович, ежели обрезов не хватило!

И вот заповедь Кобрисова-Владимова насчет Светлоокова и особистов, Берий и их сменщиков: «Не верь им! Не верь им никогда. Не верь им ни ночью, ни днем. Не верь ни зимою, ни летом. Ни в дождь, ни в ведро. Не верь, и когда они правду говорят!»

Но понимали оба — и Кобрисов, и Владимов, — что не переделать им историю этой страны и не внушить равнодушие к 9 Мая, и не переиграть «Семнадцать мгновений весны», «Белорусский вокзал», песню о ненужной победе, фильм «А зори здесь тихие...». И с ужасом Владимов почувствовал это в себе.

Умирать пришлось в чужой шкуре, надетой еще в роддоме, в 1931 году, в чужой советской шкуре, сшитой родителями и историей. Ее до конца никому еще не удалось содрать. Тем более — ниндзя из Армии теней, у которых своей шкуры не будет никогда, ибо вся их страна — это тыл врага, и некуда эвакуироваться.

ПЕРЕДОЗИРОВКА ИСТИНОЙ

По профессии я усилитель

Владимир Высоцкий — это неистовство и мощь, это неприглаженный океан, это непричесанные скалы и ледники, это, как он сам писал, не штормы, а шторма. Это колокол нашего Храма русской литературы, дисгармоничный, тревожный, яростный набат. По его же словам: «В синем небе, колокольнями проколотом, — медный колокол, медный колокол — то ль возрадовался, то ли осерчал... Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал».

Высоцкий казался самородком, но он им не был, он был достаточно интеллигентен, у него были знания и культура, но просто сила перла из него, первобытная сила, а она не уживается ни в гостиных, ни в университетских аудиториях. Образ этого Атланта, которого убило рухнувшее на него небо, уже оброс легендами, небылями, сказаниями и сплетнями. Булат Окуджава, умница, старший товарищ, старался оправдать, закрыть амбразуру, защитить мертвого титана от этого диагноза то ли из сплетни, то ли от врачей скорой помощи: алкогольная и наркотическая зависимость. В России пьют многие художники, но не все умирают «от водки и от простуд» (опять Владимир Семенович!). Нас этим не возьмешь. И какие наркотики, какой опиум сравнятся с тяжелой, похмельной, черной, морфинистской советской действительностью? Это следствие, а не причина. Объяснение Булата Окуджавы — в великодушной реабилитации, в забвении, в целомудренной тишине вокруг смертного одра: «Говорят, что грешил, что до срока свечу потушил; как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа». Но разгадка в другом: слишком многие и разные силы били в этот чуткий колокол, слишком многое отразило это зеркало, слишком многое прошло через этот транслятор. Вспомните Платона: поэт — сосуд,

туда входит Бог, Даймон (античность не различает Бога и Демона, оба свыше), поэт не ведает, что творит, им владеет божественная Сила. Понимал ли это Высоцкий? Тень понимания звучит в «Балладе микрофона»: «В чем угодно меня обвините, только против себя не пойдешь. По профессии я — усилитель. Я страдал, но усиливал ложь». Конечно, Высоцкий не лгал никогда, но у разных сил были разные правды, и одна правда считала другую ложью. Песни о войне ну никак не ложатся в одно творчество с диссидентскими, то есть запрещенными, песнями Высоцкого. Обыватели из телевизора и при телевизоре, Ваня и Зина, никак не соединяются ни с бешеными конями, ни с вольными волками, ни с ужасами Лукоморья. К тому же Высоцкий был гениальным актером. И в его перегруженную душу влезли и уместились там разбойник Хлопуша, Гамлет, Галилей да еще кинематографические белогвардейцы (Брусенцов), революционеры Мишель Бродский и Жорж-Николай, сподвижник Петра — Ганнибал...

Он умер от передозировки разными истинами, часто несовместимыми, ибо не играл, а жил в роли, а между ним и поэзией не было необходимой для выживания дистанции. Евгений Евтушенко написал это в «Казанском университете» не о нем, а об историке Щапове, но и для Высоцкого это верно: «"Как он лезет из кожи истошно", шепот зависти шел из угла, но не лез он из кожи нарочно — просто содранной кожа была».

Высоцкий, как саламандра, мог бы уцелеть в огне. Его спасла бы ясная цель. Его спасла бы однозначность. Его могло бы спасти открытое противостояние с властью, диссидентство, арест, срок. Галича спасла огромная ненависть, он жил, вооруженный своим вызовом, своей атакой. Окуджава был слишком мудр и отстранен, он был немножко апофигист и не умер от крови и подлости советской действительности. А Высоцкий погиб. И губили его успех, «мерседесы», Париж, Берлин, американские гастроли, словом, благополучие.

Из лагерей возвращаются. Вернулись Даниэль и Синявский, вернулись из сталинского ГУЛАГа Шаламов и Солженицын. А сорокадвухлетний Высоцкий, любимый

народом, баловень успеха, актер лучшего театра страны, не обделенный ни экраном, ни концертами, ни деньгами, не вернулся из своего благополучия.

Он родом не из детства

Народный поэт не всегда родом из народа. У Пушкина была няня Арина Родионовна, то есть народ его укачивал, пеленал и разделял с ним кружку. А Владимир Высоцкий был дитя вполне интеллигентское. Отец поэта, Семен Владимирович Высоцкий, был полковником, военным связистом, то есть почти технократом. Мать, Нина Максимовна, была переводчиком с немецкого языка. Родители жили долго и пережили сына. Отец умер в 1997 году 82 лет от роду. Мать умерла в 2003 году и дожила до 91 года. То есть наследственность располагала к долгой жизни. Талант не располагал.

Дядя, Алексей Владимирович, был писателем, тоже фронтовиком, кавалером трех орденов Красного Знамени. А ведь сам поэт родился до войны, в 1938 году. Два фронтовика, военное детство — вот откуда вирус войны, которой он переболел в тяжелой форме, так и не задав себе и другим рокового вопроса Солженицына, Гроссмана и Владимирова: «Стоило ли воевать?»

Но самый лучший background был у деда Володи из Брест-Литовска, сына преподавателя русского языка, имевшего три высших образования: юридическое, экономическое и химическое. Бабушка работала косметологом, тогда эта профессия была редкой и престижной. Так что на простодушие поэта вряд ли можно рассчитывать.

Раннее детство Володя провел в коммуналке, жалкой советской коммуналке «на 38 комнаток и одну уборную» на проспекте Мира, то есть на 1-й Мещанской улице. Мы жили где-то рядом, только в разное время. С 1-й Ярославской все ходили на проспект Мира в магазины. Два года, с 1941-го по 1943-й, Нина Максимовна пожила с Володей в эвакуации, в глухомани под названием «село Воронцовка» (Оренбургская область). Потом Высоцкие вернулись в Москву. И в 1945 году Володя пошел в 273-ю школу (я ходила в 270-ю, где учились такие же двоечники, как в Володиной).

А родители Володи развелись, и в 1947 году он поехал в Германию на целых два года, в новую семью отца, к «маме Жене», доброй, любимой мачехе. Все-таки за-граница, хотя и послевоенная.

В 1949 году его вернули в Москву, доучиваться. И жили они на том самом Большом Каретном, 15, кв. 4. И семнадцать лет, и черный пистолет — всё осталось там. Да, военные песни, блатной романс (шансон) и светлый (халтурный для такого таланта и умницы) образ советского кумира Жеглова, честного мента из сериала «Место встречи изменить нельзя», с его лозунгом «Вор должен сидеть в тюрьме», который вполне мог бы взять на вооружение Алексей Навальный, — всё это вытекало из советского детства поэта. Но и только. Всё остальное было не отсюда. Так что он все-таки родом не только из детства. Всем остальным он обязан своему Даймону, демону, Богу, Духу (нужное подчеркнуть).

Ранней ранью

С 1953 года Володя ходит в драмкружок в Дом учителя. Но, закончив в 1955 году школу, он пошел, куда его послали родители: в МИСИ, чтобы иметь верный кусок инженерно-строительного хлеба. Но его хватило на один семестр: терпеть эту скукотищу.

В новый, 1956 год, прямо под елкой, он залил чертежи то ли тушью, то ли кофейком. Уйдя из МИСИ, он пошел туда, куда влекло его сердце: на актерское отделение школы-студии МХАТ, где и учился до 1960 года (даже у Массальского). Впервые он появился в «кине» в 1959-м, в банальщине под названием «Сверстницы» в роли студента Пети. «Совкультура» в 1960 году пишет о его роли в учебном спектакле «Преступление и наказание» (вот он, неожиданный Высоцкий: сыграл не Родиона Раскольникова, а Порфирия Петровича!). Распределился юный актер в плохой до него, во время него, после него и до сих пор Московский драмтеатр имени Пушкина. Играет Лешего в «Аленьком цветочке» и прочую ерунду. Потом он устраивается в Театр миниатюр. А вот в «Современник» его не взяли. Он так долго

пытался туда проникнуть! Потом Ефремов, наверное, локти кусал. Кое-что он играет в кино, так, пустячки: «Живые и мертвые» — веселый солдат, единственный весельчак в мрачном фильме; «Карьера Димы Горина»; «713-й просит посадку». Эпизоды.

Леди, дама, сеньора, фемина

Владимир Высоцкий совсем не был Дон-Жуаном, которого потом сыграет. Он был целомудрен, воспитан, учтив. Не вел разгульную жизнь в вертепах и притонах, на всех своих дамах женился. Детей любил, уважал, по воспоминаниям второй жены, даже младенцев; купал, когда мог, бегал за молочком. Трепетал перед детишками: а вдруг не полюбят? Дома бывал редко: роли, гастроли, концерты. У него было три жены, и прежних он проводывал. Давал деньги. То есть вел себя совсем не по блатным песням.

Умел любить, был хорошим мужем. Только недолго. Его первой женой в голодное время бедной юности стала Иза Константиновна Жукова. Он увел ее от мужа. Они голодали. Скупали за бесценку в пирожковых бракованные пончики («кривые»). Иза была умна и нежна. Они поженились в 1960 году, совсем детьми. Нина Максимовна не любила бедную Изу, заставила ее делать аборт. Двое испуганных детей не посмели противиться, Володя плакал у больницы. Вот тогда он стал пить. А детей у них больше не было.

Но в 1965 году Владимир Семенович, уже актер Театра на Таганке, женится на Людмиле Владимировне Абрамовой, тоже милой, красивой, влюбленной. Она подарит ему двух роскошных сыновей: Аркадия (1962 год) и Никиту (1964 год). Оба стали актерами. Такая творческая семья. Аркадий еще и сценарничает, а Никита (страшно похож на великого отца) еще и режиссирует. Интересно, что к ногам Высоцкого упали бы все дамы и девицы, как спелые плоды. Если бы он захотел, он мог бы иметь 700 жен и 300 наложниц, как царь Соломон. Но никто и никогда не мог назвать ни одну героиню его романа. Со скандалами имя его не связано. Да, дрался

в ресторане. Всех побил. Из-за родной жены Людмилы, за ней вздумали приударить на глазах у мужа.

Они с Людой нуждались, но уже не голодали. Пошла «пруха»: фильмы, таганские спектакли, концерты. На еду хватало, хватало на детенышей. Но носить приходилось пиджаки и куртки друзей, а ботинки Высоцкий нашел где-то в углу на «Ленфильме».

Последний же брак был чудесным приключением из любимых книг, из детских сказок. Высоцкий поймал Жар-птицу, принцессу, Царевну Лебедь. Марину Влади. И в приданое он получил Париж и весь мир впридачу. Не считая обещанных андерсеновскому Каю новых коньков (машин). Бедные русские жены (Марина все-таки была удочерена Францией) не могли соревноваться с той, что уже в Париже, которой что-то говорил сам Марсель Марсо. Что такое плотник супротив столяра и Каштанка супротив человека? Милые жены смирились, писали теплые мемуары, радовались своему краткому счастью и любили блудного мужа несмотря ни на что. А он создавал Храм своей новой любви и писал великие стихи о той, с кем приходилось все время разлучаться.

«Телефон для меня, как икона, телефонная книга — триптих, стала телефонистка мадонной, расстоянья на миг сократив». Ему было что дать этой белокурой красавице. «Дом хрустальный на горе для нее, сам, как пес бы, так и рос в цепи, родники мои серебряные, золотые мои россыпи!»

Акмэ

В 1964 году всё меняется. Великий актер встречается с великим режиссером, Юрием Петровичем Любимовым, и театр на Таганке становится местом паломничества интеллигенции, знаменем Москвы, тайным очагом нонконформизма, вентой карбонариев. Мое поколение — счастливые люди. Мы видели Высоцкого в Гамлете — презрительным диссидентом; мы видели его сострадающего, интеллигентного Лопухина в «Вишневом саде»; его Хлопушу, убийцу, человека-ножа, злобного, несущего

в себе стихию мирового пожара; мы видели его сломленного Галилея, в котором зрители угадывали самих себя, покорствующих тоталитарному государству. Юрий Любимов берег Высоцкого, ругал за загулы, запои и опоздания, но не увольнял и вытаскивал из таверн и трактиров гастрольных стран. Он понимал, какая перед ним сила и как тяжело с ней жить.

С 1966 года пошли и фильмы — концерты. Началось с «Вертикали». Роль была скромная, но без песен Высоцкого этот фильм не стоил бы и медного гроша. Это 1966 год. А чего стоил бы фильм «Я родом из детства» (1966)? Песни Высоцкого и он сам создают фильмы из ничего. «Опасные гастроли» (1969). «Четвертый» (1972). Нет, случается играть и в стоящих, отменных фильмах. «Интервенция» (1968), которая двадцать лет лежала на полке. Или Чехов, «Плохой хороший человек». Лучший фон Корен всех времен и народов — Владимир Высоцкий. И лучший же Лаевский — Олег Даль. Талантливый фильм «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976). И экранизация «Маленьких трагедий» (1979).

Но даже Париж не радовал. Вот она, холодная ясность прозрения: «Мы в Париже нужны, как в бане пассатижи». А насчет России? Тоже всё ясно. «Грязью чавкая, жирной да ржавою, вязнут лошади по стремяна. Но влекут меня сонной державою, что раскисла, опухла от сна». И «раз уж это присказка — значит, дело дрянь». Чем здесь могли помочь бессмысленные машины, которые поэт бил, которые улетали в кювет?

Марина Влади любила мужа нежно и преданно, как простая русская баба. Никогда не корила. Помогала. «Уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина». Она привезла ему «Рено» — Высоцкий разбил ее в первый же день и ездил на битой. В 1974 году с гастролей в Германии он привез себе два BMW, серый и бежевый. Зарегистрировать дали один, но ездил он на обоих, переставляя номера.

В 1975 году Высоцкий переселяется в хорошую кооперативную квартиру на Малой Грузинской, 28. А дальше пошла уже роскошь: «мерседес», голубой металлик, 1975 года выпуска. В 1976 году таких «мерсов» в СССР

было три: у Высоцкого, у Брежнева, у «гимнюка» Сергея Михалкова. Слава зашкаливала — силы кончались, число концертов дошло до тысячи. Как рвали его противоречия! В 1979 году он, как честный поэт-нонконформист, участвовал в нелегальном «Метрополе». Нелегальщиной была уже не политика, а альтернативное искусство. И в этом же году опять-таки на гастролях в Германии он покупает спортивный «мерседес», купе. Скорость — 200 км/ч. И поэт улетает в кювет. А время жизни почти истекло, и из автосервиса машину забрать уже некому. 25 июля 1980 года Владимир Высоцкий умер во сне, и количество кривотолков, от коих тошно, перевалило за мыслимый предел. В городе шла проклятая, бойкотированная США и еще несколькими странами Запада Олимпиада. Лишних выселяли. Высоцкого хоронила вся Москва, деньги за спектакль никто не взял назад, а тупой КГБ выламывал портрет со второго этажа здания театра и смывал поливальными машинами цветы с асфальта. Им было то ли завидно, то ли страшно. Бедный советский волк, которого сама советская жизнь посадила с рождения за флажки, все-таки ушел от советских Красных Шапочек из Политбюро, от бабушек из Кремля и с Лубянки (вроде Сулова с Пельше). Но не ушел от охотников. От этих — только на тот свет. «Волк не может, не должен иначе! Вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, усмехнулся и поднял ружье».

Выбирайтесь своей колеей

Владимир Высоцкий успел написать о многих запретных вещах. О карательной психиатрии: «Ко мне заходят со спины и делают укол... Колите, сукины сыны, но дайте протокол!» О том, как надо умирать настоящему пирату и настоящему человеку и как ему самому не суждено было умереть: «На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз и видят нас, от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах». О том, где искать выход: «Эй, вы, задние! Делай, как я. Это значит — не надо за мной. Колея эта — только моя, выбирайтесь своей колеей!» О тщете пророчеств в СССР:

«Без умолку безумная девица кричала: “Ясно вижу Трою павшей в прах!” Но ясновидцев — впрочем, как и очевидцев, — во все века сжигали люди на кострах».

Советские поэты приспособлялись как могли. Выживали, лакали водяру в Домжуре. «Так держать — колесо в колесе! — И доеду туда, куда все». Завидовали Высоцкому, самому успешному из всех. «Мерседесы», заграничная жена, по заграницам ездит. Никто не вешался и не стрелялся. Обживали кооперативы и дачи в Переделкине. Брали госпремии. А он от этого умер! Не выдержало честное несоветское сердце. Он проложил нам маршрут в своих «Птицах».

Север, воля, надежда — страна без границ,
Снег без грязи — как долгая жизнь без вранья.
Воронье нам не выключет глаз из глазниц —
Потому что не водится здесь воронья.

...Наше горло отпустит молчание,
Наша слабость растает как тень, —
И наградой за ночи отчаянья
Будет вечный полярный день!

ТРАНЗИТ НА АРКАНАР

На нашем небосклоне мало было звезд фантастики. Русская литература горька, как желчь, и реалистична, как ржаной каравай. Правда, над этим жалким ассортиментом шелестят вишневые сады и раскинулись тургеневские дворянские гнезда, но только в стиле ретро, пополам с мучительными сожалениями и горестными воспоминаниями. Поэтому когда мы начинали мечтать, получалось грубо и плоско, как у гриновских мужиков в их представлениях о рае, «где хлеб, золото и кумач». Утопия — дело тонкое, и не утопленники ее создают.

На дне жизни слишком плохо живется, и утешения фантастов типа горьковского Луки выглядят нелепо. Поэтому так неуклюже прямолинейен Иван Ефремов, и тянет он скорее на дискотеку, чем на Храм. Поэтому так старательны и ученически бездарны сны Веры Павловны и сам роман Чернышевского. Поэтому такая маленькая звездочка у Ольги Ларионовой, поэтому так поздно зажглась звезда Сергея Лукьяненко, талантливой кометы постсоветского небосклона. Однако соревноваться с американской фантастикой, давшей миру Рэя Брэдбери, Клиффорда Саймака, Роберта Хайнлайна, Роберта Шекли, Курта Воннегута и Урсулу Ле Гуин, мы никак не можем. Скорее всего, астрономы будущих времен разглядят в своих библиотеках и компьютерах только две мощные звезды, Аркадия и Бориса Стругацких, как сверкающее бриллиантовое ожерелье Плеяд.

Конечно, они косили под утопистов. «Молодая гвардия» и «Техника — молодежи» протаскивали их под этим соусом. Детская литература, чего с нее взять! Их передавали из рук в руки, как эстафету. Добрые редакторы, великодушные референты, обкомовцы и райкомовцы поумнее других. Потому что сразу чувствовалось, что у этих двоих есть некое послание для нас и для потомков. Пронизывающее, как ветер, грозное, как катаклизм.

Они делали вид, что ремонтируют социализм: побелка, покраска, лакировка. А на самом деле они распахивали окна и двери и давали заглянуть в этот самый социализм. И этот социализм почему-то порождал нестерпимую тоску. А послание братьев Стругацких шло прямо из будущего, от Вечности, от Времени и Вселенной. И всё это оказывалось неудобным, опасным, страшным и жестоким. Прогресс вонзался в мягкое тело человечества и причинял нестерпимую боль; никакая ходячая добродетель «человеков» в XXVII веке не ожидала. И Вселенная оказывалась опаснейшим врагом с фашистскими приемчиками, и пришельцы откровенно плевали на землян или их беззастенчиво использовали, или их же жестоко и обидно спасали («Пикник на обочине», «Второе нашествие марсиан» и «Гадкие лебеди»).

«В горах не надежны ни камень, ни лед, ни скала»? Высоцкий знал не всё. На Земле и в Космосе вообще нет ничего надежного. Человеку не на что положиться. Только на себе подобных, да и то не поможет. Причем как при социализме, так и до, и после него, и при капитализме то же самое («Хищные вещи века»). Великое творчество Стругацких рождало великую неуверенность. Земля уходила из-под ног, небо было не надежнее земли, повсюду были страсти роковые, а от судеб защиты не было ни в одной Галактике. Тот, кто первый сказал это про страсти и судьбу, Александр Сергеевич Пушкин, не знал, что этот ужас так универсален, и никакие знания от него не спасут. А когда социализм кончился, мы услышали от своих Плеяд, что у человечества вообще нет будущего. Прогрессоры и спасатели оказывались убийцами, как Экселенц, прогресс делил человечество на две неравные части и делал чужими мать и сына, мужа и жену, учителя и ученика, а нейтральная у других (западных) фантастов Вселенная обнаруживала свойства тиранов и автократов. И даже порядочность не спасала, цель жизни была не в ней («Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики»). Этого-то никакие цензоры не поняли.

К семидесятым годам они усекли, что братья Стругацкие что-то не столько лакируют действительность, сколько ее поносят. Но это была не просто советская действительность. Это была действительность вообще,

причем на все времена. «И если что еще меня роднит с былым, мерцающим в планетном хоре, то это горе, мой надежный щит, холодное презрительное горе» (Гумилев).

Биографии романтиков из романа

Редко когда у авторов книг бывает такое полное совпадение с их персонажами, а жизнь почти дословно вливается в творчество. Итак, их было двое, Аркадий Натанович и Борис Натанович. Их жизни текли параллельно, согласованно, но блески юмора и веселости все-таки принадлежали оптимисту Аркадию, а тайная струя печали — пессимисту Борису. Когда они писали порознь, это очень чувствовалось, и черная тоска оставшегося с нами Витицкого (Борис Натанович) демонстрирует, что в их творчество он вложил свою беззвездную глубину. Так два брата, как черные и белые клавиши одного рояля, дали нам детство и юность космического разлива и вселенского масштаба, обеспечив Храму русской литературы призовое место еще и на пьедестале мировой фантастики, закрыв собой брешь и показав изумленному человечеству, что отсталая страна может порождать не только Платонов, но и «Невтонов», и что без всякой цивилизации, без технического и материального прогресса Россия может заглянуть за предел, в черную дыру, в другое измерение, спорить с Вселенной и ее законами и давать более благополучным странам «уроки в тишине». Произведения наших Стругацких, прекрасных утят («Гадкие лебеди») из города Питера, переведены на 42 языка в 33 странах мира (более 500 изданий). Наш Храм — наша главная статья экспорта.

Веселый Аркадий

Аркадий родился 28 августа 1925 года в Батуми, где отец наших писателей, Натан Залманович Стругацкий, служил редактором причудливой газеты «Трудовой Аджаристан». Их мать, Александра Ивановна Литвинчева

(1901—1981), была учительницей словесности в той же школе (города Питера), где учился Аркадий.

Началась война, и семья попала в тиски блокады. В январе 1942 года отца Аркадия эвакуируют по «дороге жизни» через Ладогу. А маленький Борис заболел и остался с матерью и погибал. Но всё вышло наоборот: отец был очень истощен и умер в Вологде, а Аркадия отправили в Оренбургскую область закупать у населения молочные продукты. Это было не самое голодное место. Проявив чудеса ловкости, Аркадий спас от голодной смерти мать и брата, эвакуировав их из города. А в 1943 году его уже призывают в армию. Слава богу, не на фронт. Интеллигентный юноша попадает в Бердичевское пехотное училище, эвакуированное в Актюбинск, после чего его посылают в Военный институт иностранных языков, который он окончил уже в 1949 году (японский и английский). До 1955 года Аркадий служит в армии, работает на следствии при подготовке Токийского процесса. Потом — Институт научной информатики, работа редактором в Детгизе и Гослитиздате.

Женат он был дважды: на Инне Сергеевне Шершовой (с 1948 года брак фактически распался, а в 1954 году они уже развелись). А дальше чистый роман, причудливо растасованная колода, смешение с другой великой судьбой. От второй жены Елены Ильиничны, урожденной Ошаниной, у него оказывается дочь Елены Наталья. Он воспитывает ее как свою. А вторая дочь, Маша, выходит замуж за Егора Гайдара, еще одного бесстрашного пророка в Неведомое, явного мокреца и выродка, по терминологии тестя.

Аркадий с братом не унывали, ездили встречаться с читателями от «Молодой гвардии», получали командировочные и здоровую провинциальную еду. Молодогвардейцы своих писателей не баловали: 85% от гонорара ВААП и правительство оставляли себе. А вот если близилась публикация за рубежом, прямо с рукописи, то наши прожорливые ведомства хапали меньше, автор получал 85%. Доброхоты устраивали такие публикации, и братья-писатели дожили до перестройки, даже до Августа. Аркадий Стругацкий умер от рака печени. Его прах по его просьбе развеяли с вертолета. Он недостижим навеки и для донна Рэбы,

и для людей Ваги Колеса. В одиночку он писал под псевдонимом «С.Ярославцев», писал весело и отчаянно. «Экспедиция в преисподнюю», бурлескная сказка 1974 года; «Дьявол среди людей», повесть 1991 года, опубликованная в 1993-м. Идея проста и ужасна: нельзя сделать мир хоть чуточку лучше.

Печальный Борис

Младший брат Борис родился 15 апреля 1933 года уже в Ленинграде, куда переехал Натан Залманович, назначенный научным сотрудником Русского музея. Блокаду Борис встретил совсем мальчиком, ему было девять лет. Казалось, он был обречен. Он умер бы от острой кишечной инфекции, если бы у соседки не оказался бактериофаг. Он страшно голодал, его пытались убить и съесть. Но мать билась из последних сил, чтобы спасти Боря, и хромая судьба на этот раз вывезла, сохранив нам нашего провидца. А тут Аркадий подрос и вывез семью в Вологду. Потом семья переехала за Аркадием в Оренбургскую область. В Ленинград Стругацкие вернулись в 1945 году. Ужасы и кромешный мрак блокады потом перейдут в «Двадцать седьмую теорему этики».

Борис не берегся, падал с гор, тонул, попадал под лавину — судьба сохраняла ему жизнь. Это тоже пойдет в общий котел, в биографию Стаса из «Теоремы этики». Борис окончил школу с серебряной медалью в 1950 году и хотел поступать на физфак ЛГУ, но не прошел. Прошел он на мехмат, и окончил его в 1955 году по специальности «звездный астроном». Борис Натанович работал на Пулковской обсерватории инженером по тогдашним неуклюжим ЭВМ (вот он, Саша Привалов из повести «Понедельник начинается в субботу!»). В 1964 году он синхронно с братом «легализуется» как профи, писатель, член СП СССР. В 1972 году он создает работающий до сих пор семинар молодых писателей-фантастов, «семинар Бориса Стругацкого». Еще он учредил премию «Бронзовая улитка», и все молодые фантасты вожделеют её (вот она, «Улитка на склоне!»). С 2002 года Стругацкий

редактирует журнал «Полдень. XXI век». Страстный филателист, он до последних дней своих собирал марки.

В 1974 году его тягали в КГБ в качестве свидетеля по делу Михаила Хейфеца (ст. 70 УК РСФСР, «Антисоветская агитация и пропаганда»). Это тяжелое переживание тоже пошло в биографию Стаса Красногорова из «Двадцать седьмой теоремы этики». В отличие от Аркадия, Борис Стругацкий был однолюбом. Он был женат на Аделаиде Андреевне Карнелюк, с которой познакомился еще в студенческие годы. Их сын Андрей родился в 1959 году. Борис не гнул спину перед «сильными мира сего». Он не повторил свою ошибку 2000 года, когда по наивности за Путина голосовал. Потом он шел против течения, защищал Ходорковского, находил оправдания для генерала Власова, вопреки «Библии войны».

Начинал он писать еще до войны, но это были детские пустяки, утраченные в блокаду. Первая совместная работа братьев — рассказ «Извне» (1958) из журнала «Техника — молодежи». А дальше начинается звездный полет Стругацких в беззвездную советскую ночь, ночь, как это позднее выяснилось, без грядущего утра.

Полночь начинается в полдень

Считается, что в своих ранних произведениях братья Стругацкие показывают «социализм с человеческим лицом», мир Полудня («Полдень, XXII век»), в котором нам хотелось бы жить вместе с авторами. Но в этом полуденном мире быстренько набралось слишком много теней и просто мрака, ибо, в отличие от Ефремова, они оставили на Земле людей, не превратив их в манекены. «А человек широк! Я бы сузил» — Митя Карамазов был прав. И по-прежнему, и в XXII веке, и в XXXII, «Бог с Дьяволом борются. А арена их борьбы — сердце человеческое».

Началось всё со «Страны багровых туч». Всё настоящее: Венера, чудовища, пустыни, Голконда. На Венеру можно уже и не лететь, достоверней, чем у Стругацких, не будет. И первая встреча с любимым космическим

экипажем: Быковым, Юрковским, Дауге. Потом пошли «Путь на Амальтею» (юмор, отсутствие патоки, трагедия с элементами комедии), «Стажеры», где мы знакомимся с Атосом — Сидоровым, Полем, Геннадием Комовым, будущими светилами «Комкона». Это 1962 год, а тут пойдут и великие дела, и вместе с ними начнутся неприятности. «Попытка к бегству» — это тоже 1962 год, и это уже удар под дых. Во-первых, оказалось, что это запахло — бегать из концлагеря, как раз в другой попадешь, на неизвестной планете. Во-вторых, технический прогресс может быть проклятием для феодальных планет. Погонят разбираться в сложных машинах пришельцев. В-третьих, кротость и человеколюбие — плохое оружие в борьбе со злодеями. В-четвертых, рабы способны броситься на своих освободителей по приказу своих палачей. Но это, как говорится, цветочки.

1963 год. «Далекая Радуга». Ну, вот вам и коммунизм. Что делать нуль-физику Роберту Скляркову, который не имеет таланта и обречен мыкаться в лаборантах? Ради любимой Тани он совершает преступление; в час планетарной катастрофы, чтобы спасти ей жизнь, он оставляет на погибель десять детей. И вот дети погибли, они с Таней живы, а катастрофа в последний момент обошла столицу Радуги стороной. Теперь — только топиться.

Сверхмощная машина (ЭВМ из Массачусетса) попыталась поработить человечество с первых минут своей жизни, еле выключить успели.

И вот 1964 год. Главное начато. «Трудно быть богом». И редакторше «Молодой гвардии» говорят: «Суши, мать, сухари». Мы читали, мы сравнивали, мы знали, что Арканар — это СССР, что после серых брежневских недотеп приходят черные Андроповы, что диссиденты — это обреченные книжники. А Стругацкие разбирались со злом. Как спасти Киру, доброго барона, узников совести из Веселой Башни? Смотреть, как жгут и пытаются? Мы все были в шкуре дона Руматы Эсторского, и мы не могли смотреть на учеников Патриотической школы (заметьте, так называлась школа палачей). И дон Рэба пал от руки землянина Руматы, и Антона, этого самого Румату, нашли его товарищи со звездолета с мечом в руках,

среди трупов. И был прекрасный немецкий фильм, и Алексей Герман много лет ставил свою версию. И в брежневский застой лейтенант Ильин взял пистолет и пошел стрелять в правительственную машину. И погибший в лагерях Юрий Галансков написал — в это же время: «Вставайте и доломайте гнилую тюрьму государства!» И Юрий Кузнецов решил захватить самолет и улететь из СССР...

А у нас к тому же не было запасной благополучной планеты, на которую можно бы было улететь... В 1965 году появляется ироничнейший «Понедельник начинается в субботу». Вроде бы безобидно, но даже в институте НИИЧАВО, где маги, ведьмы, колдуны, руководят бюрократами и заставляют магов сдавать ключи и выпускать стенгазету.

И тут же идут в печать «Хищные вещи века», где благоденствие доводит людей до разработки непреодолимого наркотика, с которым придется бороться (коммунарам с Севера) пытками и казнями; книг не читают, хотя их дают даром; приличные дамы по ночам устраивают оргии, поедая мозг живых обезьян, а молодежь впадает в экстаз на «дрожке» и считает, что все на свете — «чушики».

Сборник из «Попытки к бегству» и «Хищных вещей века» вышел благодаря предисловию Ивана Ефремова, хотя он заметил устно, что «авторы не туда идут». А тут пишется и публикуется в «Ангаре» «Сказка о Тройке» (1968). Это уже точно политическая сатира. «Ангара» перестает выходить.

«Улитка на склоне» с ее ужасами непрошенного, ничтожного прогресса без обратной связи вообще печаталась фрагментарно в 1966 и 1968 годах; полностью она появится тогда, когда выйдет не в Иркутске и не в журнале «Сказка о Тройке», то есть уже в перестройку. В 1988 году.

А тут еще разгромные «Гадкие лебеди» в 1967 году печатают за границей без спроса, минуя визу авторов. А время опасное: скамья подсудимых еще теплая от Даниэля и Синявского. «Гадкие лебеди» — жуткий пасквиль, то есть жуткий реализм. Человечество пьет, крадет, терпит диктатуру, пресмыкается. А как нас

будут спасать? Прилетят мокрецы, сманят детей, устроят бесконечный дождь, превратят спиртное в воду, и будет человечество драпать от этих спасителей под охраной армии, и выйдет солнце, и начнет таять город...

И тот же 1968 год — «Второе нашествие марсиан».

И вот сказано главное: 1969 год, «Обитаемый остров», диссидент и подпольщик Максим Каммерер. Неизвестные отцы, Башни пропаганды, выродки, на которых не действует эта пропаганда... Им больно, они не впадают в экстаз. Планета Сарракш была нашим СССР, и только Земли, благополучной Земли с прогрессорами вроде Сикорски за нами не было. И мы знали: прав Максим, а не Странник: надо взорвать Центр, надо устранить Башни, и пусть голод, пусть шизофрения, пусть белые субмарины, которые надо топить. Всё лучше идеологического излучения.

«Пикник на обочине» выходит в 1972-м, там во имя своей родной Мартышки наш герой Рэд Шухгард совершает подлость за подлостью: выносит из Зоны «ведьмин студень» и сознательно губит (как «отмычку») чистого юношу Артура.

«Отель "У погибшего альпиниста"» — это 1970 год. Честный и идейный инспектор Питер Глебски действует по земным законам и губит таких же идейных пришельцев.

Стругацких перестают печатать, они живут переводами. За границу их не выпускают даже на конференции, а на встречах с читателями всё чаще спрашивают, когда они уберутся в Израиль.

1977 год — это вежа; в атаку на ученых и поэтов идет Вселенная. Ее агенты шантажируют и убивают, пугают гибелью родных тех, кто близок к разгадке запретных тайн. Не только Земля — Космос неправильно устроен.

Но страшнее всего «Жук в муравейнике» (1980). Зачем Странник — Сикорски спасал Сарракш, если из страха перед Неведомым земная Контрразведка (Комкон-2) калечит и ломает судьбу Льва Абалкина, якобы агента настоящих прогрессоров-странников, а потом этот самый Сикорски без суда и следствия убивает Льва, который пока ничего плохого не сделал?

В 1986 году выходят «Волны гасят ветер», где постаревший Максим Каммерер борется с прогрессом человечества,

ибо людены, сверхлюди — это 1% землян, и они ими просто не интересуются; эти самые людены, которым люди не интересны, сделав своих близких несчастными, покидают Землю.

В 1990 году выходит последнее совместное произведение братьев Стругацких: «Жиды города Питера». О том, как за нами придут. Пришли позже, в 2012 году, через 22 года, но пришли. Главное — не являться с вещами на место сбора.

Сценарий конца света, ядерного катаклизма — это тоже Борис Стругацкий. 1986 год, сценарий Стругацкого, режиссура Константина Лопушанского, «Письма мертвого человека». О том, как выжившие напишут новую Библию.

Великий Тарковский поставил свою версию «Пикника» — «Сталкера» — в 1979-м, а великий Сокуров высказался о подлой Вселенной в своих «Днях затмения» (1988).

А потом оказалось, что Арканар неререформируем в принципе и что у Руматы нет выхода: уйти, смотреть, как убивают, или убивать самому. И оставшийся в живых Борис Стругацкий напишет «Поиск предназначения, или Двадцать седьмую теорему этики». Про наше демократическое будущее, про баскеро-людоедов. Про то, что честный Стас Красногоров получает мощь и неприкосновенность не ради своих высоких замыслов, а ради подлых экспериментов друга Виконта, делающего «колбасу из человечины». Отказ Стаса сотрудничать с Роком немедленно убивает его.

Так что же остается нам, транзитникам на Арканар, с пересадкой в «Граде обреченном», когда все против нас: люди, боги, Вселенная, Рок? Думаете, Стругацкие этого не сказали? Сквозь их творчество, как подснежники, пробиваются тютчевские строки: «Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, хоть бой и неравен, борьба безнадежна! Над вами светила в ночной тишине, под вами могилы — молчат и оне... Пускай олимпийцы завистливым оком глядят на борьбу непреклонных сердец. Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком, тот вырвал из рук их победный венец».

ДВОРЯНИН С ЧЕГЕМСКОГО ДВОРА

Как войти в долю двум дворянам — с арбатского двора и с чегемского веселого зеленого дворика, смежного с садом-огородом, благоухающим пряными травами, грушами, инжиром, виноградом, обсаженным мощной кукурузой и ореховыми деревьями? Но тонкий, изысканный, глубоко ненавидящий Сталина, Ленина и империю московский аристократ грузин Булат Шалвович Окуджава честно не писал о Грузии почти ничего (кроме белого буйвола, синего орла и золотой форели), инстинктивно сознавая, что надо выбирать: или Храм русской литературы и статус российского писателя и поэта, или грузинские краски, тона и сюжеты, и тогда надо от России отречься и работать в рамках своей национальной доли поэтического и прозаического ковра. Так ткали узоры — только на своих станках — Тенгиз Абуладзе, Владимир Короткевич, Василь Быков. А если попытаться совместить, знал умница Окуджава, то получится, что он запишет Грузию в состав России без ее ведома и согласия.

Но мудрый Фазиль Абдулович Искандер со своих горных вершин, будучи абхазом и даже немного персом (иранцем), пренебрег такими условностями, абстрагировался от государственных границ, воспарил и описывал Абхазию, свою княжескую вотчину, куда весь мир время от времени наезжал в гости (включая Сталина, Калинина, Берию — прямо по пословице: «Хороший гость — к нам, плохой гость — мимо»).

И ничего не поделаешь: в наш Храм въехал чегемский кроткий свет, чегемский чай, чегемские тихие куры и наглые петухи, чегемское синее небо, сладостные фрукты и терпкое вино. Фазиль Искандер — гений и волшебник, он протащил Абхазию с собой. Не устраивать же апостолам русской литературы обыск на входе? Так что у Искандера — отдельная часовенка. Однако он не предвидел, что родина, красота, детство — всё это может

послужить наживкой в западне, которые удавы научились ставить в конце концов на невинных расшалившихся кроликов. Потому что яркий и сочный Чегем и заплаканная, невытая, страдальческая Россия — это, взятое вместе, дает Советский Союз, который, таким образом, пробрался нелегально и в наш сияющий, благородный, устремленный шпилем в Истину Храм. Что еще раз подтверждает известную максиму «На всякого мудреца довольно простоты».

Но Фазиль Искандер, в силу мудрости своей не гневающийся, а свысока презирающий советские и сталинистские окрестности, не может считаться восточным человеком и восточным писателем, хотя и писал о Кавказе. Его мудрость так велика и так интересна, что понимаешь: Фазиль Абдулович из тех, кто смотрит из древности, когда еще не было ни Востока ни Запада, и из будущего, когда Запад и Восток сольются воедино. Мы все были гостями Фазиля Искандера в его морском, пенном, унизанном чайками и виноградными лозами Мухусе (Сухуми, который абхазы называют Сухум).

Есть у писателя рассказ «Время счастливых находок». Вот так было в Сухуми и у меня, Искандер прав! Я в первый же день увидела в витрине книжного магазина двухтомник Эврипида, недосыгаемый в Москве, и со сладострастием купила его. На второй день у меня оказалось, первый раз в жизни, невысказанное число поклонников, которые стояли за мной в очереди в кафе, к мороженщикам и в Ботаническом саду (мне было девятнадцать лет, я была русская, и я была в шортах, а их местные девушки не носят). На третий день мне сделал на пляже предложение солидный, сорокапятилетний, состоятельный университетский доцент, доведенный до транса моей добродетелью: я читала на песке Достоевского и сидела в мохнатом полотенце, чтобы народ не увидел меня в закрытом купальнике. При этом я с жаром утверждала, что девушки должны быть целомудренны, жены — абсолютно верны мужьям, а мужчинам можно позволить и шалости, если жена не в курсе. О, мои девятнадцати лет и золотая форель в горном ручье! О, блестящие буйволы с какими-то горизонтальными рогами, похожими на отвертку! О, мороженое с печеньем на набережной, среди серых замшелых

развалин древней крепости Диоскурия! О, вино, невкусное вино, которое в селе Очамчыры пьют из чайников! О, 1969 год, звездный час Фазиля Искандера, когда все зачитывались «Созвездием Козлотура», добравшимся до России в 1967 году, этим нежным, горьким, ироничным и дерзким послевкусием оттепели!

Детство Чика

Фазиль Абдулович Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуми в семье бывшего владельца кирпичного завода иранского происхождения. Городская родня мальчика была вся такая важная, образованная, еще помнившая о былом богатстве (средний бизнес). Но кончилось всё плохо: в 1938 году отца депортировали из СССР, и сын больше никогда его не видел. Когда потом попал за границу, не нашел следов. Мальчик воспитывался у матери-абхазки в селе Чегем. Родственников у матери было много, в том числе и знаменитый дядя Сандро. Прокормили ребенка. Кукуруза, фасоль, свой мед, чай, куры и яйца, фрукты, варенья, овощи, вино, козы (значит, сыр и молоко), а то и барашки. Даже в войну Абхазия не знала голода. Была суровая, непреклонная бабушка, потом перекочевавшая в «Стоянку человека», вгонявшая родных в транс своей прямоотой и высказываниями вслух об истинной сущности Ленина, Сталина и советской власти. Потом писатель искренне сознается, что биографий не писал, что его биография — в его творчестве. А то мы сами не поняли. Не очень он и шифровался, Фазиль Искандер. Он — это Чик, вундеркинд, наблюдатель, летописец, разведчик в мире взрослых. И Чик, и Ремзик-«русачок», полукровка, желанный гость в абхазском селе.

Фазиль Искандер окончил русскую школу с золотой медалью. Это был выбор родственников, но он соответствовал вкусу этого гражданина мира, философа, слишком свободного, образованного и ироничного для патриотизма маленькой глухомани, пусть трижды любимой и колоритной, но немного смешной в своем местничестве, впрочем, как и все остальные уголки и уголки СССР.

Только Фазиля Искандера для них не нашлось. Воспевать, кстати, писатель ничего не умеет. Он анализирует и иронизирует.

Любящие родственники были, как три сестры, или как все население СССР: «В Москву, в Москву!» И Фазиля отправили учиться в Москву, почему-то в Библиотечный институт. Учился три года, перевелся в Литературный. Окончил в 1954 году. А дальше пошел работать в «молодежки» в Курск и Брянск. Но Москва, как поприще, как материал для прозы, ему не показалась интересной. Ее у него нет нигде.

В 1956 году Фазиль, молодой, красивый, дерзкий, щеголь и талант, возвращается на родную сторону, в Сухум (Мухус), в абхазское отделение Госиздата. Там он и оставался до начала 90-х. Тридцать четыре года... Целая жизнь. Чик вырос, Чик вылетел из гнезда — и, как герой фильма Данелии «Мимино», вернулся к своим истокам. Но комплиментов от него не дождалась ни в Мухусе, ни в Чегеме.

Искандер и его окрестности

Есть у него такая повесть, «Человек и его окрестности». И вот наш будущий классик, воздвигший себе в «Сандро из Чегема», в «Кроliках и удавах» и в «Созвездии Козлотура» знак бессмертия, начинает писать еще слабые стихи. Но сборники выходят («Горные тропы» — в Сухуми в 1957-м). В глухих регионах всегда любили молодых авторов и печатали их (национальная культура — это престиж; а что писано по-русски, так это ценили особо: он наш, он не сепаратист, не буржуазный националист). А потом пошла и большая литература. В конце 50-х теплые объятия «Юности», приюта неконформистских дарований, приняли юношу с таким талантом. С 1962 года прозаик наконец перешел на прозу. Стихи были не его стезей. И в 1966 году в восьмом номере «Нового мира» появился первый шедевр Искандера — «Созвездие Козлотура».

Браки заключаются на небесах

Лирический герой Искандера, лихой журналист, никогда не хвастается любовными победами, а стыдливо и с благоговением ухаживает за необыкновенной девушкой, от общения с которой лимонад кажется тугим и шипящим, как шампанское. В 1960 году Фазиль Искандер на этой девушке женился. Ею оказалась поэтесса Антонина Хлебникова, они даже совместную книгу стихов выпустили в 2011 году. У них разница в возрасте всего одиннадцать лет, но Антонина сразу стала ведомой, признав ведущую роль мужа. Она даже в Литературный институт постеснялась пойти. Работала редактором в экономических журналах, в НИИ при Министерстве энергетики. Родители были в ужасе: жених старше дочери, он кавказец, да еще «богемщик». А брак счастливый, прочный. По стихотворению «Сухумский берег. Ночь». Там есть удивительные в наш век строки: «И никак тут не устоять, если двое — стихии прибой, и уже наших рук не разъять, и не страшно в прибой за тобой». Этот брак увенчали сын Александр, юный финансист, и дочь Марина, художница. А Александр еще и пишет. Экспертная оценка отца: «Пишет хорошо, сукин сын, хотя и читает мало». Жил в семье Фазиль Искандер по принципу изоляционизма: когда пошли дети, отгородил свой кабинет от прочей квартиры дверью, причем обитой. Иначе какая же работа: суета, пеленки, писк, визг... Домочадцы быстро выучились уважать эту башню из слоновой кости.

Конечно, поэтессе Антонине Хлебниковой, горожанке, интеллигентке, была ближе аристократичная тетушка, сестра пропавшего в Иране отца, обожавшая Стендаля (уж не тетушка ли это Чика, любительница кофе, табака, пасьянсов и светских бесед?), нежели мама Фазилия, Лели Хасановна, которая делилась с невесткой крестьянской мудростью.

Его тусовка

Фазиль Искандер имел прекрасный карасс, из которого дожил до наших дней он один. Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Юрий Левитанский. «Нас оставалось

только трое из восемнадцати ребят». У Булата Шалвовича есть даже шуточная песня про «кабинеты», где он мечтает решить свои нехитрые проблемы поверх голов бюрократии: «Зайду к Белле в кабинет, загляну к Фазилю, и на сердце у меня будет благодать». Не надеясь сам получить кабинетик, Окуджава уповал, что шум строительных отбойных молотков возвещает ему, что его друзьям «строят кабинеты». Не было у Фазиля кабинета. И, к счастью, не будет. Он дружил с хорошими людьми, людьми с «раньшего времени», правильными людьми, у которых были правильные убеждения. И сегодня они наверняка гуляли бы по бульварам с белыми ленточками вместе с Борисом Акуниным и Людмилой Улицкой.

Его баррикады

Фазиль Искандер всё делал в жизни правильно, за исключением одного момента прострации, когда в шоке 2008 года, не разобравшись в ситуации, поверив, что Грузия и впрямь напала на Цхинвал, он подписал благодарственное письмо Путину (как это у нас делается: по телефону и не прочитав). А так шел в ногу с диссидентами: участвовал в 1979 году в «Метрополе» (дал этому самиздатовскому журналу рассказ «Маленький гигант большого секса»). Ведь даже от Владислава Ардзинбы, маньяка сохранения СССР, он деликатно дистанцировался. Но в совместное существование Грузии и Абхазии он не верит. У него другой опыт. Из его рассказов мы знаем, что грузин для его земляков — иностранец почище эндурцев. Не враг, но чужой.

Фазиль Абдулович тяжело пережил грузинско-абхазскую войну Эдуарда Шеварднадзе начала 90-х. Я надеюсь, что он не видел горящую Гагру, разрушенный Сухуми, который уже не нарядный курорт, а просто обшарпанная дыра, пейзаж после битвы. Меня и то испугал пустой, брошенный, огромный, без единого курортника сухумский пляж. И чем особенно может гордиться Фазиль Искандер — это тем, что все его премии и ордена начинаются с 1989 года. Советская власть писателю ничего не давала. Тоже чужла иностранца. Чужого.

Философ самых честных правил

А в произведениях Фазиля Искандера, живого, слава богу, классика, нашего Гомера и Шекспира, и впрямь намечалась диверсия. История с Козлотуром совсем не безобидна. Это был такой очередной вымышленный национальный проект типа «поднятой целины», «пятилетки в четыре года» или «догоним и перегоним Америку по количеству мяса, масла, молока и яиц на душу населения». На этом фоне «шерсть, мясо, а также пышные рога» мичуринского животного вполне даже смотрятся. Присмотревшись, мы обнаружили, что даже в рассказах о Чике есть подводные камни. Вот Ника, дочь танцора Пата Патарая, который отправился в лагерь за то, что танцевал перед начальником, оказавшимся «врагом народа». Вот незнакомые охотники объясняют Чику, что нет никаких врагов, а есть глупость. Вот на набережной Мухуса Искандер встречается с немецким профессором, и тот, вспоминая войну, рассказывает ему о гестапо: «Быть убитым в гестапо так же страшно, как быть убитым призраком». И все понимают, что речь идет о КГБ.

«Сандро из Чегема» вышел в «Новом мире» в 1973 году, №№ 8—11, а отдельное издание — в 1977-м. Оно было урезано на две трети. Полный текст вышел в США в Ann Arbor в 1979-м и 1981-м. Все-таки по привычке партийно-гэбэшные бонзы, что их подопечные писатели печатаются на Западе. Даниэля и Синявского гробили с непривычки. Просто они первыми пошли в атаку. В 1989 году и мы удостоились полного варианта. Дядя Сандро был бы совсем Ходжой Насреддином, Фаустом или Тилем Уленшпигелем, если бы он хотел, скажем, сражаться за свободу. Но не было таких персонажей ни в абхазском, ни в грузинском, ни в русском фольклоре. Дядя Сандро и его лирический племянник хотели просто выжить. Они, как все, боялись КГБ, но кое-что подмечали и издевались вполголоса (кукиш в кармане), как вся страна: например, чай. В Абхазии якобы стали сажать чай, потому что его перестал продавать России китайский император, огорченный казнью русского царя и его детей.

Сталин, в прошлом бандит, что колоритно показано в романе, со своими оргиями тоже был по тем советским временам крамолой.

А в 1982 году в Ann Arbor вышло программное произведение Искандера «Кролики и удавы». Мы его получили только в 1987 году, уже при Горби. Это очень страшная вещь — про то, как мирно сосуществовали с кроликами удавы, поедая зайчиков согласно нормам «межвидового соглашения о гуманном заглоте», а когда кролики поняли, что «их гипноз — наш страх», то их стали душить уже без всякого гуманизма. Причем удавы, которыми правил Великий Питон, страшно боялись (и они тоже дрожали) сказать вслух, что удавами должны править удавы. И даже сам Фазиль Искандер, горько сожалевший о распаде СССР, не понял, что хорошее настроение в рамках Союза, ощущение единой страны и «человеческой общности», боязнь рыночной экономики «без совести» («зверинец с открытыми клетками»), убеждение, что «СССР — это была яма, охранявшая нас от бездны», — это и есть функционирование межвидового соглашения о гуманном заглоте, непреходящее наследие удавов, потому что все мы кролики, даже мудрецы, философы и классики.

Укатали сивок крутые горки, и получились кролики. Или удавы. Ну еще обезьяны. И не люди — туземцы. Кому как повезет.

ПОЭТ НА ДОГОВОРЕ

Мы переходим к ситцевому сезону русской поэзии. Сначала шел, конечно, богатый и аристократический бархатный сезон Серебряного века. Великие: Пушкин, Тютчев. «Большая шестерка»: Блок, Мандельштам, Пастернак, Гумилев, Ахматова, Цветаева. Волошин и последние обрезки бархата: Окуджава, Высоцкий, Галич. По словам нашего сегодняшнего героя Евгения Евтушенко, последний великий из бархата прошедших веков — это Бродский. Будет и шелковый сезон: Бальмонт, Багрицкий, Наталья Горбаневская и Ирина Ратушинская, Некрасов, Эренбург, Юрий Левитанский.

А потом наступил ситцевый сезон — для всех, для тех, кто попроще, и там по справедливости оказались и Сельвинский, и Светлов, и Межиров, и Ошанин. По два-три стихотворения с каждого, иногда — одно, как у Межирова и Ошанина. А другие выпали вообще. Антокольский вложил одним стихом, а от многих останется память такого рода: этот пожалел Цветаеву и Мура, тот (Степан Щипачев) заступился за Евтушенко. Из всего ситцевого сезона, куда, конечно, мы отправим и Маяковского, в наш Храм войдут (и не украдкой, а с шумом, блеском и юношеской бравадой) Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко. Ну и что, что ситцевый сезон. Ситцевый сезон, Политехнический, Лужники, сарафанное радио... Мы тоже не бог весть какие аристократы, ни бархата, ни шелка мы не застали. В колясках не катывали, с кружевными зонтиками не ходили и даже персонажи «Дамы с собачкой» для нас — неслыханный шик и роскошь: и по средствам, и по костюмам, и по занятиям. А мы ездили в Коктебель в поездах и в задрипанных «москвичонках» («мерседетых шестисосах»), топали в Лягушачью бухту, валялись на диком пляже. И даже в Литфонд к Марье Волошиной нас не пускали, как пускали Женю и Андрюшу. Мы пели под гитару

у мыса Хамелеон, клали камушки на могилу Макса Волошина и лакали дешевую продукцию винсовхоза «Коктебель». Так что мы не гордые.

Демон на договоре

Что делать Евгению Евтушенко в нашем Храме — не нам решать. Он его ярко раскрасит, распишет да еще и Пикассо с Шагалом пригласит. Они бесплатно нарисуют по картиночке. Он организует экскурсии, он пригласит «битлов», даже и покойных, и те споют на пороге; он поставит фильм о Храме и сам в нем сыграет, а потом начнет по России и по Европе с США лекции про наш Храм читать. Его только пусти под лавочку — а он сразу все лавочки займет. Но Евтушенко — честный человек, на место Блока или Бродского не сядет. Так что мне он по душе.

Евтушенко — классический шестидесятник. Уж он-то точно редкий, невиданный мичуринский вариант социалиста с человеческим лицом, хотя ничего толком ни про капитализм, ни про социализм Евгений Александрович не понял, даже проживая в США. Он искренне считает, что в Швеции и Норвегии — социализм. Но живет почему-то в Штатах, и это было бы ханжеством и чистой демагогией, не будь он поэтом. А поэтам знать про экономику необязательно, пусть себе считают, что булки растут на деревьях и творог добывают из вареников.

Евгений Евтушенко — хороший человек, хотя и очень суетный, он сделал стране много добра в самые страшные годы, а уехал от нас только в 1991-м, когда шестидесятники и социалисты с человеческим лицом уже утратили свое всемирно-историческое значение и вместо них в ряды встали западники и рыночники, антисоветчики и либералы.

Про Евтушенко говорили много плохого, вплоть до того, что он был агентом КГБ. Нет, не был, это клевета по неопытности. Он был смел до отчаянности, но ездил по белу свету, жил шумно и широко, получил (выбил блефом) шикарную квартиру в доме на набережной (не на той,

так на другой), даже Никсона он там принимал. Но подлостей он не делал и ничем за эти блага не платил. Ничем, что было бы лицемерием, жестокостью, согласием на аресты собратьев по ремеслу. Даже диссидентам он жертвовал свои старые рубашки, а они были мало поношенные и нарядные. И если поэт Евтушенко попросит у культурного или богатого россиянина булку или вареник, то моя просьба: дать и даже помазать икрой. Заслужил. Он и сейчас то в не топленном зале выступит, как в Туле, то выставку из своих личных картин в Переделкине откроет (все — дары великих мастеров). Ему уже стукнуло 80 лет. Есть живой классик, «кляша» (по Войновичу), и давайте ему сделаем какое-нибудь добро в порядке алаверды.

А секрет его хорошей жизни при советской власти прост. Помните, был такой забытый доперестроечный роман «Альтист Данилов»? Давно воды времени смыли автора и шпильки, актуальные только в то время, осталась интрига. Данилов служил на Земле демоном на договоре и обязан был творить Зло. Но стал делать Добро. За что его поставили перед демоническим Политбюро и хотели лишить сущности, а память вытоптать, но за него заступился тамошний генсек Бык, то ли Голубой, то ли Белый, которому он невзначай почесал спинку, чего никто никогда не делал. И его наказали условно.

Евгений Евтушенко считался у Софьи Власьевны по-этом на договоре и вроде бы договор соблюдал: не был антисоветчиком, уважал Буденного, героев войны, Че Гевару и Фиделя, выступал против вьетнамской войны, мягко критиковал Америку, братаясь с ее студентами и поэтами. Он не выступал против Ленина (только против Сталина), не был штатным диссидентом, верил в социализм, не требовал ни роспуска СССР, ни пересмотра роли и значения (и даже сущности) Победы 1945 года, как Гроссман и Владимов. И всё — искренне. Просто, видя несправедливость и жестокость, кидался в бой (Чехословакия, 1968-й; процесс Даниэля и Синявского; расправа над Бродским; участь Солженицына). Но он не перешел роковой, пограничной черты, как Галич, Владимов, Бродский. В стихах переходил, но стихи не поняли.

Не умели читать между строк. Или боялись прочесть? Когда нет политических заявлений, выхода из рядов СП (совписов), обращений к Конгрессу США — можно пропустить мимо ушей. Пожурить. Преследовать, делать окончательным врагом, выгонять, сажать столь известного поэта с такой коммуникабельностью — себе дороже. Это понял даже Андропов. Из-за Евтушенко папа римский + все литераторы и художники Запада организовали бы против СССР крестовый поход.

Это, конечно, компромат. Солженицын, Владимов, Аксенов, Войнович, Галич — чужие. Евтушенко с тяжкой сходил за «своего». Но ведь за «своих» сходили и Высоцкий, и Окуджава, и Левитанский, и Булгаков, и Пастернак до рокового голосования об исключении из СП. Так что не побрезгуем и Евтушенко. Все мы родом с советской помойки, кто опоздал родиться в Серебряном веке, и мало кому удалось отмыться добела.

Homo huliganus

Родился Женя в 1932 году, то ли на станции Зима, то ли в Нижнеудинске. Родители были геологи, Александр Рудольфович Гангнус и Зинаида Ермолаевна Евтушенко. Отец писал стихи, мать стала потом актрисой. С отцом Жени она развелась, но он всегда помогал сыну. Школу в Марьиной роще Женя не закончил. Его исключили за поджог, думая, что двоечник Евтушенко «имел основания». Но поджег другой ученик, а свалили всё на Женю. Еще при Сталине он задал на уроке крамольный вопрос насчет песенки «С песнями, борясь и побеждая, наш отряд за Сталиным идет». Женя спросил: «А с песнями зачем бороться?» Он не понял, где запятая. Учительница побелела, сказала, что у него жар, что надо идти домой, и умоляла класс сохранить всё в тайне. Такое было время. Потом пионер Женя на сборе, где все клялись, что вынесут пытки не хуже молодоговардейцев, честно сказал, что за себя не ручается. Скандал! Так что хорошо, что он вылетел из школы, слишком прямой был мальчик, до оттепели мог бы не дожиться. Сталинские соколы договоров с поэтами не заключали и их не соблюдали.

Отец пристроил его на Алтай, в геологическую партию. Там он впервые познал любовь с пасечницей-вдовой. Об этом у него есть целомудренное стихотворение, тогда считавшееся «жестким порно». Романы Женя крутил и потом, но был на редкость чистым в любви. И здесь он был поэт и идеалист. Никакого цинизма.

В Литературный институт он был принят без аттестата зрелости, учился с 1952 по 1957 год. Это восхитили мэтров первые слабые его стихи (в том числе и хвалебные в адрес Сталина) из сборника «Разведчики грядущего», которого стыдился сам автор. И тогда же его на ура (плохо дело было в те годы с поэтическими талантами) приняли в Союз совписов. Из Литинститута его выгнали без диплома (потом уже поднесли диплом, как подарок к пенсии, в новые времена). А за что выгнали? За поддержку романа Дудинцева «Не хлебом единым».

Но вот грянула оттепель, и Евгений читает свои стихи в Политехническом вместе с Андреем Вознесенским, Робертом Рождественским, первой своей женой, прекрасной Беллой Ахмадулиной, Булатом Окуджавой, который еще и поет. Помните эпизод в «Заставе Ильича»? Там Евтушенко читает свои стихи в Политехе. Он бредит Маяковским и всячески «косит» под него, и, по моему, зря. На совести у Евтушенко нет таких грехов, как у отчаянного большевика Маяковского; как человек он намного лучше и сделал много добра (в отличие от Маяковского, который не спасал жертв чекистов). Да и как поэт он явно сильнее.

Оттепель замерзла под ногами у поэта, но еще раньше он успел поспасать от Хрущева Эрнста Неизвестного, будущего творца черно-золотого памятника генсеку. Хрущев стучал по столу на скульптора, Евтушенко стучал на генсека и даже обозвал его канонические портреты «портретами идиота». Хрущев оставил в покое Неизвестного и защищал Евтушенко, пока его самого не убрали.

А потом он бился за Бродского и простил ему неприязнь и даже то, что гений помешал «ситцевому поэту» выступить в американском университете и получить 100 баксов. Бродский не мог понять, почему поэт советует поэту уехать по рекомендации КГБ. Эта «смычка» с «органами» была частью договора, и замученный, больной, разлученный с родителями Бродский слишком уж отличался

от веселого и благополучного эпикурейца Евтушенко. Хитрил ли наш поэт, не переходя черту? Я думаю, что нет. Он не мог ее перейти, он был слишком левый и советский для этого, не было у него такого потенциала. И выпускали его, зная, что не попросит он политического убежища, вернется. И то, что Евтушенко обозвал оставшегося в Англии Анатолия Кузнецова Урией Гипом, причем не в кулуарах, а на каком-то писательском съезде, — может, это самый страшный его грех. Кузнецов написал в Англии и напечатал (и сейчас это пришло к нам) такую правду о Бабьем Яре и о войне (о том, в частности, как Киев взрывали чекисты, вплоть до Андреевской церкви, чтобы натравить немцев на местное население и создать условия для партизанской войны), что бедному Евтушенко она и не снилась. Ситец плох только одним: быстро линяет и легко рвется. Недолговечный материал.

Его баррикады

Лернейской гидре все равно, кто на нее бросается: свои или чужие. Сгоряча может и голову откусить. И когда в 1968 году после вторжения в Чехословакию Евтушенко кинулся посылать телеграммы протеста Брежневу прямо из Коктебеля — это был подвиг. Это первый. Тем паче что героический Аксенов, которому предложили подписаться (больше Евгений Александрович подписи не собирал, всё писал сам), испугался и пошел спать. Если бы телеграмма пошла на Запад, если бы была пресс-конференция, то и посадили бы. Но и так уволили девочку с телеграфа только за то, что приняла депешу, и Евтушенко ворвался в феодосийский КГБ, потребовал восстановить, угрожая пресс-конференцией и скандалом в Москве. И восстановили! Евтушенко ждал ареста, они с женой жгли в котельной самиздат. Второй подвиг случился, когда взяли Солженицына. Андропов был страшным человеком. Сначала Евтушенко ему позвонил (и его соединили!), оторвал от заседания Политбюро и обещал, если Солженицыну дадут срок, повеситься

у дверей Лубянки. Андропов радушно пригласил это сделать, сославшись на крепость лубянских лип. Но задумался. Во второй раз поэт обещал защищать Солженицына на баррикадах. Андропов предложил проспаться, но он был умен и понимал, что посадить Солженицына — большая головная боль и конфронтация с Западом. И выходку Евтушенко он использовал, чтобы убедить Политбюро выслать, а не сажать.

У Евтушенко была непробиваемая защита и в СССР, и КГБ был в курсе. После Чехословакии по всем лестницам его шестиэтажного дома стояли люди, пришедшие его защищать, даже от провинции были гонцы.

Третий подвиг — «Бабий Яр» (1961). Это был прорыв плотины молчания. Четвертый — «Братская ГЭС». Уже идет 1965 год, десталинизация кончилась, а он опять про лагеря! И про гетто (глава про диспетчера света Изю Крамера). Это настоящие стихи, без скидок, о том, как замучили Риву, возлюбленную Изю.

Пятый подвиг — то самое стихотворение «Танки идут по Праге». Негодование и шок сторонника социализма были сильнее либеральных чувств тех, кто ничего другого и не ждал от власти. И жаль, что не знал он (да и в Москве его не было в тот день) про акцию «семерки» на Красной площади. Здесь он мог бы стать диссидентом и преодолеть двойственность своей натуры. Он говорит, что не мог быть с диссидентами из-за своих левых убеждений, но среди диссидентов тоже были социалисты (Яхимович, Владимир Борисов, Петр Абовин-Егидес, Юрий Гримм, Михаил Ривкин). И им скидки по срокам не давали. Шестой и седьмой подвиги — это поэма «Казанский университет» и стихотворение «Монолог голубого песка на аляскинской звероферме». «Университет» — это 1970-й. «Песец» — тоже начало 70-х. Восьмой — отказался брать в 1993 году орден Дружбы народов в знак протеста против войны в Чечне (а некоторые либералы и премиями не побрезговали). Девятый — его фильм по его же сценарию «Смерть Сталина» (1990). Ненавидеть он умеет, этот эпикуреец. И страдать — тоже. Ведь история песка — его история.

Я голубой на звероферме серой.
но, цветом обреченный на убой,
за непрогрызной проволочной сеткой
не утешаюсь тем, что голубой.

...И вою я, ознобно, тонко вою
трубой косматой Страшного суда,
прося у звезд или навеки волю,
или хотя бы линьку навсегда.

...И падаю я на пол, подыхаю,
и всё никак подохнуть не могу.
Гляжу с тоской на мой родной Дахау
и знаю — никуда не убегу.

Однажды, тухлой рыбой пообедав,
увидел я, что дверь не на крючке,
и прыгнул в бездну звездную побега
с бездумностью, обычной в новичке.

И вот разрядка, развязка — и для песка, и для поэта:
«Но я устал. Меня шатали вьюги. Я вытащить не мог
увязших лап. И не было ни друга, ни подруги. Дитя не-
воли для — свободы слаб. Кто в клетке зачат — тот по
клетке плачет. И с ужасом я понял, что люблю ту клетку,
где меня за сетку прячут, и звероферму — родину мою».

Кого обманули Америка, Аляска, песцы? Только дураков
и гэбистов. Хотя КГБ, наверное, понял. Но как такое за-
претишь? Как запретишь историческую поэму «Казанский
университет», посвященную В.И.Ленину, с таким фина-
лом, где поэт благодарит Отечество «за вечный пугачев-
ский дух в народе, за доблестный гражданский русский
стих, за твоего Ульянова Володю, за будущих Ульяновых
твоих...»? Что будут делать в СССР будущие Ульяновы? Да
свергать советскую власть, ведь Ульяновы только свергать
и умеют. Поэма посвящена диссидентам. Но как дока-
жешь? Отпустить из «Нового мира» в самиздат?

Эта поэма помогла мне выжить, я ее прочла в казан-
ской спецтюрьме. Это об истории: «Как Катюшу Маслову,
Россию, разведя красивое вранье, лживые историки
растлили, господу Нехлюдовы ее. Но не отвернула лик
Фортуна, мы под сенью Пушкина росли. Слава богу, есть

литература — лучшая история Руси». Вот о декабристах: «До сих пор над русскими полями в заржавелый колокол небес ветер бьет нетленными телами дерзостных повешенных повес». Вот об Александре Ульянове и не только: «Невинные жертвы, вы славы не стоите. В стране, где террор — государственный быт, невинно растоптанным быть — не достоинство, уж лучше — за дело растоптанным быть!»

Десятый подвиг — не признавал ГДР, считал, что Берлинская стена должна пасть, об этом говорил вслух, и в ГДР — тоже; Хонеккер жаловался Хрущеву, просил Евтушенко не выпускать. Его, кстати, вытаскивали из самолетов, высаживали из поездов. Пытались засадить в СССР, как в аквариум. Спас Степан Щипачев. Сказал, что бросит на стол партбилет, публично выйдет из партии, если поэт станет невыездным. Одиннадцатый подвиг — это то, что Евтушенко был в 1991 году у Белого дома. Хватит на искупление?

Его девочки из виноградников

Евгений Александрович влюблялся охотно и часто, но всегда оставался джентльменом. Как-то в США, совсем еще зеленым юнцом, удрал от экскурсионной группы из Нью-Йорка в Сан-Франциско вместе с девушкой, у которой тоже был значок с Фиделем. Но первой его женой стала Белла Ахмадулина. В нее тоже влюблялись, ей дарили букеты. Евтушенко скармливал их соседской козе. Брака хватило на три года, с 1957-го по 1960-й. И остались прекрасные стихи: «Не похожа давно на бельчонка, ты не верила в правду суда, но подписывала ручонка столько писем в пустое “туда”. Ты и в тайном посадочном списке, и мой тайный несчастный герой, Белла Первая музы российской, и не будет нам Беллы Второй».

В 1961 году Евтушенко женился на Галине Сокол-Лукониной, которую увел от мужа. Галя была радикалкой из семьи «врага народа». Она в день похорон Сталина «цыганочку» хотела на улицах танцевать, едва остановили. Это с ней поэт жег самиздат, и она всегда просила его не идти на компромисс, обещая прокормить шитьем. У них родился сын Петр.

В 1978 году Евтушенко женился на своей поклоннице Джен Батлер, но они вскоре расстались. Еще два сына: Александр и Антон. И уже в 1986 году поэт встретил Машу Новикову, тогда студентку медучилища. Они вместе до сих пор, Маша преподает русский язык и литературу. У них двое сыновей, Евгений и Дмитрий.

Конец вечности

В 1981 году Евтушенко опубликовал в «Юности» неплохую повесть «Ардабиола». А потом лед треснул: вторично за его жизнь. И с упоением Евгений Александрович включился во всё: «Мемориал», руководство новой писательской организацией «Апрель», триумфальные выборы в депутаты Съезда нардепов СССР от Харькова. Потом — отъезд. И глухо, глухо...

Сивку не укатали крутые горки, сивка просто не въезжает в нашу ситуацию добровольного возвращения в стойло. И наш новый строй, после «казарменного социализма», называет «казарменным капитализмом». Дай ему бог дожить до 120 лет (он еще недавно защищал Англию от совков, когда они решили, что теракты в метро — это то, что «им надо», в смысле, «так им и надо»). Но я хочу напомнить проект 1968 года насчет надписи на надгробной плите. Ведь завещание поэта составлено, и как бы новые комитетчики не забыли или не помешали. Я знаю, что поэт не обидится. Это мое время, и я напомним.

Танки идут по Праге
в закатной крови рассвета.
Танки идут по правде,
которая не газета...

...Что разбираться в мотивах
моторизованной плетки?
Чуешь, наивный Манилов,
хватку Ноздрева на глотке?

...Чем же мне жить, как прежде,
если, как будто рубанки,
танки идут по надежде,
что это — родные танки?

А вот и завещание. Я уверена, что веселый Женя Евтушенко меня переживет. Так что напомним потомкам:

Прежде чем я подохну,
как — мне не важно — прозван,
Я обращаюсь к потомству
только с единственной просьбой:
Пусть надо мной — без рыданий
Просто напишут — по правде:
«Русский писатель. Раздавлен.
Русскими танками в Праге».

ПЕСНЯ УХОДА

Иосиф и его фараоны

Иосиф Бродский был осужден и призван повторить путь Набокова, но там, где Набоков пролетел бабочкой, своим любимым радужным созданием, не попавшим ни в советский, ни в гитлеровский сачок, Бродского тащило волоком, обдирая в кровь о булыжники его любимого Петрополя.

Тащили скифские кони, к хвосту которых его привязали советские фараоны из отдела культуры при ЦК КПСС. У этого Иосифа не было братьев, и о сестрах мы тоже не слышали. И никогда ему не пришло бы в голову, подобно Сталину, возвать к согражданам в тяжелый момент именно так, по-родственному.

Он дружил с немногими фрондирующими от души интеллектуалами, он не собирался поднимать народ в атаку; соборы, камни, дворцы и волны были ему куда ближе людей. Он ненавидел пафос. Впрочем, Набоков тоже не бил в лоб, его диссидентство было сродни «Приглашению на казнь»: коварная, обволакивающая, ядовитая сатира, растворяющая грошовый оптимизм аляповатого и обманного советского лубка. Но Бродский повторил крестовый поход на Запад, за цивилизацией, безопасностью и свободой, он был усыновлен той же Америкой, он вписался в американский пейзаж, он сумел творить свои шедевры по-английски. Он говорил по-английски даже с собственным ребенком. И он лишил жестокое отечество обещанной ему своей могилы на Васильевском острове, и было за что.

Он был несчастен, как и Набоков, его грызла ностальгия, но он не вернулся в ту же реку под названием Нева. Смерти своих отчаявшихся, одиноких, несчастных родителей он не мог простить. Бродский был слишком умен и ироничен, чтобы вляпаться в развесистую клюкву торжественной встречи, рыданий вчерашних доносчиков

у него на груди, приветственных адресов, премий, вранья о всеобщей к нему любви, словом, «казуса Евтушенко», который, кажется, даже не понял, за что Бродский так ненавидел его, Евтушенко, который хотел сделать ему добро, был посредником между изгоем, отпетым и обреченным, и фараонами в лице чекистов.

Стихи Бродского в нашем Храме — воздушное кружево, опасная, бездонная готика, пространство, зеркала, бездны. Он сродни Мандельштаму, чья плоть переходит в состояние мысли. Как у элементарной частицы. Закон неопределенности Гейзенберга: или движение, или масса. Массы у Бродского нет, как и у Мандельштама. Высший пилотаж. И тут же — зрелая, холодная, злая, сверкающая сатира, которой научили бесхитростного, доброго человека решившие известить его фараоны города Ленинграда.

Собственно, сажать и ссылать его было не за что, его преследовали впрок. Наверное, кто-то из пристяжных экспертов вычислил гениальность рыженького поэта, и поскольку было очевидно, что он не «за», а «против», то следующего Пастернака решили отправить подальше, не дожидаясь ни сборников стихов, ни «Доктора Живаго», ни Нобелевской премии. Его осудили и выслали не за настоящее, а за будущее. Но хотя его будущее протекло вдали от нас, фараоны промахнулись: с «делом Бродского» в рост заколосился самиздат, появилась хорошая и правильная привычка дежурить у закрытых дверей судов, где идут политические процессы, и, главное, кончился роман интеллигенции с властью, поскольку власть нарушила общественный договор оттепели. А договор был такой: власть не трогает интеллигенцию, не мешает ей писать, ваять, рисовать, ругаться шепотом и на бульдозерных выставках. И вот договор был нарушен: сначала обозвали «пид...ми», потом снесли бульдозером картины, потом обыски, нападки и в конце концов — арест и ссылка. Власть напала первой, без объявления войны, и если Пастернак мог бы наплевать и забыть про членство в Союзе совписов, забрать Нобелевскую премию и укатить в голубом экспрессе к пальмам и морям, то за Бродским пришли, посадили, отправили в болота и леса, а потом обещали сгноить в психиатрическом застенке где-нибудь в Сучанах. Пастернаку повезло, по

Галичу: «Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в Сучане». Впереди колонны будущих диссидентов, антисоветчиков, советологов, неудобных мыслящих людей сталинской эпохи в белом венчике из роз на рыжей голове шествовал великий поэт Иосиф Бродский, сжимаемая в объятиях очередного любимого кота. Коты всегда были против обожествлявших их фараонов, котов не подкупишь.

Простор меж небом и Невой

Нет, маленький Иосиф родился не в сказочном поместье с нарядными бабочками и гувернантками, как Набоков. Он не был сыном богатого аристократа. Он родился не в Серебряном веке, а в разгар советского Железного века — 24 мая 1940 года в Ленинграде, на Выборгской стороне. Его отцу, профессиональному фотографу Александру Ивановичу Бродскому, было уже 37 лет. На фронте он служил фотокором, вернулся поздно, в 1948 году, устроился в фотолаборатории Военно-морского музея. В 1950 году избавился от армии, работал фотографом и журналистом в нескольких ленинградских газетах. Мать, Мария Моисеевна Вольперт, была моложе на два года, трудилась бухгалтером. Жили трудно, по-советски: от зарплаты до зарплаты, кормили и одевали сына на медные деньги.

Детство Иосифа было безрадостным, голодным и смертельно опасным. Он мог сгореть от зажигалки, его могли убить бомбы, он мог умереть от голода в блокадную зиму, как тысячи других несчастных детей — жертв сталинского зверского решения не сдавать город. Только в 1942 году Марии Моисеевне удалось уехать с сыном в Череповец. Это была жизнь. Не всем так везло. Никто не считал, сколько осталось в блокадном городе в живых малюток — сверстников Иосифа. В 1944 году мать с сыном вернулись в разбитый и полуголодный город. Была жизнь, но не было здоровья, стенокардия Бродского — блокадный след. И не было радости. Собственно, Питер — город не для радости. Эта нездешняя каменная сказка, эта красота, холодная, величественная, заоблачная, на

крови и костях, этот город не от России, не для России, но внутри России — это боль и мечта о Несбывшейся Европе, это ее печальный Диснейленд, это город великой печали, недобрый город Петра, столица грубо оставленного в Октябре Февраля, столица Шлиссельбурга, Петропавловской крепости, столица Сенатской и Дворцовой. Столица убитого Александра II, повешенных декабристов, столица казненного Николая II и его несчастной семьи, столица Семеновского плаца, раскольнического дворика, столица запертого большевиками приюта Учредительного Собрания — Таврического дворца. Столица мрачного Инженерного замка, вечных наводнений и горькой невской воды. Петербург — столица печальных поэтов. Блока, Ахматовой, Гумилева, Каннегисера, Бродского, Набокова, Мандельштама. В этом городе можно только мыслить и страдать. Так что жизнерадостного школьника из Иосифа не вышло.

В 1947 году он пошел в 203-ю школу. В 1950 году — еще одна школа, 196-я. А в 1953 году — последняя школа, 181-я. Иосиф пошел в 7-й класс — и остался на второй год. У гения были проблемы с рутинной. Ему было скучно в этой казарме, он не видел смысла в уроках, где всё гуманитарное подавалось под советским соусом. Инакомыслие принимали за неспособность. Оставшись на второй год, Иосиф бросает школу. Советское образование для него — каторга. А дома нет денег, хочется заработать, помочь немолодым родителям. Бродский пытается попасть в Морское училище, в школу подводников. Его не берут никуда: плохое здоровье и нелады с математикой. Тогда он идет фрезеровщиком на завод «Арсенал». Ему 15 лет, у него 7 классов. Больше не будет никогда.

Иосиф хотел стать врачом, подрабатывал в морге. Трупы — это тоже не для него. Уплыть надводно или подводно в флибустьерское дальнее синее море не удалось. И пять лет будущий поэт и гений — на черной работе. Есть небольшой заработок и не отнимают свободу у «малых сих». «Пролы и животные свободны» (Оруэлл). Бродский работает истопником в котельной, матросом на маяке, рабочим в геологических экспедициях. Он много читает: поэзия, философия, религия, изучает английский и польский. Он свободен, но не невидим, увы!

В 1958 году Иосиф с друзьями по стихам и мечтам, понимающими, что в СССР — тюрьма, треплется в скверах и парках (там, где якобы нет «ушей») о возможности бегства из СССР путем угона самолета. От этого замысла он отказывается, но в группе, видимо, был сексот. Как напишет поэт в 1986-м: «Ветер свищет. Выпь кричит. Дятел ворону стучит». Но поэту открывается его предназначение: он начинает писать стихи, он понимает, что это дар и долг. Теперь он будет заниматься этим, ну еще и переводами для заработка. Начинает он в 1958 году, а кое-что выходит в самиздате и раньше: «Пилигримы». «Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы». И этот жестокий конец: «И, значит, не будет толка от веры в себя да в Бога... И, значит, остались только иллюзия и дорога. И быть над землей закатам, и быть над землей рассветам. Удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам». Таковой вот советский «Тангейзер», Вагнер постгитлеровской и постсталинской эпохи, когда нечего терять, когда больше святынь для пилигримов не осталось и шествовать некогда и некуда.

Следом за стихами приходят мэтры и учителя. В 1959 году он знакомится с Булатом Окуджавой. В феврале 1960 года Бродский впервые выступает на «турнире поэтов» в ДК имени Горького с участием Александра Кушнера и Виктора Сосноры. Чтение печального и безобидного стихотворения «Еврейское кладбище» вызывает скандал. Нельзя упоминать о «еврейском вопросе» и евреях, нет таких в СССР! «Центральная газета оповестила свет, что больше диабета в стране советской нет» (Галич). Знали бы участники турнира, что напишет этот гад Бродский в 1986 году в защиту Израиля! «Над арабской мирной хатой гордо реет жид пархатый». В августе 1961 года Бродского в Комарове привечает Анна Ахматова, потом — Надежда Яковлевна Мандельштам и Лидия Чуковская. Один карасс. Карасс неудобных нонконформистов и порядочных людей.

В 1962 году Бродский встречает свою первую тревожную любовь, молодую художницу Марину Басманову. Она не очень красива, но умна и талантлива. Бродскому она дороже жизни. Но Марина не готова стать безропотной

музой поэта, как жена Набокова. Она независимая натура, да и Бродский еще беден и неизвестен миру. Они то сходятся, то расходятся, поэт пытается покончить с собой. В 1968 году, после рождения сына, Андрея Басманова, они расстанутся навсегда. А ведь поэт так нуждался в жертвенной любви!

Аутодафе

В 1963 году тупые фараоны Петербурга стали обеспечивать Бродскому дорогу в бессмертие. 29 ноября газета «Вечерний Ленинград» напечатала статью «Окололитературный трутень», подписанную Лернером, Медведевым и Иониным. Бродского клеймили за «паразитический образ жизни». Стихи, за которые его склоняли в статье, отчасти принадлежали Д. Бобышеву, ученику Ахматовой, а отчасти были скомбинированы из «Шествия» Бродского: «Люби проездом родину друзей» + «Жалей проездом родину чужую» = люблю я родину чужую (шедевр КГБ, Бродский этого не писал). 8 января 1964 года эта же газета печатает письма читателей с требованием наказать «тунеядца Бродского». Брать было настолько не за что, что ухватились за тунеядство (на суде стало ясно, что тунеядство выражается в том, что поэт мало зарабатывает и не имеет трудовую книжку где-нибудь в отделе кадров). 13 февраля следует арест и пока КПЗ в отделении милиции, а 14 февраля в камере поэта наступает первый приступ стенокардии, и с тех пор она вечно будет следовать за ним. Интересно, жива ли судья Савельева? С Бродским она управлялась за два заседания, записанных Фридой Вигдоровой и пущенных в самиздат «Белой книгой». Вот главное:

Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?

Судья: Не пытались ли вы окончить вуз, где готовят поэтов?

Бродский: Я не думал, что это дается образованием. Я думал, что это... от Бога.

У Бродского отобрали карандаш и бумагу, его орудия труда. Судья сжалась и велела вернуть. Дали поэту максимум: пять лет принудительного труда в отдаленной местности. Это оказался Коношский район Архангельской области. Поэт поселился в деревне Норенская. Это было счастливое и спокойное время: рыбалка, природа, леса, молоко. Ни одного стукача, звезды, луна, книги и много стихов. А к достатку, комфорту и горячей воде он не привык. Но поэта взяли под защиту Д.Шостакович, С.Маршак, К.Чуковский, К.Паустовский, А.Твардовский и Ю.Герман (вот и начало правозащитного движения). Писатели добрались до Сартра, Сартр нажал на советское правительство. Иосиф Александрович вернулся через полтора года.

Его «Шествие» было гениально. Особенно «Крысолов». Опять песня бегства и ухода: «Так за флейтой настойчиво мчись, снег следы заметет, занесет, от безумья забвеньем лечись! От забвенья безумье спасет. Так спасибо тебе, Крысолов, на чужбине отцы голосят, так спасибо за славный улов, никаких возвращений назад. Как он выглядит: брит или лыс, наплевать на прическу и вид, но счастливое пение крыс навсегда, над Россией звенит! Вот и жизнь, вот и жизнь пронеслась, вот и город, заснежен и мглист. Только помнишь безумную власть и безумный уверенный свист».

Бегущий по волнам

А власти всё это — читали. Не поняли, но осудили и сообразили, что этот гений — бомба замедленного действия. Ведь Бродский писал не только символическую лирику. Злая, убийственная сатира была понятна всем. И интеллигенты жадно читали и перечитывали этот самиздат: «Холуй трясется. Раб хохочет. Палач свою секиру точит. Тиран кромсает каплуна. Сверкает зимняя луна. Се вид Отечества, гравюра. На лежаке — Солдат и Дура. Старуха чешет мертвый бок. Се вид Отечества, лубок. Собака лает, ветер носит. Борис у Глеба в морду просит. Кружатся пары на балу. В прихожей — куча на полу».

Вот вам и история России. Плюс русские святые, Борис и Глеб. Или так: «Если где-то пахнет тленом, это значит, рядом Пленум». Уже можно КПСС распускать. Анна Ахматова имела неосторожность сказать: «Какую биографию делают нашему рыжему!» А ему не нужна была героическая биография.

А здесь 12 мая 1972 года Бродского вызвали в ОВИР и предложили на выбор: эмиграция или пожизненная психушка. Благо и в Питере была такая спецтюрьма. И поэта давно поставили на учет. Его отправляли срочно: в СССР хотел навеститься Никсон. Не дай бог, захочет встретиться. И вот 4 июня Бродский вылетел в Вену. Не закончив даже школы, он оказался настолько компетентным, что несколько лет преподавал в американских университетах историю поэзии и теорию стиха. Он выучил английский в совершенстве и писал на нем. Его наградили орденом Почетного легиона. Это — от французов. А прогрессивное человечество в 1987 году присудило ему Нобелевскую премию по литературе: «За всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии». Он не занимался политикой, он слагал совершенные стихи. Только услышав о том, что Евтушенко высказывается против колхозов, он с возмущением заявил: «Если Евтушенко против, то я — за». Ведь Евтушенко приходил к нему с миссией от КГБ! С точки зрения Евтушенко — это была помощь гонимому, с точки зрения Бродского — верх подлости.

Поэт завел себе шикарного кота и назвал его Миссисипи. Из Нобелевки Бродский отдал часть денег на модный ресторан «Русский самовар», один из центров русской культуры в Нью-Йорке. В 1990 году он даже женился на русско-итальянской переводчице Марии Соццани. Она была прекрасна, умна и создала поэту хороший семейный очаг. С дочерью поэт говорил по-английски. Но он тяжело страдал от разлуки с родителями, и всё чаще болело сердце. Ни мать, ни отца не пускали к нему — ни в гости, ни насовсем. Так не мстили даже Солженицыну. И ведь не было выступлений по «Свободе» или «Голосу Америки». За стихи карали строже, чем за политику. Родители подавали заявление 12 раз, но даже после того, как Бродский в 1978 году перенес

операцию на открытом сердце, им было отказано в праве увидеть сына. Мать Бродского умерла в 1983 году, отец пережил ее на год. Бродскому не дали приехать на похороны. Фараоны постарались: Черное море разверзлось и сомкнулось за спиной поэта навсегда. Об этом Бродский напишет в 1986 году: «От любви бывают дети. Ты теперь один на свете. Помнишь песню, что, бывало, я в потемках напевала? Это — кошка, это — мышка, это — лагерь, это — вышка. Это — время тихой сапой убивает маму с папой».

Это случилось 28 января 1996 года: Иосиф Бродский умер от инфаркта в 56 лет. Он писал в начале шестидесятых: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я вернусь умирать». Так не случилось. Он нас наказал, и за дело. Бродский лежит на кладбище Сан-Микеле, в своей любимой Венеции, «в глухой провинции у моря».

Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На разохшейся скамейке — Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

(1972)

Валюса; т.е. жесткой программой, своей волей, скажем, Тиме-
скому, Гашину- Михайловскому Ситникому-Кравчицкому, когда
просит мне Бог - самому Леву Волгетскому в Воскресенье,
"Анна Каренина" и многих моментах "Федоткина и Миша".

Тургеневский способ повествования кинематографичен.
Он посылает нам своего интеллигентного фрагментарно, кадры-
ми, утрировано - в его дурацком смрачении, в искажении, в
состоянии нравственного аффекта, в палитра взлетов и
падений - так сказать, в опущенном виде, в руси его
главного назначения, его внешней сути. Он завсе действует
человек, изгаданный, но всегда говорит с нами и при-
гласит, он вливается, летит и катит, он несется, загибает в
шуршави медвежьей ушаст, он глаголет охотится, замиряется, козди-
савом, он не всегда иронизирует и вылетает за собой -
но с нами никогда не действует сурово. На нас он действует
иронически, он иронизирует некоем образом, он иронизирует
целой страной, где все иронизирует. Это действие погасило-
уши человеческого лица, тот высокий настрой не дает нам
соскочиться с тургеневским интеллигентом даже в моменты
его трагедии, потому что он всегда и его страх никогда не бывает
его личным, частным, восточным, здесь взлетает и падает 20-го
показательно выходя, там одна человеческая судьба.

История, рассказанная восточным, среди скорей поэме.
Тасов Тургенев, и этим он дарит нам.
Интеллигентная не доосуществлено восточная из горячего огня,
их несет вихрь, поворачивает вихрь, подхватившему бедных
влюбленных из восточного восточного Давидова ада, вихрь их страсти,
их рока, их бед. Они восточаются к нам без задержки, без
спроса, со своим мандалом, они сами рассказывают, не-
восточаются! извещают! свою боль, свой страх, свой стон,
или подают, или не до нас, они восточаются, восточаются, к нам
зверью, а мы и восточаются к ним.
Они все кончат и начат, все восточаются и восточаются.
Люди на все восточаются, неканоничи мифов и пригов, которые
восточаются сочувствовать человечеству.

У них нет над нами реальной власти, они страшили, при-
метают, их восточаются подхватывают от нас, они иронизируют
нами из своей воли. Они все стонут с нами вместе? Но не
была восточаются и такая страсть, поворачивает медвежьей копы. Но они и не-
восточаются на одной этой медвежьей копы! Истину не

45-50

Человечий интеллигент казается в самом разгаре, в самом набравшем
 мне момент своего восторга. Мне восторгается человек, то человекский
 интеллигентный герой - сибиряцкий герой. Кругом не редки некие
 многомерный человекский калейдоскоп, и возникает ~~какая-то~~ вся
 чуждая, однообразная, тревожащая палочка души. Вот интелли-
 гент из рассказа "Сирена". Он разлагается в Охотке, "согнан и
 рассеянней", о романсах, о любви, как и мифы "индеек, кажутся
 восток, мамочкой, маминую почку, трагедия, а ведь он ищет,
 заботит университет и, на верном, образе восторг о себе восторг.
 Как и мифера Афанасьева из "Велии", который строит, решает
 как похитил с Кисоркой, саргисом и ее, и самого себя - одного похит-
 ил на Афанасье земного ил и заливает ее сатурническим.
 Ведь так кто же еда, ее похит, восторг нахитил свои амальгаме
 Блага - ведь ил ил человекского интеллигента. Не восторг себя,
 то и себя и восторг, а не только решает мифера восторг, а восторг,
 то решает - во ил и с мифера на равных и то, как восторг-
 вать дохотливо, скандит восторг заливает еда, ассимило -
 ом самом восторг, то восторг суров восторг ил.
 как восторг, как восторг как ил восторг восторг ~~восторг~~ восторг.
 ил интеллигент Александр заливает восторг восторг восторг
 ил восторг восторг восторг восторг и с мифера ил, ил
 ил ил ил ил восторг от восторг. И два восторг и восторг
 восторг на два восторг восторг ил восторг восторг, то
 восторг ил, восторг и восторг восторг. Не восторг ил восторг восторг, то
 восторг с восторг ил, восторг с восторг, восторг, ил восторг восторг
 0 Знакомство с восторг восторг восторг восторг ил восторг
 восторг, ил восторг, ~~восторг~~ восторг восторг восторг
 и восторг - восторг восторг, восторг восторг восторг восторг
 то восторг восторг восторг восторг восторг восторг восторг
 восторг восторг восторг? Вот ил, восторг человекское ил: восторг восторг
 и не восторг восторг восторг, восторг восторг восторг, ил с восторг
 и с восторг восторг ко ил, и когда один человекский интеллигент
 восторг ил восторг восторг восторг восторг, восторг ил восторг
 восторг - ил восторг - восторг за ил восторг, восторг, восторг,
 восторг восторг восторг, восторг восторг восторг, восторг восторг,
 восторг восторг восторг восторг... и не восторг ил, как восторг
 восторг не восторг восторг восторг, как восторг и восторг восторг,
 как восторг и восторг восторг восторг, а восторг восторг -
 восторг, а восторг - восторг восторг восторг, а восторг не восторг
 восторг, восторг восторг восторг, восторг и восторг восторг
 себе и восторг восторг, восторг восторг восторг восторг восторг
 восторг восторг, и восторг, то и восторг, восторг восторг, как
 восторг, как восторг восторг, восторг восторг восторг

4. И вообще, не изменился ли наш взгляд? Ужасно уж нас где-то выкру- 4
тили, как лампаду, отряхивая от всякого интеллигентства. Нам почему-то
кажется, что он был, интеллигент, но он слезливо, со слезами, со слезами
отрезав, заежив, со слезами, перед нами и крича, что он ад-
зельно силен и иде... Чеховский и это интеллигентство или его
знаменья, мечта самого Чехова об идеальном интеллигенте -
подвинулся? Был бы идеальным интеллигентом интеллигентом
от его же мечты. Мечтали наши совпадать, и мы легко подни-
маем одну группу. Мы бы Чехов в наши дни, назвали бы крича-
ли, которые объявили бы его интеллигентом и мечтателями
или интеллигентствами, как это уже случилось с другими
Трифанова. Но тогда серили "мечтатели" были свободны для
нашего употребления, и интеллигентом оставались интеллиген-
тствами, и мы не хотели отделить алмаз от камня,

как в наше время. Чехов нам пришлось бы считать интеллиген-
тствами только доктора Авраама да старого советника Киселева
Семановича из "Скупили истории", а доктор Старцев оказался
бы размышляющим в мечтах - за то, что много читал. Мечтатель
всперхнул бы из смеси интеллигентства фон Керен - за интелли-
гентство, за историю жизни, за идею, а доктор Обвинитель из "Крича-
тели", который, утратив бы доброту.

Может быть, не стоит поддерживать из жизни - жизнь? В это
становится мне, но не удалось.

Свою, видимо, применяя как работу гиневу, что к интеллиген-
ции следует относиться всех, кто к ней принадлежит по роду
занятий, но материю, по складу ума и души, по уровню знаний,
по привлекательности и по другим, а не только по, который знает,
каждый. Это вначале в чеховском духе - писать бы сейчас
Решител, не утрачивая из жизни интеллигентства вращивая
идею. Человечья история по правде сказать - об интеллигентстве.

И вот, много особенно пошлое или чудное с ними об интеллигентстве.
Знаю они просто несут - им скучно, и нам скучно, и Чехову скучно
идею с ними и с нами. В доме Фурманова из "Помощи" Фурманова
сформировал, но не только не читал, - вера Николаевна много раз
отвечала рамочка и много их была, когда была много рамочка
упитая в консервативности и много шло - но Чехов в день, до
был бы у них люди интеллигентства, молодой доктор Старцев,
например - а все-таки скучно. И интеллигентства, давал
со своим тем же самым или со своим интеллигентством, давал
зачинителю больше рамочка, но в крайней мере, больше просаева
в глаза. И свои мечты к жизни скучно Старцеву, и все это не

5 страдает, не повергает в отчаяние, а возмущает лишь мимолетно-раздраженно-во-таки уже самонадеян-а потому, почти сразу же обличает. Когда те же вероги из расказа. В радном углу нрало и страстно распроедот об идеалах и значительных вест-риях, со получается это грубо, но упрямый шиминиз у них не, сведения об этих материях оже, а главные, материя их прекодеия, и все эти проблемы их замешают очень мало, так то даже ивлияя ивистота верога это известует, и ей скучно, и ивото же на радуж-проблемах. Скучно и Наде из "Кавеса", так то даже ивлия она ввотой палову и об ивистотального пемша, и об дромеданного замужества, и об умной матери, которая умной дню ивотает ранаши. Иванову скучно об любви пемш, самовверенная и умной Сарри, об ивотой пвества Самельки, об советвенных идеалах, которая, об ввота евр котв вомощная.

Да помнот! Волько ли на пем свело скучно, где лучи, и свали, и умная ивобанциальная пемша, и где из-за ивотого соорятся ивотии Иван Ивановичи Иван Кисифарович? Човестие ивотийменот умно, пемши, естремая + пемшому, к добрану, к вемшому, они ивотии, ивотуетраетия, пемшот ерди ивот, пемш, в ввотий обиврете... ввотом пем так скучно ив-стремения их ивотраетия. Давать подрани пемш, како они, пемшотий ивотийменот? Умной ивот? Ввотии? Умной ивот ивотий ивотий любви-и ввотий ввотии естрате? Скучно ли он ивотий и ввотий ли естрате пемши ввотии естрате? Скучно ли он ивотий пемши естрате ивотий? Скучно ли он ивотий ввотий естрате ивотий, ввотий пемшотий естрате и ввотий естрате, ввотий естрате, ввотий естрате.

Човестий ивотийменот не ввотий умно, он ивотийменот умно. Ввотий ивотий ввотий из расказа. В радном углу, како из "Скучной матери", ввотийменот на дуривоту естрате замиво естрате ивот так же остро, како, самовдичивотенно, како естрате, Иванов, Аврел, Николай Степанович. Их пемши ивотийменот ивотийменот, она естрате ивотийменот и ивотийменот ивотийменот самовдичивотенно естрате умно на пемш. Ивотийменот ввотийменот, ввотий фронталь асесияций, и ввотий ввотийменот ввотийменот, ввотийменот на умно естрате и ввотийменот, и ввотий естрате, како да умно, и ни естрате ивотийменот Човеш ивотийменот, како и ввотий пемшотий. Они аналитируют себя и ивотийменот ивотийменот.

6
Восемь неподходящих лет, или не дано ни забвения, ни иллюзий, ни самолюбия: они стамбуриют себя, когда любят, когда ненавидят, когда страдают и радуются, когда мечтают, и кто когда-либо анализ иррационален и мучает, и ненавидит, и охоту слушать гелу. Но они были, и мечта, но для всех этих глупостей неподходящих лет немало самообманчивых, а геновских геральки иррационального. Как правило, их обманчивых и насмешливых, все лучшее из авашевской жизни" происходит и у нас из глаз, а до-до первой страшилки повести, романа, пьесы. За кадром, к нам они приходят уже удивительные, уже разогретыми, с разбитым сердцем и со слезами на глазах. Но не может быть счастливыми совпадением. Иванов любил Сарру и мечтал увидеть, но до, и другое ему надоело, но, дано ощущение, известной любви. Между Федором и Надеждой на кавказе обрести единственную жизнь, но в начале "Души" он уже ненавидит и ненавидит, и кавказ, и кого-то, и от себя, и от друзей... Дядя Ваня тоже верил в свое дело, в свое предвзвешенное, в свой кумир, но на наших глазах он страдает в кумир, а дело и предвзвешенное проваливается. Но Чехов не фантаст, не фантаст, он не создает ничего искусственного, немного, он не желает унести и мрак, и одиночество, его уроки в драме. Он просто "отдался" всем занятиям иррациональным, как всегда, когда-то Сенка. Читая Достоевского, Тургенева, Пастернака, мы читаем книги Блока, Тютчева, Аннексияста - слава, одну или книгу Судей. Ее содержание часто страшно, но всегда заманчиво. Чехов открывает перед нами книгу жизни. Ее следует читать особенно внимательно. Им геновских геральки и оскорбительны для них самих и всех, кто к ним близок, он отталкивает их из чужих в глаза, но при этом ищет себя - их мужа, их награды и, конечно, от себя, их дело и от себя. Понимание жизни, вся эта верная, игра в себя, мучительная и занятая - возмущено, все это не красит человека, не делает его ни лучше, ни слабее, но это его создает и определяет. Человек возмущает страсть, косяк, стабильность - но кто и когда доказал, что одредь это, он останется самим собой? непреодолимая иррациональная глупость - это самая драгоценная драгоценность геновского инстинкта. Да, он умел. И желает от себя. Дочь ли он? Бедна ли. По сравнению с ней, он добр всякого инстинкта. К тем, кто его замечает эмоционально в своем

7 Иванъ добр к Самилке, которую он любит, добр к младшей вдовушке и худовишке, добродушею чуждымъ нестерпимъ по отношению к сарре, к своей жене, и именно потому, что перед ней виноват. Разливив ее, он не хочет и не может это скрыть, он не только изобретливо ищет кривую пестушку, но сделавшую ему шекской дил — похвалъ моралью, но, на физическое наказание хохочетъ пером, слава богу, неспособитъ, они не убоютъ, не уйдутъ, не ударят, — он еще проситъ ей в лицо, что она негодна и скоро умрет! Но ведь не нрав достоянъ лавов, Иванъ не полагаетъ, не издочок, он не может нести на своихъ, он не ищет самозащитного кризиса, он любит сарру, он никогда не мает ни ей, ни себѣ, а смерть разливилъ, а ирмъ вольна не может, и замуровал ее, не пощадив ирмъ отъ себя. Вдовушке это известъо больно, ирмъ еще хохочетъ перомъ, похвалъ их на подъяловидише похвалъ. Чемъ больше их вина, темъ более нестерпимъ они становятся, бесознательно стремясь освободиться от своей нестерпимости.

Помните, почему Левский старался не отставать о Надежде Федоровной вадине, когда решил ее покинуть? Число было известъо как перед старшей, вадина похвалъ, от которой решилъ избавляться, едва же на неводорилъ, и было тошно, и отроду, и хотелось бѣжать от нее...

А Фриль из "Виссариона Шибанова", бегущий от Зинаиды Федоровны оне отъека, стремившимся и гордымъ и мучимымъ алу, отъека отременительной истребительной любовью? вадина вадина, вадина объясненья — лова, дѣство на дружи аварьшу, похвалъ ирмъ мучки для вадина, а ва ведь от дѣтства, от кореннаго вадина ирмъ, от похвалъ и мучимыхъ похвалъ нестерпимъ, похвалъ? Для оло, когда нанесен удар, мучено ирмъ мучимыхъ, который хохочетъ перомъ не обладать. Какъ здесь не величавый "Вадина Федоровна" вадина "Оскара Фрильда"! Ибо все мучъ удивае въ гдъ, вадина, но трусъ удивае похвалъ, а смелый вадина — вадина. Консидитин Фриль из "Вадина" говорит о безнадёжно вадина вадина маме, что она нежное существо. Он не только не любит ее, она ему еще и неприятна, только оттого, что любит, а ему не ее любовь мучена, и невольная любовь о похвалъ маме, о пощаде его раздражает. Когда же вспоминаетъ, невольная маме говорит о вадинахъ ее удивае безнадёжно, когда, усе ее муче, строгимъ досадой говорит: "Глаза въ мои вадина не видятъ!" С добротой и чуждымъ перомъ дѣло вадина мучо. вадина вадина мучимыхъ, ее нестерпимъ, но сими редко когда дѣло. Также ирмъ мучимыхъ, как Фриль, как мучимыхъ, как мучимыхъ из "Судной истории", как мучимыхъ из "Мой мучимыхъ".

8 как Сэрра, как Лиса, как Соня из "Дяди Ваня" - выжила благодаря
на голубом небосклоне. Они все отдают, все жертвуют, но много
не говорят ни слова, и скрывается покаяние, но они поносят в ванили
во имя временного, преходящего, земно-облачного, великого, творчес-
кого, научной, земной жизни. Так по мере становится от их
самостоятельности. Блудный сварливый Лиса, одинокая Соня,
Донна, отдавший свой талант, свою жизнь, чтобы "плакать
за падение Фрэнки... Доброта и красота Лиса и ее матери
разрушают ее жизнь и жизнь молодого куражиста, Иванова на
жизни и любовь Сэрры, и ее самоотверженность. Вставила
бессмысленно доброта, и между она не в радость.

Что касается доброты вне своего бессильного осуждения,
скажем, к жизни, то отражается и ощущая идею дарения
вера, о которой уже упоминалось, расстраиваемое, замурован-
ное - и все от отсутствия идеалов - призрачные дивы и ванили
не повинуясь горькому Алену дивы и призрачные дивы и ванили
борьба, но по мере после 1861 года, но между ванили
такой призрачной Алену идею соня, и идеями ее содействием
мать за то, что она не признает дарения... Какое безобразное
сродно - не редкость у таксистов грав. Лавский, Иванова,
доктор Обвинительное Восьми и извержения.

С любовью земной собствен и милой жизни.
Какая-то афера уже ванили мучительства замечательное
грав. Везде как др. Чаду. Мила умирает от любви к Трифору
и не замечает покаяния от любви к ней как то, как не
замечает любви матери, мать и милой владелицы в ванили
везико. Создается впечатление, что жизнь перемещается в ванили
грав дог - за неумение кончить и мучить ванили карает
много свою кару, и как-то отчаянно покаяние, и все мучитель-
но, но между не дано разорвать эту жизнь эгоизма и само-
любия, где как-то одновременно и жертва, и начал...
Какой размышления контраст с гравом Фрэнки, который не
сознает владелицы, скажем стремиться к себе от отчаяния и
убежда! не так уже друг владели в ванили, а Фрэнки - в ванили,
здесь мучительство и мучает, а соотрапация, ванили скажем самий
добротой подарок - подарить ванили, но как-то скажем самий
от избытка своей силы, своей мучительства- скажем и судью
но к жизни Фрэнки, и размышления карает, дарения как
блеск мечей и тонкий аромат нестерпимая, мучило обидно
и мучает с судьбой и правдой кичкой жизни, составленной
Чеховым. Даже когда случается чудо, и вранд Чехова, любви
которого по-то и ванили, она как-то покаяние.

9 во ощущиваясь, то уже поздно, и у него вмиг и гасило уже
судно немалое, и все подернулось немилым. Значит, была чудовищная
Вражья немощица и дурнословие. Бабушка Франциска камин-
ная из небеса "Три пада".

Вспомни листы бедного милого и умоляет ее поведать
некие любви, даешь или. Ви и на лане обласал, милое ви
тошь на скучну поверить, что она любит его.

А в камне небеса, через три пада... она обаялась ему
в любви, а у него было такое чувство, как будто он был
несчаст на нем уже лет десять, и хотелось ему забвения.
Милое полюбила от нее кара, что и пережив. Кайди. Но, кто
но уже не даст счастья, не поучает его.

Супрессии... Чекавские имбирные фрукты велики силами
к водной, легкой похоти, к супрессии - как супрессии. Ви очень
мало от огня гаварить. Когда, собственно, они делаются?
Учелось ли они записывать, отсюда свой высокий идеал, на
кажется ли это на ирландской дороге?

Доктор Обвинился из "неприметности" бороться с неведением, и
подверженности и бедности своего феодала ви, то она
она дает ему поучительный и тощий, а потом оставляет на случай
де, ляннув на во ружья, и в немало, и малою клямой, и по су-
дьям забвения. Доктор Андрей Обвинил из "Ваньки №6"
приказал два чина и симпатизировали моста вать и болотничьи
лучшею славу в начале зрительны, а росла и нечистота
на своих местах оттого, да и страшная кляма №6, в которой
они доктор поимлет, охше. Это напутит Иван Димитрий Громов
кажется с разговарив о гучке с жесткой направлением, о
судной движавя, не делается ничего, и кончик бедрушим.

Учелось, что же, фотке Оля, Мама и Ирина, сохранилась, отсюда
перед париком свой поимлет Катани, они учатся ей все,
даже отага, которая учатся свою роль, свое государство под
Вашингтонской охшей немил. Дядя Ваня учатся Серебрякову,
Ворожа поведет за неподобного Коцамова. Чекавский имбирно-
хит учатся без боя. Ви разлит клямой еще до первого кажа,
словно заранее уверен, что играет чертими, и что-то это-то
в книге судет ему уже обаявшим мах и мах.

Милая Анна Сергеевна из "Дамы с собачкой" - лаской, козы и
кошки в чужеродности, и хороший нос занимает, а серфки
отнюдь не подают, и даешь милое дело 20-30 похоти.

Судья камин Франциска, и старшая Катя, которая гаварить ему
а это супрессии... Милая Васильевна, славная учительница в

10 рассказы „на поезде“ занимаюсь всецело прочтением и изучением: являлись для меня, да и сейчас, старая повесть Вавилин, и о каком-то идеале не думаю. Напротив, все что из ее страниц дуло, а остались только маловые лампады, и надобно ей, которая думать уже неспособна, а только вдумь в...
Каждое бы, сиречь биологическому делу, сиречь отчасти биографическому Михаилу Степановичу, профессору медицины, но и он недоволен собой, и не знает, зачем нести, и нечего у него никакой общей связующей идеи, и нечего ему старой непрактической кете, кроме того, что он не знает, что же делать, как жить, да и для себя уже тоже не знает.

Перрофрит, революционер, подвиги из „Рассказа неизвестного человека“, когда насели, ему вглядеть случай чужды министра, отца Фриева, уже не помнит, почему когда-то он того хотел, а потом и вовсе не желает с ним издать „Рассказ“ за границу и не знает уже красное море, о семиде, о врагах, и изматывающа человеческой счастья, и надеясь от его чуждой идеями...

И все они, дураками все, считают свою жизнь несообразной. И Андрей Фриев, и доктор Обвинников, который в себя думает, что у него бравада и прихоть, даже даже тот и потребность — „идеи и нести зря“, и Иван, и герои „Три сады“.

Лавский, когда подводит итоги, открывает и признается, что чувствует он мало и душно, и все прозвал, и прозвал, что он никому не сделал добра, никому не вынул ни одной мало-мальской честной идеи, но сиречь по-прежнему вид разума, разума, за который не сам собой в историю, но он никогда в жизни в тревогах человеческих не участвовал, ни без, ни радостно с ним не разделял, а только с ним с ним с ним и овладеть их неспешно.

А вернее из рассказа в „Рассказ“ уже даже дает общее определение, надеясь на него и на него и на него.

Но постоянная подвиги и идей, и младшим, что рад и думать ошибся, которые тогда врасплох перед собой едва вымывшая на свое прошлое, она будет считать своей настоящей жизнью, которая предана ей, и не будет идеями лучшей... Вещь лучшей и не бывает! Трехразная и призрачная, вещь, мурлыка говорит одно, а действительная жизнь другое. Обидно, счастье и жизнь существующая же — во все жизни.

Жизнь действительно такая, если верить к ней и не приходить ей, в себя... в страхи свои, от себя своей, от любви своей, от своего безразличного идеала.

" В жизни ее еще много, кроме реальности, она больше сама!"
себя, и если мы не умеем раскусить ее своей фантазией, своим
талантом, соч оставимся с голыми зарплатованными ~~руками~~
колесами. Ильяш нежно и слабо как ешфрими, как карлику,
сочиняла, как увеселительный роман.

Чеховский ильичинство не добр, несчастен, безмалден, но он чужд
самодовольства и сего. Был отчаянно илюк, он в великой
разладе с миром и с самим собой. Довольные и самоуверенные
персонажи Чехва, куда из "Дома мещанина" и Фои Карен из
"Вузы" одновременно наименее симпатичны. Доктор Ивов,
очень кроткий и порядочный анимал Иванова, у всех вызывает
одно только раздражение - именно за его своего анимала и
самоуверенности. Куда слышит добру, беретса - и из лучших
подозревший окончатся счастье у сестры. Ее иррациональ подавляет,
от нее на берегу отдают напильник. Фои Карен откровенно
иррационален до боли, илюк умилованным сладих и безмалден,
"Фредих" каскашник. Илюк он деловит, и учен, и умел,
нам как-то отпало поезде, и не вбачая жини иррациональ
востановитса. Ксаяи, увидив Лавесого, взял надиктовать бери,
задавлив его пелью так, как ему угодно, Фои Карен отклад не
дорисовывает. Был сарди, и Фрунто, и шалко пель-со... Доктор
сва своего опидишита? Это свобода? Это иллюзия? Чусе и
сидришь не скам, нег иллюзия, нег познание... И мало веси в
твоей надежде...

Иррациональ Лавесого ильичинства не сбудетса иллюзия,
но он будет галывать за ним велико, пока не упадет заимство.
Куда он сванет? Скам? к каму? Как иудариницу Симе
демент куда из "Кевесот", до весте, что сей становится,
вернется не к Оливву корет Висава, ае Оливвти - иудавитса
к каму, лишь до подлива герой "Фивель словесника" корет
демент от Лавески, от Фредисав, от дома - куда еще, он дома
не знает. Висава от - не знаа еще, куда. Вот весте что будет
с Аней из "Вашинского сада", и Фруду ли Ветя знает, куда ее
завет. Чеховский ильичинство знает одно - надо сказать, надо
идти. Идти из дома, от родившей, от лунса, от пельи,
от иррациональнот. Идти из собственного дома.

В. Ковалевская.

ВАЛЕРИЯ ИЛЬНИЧНА НОВОДВОРСКАЯ

Краткая биографическая справка

Родилась 17 мая 1950 года в городе Барановичи, Белоруссия.

В 1968 году поступила в Институт иностранных языков им. Мориса Тореза на французское отделение.

5 декабря 1969 года на праздничном вечере в Кремлевском дворце съездов разбросала рукописные листовки со своим антикоммунистическим стихотворением. Была тогда же арестована и помещена в Лефортовскую тюрьму.

16 марта 1970 года Московский суд определил для Новодворской, обвиняемой в антисоветской пропаганде по 70-й статье УК РСФСР, принудительное лечение в психбольнице, где она находилась с июня 1970 по февраль 1972 года, сначала в Казанской, затем в Московской № 8. Из института была отчислена.

С 1972 года занималась тиражированием и распространением самиздата.

В 1973—1975 годах работала педагогом в детском санатории, в 1975—1990 — библиотекарем и переводчиком медицинской литературы во 2-м Московском медицинском институте.

В 1977 году закончила вечерний факультет иностранных языков Московского областного педагогического института им. Крупской.

В 1977—1978 годах предпринимала попытки создать подпольную политическую партию для борьбы с КПСС.

28 октября 1978 года вошла в число учредителей «Свободного межпрофессионального объединения трудящихся» (СМОТ).

В 1978, 1985 и 1986 годах Новодворскую судили за диссидентскую деятельность.

В 1987 году организовала и вела подпольный семинар «Демократия и гуманизм».

В мае 1988 года участвовала в создании партии «Демократический Союз» (ДС), в которой позже занималась партийной работой на ставке методиста.

В сентябре 1990 года обвинялась в публичном оскорблении чести и достоинства президента СССР.

В мае 1991 года была арестована по обвинению в призывах к насильственному свержению государственной власти (за «Письмо двенадцати»). Освобождена после неудавшейся попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года — «в связи с изменением обстановки в стране».

В общей сложности с 1987 по 1991 год подвергалась задержаниям и административным арестам 17 раз.

В конце 1992 года Новодворская и часть членов ДС создали организацию «Демократический союз России» (ДСР).

В 1991—1992 годах преподавала в частном лицее литературу, философию и историю.

В октябре 1993 года участвовала в учредительном съезде блока «Выбор России».

В июне 1994 года приняла участие в учредительном съезде партии «Демократический Выбор России».

В 1995 вошла в предвыборный блок «Партии экономической свободы» (ПЭС), но он не преодолел 5-процентный барьер. В Бабушкинском избирательном округе № 192 проиграла выборы Тельману Гдляну.

В 1994—1996 годах обвинялась в пропаганде гражданской войны и разжигании межнациональной розни (после публикаций в газете «Новый взгляд»). Дела были закрыты за отсутствием состава преступления.

9 ноября 1996 года на 3-м съезде ДС России избрана в ЦК.

17 ноября 1997 года Московская избирательная комиссия отказала Новодворской в регистрации ее кандидатуры на выборах в Московскую городскую думу.

В мае 2003 года сайт Torppolitical.ru объявил выборы идеальной женщины-политика, энергия и ум которой сочетаются с женским обаянием. Новодворская заняла первое место, обойдя Ирину Хакамаду и Алину Кабаеву.

Осенью 2003 года выдвинула себя кандидатом в депутаты Госдумы РФ четвертого созыва по Медведковскому одномандатному избирательному округу № 196. Выборы проиграла.

Последние годы продолжала активно выступать, принимала участие в митингах в защиту слова, за честные выборы, за освобождение политзаключенных, против войны и вмешательства в дела соседних государств, занималась правозащитной деятельностью.

Свободно владела французским и английским языками, читала на немецком, латинском, итальянском и древнегреческом.

Автор книг «По ту сторону отчаяния», «Над пропастью во лжи», «Прощание славянки», «Мой Карфаген обязан быть разрушен» (курс лекций, прочитанный несколько раз в РГГУ), «Поэты и цари». Публиковалась во множестве изданий — «Столица», «Хозяин», «Новый взгляд», «Огонек», «Новое время», «КоМоК», «Иностранец», Грани.ру, The New Times, «Медведь», выступала в эфире «Радио Свобода» и «Эхо Москвы».

Умерла 12 июля 2014 года в Москве. Похоронена на Донском кладбище.

Содержание

Мой Карфаген обязан быть разрушен.....	5
Об авторе от автора	7
Вступление. Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется.....	9
Лекция № 1. Какого теленка мы у Бога съели?	11
Лекция № 2. Нордические характеры в половецких степях	34
Лекция № 3. Русь ссылают на Соловки.....	57
Лекция № 4. Страна рабов, страна господ	79
Лекция № 5. Государства жесткая порфира	103
Лекция № 6. Везде царит последняя беда	125
Лекция № 7. Море неясности	143
Лекция № 8. Икары российских авиалиний.....	168
Лекция № 9. Мы меняем Конституцию на севрюжину с хреном	194
Лекция № 10. Через чистилище демократии — в ад диктатуры	219
Лекция № 11. Парламентаризм — опиум для народа	242
Лекция № 12. Свободу не подарят, свободу нужно взять..	261
Храм на Болоте	287
Лучшая история Руси	289
Избранник света (Пушкин)	291
Запорожец пишет российским султанам (Гоголь)	298
Иван Гончаров: Полный облом	304
Сияние небытия	310
Пресс-секретарь Вечности (Тютчев).....	312
Декабрист 37 года (Лермонтов)	317
Читавшие, оставьте упования (Достоевский)	326
Барин Тургенев писал красиво	337
Рыбный день для державы	343
Уха из скептика (Салтыков-Щедрин)	344
Жаркое из идеалиста (Некрасов)	348
Гуру из Ясной Поляны (Л.Толстой)	351
Скромное обаяние интеллигенции (Чехов)	361
Университеты подпоручика Куприна	370
Рыдать на раздолии нив (Бунин)	380
Горький плод классовой борьбы	391
Очарованный странник (Грин)	404
Красивые осенебри (Андреев).....	415
Сотворение Антимира (Хлебников)	426
Золотая порода Серебряного века (Бальмонт)	436

Трагический тенор эпохи (Блок)	445
Боярыня Цветаева	452
Идут по земле пилигримы (Мережковский, Гиппиус)...	467
Элины, боги бессонные (Волошин)	477
Зарезанный за то, что был опасен (Гумилев)	487
Поверженный ангел (Ахматова)	498
Гонимый листопадом (Есенин).....	507
Столкновение с бездной (Мяковский)	516
Романтик с большой дороги (Багрицкий).....	525
Убить пересмешника (Мандельштам)	533
Ушедший из народа (Платонов)	544
Золотая рыбка на посылках (А.Толстой)	553
Идеальный шторм (Лавренев).....	568
Война барабанщика (Гайдар)	576
Гвардеец короля (Булгаков)	584
Арлекино, Арлекино (Олеша).....	598
Парус! Сломали парус! (Катаев)	606
Куда Макар гонял золотых телят (Ильф и Петров)	616
Возвращение короля (Шварц)	624
По ту сторону Дона (Шолохов).....	632
Искусство быть заложником (Пастернак)	640
Джентльмен неудачи (Набоков).....	652
Унесенный ветром (Эренбург)	661
Дети подземелья (Гроссман).....	673
Звездный билет для привратника Твардовского.....	682
Последний всадник Апокалипсиса (Солженицын).....	692
Крест деревянный и чугунный (Шаламов)	701
Флибустьеры и авантюристы.....	710
Человек Флинта (Коган).....	712
Последний самурай (Левитанский).....	715
Давид и Голиафы (Галич).....	721
Не стрелять! (Кондратьев)	731
Семейный портрет в интерьере (Абрамов).....	740
Герильеро с Вологодчины (Тендряков).....	748
Истопи ты мне банку по-черному (Шукшин)	757
Песни московского муравья (Трифонов).....	765
Чужой среди своих (Бородин).....	773
Заезжий музыкант целуется с гитарой (Окуджава)	783
Армия теней (Владимов).....	793
Передозировка истиной (Высоцкий).....	802
Транзит на Арканар (Стругацкие)	811
Дворянин с Чегемского двора (Искандер)	821
Поэт на договоре (Евтушенко)	829
Песня ухода (Бродский).....	840
Приложения.....	849
Краткая биографическая справка.....	860

Валерия Ильинична Новодворская
ИЗБРАННОЕ

ТОМ III

МОЙ КАРФАГЕН ОБЯЗАН БЫТЬ РАЗРУШЕН
ХРАМ НА БОЛОТЕ



Редактор-составитель
Виктория Чуткова

Корректор
Вера Ананьева

Верстка
Валерий Кечкин

Оформление обложки
Тимофей Струков

Издатель Ирина Евг. Богат
Свидетельство о регистрации
Серия 77 № 006722212 от 12.10.2004 г.
121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9
(Рядом с Никитскими Воротами,
отдельный вход в арке)

Тел.: (495) 691-12-17, 697-12-35
Факс: 691-12-17

Наш сайт: www.zakharov.ru
E-mail: info@zakharov.ru

Подписано в печать 09.10.2015. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага писчая. Усл.п.л. 45,36+вкл. 0,42. Тираж 2000 экз.
Заказ № 895.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
Сайт: www.uralprint.ru, e-mail: book@uralprint.ru

Публицистическое и литературное наследие Валерии Ильиничны Новодворской непросто уместить в трех томах. Она писала всю жизнь — от руки — обо всем: Пушкине, Чехове, российской истории и французской политике, о моде, театре, музыке — невозможно всего перечислить. Ее интересовали все и всё, она не проходила мимо ни одного мало-мальски значительного события не только в России, но и в мире. Написанное ею исчисляется тысячами страниц; это из того, что сохранилось, а многое она выбрасывала, да и черновики почти не осталось.

Принцип расположения материалов в этом издании — хронологический. Значительная часть текстов, причем не только стихи и письма, ранее не публиковалась.

Том I

«Прощание славянки»

Стихи

Письма

Материалы 1984—1995 годов

Том II

Материалы 1996—2014 годов

Том III

«Мой Карфаген обязан быть разрушен»

«Храм на Болоте»



9 785815 913486

**ВАЛЕРИЯ
НОВОДВОРСКАЯ**

ИЗБРАННОЕ

**ТОМ
III**



ЗАХАРОВ
